

ISSN 0869-6365

литературное
НОВОВОКРЕ
обозрение

144

2'2017

(ПОСТ)ИМПЕРСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ
И КУЛЬТУРНЫЕ ПОЛИТИКИ

Специальный выпуск

ИМПЕРСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ
И ИНАКОВОСТЬ • СЕМАНТИКА
ИМПЕРСКИХ ПРОСТРАНСТВ • ГИБРИД-
НЫЕ ЯЗЫКИ ИМПЕРСКОГО СОЗНАНИЯ
КРИМИНАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ • ПОСТ-
КОЛОНИАЛЬНОСТЬ И ИМПЕРСКОСТЬ
В ЛИТЕРАТУРЕ • БИБЛИОГРАФИЯ
ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

литературное
НОВОЕ
обозрение

Содержание № **144** [2'2017]

(ПОСТ)ИМПЕРСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ
И КУЛЬТУРНЫЕ ПОЛИТИКИ

Специальный выпуск

7 От редакции

ФАКТЫ И МИФЫ В КАРТОГРАФИИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

9 *Вера Проскурина.* Ландшафт империи: «Антидот» Екатерины II против «Путешествия в Сибирь», или Границы европейской цивилизации

33 *Евгений Пономарев.* Русский имперский травелог

ИМПЕРСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ И ИНАКОВОСТЬ

45 *Ольга Майорова.* Маркеры русскости в имперском пространстве: парадоксы рассказа Н.С. Лескова «На краю света»

- 60** *Михаил Долбилов.* Город едва ли свой, но и не вовсе чуждый: Вильна в имперском и националистическом воображении русских (1860-е годы — начало XX века)

ИМПЕРСКОСТЬ В СТРУКТУРЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПОЛЯ

- 77** *Генрих Кирибаум.* Жанровые империализмы. Спор о принадлежности дум
- 93** *Евгений Пономарев.* Экспорт и реэкспорт соцреализма. Восточноевропейские литературы в контексте советского толстого журнала (конец 1940-х годов)

ИМПЕРСКАЯ БЮРОКРАТИЯ И МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

- 113** *Кирилл Соловьев.* Бюрократия versus бюрократия: парадоксы государственной службы в России в конце XIX — начале XX веков.
- 122** *Александр Котов.* «Русское латинство» 1860-х годов как элемент идеологии бюрократического национализма

СЕМАНТИКА ИМПЕРСКИХ ПРОСТРАНСТВ

- 137** *Андрей Тесля.* «Украинофил» в «общерусском» контексте: публицистика Н.И. Костомарова 1861—1883 годов
- 154** *Екатерина Болтунова.* Пространство (ушедшего) героя: образ лидера, историческая память и мемориальная традиция в России (на примере Ельцин-центра)

ГИБРИДНЫЕ ЯЗЫКИ ИМПЕРСКОГО СОЗНАНИЯ

- 174** *Илья Герасимов, Сергей Глебов, Марина Могильнер.* Гибридность: Марризм и вопросы языка имперской ситуации
- 207** *Дина Хапаева.* Рабские мечты об имперском величии
- 237** *Алек Д. Эпштейн.* Между религиозными сомнениями и неверием: трансформация интеллектуального дискурса и политической риторики в эпоху заката монархии (опыт Франции)

БЫТЬ ВИДИМЫМ: ТЕХНИКИ ВЛАСТНОГО ВЗГЛЯДА В ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ИМПЕРСКОЙ ФОТОГРАФИИ

- 260** *Евгений Савицкий.* Демоны в зоопарке: Современное искусство и колонизация Севера в России 1890-х годов

- 285** *Надежда Крылова.* Нерчинская каторга: этнографический взгляд на Российскую империю в фотографиях «видов и типов» последней четверти XIX века

В РОЖДЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК: КРИМИНАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

- 312** *Риккардо Николози.* От составителя
- 318** *Марина Могильнер.* Прирожденный преступник в империи: атавизм, пережитки, бессознательные инстинкты и судьбы российской имперской модерности (*пер. с англ. Нины Ставрогиной*)
- 342** *Луиза МакРейнольдс.* П.И. Ковалевский: Уголовная антропология и русский национализм (*пер. с англ. Нины Ставрогиной*)
- 360** *Риккардо Николози.* Преступный тип, Ламброзо и русская литература. Нарративные модели изображения врожденной преступности и атавизма в Российской империи 1880—1900 годов (*пер. с англ. Нины Ставрогиной*)

ПОСТКОЛОНИАЛЬНОСТЬ И ИМПЕРСКОСТЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

- 383** *Наталья Полтавцева.* По ту сторону колониального: (От составителя)
- 386** *Гасан Гусейнов.* Русское, советское и иное в постсталинском национальном дискурсе: предварительные заметки
- 397** *Тамара Гундорова.* Транзитная культура и постколониальный ресентимент
- 407** *Наталья Полтавцева.* Динамическая модель (пост)колониальных исследований: социокультурная парадигма конфликта как формы социального взаимодействия

ПОСТКОЛОНИАЛЬНОСТЬ ПОСТСОВЕТСКИХ ЛИТЕРАТУР: КОНСТРУКЦИИ ЭТНИЧЕСКОГО

- 420** *Клавдия Смола, Дирк Уффельманн.* Введение
- 429** *Клавдия Смола.* Постколониальные литературы Севера: автоэтнография и этнопоэтика
- 448** *Кирилл Корчагин.* «Когда мы заменим свой мир...»: ферганская поэтическая школа в поисках постколониального субъекта

- 471** *Дирк Уффельманн.* Игра в номадизм, или Постколониальность как прием (случай Ильдара Абузярова) (*пер. с англ. Нины Ставрогиной*)
- 489** *Станислав Львовский.* Дети равнины: Герман Садулаев как постсоветский и (пост)колониальный писатель

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

- 509** *Алексей Васильев.* Национализация империй: уходя от «вестфальской ортодоксии» (Рец. на кн.: Nationalizing Empires. Budapest; N.Y., 2015)
- 519** *Мария Лескинен.* О сословиях в Российской империи (Рец. на кн.: Smith A.K. For the Common Good and Their Own Well-Being: Social Estates in Imperial Russia. Oxford; N.Y., 2014)
- 527** *Светлана Лиманова.* От истории идей к интерпретации образов: визуальный поворот в исследовательской практике Р. Уортмана (Рец. на кн.: Wortman R. Visual Texts, Ceremonial Texts, Texts of Exploration: Collected Articles on the Representation of Russian Monarchy. Boston, 2014)
- 535** *Кирилл Соловьев.* От общественной самодеятельности к советской общественности (Рец. на кн.: Obshchestvennost' and Civic Agency in Late Imperial and Soviet Russia: Interface between State and Society. Basingstoke; N.Y., 2015)
- 542** *Евгений Добренко.* Англо-американская историография сталинизма: ощупывая слона (Рец. на кн.: David-Fox M. Crossing Borders: Modernity, Ideology, and Culture in Russia and the Soviet Union. Pittsburgh, 2015)
- 547** *Артём Зубов.* Американская имперская готика и социология фантастического (Рец. на кн.: Höglund J. The American Imperial Gothic: Popular Culture, Empire, Violence. Farnham; Burlington, VT, 2014)

Х Р О Н И К А Н А У Ч Н О Й Ж И З Н И

- 552** *Светлана Сиротинина, Клеменс Гюнтер.* Международная конференция «Отзвуки империи. Постколонии коммунизма» (Принстонский университет, 13–15 мая 2016 г.)

* * *

- 560** *Андрей Кабацков.* Международная конференция «Сталинизм и война» (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 24–26 мая 2016 г.)

- 575** *Ольга Брейнингер.* Конференция Северо-Восточной ассоциации по изучению России, Восточной Европы и Евразии (Нью-Йоркский университет / Jordan Center for the Advanced Study of Russia, 2 апреля 2016 г.)
- 578** *Александра Цибуля.* Шестые Международные Приговские чтения «Энциклопедия Дмитрия Александровича Пригова» (Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом), 16—18 мая 2016 г.)
- 586** Наши авторы
- 587** Summary
- 597** Table of content
- 601** Our authors

Редакция

- Ирина Прохорова** (главный редактор) *канд. филол. наук*
Николай Поселягин (теория) *канд. филол. наук*
Татьяна Вайзер (история) *канд. филос. наук; PhD*
Александр Скидан (практика)
Абрам Рейтблат (библиография) *канд. пед. наук*
Владислав Третьяков (библиография) *канд. филол. наук*
Кирилл Корчагин (хроника научной жизни) *канд. филол. наук*

Редколлегия

Константин Азадовский
кандидат филологических наук

Хенрик Баран
PhD. Университет штата Нью-Йорк в Олбани, профессор

Николай Богомолов
доктор филологических наук. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, профессор

Татьяна Венедиктова
доктор филологических наук. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, профессор

Елена Вишленкова
доктор исторических наук. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор

Томаш Гланц
PhD. Цюрихский университет, профессор / Карлов университет в Праге, профессор

Ханс Ульрих Гумбрехт
PhD. Стэнфордский университет, профессор

Александр Жолковский
PhD. Университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, профессор

Андрей Зорин
доктор филологических наук. Оксфордский университет, профессор / Московская высшая школа социальных и экономических наук, профессор

Борис Колоницкий
доктор исторических наук. Европейский университет, профессор / Санкт-Петербургский институт истории РАН, ведущий научный сотрудник

Александр Лавров
доктор филологических наук, академик РАН. Институт русской литературы (Пушкинский Дом), ведущий научный сотрудник

Джон Малмстад
PhD. Гарвардский университет, профессор

Александр Осповат
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор

Пекка Песонен
PhD. Хельсинкский университет, заслуженный профессор

Олег Проскурин
кандидат филологических наук. Университет Эмори (США), профессор

Роман Тименчик
кандидат филологических наук. Еврейский университет в Иерусалиме, профессор

Павел Уваров
доктор исторических наук, член-корреспондент РАН. Институт всеобщей истории РАН, главный научный сотрудник / Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор

Александр Эткинд
PhD. Кингс-колледж Кембриджского университета, профессор

Михаил Ямпольский
доктор искусствоведения. Нью-Йоркский университет, профессор

От редакции

Editorial Preface

Специальный выпуск «Нового литературного обозрения» посвящен тому, как имперское воображение и его производные — мифологемы и идеологемы имперского сознания — отражаются в культурных политиках и практиках.

Основная цель специального номера — увидеть элементы имперского сознания не в официальных политических институтах или эксплицитных политических режимах, а на микроуровне имплицитных ментальных установок, «незаметных» практик повседневной культуры и неочевидных дискурсивных / риторических стратегий. Мы исходили из того, что тексты культуры и культурные источники могут порой гораздо больше сказать нам об имперских амбициях и фантазиях, чем открыто декларируемые политические проекты.

Специальный выпуск сфокусирован на России, хотя в отдельных случаях компаративные исследования других культур (Французской и Британской империй) привлекались для понимания специфики функционирования (элементов) имперского воображения в логике культурного самоопределения.

Материал номера охватывает период с середины XIX (за исключением одного материала конца XVIII столетия) по начало XXI века. Часть статей относится к периоду дореволюционной Российской империи, когда складывались первые модели национальной государственности, оформлялось культурное и политическое самосознание России в качестве империи и выстраивались соответствующие ему национальные идентичности. Другая часть относится к советскому и постсоветскому периодам, в которых прослеживаются признаки имперского наследия. Показывается, что истоки современных явлений (пост-)имперского воображения следует искать в культурной и политической истории, которая продолжает подспудно определять наше мышление сегодня.

Спецномер делится на проблемно-тематические блоки, через которые проходят различные и связанные между собой концептуальные рефрены.

Одна из линий посвящена империльной экспансии российской государственности и тому, как складывались отношения России с ее ближайшими соседями. Формирование образа границ империи и ее провиденциальной миссии на «приграничных» территориях прослеживается через реконструкцию латентных русоцентричных имперских установок на материале различных культурных источников. Это литературные тексты и новые литературные жанры, структура издательского поля и критические публичные полемики.

Смежная линия посвящена тому, как имперская логика структурирует пространство. Речь идет не только о реальной геополитической, но в первую очередь о ментальной или воображаемой колонизации пространства. Автономные пространства (мысленно, ментально, логически) присваиваются и оказываются «окраинами» большой империи, которая семантизирует и ресемантизирует их согласно собственным представлениям о границах или об отсутствии таковых (потенциально «безграничная» империя). Подчинение границ происходит среди прочего и через подчинение дискурсов, например в эпистолярной традиции колонизирующего путешествия (травелога).

Параллельно этим двум сюжетам разворачивается линия исследования сложносочиненных «гибридных» дискурсов (идеологических проектов, популярных исторических нарративов, публицистики), в которых выражается наследование от царской России к постсоветской. Прослеживается функционирование имперской риторики в современном официальном дискурсе, в практиках мемориализации, в миссионерских прокламациях и т.д. Экстремистские и расистские стереотипы, националистические идеологемы, героические мифы и сакрализованные символы имперского воображения позволяют поддерживать значимый образ империи и (пост)имперской идентичности и вписывать его в современность. Показывается, что реабилитация имперского во многом осуществляется через реабилитацию советского. Об этом свидетельствует великодержавная риторика, в которой смешиваются утопия, ностальгия по величию, неприятие или присвоение Другого и resentment.

Отдельный блок посвящен постсоветским литературам, которые концептуализируются как постколониальные, хотя такая концептуализация представляет собой открытую методологическую проблему. В блоке исследуется творчество писателей так называемого «внутреннего зарубежья» имперской и постимперской России, произведения которых репрезентируют взгляд Другого. Попытки этих писателей пережить распад прежней идентичности колонизированного субъекта сочетаются с желанием переизобрести собственную утраченную традицию или коллективную субъектность. Отмечается, что бывшие колонизованные субъекты пытаются преодолеть травму, вместе с тем воспроизводя ценности и риторику своих колонизаторов, разделяя «общий язык» имперского сознания.

Еще одна важная концептуальная линия посвящена визуальным исследованиям (пост)имперского воображения. Объектом изучения становится этнографическая фотография Российской империи, отражающая логику подчинения окраин и вписывания Другого в собственный этноцентрический режим зрения. На примерах этнографической фотографии XIX века, способов организации выставок и выборки арт-объектов реконструируется политика изображения, свойственная российскому имперскому сознанию: показывается, каким образом сам взгляд на арт-объект воспроизводит принцип колонизации и привносит расистские импликации. Через выявление условий и предпосылок создания художественного образа живые люди и этнические общности — объекты изображения — предстают как продукт / ресурс этнографического имперского воображения художника / фотографа.

Наконец, в отдельном блоке речь пойдет о криминальной антропологии имперской России: способах концептуализации фигуры преступника и стратегиях вписывания ее в структуру властных отношений, в научный и литературный нарративы. Будут рассмотрены институты уголовного правосудия и судебной психиатрии в имперской России XIX века, контекстуально проблематизированы понятия нормы и патологии. Будет показано, как социально-биологический детерминизм того времени был связан с националистическим мировоззрением русского империализма и ностальгией по особому «русскому образу жизни».

Помимо самых разнообразных исследовательских сюжетов из культурной антропологии имперской России авторы специального выпуска ставят целью осмыслить уже существующий и выработать новый терминологический аппарат и методологический инструментарий для описания (пост)имперских культурных политик и практик.

Факты и мифы в картографии российской империи

Вера Проскурина

Ландшафт империи:

«АНТИДОТ» ЕКАТЕРИНЫ II ПРОТИВ
«ПУТЕШЕСТВИЯ В СИБИРЬ», ИЛИ ГРАНИЦЫ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Vera Proskurina

The Landscape of Empire: Catherine the Great's *Antidote* for the *Voyage en Sibérie*,
or The Borders of European Civilization

Вера Проскурина (Университет Эмори,
США; профессор; PhD) vprosku@emory.edu.

Vera Proskurina (Emory University USA; Professor;
PhD) vprosku@emory.edu.

Ключевые слова: цивилизация, варварство,
границы Европы, XVIII век, русско-француз-
ские отношения

Key words: civilization, barbarity, borders of Europe,
18th century, Russian-French relations

УДК: 929+82-94

UDC: 929+82-94

В статье исследуется идеологический и политический контекст полемики Екатерины II с книгой аббата Шаппа д'Аутероша «Путешествие в Сибирь», ставшей предметом спора в европейских интеллектуальных кругах конца 1760-х — начала 1770-х годов. Императрица ответила на неприглядный образ России своим двухтомным «Антидотом», написанным по-французски: «Antidote, ou Examen d'un mauvais livre superbement imprimé, intitulé Voyage en Sibérie» (1770). В микроистории, описывающей битву двух книг, проявляются две концепции, два подхода (русский и европейский) к определению границ между цивилизацией и варварством. Журнал Н.И. Новикова «Кошелек» оказался единственным русским периодическим изданием, которое вступило в эту дискуссию периода «холодной войны» между Россией и Францией в начале 1770-х годов.

Proskurina investigates the ideological and political context of the polemics between Catherine the Great and the Abbé Chappe d'Auteroche's *Voyage to Siberia*, which was an object of debate in European intellectual circles in the late 1760s — early 1770s. The empress responded to the Abbé's unflattering image of Russia with her two-volume *Antidote*, written in French: *Antidote, ou Examen d'un mauvais livre superbement imprimé, intitulé Voyage en Sibérie* (1770). The microhistory around the battle between these two books yields two concepts, two approaches (Russian and European) in defining the boundaries between civilization and barbarianism. N.I. Novikov's journal *The Purse* was the sole Russian periodical to enter into this discussion during the “Cold War” under way between Russia and France in the early 1770s.

Книга «Антидот», атрибутированная ряду лиц, в первую очередь Екатерине II, написанная по-французски и выпущенная впервые в 1770 году без указания автора и места издания, уже неоднократно становилась объектом самых серьезных исследований [Lortholary 1951; Monnier 1997; Mervaud 1998; Carrère d'Encausse 2003; Императрица и Аббат 2005: 5—54; Mervaud 2004; Levitt 2009]. Эта книга была, как известно, ответом на сочинение аббата Шаппа д'Отероша «Путешествие в Сибирь по приказу короля в 1761 году» (1768). Д'Отерош совершил свое путешествие в Россию в 1761—1762 годах (из 15 месяцев только 7 он провел в Сибири, а остальное время — в Санкт-Петербурге). Поводом к визиту аббата и адъюнкт-астронома французской Королевской академии наук было наблюдение и описание редкого астрономического явления — прохождения Венеры через диск Солнца, имевшего место 26 мая 1761 года.

Д'Отерош покинул Россию в мае 1762 года, за несколько недель до прихода к власти Екатерины; тем не менее, издавая свою книгу спустя 6 лет, аббат смешивал временные, географические и социальные границы. Книга повествовала не только о царствовании Елизаветы Петровны и Петра III, свидетелем которых автор непосредственно являлся, но захватывала и екатерининский период (до 1767 года). Связывая по модной тогда теории Монтескье разные исторические периоды русской истории в один обобщенный «деспотический тип» правления, автор фолианта подмешивал к известной философской концепции сильнейшую идеологическую струю.

Россия как Сибирь: по ту сторону цивилизации

Роскошно изданный труд ориентировал читателя на то, что перед ним будут развернуты путевые заметки о Сибири — описание далеких и экзотических мест и народностей. Однако книга претендовала на анализ **всего** русского общества. Крестьянский быт народов Сибири выдавался за описание **всех** русских, их национальных черт вообще. Автор довольно подробно описывал начало своего путешествия еще в Польше, продолжил описание вплоть до Риги, но практически опустил все детали вояжа по европейской части России. Цивилизация, хотя и относительная, для путешественника закончилась в Риге, некогда, до завоевания Петром I, принадлежавшей шведам, о чем автор не преминул упомянуть. Ни Санкт-Петербург, ни Москва не удостоились внимания путешественника. Лишь перенесясь в азиатскую часть, за Урал, аббат открыл свои записные книжки. Таким образом, Россия на страницах книги поворачивалась к Европе не своим европеизированным фасадом, а отсталым, почти дикарским задним двором. Лицом России представляла в книге Шаппа полуварварская, утопающая в непроходимых снегах Сибирь.

Этот варварский дикий уклад символизировали многочисленные иллюстрации, выполненные талантливым художником Ж.-Б. Лепренсем. Среди выразительных, вполне натуралистических рисунков, изображавших многочисленные наказания кнутом или дикость совместного мытья в бане мужчин, женщин и детей, выделялась одна аллегорическая картинка. Здесь изображались две модные, галантные дамы, символизирующие Францию и Австрию. Воплощая триумф цивилизации и цивилизованности (понятия в то время почти совпадающие), они в вежливом изумлении смотрели на стоящую рядом Россию,

в варварской шубе, подпоясанной веревкой, и с секирой в руках¹. Именно таков был политико-идеологический дизайн всей книги — Россия вышла на арену европейской жизни, но в варварском, нецивилизованном виде. Книга Шаппа прокладывала границы цивилизации по берегам Немана. За его восточным берегом европейцам представлялась Россия как Сибирь — средневековая страна, лишенная всякого потенциала для развития цивилизации.

Аббат-астроном был наследником просветительской философской генерализации: он попытался охватить «хаос», разнородные явления повседневной жизни, одним взглядом, измерить их одной линейкой и подогнать разнообразие фактов под единую концепцию — своего рода классицистическое единство действия, места и времени [Кассирер 2004: 38]. Автор претендовал на знание буквально всех сторон русской жизни: армия и флот, финансы и налоги, религия и воспитание, демография и география — все это подвергалось критике, поверялось «вычислениями» и «доказательствами», вызывающими сомнения у первых же читателей книги.

Единственный зритель проносился в своей кибитке по однообразным снежным равнинам, а перед ним на сцену выходили персонажи театрализованного описания, символизируя те или иные «пороки», а *rigor* присущие всем русским, не имеющим, по мысли аббата, никаких шансов на изменение как государственного устройства, так и быта. Развращенные «нравы» (насилие, пьянство, разврат, предрассудки) и ужасный варварский «быт» с неизбежностью, как полагает автор, воспроизводят один и тот же «деспотический» политический тип государства.

Аббат-ученый, однако, не ограничился лишь этнографическими описаниями. Полемизируя с Монтескье, он дополнял его теорию собственными экстравагантными выкладками. Механистически соединяя физиологию, медицину, психологию, климатологию с политической типологией Монтескье, Шаш д'Отерош приходит к особо поразительному выводу о дефективности у русских «нервической субстанции» («*le suc nerveux*») [Mervaud 2004: 432], вернее ее «негибкости» и «неподвижности», возникающих из-за доминирования плоского ландшафта. Именно этот недостаток «нервного сока» (если буквально перевести с французского выражение аббата) предопределяет вечную политическую апатию и делает невозможным освобождение всего русского общества от деспотизма, а русского крестьянства — от рабства.

Огромный фолиант, оснащенный картами, изысканными иллюстрациями, всевозможными измерениями и вычислениями, претендовал на научно верифицированный обзор всей России. Обзор оказался скорее приговором: нация объявлялась варварской, столетиями прозябающей под деспотическим правлением, лишенной всякой перспективы цивилизационного взлета.

Стремление автора «Путешествия в Сибирь» многочисленными схемами и вычислениями (взятыми, как правило, из вторых рук) создать антураж научного труда, подкрепить этой материальной базой свои теории было завершением и — одновременно — свидетельством кризиса просветительской картины мира, доведением дискурса Просвещения до его логического предела. Здесь возникало принципиальное противоречие — просветительская доктрина

1 Впрочем, и Польша, аллегорически изображенная на той же картинке в виде сидящей внизу крестьянской девушки с мужской сарматской бритой головой и чубом наверху, также выглядела за гранью цивилизованности.

основывалась не на наблюдении, эксперименте и конкретике, а на разуме, на идее, на теории, почерпнутых из идеала, образца. Всякое отклонение признавалось варварством, несовершенством, рассматривалось вне исторического контекста. До Гердера и его критики просветительского механицизма и вне-историзма оставалось совсем немного времени, и книга аббата несла на себе отпечаток этого переходного периода.

Несмотря на неожиданно появившиеся славословия Екатерине II («Блажен народ, имеющий счастье быть управляемым подобной государыней!» [Императрица и Аббат 2005: 120]²), автор создал столь мрачную картину тиранической, рабской страны, что высокая оценка выглядела скорее сарказмом: «Сим народом, обремененным рабским ярмом, и правит ныне императрица Ангальт-Цербстская» [Там же]. Наименование русской императрицы по ее девичьему имени, адресуящему к заштатному немецкому двору, звучало оскорбительно.

Книга Шаппа д'Отероша писалась для европейского читателя — в России для нее еще не нашлось подходящей аудитории. Неслучайно Екатерина II оказалась практически единственным заинтересованным читателем, способным дать критическую оценку труду аббата. Не дождавшись ответа от собственных ученых-академиков (поначалу императрица обратилась к специалисту по Сибири Г.Ф. Миллеру и историку И.Н. Болтину³), Екатерина сама взялась за перо. Ее ответом и стал двухтомный «Антидот», написанный по-французски: «Antidote, ou Examen d'un mauvais livre superbement imprimé, intitulé Voyage en Sibérie»⁴.

Совершенно секретно, или Кто и как составлял «Антидот»

Об авторстве Екатерины уверенно писал в своих мемуарах граф Луи-Филипп Сегюр, французский дипломат при дворе Екатерины в 1785—1789 годах. Сегюр был хорошо информирован о литературных предприятиях императрицы, сам принимал в них участие, все годы пребывания в России принадлежал к числу ее постоянных собеседников. Рассказывая о полемике с Шаппом д'Отерошем, он без тени сомнения приписывал Екатерине авторство этой книги: «Когда аббат Шапп, в изданном им путешествии в Сибирь, высказал злые клеветы на нравы русского народа и правление Екатерины, она опровергла его в сочинении под заглавием Antidote» [Сегюр 1989: 323]. Уверенность Сегюра, вероятнее всего, основывалась на разговорах в окружении императрицы; возможно также, что французский дипломат, отправленный в Петербург налаживать отношения с русским двором, обладал и секретными знаниями.

-
- 2 В дальнейшем все ссылки на русский перевод «Антидота» и «Путешествия в Сибирь» аббата Шаппа приводятся в тексте статьи по этому изданию.
 - 3 А.С. Пушкин в набросках статьи об этой полемике писал: «В 1768 году аббат напечатал свое путешествие, которое смелостью и легкомыслием замечаний сильно оскорбило Екатерину, и она велела Миллеру и Болтину отвечать аббату» [Пушкин 1978: 103—104].
 - 4 Впервые книга появилась в 1770 году без указания автора и места издания (предположительно — Санкт-Петербург). Вторым изданием, также анонимным, книга вышла в 1771—1772-м в Амстердаме.

В 1837 году митрополит Евгений (Болховитинов), опираясь на бытовавшее предание, как и Пушкин в своей незаконченной заметке 1836 года, уверенно называл Екатерину автором «Антидота» [Болховитинов 1845: 208]. А.Н. Пыпин достаточно убедительно показал причастность самой Екатерины II к работе над текстом книги, и не только к ее стратегическому планированию. Отдельные фрагменты «Антидота» имеют автобиографический характер и могут быть изложены только самой императрицей: таковы наполненные личными деталями и подробностями рассказы о смерти Елизаветы Петровны, о первом дне царствования Петра III или о совершенной Екатериной поездке в Казань. Анализируя типичные и повторяющиеся ошибки Екатерины во французском (молодой граф А.П. Шувалов, видимо, не осмеливался всякий раз исправлять их), устойчивые стилистические обороты, чрезвычайно раздраженный тон книги, а также характер заполнения рукописи ее переписчиком Г.В. Козицким, исследователь продемонстрировал тот факт, что императрица была непосредственно вовлечена в процесс написания этой отповеди [Пыпин 1901].

Вместе с тем несомненно и то, что два чрезвычайно квалифицированных помощника ассистировали Екатерине в этом предприятии — уже упомянутые А.П. Шувалов и Г.В. Козицкий. Первый — автор французских стихов, ученик Вольтера. Он принадлежал к ближайшему окружению императрицы, правил ее французский язык, участвовал в коллективном переводе «Велизария» Мармонтеля (во время путешествия по Волге в 1767 году), как и в статьях «Всякой всячины». Второй — Г.В. Козицкий, статс-секретарь Екатерины, редактор всех литературных и переводческих предприятий императрицы той поры; его рукой переписан сохранившийся список «Антидота». Один из лучших исследователей XVIII века В.П. Степанов пришел к заключению, что работа помощников — Козицкого и Шувалова — имела скорее технический характер (подборка и проверка материалов, редактирование и переписка белового текста, наблюдение за изданием 1770 года) [Степанов 1999: 95].

Работа над текстом «Антидота» велась в высшей степени секретно — обстоятельства написания скрывались даже от тех, к кому императрица первоначально, в порыве чувств, весьма неосторожно обратилась с просьбой о помощи — как, например, к работавшему в Петербурге скульптору Этьену Фальконе. В письме к императрице от 9 ноября 1769 года Фальконе упоминает о недавнем разговоре с Екатериной по поводу книги аббата и о будущем ответе на «клевету»:

Ваше Величество имели снисхождение разговаривать со мною о книге аббата Шаппа и ответе, который было бы кстати сделать. Ежедневно слышу обвинения этой книги в легкомыслии и лжи. Как она в сущности ни презренна и, следовательно, ни заслуживала бы формального опровержения, тем не менее было бы, без сомнения, не дурно выставить ошибочные клеветы этого писателя в сочинении, которое не было бы издано нарочно с этою целью, но было бы весьма распространено; таково было мое мнение, когда Ваше Величество мне о том говорили. Если бы то было мое ремесло, то я испросил бы разрешения, и ответ был бы сделан в моей переписке с Дидеротом [СИРИО 1876, 17: 93—94; *Correspondence de Falconet* 1921: 108].

Фальконе предлагает Екатерине использовать в качестве помощника некоего господина Жирара — знакомого Дидро, практикующего врача, живущего в Петербурге и составляющего свою собственную историю современной России:

Эта краткая история России, мне кажется, ответит гораздо лучше, чем прямое опровержение на клеветы против России (к тому же Жирар очень недоволен книгою аббата [СИРИО 1876, 17: 94].

Екатерина немедленно ответила Фальконе — ее письмо помечено тем же числом, что и запрос Фальконе: «Я презираю аббата Шаппа и его книгу и не считаю его достойным опровержения, потому что высказанные им глупости упадут сами собою <...>» [СИРИО 1876 17:95].

В то время как Екатерина объявляла, что «презирает» книгу Шаппа и не видит абсолютно никакой необходимости на нее реагировать, она уже интенсивно работала над ответом, который, вопреки советам Фальконе, был **специально** посвящен анализу книги аббата, без всяких околичностей и «случайных» предлогов. Екатерина была настолько задета «Путешествием в Сибирь», что посчитала абсолютно необходимым дать полномасштабный бой своему врагу, несмотря на очевидный риск — в случае обнаружения ее авторства показаться в невыгодном свете, быть *ridicule*, отвечая столь «незначительному» человеку с высоты императорского трона.

Уже после выхода «Антидота», когда в парижских салонах спорили об авторстве этой анонимной книги, Фальконе в письме императрице от 29 мая 1771 года передавал распространяющиеся слухи о его собственной причастности к сочинению и даже просил Екатерину прислать экземпляра:

Дидерот хвалит также антидот против лжи аббата Шаппа. В Париже они думают, что я автор этого сочинения, еще мною невиданного, несмотря на мои розыски. Смею ли по крайней мере умолять Ваше всемогущее Величество вытребовать экземпляр этой книги для моего употребления, чтобы в свою очередь познакомиться с книгою, которую мне понапрасну приписывают [Correspondence de Falconet 1921: 129].

Екатерина немедленно и весьма веско ответила отказом: «Просимой вами книги у меня нет, я вам сказала это, я не нашла ее в продаже и приказала выписать ее из Голландии» [Correspondence de Falconet 1921:133].

Упоминание Голландии здесь особенно примечательно, если иметь в виду, что первое издание «Антидота» (1770) вышло без указания места печати. Как полагал А.Н. Пыпин, неаккуратная корректура (похожая на русское издание коллективного перевода «Велисария» Мармонтеля) свидетельствует скорее о том, что первое издание 1770 года печаталось в русской типографии [Пыпин 1901: XLVI]. Второе же — более исправное — издание, готовившееся в то самое время, когда Фальконе прислал свой запрос, вышло действительно в Амстердаме: в 1771 году вышел первый том, а в 1772-м — второй. В мае 1771 года шла работа над вторым томом «голландского» издания, и Екатерина была прекрасно осведомлена о ходе работ. Одновременно готовился английский перевод книги (выйдет в Лондоне в 1772 году). Слова об отсутствии этой книги и о необходимости ее покупки в Голландии в ответном послании выглядят абсолютным лукавством со стороны императрицы, намеренно дистанцировавшейся от «Антидота».

Среди одной коллекции автографов во Франции была обнаружена записка Екатерины, датированная 23 ноября 1770 года и обращенная к неизвестному лицу: «Сделайте так, чтобы эта книга попала в руки князя [Кауница. — В.П.],

но не проговоритесь о том, что я принимаю в ней участие. Вы уже знакомы с ее первой частью, вторая еще лучше»⁵. Записка, с одной стороны, может служить дополнительным основанием, подтверждающим авторство Екатерины. Говоря об авторстве, следует иметь в виду, что все сочинения императрицы редактировались ее секретарями, а иногда дополнялись стихотворными вставками, как в случае с комическими операми. В этом плане «авторство» «Антидота» мало чем отличается от авторства других ее произведений.

С другой стороны, в этой записке чрезвычайно важно то, что императрица тщательно сохраняет анонимность; обычное ее авторское тщеславие отступает перед какими-то другими задачами, которые выполнял «Антидот».

Оставаясь за кулисами всего предприятия, Екатерина создала образ автора — образованного «писателя» и «воина». В середине текста «Антидота» появляется несколько неожиданное заявление автора, более уместное для вступления:

Вы, быть может, спросите, зачем я беру на себя сей труд? Знайте, что только из раядения о своей родине одолеваю скуку, сопряженную с чтением вашей книги и ее опровержением. Я имею честь быть русским, я этим горжусь, я стану защищать мою родину и языком, и пером, и мечом, покуда хватит сил <...> Я далек от того, чтобы считать себя остроумнейшим, умнейшим, красноречивейшим, лучшим писателем и искуснейшим воином своего народа <...> [Императрица и Аббат 2005: 275].

Строгая секретность вокруг авторства «Антидота» была вызвана не только неуместностью полемики русской императрицы с заезжим путешественником. Этот воин-писатель призван был свидетельствовать «в защиту» России и самой императрицы, опровергнуть своим текстом каждую строчку «лжесвидетельства» со стороны Шаппа. Противоядие должно быть, согласно медицинским представлениям времени, соразмерно яду, оттого книга «Антидот» получилась чрезвычайно большой по объему, удивляющей европейских читателей своими мелочными привязками почти к каждому приведенному путешественником факту или суждению. Между тем за мелочными придириками прорисовывалась своя система. Здесь проявилась — хотя и в утрированном виде — просветительская вера в силу слова: текст был способом контроля, а потому необходимо было «разоблачить» **каждое** слово и **каждое** заключение «дурной» книги — дезавуировать или, вернее, **заместить** «ложный» текст своим «истинным» текстом. Это означало взять контроль над восприятием России, ее прошлого и настоящего, в свои руки.

Маска русского образованного писателя-рыцаря, владеющего французским языком, была также чрезвычайно важна. Этот готовый не только к книжной, но и реальной дуэли молодой писатель-рыцарь, от лица которого якобы написан «Антидот», самим фактом своего существования должен был свидетельствовать об успехах России на пути к просвещению, как и о формировании нового европейски ориентированного культурного слоя. Сама фигура такого автора демонстрировала ложность мнения Шаппа о варварстве русских, об их неспособности к культурным изменениям. Важно было и то, что автор «Антидота» претендовал на то, что он обладает обширными знаниями и языком со-

5 «Faites tomber ce livre entre les mains du prince, mais gardez-vous bien de dire que j'y ai part <...>» [Tourneux 1899: 23]. Здесь и далее (кроме оговоренных случаев) — перевод с французского мой. — В.П.

временной цивилизации — настолько, что может с легкостью опровергать тезисы французского ученого, члена Академии наук.

В письме Екатерины к госпоже Бьелке от 6 октября 1773 года этот миф о писателе-рыцаре был доведен до логического конца: императрица сообщала, что третья часть «Антидота» не увидит свет, «так как автор этого сочинения убит Турками» [СИРИО 1874, 13: 361]. Сообщение о героической смерти «автора» «Антидота» на войне было не только данью сконструированной императрицей литературной мистификации. В официальной поэзии периода первой турецкой войны 1769—1775 годов русские воины предстают наследниками французов-крестоносцев, а Россия осмысливается как идейная наследница Франции — как страна, перехватившая наследие лидера в борьбе с «неверными», то есть как носительница основополагающей европейской цивилизационной парадигмы. Франция же, поддержавшая Турцию в войне против России, трактуется как предательница своей некогда высокой миссии. Так, Петров пишет в «Оде на победы российского флота, одержанные над турецким, под предводительством графа Алексея Григорьевича Орлова, в Архипелаге при Хиосе, 1770 года»:

Крепи, и громом их, сколь можешь, Галл, снабжай,
 Себе и своему студ роду умножай;
 Прапрадеды твои в непросвещенны лета
 В след Римлянина шли в далекий Юга край;
 Ты днесь воюешь втай
 На Россов за Махмета!

[Петров 1770: 9].

В таком контексте смерть автора «Антидота» — отповеди французам, «втай» воюющим «на Россов за Махмета», — выглядела героической. В то же самое время, как кажется, именно эта строчка письма, посланного в Гамбург, также свидетельствует в пользу авторства Екатерины. В письме она неожиданно открывает свое близкое «знакомство» с таинственным автором книги — императрица оказывается хорошо осведомлена о судьбе воина-писателя, вопреки распространяемым в других ее письмах небрежных и индифферентных намеках о незнании книги, об отсутствии ее в ее библиотеке. В этом же письме императрица не скрывает, что она точно знает, что третья часть книги не написана и не будет опубликована. Смерть автора — красивое завершение всей мистификации. Екатерина создала этот образ-маску — автора текста — и сама срежиссировала его воображаемую героическую смерть.

В свою очередь, придумав собственную литературную маску, императрица изначально **не слишком верила в реальное авторство своего оппонента**. Исследователей удивляло, что гневные нападки на аббата в «Антидоте» продолжались даже в то время, когда уже пришло известие о его неожиданной смерти. Шапп д’Отерош умер от лихорадки 1 августа 1769 года в Калифорнии, во время очередной экспедиции. Тем не менее автор «Антидота», уже во втором томе, продолжал яростно обличать своего обидчика: «О, г. аббат, г. аббат! Ежели верить газетным известиям, вас уже нет в живых, так пусть же Небо смилостивится над вашею душою. <...> Русская пословица гласит: “щука издохла, да зубы остались”» [Императрица и Аббат 2005: 351]. В первом томе императрица прямо указывает, что кто-то воспользовался именем аббата, что сам он не в состоянии был написать эту книгу: «А вы, бедный аббат, если

вы ограничились тем, что дали взаймы свое имя, то вы просто жалки. Люди, знавшие вас в России, говорят, что ваших способностей не хватило бы даже на сочинение такой толстой книги, как бы ни была она дурно написана <...>» [Там же: 253].

Екатерина предполагала, что «Путешествие в Сибирь», появившееся спустя 6 лет после отъезда аббата из России, написано не самим Шаппом. Для конспирологической концепции в 1769 году — в начале Русско-турецкой войны — были, как полагал русский двор, свои основания. Политико-дипломатический контекст появления книги Шаппа и его опровержения «Антидотом» был хорошо понятен современникам. Тот же французский дипломат Сегюр дал детальное и точное описание русско-французских отношений 1760—1770-х годов:

Уже в продолжение нескольких лет отношения между версальским и петербургским дворами были довольно холодны. Герцог Шуазель не щадил самолюбия Екатерины II. В России полагали, что злоречивое сочинение аббата Шаппа было внушено этим министром. Кроме того, в Польше мы противились избранию Станислава Августа. <...> Наконец, так как стремления императрицы были направлены к разрушению Оттоманской империи, открытое покровительство, которое мы оказывали султану, служило препятствием ее намерениям [Сегюр 1989: 316—317].

В «Антидоте» Екатерина открыто объявляла о политической ангажированности книги Шаппа, связывая ее с усилиями Франции по изоляции России. Французский исследователь Морис Турне, знаток рукописных материалов, не сомневался, что книга Шаппа написана не просто по заказу, но и под диктовку враждебной партии — трех послов в России (двух французских и шведского): «Заметки эти он (Шапп. — В.П.) писал, главным образом, со слов барона Бретейля, маркиза Л'Опиталья и шведского посланника. Екатерина увидала в них преднамеренную ложь, сочиненную по приказанию Шуазёля, и очень рассердилась <...> [Дидро и Екатерина 1902: 9].

Мистификация Екатерины имела политический смысл и была связана с обстоятельствами начавшейся войны с турками. В ее письмах к Вольтеру 1769—1772 годов Русско-турецкая война осмыслялась в парадигмах борьбы между новой Россией, перенявшей законы просвещения от ослабевшей Европы, с одной стороны, и азиатской, деспотической и варварской Оттоманской империей. Русские представляли новыми «крестоносцами», заместившими европейцев в деле вытеснения турок из Европы. Минерва Севера не могла и не желала руководить страной варваров — книге Шаппа надо было дать литературный бой, взять пространство текста, а следовательно, и пространство смысла под символический контроль.

Под контролем Минервы Севера

Существовали и другие, более простые и менее философские способы контроля, но в данном случае они не сработали. Незадолго до истории с Шаппом, в 1768 году, Екатерине удалось путем переговоров и — возможно — денег удержать от публикации другое сочинение, направленное против русского двора. Это была книга французского дипломата и историка Клода-Карломана Рюльера «История и анекдоты революции в России в 1762 году», представляющая

императрицу в чрезвычайно неприглядном виде [Chevalier 1939]. Ситуация с книгой Рюльера служила фоном скандала вокруг «Путешествия в Сибирь» Шаппа и «Антидота». Рюльер оказался в Петербурге в качестве секретаря Бретейля, посла Франции в период переворота 1762 года. Еще будучи в Петербурге, он подружился с аббатом Шаппом. Сочинение Рюльера не претендовало на философскую глубину или научную обоснованность. Это были мемуары, основанные прежде всего на сплетнях дипломатических кругов. Е.Р. Дашкова, хорошо знавшая Рюльера по Петербургу, насчитала не менее 17 серьезных фактических ошибок в этой книге [Дашкова 1877: 360].

Между тем Рюльер, согласившись не публиковать книгу при жизни императрицы, открыто читал и распространял рукопись в парижских салонах. Дидро и Фальконе принимали самое непосредственное участие в переговорах с Рюльером, и, в общем-то, они во многом помогли Екатерине избежать еще большего скандала — открытой публикации книги. Однако Екатерина осталась чрезвычайно недовольна тем, что Рюльер перехитрил ее французских друзей, вовремя снял несколько копий с оригинала и надежно спрятал их у влиятельных людей [Тимиразев 1894: 508—524].

Е.Р. Дашкова, путешествовавшая по Европе в 1770 и в 1771 годах, оказалась в Париже сразу после скандалов с Рюльером и аббатом д'Отерошем. Она демонстративно отказалась принимать Рюльера в своей резиденции в Париже и даже написала критические замечания на его книгу. Полуопальной княгине необходимо было завоевать утраченное доверие Екатерины, а потому — дистанцироваться от Рюльера, старого знакомого и завсегдатая ее санкт-петербургского салона. Княгиня прекрасно знала, что каждый ее шаг и каждое суждение доходят до императрицы.

Вполне вероятно, что негативные, разоблачительные отзывы о книге Рюльера, откровенная апологетика русской императрицы, демонстрируемая княгиней в парижских салонах, — все это породило «французскую» гипотезу о том, что княгиня Дашкова являлась автором «Антидота». Сплетни о вовлеченности в «Антидот» Фальконе также проистекают из того же скандала вокруг книги Рюльера.

На фоне ситуации с Рюльером становится понятна стратегия полной секретности Екатерины в новой истории — истории «Антидота». Екатерина, однако, применила в этом случае и «финансовую стратегию», скупая почти полностью экземпляры чрезвычайно дорогой книги Шаппа. Главным же элементом стратегии была секретность, а также создание литературной маски, дистанцированной от всех потенциально возможных «участников» написания «Антидота», так или иначе замешанных в рюльеровском скандале.

Первым актом, направленным против Шаппа и спланированным Минервой Севера, была написанная Гриммом саркастическая рецензия в издаваемой им (совместно с Дидро) «Литературной, философской и критической корреспонденции». 1 марта 1769 года этот текст был помещен на страницах самого модного обозрения культурной жизни Европы, в числе подписчиков которого была и Екатерина II. Деловые отношения Гримма с императрицей начались уже в 1764 году [СИРИО 1885 44: 1—3] при посредничестве князя Дмитрия Алексеевича Голицына — русского посла при Версальском дворе (с 1769 года — посла в Гааге). Я.К. Грот, издавая переписку между императрицей и Гриммом, сообщал: «Сношения Гримма с русским двором начались, сколько мне известно из дел Государственного архива, с 1764 года; вскоре он стал посылать по-

мянутую «Корреспонденцию» в Петербург и сделался комиссионером государственной, например участвовал в посредничестве при покупке библиотеки Дидро» [Грот 1879: 8].

Отношения с Екатериной быстро перерастут в крепкую дружбу; Гримму будут поручаться личные (иногда — чрезвычайно интимные) дела. Некоторые исследователи гадали, кто из двух издателей «Корреспонденции» — Гримм или Дидро — написал эту заметку [Mervaud 2004: 85]. Не подлежит сомнению, что автором критической статьи в адрес аббата Шаппа мог быть только сам Гримм. Екатерина, даже если и хотела, совершенно не могла бы навязать Дидро свои мнения; вся история их отношений и известных личных бесед свидетельствует о противном — о существенной разнице во взглядах, об известной интеллектуальной дистанции между ней и Дидро. Екатерина, опытный политик, понимала, что манипулировать Дидро было бы крайне неосторожно именно в этот момент: только что осуществленная в 1768 году покупка его библиотеки была весьма важной пропагандистской акцией, которую императрица не решилась бы компрометировать «давлением» на Дидро ради одной негативной статьи о Шаппе.

Отзыв Гримма в «Корреспонденции» удивительным образом напоминает сам «Антидот» своим резким тоном и нагромождением негативных эпитетов в адрес автора книги «Путешествие в Сибирь». Гримм касается самой личности аббата, который, по его мнению, претендует на то, чтобы все познать в России, ничему не учась, и все увидеть — не глядя, всего лишь «промчавшись на почтовых от Парижа до Тобольска» [Correspondence littéraire 1879, IX: 299]. Его книга — образец «невежества, высокомерия, банальности, легкомыслия, незрелого и мелочного вкуса, равнодушия к истине» [Correspondence littéraire 1879, IX: 300]. Автор не заслуживает никакого доверия, все взято из вторых рук или представляет перевод либо компиляцию, а сама книга написана невеждой, который всячески старается выдать себя за философа.

Один из параграфов этого текста особенно примечателен. Гримм замечает о Шаппе:

Он наизусть знает все в правительстве России, он знаком с ее сухопутными силами и ее флотом, он рапортует о ее ежегодных доходах <...>. Он, по примеру Руссо, пророческует о мощи России, и я убежден, что он считает себя в состоянии давать советы кабинетам Европы, чтобы те присматривали за этой мощью [Correspondence littéraire 1879, IX: 301].

В некоторых фрагментах рецензия Гримма обнаруживает сходство с французским письмом неизвестного, которое по ошибке (как полагал уже Пыпин) оказалось напечатано в десятом Сборнике императорского русского исторического общества как «собственноручная» записка Екатерины — поскольку это письмо было переписано ее рукой. Обращаясь к неизвестному адресату и прося представить эту записку его «просвещенному покровителю», автор записки сообщает о Шаппе:

Под предлогом наблюдения соединения прекрасной Венеры с дневным светилом, он (Шапп. — *В.П.*) принялся измеривать источники вашего могущества, т.е. ежегодные доходы государства, ваши сухопутные и морские силы <...>. Кажется даже, что он не забыл устройство вашего правительства [СИРИО 1872 10: 318].

Вполне возможно, что это письмо, скопированное Екатериной для своих целей, написано тем же Гриммом и адресовано или бывшему русскому послу во Франции князю Д.А. Голицыну, или его преемнику Н.К. Хотинскому (с мая 1768 года сменившему Голицына), или И.И. Бецкому, через которых начинающий «комиссионер» сообщался с русским двором до личного знакомства с императрицей в 1773 году. Так или иначе, но записка попала в руки Екатерины, которая переписала ее и использовала в «Антидоте» в очень близких, почти дословно повторяющихся выражениях:

И под предлогом наблюдений над прохождением Венеры по солнечному диску они (враги, стоящие за Шаппом. — *В.П.*) принялись оценивать по-своему источники нашего могущества, то бишь выставлять в ненавистном свете образ нашего правления... они занялись умалением годовых доходов государства, его сухопутных и морских сил <...>» [Императрица и Аббат 2005: 286].

Вполне вероятно, что рецензия Гримма в «Корреспонденции» была «согласована» с самой Минервой Севера⁶. Именно тогда императрица нуждалась в быстром и веском ответе, который бы изначально подорвал доверие к книге среди европейских читателей, бросил тень на «научные» основания его книги и акцентировал специфические задачи, которые выполнял аббат. Сама же Екатерина взяла на вооружение эту рецензию (как и переписанную ее рукой «записку»). Рецензия Гримма послужила для нее чем-то вроде кратких тезисов, которые она детально развернула в «Антидоте».

Какая книга хуже: «Антидот» в переписке Вольтера и Дидро

Ни с одним из произведений императрицы не было ничего подобного: обычно анонимно издавая в России собственные сочинения, тщеславная Екатерина так или иначе открывала свое авторство, особенно в переписке с Вольтером. В этом случае императрица надела столь непроницаемую маску, что даже ее ближайшие французские корреспонденты — Вольтер, Дидро и Фальконе — не сумели разгадать литературно-политической мистификации своей покровительницы. Автор в маске остался неузнанным не только для большинства читателей, но даже для самых преданных европейских друзей.

В письме к Вольтеру от 12/23 января 1771 года Екатерина мимоходом, небрежно упомянула Шаппа. Рассказывая о визите прусского принца, она заметила: «<...> Кажется, ему здесь понравилось больше, чем аббату Шаппу, который, промчавшись на почтовых в плотно закрытом возке, все увидел в России» [Documents of Catherine the Great 1931: 95]. Вольтер не подхватил этот затруднительный для него сюжет и отвечал Екатерине уклончивыми любезностями, уверяя, что он «екатерининец», противостоящий злонамеренным «мустафитам» [Documents of Catherine the Great 1931: 97]. Вольтер, видимо, действительно был в затруднении, полагая, что автором «Антидота» является Дашкова (а холодное отношение императрицы к Дашковой не было для него секретом).

6 И.М. Элькина писала о «давлении» Екатерины, хотя полагала, что рецензия в «Корреспонденции» написана двумя авторами — Гриммом и Дидро [Элькина 1973: 74].

В письме к Мармонтелю от 21 июня 1771 года Вольтер превозносит посетившую его Дашкову и тут же приводит пространный фрагмент из «Антидота», посвященный Сорбонне. Княгиня Дашкова провела два дня в Ферне — именно с этого времени Вольтер начинает обсуждать «Антидот» со своими друзьями. Вольтер сообщает Мармонтелю: «Должен Вам сказать, что на Севере есть героиня, которая сражается за Вас; это госпожа княгиня Дашкова, достаточно известная своими действиями, кои сохранятся в памяти потомков. Вот что она говорит о Вашей дорогой Сорбонне в своем разборе Путешествия аббата Шаппа в Сибирь» [Voltaire 1838: 103]. Под «действиями» Вольтер имел в виду участие Дашковой в перевороте 1762 года — сюжет, который был чрезвычайно популярен во французских кругах, особенно благодаря сочинению Рюльера, писавшего о том, что именно юная княгиня стояла во главе всего заговора, приведшего Екатерину II на трон.

Большая цитата из «Антидота» о Сорбонне, запрятанная среди полемических выпадов, посвященных русским реалиям, свидетельствовала о внимательном чтении Вольтером этой книги:

...Сорбонна известна нам по двум интересным анекдотам. Во-первых, она прославила себя в 1717 году, предложив Петру Великому средство для подчинения России папе; во-вторых, в 1766 году — своим мудрым и остроумным осуждением «Велисария» г. Мармонтеля. По этим двум чертам можете судить о глубоком благоговении, каковое всякий здравомыслящий человек должен питать к столь почтенному сообществу, не раз осуждавшему диаметрально противоположности <...> [Екатерина и Аббат 2005: 316].

Если проект объединения «греческой и латинской» церковью относился к стародавним временам, то упоминание романа Ж.-Ф. Мармонтеля «Велисарий» («Vélisaire», 1767) относилось к новейшим событиям. Роман был осужден Сорбонной за кощунство; автор прислал свое сочинение Екатерине, которая — во время путешествия по Волге в том же году — организовала его коллективный перевод на русский язык (сама Екатерина перевела девятую главу романа). В 1768 году роман был издан в России, и это событие стало предметом гордости императрицы, демонстрацией религиозной толерантности и просвещенности ее монархии.

Показательно, что первое впечатление от «Антидота» было то, на которое и рассчитывала императрица: во-первых, северная империя двигалась по пути, проложенному «фернейским отшельником» и его «собратьями»; измышления Шаппа отражали лишь позицию сторонников Шуазёля и покровителей Мустафы («мустафитов») в русско-турецкой войне; во-вторых, Вольтер принял Дашкову за реального автора «Антидота», смело защищавшего и Россию, и Екатерину, и даже Мармонтеля с его друзьями в их собственной войне с французскими «Welches» — слово, ставшее в переписке Вольтера обозначением «невежд».

Так, в письме к Екатерине от 10 июля 1771 года Вольтер осторожно вводит упоминание «Антидота», но избегает давать какое-либо оценочное мнение, прославляя лишь то, что принадлежало перу императрицы, — ее «Наказ»:

В довольно живой критике большого сочинения аббата Шаппа я прочел, что в западном государстве, называемом страной Невежд (Welches), правительство запретило ввоз лучшей и наиболее уважаемой книги; одним словом, не разрешено пропускать на таможне возвышенные и мудрые мысли «Наказа», подписанного Екатериной; я не могу в это поверить [Documents of Catherine the Great 1931: 120].

Вольтер умело дает понять, что прочитал «Антидот», но поскольку для него здесь кроется загадка с несколькими неизвестными (Дашкова ли автор? С ведома ли Екатерины написана книга? Почему сама Екатерина не вызывает его на разговор об этой книге и не сообщает о ее авторе?), он фокусируется на истории с запрещением во Франции (стране «невежд» и Сорбонны) «Наказа» как на наиболее существенном эпизоде всего «Антидота». Это был беспрониторный и наиболее дипломатичный вариант разговора, вежливым образом затрагивающий появление «Антидота», но не настаивающий на продолжении разговора о нем.

Екатерина не подхватила разговор об «Антидоте», но разразилась целым пассажем о природном богатстве и плодородии южной Сибири в письме к Вольтеру от 7/17 октября 1771 года [Documents of Catherine the Great 1931: 136—137].

Этот пассаж был вызван присланной Вольтером работой «Вопросы об Энциклопедии» (1770—1772), ее разделом «Общественная экономия». Живой и чрезвычайно взволнованный ответ Екатерины о Сибири продемонстрировал Вольтеру чувствительность императрицы к сюжетам двух антагонистических книг — «Путешествия в Сибирь» и «Антидота». В ответ, в письме от 18 ноября того же 1771 года, корреспондент императрицы поспешил осыпать свою покровительницу похвалами: письмо императрицы «в десяти строчках говорит мне больше, чем целая книга аббата Шаппа» [Documents of Catherine the Great 1931: 142], и даже предложениями напечатать этот пассаж в приложении к своей работе.

Екатерина завершила этот неприятный для нее диалог о Шаппе своим вердиктом (письмо к Вольтеру от 3/14 декабря 1771 года): «Сказки аббата Шаппа не заслуживают ни малейшего доверия. Я его никогда не видала, а между тем, как говорят, он заявляет в своей книге, что измерил свечные огарки в моей комнате, куда никогда не ступала его нога. Это факт» [Documents of Catherine the Great 1931: 146].

Екатерина подчеркнуто дистанцировалась от обеих книг — и книгу Шаппа она якобы знает только по пересказам других («как говорят»), и не знает содержания «Антидота», куда вошел гневный фрагмент о свечных огарках. Она решительно отстранялась от разговора на эту тему — «Антидот», по ее мнению, должен был быть плодом независимого автора, никак не связанного с двором и выражающего свои собственные мнения.

Как и Вольтер, Дидро оказался в полном неведении об авторстве «Антидота». Дидро, давая резко отрицательную оценку обеим книгам в письме к Гримму от 4 марта 1771 года, сравнивал «Путешествие в Сибирь» Шаппа и ответ на него неизвестного ему автора, в коем он поначалу подозревал кого-то из своих соотечественников. Дидро писал:

Вот книга (речь идет здесь не об «Антидоте, а о книге Шаппа. — В.П.), наихудшая, насколько это возможно, по тону, самая ничтожная по сути, самая нелепая по своим претензиям. И эта книга опровергается таким образом: *следовательно*, обитатели России — самые мудрые, самые цивилизованные, самые многочисленные и самые богатые на земле. Тот, кто дал отпор Шаппу, заслуживает большего презрения своим низкопоклонством, чем Шапп своими ошибками и ложью [Diderot 1963: 236—237].

Комментаторы, анализировавшие это письмо Дидро, адресовали весь негативный набор эпитетов одному лишь «Антидоту», не заметив имевшегося здесь

противопоставления двух книг: есть одна плохая книга (книга Шаппа), но она опровергается еще худшей книгой — той, которая дает «отпор Шаппу». По логике Дидро, книга Шаппа — «наихудшая» и «ничтожная по сути», но и опровергающая ее книга («Антидот») «заслуживает большего презрения своим низкопоклонством». Дидро полагал, что «Антидот» явно написан с какой-то презренной целью и исполнен «низкопоклонства» перед русской стороной, то есть перед императрицей. Дидро не узнал в авторе «Антидота» «своего кумира» — Екатерину.

Поразительно, что через две недели Дидро — самостоятельно или под влиянием слухов — решит, что автором «Антидота» является его друг Фальконе, находящийся в Петербурге. В письме от 20 марта 1771 года Дидро сообщает Фальконе, что уже «посмотрел» **три** присланных сочинения пера скульптора — само письмо от Фальконе, шуточный текст под названием «Les Lunettes» («Очки») и «Антидот на лжи аббата Шаппа» [Diderot 1963: 249]. Здесь Дидро вежливо, но сухо отзывается о литературных «плодах досуга» («productions de votre loisir») скульптора на русской службе. Как видно из этих двух писем, Дидро не имел представления об авторе «Антидота» и подозревал своего друга Фальконе, жившего в Петербурге и работавшего над памятником Петру I, в написании «заказной» книги.

Екатерина не способствовала пресечению слухов и об авторстве Дашковой, и об авторстве Фальконе. Она намеренно не вступала в дискуссию об «Антидоте» со своими французскими поклонниками.

Разговор об «Антидоте» вновь возникает уже в более позднем письме Вольтера к Рюльеру от 8 августа 1774 года. В этом письме Вольтер — не без иронии называя аббата «таким приятным философом» и играя словами «grand» и «gros» — сообщает, что читает «великую и толстую книгу» Шаппа и твердо встает на его сторону против Дашковой, «madame la princesse Sharkof, ou Sargekof» [Voltaire 1838: 451]. Впрочем, любезно-иронический тон, как кажется, едва скрывает насмешку философа над авторами обеих обсуждаемых книг. В том же письме он называет Дашкову «не в меньшей степени приятной» (для обоих авторов книг Вольтер находит лишь один сомнительный комплимент — «приятный»). Что же касается переименованного имени Дашковой (в письме Вольтер лукаво извиняется, что не может так же хорошо произносить русские имена, как это делает Рюльер), то здесь мог содержаться скрытый намек — ироничная отсылка к слову «царь» (Sharkof/Sargekof). Коверкание фамилии Дашковой тем более удивительно, что в других письмах (в том числе в приведенном выше письме Мармонтелю 1771 года) Вольтер давал правильное написание этой фамилии.

Возможно, что Вольтер к этому времени имел основания сомневаться, что Дашкова была истинным автором «Антидота»: он уже много лет регулярно получал письма Екатерины II и не хуже Пыпина изучил ее стиль и язык, ее ошибки во французском. Вполне вероятно, что Вольтер играл в письме к Рюльеру с двумя именами (и княгиня Дашкова, и царица), смешивая их в своей лингвистической остроте и намекая на императрицу, инспирировавшую толки о Дашковой как сочинительнице «Антидота». Вольтер сам не раз прибегал к литературным мистификациям — к 1774 году он мог уже разгадать мистификацию русской царицы.

Миф о России: между Монтескьё и Руссо

Одним из самых главных критических замечаний в адрес Шаппа был отказ признать его сочинение «философским». Первым об этом заявил Гримм, указав, что сочинение Шаппа — ребяческое в желании автора слыть философом [Correspondence littéraire 1879: 300]. Екатерина подхватила это суждение, сделав его лейтмотивом своего «Антидота»: «у аббата взгляд не философский» [Екатерина и Аббат 2005: 229]. Она недоумевает, как могла книга Шаппа быть одобрена французской Королевской академией наук, а «знаменитый д'Аламбер» посоветовал напечатать «сочинение, наименее философское» [Екатерина и Аббат 2005: 230]. Еще более «страшное» обвинение прозвучало из уст просвещенной читательницы Вольтера и Дидро во втором томе: по мнению одного из друзей автора «Антидота», встречавших Шаппа в Сибири, «аббат только прикидывается философом, в сущности же он монах до мозга костей» [Екатерина и Аббат 2005: 327].

Почему это замечание казалось важным для императрицы, опровергающей книгу Шаппа? Выведение аббата Шаппа из числа «философов» означало сильнейшую степень дискредитации автора — удаление его за пределы интеллектуального сообщества, того мира, в котором создавались репутации и в котором были свои исключительно влиятельные мнения. Царственные особы, как известно, один за другим предлагали философам резиденции (как Фридрих II — для Руссо в Невшательском кантоне), службу по воспитанию юных наследников (как Екатерина — отказавшему ей Д'Аламберу; Руссо постоянно был осыпая предложениями), почетные места философа-собеседника (как Вольтер у того же Фридриха или вскоре Дидро у Екатерины). Этот симбиоз мыслителей и правителей создавал в середине XVIII века уникальную интеллектуальную атмосферу: философы круга Энциклопедии буквально держали в своих руках общественное мнение всей Европы [Кобеко 2006а, 2006б; Дидро и Екатерина 1902].

Французский двор с Людовиком XV хотя и культивировал доктора мадам де Помпадур и экономиста Франсуа Кенэ в качестве «версальского философа», но в этом плане оказывался вне этой тенденции (а некоторые философы и вне самой Франции!), а роль арбитров общественного мнения взяли на себя салоны во главе с женщинами — покровительницами интеллектуальных бесед [Stavert 2005]. Французская философия должна была облекаться в приятно-остроумную, политесно-риторическую форму полухудожественного нарратива, богатую аллегорическими вставками и изысканными намеками. Показательно, что в том же письме из Тобольска, приведенном в начале второго тома «Антидота», сообщалось также, что аббат «неверно приводил некоторые места из сочинений» [Екатерина и Аббат 2005: 327], был плохо одет и вел себя невежливо с дамами. Презрительное наименование Шаппа «монахом до мозга костей» было чрезвычайно показательно для просветительского дискурса, в котором **монашество** в широком смысле означало непросвещенный фанатизм, нетерпимость, узость, то есть антипросветительские ценности, а **светскость** была обязательным компонентом и философии, и даже науки [Кассирер 2004: 293].

Однако, столь презрительно говоря о Шаппе, Екатерина в первую очередь намекала на то, что аббат — не настоящий мыслитель ни по образованию и

манерам, ни по своим интеллектуальным качествам; в нем она обнаружила нетерпимость и непонимание чужой культуры. За «лживыми» (то есть неправдоподобными) описаниями Сибири, как она полагала, стояла не «философия», а политическая тенденция, инспирированная враждебным к России французским двором. Под маской «философии», как полагала Екатерина, предлагался пропагандистский проект.

Характерно было то, что в этом споре о России обе стороны апеллировали к Монтескьё и Руссо. В своем мифе о России Екатерина опиралась прежде всего на Монтескьё; императрица не только усвоила его философскую политическую типологию, но и «обокрала» его, как она сама признавалась, во время сочинения собственного «Наказа» [Пыпин 1903: 272—300]. «Наказ», запрещенный во Франции, будет неоднократно поминаться в «Антидоте» как главный аргумент в пользу наличия законов в России, основы всякого цивилизованного общества.

Шапп смотрел на Россию (хотя описывал только Сибирь) глазами европейского путешественника в варварской стране: для него граница между цивилизацией и варварством пролегла уже в Польше. Екатерина же, строя свой миф о России, опиралась на Монтескьё, согласно которому Россия была частью Европы изначально и лишь в силу «смещения разных народов и завоеваний» утратила свой европейский вектор развития. Монтескьё заметил, что Петру I легко удались его преобразования, поскольку «он сообщил европейские нравы и обычаи европейскому народу» [Монтескьё 1999: 265]. Уже Монтескьё критиковал Петра I за «насильственные средства» цивилизации — его народ с легкостью и быстротой приобщился к европейскому платью [Там же: 265].

Екатерина первой строкой своего «Наказа» объявляла Россию европейской страной. «Европейская» сущность России была для нее аксиомой, не требующей дополнительных аргументов. Водораздел между цивилизацией и варварством в начале 1770-х пролегал, как она полагала, по границам с Османской Портой. Поэтому особое негодование вызывали те страницы, которые повествовали о варварских, с точки зрения Шаппа, обычаях русских. Екатерина писала: «Шапп до своего приезда думал, будто вся Россия еще находится в состоянии природном; вместе с некоторыми другими он полагал, что застанет нас ползающими на четвереньках» [Императрица и Аббат 2005: 399].

Теория Монтескьё о типах климата, влияющих на характер народа и его политическое устройство, представляла *идеальные модели* [Кассирер 2004: 237], не встречающиеся в чистом виде в реальности, — так сказать, *инварианты*, имеющие свои общие закономерности, но варьирующиеся в каждом отдельном случае. Шапп же принялся «сличать» описание северных народов, более предрасположенных к свободе — по Монтескьё, — с увиденным местным населением. Не найдя соответствия, он отмахнулся от «прославленного философа»: тот не учел, что деспотическое государство извратило нрав русских и отклонило от «северного» стандарта [Императрица и Аббат 2005: 168—169]. Главное же — не климат определяет «дух» народа, а... его географический ландшафт. По мысли Шаппа, равнинность основной части России повлияла на «неподвижность» «нервической субстанции» — этого «нервного сока» — у русских, а это в свою очередь привело к неспособности к обновлению и отсутствию талантов [Там же: 171—172].

Важнейшим пунктом полемики Екатерина считала само определение Шаппом государственного правления в России как деспотического. Монтескьё

в своей книге «О духе законов» приводил, как известно, основные рычаги правления, характерные для трех основных типов государственного устройства:

республика — добродетель
монархия — честь
деспотия — страх

Монархический тип, по Монтескьё, «предполагает существование чинов, преимуществ и даже родового дворянства», тогда как в деспотиях все равны в своем рабстве («там все люди рабы») [Монтескьё 1999: 31—32]. В 1769—1770 годах, сочиняя «Антидот», Екатерина стремилась доказать, что Россия, в особенности в ее правление, являет собой не **деспотию**, а **монархию**, а следовательно, соблюдает этот монархический идеал чести, давая права «вольности» дворянству и опираясь на его поддержку. Екатерине уже пришлось однажды спорить с членом Петербургской академии наук, ганноверцем на русской службе и автором «Русских писем» Струбе де Пирмоном, пытавшимся поправить Монтескьё и доказать своим русским патронам преимущества «деспотии» для России⁷.

Говоря о деспотическом правлении в России, Шапп скептически отзывался о Петре I, который «лелеял замыслы реформировать государство и приобщить его к цивилизации, но притом, будучи наисамовластнейшим государем из всех своих предшественников, он еще ту же затянул петлю рабства» [Императрица и Аббат 2005: 109]. Шапп здесь отнюдь не был оригинален. Он лишь продолжил пассажи известной полемики Руссо с Монтескьё и Вольтером в «Общественном договоре» (1762):

Русские никогда не станут истинно цивилизованными, так как они подверглись цивилизации чересчур рано. Петр обладал талантами подражательными, у него не было подлинного гения, того, что творит и создает все из ничего. Кое-что из сделанного им было хорошо, большая часть была не к месту. Он понимал, что его народ был диким, но совершенно не понял, что он еще не созрел для уставов гражданского общества... [Руссо 1998: 235].

Если Монтескьё полагал, что Петру I нетрудно было «европеизировать» европейскую страну, а Вольтер в своей «Истории Петра» относил реформатора к числу «гениев», то Руссо неожиданно принялся «пророчествовать» о печальной участи России, о невозможности для нее цивилизационного вектора. Этот параграф книги Руссо послужил темой первого письменного сообщения между Вольтером и Екатериной в 1763 году. Тогда Екатерина пообещала Вольтеру своим успешным правлением опровергнуть Руссо [Documents of Catherine the Great 1931: 1].

Теперь же, спустя шесть лет, новый недоброжелатель России открыл еще один раунд полемики о судьбах России. Главное же — шесть лет ее правления, как пытается показать автор «Антидота», знаменовали стремительный рывок в построении более совершенного общества: она ссылается и на свой «Наказ», и на отмену Тайной канцелярии, и даже на успехи в литературе, упоминая и Сумарокова, и Василия Петрова как преемника «гения» Ломоносова. Императрица твердо следует концепции мыслителей круга Энциклопедии, пола-

7 См. пометы Екатерины с условным названием «В защиту Монтескьё — заметка на книгу Струбе де-Пирмонта, анонимную: Lettres Russiennes. MDCCLX»: [Екатерина II 1907: 672 — 686].

гавших, что именно прогресс духовной культуры «в силу имманентного закона, которому он следует, приведет к появлению новой, более совершенной формы общественного порядка» [Кассирер 2004: 293]. В конечном итоге сам «Антидот», написанный по-французски, должен был сигнализировать о продвижении России по этому пути интеллектуального прогресса.

Аббат Шапп и Шевалье де Мансонж: журнал Н.И. Новикова «Кошелек», или Послесловие к «Антидоту»

Симптоматично, что русская печать того времени почти не заметила этой полемики двух книг. Единственным исключением стал Н.И. Новиков, вовлеченный императрицей в историю с Шаппом. В июле 1774 года Новиков начинает выпускать свой последний еженедельник из числа так называемых «сатирических журналов». «Кошелек» оказался единственным русским периодическим изданием, которое не только упомянуло книгу аббата Шаппа, но и вступило в дискуссию, начатую «Антидотом».

Символично было само название издания, отсылающее сразу к нескольким смыслам и играющее с ними. Прежде всего, речь шла о модном атрибуте прически, пришедшем из Франции и называемом *à la bourse*. Эта была особая сетка, или бархатный мешочек, куда помещалась напудренная коса мужского парика. Новиков в разделе «Вместо предисловия» давал туманное обещание впоследствии раскрыть смысл своего названия: «Впрочем, должен бы я был объяснить читателю моему причину избрания заглавию сего журнала, но и сие теперь оставляю, а впредь усмотрит он сие из *Превращения Русского кошелька во Французской*, которое сочиненьице здесь помещено будет» [Кошелек 1774, 1: 3].

Однако по некоторым причинам это сочинение напечатано не было, но тема была подхвачена в письме, присланном в журнал и написанном неназванным русским галломаном; обращаясь от имени «защитника французского» к издателю «Кошелька», анонимный автор писал:

Не того ли вы ищите, чтобы бросили французское платье, претворившее нас из варваров в европейцев? — Здесь я разумею острую и замысловатую вашу шутку о введении в Россию французских кошельков; и если я не ошибаюсь, то кажется мне, что вы разумели здесь французские кошельки те, кои с некоторого времени почти все европейцы начали носить на волосах, а под именем кошелька вы разумели все французское платье, вместо старого русского употребляемое [Там же: 3].

Таким образом, новиковский «кошелек» (от французского *la bourse*) символизировал и французскую моду вообще, и само европейское «платье», пришедшее в Россию с реформой Петра I. Вместе с платьем обсуждался в издании вопрос о подражании Франции во всех культурных сферах — от языка до философии. Новиков каламбурил в названии, имея в виду и реальный кошелек для денег; далее он будет обличать галломанов, проматывающих свое состояние ради модных французских товаров или ради модного французского «учителя» для своих детей. Название оказалось чрезвычайно удачным, и первоначальная цель этого журнала была заявлена очень откровенно. Как впоследствии писал знаток жур-

нальных и околожурнальных баталий М.Н. Макаров, «план для «Кошелька был устроен самый строгий; по его разуму, преимущественно положили держаться одного: бить насмешками французолюбцев» [Макаров 1839: 28].

Тот же Макаров передает разговоры, имевшие место при дворе и касавшиеся всех журнальных предприятий Новикова [Макаров 1839:28]. Мнение о прямой связи журналов Новикова с проектами Екатерины подтверждается и финансовой поддержкой. В эти годы он аккуратно получает от Екатерины денежные субсидии на свои журнальные предприятия, в том числе на «Древнюю российскую вивлиофику». В сохранившихся письмах к Г.В. Козицкому Новиков сообщает то о получении 1000 рублей, то о 200 голландских червонцах, пожалованных императрицей только за конец 1773 — начало 1774 года [Тихонравов 1862: 44].

И «Вивлиофика», и «Кошелек» субсидировались двором, а сам издатель аккуратно посылал номера тому же Козицкому для представления Екатерине. В первый день издания своего еженедельника — 8 июля 1774 года — он отправляет первый лист «Кошелька» секретарю императрицы; на письме Новикова сохранилась помета Козицкого, где он просит докладчика Екатерины С.М. Козмина представить первый номер императрице [Тихонравов 1862: 45]⁸. Вскоре, 22 июля того же 1774 года, Новиков отправляет Козицкому новый номер:

При сем сообщаю третьего листа Кошелька два экземпляра, один, если первые изволили поднести, то и сей покорнейше прошу поднести Ея Величеству, другой же для вас: впрочем, если имеете свободное время, то осмеливаюсь просить о уведомлении меня, угодны ли сии листы Ея Величеству, ибо сие одно и есть моею целию, чтобы всегда делать ей угодное. Сие бы самое уведомление послужило мне ободрением к продолжению оных. <...> [Тихонравов 1862: 45; Новиков 1994: 11].

В чем же Новиков так старался угодить Екатерине в эти летние месяцы 1774 года? Новиковский «Кошелек» выходил с 8 июля по 2 сентября, и его закрытие некоторые исследователи связывали с гневной реакцией вельмож (таких, как А.А. Вяземский или А.А. Ржевский) на антифранцузскую направленность всего журнала [Берков 1952: 301]. Мнение это имеет под собой некоторые основания, как и так называемая «легенда» о запрещении журнала в связи с жалобой французского посланника. Все эти толки хотя и не совсем точно, но отражают более реальную — политическую — подоплеку возникновения и закрытия этого издания. Как передавал М.Н. Макаров, ссылаясь на устные предания, «сказывали, что наши нападки на французов дошли до французского посольства и будто бы французский посланник говорил о том с некоторыми из русских вельмож, заметив им, что болтовня новиковская должна быть английскою штукою» [Макаров 1839: 38]. Все эти толки отражали политическую подоплеку издания (и даже подозрение во вмешательстве таким образом Англии в борьбу против Франции за влияние при русском дворе), и стратегия Новикова очевидным образом была связана с двором.

«Кошелек» действительно являет собой образец не просто антигалломанского, но антифранцузского издания. Из девяти листов первые пять, по всей видимости, принадлежат перу самого Новикова, затем указанное «направле-

8 В современном издании писем отсутствуют расписки Новикова в получении денег, а также не приведены пометы на его письмах, воспроизведенные у Тихонравова [Новиков 1994: 10].

ние» резко меняется, дискуссия о французах исчезает вовсе. Последние номера касаются только русской жизни: три очередных листа «Кошелька» (с 6-го по 8-й номер) заполнены комедией в одном действии под названием «Народное игрище», сочинения неизвестного автора, тогда как последний, девятый номер занимает ничем не примечательная «Ода России» молодого писателя Аполлоса Байбакова.

В первых номерах «Кошелька» (в серии разговоров между русским, немцем и французом) издатель выводил на сцену молодого француза по имени Шевалье де Мансонж (от французского *un mensonge* — ложь), приехавшего в Россию парикмахера, циничного и необразованного авантюриста, устраивающегося «учителем» в русскую семью. Реальная профессия этого учителя — профессия парикмахера, «волосочесателя» — также корреспондировала с названием журнала, а его имя и скептический взгляд на Россию и русских вызывал в памяти недавнюю дискуссию о «лжи» автора «Путешествия в Сибирь».

Неслучайно имя аббата Шаппа тут же появляется в тексте «Кошелька» — в примечании, в чрезвычайно затемненном виде, доступном для раскодирования лишь немногими читателями, прежде всего самой императрицей и ее ближайшим окружением. В противовес первым трем номерам «Кошелька», содержащим насмешку и над французами, и над русскими полуобразованными галломанами, в 4-м листе издатель являет читателю нового героя — некоего «защитника» Франции и французов, который ужасается тому, что в России может быть отменено французское платье, которое послужило главным инструментом европеизации — «претворило» русских из «варваров» в «европейцев» [Кошелек 1774, 4: 31].

Анонимный «защитник» французов в своем письме обвиняет издателя в стремлении вернуть все те стародавние времена (допетровские), «кои от просвещенных людей именуются ныне варварством» [Там же: 29—30]. Именно к этому месту тот же галломан, чье письмо, по сообщению издателя, написано на смеси французского с русским и «переведено» тем же издателем, делает замечательное примечание: «О сем, если вы любопытства имеете побольше наших прародителей, которые от великих своих добродетелей никаких книг не имели и не читали, то можете сие видеть в сочинении Абе де Ш... и других подобных ему беспристрастных писателях о России: но я всех их не могу упомянуть» [Там же].

Аббат Шапп назван здесь «беспристрастным писателем», и его сочинение рекомендуется читать всем просвещенным читателям, не разделяющим позицию издателя «Кошелька». С кем же и почему «защитник» французского, опираясь на Шаппа, вступает в полемику? Все это сочинение — новая «маска» самого издателя, это ложнопolemическое письмо, созданное для пародийной демонстрации мнения оппонентов журнала. Новиков создает образ этого полурусского галломана не по известным русским клише — тип галломана уже был комически представлен в ряде сочинений, в том числе в известном Новикову «Бригадире» Д.И. Фонвизина. Здесь он вполне оригинален и построен не столько на бытовых, сколько на культурно-идеологических мотивах.

Откровенно фальшивой, искусственно сконструированной была сама «защита» французов — с упоминанием их «выдающихся» достижений в образовании под воздействием теорий Руссо. Известно, что Екатерина ненавидела Руссо, что она запретила ввоз в Россию его сочинения «Эмиль» и что она не-

однократно негативно отзывалась об опыте некоторых семей, приглашавших Руссо в качестве воспитателя детей [Кобеко 2006а :641].

Важно было уже одно то, что этот «защитник» французов опирался в своей «полемике» с издателем «Кошелька» на книгу Шаппа. Сам набор имен (Шапп, Руссо), общая парадигма дискуссии о варварстве и цивилизованности, даже отдельные формулы повторяли пафос «Антидота» Екатерины: «Ведь справедливо во *** (Франции. — *В.П.*) русских людей почитают еще невеждами, варварами или на милость обезьянами» [Кошелек 1774, 4: 21].

Все это указывало на то, что Новиков хорошо разбирался в политической обстановке и, возможно, получил прямое указание императрицы критиковать Францию. Важен контекст, в котором фигурирует здесь имя Шаппа, и анализ этого маленького издания из девяти небольших номеров («листов») позволяет пересмотреть «сатирическую» направленность новиковского издания, целиком ориентированного на Екатерину и ее политико-культурные интересы. «Кошелек» Николая Новикова издавался в переломный момент в отношениях Екатерины с Францией, и политический кризис целиком обусловил противоречивый характер издания, начатого в антифранцузском модусе и неожиданно поменявшего тон в самом разгаре маленькой «холодной войны».

Лето 1774 года — время выхода «Кошелька» — ознаменовалось важнейшими событиями во Франции и в русско-французских отношениях. В мае 1774 года умер Людовик XV, отношения с которым у русского двора были крайне враждебными; помимо поддержки Оттоманской Порты и польских конфедератов, Людовик XV пытался наладить контакты с Пугачевым [Черкасов 2004: 66]. В первые недели лета того же 1774 года во Франции шла политическая борьба: молодой король Людовик XVI подбирал министров, в том числе и министра иностранных дел. Мария Антуанетта интриговала с целью вернуть на этот пост враждебного Екатерине герцога Шуазёля. Ее интриги не имели успеха, а в июне 1774 года за пост уже боролись два кандидата. Первый — хорошо известный Екатерине барон Бретёйль, бывший с 1760 года французским посланником в Петербурге. Именно при нем в Петербурге находились два ненавистных Екатерине автора — Рюльер и Шапп, именно его связывали с проведением антирусской политики Шуазёля.

Удачливым соперником Бретёйля стал граф де Верженн, занявший пост в конце июля 1774 года и немедленно заверивший русский двор в стремлении «к дружбе и доброму согласию» [Черкасов 2004: 65]. Более того, Людовик XVI и Верженн осудили пугачевщину и поддержали Екатерину. Как представляется, именно в это время — в начале августа 1774 года — Екатерина останавливает антифранцузскую линию «Кошелька». С 6-го номера издание Новикова обрывает все сюжеты, связанные с Шевалье де Мансонжем, и «забывает» обо всех прежде данных обещаниях...

В конце лета 1774 года русско-французские отношения стремительно улучшаются: Франция (не без влияния финансового кризиса) прекращает субсидировать противников России — Швецию и польских конфедератов. Именно после этого, 2 сентября 1774 года, заканчивается издание «Кошелька». Аббат Шапп и Шевалье де Мансонж, порождения эпохи русско-французской «холодной войны», отойдут в прошлое.

Библиография / References

- [Берков 1952] — *Берков П.Н.* История русской журналистики XVIII века. М.; Л., 1952.
(*Berkov P.N.* Istoriya russkoy zhurnalistiki XVIII veka. Moscow; Leningrad, 1952.)
- [Болховитинов 1845] — *Болховитинов Е.А.* (Митрополит Евгений). Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России // Сочинения митр. Евгения. Т. 1. М., 1845.
(*Bolkhovitinov E.A.* (Mitropolit Evgeniy). Slovar' russkikh svetskikh pisatelej, sootchestvennikov i chuzhestrantsev, pisavshikh v Rossii // Sochineniia mitr. Evgeniya. Vol. 1. Moscow, 1845.)
- [Грот 1879] — *Грот Я.К.* Екатерина II в переписке с Гриммом. СПб., 1879.
(*Grot Ya.K.* Ekaterina II v perepiske s Grimmom. Saint Petersburg, 1879.)
- [Дашкова 1877] — Замечания княгини Дашковой на сочинение Рюльера // Русский архив. 1877. Кн. 2. Вып. 7. С. 360.
(*Zamechaniia knyagini Dashkovej na sochineniye Rulyera* // Russkiy arkhiv. 1877. Book 2. Issue 7. P. 360.)
- [Дидро и Екатерина 1902] — Дидро и Екатерина II: их беседы, напечатанные по собственноручным запискам / Изд., предисловие и коммент. Мориса Турне. СПб., 1902.
(*Diderot i Ekaterina II: ikh besedy, napechatannye po sobstvennoruchnym zapiskam* / Ed. by M. Tourneux. Saint Petersburg, 1902.)
- [Екатерина II 1907] — Записки императрицы Екатерины Второй. СПб., 1907.
(*Zapiski imperatritsy Ekateriny Vtoroy.* Saint Petersburg, 1907.)
- [Императрица и Аббат 2005] — Императрица и Аббат. Неизданная литературная дуэль Екатерины II и аббата Шаппа д'Отероса / Пер. с фр. О. Павловской. М., 2005.
(*L'Impératrice et l'Abbé. Un duel littéraire inédit entre Catherine II et l'Abbé Chappe d'Aute-roche* / Trans. by O. Pavlovskaya. Moscow, 2005. — In Russ.)
- [Кассирер 2004] — *Кассирер Э.* Философия Просвещения / Пер. с нем. В.Л. Махлина. М., 2004.
(*Cassirer E.* Die Philosophie der Aufklärung / Trans. by V. L. Makhlin. Moscow, 2004. — In Russ.)
- [Кобеко 2006а] — *Кобеко Д.Ф.* Екатерина и Жан-Жак Руссо // Екатерина Вторая: pro et contra. СПб., 2006. С. 633—648.
(*Kobeko D.F.* Ekaterina i Zhan-Zhak Russo // Ekaterina Vtoraya: pro et contra. Saint-Petersburg, 2006. P. 633—648.)
- [Кобеко 2006б] — *Кобеко Д.Ф.* Екатерина II и Даламбер // Екатерина Вторая: pro et contra. СПб., 2006. С. 649—657.
(*Kobeko D.F.* Ekaterina i Dalamber // Ekaterina Vtoraya: pro et contra. Saint Petersburg, 2006. P. 649—657.)
- [Кошелек 1774] — Кошелек. 1774. Лист I—IX. (Koshelek 1774. Vol. I—IX.)
- [Макаров 1839] — *Макаров М.Н.* Смесь // Отечественные записки. 1839. № 1, отд. VIII. С. 28.
(*Makarov M.N.* Smes' // Otechestvennyye zapiski. 1839. № 1 (VIII). P. 28.)
- [Монтескьё 1999] — *Монтескьё Ш.Л.* О духе законов / Пер. с фр. А. Матешука. М., 1999.
(*Montesquieu Ch.* — L. De l'esprit des lois / Trans. by A. Mateshuk. Moscow, 1999. — In Russ.)
- [Новиков 1994] — Письма Н.И. Новикова / Изд. А.И. Серковым и М.В. Рейзиным. СПб., 1994.
(*Pis'ma N.I. Novikova* / Ed. by A.I. Serkov and M.V. Reizin. Saint Petersburg, 1994.)
- [Петров 1770] — *Петров В.* Ода на победы российского флота, одержанные над турецким, под предводительством графа Алексея Григорьевича Орлова, в Архипелаге при Хиосе, 1770 года. М., 1770.
(*Petrov V.* Oda na pobedy rossijskago flota, odierzannyya nad turetskim, pod predvoditel'stvom grafa Alekseya Grigorievicha Orlova, v Arkhipe-lage pri Khiose, 1770 goda. Moscow, 1770.)
- [Пушкин 1978] — *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. VIII. Л., 1978.
(*Pushkin A.S.* Polnoe sobranie sochinenij: In 10 vols. Vol. VIII. Leningrad, 1978.)
- [Пыпин 1901] — *Пыпин А.Н.* Кто был автором «Антидота» // Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей с объяснительными примечаниями академика А.Н. Пыпина. Т. 7. СПб., 1901. С. I—LVI.
(*Pypin A.N.* Kto byl avtorom "Antidota" // Sochineniya imperatritsy Ekateriny na osnovanii podlinnykh rukopisej s ob'yasnitel'nymi primechaniyami akademika A.N. Pypina. Vol. 7. Saint Petersburg, 1901. P. I—LVI.)
- [Пыпин 1903] — *Пыпин А.* Екатерина и Монтескьё // Вестник Европы. 1903. № 5. С. 272—300.
(*Pypin A.* Ekaterina i Monteskye // Vestnik Evropy. 1903. № 5. P. 272—300.)
- [Руссо 1998] — *Руссо Ж.Ж.* Трактаты / Пер. с фр. А.Д. Хаютина. М., 1998.
(*Rousseau J.-J.* Traités / Trans. by A.D. Khayutin. Moscow, 1998. — In Russ.)

- [Сегюр 1989] — *Сегюр Л.-Ф.* Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II // *Россия XVIII в. глазами иностранцев.* Л., 1989. С. 323.
- (*Segur L.-F.* Zapiski o prebyvanii v Rossii v tsarstvovanie Ekateriny II // *Rossiia XVIII v. glazami inostrantsev.* Leningrad, 1989. P. 323.)
- [СИРИО] — Сборник Императорского Русского исторического общества. СПб., 1867—1916. (Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshchestva. Saint Petersburg, 1867—1916.)
- [Степанов 1999] — *Степанов В.П.* Козицкий Г.В. // *Словарь русских писателей XVIII века.* Т. 2. СПб., 1999. С. 95.
- (*Stepanov V.P. Kozitskiy G.V.* // *Slovar' russkikh pisatelej XVIII veka.* Vol. 2. Saint Petersburg, 1999. P. 95.)
- [Тимирязев 1894] — *Тимирязев В.А.* Рюльер и Екатерина II // *Исторический вестник.* 1894. Т. 57, № 8.
- (*Timiryazev V.A.* Ryulier i Ekaterina II // *Istoricheskij vestnik,* 1894. Vol. 57. № 8.)
- [Тихонравов 1862] — *Летописи русской литературы и древности, издаваемые Н. Тихонравовым.* Т. IV, отд. III. М., 1862. С. 44.
- (*Letopisi russkoj literatury i drevnosti, izdavaemye N. Tikhonravovym.* Vol. IV, part 3. Moscow, 1862. P. 44.)
- [Черкасов 2004] — *Черкасов П.П.* Екатерина II и Людовик XVI. М., 2004. С. 66.
- (*Cherkasov P.P.* Ekaterina i Lyudovik XVI. Moscow, 2004. P. 66.)
- [Элькина 1973] — *Элькина И.М.* Французские просветители и книга Шаппа д'Отроша о России // *Вестник МГУ.* 1973. № 6. С. 74.
- (*El'kina I.M.* Franzutskie prosvetiteli i kniga Shappa d'Oterosha o Rossii // *Vestnik MGU.* 1973. № 6. P. 74.)
- [Carrière d'Encausse 2003] — *Carrière d'Encausse H.* L'Impératrice et l'Abbé. Un duel littéraire inédit entre Catherine II et l'Abbé Chappe d'Auteroche. Paris, 2003. P. 11—66.
- [Chevalier 1939] — *Chevalier A.* Claude-Carloman de Rulière, premier historien de la Pologne, sa vie et son ouvre historique d'après des documents inédits. Paris, 1939.
- [Correspondence de Falconet 1921] — *Correspondence de Falconet avec Catherine II.* Paris, 1921.
- [Correspondence littéraire 1879] — *Correspondence littéraire, philosophique et critique.* T. IX. Paris, 1879.
- [Craveri 2005] — *Craveri B.* The Age of Conversation. New York: New York Review Books, 2005.
- [Diderot 1963] — *Diderot D.* Correspondance / Ed. by George Roth. T. X. Paris, 1963. P. 236—237.
- [Documents of Catherine the Great 1931] — *Documents of Catherine the Great. The Correspondence with Voltaire and the Instruction of 1767.* Cambridge: Cambridge University Press, 1931.
- [Levitt 2009] — *Levitt M.* Early Modern Russian Letters: Texts and Contexts. Selected Essays. Boston, 2009.
- [Lortholary 1951] — *Lortholary A.* Le Mirage Russe en France au XVIIIe siècle. Paris, 1951.
- [Mervaud 1998] — *Mervaud M.* L'envers du «mirage russe»: Deleyer et Chappe d'Auteroche // *Revue des études slaves.* 1998. T. 70. № 4. P. 837—850.
- [Mervaud 2004] — *Chappe d'Auteroche, Voyage en Sibérie fait par ordre du roi en 1761 / Edition critique par Michel Mervaud.* Oxford, 2004. P. 1—122.
- [Monnier 1997] — *Monnier A.* Catherine II pamphlétaire: l'Antidote // *Catherine II et l'Europe.* Paris, 1997. P. 53—60.
- [Tourneux 1899] — *Tourneux M.* Diderot et Catherine II. Paris, 1899.
- [Voltaire 1838] — *Oeuvres complètes de Voltaire.* Correspondance générale. Vol. 13. Paris, 1838.

Евгений Пономарев

Русский имперский травелог

Evgeny Ponomarev
The Russian Imperial Travelogue

Евгений Рудольфович Пономарев (доцент Санкт-Петербургского государственного института культуры; доктор филологических наук) eponomarev@mail.ru.

Evgeny Ponomarev (associate professor; Saint Petersburg state university of culture; doctor of philology) eponomarev@mail.ru.

Ключевые слова: травелог, имперское сознание, литература путешествий, Российская империя, путешествие на Запад, путешествие на Восток, путешествие по империи

Key words: travelogue, travel literature, imperial consciousness, Russian empire, travel to the West, travel to the East, travel around the empire

УДК: 821.161.1 + 82-1/-9 + 910.4

UDC: 821.161.1 + 82-1/-9 + 910.4

Русский травелог — продукт имперского сознания, ориентированный на имперскую экспансию. Путешествие на Запад формирует разделение на «русское» и «нерусское» пространства, а также имперскую идентичность, которая складывается в противостоянии Западу. В путешествиях по империи имперскость проявляется как цивилизационное «преобразование пространства». Путешествие на Восток в русской традиции факультативно. Советский травелог наследует имперским традициям российского, во многом — в условиях затрудненности передвижения по стране и миру — выстраивая географическое мышление советского человека и (по наследству) современного россиянина.

The Russian travelogue is a product of imperial consciousness with an orientation toward imperial expansion. Travel to the West forms the division of space into “Russian” and “non-Russian” spaces, as well as an imperial identity formed in opposition to the West. In travel within the empire, the imperial manifests as a civilizing “transformation of space”. Travel to the East is, in the Russian tradition, optional. The Soviet travelogue inherits the Russian imperial traditions, shaping to a large extent the geographical thinking of the Soviet citizen and (through inheritance) the contemporary Russian citizen.

Имперское сознание и формы его проявления, подчас самые неожиданные и непривычные, — одна из актуальнейших сегодня тем. Именно с этой точки зрения следует рассмотреть травелог — вид литературы, изначально имеющий целью формирование коммуникаций, объединение народов и культур, взаимопонимание несходных менталитетов. Но часто по необходимости выполняющий прямо противоположное задание: навязывание собственного взгляда Другому, приспособление иных реалий к представлениям собственной культуры. Сразу оговоримся, что понимаем травелог в узком значении термина — это литературный текст, посвященный описанию проделанной автором поездки. Все вымышленные травелоги (от «Одиссеи» Гомера до «Космической одиссеи 2001» С. Кубрика) мы относим к сфере художественной литературы (игрового кино) и рассматриваем в соответствующем контексте.

Имперский травелог отличается от всех прочих общими задачами ментальной колонизации пространства. Четко разделяя пространство на свое и чужое,

он стремится подчинить чужое пространство той логике событий и отношений, которая характерна для пространства своего. Пространство империи мыслится путешественником-имперцем как пространство подлинное, обустроенное (космическое) и в конечном счете единственно реальное. Пространство за пределами империи — варварское, нестабильное (хаотическое), становящееся, еще до конца не существующее. Лишь включение в империю обеспечивает пространству географическую определенность. При этом любое варварское пространство рассматривается как потенциальное приращение империи.

Таковы имперские травелоги римлян, таковы же имперские травелоги европейцев в эпоху географических открытий. Именно имперская установка позволила Эдварду Саиду сопоставить древние путешествия на Восток с травелогами современных европейских литератур, объединив их общим понятием «ориентализм». По мнению Саида, европейцы (со времен Греко-персидских войн и до наших дней) в своих текстах реструктурируют пространства от Ливана до Индии, объединяя различные страны и культуры под общим титулом «Восток», при этом не создавая описание иных пространств, а последовательно формируя представления об обобщенном Востоке, собственную репрезентацию чужого пространства, в которой традиция значит намного больше, чем непосредственные впечатления [Said 1978].

В ориенталистических текстах, считает Саид, нет голоса Востока; за Восток всякий раз говорит европеец. Любое высказывание о Востоке — от травелога до восточных сюжетов у Гюго, Гёте, Флобера, Фицджеральда — окрашено европейской мыслью. Европа (в рамках дискурса путешествий) пересоздает Восток на свой манер, колонизируя его на уровне текста: перед нами не произведение о Востоке, а система европейских ценностей, обрамленная восточным сюжетом. С другой стороны, именно во взаимоотношениях с Востоком как Другим формируется и проявляется самоидентификация европейца. Так возникает понятие «воображаемая география (imaginative geography)», в другом месте Саид использует слово «arbitrary» [Said 1978: 54], объединяющее значение «условная» со значением «деспотическая»; можно было бы назвать ее также имперской, империалистической. Некоторые исследователи полагают, что пики развития литературы путешествий практически совпадают с пиками колониализма: сначала это колонизирующий травелог (описание путешествия по становящемуся миру вновь открытых колоний — литературное присоединение территорий к империи), затем травелог колониальный (описание путешествия по уже сформировавшимся колониям — закрепление колониального статуса территории).

Русская традиция XV—XVII веков не знает колонизирующего травелога. В русской литературной традиции нет ни путешествия Марко Поло, ни судовых журналов Колумба, ни записок Кортеса. Единственный текст, похожий на произведения такого рода, — это «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Путешествие в чуждую, экзотическую страну, но без малейшего намека на ее возможную колонизацию. Текст, более желающий понять чужую жизнь, чем подчинить ее привычной логике и принесенным из дома законам. Пожалуй, травелог Афанасия Никитина значительно ближе к изначальному архетипу путешествия, чем европейская литература путешествий этого периода. «Хождение за три моря» пыгается выстроить образцовую коммуникационную модель: путешественник описывает чужие земли — и мусульманские, и индустские (а заодно, например, Грузинскую землю и Молдавскую землю) —

с большим уважением к их обычаям. Возможно потому, что путешественнику нередко приходится защищать свою веру от посягательств чужестранцев: главный аргумент при этом — я другой, это надо понять. О многочисленных землях, в которых путешественнику довелось побывать, рассказывается доброжелательно. Отмечен их достаток и благополучие, нет никакого желания автора навязать этим странам свой собственный жизненный уклад.

Имперский травелог появляется в русской литературе крайне поздно. Интересно, что русский имперский травелог значительно моложе Российской империи. Травелоги петровского времени, обращенные на Запад, — это большей частью произведения, созданные «птенцами гнезда Петрова», посланными «в науку за море». Европейские империи эти авторы воспринимают как варианты цивилизационной модели, одним из которых они надеются видеть Россию. Русское раннеимперское сознание, таким образом, борется с мифом о российской исключительности, ассоциирующимся с Московским царством. Российская империя изначально признает Другого и его ценности, перенося эти ценности в собственное пространство. Европейские ценности при этом воспринимаются как ценности более высокого порядка, чем традиционные российские. Путешествия по самой империи в этот период носят большей частью научный характер и не играют идеологической роли. Существенная трансформация жанра, превращение русского травелога в имперский будет происходить в правление Екатерины II, а затем в эпоху Наполеоновских войн и регулярных европейских походов русской армии.

«Путешествие из Петербурга в Москву», опубликованное А.Н. Радищевым в 1790 году, не только намечает общий канон путешествий по собственной стране (если стернианское путешествие вообще может быть названо путешествием), но и структурирует имперское пространство. Москва и Петербург, с одной стороны, оказываются у Радищева локусами русского самодержавия и официально-помпезного восприятия России, в корне отличного от реального положения вещей. С другой стороны, столицы империи становятся начальной и конечной точками в радищевском путешествии по «страданиям человечества». Эта авторская структура взаимодействует с общими представлениями конца XVIII века о Петербурге и Москве как двух сторонах русской души и русской государственности. В дальнейшем противопоставление двух российских столиц в путешествиях по России станет стержневой бинарной оппозицией, в которую будут встраиваться оппозиции частные и факультативные.

Практически одновременно с радищевским путешествием Н.М. Карамзин писал знаменитое «путешествие на Запад» — «Письма русского путешественника». Этот травелог (сохраняющий общие установки стернианства, но корректирующий принципиальный антигеографизм «Сентиментального путешествия») становится прообразом имперского путешествия. Путешественник еще принимает литературную позу Анахарсиса в Афинах и еще использует традиционный для Петровской эпохи «ученический» поведенческий код по отношению к западным людям и европейской культуре [Лотман, Успенский 1987: 527]. Но при этом оценочный ряд травелога становится критическим. Например, оказавшись в Берлине, путешественник Карамзина несколько свысока рассказывает о Королевской библиотеке («Она огромна — и вот все, что могу сказать о ней!» [Карамзин 1987: 35]), а о берлинских речках и каналах вообще отзывается уничижительно: «Лишь только вышли мы на улицу, я должен был зажать себе нос от дурного запаха: здешние каналы наполнены вся-

кою нечистойю. Для чего бы их не чистить? Неужели нет у Берлинцев обоняния?» [Карамзин 1987: 34]. Восторженное упоение появляется у Карамзина местами — большей частью тогда, когда он встречается с великими просвещенными европейцами (Виланд, Гердер, Лафатер и т.д.) или когда он осматривает безусловно прекрасные произведения просвещенного искусства (см. главу о Версале). При этом местами проскальзывает и осуждение Европы: она недостаточно просвещена. Русский путешественник показывает ее соотечественникам в качестве образца, но образец не всегда соответствует ожиданиям. Например, увидев под швейцарским городком Муртенем сложенные рядом с дорогой человеческие кости — останки французской армии Карла Смелого, пытавшегося покорить Швейцарию (и сохраняющиеся в качестве памятника победы уже три века), путешественник замечает:

Швейцары! неужели можете вы веселиться таким печальным *трофеем*? Бургундцы по человечеству были вам братья. Ах! естли бы, омочив слезами сии остатки тридцати тысяч несчастных, вы с благословением предали их земле и на месте победы своей соорудили черный монумент, вырезав на нем сии слова: *Здесь Швейцары сражались за свое отечество, победили, но сожалели о побежденных* — тогда бы я похвалил вас в сердце своем. Сокройте, сокройте сей памятник варварства! Гордясь именем Швейцара, не забывайте благороднейшего своего имени — имени человека! [Карамзин 1987: 146—147. Курсив Карамзина].

Вероятно, и по этой причине (а не только из цензурных соображений) Карамзин умалчивает о тех событиях Французской революции, которым был свидетелем. Обманутые Европой ожидания станут одним из важнейших лейтмотивов русского имперского травелога. Эта тема объединит совершенно разных по своим убеждениям путешественников — от либерала Герцена до почвенника Достоевского. Перейдет она и в имперский травелог советского времени.

Необычным (и несентиментальным) травелогом XVIII века оказываются «Письма из-за границы» Д.И. Фонвизина. Они нацелены не столько на изображение души, сколько на изображение иного быта. Правда, быт при этом пропускается через фильтр субъективных ощущений. В восприятии путешественника обеды, как правило, плохи; перины в гостиницах недостаточно покойны; езда сама по себе неудобна. Заграница не нравится Фонвизину по той причине, что она нарушает весь привычный ему жизненный уклад. Франция, сообщает он из второго заграничного путешествия (1777—1778), — отнюдь не земной рай. В ней много хорошего, но много и дурного. Французы — невежды, их лучшие умы (Вольтер и Руссо) — капризны и тщеславны, а парижская жизнь безнравственна в самых своих основах. В Петербурге жить и удобнее, и нравственнее. То же самое пишет Фонвизин из третьего путешествия (1784—1785) о Германии:

Вообще сказать могу беспристрастно, что от Петербурга до Ниренберга баланс со стороны нашего отечества перетягивает сильно. Здесь во всем генерально хуже нашего: люди, лошади, земля, изобилие в нужных съестных припасах — словом, у нас все лучше, и мы больше люди, нежели немцы [Фонвизин 1959: 508].

То же и об Италии: «Вообще сказать можно, что скучнее Италии нет земли на свете <...>» [Фонвизин 1959: 532]. Исторически фонвизинское «путешествие на Запад» восстанавливает систему ценностей, характерную для допетровского сознания: свое, российское всегда оказывается более ценным, чем что бы то ни было европейское. В то же время «Письма из-за границы» предваряют как

травелог Александровской эпохи, так и травелог середины XIX века. Отрицание и умаление чужих земель здесь основано у Фонвизина не на древнерусском «путешествии в неправедную землю», а на чисто имперском чувстве: для носителя имперского сознания нет иных империй, кроме собственной.

Существенно важны созданные в период екатерининского царствования путешествия по Новороссии и путешествия в Крым — впервые травелог использовал традиции колонизирующего путешествия для ментального присоединения к империи завоеванных территорий. Пространство, совсем недавно воспринимавшееся как чужое, теперь получило статус своего. Традиционные для Екатерининской эпохи славословия просвещенному монарху органически соединяются здесь с литературным пересозданием описываемой земли: новые топонимы, заселение новыми жителями, изменение государственного языка, возникновение новых городов, благоустройство, просвещение и пр. Интересно, что колонизирующее сознание русского имперского травелога направляется не на колонии, а на завоеванные восточноевропейские земли. Присоединение земель к империи становится актом их нового рождения (давняя история Северного Причерноморья при этом почти не вспоминается), их история начинается с чистого листа, их недавнее присоединение создает ощущение девственности и первозданности (что звучит в ту эпоху знакомым руссоистским напевом). Довольно скоро те же мотивы перейдут на давно уже присоединенную Прибалтику (в момент ее присоединения имперского травелога еще не существовало, травелог Александровской эпохи как бы присоединяет прибалтийские земли заново — забирая их назад у Наполеона), а также на земли, лежащие к западу от российских границ.

Наполеоновские походы русской армии и Отечественная война 1812 года приводят к существенным переменам в русском национальном самосознании. Оно окончательно освобождается от ученического комплекса. Теперь русский воспринимает себя полноправным европейцем, а в ряде случаев — человеком более просвещенным, чем рядовые европейцы. Эту перемену фиксирует один из самых знаменитых травелогов Александровской эпохи — «Письма русского офицера» Ф.Н. Глинки.

Заглавие этого текста демонстрирует преемственность по отношению к травелогу Карамзина. Однако с самого начала Глинка обозначает коренное отличие своего путешественника и от карамзинского, и от любого стернианского: «...я путешествовал по обязанности, а не от праздности или пустого любопытства» [Глинка 1808: 12]. Эта важная мысль повторена и в середине текста: «...но ты знаешь, любезный друг, что я иду, куда меня ведут, и не так, как хочу, но как велют <...>» [Глинка 1808: 80]. Позиция путешественника раздваивается: с одной стороны, он офицер русской армии — и именно в этом статусе путешествует (эта перемена настолько важна, что подчеркнута заглавием: Глинка сохраняет два первых слова карамзинского названия и меняет третье — с «путешественника» на «офицера»); с другой стороны, в свободное от службы время он частный человек, способный наслаждаться увиденными красотами (остаток сентименталистского подхода). Но путешественник-офицер ощущает и свою провиденциальную миссию: его пером движет не приватное чувство, а сама История. Его путешествие — не движение одинокого путника, а движение армии.

Пространство путешествия, таким образом, становится пространством освобожденным, обретая все признаки ничейного, вновь создаваемого, присоединяемого к империи. Показательно, что ничейной оказывается не только

территория Польши (нерешенный вопрос о польской государственности поднимается путешественником неоднократно) или Галиции, но и немецкие земли (включая самые благоустроенные — королевство Саксония или герцогство Саксен-Веймар): они не входят ни в одну империю, следовательно, могут быть присоединены Россией. Вслед за экспансией армейской следует и культурная экспансия:

Народ Саксонский принимает Русских с почтением и сердечною радостью. <...> Все Русское входит здесь в употребление. На многих домах надписи Немецкие написаны Русскими словами, а на иных и совсем по-Русски. <...> Неоспоримо, что слава народа придает цену и блеск языку его. <...> Теперь уже всякий Саксонец имеет ручной Российский словарь — и скоро, скоро может быть, ...там, где победа украшает лаврами знамена народа Русского, станут читать Русских писателей; станут дивиться Ломоносову, восхищаться Державиным, учиться у Шишкова, пленяться Дмитриевым, любоваться Карамзиным!.. [Глинка 1815, ч. 5: 61—62].

Молодому Карамзину показалось бы крайне неуместным популяризировать Шишкова и Дмитриева (и даже его собственное творчество) в стране Гёте и Шиллера. Но травелог Глинки уже по-настоящему имперский. Ломоносов и Державин в его восприятии равновелики Шиллеру и Виланду, потому что это главные поэты его империи.

Если для Карамзина Европа (и прежде всего Франция со Швейцарией) оказывались недостаточно просвещенными, то в восприятии Глинки французы — европейские варвары, забывшие о ценностях Просвещения. Начиная описание похода против Наполеона, совершенного в 1805—1806 годах, Глинка сообщает: «<...> мы спешим к берегам Рейна, где честолюбивый Галл уже возжег пожар войны; туда стоны утесненных народов призывают защитников» [Глинка 1808: 17]. О сменившейся парадигме говорят античные сравнения путешественника: русскую армию (в Шенграбенском сражении) он уподобляет тремстам спартанцам, французов — персидским полчищам. Себя путешественник видит Ксенофонтом, выводящим греческое войско с варварской земли и пишущим свой «Анабасис Кира». Французская дикость станет постоянной темой четвертой части, посвященной Отечественной войне 1812 года, а отстраиваемые силами пленных французов отбитые города (Борисов, Вильна) актуализируют тему нового творения, опробованную в путешествиях по Новороссии. После победы над Наполеоном Россия прямо уподобляется Римской империи (в военно-метафорическом ряду Барклай-де-Толли сравним с Катоном, Кутузов уподоблен римскому триумфатору, пожар Смоленска — гибели Помпеи и т.д.), а Франция и Париж, некогда город-светоч (от него остались Лувр, Французский театр, сад Тюильри и прочие объекты туризма, которые русский офицер посетит с традиционным восхищением), теперь воняют, как карамзинский Берлин. «Так это-то Париж! — думал я, видя тесные, грязные улицы, высокие старинные, запачканные дома и чувствуя, не знаю от чего, такой же несносный запах, как и за городом от тлеющих трупов и падл» [Глинка 1815, ч. 8: 10]. И упрек французам, доведшим свою империю до революции и заслуженного разгрома (войск императора-самозванца), очень напоминает упреки Карамзина: «Чем больше узнаю Французов, тем яснее понимаю, отчего так легко управляли ими Марат, Робеспьер и Бонапарте. Неограниченное владычество сих злодеев основывалось на неограниченной ветренности народа» [Глинка 1815, ч. 7: 141].

Травелог Александровской эпохи по-новому выстраивает европейское пространство. Россия оказывается едва ли не главной европейской страной. Чем далее путешественник продвигается на Запад, тем меньше духовности находит. Записки Глинки формируют новый стиль, соответствующий новым политическим задачам. Временами еще попадаются сентиментальные интонации, однако основной прагматический тон «Писем» выстраивается как поверка-оценка европейских культур, произведенная россиянином. Греко-римские ассоциации путешественника не только дань эпохе классицизма, но и результат обретения подлинно имперского духа: Россия для него — единственная империя Европы. Ни Австро-Венгрия, ни тем более Франция не могут сравниться с величием и могуществом России. О Британской империи путешественник скромно умалчивает.

Идейная структура, выкристаллизовавшаяся в травелог Глинки, сохраняется на протяжении всей первой половины XIX столетия. Благородная и благодарная Саксония, славящая имя России и императора Александра, злобонные и неблагоустроенные французские города и многие другие мотивы, приобретшие символическое значение, повторяются в целом ряде путешествий 1830—1840-х годов. Новым имперским мотивом, впервые вышедшим на первый план в сочинении М.П. Погодина «Год в чужих краях (1839). Дорожный дневник» (опубликовано в 1844 году), становится идея славянского единства. Путешественник уделяет пристальное внимание славянским землям Восточной Европы (прежде всего Чехии и конкретно Праге), указывая на близость славянских языков и культур. Если в немецких землях так и не стали читать Державина и Карамзина, то интеллектуалы Праги очень заинтересованы русской литературой. Путешественниками-культуртрегерами становятся большей частью филологи, историки, фольклористы. При этом тексты, которые они пишут, соединяя травелог с научными работами, адресованы не столько профессиональному сообществу, сколько широкому читателю. Идея славянского единства становится весьма популярной в различных кругах русского общества. Австро-Венгрия, которой давно принадлежит Прага, воспринимается русским общественным сознанием как недоимперия. Мысль перечертить ее границы определит патриотическую программу почти на век вперед. Путешествие, таким образом, структурирует славянский географический ореол, противопоставляя принцип национально-культурного самосознания принципу государственных границ.

В середине XIX века появляется еще один тип травелога — травелог-репортаж. Образцовым текстом такого рода следует признать «Парижские письма» (1847—1848) П.В. Анненкова. В них русский интеллигент, долго живущий в Париже, ведет полноправный культурный диалог с Европой. «Парижские письма» — это хроника культурной жизни Парижа, состоящая из рецензий на новейшие парижские спектакли и выставки картин (культурный шок, произведенный картинами Кутюра, Коро, Делакруа на выставке 1847 года в Лувре), разбора изменений в лекционных курсах Сорбонны и Collège de France и просто пересказа газетных новостей с развернутым комментарием. Все это проникнуто тонкой иронией повествователя, судящего взором просвещенного русского европейскую жизнь. Пожалуй, этот тип травелога вновь приближает жанр к архетипу (коммуникативная установка в нем преобладает), однако и тут можно увидеть имперское зерно. Париж в этом тексте как бы становится частью культурной и общественной жизни России, включаясь в ор-

биту империи. Местами путешественник Анненкова смотрит на Францию изнутри, местами со стороны и свысока. Если поколение Ф.Н. Глинка впервые ощутило себя ровней европейцу, то новое поколение, открывшее спор западников и славянофилов, ставит себя выше.

Письма Анненкова предвосхищают травелог А.И. Герцена. В «Письмах из Франции и Италии» (1847—1852) покинувший Россию западник попадает наконец на духовную родину. Однако Европа не оправдала его надежд: это уже не карамзинские упреки в несовершенстве, это полное разочарование. Жизнь Франции и Италии определяет мещанство, столицей мещанства оказывается Париж: «Видимый Париж представлял край нравственного растрепания, душевной усталости, пустоты, мелкости; в обществе царил совершенный безучастие ко всему выходящему из маленького круга пошлых ежедневных вопросов» [Герцен 1955: 141]. Духовное горение русского путешественника не находит отклика на Западе: если средневековый пилигрим видел в Иерусалиме пустой гроб, то путешественник Герцена нашел в Европе лишь пустую колыбель.

Отлетевшая душа, расслабленность и бездуховность Европы вскоре станут стержневой темой путешествий на Запад, объединяющей русских авторов самых разных взглядов и направлений. Например, через 25 лет после «Писем из Франции и Италии» идейный противник Герцена — почвенник Ф.М. Достоевский — вложит в уста Версильову, герою романа «Подросток» (1875), те же слова о европейском кладбище, похоронном звоне, сопровождающем европейскую мысль, и закатном солнце над Европой. Русские, по точному слову Достоевского, чувствуют себя в Европе единственными европейцами. Имперскую составляющую этой темы помогает обнаружить не только презрение ко Второй империи (как и империя Наполеона I, империя Наполеона III — недоимперия), но и объявление себя эксклюзивными интерпретаторами наследия европейской культуры. Давняя идеологема Третьего Рима обретает многогранность и объем: теперь она восходит уже не столько к Москве как наследнице православной Византии, сколько к Санкт-Петербургу как наследнику Рима имперского и одновременно Рима всехристианского.

На этом фоне активно развивается новый тип литературы путешествий — анти-травелог или антипутеводитель. Одним из ранних примеров такого рода можно назвать произведение Ф.М. Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1862—1863). Это текст, в котором традиционные приоритеты литературы путешествий перевернуты. Страны и города лишь названы, причем в главе, посвященной Англии, речь идет большей частью о Франции; в главе, анонсирующей Эйдкунен и первые заграничные впечатления, рассказывается исключительно о России и Фонвизине (его уничижительное высказывание о французах путешественник делает точкой опоры) и т.д. Перечисление достопримечательностей оказывается перечислением всего того, что путешественник не увидел: Рим (собор Св. Петра и папу), Берлин, Дрезден, Кёльн (в которых он побывал, но все равно что не был), Лондон (в котором он тоже был, но не видел собора Св. Павла. То есть видел, но сажень за двести, а рассматривать не стал). Рим и Лондон, столицы юга и севера, католицизма и англиканства, с двумя громаднейшими соборами Европы, как бы дополняют друг друга в пафосе отрицания. Германия, оказавшаяся между ними, тоже не заслуживает внимания: Кёльнский собор — «кружево, кружево и одно только кружево, галантерейная вещица вроде пресс-папье на письменный стол, сажень в семьдесят высоту» [Достоевский 1973: 48], а Берлин как две капли воды по-

хож на Петербург, нечего было и ехать. «Те же кордонные улицы, те же запахи, те же... (а, впрочем, не перечислять же всего того же!). Фу ты, бог мой, думал я про себя: стоило ж себя двое суток в вагоне ломать, чтоб увидеть то же самое, от чего ускакал?» [Достоевский 1973: 47]. Все города Европы, посещенные и непосещенные, не стоят внимания образованного русского. Само понятие «достопримечательность» выпадает из сознания повествователя: в «стране святых чудес» святых чудес нет. Таким образом, имперское сознание не просто пытается подчинить себе европейские пространства, оно превращает Запад в дорогие сердцу развалины — наподобие римского форума. Не замечать Европу — новая стратегия имперского путешественника. Российская империя остается единственной на континенте.

Анти-травелог окажется крайне востребованным в русской литературе конца XIX столетия. Эту форму активно применяет в своих европейских очерках Г.И. Успенский. М.Е. Салтыков-Щедрин выстроит свой европейский травелог — цикл очерков «За рубежом» (1880—1881) — в соответствии со стратегией антипутеводителя: обсуждению российских проблем посвящено значительно больше места, чем непосредственному восприятию Европы; главное впечатление от поездки — обезличенные люди, которыми заполнены все города; только Берлин и Париж имеют каждый свою мерзкую физиономию. Берлин превращается в локус солдатчины и потенциальной угрозы. Париж, как и у Герцена, — локус мещанского благополучия. В восприятии Щедрина он мало отличается от Москвы, ибо воняет самодовольством.

Путешествие по империи, напротив, приобретает все большую значимость на протяжении XIX века. Описание своих территорий осмысливается как имперское пересоздание диких земель, созидание цивилизации на месте хаоса и утверждение российской государственности. Передвижение путешественника сообщает динамику описываемым местам: читатель видит территории в развитии, в соединении прошлого и настоящего, переходящими в имперскую вечность. Например, одним из наиболее важных маршрутов оказываются путешествия по Сибири. «Письма из Сибири» (1826), написанные историком П.А. Словцовым, утверждают саму идею российской Сибири. Активно развиваются региональные травелогии — демонстрируя разнообразие и величие самой большой империи планеты. Показательны, например, уральские травелогии. Первоначально они связаны с преодолением Уральских гор, попаданием на горные заводы и полны теллурической таинственности изначального бытия. С развитием регулярного пароходного сообщения (середина XIX века) горы отходят на второй план, на первом же оказывается река и цивилизация, становящаяся вдоль нее. Сам пароход как символ и инструмент имперского пересоздания пространства олицетворяет принцип цивилизации, приходящей в дикие места. Появление железнодорожного транспорта еще более усиливает цивилизационное задание травелога. Преодоление горных перевалов становится быстрым и привычным, движение поезда и прокладка новых железных дорог, связанная с технократическим характером уральской местности, упорядочивают пространства и стремят все далее на Восток имперский проект (подробнее см.: [Власова 2010]). Строительство Транссибирской магистрали и Китайско-Восточной железной дороги (см. огромные путеводители по этим дорогам, изданные в начале XX века, а также известный травелог генерала А.В. Верещагина) доводят цивилизационный проект до восточных рубежей империи и оформляют экспансию России в Маньчжурии и Китае.

Особый сюжет русского имперского травелога представляет путешествие на Восток. Пожалуй, только этот маршрут сопоставим с западноевропейским ориенталистским проектом, описанным Э. Саидом. Ряд путешествий в Персию и Турцию, включая пушкинское «Путешествие в Арзрум» (тип пушкинского путешественника практически тот же, что у Ф.Н. Глинки), совмещают традиционный для путешествий на Восток «экзотизм» с описанием земель как предмета потенциального завоевания. С присоединением к Российской империи Центральной Азии путешествия в эти земли стали русским вариантом колонизирующего путешествия. Путешествия в Индию, Сиам, Китай и Японию (включая знаменитое путешествие цесаревича Николая в 1890—1891 годах), с одной стороны, демонстрируют потенциальную экспансию империи на Дальний Восток, с другой — воспринимаются как продвижение европейской цивилизации, частью которой оказывается Россия.

Однако основным сюжетом русского имперского травелога следует признать путешествие на Запад. Перефразируя Саида, утверждавшего, что именно в противостоянии Востоку складывается западная идентичность, можно сказать, что российская имперская идентичность складывается в политическом и культурном противостоянии Европе. Умаление Европы, постепенно и последовательно проведенное в травелоге XIX столетия, можно осмыслить как важнейший стержень имперской идеологии, приведший в конечном счете к Первой мировой войне. Имперский Берлин как локус агрессии и солдатчины — и противостоящий ему расслабленный и ветреный Париж (при факультативности Вены в русских путешествиях: Вена нередко осмысливается как узловая железнодорожная станция на пути в Италию или на юг Франции) определяют ключевые точки имперского травелога уже в 1880-е годы. На протяжении трех последующих десятилетий силовые линии травелога будут доведены до максимального напряжения.

Советский травелог, появившийся в начале 1920-х годов, еще до оформления имперских черт внутри советской идеологии, наследует традиции русского имперского травелога. Учитывая смещение силовых линий в послевоенной Европе (теперь Берлин — близкий «нам» город, а Париж — столица капиталистической Европы, но при этом еще и город буржуазных революций, функционально рифмующийся с Петроградом и Москвой), он выстраивает советскую идентичность в противостоянии с идентичностью западного буржуа. Европейский травелог предстает как путешествие в мир прошлого, азиатский травелог (в том числе маршрут, включающий Турцию, где только что произошла своя антирелигиозная, антифеодальная и антизападная революция) — как посещение потенциального союзника, более отсталого, чем «мы», но уважающего и любящего «нас». Советский Союз позиционирует себя вождем движения угнетенных народов (интенции восточных путешествий), а также вождем всех угнетенных классов (интенции западных путешествий). Путешествия по Союзу Советов не просто продолжают цивилизационно-имперский проект путешествий XIX века, они усиливают заложенную в нем идею пересоздания географии: новое административное деление с приданием ряду губерний статуса республик и автономных республик (по смыслу слов, независимых и свободных государств) подается как возрождение запущенных территорий, превращение заштатных городишек в новые столицы республик и краев аналогично строительству новых городов; увеличение количества столиц оказывается символическим развитием территорий.

Важнейшим моментом советских травелогов становится ре-номинация объектов. Она свойственна любому имперскому травелогу (переводя иностранные названия на собственный язык, путешественник переназывает объекты, тем самым деформируя их, подчиняя иному узусу), но советский травелог воспринимает ее как основу географической политики. На территориях, присоединяемых к империи, происходит тотальное изменение топонимов (Карельский перешеек в 1940 году, Калининградская область в 1946 году, ряд переименований в ГДР и других странах социалистического лагеря) — точно так же поступают с топонимами в советских городах (превращение Петербурга-Петрограда в Ленинград с переименованием улиц и площадей всего центра города; такое же изменение московской топонимики в соединении с изменением самого городского пространства — рисунка улиц и площадей). Интересно, что в советских травелогах мы находим тот же прием в качестве значимой шутки и символического акта одновременно. Путешествуя по США, Б. Пильняк так переименовывает Лос-Анджелес: «Приехали в Лос-Анджелес — в Архангельск, если перевести по-русски» [Пильняк 1933: 118].

Новому номинативному подходу соответствует и новый информативный подход. Советский травелог игнорирует все то в ином пространстве, что не соответствует его представлениям о жизни. Например, рассказывая о Берлине 1920—1930-х годов, советские путешественники уделяют много внимания транспортной инфраструктуре (это объект для заимствования), голоду и безработице (проклятие буржуазного мира), массовым демонстрациям пролетариата (близость советской культуре), социалистической культуре (революционные песни немецких поэтов и пьесы Эрнста Толлера, идущие в театрах); отмечается даже пение советских революционных песен («Смело, товарищи, в ногу») в берлинской пивной. Но нет ни слова о Берлинском филармоническом оркестре, о немецком экспрессионизме и Баухаузе (исключение — упоминание того и другого в единственном травелоге И.Г. Эренбурга), о взаимодействии русского и немецкого современного искусства (творчество В.В. Кандинского, например), о новом немецком театре и даже о Б. Брехте. Тематами для травелога становится только то, что работает на нужную внешнеполитическую идею, и только то, что делает из Германии второй СССР. Все самобытные артефакты остаются вне внимания и тем самым перестают существовать. Задача ментальной колонизации пространства не просто выходит на первый план, она доминирует над всем остальным. К середине 1930-х годов многие травелогисты (например, тексты Л. Никулина) будут сочиняться по материалам газет, вне всякой связи с реальным путешествием и непосредственными впечатлениями (см. подробнее: [Пономарев 2013]).

Советский травелог довел до логического завершения идейный принцип имперского травелога. Литературное перемещение стало механизмом преобразования чужого пространства в свое. Присоединением неопределившегося пространства к империи. При этом любое неимперское пространство воспринимается как неопределившееся и потенциальные границы империи не оканчиваются нигде. Имперская география, создаваемая травелогом, формирует сознание как внутреннего, так и внешнего читателя. Для читателя внешнего, с одной стороны, создается иллюзия зеркальности двух пространств — их почти полного сходства; с другой стороны, последовательно проводится мысль, что внутри империи жизнь лучше, так как она упорядочена. Для читателя внутреннего формируется иллюзия, что вне империи живут почти так же,

как у нас, но хуже. Это вызывает желание присоединить страдальцев к империи из гуманных соображений.

В условиях затрудненного перемещения по собственной стране и внешнему миру травелог в Советском Союзе оставался единственным источником информации о жизни и быте других территорий. Имперские штампы советского травелога легко воспроизводились идеологизированным массовым сознанием. Не исключено, что и сегодня эти штампы продолжают жить в российском социуме: при актуализации знакомых имперских мифологем они всплывают из подсознания.

Библиография / References

- [Власова 2010] — *Власова Е.Г.* «Дорожные дискурсы» уральского травелога XVIII — начала XX // *Вестник Пермского университета.* 2010. Вып. 6 (12). С. 115—121.
- (*Vlasova E.G.* «Dorozhnye diskursy» ural'skogo traveloga XVIII — nachala XX // *Vestnik Permskogo universiteta.* 2010. Vol. 6 (12). P. 115—121.)
- [Герцен 1955] — *Герцен А.И.* Письма из Франции и Италии // *Герцен А.И. Собр. соч.:* В 30 т. Т. 5. М.: Изд. АН СССР, 1955.
- (*Gerzen A.I.* Pis'ma iz Francii i Italii // *Gerzen A.I. Works:* In 30 vols. Vol. 5. Moscow, 1955.)
- [Глинка 1808] — *Глинка Ф.* Письма русского путешественника о Польше, Австрийских владениях и Венгрии. М.: Тип. П. Бекетова, 1808.
- (*Glinka F.* Pis'ma russkogo puteshhestvennika o Pol'she, Avstrijskih vladenijah i Vengrii. Moscow, 1808.)
- [Глинка 1815] — *Глинка Ф.* Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции: В 8 ч. М.: Тип. С. Селивановского, 1815.
- (*Glinka F.* Pis'ma russkogo oficera o Pol'she, avstrijskih vladenijah, Prussii i Francii: In 8 parts. Moscow, 1815.)
- [Достоевский 1973] — *Достоевский Ф.М.* Зимние заметки о летних впечатлениях // *Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.:* В 30 т. Т. 5. Л.: Наука, Лен. отд., 1973. С. 46—98.
- (*Dostoevskij F.M.* Zimnie zametki o letnih vpechatlenijah // *Dostoevskij F.M. Complete Works:* In 30 vols. Vol. 5. Leningrad, 1973. P. 46—98.)
- [Карамзин 1987] — *Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника. Л.: Наука, Лен. отд., 1987.
- (*Karamzin N.M.* Pis'ma russkogo puteshhestvennika. Leningrad, 1987.)
- [Лотман, Успенский 1987] — *Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // *Карамзин Н.М. Письма русского путешественника.* Л.: Наука, Лен. отд., 1987. С. 525—606.
- (*Lotman Ju.M., Uspenskij B.A.* «Pis'ma russkogo puteshhestvennika» Karamzina i ih mesto v razvitanii russkoj kul'tury // *Karamzin N.M. Pis'ma russkogo puteshhestvennika.* Leningrad, 1987. P. 525—606.)
- [Пильняк 1933] — *Пильняк Б.* О'кэй. Американский роман. М.: Федерация, 1933.
- (*Pil'nyak B.* Okaj. Amerikanskij roman. Moscow, 1933.)
- [Пономарев 2013] — *Пономарев Е.Р.* Типология советского путешествия. «Путешествие на Запад» в литературе межвоенного периода. 2-е изд. СПб.: СПбГУКИ, 2013.
- (*Ponomarev E.R.* Tipologija sovsetskogo puteshhestvija. "Puteshestvie na Zapad" v literature mezhoennogo perioda. 2 ed. Saint Petersburg, 2013.)
- [Фонвизин 1959] — *Фонвизин Д.И.* Письма // *Фонвизин Д.И. Собр. соч.:* В 2 т. Т. 2. М.; Л.: ГИХЛ, 1959.
- (*Fonvizin D.I.* Pis'ma // *Fonvizin D.I. Works:* In 2 vols. Vol. 2. Moscow; Leningrad, 1959.)
- [Said 1978] — *Said E.W.* Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978.

Имперское воображение и инаковость

Ольга Майорова

Маркеры русскости в имперском пространстве:

ПАРАДОКСЫ РАССКАЗА Н.С. ЛЕСКОВА
«НА КРАЮ СВЕТА»

Olga Maiorova

Finding Russianness in Imperial Space: Paradoxes in Leskov's Story "At the Edge of the World"

Ольга Майорова (Мичиганский университет; профессор кафедры славянских языков и литератур и кафедры истории; PhD) maiorova@umich.edu.

Ключевые слова: миссионерство, православная церковь, конфессиональная политика, протестантская теология, редстокизм, русификация, иконопись, православная империя

УДК: 801.73

В статье анализируется рассказ Н.С. Лескова «На краю света» в контексте дискуссий о православном миссионерстве и о вероучении английского проповедника лорда Редстока (1870-е годы). Майорова интерпретирует «На краю света» как замаскированный ответ на проповедь Редстока и его русских последователей. Центральные мотивы повествования рассматриваются в связи с концептом России как православной империи. Автор анализирует метафорические репрезентации империи и инверсию мотива крещения, выявляя соотнесенность рассказа с поэзией Ф.И. Тютчева и с идеями К.П. Победоносцева, вскоре обер-прокурора Синода и вдохновителя политики по укреплению «русских начал». В статье раскрыты иконописные образы, на которых строится ассоциативный план повествования, и показана их роль в «воображении» православной империи.

Olga Maiorova (University of Michigan; the Department of Slavic Literatures and Languages and the Department of History; associate professor; PhD) maiorova@umich.edu.

Key words: missionary activities, Orthodox Church, confessional policies, protestant theology, followers of Radstock, Russification, iconography, Orthodox empire

UDC: 801.73

Maiorova's article explores Nikolai Leskov's story "At the Edge of the World" in the context of the contemporaneous debates about the missionary activities of the Russian Orthodox church and the preaching of the English evangelist Lord Radstock in the 1870s. The article interprets Leskov's story as a disguised response to the preaching of Radstock and his Russian followers. The key thematic motifs of the narrative are examined in relation to the concept of Russia as an Orthodox empire. Maiorova analyzes the story's metaphoric representations of the empire and inversion of the theme of religious conversion, revealing its connection with the poetry of Fedor Tjutchev and the Russifying agenda of Konstantin Pobedonostsev, the soon-to-be Ober-Procurator of the Synod. The article reveals Leskov's allusions to some famous images from Orthodox iconography and demonstrates their role in "imagining" Russia as an Orthodox empire.

Один из самых известных «святочных рассказов» Лескова, «На краю света», впервые появился в газете «Гражданин» на рубеже 1875-го и 1876 годов, в рождественскую неделю и в последующих номерах. Несколько месяцев спустя, уже вне какой-либо связи с его календарной приуроченностью, рассказ вышел отдельным изданием, и Константин Петрович Победоносцев, в недавнем прошлом наставник наследника престола, великого князя Александра Александровича, послал эту книгу своему высочайшему экс-ученику, будущему императору Александру III, с кратким пояснением: «...позвольте <...> представить Вам книжку: “На краю света”, сочинение г. Лескова — того самого, который написал известный Вам рассказ “Соборяне”. Книжка эта хорошо написана и думаю, что она Вам понравится, когда изволите прочесть ее в досужую минуту» [Победоносцев 1925: 44]. Будущий обер-прокурор Святейшего Синода обычно рекомендовал будущему императору только такое чтение, которое влияло на убеждения Александра и прежде всего культивировало в нем преданность «русскому делу». Литературные тонкости мало занимали Победоносцева, и похвалы, вроде «книжка хорошо написана», обычно означали в его устах одобрение не эстетических достоинств текста, но взглядов автора. Чем же именно рассказ Лескова привлек Победоносцева? Поддаются ли определению те смысловые пласты «На краю света», которые могли вызвать энтузиазм знаменитого обер-прокурора, вскоре ставшего вдохновителем новой политики Александра III по укреплению православия и «русских начал»?

На первый взгляд такая постановка вопроса кажется надуманной, ведь Лесков и Победоносцев вошли в историю как представители полярных полюсов идеологического спектра, особенно в вопросах конфессиональных. Когда в последнее десятилетие жизни Лесков выступал с критикой церкви («Полунощники») и высмеивал политику обрусения на окраинах империи («Колыванский муж»), то Победоносцев, к тому времени уже могущественный обер-прокурор, способствовал запрещению произведений писателя, а Лесков за глаза, в разговорах со знакомыми, стал называть его Лампадоносцевым [Бертенсон 1915: 90; Неизданный Лесков 2000: 375]. Но их репутация идеологических противников отражает расклад сил в 1880—1890-е годы. Что же касается предшествующего десятилетия, то тогда они могли казаться если не единомышленниками, то хотя бы эпизодическими союзниками — так, возможно, Победоносцев и воспринимал Лескова. В первой половине 1870-х они оба сотрудничали в консервативных изданиях М.Н. Каткова и В.П. Мещерского. Как видно из приведенной цитаты, Победоносцеву нравилась хроника «Соборяне», с ее фокусом на жизни духовенства и нуждах церкви. Он, очевидно, обсуждал «Соборян» с наследником, и не исключено, что сам познакомил его с хроникой. В этом контексте рекомендация великому князю еще одного произведения Лескова вряд ли выглядит случайной¹.

Лесков — писатель игровой и глубоко ироничный, мастер гротеска, фарсовых сцен и интертекстуальных маневров. Любитель нарративных провокаций, он часто подрывал идеологические стереотипы, к которым, казалось бы, всерьез апеллировал, — и тем самым размывал границы между прямым и опо-

1 В этом контексте кажутся достоверными и воспоминания И.И. Ясинского о купленной им у букиниста книге Лескова с «рукописным посвящением Победоносцеву» [Ясинский 2010: 334]. Скорее всего, речь шла об одной из книг духовного содержания, составленной Лесковым в 1870-е годы.

средованным словом, между утверждением и сарказмом. А.К. Жолковский проницательно заметил, что повествовательные стратегии Лескова, в особенности «комплекс ненадежности» его рассказчика, коррелируют с уклончивой позицией самого писателя [Жолковский 2011: 194]. В самом деле, вчитывая в произведения Лескова отточенную программу, затемнять их игровую природу или сводить их к политической идеологии контрпродуктивно. И все же во многих случаях смысл его произведений ускользает вне полемического контекста и, главное, вне попыток писателя — совершенно в духе его эпохи — прямо отвечать на вызовы времени и недвусмысленно ориентировать свои тексты в интеллектуальном пространстве. При всем богатстве нарративной техники Лескова для опровержения идеологических схем (тем более, их упрощенных и прямолинейных вариантов), писатель владел не менее изощренными стратегиями для создания таких текстов — «На краю света» в их числе, — в которых доминирует «надежный» рассказчик, наделенный правом всерьез обсуждать центральные проблемы русской жизни и транслировать авторскую позицию, далеко не всегда уклончивую.

Как я постараюсь показать, среди таких проблем в рассказе «На краю света» важное место занимает соотношение имперскости и русскости, и, возможно, именно этот смысловой пласт текста вызвал одобрение Победоносцева, видевшего Россию уникальной православной империей. И, может быть, то обстоятельство, что в этом рассказе Лесков подступает к имперской проблематике не сразу и не напрямую, но вводит ее через обсуждение конфессиональных вопросов и миссионерской практики, было особенно значимо для Победоносцева, пользовавшегося репутацией знатока церковной политики задолго до назначения на пост главноуправляющего православием в империи².

Дебаты о миссионерстве

Рассказ построен как воспоминания протагониста — престарелого архиепископа — о его службе в Сибири и пережитой там драме, радикально изменившей его взгляд на миссионерство. Повесть архиерея о самом себе, некогда молодом пастыре, ревностно взявшемся за дело крещения сибирских инородцев, достигает кульминации, когда рассказчик едет проповедовать на окраины своей и без того удаленной епархии. Заблудившийся в «снежной пустыне» и обреченный на гибель, он получает внезапное спасение — а заодно урок веры

2 Весной 1874 года, когда на заседании Государственного совета обсуждался вопрос о браках старообрядцев, по слухам, дошедшим до хорошо осведомленного современника генерала А.А. Киреева, великий князь Константин Николаевич, брат царя и председатель Государственного совета, прервал одного из выступающих словами: «...уж лучше предоставим это Победоносцеву», признав тем самым именно Победоносцева экспертом в церковных делах [Киреев 1869—1876: 82 об.]. Видимо, перспектива назначения Победоносцева на пост обер-прокурора обсуждалась в высших кругах уже в 1870-е годы. Огорченный этими слухами, Киреев записал в своем дневнике в декабре 1876 года: «Я бы очень желал, чтобы его сделали министром юстиции, но Боже избави его сделать обер-прокурором при Св. Синоде!» Другая запись Киреева поясняет его отношение к Победоносцеву: «Он прекрасный, честнейший человек, но довольно тупой, несмотря на всю свою ученость. Православие его немного на “постном масле”» [Киреев 1876—1878: 20—20 об., 24 об.].

и самопожертвования — от «дикаря»-язычника, своего проводника, которого сам совсем недавно угрожал насильно крестить. Эта драма навсегда охлаждает прозелитистский пыл архиерея. Как он объясняет своим слушателям, «дикарь», не зная православного вероучения, следовал «апостольскому завету» [Лесков 1957: 509], спасая того самого иерарха, чье вторжение грозит «дикарю» разрушением его мира. А это значит, заключает рассказчик, что когда-нибудь иноверцы перейдут в православие, при условии отказа церкви от практики насилия и манипуляций при крещении. В рассказе дважды звучит фраза (сначала с недоумением услышанная архиепископом, а потом сочувственно им процитированная) о том, что сибирские инородцы «сами не чувят, как края ризы» Христа касаются [Лесков 1957: 474, 487]. Заключительные страницы рассказа, посвященные счастливой развязке, выдержаны в эйфорической интонации, и здесь, по меткому наблюдению М. Кучерской и А. Лифшица, исповедь архиерея приближается к жанру церковной проповеди [Кучерская, Лифшиц 2014: 386]. Объясняя, что открывшаяся ему мудрость воздержания от агрессивного миссионерства выражает самую суть православного вероучения, рассказчик обращается к слушателям: «Почените же вы, господа, хоть святую скромность православия и поймите, что верно оно дух Христов содержит» [Лесков 1957: 516]. В ответ его аудитория хором восклицает «Аминь».

Исследователи справедливо увидели в рассказе ответ на актуализацию миссионерской темы в прессе и в церковной жизни 1870-х годов [Кучерская, Лифшиц 2014]. Как показали Михаил Долбилов и Пол Верт, в эпоху Великих реформ церковная и светская бюрократическая элита делала попытки подвергнуть пересмотру прагматический подход к обращению иноверцев — традиционную политику принуждения и заманивания, исходившую из концепции внерелигиозной мотивации крещения и использовавшую обращение как инструмент укрепления имперской лояльности. На смену этому подходу выдвигался принцип духовной мотивации и «критерий искренности и прочности усвоения вероучения», что, конечно, встречало непреодолимые трудности в реальной жизни [Долбилов 2010: 367—371; Werth 2001: 140—156]. Как пронизательно заметил Долбилов, «На краю света», а позднее и «Владычный суд» прозрачно отсылают к этой миссионерской дилемме [Долбилов 2010: 864 (примечание 13)]. В самом деле, в рассказе архиерея действует только один «успешный» проповедник («миссионер Петр из зырян»), который пользуется покровительством властей, увлекает в церковь «угощением с водочкой» и, конечно, совсем не озабочен катехизацией новообращенных. Его портрет контрастирует с самим архиереем (особенно после его путешествия по епархии) и еще в большей мере — со смиренным монахом Кириаком, воплощением «русской веры». Кириак отказывается крестить «неверных»: «жалеть их, слепых, надо» и «от доброго жития пример им показывать», тогда они сами прозреют и придут в церковь [Лесков 1957: 469—470].

Отраженные в рассказе дискуссии о миссионерстве служат идеальными подмостками для развернувшейся драмы — гибели, спасения и несостоявшегося крещения. Самое интересное, однако, что Лесков, строя весь сюжет вокруг темы миссионерства, подвергает мотив обращения радикальной инверсии. Не «дикарь» духовно преображается от вероучительных собеседований с архиереем (не случайно их импровизированные уроки катехизации в саях по дороге в глубь Сибири — самые комические эпизоды рассказа), а, напротив, архиерей получает от «дикаря» урок веры, меняет свое отношение к миссионерству

и таким образом глубже понимает истины православия. Энергия духовного преобразования оказывается обратимой, и эта радикальная инверсия становится фабульной доминантой повествования, манифестируя типичную для Лескова ироничную игру: на поверхности рассказчик рассуждает об обращении инородцев, в глубине автор изображает обращение самого архиерея, прозревшего истины православия благодаря встрече с «дикарем». Чем объясняется эта довольно дерзкая инверсия?

До сих пор мало обращалось внимания на то, что «На краю света» представляет собой один из самых интересных эпизодов продолжительной полемики Лескова с протестантизмом, вернее с той его инкарнацией, которая незадолго до появления рассказа вызвала бурное обсуждение в прессе и в обществе. Речь идет о проповеди лорда Гренвиля Редстока (Granville Radstock, 1833—1913), впервые посетившего Россию в 1874 году и постепенно, с каждым своим новым приездом, завоевывавшего все больше поклонников в великосветских салонах Петербурга до тех пор, пока в 1878 году ему не запретили въезд в Россию³. Автор нескольких статей и очерков о Редстоке, Лесков поддерживал тесные отношения с его последователями, посещал их молитвенные собрания, слушал самого миссионера и наблюдал реакцию публики. Почти во всех отзывах писателя о новом вероучении он обсуждал догмат спасения (или оправдания) верой, а не делами. Хотя Лесков подчеркивал, что Редсток отошел от англиканской церкви и не принадлежал ни к одной из протестантских деноминаций⁴, писатель все-таки отождествлял учение англичанина об искуплении с традиционной протестантской догматикой: «Христос искупил <...> все грехи человечества, — излагает Лесков идеи Редстока в «Великосветском расколе», — какое же в таком случае могут иметь значение для нашего оправдания наши дела?» [Лесков 1877: 29]⁵. В целом, отношение Лескова к редстокизму эволюционировало, колебалось и уточнялось, хотя даже в самых критических его статьях писатель не осуждал последователей новой веры безоговорочно и не упускал случая напомнить об изъянах русской церкви, недостаточно заботившейся о духовном окормлении своей паствы и тем самым отдававшей ее в руки чужеземных проповедников [Muckle 1978; Сидяков 1987; Ильинская 2010: 185—220; Ипатова 2001, 2015; Каширина 2015]. Единственный вопрос, который устойчиво вызывал его негативное отношение в споре с редстокистами, был вопрос об оправдании верой. С откровенной иронией Лесков рассказывал (опираясь на свидетельства редстокистов, с которыми лорд был особенно откровенен) о том, как «Редсток понял, что <...> грехи только могут быть омыты святою кровию, а святая кровь уже пролита и оmyвает всякого <...> при-»

3 О некоторых элементах полемики Лескова с редстокизмом в «На краю света» см.: [Майорова 1990: 505—513; Ильинская 2010: 186—189].

4 О расхождении Редстока с протестантской теологией Лесков подробно писал в «Великосветском расколе» [Лесков 1877: 153—155]. Исследователи, однако, отмечают близость Редстока к кальвинистскому Плимутскому братству, см.: [Coleman 2005: 16]. Очерк «Великосветский раскол» первоначально печатался в «Православном обозрении» вскоре после появления «На краю света» (Православное обозрение. 1876. № 9, № 10; 1877. № 2), а в 1877 году вышел тремя отдельными изданиями. Об этих изданиях см.: [Каширина 2015: 58, 61 (примечание 12)].

5 Как отметил Джеймс Макл, пиетистское учение Редстока о спасении занимало экстремальную позицию внутри протестантизма: он считал, что религиозное обращение, а значит, и искупление могут происходить внезапно, в результате эмоционального прозрения [Muckle 1978: 12].

мающего Христа <...> Следовательно, все принявшие Христа спасены и им не о чем за себя беспокоиться и плакать» [Лесков 1877: 31].

В рассказе «На краю света» новое учение прямо не упомянуто ни разу, но Лесков вкладывает в уста архиерея-рассказчика прозрачные намеки на Редстока и даже некоторые из своих собственных (вскоре озвученных) публицистических суждений о его проповеди. Как для самого писателя взгляды Редстока на спасение обличают узость взгляда, а сам он «в больших дозах» «скучен и непереносим» [Лесков 1877: 31, 37, 144–145], так и для архиерея «протяженные проповеди об оправдании» куда менее толковы, чем легенды сибирских народов [Лесков 1957: 481]. Как Лесков превозносит над новым учением «глубокою и *теплую* <...> веру нашего простонародья» [Лесков 1877: 134; курсив мой. — О.М.], так и архиерей противопоставляет «салонную христовщину» заезжих проповедников «русскому Богу», который «творит себе обитель» «у сердца как голубок *тепленький*» [Лесков 1957: 464–465, 516; курсив мой. — О.М.]. Как Лесков утверждает, что Редсток придал «живому и действенному христианству» дух «мертвящего буддизма», и тут же, в противовес новой вере, подчеркивает достоинства настоящего буддистского учения [Лесков 1877: 145–146], так и архиерей предпочитает буддистские предания проповедям об искуплении [Лесков 1957: 471]. Как писатель иронизирует в «Великосветском расколе» над «сентиментальным благочестием» Редстока, который учит только «мечтать» о Боге, но богословских вопросов «боится, как одержимый» [Лесков 1877: 58, 151; Лесков 1981: II, 53–54], так и архиерей нападает на миссионера-новатора, который проповедует «такого Христа, что в него и верить нечего, а только... думай о нем благопристойно и — хорош будешь» [Лесков 1957: 489]. Лесков не поясняет, какого именно «новатора» имеет в виду его рассказчик, но современники прекрасно поняли намек. Горячая редстокистка Ю.Д. Засецкая⁶ написала развернутое опровержение и послала его Лескову, своему хорошему знакомому, постоянному собеседнику и частому посетителю ее салона, с которым она подробно обсуждала проповедь Редстока: «Я упрекаю Вас в том, что Вы говорите, что <...> протестант учил бы только думать о Боге... прилично... и больше ничего не нужно». Засецкая спорит с Лесковым, полностью отождествляя его позицию с финальной проповедью рассказчика: «Смирение православного, которое Вы так превозносите, конечно, похвально, но не тогда, когда переходит в тупое равнодушие <...> Это смирение — но смирение раба ленивого и лукавого, который зарыл талант в землю»⁷. Письмо Засецкой — это продолжение открывающего «На краю света» спора о миссионерстве. Напомню, что вся история сибирских приключений архиерея служит ответом на похвалы одного из эпизодических персонажей успехам западного прозелитизма и на его обвинения в адрес русского духовенства в апатии и бездействии. Архиепископ уклоняется от прямого спора, но рассказывает историю, которая должна проиллюстрировать мудрость и «святую скромность православия». Архиерей убедил своих слушателей (как уже упоминалось, они хором восклицают «Аминь» в ответ на его финальную проповедь), но автор не убедил редстокистов. Засецкая продолжает полемику о миссионерстве, и сама по себе ее темпераментная реакция свидетельствует о степени включенности

6 О Засецкой и ее отношениях с писателем см.: [Ипатова 2001; Лесков 1981: II].

7 Засецкая Ю.Д. Письмо к Лескову // РГАЛИ. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 239. Л. 6–6 об. Письмо без даты; датируется по содержанию.

рассказа в живые дискуссии того времени. Весь текст «На краю света» (не только выпады против «религиозных новаторов») можно прочитать под знаком полемики с редстокизмом: центральная в рассказе тема «теплой» русской веры и Христа «у сердца», «за пазушкой» [Лесков 1957: 464–465; 471–472] — это явный противовес восторженной пиетистской любви к Христу.

Поскольку редстокизм широко обсуждался в прессе с участием таких известных фигур, как Ф.М. Достоевский, священник И.С. Беллюстин, В.П. Мещерский, сам Лесков и многие другие, не только Засецкая, но и более широкий круг читателей «На краю света» мог угадывать в рассказе замаскированный ответ на проповедь Редстока. Лесков даже сам подсказывал такое прочтение. В «Великосветском расколе» он иронизирует над наивными ожиданиями редстокистов обратить каждого неверующего: «Без шуток, — замечает Лесков о родных Редстока, — решительно без всяких шуток говорят, что в этой семье дети даже играют в миссионерство: одни изображают дикарей, другие проповедников; они сначала противятся, потом слушают, убеждаются, потом евангелизируются, потом обретают, возлюбляют и воспевают» [Лесков 1877: 61]. Рассказывая о дикарях, которые в детской игре послушно «возлюбляют и воспевают», Лесков приподнимает завесу над замыслом своего недавно напечатанного рассказа, где он пародировал такого рода благостную картину обращения, подвергнув ее радикальной инверсии.

Если принять во внимание весь этот многослойный исторический контекст — дебаты о православном миссионерстве как внутри империи, так и в отношении с протестантским прозелитизмом, — становится понятным, почему Победоносцев послал рассказ наследнику престола. Александр Александрович не мог не знать о Редстоке, пользовавшемся популярностью в самых изысканных салонах Петербурга и имевшем влиятельных поклонников в придворных кругах⁸. Победоносцев строго осуждал чужеземную ересь⁹, и лесковская апология православия, противопоставленного модной проповеди, могла служить прекрасным руководством для наследника. Кроме того, рассказ Лескова развивал близкий Победоносцеву подход к крещению инородцев. Управляя духовным ведомством, Победоносцев с энтузиазмом поддерживал миссионерскую активность Н.И. Ильминского, считавшего, что просвещение татар и других иноверцев на их родных языках должно предшествовать их обращению [Гераси 2001: 69, 75, 345–349], и этот подход соответствовал пафосу лесковского рассказа. Будущий обер-прокурор, возможно, хотел донести подобные идеи до будущего императора. Этот широкий контекст позволяет также предположить, почему Лесков прибегает к инверсии мотива религиозного обраще-

8 В «Великосветском расколе» Лесков утверждает, что редстокисты даже надеялись на согласие Александра II участвовать в молитвенном собрании с Редстоком: «Было неосторожное лицо из его великосветских поклонниц, которое взманило его надеждо проповедовать перед Государем, к чему и были сделаны некоторые попытки, конечно, неудавшиеся» [Лесков 1877: 100]. Примерно тогда же, в одном из эпизодов «Анны Карениной», напечатанном в апрельской книжке «Русского вестника» за 1877 год, Толстой вкладывает редстокистскую проповедь в уста близкой ко двору графини Лидии Ивановны (часть 7, глава XXI).

9 Победоносцев критиковал проповедь Редстока уже в 1870-е годы, а в 1880 году, сразу после назначения на пост обер-прокурора Синода, он добился запрещения издательской и благотворительной деятельности редстокистов и выслал за границу их петербургских лидеров В.А. Пашкова и М.М. Корфа, см.: [Полунов 2010: 254–255; Polunov 2012].

ния, почему он выдвигает «дикаря» на первый план повествования, превратив его из пассивного объекта миссионерской проповеди в агента прозрения архиерея. Именно такой «дикарь» служит живым воплощением православного догмата оправдания и делами, и верой (а не только верой, как у редстокистов). «Примитивный» герой, не испорченный цивилизацией и ложными учениями, «касается края ризы» Христа, и в своей даже самой упрощенной религиозной философии он уже ближе к православию, чем к западному христианству. Здесь чувствуется типичная для романтизма концепция «благородного дикаря», но у Лескова она получает религиозное воплощение и интегрируется в тему миссионерства и имперского единства.

Если при первой встрече со своим проводником архиерей видит в нем лишь жалкое существо, «чучело неумытое» [Лесков 1957: 487], и одаривает его самыми уничижительными эпитетами, то по мере развития событий, как увидим далее, происходит узнавание, «дикарь» оказывается «почти своим». Этому узнаванию сопутствует смена номинаций: «чучело» превращается в «ангела» [Лесков 1957: 510], и чем ближе к развязке, тем выше поднимается духовный статус «дикаря». Не сознаваемая им причастность к православию — государственной религии Российской империи — означает и не сознаваемую им включенность в имперское единство, и эта изначальная близость к православию опережает и оправдывает ассимиляцию инородцев. Лесков использует традиционный мотив русской веры как скрепляющего элемента империи, поэтому вряд ли будет натяжкой прочесть «На краю света» не только как инверсию мотива крещения, но и как инверсию драмы имперского доминирования — не колонизатор спасает, просвещает и цивилизует «дикаря», а наоборот, колонизируемый выступает невольным инструментом трансформации архиерея. И то обстоятельство, что два главных героя этой драмы — архиерей и «дикарь» — лишены имен, повышает их символический заряд. Их встреча — это метонимия столкновения двух сторон имперской драмы, колонизатора и колонизируемого. Не удивительно, что образ «дикаря» не поддается ни этнической, ни конфессиональной идентификации, сочетая черты различных сибирских народов [Заварзин 2002], и достоверность самого рассказа вызывала серьезные сомнения у современников¹⁰.

Чтобы понять связь между имперским и религиозным в рассказе, следует присмотреться к тому, как Лесков манипулирует понятием «край» и концептом границы. На самом «краю света» язычник касается «края ризы» Христа. У Лескова не бывает случайной игры слов и необдуманных лингвистических переключек. В чем смысл названия рассказа и как оно связано с религиозной и имперской проблематикой?

10 В дневнике А.Д. Свербеева сохранилась запись о мнении митрополита Иннокентия: «Мы спросили его к стати о рассказе Лескова “На краю света”, где рассказан эпизод будто бы из жизни пр[еподобного] Нила Ярославского, бывшего Иркутского, к[а]к он б[ыл] занесен снегом в метель в необитаемых сибирских странах, когда путешествовал на собаках. — Весь рассказ этот выдумка, — сказал владыка, и пр[еподобный] Нил в Иркутской епархии на собаках ездить не мог, там на собаках не ездят. И все явления природы, все подробности в рассказе неверны, прибавил владыка» (Свербеев А.Д. Дневник // РГАЛИ. Ф. 472. Оп. 1. Ед. хр. 81. Л. 12 об.—13. Благодарю Л.И. Соболева, любезно сообщившего мне эту цитату.)

Где находится «край света»?

Прежде всего, бросается в глаза многозначность названия рассказа. Кажется, что его буквальный смысл прозрачен: идиома *край света* с очевидностью подразумевает географически удаленное пространство и настраивает читательские ожидания на историю, которая разворачивается вдали от центров цивилизации. Пространственная дистанционность места действия от российской столицы нарочито подчеркнута контрастом первой главы, повествующей о беседе в избранном кружке в петербургской гостиной архиерея, и основного повествования, переносящего читателя в Сибирь, в земли якутов и эвенков, которых Лесков, в соответствии с терминологией XIX века, называет «тунгусами». Таким образом, край света — это прежде всего край Российской империи. Характерно, что в официальных и полуофициальных контекстах слово «край» часто включалось в названия удаленных регионов империи («западный край», «восточные окраины»). Место действия эксплицитно позиционировано как расположенное за пределами этнически русского ядра государства. Архиепископ-рассказчик вводит представление о дифференцированной природе имперского пространства, рассуждая о резком отличии православных епархий «внутри России» от сибирских епархий, где степень «дикости» населения и невежества клира превышает и без того депрессивные среднестатистические ожидания [Лесков 1957: 456—457]. Перенос места действия из Петербурга в Сибирь нарративно подчеркнут сменой рассказчиков, с их контрастирующими головами: светский повествователь первой главы, с его нейтральным языковым регистром столичного интеллигента, в следующих главах уступает слово архиепископу, с его стилистически окрашенной речью церковного иерарха.

Помимо мотива пространственного удаления, название рассказа подразумевает и экзистенциальный край, границу между жизнью и смертью. Когда архиерей едет проповедовать православие «тунгусам», он буквально оказывается на краю гибели, переживая символическую смерть в снежной яме и затем ожидая неминуемой реальной смерти от голода, мороза и хищных зверей. Таким образом, «край света» может рассматриваться как пространственная метафора «края жизни» и экзистенциального кризиса, переживаемого протагонистом.

Наконец, можно выделить по крайней мере еще один семантический слой в названии рассказа. Он подразумевает конечность пространства. Если действие происходит «на краю света», значит, у «света» — как и у империи — есть границы. И в самом деле, в главах о страданиях архиерея в «снежной пустыне» Лесков мобилизует ассоциации с потусторонним миром, куда, казалось бы, попадает протагонист (см. об этом подробнее: [Кучерская, Лифшиц 2014: 388]). Достигая предела империи, рассказчик достигает и предела земного пространства, однако в развязке сюжета ад оборачивается раем, где архиерей переживает духовное прозрение. Лесков был далеко не первым писателем, изображавшим Сибирь в двойкой перспективе. К моменту появления «На краю света» практика ее амбивалентной литературной репрезентации уже получила широкое развитие¹¹. Однако в рассказе Лескова обратимость Сибири (она

11 Сибирь может стать для героев адом, но может оказаться и местом духовного возрождения, и источником материального благополучия; ее природа предстает то разрушительной и свирепой, то завораживающей и умиротворяющей [Diment 1993]. В этом же ключе рисует Сибирь и Лесков.

предстает то адом, то раем) оказывается частью широкой системы повествовательных инверсий, которые ведут к пересмотру концепта границы, в частности границы между потусторонним и посюсторонним. Как представляется, Лесков закодировал понятия края и границы в названии рассказа, чтобы их проблематизировать.

На эту мысль наводит то обстоятельство, что мотив рамки эксплицитно выдвинут уже в первой главе рассказа, где архиерей обсуждает со своими гостями различные изображения Христа в западноевропейской живописи, а потом, по контрасту, обращается к русской иконе. Владыка упоминает картину французского художника Лафона (François-Henri-Alexandre Lafond) «Христос в пещере», которую он однажды видел «не совсем на месте»: «Помню, мне как-то раз в лютый мороз довелось заехать в Петербурге к одному русскому князю <...> и вот там, не совсем на месте — в зимнем саду, я увидел впервые этого Христа. Картина в рамочке стояла на столе, перед которым сидела княгиня и мечтала. Прекрасная была обстановка: пальмы, аурумы, бананы, щебечут и порхают птички, и она мечтает. О чем? Она мне сказала “ищет Христа”» [Лесков 1957: 454; курсив мой. — О.М.]¹². Здесь райский уголок, декоративный компонент зимнего сада, с его замкнутым пространством, противопоставлен не только «лютному морозу» за окном, но и бесконечным «снежным степям» Сибири в основной части рассказа. В сцене в зимнем саду изображение Христа не только отделено от зрителей (княгини, ее мужа и рассказчика) «рамочкой», но сама княгиня, «мечтающая» в райском уголке, представлена как статичная картина, отделенная от внешнего мира. Изображения зимнего сада и интерьерный портрет в саду получили распространение в Европе XIX века. Художники рисовали их как пространство света, тепла, комфорта и роскоши, резко демаркированное от внешнего мира [Веселова 2011]. Таким образом, картина Лафона отделена от зрителя по крайней мере дважды: сначала — настольной «рамочкой», а затем рамкой зимнего сада, в котором княгиня медитирует. Дважды отграничены от зрителей и репродукции известных полотен, собранных архиереем в альбоме, который он открывает перед своими гостями. Первая рамка — это границы альбомного листа, на котором воспроизведена каждая из обсуждаемых картин. Вторая рамка — это обложка самого альбома, которая еще раз отделяет картины от изображаемого пространства. И подобно тому, как автор фиксирует внимание на «рамочке» в зимнем саду, он обращает внимание на альбом как артефакт: «большой, богато украшенный резьбой из слоновой кости альбом» [Лесков 1957: 453].

После хорошо дозированной критики каждой из продемонстрированной картин архиепископ внезапно обращается к иконе: «Закроем теперь все это, и обернитесь к углу, к которому стоите спиною. Опять лик Христов, и уже на сей раз это именно не лицо, — а лик. Типическое русское изображение Господа <...> по-моему, наш простодушный мастер лучше всех *понял* — кого ему надо было написать...» [Лесков 1957: 454—455]. При обсуждении иконы не упоминается ни рамка, ни материальный носитель изображения. Мы только можем догадываться, что в углу висит деревянная икона. В 1870-е годы, когда был написан этот рассказ, Лесков культивировал свою репутацию знатока иконописи. Автор многочисленных журнальных и газетных статей об иконах и, главное,

12 Возможно, этот эпизод тоже намекал на редстокистов, которых Лесков называл «салонно-канареечным движением» [Лесков 1981: II, 53—54].

автор «Запечатленного ангела», Лесков обычно входил в детали иконописного дела, характеризовал различные школы и техники письма. Однако в описании иконы в гостинной архиерея он, напротив, избегает конкретики. Не понятно и какой из сюжетов и иконописных типов Христа представляет эта икона. Епископ говорит о ней предельно обобщенно, как об архетипичном «русском Христе»: «Мужиковат Он <...>, и в зимний сад Его не позовут послушать канареек, да что беды! — где Он каким открылся, так таким и ходит!» [Лесков 1957: 455]. Эти два глагола — *открылся* и *ходит* — передают динамику зрительного образа, освобождают «русского Христа» от ограничений и тем более рамок.

Как мы знаем из работ П.А. Флоренского и Б.А. Успенского, иконописная эстетика, с ее обратной перспективой, помещает зрителя и изображение в общее пространство. Нарративно Лесков передает ощущение общего пространства отсутствием рамки при описании иконы, в отличие от многократно упомянутых рамок, появляющихся при обсуждении западной живописи. Икона противопоставлена европейскому искусству по критерию пересечения или непересечения семантических границ изображения. Подчеркивая динамику выхождения Христа из русской иконы, Лесков, в соответствии с иконописной эстетикой, стирает различия между профанным и сакральным, трансцендентным и обыденным: «Где Он каким открылся, так таким и ходит, а к нам зашел Он в рабьем зраке, и так и ходит, не имея где главы приклонить от Петербурга до Камчатки» [Лесков 1957: 455]. Лесков неточно цитирует «Эти бедные селенья...» Ф.И. Тютчева (1855), причем те же строки он поставил эпиграфом к рассказу в его первом отдельном издании, которое Победоносцев послал наследнику. Русский Христос прост и «мужиковат» — так архиерей развивает тютчевский образ нищего, неприкаянного, открытого унижению Христа, — но именно таким он бродит по России. Семантическая граница между Христом и профанным пространством стирается.

Нарративным эквивалентом образа странствующего Христа служат его многократные появления в рассказе: он сопутствует героям в их путешествии по Сибири. В то время как европейские изображения Христа остаются в первой главе и больше не упоминаются, «русский Христос» пересекает повествовательную рамку и переходит из обрамляющего повествования (первая и последняя главы) в основную часть рассказа.

Явление Христа в Сибири

Как почти всегда у Лескова, фабула рассказа разветвляется и на нее нанизаны эпизоды, уводящие повествование в сторону. Так, архиерей подробно знакомит своих слушателей с монахом Кириаком, знатоком «дикарского языка» и образа жизни. Противник миссионерства, Кириак все-таки отправляется с архиереем «на край света», крестить «дикарей», и там трагически гибнет. Кажется, воспоминания Кириака о его мытарствах в детстве не имеют отношения к основной сюжетной линии рассказа, однако именно здесь и появляется опять иконописный образ Христа. Кириак умиляет архиерея наивностью своей веры и простым пониманием Христа: «Он, благодетель наш, — говорит Кириак о Христе, — ведь и сам не боярского рода, за простоту не судится <...> он с пастухами ходил, с грешниками гулял и шелудивой овцой не брезговал, а где найдет ее, взвалит себе, как она есть, на святые рамена и тащит к Отцу» [Лес-

ков 1957: 474]. Кириаак подразумевает притчу о потерянной овце, аллегории грешника (Лука: 12, 3—7), и опирается на церковное песнопение «Иже Тебе ради богоотец пророк Давид»: «...обрет овча, на ramo восприим, ко Отцу принесет». Но кроме того, не называя этой иконы прямо, Лесков здесь воссоздает визуальный образ Христа, как его предписывалось изображать на иконе «Добрый пастырь» — одной из немногих икон, где Иисус изображен в движении. Образ овцы на раменах — символ соединения человека с небесными силами. Не удивительно, что иконописный образ вторгается в профанное пространство и действует в мире Кириаака или, напротив, Кириаак помещен во внутреннее пространство иконы, где Иисус ходит с агнцем на раменах — этот эпизод можно истолковывать по-разному, но в любом случае граница между их мирами стерта, и читатель, вместе с героями, пересекает условную рамку между трансцендентным и обыденным.



Спас Благое молчание.

XIX в. Русский музей, Санкт-Петербург.

Еще более яркий пример иконописного образа, оказавшегося в общем пространстве с героями, появляется в конце рассказа. Готовый принять смерть от голода и холода, епископ уже несколько суток живет в дистопии, в буквальном смысле на краю света и на краю гибели, когда вдруг замечает, что к нему приближается гигантская фигура: «...на земле нет во плоти ни одного такого существа, которое походило бы на это волшебное, фантастическое видение, какое на меня надвигалось, словно сгущаясь <...> ко мне плыла крылатая гигантская фигура, которая вся с головы до пят была облачена в хитон серебристой парчи и вся искрилась» [Лесков 1957: 505]. Сначала рассказчик сравнивает эту фигуру с русским богатырем, с индийским божеством и с мифологическим Гермесом, потом

узнает в ней своего «дикаря». Его портрет в огромном масштабе и на огромном расстоянии от рассказчика-протагониста возвращает нас к характерной для иконы обратной перспективе, где удаленная фигура может принимать более крупный размер, чем близкие предметы. Если же проводить более специфическую аналогию с иконой, то мы можем говорить о сходстве этого портрета с иконой «Спас Благое молчание», где Иисус изображается в сверкающем хитоне, с огромными крыльями, иногда с короной на голове. Внутри нимба Христа обычно изображается 8-конечная звезда. Если продолжить цитату, сходство движущегося «дикаря» с этим иконописным образом становится очевидным: «...ко мне плыла крылатая гигантская фигура, которая вся с головы до пят была облачена в хитон серебряной парчи и вся искрилась; на голове огромнейший, казалось, чуть ли не в сажень вышины, убор, который горел, как будто весь сплошь усыпан был бриллиантами или точно это цельная бриллиантовая митра...» Когда дикарь-спаситель приближается к епископу, тот

видит, что этот великолепный убор — зрительная абберрация, на самом деле это замерзшие волосы, вставшие вокруг головы «дикаря». Интересно, что другие напоминающие икону детали его портрета (привидевшиеся архиерею крылья бегущего «дикаря») не находят реальной мотивировки и автор оставляет их без объяснения, но не отказывается от них, чтобы усилить параллель с иконописным образом¹³.

Получается, что именно *на краю света* герои попадают в мир, где грань между сакральным и профанным если не стерта, то становится зыбкой — так же, как зритель иконы попадает в пространство визуального образа. Упомянутый в начале рассказа тютчевский Христос, странствующий по России, кажется метафорой, однако в основном повествовании эта метафора реализуется. Более того, в игре визуальных образов «дикарь» оказывается инкарнацией Христа. Напомню, что сначала архиерей находит самые уничижительные определения для своего проводника: «рожа обмылком», не глаза, а «гляделки», взгляд «тупой», звуки слов «мертвые, вялые и бесстрастные», ум «жалкий» [Лесков 1957: 487—489]. Вообще говоря, мы имеем дело с классическим случаем репрезентации этнически «другого» как серии физических, ментальных и лингвистических отклонений, оправдывающих маргинальность этого «другого». Тем более поразительно, что в конце рассказа архиерей видит «дикаря» в образе Христа и признает своего спасителя физически прекрасным: «Я пригнулся к нему и стал его рассматривать, словно никогда его до сей поры не видел, и что я скажу вам? — он мне показался прекрасен» [Лесков 1957: 507]¹⁴. Параллели между «дикарем» и Христом не ограничиваются иконографическими образами и развиваются постепенно. В результате непонятный «другой» становится для архиерея «своим», происходит узнавание, и укрупненная оптика финала изображает «дикаря» уже не только «касающимся края ризы» Христа, но сливающимся с ним. То, что виделось уродством», превратилось в красоту, дистопия оборачивается утопией, а враждебный и полный опасностей «край света» оказывается визуальной эпифанией: «Небо вдруг вспыхнуло, загорелось и облило нас волшебным светом» [Лесков 1957: 508].

Инверсия сакрального и профанного и воплощение «русского Христа» в инородце маркируют имперскую окраину как русскую, а православие — как скрепляющий элемент империи. Возможно, именно этот тематический пласт рассказа и привлек Победоносцева, в скором будущем — вдохновителя русификаторской политики Александра III. Парадоксально, однако, что прагматичного Победоносцева интересовали такие примеры утопического воображения империи, как рассказ Лескова и — куда более известный случай — идеи Достоевского¹⁵.

13 Лесков любил икону «Благое молчание» и вложил в уста Ивана Флягина, героя «Очарованного странника», рассуждения об этой иконе в конце рассказа.

14 Как показали М. Кучерская и А. Лифшиц, финал рассказа отсылает еще к одной иконе — «Ангел пустыни», — изображающей Иоанна Предтечу, на которого также проецируется «дикарь» [Кучерская, Лифшиц 2014: 389].

15 Автор выражает признательность М.Д. Долбилову и Л.И. Соболеву за замечания и помощь и С.Н. Зенкину за предоставленную возможность ознакомиться с его находящейся в печати статьей «Образ и сказ: “Запечатленный ангел” Лескова», которая оказалась чрезвычайно полезной в работе над статьей. Хочу также выразить благодарность М.А. Кучерской и участникам организованного ею семинара «“Свое” и “чужое” у Лескова» (Школа филологии, Высшая школа экономики) за интересные соображения, высказанные во время обсуждения этого доклада.

Библиография / References

- [Бертенсон 1915] — *Бертенсон Л.* К воспоминаниям о Николае Семеновиче Лескове // Русская мысль. 1915. № 10. С. 89—95 (третья пагинация).
- (*Bertenson L.* K vospominaniiam o Nikolae Semenoviche Leskove // *Russkaia mysl'*. 1915. № 10. P. 89—95.)
- [Веселова 2011] — *Веселова С.С.* Зимние сады в российских дворцах, домах и особняках XVIII — начала XX века: Автореф. дис. ... канд. искусствовед. М., 2011.
- (*Veselova S.S.* Zimnie sady v rossiiskikh dvortsakh, domakh i osobniakakh XVIII — nachala XX vv. Moscow, 2011.)
- [Долбилов 2010] — *Долбилов М.* Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
- (*Dolbilov M.* Russkii kraj, chuzhaia vera: Etnokonfessional'naiia politika imperii v Litve i Belorussii pri Aleksandre II. Moscow, 2010.)
- [Жолковский 2011] — *Жолковский А.К.* Маленький метатекстуальный шедевр Лескова // Жолковский А.К. Очные ставки с властителем: Статьи о русской литературе. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2011. С. 175—195.
- (*Zholkovskii A.K.* Malen'kii metatekstual'nyi shedevr Leskova // *Zholkovskii A.K. Ochnye stavki s vlastitelem: Stat'i o russkoi literature.* Moscow, 2011. P. 175—195. — In Russ.)
- [Заварзин 2002] — *Заварзин Н.Ю.* Оппозиция «свое»/«чужое» в рассказе Н.С. Лескова «На краю света» // Русская литература. М., 2002. № 2. С. 174—185.
- (*Zavarzin N.Yu.* Oppozitsiia "svoe"/"chuzhoe" v ras-skaze N.S. Leskova "Na kraiu sveta" // *Russkaia literature.* Moscow. 2002. № 2. P. 174—185.)
- [Ильинская 2010] — *Ильинская Т.Б.* Русское разноречие в творчестве Н.С. Лескова. СПб.: Издательство Невского института языка и литературы, 2010.
- (*I'inskaia T.B.* Russkoe raznoverie v tvorchestve N.S. Leskova. Saint Petersburg, 2010.)
- [Ипатова 2001] — *Ипатова С.А.* Достоевский, Лесков и Ю.Д. Засецкая: Спор о редстокизме // Достоевский: Материалы и исследования. Том 16. СПб., 2001. С. 409—436.
- (*Ipatova S.A.* Dostoevsky, Leskov i Yu.D. Zasetkaia: spor o redstokizme // *Dostoevsky. Materialy i issledovaniia.* Vol. 16. Saint Petersburg, 2001.)
- [Ипатова 2015] — *Ипатова С.А.* Н.С. Лесков о лорде Редстоке, его вероучении и великосветском расколе // Пушкинские чтения. 2015. № XX. С. 73—83.
- (*Ipatova S.A.* Leskov o lorde Radstock, ego verouchenii i velikosvetском raskole // *Pushkin-skie chteniia.* 2015. № XX. P. 73—83.)
- [Каширина 2015] — *Каширина В.В.* «Великосветский раскол» в оценке русских светских и духовных писателей XIX века // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Филологические науки. 2015. № 7. Ноябрь. С. 57—62.
- (*Kashirina V.V.* "Velikosvet'skii raskol" v otsenke russkikh svetskikh i dukhovnykh pisatelei XIX ve-ka // *Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologicheskie nauki.* 2015. № 7. November. P. 57—62.)
- [Киреев 1869—1876] — *Киреев А.А.* Дневник. 1869—1876 // Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Фонд 126. Картон 6. Л. 82 об.
- (*Kireev A.A.* Dnevnik. 1869—1876 // *Otdel rukopisei Rossiiskoi gosudarstvennoi biblioteki.* Fond 126. Karton 6.)
- [Киреев 1876—1878] — *Киреев А.А.* Дневник. 1876—1878 // Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Фонд 126. Картон 7. Л. 20, 24.
- (*Kireev A.A.* Dnevnik. 1876—1878 // *Otdel rukopisei Rossiiskoi gosudarstvennoi biblioteki.* Fond 126. Karton 7.)
- [Кучерская, Лифшиц 2014] — *Кучерская М., Лифшиц А.* Лесков — миссионер // Лотмановский сборник. 4 / Ред. Л.Н. Киселева, Т.Н. Степанищева. М.: ОГИ, 2014. С. 384—393.
- (*Kucherskaia M., Lifshits A.* Leskov — missioner // *Lotmanovsky sbornik. 4 / Ed. L.N. Kiseleva, T.N. Stepanishcheva.* Moscow, 2014. P. 384—393.)
- [Лесков 1877] — *Лесков Н.С.* Великосветский раскол: Лорд Редсток и его последователи. 2-е изд. СПб.: Тип. В. Тушнова, 1877.
- (*Leskov N.S.* Velikosvet'skii raskol: Lord Radstock i ego posledovateli. 2nd ed. Saint Petersburg, 1877.)
- [Лесков 1957] — *Лесков Н.С.* Собрание сочинений: В 11 т. Т 5. М.: Художественная литература, 1957.
- (*Leskov N.S.* Sbranie sochinenii: In 11 vols. Vol. 5. Moscow, 1957.)
- [Лесков 1981] — *Лесков А.Н.* Жизнь Николая Лескова. Том I—II. М.: Художественная литература, 1981.
- (*Leskov A.N.* Zhizn' Nikolaia Leskova. Vol. I—II. Moscow, 1981.)

- [Майорова 1990] — *Майорова О.Е.* Примечания // Лесков Н.С. Повести и рассказы / Составление, вступительная статья и примечания О.Е. Майоровой. М.: Художественная литература, 1990. С. 492 — 526.
- (*Maierova O.Ye.* Primechaniia // Leskov N.S. Povesti i rasskazy / Ed. by O.Ye. Maierova. Moscow, 1990. P. 492 — 526.)
- [Неизданный Лесков 2000] — Неизданный Лесков. Литературное наследство. Том 101. Книга 2 / Отв. ред. К.П. Богаевская, О.Е. Майорова, Л.М. Розенблюм. М.: Наследие, 2000.
- (*Neizdannyy Leskov.* Literaturnoe nasledstvo. Vol. 101. Book 2. Moscow, 2000.)
- [Победоносцев 1925] — *Победоносцев К.П.* Письма к Александру III. Том 1. М.: Новая Москва, 1925.
- (*Pobedonostsev K.P.* Pis'ma k Aleksandru III. Vol. 1. Moscow, 1925.)
- [Полунов 2010] — *Полунов А.Ю.* К.П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010.
- (*Polunov A.Yu.* K.P. Pobedonostev v obshchestvenno-politicheskoi i dukhovnoi zhizni Rossii. Moscow, 2010.)
- [Сидяков 1987] — *Сидяков Ю.Л.* «Велико-светский раскол» и народные этические искания в публицистике Н.С. Лескова 1870-х гг. // Актуальные проблемы теории и истории русской литературы: Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение / Отв. ред. Ю.М. Лотман. Тарту, 1987. (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 748).
- (*Sidiakov Yu.L.* "Velikosvetvskii rascol" i narodnye eticheskie iskaniia v publitsistike N.S. Leskova 1870-kh gg. // Aktual'nye problemy teorii i istorii russkoi literatury / Ed. by Yu.M. Lotman. Uchenye zapiski Tartuskogo universiteta. 1987. Issue 748. P. 109 — 119.)
- [Ясинский 2010] — *Ясинский И.И.* Роман моей жизни: Книга воспоминаний: В 2 т. / Сост. Т.В. Мисникевич и Л.Л. Пильд. М.: Новое литературное обозрение, 2010. Т. 2.
- (*Yasinsky I.I.* Roman moei zhizni: Kniga vospominanii / Ed. by T.V. Misnikevich and L.L. Pild. Moscow. 2010. Vol. 2.)
- [Coleman 2005] — *Coleman H.* Russian Baptism and Spiritual Revolution, 1905—1929. Bloomington: Indiana University Press, 2005.
- [Diment 1993] — Exiled from Siberia: The Construction of Siberian Experience by Early-Nineteenth-Century Irkutsk Writers // Between Heaven and Hell: The Myth of Siberia in Russian Culture / Ed. by G. Diment, Y. Slezkine. New York: St. Martin's Press, 1993.
- [Geraci 2001] — *Geraci R.P.* Window on the East: National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia. Cornell University Press, 2001.
- [Muckle 1978] — *Muckle J.Y.* Nikolai Leskov and the "Spirit of Protestantism". Birmingham: University of Birmingham, 1978 (Birmingham Slavonic Monographs. № 4).
- [Polunov 2012] — *Polunov A.I.* The Problem of Religious Freedom in Late Imperial Russia: The Case of Russian Baptists // Journal of Eurasian Studies. July 2012. Vol 3. Issue 2. P. 161—167.
- [Werth 2001] — *Werth P.W.* At the Margins of Orthodoxy: Mission, Governance, and Confessional Politics in Russia's Volga-Kama Region, 1827—1905. Cornell University Press, 2001.

Михаил Долбилов

Город едва ли свой, но и не вовсе чуждый:

ВИЛЬНА В ИМПЕРСКОМ И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОМ
ВООБРАЖЕНИИ РУССКИХ
(1860-е ГОДЫ — НАЧАЛО XX ВЕКА)

Mikhail Dolbilov

A City Hardly One's Own Yet Not Fully Alien: Vilna in the Russians' Imperial and Nationalist Imagination
(from the 1860s to the Early Twentieth Century)

Михаил Долбилов (Университет Мэриленда, США; ассоциированный профессор департамента истории; канд. ист. наук) dolbilov@umd.edu.

Mikhail Dolbilov (University of Maryland; associate professor, Department of History) dolbilov@umd.edu.

Ключевые слова: Российская империя, Вильнюс, город, национальная идентичность, русификация, православие, пространственное воображение, политика памяти

Key words: the Russian Empire, Vilnius, city, national identity, Russification, Orthodoxy, spatial imagination, politics of memory

УДК: 91+82

UDC: 91+82

В статье рассматриваются изменения бытовавших в Российской империи представлений о городе Вильне (современный Вильнюс) с 1860-х годов до начала XX века и их связь с процессами русской национальной самоидентификации. Главное внимание уделяется тому, как политические дискурсы, травелоги и коммеморативные мероприятия, ставшие следствием подавления Январского восстания в Царстве Польском и западных губерниях, решали задачу символического присвоения и русификации пространства в этнически и вероисповедно разнородном городе. В статье доказывается, что русские образы Вильны, отмеченные урбанистскими чертами, стали особенно слабым местом в и без того амбивалентной имперско-националистической идеологии, которая декларативно объявляла весь Западный край «исконно русским», делая ставку на предположительно однородную и лояльную массу крестьян.

Dolbilov examines the changes in the ideas of the city of Vilna (now Vilnius) that were current during the Russian Empire from the 1860s through the early twentieth century, and their connection with the processes of Russian national self-identification. The main focus is on how political discourses, travelogues and the commemorative events that emerged after the suppression of the January Uprising in Congress Poland and the Western Krai, were working out the symbolic appropriation and Russification of space in an ethnically and religiously diverse city. Dolbilov argues that the notably urbanist Russian images of Vilna became a particular weak point in the already ambivalent imperial-nationalist ideology, which declared the entire Western Krai to be "Russian since time immemorial", counting on the support of the presumably homogenous and loyal mass of peasants.

Политическая и культурная история современной литовской столицы, города Вильнюса (Vilnius), известного и под другими тонко, но значимо варьирующимися историческими именами (Wilno на польском; ווילנע [Вилне] на идише; Вильня на белорусском; Вильно или — начиная с середины XIX века все чаще — Вильна на русском, преимущественно до советской аннексии Литвы), как места памяти и компонента имажинариума многих наций обогатилась за послед-

ние два с половиной десятилетия целым рядом работ. В них исследуются место и роль Вильнюса, в особенности после разделов Речи Посполитой, в различных соперничавших между собой или существовавших параллельно проектах строительства государств и наций, в процессах религиозного обновления или в культурных наследиях [Romanowski 2003; Snyder 2004; Mačiulis, Staliūnas 2015; Weeks 2015].

В разные эпохи, по разным случаям и для разных этнонациональных или этнорелигиозных групп этот город мог выступать как символ седой, почтенной старины и как обетование лучшего будущего; как умирительно «свой» и поразительно чуждый; как окно в иные культуры или пристанище для своей собственной. Как правило, исследователей Вильнюса прежде всего интересуют конфликтные сферы и налажавшиеся друг на друга сегменты этих нарративов, мифов или политических предприятий. Задача этой статьи несколько иная: осветить именно своеобразие российского казуса, не игнорируя при этом, конечно же, его сплетения с другими нитями в большом клубке историй Вильнюса. Мне представляется, что Вильна императорской России действительно отличалась от других культурных образов города по крайней мере в одном существенном отношении. Подданные Романовых с более или менее четкой русской самоидентификацией, будучи вполне подвержены противоречивому обаянию этого города, никогда не наделяли его той важностью и незаменимостью — политической, культурной или символической, — которую он так или иначе имел для поляков, для евреев, для литовцев и для белорусов.

В частности, для большинства российских творцов правительственной политики и формовщиков общественного мнения Вильна¹ в своем качестве городского пространства была, так сказать, приоритетом, но второстепенным, служила носителем маргинальной или амбивалентной символичности. Попросту говоря, даже в критический период 1860-х годов, когда борьба с польским присутствием и влиянием на западной периферии империи стала определять очень многое в действиях властей, русский образ города заметно не дотягивал до уровня Киева, но безусловно превосходил своим дискурсивным потенциалом Варшаву. Отсюда любопытное смешение мотивов присвоения и отчуждения в более ранних имперских и нарождавшихся националистических подходах к осмыслению города в переломную пору восстания 1863—1864 годов и в последующие несколько десятилетий. Деятели, упоминаемые и цитируемые на этих страницах, были заинтересованы не только в утверждении имперской власти и российского господства в городе, который в течение многих лет являлся административным центром целой мегапровинции, так называемого Северо-Западного края [Weeks 1999: 551, 564; 2008: 121—144], но также и в сохранении, на некое время, его сугубо местной, а иногда и колониально выглядящей экзотики.

В придачу к отмеченному расхождению между российским образом города и большинством других имелась и внутренняя асимметрия российских репрезентаций Вильны. Предпринимавшиеся в особенности после 1863 года попытки — не всегда, впрочем, упорные — «обрушить» город должны были взаи-

1 Ради стилистической последовательности и во избежание анахронистического звучания — поскольку в статье анализируются и цитируются фрагменты имперско-центричных нарративов о Вильне — далее в тексте используется тогдашняя русская форма названия города.

модерствовать со стратегической политикой русификации, проводившейся в масштабе всего края [Staliūnas 2007], — политикой, которая была нацелена прежде всего на деревню, на торжественно объявленное исторически русским крестьянство. В этой нарочито плебеизированной картине исконной русскости довольно большой по тогдашним меркам, сложно устроенный город и атрибуты городской жизни смотрелись чужеродным вкраплением.

Я постараюсь показать, что город Вильна в конечном счете оказался слабым местом в сфокусированной на православии и крестьянстве идеологии исторического единства Великороссии и «Западной Руси». Как отмечается в ряде недавних работ, эта двуединая модель русского исторического нарратива, согласно которой Великое княжество Литовское (с Вильной как столицей) — это составная часть общерусского прошлого, была первоначально сформулирована в 1840-х годах в трудах Н.Г. Устрялова [Миллер 2010: 201—205; Staliūnas 2010: 146—157]. Это верно, но надо также учесть, что ей предшествовали — как, впрочем, продолжались и после публикации текстов Устрялова — менее кабинетные искания некоей особой русскости за пределами Великороссии, вне русского территориального ядра.

Путешествующие по долгу службы или по частным нуждам жители Великороссии надеялись обнаружить где-либо в империи, точнее, в ареале земель Киевской Руси (или земель, считавшихся таковыми) осязаемые следы идеального русского прошлого, вкладывая в это устремление более сильные эмоции, чем те, что могли быть испытаны при чтении весьма сухо написанного гимназического учебника Устрялова. Так, возникающее еще в начале XIX века увлечение части русского образованного общества «Малороссией» вообще и Киевом в особенности (с его, как наивно предполагалось тогда, уцелевшими в первозданном виде древностями) обуславливалось фантазиями насчет какого-то, по словам А. Толочко, «рафинированного, настоящего, неиспорченного типа “российскости”» [Толочко 2012: 79]². После 1863 года искания такого типа русскости начали оказывать прямое воздействие и на правительственную политику на западных окраинах империи. В этом контексте этнически и конфессионально очень пестрый город Вильна соперничал за внимание русификаторов со своей собственной обширной сельской округой и всем большим краем. Приезжим из Великороссии было легче вообразить эти земли однородно населенными патриархальным единоверным крестьянством или заключающими в себе древнее, но вечно свежее «русское» наследие, ожидающее открытия заново.

Город с вокзалом «на горе»

Поворотной точкой в процессе русского восприятия Вильны, конечно же, явились восстание 1863—1864 годов в Царстве Польском и смежных с ним западных губерниях и последовавшая за этим кампания русификации. Но этот эффект «открытия» города был бы слабее без происшедшей незадолго перед тем инфраструктурной перемены — завершения в 1862 году строительства (сила-

2 На мой взгляд, качество, которое имел в виду автор, было бы точнее называть «русскостью», так как речь идет прежде всего об этнокультурной идентичности, а не принадлежности к государству (российскому).

ми частной компании, но при государственной поддержке) железной дороги между Петербургом и западной границей, проходившей через Вильну. На малом расстоянии к западу от Вильны дорога разветвлялась: одна линия вела на Варшаву, а вторая шла на северо-запад — на Ковно (современный Каунас [Kaunas] в Литве) и далее, через пограничный переезд Вержболово — Эйдкунен, в Пруссию. Это-то и было настоящим прорывом в транспортном сообщении между Россией и Европой [Briedis 2008; Weeks 2015: 26; Шенк 2016: 53, 311—319, 407—409]. Кроме того, сооружение этой железной дороги в совокупности с освобождением крепостных в 1861 году — огромной реформой, которая особенно ощутимо сказалась на социальных отношениях в западных губерниях с их польскоязычным дворянством и этнически отличным от него крестьянством, — внесло свой вклад в назревавший конфликт между имперским центром и разными группами жителей периферии. Ведь обе эти меры означали, в сущности, серьезную заявку на более глубокое проникновение бюрократии в самую ткань социальной жизни и на существенно более жесткий, чем раньше, контроль над периферией империи [Западные окраины 2006: 123—176].

Прежде малознакомый, где-то на отшибе лежащий город Вильна (в дожелезнодорожную эпоху путешествующие через Литву к западной границе чаще проезжали севернее Вильны по шоссе на Тауроген [ныне Tauragė в Литве])³ неожиданно заявил о себе на все более популярном маршруте вояжа в Европу. А так как снятие николаевских ограничений на выезд за границу в первые годы правления Александра II резко увеличило число путешественников вообще, то возникал эффект материализации города, который, конечно же, был отвлеченно сколько-то известен русской образованной публике, хотя бы уже по складывавшемуся тогда героическому нарративу о войне 1812 года [Майорова 2012: 178—205].

К началу 1860-х годов относятся яркие дневниковые и эпистолярные зарисовки новооткрытой Вильны, увиденной глазами путешественников по только что проложенной железной дороге. Акцент в них падает на озадачивающую культурную инаковость города, на ощущение странности места — тем более удивительные, что благодаря новому прямому сообщению создавалось впечатление географической близости Вильны к Петербургу (хотя и не к Москве, которая еще не была связана с Вильной прямой линией). Весной 1862 года, когда политические волнения в Царстве Польском уже начались, Ф.И. Тютчев, в числе первых групп пассажиров «обновлявший» накануне сданный в эксплуатацию участок дороги от Динабурга (ныне Daugavpils в Латвии) к прусской границе, сделал короткую остановку в Вильне проездом в Европу. Он писал жене:

Я был очень рад познакомиться с Вильной, которая, конечно, заслуживает остановки, особенно при теперешних обстоятельствах. Я удачно попал туда, потому что день, который я там провел, был как раз Троицын день. Город явился в самом выгодном свете, и всё население с утра на улицах, не только население самой Вильны, но и сельское, которое в этот день стекается со всех сторон и поражает оригинальностью типов и одеяний, резко выделяясь среди горожан. Можно иметь действительно верное представление только о том, что видишь своими глазами. Мой обход церквей и улиц во время моей утренней прогулки был для меня на-

3 В середине 1860-х годов популярный тогда учебник географии в разделе с очерками о крупных городах империи не упоминал Вильну (в отличие, например, от Варшавы) [Семенов 1867].

стоящим откровением. Он заставил меня воочию убедиться, из каких элементов состоит так называемый польский вопрос. Что меня особенно поразило — это рьяная приверженность к католицизму всей этой белой толпы. Многочисленные церкви Вильны были буквально вымощены этими расprostертыми телами, молящимися и вздыхающими. Можно было вообразить себя перенесенным в средние века католицизма [Тютчев 1916: 183—184 второй пагинации].

Тютчеву не должны были быть в новинку зрелищные проявления общеевропейского католического возрождения второй трети XIX века (которое на западе Российской империи смыкалось с польским национальным движением, но не растворялось в нем) — еще в 1820-х и 1830-х годах он жил в Баварии, где «народный» католицизм именно тогда был на подъеме, предвосхищая аналогичный процесс оживления религиозности в других частях католической Европы. Тем не менее манифестации «рьяной приверженности к католицизму» в Вильне интерпретировались им не как элемент современной европейской жизни (и, в частности, растущего авторитета папы Пия IX), но как возвращение Средневековья на отдельно взятой территории, граничащей с собственно Россией. Тут также подразумевался контраст между реформируемой Россией и якобы застрявшей в своем Средневековье Польшей.

Другой путешественник-литератор, А.Н. Островский, проехал через Вильну несколькими неделями спустя. В своем дневнике он, подобно Тютчеву, уделяет внимание нерусским группам городского населения и их курьезным обычаям:

Город с первого разу поражает своей оригинальностью. Он весь каменный, с узенькими, необыкновенно чистыми улицами, с высокими домами, крытыми черепицей, и с величественными костелами. ...У дверей (одного из костелов. — *М.Д.*) красавица полька исправляет должность старосты церковного и стучит хорошенькими пальчиками по тарелке, чтобы обратить внимание проходящих. ...Здесь я в первый раз увидел католическую набожность. Мужчины и женщины на коленях, с книжками, совершенно погружены в молитву, и не только в костелах, но и на улице перед воротами Остро-брамы. ...Костелы открыты целый день (читай: в отличие от православных церквей. — *М.Д.*), и всегда найдете молящихся, преимущественно женщин, которые по случаю Страстной недели смотрят очень серьезно. Для контрасту у евреев Пасха (Песах. — *М.Д.*): разряженные и чистые, как никогда, расхаживают евреи толпами по городу с нарядными женами и детьми [Островский 1952: 238—240].

Известная наблюдателю понаслышке набожность (и торжественность) католиков и, напротив, диковинная для него чистота (и веселость) евреев предстают двумя друг друга дополняющими измерениями экзотичности Вильны.

Пять лет спустя (то есть уже после подавления восстания) еще один наделенный богатым воображением турист, Ф.М. Достоевский, заночевав в Вильне также по дороге в Европу, нашел в себе меньше приязни к тем же самым достопримечательностям города. Как можно заключить из дневника его жены, не что иное, как созерцание католических церквей, переполненных народом по случаю Страстной субботы, и по-субботному же гуляющих «жидов со своими жидовками в желтых и красных шалях и наколках» раздражили его до такой степени, что на ночь он забаррикадировал дверь гостиничного номера чемоданами и столами и в конце концов подвергся тяжелому приступу эпилепсии [Достоевская 1993: 5—6].

В последующие десятилетия русские образы Вильны сохраняли тесную связь с представлениями о путешествии на поезде и пересечении границы на пути в Европу или обратно. Расположение города вблизи от границы и наличие довольно большой станции, с ее шумом и суетой, напоминали одно о другом. В датированном 1865 годом письме своему интеллектуальному наставнику И.С. Аксакову славянофильски настроенный ученый и (на тот момент) чиновник П.А. Бессонов, приехавший в Вильну с «обрусительской» миссией из Москвы, с тревогой рисовал город местом скопления «еврейского племени», центром и опорой грядущего «еврейского царства» в России [Долбилов 2010: 551–559]. В его колоритных миниатюрах на тему повседневной городской жизни само прохождение поездов через Вильну наделяется смыслом подтверждения эмоциональных уз между русскими в этом окраинном, чуждого вида городе и русскими в глубине России:

В полночь над городом, на горе недалеко от нас, съезжаются две машины (паровоза. — *М.Д.*), из Варшавы и от границы (с Пруссией. — *М.Д.*), соединяются в один поезд и идут дальше. Сперва, и довольно долго, идут по горам, окружая лежащий внизу город: грохот и треск идет перекатами... потрясает весь воздух города, вероятно, расходится на многие десятки верст. Слышен каждый поворот колеса, слышны звонки других станций. Миновав горы, поезд, слышно, как вступает на ровень, умолкает гул, и я шлю привет Вам (РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 45. Л. 9 об. — 10).

Удаляющийся грохот поезда, съезжающего с «гор» (как Бессонов упорно именовал крутосклонные, но никак не скалистые возвышенности в Вильне и вокруг нее⁴) на равнину, словно бы соединял Бессонова и его московского адресата, пусть даже поезд направлялся в не любимый славянофилами Петербург.

Всего через полтора года Бессонов впадет в немилость у своего виленского начальства (заподозрившего этого славянофила в чрезмерной симпатии к евреям), покинет должность и без промедления отправится восвояси на русскую «равнину». Его друг и сослуживец в Вильне М.Ф. Де-Пуле, с которым Бессонов в спешке не успел попрощаться, утешал себя, воображая Бессонова на виленском вокзале: «Сели Вы в вагон, взглянули на противную Господу Богу Вильну, вспомнили, конечно, и меня грешного, да махнули рукой: “а, ну его!”» (ОПИ ГИМ. Ф. 56. Д. 515. Л. 43).

Фигура пассажира, бросающего прощальный взгляд на целый город из окна вагона, не была совсем уж поэтической вольностью. В немалой мере ассоциация Вильны с железнодорожным путешествием оправдывалась и подкреплялась самим расположением вокзала — по выражению того же Бессонова, «над городом, на горе». В самом деле, путешественник мог охватить взглядом старую часть Вильны с ее живописным ландшафтом и архитектурными красотоми, не спускаясь с перрона. Впоследствии это удобство осмотра рекламировали путеводители [Путеводитель по России 1888: 133; Краткий очерк Вильны 1902: 4] (и, *mutatis mutandis*, оно доступно и сегодня туристам, прибывающим

4 «Горы» определенно будоражили Бессонова и формировали его видение города: «К какому ни подвинетесь краю, всё в гору, а с нее вниз панорама: уступы котловины, по уступам вострые черепичные верхушки, спицы и колокольни, глубокие ущелья улиц, глубокие норы площадей. Рядом — сплошь с изящным зданием гора в той грубой суровости и шероховатости, какая возможна только на Литве» [РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 45. Л. 6 об. — 7].

в Вильнюс поездом с востока). Именно так, почти на ходу, познакомился с Вильной в 1873 году новоиспеченный император Германии Вильгельм I, ехавший с государственным визитом в Петербург. Гораздо позже, в 1915 году, вскоре после сдачи Вильны наступающей германской армии, этот блиц-визит вспоминал почти в телеологическом ключе один из очевидцев, православный священник В. Маренин: «Появление старого императора, вышедшего из своего вагона, подняло (так. — М.Д.) впечатления прошлой, счастливой для немцев войны». Императора сопровождал Бисмарк, который «опытным взглядом осматривал пространство вокруг вокзала... [Он,] по-видимому, соображал пригодность для военных целей окружающих город холмов» [Маренин 1915: 76]. С этой точки зрения размещение вокзала на возвышенности делает еще более уязвимым приграничное расположение города. Чересчур вертикальная конституция Вильны вновь оказывается определенно нерусской.

«Русская Вильна»

Целенаправленная попытка привести и дискурс о Вильне, и самый вид города хотя бы в какое-то согласие с постулатами «русского дела» была предпринята вскоре после подавления восстания 1863—1864 годов. Главными инициаторами были тогдашний генерал-губернатор Северо-Западного края, ставший вскоре у националистов иконой «русского дела», Михаил Николаевич Муравьев и его младший брат Андрей, номинально занимавший среднего ранга чиновничью должность, но фактически один из тех претендующих на образцовое благочестие мирян, кто в ту эпоху существенно влиял на правительственную политику в отношении православной церкви. То была, так сказать, репетиция типа светского направителя церкви, который еще полнее воплотит в себе на посту обер-прокурора Синода К.П. Победоносцев.

Плодовитый автор различных душеспасительных текстов для широкой публики, А.Н. Муравьев подавал себя уникальным знатоком истории русского православия и православной духовности. В особенности его занимали православные древности Киева, но в середине 1860-х годов требования имперской политики на окраинах сосредоточили его внимание на Вильне. В 1865 году он издал небольшую, но вызвавшую резонанс брошюру «Русская Вильна», которая была задумана как своего рода репортаж об открытии заново древнего, «исконно русского» прошлого этого города — прошлого, позднее злокозненно скрытого пеленой чужеземной культуры. В 1880-х годах этот прием символической репрезентации станет основным в соответствующей имперско-националистической политике Александра III, оперировавшей привлекательными образами давней истории в духе того, что Р. Уортман в своем исследовании «сценариев власти» называет «воскрешением Московии» — прежде всего Московской России при первых Романовых, до Петра I [Wortman 2000: 235—244]. А вот для обоих Муравьевых в 1860-х хронотопом — образом данного места, спроецированным на известную эпоху, — была не «Московия» XVII века (чьи войска в действительности захватили и разграбили Вильну в войне против Речи Посполитой), но идеализированное Великое княжество Литовское до Люблинской унии с Польшей 1569 года. Нарратор в муравьевской брошюре смотрит на город пронизывающим взглядом наблюдателя, который приехал (конечно, теперь уже на поезде) из собственно России и поражается неведению

даже русских горожан насчет следов, остатков и руин «русского» прошлого, пребывающих у всех на виду, но неузнанных.

Первое озарение поджидает путешественника у самого входа в старый город, у арки под часовой со знаменитой католической Остробрамской иконой Пресвятой Девы:

Мне казалось, что я въезжаю в город Спасскими вратами Кремля, когда увидел, что все благоговейно обнажают головы под сводами Остробрамской башни; не избавлены от сего даже самые евреи, и так все идут вдоль тесной улицы до ближайшего костела. Только в Москве и Вильне существует такой обычай [Муравьев 1865: 5–6].

Хотя Муравьев не шел так далеко, чтобы немедленно объявить чудотворную Остробрамскую икону по праву принадлежащей православным (позднее такая идея циркулировала), его дальнейшая инспекция — конечно, опиравшаяся на предварительное изучение документов и бытовавших среди местных православных устных преданий — повела к передаче православной церкви ряда католических храмов и руин зданий и к перестройке в должном стиле существующих православных храмов. В некоторых из этих руин или частей целых сооружений, «искаженных» католическим влиянием, была усмотрена прямая преемственность с храмами, возведенными радением жен литовских великих князей — урожденных московских или тверских (равно «русских» в муравьевском прочтении) княжон — или православными магнатами Великого княжества Литовского, имевшими русинское (опять-таки «русское») происхождение. Следовательно, нововозводимые или реконструируемые церкви перепрыгивали мост через широкий темный ров между светлым отрезком далекого прошлого и становящимся здесь все ярче сегодняшним днем.

Самым примечательным объектом в этой кампании «переоткрытия» русского прошлого стала церковь Успения Пречистой Божией Матери (Пречистенская), предшественница которой в XV веке являлась православным митрополитальным собором (разумеется, в православной митрополии Великого княжества Литовского, а не в московской). Переставшее служить храмом задолго до 1860-х годов, здание частью разрушилось, частью было переоборудовано для разных мирских нужд, включая кузницу. В своем описании плачевного состояния здания Муравьев постарался впечатлить читателя щемящими сердце деталями:

Там, где стояла горняя кафедра наших митрополитов, пробиты широкие ворота, чрез которые слышится стук молота и видно пламя раздуваемого горна... Наковальня стоит на самом месте главного престола, и несколько черных циклопов бьют тяжелым молотом по этой наковальне, вовсе не подозревая, что тут приносилась некогда бескровная жертва Христова [Муравьев 1865: 20].

Нововозведенная — по официальной версии, «восстановленная» — церковь была освящена в 1868 году и стала визуальным противовесом соседствующим католическим храмам готического и барочного стиля, одним из центральных символов православного ландшафта в городе, где знаки католического присутствия все-таки оставались преобладающими. Вскоре после освящения Пречистенской церкви, в 1870 году, Ф.И. Тютчев, с изумлением взиравший в 1862-м на «толпу» набожных католиков, простершихся на полу храма во время мессы, переместил фокус своего внимания и внес лепту в дискурсивное обрусение Вильны очередным образчиком своей переслащенной патриотической лирики:

Над русской Вильной стародавней
Родные теплятся кресты,
И звоном меди православной
Все огласились высоты.

Минули веки искушенья,
Забыты страшные дела —
И даже мерзость запустенья
Здесь райским крином расцвела.

Преданье ожило святое
Первоначальных лучших дней,
И только позднее былое
Здесь в царство отошло теней

[Тютчев 1987: 254].

Стихотворение очерчивает нужную русификаторам иерархию модусов прошлого, нацеленную на то, чтобы и фигурально, и буквально принизить «позднее былое» в противоположность «стародавнему», «первоначальному». Единственным остатком этого ложного недавнего прошлого был разве что «какой-то призрак», являющийся иногда «в холодной ранней полумгле», чтобы побродить «по оживающей земле», — уже довольно банальная в ту пору вампирологическая аллегория магнатской Польши, разделенной в XVIII веке, но не желающей смириться со своим небытием [Тютчев 1987: 254]⁵. Актуальным для настоящего прошлым должен был стать исторический плюсквамперфект.

В том же 1870 году эта реставрационная кампания сошлась еще с одним предприятием виленских властей, нацеленным на то, чтобы сделать из Вильны хотя бы в какой-то степени русское место памяти. Это был проект увековечения имен более чем 350 гражданских лиц, ставших жертвами повстанческой партизанской войны, отнюдь не исключавшей методов террора, в 1863—1864 годах. То были лица разных сословий и вероисповеданий — православные клирики, православные и католические крестьяне, как занимавшие какую-либо должность в сельском управлении, так и вовсе простолюдины, а также евреи преимущественно мещанского звания. Многие из этих лиц были казнены повстанцами на основании подозрений в сотрудничестве с правительственными войсками (так, евреи действительно нередко служили проводниками военных отрядов); другие имели несчастье подвернуться повстанцам под руку в качестве козлов отпущения, чья смерть должна была послужить актом устрашения [Смалянчук 2008: 16—56]. Вполне очевидно, что напоминание об этом аспекте восстания было чревато возбуждением взаимной враждебности и других тяжелых чувств: преувеличенные повествования о действительных и придуманных случаях «польского» насилия против местных «русских» нередко использовались в правительственной пропаганде в 1863—1864 годах [Głębocki 2000: 357—370]. Независимо от нее, однако, данные о жертвах (большой частью погибших, но также раненых и выживших) собирались и довольно тщательно проверялись генерал-губернаторской канцелярией в течение не-

5 О поэзии Тютчева на тему восстания 1863 года и его подавления см.: [Maiorova 2005: 103—124].

скольких лет. Иными словами, это не было только лишь вопросом антипольской пропаганды; в конце концов, родственникам жертв предоставлялось право просить о денежном вспомоществовании, что многие и делали, так что число погибших едва ли могло быть существенно преувеличено (Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Vilnius (далее — LVIA). Ф. 378. PS, 1863. Д. 1372. Ч. 2. Т. 2. Л. 142—148). (Кто-то увидел бы зловещее предзнаменование в том, что один из евреев, обвиненных повстанцами в пособничестве войскам, был повешен ими в местечке Едвабна, тогда — Ломжинского уезда Августовской губернии (LVIA. Ф. 378. PS, 1863. Д. 1372. Ч. 2. Т. 3. Л. 46—47), польское название которого, Jedwabne, станет уже в наше время почти нарицательным после выхода книги Я. Гросса о происшедшей там летом 1941 года жестокой расправе над еврейскими жителями [Gross 2002].)

Первоначально, в 1866 году, виленские власти думали о броском и даже в своем роде современном монументе в память жертв. Мне не удалось найти каких-либо эскизов, но из позднейших упоминаний в переписке по этому делу вырисовывается некое сооружение посреди искусственного водоема, на одной из центральных площадей города. Это было бы грубым вторжением в сложившийся ландшафт города. Три года спустя этот проект, впрочем не обсуждавшийся очень интенсивно, был отклонен на том основании, что строительство «бассейна для ключевой воды... с устройством водопроводов обошлось бы до 60 тысяч рублей» (LVIA. Ф. 378. BS, 1869. Д. 1015. Л. 4).

Действительно, водоснабжение оставалось серьезной проблемой в Вильне даже десятилетия спустя [М-ль 1892], но не менее отрезвляющее воздействие могло оказать и другое соображение — о последствиях заострения и без того опасной темы, грозящей увековечить не только память о прискорбных эпизодах восстания, но и разнь между разными группами городского населения. Вместо впечатляющего сооружения на видном месте теперь предлагалось установить в отстроенном накануне Пречистенском соборе четыре мраморные доски с именами жертв. Проект был утвержден императором, и в 1871 году в соборе были освящены два боковых придела с киотами, по обеим сторонам которых размещались эти памятные доски; около двадцати пяти еврейских имен на последней из них были отделены от предшествующих христианских надписью «Иудейского исповедания» (LVIA. Ф. 378. BS, 1869. Д. 1015. Л. 11, 31). Хотели того проектировщики этой коммеморации или нет, но тем самым устанавливалась связь между далеким идеализированным прошлым «русской Литвы», чьим символом была эта церковь, и кровавыми событиями, по выражению Тютчева, «позднего былого», вследствие которых столь необходимую русскость и стали особенно усердно отыскивать, раскапывать и превозносить в настоящем.

Несмотря на усилия обрусителей и чары тютчевской поэзии, Вильне в более широком имперско-националистическом русском дискурсе так и не было суждено обрести достодожную эмоциональную притягательность. В качестве вместилища подлинной древней русскости город не мог состязаться с аналогичным образом Киева. Даже изложенная «правильным» образом, история Великого княжества Литовского — несопоставимо лучше документированная, чем история Киевской Руси, — плохо поддавалась втискиванию в миф «первоначальных лучших дней» западной «половины Руси», тогда как этнонациональный и конфессиональный состав населения современной Вильны (где даже к началу XX века русских, согласно официальной статистике, насчиты-

валась — и то, вероятно, с преувеличением — примерно 31 тысяча против около 48 тысяч поляков и 62 тысяч евреев [Weeks 2015: 61]) ставил зримые пределы такому мифотворчеству.

Одна из очень немногих известных мне заявок на то, чтобы наделить Вильну безусловным статусом сакрального русского города, была сделана в написанных в начале 1880-х годов мемуарах А.П. Владимирова, на тот момент отставного местного чиновника, который двадцатью годами ранее, невзирая на свой невысокий чин, был тесно вовлечен в разработку политики «русского дела». В 1867 году, занимаясь поиском «русских» следов в культурном наследии Великого княжества Литовского, он удостоился чести провести экскурсию по собранию реорганизованной тогда Виленской публичной библиотеки для самого Александра II. В том же году, если верить его позднейшим мемуарам, он выдвинул идею о Вильне как, ни много ни мало, второй половине русского «сердца». Он желал помочь соотечественникам преодолеть узкое понимание того, что есть Россия, исходящее из знакомства только с Великороссией и из отождествления православной традиции с официальной церковной администрацией:

...к прискорбию в наше время в России почти совсем не понимают значения Вильны ни для русских, ни для поляков. Москву обыкновенно называют «сердцем России», но это не вполне верно. Она есть только *половина* «сердца России», а другая половина его есть Вильна; и для истинного русского, *всероссийского*, а не суздальского только (в значении средневекового «московитского» изоляционизма. — М.Д.), — одинаково должны быть священны и московский «Кремлевский холм», и виленская «Замковая гора» [Долбилов 2010: 905].

Метафора разделенного сердца не произвела впечатления даже в кружке энтузиастов русификации. Пересказ этого выступления в мемуарах Владимирова привлек внимание И.П. Корнилова, бывшего попечителя Виленского учебного округа, под чьим началом в 1867 году мемуарист и служил. Корнилов смотрел на Вильну (в отличие от населенных крестьянами местностей края) с другой позиции — для него она была полукOLONиальным городом, физиономия которого определялась не развалинами средневекового замка на высоком холме, но повседневным присутствием «ляхов» и «жидов» и бросающимися в глаза множеством католических церквей и синагог [Долбилов 2012: 320—321]. В читанном Корниловым рукописном экземпляре мемуаров слова Владимирова о двух половинах «сердца России» помечены энергичным «?!!» (РО РНБ. Ф. 377. Д. 1508. Л. 25 об. — 26).

Неустрашимая экзотичность Вильны

В конце XIX — начале XX века мотив исконной русскости в представлениях о Вильне, звучавший сколько-то громко в 1860-х и 1870-х годах, оказался приглушен и не так уж часто возникал в контексте идеологических противостаний или межнациональных противоречий.

Примечательным образом различные путеводители по Вильне, начавшие выходить солидными для того времени тиражами в конце XIX века, предлагали читателю исторический нарратив, который был непоследовательным и прерывистым даже по меркам жанра популярной истории. Давние, отделенные от времени издания не менее чем полувеком события, такие как войны,

пожары, эпидемии и прочие, а также посещения Вильны в разные эпохи российскими или иностранными монархами и полководцами представляли в путеводителях сериями разрозненных эпизодов, причем культурное их значение акцентировалось больше, чем политическое. Неизменно появлявшейся фигурой был Петр I, который, согласно одному из путеводителей, крестил Абрама Ганнибала, «деда Пушкина» (в действительности прадеда) [Добрянский 1904: 65–70], в одной из тех церквей, которые после реставрации 1860-х годов стали служить символами русского присутствия, — однако это совпадение не подчеркивалось. Столь же часто в путеводителях упоминались Александр I и Наполеон в Вильне в 1812 году. В третьем, 1904 года издании востребованного путеводителя Ф. Добрянского многословное описание города, откуда выходили остатки наполеоновской армии, и рыцарского отношения Александра I и к французским военнопленным, и к местным полякам предшествует лапидарному параграфу о восстании 1863–1864 годов и последовавшей за ним кампании русификации. При этом роль М.Н. Муравьева как «восстановителя» «русского элемента» в Вильне упоминается лишь вскользь, без хватаящих за душу подробностей, которыми полнились более ранние дневники, мемуары или травелоги [Добрянский 1904: 109–120].

Иными словами, целые исторические периоды — между 1812 и 1863 годами и после 1865 года — почти целиком отсутствовали в этих обзорах, тем самым делая нелогичными и даже непонятными похвалы Муравьеву за его заслуги в преображении «ополяченных» края и города. Более того, ассоциация «русской» Вильны и ее героического прошлого с Александром I шла вразрез с националистическим дискурсом о спасенных от поляков и католиков западных губерниях, который более или менее открыто осуждал именно этого императора за полонофильство и потворство польским мечтаниям о воссоединении земель разделенной Речи Посполитой.

Что же касается темы православных храмов как главного выражения русского духовного господства, авторы путеводителей, как кажется, держались конфессиональной толерантности и в тоне повествования, и в подборе занимательных для читателя сюжетов и деталей [Weeks 2015: 80–82]. В разных изданиях наиболее популярных путеводителей Добрянского и А.А. Виноградова как православные, так и католические храмы описываются как памятники и свидетельства бурной истории города; внимание уделяется в большей степени их исторической и эстетической ценности, чем их функции маркировки конфессиональных границ. Так, издание путеводителя Виноградова 1904 года сообщает некоторые сведения о восстановлении Пречистенского собора, но ни словом не обмолвливается об установленных в нем тогда же мемориальных досках, посвященных жертвам повстанцев [Виноградов 1904: 83–88]. Третье издание путеводителя Добрянского упоминает об этом акте коммеморации, но не уточняет, что то были жертвы среди мирного населения, тем самым смягчая прежнюю идеологему «польской» жестокости [Добрянский 1904: 151]. Вполне вероятно, что авторы намеренно были забывчивы или не слишком пунктуальны в освещении этих в высшей степени чреватых раздорами сюжетов.

Ни один из путеводителей не развивал ранее высказанную А.П. Владимировым идею о Замковой горе с ее историческими руинами как русском месте памяти. Напротив, Виноградов подчеркивает исчезновение еще незадолго перед тем существовавших развалин средневековой крепости:

В 1882, при устройстве городского, ныне Пушкинского сквера, были вырыты фундаменты прежнего нижнего замка, представлявшие огромные подземные склепы и погребя, — засыпаны рвы, срыты валы, так что теперь буквально не осталось никаких следов нижнего замка [Виноградов 1904: 203].

В 1904 году, когда вышло это издание путеводителя, такая акцентировка зыбкости следов средневековой истории вполне могла быть реакцией не только на романтическую версию польской памяти о старой Вильне, но и на сформировавшийся тогда канон литовского национализма и на его пространственное воображение. Для национально мыслящих литовцев, отделявших свою общность и от поляков, и от русских, расположение еще сохранявшихся руин верхнего замка над всем остальным городом обретало особое значение — как-никак, развалины замка великого князя Гедимина взирали сверху вниз на дворец царского генерал-губернатора [Petronis 2007: 232; Mačiulis, Staliūnas 2015: 23—27].

Особенно интересно то, что именно в пору, когда отраженные в путеводителях русские представления о Вильне становятся более примирительными, а в частных путевых очерках постулаты русификации были потеснены аполитичным смакованием курьезов Вильны (каковыми могли выступать, к примеру, «специфические» обычаи еврейского населения [Матросов 1894: 302—312]), имперская политика возведения памятников в знак русского господства обретает второе дыхание. В 1898 году в Вильне была установлена статуя М.Н. Муравьева, а в 1903 году скульптурной коммеморации удостоилась Екатерина II, в правление которой состоялись три раздела Речи Посполитой. Первая из этих статуй, которая быстро снискала себе дурную славу, казалась особенно оскорбительной многим полякам — генерал-губернатор, опирающийся на палку, словно бы сумрачно оглядывал подчиненный ему город. Все это предшествовало новому витку русско-польского соперничества в ходе революции 1905 года, последующих выборов в Думы и внутридумской борьбы, а также столкновениям по поводу перехода десятков тысяч православных жителей западных губерний в католицизм после издания в апреле 1905 года указа об укреплении начал веротерпимости [Werth 2014: 208—213].

Однако в контексте политики властей в отношении собственно города Вильны возведение этих памятников, возможно, и не имело неременной целью бросить вызов полякам и другим нерусским жителям [Weeks 1999: 557—560]. Едва ли оно вдохновлялось жгучей ксенофобией образца 1860-х годов. Скорее это было одним из аспектов более «регулярной» стратегии, нацеленной на интеграцию и унификацию имперского пространства, а также частью тогдашней «мании юбилеев» (порождаемой, в свою очередь, стремлением монархии найти новые формы репрезентации и новые способы возбуждения в подданных чувства лояльности к династии [Wortman 2000: 242—243, 392—438]). Враг, подразумеваемый настороженной и одновременно угрожающей позой статуи Муравьева, был в большей мере политическим, чем национальным, — революционером радикального толка, а не польским повстанцем из 1860-х.

Имея в виду наметки русификаторов эпохи после подавления восстания 1863—1864 годов, в начале XX века можно было бы предположить, что их цели в отношении Вильны в немалой мере достигнуты. В первом десятилетии XX века русские — не только местные жители, но и визитеры — стали воспринимать Вильну с меньшим ощущением чуждости. Красноречивый пример: Музей М.Н. Муравьева, учрежденный через несколько лет после установки

злополучной статуи и в рамках той же коммеморативной политики, получил в дар от потомков ставшего уже почти легендарным усмирителя восстания такие волнующие реликвии, как подлинник его путевого дневника, ведшегося на Кавказе, и, более того, прядь его волос (LVIA. Ф. 439. Оп. 1. Д. 3; Д. 150). В сущности, расставаясь с этими памятными объектами, наследники совершали своеобразный жест доверия к прочности русского господства на все-таки не до конца интегрированной и не избавленной от внешних опасностей периферии империи. И, как покажет близкое будущее, они просчитались. После войн и потрясений 1914—1920 годов коллекции Муравьевского музея, включавшие в себя, кроме сентиментальной персональной меморалии, множество документов из служебных архивов, вернулись в Wilno — уже польский город [Mięnicki 1937] (что, впрочем, еще не было концом растянувшихся на весь XX век — параллельно истории самого города — перемен государственных юрисдикций над ними).

В конечном счете эффект «одомашнения» Вильны для какой-то группы или среды русских в начале XX века был не столько результатом целенаправленного конструирования русскости, сколько следствием усовершенствования доступных этим русским удобств городской жизни, а равно и некоторых привилегий, предоставлявшихся уроженцам Великороссии в этом (пока еще) сравнительно спокойном окраинном городе. Эта растущая урбанистическая комфортность Вильны хорошо передана в изданном в 1902 году подобии путеводителя по городу, действительной целью которого была реклама Вильны как отличного места летнего отдыха для состоятельных петербуржцев. Начиная с ободряющего сообщения, что путешествие из Петербурга в Вильну на поезде длится всего четырнадцать часов (немногим дольше, чем тот же вояж сегодня), брошюра далее останавливается на тех привлекательных сторонах жизни в Вильне, которые упускались из виду в других описаниях города. Составитель указывал не только на насыщенный историей ландшафт города («Здания особой архитектуры напоминают о близости Запада, тем более, что в разных концах города высятся характерной постройки католические храмы»), но и на модернизм Вильны: «Стоит только вспомнить узенькие... улицы старинных немецких “бургов” и сравнить их хотя бы с тем новым Берлином, который вырос около “Тиргартен” и состоит из красивых вилл, окруженных садами». Что ж, Вильна обещала составить вскоре достойную конкуренцию Берлину (!) в этом и других отношениях: «...Этот исторический и красивейший в России город, при его дешевизне жизни, в скором времени приобретет видное значение не только в глазах постоянного обывателя, но и любознательных туристов...».

Суперлативы не иссякали и на страницах, характеризующих климат, природу и целебный воздух города и его окрестностей — условия, благоприятные, как добавлялось чуть ниже, для профилактики чахотки:

[Вильна] один из самых счастливых городов в мире. ...Со всех сторон она окружена такими живописными холмами, полями и лесами, какие только могут служить постоянным источником для вдохновения художника-пейзажиста. ...Из города, напоминающего, и по своей старине, и по некоторым особенностям его жизни, гораздо более западную Европу, чем Россию, вы сразу можете войти в вековой сосновый лес и в поле, засеянное рожью [Краткий очерк Вильны 1902: 4, 19—20, 23, 24].

Столь же забывающе путеводитель знакомил читателя с Александрией — живописным частным владением к западу от Вильны, незадолго перед тем включенным городской думой в административную черту города и известным также под старым названием Зверинец (в свое время это было королевское охотничье угодье). Новый владелец имения в духе времени намеревался сдавать в аренду небольшие дачи и приглашал выкупать такие участки в собственность по льготной цене в рассрочку [Краткий очерк Вильны 1902: 13—18, 25—28].

Этот овейный сосновым ароматом искус подспудно соединял в себе спонтанное, коммерчески мотивированное освоение Вильны имущими дачниками⁶ и на тот момент уже совсем не новую тему направляемого сверху «обрусения» города. Зверинец и лежащий на противоположном берегу реки Вилии еще больший лесной массив к началу XX века основательно закрепились в русских образах Вильны. Еще в 1860-х годах Зверинец среди приезжих русских пользовался репутацией почти курорта — один из сотрудников М.Н. Муравьева предлагал устроить там летнюю резиденцию генерал-губернатора:

...Что за чудное место и какая прекрасная дача для Михаила Николаевича, места достаточно для помещения канцелярии и для конвоя, можно все устроить для безопасного и спокойного пребывания нашего Главного Начальника, что за воздух, какой запах от соснового леса, просто прелесть. Жалко, что я не поэт, а то бы многое можно бы сказать о Вилии, которая украшает в Зверинце всю местность (РГИА. Ф. 1670. Оп. 1. Д. 7. Л. 73; ср.: Матросов 1894: 30).

А спустя сорок лет — и через два года после издания цитированной выше рекламной брошюры — очередной путеводитель описывал всю эту пригородную местность как удобный для проведения досуга и вполне отвечающий требованиям урбанизма парк (хотя и не прибегая к такому его именованию):

Лес этот составляет одно из любимых мест для прогулок горожан; в воскресные и праздничные дни здесь можно встретить не одно семейство, пришедшее сюда с чадами и домочадцами, с кучею съестных припасов и даже с самоварами [Добрянский 1904: 280].

Последняя деталь особенно выразительна⁷. Жизнерадостное общение за самоваром на траве, казалось бы, означало, что русские ощущают себя здесь укорененнее, чем их предшественники полвека назад.

Начало Первой мировой войны выявило всю действительную хрупкость приущего некоей группе лиц с русской этнонациональной самоидентификацией представления, что в Вильне они могут чувствовать себя как дома. В течение нескольких предшествующих десятилетий образы инаковости этого города постепенно отступали в тень, но при этом оставались глубоко связаны с негативными стереотипами в отношении поляков и евреев. Умонастроения и эмоции военного времени быстро актуализировали этот субстрат, и приглушенное было культурное отчуждение зазвучало резкими нотами враждебности, страха и подозрительности.

6 О дачах как компоненте урбанистической культуры второй половины XIX века на примере Петербурга см.: [Малинова-Тзиафета 2013].

7 О самоваре как факторе обрусения в русификаторских фантазиях см.: [Горизонтов 1999: 142—143].

Библиография / References

- [Виноградов 1904] — Виноградов А.А. Путеводитель по городу Вильне и его окрестностям, в двух частях. Ч. 1. Вильна: Типография штаба Виленского военного округа, 1904.
- (Vinoogradov A.A. Putevoditel' po gorodu Vil'ne i ego okrestnostiam. Part 1. Vil'na, 1904.)
- [Горизонтов 1999] — Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше (XIX — начало XX века). М.: Индик, 1999.
- (Gorizontov L.E. Paradoxy imperskoj politiki: Poljaki v Rossii i russkie v Pol'she (XIX — nachalo XX veka). Moscow, 1999.)
- [Добрянский 1904] — Добрянский Ф. Старая и новая Вильна. 3-е изд. Вильна: Типография А.Г. Сыркина, 1904.
- (Dobrianskii F. Staraja i novaia Vil'na, 3rd ed. Vil'na, 1904.)
- [Долбилов 2010] — Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М: Новое литературное обозрение, 2010.
- (Dolbilov M.D. Russkii kraj, chuzhaia vera: Etnokonfessional'naja politika imperii v Litve i Belorusii pri Aleksandre II. Moscow, 2010.)
- [Долбилов 2012] — Долбилов М.Д. «Поляк» в имперском политическом лексиконе // «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода: В 2 т. / Ред. А. Миллер, Д. Сдвижков, И. Ширле. Т. 2. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 292—339.
- (Dolbilov M.D. "Poljak" v imperskom politicheskom leksikone // "Poniatia o Rossii": K istoricheskoj semantike imperskogo perioda: In 2 vols. / Ed. by A. Miller, D. Sdvizhkov, I. Schierle. Vol. 2. Moscow, 2012. P. 292—339.)
- [Достоевская 1993] — Достоевская А.Г. Дневник 1867 года. М.: Наука, 1993.
- (Dostoevskaja A.G. Dnevnik 1867 goda. Moscow, 1993.)
- [Западные окраины 2006] — Западные окраины Российской империи / Ред. М. Долбилов, А. Миллер. М.: Новое литературное обозрение, 2006.
- (Zapadnye okrainy Rossiiskoi imperii / Ed. by M. Dolbilov, A. Miller. Moscow, 2006.)
- [Краткий очерк Вильны 1902] — Краткий очерк Вильны и вновь к городу присоединенной «Александрии» (бывший Зверинец), принадлежащей В.В. Мартинсону. СПб., 1902.
- (Kratkii очерк Vil'ny i vnov' k gorodu prisoedinennoi "Aleksandrii" (byvshii Zverniet), prinaldezhashej V.V. Martinsonu. Saint Petersburg, 1902.)
- [Майорова 2012] — Майорова О. Война и миф: Память о победе над Наполеоном в годы Польского восстания (1863—1864) // НЛО. 2012. № 6/118. С. 178—205.
- (Maiorova O. Voina i mif: Pamiat' o pobede nad Napoleonom v gody Pol'skogo vosstaniia (1863—1864) // NLO. 2012. № 6/118. P. 178—205.)
- [Малинова-Тзиафета 2013] — Малинова-Тзиафета О. Из города на дачу: Социокультурные факторы освоения дачного пространства вокруг Петербурга (1860—1914). СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013.
- (Malinova-Tziafeta O. Iz goroda na dachu: Sotsiokul'turnye faktory osvoeniia dachnogo prostranstva vokrug Peterburga (1860—1914). Saint Petersburg, 2013.)
- [Маренин 1915] — Пр. В. М...н [Протоиерей В. Маренин]. Школьные и семейные воспоминания. Ч. 2. Пг.: Типография В.Д. Смирнова, 1915.
- (Marenin V. Shkol'nye i semeinye vospominaniia. Part 2. Petrograd, 1915.)
- [Матросов 1894] — Матросов Е. В древней столице Литовского княжества // Наблюдатель. 1894. № 9. С. 302—312.
- (Matrosov E. V drevnei stolitse Litovskogo kniazhestva // Nablidatel'. 1894. № 9. P. 302—312.)
- [Миллер 2010] — Миллер А.И. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. 2-е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
- (Miller A. Imperia Romanovykh i natsionalizm: Esse po metodologii istoricheskogo issledovaniia, 2nd ed. Moscow, 2010.)
- [М-ль 1892] — М. М-ль. Санитарное состояние Вильны. Вильна, 1892.
- (M. M-l'. Sanitarnoe sostoianie Vil'ny. Vil'na, 1892.)
- [Муравьев 1865] — Муравьев А.Н. Русская Вильна. Вильна: Типография Сыркина, 1865.
- (Murav'ev A.N. Russkaia Vil'na. Vil'na, 1865.)
- [Островский 1952] — Островский А.Н. Полное собрание сочинений. Т. 13. М.: ГИХЛ, 1952.
- (Ostrovskii A.N. Polnoe sobranie sochinenii. Vol. 13. Moscow, 1952.)
- [Путеводитель по России 1888] — Путеводитель по России. Запад: Прибалтийские губернии, Северо-Западные губернии, Привисленские губернии (Царство Польское). СПб., 1888.
- (Putevoditel' po Rossii. Zapad: Pribaltiiskie gubernii, Severo-Zapadnye gubernii, Privislenskie gubernii (Tsarstvo Pol'skoe). Saint Petersburg, 1888.)

- [Семенов 1867] — Семенов Д.Д. Отечествоведение: Россия по рассказам путешественников и ученым исследованиям. Ч. 4. СПб.; М., 1867.
- (*Semenov D.D. Otechestvovedenie: Rossiia po rasskazam puteshestvennikov i uchenym issledovaniyam. Vol. 4. Saint Petersburg; Moscow, 1867.*)
- [Смальянчук 2008] — Смальянчук А. Радкевич versus Калиноўскі // Homo historicus: Гадавік антрапалагічнай гісторыі. Вільня: ЕГУ, 2008. С. 16—56.
- (*Smalianchuk A. Radkevich versus Kalinouski // Homo Historicus: Gadavik antrapalagichnai gistoryi. Vilnius, 2008. P. 16—56.*)
- [Толочко 2012] — Толочко А. Киевская Русь и Малороссия в XIX веке. Київ: Лаурус, 2012.
- (*Tolochko A. Kievskaiia Rus' i Malorossiiia v XIX veke. Kyiv, 2012.*)
- [Тютчев 1916] — Письма Ф.И. Тютчева к его второй жене, урожденной баронессе Пфеффель (1859—1867). Пг., 1916.
- (*Tiutchev F.I. Pis'ma F.I. Tiutcheva k ego vtoroi zhenе, urozhdennoi baronesse Pfeffel' (1859—1867). Petrograd, 1916.*)
- [Тютчев 1987] — Тютчев Ф.И. Полное собрание стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1987.
- (*Tiutchev F.I. Polnoe sobranie stikhotvorenii. Leningrad, 1987.*)
- [Шенк 2016] — Шенк Ф.Б. Поезд в современность. Мобильность и социальное пространство России в век железных дорог / Авториз. пер. с нем. М. Лавринович. М.: Новое литературное обозрение, 2016.
- (*Schenk F.B. Russlands Fahrt in die Moderne. Mobilität und sozialer Raum im Eisenbahnzeitalter. Franz Steiner Verlag, 2014. — In Russ.*)
- [Briedis 2008] — Briedis L. Vilnius: City of strangers. Vilnius: Baltos Lankos, 2008.
- [Głębocki 2000] — Głębocki H. Fatalna sprawa: Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856—1866). Kraków: Arcana, 2000.
- [Gross 2002] — Gross J.T. Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland. Penguin Books, 2002.
- [Mačiulis, Staliūnas 2015] — Mačiulis D., Staliūnas D. Lithuanian Nationalism and the Vilnius Question, 1883—1940 (Studien zur Ostmitteleuropaforschung). Marburg: Verlag Herder-Institut, 2015.
- [Maiorova 2005] — Maiorova O. "A horrid dream did burden us..." (1863): Connecting Tiutchev's Imagery with the Political Rhetoric of His Era // Russian Literature. 2005. Vol. 57. № 1/2. P. 103—124.
- [Mienicki 1937] — Mienicki R. Archiwum Murawjewskie w Wilnie (R. 1898—1901—1936). Warszawa: Wydawnictwa Archiwów Państwowych, 1937.
- [Petronis 2007] — Petronis V. Constructing Lithuania. Ethnic Mapping in Tsarist Russia, ca. 1800—1914 (Stockholm Studies in History 91). Stockholm: Stockholm University, 2007.
- [Romanowski 2003] — Romanowski A. Pozytywizm na Litwie: Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864—1904. Kraków: Towarzystwo autorów i wydawców prac naukowych, 2003.
- [Snyder 2004] — Snyder T. The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569—1999. New Haven: Yale University Press, 2004.
- [Staliūnas 2007] — Staliūnas D. Making Russians: Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863. Amsterdam; N.Y.: Rodopi, 2007.
- [Staliūnas 2010] — Staliūnas D. Imperial Nationality Policy and the Russian Version of the History of the Grand Duchy of Lithuania in the Mid-Nineteenth Century // Central Europe. 2010. Vol. 8. № 2. P. 146—157.
- [Weeks 1999] — Weeks T. Monuments and Memory: Immortalizing Count M.N. Muraviev in Vilna, 1898 // Nationalities Papers. 1999. Vol. 27. № 4. P. 551—564.
- [Weeks 2008] — Weeks T. Repräsentationen russischer Herrschaft in Vil'na: Rhetoric, Denkmäler und städtischer Wandel in einer Provinzhauptstadt (1864—1914) // Imperiale Herrschaft in der Provinz: Repräsentationen politischer Macht im späten Zarenreich / Hg. von J. Baberowski, D. Feest, C. Gumb. Frankfurt; New York: Campus Verlag, 2008. S. 121—144.
- [Weeks 2015] — Weeks T. Vilnius between Nations, 1795—2000. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2015.
- [Werth 2014] — Werth P. The Tsar's Foreign Faiths: Toleration and the Fate of Religious Freedom in Imperial Russia. New York: Oxford University Press, 2014.
- [Wortman 2000] — Wortman R.S. Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Vol. 2. Princeton University Press, 2000.

Имперскость в структуре литературного поля

Генрих Киршбаум

Жанровые империализмы. Спор о принадлежности дум

Heinrich Kirschbaum

Generic Imperialisms. The Argument over the Appurtenance of Thoughts

Генрих Киршбаум (Институт славистики Университета им. Гумбольдта, Берлин; профессор, доктор филол. наук) heinrich.kirschbaum@hu-berlin.de.

Heinrich Kirschbaum (Slavic Institute, Humboldt University of Berlin; assistant professor; Dr. habil.) heinrich.kirschbaum@hu-berlin.de.

Ключевые слова: русско-польские литературные связи, жанр, дума, Украина, постколониализм, Рылеев, Булгарин, Немцевич

Key words: Russian-Polish literary relations, genre, дума, Ukraine, postcolonial studies, Ryleev, Bulgarin, Niemcewicz

УДК: 281.16+28-1/9+821.161.1+821.162.1+82.95+82.09

UDC: 281.16+28-1/9+821.161.1+821.162.1+82.95+82.09

В статье Генриха Киршбаума проблематизируются (анти)имперские коннотации польско-русской полемики о происхождении и принадлежности дум. Дебаты вокруг «Дум» Рылеева, навеянных «Историческими песнями» польского поэта и общественного деятеля Ю.У. Немцевича, становятся пространством ревизии и перекодировки польских влияний. При этом реформаторский либерализм (пред)декабристского поколения сливается с великодержавной риторикой и планомерно вписывается в апологию экспансии и апроприации (поэтических) колоний.

Kirschbaum's article problematizes the (anti)imperial connotations of the Polish-Russian polemics over the origin and appurtenance of thoughts. The debates surrounding Ryleev's "Thoughts" (*Dumy*), inspired by the "Historical Songs" of the Polish poet and public figure Ju. Niemcewicz, became a space for the revision and recoding of Polish influences. Meanwhile, the reform-minded liberalism of the (pre)Decembrist generation merges with great-power rhetoric and is seamlessly written into an apology for the expansion and appropriation of (poetic) colonies.

По мнению Ю.Н. Тынянова, «переводный жанр, готовый жанр был незаконен в эпоху, когда лирика искала новых жанров <...> новые жанры складываются в результате тенденций и стремлений национальной литературы, и привнесение готовых западных жанров не всегда целиком разрешает эволюционную

задачу внутри национальных жанров» [Тынянов 1969: 39—40]. Формулировка Тынянова появилась в связи со спором вокруг баллады. Еще большую остроту получает обозначенная проблема легитимации, адаптации и апроприации жанров в связи с дискуссией о происхождении дум, разгоревшейся после выхода в 1822—1825 годах, сначала в журналах, а затем отдельной книгой, «Дум» Рылеева, навеянных чтением «Исторических песен» польского поэта Юлиана Урсына Немцевича. В этой статье будет предпринята попытка взглянуть на этот полузабытый эпизод в истории русско-польских литературных связей в контексте (анти)империальных дискурсивных взаимоотношений между обеими культурами¹.

1. В развитии польских интересов Рылеева заметную роль сыграл тот факт, что в 1814—1817 годах полк, в котором служил Рылеев, был расквартирован в польско-литовском Несвиже, там он предположительно выучил польский язык [см.: Сиротинин 1898: 67—68; Маслов 1912: 176—177]. Интенсификация занятий польским языком и польской литературой происходила в дальнейшем под непосредственным влиянием Фаддея Булгарина. Тот факт, что Булгарин провел детство в Несвиже, могло стать дополнительным предметом разговоров и поводом для сближения [см.: Двойченко-Маркова 1970: 138]. Среди немногих переводов, сделанных Рылеевым в «ученические» годы, доминируют законченные и фрагментарные переложения с польского. С 1821 по 1824 год Рылеев перевел несколько текстов Трембецкого и Мицкевича (еще до приезда последнего в Россию). По мнению Богдана Гальстера [Galster 1987: 103], символично, что первые переводы Мицкевича на русский выходят из-под пера будущего руководителя радикально-республиканского крыла петербургских заговорщиков. Развивая эту пусть и несколько пафосную, но резонную ремарку польского исследователя, можно предположить, что аллюзии к польской культуре и литературе были в сознании либеральных литераторов первой половины 1820-х годов коннотированы как оппозиционные. Интерес к польской поэзии в преддверии восстания декабристов не случаен: всяческое прикосновение к польской культуре несет в себе по определению, а точнее, в свете проблемного статуса Польши в России если и не прямые антиправительственные, то по крайней мере рискованные вольнодумные коннотации. При этом либералистское увлечение Польшей знаменательным образом сопрягается с империальным интересом к недавно завоеванной стране. Тем сложнее и противоречивее складываются русско-польские поэтико-переводческие стратегии этих лет. Красноречивое тому свидетельство — рылеевские занятия Немцевичем, который находится в центре польских штудий будущего заговорщика в 1820—1821 годах².

Юлиан Урсын Немцевич становится интересен Рылееву из соображений не только литературных. Немцевича, прожившего долгую скитальческую жизнь (1757—1841), можно по праву назвать не только живым воплощением самого драматического периода польской истории, но и носителем той неделимости политического и литературного дискурсов, которая характерна для

-
- 1 Статья представляет собой переработанную версию соответствующих глав немецкоязычной монографии автора [Kirschbaum 2016: 104—141], тематизирующей польско-русскую (анти)империальную поэтику 1820-х годов.
 - 2 Рылеевские занятия Немцевичем запомнились современникам: см. воспоминания И.Н. Лобойко [Лобойко 1951: 25]. См. также: [Berndt 1961: 32—40; Цейтлин 1955: 290; Galster 1962: 57].

польской культуры конца XVIII—XIX века. Будучи воспитанником Варшавского кадетского корпуса, Немцевич стал свидетелем первого раздела Польши (1772), затем служил адъютантом влиятельного политика и магната Адама Казимира Чарторыйского, интенсивно участвовал в разработке Конституции 3 мая (1791) и других либерально-демократических законопроектов и инициатив. После второго раздела (1793) Немцевич эмигрировал в Европу, где познакомился с Тадеушем Костюшко. Во время восстания Костюшко (1794) был его адъютантом, попал в русский плен и был заточен в Петропавловскую крепость. В 1796 году Немцевич был амнистирован Павлом I и уехал вместе с Костюшко в Америку, где сдружился с Джорджем Вашингтоном, в 1807 году вернулся в Польшу. Впоследствии, во время польско-русской войны 1830—1831 годов, Немцевич входил в состав Временного правительства, после поражения восстания эмигрировал в Париж, где сотрудничал с лагерем Адама Ежи Чарторыйского, после смерти Немцевича создавшего его жизнеописание³.

Будучи деятельным политиком, Немцевич не менее активно участвовал в литературной жизни Польши на переломе XVIII—XIX веков, писал классицистские драмы, перелагал классицистские элегии, затем увлекся историческими жанрами, собирал рассказы и легенды о польской старине. В 1816-м в Польше выходят его «думы» — «Śpiewy historyczne» («Исторические песни»), которые в течение двух лет выдержали два издания (см.: [Kunert 1968: 33; Двойченко-Маркова 1970: 133])⁴. Книга Немцевича в самой Польше имела резонанс, далеко выходящий за пределы литературы и сравнимый с резонансом от «Истории государства Российского» Карамзина. «Исторические песни» стали решающим идентификационным текстом национального историко-политического самосознания для молодого поколения Польши и Литвы 1810-х — первой половины 1820-х годов. Неслучайно наградой за лучший текст гимна для виленского тайного общества филаретов, в котором состоял Мицкевич до высылки в Россию, являлось собрание сочинений Немцевича, о чем сообщал в письме великому князю Константину Павловичу Н.Н. Новосильцев (см.: [Galster 1962: 57])⁵.

Функции главного проводника Немцевича в России берет на себя Булгарин. В 1820 году в журнале «Сын Отечества» выходит булгаринское обозрение новинок польской словесности, в том числе и «Исторических песен» Немцевича⁶. Другим важным посредником Немцевича в России становится князь Вя-

3 См.: [Czartoryski 1860]. О жизни Немцевича см. также: [Czaja 2005; Majchrowski 1982; Tyrowicz 1930; Wójcicki 2002].

4 Об истории возникновения «Исторических песен» Немцевича см.: [Witkowski 1979].

5 Об «Исторических песнях» Немцевича и их парадигматическом влиянии на становление польского национального дискурса первой четверти XIX века см.: [Prunitich 2007/2008]. См. также статью Ханса-Юргена Бёмельбурга [Bömelburg 2007] о рецепции «Исторических песен» Немцевича как польского «народного песенника».

6 Двойченко-Маркова справедливо замечает, что нельзя переоценить роль Булгарина в развитии польских интересов в русской литературе 1820-х годов [Двойченко-Маркова 1970: 134]. Булгаринское посредническое влияние прослеживается вплоть до грибоедовского «Горя от ума», содержащего реминисценции комедии Немцевича «Powrót posła» («Возвращение посланника»); А. Бестужев какое-то время пишет на польском стихи и отсылает их Булгарину. Благодаря публикациям и исследованиям последних лет образ Булгарина, до недавних пор однобоко идеологизированный, качественно усложнился. См. соответствующие работы А. Рейтבלата [Рейтблат 1990, 1993], Н. Акимовой [Акимова 2002], А. Федуты [Федута 2004, 2005], Т. Кузовкиной [Кузовкина 2007] и Мирьи Леке [Lecke 2004, 2009]. Прорывом в деле исследования

земский, познакомившийся с польским классиком во время службы в Варшаве: именно Вяземский впоследствии «свел» Мицкевича и Немцевича⁷. Но, пожалуй, самую важную, пусть и драматическую роль в истории русской рецепции Немцевича сыграл Рылеев.

Под впечатлением от «Исторических песен» Немцевича Рылеев начинает работу над «Думами», в которые включает и свое переложение думы Немцевича «Михаил Глинский». 11 сентября 1822 года Рылеев отправляет Немцевичу письмо по-польски (оригинал мы приводим в примечаниях):

Любовь к правде и ко всему родному вдохновила меня представить вниманию моих соотечественников великие деяния русских героев и друзей всего человечества. И ваши «Исторические песни» были для меня отличным образцом, ради которого я выучился языку, украшенному именами Кохановских, Красицких, Трембецких и Немцевичей. Позвольте поэтому поднести вам одну из дум моих, переведенную из великолепного вашего сборника. Плоды гениев — объединяющая всех собственность, я же смею верить уважаемого Нестора польской литературы, что и на берегах Невы молодое в королевстве наук поколение с восторгом наслаждается сладкими звуками сарматской лиры и умеет ценить друзей великого Вашингтона. Сам чувствую, что мой перевод далек от предмета и достоинств подлинника, но смею надеяться, что доброе желание вознаградит в глазах честного патриота поэтическую неспособность [Рылеев 1934: 467]⁸.

С одной стороны, «Исторические песни» Немцевича называются «исключительным образцом» («wybornym wzorem»), с другой — плодом общеевропейских гениев. Рылеев косвенно проговаривает обозначенную Тыняновым центральную дилемму европейских литератур 1820-х годов: каждая литература определяет себя как национальная, но мотивы, топосы и жанры, превращающиеся в новые мифологемы и идеологемы, активно перенимаются одной поэтической культурой из другой. При этом подобное транскультурное и транслитературное достояние парадоксальным образом используется для самоспецификации, предполагающей дистанцирование от национальных литератур соседей. В случае русско-польских литературных связей 1820-х годов та-

сотрудничества Булгарина с III отделением стала публикация А. Рейтблатом донесений Булгарина [Рейтблат 1998]. См. также булгаринские страницы в сборнике воспоминаний о польском Петербурге, подготовленном А. Федута и О. Пржецлавским: [Федута, Пржецлавский 2010].

- 7 См.: [Двойченко-Маркова 1970: 136–137]. О польских знакомствах Вяземского см.: [Бэлза 1970].
- 8 «Zamiłowanie prawdy i wszystkiego, co jest ojczystem, natchnęło mi zamiar podania uwadze ziomek moich wielkie bohaterów rosyjskich czyny i przyjaciół całego rodu człowieka. *Śpiewy historyczne* J.W. Pana były dla mnie wyborym wzorem, dla którego się nauczył języka, ozdobionego imionami Kochanowskich, Krasickich, Trembeckich i Niemcewiczów. Pozwól mi zatem J.W. Pan poświęcić sobie jedną z dum moich, przełożoną z Wytownego Jego zbioru. Plody geniuszów są spólną wszystkich własnością: ja zaśmiem ureczać szanownego Nestora polskiej literatury, że i na brzegach Newy, młodociane w królestwie nauk pokolenie z rozkoszą się napawa słodkim sarmackiej lutni dźwiękiem i umie cenić przyjaciół wielkiego Washingtona. Sam czuję, ile mój przekład dalekim jest od przedmiotu i wdzięków oryginału, lecz śmiem pochlebiać sobie, iż dobra chęć wynagrodzi w oczach szlachetnego patrioty niedolność rymotwórczą» (цит. по: [Маслов 1912: 179]). Текст письма напечатан в собрании сочинений Рыльева [Рылеев 1934: 466] с огромным количеством орфографических ошибок в польском оригинале. Поэтому мы цитируем его по монографии Маслова [Маслов 1912: 179].

кие интертекстуальные ревизии⁹ получают дополнительную мотивировку в связи с особым статусом Польши. Рылеевское вписывание Немцевича в ряд других европейских гениев представляет собой как комплимент и акт благодарности, так и дистанцирование, редукцию польского субстрата. Рылеевское письмо обладает двойной дикцией, и эта двойственность коренится в сложных (анти)империальных отношениях между Россией и Польшей в 1820-е годы. Немцевич ответил Рылееву незамедлительно:

Честь, оказанная моим слабым рифмам переводом оных, и похвальные выражения Ваши вызывают во мне наиживейшую благопризнательность. Лестно для меня находить в единоплеменном народе сердца и намерения, которые побеждают все предубеждения и предрассудки, посвящаясь наукам и славе отечества [Рылеев 1934: 775]¹⁰.

Немцевич начинает ответное письмо словами благодарности и своего рода славянофильским или даже препанславистским жестом¹¹. Однако эта вежливая учтивость в дальнейшем отходит на задний план, уступая место тону патристическому и, таким образом, по определению антиколониальному по отношению к России:

Достойные товарищи Ваши и Вы, милостивый государь, сами имеете открытое поле для прославления в радостных и поэтических песнях. Вы суть сыны обширнейшего на земле государства; первые в могуществе и силе, вы можете свету повелевать, а я житель совершенно исчезнувшего королевства, по течению жизни моей, встретившей только огорченья и обманчивые упования, нахожу единственно в протекших веках похвальные, но ныне печальные напоминания [Рылеев 1934: 775]¹².

Перед русскими литераторами — «открытое поле» («otwarte pole»). Фразеологизм «открытое поле», здесь примененный для поэтической деятельности, связывается с размерами России. Величина России гарантирует ей величие поэзии, неограниченное наличие поэтического материала и т.д. На примере

9 Ревизию (revision) мы понимаем и в том смысле, который придал этому понятию Харолд Блум. В своей книге о «боязни влияния» как движущей силе литературы Блум понятием «ревизия» обозначил авторские стратегии по преодолению влияния претекста и самоутверждению создаваемого посттекста [Bloom 1973].

10 «Cześć, którą mi WM Pan wyrządził przekładaniem na ruski język te słabe rymy moje, pochlebne Jego dla mnie wyrazy najżywszą wdzięczność wzbudzają we mnie. Miło jest znajdować w pobratelczem narodzie serca i umysły, które zwyciężając wszelkie uprzedzenia i przesady poświęcają się naukom i sławie ojczystej» (цит. по: [Galster 1956: 220]).

11 Здесь и далее мы будем использовать понятие панславистской аргументации, хотя ясно, что речь может идти только о *предпанславистских* или *раннепанславистских* дискурсах эпохи. Сам термин «панславизм» хотя и появляется в интересующую нас эпоху, но несколькими годами позже, во второй половине 1820-х годов в Богемии, а по-настоящему популярным становится лишь в 1830—1840-е годы.

12 При публикации Гальстером письма Немцевича [Galster 1956: 220], по-видимому, пропала одна строка. Предложение по-польски синтаксически и семантически незакончено: «Masz WM Pan, mają godni towarzysze Jego, otwarte pole do radości i wyniosłych pień poetyckich. Jesteście synami najrozleglejszego na kuli ziemskiej mocarstwa, pierwsi w potędze i sile, możecie rozkazywać światu; ja mieszkaniec zagładzonego już prawie królestwa, przez bieg życia mego niepatrzający jak na kłęski i zwodne nadzieje, w upłynionych tylko wiekach znajduję» [Galster 1956: 220]. Поэтому мы выше цитируем эту часть письма Немцевича по дословному переводу из декабристского дела Рылеева.

этой части письма Немцевича видно, как в сознании польских литераторов 1820-х годов переплетаются поэтологический и политический дискурсы. «Обширной» и сильной России противопоставляется исчезнувшая с политической карты Польша и исчезнувшая (или исчезающая) польская литература. По Немцевичу, между политическим исчезновением Польши и исчезновением польской словесности существует каузальная связь. Россия и вместе с ней русская литература становятся виновниками упадка польской литературы. Косвенно Рылеев объявляется частью империи, «обширнейшего на земле государства», которое может «свету повелевать». Таким образом, Рылеев переводит Немцевича с позиции силы, причем силы империльной¹³.

Польская литература понимает себя и как субъект, и как объект влияния и насильственного заимствования со стороны русской литературы. Немцевича откровенно задевает то, что его «Исторические песни» становятся эталоном для воспевания русского героического прошлого. В иных исторических условиях подобная межкультурная преемственность была бы уместна и могла показаться автору претекста даже лестной. Но в нашем случае подобный «творческий диалог» осложняется тем, что Рылеев использует в качестве образца для своих песен, прославляющих победителя, героические песни побежденного. Косвенно Рылеев дискредитирует польский героизм как пафос исторических неудачников. Победа осталась за русскими, и это, по скрытой мысли Рылеева, дает им еще большее право обладания героическим жанром. Именно в этом антиколониальном контексте становится понятной позиция Немцевича:

Мне, седому и слабому старцу, повесившему на плакучей вербе свою лиру [лютню], остается только под сенью древес искать защиты и ожидать часа моего: я буду счастлив, если пред уходом узрю безоблачного неба сияние на род людской [Рылеев 1934: 775]¹⁴.

Немцевич историзирует свою поэтологическую жалобу и политизирует позу барда, воспевającego и вспоминающего деяния героев: все важное для Польши находится в прошлом, будущее принадлежит Рылееву и его стране, польская же лира-лютня вешается на плакучую вербу — ива олицетворяет здесь последнюю, немую скорбь польской поэзии. В аллегорических образах, проникнутых историософской медитацией и программно соединяющих в себе политическое и поэтическое начала, Немцевич, тронутый, но одновременно и задетый письмом и переводом Рылеева, элегически описывает закат польской литературы.

13 Схожую метафорическую идиому использует в то же самое время Мицкевич в статье «О романтической поэзии» («O rzeźdźi romantycznej», 1822) в контексте разговора об эстетическом потенциале национальных литератур, дискурсе национальных гениев и идентификационной проблеме влияния и заимствования. Примером оказываются «гении» немецкой литературы XVIII века, перед которыми «открывается обширное поле» для поэтической деятельности («Rozległe przed nimi otworzyło się pole») [Mickiewicz 1955: V. 198]. Знаменательно, что и патриарх Немцевич, и начинающий претендент на пост национального поэта Мицкевич используют одну и ту же идиому для описания литератур стран—участниц разделов Польши.

14 «Mnie, osiwiąłemu i zniekanemu starcowi, który już lutnię swą zawiesił na wierzbie płaczącej, nie zostaje nic jak pod cieniem drzew zagrody mojej ostatniej czekać godziny. Szczęśliwy jeśli przed wybicciem jej ujrzę pogodniejsze nieba świejące nad ludzkim plemieniem» (цит. по: [Galster 1956: 220]).

На «прощальное письмо» Немцевича Рылеев ответил в январе 1823 года; до сих пор, однако, неясно, было ли письмо отправлено¹⁵:

Прекрасные чувства, которыми исполнено письмо Ваше, живо меня тронули. Так, отечество ваше несчастно: оно в наши времена имело и недостойных сынов, но бесславию их не могло помрачить чести великодушного народа, и из среды оного явились мужи, которые славою дел своих несравненно более возвысили славу Польши, нежели первые предательством своим оную омрачили [Рылеев 1934: 468]¹⁶.

«Утешительное» письмо начинается с выпада против измены «недостойных сынов», намекающего на участие поляков в наполеоновском походе на Россию в 1812 году. Диалогически повторив и парафразировав сетаования Немцевича о несчастной судьбе Польши, Рылеев, однако, начинает косвенную апологию империального уничтожения Польши Россией, при этом выстраивает ее не столько на праве победителя, сколько на этической неполноценности побежденного (см. пассаж о «недостойных сынах»). Рылеев уловил горький привкус — между сожалением и упреком — в реакции Немцевича, но ответил польскому певцу уже не на языке «благодарного ученика», который свойствен первому письму, а на языке ученика, победившего своего учителя, причем не в равном «литературном бою», а в силу принадлежности к лагерю политических победителей. Отсюда и высокомерное рылеевское «утешение» польского старца. Имперская дикция победителя окончательно переводит поэтологическую беседу в риторическое пространство политизированного империального конфликта. Рылеев как бы указывает Немцевичу на его место. В дальнейшем Рылеев стремится позитивно противопоставить патриотизм Немцевича изменничеству других поляков:

К счастью всего человечества, добрая слава дел Ваших зависит не от одного успешного окончания, но также от источника их и побуждения, — и славные имена Костюшки, Колонтая, Малаховского, Понятовского, Потоцкого, Немцевича и других знаменитых патриотов, несмотря на то что успех не увенчал их благородные усилия, никогда не перестанут повторяться с благоговением, а деяния мужей сих будут всегда служить для юношества достойными образцами [Рылеев 1934: 468]¹⁷.

Рылеев перечисляет наряду с Костюшко друзей и соратников Немцевича — политических реформаторов времен так называемого Четырехлетнего Сейма (1788—1792), принявшего для своего времени самую либерально-демократи-

15 Из публикации Гальстера, однако, не ясно, на каком языке сохранились фрагменты. Неясно и то, является ли польский текст переводом исследователя или же оригинальным текстом самого Рылеева.

16 «Piękne uczucia, których pełen jest list Pana, żywo mnie poruszyły. Tak, ojczyzna Pana jest nieszczęsna: miała ona i w naszych czasach niegodnych synów, lecz niesława ich nie mogła [z]hańbić wielkodusznego narodu i spośród niego wyszli mężowie, którzy sławą czynów swoich nieporównanie wyżej wzniesli chwałę Polski, niż tamci zdradą swoją ją [za]plamili» (цит. по: [Galster 1956: 220]).

17 «Na szczęście całej ludzkości dobra sława czynów naszych zależy nie od samego tylko pomyslnego wyniku, lecz także od źródeł ich i pobudek, i chwalebne imiona Kościuszki, Kołłątaja, Małachowskiego, Poniatowskiego, Potockiego, Niemcewicza i innych znakomych patriotów, mimo iż powodzenie nie ukoronowało ich szlachetnych dążeń, zawsze będą powtarzane z poszanowaniem, a czyny mężów tych będą służyły za godny wzór dla młodzieży» (цит. по: [Galster 1956: 221]).

ческую конституцию Европы (Конституцию 3 мая): Хуго Колонтая (1750—1812), Станислава Малаховского (1736—1809), Станислава Понятовского (1754—1833; племянника Станислава Августа Понятовского), Игнатия Потоцкого (1750—1809). Рылеев «утешает» Немцевича наличием в прошлом Польши «достойных мужей», однако семантический акцент его перечисления намеренно падает не только на «достойных мужей», но и на саму их принадлежность прошлому. Русский поэт не оставляет Немцевичу, даже на правах риторической вежливости, никакой надежды на восстановление Польши. На примере ответа Рылеева¹⁸ можно хорошо проследить, как революционно-реформаторский и демократический либерализм декабристского поколения не только не входит в конфликт с великодержавной риторикой, но и планомерно вписывается в апологию империльной экспансии.

2. После выхода нескольких дум в 1823 году, т.е. уже после переписки Рылеева с Немцевичем, в литературных журналах разгорается дискуссия о происхождении, жанровых особенностях и «национальной» принадлежности дум. По мнению соратника Рылеева по «Полярной звезде» А. Бестужева, «Рылеев, сочинитель дум, или гимнов исторических, пробил новую тропу в русском стихотворстве, избрав целию возбуждать доблести сограждан подвигами предков» (цит. по: [Рылеев 1975: 175]). Подхватывая формулировки Бестужева, в «Русском инвалиде» о думах критически высказался В.И. Козлов:

Дума не есть исторический гимн, и не всегда служит к прославлению подвигов и доблести предков. Гимны суть похвальные, торжественные песни; а в думах излагаются уединенные размышления исторических лиц, тайные их намерения, борения противоположных страстей, угрызания совести и нередко такие чувства, кои не имеют в себе ничего торжественного и похвального. Дума есть особый род поэзии, взятый из польской литературы и который требует еще своей теории (цит. по: [Рылеев 1975: 175]).

Помимо корректировки бестужевского определения гимна и довольно точного описания сюжетно-повествовательной структуры рылеевских дум, Козлов подчеркивает привозной характер жанра и тем самым попадает в обозначенное Тыняновым большое место жанровой дискуссии первой половины 1820-х годов. Показательна в этой связи и более поздняя реакция Пушкина на думы Рылеева:

Что сказать тебе о думах? во всех встречаются стихи живые <...>. Но вообще все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покров: составлены из общих мест (*Loci topici*). Описание места действия, речь героя и — нравоучение. Национального, русского нет в них ничего, кроме имен (исключая «Ивана Сусанина», первую думу, по коей начал я подозревать в тебе истинный талант) [Пушкин 1958: 143].

Спор о национальном или импортированном (польском) происхождении дум попадает в контекст дискуссии Жуковского и Катенина вокруг баллады, в которой также участвует и Бестужев. На упрек в недостаточной русскости дум Бестужев немедленно ответил своему оппоненту:

18 К моменту написания письма или сразу после, в январе 1823 года, Рылеев вступает в Северное общество: политика окончательно становится доминантой размышлений Рылеева.

<...> дума не всегда есть размышление исторического лица, но более воспомина-ние автора о каком-либо историческом происшествии или лице и нередко олицетворенный об оных рассказ. Лучшие думы Немцевича в том порукою. Далее, в польской словесности дума не составляет особого рода: поляки сливают ее с элегией (цит. по: [Рылеев 1975: 176]).

Последней фразой Бестужев, скорее всего по наводке Булгарина, отсылает к зачину недавней статьи «Об элегии» (1822) влиятельного варшавского критика, поэта и переводчика Казимира Бродзиньского в научно-литературном ежемесячнике *Pamiętnik Warszawski*, редактором которого в 1822 году становится сам Бродзиньский:

Жалобный стих, *versus querimoniae*, как его называет Гораций, *kinoth* у евреев, у римлян — элегия, мог бы носить в нашем языке название *żal* <...> Но поскольку элегия воспевает не только печальные [жалобные], но и радостные чувства, я прихожу к мнению, что ближе всего к этому роду поэзии подходит слово «дума», причем настолько, что оно могло бы быть наилучшим выражением сущности элегии. Слово *duma* значит нечто иное, нежели быть печальным или задумчивым. Это что-то между одним и другим <...> Однако *duma*, *dumanie* означает не то, что римские и вслед за ними другие поэты называют элегией, поскольку элегия — это не то, что *duma* или *dumka*. Думы — это единственно песни лирико-исторические, свойственные украинскому народу, который обладает врожденным даром поэзии и которого несчастья и одинокая натура склонили к меланхоличной поэзии. Их думы являются рассказами или спетым выражением чувства; от баллад они отличаются тем, что всегда печальны. *Dumka* есть то, что французы называют *romanse*, также по большей части печальный. Думанье есть то, что называют медитацией [Brodziński 1964: I, 191; перевод Г.К.]¹⁹.

Бродзиньский пытается найти аналог элегии, который должен быть или мог бы быть элегичнее, чем сама элегия. Своим отсылком к Бродзиньскому Бестужев хочет дискредитировать козловский упрек в польском происхождении дум. Бродзиньский запутывается в противоречиях: дума является и элегией, и не элегией. Дискуссия о происхождении дум получает дополнительную остроту, поскольку дума выступает как свой, народный, жанровый эквивалент элегии и романса, своего рода их идеальная метонимия.

В своей статье Бродзиньский провозглашает элегическое состояние думанья врожденным чувством славянской поэзии вообще и украинской в частности: «думаньем дышит народная поэзия всех славян, в особенности мало-

19 «Wiersz żałobny, *versus querimoniae*, jak go Horacy nazywa, *kinoth* u Hebrajczyków, *elegia* u Rzymian zwany, najstosowniej *żal* u nazwisko mógłby nosić w naszym języku <...> Ale ponieważ elegia nie tylko żalosne, ale i wesołe uczucia opiewa, sądzę, iż żadne z tych nazwisk bliżej temu rodzajowi poezji nie odpowiada jak wyraz *duma*, tak dalece, że oznaczenie onego mogłoby być najlepszym określeniem własności elegii. Słowo *duma* jest u nas co innego niż być smutnym lub zamyślonym. Jest to pewien środek między jednym a drugim <...> Lecz *duma*, *dumanie* nie obejmuje tego, co rzymscy, a za nimi inni poeci *elegia* zowią; tak jak elegia nie jest to, co *duma* lub *dumka*. Думы są jedynie pieśni liryczno-historyczne, właściwe ludowi ukraińskiemu, który tyle ma wrodzonego daru do poezji, a którego nieszczęścia i samotna natura do melancholicznej poezji skłoniły. Ich думы są opowiadaniem lub wylaniem czucia śpiewanym; od ballad tym się różnią, że zawsze są smutne. *Dumka* a jest zupełnie tym, co Francuzi *romanse* nazywają, także najczęściej smutna... Dumanie jest to, co u tychże *medytacja* się zowie» [Brodziński 1964: I. 191].

россов» («*dumaniem <...> tchnie narodowa wszystkich Slawian (sic!) poezja, szczególnie u Małorosjan*») [Brodziński 1964: I. 192]²⁰. В своих размышлениях об этимологии и полисемии слова *dumać* Бродзинский, по-видимому, следует за соображениями авторитетного польского языковеда Самуэля Линде (ср.: [Linde 1807: 549]). Полисемия названия *duma* оказывается у Линде вдвойне удачной: она имплицитно как значение печального, задумчивого воспоминания о былых временах, так и момент творческого создания поэтического произведения. Дума, будучи народной, славянской, одновременно оказывается связанной и со смежными жанрами западной словесности. Таким образом, возрождение думы не только вносит свой вклад в дело (вос)создания своих национальных жанров, но и одновременно контекстуализирует их в общеевропейском литературном ландшафте.

На примере дискуссии о происхождении и жанровых особенностях дум видно характерное для 1820-х годов смешение языковедческого, литературного и литературно-критического дискурсов. При этом жанровые вопросы политизируются, попадая в дискурсивное поле, в котором происходит конструирование соответствующих национальных идентичностей — русской и польской. Конфронтацию усиливает «украинский фактор»: вопрос о думах включает в себя момент борьбы за Украину как поэтическую колонию Польши или России, причем обе стороны изображают Украину как соответственно исконно славянское или русское/польское²¹. В вопросе о происхождении дум сталкиваются конкурирующие и взаимодействующие «жанровые колонизации» польской и русской литературы.

Возвращаясь к бестужевской аргументации против Козлова, следует отметить, что Бестужев интертекстуально дистанцируется от Бродзинского, но одновременно и подхватывает панславистское обоснование дум польского критика:

Думы суть общее достояние племен славянских. Русские песни о Владимире, о Добрыне и других богатырях, о взятии Казани; у малороссиян о Мазепе, о Хмельницком, о Сагайдачном; у богемцев вся краледворская рукопись; да и самая песнь о походе князя Игоря не есть ли дума? (цит. по: [Рылеев 1975: 176]).

Пытаясь редуцировать польскость дум, Бестужев вписывает думы в один ряд с украинскими думами, русскими былинами, «Словом о полку Игореве» и не в последнюю очередь с недавно «найденной» богемской Краледворской рукописью; Ганка публикует ее в 1819 году [Hanka 1819], и уже год спустя Шишков издает ее русский перевод²². На аргументацию Бестужева работает отсутствие польских эквивалентов «народного эпоса». Ограничивая свой обзор славянских древностей русскими, украинскими и чешскими памятниками, Бестужев косвенно умаляет, даже исключает из своего поля зрения потенциальную польскую претекстуальность «новых» русских дум.

Несколько по-иному развивает свои рассуждения об истоках думы Булгарин, которому Рылеев неслучайно посвятил две думы (см.: [Фризмэн 1975:

20 О подтекстах высказываний самого Бродзинского см.: [Zgorzelski 1949: 94–99].

21 В 1820-е годы возникает так называемая «украинская школа» польской поэзии. В стихах и поэмах ее представителей (Антония Малчевского, Богдана Залеского, Сержына Гоцинского и др.) Украина эстетизируется как иное и одновременно исконно свое культурно-историческое пространство Польши.

22 Об истории восприятия Краледворской рукописи в России см.: [Лаптева 1975].

178]). Булгарин не отрекается от польского происхождения дум и следует бестужевской панславистской линии, при этом, однако, переставляя акцент на удачную адаптацию в русской словесности жанра, по своему происхождению польско-чешского: «К.Ф. Рылеев усыновил в русской поэзии неизвестный поныне род, употребляемый у поляков и богемцев, под названием дум, составляющих средину между элегиею и героидой» (цит. по: [Рылеев 1975: 178]). Сам Булгарин, говоря о польско-богемском происхождении дум, отсылает не только к недавно опубликованной Краледворской рукописи. Трудно представить, что Булгарин, внимательно следивший за польскими литературными журналами, мог просмотреть недавнюю публикацию думы о Збихоне (см.: [Brodziński 1820]). Булгарин вступает в дискуссию о происхождении дум не только как влиятельный критик, но и одновременно как своего рода польский авторитет. При этом он подчеркивает как польскость дум, так и успешность их адаптации Рылеевым. Булгарин использует собственный польско-русский авторитет, позитивно выставляя свою — для современников — проблематичную гибридность. В рецензии в «Северной пчеле» от 26 марта 1825 года, вышедшей после публикации книжной версии рылеевских «Дум», Булгарин продолжил развивать тезис об общеславянском характере дум:

Что дума есть принадлежность русского или Руси, мы не спорим, но нам кажется, что поляки заимствовали одно только имя, ибо обычай воспевать подвиги героев принадлежит равномерно полякам, богемцам, иллирийцам и сербам, как древним киевлянам и галичанам. Стихотворения сего рода называют в Польше и Богемии спевами (spiewy) (sic!). Это слово нельзя по-русски перевести песнями, ибо они по-польски называются *pieśń* или *pios[e]nka*. Вообще к слову спев прибавляется всегда изъяснение содержания описываемого подвига или имя хвалимого героя, например, спев о Луидгарде, и т.п. — это род гимнов, од или подобного рода возвышенных лирических стихотворений; итак, для означения сего рода весьма прилично было употребить славянское название дума <...> [Булгарин 1825].

Окольными путями Булгарин возвращается — не называя имен — к славянофильско-панславистской аргументации Бродзиньского, причем как в вопросе о происхождении дум, так и касательно этимологическо-семантических ресурсов слова «дума» и его дериватов. По ходу рецензии Булгарин делает новое для дискуссии о происхождении дум различие между литературными и народными думами, при этом критикуя польские эксперименты и выставляя в позитивном свете рылеевские:

<...> Дума есть род поэзии, приличный народному духу русских и принадлежащий им по наследию. Думы украинские и древние спевы польские, богемские и сербские, сколько нам известно, просты в своем составе. Это рассказ происшествя, блистательного подвига или несчастного случая в отечестве: весь пиитический вымысел заключался в уподоблениях. Новые польские поэты, возобновляя сей род поэзии, обременяли свои описания картинами природы, длинными речами и т.п. Оттого их думы потеряли главное свое назначение, т.е. сделались неспособными к пению. Даже прекрасные «Исторические спевы» г. Немцевича, невзирая на то, что к ним приложены ноты, не могут быть петы по причине своей обширности: ни одна грудь не выдержит этого труда, и даже внимание слушателей утомится [Булгарин 1825].

В булгаринских размышлениях обращает на себя внимание сцепление жанровых вопросов с национально-народными: панславистская дикция как раз и

призвана их примирить. При оценке этой славянизации нельзя не учитывать и особую позицию Булгарина: поляк, оставивший карьеру польского литератора и литературного критика в пользу русского, вербализирует интертекстуальное родство и одновременно соперничество между Немцевичем и Рылеевым, при этом недвусмысленно становясь на сторону Рылеева.

Сам Рылеев в своих метавысказываниях колеблется между признанием подтекстов из Немцевича и утверждением непольского происхождения жанра дум. Рылеевское предисловие к изданию «Дум» 1825 года (написанное в ноябре 1824 года) можно рассматривать как заключительный аккорд дискуссии о происхождении дум, косвенно начавшейся еще в переписке Рылеева и Немцевича. Рылеев, который хочет, но не может скрыть претекстуальность Немцевича для своих дум, перефразирует предисловие польского автора к «Историческим песням»:

Напомянуть юношеству о подвигах предков, знакомить его со светлейшими эпохами народной истории, сдружить любовь к отечеству с первыми впечатлениями памяти — вот верный способ для привития народу сильной привязанности к родине: ничто уже тогда сих первых впечатлений, сих ранних понятий не в состоянии изгладить. Они крепнут с годами и творят храбрых для бою ратников, мужей доблестных для совета. Так говорит Немцевич о священной цели своих исторических песен <...> эту самую цель имел и я, сочиняя думы [Рылеев 1971: 194].

Рылеев цитирует Немцевича²³, чтобы в дальнейшем еще четче от него дистанцироваться:

Желание славить подвиги добродетельных или славных предков для русских не ново; не новы самый вид и название думы. Дума, старинное наследие от южных братьев наших, наше русское, родное изобретение. Поляки заняли ее от нас. Еще до сих пор украинцы поют думы о героях своих <...> [Рылеев 1971: 195].

Польская компонента Рылеевым артикулируется, но одновременно и редуцируется: поляки заняли думы от «нас»²⁴. Русификация — а по Рылееву, рерусификация — дум происходит через украинскую колониальную метонимию. Рылеев оказывается поэтом, как бы вызволяющим жанр дум из польского плена и восстанавливающим его «исконную» русскость. Если в письме Немцевичу Рылеев вписывал польского поэта и его исторические думы в общеевропейскую парадигму, то во внутренней русской дискуссии Рылеев пользуется славянофильско-панславистской аргументацией с ее латентной русоцентричной имперской установкой. Рылеевское заимствование думы из польской литературы и русификация и «украинизация» жанра являются частью борьбы за поэтические колонии. Педальирование русскости дум усиливается за счет ревизии влияния Немцевича.

23 Ср. соответствующий пассаж у Немцевича: «Wspominać młodzieży o dziełach iey przodków, dać iey poznać najświetniejsze Narodu epoki, stowarzyszyć miłość Ojczyzny z najpierwszemi pamięci wrażeniami, iest nieomylny sposób zaszczerpienia w Narodzie silnego przywiązania do kraju; nic iuż wtenczas tych pierwszych wrażeń, tych rannych pojęć zatrzeć nie zdoła, wzmagają się one z latami, usposabiając dzielnych do boiu obcońców, do rady mężów cnotliwych» [Niemcewicz 1819: 5].

24 И. Медведева отмечает, что тезис о том, что думы — южнорусский, т.е. малороссийский, жанр в 1820—1821 годах пропагандировал и Гнедич (см.: [Медведева 1951: 144]).

3. Большая часть рылеевских дум, от «Курбского» до «Ивана Сусанина», составляют тексты, так или иначе затрагивающие польскую тематику. Возможно, даже правомочно было бы говорить об определенном польском цикле или, точнее, антипольском цикле в рылеевских «Думах»²⁵. Польско-русские войны становятся метаописанием польско-русского неравного спора о новом и старом поэтическом материале. Местами эта борьба артикулируется прямо, как, например, в случае рылеевского переложения думы «Глинский» Немцевича. В авторизованном Рылеевым предисловии к думе П.М. Строев оспаривает принадлежность Глинского к польской истории:

Глинский, по влиянию своему на дела России и Польши, равно принадлежит истории обоих государств. Измена его отечеству и гибельный конец весьма поучительны: это побудило меня сию пьесу Немцевича просоветовать к собранию дум, которое делаю я, избирая предметы из отечественной истории [Рылеев 1975: 144].

Для ревизионистских стратегий Рылеева знаменательно, что при перепубликации в книжном варианте 1825 года Рылеев снял посвящение этой думы Немцевичу, присутствовавшее при первой публикации в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения».

Переписка Рылеева с Немцевичем и последующая дискуссия о происхождении дум показывают, что если политическое завоевание Польши в глазах русских современников уже завершилось, то культурная колониальная переработка этой «победы» только начинается. Польская маркированность определенных культурных и литературных феноменов (в том числе и жанров) подается не как метонимичная русской словесности и культуре (как в случае с Украиной). Польскость обладает ореолом враждебности и требует эксплицитного дистанцирования. В этой несинхронности политического и культурного колониализма обнажаются неразрешимые (по крайней мере на тот момент) психологические конфликты новой русской великодержавной идентичности. Идентификационные техники включения и исключения новых империальных приобретений еще диссонируют, не поспевая друг за другом.

Как известно, члены Северного общества, а среди них и Рылеев, были в отличие от заговорщиков из Южного общества противниками восстановления Польши в границах до 1772 года. В свете вышеобозначенной ревизии и редукции польского влияния в рылеевских «Думах» и в их рефлексии в русской литературной критике первой половины 1820-х годов новые нюансы приобретает следующее программное высказывание Рылеева из протокола допроса декабриста:

Настоящее правительство наше делает великую погрешность, называя упомянутые провинции [Литву, Подолье и Волынь] в актах своих польскими или вновь присоединенными от Польши, и в продолжение тридцати лет ничего не сделал, дабы нравственно присоединить оныя к России <...> там — Русь, древнее достояние наше (цит. по: [Маслов 1912: 103]).

Перипетии русско-польских жанровых колониализмов 1820-х годов представляют интерес не только для историков литературы. В них мы находим в пара-

25 О становлении сусанинского мифа см.: [Киселева 1997; Живов 1999; Велижев, Лавринович 2003].

дигматической миниатюре многие до сих пор актуальные механизмы самоопределения русской литературы и культуры, сочетающей фасадный либерализм с неизбываемым великодержавным самовозвеличиванием, происходящим не в последнюю очередь за счет колонизации чужих дискурсивных ценностей. «Неравный спор» Рылеева с Немцевичем и последовавшая за ним дискуссия о происхождении и принадлежности дум предвосхищают скорое поэтико-политическое противостояние между Пушкиным и Мицкевичем, в свою очередь задавшее матрицу русско-польских поэтико-политических отношений, последний авторитетный пример которых являет собой полемическая «дружба» между Иосифом Бродским и Чеславом Милошем. В аргументациях Рылеева и его соавторшей уже намечается то упование на имперское право силы, которое десятилетие спустя найдет свое воплощение в «шинельных», по определению Вяземского, строках «Клеветникам России», традиция которых прямо и косвенно ведет имперское перо русской литературы вплоть до державно-ревизионистских, шовинистских стихов «На независимость Украины» Бродского. Научная и общественная, историческая и этическая проблематизация ответственности русской литературы за дискурсивное соучастие в империльном насилии стоит на повестке дня.

Библиография / References

- [Акимова 2002] — *Акимова Н.* Булгарин: Литературная репутация и культурный миф. Хабаровск, 2002.
- (*Akimova N.* Bulgarin: Literaturnaya reputatsiya i kul'turnyy mif. Khabarovsk, 2002.)
- [Булгарин 1825] — *Булгарин Ф.* Рецензия на Думы, стихотворения К. Рылеева // Северная пчела. 1825. 26 марта.
- (*Bulgarin F.* Retseziya na Dumy, stikhotvoreniya K. Ryleeva // Severnaya pchela. 1825. 26 March.)
- [Бэлза 1970] — *Бэлза С.* Польские связи Вяземского // Польско-русские литературные связи / Под ред. Н.И. Балашова и др. М., 1970. С. 217—233.
- (*Belza S.* Pol'skie svyazi Vyazemskogo // Pol'sko-russkie literaturnye svyazi. Moscow, 1970. P. 217—233.)
- [Велижев, Лавринович 2003] — *Велижев М., Лавринович М.* «Сусанинский миф». Становление канона // НЛО. 2003. № 63. С. 186—204.
- (*Velizhev M., Lavrinovich M.* «Susaninskiy mif». Stanovlenie kanona // NLO. 2003. № 63. P. 186—204.)
- [Двойченко-Маркова 1970] — *Двойченко-Маркова Е.* Немцевич и Рылеев. Польско-русские литературные связи / Под ред. Н.И. Балашова и др. М., 1970. С. 129—155.
- (*Dvoychenko-Markova E.* Nemtsevich i Ryleev // Pol'sko-russkie literaturnye svyazi. Moscow, 1970. P. 129—155.)
- [Живов 1999] — *Живов В.* Иван Сусанин и Петр Великий. О константах и переменных в составе исторических персонажей // НЛО. 1999. № 38. С. 51—65.
- (*Zhivov V.* Ivan Susanin i Petr Velikiy. O konstantakh i peremennykh v sostave istoricheskikh personazhey // NLO. 1999. № 38. P. 51—65.)
- [Киселева 1997] — *Киселева Л.* Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) // Лотмановский сборник. Вып. 2. М., 1997. С. 279—303.
- (*Kiseleva L.* Stanovlenie russkoy natsional'noy mifologii v nikolaveskuyu epokhu (susaninskiy syuzhet) // Lotmanovskiy sbornik. Vol. 2. Moscow, 1997. S. 279—303.)
- [Кузовкина 2007] — *Кузовкина Т.* Феномен Булгарина. Проблема литературной тактики. Тарту, 2007.
- (*Kuzovkina T.* Fenomen Bulgarina. Problema literaturnoy taktiki. Tartu, 2007.)
- [Лаптева 1975] — *Лаптева Л.* Краледворская и зеленаторская рукописи и их оценка в России XIX и начала XX века // Studia Slavica. Т. XXI. Budapest, 1975. С. 67—94.

- (Lapteva L. Kraledvorskaya i Zelenogorskaya rukopisi i ikh otsenka v Rossii XIX i nachala XX // Studia Slavica. T. XXI. Budapest, 1975. С. 67—94.)
- [Лобойко 1951] — Лобойко И. Воспоминания о Рылееве // Декабристы и их время / Ред. М.П. Алексеев, Б.С. Мейлах. М.; Л., 1951. С. 23—26.
- (Loboyko I. Vospominaniya o Ryleeve // Dekabristy i ikh vremya. Moscow; Leningrad, 1951. P. 23—26.)
- [Маслов 1912] — Маслов В. Литературная деятельность Рылеева. Киев, 1912.
- (Maslov V. Literaturnaya deyatel'nost' Ryleeva. Kiev, 1912.)
- [Медведева 1951] — Медведева И.Н. И. Гнедич и декабристы // Декабристы и их время / Ред. М.П. Алексеев, Б.С. Мейлах. М.; Л., 1951. С. 101—154.
- (Medvedeva I.N. I. Gnedich i dekabristy // Dekabristy i ikh vremya. Moscow; Leningrad, 1951. P. 101—154.)
- [Пушкин 1958] — Пушкин А. Полное собрание сочинений. Т. X. Письма. М., 1958.
- (Pushkin A. Polnoe sobranie sochineniy. T. X. Pis'ma. Moscow, 1958.)
- [Рейтблат 1990] — Рейтблат А. Видок Фиглярин. История одной литературной репутации // Вопросы литературы. 1990. № 3. С. 73—101.
- (Reytblat A. Vidok Figlyarin. Istoriya odnoy literaturnoy reputatsii // Voprosy literatury. 1990. № 3. С. 73—101.)
- [Рейтблат 1993] — Рейтблат А. Булгарин и Польша // Русская литература. 1993. № 3. С. 72—99.
- (Reytblat A. Bulgarin i Pol'sha // Russkaya literatura. 1993. № 3. P. 72—99.)
- [Рейтблат 1998] — Видок Фиглярин. Письма и агентурные записки Ф.В. Булгарина в III отделение / Публ., сост., предисл. и коммент. А.И. Рейтבלата. М., 1998.
- (Vidok Figlyarin. Pis'ma i agenturnye zapiski F.V. Bulgarina v 3 otdelenie / Ed. by A. Reitblat. Moscow, 1998.)
- [Рылеев 1934] — Рылеев К. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1934.
- (Ryleev K. Polnoe sobranie sochineniy. Moscow; Leningrad, 1934.)
- [Рылеев 1971] — Рылеев К. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1971.
- (Ryleev K. Polnoe sobranie sochineniy. Moscow; Leningrad, 1971.)
- [Рылеев 1975] — Рылеев К. Думы. М.; Л., 1975.
- (Ryleev K. Dumy. Moscow; Leningrad, 1975.)
- [Сиротинин 1898] — Сиротинин А. Рылеев и Немцевич // Русский архив. 1898. Vol. I. С. 67—82.
- (Sirotnin A. Ryleev i Nemtsevich // Russkiy arkhiv. 1898. Vol. I. P. 67—82.)
- [Тынянов 1969] — Тынянов Ю. Пушкин и его современники. М., 1969.
- (Tynyanov Yu. Pushkin i ego sovremenniki. Moscow, 1969.)
- [Федута 2004] — Федута А. Булгарин как «чужой». К проблеме адекватности восприятия // Tarptautinės mokslinės konferencijos «Zmogus kalbos erdvėje». Kaunas, 2004. С. 404—416.
- (Feduta A. Bulgarin kak «chuzhoj». K probleme adekvatnosti vospriyatiya // Tarptautinės mokslinės konferencijos «Zmogus kalbos erdvėje». Kaunas, 2004. P. 404—416.)
- [Федута 2005] — Федута А. «Литвин» как литературная идентичность белоруса в первой половине XIX века (Сенковский, Булгарин, Мицкевич, Борщевский) // Межкультурная коммуникация в современном славянском мире. Т. II. Тверь, 2005. С. 9—13.
- (Feduta A. «Litvin» kak literaturnaya identichnost' belorusa v pervoy polovine XIX veka (Senkovskiy, Bulgarin, Mitskevich, Borschhevskiy) // Mezhekul'turnaya kommunikatsiya v sovremennom slavyanskom mire. T. II. Tver', 2005. P. 9—13.)
- [Федута, Пржецлавский 2010] — Федута А., Пржецлавский О. (сост. и ред.). Поляки в Петербурге в первой половине XIX века. М., 2010.
- (Feduta A., Przhetslavskiy O. (Eds.). Polyaki v Peterburge v pervoy polovine XIX veka. Moscow, 2010.)
- [Фризман 1975] — Фризман Л. Думы Рылеева // Рылеев К. Думы. М.; Л., 1975. С. 171—226.
- (Frizman L. Dumy Ryleeva // Ryleev K. Dumy. Moscow; Leningrad, 1975. P. 171—226.)
- [Цейтлин 1955] — Цейтлин А. Творчество Рылеева. М., 1955.
- (Tseytlin A. Tvorchestvo Ryleeva. M., 1955.)
- [Berndt 1961] — Berndt M. J. Niemcewicz und K. Ryleev. Berlin, 1961.
- [Bloom 1973] — Bloom H. The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry. New York, 1973.
- [Bömelburg 2007] — Bömelburg H.-J. Imaginationskonzepte und Nationskonstrukte zwischen Sarmatismus und Romantik // A. Gall, Th. Grob, A. Lawaty und G. Ritz (Hg.). Romantik und Geschichte. Polnisches Paradigma, europäischer Kontext, deutsch-polnische Perspektive. Wiesbaden, 2007. S. 90—117.
- [Brodziński 1820] — Brodziński K. Zbichon, дума, przełożona ze staro Czeskiego // Pamiętnik Warszawski 1820. T. XVII. S. 393—397.
- [Brodziński 1964] — Brodziński K. Pisma estetyczno-krytyczne. Wrocław et al., 1964.
- [Czaja 2005] — Czaja A. Julian Ursyn Niemcewicz: fragment biografii 1758—1796. Toruń, 2005.
- [Czartoryski 1860] — Czartoryski A. Żywot J.U. Niemcewicza. Paris, 1860.

- [Galster 1956] — *Galster B.* Twórczość Rylejewa a literatura polska. Kwartalnik instytutu polsko-radzieckiego. 1956. № 1 (14). S. 201—226.
- [Galster 1962] — *Galster B.* Twórczość Rylejewa na tle prądów epoki. Wrocław et al., 1962.
- [Galster 1987] — *Galster B.* Paralele romantyczne. Polsko-rosyjskie powinowactwa literackie. Warszawa, 1987.
- [Hanka 1819] — *Hanka W.[V.]* (Hg.). Rukopis Kráľodvorský / Die Kániginhofer Handschrift. Sebránj lyricko-epických Národnjch Zpěwů, wěrně w půwodnjm starém gazyku, též w obnoweném pro snadnějšj wyrozuměnj, s připogenjm německého přeloženj. Starobylych skládánj djl zvláštnj. Eine Sammlung lyrisch-epischer Nationalgesänge. Prag, 1819.
- [Kirschbaum 2016] — *Kirschbaum H.* Im intertextuellen Schlangennest. Adam Mickiewicz und polnisch-russisches (anti)imperiales Schreiben. Frankfurt am Main et al., 2016.
- [Kunert 1968] — *Kunert I. J.U.* Niemcewicz: Śpiewy historyczne. Geschichtsauffassung und Darstellung. München, 1968.
- [Lecke 2004] — *Lecke M.* Legitimität und Fiktion. Dmitrij Samozvanec als literarische Figur der Spätromantik // Imperium und Intelligencija. Fallstudien zur russischen Kultur im frühen 19. Jahrhundert / J.-Ul. Peters, Ul. Schmid (Hg.). Zürich, 2004. S. 195—218.
- [Lecke 2009] — *Lecke M.* Faddej Bulgarin. Sprawa polska im Russischen Reich // Zeitschrift für slavische Philologie. 2009/2010. № 66. S. 317—337.
- [Linde 1807] — *Linde S.* Słownik Języka Polskiego. T. I. Część I. Warszawa, 1807.
- [Majchrowski 1982] — *Majchrowski S.* O Julianie Niemcewiczu: opowieść biograficzna. Warszawa, 1982.
- [Mickiewicz 1955] — *Mickiewicz A.* Dzieła. Warszawa, 1955.
- [Niemcewicz 1819] — *Niemcewicz Ju.U.* Śpiewy historyczne z Muzyką i Rycinami. Kraków, 1819.
- [Prunitsch 2007/2008] — *Prunitsch Ch.* Julian Ursyn Niemcewicz Śpiewy historyczne zwischen Adelsrepublik und Teilungszeit // Zeitschrift für slavische Philologie. 2007/2008. Bd. 65. S. 85—100.
- [Tyrowicz 1930] — *Tyrowicz M.* Działalność publiczna J.U. Niemcewicza w latach 1807—1813. Wilno, 1930.
- [Witkowski 1979] — *Witkowski M.* W kręgu Śpiewów Historycznych Niemcewicza. Poznań, 1979.
- [Wójcicki 2002] — *Wójcicki J.* Julian Ursyn Niemcewicz: pisarz, historyk, świadek epoki. Warszawa, 2002.
- [Zgorzelski 1949] — *Zgorzelski Cz.* Duma popredniczka ballady. Toruń, 1949.

Евгений Пономарев

Экспорт и реэкспорт соцреализма

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ
В КОНТЕКСТЕ СОВЕТСКОГО ТОЛСТОГО ЖУРНАЛА
(КОНЕЦ 1940-х ГОДОВ)

Evgeny Ponomarev

The Export and Re-export of Socialist Realism.

Eastern European Literatures in the Context of the Soviet Thick Journal (late 1940s)

Евгений Рудольфович Пономарев (доцент Санкт-Петербургского государственного института культуры, доктор филологических наук) eponomarev@mail.ru.

Evgeny Ponomarev (St. Petersburg state university of culture; associate professor; doctor of philology) eponomarev@mail.ru.

Ключевые слова: Восточная Европа, СССР, сталинская эпоха, литературная политика, литература

Key words: East Europe, USSR, Stalin era, literary policy, literature

УДК: 327.2+821.161.1+821.162.1+821.162.3+821.162.4+821.162+821.163

UDK:327.2+821.161.1+821.162.1+821.162.3+821.162.4+821.162+821.163

В статье рассматриваются механизмы литературно-культурного взаимодействия СССР с подконтрольными ему странами Восточной Европы. Литературы стран, «выбравших социализм», были представлены на страницах советских толстых журналов наряду с литературами республик Советского Союза. За несколько послевоенных лет тексты, созданные писателями Албании, Болгарии, Румынии, Чехословакии, вобрали все характерные черты советской литературы, совмещающей искусство с пропагандой, и стали быстро и живо реагировать на события, связанные с новым мировым противостоянием (выход Югославии из сталинского блока, война в Корее). Социалистическая поэтика делала литературы Восточной Европы частью советской литературы.

Ponomarev examines the mechanisms of the literary and cultural interactions between the USSR and the Eastern European countries under its control. The literatures of countries that “chose socialism” were represented in Soviet “thick journals” alongside the literatures of the Soviet republics. Over the first post-war years, texts written by Albanian, Bulgarian, Romanian and Czechoslovak writers absorbed all the typical features of Soviet literature, combining art with propaganda, and began reacting quickly and fervently to events of the burgeoning global opposition (such as Yugoslavia’s exit from the Stalinist bloc and the war in Korea). A socialist realist poetics made Eastern European literatures a part of Soviet literature.

Советский толстый журнал сталинской эпохи следует воспринимать как журнал имперский. Несмотря на то что выходил он на русском языке и, по сути, имел отношение лишь к русской литературе, он позиционировал себя как институт литературы советской — т.е., базируясь на русском литературном материале, знакомил читателей и со всеми прочими литературами империи. Переводы объемных текстов (часто романов), написанных на украинском и белорусском языках, появляются в советских толстых журналах регулярно. Реже печатаются переводы с языков других народов, проживающих в Советском Союзе (обычно это тексты небольшого размера — рассказы или стихи,

отрывки из поэм). Расширение территорий Советской империи вызывает обязательную реакцию толстых журналов: они публикуют произведения новых советских литератур «освобожденных народов». Так, 9-й номер «Нового мира» за 1940 год открывался стихами Людаса Гиры (переводы с литовского) и Иоганнеса Барбаруса (переводы с эстонского). Отсутствие поэта из Латвии компенсировалось первым стихотворением Гиры, посвященным вечной дружбе литвинов и латышей¹. В разделе «Критика и библиография» той же самой книжки журнала первой шла статья Мих. Зенкевича «Поэзия новых советских республик (о стихах Иоганнеса Барбаруса и Людаса Гиры)». Таким образом, набором имен и тем поэзия прибалтийских государств включалась в общий круг советской поэзии.

Послевоенная эпоха значительно усилила имперские тенденции советской идеологии. Теперь толстый журнал публикует не только советскую, но и иностранные литературы, близкие идеям и практике соцреализма. Текущий литературный процесс становится, с одной стороны, консолидацией соцреалистических литературных практик, с другой — свидетельством главенствующей роли советской литературы по отношению ко всем литературам мира (одна из важнейших идеологем, появившихся еще в ходе войны; через несколько лет о «мировом значении» советской литературы будут писать уже и школьные учебники). Показательно, что рядом с последними романами советских писателей журнал «Знамя» в 1946—1947 годах активно публикует новеллы Дж. Олдриджа, рассказы Л. Арагона, произведения С. Цвейга и Ж. Фревиля (последний родился в Харькове). Уже в 1947 году количество западных произведений в советских журналах сильно уменьшится — это связано с приближением кампании по борьбе с космополитизмом. Формируется новая тенденция, демонстрирующая единство советских литератур и приближающихся к ним по идейным показателям литератур Восточной Европы.

Литературная работа с территориями Восточной Европы, попавшими под советский контроль в ходе Второй мировой войны, началась практически сразу. Опытные советские «международники» уловили общую тенденцию: восточноевропейским литературам следовало дрейфовать в сторону советской, а затем плотно войти в пазы соцреализма на страницах советских толстых журналов. И.Г. Эренбург, едва ли не главный автор довоенной литературы путешествий, первый послевоенный травелог посвятил рассказу о странах Восточной Европы — обо всех сразу. В 1946 году двумя изданиями вышла его книга «Дороги Европы». Рассказывая о том, какими сложными путями движутся к народной демократии освобожденные Советской армией страны, он по довоенному обычаю обращал пристальное внимание на культуру каждой из стран — в том числе сообщал о возрождении (или рождении) подлинной литературной жизни после уничтожения фашизма. В Румынии Эренбург упоминает Михая Садовяну, в беседах с которым он провел много приятных часов: «<...> это блистательный повествователь, знаток живого языка, человек, кото-

1 При этом первые строки стихотворения, в которых еще не сказано, что речь пойдет о дружбе литвинов и латышей, могут восприниматься и как напоминание о балтославянском языковом единстве и, соответственно, о дружбе русских и прибалтов:

Нет, мы не только близкие соседи, —
Мы встарь одним владели языком <...>

[Гира 1940: 3].

рый знает и любит свой народ, но который чужд национальной отъединенности; его с полным правом можно назвать европейцем» [Эренбург 1946: 14]. В Болгарии он указывает на древние поэтические корни, называет Христо Ботева, традиции которого развивают современные поэты; их имена следуют списком: «Я вспоминаю, как читала нам свои стихи Елисавета Багряна; была в тех строфах чистота и глубина горного утра. Вспоминаю долгие беседы с поэтами Исаевым, Фурнаджиевым, плотную прозу Елин Пелина, душевную тонкость Константинова, взволнованный голос юного поэта Валерия Петрова. Есть в Болгарии то, о чем стосковался мир: служение музам, которые никогда не уходили с земли, музам-сестрам, служение живой жизни, ощущение “святого ремесла” как призвания» [Эренбург 1946: 47]. Путешествуя по Югославии, Эренбург объезжает все республики новой федерации и перечисляет имеющихся деятелей литературы. В хорватском Загребе живет крупный драматург Кржа (далее идет список хороших художников из Хорватии — они больше интересуют Эренбурга), рассказ о словенской литературе весь построен на имени поэта-классика Ф. Прешерна — о современной поэзии Словении говорится только в общем; посещая Дубровник, путешественник тоже концентрируется на былом, перечисляя поэтов, творивших там в прежние века. В Македонии выделен «талантливый страстный поэт Венко Марковский; его можно назвать и творцом литературного языка, и революционером литературных форм — это одновременно и Ломоносов, и Маяковский Македонии» [Эренбург 1946: 89] (показательны русские ориентиры, предложенные молодой литературе). А в сербской литературе опять назван только классик прошлого века — черногорский князь Петр Негош. Сведения об албанской литературе в книге Эренбурга напоминают пресс-релиз: она молода, однако имеет ряд классиков. «Самым значительным поэтом новой Албании является Ламэ Кодра. Я подружился с молодыми поэтами Алексом Чачи и Стерио Спасэ. Теперь в Албании выходят тринадцать еженедельных и четыре ежемесячных журнала» [Эренбург 1946: 103].

Показательно, что сам Эренбург понимает: такие перечисления мало что говорят советскому читателю. Вряд ли читатель запомнит хоть одно имя из списка. «Нет ничего скучнее, когда говоришь об искусстве, чем перечень имен: это атлас звездного неба под потолком. Если я все же решил ввести в мой рассказ столь безжизненные строки, то только потому, что посвящены они самому жизненному — искусству» [Эренбург 1946: 48]. Однако ничего лучшего писатель придумать не смог. Главная идеологическая функция так или иначе выполнена: создается устойчивое впечатление, что после освобождения в каждой восточноевропейской стране начался расцвет искусства и литературы.

Толстые журналы реагировали на запросы идеологии менее оперативно. Едва ли не единственной публикацией такого рода стала статья И. Анисимова «Культура в новой Болгарии» (Октябрь. 1946. № 5), где был составлен подробный список потенциальных болгарских соцреалистов. Это поэты, начиная с Гео Милева, загубленного реакцией после восстания 1923 года, продолжая Димитром Поляновым (его первый учитель — Некрасов; несмотря на то что поэту пришлось долго жить в Париже, он выбрал ориентир на правильную французскую поэзию — линию Беранже, Барбье, Потье) и Николаем Хрелковым — болгарским Николаем Островским (он прикован к постели, лежит в своем доме в г. Горна Баня, недалеко от Софии. Правительство подарило ему дом, но он отдал дом молодежи, чтобы жизнь бурлила рядом с ним). Со всей страны

«несутся к нему волны горячей симпатии» [Анисимов 1946: 168]. Появление своего Островского неслучайно: Павка Корчагин как образец соцреалистического героя и «Как закалялась сталь» как образец соцреалистического романа вскоре будут интенсивно импортироваться из СССР. Одним из первых назван крупнейший поэт Людмил Стоянов. Его творческий путь сложен: начинал он как метафизик и идеалист, но давно уже вышел на верную дорогу. Отдельно названы поэты-женщины: на первом месте, как и у Эренбурга, Багряна (ее стихи великолепны: раскрывают тайны человеческого сердца простыми и подлинными словами), затем названы Магда Петканова, Мария Грубешлиева. Упомянуты и болгарские «футуристы» Никола Фурнаджиев (в прошлом бунтарь, разрушение было для него самоцелью; теперь он возглавляет «поэтическое наступление») и Ламар (большой поэт).

Далее следует обзор современной болгарской прозы. Перечисленные жанры один к одному повторяют жанры советской литературы послевоенной эпохи: исторические романы из далекого (турецкое иго и освободительное движение) или недавнего (события 1923 года — незаживающая рана) прошлого, написанные Константином Петкановым, Орлином Васильевым, Анной Каменовой, Людмилом Стояновым (опять же). Есть хорошие произведения о деревне, нет пока сочинений о жизни рабочего класса. Показательно, что советский толстый журнал видит в литературе соседа только то, что близко собственной литературе. Упомянуты, правда, двое литераторов, поддержавших оппозицию: поэт Трифон Кунев и писатель Стилян Чилингиров. Кунев не имеет никаких творческих достижений, полагает автор статьи, Чилингиров — великоболгарский шовинист, председатель фашистского Союза писателей (больше никаких определений не нужно; одно это перечеркивает все его творчество). Здесь Анисимов оказывается шире Эренбурга: тот вовсе не упоминал оппозиционно настроенных литераторов. Все эти перечисления проложены военно-политическими метафорами, призванными создавать впечатление небывалого литературного подъема, например: «То, что сейчас происходит в болгарской поэзии, можно назвать наступлением. Срывая плотины, хлынула раскрепощенная энергия» [Анисимов 1946: 168].

Похожа на эту еще одна публикация «Октябрь» (1948. № 9) — очерк Ильи Константиновского «Новая Румыния». Он ближе текстам Эренбурга, чем статье Анисимова, поскольку обладает многими признаками травелога. Полстраницы в этом очерке посвящено современной румынской литературе. Ощущая недостаточность и неполноту списка прогрессивных авторов, Константиновский, называя уже знакомых нам румынских литераторов, пытается кратко пересказать их новые произведения: «Молодые поэты Жео Думитреску, Владимир Колин и другие напомнили, что 1947 год был годом появления первого румынского трактора отечественного производства, годом успехов трудовых молодежных бригад. <...> Пожалуй, никогда еще в истории румынской литературы писатели не говорили таким языком и не стояли так близко к жизни, к современности» [Константиновский 1948: 174]. Тематический подход соцреализма налицо: язык стоит на втором месте, трактор — на первом. Упомянут и живой классик Михай Садовяну, подающий пример молодым: «Он написал новый роман, “Пауна мика”, в котором рассказывается, как на берегу Дуная под руководством старого механика-коммуниста возникает артель, превращающая пустошь в передовую сельскохозяйственную ферму» [Константиновский 1948: 174]. Это роман П. Павленко «Счастье» (1947), только на румынском

материале. Далее списком идут молодые, прогрессивные и совершенно неизвестные советскому читателю авторы (всего 10 имен).

Публикации такого рода малочисленны, и это неслучайно. Обзоры братских литератур вынуждены быть крайне однообразными и похожими друг на друга. Поместив однажды статью о современной болгарской, например, литературе, журнал не просто закрывает себе возможность через несколько лет вернуться к этой теме, но и закрывает тему для всех других журналов. Кроме того, обзор румынской литературы, по сути, будет мало чем отличаться от обзора болгарской — казаться дословным повторением. Поэтому «Октябрь» выбирает иной формат для второй статьи: жизнь в новой Румынии вообще. В этих условиях приходилось думать о менее традиционных формах представления восточноевропейских литератур в советских толстых журналах.

Оригинальную форму в конце 1946 года нашел «Новый мир». В совмещенной 10-11-й книге журнала появилась подборка «Из славянских поэтов». Готовя подборку, «Новый мир», с одной стороны, ориентировался на довоенные принципы представления литератур «только что освобожденных» народов: стихи должны славить Красную армию и новую светлую жизнь. С другой стороны, идеологические ветры конца 1940-х требовали более тесного и крепкого включения новых литератур в общесоветский контекст.

Подборка стихов удачнее, чем список поэтов, представляет иноязычную поэзию. В подборку включается всего несколько имен — в то время как список по определению должен быть длинным (иначе можно подумать, что прогрессивных поэтов в освобожденных странах очень мало). Каждому имени придается краткая биографическая справка и одно-два переведенных стихотворения. Переводы заказываются большим советским поэтам, благодаря чему на русском языке стихотворения кажутся удачными и значительными — независимо от оригинала. Это очень важный момент, так как поэты и стихи отбираются по двум критериям: с одной стороны, нужны большие поэтические имена, известные и в своей стране, и за рубежом. С другой стороны, нужны такие поэты и стихи, которые на сто процентов соответствуют идеологическим заданиям. Поэтому наряду с большими известными поэтами нужно публиковать опыты поэтов начинающих, еще непрофессиональных, но привыкших мыслить правильно, искренне соцреалистических. Такая публикация должна произвести сильное впечатление на читателя, а имена и стихи — запомниться. Все эти принципы и реализованы в самой первой подборке «Нового мира».

Она ограничивается тремя поэтами: двое из них югославы (черногорец Радован Зогович и босниец Скендер Куленович), один чех (Витезлав Незвал). Рядом со стихотворением Незвала опубликовано произведение Яна Неруды, чешского классика XIX столетия. Благодаря этому Незвал (к тому времени очень известный чешский поэт), даже если он совсем не знаком советскому читателю, воспринимается как Неруда сегодня, классик литературы современной. Соединение классиков и современников в одной подборке для соцреалистического сознания не представляется чем-то исключительным. В 1939 году, сразу после оккупации Чехословакии, «Новый мир» уже поступал таким образом, напечатав стихотворение Станислава Костки Неймана, чешского поэта-модерниста, одного из основателей Компартии Чехословакии, посвященное гражданской войне в Испании, рядом с произведениями Святополка Чеха, выдающегося поэта XIX века. Общее настроение поэтических текстов — стремление к борьбе, уверенность, что чешский народ завоюет свободу [Из чешских поэтов 1939].

Временные характеристики не играют существенной роли в едином пространстве соцреализма, застывшем в вечном торжестве истины. Стихотворения Незвала написаны на беспроектные темы — одно из них называется «Знамена девятого мая», его содержание само по себе очевидно; другое — «Катафалк» — написано во время войны: на катафалке по улице везут Родину. Югославские стихи, естественно, посвящены героике партизанской борьбы, а также торжеству победы над войнами и тиранами. В одном из них («Стоянка, мать кнежепольская, взывает к мести, ища своих сыновей, убитых в бою с фашистами на горе Козаре» Куленовича) активно используются фольклорные мотивы, в другом («Упрямые строфы» Зоговича) в соцреалистическом ключе говорится о том, что величие страны измеряется не территорией, а людьми-исполинами, живущими в ней. Если стихотворения Незвала напоминают трагическую героиню русской революционной поэзии, то югославские стихи хорошо ложатся на читательские ожидания, сформированные «Василием Теркиным» А.Т. Твардовского. Поэты-югославы моложе Незвала и менее известны в СССР, зато биографии у них вполне героические: оба сражались в партизанских отрядах, редактируя партизанские газеты. Важны и имена переводчиков: стихотворение Зоговича перевел Дмитрий Петровский (поэт не самый известный, но глубоко профессиональный: начинал он в среде футуристов, в рядах ЛЕФа воспевал героиню Гражданской войны), стихотворение Куленовича — Арсений Тарковский, стихи Незвала и Неруды напечатаны в вольных переводах Константина Симонова. Последние два переводчика в представлении не нуждаются.

Значимость этой публикации вырастает в контексте общего содержания советских толстых журналов послевоенных лет. Практически сразу по окончании войны в них появились произведения советских писателей, посвященные последнему военному году. Действие этих романов нередко происходило в освобождаемых/освобожденных странах (некоторые произведения — усиливая эмоциональный смысл освобождения — рассказывали о жизни Восточной Европы под властью нацистской Германии). Например, всю первую половину 1946 года «Новый мир» публиковал роман Вс. Иванова «При взятии Берлина», а «Знамя» в 1946 году познакомило советского читателя с драмой К. Симонова «Под каштанами Праги» (действие происходит во время немецкой оккупации). Показательно творчество украинского прозаика Александра (Олеся) Гончара, регулярно печатавшегося на страницах «Нового мира»: в 1947 году он опубликовал роман «Знаменосцы» (действие начинается в румынских Яссах, затем на штыках Советской армии перемещается в Венгрию), в 1948 году — новеллу «Весна за Моравой», а в 1949 году — роман «Злата Прага» (все — авторизованные переводы с украинского). Таким образом, восточноевропейская тема стала одной из самых актуальных литературных тем 1946—1949 годов, освобожденные страны автоматически включались в тематический круг советской литературы (что можно рассматривать как начало процесса их ментальной и культурной колонизации). Однако в советских романах за восточных европейцев говорил советский писатель. Подборка «Из славянских поэтов» дала право голоса самим представителям Восточной Европы.

Показательна и славянская ориентация этой публикации. «Новый мир» представляет читателям не поэтов какой-то отдельной страны, а славянских поэтов вообще, актуализируя отчасти славянский вектор русской классической поэзии («Песни западных славян» А.С. Пушкина и пр.), отчасти славянофильские идеи XIX века. Послевоенная советская идеология успешно примеряла

идеи общеславянского единства — и эта тенденция тоже отразилась в толстых журналах. В 1-м номере «Знамени» за 1947 год была опубликована большая статья Б. Дацюка «Судьбы славянского единства», представленная как часть подготовленной автором книги «Демократические традиции славянской солидарности». Главная идея автора — освободительная борьба славянских народов ориентировалась не на Аксакова, Хомякова, Погодина, реакционных философов-монархистов XIX столетия, а на русские демократические традиции, начиная с декабристов и продолжая Герценом, Чернышевским, Лениным. Деятели славянского движения из славянских стран почти не упомянуты в статье, фигурируют в ней только великие русские имена, что звучит весьма характерно для имперского журнала. Завершается публикация цитатами из речей Сталина и общим утверждением: гитлеровцы хотели уничтожить славянство, подчинить его германской расе, СССР же выполнил историческую функцию, выступив освободителем славянских стран [Дацюк 1947]. Эту же карту разыгрывает посетивший Прагу в 1946 году Александр Фадеев. Стенограмму его доклада на собрании Общества культурной связи с СССР в Праге «Новый мир» напечатает целиком. Это, пожалуй, уникальный случай: толстый журнал обычно публикует только самые главные речи советского руководства (например, доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград»).

Начинает советский писатель с предложенного ему вопроса: на какие традиции следует ориентироваться современной чешской литературе — западные или восточные? Судя по «Дорогам Европы», это главный вопрос тогдашней литературной борьбы: оппозиционные деятели культуры во всех освобожденных странах, начиная от Румынии и заканчивая Чехословакией, предпочитают русской (советской) традиции французскую и вообще западную. Фадеев отвечает так, как ответили бы в XIX веке поборники культурной самобытности славян: «Ориентируйтесь прежде всего на самих себя, на ваше великое прошлое и будущее. (Аплодисменты)» [Фадеев 1946: 211]. Но сразу после этого писатель начинает перечислять то «общее», что объединяет культуры славянских народов (ориентир из этого следует сам собой): во-первых, великая народность культуры; во-вторых, свободолюбие; в-третьих, гуманизм. Три обобщенные идеологемы, ничего не значащие сами по себе, получают роль весомых аргументов. Далее речь пойдет о русской классике, которая прогрессивнее и демократичнее западноевропейской.

Специальный пункт выступления посвящен защите соцреализма. По-видимому, это ответ на соображения чехов, опасавшихся узких рамок советского литературного метода. Соцреализм, сообщает Фадеев, — это творческий метод, заключающийся в правдивом изображении новой социалистической жизни. В нем нет незыблемых «законов» (тут с Фадеевым могли бы поспорить московские ортодоксы), а есть многообразие форм. Приходится отвечать и на упреки в творческой несвободе, связанные с преследованием Ахматовой и Зощенко. Неудобный факт надо подать в пристойном свете. Зощенко, говорит Фадеев, — не сатирик, а враг, ибо нападает на свой народ и свою страну. Ахматова — пережиток декаденства. Потом докладчик переходит в наступление и сам атакует пражские газеты «Свободные новины» и «Свободный Зитржек», которых беспокоят Зощенко и Ахматова и несвобода советских писателей: «Я вас уверяю, что советские писатели более свободны, чем господин Ян Славик из “Свободного Зитржку”, потому что он прикован цепью к тачке своих предрассудков; а советские писатели творят в интересах своего советского на-

рода и государства. (Аплодисменты)» [Фадеев 1946: 214—215]. Советское понимание «свободы» (литература всегда преследует чьи-то политические интересы — см. статью Ленина «Партийная организация и партийная литература», ставшую в СССР священным текстом, — следовательно, нужно руководствоваться интересами своего народа и своего государства) переворачивает понятие с ног на голову, но этот поворот как бы не замечают аплодирующие чешские литераторы.

Этот поворот Фадеев использует для продвижения к эффектному завершению. Банкетная метафора финала казалась автору, вероятно, крестьянско-древнеславянской: зачем, вопрошал он риторически, имея в виду изгоев советской литературы, чешская газета подбирает то, что выкинули с чужого стола, когда у нее «есть свой прекрасный стол, который чудесно накрыли великие чехи. За этим столом сидят Коменский, Коллар, Врхлицкий, Гавличек, Божена Немцова, Неруда, Святополк Чех. За этим столом сидят и такие великие словаки, как Сладкович, Ботто, Янко Краль, Штур и Гвездослав, и Кукучин. Рядом стоит стол великого братского русского народа, за которым сидят гении русского народа, начиная с Пушкина и кончая Горьким. Великие наши деды сидели за своими столами и дружили друг с другом. Они призвали нас, современных советских и чехословацких писателей, чтобы мы продолжали их великое дело» [Фадеев 1946: 215]. Последней нотой Фадеева, как и у Дацюка, становится напоминание о том, что славянские народы вместе победили фашизм, поэтому пора бы «перестать приbedняться с нашей славянской культурой» [Фадеев 1946: 215] и не принимать беспрекословно все то, что приходит с Запада.

В контексте последней идеи очень важной кажется публикация в том же номере журнала «Репортажа с петлей на шее» Юлиуса Фучика (пер. И. Бархаша) [Фучик 1946]. А братские объятия соцреализма — в контексте споров о традициях славянских литератур Европы — распахивались в еще одной публикации номера: статье Наталии Тепси «Павел Корчагин за рубежом. К десятилетию со дня смерти Н.А. Островского». В ней рассказывалось, что роман «Как закалялась сталь» помогал партизанской борьбе югославских бригад, что книгу с волнением читали на привалах и брали с собой в бой — шаблон, напрямую заимствованный из учебников советской литературы². В современной Югославии, продолжает статья, роман Островского обязательно читают перед вступлением в комсомол вместе с горьковской «Матерью» (первый и самый классический роман соцреализма). За время войны, сообщается далее, «Как закалялась сталь» вышла на 13 языках: в Болгарии, Румынии, Греции, Венгрии, Польше [Тепси 1946: 261—262]. В этой же системе значений — статья Любви Фейгельман «Маяковский в славянских странах» (Новый мир. 1948. № 4), рассказывающая о влиянии великого советского поэта на поэтов Чехословакии, Югославии, Болгарии и Польши.

«Новый мир» пытался развивать неопанславизм и в дальнейшем. В 4-м номере за 1947 год появилась вторая подборка стихотворений под заглавием «Из славянских поэтов». На сей раз читателям предлагались стихотворения про-

2 Ср.: «Не меньшую популярность имел герой романа “Как закалялась сталь” и среди защитников Москвы и Ленинграда, в партизанских отрядах, у советских воинов, освобождавших Варшаву и Прагу, штурмовавших Берлин. История мировой литературы не знает подобной силы воздействия литературного героя на жизнь!» [Дементьев, Наумов, Плуткин 1951: 315].

грессивных поэтов Болгарии — страны, не охваченной первой публикацией. Были представлены три поэта: Крум Кулявков (стихотворение «Она меня ждет»), Камен Зидаров (стихотворение «Перед новым годом»), Радой Ралин (стихотворение «Тито»). По целому ряду признаков публикация не получилась столь парадной, как первая. В этот раз предисловие было общим, сведения о поэтах давались бегло, в рамках краткой справки о «болгарской демократической поэзии» [Из славянских поэтов 1947: 120]. Классики прошлого века в составе публикации не было. Переводчиком всех стихотворений выступил Ян Сашин (Я.А. Левин), поэт не первого ряда. Но общие черты сохранялись. Подборка соединяла поэтов заслуженных (Кулявков, много раз бывавший в СССР еще до войны, Зидаров — крестьянский поэт) и совсем молодых коммунистов (Ралин). Темы были связаны с войной (в «Она меня ждет» она — это Родина, Болгария) и возрождением страны (новый год получал у Зидарова символическое значение). Следует отметить новый момент: молодой поэт-коммунист с восхищением писал о вожде другой славянской страны — маршале Тито. Тем самым снимались границы между (славянскими) народами в пафосе всеобщей героической борьбы.

Непарадность второй публикации подводит к мысли о том, что панславизм скоро будет признан непродуктивным. Причина крайне проста: концентрация на славянских корнях не позволяет включить в соцреалистический круг целый ряд литератур — румынскую, венгерскую, албанскую. Албанская литература особенно интересовала московских соцреалистов: она представляла собой невоздланное поле, на котором можно было выращивать любые литературные культуры. Соцреализм внедрялся в Албании в условиях отсутствия сильных местных традиций, на преодоление которых тратилось немало сил в других государствах Восточной Европы.

Во 2-м номере «Нового мира» за 1947 год появилась очень важная публикация. Молодой албанский писатель Юсуф Алибали (естественно, в прошлом партизан) выступал одновременно с рассказом «Рам Сула» о партизанской борьбе и статьей о современной албанской литературе. В статье он сообщал, что литература албанского народа (которую многие империалистические страны — прежде всего Италия, забравшая в библиотеки Милана и Флоренции все древнейшие албанские тексты, — не хотят признавать самостоятельной) существует с XV века и неотделима от освободительной борьбы албанского народа. Литература, целиком посвященная освободительной борьбе, близка соцреализму по определению. В новейшей литературе Алибали видит двух крупнейших поэтов: Мидиени и Ламе Кодру. Мидиени умер в 1938 году и не стеснялся творить при предфашистском режиме, Ламе Кодра эмигрировал и из-за границы руководил борьбой против режима. Таким образом, и в поэзии «Мидиени часто ограничивается общим призывом к социальной борьбе; творчество же Ламе Кодра — активный фактор социальной и национально-освободительной борьбы» [Алибали 1947а: 111]. Соцреалистическая фразеология точно выражает и соцреалистическую идею: только политически правильный взгляд может служить основой подлинной поэзии.

Партизанский рассказ Алибали включает все возможные мотивы военного соцреализма. С одной стороны, партизанская борьба и самопожертвование: командир партизанского отряда Рам Сула приказывает товарищам уходить, а сам пулеметным огнем прикрывает отступление. С другой — позор попадания в плен, даже раненым и контуженым: «Ему казалось, что он не может, не

должен жить, даже если кто-то могущественный и добрый распахнет двери его камеры и он увидит голубое небо родины. Как он мог отдаться живым в их руки? Как он допустил это? Позор! Позор другу Кемалья, Мисто, Войо!» [Алибали 1947b: 101]. Довоенное угнетение простых крестьян беями: беи не только отбирают у трудящихся урожай, но еще отнимают и честь у их дочерей. Предательство власть имущих албанцев: Максут Бедра в прошлом служил бею и выполнял грязные приказы, теперь он капитан жандармов на службе у фашистского режима. Гордость человека, отдающего жизнь за Родину. Изумление его стойкостью и мужеством со стороны жандармов. И, наконец, важнейший символический мотив соцреалистической литературы — переход героя в вечность. Рам Сула сдирает с себя повязки, из ран хлещет кровь, он произносит последние слова, обращаясь к Максуту:

— Я буду говорить... Твое предательство и предательство таких, как ты, принесло нам много горя... Народ страдал под игом бея вчера, а сегодня еще страдает под игом чужестранцев. Но завтра, слышишь, собака, завтра этого не будет... Начинается рассвет... приходит конец вашей ночи... [Там же: 106].

Предсмертное высказывание соцреалистического героя всегда содержит абсолютную истину. Между игом беев и игом чужестранцев поставлен знак равенства — они в равной степени «враги народа». Предатель — важная фигура соцреалистических текстов — получает важнейшую функцию: из-за него освобождение не наступает так скоро, как могло бы. В конце высказывания использована метафора «ночь — рассвет», ставшая в советской литературе с легкой руки Эренбурга (заглавие одной из его книг 1930-х годов, посвященной угрозе фашизма, — «Границы ночи») постоянной метафорой фашизма и победы над ним. Слова гибнущего героя переходят в жизнь и получают объективное подтверждение:

Рам Сула свалился на землю.

...Ночь кончилась.

Медленно начинал белеть рассвет [Там же: 106].

Публикации такого рода достигали большего эффекта, чем подборки стихотворений поэтов славянских стран. Короткий прозаический текст, занимая примерно столько же места, сколько подборка стихотворений, позволял четче заявить о соцреалистическом выборе восточноевропейских литератур. Герои, развитие сюжета, темы и мотивы говорили сами за себя. Стихотворение рядом с рассказом выглядит утонченной абстракцией-иносказанием, которую можно прочитать по-разному. Рассказ читается однозначно и не оставляет сомнений в том художественном методе, который использует писатель. Рам Сула кажется младшим братом Павки Корчагина, с которым уже успели познакомиться югославские партизаны (см. выше статью Н. Тепси), а теперь знакомятся и албанские читатели.

Выработанные на литературах Восточной Европы формы (короткая новелла и поэтическая подборка) стали применяться к литературам народов СССР. Поэтические подборки при этом преобладали. Переходным моментом послужили литературы Прибалтики, они должны были снова войти в соцреалистическую семью. Первым уловил продуктивную идею журнал «Знамя». В № 3 за 1947 год появляется подборка «Стихи эстонских поэтов», в № 6 —

«Стихи литовских поэтов», а в 11-м номере фокус вдруг смещается на Сибирь: «Из якутских поэтов». Журнал «Октябрь» проводит еще более последовательную литературную политику. Почти в каждую книжку 1947 года он помещает подборку стихотворений одной из советских республик. Начинается все с украинских поэтов (№ 1), продолжается белорусскими (№ 2), затем идут грузинские (№ 3), армянские (№ 4), литовские (№ 5), латышские (№ 6), азербайджанские (№ 7), казахские (№ 8). Девятый номер представляет собой исключение: он весь посвящен 800-летию со дня рождения Низами, в нем нет современной поэзии республик. Но в № 10 в качестве компенсации появятся сразу две подборки: «Из татарских поэтов» и «Из таджикских поэтов». В номерах 11 и 12 традиция прерывается, весь 1948 год проходит без поэтов союзных республик (возможно, влияет начавшаяся борьба с космополитизмом: руководство журнала пытается понять, можно ли продолжать). Продолжение следует в 1949 году. Во 2-м номере печатается подборка «Из латышских поэтов», в 4-м номере — «Из туркменских поэтов», в 6-м номере — «Из казахских поэтов», в 9-м номере — «Из таджикских поэтов». Можно отметить, что «Октябрь» пошел по второму кругу: все республики, кроме Туркмении, уже были представлены в 1947 году. Следовательно, идея признана перспективной. «Новый мир» тоже принимает эстафету. Завершив публикацию подборок славянских поэтов Европы, он вслед за «Знаменем» переходит на Прибалтику. В 1948 году в 1-м номере «Нового мира» появилась публикация «Из литовских поэтов», в 3-м номере — рубрика «Эстонская новелла», представлявшая три новеллы трех эстонских писателей. В 1949 году традиция продолжится: во 2-м номере видим подборку «Из белорусских поэтов», в 4-м номере — «Из таджикских поэтов», в 5-м номере — «Из казахских поэтов». Таким образом, именно восточноевропейские литературы породили всеобщую практику советских журналов: подборки стихотворений из разных советских литератур. Не исключено, что практика подобных публикаций из литератур Восточной Европы была приостановлена потому, что подборки стихов стали фирменным знаком литератур советской империи. Поскольку Восточная Европа формально в СССР не вошла, требовалось на уровне литературного ритуала отделить советские литературы от «союзнических». Показательно, что очередная подборка «Из эстонских поэтов» (Октябрь. 1950. № 5) открывается гимном Эстонской ССР.

Толстые журналы ищут новые формы представления восточноевропейских литератур. Прежде всего обращают внимание на прозу. В 1-м номере «Знамени» 1948 года публикуется отрывок из повести чешского писателя Сватоплука Т. (Сватоплук Турек) «Богострой» (произведение 1933 года). Перед ним помещено предисловие переводчика Т. Аксель, создающее ныне здравствующему чешскому писателю героический ореол: книгу запретил окружной суд в довоенной Праге, ее изымали из всех книжных магазинов. Повесть показывает истинное лицо фабриканта Бати (о нем до войны много писали путешественники, ездившие в Чехословакию), ставшего изменником, пособником фашистов и заочно осужденного (он сбежал и скрывается теперь где-то в Южной Америке) Верховным судом Чехословацкой республики. Книга показывает, как старая Чехословакия пришла к фашизму. Главная идея отрывка — бесчеловечность капиталистической оптимизации производства. Главный герой, владелец большого завода, не может по-человечески отнестись даже к собственному сыну, потому что принципы оптимизации переносит и в семейную жизнь. В этой же сфере значений следует понимать и повторное обращение «Нового

мира» к творчеству Ю. Фучика. Во 2-м номере за 1948 год под рубрикой «Памяти Юлиуса Фучика» опубликована статья Бориса Лихарева «Голос друга» и произведение Фучика «Рассказ полковника Бобунова о затмении Луны». Мученический ореол Фучика по-новому окрашивал его довоенное творчество. Канонизация Фучика в Чехословакии и в СССР шли рука об руку.

В 6-м и 7-м номерах «Знамени» за 1948 год появилось документальное повествование серба Оскара Давичо «Среди партизан Маркоса» (перевод Н. Толстого). Автор, в прошлом модернист и сюрреалист, попадавший в тюрьму и до, и во время войны за близость к коммунистам, рассказывает о миссии Совета Безопасности ООН, в которой он участвовал в качестве журналиста. Миссия должна была провести переговоры с командующим греческой Демократической армией генералом Маркосом. В результате интриг миссия оказалась почти сорванной. Однако часть миссии (с советским представителем во главе) все-таки выполнила задачу. Основной сюжет репортажей Давичо — развенчание лжи о том, что Маркос и его армия — бандиты. Они честно воевали за свою родину, как и партизаны Тито. Бандитами их пытаются представить те, кто не хочет, чтобы Греция стала социалистической страной. Это другой путь «соцреализации» восточноевропейских литератур: книга репортажей, посвященная ультрасовременной проблематике, близка эстетике соцреализма и тематически, и структурно. Югославский автор выступает в качестве стороннего арбитра в борьбе Советов и Запада за Грецию — воздерживаясь от громких заявлений и деклараций, он просто и последовательно разоблачает идеологическую ложь, направленную против партизанской армии соседа.

Однако переход к прозе был все же недолгим. Проза занимает много журнального места, а также требует внимательного чтения редактором при отборе (процент соцреалистичности текста и его идейная правильность могут показаться недостаточными Верховному Редактору) и определенных усилий читателей журнала. Стихотворения или их подборка удобнее технически, сильнее с точки зрения эмоционального воздействия и несколько безопаснее с точки зрения возможных идейных ошибок, ибо процент метафоричности в поэзии выше.

В середине 1949 года «Октябрь» вновь печатает стихотворение восточноевропейского поэта — венгра Анатоля (Антала) Гидаша, обосновавшегося в СССР³. Как обычно, с венгерского перевел стихи Л. Мартынов. Большое стихотворение называется «Путь к спасению» и направлено против одноименной книги «американского мракобеса» Вильяма Фогта, посвященной перенаселенности земного шара и рецептам по уничтожению части человечества. Стихотворение сюжетно, в нем есть герой — человек прогрессивного сознания. Он читает книгу, затем засыпает и видит несколько снов. Первый из них — эксплуатируемое население Америки. Оно берется за лопаты и роет могилу войне. Второй сон — армия мира, готовая к походу против войны:

...Я видел народные волны,
Вскипающие непокорно.
И вихрь очистительный неся
С Аляски до мыса Горна

[Гидаш 1949: 107].

3 Он вернется в Венгрию только в 1959 году. В СССР он и его жена, дочь Белы Куна, считались главными экспертами по венгерской культуре.

Наконец, третий сон — это видение Москвы с сияющими улицами, в которых слышен единый ответ:

— Нет, нет! Мы войны не допустим!
[Гидаш 1949: 108].

Поэт просыпается, садится за стол, и перо его бежит по бумаге с молодым задором.

Стихотворение удовлетворяет всем традициям соцреализма: оно публицистично, вызвано к жизни политической книгой, агитационно, использует поэтическую форму исключительно для усиления пропагандистской идеи. «Октябрь», привлекая к только что разворачивающейся борьбе за мир венгерского поэта-эмигранта, уловил общую тенденцию: в борьбе за мир на страницах советских журналов должны участвовать поэты самых разных национальностей (буквально на следующей странице журнала опубликовано стихотворение А. Жарова «База мира», в котором строки военного устава прямо перелагаются в стихи: «У мира / Есть крепкая база опорная: / Советским Союзом зовется она» [Жаров 1949]). Но не учел одного — количественного фактора соцреализма, который, например, В.Е. Максимов определяет так: «Если ты напишешь, к примеру, колхозницу, у которой в руках будет хоть одна картофелина, то, будь ты хоть суперреалистом, тебя обвинят в формализме. А вот если ты напишешь ее с мешком картошки, а еще лучше с двумя, то <...> тебе государственная премия обеспечена» [Максимов 1992: 180].

«Новый мир» практически в это же время реализует эту идею с присущей соцреализму грандиозностью. В 7-м номере 1949 года публикуется подборка «И песня и стих — это бомба и знамя (В. Маяковский)». (Поэзия народов в борьбе за мир и демократию против поджигателей войны)». В ней в алфавитном порядке представлены поэты разных стран с их произведениями в защиту мира. В числе прочих Бразилия (Жоржи Амаду), Турция (Назым Хикмет), Франция (Луи Арагон), Чили (Пабло Неруда). Среди борющихся за мир поэтов оказываются представители Германии, Греции, Западной Африки, Индии, Испании, Италии, Китая и даже США. Важную роль в этом хоре исполняют поэты стран народной демократии. Естественно, представлены все государства Восточной Европы. Первой (по алфавиту) идет Албания, последней Чехословакия. Так при помощи алфавитного порядка (вызванного обилием участников поэтического диалога) окончательно решается (начатый еще Эренбургом в «Дорогах Европы») спор о том, какая из новых социалистических стран важнее в культурном плане. Согласно уже выработанной «Новым миром» традиции, каждому поэту предпослан краткий биографический очерк, в котором помимо традиционных заслуг в области культуры и освободительного движения появляются справки о том, насколько поэт ценит русскую культуру. Например, об албанском поэте сообщается, что он недавно перевел поэму Пушкина «Медный всадник», а о представителе Польши — что он переводил стихи Маяковского и других советских поэтов. Тематика стихотворений довольно разнообразна, она не должна быть напрямую связана с борьбой за мир. В принципе, само участие поэта в подборке есть уже символический знак поддержки усилий Советского Союза.

Первым идет Лазарь Силичи (Албания) со стихотворением «Дорога к счастью» (пер. Вл. Прибыткова). В нем рассказывается о бедной албанской женщине, которая раньше никогда не ждала от нового года хорошего. Потом с гор

спускаются партизаны, среди них ее муж и ее сын. Муж рассказывает о героических боях, а сын ведет другие речи — о восстановлении страны. Показательны уточняющие сноски к поэтическим строчкам: сын говорит о «Реке жизни», которая потекла рядом с их селом (так называется новая шоссе́нная дорога, построенная в 1946 году молодежью); о «Новых поездах» (это название железной дороги — молодежной стройки 1947 года), которые мчатся через горы [Силичи 1949: 6]. Мать прислушивается к речам сына, она теперь знает: с гор приходит не холодный ветер, а свобода.

Албанский поэт демонстрирует большие успехи в освоении публицистической поэзии, представляющей события последних лет в виде рифмованного конспекта. Простота употребляемой лексики (почти все слова использованы в словарном значении, едва ли не единственные метафоры — названия построенных дорог) работает так же, как в военной поэзии К. Симонова: открывает простые чувства простого человека. Оптимистический финал, снимая недоверие к будущему, которое с начала стихотворения испытывала героиня, вполне укладывается в рамки соцреалистической поэтики.

Второй восточноевропейский текст — болгарский. Это стихотворение Людмила Стоянова (не раз упомянутого в обзорах болгарской литературы в качестве живого классика) «Русскому народу» (пер. В. Потаповой). Стихотворение с большой длиной строки (пятистопный дактиль) призвано служить выражению внушительных сентенций:

В дни потрясений суровых о нашем народе
Издавна думает русский великий народ
[Стоянов 1949: 7].

Поэт вспоминает Плевну и Шипку, подробно останавливается на всенародной благодарности XIX века, совсем не вспоминает о временах Первой мировой (когда Болгария оказалась в антироссийском лагере, несмотря на Шипку и Плевну) и сразу переходит к современности: братья с серпом и молотом на знаменах вновь пришли на помощь болгарскому народу. Алые звезды, горящие над Кремлем, освещают не только Болгарию, но и весь мир светом правды:

Русскую правду познав, прозревают народы,
С ней возмужала и выросла наша страна
[Там же].

Многозначительное словосочетание «русская правда» напоминает о национальном повороте официальной советской идеологии. В советской литературе последних военных лет и конца 1940-х повторяется мысль о том, что Россия неспроста стала строить социализм первой: к этому привел весь ход ее истории. Таким образом, стихотворение Стоянова представляет сразу три основополагающие идеологемы сталинской эпохи: декларирует вечную дружбу Болгарии с Россией, ставит знак равенства между СССР и исторической Россией, а также подчеркивает лидерство СССР в мировом развитии.

Венгрию представляет Золтан Зелк (пер. Л. Мартынова). Его стихотворение — едва ли не самое простое и изысканное в подборке. Оно строится на лейтмотивном вопросе ребенка: «А будет новая война?» — и последовательных ответах взрослого: если мы не позволим, ее не будет. К этому добавляется идея возрождения страны, которая сама по себе противостоит идее войны. Финал таков:

— А будет новая война?
— Строй родину! Растет она!
Родимый край
Оберегай,
Свой разум, руку укрепи —
Удержишь зверя на цепи!
[Зелк 1949: 12].

Из польских поэтов взят Владислав Броневский, поэт сложной судьбы, в 1920-е годы торжественно встречавший в Варшаве советских литераторов (Маяковского, Сейфуллину и др.), затем прошедший советскую тюрьму, но освобожденный оттуда и воевавший на стороне СССР. Он вернулся в Польшу в 1946 году, по-видимому не без колебаний. Начало стихотворения «Песня» (пер. М. Живова) звучит несколько двусмысленно — напоминание о довоенной Варшаве сменяют картины сегодняшней Варшавы, полностью разрушенной:

Ты помнишь ли облик Варшавы
В бессмертном сиянии дня <...>
Сегодня она среди руин
Стоит, как побед воплощенье!
[Броневский 1949].

В этом можно усмотреть и иронию по поводу победы «белопанской» Польши, и напоминание, к чему привела Варшаву милитаризация, но и упрек Советской армии, не спасшей Варшаву от разрушения. Однако, едва появившись, двусмысленность снимается традиционной соцреалистической антитезой: восстановленная рабочая Лодзь возрождается в радостном труде.

Поэт из Румынии Раду Боуряну создает стихотворение без всяких двусмысленностей — с заглавием «Встанем стеной!» (пер. Я. Смелякова). Это очередные газетные лозунги, переложенные в рифмованные строчки. Первая часть стихотворения — напоминание о том, как артиллерийские орудия стреляли по детям. Возможные ассоциации с Великой Отечественной войной снимаются упоминанием Вьетнама и Греции, это обвинение сегодняшним фашистам. Вторая часть стихотворения — призыв ко всем людям труда встать стеной, закрыв детей собою. Метафорические значения разворачиваются, сохраняя в качестве стержня первоначальную метафору: строителям предлагается выстроить защитную стену «из дружбы серпов и марتنенов» [Боуряну 1949].

От Чехословакии выступает Франтишек Грубин с текстом «Честь труду!» (отрывок из поэмы «Ночь Иова»; пер. Д. Самойлова). В нем, как и у польского поэта Броневского, лейтмотивом становится военное разрушение:

Ах, Чехия, моя страна!
Ты как картина в старой раме.
Не раз кровавыми руками
твой дивный холст рвала война,
и краски сыпались. Но мастер
вновь ладил холст, чтобы всем видна
была краса твоя и счастье
[Грубин 1949: 44].

В этой яркой строфе собраны все традиционные идеологемы, описывавшие Чехословакию и до, и после войны: великая страна мастеров, умеющая работать без остановки, невероятно красивая и, к сожалению, расположенная в центре Европы, на пути всех завоевателей. Однако поэтические таланты автора и переводчика сделали из набора идеологем глубокое поэтическое иносказание — претворили идеологию в поэзию.

Правда, поэтического вдохновения автора и переводчика хватило лишь на начальную (и повторенную еще раз в середине отрывка), самую важную строфу. Далее шел традиционный гимн труду с разворачивающимися в бесконечность лозунгами о том, как страну отстраивают на века и как важен каждый в общем деле. Чехословацкое стихотворение замыкало восточноевропейские стихи, но за ним еще шли стихи из Чили.

Эта большая публикация вывела подборки стихотворений на новый этап. Отныне они представляли всемирную литературу, которую — в прямом смысле — возглавила и вела в бой за мир советская литература. Литературы Восточной Европы составляли костяк борющихся литератур и, можно сказать, имели свою собственную секцию в содружестве соцреалистических поэтов.

В 12-м номере 1949 года найденная форма грандиозного поэтического фoрyма закрепится окончательно. Вся книжка журнала посвящена событию все-ленского масштаба — 70-летию товарища Сталина. Первые сорок страниц номера занимает поэтическое поздравление вождю: «Вождю народов И.В. Сталина в день его семидесятилетия. Стихи поэтов шестнадцати Советских республик и стран народной демократии». Вновь, с соблюдением алфавитного порядка (вслед за стихами от каждой республики Советов), идут стихи от каждой из союзных стран. Среди них Алекс Чачи (Албания), Людмил Стоянов (Болгария), Реткеш Арпад (Венгрия), Георгий Майореску (Румыния), Ольдржих Земек (Чехословакия).

Эта грандиозная коллективная поэтическая форма (наподобие разбухшего венка сонетов) и станет главным достижением советских толстых журналов на пути приручения литератур стран народной демократии. На этом фоне все традиционные формы представления восточноевропейских литератур (см. запоздавшую публикацию в 1-м номере «Знамени» за 1950 год эпилога поэмы чеха Ст. Нейманна в переводе М. Алигер «Песня о Сталине») кажутся старомодными и провинциальными. Впрочем, именно в этом тексте афористично закреплена главная восточноевропейская идеологема, касающаяся вождя народов: он хранитель каждой страны Восточной Европы, государственной и национальной самостоятельности.

Люблю свою страну и присягаю в этом, —
и потому я Сталина пою

[Нейманн 1950: 87].

Любовь к своей стране и любовь к Сталину — это одно и то же, как партия и Ленин.

Старые, проверенные формы презентации «Новый мир» тоже использует в новой функции. Во 2-м номере за 1950 год напечатана подборка стихотворений «Поэзия венгерского народа» с предисловием уже знакомого нам Анатолия Гидаша «Певцы мира и демократии». Славянская тема отступает перед глобальной идеей борьбы за мир, это позволяет познакомить читателей с (неславянской) венгерской поэзией. В подборке участвуют уже печатавшийся в журнале Золтан

Стихотворный текст, как уже бывало, работает в паре с текстом публицистическим. В том же номере в рубрике «Публицистика» появляется статья «Югославия под властью фашистской клики (по материалам газет югославских революционных политэмигрантов)». Созданное стихотворением настроение подкрепляется подробным рассказом о фашиствующих руководителях страны, статья же усилена рифмованными строчками в переводе большого советского поэта.

Такова же и реакция на восточные события. Статьи о китайской революции печатаются в журналах регулярно начиная с 1948 года. В 1949 году (год провозглашения КНР) количество статей увеличивается, их тон становится торжествующим. В 1950 году в одном номере журнала может появиться сразу несколько статей о Китае и его культуре (Октябрь. 1950. № 3), а также, по проверенной схеме, подборка из стихотворений китайских поэтов (Новый мир. 1950. № 9), или стихи о Китае советского поэта Николая Глазкова (Октябрь. 1950. № 2), или проза о Китае Константина Симонова (Знамя. 1950. № 7). В 1950 году война перекидывается в Корею. И тут, опережая советских поэтов, раздаётся голос поэта из Восточной Европы. Болгарин Младен Исаев печатает в 8-м номере «Знамени» стихи «Корея» (пер. С. Михалкова):

Били с юга на север врага батареи.
В берегах закипела река Туманган.
Поднялась на защиту свободы Корея,
Зашумела, как Тихий большой океан
[Исаев 1950].

Начало стихотворения — проекция сочиненного корейской пропагандой *casus belli* (утверждалось, что войну начала Южная Корея) на отвлеченно-эпическую (фольклорного происхождения) картину возмущившейся природы. Далее следует зарифмовать имя корейского вождя и, по традиции, строчки боевого устава:

К фронтовой, к боевой, к наступательной линии
Уезжают бойцы — их ведет Ким Ир Сен.
Провожают солдат горы Севера синие
Да июльский победный расплавленный день
[Исаев 1950].

И, наконец, финал — с уверенностью в победе (здесь рифмуется узнаваемо-американская фамилия Дугласа Макартура, командующего военным контингентом США в Японии, который принял участие в конфликте):

Все народы глядят на корейскую карту,
На бессмертную храбрость в далеком краю.
Зря в Корею солдат посылает Макартур:
Там в огне они гибель отыщут свою!
[Исаев 1950].

«Корейская карта» — словосочетание с двойным дном (прием, уже применявшийся авторами из Восточной Европы и их переводчиками на русский язык): с одной стороны, это географическая карта, с другой — фразеологизм «разыгрывать корейскую карту» означает завуалированное участие в войне других игроков мировой политики. Болгарский поэт в данном случае выполняет ту же функцию «сторонней реакции» на беззаконие, что и МИДы стран народной

демократии, выступившие с осуждением вмешательства в конфликт американских и британских войск под эгидой ООН. Для публицистического прикрытия, как обычно, в том же номере журнала (рубрика «Публицистика») напечатана статья А. Сахнина «Корейский народ победит». Показательно, что в деле литературной поддержки Северной Кореи болгарский поэт опережает советского: только в 10-м номере «Знамени» Николай Грибачев опубликует «Стихи о Корее».

Включение литератур Востока в контекст советской литературы заняло несколько лет. С одной стороны, велись поиски наиболее приемлемых авторов (например, А. Гидаш не слишком подошел журналам в качестве «голоса из Венгрии» — быстро определилось его место знатока и автора предисловий), с другой — на практике определялись формы включения иноязычных литератур стран-союзниц в советский толстый журнал. В символическом плане, попадая в московский толстый журнал, литературы стран Востока становились частью советской литературы и служили неопровержимым доказательством ее широкой экспансии и вождизма. Соцреализм при этом был не просто главным культурным товаром, идущим на экспорт, но и средством политизации литературного мышления. Журналы поздней сталинской эпохи демонстрируют небывалое сращение искусства, идеологии и политики. Художественные тексты, по сути, превращаются в иллюстрации к статьям о международном положении, а статьи, в свою очередь, — в комментарии к стихотворениям.

Сам сюжет произведения — стихотворения или короткой прозы — все менее играет роль в презентации союзных литератур. Единственное требование к сюжету — «правильность» (которая во многом задается самой темой публикации), само же содержание, по большому счету, формально. По сути, знакомство советского читателя с иными литературами сводится исключительно к списку имен прогрессивных писателей и поэтов. Авторы, предоставившие свои имена советскому толстому журналу, самим этим фактом превращаются в соцреалистов. Не в прогрессивных литераторов, сочувствующих соцреализму или сближающихся с ним, а в дипломированных специалистов, успешно сдавших экзамен на соцреализм.

Для авторов из Востока советский толстый журнал был воротами в мировую известность. Можно предположить, что многие из широко известных в собственных странах писателей и поэтов были готовы сотрудничать с «Новым миром» и «Октябрем», исходя из рекламной значимости публикации в СССР. Политический конформизм, сознательный или бессознательный, мог восприниматься авторами и как сближение с путями развития русской литературы, и как дань уважения стране-освободительнице, и как плата за расширение читательского круга. Молодые писатели и поэты, вероятно, усматривали в советской публикации возможность ускорить карьеру в своей собственной стране. И для молодых, и для заслуженных соцреализм представлял новые правила игры, которые не могут не вызвать интерес, хотя бы спортивный. Таким образом, экспорт соцреализма в страны Востока проходил вполне успешно. Реэкспорт тоже проходил успешно, ибо задача восточноевропейских литераторов заключалась в максимально возможном подражании советскому соцреализму. Проблемы с тем, что восточноевропейские литературы не так развивают соцреализм, как хотело бы начальство в Москве, начнутся позднее.

Библиография / References

- [Алибали 1947a] — *Алибали Ю.* Албанская литература // Новый мир. 1947. № 2. С. 106—111.
- (*Alibali Ju.* Albanskaja literature // Novyj mir. 1947. № 2. P. 106—111.)
- [Алибали 1947b] — *Алибали Ю.* Рам Сула // Новый мир. 1947. № 2. С. 100—106.
- (*Alibali Ju.* Ram Sula // Novyj mir. 1947. № 2. P. 100—106.)
- [Анисимов 1946] — *Анисимов И.* Культура в новой Болгарии // Октябрь. 1946. № 5. С. 163—171.
- (*Anisimov I.* Kultura v novoj Bolgarii // Oktjabr'. 1946. № 5. P. 163—171.)
- [Боуряну 1949] — *Боуряну Р.* Встанем стеной! // Новый мир. 1949. № 7. С. 33.
- (*Boureanu R.* Vstanem stenoi! // Novyj mir. 1949. № 7. P. 33.)
- [Броневский 1949] — *Броневский В.* Песня // Новый мир. 1949. № 7. С. 31.
- (*Bronewsky W.* Pesnja // Novyj mir. 1949. № 7. P. 31.)
- [Гидаш 1949] — *Гидаш А.* Путь к спасенью. Стихи // Октябрь. 1949. № 8. С. 105—108.
- (*Gidash A.* Put' r spaseniju. Stihi // Oktjabr'. 1949. № 8. P. 105—108.)
- [Гира 1940] — *Гира Л.* Братьям латышам / Пер. с литовского Н. Вольпиной // Новый мир. 1940. № 9. С. 3.
- (*Gira L.* Bratjam latysham // Novyj mir. 1940. № 9. P. 3.)
- [Грубин 1949] — *Грубин Ф.* Честь труду! // Новый мир. 1949. № 7. С. 44—45.
- (*Hrubin F.* Chest' trudu! // Novyj mir. 1949. № 7. P. 44—45.)
- [Дацюк 1947] — *Дацюк Б.* Судьбы славянского единства // Знамя. 1947. № 1. С. 117—129.
- (*Datsjuk B.* Sud'by slavjanskogo edinstva // Znamja. 1947. № 1. P. 117—129.)
- [Дементьев, Наумов, Плоткин 1951] — *Дементьев А., Наумов Е., Плоткин Л.* Русская советская литература. Л.; М.: Гос. уч.-пед. изд-во Министерства просвещения РСФСР, Лен. отд., 1951.
- (*Dementjev A., Naumov E., Plotkin L.* Russkaja sovetskaja literatura. Leningrad; Moscow, 1951.)
- [Жаров 1949] — *Жаров А.* База мира // Октябрь. 1949. № 8. С. 109.
- (*Zharov A.* Baza mira // Oktjabr'. 1949. № 8. P. 109.)
- [Зелк 1949] — *Зелк З.* Диалог // Новый мир. 1949. № 7. С. 11—12.
- (*Zelk Z.* Dialog // Novyj mir. 1949. № 7. P. 11—12.)
- [Зелк 1950] — *Зелк З.* У могилы советского солдата // Новый мир. 1950. № 2. С. 162.
- (*Zelk Z.* U mogily neizvestnogo soldata // Novyj mir. 1950. № 2. P. 162.)
- [Из славянских поэтов 1947] — Из славянских поэтов // Новый мир. 1947. № 4. С. 120—123.
- (Iz slavjanskih poetov // Novyj mir. 1947. № 4. P. 120—123.)
- [Из чешских поэтов 1939] — Из чешских поэтов / Пер. с чешского Влад. Нейштадт // Новый мир. 1939. № 5. С. 95—96.
- (Iz cheshskih poetov // Novyj mir. 1939. № 5. P. 95—96.)
- [Исаев 1950] — *Исаев М.* Корея // Знамя. 1950. № 8. С. 110.
- (*Isaev M.* Korea // Znamja. 1950. № 8. P. 110.)
- [Капоши 1950] — *Капоши Ф.* На деревянном блюде // Новый мир. 1950. № 2. С. 168.
- (*Kaposi F.* Na derevjannom bljude // Novyj mir. 1950. № 2. P. 168.)
- [Константиновский 1948] — *Константиновский И.* Новая Румыния // Октябрь. 1948. № 9. С. 161—175.
- (*Konstantinovskij I.* Novaja Rumynia // Oktjabr'. 1948. № 9. P. 161—175.)
- [Кущка 1950] — *Кущка П.* Рукопожатье // Новый мир. 1950. № 2. С. 165.
- (*Kuczka P.* Rukopozhatje // Novyj mir. 1950. № 2. P. 165.)
- [Максимов 1992] — *Максимов В.Е.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М.: Изд. центр Терра, 1992.
- (*Maximov V.E.* Works: In 8 vols. Vol. 5. Moscow, 1992.)
- [Нейманн 1950] — *Нейманн Ст.* Песня о Сталине // Знамя. 1950. № 1. С. 86—87.
- (*Neumann St.* Pesnja o Staline // Znamja. 1950. № 1. P. 86—87.)
- [Силичи 1949] — *Силичи Л.* Дорога к счастью // Новый мир. 1949. № 7. С. 5—6.
- (*Silichi L.* Doroga k schastju // Novyj mir. 1949. № 7. P. 5—6.)
- [Стийенский 1950] — *Стийенский П.* Отчизне // Знамя. 1950. № 5. С. 136.
- (*Stijenski P.* Otcizne // Znamja. 1950. № 5. P. 136.)
- [Стоянов 1949] — *Стоянов Л.* Русскому народу // Новый мир. 1949. № 7. С. 7—8.
- (*Stojanov L.* Russkomu narodu // Novyj mir. 1949. № 7. P. 7—8.)
- [Тепси 1946] — *Тепси Н.* Павел Корчагин за рубежом. К десятилетию со дня смерти Н.А. Островского // Новый мир. 1946. № 12. С. 257—262.
- (*Tepsi N.* Pavel Korchagin za rubezhom. K desjatiletiju so dnja smerti N.A. Ostrovskogo // Novyj mir. 1946. № 12. P. 257—262.)
- [Фадеев 1946] — *Фадеев А.* О традициях славянской литературы // Новый мир. 1946. № 12. С. 211—215.
- (*Fadeev A.* O tradicijah slavjanskoj literatury // Novyj mir. 1946. № 12. P. 211—215.)
- [Фучик 1946] — *Фучик Ю.* Репортаж с петлей на шею // Новый мир. 1946. № 12. С. 99—138.
- (*Fučik J.* Reportazh s petlej na shee // Novyj mir. 1946. № 12. P. 99—138.)
- [Эренбург 1946] — *Эренбург И.* Дороги Европы. М.: Сов. писатель, 1946.
- (*Erenburg I.* Dorogi Evropy. Mocsow, 1946.)

Имперская бюрократия и модели национальной идентичности

Кирилл Соловьев

Бюрократия versus бюрократия:

ПАРАДОКСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
В РОССИИ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

Kirill Solovyov

Bureaucracy vs. Bureaucracy: Paradoxes of Government Service
in Late Nineteenth-century/Early Twentieth-century Russia

Кирилл Соловьев (ИРИ РАН; ведущий научный сотрудник; доктор исторических наук) kirillsol22@yandex.ru.

Ключевые слова: бюрократия, политическая система, революция, конституционализм

УДК: 93/94

Статья посвящена взглядам чиновничества на бюрократическую империю, которую, казалось бы, они и представляли. Государственная служба в России конца XIX—XX вв. привлекала наиболее способных и амбициозных молодых людей. При этом они могли быть самых разных взглядов и убеждений. В ряде случаев они могли быть и вовсе аполитичными. Тем не менее чиновники оставались частью российского общества. Их социальный и интеллектуальный опыт чаще всего был тот же, что и у представителей оппозиции. В стабильном положении преданность бюрократов престолу не вызывала сомнения. В условиях же выбора Первой русской революции их поведение часто становилось непредсказуемым. Нередко чиновники выступали против бюрократической системы управления Российской империей. Они были убеждены в ее неэффективности и требовали серьезных перемен. Эта бюрократия, вполне квалифицированная и хорошо подготовленная для решения задач текущего управления страной, была «ахиллесовой пятой» существовавшего режима.

Kirill Solovyov (Institute of Russian history of Russian Academy of Sciences; senior research fellow; Dr. habil.) kirillsol22@yandex.ru.

Key words: bureaucracy, political system, revolution, constitutionalism

UDC: 93/94

The article addresses the views of civil servants of the bureaucratic empire which, it would seem, they represented. State service in late nineteenth — early twentieth-century Russia attracted the most capable and ambitious young people. Meanwhile, these individuals could be of extremely varied views and convictions. In many cases they could even be entirely apolitical. Nevertheless, civil servants remained a part of Russian society. Their social and intellectual experience was often identical to that of members of the opposition. Under stable conditions, there was no question of the bureaucrats' devotion to the monarchy. With the appearance of the choice of the First Russian Revolution, however, their behavior often became unpredictable. Civil servants often spoke out against the Russian Empire's bureaucratic system of government. They were convinced of its ineffectiveness and demanded serious changes. This bureaucracy, which was fully qualified and well prepared for the tasks of running the country, was the 'Achilles heel' of the ongoing existence of the regime.

«С самого начала царствования [Николая II] выявилась неизбежность конфликта между теми двумя силами — правительством и общественностью, — под знаком взаимной борьбы которых прошла большая часть царствования Николая II», — писал уже в эмиграции бывший видный государственный деятель Российской империи В.И. Гурко [Гурко 2000: 35]. Это мнение не отличается оригинальностью. Мысль о непримиримом противостоянии власти и общества в России в XIX в. и сейчас представляется аксиоматичной. Слова Гурко могли бы быть произнесены представителем оппозиции. Историк, член партии кадетов (а значит, и оппозиционер) А.А. Кизеветтер емко сформулировал проблему, описанную Гурко, — есть «мы», а есть «они», имея в виду роковой для России антагонизм общественности и господствовавшей бюрократии в начале XX столетия. Правда, на практике не всегда ясно, кто — «мы», а кто — «они». В качестве примера можно привести семью князей Трубецких, братьев Сергея и Евгения, двух известных философов, общественных деятелей, членов кружка «Беседа», представителей земского движения. Их сводный брат П.Н. Трубецкой был предводителем дворянства Московской губернии. Московский губернатор Г.И. Кристи был женат на их сестре М.Н. Трубецкой. Московский обер-полицмейстер, а затем петербургский генерал-губернатор Д.Ф. Трепов также породнился с семьей Трубецких, выдав свою дочь за племянника князей Сергея и Евгения П.В. Глебова. Их двоюродный брат А.А. Лопухин был директором Департамента полиции. А.Д. Оболенский, товарищ министра внутренних дел (1897—1901), с 1902 г. товарищ министра финансов, а впоследствии (с 1905 г.) обер-прокурор Синода, был двоюродным братом их матери [Трубецкая 1937: 284]. Впрочем, и сам процитированный выше В.И. Гурко, будучи отстранен от государственной деятельности, стал видным представителем Тверского земства (а следовательно, общественности), членом Государственного совета и в 1915 г. вошел в Прогрессивный блок, пополнив ряды оппозиции.

Обычно по умолчанию подразумевается, что бюрократия — естественная основа режима. В бюрократической империи особая роль чиновничества не может ставиться под сомнение. Правда, порой сами государственные служащие ситуацию оценивали иначе и себя с существовавшим политическим строем никак не ассоциировали. Это касалось даже тех высокопоставленных чиновников, которых трудно было заподозрить в нелояльности власти. «Я сторонник земских учреждений и убежден, что никакой государственный строй немислим без привлечения общества к местному самоуправлению, — утверждал министр внутренних дел В.К. Плеве. — Я не признаю возможным управлять страной при посредстве армии чиновников и не признаю, чтобы земские учреждения противоречили нашему государственному строю». По мнению министра, земству только не стоило вмешиваться в политику, а надо было ограничиться местными делами [Шипов 2007: 197]. По словам М.В. Челнокова, Плеве порицал бюрократию, как бы не относя себя к ее числу: «Странные люди — эти чиновники. Они никак не могут понять, что нужно очень и очень ценить в людях охоту работать, любовь к своему делу... Мы здесь обязаны относиться к работе местных людей благожелательно, с вниманием и уважением. Наши чиновники все уповают на инструкции. Можно написать 100 инструкций и приказов, и все это останется мертвой буквой»¹.

1 Письмо М.В. Челнокова Д.Н. Шипову от 20 января 1903 г. // ОР РГБ. Ф. 440. Карт. 6. Д. 54. Л. 21—22.

Подобный антибюрократизм был весьма характерен для российской бюрократии. Еще в 1861 г. другой министр внутренних дел, П.А. Валуев, писал с нескрываемым раздражением о «классе пролетариев» среди «чиновного сословия» [Судьбы России 2007: 134]. Спустя два десятилетия государственный секретарь А.А. Половцов с презрением говорил о «канцелярских пролетариях» [Половцов 2005b: 461]. Последствия их доминирования в царствование Александра III рисовались в воображении государственного секретаря в самых мрачных красках: «В это провозглашающее девизом восстановление дворянства царствование все плотнее и плотнее сколачивается кучка поповичей, семинаристов, жадных проходимцев, которые морочат бедного владыку и добиваются разорения всего, что выше, добиваются неприкосновенности диких стадных форм существования серой толпы, не желая знать ни истории, ни политической экономии, ни какой бы то ни было науки, развивающей, совершенствующей дух человеческий, ставят идеалом русской политической жизни мнимую самобытность, выражающуюся поклонением самовару, квасу, лаптям и презрением ко всему, что выработала жизнь других народов. Идя по этому пути, разыгрывается травля против всего, что не имеет великорусского образа: немцы, поляки, финны, евреи, мусульмане объявляются врагами России, без всяких шансов на примирение и на совместный труд» [Там же: 477–478].

Впрочем, в конце XIX в. Половцов был отнюдь не единственным противником бюрократии среди представителей «высших сфер». Сам Александр III побаивался назначать на высокие посты «чиновников» — лиц несамостоятельных, лишенных каких-либо убеждений (см.: [Там же: 489]). В прошлом начальник III отделения Собственной его императорского величества канцелярии граф П.А. Шувалов в 1880-е гг. обвинял министра внутренних дел Д.А. Толстого в «узкобюрократическом» взгляде на вещи [Половцов 2005а: 138]. Беспощадным критиком чиновничества был К.П. Победоносцев. В письме к С.Ю. Витте от 26 марта 1898 г. он отмечал, что бюрократия еще с 1860-х гг. утратила всякий интерес к социальным вопросам, полагая, что ситуацию можно улучшить, преобразовывая лишь систему управления: «Со времени самого освобождения крестьян правительство как бы забыло о народе, положившись на то, что для него все сделано дарованием ему свободы. А народ стал нищать и падать. Потом, когда уже ясно стало, что с нищетою хаос бесправия водворяется в деревне, принялись, увы, только за мысль обуздать народ. И создано учреждение земских начальников с мыслью обуздать народ посредством дворян, забыв, что дворяне одинаково со всем народом подлежат обузданию» [Переписка С.Ю. Витте и К.П. Победоносцева: 101].

Высокопоставленные чиновники подозревали чиновничество в нелояльности существующему государственному строю. В частности, Валуев писал: «На безусловную исполнительность и преданность значительнейшей части служащих чиновников нельзя полагаться. Одни вообще не представляют коренных условий благонадежности, другие имеют притязания не руководствоваться указаниями высших правительственных инстанций, но руководить ими в духе так называемого “современного направления”»; еще другие уже глубоко проникнуты теми идеями, которые ныне волнуют часть литературы и молодое поколение, и суть тайные враги, скрывающиеся в общем строе администрации; наконец, большинство признает над собой, кроме начальственной власти, власть общественного мнения и потому часто повинуется условно, исполняет нерешительно и вообще более озабочено будущим, чем настоящим» [Записка

П.А. Валуева: 34]. Спустя 20 лет, в 1881 г., министр внутренних дел Н.П. Игнатьев жаловался императору на «чиновничью» крамолу. В 1883 г. К.П. Победоносцев возмущался: «Болит моя душа, когда вижу и слышу, что люди, власть имущие, но, видно, не имущие русского разума и русского сердца, шепчутся еще о конституции» (цит. по: [Половцов 2005а: 73]).

Александр III, соглашаясь со своим наставником, подозревал, что в Государственном совете большинство составляли скрытые конституционалисты (см.: [Половцов 2005b: 162]). Впоследствии различные государственные мужи повторяли эту мысль. 1 января 1902 г. военный министр А.Н. Куропаткин записал в дневнике: «Сегодня на выходе во дворце долго разговаривал с Витте. Он мрачно смотрит на настроение общества. Мы ходили по зале, где были собраны члены Государственного совета, министры, сенаторы. Там же стояли офицеры Кавалерийского полка. Показывая на толпу эту рукой, Витте сказал: “Уверю Вас, что все они, за исключением кроме офицеров, думают о конституции в России”»². Видимо, Витте несколько преувеличивал. Тем не менее в его словах была немалая доля истины.

Будущий видный член партии кадетов князь В.А. Оболенский в 1893 г. поступил на государственную службу — в Отдел (с 1894 г. — Департамент) сельской экономики и сельскохозяйственной статистики Министерства земледелия. Там он занял должность младшего редактора, что в других департаментах соответствовало должности столоначальника (иными словами, он практически сразу оказался на «среднем этаже» российской бюрократической иерархии). Именно в эти годы Оболенский сблизился с марксистами, часто встречался с А.Н. Потресовым и П.Б. Струве, подумывал о непосредственном сотрудничестве в социал-демократическом издании [Оболенский 1988: 129—148].

Оболенский был далеко не единственным из чиновников, кто по завершении государственной карьеры оказался в рядах оппозиции. В их числе были и товарищ министра внутренних дел князь С.Д. Урусов, и главноуправляющий землеустройством и земледелием Н.Н. Кутлер. Немалый опыт государственной службы был у историка А.А. Корнилова, который до 1900 г. заведовал крестьянскими делами при иркутском генерал-губернаторе. И.В. Гессен долгое время был чиновником Министерства юстиции. В этом же ведомстве служил и его родственник В.М. Гессен. Б.Э. Нольде возглавлял Второй департамент МИД. Все они впоследствии вошли в партию кадетов или же были близки к ней. Среди видных октябристов (и членов фракции «Союза 17 октября») бывших чиновников было и того больше: это попечитель Казанского, а впоследствии Харьковского учебного округа М.М. Алексеенко, попечитель Харьковского, а затем Санкт-Петербургского учебного округа В.К. Анреп, чиновник особых поручений при финляндском генерал-губернаторе Э.П. Беннигсен, руководитель отдела печати МИД и директор Санкт-Петербургского телеграфного агентства А.А. Гирс, чиновник особых поручений при министре народного просвещения Е.П. Ковалевский, старший инспектор Государственного банка Г.Г. Лерхе, директор и председатель Совета Санкт-Петербургского телеграфного агентства Л.В. Половцев, директор департамента в Министерстве земледелия и государственных имуществ Н.А. Хомяков. Эту же должность (правда, позднее) занимал другой заметный представитель «Союза 17 октяб-

2 РГВИА. Ф. 165. Оп. 1. Д. 1871. Л. 63.

ря», С.И. Шидловский. Упомянем и кутаисского губернатора В.А. Старосельского, который вскоре после отставки вступил в РСДРП.

Это не было случайностью. Партийность бывшего чиновника чаще всего не обозначала радикальной смены взглядов. Напротив, она была своего рода констатацией давно сложившейся политической позиции. 21 февраля 1905 г. Н.Н. Кутлер, уже высокопоставленный бюрократ, но еще не министр, писал брату: «Нам нужна конституция, а не добавление к Государственному совету совещательного установления от выборных людей. Я пришел к этому заключению медленно и, откровенно сознаюсь, неохотно, не видя в нашем обществе элементов для прочного возведения конституционного строя»³.

Такого рода взгляды были распространены на среднем и нижнем «этажах» российского чиновничества, что ставило под сомнение его надежность как инструмента управления. По словам товарища министра внутренних дел С.Е. Крыжановского, в период выборов в Государственную думу «правительство не могло быть даже уверено, что стоящие у избирательных ящиков должностные лица не будут действовать ему во вред» [Крыжановский 2009: 102—103]. В России же местная бюрократия, вопреки воле своего начальства, иногда даже поддерживала оппозицию. Так, во время выборов в Первую Думу некоторые члены избирательных комиссий (а их составляли государственные служащие) вместе с билетами на вход раздавали готовые бюллетени с кадетскими списками кандидатов в выборщики⁴. В ходе выборов во Вторую Думу податные инспекторы Орловской губернии открыто агитировали в пользу конституционных демократов⁵. Аналогичный случай имел место в Ярославской губернии: податной инспектор разъезжал по волостным правлениям и раздавал воззвания партии кадетов, членом которой он состоял. В Саратовской губернии податной инспектор распространял противоправительственные прокламации [Крыжановский 2009: 103].

До 1905 г. о настроениях в чиновничьей среде можно лишь догадываться. Революция создала ситуацию политического выбора, перед которым оказались и бюрократы разного уровня. Тогда с очевидностью и выяснилось, что они в значительной своей части отнюдь не сочувствуют существующему политическому строю. Уже в январе 1905 г. появились кружки, в которые вошли представители самых «высших сфер». Они обсуждали перспективы политической реформы. В один из них вошли будущий обер-прокурор Синода князь А.Д. Оболенский, министр земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолов, начальник Главного управления уделов князь В.С. Кочубей, петербургский губернатор А.Д. Зиновьев и т.д. Участники этого объединения отстаивали славянофильскую политическую программу — иными словами, идею созыва законосовещательного представительства⁶. К апрелю 1905 г. оформился сравнительно многочисленный «Отечественный союз», которому, правда, не хватило отчетливой программы и выстроенной организационной структуры, чтобы стать партией. И в этом объединении тон задавали неославянофилы, призывавшие к коренному обновлению политической системы [Киреев 2010:

3 РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 1978. Л. 1.

4 См.: Переписка чиновников Особого делопроизводства по выборам в Думу с Департаментом полиции // РГИА. Ф. 1327. Оп. 2. 1906. Д. 40. Л. 37.

5 Письма и выписки из писем разных лиц // ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 162. Л. 25.

6 См.: Дневник А.А. Бобринского // РГАДА. Ф. 1412. Оп. 8. Д. 292. Л. 175 об.

47—52]. В союз вошли заметные фигуры: 41 предводитель дворянства (в том числе 8 губернских и 33 уездных предводителя)⁷, а также видные государственные деятели — начальник Земского отдела МВД В.И. Гурко [Киреев 2010: 60], начальник канцелярии МВД Д.Н. Любимов⁸, директор канцелярии МВД по делам дворянства Н.Л. Мордвинов⁹, директор Департамента личного состава МВД А.И. Буксгевден¹⁰, бывший товарищ министра внутренних дел А.С. Стишинский¹¹. В объединение вошло 8 сенаторов¹², 15 военных в звании генерала¹³ (примечательно, что, судя по сохранившимся анкетам, всего в «Отечественный союз» входило около 350 чел.¹⁴). Иными словами, многие представители высшей бюрократии вполне откровенно заявили о своем неприятии сложившегося положения вещей и стали требовать серьезных политических преобразований. Они же оказывали непосредственное влияние на императора. Следуя советам флигель-адъютантов А.Ф. Гейдена и Н.Д. Оболенского, Николай II дал аудиенцию представителям *нелегально* созданного земского съезда (6 июня 1905 г.) [Богданович 1990: 356].

Впрочем, и среди чиновников оказались лица более консервативных взглядов, которые также почувствовали необходимость объединиться. Зимой—весной 1905 г. с известной регулярностью проводились совещания на квартирах членов Государственного совета Б.В. Штюмера и С.А. Толя¹⁵, председателя особых совещаний об охране государственного порядка и по вопросам веротерпимости А.П. Игнатьева¹⁶. Высшая бюрократия включилась в разворачивавшуюся общественную дискуссию. Подобно обществу, чиновничество раскололось на части, представители которых видели будущее России по-разному.

Их взгляд мог разительно отличаться от того, что ожидали от них представители консервативной общественности. В этой связи весьма характерно настроение директора Департамента общих дел МВД А.Д. Арбузова в 1905 г.: «Жеденев, чиновник переселенческого отдела, пришел к Арбузову, который исправляет должность директора Департамента общих дел, просить другого назначения. Арбузов спросил его, какое у него направление? Жеденев отвечал, что находит, что необходима крепкая власть для водворения порядка. Арбузов на это сказал: “23 года проявлялась эта крепкая власть, и вот что из нее вышло — беспорядок, который теперь мы переживаем. Нет, таких, как вы, нам не надо”» [Богданович 1990: 347]. Примерно тогда же товарищ министра внутренних дел Э.А. Ватаци 6 апреля 1905 г. писал своему бывшему начальнику П.Д. Святополк-Мирскому, за полгода до этого поднявшему вопрос о необхо-

7 См.: Анкеты членов «Отечественного союза» // РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2. Д. 276. Л. 12, 22, 27, 31, 34—36, 49, 50, 53—55, 58, 66, 69, 72, 74, 94, 105—109, 114, 117—118, 122, 124—125, 127—128, 131, 133, 139, 143, 154, 166, 168, 197, 205, 262.

8 См.: РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2. Д. 276. Л. 11.

9 См.: РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2. Д. 276. Л. 2.

10 См.: РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2. Д. 276. Л. 51.

11 См.: РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2. Д. 277. Л. 360.

12 См.: РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2. Д. 276. Л. 8, 14—15, 17, 84, 113, 300; Д. 277. Л. 305, 355.

13 См.: РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2. Д. 276. Л. 9, 37—38, 61, 67—68, 82, 96, 120, 127, 153, 256; Д. 277. Л. 304.

14 См.: РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2. Д. 276. Л. 3, 7, 10, 12, 19, 22, 24, 26—28, 30, 32—33, 38, 47, 50—51, 60, 66—67, 69, 72, 97, 130—131, 136, 140, 168, 227, 284; Д. 277, 339—340, 344, 389, 401.

15 См.: Дневник А.А. Бобринского // РГАДА. Ф. 1412. Оп. 8. Д. 292. Л. 177 об., 198, 200.

16 См.: Письма А.П. Игнатьева Б.В. Никольскому // ГА РФ. Ф. 588. Оп. 1. Д. 323. Л. 4—8.

димости политической реформы: «Вы действительно создали эпоху. Россия обязана Вам тем возрождением общественных сил, которое мы теперь переживаем, и тем участием общества в политической жизни, от которого поворота назад уже нет»¹⁷.

Многие чиновники отнюдь не стыдились своих конституционалистских взглядов. В полной мере это сказалось после издания Манифеста 17 октября 1905 г. По воспоминаниям В.И. Гурко, товарищ министра внутренних дел Д.Ф. Трепов был в восторге от этого решения императора и заявил начальнику петербургского охранного отделения А.В. Герасимову: «Вся страна будет завтра праздновать великий патриотический национальный праздник рождения новой, свободной России». Градоначальник же Санкт-Петербурга В.А. Дедюлин «собирает у себя вечером 17 октября высших чинов полиции, читает им манифест, целует его и приступает затем к обсуждению не столько способов охранения спокойствия в городе, сколько порядка оглашения манифеста, причем даже высказывается мысль об объявлении его посредством особых герольдов» [Гурко 2000: 469]. Впрочем, среди государственных служащих были и убежденные в том, что Манифест — лишь первый шаг в деле демократизации страны. В начале ноября 1905 г. в Совете министров государственный контролер Д.А. Философов и министр путей сообщений К.С. Немешаев поставили вопрос о введении всеобщего избирательного права, в сущности, солидаризовавшись с радикальной оппозицией. По мнению В.И. Гурко, лишь благодаря вмешательству председателя Совета министров С.Ю. Витте руководители ведомств нехотя «умерили» свои требования [Гурко 2000: 480—481].

И впоследствии, в 1906 г., бюрократия (вернее, ее значительная часть) серьезно рассчитывала на дальнейшие коренные преобразования политического режима. В мае 1906 г. члены Государственного совета А.С. Ермолов и Д.М. Сольский полагали необходимым сформировать ответственное перед Думой правительство [см.: Мнения]. Д.Ф. Трепов, судя по всему, не без успеха убеждал в этом императора [см.: Половцов 1923: 117]. Барон В.Б. Фредерикс надеялся на компромисс с оппозиционным думским большинством [Кокковцов 1992: 192].

Отсутствие единства среди чиновничества ни у кого не вызывало сомнений и в самой же бюрократической среде рассматривалось как едва ли не основной порок существующей политической системы. Проблема была в том, что государственные служащие не были солидарны не только друг с другом, но и главное, с тем режимом, который они представляли. В значительной своей части они были склонны отождествлять себя с обществом, а не с властью.

Часто чиновники разделяли оппозиционные убеждения, настаивая на необходимости скорейших политических реформ. Такое положение может показаться парадоксальным, если оставить без внимания сам характер государственной службы в XIX — начале XX в. По существу, она была аполитичной, требуя от чиновников знаний и навыков, а не определенных политических взглядов. Профессионал, успешно двигавшийся по карьерной лестнице, мог придерживаться любых политических убеждений, а мог и не обладать ими вовсе. Эта управленческая модель имела очевидные преимущества. Она мобилизовывала наиболее способных амбициозных молодых людей. Вместе с тем, в этом была и «ахиллесова пята» политической системы, которая становилась

17 ГА РФ. Ф. 1729. Оп. 1. Д. 503. Л. 56 об.

уязвимой в условиях политической турбулентности. Чиновник был аполитичным профессионалом у себя в кабинете, но, возвращаясь домой, он становился представителем обществу, который был склонен разделять взгляды и убеждения своих друзей и знакомых. В условиях отсутствия публичной политики эта проблема не могла стать явной. О ней можно было лишь догадываться. Фрондирующий у себя дома чиновник не становился оппозиционером, он более или менее успешно справлялся со своими обязанностями государственного служащего, пока Россию не захлестнула политическая волна 1904—1905 гг. Никто не интересовался его взглядами и политическими симпатиями, если он их открыто не выражал. Учитывались лишь профессиональные качества бюрократа. Но чиновник жил в социуме. Круг его общения, чтения, жизненный опыт чаще всего был такой же, как у его соседа-земца или университетского профессора. И он точно так же выражал недовольство (конечно, в приватной обстановке) существующим строем и даже подумывал о необходимости конституции для России. Эта незаметная (даже самой себе) оппозиция была самой опасной для власти. И тогда, и сейчас никто не мог оценить численность ее представителей, радикализм предполагаемых требований. Ее сила была не в готовности действовать, а в возможности бездействовать в тот час, который требовал особой решительности. Эти многим очевидные чиновничьи настроения предвещали тотальный вакуум недоверия, в котором оказалась верховная власть в условиях Первой русской революции. Когда в обществе все громче стали звучать призывы к политической реформе, к ним присоединились многие представители бюрократии, став важнейшим фактором разворачивавшегося кризиса.

Библиография / References

- [Богданович 1990] — *Богданович А.В.* Три последних самодержца. М.: Новosti, 1990.
(*Bogdanovich A.V.* Tri poslednikh samodержtsa. Moscow, 1990).
- [Гурко 2000] — *Гурко В.И.* Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М.: Новое литературное обозрение, 2000.
(*Gurko V.I.* Cherty i siluety proshlogo: Pravitel'stvo i obshchestvennost' v tsarstvovanie Nikolaya II v izobrazhenii sovremennika. Moscow, 2000).
- [Записка П.А. Валуева] — Записка П.А. Валуева Александру II «Общий взгляд на положение дел в империи с точки зрения охранения внутренней безопасности государства» // Судьбы России: Проблемы экономического развития страны в XIX — начале XX вв. СПб.: Лики России, 2007. С. 131—138.
(*Zapiska P.A. Valueva Aleksandru II* «Obshchiy vzglyad na polozhenie del v imperii s tochki zreniya okhraneniya vnutrenney bezopasnosti gosudarstva» // Sud'by Rossii: Problemy ekonomicheskogo razvitiya strany v XIX — nachale XX vv. Saint Petersburg, 2007. P. 131—138.)
- [Киреев 2010] — *Киреев А.А.* Дневник, 1905—1910. М.: РОССПЭН, 2010.
(*Kireev A.A.* Dnevnik, 1905—1910. Moscow, 2010.)
- [Коковцов 1992] — *Коковцов В.Н.* Из моего прошлого: В 2 кн. М.: Наука, 1992. Кн. 1.
(*Kokovtsov V.N.* Iz moego proshlogo: In 2 vols. Moscow, 1992. Vol. 1.)
- [Крыжановский 2009] — *Крыжановский С.Е.* Воспоминания: из бумаг С.Е. Крыжановского, последнего государственного секретаря Российской империи. СПб.: Изд-во «Российская национальная библиотека», 2009.
(*Kryzhanovskiy S.E.* Vospominaniya: iz bumag S.E. Kryzhanovskogo, poslednego gosudarstvennogo sekretarya Rossiyskoy imperii. Saint Petersburg, 2009.)
- [Мнения] — Мнения // Новое время. 1906. № 10862, 10866. 11, 15 июня.

- (Mneniya // *Novoe vremya*. 1906. № 10862, 10866. 11, 15 June.)
- [Оболенский 1988] — *Оболенский В.А.* Моя жизнь, мои современники. Париж, 1988.
- (*Obolenskiy V.A.* Moya zhizn', moi sovremenniki. Paris, 1988.)
- [Переписка С.Ю. Витте и К.П. Победоносцева] — Переписка С.Ю. Витте и К.П. Победоносцева // *Красный архив*. 1928. № 5. С. 89—116.
- (*Perepiska S.Yu. Vitte i K.P. Pobedonostseva* // *Krasnyy arkhiv*. 1928. № 5. P. 89—116.)
- [Половцов 1923] — *Половцов А.А.* Дневники // *Красный архив*. 1923. № 4. С. 63—128.
- (*Polovtsov A.A. Dnevniky* // *Krasnyy arkhiv*. 1923. № 4. S. 63—128.)
- [Половцов 2005а] — *Половцов А.А.* Дневник государственного секретаря: В 2 т. М., 2005. Т. 1.
- (*Polovtsov A.A. Dnevnik gosudarstvennogo sekretarya*: In 2 vols. Moscow, 2005. Vol. 1.)
- [Половцов 2005б] — *Половцов А.А.* Дневник государственного секретаря: В 2 т. М., 2005. Т. 2.
- (*Polovtsov A.A. Dnevnik gosudarstvennogo sekretarya*: In 2 vols. Moscow, 2005. Vol. 2.)
- [Судьбы России 2007] — *Судьбы России: Проблемы экономического развития страны в XIX — начале XX вв.: Документы и мемуары государственных деятелей*. СПб.: Спас; Лики России, 2007.
- (*Sud'by Rossii: Problemy ekonomicheskogo razvitiya strany v XIX — nachale XX vv.: Dokumenty i memuary gosudarstvennykh deyatel'ey*. Saint Petersburg, 2007.)
- [Трубецкая 1937] — *Трубецкая О.Н.* Из прошлого // *Современные записки*. 1937. № 64. С. 277—318.
- (*Trubetskaya O.N. Iz proshlogo* // *Sovremennye zapiski*. 1937. № 64. P. 277—318.)
- [Шипов 2007] — *Шипов Д.Н.* Воспоминания и думы о пережитом. М.: РОССПЭН, 2007.
- (*Shipov D.N. Vospominaniya i dumy o perezhitom*. Moscow, 2007.)

Александр Котов

«Русское латинство» 1860-х годов как элемент идеологии бюрократического национализма

Aleksandr Kotov

1860s “Russian Catholicism” as an Element of the Ideology of Bureaucratic Nationalism

Александр Котов (СПбГУ; доцент кафедры музеологии Института истории; кандидат исторических наук) akotov@inbox.ru.

Aleksandr Kotov (Saint Petersburg University; associate professor; PhD) akotov@inbox.ru.

Ключевые слова: М.Н. Катков, В.Я. Шульгин, М.Ф. Де-Пуле, В.С. Печерин, М.О. Коялович, И.П. Корнилов, консерватизм, католицизм, национализм, журналистика, славянофильство

Key words: M.N. Katkov, V.Y. Shulgin, M.F. De-Poulet, Pecherin, Koyalovich, I.P. Kornilov, conservatism, Catholicism, nationalism, journalism, slavophilism

УДК: 94(47).081

UDC: 94(47).081

В статье полемика по поводу русификации католического богослужения в 1860—1870-х годов рассматривается как один из этапов формирования идеологии катковского направления — бюрократического национализма. Противопоставляя «политическую национальность» имперской модели государства, Катков последовательно выступал за русификацию окраин. Однако эта русификация должна была ограничиться единством языка и политической жизни, не затрагивая религиозной сферы. Свои взгляды на возможность существования русского католичества Катков высказал еще в 1860 г. во время скандала из-за статьи Евгении Тур «Госпожа Свечина». Его позднейшие заявления о необходимости «разделить католицизм с полонизмом» породили полемику с другими направлениями националистического лагеря.

The article examines the polemics around the Russification of the Catholic mass in the 1860s—1870s as one of the stages in the formation of the Katkov ideology — that of bureaucratic nationalism. Contrasting the ‘political nationality’ of the imperial model of the state, Katkov consistently spoke out for the Russification of the borderlands. However, this Russification was meant to be limited to the unity of language and political life, without touching on the religious sphere. Katkov expressed his views on the possibility of Russian Catholicism as early as 1860, during the scandal over Evgenia Tur’s article “Madame Svechina.” His later declarations on the necessity of “separating Catholicism from Polishness” generated polemics with other movements in the nationalist camp.

История попыток русификации католического богослужения в 1860—1870-х гг. достаточно подробно разобрана в работах М.Д. Долбилова [Долбилов 2010, Долбилов 2008]. Затрагивалась исследователем и роль в этих попытках М.Н. Каткова, а также дискуссия, развернувшаяся вокруг «русского католичества» в печати того времени. Не претендуя на принципиальную новизну, попытаемся взглянуть на проблему под несколько иным углом: «русское латинство» интересуется нас как элемент формировавшейся в публицистике катковского направления идеологии бюрократического национализма.

Наличие у Каткова собственной идеологии было вопросом дискуссионным: большинство современников видело в нем исключительно ловкого оп-

портуниста. Так, один из первых биографов утверждал, что «Катков не придерживался последовательно никакой системы; тем менее можно было признавать его основателем какого-либо нового направления» [Неведенский 1888: 566]. Но уже советская историография отошла от подобных трактовок. Даже ранний либерализм московского редактора не мешал марксистам рассматривать его как консерватора: дистанция между «фрондой» и «охранительством», с их точки зрения, была невелика: согласно В.И. Ленину, «Катков — Суворин — “веховцы”, это все исторические этапы поворота русской либеральной буржуазии от демократии к защите реакции, к шовинизму и антисемитизму» [Ленин 1973: 44]. Постсоветские, особенно консервативно настроенные авторы, также нередко трактовали Каткова как монархиста-охранителя — выдвигая на первый план в том числе и его борьбу с «петербургской бюрократией», представлявшей якобы «средостение» между царем и его народом.

В зарубежной (и все чаще в современной отечественной) историографии о Каткове говорят скорее как о националисте — «консервативном» [Thaden 1964: 39], «государственном» [Санькова 2007: 8] или «имперском» [Хоскинг 2001: 387]. Однако «имперское» начало в современном политическом дискурсе обычно связывают с теми явлениями, против которых Катков боролся. Имперская модель подразумевает наличие различных автономных национальных и даже цивилизационных укладов, объединенных общей властью, — не случайно Ю.Ф. Самарин, многие тезисы которого Катков позаимствовал в начале 1860-х годов, сравнивал такую модель с многоженством, «возведенным в политическую систему»: «Во главе государства, лишенного национальных особенностей, вы увидите выдающуюся личность государя, который, уступая желанию быть обожаемым своей русской семьей в качестве законного отца, далек от того, чтобы отдать ей свою душу и тело, но готов оставить за собой преимущество властвовать сверх того над полудюжиной других семей немецкого, польского и даже черкесского происхождения» [Я любил Вас любовью брата... 2015: 60]. Самарин же наиболее ясно сформулировал противоречие национальной и имперской моделей. Первую он характеризовал как «народно-монархическую» и считал итогом «всего современного движения Европы». В качестве примера второй, «разноплеменного государства, стянутого и свинченного безнародной аристократией», он приводил Австро-Венгрию — в скором распаде которой был безусловно убежден: «аристократико-монархическая» модель — «это не завтрашняя Россия, а вчерашняя Австрия» [Самарин 1898: 485].

Катков по-своему развил самаринские тезисы: в его публицистике имперская модель государства воплощалась не только и не столько во «вчерашней Австрии», сколько в османском «больном человеке Европы» и даже в Золотой Орде. Не без зависти публицист отмечал, что независимо от господствовавшего во Франции политического режима «немецкие народонаселения, входя в государственный состав Франции, eo ipso становились французами, и правительство Франции ничего другого не делало, как только признало этот факт во всей его истине и силе. К своим новым подданным оно отнеслось как к французам, и его новые подданные поспешили сравняться с французами <...>. Эта неизменная национальность французского правительства, в чьих бы руках оно ни находилось, спасала Францию от всех бед; оно сообщило французской нации ее несокрушимость».

Катков прочным и однородным национальным государствам Запада противопоставлял «правительства варварские», «государства, лишенные внутрен-

них элементов силы и жизни», в качестве примера которых он рассматривал полюбившуюся позднейшим евразийцам Золотую Орду. «Правительство» последней, по его мнению, «оставляло подвластные народы при их особых властях, при их языке, при всех условиях их особенного быта; оно не помышляло о национальной политике в отношении к ним, потому что оно не знало и не понимало значения какой бы то ни было национальности, а того менее монгольской...». Для русских княжеств эта ордынская «цветущая сложность» стала «обстоятельством счастливым», для самой же «многонациональной» Орды — залогом гибели. То же, по мнению Каткова, ожидало и Османскую империю, и Россию — в случае окончательного принятия последней имперской модели: «К какой же категории наций и государств хотели бы отнести нас заграничные советователи наши, радеющие о наших пользах? <...> Пусть они не рассчитывают на наше слабоумие и не говорят нам о великодушии, либеральности, гуманности и прогрессе; пусть они примут более прямой способ выражения, который привыкли мы слышать от открытых врагов наших, и просто скажут нам: вы нация, не призванная к жизни, вы не нация, а орда; готовьтесь же уступить ваше место другим» [Московские ведомости 1864].

Основой «национальной политики» централизованных европейских государств, согласно Каткову, была унификация по признаку единства языка и — прежде всего — лояльности национальному государству: «...чтобы быть русским в гражданском смысле этого слова, достаточно быть русским подданным» [Московские ведомости 1866а]. Религия и этничность отходили здесь на второй план, так как создавали вероятность появления той или иной формы автономии, нарушавшей гомогенность национального организма. Катков последовательно защищал последнюю, критикуя любые попытки ее нарушения: национальную автономию Польши и Финляндии, автономию университетов, аристократические привилегии польских или остзейских дворян, еврейскую черту оседлости или попытки освободить православие из синодального «пленения». Не случайно Т.И. Филиппов писал о «сообразии» Каткова «оному змию (Феофану [Прокоповичу]), от которого прияло начало предательство Церкви ее епископами» [Пророки византизма 2012: 225].

В результате главной инстанцией, определявшей принадлежность к нации, становился выдававший документ о подданстве чиновник — волей-неволей превращавшийся в центральную фигуру катковского национального государства. Разумеется, на газетных и журнальных страницах Катков мог и критиковать бюрократию и ее методы. Однако эта критика не была последовательной, что давало оппонентам немало поводов для нареканий. Например, газета «Весть» в 1867 г. проследила «эволюцию» высказываний «Московских ведомостей» по данному вопросу: «Бюрократия — которая “дружится с революцией, с демократией, с социализмом” <...> оказалась “единственной русской государственной силой в западных губерниях” <...> и это несмотря на то, что еще только накануне <...> рассказывались препятствия, поставляемые бюрократиею водворению русского землевладения в Западном крае» [Весть 1867].

При этом не следует забывать, что, претендуя на лавры борца с «петербургской бюрократией» (П.А. Валугевым и А.В. Головниным), Катков сам регулярно пользовался административным ресурсом. Таким образом, в своих передовицах он боролся не с «бюрократией» как таковой, но с отдельными бюрократами — и прекрасно при этом взаимодействовал с другими (Д.А. Толстым, К.П. Победоносцевым и прочими). Во многом типичными катковскими протест-

же являлись А.И. Георгиевский и И.А. Вышнеградский, о последнем Н.А. Любимов отзывался так: «Если бы царь Ирод ему поручил составить проект избивения младенцев, проект этот был бы готов по параграфам, и едва ли бы ускользнуть младенцу Иисусу. Не догадался царь Ирод»¹.

«Катковцам» иногда удавалось скорректировать даже суверенную волю монарха — в качестве примера можно упомянуть историю с несостоявшимся в 1887 г. предостережением за передовую статью № 66 «Московских ведомостей», посвященную переговорам между Россией и Германией. Александр III был возмущен критикой своей внешней политики: «Вообще Катков забывается и играет роль какого-то диктатора, забывая, что внешняя политика зависит от меня, что я отвечаю за последствия, а не г. Катков». Но когда на следующий день Е.М. Феоктистов собрал совет Главного управления по делам печати, «все члены Совета, обыкновенно столь сдержанные и осторожные, высказывали сильное неудовольствие, один за другим говорили они против задуманной меры, высказывая, что не следует идти далее негласного уведомления Каткову». Столкнувшись с противодействием чиновных единомышленников Каткова — и прежде всего, К.П. Победоносцева, — император уступил и ограничился словесным выговором, который для Каткова стал лишь поводом для получения аудиенции².

Таким образом, главным субъектом «национальной политики» для московского публициста был даже не самодержец — которому на словах, разумеется, воздавалось должное, — но «правительство» (в тогдашнем широком смысле слова), а в конкретных случаях и на местах — назначенные последним «национально ориентированные» чиновники. Именно в этом контексте и следует, на наш взгляд, рассматривать кампанию в пользу русификации католичества, развернутую Катковым и его «партизанами» — «Киевлянином» Шульгина-старшего и «Виленским вестником» М.Ф. Де-Пуле, а также примкнувшими к ним в данном вопросе «Голосом» и «Современными известиями».

Впрочем, к тому времени тема католичества не была новой для Каткова. Именно она еще в 1860 г. стала поводом для небезызвестного литературного скандала, начавшегося с публикации очерка Евгении Тур «Госпожа Свечина». Русская католическая писательница С.П. Свечина, хозяйка знаменитого консервативного парижского салона, собеседница де Местра и де Токвиля, — характеризовалась православной писательницей «Русского вестника» в стандартных для антикатолической пропаганды того времени выражениях: «Все неумолимо влекло ее в лоно римской церкви — и колебание ума, и беспорядочность отрывочных знаний, <...> и желание успокоиться на чем-нибудь непреложном, узком и тесном, желание замереть, если позволено так выразиться, вставив себя в изготовленную заранее рамку» [Тур 1860а: 372]. Далее Тур с иронией заключала: «Ею руководила еще, по ее словам, и другая мысль: она хотела доказать, будто предрассудок — думать, будто, сделавшись католиком, перестанешь быть русским. Мы уже видели, насколько г-жа Свечина была русская и как основательна эта новая и поистине забавная ее претензия» [Тур 1860а: 382]

Недовольный статьей Катков прибавил к публикации своей постоянной (до этого эпизода) сотрудницы следующее редакционное возражение: «...религиоз-

1 Письмо Н.А. Любимова к М.Н. Каткову от 11 июня 1885 г. // ГАРФ. Ф. 1718. Ед. хр. 6. Л. 97.
2 Дневник Е.М. Феоктистова. 1886—1887 // ИРЛИ. Ф. 318. Ед. хр. 9120. Л. 9—10.

ный интерес, если он искренен и не соединяется с фанатизмом, заслуживает уважения не только во мнении людей религиозных, хотя бы и других вероисповеданий, но и во мнении тех, кто к этому интересу равнодушен» [Там же: 392].

Однако на страницах прилагавшейся к «Русскому вестнику» «Современной летописи» Евгения Тур продолжала настаивать на своей характеристике: «Г-жа Свечина не была только религиозная женщина; она была одним из корифеев клерикальной партии: свобода, отечество, наука, прогресс для нее не существовали; интересы папской власти <...> были ее исключительными интересами» [Тур 1860b: 410].

В том же номере «Современной летописи» редакция поместила свой ответ, в котором представила развернутую апологию русской католички. Катков утверждал, что «в этих писаниях нет и признака религиозной нетерпимости, нет никакого *мрачного учения* <...>. Писания ее имеют общий религиозный характер, и большая часть сказанного ею могла быть сказана всяким религиозным человеком, православным или протестантом» [По поводу письма... 1860: 468]. Обвинив Евгению Тур в «односторонности и несправедливости» суждений, редактор допустил немало язвительных и резких выпадов, что позволило Н.Г. Чернышевскому заметить на страницах «Современника» (ранее, напомним, во многом солидарного с Катковым): «Редакция “Русского вестника” <...> отвечала на письмо г-жи Тур очень длинным оскорбительным рассуждением, из которых иные были очень грубыми личными обидами уже не писательницы, а женщины» [Чернышевский 1950: 306]. Дискуссия, таким образом, приобрела характер личного конфликта и привела к очередному расколу в редакции — однако свои взгляды на религиозные вопросы Катков высказал в ней вполне: он проявил себя здесь как типичный либерал своего времени.

Этой же линии московский публицист придерживался и в дальнейшем — когда в 1863 г. в поисках средств для ассимиляции западных окраин обратился к идее отделения католичества от «полонизма»: «В настоящее время особенно чувствуется необходимость разобщить эти два элемента, национально-польский и религиозно-католический, которые вовсе не совпадают между собою, но которые у нас благодаря стечению обстоятельств по необходимости совпадают и в совокупности образуют самый вредный в нашем государственном составе элемент». Напоминая читателям об антирусской деятельности польских ксендзов, Катков выражал надежду на то, что русские или чешские католические священники вели бы себя иначе: «Католические духовные лица, свободные от фальшивой национальной или политической примеси и не находящиеся под терроризацией революционных комитетов, действовали бы, несомненно, иначе <...> Как только дело религии перестанет быть монополией какой бы то ни было национальности, коль скоро в католическую иерархию будут приняты в значительном количестве и другие элементы, кроме польского, так тотчас церковное дело более или менее явственно отделится от политического и те же самые ксендзы во многом и очень скоро изменят свой характер. Они невольно почувствуют свое истинное назначение — быть служителями алтаря, а не орудиями революции, политических заговоров и интриг».

Предвосхищая упреки своих оппонентов, Катков оговаривал, что речь идет не о принижении православия, но лишь об уважении к свободе совести: «Православная церковь есть наша народная церковь, и такую она должна остаться. Государство должно ограждать ее, оберегать ее и от разбойника, и от тати, усиливать и улучшать положение ее служителей <...>. Но едва ли обязанности го-

сударства могут простираться на совесть людей взрослых и самостоятельных; едва ли может оно полагать свой меч между совестью человека и Богом. Мы можем скорбеть об отпадении человека, но можем уважить свободу его совести. Лучше ли, чтобы он лицемерил и сквернил церковь ложным единением с ней?» Допуская смешанные браки с немцами и французами, было бы странно «отвергать русского католика или протестанта, тем более что мы между своими же согражданами считаем много людей совершенно преданных нашему отечеству, людей, хотя бы и с иностранными именами, но русских по рождению, по языку, по образу мыслей, не принадлежащих, однако, к православной церкви».

Отмечая падение религиозности «образованных классов», Катков утверждал, что «с религиозной точки зрения лучше, чтобы человек исповедовал какую-нибудь веру, чем оставался без всякой веры, или, как наши нигилисты, полагал свою религию в духе отрицания и с бессмысленным фанатизмом служил этому божеству», а потому, «чем принимать папского нунция, лучше не изгонять русских людей, ставших членами хотя и чуждой нам, но признаваемой нами церкви». В качестве примера такого русского человека московский публицист приводил В.С. Печерина: «Бросим ли мы в него камень? укорим ли его за отпадение от православной церкви, которой он почти не знал и к которой принадлежал только по имени? Он стал католиком, но он стал христианином <...>. Образованный и развитый ум спас его от изуверства, в которое нередко впадают новообращенные. Он тихо исповедует свою веру, молится, служит при больнице, утешая страждущих и напутствуя отходящих в вечность. Но преданный делу своего церковного служения, он, может быть, не без грусти вспоминает о своем далеком отечестве» [Московские ведомости 1863].

Эта передовица «Московских ведомостей» вызвала возражение М.П. Погодина, которое Катков опубликовал у себя, ответив на него в передовице того же номера газеты. Историк-консерватор выражал опасение, что «русский католик, чем он выше, чище, умнее, лучше, тем он опаснее, особенно ввиду русской мягкости, легкости, восприимчивости и — невежества!» Поэтому, заключал Погодин, «от своих отщепенцев сугубо и трегубо оборони нас Боже!» Редактор в том же номере отвечал ему общими либеральными рассуждениями о свободе совести: «Нам всего опаснее потемки, нам всего полезнее свет, нам всего полезнее свобода и доверие к себе в движениях нашей народной жизни и в охранении наших общественных интересов, и государственных, и церковных» [Московские ведомости 1863а]. Позднее эти соображения станут одним из аргументов в пользу русификации католицизма.

Однако Погодина «поддержал» сам В.С. Печерин, проиллюстрировав его правоту следующими строками, опубликованными в эмигрантском «Листке» П.В. Долгорукова: «Издатель “Московских ведомостей” желает какой-то свободы совести в пользу русского правительства, то есть ему хочется найти католических священников, преданных русскому самодержавию! Едва ли где он их найдет. Но за себя, по крайней мере, я могу отвечать: я никогда не был и не буду верноподанным! Я живо сочувствую геройским подвигам и страданиям католического духовенства в Польше: если бы я был на их месте, я бы действовал, как они действуют, лишь бы только Бог даровал мне их долю энергии и веры» [Печерин 2011: 738].

Впрочем, «московский громовежец» остался при своем мнении, вновь и вновь повторяя, что «серьезная задача обрусения западного края состоит не в том, чтобы искоренить там католицизм <...>, а в том, чтобы разобшить като-

лицизм с полонизмом» [Московские ведомости 1866]. При этом речь шла об изгнании не латыни, но только тех элементов богослужения, где употреблялся польский. Приветствовали «Московские ведомости» и русификацию еврейского религиозного обихода — «замечательное движение, начавшееся в среде одесского еврейского общества и затем распространившееся везде, где только живут евреи, получившие современное образование». Катков настаивал на том, что «следует и католикам, и евреям дать возможность быть русскими <...> есть огромный вред для государства в таком насильственном отождествлении терпимых религиозных верований с политическими национальностями, которым нет места в России» [Московские ведомости 1866b]. Таким образом, редактор «Московских ведомостей» был готов признать русским любого российского подданного — в том числе католика, протестанта и иудея [Московские ведомости 1871], разделяя тем самым национальность и религию. Все это вполне соответствовало либеральным тенденциям эпохи: по меткому замечанию М.Д. Долбилова, для Каткова «русский язык под сводами неправославных храмов выступал царским даром, стоящим в одном ряду с Великими реформами» [Долбилов 2010: 465].

Из всех оппонентов «московского громовержца» наиболее противоречивую позицию заняла «Весть». Эта либерально-консервативная газета позиционировала себя как защитница законных интересов собственников-землевладельцев — не только польских панов и остзейских рыцарей (как утверждали славянофилы), но и русских помещиков, в которых с несколько излишним оптимизмом надеялась увидеть аналог английских джентри. Редакция петербургского издания не уставала напоминать, что «в России весьма много народностей, а *собственность одна*» [Весть 1863a]. Именно уважение к последней со стороны русского государства и должно было привязать к России ее окраины — прежде всего, в лице землевладельческой элиты.

Протестуя против антипольских выступлений аксаковского «Дня», редакция «Вести» соглашалась со славянофильскими утверждениями о роли православия на западных окраинах [Весть 1863]. С другой стороны, в «Московских ведомостях» «Весть» первоначально видела своего союзника и, несмотря на отдельные разногласия, постоянно искала точки соприкосновения. Поэтому идею «русского латинства» редакторы газеты В.Д. Скарятин и Н.Н. Юматов скорее приветствовали, в мае 1866 года охарактеризовав это движение как «естественное, если принять в соображение, что большая часть этого края составляла исконную принадлежность России, была колыбелью России и ядром государства». «Весть» напоминала противникам русификации католичества, что «католики: французы, итальянцы, испанцы, португальцы, бельгийцы и проч. тяготеют к своим историко-политическим центрам: Парижу, Риму, Мадриду, Лиссабону, Брюсселю и другим; католики русские будут тяготеть к С.-Петербургу и Москве, а не к Варшаве» [Весть 1866].

Однако уже несколько месяцев спустя на страницах «Вести» появилась неподписанная статья «К вопросу “обрусения”», в которой взгляды «Московских ведомостей» на этот вопрос подвергались едкой критике: «...что и как понимают “Московские ведомости” под словом обрусение, этого мы до сих пор, признаться, не могли хорошенько разглядеть». Но высказывания Каткова по еврейскому вопросу, очевидно, прояснили ситуацию и стали для публициста «Вести» поводом к следующим глубокомысленным размышлениям: «Не думая оспаривать у еврейского населения Российской империи таких же гражд-

данских прав, какими пользуются другие русские подданные; не отрицая у них и высокой степени умения пользоваться всяким правом, какое им только предоставляется во всякой стране света, — мы только недоумеваем в одном: не чересчур ли потомки Авраама искусны в этом уменье пользоваться?..» Особенно тревожило автора «печатание еврейских вероучений на русском наречии, когда учебники этого рода попадут в руки читателей неевреев и пойдут сравнения <...>. Не довольно ли уже и так сектаторства в России!.. <...> Мы, пожалуй, еще согласны, что римский католицизм не выдержит состязания с учением православной церкви, но что влияние еврейских догматов на русском языке может отозваться распространением безусловного деизма — это по меньшей мере вероятно» [Весть 1866а].

Но наиболее последовательная критика «русского латинства» исходила, конечно же, из славянофильско-почвеннических кругов, большинство представителей которых было убеждено, что «не православный не может быть русским». Будучи националистами в широком смысле этого слова, поздние славянофилы не искали четких критериев «русскости», определяя последнюю через своеобразное сочетание этничности и конфессиональной принадлежности. Выступая, подобно Каткову, за гомогенность национального организма, ее необходимость славянофилы обосновывали иначе. Так, Н.Н. Страхов, доказывая необходимость русификации, обосновывал последнюю потребностью общества в духовном единстве: «...общество, составленное из самых разнородных людей, из краснокожих и белых, из китайцев и европейцев, из мусульман и христиан и т.д. может при помощи терпимости жить мирно, без взаимной вражды членов; но будет ли это не только наилучшее, но даже просто хорошее общество? Разве для общества ничего больше и не нужно желать, кроме отсутствия вражды? Всякий согласится, что общество тем лучше, чем прочнее в нем внутреннее единство, чем теснее духовная связь членов, чем больше любовного единения между ними» [Страхов 1864: 249—250]. Исходя из этих предпосылок, публицист рассматривал и идею русификации католичества, которая это единство только нарушала: «Русские католики нам кажутся идеею еще более странною, чем русские немцы. Зачем они? Если их нет, то тем лучше. <...> Терпеть такое явление, если бы оно существовало, конечно, было бы должно, но желать или нарочно вызывать его никак не следует» [Страхов 1864: 250].

Из всех противников катковского подхода наиболее любопытную аргументацию использовал М.О. Коялович. По его мнению, «невероятные вещи об отделении народности от веры» стали возможны в силу ряда особенностей «Московских ведомостей», «не совместимых с западно-русской жизнью». Историк утверждал, что «“Московские ведомости”, кроме политической и гражданской специальности, обладают еще одной специальностью, так сказать, интеллигентною. Интеллигенция у них единственный конек, на котором они ездят в политику и государственность. <...> Что такое народ у “Московских ведомостей”? Что-то такое, чего “Московские ведомости” не знают и, не зная, не желают знать». В отделении религии от народной жизни Коялович усматривал нигилизм, отмечая также, что «теория отделения народности от веры только там может быть свободно узаконяема, <...> где интеллигенция имеет право и привычку узаконять дела, не справляясь с нуждами народа <...>. Наша русская интеллигенция в других отношениях к народу. Она не имеет права узаконять дела для народа». Очевидно, катковские издания воспринимались Кояловичем как глашатаи той самой интеллигенции, из которой рекрутировалась,

согласно славянофилам, «безнациональная» бюрократия. От последней протонародное православие следовало защищать точно так же, как и от польского панства, — не случайно деятелей русской виленской администрации он именвал «немцами этой страны» [Виленский вестник 1866].

В европеизме и непонимании народности обвинял «Московские ведомости» и другой виленский «русификатор», А.В. Рачинский. В своих письмах единомышленнику (И.П. Корнилову) он возмущался: «Разве не двинулось со страниц “Московских ведомостей”, и в отпор систематическому воссоединению с Государством западного края, блуждание по темному и тернистому пути обрусения римского католицизма в России?.. Разве не закипела от тех же “Ведомостей” работа объевропейня России посредством языческого классицизма и перерождения русской народности в одну из европейских национальностей?»; «Теперь беспрепятственное вступление русской *patii* в семью европейскую — несомненно. Прочь, варварская народность, прочь, слепая вера, прочь, христианское просвещение: да здравствует, да процветает *нация, религия, цивилизация!!!*» [цит. по: Долбилов 2010: 307].

Впрочем, Коялович позднее несколько скорректировал свои взгляды и в книге 1884 года упоминал «русское латинство» как свидетельство подъема «русского сознания», а сторонников русификации иудаизма охарактеризовал как «искренне старавшихся освободить» еврейское протонародье «от талмуда и кагала и роднить их с Россией» [Коялович 1884: 331].

Куда более упорным и последовательным противником катковского направления в данном вопросе оказался покровитель Кояловича и Рачинского И.П. Корнилов, попечитель Виленского учебного округа в 1864—1868 годах, возглавлявший в этот период своеобразный кружок виленских русификаторов. Вверенную ему территорию этот чиновник характеризовал как «нравственный Кавказ». Разделяя славянофильский дискурс, главную угрозу русскому влиянию в Северо-Западном крае Корнилов видел в католичестве. При этом главными отличиями последнего от православия он считал не догматические разногласия, «непонятные простому народу», но «противоположность иерархического строя» и принципиально большую агрессивность латинства. Примечательно, что соответствующий отрывок из его брошюры «Самодержавие, православие и католицизм» был удален духовной цензурой³. Таким образом, для Корнилова «цивилизационный» разлом проходил по религиозной границе. Однако, как и прочие околославянофильские оппоненты Каткова, он не отказывался от этнического измерения нации. В его черновых заметках можно встретить формулировку: «Кровь, язык и религия — вот три главные силы, объединяющие народ в единые группы»⁴, а в другой брошюре он говорит о «мирном, естественном, свойственном славянской расе демократизме»⁵. Разумеется, Иван Петрович не был оригинальным мыслителем. Он интересен в качестве примера того, как преломлялись славянофильские идеи в умах национально настроенного чиновничества.

В 1866 г. Корнилов написал И.Д. Делянову письмо о русском католичестве, в котором доказывал, что «Россия со своим православием не будет уживаться

3 См.: РГИА. Ф. 970. Ед. хр. 144. Л. 71 об.

4 Корнилов И.П. Самодержавие, православие и католицизм // Там же. Л. 7.

5 Корнилов И.П. Заметки о демократизме и монархизме // РГИА. Ф. 970. Ед. хр. 150. Л. 10б.

с латинством, хотя бы оно было на русском языке»: «Пока в Западном крае будет католицизм, на русском ли, польском или другом языке, все равно, до тех пор здешние католики в вероисповедной связи с Западом и будут тяготеть к Польше, как часть к целому». Русификация же католичества «только узаконит католицизм в глазах русского народа, давая ему права русского гражданства». Как следствие, «латинская вера делается по языку русскою верою, да еще какою, не церковно-славянскою, как наша православная, а прямо русскою, общедоступною, народною по языку» [Корнилов 1908: 219—220].

Позднее Корнилов, как известно, внес немалый вклад в дело перевода литовской письменности на кириллицу и введения литовского языка в православное богослужение. Любопытно, что, не отрицая литовскую этническую идентичность, он всячески подчеркивал родство литовского языка с русским — и таким образом стремился ввести «жмудь» в «общерусскую» общность наряду с украинцами и белорусами.

Катковский подход к русификации окраин нашел своих сторонников как среди чиновников, так и среди пропагандистов того времени. Из всех катковцев наиболее чувствителен к упрекам в «неправославии» оказался редактор «Виленского вестника» М.Ф. Де-Пуле. Не защищенный ни цензурой, ни «железобетонной» катковской самоуверенностью, Михаил Федорович пытался воздействовать на оппонентов логическими аргументами и в ответ на критику сформулировал собственную «концепцию» различных этапов русификации: «Разные, конечно, бывают степени обрусения; полнейшее наступает только тогда, когда ассимиляция закончит свое дело и субъект, подлежащий ей, перестает быть обруселым поляком, евреем, татаринном и пр., а становится вполне русским». При этом, по мнению Де-Пуле, «прирожденный русский человек, будучи иноверцем, остается *вполне* русским человеком и не нуждается в обрусении» [Виленский вестник 1867].

Публицист постоянно оговаривал: «Мы должны от всего сердца желать как можно больше миссионерских подвигов в местном православном духовенстве, <...> но там, где еще нельзя рассчитывать на успех борьбы, там религиозная нетерпимость с нашей стороны более, чем бесполезна. Уничтожьте, повторяем, во враждебных нам началах вредоносную силу, — и тогда нечего будет бояться». Изначально чуждое России католичество также можно было путем русификации лишить «вредоносной силы» — и здесь Де-Пуле, по собственному утверждению, «принадлежал всегда к числу партизанов (т.е. членов партии. — А.К.) “Московских ведомостей”» [Виленский вестник 1867].

Впрочем, катковской прямоты и твердости ему здесь явно не хватило. Столкнувшись с критикой со стороны аксаковской «Москвы», Михаил Федорович не стал настаивать на необходимости существования русского католичества: «Убежденные в возможности обрусения, помимо религии, <...> мы все-таки остаемся при том убеждении, что в крае, подлежащем обрусению, православие не может стоять на одной точке, а должно идти вперед. В религиозном вопросе мы должны отправляться от того положения, что православие — господствующая религия в государстве, а католицизм — только терпимая» [Виленский вестник 1867d].

В одном из последних номеров, вышедших под его редакцией, Де-Пуле сочувственно цитировал «Современные известия» Н.П. Гилярова-Платонова, писавшие о вреде как слияния церкви и государства, так и отождествления враждебной государству народности с какой-либо церковью: «Вред, неми-

нуемо сопряженный с подобною системой, очевиден. Однако эта система нашла себе применение у нас <...>. Польская партия всячески старалась о недопущении в костелы языка русского, в чем ей со стороны русской власти способствовал какой-то непонятный страх за православие, для которого считалось опасным употребление русского языка в иноверческих церквях <...>. Таким образом <...> правительство как бы само способствовало ополчению русского народа в западном крае, не допуская для него ни проповеди, ни катехизиса, ни молитвенников иначе, как на польском языке». И «Виленский вестник», и «Современные известия», и «Московские ведомости» были убеждены в том, что «упразднение польского вопроса невозможно без разобщения католицизма от полонизма через допущение русского языка в католической проповеди, молитвенниках и тех частях богослужения, где ныне употребляется язык польский; ибо латинский язык, употребляемый при литургии, для нас не опасен и притом составляет как бы догматическую принадлежность латинской церкви» [Виленский вестник 1868].

Редакция «Виленского вестника» настаивала на том, что первым этапом русификации должно стать распространение русского языка: «...язык есть первое и могущественное средство ассимиляции». В ответ на распространенное возражение, «что обруселые, говорящие по-русски инородцы остаются при своем, нерусском мирозерцании», Де-Пуле предлагал свою «теорию» постепенного «обрусения» имперских окраин: «Как духовное орудие ассимиляции язык действует разными способами: 1) сначала своею внешнею, обыденною стороною (ею обрусены наши восточные инородцы), потом 2) более внутренним, культивирующим образом, т.е. посредством *возможного* усвоения тех народных начал, о которых мы говорили прежде, и 3) путем цивилизующим».

Соответственно, «по отношению к массе евреев пока желателен первый способ обрусения: пока желательно, чтобы евреи забыли свой жаргон, который их так тянет к германизации». Поляки в большинстве своем уже владеют русским — соответственно, назрел переход ко второму и третьему этапу их русификации: «...обрусение идет, идет все глубже и шире», а «русский язык и литература, наука и серьезное знание в воспитывающих — единственные и вернейшие средства для полного обрусения подрастающего поколения здешней интеллигенции» [Виленский вестник 1867а].

В процессе русификации польского населения публицист выделял три этапа: 1) «подавление мятежа»; 2) «время опыта над приложением к жизни тех и других теорий обрусения»; 3) «время вполне осознанной и определившейся теории, серьезное приготовление к ее осуществлению». Первые два из них к 1867 г. были уже пройдены, администрации Э.Т. Баранова предстояло реализовать третий, самый сложный: «Подготовка почвы для успешного произрастания семян русской жизни, отчасти уже в нее брошенных, отчасти приготовляемых к посеву, это тяжелая египетская работа, при которой и не до речей и не до возгласов...» [Виленский вестник 1867б].

При этом виленские поляки воспринимались Де-Пуле как «единоплеменники»-славяне, которые «силою вещей, истории и собственного неразумия поставили себя во враждебные к нам отношения». Поэтому публицист призывал избегать по отношению к ним любых насильственных мер и вообще всего того, «что способно усилить вражду или вогнать ее внутрь». «Виленский вестник» постоянно подчеркивал, что «поляки здешние <...> обрусели самым удовлетворительным образом. Кто знаком с Малороссией, тот в таких обруселых по-

ляках (не потому, конечно, обруселых, что предки их были ополяченные русские) замечает много общих аналогических черт с малорусами» [Виленский вестник 1867с]. Чуть позже «Виленский вестник» с удовлетворением отмечал, что «на вопрос: вы кто, — русский или поляк? — здесь, в Вильне по крайней мере, получается всегда такой ответ: я *католик*». Из того, что отныне «поляков нет, а есть русские католики», редакция делала вывод, что «закончен первый акт обрусения» [Виленский вестник 1867е].

С восторгом встретил Де-Пуле появление в «Киевлянине» статьи М.В. Юзефовича «Народность и государство». Автор последней пропагандировал «так называемую политическую национальность, которая не имеет нужды проникать глубоко во внутренний состав человека и довольствуется для объединения связующим узлом имени, языка и органических законов». По мнению Юзефовича, любой подданный государства, независимо от исповедания и происхождения, обязан «во всех общественных отправлениях» пользоваться русским языком и этого достаточно для того, чтобы «каждый русский подданный, без различия племен и вероисповеданий, не только вправе, но обязан считать себя и именоваться русским» [Виленский вестник 1867е].

Редактор ведущей киевской газеты В.Я. Шульгин также причислял себя к «партизанам» Каткова. В основе его программы лежало несколько пунктов, которым, по его мнению, «вполне сочувствует *солидно и национально образованное русское общество*»:

- 1) «Необходимость расползчь русских католических граждан» посредством перевода на русский польской части богослужения.
- 2) «Основание народных школ в обширных размерах».
- 3) Унификация законодательства через повсеместное распространение судебного устава 1864 г.
- 4) Распространение на западные окраины земских учреждений «как конец, венчающий дело» [Киевлянин 1868].

Тема русификации католического богослужения звучала на страницах «Киевлянина» постоянно. Особенно часто материалы об этом стали появляться во второй половине 1860-х годов. «Киевлянин» возмущался тем, что «католицизм находится в России в исключительном положении, и даже в положении вдвойне исключительном» [Киевлянин 1868а]. Однако, не отрицая поддержки римским папой «инсургентов» в 1863 году, главным врагом газета считала не его, а польскую шляхту [Киевлянин 1868b]. На страницах «Киевлянина» шла полемика с противниками «русского латинства»: с одной стороны, поляками и считавшими подобную меру насилием петербургскими либералами, с другой — со славянофилами, не допускавшими и мысли о возможности отделения русской идентичности от православия.

«Разбивая» доводы своих оппонентов, Шульгин задавался вопросом: «Если могут быть русские протестанты, почему же не быть и русским католикам <...>. Если было основание употреблять польский язык в костелах западно-русского края до той поры, пока язык этот был здесь вместе с тем языком школы, суда и местной администрации, то с введением русского языка в эти сферы такое основание исчезло». Наконец, отвечая на аргумент о религиозном насилии, публицист настаивал на том, что государство не хочет силой обращать в православие католиков. Совпадение же религиозной и национальной идентичностей «Киевлянин» считал крайне вредным, предлагая «сделать возможным существование русских католиков, подобно тому, как есть же пра-

вославные поляки, и даже “поляки моисеева закона” — и уничтожить тот ненормальный факт, что слова “поляк” и “католик” у нас синонимы, и государство поэтому должно, нередко во вред себе, принимать исповедание человека за мерку политической его благонадежности» [Киевлянин 1869].

В задачи данной статьи не входит исследование истории практического воплощения в жизнь проекта русского католичества. Своеобразный итог ему подвел весной 1893 года П.А. Кулаковский в письме А.А. Кирееву: «Мы даже и теперь всячески прикрепляем к католицизму польскую национальность. Зашла речь о русских проповедях у католиков — несомненно русских в Западном крае, — мы первые испугались мысли об этом, и ксендзы, решившиеся произносить проповеди по-русски, давно уже выданы нами, уничтожены, съедены». Далее Кулаковский заключал: «...мы очень мало сделали, чтобы разъединить эти понятия: католицизм и полонизм. У нас “православный поляк” обозначает окатоличенного русского, какого-нибудь Петрова, Крылова и т.п., почти не говорящего по-русски и посещающего охотно костел, хотя по спискам значится православным, но в церковь не ходит. Мы не терпим, чтобы возможен был *поляк*, ставший православным: такого зовут русским, требуя от него перемены национальности» [Котов 2014: 167—168].

Тем не менее в ходе полемики вокруг «русского латинства» не просто сталкивались «довольно рыхлые и путаные комбинации представлений» [Долбилов 2010: 484], но шло *формирование* двух моделей национальной идентичности. Рождавшаяся из духа Великих реформ секулярная катковская модель национализма во многом опережала свое время. Но надежды Каткова на русское чиновничество были столь же иллюзорны, что и надежды В.Д. Скарятина на русское дворянство. Однако и православие не слишком годилось на роль «атрибута народности». Окончательному разделению катковского и позднеславянофильского подходов к национальному строительству, а также оформлению их в модели национальной идентичности помешали последующие события и более серьезные вызовы, брошенные тогдашнему «русскому движению».

Библиография / References

[Вестъ 1863] — Вестъ. 1863. № 1. 11 авг.
(Vest'. 1863. № 1. August 11.)
[Вестъ 1863а] — Вестъ. 1863. № 12. 27 окт.
(Vest'. 1863. № 12. October 27.)
[Вестъ 1866] — Вестъ. 1866. № 38. 19 мая.
(Vest'. 1866. № 38. May 19.)
[Вестъ 1866а] — Вестъ. 1866. № 68. 1 сент.
(Vest'. 1866. № 68. September 1.)
[Вестъ 1867] — Вестъ. 1867. № 32. 15 марта.
(Vest'. 1867. № 32. March 15.)
[Виленский вестник 1866] — Виленский вестник. 1866. № 146. 9 июля.
(Vilenskiy vestnik. 1866. № 146. July 9.)
[Виленский вестник 1867] — Виленский вестник. 1867. № 10. 24 янв.

(Vilenskiy vestnik. 1867. № 10. January 24.)
[Виленский вестник 1867а] — Виленский вестник. 1867. № 12. 31 янв.
(Vilenskiy vestnik. 1867. № 12. January 31.)
[Виленский вестник 1867б] — Виленский вестник. 1867. № 22. 21 февр.
(Vilenskiy vestnik. 1867. № 22. February 21.)
[Виленский вестник 1867с] — Виленский вестник. 1867. № 26. 4 марта.
(Vilenskiy vestnik. 1867. № 26. March 4.)
[Виленский вестник 1867д] — Виленский вестник. 1867. № 41. 8 апр.
(Vilenskiy vestnik. 1867. № 41. April 8.)
[Виленский вестник 1867е] — Виленский вестник. 1867. № 124. 26 окт.

- (Vilenskiy vestnik. 1867. № 124. October 26.)
 [Виленский вестник 1868] — Виленский вестник. 1868. № 1. 2 янв.
- (Vilenskiy vestnik. 1868. № 1. January 2.)
 [Долбилов 2008] — *Долбилов М.Д.* Русскоязычное католическое богослужение в Западном крае империи (1860—1870-е гг.) // Петербургские балканские и славянские исследования. 2008. № 1 (3). С. 40—60.
- (*Dolbilov M.D.* Russkoyazychnoe katolicheskoe bogoslužhenie v Zapadnom krae imperii (1860—1870-e gg.) // Peterburgskie balkanskije i slavyanskije issledovaniya. 2008. № 1 (3). P. 40—60.)
- [Долбилов 2010] — *Долбилов М.Д.* Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
- (*Dolbilov M.D.* Russkiy kraj, chuzhaya vera: Etnokonfessional'naya politika imperii v Litve i Belorussii pri Aleksandre II. Moscow, 2010.)
- [Киевлянин 1868] — Киевлянин. 1868. № 126. 22 окт.
- (Kievlyanin. 1868. № 126. October 22.)
 [Киевлянин 1868a] — Киевлянин. 1868. № 129. 29 окт.
- (Kievlyanin. 1868. № 129. October 29.)
 [Киевлянин 1868b] — Киевлянин. 1868. № 139. 21 нояб.
- (Kievlyanin. 1868. № 139. November 21.)
 [Киевлянин 1869] — Киевлянин. 1869. № 59. 22 мая.
- (Kievlyanin. 1869. № 59. May 22.)
 [Корнилов 1908] — *Корнилов И.П.* Русское дело в Северо-Западном крае. СПб.: Типогр. А.С. Суворина, 1908.
- (*Kornilov I.P.* Russkoe delo v Severo-Zapadnom krae. Saint Petersburg, 1908.)
- [Котов 2014] — *Котов А.Э.* «Будь Катков и Аксаков в живых...»: переписка А.А. Киреева с П.А. Кулаковским (1887—1908) // Русский сборник: исследования по истории России. М., 2014. Т. 16. С. 134—180.
- (*Kotov A.E.* «Bud' Katkov i Aksakov v zhivykh...»: perepiska A.A. Kireeva s P.A. Kulakovskim (1887—1908) // Russkiy sbornik: issledovaniya po istorii Rossii. Moscow, 2014. Vol. 16. P. 134—180.)
- [Коялович 1884] — *Коялович М.О.* Чтения по истории Западной России. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1884.
- (*Koyalovich M.O.* Chteniya po istorii Zapadnoy Rossii. Saint Petersburg, 1884.)
- [Ленин 1973] — *Ленин В.И.* Карьера // Полное собрание сочинений. М.: Политиздат, 1973. Т. 22. С. 43—44.
- (*Lenin V.I.* Kar'era // Polnoe sobranie sochineniy. Moscow, 1973. Vol. 22. P. 43—44.)
- [Московские ведомости 1863] — Московские ведомости. 1863. № 168. 2 авг.
- (Moskovskie vedomosti. 1863. № 168. August 2.)
 [Московские ведомости 1863a] — Московские ведомости. 1863. № 169. 10 авг.
- (Moskovskie vedomosti. 1863. № 169. August 10.)
 [Московские ведомости 1864] — Московские ведомости. 1864. № 174. 8 авг.
- (Moskovskie vedomosti. 1864. № 174. August 8.)
 [Московские ведомости 1866] — Московские ведомости. 1866. № 61. 18 марта.
- (Moskovskie vedomosti. 1866. № 61. March 1.)
 [Московские ведомости 1866a] — Московские ведомости. 1866. № 142. 7 июля.
- (Moskovskie vedomosti. 1866. № 142. July 7.)
 [Московские ведомости 1866b] — Московские ведомости. 1866. № 175. 19 авг.
- (Moskovskie vedomosti. 1866. № 175. August 19.)
 [Московские ведомости 1871] — Московские ведомости. 1871. № 36. 16 марта.
- (Moskovskie vedomosti. 1871. № 36. March 16.)
 [Неведенский 1888] — *Неведенский С.* [Щеголовитов С.Г.] Катков и его время. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1888.
- (*Nevedenskiy S.* Katkov i ego vremena. Saint Petersburg, 1888.)
- [Печерин 2011] — *Печерин В.С.* Apologia pro vita mia. Жизнь и приключения русского католика, рассказанные им самим. СПб.: Нестор-история, 2011.
- (*Pecherin V.S.* Apologia pro vita mia. Zhizn' i prikl'yucheniya russkogo katolika, rasskazannye im samim. Saint Petersburg, 2011.)
- [По поводу письма... 1860] — По поводу письма г-жи Евгении Тур // Современная летопись. 1860. № 8. С. 468—488.
- (Po povodu pis'ma g-zhi Evgenii Tur // Sovremennaya letopis'. 1860. № 8. P. 468—488.)
- [Пророки византизма 2012] — Пророки византизма: переписка К.Н. Леонтьева и Т.И. Филиппова (1875—1891). СПб.: Пушкинский Дом, 2012.
- (Proroki vizantizma: perepiska K.N. Leont'eva i T.I. Filippova (1875—1891). Saint Petersburg, 2012.)
- [Самарин 1898] — *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. М.: Д.Ф. Самарин, 1898. Т. 9.
- (*Samarin Yu.F.* Sochineniya. Moscow, 1898. Vol. 9.)
 [Санькова 2007] — *Санькова С.М.* Государственный деятель без государственной должности. М.Н. Катков как идеолог государственного национализма. СПб.: Нестор, 2007.
- (*San'kova S.M.* Gosudarstvennyy deyatel' bez gosudarstvennoy dolzhnosti. M.N. Katkov kak ideolog gosudarstvennogo natsionalizma. Saint Petersburg, 2007.)
- [Страхов 1864] — *Страхов Н.Н.* Заметки летописца // Эпоха. 1864. № 5. С. 247—254.

- (*Strakhov N.N. Zametki letopistsa // Epokha.* 1864. № 5. P. 247—254.)
- [Тур 1860а] — *Тур Е.* Госпожа Свечина // Русский вестник. 1860. № 7. Кн. 2. С. 362—392.
- (*Tur E. Gospozha Svechina // Russkiy vestnik.* 1860. № 7. Iss. 2. P. 362—392.)
- [Тур 1860б] — *Тур Е.* Письмо к редактору // Современная летопись. 1860. № 8. С. 406—411.
- (*Tur E. Pis'mo k redaktoru // Sovremennaya letopis'.* 1860. № 8. P. 406—411.)
- [Хоскинг 2001] — *Хоскинг Дж.* Россия: народ и империя (1552—1917). Смоленск: Русич, 2001.
- (*Hosking J. Russia: People and Empire, 1552—1917.* Smolensk, 2001. — In Russ.)
- [Чернышевский 1950] — *Чернышевский Н.Г.* История из-за г-жи Свечиной // Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 7. С. 300—324.
- (*Chernyshevskiy N.G. Istoriya iz-za g-zhi Svechinoy // Polnoe sobranie sochineniy.* Moscow, 1950. Vol. 7. P. 300—324.)
- [Я любил Вас любовью брата 2015] — «Я любил Вас любовью брата...»: Переписка Ю.Ф. Самарина и баронессы Э.Ф. Раден (1861—1876). СПб.: Владимир Даль, 2015.
- («Ya lyubil Vas lyubov'yu brata...»: *Perepiska Yu.F. Samarina i baronessy E.F. Raden (1861—1876).* Saint-Petersburg, 2015.)
- [Thaden 1964] — *Thaden E.C.* Conservative Nationalism in Nineteenth-Century Russia. Seattle: University of Washington Press, 1964.

Семантика имперских пространств

Андрей Тесля Украинофил в «общерусском» контексте:

ПУБЛИЦИСТИКА Н. И. КОСТОМАРОВА
1861—1883 ГОДОВ¹

Andrei Teslya

Ukrainophiles in a “General Russian” Context: The Public Writings of N. Kostomarov, 1861—1883

Андрей Тесля (Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск); доцент кафедры философии и культурологии; кандидат философских наук) atesla@mail.ru.

Ключевые слова: Н.И. Костомаров, Украина, национализм, нация

УДК: 93/94

В статье рассматривается эволюция взглядов лидера украинофильства Николая Ивановича Костомарова (1817—1885) на проблему взаимоотношения русского и украинского народов, их близости и различия, рассмотренная в политическом и идеологическом контексте 1860—1880-х гг. Костомаров тяготел к умеренным взглядам на украинофильскую программу и стремился не противостоять правительству. Он хотел преодолеть гомогенизирующий взгляд, увидеть множественность вместо утверждаемого единства. Для этого он прибегал к противопоставлению, однако, вопреки его намерениям, множественность неизменно оборачивалась противостоянием.

Andrei Teslya (Pacific National University; assistant professor; PhD) atesla@mail.ru.

Key words: N. Kostomarov, Ukraine, nation, nationalism

UDC: 93/94

The article examines the evolution of the views of the Ukrainophiles' leader Nikolai Ivanovich Kostomarov (1817—1885) on the problem of the relationship between the Russian and Ukrainian peoples, their closeness and difference, in the political and ideological context of the 1860s—1880s. Kostomarov tended toward moderate views of the Ukrainophile program and sought to avoid opposing the government. He wished to overcome the homogenizing view and to promote plurality over the unity that was being claimed. Toward this, he often contrasted the two, but despite his intentions, plurality always devolved into opposition.

1 Исследование проведено в рамках международного научно-образовательного сотрудничества по программе «Иммануил Кант» по теме: «Федералистские проекты в истории русской и украинской общественной мысли XIX века» (№ 28.686.2016/ДААД).

Николай Иванович Костомаров (1817—1885) с 1861 г. до конца жизни был лицом и лидером украинофильства (см.: [Миллер 2000: 76—95]). Следует отметить, что сам он к подобному не стремился и оказался в этом положении скорее по воле обстоятельств — впервые после девятилетней ссылки в Саратов получив дозволение в 1857 г. прибыть в Петербург (для работы в Императорской публичной библиотеке), он использовал его по прямому назначению, большую часть своего времени проводя в рукописном отделе, связи его с местными украинскими кружками мало выходили за пределы бытовых.

На лидерство среди украинофилов, на то, чтобы вырабатывать и определять программу действий, претендовал в это время в первую очередь многолетний знакомый и некоторое время даже друг Костомарова, П.А. Кулиш (в дальнейшем ставший его столь же последовательным врагом и критиком). Наделенный невероятной энергией и работоспособностью, он сразу же после получения в 1856 г. разрешения печататься (этого права он был лишен по приговору о деле Кирилло-Мефодиевского общества, в 1847 г.) принялся за публикацию историко-этнографического сборника «Записки о Южной России», два тома которых вышли в 1856—1857 гг., надеясь превратить его в периодическое издание. В следующем году одновременно на двух языках — русском и украинском — вышли издания его главного художественного произведения, романа «Черная Рада», предисловие к которому, опубликованное первоначально в славянофильском журнале «Русская беседа», призвано было стать своеобразным манифестом направления. Шевченко, вернувшийся из ссылки и получивший в конце концов дозволение жить в Петербурге, стал не только душой, но и кумиром Петербургской громады (украинского, во многом националистически настроенного, товарищества в Петербурге) — его обретенная еще в 1840-х литературная известность теперь соединилась с почтением к перенесенным им испытаниям. Гораздо менее активный и не склонный к лидерству В. Белозерский благодаря родственным связям смог найти деньги для создания нового журнала «Основа», призванного стать центром украинофильского движения.

Однако первенствующая роль выпала именно Костомарову — Шевченко умер на исходе февраля 1861 г., окончательно став центральной фигурой нового национального пантеона, Белозерский, как уже говорилось, не мог в силу личных качеств претендовать на то, чтобы стать лидером или идеологом, а Кулиш неожиданно оказался в ситуации, когда его общероссийская известность всего за несколько лет стала незначительной, по сравнению с известностью Костомарова.

В 1857 г. в «Отечественных записках» печатается «Богдан Хмельницкий» Костомарова, в следующем году вышедший уже отдельным изданием, вслед за ним публикуется «Бунт Стеньки Разина», имевший еще больший успех². В отличие от Кулиша, ориентировавшегося не столько на украинскую проблематику, сколько на украинского читателя, Костомаров обращался ко всей образованной публике Российской империи, читающей по-русски. В этом и заключалась причина влияния и убедительности Костомарова — он делал «украинский вопрос» частью общеимперского, вопрос о правах «южноруссов»

2 П.Н. Полевой вспоминал о конце 1850-х — начале 1860-х гг.: ««Богдана Хмельницкого» и «Стеньку Разина» читали с увлечением даже и такие люди, которые никогда на своем веку не развернули ни одной книги по русской истории и о нашем историческом прошлом имели самое смутное понятие, — читали как роман Вальтер Скотта, как занимательную книгу, полную пикантных подробностей» [Полевой 1891: 508].

оказывался не частным, не замкнутым в пределы нескольких губерний или некоторого круга лиц, а предполагал и более или менее явно отсылал к вопросам общей имперской политики. «Богдан Хмельницкий» мог быть прочитан, разумеется, как повествование о прошлом Малороссии, продолжение и модернизация традиций казацкого летописания, но вместе с тем допускал и принципиально иное чтение — как историю народного движения, борьбы против угнетателей, историю успешного восстания ради достижения социальной справедливости. Малороссийская конкретика оказывалась частным случаем более общей темы, которую освещали написанный на совсем ином материале «Бунт Стеньки Разина» и опубликованный в «Современнике» «Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях».

Иначе говоря, Костомаров создавал ситуацию, в которой поддержать его украинофильские стремления заинтересованы были не только «свои», но и «чужие», поскольку данная местная программа являлась частью общей — симпатизировать или поддерживать украинофильство становилось возможным не в рамках «симпатии к другому», но для отстаивания собственных интересов. И напротив — голос Костомарова в «украинском вопросе» оказывался слышен по преимуществу именно потому, что сам Костомаров никак не помещался в рамки «украинского вопроса» целиком — его голос в данном случае был одновременно и «извне» и «изнутри».

В «Двух русских народностях», одной из наиболее известных своих статей, где он выходит за пределы исторического повествования и напрямую обращается к современности, Костомаров, исходя из рамочного понятия «русский народ», дает краткий очерк генезиса и современного состояния двух «русских народностей», южноруссов и великоруссов, причем оговаривает условности названия:

В XVII веке явились названия: *Украина, Малороссия, Гетманщина*, — названия эти неволью сделались теперь архаизмами, ибо ни то, ни другое, ни третье не обнимало сферы всего народа, а означало только местные и временные явления его истории. Выдуманное в последнее время название *южноруссов* остается пока книжным, если не навсегда останется таким, потому что, даже по своему сложному виду, как-то неусвойтельно для обыденной народной речи <...> [Костомаров 1863: 232—233].

Поскольку все описание «двух народностей» строится на их последовательном противопоставлении, то удобно, на наш взгляд, изложить его в виде схемы, причем в первом столбце поместив качества, приписываемые великороссам, поскольку характеристику южноруссов Костомаров последовательно строит «от обратного»:

Великороссы	Южноруссы
Форма	Дух
Материальное	Духовное
Внешняя религиозность	Внутренняя религиозность
Практический рассудок	Воображение
Польза	Добро ³
Аффектация	Искреннее чувство
Нетерпимость	Терпимость

3 Противопоставление в данном случае строится по принципу следования прагматизму («польза») или моральному императиву («добро»).

[предположительно: Глубина]	[предположительно: Поверхность]
Общинность	Свобода
Общинное владение, «мир»	Индивидуализм, частная собственность
Единодержавие	Федерализм

Приведем в качестве примера фрагмент, где, в отличие от большинства других мест статьи, Костомаров меняет порядок противопоставления, на сей раз начиная с характеристики южноруссов, и где можно наблюдать использование нескольких из приведенных выше ключевых пар понятий:

...племя южнорусское имело отличительным своим характером перевес личной свободы, великорусское — перевес общинности. По коренному понятию первых, связь людей основывается на взаимном согласии и может распадаться по их несогласию; вторые стремились установить необходимость и неразрывность раз установленной связи и самую причину установления отнести к Божией воле и, следовательно, изъять от человеческой критики. В одинаких стихиях общественной жизни первые усвоивали более дух, вторые стремились дать ему тело; в политической сфере первые способны были создавать внутри себя добровольные компании, связанные настолько, насколько к тому побуждала насущная необходимость, и прочные настолько, насколько существование их не мешало неизменному праву личной свободы; вторые стремились образовать прочное общинное тело в вековых началах, проникнутое единым духом. Первое вело к федерации, но не сумело вполне образовать ее; второе повело к единовластию и крепкому государству: довело до первого, создало второе [Там же: 264—265].

В своем схематичном противопоставлении Костомаров сводит воедино сформировавшиеся и ставшие общепринятыми в конце XVIII — первой половине XIX века образы Малороссии (см.: [Толочко 2012]), представляющие ее как страну классической древности и одновременно естественного состояния, «Аркадию», страну прошлого и воспоминаний и т.д., добавляя к ним собственную дихотомию «федерализм» vs. «единодержавие». Если эксплицитно в тексте аналогия Греции/Рима как основы для пары Малороссии/Великороссии не проявлена, то она непосредственно присутствует, например, в опирающемся на дневниковые записи мемуарном воспроизведении Д.А. Корсаковым рассуждений Костомарова:

Я убежден, что славянские племена ближе всех арийцев к грекам. Это доказывается как сходством старославянского, так называемого «церковного» языка, с древнегреческими диалектами, так и сходством первоначального общественного строя у славян и греков. Семейно-родовой быт одновременно с общинным строем легли в основу «народоправств» (республик) и древнегреческих, и древнеславянских. Ничего подобного нет в Западной Европе. Нет у славян и аристократии в западноевропейском смысле; у славян аристократия везде является в социальном, общественном значении, а не в политическом. У великоруссов, в Московском государстве, аристократия существовала только в смысле высшего служилого класса, который был учрежден правительством для его военных и административных целей. Из всех русских племен нашего времени самый чистый славянский тип сохранился на Волыни. В южной Руси, в Киевщине и в левобережной Украине замечается сильная примесь племен тюркских и татарских. Белоруссы (кривичи) — одного племени с первоначальными великоруссами, в которых впоследствии вошло немало крови финской и татарской. Позднейшие

великоруссы — это метисы из славян, финнов и татар, и в народном характере великоруссов, и в их общественно-политическом строе, выразителем которого явилась Москва, имеется большое сходство с древним Римом: недаром московские книжники XVI в. называли Москву «третьим Римом» ([Корсаков 1906: 238–239]; беседа относится к первым месяцам 1867 г.).

«Две русских народности» стали одной из наиболее громких публикаций Костомарова — если первоначально возражения против нее, раздававшиеся публично, были умеренны, то после 1863 г. и озвученных Катковым летом того года на страницах «Московских ведомостей» прямых подозрений в сепаратистских тенденциях (см.: [Saunders 1993]) она стала одиозной. Впрочем, и непосредственно после публикации статьи Костомаров был вынужден оправдываться и объясняться — правда, не публично, а в частном письме графине А.Д. Блудовой, отвечая на ее упрёки:

Вы пишете, что коль скоро я выражаюсь *вы великоруссы, мы южноруссы*, то это уже факты разъединения. Разъединения в смысле политическом тут нет и тени: в отношении Франции или Италии — нет ни великоруссов, ни южноруссов, есть только русские, как нет ни саратовцев, ни ярославцев, ни архангельцев и проч. А внутреннего разделения невозможно избежать: ведь так житель каждой губернии в отношении жителей другой соседней скажет «мы». Что в круте администрации, то и в смысле народности: Россия — единое государство, и в отношении заграничного мира — она только Россия, но внутри она разделяется на провинции, имеющие известную степень отдельного от других подобных управления, и тут это единое государство представляется уже не единым, а разделенным. Так и русский народ: в отношении не русского не более как единый русский народ, но внутри себя он имеет этнографические отличия и уже не имеет того единства, какое сохраняет в отношении всякого не русского народа. Но как разделение на губернии не заключает в себе признаков разложения государства, так и различие в народности не имеет зародышей разложения народа, ибо ни история его, ни географическое положение, ни главные соединительные черты, скрепляющие цельность народа, не дают ни малейших задатков к такому разложению [Абрамович 1926: 82]⁴.

Это дихотомическое деление и даже использованное тут выражение Костомаров в это же время употреблял и в ином значении: в феврале 1861 г. в речи о значении исторических трудов К.С. Аксакова он говорил о «двух русских народностях» — «старой» и «новой», простом народе и образованном обществе [Костомаров 1861а: 4–6], видя существенный недостаток трудов Аксакова в том, что тот «передал первоначальному единству русской земли более, чем сколько его было на самом деле. При элементах единства были элементы самобытности земель, а их-то и не хочет знать Аксаков» [Там же: 18]). При всем различии тем работ Костомарова этого периода основное их направление оказывается общим: это стремление преодолеть гомогенизирующий взгляд, увидеть множественность вместо утверждаемого единства. И способ, к которому прибегает Костомаров, оказывается неизменным — это противопоставление, в связи с чем, вопреки его артикулируемым стремлениям, множественность неизменно оборачивается противостоянием.

4 Аргументы Костомарова не убедили графиню — напротив цитированного места она сделала помету: «Вот эти главные черты и можно исказить» [Абрамович 1926: 82].

Период с 1859 по 1861 г. был временем наибольшего (после ареста 1847 г.) радикализма воззрений Костомарова. Так, если в подцензурной статье о «двух русских народностях» он говорит о едином «русском народе», то в написанном в 1859 г. и опубликованном в январе в герценовском «Колоколе» письме, подписанном им «Украинец», Костомаров выстраивает три народа однопорядково, заканчивая свой текст призывом: «Пусть же ни великороссы, ни поляки не называют *своими* земли, заселенные нашим народом», а непосредственно перед этим пишет: «В будущем славянском союзе, *в него же веруем и его же чаем*, наша Южная Русь должна составить отдельное гражданское целое на всем пространстве, где народ говорит южнорусским языком <...>» [[Костомаров] 1860: 503].

Здесь можно видеть, что чаемый союз мыслится как союз не только народов, но и «земель», так что хотя сам Костомаров отвергал упреки в стремлении к выделению территориальному, однако сомнения, возникавшие даже у весьма расположенных к нему читателей, были явно не безосновательными. Так, графине А.Д. Блудовой Костомаров в 1861 г. отвечал:

Вы пишете, что южнорусская народность распространяет свои притязания на Екатеринославскую и Херсонскую губернии. Если бы могла быть речь о каком-нибудь размежевании и разделении политическом, тогда вопрос об отношении народности к территории мог сделаться вопросом важным, но как этого нет и быть не может, то для дела южнорусской народности вовсе не нужно определение территории в ином каком-нибудь смысле, кроме этнографического. Так как оба вида народности не два народа, но единый народ в двух видах, то естественно, что страна южнорусской народности есть та, где находится эта народность, как равно и великорусской народности край там, где она есть. Села великорусские в Черниговской губернии я присоединяю к понятию Великоруссии, равно села южнорусские в Саратовской губернии к Малороссии. <...> Если мы говорим *южнорусская*, то разумею здесь первоначальное гнездо, а в настоящее время — в Петербурге, в квартире редактора «Основы» я считаю себя в Малороссии, и равно в квартире переселившегося в Киев москвича чувствую себя в Великороссии. Границ территориальных нет и *быть не должно* [Абрамович 1926: 82–83].

Вряд ли следует здесь видеть преднамеренную ложь или лукавство со стороны Костомарова, вынужденного, разумеется, не высказывать до конца свои мысли, а вполне возможно, что и не до конца додумывать их — столь отдаленные и масштабные чаяния, как федеративный славянский союз или федеративное преобразование Российской империи и способы устройства этой федерации, были предметом разнообразных мечтаний, легко способных сменять друг друга — именно потому, что для них не находилось «упора» в реальности.

Необходимо отметить, что тяготение Костомарова к умеренным взглядам и стремление не противостоять правительству, а по возможности найти поддержку у него или по крайней мере отыскать по отношению к нему некий *modus vivendi* вполне обнаруживаются уже к 1862 г. Так, если весной 1861 г., отвечая на вопрос Д.Л. Мордовцева о расприх в редакции «Основы», Костомаров писал: «...трудно решить, кто виноват в том смятении, какое царствует в малороссийском кружке, о чем пишет вам Кулиш. Что касается меня, то я нахожусь и с Белозерским, и с Кулишом одинаково в хороших отношениях. У них разные вкусы» [Мордовцев 1885: 628], то в декабре 1862 г., уже после прекращения издания «Основы», он уведомлял А. Конисского: «...с г-ном Белозер-

ским теперь у меня ничего общего нет; и если Вы имеете к нему дело, то ему и пишите» [Возняк 1925: 73]⁵.

Если многие члены кружка были в это время воодушевлены планами создания современной украинской литературы, то, согласно, например, воспоминаниям В.А. Менчица, суждения о перспективах украинского языка, высказываемые Костомаровым в Петербургской громаде, не отличались от тех, которые он защищал публично:

Как-то громадяне обратились, помню, к Н.И. Костомарову с таким вопросом: «Как-ков ваш взгляд, Николай Иванович, на долю, которая ждет украинский язык и наши народные особенности?» На это Костомаров ответил так: «Как ни печально, как ни тяжело будет вам, г. громадяне, выслушать, а мне высказать, но — “Платон мне друг, а правда — еще больший друг!” — гласит латинская пословица... Я полагаю, на основе того, что мне довелось видеть, слышать, читать и изучать, что украинские народные особенности, такие дорогие нашему сердцу, сохранятся только до того времени, пока железные дороги, телеграф и другие достижения цивилизации не пройдут во все закутки нашей родной земли. А как это свершится, они полностью исчезнут с лица земли, как воск растопляется от огня. Ничего от этих особенностей не останется. Общий литературный русский язык целиком выдавит украинский язык, даже из семьи, отовсюду, даже из самых глухих углов. Таков мой взгляд» [Менчиц 1925: 67—68].

Произошедшее разочарование и переход к последовательно-умеренным взглядам на украинофильскую программу проясняет письмо Костомарова к Н.А. Белозерской от 4 августа 1864 г., в котором он делится своими наблюдениями над «чешским национальным возрождением»:

Я <...> вынес такое впечатление, что в этом народном возрождении Чехии много искусственного, и в сущности сделано для него не так много, как может казаться с первого взгляда. Я был прежде в Праге в 1857; приехавши туда через семь лет, я мог заметить громадное распространение чешского языка. Все это так, но побуждение? Составляет ли он для образованных чехов необходимость, как для нас русский? Мало. Все они знают по-немецки, и не только знают, — и мыслят, и живут, и чувствуют по-немецки: это немцы с ног до головы, надевшие на себя одежду дедушек и бабушек, выкопавши ее из старой кладовой. Для народа — иное дело, и то для сельского, а не для пражского. Чехи с своим возрождением то же, что наши малороссияне, которые мыслят по-русски и хотят преобразиться в то, чем перестали быть давно, — немного разве дальше шагнули чехи. Доказательство, что многие патриоты пишут по-немецки, потому что это им легче, а читает лекции по-немецки большая часть [Белозерская 1886а: 328—329].

И далее:

-
- 5 Промежуточную фазу отношений можно наблюдать, например, в письме к жене В. Белозерского Н.А. Белозерской: «Чем больше я присматриваюсь к малороссийскому обществу, тем более оно охлаждает меня... Нет ни капли истинной любви к общему делу и готовности пожертвовать своими личными побуждениями добру ближних. Ваш Василий Михайлович положительно выше их всех нравственно, хотя не без качеств своего общества... поэтому как бы я с ним ни рассорился, как бы ни готов был внутренне разругать его, а все-таки, как осмотришься кругом да поищешь между малороссиянами человека, так и кончишь дело тем, что ему первому и протянешь руку» ([Белозерская 1886: 621]. Письмо от 6 апреля 1862 г.).

Истинное удовольствие я получил в Белграде <...>. В Сербии совсем не то, что в Чехии, вот здесь живое неискусственное славянство: и низенькие домики, и фонарей нет, и тротуаров почти нет, а если где есть, то на них удобнее падать, чем ходить, и лень, и беспорядок — вот здесь славянство; его и чуешь, и видишь, и слышишь; прибавим — тут и радушное гостеприимство и хлебосольство, и семейная простота жизни, и доброта с наивностью, все черты нравов славянского племени. Сербы *славянее* нас самих [Белозерская 1886а: 329—330].

В 1863 г. Костомаров убеждал А. Конисского сторониться всякого радикализма и сепаратизма: «Больше всего нужно о том стараться, чтобы правительство на наше дело волком не глядело, чтобы не боялось никаких бунтов или какого-то там сепаратизму и не мешало бы на нашем языке народу науку излагать» [Возняк 1925: 75; письмо от 25 февраля 1863 г.]. Собственно, эта программа в последующие годы у Костомарова не менялась: в зависимости от политической ситуации он то был вынужден молчать, то, полагая момент благоприятным, пытался провести ее в печать. Наиболее отчетливое выражение она получила уже в последние годы жизни Костомарова, в его программной статье «Задачи украинофильства» (1882):

Наша малорусская литература есть исключительно мужицкая, так как и народа малорусского, кроме мужиков, почти, можно сказать, не осталось. А потому эта литература должна касаться только мужицкого круга. Есть два пути, на которых она может выказать свою деятельность. Первый путь — знакомить интеллигентное общество, как посредством произведений чисто научных, так и художественно-литературных, с народной жизнью во всех ее проявлениях. Второй путь — поднимать умственный горизонт самого народа, сообщая ему в доступной для него форме общечеловеческие знания [Костомаров 1928: 296].

В текстах 1861 г. Костомаров чаще всего обращался к понятию «русского мира» (см.: [Костомаров 1863: 22, 154, 171, 175 и сл.]) — и если в письме к Герцену он уравнивал три народа (великоруссов, украинцев и поляков), то здесь, напротив, объединял великоруссов и южноруссов в понятии «русского мира», которому оказываются противопоставлены поляки. На наш взгляд, возвращение к данной понятийной схеме обусловлено не только и даже не столько конъюнктурными соображениями и цензурной невозможностью утверждения «южноруссов» в качестве отдельного народа, а сложностью в рамках историографической концепции Костомарова утверждать единство «Южной Руси» в тех пределах, в каких он ее мыслил. Наследуя казацкой летописной традиции и возникающей на ее основе историографии конца XVII — начала XIX в., Костомаров не мог включить в историю «Южной Руси» Галицию и Буковину, испытывал затруднения со включением правобережной Украины с XVIII в. и т.д. — в этом смысле ему была необходима рамка «русского мира», которая надстраивалась над уровнем казацкой историографии и давала теоретическую возможность подобного включения. Во вступительной лекции в С.-Петербургском университете в ноябре 1859 г. Костомаров говорил, что как «к единой истории свободной Греции будет всегда принадлежать судьба Фессалии и островов Архипелага, остающихся под властью Турции», так и судьба Червонной Руси, хотя она «в XIV веке выступила из политической связи с остальной Россиею, <...> до тех пор будет принадлежать к русской истории, пока народ червонно-русский не потеряет русского языка и начал русской жизни» [Костомаров 1861:

10]. Казацкая «рамка», начинающая отсчет с XVI в., не позволяла обосновать единство исторического субъекта-объекта, тождественность «народа» в «Червонной Руси» с «народом» «наднепряньским», тогда как через понятие «русского мира» это затруднение снимается без особых проблем⁶.

В русской историографии Костомаров известен в первую очередь своей уже упоминавшейся выше «федеративной» теорией Древней Руси. Если федеративные настроения и чаяния были близки ему с 1840-х годов и ярко выразились в созданной им «Книге Бытия Украинского народа» (см.: [Тесля 2015]), то развернутое применение к русской истории они нашли только в начале 1860-х, в двух знаковых публикациях журнала «Основа»: «Мысли о федеративном начале Древней Руси» (1861) и «Две русских народности» (1861) и в вышедшей в том же году объемной статье «Черты народной южнорусской истории», призванной раскрыть заявленные тезисы на конкретном историческом материале. В последующем Костомаров неоднократно затрагивал данную проблематику, как в исторических сочинениях, так и в публицистических откликах, однако основным положениям предложенной концепции он оставался верен до конца жизни.

Прежде всего Костомаров предлагает видение *единой* русской истории, субъектом которой является «народ». Само это единство не лишено проблематичности, т.е. оно является «складывающимся», «образующимся» в ходе истории, а не данностью: в этом можно видеть влияние Н.А. Полевого, о котором Костомаров упомянул в своей вступительной лекции в Петербургском университете в 1859 г. наряду с Карамзиным [Костомаров 1861: 7], проблематизировавшим понятие «государство» применительно к русской истории и сделавшим предметом своего рассмотрения не историю государства как некой данности, но историю его формирования — и, следовательно, поставившим вопрос о силах и условиях, приведших к образованию единого русского государства⁷. Трактую по-своему содержание и смысл «Истории русского народа» Полевого, Костомаров утверждал: «Названием, данным своему сочинению, он заявлял требование, что история русского государства недостаточна, необходима еще история народа. <...> Одно только название более всего осталось многозначительным для нас от этого творения талантливого писателя» [Костомаров 1861: 7].

-
- 6 Ср. аналогичное по функции использование понятия «русский мир» в тексте М.А. Максимовича 1859 г., обращенном к М.П. Погодину: «Я думаю, что мой киевский взгляд на Богдана сойдется с твоим московским — в одно *русское воззрение*, так же как Московская и Киевская Русь — две стороны одного *русского мира*, надолго разрозненные и даже противостоявшие друг другу, сошлись *воедино* — усилиями Богдана. Его постоянное устремление к Московской Руси, во все продолжение своей шестилетней многотрудной борьбы с поляками — его усилиями совершенное отторжение целой Малороссии от Польской короны и присоединение к державе Русской, его крепкое состояние и деятельное участие козацкими силами в отвоевании Смоленска и всей Белоруссии Москвою от Польши; и то, что в 1654 году царь *Великой* России стал царем *Малой*, а вслед за тем и *Белой* Руси, и положено было тогда счастливое начало великому историческому делу — *воссоединению всей Владимировой Руси*, и поныне еще не вполне dokonченному: все это дает Богдану полное право, чтобы память его была драгоценною и для великороссиянина, и для всей Руси» [Максимович 1876: 397].
- 7 Сын Н.А. Полевого П.Н. Полевой писал о временах своего студенчества: «Помню, что меня лично привлекало к Костомарову и еще одно случайное обстоятельство: внешностью своею он сильно напоминал мне моего покойного отца, к которому он всегда относился с большим уважением» [Полевой 1891: 516].

Но поскольку народ оказывается имеющим свою историю, он перестает быть «естественной данностью». Возникает вопрос о том, что привело его к единству и что удерживает, воспроизводит это единство вновь и вновь. Племенное родство само по себе, как постоянно отмечает Костомаров, недостаточно — мало того, что с течением времени оно, вне других фактов, способно лишь ослабевать, так и сами «племенные» или «народные» черты мыслятся им в качестве изменяющихся во времени. По крайней мере на таком взгляде настаивал он в 1877 г., утверждая:

Я всегда был далек от того, чтобы признавать за народами свыше данные им свойства, остающиеся неизменными при всяких видоизменениях их жизни и быта; напротив, думал и продолжаю думать, что всякие нравственные свойства, кажущиеся нам присущими какому-нибудь народу или обществу, есть следствие разных историко-бытовых условий течения предшествующей народной и общественной жизни. Иные остаются долговременнее и так сказать прилипают к народному характеру до того, что мы готовы в них видеть что-то судьбою данное, другие — быстрее стираются под влиянием новых поворотов истории [Костомаров 1928: 260].

То, что позволило всем народностям, образующим «народную стихию общерусскую», называть и сознавать себя «Русской Землей», это: 1) происхождение, быт и язык; 2) единый княжеский род и 3) христианская вера и единая Церковь [Костомаров 1863: 24]. В числе общих начал, присущих всем славянам, Костомаров в первую очередь, «как коренное учреждение народное», называл «вече, народное собрание» [Костомаров 1863: 27]. В этом рассуждении 1863 г. Костомаров использует другой риторический арсенал и обращается к иной логике, — логике «начала», т.е. изначальных, подлинных свойств (что обуславливало, в частности, остроту споров о «начале Руси», «призвании варягов» и т.п., поскольку изначальное важно не только как обуславливающее последнее, но и как явление основных свойств и качеств в их изначальной чистоте). Здесь можно видеть, как переопределяется «народность» — не только не отвергая, но и активно используя ключевое понятие официальной идеологии, Костомаров вкладывает в него совершенно иное содержание — теперь основной чертой народности оказывается наличие «веча». Эта черта, как и целый ряд других (в частности, далее Костомаров говорит о «любви к свободе» как о «заветном чувстве всего своего (т.е. славянского. — А.Т.) племени», которое «сохранялось долго у русских славян, несмотря на противодействующие обстоятельства» [Костомаров 1863: 28]), может быть утрачена в ходе исторической жизни, но поскольку речь идет о свойствах «племени», т.е. используется натурализирующая лексика, то утрата оказывается искажением подлинного, отклонением от природы. Вопреки приведенному выше социологизирующему суждению Костомарова 1877 г., в его текстах как 1860-х, так и последующих годов гораздо более отчетливо звучит язык натурализирующий, который не снимается приводимыми оговорками, обе логики сосуществуют не только в текстах, но и в концепции Костомарова.

Наиболее показательным в данном отношении является обсуждение Новгорода и иных «северорусских народоправств» (т.е. Пскова и Вятки). С одной стороны, Костомаров вновь и вновь утверждает, что «вечевой уклад» является общим для всех русских земель и, следовательно, невозможно выводить вечевые порядки в Новгороде из особых свойств племени, напротив, по Новгороду можно судить о вечевых порядках в других русских землях, о которых в этом

отношении нам известно гораздо менее, т.е. Новгород здесь выступает не как исключение, а, напротив, как типичный случай [Костомаров 1868: 55]. Однако вместе с тем Костомаров подчеркивает: «Новгород, — как и Южная Русь, — держался за федеративный строй даже тогда, когда противная буря уже сломила его недостроенное здание» [Костомаров 1863: 244].

Объяснением этому становится предполагаемое Костомаровым родство славян ильменских с южнорусскими⁸, причем и здесь возникает любопытная двойственность. С одной стороны, в практически синхронной с теми публикациями, где он развивает свои взгляды на «федерализм» в Древней Руси и историческое развитие русского народа, полемике с польскими публицистами Костомаров отстаивает принцип, согласно которому национальность определяется языком. Так, в том же, 1861 г. он пишет в статье «Ответ на выходки газеты (краковской) “Czas” и журнала “Revue Contemporaine”»:

Великоруссы — не финны, а славяне, потому что не знают финских наречий, а говорят славянскими (курсив наш. — А.Т.). Правда, крови финской много вошло в великорусскую, но она ассимилировалась славянскою. Подмесь финского племени не осталась без некоторого влияния на материальный и интеллектуальный строй великорусского народа, но господство осталось за славянскою стихией. Мы не можем называть славянами мекленбургцев на том лишь основании, что их предки некогда были славяне, — хотя славянское происхождение мекленбургцев видно и в их перерожденном виде: тем не менее, как ни рассуждай, а все-таки они останутся немцами. Так же точно мы не считаем русскими тех фамилий, которые давно уже ополячились. *Забывтое происхождение ничего не значит и может составить сущность только археологических рассуждений* (курсив наш. — А.Т.) [Костомаров 1928: 79].

И далее:

И что вы думаете выиграть, утверждая, что великорусский народ уральского происхождения? Этим не выкинете его из славянской семьи, откуда бы ни происходили его предки. Будут ли великоруссы — ославянившиеся уральцы, или смесь племени, или, и что всего вернее, — славянское племя с примесью чудского и тюркского, они все-таки останутся тем, что они теперь, т.е. славянами, потому что говорят наречием славянского корня и никак не могут быть тем, чем, по вашим предположениям, были в незапамятные времена [Костомаров 1928: 83].

Итак, «народность», «национальность», «племя» определяются по языку — собственно, таким образом Костомаров и доказывает родство новгородцев обитателям Южной Руси. Но следствием из, на его взгляд, доказанного языкового родства оказывается теперь уже общность происхождения, свойства природные. Так, поскольку «Великий Новгород в этнографическом отношении составлял ветвь несравненно ближайшую к южнорусской народности, чем к великорусской и кривской» [Костомаров 1863: 35], то он «долго и постоянно склонялся к Южнорусской Земле, и только после внутренней борьбы, когда притом запустение Киева лишило его тяготеющей силы, начал тяготеть к Вос-

8 К этому сюжету Костомаров обращался неоднократно, вновь и вновь повторяя свое утверждение, несмотря на критику, которой оно подвергалось со стороны историков, этнографов и филологов. См., например: [Костомаров 1863: 36; Костомаров 1868: 3—13].

точной Руси, но всегда с каким-то внутренним противодействием, с готовностью склониться в другую сторону, если бы представился случай» [Костомаров 1863: 34, ср.: Костомаров 1868: 58].

Как бы то ни было, «русский народ» оказывается осознающим свое единство благодаря трем указанным выше началам:

...начала, соединяющие земли между собою, хотя и были достаточны для того, чтобы не допустить эти земли распасться и каждой начать жить совершенно независимо от других, но не настолько были сильны, чтобы заглушить всякое местное проявление и слить все части в одно целое. И природа, и обстоятельства исторические — все вело жизнь русского народа к самобытности земель, с тем, чтобы между всеми землями образовалась и поддерживалась всякая связь. Так Русь стремилась к федерации и федерация была формой, в которую она начала облекаться. Вся история Руси удельного уклада есть постепенное развитие федеративного начала, но вместе с тем и борьба его с началом единой державы [Костомаров 1863: 56].

Ключевым понятием для удельно-вечевого периода выступает «земля» — понятие это проясняется Костомаровым в работе 1870 г. «Начало единой державы в Древней Руси»: «Каждый из народцев (в момент “призвания варягов”. — А.Т.) составлял уже до некоторой степени политическую единицу под названием “земля» [Костомаров 1872: 6], принадлежностью которой было вече. Так, касаясь разнообразных единиц, на которые делилась Древняя Русь («земли», «княжения», «волости»), Костомаров утверждает:

Все эти единицы поземельного деления переплетались между собою, то совпадая одна с другой в своем значении, то отделяясь одна от другой, смотря по обстоятельствам, так как, в период до татар, все подлежало случаю и течению обстоятельств; но всегда оставалось прежнее понятие: где земля, там должно быть вече — земское собрание; ни волость, ни княжение не обуславливали непременно бытия веча, хотя и часто случалось, что на вече сходились люди, составлявшие одну волость, одно княжение; понятие о вече, однако, принадлежало исключительно только понятию о земле. Вече было выражением автономии последней, а не волости, не княжения [Костомаров 1872: 23]⁹.

Естественный ход истории, согласно Костомарову, вел к тому, что федеративные начала с течением времени привели к образованию уже вполне отчетливой федерации, однако татарское нашествие переменяло ход истории, нарушив баланс центробежных и центростремительных сил, дав в конечном счете решительный перевес вторым¹⁰.

9 Ср. с критическим замечанием в адрес М.О. Кояловича: «Заметим г. Кояловичу, что он неправильно употребляет слово “княжество”. У нас княжеств до татар не было, и нигде в древности не употреблялось это слово. Под словом “княжество” можно разуметь определенную территорию, принадлежащую государю, под именем князя. У нас не было таких территорий. У нас были земли и княжения в землях, а не княжествах; иными словами — наши области до татар получали свою автономию не по принадлежности их лицу владетеля в определенных границах, а по населению, составлявшему группу, которая сознавала свою цельность и отличие от других. Это и называлось *землею*» [Костомаров 1928: 208].

10 В наиболее радикальной форме этот взгляд нашел отражение во вступительной лекции Костомарова 1859 г.; в более поздних печатных работах он неизменно подвергался смягчению и более или менее существенному изменению. В лекции он говорит

К 1870 г. Костомаров пересмотрел ряд положений своей теории. Хотя принципиально взгляд его на ход русской истории не изменился, но внесенные поправки весьма значимы с точки зрения истории общественной мысли. Вопреки распространенному мнению¹¹, отнюдь не публичная речь о К. Аксакове, произнесенная Костомаровым в 1861 г., является точкой наибольшего сближения историка со славянофильской доктриной (хотя и является моментом максимальной его личной близости к славянофилам¹²). Теперь Костомаров говорит о безгосударственности как качестве, присущем славянам, воспроизводя известный славянофильский тезис, правда, в качестве «едва ли не самой чистой славянской нации» называя Польшу:

Где только славяне были предоставлены самим себе, там они оставались с своими первобытными качествами и не выработали никакого прочного общественного строя, пригодного для внутреннего порядка и внешней защиты. Только крепкое завоевание или влияние иноземных стихий могло бы привести их к тому. Шляхетская Польша, едва ли не самая чистая славянская нация, сохранившая в своем национальном характере те черты, которыми отличались славяне за тысячелетия, резко показала истории, к какому политическому и общественному строю способны прийти Славяне, предоставленные самим себе, свободно развивая свои древние национальные задатки. Польша выработала себе республику, но без тех свойств, которыми может держаться республика; дала своей республике монархическую внешность, но питала постоянное отвращение к монархии и вечно опасалась превратиться в настоящую монархию. Так делалось в той славянской стране, которая менее других подвергалась насильственному давлению иноземщины. В Чехии монархический элемент был вносный, немецкий. В Сербии он явился временным продуктом византизма и не представлял ничего прочного. *Но Русь сроднилась с монархизмом более, чем все другие славяне; только здесь он вошел в плоть и кровь народа до такой степени, что русское политическое общество сделалось почти немислимым иначе, как в образе монархии* [Костомаров 1872: 4 (курсив наш)].

Усложняется и трактовка веча — теперь Костомаров предлагает специфическое политико-правовое истолкование отношений «земли» и веча, согласно которому последнее «само по себе» не обладало верховной властью, «оно было только ее выражением; верховная власть по внутреннему смыслу оставалась не за вечем, а за землею» [Костомаров 1872: 37], т.е. вече понимается как презентант «земли». Более того, теперь Костомаров прямо воспроизводит при-

об этом так: «С половины XII века удельный принцип (отметим неясность терминологии — ранее в том же тексте, на с. 15, он назван “федеративным”, противопоставленным “единодержавию”. — А.Т.) совершенно берет верх; вместо произвольных княжеств выступает самобытность земель по природному делению: на севере расцветает Новгород, готовый дать новый толчок русскому удельному миру. Вдруг — нахлынули монголы. *Это плачевное событие остановило механизмы русской жизни* (курсив наш. — А.Т.). Удельность, не достигши полноты своей, так сказать, застывает в своем течении, замерзают ее горячие силы, двигавшие ее вперед» [Костомаров 1861: 16].

11 См., например: [Семевский 1886: 200].

12 См.: [Мотин 2012: 31–34]. В 1859 г., например, Костомаров предлагал или отдать рукопись «Богомолов» в московский славянофильский журнал «Русская беседа», или переслать к нему, в Петербург, отмечая попутно: «...и здесь пристроить можно, и там» [Мордовцев 1885: 621].

меры отсылки к «земле», которые девятью годами ранее критиковал в работах Аксакова [Костомаров 1861а: 26—28, 30—31], не повторяя тогдашних оговорок:

Так как в глубокой древности древлянские послы говорили Ольге, что их послала земля, так в смутное время Московского государства, в начале XVII века, московские послы под Смоленском говорили полякам, что их послала земля с своим приговором и они сами могут быть только слепыми исполнителями ее воли. Между тем в это время земля уже составляла совокупность тех частей, из которых каждая считала себя некогда самостоятельной землей, и притом уже в смысле единогодержавного тела. Дело защиты отечества против поляков и восстановления престола совершилось именем всей земли. Несмотря на самодержавную власть царей, они сами все еще иногда питали уважение к земле, собирали земские думы и желали знать мысль и волю земли, которой управляли. Только с преобразованием России на западный образец забылось значение земли под влиянием новой бюрократии, не имевшей с землей ничего общего по роду происхождения [Костомаров 1872: 37].

Разумеется, нельзя сказать, что Костомаров отказался от своей критики К. Аксакова — если сравнить соответствующие места в разборе исторических трудов последнего и соответствующие места из статьи 1870 г. о «начале единогодержавия», то легко увидеть, что подход остался неизменным, но там, где ранее Костомаров подчеркивал различие — в частности, толкуя земские соборы как такое явление, которое «могло также и не быть, но могло случиться и действительно случилось. <...> Кажется, его вызывала не какая-нибудь законная потребность в истории народа, а аналогия с духовными соборами» [Костомаров 1861а: 24], проявление «художественной природы» [Там же: 22] Ивана Грозного, теперь подчеркивается преемственность, наличие и среди единогодержавия XVII в. следов иного, противоположного начала, а не только в Стеньке Разине и в понизовской вольнице [Костомаров 1863а: 211—212], как склонен был считать Костомаров одиннадцатью годами ранее.

Общеизвестно, что, будучи автором так называемой «федеративной» теории Древней Руси, Костомаров никогда публично не применял ее к современности — федеративный принцип выступал как принцип объяснения давно прошедших времен. Выражая общераспространенный среди сторонников «большой русской нации» взгляд, М.О. Коялович писал: «...наши малороссийские федералисты или, как иначе их называют, сепаратисты» [Коялович 1901: 424], но Костомаров отвергал упрек в «федерализме» применительно к современности в ситуации 1864 г., сразу же после Польского восстания, отвечая правоведу А.Л. Лохвицкому на его замечания, сделанные в докторской диссертации [Лохвицкий 1864]:

Откуда это взял г. Лохвицкий, будто я полагал, что надобно «дать жизнь» удельным землям в настоящее время? Смею уверить многоуважаемого г. Лохвицкого, что мой мозг еще не дошел до такого состояния, чтобы я считал возможным разделить Россию по тем племенам, которые перечисляются на первых страницах нашей летописи, и поднять из векового праха дреговичей, кривичей, радимичей и вятичей. Если я говорил об изучении этнографических следов нашей старины, то для узнания и уразумения старины, а никак не ради ее воскрешения, не с задними целями устраивать Россию на будущее время каким-то федеративным способом на основаниях древнего удельно-вечевоего уклада русской жизни [Костомаров 1928: 202].

Только достаточно внимательный читатель мог заметить, что Костомаров отвергал упрек и подозрение в желании «устроить Россию» именно «на ос-

нованиях древнего удельно-вечевого уклада» — от других способов и форм федеративного устройства он не отрекался. Гораздо более откровенен был Костомаров в письме к гр. А.Д. Блудовой 1861 г., отвечая на ее аналогичный упрек: «Я действительно сочувствую федеративному устройству будущей России, но какому? Отнюдь не по народностям, ибо это неудобно и нелепо, не принесло бы никакой пользы. Но я желал бы самоуправления областей, как великорусских, так и южнорусских, так и смешанных. Но от такой федерации (если это можно назвать федерацией) и Вы не прочь» [Абрамович 1926: 86]¹³.

Показательно, сколь упорно он сохранял приверженность понятиям «федерализм» и «федерация» применительно к Древней Руси. Так, в споре с Лохвицким он настаивал:

...повторяю, древняя Русь, разделенная на земли, раздробленная на княжения, составляла федерацию, признаки которой соответствовали той степени, на какой стояло развитие образованности под условием местности и исторических обстоятельств. Что эта федерация не была совсем похожа на федерацию XVIII и XIX века — это само собою разумеется, и даже странно было бы искать такого сходства в подробностях общественного устройства. Их сходство ограничивается главными признаками, по которым отличается федерация вообще в истории человеческих обществ: самобытностью частей и существованием связи между частями, которая побуждает все части вместе сознавать себя одним телом. Если ж мы в наших понятиях об общечеловеческих явлениях отойдем от главных признаков и станем измерять их по мерке западноевропейского развития, то дойдем до того, что перестанем признавать азиатцев людьми, потому что они во многом не похожи на европейцев [Костомаров 1928: 202].

Но еще более показательно, что, когда Д.И. Багалея в 1883 г., оценив «основную мысль федеративной школы» как «верную и плодотворную», отметил неудачность термина «федеративный» для обозначения тогдашнего политического строя России» и предпочел термины «областной» или «областность» [Багалея 1883: 216—217], то ответ Костомарова был незамедлителен — уже в следующем номере «Киевской старины» он отстаивал термин «федеративный», поскольку «термин область, областность, областные возможны в самом централистичном государстве и совсем не идут туда, где мы хотим усматривать начала федерации» [Костомаров 1928: 303]). Усмотрение же «начал федерации» в прошлом, как и «веча» в качестве общеславянского начала, давало возможность Костомарову видеть будущее как возвращение к своему — здесь его демократические и консервативные устремления оказывались в гармонии.

13 Наиболее отчетливое публичное выражение представления Костомарова о желаемом устройстве Руси получили в момент Польского восстания 1863 г., в газете Военного министерства «Русский инвалид». Костомаров писал: «...наша русская история, ее главный смысл, заключается в колебании между единством всех земель вместе и самобытностью каждой порознь, между разнообразием народоправления и централизациею единовластия. <...> Идеал нормального сочетания того и другого не был никогда достигаем; даже история представляет более отклонений от него, чем приближений; но были исторические личности, которые сознательно для своего времени вели к тому свой народ, и если не совсем успешно, то поставляли плодотворные начала для будущих времен», — к таким личностям Костомаров относил князя Владимира Мономаха и Богдана Хмельницкого [Костомаров 1928: 149].

Библиография / References

- [Абрамович 1926] — *Абрамович Н.* З листування М.І. Костомарова з графинею А.Д. Блудовою // Україна. 1926. Кн. 5. С. 80—90.
(Z listuvannya M.I. Kostomarov z grafineyu A.D. Bludovoyu // Ukraïna. 1926. Vol. 5. P. 80—90.)
- [Багалей 1883] — *Багалей Д.Н.* Удельный период и его изучение // Киевская старина. 1883. № 2. С. 201—218.
(*Bagaley D.N.* Udel'nyy period i ego izuchenie // Kievskaya starina. 1883. № 2. P. 201—218.)
- [Белозерская 1886] — *Белозерская Н.А.* Николай Иванович Костомаров в 1857—1875 гг. Воспоминания // Русская старина. 1886. Т. 49. № 3. С. 609—636.
(*Belozerskaya N.A.* Nikolay Ivanovich Kostomarov v 1857—1875 gg. Vospominaniya // Russkaya starina. 1886. Vol. 49. № 3. P. 609—636.)
- [Белозерская 1886а] — *Белозерская Н.А.* Николай Иванович Костомаров в 1857—1875 гг. Воспоминания // Русская старина. 1886. Т. 50. № 5. С. 327—338; № 6. С. 615—654.
(*Belozerskaya N.A.* Nikolay Ivanovich Kostomarov v 1857—1875 gg. Vospominaniya // Russkaya starina. 1886. Vol. 50. № 5. P. 327—338; № 6. P. 615—654.)
- [Возняк 1925] — *Возняк М.* Листування Костомарова з Кониським // Україна. 1925. Кн. 5. С. 72—77.
(*Voznyak M.* Listuvannya Kostomarova z Konis'kim // Ukraïna. 1925. Vol. 5. P. 72—77.)
- [Корсаков 1906] — *Корсаков Д.А.* Из воспоминаний о Н.И. Костомарове и С.М. Соловьеве // Вестник Европы. 1906. Кн. V. № 9. С. 221—272.
(*Korsakov D.A.* Iz vospominaniy o N.I. Kostomarove i S.M. Solov'evе // Vestnik Evropy. 1906. Vol. V. № 9. P. 221—272.)
- [Костомаров 1860] — <*Костомаров Н.И.*> Україна (Письмо к издателю «Колокола») // Колокол. 1860. Л. 61. 15 янв.
(<*Kostomarov N.I.*> Ukrayna (Pis'mo k izdatelyu «Kolokol») // Kolokol. 1860. № 61. 15 January.)
- [Костомаров 1861] — Лекции по русской истории профессора Н.И. Костомарова. Составлены по запискам слушателей П. Г[айдебуро]вым. СПб.: Тип. В. Бибиковой и комп., 1861. Ч. I: Источники русской истории.
(*Lektsii po russkoy istorii professora N.I. Kostomarova.* Sostavleny po zapiskam slushateley P. G[aydeburo]vym. Saint Petersburg, 1861. Part I: Iсточniki russkoy istorii.)
- [Костомаров 1861а] — О значении критических трудов Константина Аксакова по русской истории. Написано для произнесения на акте Императорского С.-Петербургского университета в 1861 году исправляющим должность ординарного профессора по кафедре русской истории Н. Костомаровым. СПб., 1861.
(O znachenii kriticheskikh trudov Konstantina Aksakova po russkoy istorii. Napisano dlya proizneseniya na akte Imperatorskogo S.-Peterburgskogo universiteta v 1861 godu ispravlyayushchim dolzhnost' ordinarnogo professora po kafedre russkoy istorii N. Kostomarovym. Saint Petersburg, 1861.)
- [Костомаров 1863] — *Костомаров Н.И.* Исторические монографии и исследования. СПб.: Издание Д.Е. Кожанчикова, 1863. Т. 1.
(*Kostomarov N.I.* Istoricheskie monografii i issledovaniya. Saint Petersburg, 1863. Vol. 1.)
- [Костомаров 1863а] — *Костомаров Н.И.* Исторические монографии и исследования. СПб.: Издание Д.Е. Кожанчикова, 1863. Т. 2.
(*Kostomarov N.I.* Istoricheskie monografii i issledovaniya. Saint Petersburg, 1863. Vol. 2.)
- [Костомаров 1868] — *Костомаров Н.И.* Исторические монографии и исследования. СПб.: Издание Д.Е. Кожанчикова, 1868. Т. 7.
(*Kostomarov N.I.* Istoricheskie monografii i issledovaniya. Saint Petersburg, 1868. Vol. 7.)
- [Костомаров 1872] — *Костомаров Н.И.* Исторические монографии и исследования. СПб.: Издание Д.Е. Кожанчикова, 1872. Т. 12.
(*Kostomarov N.I.* Istoricheskie monografii i issledovaniya. Saint Petersburg, 1872. Vol. 12.)
- [Костомаров 1928] — Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова / За ред. акад. М. Грушевського. Київ: Державне видавництво України, 1928.
(*Naukovo-publitsistichni i polemichni pisannya Kostomarova* / Ed. by M. Grushevs'kiy. Kyiv, 1928.)
- [Коялович 1901] — *Коялович М.О.* История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. 3-е изд., без перемен. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1901.
(*Koyalovich M.O.* Istoriya russkogo samosoznaniya po istoricheskim pamyatnikam i nauchnym sochineniyam. Saint Petersburg, 1901.)
- [Лохвицкий 1864] — *Лохвицкий А.В.* Губерния, ее земские и правительственные учреждения. СПб.: Тип. И. Бочкарева. 1864. Ч. 1.

- (*Lokhvitskiy A.V. Guberniya, ee zemskie i pravitel'stvennyye uchrezhdeniya. Saint Petersburg, 1864. Part 1.*)
- [Максимович 1876] — *Максимович М.А.* Собрание сочинений. Киев: Тип. М.П. Фрица, 1876. Т. I: Отдел исторический.
- (*Maksimovich M.A. Sbranie sochineniy. Kyiv, 1876. Vol. I: Otdel istoricheskii.*)
- [Менчиц 1925] — *Менчиц В.А.* Костомаров в петербургській громаді 1860-х р. // *Україна.* 1925. Кн. 5. С. 66—68.
- (*Menchits V.A. Kostomarov v peterburz'kiy gromadi 1860-kh r. // Ukraїna.* 1925. Vol. 5. P. 66—68.)
- [Миллер 2000] — *Миллер А.И.* «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). СПб.: Алетейя, 2000.
- (*Miller A.I. «Ukrainskiy vopros» v politike vlastey i russkom obshchestvennom mnenii (vtoraya polovina XIX v.). Saint Petersburg, 2000.*)
- [Мордовцев 1885] — *Мордовцев Д.Л.* Исторические поминки по Н.И. Костомарове // *Русская старина.* 1885. Т. 46. № 6. С. 617—648.
- (*Mordovtsev D.L. Istoricheskie pominki po N.I. Kostomarov // Russkaya starina.* 1885. Vol. 46. № 6. P. 617—648.)
- [Мотин 2012] — Аксаков Иван Сергеевич: Материалы для летописи жизни и творчества / Сост. С.В. Мотин, И.И. Мельников, А.А. Мельникова; под ред. С.В. Мотина. Уфа: УЮИ МВД России, 2012. Вып. 4. Ч. 1.
- (*Aksakov Ivan Sergeevich: Materialy dlya letopisi zhizni i tvorchestva / Ed. by S.V. Motin, I.I. Mel'nikov, A.A. Mel'nikova. Ufa, 2012. Iss. 4. Part 1.*)
- [Полевой 1891] — *Полевой П.Н.* Историк-идеалист // *Исторический вестник.* 1891. Т. 43. № 2. С. 501—520.
- (*Polevoy P.N. Istorik-idealist // Istoricheskiy vestnik.* 1891. Vol. 43. № 2. P. 501—520.)
- [Семевский 1886] — *Семевский М.И.* Николай Иванович Костомаров. 1817—1885 // *Русская старина.* 1886. Т. 49. № 2. С. 181—212.
- (*Semevskiy M.I. Nikolay Ivanovich Kostomarov. 1817—1885 // Russkaya starina.* 1886. Vol. 49. № 2. P. 181—212.)
- [Тесля 2015] — *Тесля А.А.* Вариация на тему политической теологии: «Книга Бытия Украинского народа» // *Социологическое обозрение.* 2015. Т. 14. № 2. С. 82—106.
- (*Teslya A.A. Variatsiya na temu politicheskoy teologii: «Kniga Bytiya Ukrainskogo naroda» // Sotsiologicheskoe obozrenie.* 2015. Vol. 14. № 2. P. 82—106.)
- [Толочко 2012] — *Толочко А.* Киевская Русь и Малороссия в XIX веке. Киев: Laurus, 2012.
- (*Tolochko A. Kievskaya Rus' i Malorossiya v XIX veke. Kyiv, 2012.*)
- [Saunders 1993] — *Saunders D.* Mikhail Katkov and Mykola Kostomarov: A Note on Pëtr A. Valuev's Anti-Ukrainian Edict of 1863 // *Harvard Ukrainian Studies.* 1993. Vol. 17. № 3/4. P. 365—383.

Екатерина Болтунова

Пространство (ушедшего) героя:

ОБРАЗ ЛИДЕРА, ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
И МЕМОРИАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ В РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРА)

Ekaterina Boltunova

The Space of the (Departed) Hero: The Image of the Leader, Historical Memory
and the Memorial Tradition in Russia (Regarding the Yeltsin Center)

Екатерина Болтунова (НИУ «Высшая школа экономики»; доцент факультета гуманитарных наук; кандидат исторических наук) boltounovaek@gmail.com.

Ekaterina Boltunova (National Research University Higher School of Economics, Faculty of Humanities, Associate Professor, PhD) boltounovaek@gmail.com

Ключевые слова: Ельцин-центр, Екатеринбург, В.И. Ленин, И.В. Сталин, Б.Н. Ельцин, Николай II, мемориальные практики, музей, дом-музей, дворец, церковь, собор

Key words: Yeltsin Center, Yekaterinburg, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Boris Yeltsin, Nicolas II, memorial practices, museum, memorial house, place, church, cathedral

УДК: 929+726+322

UDC: 929+726+322

В статье рассматривается процесс формирования памяти о первом президенте России Б.Н. Ельцине и — шире — периоде 1990-х годов на примере создания Ельцин-центра, мемориального комплекса, открытого в Екатеринбурге в 2015 году. Новейшая музейная коллекция интерпретируется в контексте двух культурно-исторических традиций — американской и российской. Особое внимание уделяется анализу мемориальных стратегий, возникших в период Российской империи. Автор демонстрирует, как установки, сложившиеся в это время, стали основой для создания советской традиции формирования памяти о лидере, и отвечает на вопрос о том, насколько востребованными они оказались и при создании памяти о первом президенте России.

Through an analysis of the Boris Yeltsin Presidential Center, a memorial complex opened in Yekaterinburg in 2015, Boltunova examines the formation of memory of Russia's first president Boris Yeltsin and, more broadly, of the 1990s. The new museum's collection is interpreted in the context of American and Russian cultural and historical traditions. Boltunova pays particular attention to the memorial strategies that emerged during Russia's imperial period. She demonstrates how imperial-era standpoints became the foundation for the creation of the Soviet formation of memories about leaders, and addresses the question of how useful they proved for the formation of memories about Yeltsin.

В 2015 году в Екатеринбурге был открыт «Президентский центр Б.Н. Ельцина (Ельцин-центр)». Это событие получило широкое общественное звучание, инициировав в СМИ и блогосфере дискуссию о роли первого президента России и — шире — событиях 1990-х годов и формах памяти об эпохе.

Создание Ельцин-центра имеет четкую государственно-правовую основу: еще в 2008 году в России появился Федеральный закон № 68-ФЗ «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». Согласно этому документу, такого рода центры создаются в обязательном порядке, не подлежат реорганизации и не могут быть признаны финансово несостоятельными. Их деятельность предпо-

лагает формирование архивного фонда, создание музея, библиотеки, а также осуществление научно-исследовательской, издательской, культурно-просветительской, благотворительной и даже предпринимательской деятельности [Федеральный закон 2008: ст. 3]. Финансирование таких проектов осуществляется из федерального бюджета [Федеральный закон 2008: ст. 7].

Концептуально закон опирается на американскую систему президентских центров и библиотек. Именно внутри этой традиции видит себя и сам Ельцин-центр, разместив на официальном сайте рядом с общей информацией данные об американских президентских центрах и библиотеках. Можно констатировать и стремление позиционировать новую мемориальную структуру как иную по отношению к прежней, советской реальности. Так, руководитель ельцинского кремлевского протокола В. Шевченко в одном из интервью заявил о намерении создателей центра «уйти от стандарта музеев Ленина» [Шевченко 2016].

На первый взгляд Ельцин-центр действительно использует американскую мемориальную стратегию. Здесь есть и следование установкам на сооружение таких объектов в регионе, связанном с местом рождения и началом политической карьеры президента (Борис Ельцин родился в селе Бутка Свердловской области), и стремление экспонировать, а равным образом изучать и продвигать президентское наследие. Видна и агрессивная интерактивность в подаче материала, столь характерная для американского прочтения современного музея и отличающаяся от холодноватой и отстраненной классической русской музейной традиции. В этом проекте реализован также принцип музея как места отдыха: центр расположен в деловом и развлекательном центре Екатеринбург-Сити, где находятся, помимо прочего, книжный магазин, площадки для публичных лекций и дискуссий, конгресс-холл/концертный зал, несколько кафе и ресторан «1991», в меню которого есть блюда по рецепту Н. Ельциной.

Отметим, что именно копирование американской модели при проектировании Ельцин-центра (проект осуществлен американским бюро музейного дизайна Ralf Appelbaum Associates) и выбор для концепции музея либеральной трактовки истории России (особенно 1990-х) стали причиной массивной критики в адрес новой структуры.

Однако дискутирующие сейчас вокруг Ельцин-центра социологи, политологи и культурологи не замечают главного: музей первого президента России не является «вещью в себе», не существует в вакууме или в пустоте. Вокруг него — город, погруженный в определенную культурную традицию, формировавшуюся на протяжении нескольких столетий и не имеющую никакого отношения к американскому дискурсу истории или практике создания президентских центров.

Имперская мемориальная стратегия

Храм

Основой имперской мемориализации, обращенной к памяти о покойном монархе, в значительной степени являлась православная традиция. По сути, образ монарха — живого или покинувшего этот мир — в русской культурной традиции находился внутри сакрального поля.

Об этом свидетельствует организация имперского траурного пространства, причем как в храме, так и вне его. Показательны похороны первого российского

императора Петра I, заложившие основу для церемониала прощания с монархом. В Третьем Зимнем дворце Петра I по особому проекту была создана «каструм долорес», или «печальная зала». Эта новая для России традиция предполагала, что после бальзамирования тело усопшего императора выставлялось в одном из помещений дворца, то есть в пространстве, казалось бы, светском.

Петровская «каструм долорес», согласно источникам, была организована в Большом зале дворца, в центре которого был устроен помост, названный в тексте «троном». На нем установили гроб с телом императора. Вокруг гроба были размещены регалии власти — императорская корона и царские шапки (у головы покойного монарха), скипетр и держава (по правую и левую сторону от тела соответственно), а также ордена (на табурете в ногах). Расположение этих предметов, очевидно, отсылало к облачению монарха, восседавшего на троне. Зал был украшен аллегорическими скульптурами скорбящих России, Европы, Марса и Геркулеса. Здесь имелись также пирамиды, пьедесталы с надписями, которые прославляли Петра-воина, Петра-законодателя и Петра—ревнителя благочестия [РГАДА 1725: 2 об.—7].

Вместе с тем, этому залу, наполненному, главным образом, светской и властной символикой в пространстве дворца, соответствовало другое помещение, оформленное в совершенно иной манере. Здесь тело монарха простояло две недели, пока завершался декор «каструм долорес». Согласно архивному описанию, эта «зала была зело богато убрана, златыми и иными ткаными шпалерами, на которых изображены были разныя истории Святого писания, и [тело монарха] положено было на кровать стоящей на Амбоне зело богато убраном» [РГАДА 1725: 2]. Эти несколько строк показывают пространство, созданное и осмысленное в контексте исключительно религиозной традиции, то есть являвшееся своего рода храмом. Отсюда гроб с телом монарха перемещался в «печальную залу», но лишь для того, чтобы потом оказаться под сводами православного Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Интересно и то, как в рамках одной церемонии оказались связанными сакральное и властное: «амвон» этого помещения превратится затем в «трон» главной «каструм долорес»¹.

В конце XVIII—XIX веке храмовое пространство стало главным при проведении посмертных мемориальных мероприятий, связанных как непосредственно с церемониалом погребения монарха [Гендриков 1994; Логунова 2011], так и с более поздним увековечиванием памяти о нем [см., например: Крашенинников 2002].

Православные храмы вообще часто появлялись на месте, которое так или иначе было связано с жизнью или смертью императора. Речь идет не только о «храмах на крови», маркировавших, например, места гибели Павла I (церковь Св. Петра и Павла в Михайловском (Инженерном) замке, созданная на месте опочивальни Павла I, где император был убит [Хайкина 2007]) или Александра II (храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге на месте последнего покушения на императора). Так называемый «Первоначальный дворец» Петра Великого, известный как Домик Петра I, после смерти монарха был превращен в часовню, которая, благодаря хранившейся здесь иконе Спаса, стала местом паломничества, просуществовав вплоть до революции [Дома и домики

1 Вместе с тем в «каструм долорес» всегда присутствовали представители церкви: «У трона всегда один священник (с переменою) читал Евангелие» [РГАДА 1725: 4 об.].

2015: 399]. В Таганроге, во дворце, где скончался Александр I, императрицей Елизаветой Алексеевной была устроена домовая церковь [Цымбал 2015: 326].

В имперском контексте сакральное оказалось неотделимо от властного: поминовение членов династии в Архангельском соборе Московского Кремля, усыпальнице Рюриковичей и первых Романовых, являлось частью коронационной программы с самой первой императорской коронации (Екатерины I в 1724 году).

Дворец

Мемориальным пространством, обращенным к образу покойного монарха, являлась и императорская резиденция. Но было бы ошибкой полагать, что здесь память о монархе обретала иной, профанный или бытовой, контекст. Напротив, практика придания мемориальной функции жилым помещениям или частным монаршим покоям («квартирам») не прижилась в России.

Сформировавшаяся же мемориальная традиция была в значительной степени универсалистской. Одной из ее характерных черт, например, стало появление во дворце, часто в тронном зале или в непосредственной близости от него, портретов императоров-предшественников, нередко сгруппированных в целые династические серии (например, дворцы в Петербурге, Ораниенбауме, Павловске и Гатчине)². Это вовлекало императора в диалог с предшественниками на престоле, заставляя его давать оценку оставленному ими наследию и/или на символическом уровне присваивать его, что позволяло транслировать установки нового царствования. Вспоминать отошедшего в вечность монарха означало постулировать или признавать преемственность престолонаследия, а значит, речь шла равным образом о мемориализации и о легитимации.

Мемориальной функцией обладали и залы, названные именами монархов. Например, Петровский (Малый тронный), Александровский и Николаевский залы Зимнего дворца. Обращенные к памяти о российских монархах, они также являлись представительскими. Кроме того, «места памяти» в императорских дворцах оказывались тесно связаны с такими дискурсивными позициями, как «власть», «династия» и «война» [Болтунова 2011].

Немаловажно и то, что в гендерном отношении это было вполне однородное пространство, выстраивавшееся всегда исключительно вокруг фигуры императора. Востребованные внутри властного поля мемориальные практики «не замечали» императриц-супруг или императриц-матерей и мало считались даже с необходимостью поддерживать память о некогда правивших императрицах XVIII века. Примечательно, например, что созданный в 1828 году тронный зал императрицы Марии Федоровны после пожара Зимнего дворца 1837 года не был восстановлен [Петрова 1970: 190], как и утраченные в это же время покои Екатерины II [Гусева 2006].

Для «мемориалов» внутри дворцового пространства вопрос сакрального контекста и — в более конкретном смысле — православно-религиозного основания никогда не отходил на второй план. В таких проектах активно исполь-

2 Эта установка продолжала традицию Московского царства (см., например, портреты великих князей и царей в росписях главного тронного зала Московского царства — Грановитой палаты Московского Кремля, созданной в конце XV века).

зовалась православная символика, часто возникали апелляции к структуре храма или сакральному пространству в целом (аллюзии на церковный свод в виде стилизованного балдахина над портретом, ротонды и т.д.). Церковь предлагала универсальный язык для разговора о власти и о наследии. Язык этот был понятен не только в храме, но и во дворце.

Мемориальный музей

Существовали в России и мемориальные музеи в честь императоров. Принято думать, что они появились в XIX веке.

Вероятным предшественником этой традиции, впрочем, был так называемый «Кабинет Петра Великого», созданный в 1732 году в Кунсткамере. Он состоял всего из двух комнат. Здесь в Токарной хранились станки и инструменты, принадлежавшие основателю Российской империи. В Портретной находилась известная «восковая персона» Петра Великого (К.-Б. Растрелли, 1725), облаченная в подлинные одежды Петра I. Именно «восковая персона» стала центром всей экспозиции. Она располагалась «в креслах... на деревянном возвышении или троне», под плафоном, на котором изображалась «иносказательная картина, представляющая Петра Великого, сидящего на облаках» [Беляев 1800: 3—7]. Очевидно, что это была попытка создать своего рода тронный зал основателя империи, локализация которого вызывала у его наследников серьезные затруднения [Болтунова 2008]. Эта интересная экспозиция, рассказывавшая о Петре-императоре и Петре-созидателе, как кажется, в равной степени использовала мемориальные стратегии дворца и позднейшего музея.

Первый же в полном смысле слова мемориальный музей был создан в Таганроге в доме, где скончался император Александр I. После смерти монарха здесь устроили траурный зал и установили катафалк [Беспалая 2016: 59], а в 1826 году императрица Елизавета Алексеевна, сохранившая всю обстановку, открыла здесь мемориальный музей «Дворец Александра I». В это же время на доме была установлена памятная доска, а в помещения дворца был открыт ограниченный доступ [Щуцкая 2013: 44—45].

Одним из самых известных мемориальных музеев Российской империи стал «Дом бояр Романовых» на улице Варварке в Москве. Экспозиция в доме царских предков, организованная в 1859 году по личному распоряжению Александра II, демонстрировала обстановку боярского быта XVII столетия, в которой родился первый царь из династии Романовых — Михаил Федорович. Во второй половине XIX века Романовы на российском престоле ощущали себя настолько уверенно, что больше не испытывали постоянной необходимости постулировать связь с прежней династией Рюриковичей, царский авторитет которой они наследовали. В эпоху набирающего силу историзма вполне можно было говорить и об иных корнях, о происхождении из боярского рода. Александр II, в отличие от своего предка, не опасался столкнуться с аристократическим фрондерством, подобным случившемуся в 1620 году инциденту с князьями Шаховскими, которые разыграли пародию на избрание на царство Михаила Федоровича [Зицер 2007: 230].

Очевидно, в этот список следует включить и «мемориал» в честь Александра II, созданный княгиней Юрьевской в принадлежавшем ей Малом Мраморном дворце. Морганатическая супруга императора составила из принадлежав-

ших Александру II вещей экспозицию двух залов — опочивальни и кабинета. Здесь можно было увидеть кровать, умывальный прибор, письменный стол и кресла, а также многочисленные портреты монарха с Юрьевской и их детьми [Жерихина 2007: 85—88].

Все упомянутые музеи прямо апеллировали к православному контексту. В Таганроге, как уже было сказано, была создана домовая церковь [Цымбал 2015: 326]. Палаты бояр Романовых «возобновлялись» при Московском Знаменском монастыре. Мемориальный музей Юрьевской соседствовал под крышей дворца с домовою церковью во имя святого Александра Невского (тезоименитого святого императора Александра II), в которой находился также и портрет Александра II на смертном одре работы К.Е. Маковского.

Однако общее число мемориальных императорских музеев было невелико. По отношению к другим имперским мемориальным практикам такие проекты имели второстепенное значение. Они находились на периферии (вне столицы, вне центра или вне государственного представительского пространства) и были мало востребованы властью при формировании политики памяти. Последнее, как представляется, было также связано с активным позиционированием здесь частного, а зачастую даже бытового контекста и акцентированием аспекта физической смерти/гибели монарха. Император-человек выступал в таких интерьерах более эксплицитно, оказываясь в некоторой оппозиции императору-монарху, который был всегда выше частного или даже родового и находился в иных отношениях с категориями жизни и смерти.

В целом, даже при смене историко-культурных периодов мемориальная традиция, обращенная к фигуре императора, основывалась в России на сакральных (православных) и универсалистских трактовках образа ушедшего монарха. Она всегда была связана с дискурсом власти и практиками легитимации, носила персонализированный характер, обретая коллективное начало лишь в династическом. Иными словами, в культурной традиции XVIII — начала XX веков вспоминать императора означало созерцать священную природу власти и видеть идеального монарха почти вне всякой бытовой рамки.

Советская мемориальная стратегия

Советский властный дискурс, как известно, во многом воспроизводил прежние, имперские стандарты и практики. Равным образом мемориальная стратегия, направленная на увековечивание образа вождя в СССР, опиралась на выработанные ранее позиции, а именно на сакрализованный образ идеального монарха.

В середине 1920-х большевики столкнулись с необходимостью создания памяти о своих собственных лидерах. Прежняя имперская мемориальная традиция — пусть и в новых формах — возвращала себе актуальность. Показательна найденная почти мгновенно после смерти В. Ленина советская квазисакральная форма мемориализации — мавзолей вождя. В историографии давно замечено, что мавзолей Ленина был религиозно-пропагандистским символом [Панченко 1999], но примечательно также, что, представляя собой первый в истории пример сочетания гробницы с трибуной для вождей-наследников [Хмельницкий 2007: 14—15], он оказался вписан в советскую практику легитимации власти.

За этим последовало создание системы мемориальных музеев В. Ленина. Отметим: толчком к появлению ленинского музейного пространства была именно смерть вождя. Главный из них — Центральный музей В.И. Ленина, открытый в 1936 году в здании Московской городской думы у Красной площади, — был создан как музей лидера новой страны и грандиозная экспозиция-хранилище всего, что касалось «универсума» идеи революционного и коммунистического движения. Впоследствии мемориальным и (около)сакральным стало все, непосредственно связанное с Лениным, — от шалаша в Разливе до поезда, на котором тело покойного вождя доставили в столицу из подмосковных Горок в 1924 году. В 1955 году ленинское мемориальное пространство появилось в Кремле, где открылся известный музей «Кабинет и квартира В.И. Ленина». Помещаясь в самом центре советского властного пространства, музей практически сразу получил статус обязательного к посещению для всех приезжавших в Москву официальных делегаций.

Однако содержание этой новой мемориальной практики было найдено не сразу. В 1930-е годы значительная часть музеев В. Ленина находилась в регионах (Псков, Шушенское, Симбирск, район Выборга и др.) и представляла собой структуры плохо организованные и маловыразительные. Схожей была ситуация в столичных музеях вождя. В архиве И. Сталина сохранилось письмо Н. Крупской, написанное за год до создания Центрального музея Ленина в Москве. В этом обращении Крупская прямо жаловалась на качество музейных экспозиций, посвященных Ленину: «При ИМЭЛ-е [Институт Маркса — Энгельса — Ленина] имеется музей Ленина. Кроме цитат из Ленина на желтой бумаге и фото-карточек ничего там нет. Жуть одна. Есть еще подаренные ему чайные сервизы, пальто, еще какое-то барахло» [РГАСПИ 1935: 38]. Показательно, как Крупская описывает неподобающую выборку экспонатов — «какое-то барахло». Как именно демонстрировать быт, еще оставалось вопросом.

То, какой ответ был найден, хорошо подметил Б. Гройс. Рассуждая о мавзолее, он отметил обыденность одежды Ленина («как в жизни»: костюм, рубашка, галстук) и предположил, что, «возможно, именно эта радикальная банальность внешнего вида и составляет тайну мумии Ленина и является источником ее притягательной силы. Удивляешься, почему именно этот человек, а не какой-нибудь другой, занял столь выдающееся место. Невозможность какого-либо визуального обоснования подобного явления становится, собственно говоря, причиной возникающего здесь напряжения» [Гройс 1993: 354].

Схожим образом функционировала мемориальная стратегия, обращенная к фигуре Ленина, а затем и Сталина. Советский музей не отторгал обыденность, в которой жил вождь. При этом повседневность всегда была представлена минималистично [см., например: Тарыгина 1978: 16—26; Ерманов, Мартынов 1980], противопоставляя царской роскоши большевистскую аскезу. И, главное, бытовая сторона жизни в этом случае не становилась самоценной. Напротив, ее демонстрация была основой для разворачивания своего рода дуальной модели, где человеческое непостижимым (почти христологическим) образом сочеталось с вождистским, низкое указывало на высоту, а обыденное становилось знаком сакрального.

Позднее (особенно в позднесоветский период) такая трактовка образа вождя была подчеркнута тем, что рядом с домами-музеями, призванными показать жизнь вождя в тот или иной период, появились крупные музейные комплексы, посвященные революционному движению конца XIX — начала XX ве-

ков. Именно так оформлен, например, проект музейного комплекса Горки Ленинские. Здесь рядом с музеем-усадьбой, где В. Ленин провел последние годы жизни, во второй половине 1980-х был построен огромный музей (научно-культурный центр), внешний вид которого напоминал Парфенон.

Интересно, что мемориальная стратегия вырабатывалась для образов Ленина и Сталина в значительной степени одновременно. Речь не только о краткосрочном существовании мавзолея Ленина—Сталина или практике организации музеев Сталина по образцу музеев Ленина³. Если вынести за скобки известный феномен экспонирования подарков И. Сталину, размещавшихся в разное время на самых разных площадках — от Оружейной палаты до Пушкинского музея [РГАСПИ 1953а; Козлов 2006; Соснина, Ссорин-Чайков 2010] — и представлявших собой не столько мемориальный проект, сколько элемент культа личности, то 1930—1940-е годы окажутся периодом одновременного появления целого ряда ленинских и сталинских музеев.

Музей И. Сталина — случай для СССР особый — начали появляться задолго до его кончины. Но, как и в случае с Лениным, это были региональные мемориально-бытовые музеи, созданные в местах, где Сталин находился в ссылке (дом-музей в Ачинске, музей в селе Курейка и др.). Однако все они представляли собой своего рода вторичные структуры памяти. В зону периферии их выталкивала не столько география, сколько ощущение собственной маргинальности. Администрация и музейные работники жаловались на плохое состояние зданий, необходимость постоянно решать вопрос отопления и, главное, недостаток предметов для экспозиции и отсутствие фактической информации для экскурсионной работы. Обратиться к И. Сталину с просьбой перепроверить те или иные даты и события решались не все. Информацию искали через другие источники, например через диалог с возможными свидетелями и «старыми большевиками» [РГАСПИ 1944, 1946, 1950]. Все это приводило к ошибкам, подобным той, что произошла в Ачинске. Здесь, судя по сообщению директора музея, в 1930-е годы «по вине местных организаций... Домик-музей [был] открыт в другом доме, а не в том, где жил товарищ Сталин» [РГАСПИ 1950: 1].

Мемориальное ленинское и сталинское пространство заимствовало у имперской традиции не только общую концепцию, но и выразительные детали ее оформления. Так, абсолютно имперской, по сути, была установившаяся традиция создавать над ленинскими и сталинскими домами-музеями, представлявшими (особенно в случае со Сталиным) деревянные избы, каменные или стеклянные укрытия. Такие «футляры» появились в Сестрорецке над подпольным убежищем Ленина в сарае рабочего Н. Емельянова, над деревянным домом Сталина в грузинском Гори. Музей Сталина в селе Курейка Красноярского края также первоначально представлял собой рыбацкий домик, обнесенный павильоном.

С точки зрения функционального назначения саркофаги над деревянными домами имели целью защитить подлинные объекты от разрушения. Но сама идея была, очевидно, позаимствована из истории создания мемориального

3 Копирование модели было отражено на уровне установочных документов. Так, после смерти И. Сталина, в сентябре 1953 года Секретариат ЦК КПСС принимает решение об организации «на подмосковной даче, где жил и работал И.В. Сталин, Мемориального музея И.В. Сталина по типу Музея В.И. Ленина в Горках, с подчинением Центральному музею В.И. Ленина» (курсив мой. — Е.Б.) [РГАСПИ 1953б: 107].

пространства первого российского императора Петра I, а именно оформления известного Домика Петра Великого. Домик — рубленая деревянная изба — был одним из первых сооружений северной столицы, а также значимым имперским мемориальным проектом. Уже во времена Екатерины II он был накрыт «каменным чехлом».

Домик превратился в музей (с экспозицией подлинных петровских вещей) именно в сталинские времена. Судя по сохранившемуся архиву Сталина, понимание значения этого объекта, как и само название — Домик, вождь вполне мог почерпнуть из литературы. Так, в «Курсе русской истории» И. Белляринова (Петроград, 1916), который читал И. Сталин (сохранились его пометки на полях), на одной из страниц было изображено именно это сооружение с подписью «Домик Петра Великого» [РГАСПИ 1916: 101]. Немаловажно и то, что в 1930—1940-е наравне с формулировкой «дом-музей И.В. Сталина» в отношении таких музеев было распространено и наименование «Домик Сталина». Такое устойчивое наименование не только использовалось сотрудниками этих музеев, но и фигурировало в прессе (газетные и журнальные статьи, поступавшие в продажу фотографии с изображением того или иного «Домика Сталина» [Лукин 1935; Квирниашвили 1953]). Здесь — как и в случае с бытовым контекстом — речь шла об игре уровнями, в которой великое являло себя в незначительном⁴.

История развития сталинского музейного пространства завершилась спустя несколько лет после смерти вождя. Острая политическая борьба за власть, а затем начавшаяся десталинизация закрыли дискуссию о создании центрального сталинского музея. Все завершилось выносом тела И. Сталина из мавзолея в 1962 году. Новая «ставка» на образ Ленина как идеального лидера, вероятно, была сделана еще в середине 1950-х годов.

Ленинская доминанта в мемориальной практике просуществовала до распада СССР. Музеи Н. Хрущева, Л. Брежнева, Ю. Андропова и К. Черненко так никогда и не появились. Все ограничилось переименованиями нескольких улиц, появлением городов Брежнев (Набережные Челны), Андропов (Рыбинск), Черненко (Шарыпово), экспозициями в школьных музеях (например, в честь Ю. Андропова на Ставрополье) и мемориальными досками на номенклатурных домах.

Ельцин-центр в контексте российской мемориальной традиции

Посмертная мемориализация

По американской традиции все бывшие президенты — ушедшие в мир иной и все еще живые — получают собственный центр/музей. Так, в настоящий момент действуют президентские центры здравствующих Джеймса Картера (Фридом-Парквей, Атланта), Джорджа Буша-старшего (Колледж-Стейшн, Те-

4 Л. Хьюз, занимавшаяся исследованием исторической памяти о Петре Великом, справедливо отмечала, что, согласно устойчивому общественному мнению советской эпохи, простота и бережливость являлись чертами, которые равным образом приписывались не только Петру I, но также Ленину и Сталину [Hughes 2003: 656].

хас), Уильяма Клинтона (Литл-Рок, Арканзас) и Джорджа Буша-младшего в Далласе (Техас). В СМИ появилась некоторая информация и о создании центра Барака Обамы.

В России фактическим основанием для создания первого президентского музея стала смерть Б. Ельцина. Закон о президентских центрах был принят Государственной Думой ровно через год после кончины первого президента России. Дополнительным аргументом в пользу такой интерпретации является и то, что президентский центр Б. Ельцина — единственный в своем роде, хотя к моменту реализации этого проекта свои президентские полномочия завершил и Д. Медведев.

Примечательно, что закон, распространяясь на президентов Российской Федерации, оставил вне складывающейся традиции М. Горбачева. Существующий с 1992 года Международный фонд социально-экономических и политических исследований (Горбачев-фонд) оказался за рамками юридического поля новой госинициативы. Таким образом, последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР «приписан» сейчас на уровне законодательной нормы исключительно к советскому.

В настоящее время Горбачев-фонд переводит существовавшую в здании на Ленинском проспекте в Москве экспозицию «М.С. Горбачев: жизнь и реформы» в электронный формат и не планирует создания музея или центра здравствующего и поныне М. Горбачева [Здравомыслова 2016].

Соположение мемориального и посмертного — аспект чрезвычайно значимый и тесно связанный с русской культурной традицией, с ее апелляцией к сакральности и идее воскресения. Американские культурные практики таких оснований не имеют. Это очень точно подметил Б. Гройс, сопоставивший ленинский мавзолей с демонстрацией в Диснейленде скульптуры А. Линкольна. По мнению исследователя, последняя существует в рамках двух полей — дидактического (Линкольн произносит Геттисбергскую речь) и технологического («кукла» двигается и говорит), но совершенно не предполагает ничего иного: «Статуя Линкольна в Диснейленде не может быть оживлена когда-либо по одной простой причине: она уже живет, двигается, говорит. В ней нет ничего такого, чего бы нам не хватало» [Гройс 1993: 356].

Исторический контекст

Особенностью Ельцин-центра, отличающей его от американских президентских центров, является и объем представленного исторического материала, который охватывает всю историю страны. По сути, «под историю» отведен весь первый этаж экспозиции.

Первое, что предлагается зрителю, — Вводный фильм о русской истории. Он неизменно вызывает интерес, не в последнюю очередь благодаря замечательной графике и творческому подходу к визуализации материала: здесь образы нескольких столетий истории и культуры России (например, зеркально-золотые залы императорских дворцов, кустодиевская купчиха, советские рабочий и колхозница) соединены с узнаваемыми кинематографическими голливудскими образами (например, Большой террор передан в стилистике «Властелина колец»). В фильме ярко обыграны и некоторые сюжеты: Петр I буквально рубит сосны, иллюстрируя известную поговорку «лес рубят — щеп-

ки летят», царствование Николая I, названное «политическим застоєм», передано в виде груды бумаг, которые заваливают Сенатскую площадь, а разрушение Берлинской стены становится результатом работы экскаватора, за рулем которого сидит М. Горбачев, который, как известно, начал свою трудовую деятельность, работая комбайнером. При этом весь образный ряд фильма графически выстроен как соединение переливающихся стеклянных элементов, что создает ощущение хрупкости описываемых процессов и человеческой жизни вообще.

Сама концепция русской истории представлена в фильме в рамках пары дуальных схем — «свобода vs. рабство» и «русская власть vs. русское общество». Повествование открывается фразой: «Не все знают: русская демократия появилась раньше русского самодержавия». Борьба противоположностей, по мнению авторов фильма, пронизывает всю русскую историю — от Новгородской республики до появления на исторической сцене первого президента России. Перечислены практически все знаковые фигуры русской истории, проходящие по категории «реформатор — контрреформатор»: Иван Грозный и А. Адашев, Петр I, Екатерина II, Александр I и М. Сперанский, Николай I, Александр II, Николай II и С. Витте и П. Столыпин, а также последовательно все советские лидеры — В. Ленин, И. Сталин, Н. Хрущев, Л. Брежнев.

Именно в ряду исторических деятелей Московского царства, Российской империи и СССР предстает в конце фильма Б. Ельцин: все реформаторы оказываются выстроенными в одну линию, которую замыкает первый президент России. Появление Ельцина среди царей и императоров (из советских лидеров появляются лишь Хрущев и Горбачев) оставляет впечатление связи первого президента России скорее с императорским, нежели советским, периодом истории страны.

Однако в фильме есть и еще один Ельцин, который предстает в образе Tank Man, или Неизвестного бунтаря, с фотографии Дж. Уайденера, на которой изображен один из демонстрантов с площади Тяньаньмэнь 1989 года, сдерживавший колонну танков. Схожим образом Ельцин в фильме останавливает танки ГКЧП в 1991-м. Он представлен как герой-одиночка, за спиной которого, символизируя общественную поддержку, начинают появляться люди.

Даже если оставить за рамками обсуждения прямолинейность или некорректность трактовок целого ряда исторических событий (например, Новгород — республика и вечевая демократия, Смута — ответ на Опричнину, Крымская война — результат николаевского выбора в пользу тирании, убийство Александра II террористами-народовольцами за отказ от реформ), нельзя не отметить, что само прочтение истории России как борьбы за свободу против тирании поразительным образом повторяет историографические трактовки советских учебников. При этом авторы фильма постарались — очевидно, следуя уже устоявшемуся общественному тренду — дать в значительной мере позитивную оценку советскому периоду истории, который показан не только временем террора, но периодом больших свершений (строительство Днепрогэс, покорение Арктики, победа в Великой Отечественной/Второй мировой⁵).

Самой значимой позицией здесь, бесспорно, оказывается трактовка образа первого президента России. Ельцин рядом с царями-реформаторами и Ельцин, возглавляющий оппозицию против ГКЧП, — это попытка увидеть его

5 Авторы фильма используют оба термина.

представителем власти и общества одновременно. Так образ Ельцина получает в начале музейной экспозиции возможность развиваться в рамках двойной перспективы: властной и общественной.

После интерпретации российской истории в целом зрителю предлагается трактовка XX столетия в рамках экспозиции «Настоящий XX век». Здесь линия-«змейка» на полу ведет посетителя музея через этапы истории: «Первая мировая», «Революция», «Гражданская война», «Вождь», «Индустриализация и коллективизация», «Репрессии», «Великая Отечественная война», «Оттепель», «Железный занавес», «Застой», «Перестройка». Внутри экспозиции поддерживается та же логика прочтения истории — в рамках структуры вожди/массы.

Исторические эпохи переданы в Ельцин-центре всеми возможными способами — от документов и предметного ряда до плакатов, фотографий и кинофильмов. Значительный объем материала, помноженный на небольшой объем пространства этого зала, создает впечатление перенасыщенности. Бросается в глаза широкая гамма красок, с переходами от серого и черного (черно-белые фотографии и кинофильмы, серая дверь в блоке «Репрессии») к яркой колористике (красное знамя, плакаты). При этом здесь исключительно плохо читаемый этикетаж — белые буквы на стеклянной поверхности в бликах от мониторов, на которых прокручиваются кинофильмы. Выбор такой подачи материала, напоминающий какофонию, очевидно, имеет свое объяснение. С одной стороны, подобный метод экспонирования с активным привлечением мультимедиа, сценографией и использованием так называемого интерпретативного дизайна характерен для проектного бюро Ralf Appelbaum Associates, разработавшего, как упоминалось, концепцию Ельцин-центра. Схожим образом оформлен, например, Музей Холокоста в Вашингтоне (1993), который и принес компании мировую известность [Linenthal 1994]. С другой стороны, хаос первого этажа кажется намеренным, ведь он ведет ко второй части экспозиции, которая, напротив, абсолютно структурирована и к тому же представлена в виде семи дней из жизни Ельцина. Иными словами, перед нами волне лобовая трактовка: история творения Порядка из Хаоса.

В поток истории России XX века создатели музея пытаются вписать историю семьи Б. Ельцина. Здесь появляются стеллажи «Крестьянский сын», «Советский школьник», «Партийный работник», «Глава Московского горкома». Но рассказ об истории семьи в истории Родины оказывается для зрителя наименее интересным. У этих стендов стоят мало, отвлекаясь то на кадры известного фильма, то на плакат. В итоге повествования о корнях не получается: история Родины в полном смысле слова поглотила здесь историю рода. Во второй части экспозиции, посвященной годам президентства, семья превращается в структуру настолько узкую (сам Ельцин, жена, дочь), а сама фигура президента обретает такую монументальность, что рассказ о смерти матери в рамках экспозиции «Непопулярные меры» вызывает почти недоумение.

Сам Ельцин в полной мере появляется лишь в конце «Настоящего XX века», словно бы ниоткуда и во всей полноте индивидуализма. Следующая часть экспозиции уже повествует о его конфликтах как главы Московского горкома с руководством Политбюро ЦК КПСС.

Власть и личность

Ельцин в Ельцин-центре — это Ельцин во власти. Контекст формирования личности первого президента до прихода во власть не слишком значителен: родился в семье раскулаченных уральских крестьян, хорошо учился, но был хулиганом, служил в армии, стал инженером-строителем, увлекался волейболом. Несколько фотографий, муляж ручной гранаты (из-за взрыва такой же Ельцин в детстве получил ранение), комсомольский билет, аттестат зрелости, рукопись «Исповеди на заданную тему» с воспоминаниями о юности. Вопрос становления личности создатели музея перед собой не ставят. Описание Ельцина как «человека, воспитанного атмосферой оттепели», для которого «ценности обновления оказались важнее неписаных правил, партийных и аппаратных игр», кажется не более чем фигурой речи, поскольку оставляет за рамками вопрос о том, как именно это произошло. Как, находясь внутри системы и достигнув в ее иерархии высочайшего уровня, Б. Ельцин пришел к решению бороться против коммунистического режима?

Еще более показателен рассказ о последних годах жизни президента. Если следовать логике экспозиции, после власти жизни нет. Музейное повествование о Ельцине завершается днем 31 декабря 1999 года, то есть уходом с должности. И это при том, что Б. Ельцин прожил после сложения с себя президентских полномочий еще семь лет.

Пространство Ельцина также оказывается исключительно пространством власти. В музее есть указания на три объекта, каждый из которых представляет власть в тот или иной момент жизни президента, — Белый дом, а также Кремлевские Мраморный зал и кабинет. Зал заседаний построенного в советские времена 14-го корпуса Кремля, известный как Мраморный зал, частично воссоздан в экспозиции «День Первый. Мы ждем перемен». Этот зал музея призван описать столкновение Ельцина с партноменклатурой и историю его избрания президентом Российской Федерации. Белый дом и Кремль (кабинет) равным образом отвечают за годы ельцинского президентства. Но первый, появляясь в контексте разговора о свободе (завершение Вводного фильма и экспозиция, посвященная событиям 1991 года), олицетворяет собой либерального Ельцина, а Кремль (кабинет, завершающий экспозицию) — Ельцина-государственника и отвечает, скорее, за власть в целом. При этом в хронологической последовательности жизнь Б. Ельцина выстраивается от Белого дома к Кремлю, то есть смещается от перспективы общественной к перспективе властной.

Музей не стремится продемонстрировать частное (бытовое) пространство Ельцина. Ни деревенский дом уральского села Бутка, ни квартира в Свердловске (Екатеринбурге), ни госдача в Барвихе президента-пенсионера в поле зрения создателей центра не попали.

Предшественник и преемник

Интерпретация событий в Ельцин-центре четко отражает сложные отношения Б. Ельцина со своим предшественником — М. Горбачевым, который представлен в музее как оппонент и как представитель советской системы. Авторы концепции не видят Ельцина человеком, появившимся благодаря перестройке.

Он, скорее, герой-одиночка. Примечательно, что в экспозиции «Настоящий XX век» «Застой» и «Перестройка» оказываются пространственно в одной зоне, что подчеркивает позицию в отношении Горбачева: он хоть и инициатор перестройки, но лидер — советский, глава системы, реформировать которую невозможно.

Иначе решен вопрос о преемнике. В блоке «Сложный выбор» позиция первого президента России представлена следующим образом: «Куда пойдет страна после 2000 г. — к демократии, рыночным реформам, открытому обществу или есть вероятность вернуться в советское прошлое? Об этом размышляет президент Ельцин в преддверии президентских выборов. Конституционные права и свободы, рыночная экономика, новая российская государственность еще не настолько прочны, чтобы можно было оставаться спокойным за их судьбу. Президент Ельцин намечает круг возможных преемников. С некоторыми из них он проводит конфиденциальные встречи в 1996—1999 гг. Других кандидатов на пост главы государства выносит на поверхность политической жизни череда кризисов, порожденных сложной экономической ситуацией. Их хотят видеть в президентском кресле противники Б. Ельцина. В результате мучительных сомнений и долгих поисков президент останавливает свой выбор на кандидатуре Владимира Путина. В телеобращении 9 августа 1999 г. Ельцин объявляет, что предложил Госдуме утвердить В. Путина в должности председателя правительства. Говорит он и о том, что видит в Путине будущего президента».

Этот текст — показательный для интерпретации концепции музея. Ведь само обсуждение вопроса о выборе приемника во власти рамках американских президентских центров невозможно. При этом же бросается в глаза целый набор риторических приемов, известных с первых лет существования Российской империи. Здесь и упрек Петра Великого сыну — «Кому свое насаждение оставлю?» («Куда пойдет страна..?»), и неизменный образ врага («есть вероятность вернуться в советское прошлое», «их хотят видеть в президентском кресле противники»). Но, главное, здесь есть описание системы, введенной в России первым Указом о престолонаследии (1722). Ее суть выражается в сентенции: «Кому Оной [император] хочет, тому и определит наследство» [Петр I 1830: 496]. История с определением преемника фактически завершила выбор в пользу одной из трактовок образа первого президента, который к концу экспозиции окончательно превратился в своего рода либерального царя.

Царь и президент

Среди государственно-политических решений Ельцина, которые подвергаются критике (таких, как экономическая доктрина, октябрьские события 1993 года, война в Чечне), стоит и снос так называемого Ипатьевского дома. Как известно, в доме инженера Н.Н. Ипатьева в ночь на 17 июля 1918 года вместе с императрицей Александрой Федоровной, детьми и слугами был расстрелян последний российский император Николай II. Дом просуществовал после трагических событий почти 60 лет, но был снесен в 1977 году, в период, когда на волне советского историзма памятники имперской России уже почти не сносили. Для создателей музея — в силу того, что местом строительства центра был выбран Екатеринбург, — определение своего отношения к действиям Ельцина 1977 году, вероятно, стало одним из главных вызовов.

Известно, что решение о сносе Ипатьевского дома было принято Политбюро ЦК КПСС в 1975 году, когда первым секретарем Свердловского обкома был Я.П. Рябов [О сносе особняка 1975], а выполнено лишь два года спустя, когда во главе области стоял уже Б. Ельцин (о дискуссии относительно сноса дома см.: [Кириллов 2013]). Создатели Ельцин-центра признают, что Ипатьевский дом был снесен в первые месяцы пребывания Ельцина в новой должности. Они не прячутся за указание на то, что действия будущего президента были вызваны давлением из Москвы (решение Политбюро было к тому же принято по представлению председателя КГБ Ю.В. Андропова), хотя указания об этом в экспозиции есть. Претензии — все разом — они решают снять иным образом. Дискуссия здесь выводится на иной, в каком-то смысле универсалистский уровень: создатели Ельцин-центра разворачивают музей к Храму на Крови, построенному в 2003 году на месте гибели Николая II.

Надо отметить, что в постсоветский период в Екатеринбурге сложилась по-настоящему огромная мемориальная зона, обращенная к памяти о последней императорской семье, и особенно Николае II. Установка памятного знака на месте гибели царской семьи была санкционирована в 1990 году решением тогда еще Свердловского горисполкома. В 1993-м, то есть задолго до канонизации членов императорской семьи РПЦ (2000), архиепископ Екатеринбургский и Курганский уже называл Николая II «местночтимым святым» [Един от царей 2015: 32—39]. Как уже говорилось, в 2003 году на месте снесенного Ипатьевского дома был возведен Храм на Крови. Этот собор в византийском стиле представляет собой храмовый комплекс, состоящий из верхнего храма во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, и заупокойного нижнего Храма на Крови, который маркирует место расстрела царской семьи. Частью комплекса является также памятник царской семье перед собором. Большой, открытый для обзора с разных сторон города Храм на Крови сейчас является городской доминантой.

Собор стал точкой отсчета для создания огромного мемориального проекта. Второй значимой точкой мемориальной практики является так называемое урочище Ганина Яма, территория заброшенного рудника, где в шахту были сброшены тела членов царской семьи и слуг. Сейчас это монастырская территория. Еще одним в большей степени внецерковным мемориальным местом, связанным с уничтожением останков последних Романовых, является так называемый Пороosenков лог, не признанное РПЦ место захоронения великой княжны Марии и цесаревича Алексея.

Храм на Крови и Ганина Яма за последние годы превратились в места активного паломничества. Ежегодно в ночь гибели царской семьи в рамках организуемых РПЦ «Царских дней» от храма к Ганиной Яме направляется многотысячный крестный ход. Число участников крестного хода разнится: в 2016 году РПЦ, полиция и СМИ называли цифру от 50 000 до 60 000 человек.

Николаевская мемориальная зона Екатеринбурга все время растет. Так, появились Музей царской семьи, библиотека «Державная им. св. императора Николая II», Музей святости и подвижничества на Урале в XX веке, в Музее истории и археологии Урала был создан «Зал памяти Романовых», в Уральском горном университете — «Царский зал» (актовый зал университетского здания) и «Царский мемориал» в храме Николая Чудотворца.

При этом речь идет об исключительно динамичном процессе, в который вовлечены разные социальные и профессиональные группы города. Внутри царского мемориального пространства существует уже и определенная дивер-

сификация, актуализируются не одно, а сразу несколько контекстных полей. Например, в Екатеринбургском музее царской семьи, созданном РПЦ, образ Николая осмыслен не только в категориях святости, но и в категориях императорской власти. Здесь установлено условное тронное место — возвышение, балдахин с навершием в виде двуглавого орла и николаевским портретом работы Э. Липгарта. Примечательно, что по соседству с музеем функционирует зал заседаний РПЦ, предназначенный для проведения заседаний церковных иерархов, особенно во время пребывания в Екатеринбурге патриарха. Зал украшен портретами, здесь же хранятся некоторые вещи патриарха Алексея II и богослужебное облачение патриарха Кирилла. Отметим: музей и зал заседаний размещены под одной крышей — в построенном возле Храма на Крови духовно-просветительском центре «Царский».

Эта мемориальная волна для авторов концепции Ельцин-центра — контекст, существование которого невозможно отрицать.

Николай II—император появляется в Ельцин-центре почти сразу же. Однако отношение к нему двойственное. Так, во Вводном фильме Николай II — на уровне риторики — реформатор начала XX века или, по крайней мере, один из них (вместе с Витте и Столыпиным). Хотя в визуальном плане его образ гендерно снижен: он выходит на Красное крыльцо Грановитой палаты из-за спин императрицы и детей. В конце фильма Николай II среди реформаторов, чье место которых «ведет» к Ельцину, не появляется.

В экспозиции «Настоящий XX век» образ Николая II также в значительной мере прочитывается как позитивный благодаря выбору точки отсчета — рассказ о столетии начинается с Первой мировой войны. За скобки, таким образом, вынесены события, ответственность за которые с советских времен возлагается именно на последнего императора (Ходынка, Кровавое воскресенье, Ленский расстрел).

Создание подобного образа последнего Романова в Ельцин-центре, очевидно, связано с позиционированием законотворчества ельцинской эпохи. Так, во Вводном фильме именно Николай II представлен как монарх, даровавший стране Конституцию, созданием которой занимался еще М. Сперанский. В фильме Конституция-книга заперта в ларце Александром I, но явлена на свет в 1906 году.

Однако главная задача здесь, пожалуй, — представить образ Николая II, который бы не вступал в конфликт с мемориальной зоной, развернутой на противоположной стороне городского пруда. Ведь Храм на Крови для Ельцин-центра исключительно важен.

Дело в том, что разговор о сносе дома Ипатьевых, императорской семье, исторической памяти и роли Б. Ельцина в этих процессах перенесен в музей в самый конец экспозиции. Зритель, который ищет указание на них на первом этаже музея в блоке, посвященном работе Ельцина в Свердловском обкоме, не находит ничего. Зато в рассказе о конце политической жизни Б. Ельцина фигура последнего императора Николая II возникает в полный рост.

В экспозиции «День шестой. Президентский марафон», рассказывающей о втором президентском сроке Б. Ельцина, за шаг до информации о выборе преемника и за два — до финального зала «Прощания с Кремлем» (в рамках культурных кодов — символической смерти президента), зрителя вдруг выводят к окнам на реку, на другом берегу которой стоит Храм на Крови.

Отметим, что эта часть музейной экспозиции призвана суммировать в позитивном плане все, сделанное Б. Ельциным. Авторы называют здесь укрепление

демократических институтов, сильную внешнеполитическую позицию России и преодоление кризиса 1997 года. Заводится здесь и разговор о том, что стабильность 2000-х пришла не после, а вследствие событий второй половины 1990-х.

Именно в этом блоке и возникает разговор о Романовых и Ипатьевском доме. Снос последнего встроен в событийный ряд, где его разрушение — лишь начало, за которым следуют строительство храма, поиск и идентификация останков семьи Николая II и, наконец, их погребение в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга в 1998 году⁶. Фоном разговора о вечности и святости выступает график нефтяных цен (блок «Преодоление кризиса»), соположенный с графиком сердечного ритма (блок «Операция на сердце»). Как уже упоминалось, эта часть экспозиции находится рядом с выставленным здесь же Кремлевским президентским кабинетом, в котором транслируется новогоднее обращение Б. Ельцина с известными всем словами: «Я устал, я ухожу». В логике музея президент умирает в ночь на Новый год, он уходит за мгновение до начала нового тысячелетия. Умирая, он думает о наследии. Он обращен к храму и взывает к сакральности, без которой его власть не будет полной.

Два берега

Екатеринбург — город уникальный. В нем сошлись судьбы двух знаковых исторических фигур русской истории — последнего императора и первого президента, того, кто стоял во главе страны в начале XX столетия, и того, кто руководил ею в конце века.

Город, административное деление которого представлено на карте в виде пирога, разрезанного на части, с названиями районов, которые уходят корнями в основном в советское прошлое (Железнодорожный, Орджоникидзевский, Кировский, Октябрьский, Ленинский и др.), с точки зрения пространства памяти разделен сейчас еще и по обе стороны реки Исеть и городского пруда. На одном берегу — Ельцин-центр, на другом — Храм на Крови. У Ельцин-центра расположены здания областных органов власти (здание Правительства Свердловской области, которое часто называют Белым домом, Заксобрание Свердловской области), гостиница «Hyatt», Академический театр драмы, много небоскребов. У Храма на Крови — широкая мемориальная зона с несколькими церквями, музеем и библиотекой.

Два городских героя находятся друг с другом в сложных отношениях. Ельцин-центр, существующий на стыке мемориальных традиций, но глубоко связанный с русскими культурными кодами и практиками памяти, обращен к Храму на Крови не просто топографически, но изнутри собственного нарратива. А вот от площадки у Храма на Крови Ельцин-центр практически не виден. Едва ли мы станем свидетелями диалога, скорее такое тесное соседство чревато конфликтом⁷.

6 Останки великой княжны Марии и цесаревича Алексея не были погребены.

7 Опозиция между зонами памяти уже находит свое отражение в местном публичном пространстве. Так, на обложке недавно изданной книги «Екатеринбург для больших и маленьких. Энциклопедия от А до Я» [Екатеринбург 2016] городские объекты размещены так, что Ельцин-центр оказывается над Храмом на Крови, а значит, в семиотическом отношении позиционируется как более значимый или даже доминирующий.

Библиография / References

- [Беляев 1800] — *Беляев О.П.* Кабинет Петра Великого. СПб.: Императорская типография, 1800.
- (*Belyaev O.P.* Kabinet Petra Velikogo. Saint Petersburg, 1800.)
- [Беспалая 2016] — *Беспалая Е.В.* Последний путь странствующего императора Александра // Романовы в дороге. Путешествия и поездки членов царской семьи по России и за границу. М.; СПб.: Нестор-История, 2016. С. 49—62.
- (*Bespalaya E.V.* Posledniy put' stranstvuyushchego imperatora Aleksandra // Romanovy v doroge. Puteshestviya i poezdki chlenov tsarskoy sem'i po Rossii i za granitsu. Moscow; Saint Petersburg, 2016. P. 49—62.)
- [Болтунова 2008] — *Болтунова Е.М.* Трон Великого Петра: к вопросу о семантике тронных залов в России XVIII в. // Труды русской антропологической школы. Вып. 5. М., 2008. С. 496—521.
- (*Boltunova E.M.* Tron Velikogo Petra: k voprosu o semantike tronnykh zalov v Rossii XVIII v. // Trudy russkoy antropologicheskoy shkoly. Vol. 5. Moscow, 2008. P. 496—521.)
- [Болтунова 2011] — *Болтунова Е.М.* Пространство власти: царский/императорский дискурс в топографии Москвы и Санкт-Петербурга конца XVII—XVIII вв. // Изобретение империи: языки и практики. М.: Новое издательство, 2011. С. 49—91.
- (*Boltunova E.M.* Prostranstvo vlasti: tsarskiy/imperatorskiy diskurs v topografii Moskvy i Sankt-Peterburga kontsa XVII—XVIII vv. // Izobretenie imperii: yazyki i praktiki. Moscow, 2011. P. 49—91.)
- [Гендриков 1994] — *Гендриков В.Б.* Траурные церемонии в Петропавловском соборе // Краеведческие записки: Исследования и материалы. Вып. 2 (Государственный музей истории Санкт-Петербурга). СПб.: Акрополь, 1994. С. 306—315.
- (*Gendrikov V.B.* Traurnye tseremonii v Petropavlovskom sobore // Kraevedcheskie zapiski: Issledovaniya i materialy. Vol. 2 (Gosudarstvennyy muzey istorii Sankt-Peterburga). Saint Petersburg, 1994. P. 306—315.)
- [Гройс 1993] — *Гройс Б.* Ленин и Линкольн — образы современной смерти // Гройс Б. Утопия и обмен. М., 1993. С. 353—356.
- (*Groys B.* Lenin i Linkol'n — obrazy sovremennoy smerti // Groys B. Utopiya i obmen. Moscow, 1993. P. 353—356.)
- [Гусева 2006] — *Гусева Н.Ю.* К вопросу о жилых покоях Екатерины Великой // «Золотой осямнадцатый...» Русское искусство в современном отечественном искусствознании: Сб. статей / Под ред. Т.В. Ильиной и др. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. С. 22—36.
- (*Guseva N.Yu.* K voprosu o zhilykh pokoyakh Ekateriny Velikoy // «Zolotoy os'mnadsatyy...» Russkoye iskusstvo v sovremennom otechestvennom iskusstvovoznani: Sb. statei / Pod red. T.V. Ilyinoi i dr. SPb.: Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2006. S. 22—36.)
- [Дома и домики 2015] — *Дома и домики Петра I / Сост. В.В. Яковлев.* СПб.: Скрипториум, 2015.
- (*Doma i domiki Petra I / Ed. by V.V. Yakovlev.* Saint Petersburg, 2015.)
- [Един от царей 2015] — *Един от царей.* Жизнеописание Святых царственных страстотерпцев / Сост. А. Кузьмин. Екатеринбург: ОМТА, 2015.
- (*Edin ot tsarey. Zhizneopisanie Svyatykh tsarstvennykh strastoterpcev / Ed. by A. Kuz'min.* Ekaterinburg, 2015.)
- [Екатеринбург 2016] — *Екатеринбург для больших и маленьких:* Энциклопедия от А до Я / Ред. Э. Кубенский. Екатеринбург: Татлин, 2016.
- (*Ekaterinburg dlya bol'shikh i malen'kikh: Entsiklopediya ot A do Ya / Ed. by E. Kubenskiy.* Ekaterinburg, 2016.)
- [Ерканов, Мартынов 1980] — *Ерканов И., Мартынов В.* Дом-музей В.И. Ленина в Алакаевке: Путеводитель. Куйбышев: Куйбышевское книжное издательство, 1980.
- (*Erkanov I., Martynov V.* Dom-muзей V.I. Lenina v Alakaevke: Putevoditel'. Kuybyshev, 1980.)
- [Жерихина 2007] — *Жерихина Е.И.* Частные дворцы Петербурга. СПб.: Балтийская звезда, 2013.
- (*Zherikhina E.I.* Chastnye dvortsy Peterburga. Saint Petersburg, 2013.)
- [Здравомыслова 2016] — *Здравомыслова О.М.* Интервью (31.09.2016). Архив автора.
- (*Zdravomyslova O.M.* Interview (31.09.2016). Author's archive.)

Противоположная интерпретация пространства также существует. Она выражается, в частности, в появлении архитектурных проектов, подобных плану строительства храма Св. Екатерины на городском пруду. Храм на Воде, построенный на искусственном острове в бухте городского пруда, создаст еще один православный центр, укрепив, таким образом, позиции «николаевской» стороны. Об этом см.: <http://politsovets.ru/53423-gubernator-odobril-proekt-hrama-na-vode.html>.

- [Зицер 2007] — *Зицер Э.* Орденосцы и отступники: рыцарская идея в политической практике «кампаний» Петра Великого // *Петр Великий / Сост. Е.В. Анисимов.* М.: ОГИ, 2007. С. 210—240.
- [Zitser E. Ordenonostsy i otstupniki: rytsarskaya ideya v politicheskoy praktike «kampanii» Petra Velikogo // *Petr Velikiy / Ed. by E.V. Anisimov.* Moscow, 2007. P. 210—240.)
- [Квирниашвили 1953] — *Квирниашвили М.* Гори, 6 марта 1953 г. У домика, где родился товарищ Иосиф Виссарионович Сталин. Фото // *Правда.* 1953. 8 марта. (*Kvirniashvili M. Gori, 6 marta 1953. U domika, gde rodilsya tovarishch Iosif Vissarionovich Stalin. Foto // Pravda.* 1953. 8 March.)
- [Кириллов 2013] — *Кириллов А.Д.* Дом Ипатьева: мифы и реальность // 14-е Романовские чтения. Материалы. Екатеринбург: Издательство Квадрат, 2013. С. 35—42. (*Kirillov A.D. Dom Ipat'eva: mify i real'nosti' // 14-e Romanovskie chteniya. Materialy.* Ekaterinburg, 2013. P. 35—42.)
- [Козлов 2006] — *Козлов Г.* Выставка подарков И.В. Сталину имени А.С. Пушкина // *Отечественные записки.* 2006. № 1(28) (<http://www.strana-oz.ru/2006/1/vystavka-podarkov-i-v-stalinu-imeni-a-s-pushkina> (дата обращения: 01.11.2016)).
- (*Kozlov G. Vystavka podarkov I.V. Stalinu imeni A.S. Pushkina // Otechestvennye zapiski.* 2006. № 1(28) (<http://www.strana-oz.ru/2006/1/vystavka-podarkov-i-v-stalinu-imeni-a-s-pushkina> (accessed: 01.11.2016)).)
- [Крашенинников 2002] — *Крашенинников А.Ф.* О проекте памятника Петру Великому // Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Краеведческие записки. Исследования и материалы. Вып. 2 (Петропавловский собор и Великокняжеская усыпальница). СПб.: Искусство России, 2002. С. 174—178.
- (*Krashennnikov A.F. O proekte pamyatnika Petru Velikomu // Gosudarstvennyy muzey istorii Sankt-Peterburga. Kraevedcheskie zapiski. Issledovaniya i materialy.* Vol. 2 (Petropavlovskiy sobor i Velikoknyazheskaya usypal'nitsa). Saint Petersburg, 2002. P. 174—178.)
- [Лукин 1935] — *Лукин Н.* Домик Сталина // *Правда Севера.* 1953. 30 августа. (*Lukin N. Domik Stalina // Pravda Severa.* 1953. 30 August.)
- [Логунова 2011] — *Логунова М.О.* Печальные ритуалы императорской России. М.; СПб.: Центрполиграф, 2011. (*Logunova M.O. Pechal'nye ritually imperatorskoy Rossii.* Moscow; Saint Petersburg, 2011.)
- [О сносe особняка 1975] — О сносe особняка Ипатьева в г. Свердловске. Постановление ЦК КПСС (26 июля 1975 г.) // <http://www.bukovsky archives.net/pdfs/sovter75/pb75-1.pdf>. (O snose osobnyaka Ipat'eva v Sverdlovске. Postanovlenie TsK KPSS (26 July 1975).)
- [Панченко 1999] — *Панченко А.М.* Осьмое чудо света // *Панченко А.М.* Русская культура: Работы разных лет. СПб.: Юна, 1999. С. 476—497. (*Panchenko A.M. Os'moe chudo sveta // Panchenko A.M. Russkaya kul'tura: Raboty raznykh let.* Saint Petersburg, 1999. P. 476—497.)
- [Петр I 1830] — *Петр I.* Устав. О наследии престола // Полное собрание законов Российской империи. Т. VI (1720—1722). № 3893. СПб.: Типография II отделения Собственной Его Императорского величества канцелярии, 1830. С. 496—497. (*Petr I. Ustav. O nasledii prestola // Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii.* T. VI (1720—1722). № 3893. Saint Petersburg, 1830. P. 496—497.)
- [Петрова 1970] — *Петрова Т.А.* Тронный зал императрицы Марии Федоровны в Зимнем дворце и картина Е.Ф. Крендовского // *Труды Государственного Эрмитажа.* Т. XI: Русская культура и искусство. Ленинград: Аврора, 1970. С. 190—197. (*Petrova T.A. Tronnyy zal imperatritsy Marii Fedorovny v Zimnem dvortse i kartina E.F. Krendovskogo // Trudy Gosudarstvennogo Ermitazha.* Vol. XI: Russkaya kul'tura i iskusstvo. Leningrad, 1970. P. 190—197.)
- [РГАДА 1725] — Описание (печатное) порядка при погребении в Санкт Петербурге императора Петра I и его дочери цесаревны Натальи Петровны. 10 марта 1725 г. // Российский государственный архив древних актов (далее — РГАДА). Ф. 156. Оп. 1. Д. 44. (Opisanie (pechatnoe) poryadka pri pogrebenii v Sankt Peterburge imperatora Petra I i ego docheri tsesarevny Natal'i Petrovny. 10 marta 1725 // Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov (RGADA). F. 156. Op. 1. D. 44.)
- [РГАСПИ 1916] — *Беллярминов И.* Курс русской истории (1916 г.) // Российский государственный архив социально-политической истории (далее — РГАСПИ). Ф. 558. Оп. 3. Д. 11. (*Bellyarminov I. Kurs russkoy istorii (1916) // Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv sotsial'no-politicheskoy istorii (RGASPI).* F. 558. Op. 3. D. 11.)
- [РГАСПИ 1935] — Копия письма Н.К. Крупской (1935 г.) // РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 755. Док. 13. (Kopiya pis'ma N.K. Krupskoy (1935) // RGASPI. F. 558. Op. 11. D. 755. Dok. 13.)
- [РГАСПИ 1944] — Записка директора Нарымского музея Сталину И.В. (1944 г.) // РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1473. Док. 32.

- (Zapiska direktora Narymskogo muzeyya Stalinu I.V. (1944) // RGASPI. F. 558. Op. 11. D. 1473. Dok. 32.)
- [РГАСПИ 1946] — Сообщение Поскребышева о подтверждении Сталиным И.В. своего приезда к Ленину в августе 1917 г. в Разлив (1946 г.) // РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 4. Д. 353. (Soobshchenie Poskrebysheva o podtverzhenii Stalinyim I.V. svoego priezda k Leninu v avguste 1917 g. v Razliv (1946) // RGASPI. F. 558. Op. 4. D. 353.)
- [РГАСПИ 1950] — Стенограмма беседы со старыми большевиками в Музее В.И. Ленина (1950 г.) // РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 4. Д. 582. (Stenogramma besedy so staryimi bol'shevikami v Muzee V.I. Lenina (1950) // RGASPI. F. 558. Op. 4. D. 582.)
- [РГАСПИ 1953а] — Материалы, предоставленные директором Выставки подарков Сталину И.В. (1953 г.) // РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1432. Док. 2. (Materialy, predostavlennye direktorom Vystavki podarkov Stalinu I.V. (1953) // RGASPI. F. 558. Op. 11. D. 1432. Dok. 2.)
- [РГАСПИ 1953б] — Постановление Секретариата ЦК КПСС (1953 г.) // РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1487. Док. 33. (Postanovlenie Sekretariata TsK KPSS (1953) // RGASPI. F. 558. Op. 11. D. 1487. Dok. 33.)
- [Соснина, Ссорин-Чайков 2010] — *Соснина О., Ссорин-Чайков Н.* Канон и импровизация в политической эстетике советского общества: Дары вождям // НЛО. 2010. № 101 (<http://nlobooks.ru/sites/default/files/old/nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/196/1717/1755/index.html>).
- (*Sosnina O., Ssorin-Chaykov N.* Kanon i improvizatsiya v politicheskoy estetike sovetского obshchestva: Dary vozhdyam // NLO. 2010. № 101 (<http://nlobooks.ru/sites/default/files/old/nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/196/1717/1755/index.html>).
- [Тарыгина 1978] — *Тарыгина Н.С.* Дом-музей Ленина в Куйбышеве. Куйбышев: Куйбышевское книжное издательство, 1978. (*Tarygina N.S.* Dom-muzey Lenina v Kuybysheve. Kuybyshev, 1978.)
- [Федеральный закон 2008] — Федеральный закон от 13 мая 2008 г. № 68-ФЗ «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий» // <https://rg.ru/2008/05/16/presidency-centry-dok.html>.
- (Federal'nyy zakon ot 13 maya 2008 g. № 68-FZ «O tsentrah istoricheskogo naslediya prezidentov Rossiyskoy Federatsii, prekrativshikh ispolnenie svoikh polnomochiy» // <https://rg.ru/2008/05/16/presidency-centry-dok.html>).
- [Хайкина 2007] — *Хайкина Л.В.* Новые материалы к истории создания храма-мемориала в Инженерном замке // Труды Государственного Эрмитажа. Т. XXXVI (Российский императорский двор и Европа: диалоги культур). СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2007. С. 193—202.
- (*Khaykina L.V.* Novye materialy k istorii sozdaniya khrama-memoriala v Inzhenernom zamke // Trudy Gosudarstvennogo Ermitazha. Vol. XXXVI (Rossiyskiy imperatorskiy dvor i Evropa: dialogi kul'tur). Saint Petersburg, 2007. P. 193—202.)
- [Хмельницкий 2007] — *Хмельницкий Д.* Зодчий Сталин. М.: Новое литературное обозрение, 2007. (*Khmel'nitskiy D.* Zodchiy Stalin. Moscow, 2007.)
- [Цымбал 2015] — *Цымбал А.А.* «Высочайший дворец императора Александра I» в Таганроге — царская резиденция и мемориальный музей // Дворцы Романовых как памятники истории и культуры. СПб.: Европейский дом, 2015. С. 319—332. (*Tsybmal A.A.* "Vysochayshiy dvorets imperatora Aleksandra I" v Taganroge — tsarskaya rezidentsiya i memorial'nyy muzey // Dvortsy Romanovykh kak pamyatniki istorii i kul'tury. Saint Petersburg, 2015. P. 319—332.)
- [Шевченко 2016] — *Шевченко В.Н.* «А сейчас политики — мелкота». Отец кремлевского протокола о Путине, Ельцине и Горбачеве. Интервью // https://lenta.ru/articles/2016/10/10/shevchenko_two/.
- (*Shevchenko V.N.* "A seychas politiki — melkota". Otets kremlevskogo protokola o Putine, El'tsine i Gorbacheve. Interv'yu // https://lenta.ru/articles/2016/10/10/shevchenko_two/.)
- [Щуцкая 2013] — *Щуцкая Г.К.* Романовы — основатели первых мемориальных музеев в XIX в. // 14-е Романовские чтения. Материалы. Екатеринбург: Издательство Квадрат, 2013. С. 43—50. (*Shchutskaya G.K.* Romanovy — osnovateli pervykh memorial'nykh muzeev v XIX v. // 14-e Romanovskie chteniya. Materialy. Ekaterinburg, 2013. P. 43—50.)
- [Hughes 2003] — *Hughes L.* "Nothing Is Too Small for a Great Man": Peter the Great's Little Houses and the Creation of Some Petrine Myths // The Slavonic and East European Review. 2003. Vol. 81. № 4. P. 416—423.
- [Linenthal 1994] — *Linenthal E.* The Boundaries of Memory: The United States Holocaust Memorial Museum // American Quarterly. 1994. Vol. 46. № 3. P. 406—433.

Гибридные языки имперского сознания

Илья Герасимов, Сергей Глебов, Марина Могильнер Гибридность: Марризм и вопросы языка имперской ситуации

Ilya Gerasimov, Sergey Glebov, Marina Mogilner

Hybridity: Marrism and the Imperial Situation's Questions of Language

Илья Герасимов («Ab Imperio Quarterly»); ответственный редактор; PhD in History, кандидат исторических наук) ig@abimperio.net.

Сергей Глебов (Смит-колледж; доцент; Амхерст-колледж; доцент; PhD in History) sglebov@smith.edu.

Марина Могильнер (Иллинойский университет в Чикаго; доцент российской и восточноевропейской интеллектуальной истории; PhD in History, кандидат исторических наук) mmogilne@uic.edu.

Ключевые слова: постколониальная теория, гибридность, новая имперская история, языковой поворот, марризм

УДК: 327.2+81-13+81-119

Статья обращается к печально известному труду Сталина о языкознании 1950 года, предлагая рассматривать его критику пресловутого «марризма» как «языковой поворот». Авторы доказывают, что речь идет буквально о смене языка описания социального разнообразия, а не просто об идеологической кампании. Анализ интеллектуального контекста формирования теории Марра в первой четверти XX века приводит авторов к выводу, что научные штудии Марра являлись лишь частным случаем осмысления и разработки научного языка гибридности. Новые науки о человеке в России

Ilya Gerasimov (*Ab Imperio Quarterly*; executive editor; PhD) ig@abimperio.net.

Sergey Glebov (Smith College; associate professor; Amherst College; associate professor; PhD) sglebov@smith.edu.

Marina Mogilner (University of Illinois at Chicago; associate professor, Edward and Marianna Thaden chair in Russian and East European Intellectual History; PhD) mmogilne@uic.edu.

Key words: postcolonial theory, hybridity, new imperial history, linguistic turn, Marrism

UDC: 327.2+81-13+81-119

An article examines Stalin's sadly famous 1950 study of linguistics and suggests viewing his criticism of the notorious "Marrism" as a "linguistic turn." The authors show that what was at stake was not merely an ideological campaign but literally a change in the language used in describing social diversity. Through an analysis of the intellectual context of the formation of Marr's theory in the first quarter of the twentieth century, the authors conclude that Marr's scientific studies were only an isolated instance of the comprehension and development of a scientific language of hybridity. The new "human sciences" in Russia had formed a distinctive metalanguage for the description

сформировали отчетливый метаязык для описания и анализа многоуровневого разнообразия имперской ситуации. Центральной категорией этого метаязыка являлся троп «гибридности», точнее, такие его аналоги того времени, как «смешение» и «скрещивание». Возникновение научных моделей, которые эксплицитно использовали троп гибридности и воспринимали саму гибридность как норму (а не как маргинальное отклонение от чистых форм), характеризуется в статье как позднеимперская эпистемологическая революция. Она оказалась возможной и перспективной в контексте имперской ситуации, в идеологически плюралистичном режиме поздней империи. Ее потенциал исчерпал себя уже к концу 1920-х годов, не получив поддержки ни в стабилизированном гегемонном советском идеологическом дискурсе, ни в субалтерных евразийском или советском национальных и антиколониальных проектах.

and analysis of the multi-tiered diversity of the imperial situation. The central category of this meta-language was the trope of “hybridity,” or rather its analogues of the time, like “commixture” and “cross-breeding.” The authors describe the emergence of scientific models that explicitly used the trope of hybridity and which accepted hybridity itself as a norm (rather than as a marginal deviation from pure forms) as a late-imperial epistemological revolution. Just such a revolution was possible and potentially productive in the context of the imperial situation, given the ideologically pluralist regime of the late empire. Its potential was exhausted by the end of the 1920s, having received no support either from the stabilized hegemonic Soviet ideological discourse, or the subaltern Eurasian or Soviet national and anti-colonial projects.

ГИБРИД, гибрида, м. (латин. *hibrida* — помесь). Животное или растение, происходящее от скрещивания разных пород (биол.). || Язык, происходящий от скрещивания языков разных типов (лингв.). Абхазский язык и с ним сванский представляют скрещенные языки или гибриды.

Н. Марр [Ушаков 2001: 236]

Эта статья стала результатом многолетних размышлений о применимости концептуальной рамки имперских исследований к советскому случаю. Особенно многообещающими в этой связи нам кажутся концепции «имперской ситуации» и языков самоописания имперского пространства — центральные для проекта новой имперской истории, которую развивает журнал «*Ab Imperio*». Говоря формальным языком, имперская ситуация задает видение общества как открытой системы сосуществующих и отчасти взаимонакладывающихся, но при этом несопоставимых категорий различия (каждая из которых представляет лишь один его тип). Эти полуизолированные классификации (по социальному статусу, культуре, политической принадлежности, экономической специализации и т.д.) в разных сочетаниях формируют матрицу множественных, многоуровневых социальных ниш. Существование в рамках такой матрицы предполагает подбор и адаптацию отдельных «строительных блоков» индивидуальной социальной персоны: этничность + экономический статус + регион, культурная идентичность + политическая позиция + профессия и т.п. В имперской ситуации сохраняются все структурные элементы империи и колониализма: гегемония и эксплуатация, мимикрия и зависимость, эмансипация и восстание. Однако они растождествлены с конкретными, эссенциализированными этническими или социальными группами (нациями, расами, классами). Таким образом, имперская ситуация описывает разнообразие как фундаментальное и изначально существующее состояние, как движущую силу исторического процесса, а не как маргинальный социальный феномен, побочный продукт неполноценной рационализации реальности законодателями и учеными.

Соответственно, имперская ситуация вовсе не обязательно описывает лишь исторические империи. Они поддерживали и воспроизводили разнообразие не в силу некой особой «толерантности» имперской природы, а лишь потому, что им не доставало ресурсов для масштабной рационализации имперских обществ с помощью институтов социального дисциплинирования. Но что происходит с имперской ситуацией в современных массовых обществах, которые вырабатывают сложные аналитические механизмы самопознания и дисциплинарные практики, позволяющие воплощать эти рациональные модели в социальный порядок? Что происходит с нормативным языком описания современных обществ — отныне определенно и непосредственно укорененным в воображении гомогенной нации как парадигмальной модели организации социального, культурного, политического и экономического пространств в государстве?

Позднеимперская Россия и ранний СССР представляют уникальный материал для ответа на эти вопросы. Мы находим здесь все необходимые структурные предпосылки модернизирующейся имперской ситуации: высочайший уровень разнообразия населения в сочетании с быстрым развитием современного знания и активным государственным строительством. Отправной точкой для нашей статьи является гипотеза, что социальные науки в России этого периода предложили специфический метаязык описания и анализа комплексного разнообразия. Центральной категорией этого метаязыка являлся троп «гибридность», точнее, такие его аналоги того времени, как «смешение» и «скрещивание» (поскольку в русском лексиконе начала и середины XX века слово «гибридность» еще отсутствовало). Именно в этом смысле, а не как прямое заимствование из языка постколониальной теории (напрямую из Хоми Баба или его последователей и критиков) «гибридность» фигурирует в статье. Мы понимаем «гибридность» как язык самоописания имперской ситуации (категория практики) и как элемент аналитического языка в проекте современных социальных наук начала XX века.

* * *

За полгода до середины XX века, летом 1950 года, Сталин опубликовал в «Правде» серию статей, объединенных позже в брошюру «Марксизм и вопросы языкознания». Эта работа получила широкое распространение (в Советском Союзе — гораздо более широкое, чем хотелось бы большинству читателей), но с закатом сталинизма она перестала привлекать внимание исследователей. Обычно обращение Сталина к теории лингвистики воспринимается иронично — либо как метафора абсурдности всепроникающего контроля тоталитарного режима, либо как признак наступающей деменции диктатора. Если попытаться серьезно отнестись к мотивам, побудившим Сталина сделать стержнем колоссальной пропагандистской кампании абстрактный вопрос соотношения языка с базой или надстройкой в марксистской картине мира, можно предположить, что некие важные элементы яфетической теории Николая Марра оказались политически неприемлемыми в новом идеологическом климате государственного антисемитизма и русско-славянского национализма. Впрочем, работа Сталина на редкость «академична» для этого автора — она не просто избегает всяких идеологических инвектив, но напрямую запрещает искать политический подтекст в критике давно покойного Марра и его здравствующих уче-

ников: «Если бы я не был убежден в честности товарища Мещанинова и других деятелей языкознания, я бы сказал, что подобное поведение равносильно вредительству» [Сталин 1997: 122].

Все значение этой справки о политической благонадежности объекта критики Сталина становится понятным лишь с учетом обстоятельств биографии Ивана Ивановича Мещанинова (1883—1967), официального преемника академика Марра на посту руководителя Института языка и мышления АН СССР. Он сам был избран академиком в 1932 году, едва став профессором Института живых языков в 1930-м и минуя ступень членкора академии. В 1945 году Мещанинову присвоили звание Героя Социалистического Труда. Между тем одной анкеты героя было достаточно для того, чтобы уничтожить его как врага народа в любой момент начиная с 1918 года, когда в тюрьме погиб арестованный чекистами его отец — действительный тайный советник (1914), сенатор (1900) Иван Васильевич Мещанинов. Когда родился сын Иван — будущий «красный профессор», Иван Васильевич служил прокурором Уфимской губернии; в 1900—1901 годах возглавлял Главное тюремное управление. В семье было еще два сына; младший — Виктор Мещанинов (1891—1969) — в 1917 году служил штабс-капитаном гвардейского Семеновского полка. Он не только принял участие в Гражданской войне на стороне белой армии, эмигрировал, но и вступил в Югославию после начала Второй мировой войны в Русский корпус в составе вермахта. После войны он оказался в США, где активно и публично участвовал в общественной жизни военной эмиграции¹. Так что остается только удивляться, что советский академик Мещанинов умер в своей постели, намного пережив Сталина. Не вдаваясь в пустые гадания по поводу причин такой удачливости в эпоху полного произвола, подчеркнем, что Сталина интересовал именно теоретический аспект марризма, раз он специально защитил главного «марриста» от совершенно естественно ожидаемых политических преследований.

Появившаяся десять лет назад статья Ирины Сандомирской положила начало серьезному обсуждению выступления Сталина как «лингвистического поворота» [Сандомирская 2006]. Правда, в данном случае «лингвистический поворот» понимался в политическом смысле, как утверждение торжества языка идеологии. Сандомирская имела в виду использование языка как политического оружия. В недавней статье Евгений Добренко развил метафору Сандомирской в модель «лингвистического поворота *à la Soviétique*» [Dobrenko 2014]. При этом он подчеркивает случайность того, что именно Марр был выбран Сталиным в качестве объекта критики:

В подобных обстоятельствах нет смысла рассуждать об идеологическом *содержании* той или иной школы мысли. <...> Для Сталина антимарровская кампания, как и поддержка Лысенко двумя годами ранее, была <...> чисто политическим актом. Идеологические аргументы давно превратились в сугубо инструментальные. <...> Как правило, Сталин брался доказывать, и вполне успешно, все, что угодно, если это было политически выгодно. <...> Таким образом, Марр стал жертвой политики, а не идеологии [Dobrenko 2014: 35].

1 См.: kaminec.livejournal.com/129857.html; wap.1914.borda.ru/?1-12-100-00000438-000-0-0 (дата обращения здесь и далее по всем ссылкам: 06.02.2017). Виктор Мещанинов передал библиотеке Колумбийского университета 24 коробки документов, которые составили коллекцию «Бумаги Семеновского полка» (www.columbia.edu/cu/libraries/inside/working/RBML_Finding_Aids/ldpd_bak_4078046.pdf).

Несколько раньше Борис Гройс описывал сталинское выступление как политическую декларацию установления тотальности власти дискурса:

Сталинский коммунизм в конце концов оказался возрождением платоновской мечты о царстве философов, которые действуют лишь посредством языка. <...> Государственный аппарат переводил язык философа в действие [Groys 2009: 64].

Эта метафора Гройса была в полной мере развернута в романе Василия Аксенова «Москва Ква-Ква», одновременно и моделирующем поздний сталинизм по формуле Гройса, и подчеркивающим ее буквальную фантастичность [Аксенов 2006]². Вероятно, вполне адекватно реконструируя образ «эроса» позднего сталинизма, Добренко и Гройс слишком легко уравнивают его с политической идеологией, а тем более с практической политикой. Прежде всего, как подчеркивает сам Добренко, брошюра Сталина о языке является практически единственным публичным установочным текстом за последние 15 лет его жизни — чего совершенно недостаточно для управления огромной страной в меняющихся обстоятельствах при помощи одного лишь «языка философа» [Dobrenko 2014: 36]. Кроме того, в СССР середины XX века почти пятая часть населения старше девяти лет была вовсе неграмотна, меньше 8% имели среднее образование³ — при том что фукольтгианский образ общества, управляемого при помощи невидимых гегемонных дискурсов, предполагает не только всеобщую грамотность, но и активную включенность в пространство публичной сферы. Как может «философ» управлять при помощи авторитетного дискурса о теории языкознания населением, подавляющее большинство которого не приобщено к текстуальной культуре (и вообще едва умеет читать)? Но самое главное — о каком конкретно языке идет речь? В отличие от переписи 1926 года, советская статистика 1930-х годов больше не уточняла не только уровень, но и язык грамотности [Жиромская 2007: 14]. В результате статистическая абстракция владения «языком» легко трансформируется в философскую абстракцию платоновского государства власти чистого логоса.

На самом деле даже те 5—8% граждан СССР, которые закончили среднюю школу с ее прямой индоктринацией, которая происходила на обществоведческих предметах, и «скрытой программой» на уроках литературы, географии и даже математики, владели разными письменными языками. Малограмотное большинство было социализировано в русскоязычный идеологический канон еще слабее. Может быть, Платон мог позволить себе не уточнять язык, на котором правитель-философ контролирует подданных. Однако в СССР в 1939 году русские составляли лишь 58% населения страны (а после непропорциональных демографических потерь военного времени доля русских должна была еще сократиться) [Всесоюзная перепись 1992: 80]⁴. Прежде чем мечтать о том, как

2 Об аксеновской мифологии «новой фазы» сталинизма см.: [Герасимов 2009].

3 По данным переписи 1939 года: [Всесоюзная перепись 1992: 38, 49]. По данным уничищенной переписи 1937 года цифра была еще скромнее — 4,9% [Поляков 2000: 390]. Маловероятно, что после социальной катастрофы военного времени и первых послевоенных лет ситуация существенно изменилась в лучшую сторону.

4 По данным переписи 1959 года, спустя 14 лет после конца войны, доля русских составляла 54% — на 4% меньше, чем до войны. При этом доля украинцев выросла на 1,36%, доля белорусов — на 0,7% (очевидно, за счет присоединенных территорий Польши и Литвы); см.: Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по республикам СССР (demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php).

управлять страной «посредством одного лишь языка» в принципе, необходимо было убедиться, что существует некий общий язык коммуникации.

Поэтому, не создавая очередной «культ личности» Сталина — на этот раз как просвещенного адепта платоновской тоталитарной утопии (разоблаченной Карлом Поппером еще в 1943 году), — будем последовательны в серьезном отношении к его брошюре. Если это высказывание о языке, то объектом критики Сталина должна рассматриваться именно языковая теория Марра, а не некие эмпирии «чистого разума». Если Сандомирская, Гройс и Добренко правы и речь действительно идет о «лингвистическом повороте» в господствующей идеологии, то причину его надо искать именно в «новом учении» Марра, а не в шатких и, как обычно, убогих сталинских постулатах. Вполне вероятно, что спор о природе языка в марксистской схеме — «базис» или «надстройка», — на котором всецело фиксируются Гройс и Добренко, был навязан Сталину начетниками-подданными, испуганно пытавшимися своими вопросами прояснить явно импровизационно складывающуюся новую ортодоксию. Сталин отмахивается от этих вопросов по совершенно троцкистской оппортунистической логике «ни мира, ни войны»: и не надстройка, и не базис.

Если бы он затевал «лингвистический поворот» ради этой казуистики, наверное, он в первой же статье цикла сформулировал бы по-сталински тривиальную формулу и объяснил, как она по-новому описывает суть коммунистического режима. Но ему это явно было и неинтересно, и неважно. Что-то перестало устраивать его в самой схеме Марра, которая объясняла происхождение не только языка, но и самого общества, и логику социального устройства. Другой столь же комплексной языковой теории — по сути, социального метаязыка (например, Соссюра или Витгенштейна) — он не знал, поэтому взялся исправлять марризм, не объявляя его вовсе вне закона, как генетику. «Лингвистический поворот» действительно являлся языковым поворотом, поиском нового языка описания общественного устройства. Для сознательного языкового поворота понадобилась именно языковая теория (это сегодня мы знаем, что практически любой дискурс может стать основой универсального метаязыка), и ему придавалось столь большое значение, что понадобилась личная санкция «основоположника марксизма». Поэтому научный лингвистический спор с марризмом был не только и даже не столько о «языкознании», коль скоро и сам Николай Марр был не только и даже не столько «лингвист».

Марризм как язык описания сложной системы

Чтобы понять суть теоретических разногласий Сталина с марристами, сначала нужно вернуться к их собственным взглядам и социальной нише, которую они занимали.

Корифей советской лингвистики Иван Мещанинов не получил вообще никакого языковедческого образования: он учился в Императорском училище правоведения (как и его младший брат Виктор), в 1907 году закончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Правда, в 1910-м он завершил двухлетний курс учебы в Санкт-Петербургском археологическом институте [Николаев 2009]. Специализацией Мещанинова в институте было древнерусское право [Аврорин, Щербак 1958: 461]. Получивший прекрасное юридическое образование (включавшее два семестра учебы в Гейдельбергском университете

в 1905 году), Мещанинов посвятил себя архивной службе в Сенате и в Археологическом институте, что привело его к работе по описанию петербургских археологических коллекций из раскопок в Передней Азии, увенчавшейся публикацией 50-страничной брошюры «Эламские древности» в 1917 году. В это время он становится личным секретарем и ассистентом академика Марра, который пробуждает у юриста и кабинетного археолога интерес к кавказской археологии и языкам. Именно Мещанинову принадлежит самое стройное изложение яфетической теории Марра в работе 1929 года «Введение в яфетидологию». Так что Мещанинов оказывается принципиально важным звеном между Сталиным и Марром, а также и между дореволюционной интеллектуальной средой и раннесоветской и сталинской наукой, опровергая многие стереотипные представления о логике адаптации российской интеллигенции к советскому режиму.

В синтетической работе 1929 года, своего рода «кратком курсе» марризма, Мещанинов сформулировал 34 тезиса, систематизирующих идеи Марра. Часть тезисов звучала вполне канонично, часть выглядела как попытка навязать новый научный жаргон для описания вполне традиционных идей, часть могла показаться настолько идиосинкразической, что надо было либо с ходу отвергать ее как антинаучную, либо внимательно и долго вникать в ее аргументы. Но больше всего эту схему отличали не жаргон и доморожденные теории и вообще не собственно лингвистические постулаты, а фундаментальная эпистемологическая позиция по осмыслению и классификации открытой системы разнообразия:

1. *Яфетическая теория* построена на исследовании основных вопросов науки о человеке в обстановке его общественной деятельности <...>.

2. Поскольку язык является лишь одним из проявлений общечеловеческой культурной деятельности, *яфетическое языкознание* ставится в тесную связь с изучением истории материальной культуры, истории общественных форм, истории развития человеческого мышления. <...>

5. В области *общего учения о языке* яфетидология останавливается на вопросе о происхождении языка, о взаимоотношениях различных систем языков (по обычной терминологии «семей») в их статическом состоянии, о преемственной связи языковых систем между собою и об эволюции внутри их и между ними, как формальной типологической, так и идеологической. <...>

11. Человеческая речь едина в своем процессе развития. Сложившиеся языковые системы, обычно именуемые «семьями», представляют собою идущие по обособившемуся уклону оформления этого единого процесса развития. <...>

26. Развитие речи обусловлено процессом *скрещения*, то есть органического соединения основных элементов, а затем и слов одинаковой значимости, что, в свою очередь, является результатом скрещения обособившихся человеческих группировок, позднее племен. Каждый из срастающихся элементов понятен одной из скрещивающихся или входящих в общение единиц, и, таким образом, все *скрещенное слово* понятно обоим вошедшим в общение или скрестившимся массам. <...>

32. Языки группируются по наличию в них тех или иных признаков (координатов), но так как языки, даже и сложившиеся, представляют собою лишь определенное оформление в общем процессе развития речи, то наличие в каждом только точно поименованных признаков невозможно. В каждом языке одни признаки действуют, другие вымирают, третьи зарождаются. Следовательно, группировка их до известной степени условна и проводится по наличию особо характерных для них *сумм признаков*, как еще в них действительно (активно) присутствующих [Мещанинов 1929: 11–20].

Мещанинов представляет схему моногенизма (происхождения из единого источника и единства процесса развития) некоего набора устойчивых элементов речи. Под влиянием природных и социальных (исторических) условий эти элементы складываются в определенные сочетания. Проводя различие между аналитической моделью и характеристикой «сути» описываемых явлений, Мещанинов в тезисах предлагает вместо традиционного понятия «языковой семьи», неизбежно перегруженного органицистскими коннотациями («естественности», устойчивости, наследственности), использовать конструктивистский термин «система». Ключевым понятием становится «скрещивание» исходных элементов («признаков»), позволяющих появляться новым системам, мало напоминающим свои исходные «семьи».

Двадцатью годами позже (накануне сталинского вмешательства в вопросы языкознания) в изменившемся интеллектуальном контексте Мещанинов по-прежнему подчеркивал те же основные тезисы: о фундаментальности гибридности («скрещивания») в развитии языка и формирующем влиянии изменчивой социальной среды. Критикуя «буржуазную науку» в обстановке кампании по борьбе с космополитами (и генетикой), он фактически подрывал саму националистическую эпистему чистых форм (отражающих историческую преемственность неизменного «духа народа»), основанную на классической гуманитарной гумбольдтовской традиции:

Основатель новой буржуазной лингвистической школы де Соссюр <...> заложил основы всего того стабильного подхода к языку, который в своем узком формализме дал обоснование ныне развивающемуся буржуазному учению структурализма. В языке изучаются и сравниваются его действующие формы как таковые, их смысловое значение оставляется без внимания. Язык перестает восприниматься как создание социальной среды, как необходимейшее средство общения между людьми, которые совсем не имеют раз навсегда сложившихся и неизменно существующих форм своего бытования и мировоззрения [Мещанинов 1949: 289].

Процессы скрещивания, качественные переходы в развитии языка, дающие новые образования, остаются при таком искусственном подходе затуманенными. Преемственность, взаимные влияния разносистемных языков, прослеживание субстрата и т.д. совсем не находят себе места... [Мещанинов 1948: 474—475].

Учение о наследственности, об изначальном и неизменчивом наследственном веществе хорошо известно историкам развития научной лингвистической мысли. Такое же «наследственное вещество» выступает в учении Гумбольдта о «духе народа», по отношению к которому язык снижается до роли простого вместилища, отражающего «дух народа», а не объективную действительность. Эти положения, высказанные Гумбольдтом более ста лет тому назад, получили свое отражение и в работах его преемников. Они же ложатся в основу расовой теории в языкознании, еще окончательно не изжитой в работах зарубежного языковедения и получившей в фашистской Германии широкое применение [Мещанинов 1948: 473—474].

Характерна современная «постидеологическая» научная критика марризма со стороны Владимира Алпатова, который признает за этим идейным комплексом лишь паранаучный характер мифа. Алпатов указывает на главные компрометирующие марризм тезисы — те самые, которые вытекают не столько из сугубо лингвистической теории, сколько из общего мировоззрения:

Марр выдвинул и другую идею, ставшую для него основополагающей, — о скрещении языков. <...> Скрещении языков связывалось со скрещением этносов <...>. Идея скрещивания, позволявшая связывать чуть ли не любой язык с кавказскими, стала в дальнейшем лейтмотивом всей деятельности Марра. <...> Марр в тезисной форме и без примеров <...> заявил, что «индоевропейской семьи расово отличной не существует», что «вначале был не один, а множество племенных языков, единый праязык есть сослужившая свою службу научная фикция» [Алпатов 2004: 18, 31].

Именно за это критиковал Марра и Сталин в первой статье цикла — до того, как вопросы обеспокоенных обществоведов переключили его в следующих статьях на обсуждение схоластической проблемы природы языка («базис» или «надстройка»):

Говорят, что многочисленные факты скрещивания языков, имевшие место в истории, дают основание предполагать, что при скрещивании происходит образование нового языка путем взрыва, путем внезапного перехода от старого качества к новому качеству. Это совершенно неверно.

<...> Далее. Совершенно неправильно было бы думать, что в результате скрещивания, скажем, двух языков получается новый, третий язык, не похожий ни на один из скрещенных языков и качественно отличающийся от каждого из них. На самом деле при скрещивании один из языков обычно выходит победителем, сохраняет свой грамматический строй, сохраняет свой особый словарный фонд и продолжает развиваться по внутренним законам своего развития, а другой язык теряет постепенно свое качество и постепенно отмирает.

Следовательно, скрещивание дает не какой-то новый, третий язык, а сохраняет один из языков, сохраняет его грамматический строй и основной словарный фонд и дает ему возможность развиваться по внутренним законам своего развития.

Правда, при этом происходит некоторое обогащение словарного состава победившего языка за счет побежденного языка, но это не ослабляет, а, наоборот, усиливает его. Так было, например, с русским языком, с которым скрещивались в ходе исторического развития языки ряда других народов и который выходил всегда победителем.

<...> Что касается национальной самобытности русского языка, то она не испытала ни малейшего ущерба, ибо, сохранив свой грамматический строй и основной словарный фонд, русский язык продолжал продвигаться вперед и совершенствоваться по внутренним законам своего развития.

Не может быть сомнения, что теория скрещивания не может дать чего-либо серьезного советскому языкознанию [Сталин 1953: 29—30].

В нашу задачу не входит обсуждение научных качеств лингвистической теории Марра (а тем более Сталина). Речь идет о характере «языкового поворота» в более широком смысле, как выработке метаязыка описания сложного общества. В данном случае важны не конкретные гипотезы существования «яфетических языков» или происхождения речи, а более фундаментальные представления о принципах классификации групп (здесь — языков), динамике и характере их взаимодействия. С этой точки зрения спор Сталина с марристами выходит за пределы языкознания (тем более, что обе стороны подчеркивали связь языка с общей материальной культурой и социальной организацией общества). Ключевым вопросом в сугубо научном плане оказалось отношение к гуманитарной традиции, включая современную лингвистику, и в целом к традиции новых наук о человеке, сложившейся в начале XIX века. В более

прикладном отношении на первое место вышел вопрос о природе гибридности («скрещивания») в сложном обществе и перспективах упорядочивания этого общества.

Старая и новая науки о человеке и гибридности

Проблема классификации человеческого разнообразия и взаимовлияния является центральной для современных наук о человеке. На начало XIX века пришлось формирование гуманитарных наук в традиционном понимании (прежде всего филологии), а на конец века — попытки ревизии гуманитаристики с целью добиться большей формализации метода и точности анализа. Параллельно этим усилиям примерно с середины века создаются альтернативные проекты научного изучения человека, с самого начала ориентирующиеся на методы естественных наук. Опираясь на позитивистскую эпистему, социология бралась за «подлинно научный» анализ общества⁵, а физическая антропология (само название которой передает идею «точной науки о человеке») делала еще более радикальную заявку на изучение человечества как биологического вида, не ограничиваясь конкретными историческими и культурными формами.

В споре Сталина с марристами о гибридности 1950 года обе стороны буквально воспроизводили магистральный спор в российских науках о человеке почти полувековой давности, прерванный революцией 1917 года и временно снятый раннесоветской политикой узаконенного разнообразия. Наиболее отчетливо этот спор развернулся в рамках новейшей и наиболее передовой дисциплины начала XX века — физической антропологии, науки о расе. Подобно спору Сталина с марристами, размежевание внутри российской физической антропологии носило внешне теоретический характер, выражая при этом глубинное идеологическое расхождение в понимании феномена гибридности.

У физической антропологии были во многом общие корни с лингвистикой, уходящие в научный метод, а точнее, в эпистемологию первых десятилетий XIX века. Идея расы разделяет с концепцией языковой семьи органицистское социальное воображение эпохи романтизма, когда некая фундаментальная характеристика мыслилась в неразрывной связи с определенной четкой формой. Подобно единству души и тела в текстах поэтов-романтиков, некие общие признаки языка воспринимались как доказательство всесторонней обособленности говорящей на нем группы, и более того — ее внутренней гомогенности. Основоположник современной лингвистики Вильгельм Гумбольдт заявлял:

Среди всех проявлений, посредством которых познается дух и характер народа, только язык и способен выразить самые своеобразные и тончайшие черты народного духа и характера и проникнуть в их сокровенные тайны. Если рассматривать языки в качестве основы для объяснения ступеней духовного развития, то их возникновение следует, конечно, приписывать интеллектуальному своеобразию народа, а это своеобразие отыскивать в самом строе каждого отдельного языка [Гумбольдт 2000: 69].

5 О том, как социология осмысливала специфическую имперскую ситуацию, см.: [Герасимов, Могильнер, Семенов 2015].

Выделяя индоевропейскую языковую семью⁶, лингвисты стремились отождествить ее с конкретной культурой, которую в 1820—1830-х годах начали связывать с «арийством» — используя термин, имевший очень разное значение в разных индоиранских обществах в разные эпохи. Именно тотализирующее и гомогенизирующее воображение филологии сформировало ранние представления о расах как четко обособленных друг от друга биологических группах — включая «арийскую расу». Помимо общего языка, ей приписывался теперь набор общих физических характеристик, а позже, к концу XIX века, начали добавлять общие «цивилизационные» черты и общую историю⁷.

Гумбольдт сравнивал свой подход к анализу языков с системой Карла Линнея: построение генеалогий и реконструкция прошлых состояний обосновывали наблюдаемые современные сходства и различия [Turner 2000: 134]. Гуманитарные дисциплины (называвшиеся по-разному в разных странах) выделялись формально по своему объекту — человеку. На деле все они — «науки о духе», «моральные науки» и пр. — отличались принципиальным историцизмом метода, взглядом на реальность через призму прошлого⁸. Поскольку представление о прошлом формировалось его современными знаками в результате исследований, а не наследовалось в некоем готовом и целостном виде, то складывалась причудливая траектория производства знания. Современное положение дел — в литературе, политическом устройстве или обычаях — фиксировалось как норма и отправная точка анализа. Затем в прошлом отыскивались прецеденты и этапы, ведущие к узнаваемому нынешнему положению. Современные феномены, у которых обнаруживалась солидная генеалогия, осмысливались как значительные, а то, что не находилось — в том числе в силу утраты источников или специфики подхода исследователя, — признавалось маргинальным. Гуманитарные науки конструировали прошлое, а потом на основании этого конструкта оценивали настоящее и предсказывали будущее. «Система Карла Линнея» предполагала каталогизацию современной карты различий и обоснование их неизменного характера: растение никогда не могло оказаться частью царства животных, индоевропейский язык всегда был частью индоевропейской семьи.

Унаследовав идеализированную картину мира романтизма, физическая антропология развивалась на протяжении XIX века в направлении, казалось бы, противоположном классическим основам гуманитарных наук. В основе их ширящегося расхождения лежала фундаментальная эпистемологическая проблема: как примирить индивидуальный и уникальный характер объектов исследования с универсальной природой выводов, которые делаются на основании изучения этих объектов? Как соотносить герменевтический подход тра-

6 Начиная с рецензии Томаса Юнга, опубликованной в 1813 году в «Quarterly Review»: [Szemerényi 1999: 12].

7 Идею арийской расы обычно приписывают беллетристу Жозефу Артюру де Гобино, автору многотомного «Эссе о неравенстве человеческих рас» [Gobineau 1853—1855]. Впрочем, до 1880-х годов идеи Гобино оставались не востребованными. Окончательно связал понятия расы и цивилизации Хьюстон Стюарт Чемберлен в «Основах XIX века» [Chamberlain 1899].

8 По словам современного исследователя, филолога начала XIX века «стремились отыскать исторические истоки в очень специфическом смысле слова: обнаруживая нисходящие генеалогические линии (lines of descent), ведущие от изначальной формы, через промежуточные формы, к современной» [Turner 2000: x].

диционных гуманитарных дисциплин с позитивистским поиском универсальных причинно-следственных связей?»⁹

Производя огромное количество измерений и пытаясь стандартизировать методику их проведения и описания, физические антропологи столкнулись с проблемой несоответствия предсуществующих и, казалось бы, самоочевидных принципов различия и объективно получаемых статистически значимых результатов. Даже такие ясные понятия, как «форма черепа», «цвет глаз» или «рост», в результате массовых измерений не позволяли однозначно распределять их обладателей по четким группам населения, столь же четко отличающимся друг от друга и по другим признакам (или хотя бы тяготеющим к некой общей территории). Физическим антропологам пришлось отказаться от использования культурных категорий, позволявших описывать человеческое разнообразие как проявление неких исторически уникальных культурных комплексов (народов, наций, цивилизаций и проч.). Вместо этого они выработали конструктивистский подход, представляющий наблюдаемые отличия внешнего облика людей как системы неких базовых элементов в разных комбинациях. Основу этих «элементарных частиц» следовало искать за пределами сферы культуры, в общем «докультурном» прошлом человечества как биологического вида. Главное значение этого подхода состояло не в исследовании гипотетических «расовых различий», а в выработке языка конструктивистского анализа как такового, потому что тот же эмпирический материал и примерно те же методы позволяли откровенно расистским физическим антропологам (скандально заметному меньшинству) приходиться к обратным выводам. Расисты использовали те же методики анализа данных, но изначально противоположную эпистемологическую позицию, беспрепятственно увязывая расу с современной им этнической культурой или нацией.

Переключение внимания с изучения «пережитков» (в классическом понимании Э.Б. Тайлора) [Tylor 1871]¹⁰, с традиций старины, с собирания фольклора, хранящего следы прошлых культур, на измерения и исследования «живого населения», на собирание актуальной антропометрической статистики привело к революции данных. Конструктивистский поворот к современности позволил переосмыслить разнообразие как динамичный процесс и отказаться от идеи фиксированной иерархии «маргинального» и «доминантного» (языков и диалектов; основных и вторичных культурных традиций; «исторических» и «неисторических» народов). Вся антропометрическая статистика включалась в нарратив «естественной истории человечества», где даже выделение видов и подвидов, как во влиятельной расовой классификации Иосифа (Жозефа) Деникера, автоматически не предполагало культурной иерархии или биологической уникальности самого процесса формирования «вида» [Deniker 1913]¹¹.

Новая парадигма особенно хорошо подходила для Российской империи как контекста формирования расовых различий и организации программы их

-
- 9 К началу XX века это обозначившееся эпистемологическое различие было осмыслено во влиятельной в то время модели Виндельбанда, противопоставлявшей номотетический и идеографический подходы [Windelband 1904].
- 10 О влиянии концепции «пережитков» Тайлора на научную этнографию и вдохновленное ею социально-политическое воображение в России конца XIX — начала XX века см.: [Mogilner 2016].
- 11 Специальное исследование систем антропологической классификации и их значения: [McMahon 2015].

изучения. Территориальная протяженность и «непрерывность» империи затрудняли проведение и обоснование четких границ даже формальными обстоятельствами геологии и ландшафта и стимулировала разработку концепций гибридности для описания наблюдаемых различий. Именно поэтому в российской физической антропологии проблема смешения, скрещивания, гибридности стала осмысливаться довольно рано и доминировала даже в откровенно националистических версиях расовой науки.

Основной категорией, которой оперировали представители ведущей антропологической (Московской) школы в российской расовой науке, была категория «смешанного расового типа»¹². Ее наиболее наглядным воплощением стала классификация расовых типов Российской империи, разработанная физическим антропологом Московской школы А.А. Ивановским. Подобно лидеру этой школы, первому профессору по кафедре антропологии Императорского Московского университета Д.И. Анучину и прочим ее представителям, Ивановский исходил из необходимости рационализировать и систематизировать исключительно разнообразный «человеческий материал», представленный в пределах империи. В основе этой аналитической процедуры, принимавшей случайные исторические обстоятельства — конфигурацию сложившихся политических границ — как единственное обоснование выборки данных, лежала «культурно нейтральная» идея научного измерения степени отличий между группами (но не прямое сравнение самих групп). Задача заключалась в выявлении базовых структурных элементов разнообразия и в разработке методики подсчета относительного «веса» различия и сходства между выделенными «элементарными частицами» и сформированными на основе их комбинаций расовыми типами [Ивановский 1904: 8—9]. Итогом классификаторских усилий Ивановского стал отказ от представления о наличии в империи (и в целом — в мире) чистых расовых типов, соотносимых с конкретными этническими группами, культурами и историческими территориями. Его колоссальный таксономический проект обосновывал использование базовой категории «смешанного расового типа» вместо «расы» и доказывал фундаментальность гибридности как универсальной структурной рамки «естественной истории» человечества. «Целое» — смешанный расовый тип — по определению, был гибридным и потому не мог мыслиться как источник холистической культурной системы, включая язык и социальные формы. Именно такое понимание соотношения структурных элементов целого обнаруживается в ряде новых наук начала XX века, от раннеструктуралистской лингвистики до географии.

В то же время идеологические оппоненты либеральных антропологов, модные русские националисты в научной среде — такие, как профессор Киевского университета Иван Сикорский, — понимали смешение иначе (хотя и они признавали фундаментальное значение межгруппового скрещивания). Сикорский учил, что русские возникли из смешения славянской и финской рас, однако итогом стала не третья, гибридная, реальность, а добровольное, естественное, а потому правильное с научной точки зрения растворение финской расы в славянской. В результате финны приняли другую веру и воспользовались более адекватным «орудием для выражения мыслей» — славянской речью [Сикорский 2003: 247]. Сикорский доказывал, что современные ему рус-

12 Подробную историю российской физической антропологии и Московской школы см. в: [Mogilner 2013].

ские были способны переработать низшие инородческие расы без существенного изменения русской расовой основы:

В новых поколениях не только не замечается следов какого-либо ослабления русской **расовой одаренности**, подобного тому, какое испытали некоторые романские народы, смешавшись с аборигенами Америки и Африки, напротив — новые сибирские поколения оказываются здоровыми, сильными, приспособленными к природе страны и <...> в духовном складе носят ясно отмеченный тип **русской натуры**, в соединении с ее одаренностью и лучшими военными и мирными доблестями [Сикорский 2003: 285].

Это давало шанс Российской империи эволюционировать в русское национальное государство на основе русской нации, русского языка и русской национальной культуры. При этом вопрос о чуждых и неинтегрируемых «расах», таких, как евреи и, видимо, представители мусульманских народов империи, должен был решаться иным, «вненаучным», способом [Mogilner 2013: 167—200].

Очевидно, что эпистемологическая программа Московской школы либеральной антропологии оказалась крайне созвучной марризму как «языковой картине мира», в то время как Сталин в 1950 году почти дословно воспроизводил аргументацию и даже риторику Сикорского.

Выходя за пределы конкретной дисциплины и даже эпохи, споры по поводу механизма и значения гибридности обретают универсальное значение как индикаторы фундаментальной динамики социального воображения. Марризм мог быть сколь угодно паранаучной лингвистической теорией, но его официальная поддержка в довоенном СССР свидетельствовала не только о политических талантах марристов, но и о проникновении в советскую идеологию метаязыка гибридности, которым описывались конкретные «яфетические» постулаты.

Принципиально важно подчеркнуть этот тезис о сознательном или, во всяком случае, отчетливом формулировании метаязыка гибридности, противоречащий ортодоксальной интерпретации гибридности Хоми Баба. Баба считал, что, будучи продуктом мимикрии, гибридность в принципе неартикулируема и существует лишь как подспудная иррациональная угроза для колониального дискурса внутри него. Согласно Баба, гибридность опрокидывает гегемонный дискурс колониализма, который иначе остался бы несмешанным, не подвергшимся ничьему другому воздействию, кроме собственного. Именно двусмысленное сходство подражающего человека (*mimic man*) с белым человеком превращает первого в «гибрид» и гибридизирует колониальный дискурс [Bhabha 1994; 1997]. Обнаруживаемая сознательная артикуляция гибридности в гегемонном советском дискурсе опровергает постколониальную конструкцию Баба, как, впрочем, опровергают ее и авторы многих теоретических и исторических работ, написанных в полемике с прочтением мимикрии и гибридности Баба [Moor-Gilbert 1997; Larsen 2001; Mizutani 2013]. Но еще важнее, что в случае Марра и тем более советского официоза гибридность артикулировалась в рамках осознанного противостояния колониальному дискурсу.

Гибридность как эпистемологическая рамка и как объект научного исследования создавала возможность для нового политического воображения, подрывающего легитимность современных национальных проектов. С точки зрения этого нового воображения ни одна социальная группа не могла претендовать

на исключительное доминирование на основании «чистоты» своей исключительности, а значит, изолированности и дистанции от других. В определенном смысле это был подлинно «постмодерный» взгляд, поскольку современное европейское социальное знание начала XX века было фундаментально этноцентрично, принимая за норму идеал общественного устройства Третьей французской республики: один народ, одна культура, одно государство [Horne 2002]. Ускоренная национализация Российской империи, интенсивно поощряемая режимом Николая II, ориентировалась скорее на этот идеал национальной гомогенности, приводя к замещению стихийного состояния многоуровневых различий имперской ситуации современной системой однозначных иерархий наций и классов. Распространение представлений о принципиальной гибридности общества отвергало модернистский идеал национальной чистоты и цельности и логически вело к социальной трансформации, вплоть до самой радикальной (в соответствии с социалистическими идеалами). Утопическая идея Марра о грядущем неизбежном смешении всех языков в единый язык будущего перекликалась с коммунистической утопией, но в ее основе была не столько политическая конъюнктура, сколько последовательное и даже механическое развитие логики гибридности как фундаментального качества [Марр 1935: 44].

В свою очередь, когда в 1950 году Сталин ополчился на гибридность и провозгласил непоколебимость языковой нормы, не подвластной никаким внешним влияниям и примесям, он заговорил языком Сикорского — практически дословно! — именно потому, что в основе современного национализма лежит «гуманитарный» идеал чистых и четких культурных форм, исключающих всякую гибридность. Предположительно, поворот к провозглашению русского национализма официальной идеологией начался в 1930-х [Suny, Martin 2001; Brandenberger 2002, ch. 2], однако тогда еще не сложилось идеологическое обоснование отхода от национальной политики 1920-х. Победа во Второй мировой войне, объявленной «Великой Отечественной», позволила легитимировать идеи русского национального патриотизма и государственности, а потому дискурсы гибридности стали окончательно неуместными даже в сугубо академической сфере языкознания¹³. Таким образом, сталинское выступление 1950 года стало кульминацией сразу нескольких процессов: пересмотра раннесоветской национальной политики (т.е. смены приоритетов с развития нерусских национализмов на русский национализм); победы эссенциалистской трактовки нации (очевидной уже в работе Сталина 1913 года «Марксизм и национальный вопрос»); послевоенного режима мобилизации населения посредством опоры на традиции русского государственного национализма, антисемитизма и ксенофобии. Этот парадигмальный идеологический поворот требовал личного вмешательства Сталина как живого «основоположника марксизма» и принял форму дискуссии о лингвистике, потому что, действительно, речь шла о смене самого языка представления разнообразия.

13 Несмотря на риторику разоблачения «буржуазной науки», Мещанинов размышлял в рамках модели сложного общества, не знающего однозначных культурно-политических иерархий. Озабоченный развитием национальных культур и механизмов их взаимодействия, он исходил из равнозначности позиции изучения «националами русского языка и национальных языков русскими» и необходимости избегать опасности «искусственного навязывания языку чуждых ему норм другого языка, что обычно имеет место у буржуазных языковедов» [Мещанинов 1948: 481; 1949: 293].

Институты гибридного знания

Возникшая в начале 1990-х годов новая ортодоксия в историографии XX века, представляющая раннесоветский проект как реализацию наиболее современных тенденций, тормозившихся дореволюционным консервативным государством, противоречит быстро расширяющемуся корпусу исследований производства знания в позднейимперский период¹⁴. Мало того, что ведущие представители новых наук о человеке с мировой репутацией придерживались вполне умеренных политических взглядов (на фоне которых особо выделялся известный консерватизм Марра), — они вполне успешно реализовывали свои модернистские научные проекты до 1917 года, пользуясь формальным признанием и получая высокие академические звания. Гипотезу о советском режиме как необходимом условии «раскрепощения модерности» окончательно опровергает твердая позднейимперская локализация эпистемологического поворота к конструктивизму, структурализму и гибридности. Потенциал позднейимперской эпистемологической революции по инерции проявлялся на протяжении 1920-х годов вопреки разрушительному воздействию политической цензуры и институциональной перестройки академической сферы. Поступательное нарастание враждебности модернизму с конца 1920-х, непрерывную национализацию и эссенциализацию научного и социального воображения (вплоть до сталинского «лингвистического поворота» 1950 года) можно объяснить, только если формирование хронотопа современного знания в России произошло в позднейимперский период. Иначе непонятно, откуда взялся «модернистский взрыв» начала 1920-х — и отчего он сошел на нет меньше чем за десятилетие.

В то же время история развития наук о человеке и культуре позднейимперского периода свидетельствует о формировании полноценной альтернативы национацентричной парадигме гомогенного социального воображения, которая вполне определенно обозначилась к 1917 году. Вопреки поляризующему воздействию мировой войны, подталкивавшей к четкому разделению человеческих групп по принципу «свой—чужой», в российском научном сообществе была сформулирована программа, преодолевавшая инерцию историзирующего гуманитарного знания начала XIX века. Она выразилась, в частности, в развитии протоструктурализма в целом ряде областей, в широком диапазоне от почвоведения и географии до антропологии и лингвистики.

Архетипическим примером может служить школа В.В. Докучаева и Г.И. Танфильева в почвоведении, которая критиковала способы познания, характерные для XIX века и выразившиеся в собирании разрозненных, «атомистических» фактов [Докучаев 1997]¹⁵. Почвоведы этой школы разрабатывали методы многофакторного анализа, пытаясь найти закономерности и правила, регули-

14 Одним из последних манифестов этой ортодоксии, названной Рональдом Суни «modernity school», является книга: [David-Fox 2015]. От пионерской работы Лоры Энгельштейн, сформулировавшей эту модель, книга Дэвид-Фокса отличается лишь отказом признавать воображаемый тип западной модерности, сконструированной Энгельштейн, нормативным эталоном, по отношению к которому российская модерность оказывается «неполноценной» [Engelstein 1993].

15 См. также: [Докучаев 1948]. О жизни и работах Докучаева см.: [Moon 2014: 53 ff.]. Превосходное исследование прикладной биологической науки в России: [Лоскутова, Федотова 2014].

рующие взаимодействие химического состава почв, флоры, фауны и антропоморфного ландшафта. В области геоботаники и геобиологии такие ученые, как Б.А. Келлер и В.В. Алехин, начали разрабатывать поистине революционные концепции фитоценоза и растительных сообществ, которые положили начало осмыслению экологических комплексов как системного целого [Морозов 1912]¹⁶. Новые протоструктуралистские подходы, уходящие от эссенциализма отдельного фактора и искавшие регулярные системные закономерности, оказали огромное влияние на системную и структурную географию евразийца П.Н. Савицкого, в свою очередь повлиявшего на структурную лингвистику Пражского кружка и фонологический структурализм [Савицкий 1927а: 9—20; 1927б: 27; Savičij 1929: 145—156]. Пользуясь риторикой «нации» как главным тропом европейской модерности, эти научные школы воспринимали объекты исследования как сложные системы, характеризующиеся сосуществованием и смешением разных элементов. По сути, они описывали гибридную реальность на новом, конструктивистском языке «объективной» науки¹⁷. На этом языке были сформулированы основные идеи структурализма, впоследствии инструментализированные Романом Якобсоном и транслированные им в европейском и американском контексте, — примат скрытых от глаза наблюдателя закономерностей и взаимоотношений разных элементов внутри системы [Glebov 2013].

Более того, этот язык и возникавшая на его основе исследовательская программа, ориентированная на структуралистский метод исследования и гибридность объектов изучения, еще в начале XX века начали институционализироваться в формате специализированных учреждений. Как правило, они возникали в результате инициативы научной общественности, на частные средства, но пользовались вполне официальным статусом. Меньшая зарегулированность новых независимых учебных заведений позволяла преодолевать сложившиеся дисциплинарные границы «нормальных» гуманитарных, социальных и естественных наук, а также сочетать уникальную, индивидуализирующую (и, особенно в начале века, национализирующую) оптику с универсализирующим структурным и политически интернационалистским подходом. Сочетание новейшей структурности анализа, нациецентричности (казавшейся естественной для европейской науки) и традиционного для интеллигенции интернационализма воспринималось как основа «империи знания» ближайшего

16 О Морозове см.: [Бейлин, Парнес 1971].

17 Юрий Слезкин одним из первых дал системное описание этого эпистемологического сдвига, но локализовал его не в позднеимперском периоде (в начале XX века), а в середине советских 1920-х: «Проблема происхождения быстро теряла значение по мере того, как ученые отказывались от диахронии и историцизма в пользу синхронии, функционального подхода и структуры. “Этнографическое настоящее” и совершенно деэтнизированное будущее превалировали над “этногенезом”; “индексы расовой схожести” и “расовая гигиена” превалировали над формированием рас; морфология и типология археологических артефактов превалировали над эволюционными последовательностями; Бодуэн де Куртенэ и Фердинанд де Соссюр превалировали над Вильгельмом фон Гумбольдтом. <...> Лингвистика особенно быстро приняла структурализм, а большинство структуралистов в лингвистике стали прикладными лингвистами...» [Slezkine 1999: 215]. В то же время Слезкин писал о Марре как о «филологе и археологе, [работавшем] в исторической традиции» [Slezkine 1999: 215], подчеркивая его интерес к «генеалогии» и игнорируя его антиэссенциалистскую методологию и эксплицитный язык гибридности.

будущего. Классическим примером нового типа научного учреждения являлся Санкт-Петербургский психоневрологический институт, основанный в 1907 году по абсолютно авангардной программе [Иванов 1998; Акименко 2007]. Этот придуманный В.М. Бехтеревым институт стал воплощением утопических мечтаний группы передовых российских естествоиспытателей и обществоведов о синтетическом знании, для которого потребовалось создание нового научного метаязыка постисторических и постгуманитарных наук о человеке и социуме. Более либеральные принципы набора студентов в подобные учебные заведения привлекали представителей имперских меньшинств, вольнослушателей без полного гимназического образования или, напротив, уже имевших университетские дипломы и стремившихся получить более современное и прикладное, как они это понимали, знание.

За подобным же знанием студенты шли в частные археологические институты в Санкт-Петербурге и Москве. В конце XIX века археология была переосмыслена как главная синтетическая наука о древностях. Именно в этом понимании она стала ядром программы Петербургского (открыт в 1877 году), а затем Московского (открыт в 1907-м) частных археологических институтов [Николаев 2008]. Программа Петербургского института еще несла на себе отпечаток историцизма классической гуманитаристики, провозглашая задачи собирания и сохранения материальных и текстуальных памятников «русской старины» [Положение 1907]. Московский институт с самого начала развивал самостоятельную научную программу системного и структурного изучения и описания культуры в имперском контексте [Иванов 1991: 124—128]. Согласно А.Е. Иванову, подсчитавшему число абитуриентов за дореволюционные годы их существования, эти учебные заведения «пользовались устойчивой популярностью среди российских интеллигентов и не испытывали недостатка в учащихся» [Иванов 1991: 125]. Эти центры прикладного знания сознательно формировались за пределами классической университетской среды, предлагая комплексную подготовку в филологии, истории и естествознании. Характерно, что Мещанинов — главный посредник между Марром и Сталиным, выступивший в роли «переводчика» между археологией и лингвистикой, старой наукой и сталинским марксизмом, — являлся выпускником Петербургского археологического института.

После падения старого режима, между февралем и октябрём 1917 года, Комиссия Временного правительства по реформе высшей школы утвердила положения о создании еще двух аналогичных институтов системного познания естественно-культурного и социального пространства империи — в Киеве и в Казани [Иванов 1991: 127], а Марр лоббировал открытие междисциплинарного историко-археологического института для Закавказья [Марр 1917].

Казанский институт открылся 4 октября 1917 года, за три недели до Октябрьского переворота, под названием Северо-Восточный археологический и этнографический институт. Необходимые средства для него были собраны в Поволжье, а затем пополнены из государственного бюджета. Если бы не финансовые сложности военного и революционного времени, институт открылся бы раньше¹⁸.

Локальный случай учреждения Казанского института подчеркивает принципиально гибридный характер общественно-политических групп, с энтузи-

18 Годовые отчеты. 1918—1919 // НАРТ. Ф. Р-1339. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.

азмом поддержавших этот проект развития наднационального знания именно в это время. Судя по сохранившимся источникам, идея института оказалась на пересечении интересов основных агентов имперской ситуации: центральной государственной власти, местной политической элиты и интеллектуального сообщества. Так, учредитель института, профессор Казанского университета историк права Сергей Покровский признавал широкую поддержку местной научной общественности, в том числе университетского Общества истории, археологии и этнографии¹⁹. Накануне официального открытия, 3 октября 1917 года, его учредителей официально поздравил Казанский университет²⁰. В то же время создание института поддержали Казанская губернская земская управа [Шамсутдинова 1999] и Временное правительство²¹. Особое приветствие новому институту направил созданный 22 марта 1917 года Союз мелких народностей Поволжья. Две страницы убористого текста приветствия подписал председатель Союза, историк и этнограф Н.В. Никольский, впоследствии возглавивший этнографическое отделение института. Олицетворяя переплетение национального активизма и научной экспертизы, он декларировал поддержку институту от «20 мил. населения» поволжских и сибирских народностей — чувашей, черемисов, вотяков, зырян, алтайцев, бурят, якутов и пр.²² Смешение национализма и местного политического проекта представлял Мусульманский социалистический комитет, «пламенный привет» от которого и пожелание «успешного развития молодого питомника науки на благо и радость грядущих поколений» передавал его председатель Мулламур Вахитов²³.

В инаугурационной речи в качестве ректора (4 октября 1917 года) Покровский признавал, что время для открытия института выпало самое неподходящее: «Казалось бы, все силы народа должны быть отвлечены от спокойных научных занятий»²⁴. Тем не менее он обосновывал необходимость инвестиций в археологию, этнографию и археографию «потребностями настоящего момента», связанного с преодолением глубочайшего системного кризиса и возрождением нации²⁵. Очевидно, Покровский говорил об имперской политической нации, поскольку выстраивал историческую идиому спасения «нации» через новое знание на исторических примерах государственного кризиса. От Франции 1792 года, «когда французы говорили “жить свободными или умереть”» и когда возникла Сорбонна, через Германию 1814-го, где «среди тогдашних бед и нужд Вильям Гумбольдт организует в Берлине университет», к России 1917-го²⁶. Однако перед Россией, «как государством многонациональным», стояли особые задачи. Здесь знание должно было служить «сожительству многих народов внутри одного государства»²⁷.

Прикладной аспект деятельности института был очевиден: Покровский воспроизводил дореволюционное достаточно абстрактное либеральное видение модернизации империи, которая требовала подготовки служащих, знако-

19 Речь учредителя института, С.П. Покровского // Там же. Л. 29.

20 Телеграмма на имя С.П. Покровского от 3.10.1917 // Там же. Л. 7.

21 Годовые отчеты. 1918—1919. Л. 1.

22 Приветствие // Там же. Л. 5.

23 Приветствие от Мусульманского социалистического комитета // Там же. Л. 4.

24 Речь учредителя института, С.П. Покровского. Л. 15.

25 Там же.

26 Там же. Л. 17.

27 Там же. Л. 18.

мых с исторической, культурной и языковой спецификой конкретного региона, для работы в судах, администрации и органах самоуправления²⁸. Незаработанность политического языка затрудняла адекватное выражение и понимание тезиса Покровского: ради спасения общей нации следовало изучать отдельные народы, чтобы выпускники института могли руководить их «национальным самоопределением».

В логике классического гуманитарного знания подобный тезис звучал бессмысленно либо предполагал неизбежное разделение общей «нации». Очевидно, это противоречие мучало и самого Покровского, поскольку текст его тщательно продуманной и многократно отредактированной речи даже в последней, белой версии испещрен авторскими поправками. Куда увереннее ему удавалось формулировать свои идеи о диалектике многообразия и единства России, когда от политики он переходил к теории и обсуждению метода новых гуманитарных наук как изучения гибридных состояний. Эта диалектика понималась Покровским как универсальный структурирующий элемент исторического развития, равно проявляющийся в материальной (археологические артефакты, расовая антропология, государственные институты) и в культурной сферах (национальные культуры и языки²⁹, этнографическая, археологическая, антропологическая, филологическая и археографическая методология их изучения).

При этом даже достаточно условное разделение феноменов на «материальные» и «культурные» в тексте речи присутствует лишь имплицитно, а из их описания ясно, что и те и другие являются принципиально гибридными по своим проявлениям³⁰. Покровский пояснял, что археологические памятники «края» дают богатейший материал как для археологии вообще (встречающиеся здесь городища, курганы и другие памятники древности «имеют исключительный универсальный научный интерес»), так и для «русской археологии, так же как и для археологии финнов и тюрко-монгольских народностей»³¹. По этим памятникам «может быть изучена вся история человеческой культуры, начиная с зарождения общества и государства», и «многие вопросы западноевропейской науки» в целом³². Аналогичный гибридный культурный комплекс формировали письменные источники края, «русские и инородческие». Этнографический облик края синтезировал «глубокие следы» многих народов. В этом смысле исследовательская перспектива института была аналогичной тому, как относились к «смешанному расовому типу» в физической антропологии, для которой его ценность заключалась в уникальном частном случае общечеловеческой «видовой» истории.

Обращает на себя внимание сама риторика Северо-Восточного «края», подрывающая эссенциализацию групповости сразу на двух уровнях. Во-пер-

28 Там же. Л. 22.

29 Покровский, кстати, считал, что актуальная задача земств в Северо-Восточном регионе предполагала развитие образования на национальных языках (Там же. Л. 23).

30 По тому же принципу формировалась программа обучения на основных отделениях института: этнографическом (четырёхлетний курс обучения), археологическом и археографическом (трехлетние курсы обучения). В 1919 году в институте было уже четыре отделения: к трем изначальным прибавилось восточное (Годовые отчеты. 1918—1919. Л. 2).

31 Речь учредителя института, С.П. Покровского. Л. 24.

32 Там же.

вых, «край» — формальная пространственная рамка — соединял опыт разных народов в гибридное по своей природе и универсальное с точки зрения понимания процессов развития культуры целое, не имеющее четких этнокультурных границ. Во-вторых, даже маркируя пространство, «Северо-Восточный край» не имел никаких исторических прецедентов и не совпадал ни с какими политическими границами. Неологизм, произведенный по аналогии с такими устоявшимися концептами исторической географии, как «Северо-Западный» или «Юго-Западный» края, он охватывал территорию, никогда прежде не выделявшуюся в общих границах. Ближайшим аналогом мог служить только Приказ Казанского дворца в первой трети XVII века (до выделения Сибирского приказа в 1637 году), но и это рудиментарное «министерство колоний» Московского царства распространялось на меньшую территорию и определяло границы по политическому принципу.

Фундаментальная гибридность проекта института заключалась в признании одновременного сосуществования разных режимов различий, не позволявшем выделять одномерные изолированные группы. Этнокультурная нация не совпадала с «краем», археологической культурой или динамикой тюркского языка на данной территории. Этот подход был адекватен реальности, в которой Мусульманский социалистический комитет, поддержавший создание института и включавший активистов независимо от их классового происхождения, не являлся политической организацией лишь казанских татар или только рабочих [Хабутдинов 2013]. Гибридность выражала специфику имперской ситуации как режима многомерного сосуществования различий, выделяемых в соответствии с разными критериями классификации. Последовательный перевод новаторской методологической программы института на язык политики привел бы к тезису о необходимости признания легитимности всех форм социально-экономической и культурной гибридности как основы единой политической нации.

Имперская эпистемологическая революция и постреволюционный конструктивизм

В проектах типа Северо-Восточного института или марровской археологии мы обнаруживаем отчетливое влияние эпистемологической революции, произошедшей до политической революции 1917 года. Незавершенность политического языка гибридности компенсировалась изошренностью протоструктуралистской научной методологии «империи знания» как единого пространства осмысления разнопорядковых «смешанных типов» или элементов. В основе этой имперской революции знания лежало скрещивание дисциплин и подходов в рамках больших территориальных, природных и временных структур; деконструкция жестких холистических иерархий (таких, как «Восток» и «Запад»); а главное, признание гибридности фундаментальной нормой, а не маргинальным отклонением.

Мы представляем себе культуру современного знания в России по опыту раннесоветского режима, но важно понимать, что советская модель 1920-х годов лишь транслировала с существенными идеологическими купюрами образцы новой научной культуры позднеимперского периода, опиравшейся на новое постгуманитарное социальное воображение. Тот факт, что все археологические

институты — как старые (Петроградский и Московский), так и новые (Казанский) — были закрыты к 1922 году, к началу большевистской политики национальной коренизации, свидетельствует о фундаментальной несовместимости раннесоветской политики с эпистемой гибридности имперской революции. Демократический мультинационализм коренизации был сломлен режимом в начале 1930-х, но эпистемологически русский государственный национализм позднего сталинизма ничем не отличался от нациецентричного плюрализма 1920-х. Идея титульных наций, более или менее благожелательно относящихся к национальным «меньшинствам» на «своей» территории, кристаллизовалась именно на протяжении 1920-х годов [Martin 2001; Hirsch 2005]. Осмысленная до конца лишь в рамках сталинской критики марризма в 1950 году, советская эпистема категорически отрицала методологию гибридности имперской научной революции (отсюда ненависть к генетике) и реабилитировала основанный на старой гуманитаристике культ «чистых форм» (и связанные с ним историцизм, национализм и расизм). Будучи яростно антирасистским на уровне политической риторики, сталинское социальное воображение поощряло расизм: через растущую популярность эссенциалистской концепции «этнуса» в советской этнографии или посредством официального использования наследуемой и четко фиксируемой «национальности» как основной категории групповой принадлежности и связанного с ней статуса. Установление сталинской ортодоксии эссенциализма оставило длительный отпечаток на советских гуманитарных и социальных науках, которые, в отличие от ситуации на Западе, так никогда и не подверглись деэссенциализирующей постструктуралистской критике³³.

Ключевым в этой истории является вопрос о причинах отката от имперской эпистемологической революции после Гражданской войны или, в более нейтральной формулировке, о неспособности этой новой эпистемы сформировать собственный гегемонный дискурс, способный утвердить новую политику знания.

Видимо, прежде всего нужно признать, что трансформация наук о человеке, интерес к гибридности и появление «конструктивистского» представления о природе языка и человеческой коллективности не были одновекторным и линейным процессом. Более того, сама идея гибридности также подвержена эссенциализации, когда представление о сложносоставном устройстве реальности воспринимается механистически, вне сложной динамики (которую в физике описывают как стохастический процесс). Такая эссенциализация гибридности вполне допускает конструктивизм как форму отображения реальности. Сам по себе конструктивизм может «отвязаться» от эпистемы гибридности, отвергающей реальность чистых форм и воспринимающей смешение как основу не только «вещей», но и «процесса». Конструктивистское восприятие развития реализуется через технику статичного «коллажа» или динамичного «монтажа», в то время как последовательная перспектива гибридности предполагает не просто перемешивание четких элементов, а формирование «смешанных типов» (вплоть до марровской утопии единого языка будущего). Эта разница восприятия передается коллизией, которую Роджерс Брубейкер назвал «недоразумением в восприятии карты Модильяни». Вспоминая известную метафору Эрнста Геллнера, сравнивавшего воздействие национализма на социальную реальность с художественным стилем Модильяни, Брубейкер пишет:

33 См. обсуждение этой проблемы, например, в: [Lipovetsky 2013].

Пространственный аспект этой репрезентации — вид протяженных и однородных блоков, расположенных один подле другого, а не взаимопроникающих, — не должен интерпретироваться буквально; вовсе не обязательно, что это соответствует пространственным характеристикам того, что репрезентируется. Представление гетерогенности в стиле Модильяни как противопоставление однородных блоков не означает, что эти блоки территориально локализованы. Эти составные части могут быть перемешаны в пространстве, поскольку их «отдельность» — ограниченность и внутренняя однородность — концептуально находятся не в физическом пространстве, а в социальном и культурном [Vrubaker 1998: 296].

Более адекватной репрезентацией гетерогенности Брубейкеру кажется художественная манера Оскара Кокошки с взаимным наложением и смешением цвета и света. Модильяни или Кокошка — всего лишь символы главного разграничения: между дискретным изображением некоего изначально предполагаемого целого — и конструированием значения самого объекта в результате взаимоналожения и смешения отдельных художественных элементов.

С этой точки зрения креативный взрыв советских 1920-х представляется одновременно и непосредственным следствием позднеимперской эпистемологической революции, и важным разрывом с эпистемой гибридности³⁴. Сам по себе идеал конструктивизма (включая рациональное конструирование общественного устройства) обладал дестабилизирующим и революционным потенциалом. Гегемонный дискурс конструктивизма разбивал старые «сущности» и релятивизировал прежние авторитеты, что в научной сфере позволяло реализоваться таким экстравагантным проектам осмысления гибридности, как языковая теория Марра или агрономические фантазии Трофима Лысенко, утверждавшего, что «в нескольких случаях было обнаружено, что <...> растения ячменя развились из зерен, по внешнему виду ничем не отличавшихся от зерен пшеницы *Triticum turgidum*. <...> один и тот же растительный вид может порождать разные-близкие ему виды. Например, <...> твердая пшеница <...> может давать как мягкую пшеницу <...>, так и рожь» [Лысенко 1952: 670, 671].

Главным отличием лысенковщины от марризма как метаязыка гибридности, обеспечившим безоговорочную поддержку властей, были не только обещания практических материальных выгод, но и буквально формальное понимание гибридности как констатации результата, лишённого всякой собственной логики. Гибридность, которая была осмыслена в позднеимперской эпистемологической революции как основа нормы и сохраняла самостоятельную субъектность основного фактора развития в марризме, для Лысенко сводилась к механическому конструктивизму — сочетанию качеств по заказу научной и политической власти. «Для того, чтобы получить определенный результат, нужно хотеть получить именно этот результат; если Вы хотите получить определенный результат, Вы его получите» [Спорные вопросы 1939: 94], — публично цитировались слова Лысенко. При всем идеологическом оппортунизме марристов, они не могли полностью передать процесс «скрещивания» языков в руки коммунистической партии, а потому их идеи гибридности были не только бесполезными, но и вредными с точки зрения режима. Вульгарный конструкти-

34 Илья Кукулин подчеркивает досоветское происхождение конструктивизма 1920-х: «На протяжении 1910-х, еще в предреволюционные годы, монтажные методы получили все большее распространение в русской культуре. Формирование советского искусства еще больше способствовало их популярности» [Кукулин 2015: 110].

визм лысенковщины, отвергающий самостоятельность любых законов развития, ведущих к появлению смешанных форм, отменял тем самым и «грамматику» метаязыка, которым можно было бы осмысливать феномен смешения и скрещения. Поэтому лысенковщина не сформировала даже латентный язык описания взаимодействия различий, приводящих к появлению новых сущностей, сама целиком воспроизводя политический дискурс тоталитарного идеала произвольной социальной инженерии. Если марризм являлся отражением имперской эпистемологической революции гибридности, то лысенковщина служила лишь грубой имитацией стиля авангардного знания, всецело опираясь на контрреволюционную советскую эпистему холизма и монологизма³⁵.

Даже на пике влияния в 1920-е годы конструктивизм оставался лишь одним из языков описания реальности, а не универсальной эпистемой. Так, важнейшие концепции класса и диктатуры пролетариата не могли описываться в конструктивистских категориях, а проведенная в конце 1920-х работа по созданию «пятичленки» окончательно исключила язык гибридности при осмыслении исторического процесса как смены четких социально-экономических формаций³⁶. Конструктивизм, как и гибридность в целом, стали избыточными пережитками неэкономного и нестабильного ограниченного плюрализма эпохи НЭПа, и их окончательная маргинализация в СССР оставалась лишь вопросом времени. Наиболее эксплицитно этот перелом был зафиксирован в эссе 1932 года Виктором Шкловским, который, судя по контексту, имел в виду отказ от языка конструктивизма как порождения эпистемы гибридности, когда провозглашал «конец барокко» в современном искусстве:

Когда <...> увидишь Москву издали и заметишь, что колокольни без крестов похожи на минареты, когда заметишь другие минареты — подъемники, растянутые вантами, похожие на карандашные наброски. <...>
 Когда заблудишься в Москве, в которой переменилась даже почва, <...> — тогда появляется время и с временем мысль о себе. <...>
 Растет Станиславский. <...>
 Он знает логику расположения кусков.
 Он знает, что кусков не существует.
 Связи, которые придумывает Станиславский, часто мнимы, часто противоречивы. <...>
 Но не в этом дело. <...>
 Старый спор <...> сейчас главный, это тот же спор о кусках и о главном. <...>
 Нужно брать простую вещь или всякую вещь, как простую.
 Время барокко прошло.
 Наступает непрерывное искусство [Шкловский 1932]³⁷.

35 Опирируя иными категориями, впервые о лысенковщине как отражении специфической эпистемы и своеобразном метаязыке органицизма, противостоявшем конструктивизму авангардного мышления 1920-х, написал Борис Гаспаров [Gasparov 1996; Гаспаров 1999].

36 Собственно, классическая пятичленная система окончательно восторжествовала как ортодоксальная трактовка исторического процесса к середине 1930-х годов, в первую очередь благодаря В.В. Струве. Однако сама логика «истмата» как последовательной смены чистых исторических форм сложилась в ходе дискуссии 1920-х годов [Дубровский 2005].

37 О том, что под «барочностью» Шкловский имел в виду именно *паратактичность* (составление произведения из отдельных «кусков») и порожденную ею «автономию образов» — т.е., по сути, гибридность, — см.: [Кукулин 2015: 153].

Шкловский отказывал идее гетерогенности и рождения целого из смешения элементов в статусе нормы восприятия реальности, а в качестве новой нормы провозглашал неоклассицизм Станиславского. Признавая, что прямые и однозначные связи между явлениями, предлагаемые Станиславским, «часто мнимы, часто противоречивы», он отстаивал саму идею единственно возможных причинно-следственных отношений между однозначными элементами реальности. «Непрерывное» искусство — новый тоталитарный идеал холистического восприятия мира, уходящий корнями в традиционную гуманистическую эпоху романтизма с ее культом целостности и чистоты форм и отвергающий эпистемологическую имперскую революцию. Брать «всякую вещь, как простую», — лозунг, принципиально несовместимый с идеалом нормы «смешанного типа».

Эта динамика в значительной степени определялась идеологическим давлением со стороны большевистского режима, однако было бы упрощением объяснять отказ от эпистемы гибридности и последующий кризис конструктивизма только лишь политическими обстоятельствами. В этом отношении важен пример реакции на позднеимперскую эпистемологическую революцию в эмиграции, за пределами прямого контроля со стороны советского режима (хотя, конечно, обаяние советской модерности распространялось и на эмигрантов). Особо показательна история евразийства как научной программы, гомологичной марризму в плане создания научного аппарата для описания гибридности на основе новой эпистемологии языка.

Евразийская концепция языка основывалась на фонологии — принципиально новой, абстрактной дисциплине, исследовавшей смыслоразделительную функцию звуков в языке [Glebov 2013]³⁸. Фонология исследовала производство смысла посредством систематизации различий. При этом евразийская фонология, подобно марризму, категорически отрицала значение генетически определяемых языковых семей. Уже в 1923 году Николай Трубецкой предложил концепцию языкового союза (Sprachbund), в котором генетически не связанные языки обнаруживают принципиальный параллелизм приобретенных признаков:

Случается, что несколько языков одной и той же географической и культурно-исторической области обнаруживают черты специального сходства, несмотря на то, что сходство это не обусловлено общим происхождением, а только продолжительным соседством и параллельным развитием. Для таких групп, основанных не на генетическом принципе, мы предлагаем название языковых союзов³⁹. Такие языковые союзы существуют не только между отдельными языками, но и между языковыми семействами, т.е. случается, что несколько семейств, генетически друг с другом не родственных, но распространенных в одной географической и культурно-исторической зоне, целым рядом общих черт объединяются в союз языковых семейств [Трубецкой 1923: 116—117].

38 Важный анализ идеологического подтекста лингвистической теории участников Пражского кружка: [Tompa 1995]. См. также: [Gasparov 1987].

39 Примечание Трубецкого: «Ярким примером языкового союза в Европе являются балканские языки — болгарский, румынский, албанский и новогреческий: принадлежа к совершенно разным ветвям индоевропейской семьи, они тем не менее объединяются друг с другом целым рядом общих черт и детальных совпадений в области грамматического строения».

Разумеется, истоки этой идеи Трубецкого были в религии — для него языковое многообразие было даром Провидения, а попытки создания единой интернациональной культуры — безбожным преступлением. Но именно эта идея и позволила евразийцам создать собственную утопию гибридности, в которой языки, не имеющие генетической связи, объединяются в языковые союзы, не утрачивая своей особенности⁴⁰. В 1929 году, когда вышло «Введение в яфетидологию» Мещанинова, Роман Якобсон писал свою знаменитую работу «К характеристике евразийского языкового союза». Он доказывал, что Евразия — метагеографический концепт, преодолевающий все принятые частные классификации (подобно «Северо-Восточному краю» Казанского института), — характеризуется рядом позитивных и негативных признаков, таких, например, как присутствие в генетически не связанных языках палатализации и отсутствие тональности.

Это структуралистское описание Евразии стало первым примером прикладного применения фонологии. В этой же работе с яркостью проявилось характерное для евразийства метание между конструктивистским пафосом отрицания генетических признаков и телеологическим — по сути, национальным — описанием Евразии. Якобсон начинает свой текст с провозглашения победы принципа конструктивизма и функционализма над историцизмом и генеалогией⁴¹. Но в конце концов он провозглашает русский язык самым концентрированным выражением евразийских принципов (отсутствия тонов и наличия палатализации)⁴². Структурно этот вывод гомологичен предсказанию марристами формирования единого будущего языка в результате последовательного скрещения всех остальных.

Не менее характерной была попытка евразийских историков создать историю Евразии, которая включала бы в себя опыт неевропейских народов⁴³. Следуя евразийскому канону, Георгий Вернадский решил написать гибридную историю Евразии как историю «сообщества различных народов на почве евразийского месторазвития, их взаимных между собою притягиваний и отталкиваний и их отношения вместе и порознь к внешним (вне-Евразийским) народам и культурам» [Вернадский 1934: 6]. Начинаясь с призыва отказаться от пут европоцентризма, работа заканчивалась выводом: история Евразии — это

40 Слезкин отметил близость лингвистических методов Трубецкого и Матта: [Slezkine 1999: 218].

41 «Взамен генетических показателей самоопределение становится признаком народности, идею касты сменила идея класса; и в общественной жизни, и в научных построениях общность происхождения отступает на задний план по сравнению с общностью функций, ступенькается перед единством целеустремленности» [Якобсон 1931: 3].

42 «В итоге великорусская мягкостная корреляция согласных — стандартный тип. <...> Тенденции, характеризующие евразийский языковый союз, нашли себе в великорусском фонологическом строе наиболее законченное выражение. Неслучайно именно великорусская фонология легла в основу русского литературного языка, т.е. языка с общеевразийской культурной миссией» [Якобсон 1931: 46].

43 П.Н. Савицкий утверждал в письме к Якобсону: «По-видимому, есть тесный параллелизм между задачами евразийской фонологии и задачами общей евразийской истории (политической, культурной, социальной). Как история России должна расширяться до истории Евразии, приобрести евразийские горизонты и создать евразийские перспективы, так русское языковедение — отрасль славянского — должна превратиться в главу языковеденья евразийского» (П.Н. Савицкий Р.О. Якобсону, 9 августа 1930 г. // MIT Archives. Roman Jakobson Papers. MC 72. Box 119. Folder 95. L. 8).

история овладения ею русским народом. Как утверждал Вернадский, «история сливается с современностью», когда Российская империя покоряет Туркестан и объединяет постмонгольскую Евразию [Вернадский 1934: 27—28].

Вероятно, марризм испытал определенное влияние евразийства. В частности, тезис Мещанинова о наборе статичных признаков, характеризующих язык, был сформулирован под воздействием евразийских языкознания и географии⁴⁴. И хотя Трубецкой, один из авторов евразийской фонологии, в 1924 году назвал Марра сумасшедшим, а Якобсон считал его теории «параноидальным нонсенсом», евразийская лингвистика конвергенции и марровская яфетидология представляли собой попытки сформулировать — пусть во имя разных идеологических задач и в разных политических контекстах — наднациональную идеологию языка. Таким образом, каждая по-своему, они осмысливали наследие эпистемологической революции позднеимперского периода.

При этом евразийская концепция даже в своем научном варианте эссенциализировала восприятие «Евразии» как гибридного пространства. Стабилизированный таким образом, евразийский конструктивизм перекликался с фашизмом, так же как конструктивистская эпистемология имперской ситуации в археологии Марра, антропология московской либеральной школы или проекты типа Казанского археологического института стабилизировались в начале 1920-х годов и оказались интегрированы в проект нациецентричной коренизации, а затем и вовсе потеряли *raison d'être* в контексте «высокого сталинизма»⁴⁵.

Видимо, помимо давления идеологии свою роль в кризисе позднеимперской эпистемы гибридности сыграла внутренняя ограниченность структурализма. Фиксация на правилах «грамматики» отношений объектов разнообразия способствовала подмене изначального исследовательского фокуса на многообразии — объективацией «реальности» и статичности упорядоченных «по правилам» объектов. Большую роль сыграла и неразвитость аналитических моделей, которые позволили бы отразить видение гибридности в рамках цельного нарратива, не жертвуя многомерностью описываемого объекта во имя согласованности и последовательности изложения. Ради эффекта «непрерывного искусства» (Шкловский) — или тотальной, непротиворечивой научной схемы — описываемая реальность также начинала восприниматься как реальность «простых вещей».

В принципе, это смешение «языка анализа» и «языка практики» (Бруйер) отчетливо осознавалось как методологическая ошибка еще дореволюционными российскими протоструктуралистами. Уже Александр Потебня призывал в конце XIX века: «Есть не только восточное и западное, но и русское, польское, немецкое христианство и даже немецкие христианства. Вся сила в том, чтобы не принимать своих абстракций за сущности, что, однако, делается, когда рассматривают, например, христианство независимо от среды, в коей оно проявляется» [Потебня 1993: 161]⁴⁶. Марр в 1916 году разъяснял свою методологию «изучения роли скрещения значения мешаных типов»:

44 Например, работ Савицкого 1927 года о географических особенностях России-Евразии, в которых формулировалась теория «многопризнаковости» и «корреляций»: [Савицкий 1927а: 94; 1927б: 27]. См. также: [Слуцкий 1912].

45 О «стабилизации» творческой энергии российского *fin de siècle* в идеях Якобсона о геокультурных союзах см.: [Ram 2015].

46 О Потебне как протоструктуралисте см.: [Соболев 2008].

Яфетидология ставит вопрос о необходимости разграничить классификацию идеальных соотношений «основных» пластов (и их прототипов) от классификации реальных языков в наличном их виде в целостности каждого из них, в совокупности присущих ему действительных пластов и наслоений [Март 1933а: 73, примеч.].

В 1920 году он говорил о принятии методологического разделения представления об объекте и языка выражения этого представления уже в прошедшем времени:

...но еще больше пришлось уделить внимания, отвлекшись от отвлеченно-теоретического восприятия речи, учету реальных, в самой жизни сложившихся, взаимоотношений яфетических языков, повести аналитическую работу над материально существующими типами, всегда скрещенными, яфетических языков [Март 1933б: 86].

Подобным же образом структурализм как «отвлеченно-теоретический» метод анализа должен был бы противопоставляться гибридности как нормальному состоянию имперской ситуации «в наличном виде». Незавершенность модели динамического разнообразия, воспринимающей реальность не как отражение жесткой структуры («простой вещи»), а как динамичную систему изменчивых отношений, стала причиной торжества структурализма не просто как метода (метаязыка), а как эпистемы. Имперская эпистемологическая революция оказалась слишком авангардной, уступив давлению контрреволюционной эпистемы «простых вещей»: эпистемологическая революция гибридности начала века, дестабилизировавшая историцистскую модель знания и самодержавный политический режим, не смогла помешать стабилизации новых — модернизированных по форме, хотя и не по сути, — режимов власти и знания.

Начиная с 1930-х годов гибридность оказалась неуместна в идеологическом нормативном дискурсе сталинизма, реальная гегемония которого осуществлялась помимо дискурсивных методов. Столь же неуместна в конечном итоге она стала в постколониальном дискурсе евразийства, который переосмыслил историческую Российскую империю как колонию «Запада» и сосредоточился на конструировании противостоящей им аутентичной евразийской субъектности (и модерности)⁴⁷. Иными словами, позднеимперская эпистемологическая революция оказалась возможной и перспективной в контексте имперской ситуации и идеологически плюралистическом режиме поздней империи. Она исчерпала себя уже к концу 1920-х годов, не получив поддержки ни в стабилизированном гегемонном советском идеологическом дискурсе, ни в субалтерных евразийском или советском национальных и антиколониальных проектах.

Гибридность дестабилизирует колониальный дискурс — и как имплицитная структурная угроза любому гегемонному дискурсу, и как артикулированная критика претензий на монолитное единство правящей группы. Но точно так же она дестабилизирует дискурс антиколониального движения национальных «меньшинств». Возможна ли вообще устойчивая идеология гибридности — вопрос сложный и открытый. Имперская ситуация в России начала века

47 О «постколониальной» составляющей евразийства см.: [Глебов 2003; Glebov 2014; 2015]. О постколониальности в российском контексте в целом см.: [Gerasimov, Glebov, Mogilner 2013].

сделала возможным обнаружение и осмысление гибридности как фундаментального свойства общества, когда методы новых наук о человеке применили к изучению пространства Российской империи как такового — не укладывающегося заранее ни в какие готовые национальные, географические или политические рамки. Произошедшая в результате эпистемологическая революция проявилась наиболее последовательно и заметно в научной сфере. Одним из частных случаев конструирования и осмысления гибридности, очевидно, достаточно маргинальным до 1917 года, была научная деятельность Николая Марра. Однако политический язык гибридности, разрабатывающий и популяризирующий идеологические формулировки на основе данных новых наук о человеке, не выработался и не сложился⁴⁸. Сталинский «лингвистический поворот» формально зафиксировал основы «контрреволюционной» эпистемы «простых вещей» и основанный на ней проект идеологического государства.

Библиография / Reference

- [Аврорин, Щербак 1958] — Аврорин В.А., Щербак А.М. Иван Иванович Мещанинов: (К 75-летию со дня рождения) // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. 1958. Т. XVII. № 5. С. 461—467.
- (Avrorin V.A., Shcherbak A.M. Ivan Ivanovich Meshchaninov: (K 75-letiyu so dnya rozhdeniya) // Izvestiya Akademii nauk SSSR. Otdelenie literatury i yazyka. 1958. Vol. XVII. № 5. P. 461—467.)
- [Акименко 2007] — Акименко М.А. Институт имени В.М. Бехтерева: от истоков до современности (1907—2007 гг.). СПб., 2007.
- (Akimenko M.A. Institut imeni V.M. Bekhtereva: ot istokov do sovremennosti (1907—2007 gg.). Saint Petersburg, 2007.)
- [Аксенов 2006] — Аксенов В. Москва Ква-Ква. М., 2006.
- (Aksyonov V. Moskva Kva-Kva. Moscow, 2006.)
- [Алпатов 2004] — Алпатов В.М. История одного мифа: Марр и марризм. 2-е изд., доп. М., 2004.
- (Alpatov V.M. Istoriya odnogo mifa: Marr i marrizm. 2nd ed. Moscow, 2004.)
- [Бейлин, Парнес 1971] — Бейлин И., Парнес А. Георгий Федорович Морозов (1867—1920). М., 1971.
- (Beilin I., Parnes A. Georgiy Fedorovich Morozov (1867—1920). Moscow, 1971.)
- [Вернадский 1934] — Вернадский Г.В. Опыт истории Евразии с половины VI века до настоящего времени. Берлин, 1934.
- (Vernadsky G.V. Opyt istorii Evrazii s poloviny VI veka do nastoyashchego vremeni. Berlin, 1934.)
- [Всесоюзная перепись 1992] — Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги / Сост. Ю.А. Поляков и др. М., 1992.
- (Vsesoyuznaya perepis' naseleniya 1939 goda: Osnovnyye itogi / Ed. by Yu.A. Polyakov et al. Moscow, 1992.)
- [Гаспаров 1999] — Гаспаров Б. Развитие или реструктурирование: Взгляды академика Т.Д. Лысенко в контексте позднего авангарда: (Конец 1920 — 1930-е годы) / Пер. с англ. М.А. Дзюбенко // Логос. 1999. № 11-12 (21). С. 21—36.
- (Gasparov B. Development or Rebuilding: Views of Academician T.D. Lysenko in the Context of the Late Avant-Garde // Logos. 1999. № 11-12 (21). P. 21—36. — In Russ.)
- [Герасимов 2009] — Герасимов И. Василий Аксенов: недописанный роман русского западничества // Герасимов И. Нулевые. Степень. Письма. М., 2009. С. 123—153.

48 Важным исключением является идея «имперской нации» Максима Славинского, сконструированная им в 1915 году по модели, которую в 1917-м в Великобритании назовут «содружеством» (commonwealth). В ее основе лежала многоуровневая система лояльностей, когда единое политическое гражданство совмещалось с индивидуальной принадлежностью также к разным этнокультурным (а возможно, и региональным и пр.) сообществам [Gerasimov 2014: 202—203].

- (*Gerasimov I. Vasily Aksyonov: nedopisanny roman russkogo zapadnichestva // Gerasimov I. Nulevye. Stepen'. Pis'ma. Moscow, 2009. P. 123—153.*)
- [Герасимов, Могильнер, Семенов 2015] — *Герасимов И., Могильнер М., Семенов А.* Российская социология в имперском контексте // *Науки о человеке: история дисциплин / Под ред. А. Дмитриева и И. Савельевой. М., 2015. С. 295—330.*
- (*Gerasimov I., Mogilner M., Semyonov A. Rossiyskaya sotsiologiya v imperskom kontekste // Nauki o cheloveke: istoriya distsiplin / Ed. by A. Dmitriev and I. Savel'eva. Moscow, 2015. P. 295—330.*)
- [Глебов 2003] — *Глебов С.* Границы империи как границы модерна: Антиколониальная риторика и теория культурно-исторических типов в евразийстве // *Ab Imperio. 2003. Т. 4. № 2. С. 267—291.*
- (*Glebov S. Granitsy imperii kak granitsy moderna: Antikolonial'naya ritorika i teoriya kul'turno-istoricheskikh tipov v evraziystve // Ab Imperio. 2003. Vol. 4. № 2. P. 267—291.*)
- [Гумбольдт 2000] — *Гумбольдт В. фон.* О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества [1830—1835] // *Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / Пер. с нем. под ред. и с предисл. Г.В. Рамшвили. М., 2000. С. 37—297.*
- (*Humboldt W. von. Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts // Humboldt W. von. Izbrannye trudy po yazykoznaniiu / Ed. by G.V. Ramishvili. Moscow, 2000. P. 37—297. — In Russ.*)
- [Докучаев 1948] — *Докучаев В.В.* Учение о зонах природы [1899]. М., 1948.
- (*Dokuchaev V.V. Uchenie o zonakh prirody [1899]. Moscow, 1948.*)
- [Докучаев 1997] — *Василий Васильевич Докучаев (1846—1903) / Ред. И.Г. Бэбих. М., 1997.*
- (*Vasilii Vasil'evich Dokuchaev (1846—1903) / Ed. by I.G. Bebikh. Moscow, 1997.*)
- [Дубровский 2005] — *Дубровский А.М.* Историк и власть: Историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930—1950-е гг.). Брянск, 2005.
- (*Dubrovskiy A.M. Istoriik i vlast': Istoricheskaya nauka v SSSR i kontsepsiya istorii feodal'noy Rossii v kontekste politiki i ideologii (1930—1950-e gg.). Bryansk, 2005.*)
- [Жиромская 2007] — *Жиромская В.Б.* История подготовки и проведения переписи населения 1937 года // *Всесоюзная перепись населения 1937 года: Общие итоги: Сборник документов и материалов / Сост. В.Б. Жиромская и Ю.А. Поляков. М., 2007. С. 10—23.*
- (*Zhiromskaya V.B. Istoriya podgotovki i provedeniya perepisi naseleniya 1937 goda // Vsesoyuznaya perepis' naseleniya 1937 goda: Obshchie itogi: Sbornik dokumentov i materialov / Ed. by V.B. Zhiromskaya and Yu.A. Polyakov. Moscow, 2007. P. 10—23.*)
- [Иванов 1991] — *Иванов А.Е.* Высшая школа России в конце XIX — начале XX века. М., 1991.
- (*Ivanov A.E. Vysshaya shkola Rossii v kontse XIX — nachale XX veka. Moscow, 1991.*)
- [Иванов 1998] — *Иванов А.Е.* Психоневрологический институт в Петербурге // *Россия в XIX—XX вв.: Сборник статей к 70-летию со дня рождения Р.Ш. Ганелина / Под ред. А.А. Фурсенко. СПб., 1998. С. 264—270.*
- (*Ivanov A.E. Psikhonevrologicheskiy institut v Peterburge // Rossiya v XIX—XX vv.: Sbornik statey k 70-letiyu so dnya rozhdeniya R.Sh. Ganelina / Ed. by A.A. Fursenko. Saint Petersburg, 1998. P. 264—270.*)
- [Ивановский 1904] — *Ивановский А.А.* Об антропологическом составе населения России. М., 1904.
- (*Ivanovskiy A.A. Ob antropologicheskom sostave naseleniya Rossii. Moscow, 1904.*)
- [Кукулин 2015] — *Кукулин И.* Машины зашумевшего времени: Как советский монтаж стал методом неофициальной культуры. М., 2015.
- (*Kukulin I. Mashiny zashumevshogo vremeni: Kak sovetskiy montazh stal metodom neofitsial'noy kul'tury. Moscow, 2015.*)
- [Лоскутова, Федотова 2014] — *Лоскутова М., Федотова А.* Становление прикладных биологических исследований в России: Взаимодействие науки и практики в XIX — начале XX вв.: Исторические очерки. СПб., 2014.
- (*Loskutova M., Fedotova A. Stanovlenie prikladnykh biologicheskikh issledovaniy v Rossii: Vzaimodeystvie nauki i praktiki v XIX — nachale XX vv.: Istoricheskie ocherki. Saint Petersburg, 2014.*)
- [Лысенко 1952] — *Лысенко Т.Д.* Новое в науке о биологическом виде // *Лысенко Т.Д. Агробиология. 6-е изд. М., 1952. С. 663—673.*
- (*Lysenko T.D. Novoe v nauke o biologicheskom vide // Lysenko T.D. Agrobiologiya. 6th ed. Moscow, 1952. P. 663—673.*)
- [Марр 1917] — *Марр Н.* О Кавказском историко-археологическом институте // *Известия Академии наук. 1917. № 13. С. 962—994.*
- (*Marr N. O Kavkazskom istoriko-arkheologicheskom institute // Izvestiya Akademii nauk. 1917. № 13. P. 962—994.*)

- [Март 1933а] — *Март Н.Я.* Кавказоведение и абхазский язык // Март Н.Я. Избранные работы. Т. 1. М.; Л., 1933. С. 59—78.
(*Marr N.Ya.* Kavkazovedenie i abkhazskiy yazyk // Marr N.Ya. Izbrannye raboty. Vol. 1. Moscow; Leningrad, 1933. P. 59—78.)
- [Март 1933б] — *Март Н.Я.* Яфетический Кавказ и третий этнический элемент в сози­дании Средиземноморской культуры // Март Н.Я. Избранные работы. Т. 1. М.; Л., 1933. С. 79—124.
(*Marr N.Ya.* Yafeticheskiy Kavkaz i tretiy etnicheskiy element v sozidanii Sredizemnomorskoj kul'tury // Marr N.Ya. Izbrannye raboty. Vol. 1. Moscow; Leningrad, 1933. P. 79—124.)
- [Март 1935] — *Март Н.Я.* Книжные легенды об основании Куара в Армении и Киева на Руси [1922] // Март Н.Я. Избранные работы. Т. 5. М.; Л., 1935. С. 44—66.
(*Marr N.Ya.* Knizhnye legendy ob osnovanii Kuara v Armenii i Kiev na Rusi [1922] // Marr N.Ya. Izbrannye raboty. Vol. 5. Moscow; Leningrad, 1935. S. 44—66.)
- [Мещанинов 1929] — *Мещанинов И.И.* Введение в яфетидологию. Л., 1929.
(*Meshchaninov I.I.* Vvedenie v yafetidologiyu. Leningrad, 1929.)
- [Мещанинов 1948] — *Мещанинов И.И.* О положении в лингвистической науке // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. 1948. Т. VII. № 6. С. 473—485.
(*Meshchaninov I.I.* O polozhenii v lingvisticheskoy nauke // Izvestiya Akademii nauk SSSR. Otdelenie literatury i yazyka. 1948. Vol. VII. № 6. P. 473—485.)
- [Мещанинов 1949] — *Мещанинов И.И.* Март — основатель советского языкознания // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. 1949. Т. VIII. № 4. С. 289—298.
(*Meshchaninov I.I.* Marr — osnovatel' sovetского yazykoznanija // Izvestiya Akademii nauk SSSR. Otdelenie literatury i yazyka. 1949. Vol. VIII. № 4. P. 289—298.)
- [Морозов 1912] — *Морозов Г.Ф.* Учение о лесе. СПб., 1912.
(*Morozov G.F.* Uchenie o lese. Saint Petersburg, 1912.)
- [Николаев 2008] — *Николаев А.Л.* Археологические институты дореволюционной России. Нижнекамск, 2008.
(*Nikolaev A.L.* Arkheologicheskie instituty dorevol'yutsionnoy Rossii. Nizhnekamsk, 2008.)
- [Николаев 2009] — *Николаев А.Л.* Подготовка специалистов по русской старине в Санкт-Петербургском и Московском археологических институтах // Известия Алтайского государственного университета. 2009. Т. 4. С. 186—193.
(*Nikolaev A.L.* Podgotovka spetsialistov po russkoj starine v Sankt-Peterburgskom i Moskovskom arkheologicheskikh institutakh // Izvestiya Altajskogo gosudarstvennogo universiteta. 2009. T. 4. S. 186—193.)
- [Положение 1907] — Положение о Санкт-Петербургском археологическом институте // Полное собрание законов Российской империи. 3-е изд. СПб., 1907. Т. XXVII. № 28844.
(*Polozhenie o Sankt-Peterburgskom arkheologicheskome institute // Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii.* 3rd ed. Saint Petersburg, 1907. Vol. 27. № 28844.)
- [Поляков 2000] — Население России в XX веке / Ред. Ю.А. Поляков. Т. 1. М., 2000.
(*Naselenie Rossii v XX veke / Ed. by Yu.A. Polyakov.* Vol. 1. Moscow, 2000.)
- [Потебня 1993] — *Потебня А.* Язык и народность [1895] // Потебня А.А. Мысль и язык. Киев, 1993. С. 158—185.
(*Potebnya A.* Yazyk i narodnost' [1895] // Potebnya A.A. Mysl' i yazyk. Kiev, 1993. P. 158—185.)
- [Савицкий 1927а] — *Савицкий П.Н.* Географические особенности России. Ч. 1: Растительность и почва. Прага, 1927.
(*Savickij P.N.* Geograficheskie osobennosti Rossii. Vol. 1: Rastitel'nost' i pochva. Prague, 1927.)
- [Савицкий 1927б] — *Савицкий П.Н.* К познанию русских степей. Париж, 1927.
(*Savickij P.N.* K poznaniyu russkikh stepey. Paris, 1927.)
- [Сандомирская 2006] — *Сандомирская И.* Язык-Сталин: «Марксизм и вопросы языкознания» как лингвистический поворот во все­ленной СССР // *Landslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia / Ed. by I. Lunde and T. Roesen.* Bergen, 2006. P. 263—291.
(*Sandomirskaja I.* Yazyk-Stalin: «Marksizm i voprosy yazykoznanija» kak lingvisticheskij povорот vo vselennoj SSSR // *Landslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia / Ed. by I. Lunde and T. Roesen.* Bergen, 2006. P. 263—291.)
- [Сикорский 2003] — *Сикорский И.А.* Что такое нация и другие формы этнической жизни [1915] // *Ab Imperio.* 2003. № 3. С. 241—287.
(*Sikorsky I.A.* Chto takoe natsiya i drugie formy etnicheskoy zhizni [1915] // *Ab Imperio.* 2003. № 3. P. 241—287.)
- [Слущкий 1912] — *Слущкий Е.Е.* Теория корреляции и элементы учения о кривых распределения. Киев, 1912.
(*Slutskiy E.E.* Teoriya korrelyatsii i elementy ucheniya o krivykh raspredeleniya. Kiev, 1912.)
- [Соболев 2008] — *Соболев Д.* Лотман и структурализм: Опыт невозвращения // Вопросы литературы. 2008. № 3. С. 5—51.

- (Sobolev D. Lotman i strukturalizm: Opyt nevozvra-shcheniya // Voprosy literatury. 2008. № 3. P. 5—51.)
- [Спорные вопросы 1939] — Спорные вопросы генетики и селекции: (Общий обзор совещания) // Под знаменем марксизма. 1939. № 11. С. 86—126.
- (Spornye voprosy genetiki i seleksii: (Obshchii obzor soveshchaniya) // Pod znamenem marksizma. 1939. № 11. P. 86—126.)
- [Сталин 1953] — Сталин И. Марксизм и вопросы языкознания. М., 1953.
- (Stalin I. Marksizm i voprosy yazykoznaniiya. Moscow, 1953.)
- [Сталин 1997] — Сочинения И.В. Сталина: 1878—1953. Т. 16: 1946—1952. М., 1997.
- (Sochineniya I.V. Stalina: 1878—1953. Vol. 16: 1946—1952. Moscow, 1997.)
- [Трубецкой 1923] — Трубецкой Н.С. Вавилонская башня и смешение языков // Евразийский временник. 1923. № 3. С. 107—124.
- (Trubetzkoy N.S. Vavilonskaya bashnya i smeshenie yazykov // Evraziyskiy vremennik. 1923. № 3. P. 107—124.)
- [Ушаков 2001] — Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова [1935]. Т. 1. М., 2001.
- (Tolkovyy slovar' russkogo yazyka: In 4 vols. / Ed. by D.N. Ushakov [1935]. Vol. 1. Moscow, 2001.)
- [Хабутдинов 2013] — Хабутдинов А.Ю. Институты российского мусульманского сообщества в Волго-Уральском регионе. М., 2013.
- (Khabutdinov A.Yu. Instituty rossiyskogo musul'manskogo soobshchestva v Volgo-Ural'skom regione. Moscow, 2013.)
- [Шамсутдинова 1999] — Шамсутдинова Р. Архивное строительство в Татарстане 1917—1920 гг. // Эхо веков. 1999. № 1/2. С. 283—292.
- (Shamsutdinova R. Arkhivnoe stroitel'stvo v Tatarstane 1917—1920 gg. // Ekho vekov. 1999. № 1/2. P. 283—292.)
- [Шкловский 1932] — Шкловский В. О людях, которые идут по одной и той же дороге и об этом не знают. Конец барокко // Литературная газета. 1932. № 32. 17 июля.
- (Shklovsky V. O lyudyakh, kotorye idut po odnoy i toy zhe doroge i ob etom ne znayut. Konets barokko // Literaturnaya gazeta. 1932. № 32. July 17.)
- [Якобсон 1931] — Якобсон Р. К характеристике евразийского языкового союза. Париж, 1931.
- (Jakobson R. K kharakteristike evraziyskogo yazykovogo soyuza. Paris, 1931.)
- [Bhabha 1994] — Bhabha H. Signs Taken for Wonders: Questions of Ambivalence and Authority under a Tree outside Delhi, May 1817 // Bhabha H. The Location of Culture. London, 1994. P. 145—174.
- [Bhabha 1997] — Bhabha H. Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse // Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World / Ed. by F. Cooper and A.L. Stoler. Berkeley, 1997. P. 152—160.
- [Brandenberger 2002] — Brandenberger D. National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931—1956. Cambridge, Mass., 2002.
- [Brubaker 1998] — Brubaker R. Myths and Misperceptions in the Study of Nationalism // The State of the Nation: Ernest Gellner and the Theory of Nationalism / Ed. by J.A. Hall. New York, 1998. P. 272—305.
- [Chamberlain 1899] — Chamberlain H.S. Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. München, 1899.
- [David-Fox 2015] — David-Fox M. Crossing Borders: Modernity, Ideology, and Culture in Russia and the Soviet Union. Pittsburgh, 2015.
- [Deniker 1913] — Deniker J. The Races of Man: An Outline of Anthropology and Ethnography. 3rd ed. London, 1913.
- [Dobrenko 2014] — Dobrenko E. Linguistic turn à la Soviétique: The Power of Grammar, and the Grammar of Power // The Vernaculars of Communism: Language, Ideology and Power in the Soviet Union and Eastern Europe / Ed. by P. Petrov and L. Ryazanova-Clarke. London; New York, 2014. P. 19—39.
- [Engelstein 1993] — Engelstein L. Combined Underdevelopment: Discipline and the Law in Imperial and Soviet Russia // The American Historical Review. 1993. Vol. 98. № 2. P. 338—353.
- [Gasparov 1987] — Gasparov B. The Ideological Principles of Prague School Phonology // Language, Poetry and Poetics. The Generation of the 1890s: Jakobson, Trubetzkoy, Majakovskij: Proceedings of the First Roman Jakobson Colloquium, at the Massachusetts Institute of Technology, October 5—6, 1984 / Ed. by K. Pomorska, E. Chodakowska, H. McLean, and B. Vine. New York, 1987. P. 49—78.
- [Gasparov 1996] — Gasparov B. Development or Rebuilding: Views of Academician T.D. Lysenko in the Context of the Late Avant-Garde // Laboratory of Dreams: The Russian Avant-Garde and Cultural Experiment / Ed. by J.E. Bowlt and O. Match. Stanford, 1996. P. 133—150.
- [Gerasimov 2014] — Gerasimov I. What Russian Progressives Expected from the War // Russia's Great War and Revolution. Vol. 2: The Empire and Nationalism at War / Ed. by E. Lohr et al. Bloomington, 2014. P. 189—215.
- [Gerasimov, Glebov, Mogilner 2013] — Gerasimov I., Glebov S., Mogilner M. The Postimperial Meets the Postcolonial: Russian Historical Experience

- and the Post-Colonial Moment // *Ab Imperio*. 2013. Vol. 14. № 2. P. 97—135.
- [Glebov 2013] — *Glebov S.* Space and Structuralism in Russian Eurasianism // *Empire De/Centered: New Spatial Histories of Russia and the Soviet Union* / Ed. by S. Turoma and M. Waldstein. London, 2013. P. 31—60.
- [Glebov 2014] — *Glebov S.* Postwar Russian Eurasianism's Anticolonial Critique of Eurocentrism and Modernity // *The Empire and Nationalism at War* / Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, and M. von Hagen. Bloomington, 2014. P. 217—240.
- [Glebov 2015] — *Glebov S.* N.S. Trubetskoi's *Europe and Mankind* and Eurasianist Antievolutionism // *Between Europe and Asia: The Origins, Theories, and Legacies of Russian Eurasianism* / Ed. by M. Bassin, S. Glebov, and M. Laruelle. Pittsburgh, 2015. P. 48—67.
- [Gobineau 1853—1855] — *Gobineau A. de.* *Essai sur l'inégalité des races humaines*. Paris, 1853—1855.
- [Groys 2009] — *Groys B.* *The Communist Postscript*. New York, 2009.
- [Hirsch 2005] — *Hirsch F.* *Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union*. Ithaca, N.Y., 2005.
- [Horne 2002] — *Horne J.R.* *A Social Laboratory for Modern France: The Musée Social and the Rise of the Welfare State*. Durham, N.C., 2002.
- [Larsen 2001] — *Larsen N.* *Determinations: Essays on Theory, Narrative and Nation in the Americas*. London; New York, 2001.
- [Lipovetsky 2013] — *Lipovetsky M.* *The Poetics of ITR Discourse: In the 1960s and Today* // *Ab Imperio*. 2013. № 1. P. 109—139.
- [Martin 2001] — *Martin T.D.* *The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923—1939*. Ithaca, N.Y., 2001.
- [McMahon 2015] — *McMahon R.* *The Races of Europe: Construction of National Identities in the Social Sciences, 1839—1939*. Basingstoke, 2015.
- [Mizutani 2013] — *Mizutani S.* *Hybridity and History: A Critical Reflection on Homi K. Bhabha's Post-Historical Thoughts* // *Ab Imperio*. 2013. № 4. P. 27—48.
- [Mogilner 2013] — *Mogilner M.* *Homo Imperii: A History of Physical Anthropology in Russia*. Lincoln, 2013.
- [Mogilner 2016] — *Mogilner M.* *Human Sacrifice in the Name of a Nation: The Religion of Common Blood // Strange World of Ritual Murder: Culture, Politics, and Belief in Eastern Europe and Beyond* / Ed. by E. Avrutin and R. Weinberg. Bloomington, 2016. [In print.]
- [Moon 2014] — *Moon D.* *The Plough That Broke the Steppes: Agriculture and Environment on Russia's Grasslands, 1700—1914*. Oxford, 2014.
- [Moor-Gilbert 1997] — *Moor-Gilbert B.* *Postcolonial Theory: Contexts, Practices, Politics*. London, 1997.
- [Ram 2015] — *Ram H.* *Spatializing the Sign: The Futurist Eurasianism of Roman Jakobson and Velimir Khlebnikov* // *Between Europe and Asia: Origins, Theories and Legacies of Russian Eurasianism* / Ed. by M. Bassin, S. Glebov, and M. Laruelle. Pittsburgh, 2015. P. 137—149.
- [Savickij 1929] — *Savickij P.* *Les problèmes de la géographie linguistique du point de vue du géographe* // *Travaux du Circle Linguistique de Prague*. 1929. № 1. P. 145—156.
- [Slezkine 1999] — *Slezkine Y.* *N.Ia. Marr and the National Origins of Soviet Ethnogenesis // Intellectuals and the Articulation of the Nation* / Ed. by R.G. Suny and M.D. Kennedy. Ann Arbor, 1999. P. 211—256.
- [Suny, Martin 2001] — *A State of Nations: The Soviet State and Its Peoples in the Age of Lenin and Stalin* / Ed. by R.G. Suny and T.D. Martin. New York; Oxford, 2001.
- [Szemerényi 1999] — *Szemerényi O.* *Introduction to Indo-European Linguistics*. Oxford, 1999.
- [Toman 1995] — *Toman J.* *The Magic of a Common Language: Jakobson, Mathesius, Trubetzkoy, and the Prague Linguistic Circle*. Cambridge, Mass., 1995.
- [Turner 2000] — *Turner J.* *Philology: The Forgotten Origins of the Modern Humanities*. Princeton, 2000.
- [Tylor 1871] — *Tylor E.* *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom*. Vol. 1. London, 1871.
- [Windelband 1904] — *Windelband W.* *Geschichte und Naturwissenschaft*. 3. Aufl. Strasbourg, 1904.

Дина Хапаева

Рабские мечты об имперском величии

Dina Khapaeva
Slavish Dreams of Imperial Greatness

Дина Хапаева (Технологический институт Джорджии; профессор русской кафедры Школы современных языков; PhD)
dina.khapaeva@modlangs.gatech.edu.

Ключевые слова: рабство, империя, Российская Федерация, неомедиевализм, утопия, дистопия, антиутопия, праворадикальная идеология, пост-евразийство

УДК: 326+327.2+321.65

Статья посвящена вопросу: почему в современной России столь популярны идеи возрождения имперского величия и сословной монархии? Они представлены в литературе и политической публицистике, их пропагандируют праворадикальные идеологи, их с интересом воспринимает «политический класс». В этих имперских мечтах Россия предстает как крайне милитаризованное полусредневековое сословное государство, чьи подданные стремительно утрачивают не только политические свободы, но и свободу личную. Личная зависимость и рабство как проявление складывающейся системы ценностей — это не только плод воображения праворадикальных публицистов, но и повседневность, что подтверждается многочисленными примерами, представленными в статье.

Dina Khapaeva (Georgia Institute of Technology; professor of Russian, School of Modern Languages; PhD) dina.khapaeva@modlangs.gatech.edu.

Key words: slavery, empire, Russian Federation, neo-medievalism, utopia, dystopia, anti-utopia, radical-right ideology, post-Eurasianism

UDC: 326+327.2+321.65

Dina Khapaeva's article considers why ideas advocating the rebirth of imperial greatness and estate monarchy are so popular in present-day Russia? They are represented in fiction and political journalism; promoted by radical-right ideologues (post-Eurasianists); and looked on favorably by the "political class". In these imperial dreams, Russia appears as an example of a realized neo-medievalism — an extremely militarized society whose subjects are rapidly losing not only civic liberties but also personal freedom. Various forms of unfreedom reflect an emerging value system and are not merely present in the fantasies of ultra-right journalists — they constitute an everyday reality, as confirmed by multiple examples provided in the article.

Человек всегда раб. Его сущность такова, что не быть рабом он не может.

[Проект Россия 2006: 44]

Вместо введения: холуйские пророчества

В 2006 году Михаил Юрьев, успешный делец и член политсовета движения «Евразия», в прошлом вице-спикер Госдумы от «Яблока», опубликовал роман-утопию «Третья империя: Россия, которая должна быть» [Юрьев 2007]. После

Крыма эта книга была названа «любимой книгой Кремля»¹. В ней, в частности, описан сценарий, по которому развивались политические конфликты России с Грузией и Украиной. Написанная в жанре учебника истории России от имени латиноамериканского историка в 2054 году, эта утопия рассказывает о происхождении Третьей империи, которую начал возводить Владимир Восстановитель.

Рассказ о создании Третьей империи Юрьев начинает восстанием в Украине, вспыхнувшим «под лозунгами воссоединения с Россией и отказа от политики форсированной интеграции в Европу и вступления в антироссийский блок НАТО под патронажем Америки и Польши» [Юрьев 2007: 36]. По Юрьеву, Россия инспирировала это восстание, и в результате необъявленной — «гибридной», как ее назвали потом, — войны и ввода в Украину российских войск² Восточная Украина объявила «о непризнании украинской власти и вообще украинской государственности и о провозглашении Донецко-Черноморской республики» [Юрьев 2007: 36]. Последовавший за этим референдум одобрил принятие Восточной Украины в состав России. Захват Крыма, Приднестровья, Абхазии и Осетии — тоже часть этого литературного сценария [Юрьев 2007: 43].

Внешнюю политику России последних лет часто связывают с «имперской идеей», проникшей в сны не только кремлевских и околокремлевских мечтателей, но и широких масс населения. В имперских грезах Юрьева «Россия, которая должна быть», одерживает полную победу над Западом. Повествование об этом триумфе заставляет всерьез задуматься о том, сколь глубоким и болезненным является для российских националистов комплекс неполноценности перед Западом. Вот как Юрьев описывает воображаемый парад в честь победы над США:

В отличие от парада 1945 года <...> по Красной площади прошли <...> представители всех элит США: президент Буш III и бывшие президенты Билл Клинтон, Буш-младший и Хиллари Клинтон, действующие и бывшие члены кабинета, конгрессмены и сенаторы, банкиры и промышленники, газетные обозреватели и телевизионные ведущие, известные адвокаты и топ-модели, эстрадные певцы и голливудские актрисы. Все они прошли по Красной площади в наручниках и с табличкой со своим именем на шее — все, кроме пленных военных, которые шли с полной честью. Российская власть давала понять и своим гражданам, и всему миру, что Россия воевала и победила не американскую армию, а американскую цивилизацию [Юрьев 2007: 91–92].

Однако в моей статье речь пойдет не о внешней политике России, а о том, что означает «имперская идея» для самих россиян в свете недавних завоевательных походов и законодательных инициатив, с какими представлениями о будущем общества она неразрывно связана и как она может повлиять на положение тех, кого пока продолжают называть «гражданами». Какое завтра готовят околокремлевские мечтатели типа Юрьева россиянам и каковы наши шансы на осуществление мрачного пророчества Маркса, что народ, угнетающий другие народы, сам утрачивает свободу? Отвечая на эти вопросы, мы увидим, что имперская идеология неразрывно связана с исторически современными ей идеями монархии, сословного общества и личной зависимости.

-
- 1 Снеговая М. Украинские события давно описаны в любимой книге Кремля // Ведомости. 2014. 2 марта (www.vedomosti.ru/opinion/articles/2014/03/02/stroiteli-tretej-impregii (здесь и далее дата обращения по всем ссылкам: 20.02.2017)). См. также: Умланд А. «Евразийские» проекты Путина и Дугина — сходства и различия // ИноСМИ.ру. 2012. 22 июня (inosmi.ru/politic/20120622/193954633.html).
 - 2 О политических «прогнозах» Юрьева см.: [Юрьев 2007: 19–20].

Поскольку сегодня, по ощущению экспертов, на вопрос, насколько социологические опросы, проводимые в современной России, отражают картину представлений населения, а не являются «политическим заказом», ответить почти так же трудно, как на закате советской эпохи, то мы предпримем другой демарш. Исходя из представления о том, что литература и жизнь неразрывно связаны между собой, причем литература способна не только выражать, но и властно формировать культурные движения и политические проекты³, мы посмотрим, как литература перетекает в жизнь, используя для этого разные жанры. Мы увидим, что грань не просто между «словом и делом», но и между вымыслом и политикой «тревожна и зыбка». И, что самое главное, вымысел способен становиться политикой — как внешней, так и внутренней. Мы проследим, как разные жанры — утопия, дистопия и антиутопия — выдумывают и одновременно легитимируют образ будущего социального устройства России. Как памфлеты придают этому образу черты «научно обоснованной идеологической концепции». И как многоголосица вымысла, художественные достоинства которого столь сомнительны, что ни о какой «необоримой силе искусства» не может быть и речи, материализуется в политических программах и в речах политических деятелей, завладевая пространством публичного дискурса. Общество в этой ситуации, однако, не является «пассивным объектом», которому навязываются чуждые ему представления. Напротив, успех обуславливается тем, что вымысел и предлагает такой язык, в котором выражаются ожидания общества о своем будущем, и одновременно формирует эти ожидания⁴.

Феномен пост-евразийства, который будет в фокусе моего внимания в силу его безоговорочной центральности для современной российской идеологии и который уже стал шире движения «Евразия», заражая своими вымыслами самые разные слои общества, позволяет проследить эти взаимосвязи, потому что в нем соединяются сферы псевдохудожественного вымысла, псевдонаучных обществоведческих памфлетов, политического дискурса и вполне реального политического действия: ведь многие пост-евразийцы, авторы романов и политических памфлетов, принимают самое активное участие в современной российской политике.

Важное понятие, которое я предлагаю использовать для понимания российской современности, — это понятие неомедиевализма. Под неомедиевализмом я понимаю образ Средневековья, который сводит этот период к системе ценностей, прямо противопоставленных идеалам европейского гуманизма и Просвещения, но при этом рассматривается как заманчивое будущее. Главной его идеей является отказ от представления о человеке как о высшей ценности. Неомедиевализм становится все более популярным и за пределами России. Но особенностью неомедиевализма на постсоветском пространстве является идея нового социального порядка, который основан на наследственном неравенстве. Неомедиевализм как социальный проект и ресталинизация как политика памяти сходятся в общем пренебрежении человеком и демократическими свободами. «Новое средневековье» провозглашает пересмотр социального контракта

3 Я обосновываю этот подход в книге: [Хапаева 2010], а также в более развернутом виде — в ее расширенном и дополненном английском переводе: [Kharaeva 2013].

4 Однако, в отличие от дискурс-анализа, который преимущественно изучает то, как язык описывает реальность, меня будет больше интересовать то, как вымысел формирует новую социальную действительность [Бурдьё 1993; van Dijk 2006].

и гражданских свобод в России. Нормализация памяти о сталинизме превращает зону в прототип постсоветской версии неомедиевализма.

Для меня важен тезис Райнхарта Козеллека, что исторические и политические понятия могут обладать принудительной силой и властно формировать коллективные представления об обществе и истории. Значения, исторически отложившиеся в понятиях, в немалой мере определяют то, как эти понятия функционируют в настоящем. Примером принудительной силы понятий в этой статье послужит идея империи. В современном политическом дискурсе (а порой и в «имперских исследованиях») понятие империи нередко сводится к представлениям о мировом господстве и о политически и культурно гетерогенном пространстве, управляемом из единого центра. Российский случай показывает, что невозможно игнорировать его неразрывную связь с идеями монархии и сословного общества.

Эти понятия помогут нам представить, насколько центральной является тема личной несвободы, рабства и сословного общества в сознании россиян, и понять, как эти представления соотносятся с российской действительностью⁵. Мы задумаемся над вопросом, какое место занимают рабство и сословное общество в образах имперского будущего России, нашедших выражение в литературе, кино, аналитических записках, политических программах и выступлениях государственных деятелей.

Новорусское рабство

Начать следует с цифр. По данным Всемирного индекса рабства на 2014 год, Россия занимает 32-е место в мире по отношению процента населения, находящегося в рабстве, к общему количеству населения (для сравнения, США на 145-м месте). Более 0,73% населения России являются рабами, что составляет около 1 миллиона человек⁶. Эта цифра выводит Россию на пятое место по общему числу людей, находящихся в рабстве: впереди только Индия, Китай, Пакистан и Узбекистан. Более того, Россия является одним из ведущих дилеров мировой работоторговли [Кибальник, Соломоненко 2004; Левченко 2009]. Русские рабы, в большинстве женщины и дети, продаются в более чем 50 стран для коммерческой сексуальной эксплуатации и принудительного труда. Россия также является страной — покупателем невольников, преимущественно из Средней Азии⁷.

Списать эти цифры на недобросовестную статистику и происки «наших западных врагов» довольно трудно потому, что они находят постоянное подтвер-

5 В этой статье будут использоваться такие понятия, как рабство, рабский труд, крепостное право, торговля людьми, холопство, которые описывают разные степени несвободы, и грань между ними весьма зыбка.

6 Данные The Global Slavery Index (www.globallslaveryindex.org).

7 В России по-прежнему применяется рабский труд // Красноярская правда. 2011. 30 июня (kras-pravda.ru/newspaper/2011/11/v-rossii-po-prezhnemu-primenjaetsja-rabskij-trud.html); Русские рабы // The Insider. 2015. 18 марта (theins.ru/longread/3850); Крылова М. Свобода, равенство, рабство // РБК. 2014. 19 февраля (www.rbcdaily.ru/magazine/trends/562949990585684); Дергачев В. «Раб в Москве стоит около 50 тысяч рублей» // Газета.ру. 2015. 30 октября (www.gazeta.ru/politics/2015/10/23_a_7839791.shtml); Жилин И. «Людей берут под заказ» // Новая газета. 2015. 18 августа (www.novayagazeta.ru/articles/2015/08/18/65276-171-lyudey-berut-pod-zakaz-187).

ждение в российских новостях и публикациях [Тюрюканова 2006]⁸. То здесь, то там всплывают подробности о том, как попадают в рабство нелегальные иммигранты и российские граждане из наименее защищенных слоев населения. Например, в 2009 году на Глуховской ткацкой фабрике в Ногинском районе Московской области использовали рабский труд 10- и 12-летних детей из Таджикистана и Кореи⁹. Иногда дело доходит до суда, как это было в 2011 году, когда 17 моряков, завербованных во Владивостоке, оказались в рабстве у капитана и его помощников¹⁰. Однако чаще всего суд отказывается рассматривать такие дела, как это случилось, например, в 2012 году с 11 гражданами Казахстана и Узбекистана, которых принуждали работать в московском продуктовом магазине¹¹. Но, как постоянно подчеркивают правозащитники, занимающиеся помощью жертвам работорговли, быть проданным в рабство не является исключительно уделом нелегальных эмигрантов (например, в Туле рабский труд российских граждан применялся в муниципальных госпиталях¹²), и у москвичей тоже есть хорошие шансы стать жертвами торговли людьми¹³.

Одной из причин является бездействие полиции, которая не заинтересована в расследовании таких дел и, более того, получает квоты, ограничивающие открытие дел по статье «Торговля людьми»¹⁴. С 2003-го по 2013 год, например, было заведено более 10 000 дел по статье 240 УК РФ «Вовлечение в проституцию» и только 900 дел по статье 121.7 «Торговля людьми».

Без сомнения, коррупция чиновников и полиции играет важную роль в том, что на просторах России процветает работорговля. И хотя, конечно, работорговля и использование рабского труда запрещены российскими законами, Россия до сих пор является одной из немногих стран, не подписавших Конвенцию Совета Европы против торговли людьми 2008 года¹⁵. Случай-

-
- 8 Россия ратифицировала Палермский протокол 24 марта 2004 года, тем самым взяв на себя ряд обязательств по борьбе с торговлей людьми именно в таком определении, которое дано в Протоколе.
 - 9 В России на фабрике использовали рабский труд детей иммигрантов // Tengri News. 2009. 23 декабря (tengrinews.kz/accidents/rossii-fabrike-ispolzovali-rabskiy-trud-detej-immigrantov-35237); Рабский труд в современной России // Радио «Свобода». 2008. 11 июня (www.svoboda.org/content/transcript/451616.html).
 - 10 BBC: В России используют «рабский труд» десятков тысяч граждан КНДР // NEWSRU.com. 2015. 24 июля (www.newsru.com/finance/24jul2015/runorthkoreanlabor.html).
 - 11 Активисты обжалуют закрытие «дела о рабах» в Москве // BBC. Русская служба. 2012. 21 ноября (www.bbc.com/russian/russia/2012/11/121121_moscow_slaves_case_closure_confirmed).
 - 12 *Никишина М.* Рабский труд в Туле и Тульской области: [Петиция] // Демократор. 2013. 27 февраля (democrator.ru/petition/rabskiy-trud-v-tule-i-tulskoj-oblasti).
 - 13 «Уроки» рабского труда: Сколько в России стоит невольник? // Аргументы и факты. 2015. 2 декабря (www.aif.ru/society/people/uroki_rabskogo_truda_skolko_v_rossii_stoit_nevolnik).
 - 14 В России на фабрике использовали рабский труд детей иммигрантов; Рабский труд в современной России; *Неяскин Г.* Десять лет работорговли в России: преступление и наказание // Slon. 7 апреля (republic.ru/posts/50165).
 - 15 Chart of signatures and ratifications of Treaty 197 // Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings. Opening of the treaty: 16.05.2005. Entry into force: 01.02.2008 (www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/197/signatures?p_auth=C8VCXTSf); *Dietel C.A.* “Not Our Problem”: Russia’s Resistance to Joining the Convention on Action against Trafficking in Human Beings // Suffolk Transnational Law Review. 2008. Vol. 32. № 1 (www.questia.com/library/journal/1G1-201086411/not-our-problem-russia-s-resistance-to-joining).

ность ли это, или в российском законодательстве происходят такие изменения, которые касаются личных прав и свобод не только эмигрантов, но граждан в целом, что делает подписание международных документов такого рода «несвоевременным»?

Например, в мае 2015 года Дума рассмотрела поправку к УК РФ, в которой было предложено использовать труд заключенных на частных предприятиях. Внесенная единоклассником Александром Хинштейном, эта поправка должна была позволить заставлять заключенных работать на строительстве объектов чемпионата мира по футболу, лесозаготовках и возведении моста через Керченский пролив¹⁶. Поправка должна была затронуть около 40 000 человек, что заставило правозащитников говорить об узаконивании рабского труда заключенных, который использовался при Сталине и отмена которого стала важнейшим аспектом десталинизации¹⁷.

Важно понимать, что поправка Хинштейна предлагала узаконить порядок вещей, уже де-факто существующий в российских тюрьмах и колониях. Напомню, что на сегодняшний день УК РФ квалифицирует принудительный неоплачиваемый труд и отсутствие возможности отказаться от работы как рабский труд¹⁸. А это именно то, что происходит в колониях. Надежда Толоконникова, лидер группы «Pussy Riot», приговоренная к 2 годам в мордовской колонии ИК-14, так описывает положение заключенных:

Режим в колонии действительно устроен так, что подавление воли человека, запугивание его, превращение в бессловесного раба осуществляется руками осужденных, занимающих посты мастеров бригад и старшин отрядов, получающих указания от начальников. <...> Мечтающая только о сне и глотке чая, измученная, задержанная, грязная, осужденная становится послушным материалом в руках администрации, рассматривающей нас исключительно в качестве бесплатной рабсилы. Так, в июне 2013 года моя зарплата составила 29 (двадцать девять!) рублей. При этом в день бригада отшивает 150 полицейских костюмов. Куда идут деньги, полученные за них?¹⁹

16 Стране нужны дешевые рабочие ФСИН // Коммерсантъ. 2015. 25 мая (www.kommersant.ru/doc/2733690). Об использовании труда заключенных в мире см. досье «Коммерсанта»: Как используют труд заключенных за рубежом: Мировая практика // Коммерсантъ. 2015. 25 мая (www.kommersant.ru/doc/2733718). «Рабский труд заключенных в России» // Русь сидящая. 2014. 11 сентября (zekovnet.ru/rabskij-trud-zaklyuchennyh-v-rossii).

Возможный отголосок этой законодательной инициативы: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2016 г. № 147-р, г. Москва // Российская газета. 2016. 10 февраля (rg.ru/2016/02/10/gasporiazhenie-dok.html). Вступает в силу 1 января 2017 года.

17 ФСИН поддержала идею использовать труд заключенных на стройке ЧМ-2018 // Новая газета. 2015. 25 мая (www.novayagazeta.ru/news/2015/05/25/112453-fsin-podderzhala-ideyu-ispolzovat-trud-zaklyuchennyh-na-stroyke-chm-2018). О сталинизации как части неомедиевального поворота см.: [Khapaeva 2016].

18 Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 127.2. Использование рабского труда // Кодексы и законы РФ (www.zakonrf.info/uk/127.2). Учебник «Уголовное право России» комментирует это так: «Именно отсутствие такой возможности (отказаться от работы. — Д.Х.) характеризует труд подневольного человека как рабский» [Адельханян и др. 2010: 355].

19 Толоконникова Н. «Вы теперь всегда будете наказаны» // Лента.ру. 2013. 23 сентября (lenta.ru/articles/2013/09/23/tolokonnikova).

На этот совсем не риторический вопрос ответить несложно: согласно расследованию, предпринятому «Известиями», годовой оборот одной только группы компаний «Восток-Сервис», эксплуатирующей труд заключенных, составляет более 18 млрд. рублей²⁰. Это — не единственная компания, процветающая благодаря подневольному труду:

Федеральная служба исполнения наказаний — это не просто тюремное министерство, охраняющее почти 700 тыс. осужденных, это многопрофильная производственная корпорация, использующая узаконенный рабский труд заключенных. Ежегодно на производстве ээки зарабатывают для системы около \$1 млрд. По экспертным оценкам, реальная сумма денег, крутящихся в тюремной экономике вместе с нелегальными бизнесами, может составлять сумму в два-три, а то и в пять раз больше²¹.

Конечно, читатель может задаться вопросом — не означают ли приведенные здесь факты, что рабство угрожает только «маргиналам» и достаточно «не нарываться», т.е. не лезть в политику, дружить с властями, уголовным кодексом и иммиграционными правилами, и все будет хорошо? Поэтому давайте посмотрим, как рабство затрагивает те сферы жизни, которые касаются всех законопослушных граждан России.

Начнем с армии, в которой по закону полагается служить всем лицам мужского пола старше 18 лет. Рассказами о дедовщине и беспределе в российской армии никого не удивишь. Точно так же, как и рассказами об эксплуатации рабского труда солдат их военными начальниками: солдаты строят дачи, копают грядки, используются как разнорабочие и прислуга.

Иногда армейское начальство устраивает показательные процессы над армейскими феодалами, и эти редкие процессы получают всестороннее освещение в средствах массовой информации²². Но как бы ни были привычны эти нарушения закона, самый важный факт состоит в другом: солдат используют на строительстве федеральных объектов — спортивных сооружений и туристических комплексов — точно так же бесплатно, как и на личных огородах²³.

Массовый рабский труд не ограничивается армией. Он процветает в сельском хозяйстве. По данным правозащитников, труд невольников широко применяется в Волгоградской и Ростовской областях и в Республике Калмыкия. В Дагестане людей «продают, как скот, для тяжелых работ на кирпичных заводах»²⁴.

20 *Маетная Е., Петелин Г.* Колония № 13 обшивает бывшего депутата Госдумы // Известия. 2013. 26 сентября (izvestia.ru/news/557694#ixzz40AuADzoQ).

21 *Светова З.* Made in ФСИН // The New Times. 2013. № 33 (301). 19 октября (newtimes.ru/stati/others/6af0bf57315ae29b3a46c13d589d3b90-made-in-fsun.html). Ср. также: России нужны не страх и рабский труд, а соблюдение законов — Путин // РИА Новости. 2011. 15 декабря (ria.ru/society/20111215/517396309.html#ixzz3xiGoVpuc).

22 Пытки и рабский труд российских солдат // Права человека в России. 2014. 13 мая (www.hro.org/node/19375); Генерал, заставлявший солдат строить ему дачи, отделался штрафом // NEWSru.com. 2007. 18 мая (www.newsru.com/russia/18may2007/general.html); *Зайцева А.* Кировский солдат, сбежавший из части, строил дачу майору ФСБ // Комсомольская правда. 2012. 12 июля (www.kirov.kp.ru/daily/25915.4/2868243).

23 Армейские начала. Что выбрать? // Армия России (russianarmy.ru/pomoshh-prizyvnikam/16-armejskie-nachala-chto-vybrat...).

24 «Уроки» рабского труда: Сколько в России стоит невольник?

Все эти отдельные истории иллюстрируют разнообразие сфер российской жизни, где задействован труд невольников, количество которых, повторю, исчисляется миллионом человек.

Теперь пора задаться вопросом: как относится к рабству российское общество? Здесь стоит прислушаться не к точке зрения правозащитников, борющихся с рабством, и не к УК, запрещающему его, а к той части «политического класса», которая предлагает российскому обществу модель такого общественного устройства, где рабство является неотъемлемой составляющей.

Два трактата о холопском будущем

Весной 2005 года правительственный курьер доставил в президентскую администрацию, в правительство, в главный штаб, в ФСБ, в Министерство внутренних дел, в Госдуму и в Генпрокуратуру первый том анонимного текста под названием «Проект Россия». Помимо высших государственных лиц, прокремлевские деятели — кинорежиссер Михалков, журналист Александр Хинштейн (тогда еще не дослужившийся до депутата) и газета «Комсомольская правда» — изо всех сил старались создать атмосферу загадочности вокруг этого анонимного текста²⁵. Через год «Олма-Пресс» издало проект тиражом 50 000 экземпляров, а в 2009 году «Эксмо» выпустило его миллионный тираж.

Что же столь захватывающего содержалось в «Проекте Россия»? Лейтмотив этого сочинения — теория заговора Запада против России. Конечная цель «мировой закулисы» — уничтожить народы России:

На первый взгляд кажется, что подобное развитие событий не коснется простого человека. <...> Но дело в том, что игра против Европы и России ведется не ради власти и доступа к ресурсам. Все это — промежуточная цель. Окончательные цели, ради которых идет сражение, кроются в метафизике. Согласно демократической идеологии, традиционным народам нет места на Земле. Это не предположение. Это утверждение, выведенное из последовательного анализа ситуации на планете [Проект Россия 2006: 27].

Ситуация 2005 года напоминает анонимам «преддверие Второй мировой войны, когда на границах России наблюдалась повышенная активность вермахта». Им кажется, что «мир хотят убить» и что опасность грядет из США²⁶. И хотя авторы заявляют, что опасность для России идет с Запада, они быстро приходят к выводу о том, что Запад скоро сметут полчища «новых Чингисханов и Салладинов». Анонимные авторы «уже сегодня слышат гул железных шагов. Это наши идут» [Проект Россия 2010: 171]. Желая видеть свою страну Третьим Римом, они требуют вернуть России ее имперское величие, включая территории, попавшие под ее контроль после Ялтинской конференции.

25 Разыскивается автор книги «Проект Россия» // Stringer. 2006. 19 ноября (stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=6721).

26 «Теперь мы понимаем, что идет самая настоящая война. Мир хотят убить. Но не энергией меча, не энергией пули и даже не атомной энергией. Нас хотят убить, используя социальную энергию. Европу, Францию, Россию хотят разрушить, манипулируя недовольством и чувственными желаниями масс плюс притязаниями мелко думающих людей, назвавших себя элитой, но никогда не имевших целей, определяющих элиту» [Проект Россия 2006].

Но геополитические проекты — не единственный предмет внимания анонимных авторов. Не менее сильно они озабочены изменением социального и политического строя будущей России. Они подробно излагают, на каких новых принципах должно быть основано новое общественное устройство России, чтобы отвечать их великим завоевательным целям. Оно должно сочетать «лучшие характеристики монархии с лучшими чертами советской системы». Отказ от демократии и выборных институтов власти легко совместим с имперскими амбициями: бесправное население проще использовать для грядущих завоеваний. Поэтому нация должна сплотиться вокруг теократической монархии и сословного общества. Православие признается «историческим фундаментом России», необходимым, как и самодержавие, для возрождения империи²⁷.

Чтобы освежить воспоминания читателя об этом тексте, приведу типичную для стилистики этого текста цитату:

Мышление массы — как у собаки Павлова: горит лампочка, возникает образ, идет реакция. Запрограммированное сознание ставит слово «монархия» в один ассоциативный ряд со словами «диктатура», «концлагерь», «насилие», «угнетение». <...> Положительное отношение к свободе связывается с демократией. В итоге выступать против демократии означает прослыть в глазах современной массы душителем свободы. Ратовать за Царство равносильно ходатайству за возврат в Средние века. Никому нет дела, что реальное положение никак не связано со штампами. <...>

Царство — это не кровавая диктатура, и ее правитель не палач. Царство воплощает принцип единовластия. <...> Он есть во всякой здоровой структуре. Нельзя представить семью, устроенную по демократическому принципу, где глава меняется каждые четыре недели. Или завод, где каждые четыре месяца меняют руководителя. <...> Иван Грозный правил 37 лет, остальные (великие самодержцы) — около того. Время твердого правления несменяемых царей увеличивало и укрепляло Россию [Проект Россия 2006: 187—188].

«Средневековые» политические представления сочинителей отражаются не только в идеях о политическом и государственном устройстве, но и в наивности, с которой они излагают свои взгляды на общество и историю:

России нужен Отец. Власть отца только тогда не становится бременем, когда домочадцы не претендуют на нее. <...> Народ и царь, как муж и жена, берут на себя обязательства в первую очередь не перед людьми, а перед Богом [Проект Россия 2006: 171].

Итак, с монархией понятно, а что касается сословий? Как же мыслится структура подобного общества? На интересный вопрос — кто и в силу каких причин попадет в элиту этого средневекового общества? — следует прямой ответ: «Кто сильнее, тот и власть» [Проект Россия 2006: 130].

Свои социальные идеи авторы передают с помощью примитивных средневековых метафор общественного устройства, включая образ социальной пирамиды:

Честолюбие элиты задает направление всему человечеству. <...> Жизнь выстраивала общество в пирамиду. <...> Верхнюю часть пирамиды занимали свободные,

27 В условиях неокрепшей вертикали 2005 года анонимы были готовы довольствоваться Романовыми.

способные рисковать жизнью ради нематериальных целей. На самом верху находились люди духа, таланта и воли. Князь, обладающий всеми этими качествами, стоял на вершине пирамиды. Следом шли сильные духом, но не обладающие большими талантами воины. Нижнюю часть пирамиды составляли купцы, крестьяне и ремесленники. Их страшил любой риск, и им ничего не оставалось, как менять свой труд на маленький, но гарантированный результат [Проект Россия 2006: 102–103].

Мы еще неоднократно встретимся с этой пирамидой и с «князьями духа» в неанонимных сочинениях евразийцев. Но об этом — несколько позже, а сейчас вернемся к правящему классу из «Проекта Россия». Во главе общества стоят князья — «отцы народа». Анонимы стремятся убедить читателя, что человек «по природе раб», что «равенство не свойственно человеческому обществу» и что «в реальных земных условиях» оно невозможно: общество состоит из «ведомых и ведущих»²⁸. Жесткая социальная иерархия кажется им «естественным» состоянием общества потому, что, с их точки зрения, народ — это умственно неполноценный недоросль: «Как детей от холода и голода защищают взрослые, так народ от хищников должна защищать честная элита» [Проект Россия 2006: 130]. В результате «возникает гармоничная структура», при которой «бóльшие» заботятся о «меньших». Популярная примитивная организационная метафора приобретает под их пером совершенно готический и, надо сказать, на редкость неаппетитный оттенок. Народ рассматривается как источник «энергии, потребляемой элитой»:

Раньше, будучи единым целым, народ напоминал пирамиду, в верхние слои которой поднимались наиболее доблестные и способные. Между верхом и низом имела место гармония, которая возникала благодаря циркуляции идей и энергий. Образно этот процесс выглядел так: народные массы, составляющие основание пирамиды, как всякий живой объект, выделяли энергию. Она поднималась по пирамиде наверх, попутно одухотворяя слои, через которые проходила. Одновременно облагораживаясь сама. На самом верху самые талантливые люди придавали энергии законченные формы в виде произведений искусства, изобретений и мыслей. Обработанная энергия шла обратно, в народные массы, которые без труда ее усваивали, потому что она была своя, родная. Впитывая упорядоченную энергию, народ становился лучше и выдавал новую порцию энергии, лучшего качества, которая снова шла наверх, и т.д. Живущее таким образом общество развивалось.

Вина за то, что Россия больше не пребывает в этом состоянии, возлагается на Петра и кажется авторам следствием не иначе как злого колдовства. «Заколдовали нашу Россию», — заключают они [Проект Россия 2006: 155]...

В этом же урожайном на проекты 2005 году Михаил Ремизов²⁹, директор Института национальной стратегии, опубликовал текст «Проект “Государство-цивилизация”: Концепция государства-цивилизации и учредительные принципы нового строя»³⁰. Галина Кожевникова показывает, что он отразил мен-

28 «...Свободные воины, определившие себя как рабы Бога, превращаются в князей, отцов народа. Защищать слабых им предписывают заповеди Бога» [Проект Россия 2006: 49].

29 О взглядах Ремизова см.: [Бауринг 2015].

30 Ремизов М. Проект «Государство-цивилизация»: Концепция государства-цивилизации и учредительные принципы нового строя // Агентство политических новостей. 2005. 9 февраля (www.apn.ru/publications/article1280.htm).

тальность не только самого директора, но и всего агентства АПН, сотрудники которого подбирались из приверженцев идеи восстановления советской империи в границах до 1991 года [Кожевникова 2005]. Она отмечает:

Практически все положения «Концепции» в той или иной степени имеют отсылки к различным публикациям, в свое время появлявшимся на АПН. В первую очередь, к материалам, идеологически обосновывающим приемлемость для России модели государства фашистского типа. Италия Муссолини или гитлеровская Германия выступают в них образцами если не всего государственного устройства, то по крайней мере некоторым позитивным опытом, конструкцией, часть механизмов которой приемлема для российской государственной машины [Кожевникова 2005: 82].

Ремизов подчеркивает, что Россия не является страной, принадлежащей к западной цивилизации и традициям Просвещения. Российская нация является «ядром цивилизации из массы народов, сложившихся вокруг нее», а посему все постсоветское пространство является зоной ее «природных, естественных и жизненных интересов». Новым политическим порядком объявляется «народная монархия», основанная на диктаторской власти монарха и сильной вертикали власти. Интересы этого государства-цивилизации имеют абсолютный приоритет по сравнению с интересами его граждан.

Рабство по-пост-евразийски

Представления о социальном будущем России и группы анонимов, и Ремизова созвучны политическим установкам постсоветского пост-евразийства и его лидеров — Александра Дугина, Михаила Юрьева, Михаила Леонтьева и др.³¹

В 2004 году Михаил Юрьев выступил с аналитической запиской «Крепость Россия» [Юрьев 2008]. Снабженная подзаголовком «Концепция для Президента», эта записка изобразила Запад как примордиального врага России и призвала власть к изоляционизму в экономической политике, подкреплённой мощной националистической пропагандой, а главное — к скорейшему построению империи. По слухам, эта записка произвела фурор в президентской администрации³². И не только в ней: тот же образ крепости возникает на первых страницах «Проекта Россия»:

Постоянная власть (в отличие от сменяемой демократической власти. — Д.Х.) — последняя крепость на пути врага. С ее падением путь к установлению мировой диктатуры будет открыт³³.

31 Несмотря на попытку Ремизова представить себя «независимым консерватором». Изборский клуб, связанный с Институтом динамического консерватизма, называют «главной платформой продвижения мятежа в Донбассе и формирования “красной” интерпретации Новороссии» [Laruelle 2016: 58].

32 «“Крепость Россия” существует в голове Путина, а россияне, вынужденные расплачиваться за это снижением уровня жизни, пока не против жизни в этой умозрительной конструкции», — заключает Леонид Бершидский: Путинская «крепость Россия» испытывает давление // InoPressa. 2015. 5 ноября (www.inopressa.ru/article/05nov2015/BloombergView/isolation.html).

33 Шальганов Ю.В. Проект Россия. Полное собрание. Ч. 1: Идея (www.e-reading.club/bookreader.php/1022840/Shalyganov_-_Proekt_Rossiia._Polnoe_sobranie.html).

Читатель не нуждается в напоминании, что термин «евразийство» возник в конце XIX — начале XX века. Петр Савицкий, Николай Трубецкой, Лев Карсавин, чьи идеи позднее перерабатывал Лев Гумилев, среди многих других объясняли особенности России ее географическим положением между Европой и Азией и подчеркивали важность Азии, а не Европы, для ее истории, культуры и государственности. Но, несмотря на некоторые черты сходства с современным пост-евразийством, попытки таких деятелей, как Дугин, присвоить себе эту традицию являются безусловно вымышленной генеалогией³⁴.

Главными идеями пост-евразийства являются исторический мессианизм русских (идея катехона) и воссоздание империи, превосходящей советскую — или по крайней мере сопоставимой с ней. Примордиальным врагом России объявляется Запад, и поэтому он должен быть завоеван. «Пора назвать вещи своими именами. Запад — место, куда рухнул дьявол»³⁵ — так объясняет причины враждебности Запада к России Александр Дугин, бывший советник председателя Госдумы Сергея Нарышкина, глава политической партии «Евразия» и агентства «Союз евразийской молодежи», транслирующего новости на украинском, русском, румынском, сербском и английском языках³⁶.

Геополитические представления пост-евразийцев довольно часто становились предметом обсуждения, но нас здесь прежде всего интересует вопрос, каким они видят общественное устройство России. Их центральной идеей является возрождение в России средневекового общества времен Древней Руси и создание «Нового русского средневековья», призванного заменить порочную современность, начало которой положили реформы Петра, но которая не отражает истинный дух русского народа³⁷. Возврат в Средневековье рассматривается как образ желанного будущего³⁸, с чем естественно сочетается идея нового Крестового похода, потому что, по мнению пост-евразийцев, пришло «время возвращать наши святыни»³⁹.

Что же Средневековье сулит россиянам? Дугин подробно разъясняет это в серии статей на сайте «Однако», и его идеи лишь незначительно отличаются от изложенных в «Проекте Россия». По Дугину, лучше всего соответствует человеческой природе кастовое общество:

-
- 34 О превращении Дугина и его окружения из маргинальных шутов во «влиятельный аналитический центр» от 1998-го к 2006 году см.: [Umland 2007]. О том, насколько точнее говорить просто о фашизме, см.: [Laqueur 1996; Parland 2005]. О фашистской идеологии Ильина см.: *Snyder T.* How a Russian Fascist Is Meddling in America's Election // The New York Times. 2016. September 20.
- 35 *Дугин А.* Время возвращать наши святыни: Принципы и стратегия грядущей войны // Евразия. 2015. 15 декабря (www.evrazia.org/article/2787).
- 36 В своей очередной книге «Международные отношения: Парадигмы, теории, социология» Дугин воспроизводит все те же идеи про российскую цивилизацию, которая может продолжать, по его мнению, существовать даже после того, как умрет породившее ее государство — Российская империя или Советский Союз [Дугин 2014].
- 37 Александр Дугин: В системе ценностей России нет места равенству и братству (www.youtube.com/watch?v=Gbqb2eqCSIU); Их не хватает даже на «новое средневековье» // Антиглобализм. 2012. 16 ноября (web.archive.org/web/20121116085426/http://anti-glob.ru/st/novosredn.htm).
- 38 Н. Далматова: «Продолжая разговор о традиционных ценностях: то, что вы перечислили, — православие, народность, монархия, — неужели сюда нельзя вписать свободу и равенство?» Дугин: «Нет» (Александр Дугин: В системе ценностей России нет места равенству и братству).
- 39 *Дугин А.* Время возвращать наши святыни.

Древнейшие государства и социально-политические системы строились на принципе каст. Под этим принципом следует понимать учение о том, что внутренняя природа разных людей качественно различается: есть божественные души и души земные (звериные, демонические). Каста отражает именно эту природу души, изменить которую человек при жизни не в состоянии. Каста фатальна. Нормальное общество в этом понимании должно строиться таким образом, чтобы люди божественной природы были вверху (элита), а люди земной (звериной, демонической) природы — внизу (массы). Так устроена индийская система варн, аналогичными были древнеиранское, вавилонское, египетское и иные общества⁴⁰.

Те, кто принадлежит к низшей касте, по сути, являются рабами. Дугин сожалеет том, что на смену кастам пришли сословия и затем — классы, нарушив «гармонию природы и общества». Однако у него есть и хорошая новость для его русской аудитории:

Переход от каст к сословиям и от сословий к классам не является универсальным законом. Этот процесс может произойти, как это имеет место в Западной Европе Нового времени, а может и не произойти или произойти лишь частично, как это имеет место вплоть до сегодняшнего дня в незападных обществах⁴¹.

Поэтому, успокаивает он читателя, переход этот не отменяет, с точки зрения «экзистенциального подхода»⁴², «кастовое неравенство душ и природ человека»⁴³. Поскольку Дугин верит, что Россия не является европейской нацией и, следовательно, европейские законы для нее не писаны, то, по его мнению, она может избежать этой неприятности⁴⁴. Видя в среднем классе политическую основу либерализма и демократии, он заявляет, что этот средний класс чужд «российскому духу» и, по сути, беспочвенен, а править должны «царифилософы» и «воины-герои», совсем как это утверждали германские оккультисты, предшественники фашизма [Goodrick-Clarke 1985: 218]:

Средний класс вообще не имеет онтологических оснований для существования, а если и имеет, то только где-то там, далеко внизу, под властью царей-философов и воинов-героев. Это третье сословие, возмнившее о себе, что оно первое и единственное⁴⁵.

Анонимные авторы «Проекта Россия», сотрудники АПН, участники евразийского движения и крайне правые консерваторы солидарны в том, что, как ясно сформулировала позицию Дугина Н. Далматова, «в системе ценностей России нет места равенству и братству». С их точки зрения, Просвещение, свобода и

40 Дугин А. Средний класс и другие: Идеология, семантика, экзистенция // Однако. 2014. 27 мая (www.odnako.org/almanac/material/sredniy-klass-i-drugie-ideologiya-semantika-ekzistenciya/).

41 Там же.

42 Забавно, что для легитимации своих псевдофилософских идей Дугин не может обойтись без авторитета западных философов, именами которых пестрят его тексты.

43 Дугин А. Средний класс и другие.

44 Попытки Дугина в ответ на введенные против него санкции в связи с пропагандой войны на Украине сделать вид, что его теории носят антирасовый характер, выглядят неубедительно (см., например: О погроме евразийства в мире: [Интервью с А. Дугиным] // Однако. 2015. 16 марта (www.odnako.org/blogs/o-pogrome-evraziystva-v-mire/)).

45 Дугин А. Средний класс и другие.

равенство объявляются «масонской триадой», чуждой русскому духу. Дугин, например, противопоставляет заветам Французской революции изобретенную министром просвещения Уваровым формулу «православие, самодержавие, народность» и рисует будущее устройство России в соответствии с ней:

Православие как доминанция базовой религии, которая составила российскую идентичность, православие, которое становится нормативом мировоззрения. Монархия как наиболее характерная форма организации социально-политического традиционного общества не только в России, но и в европейских странах. И народность, как утверждение традиционных культурных форм <...> жизни⁴⁶.

Как и для многих других националистов, идеальными монархами, выразителями «аутентичной русской традиции» для Дугина являются Иван Грозный и Сталин. Дугин заявляет, что Сталин «выражает дух советского народа и советского общества потому, что он был “советским царем”, абсолютным монархом». Как Иван Грозный создал Московскую Русь, так и Сталин создал советскую империю, и поэтому «не может быть сомнений в том, что Сталин был выдающимся историческим лидером». А поскольку, по мнению Дугина, великим в истории является только то, что «строится на крови», кровавые злодеяния Сталина никак не влияют на оценку его деятельности⁴⁷.

В этом контексте уместно предположить, что политика ресталинизации, проводившаяся в России на протяжении последнего десятилетия, является проявлением неомедиевализма и навязывания обществу квазисредневековых ценностей и отношений к гражданам.

Пост-евразийцы располагают немалыми ресурсами для распространения своего влияния в обществе. К сказанному о Дугине и Юрьеве следует добавить, что Михаил Леонтьев, член политсовета движения «Евразия» с 2001 года и Изборского клуба, является ведущим передачи Первого канала «Однако» и главным редактором одноименного журнала и интернет-ресурса, на котором публикуются тексты его единомышленников, а так же советником президента «Роснефти».

Сословия и рабство в утопии, дистопии и антиутопии

Для того чтобы увидеть, как развивались идеи о рабстве и сословном обществе в России, нам следует вернуться к утопии Юрьева о Третей империи, которую начал возводить Владимир Восстановитель, возродивший традиции царской России и Советского Союза, а также «великих евразийских империй прошлого, Римской и Византийской». Главный герой Юрьева, император Гаврил, завершивший создание этой империи, увлечен борьбой с Западом по той же причине, что и остальные пост-евразийцы: он искал «следы реальных связей с дьяволом, которого считал, как правители Средневековья, абсолютной реальностью и своим личным врагом» [Юрьев 2007: 137]. .

46 Александр Дугин: В системе ценностей России нет места равенству и братству.

47 Дугин А. Взять Сталина «по модулю»: Оценка лидера без учета полярности // *Однако*. 2013. 12 февраля (www.odnako.org/blogs/vzyat-stalina-po-modulyu-ocenka-lidera-bez-ucheta-polyarnosti/).

Под предводительством Гаврила Россия захватывает США и Европу и простирает свои владения «от океана до океана». С точки зрения Юрьева, «победитель имеет право захватить, разорить и ограбить побежденных, особенно если те напали первыми, он может и казнить их вождей» [Юрьев 2007: 117]. Балтийские страны, Польша и Украина, которые особенно не нравятся автору — да и только ли ему в российской политической элите? — подлежат полному уничтожению русскими войсками [Юрьев 2007: 101, 102, 108—111]:

Поэтому, начав вторжение, мы будем убивать и разрушать, сколько сможем, ибо нет чести для прибалтов. <...> Пусть будет с этими странами, как с Содомом и Гоморрой, потому что само их существование оскорбляет нас [Юрьев 2007: 110].

На захваченных территориях автор мечтает установить «русский закон войны». Согласно этому закону,

правоохранительные органы защищают русских от местных жителей, иногда — одних местных жителей от других, но никак не местных жителей от русских опричников. Польско-украинские силы были буквально раздавлены, к тому же перед русскими войсками была поставлена задача уничтожить максимальное количество живой силы, зданий и сооружений. В результате к 5 октября — это дата окончания русско-польско-украинской войны — было убито более 600 тысяч человек, из них более двух третей — гражданское население, потери же русских составили не более 11 тысяч. Такие древние города, как Варшава и Краков, и многие другие были сильно разрушены, а Львов буквально стерт с лица земли, причем, судя по всему, вполне сознательно [Юрьев 2007: 101—102].

В писаниях Юрьева русские воспринимают себя не как нацию, а как цивилизацию, и относятся к внешнему миру «как к изначально враждебному», считают иностранцев «представителями иного биологического вида — то есть относятся вовсе не плохо или недоброжелательно <...>, но полностью отчужденно» [Юрьев 2007: 277].

В империи своей мечты Юрьев утверждает «примат российского национального (начала) над общечеловеческим» [Юрьев 2007: 295], и любой человек воспринимается «в неразрывной связи с его национальностью, которая мыслится как одно из важнейших его свойств, не менее важное, чем пол» [Юрьев 2007: 294]. Русские представляют собой «коренную нацию», и поэтому в этой национал-утопии численность русских постоянно растет, тогда как численность всех других покоренных народов неукоснительно падает.

Но оставим грезы Юрьева о мировом господстве и об истреблении целых народов и древних городов и посмотрим, каковы представления Юрьева о социальном устройстве Третьей империи. Они вытекают из его взглядов на историю России и тоже мало чем отличаются от взглядов других пост-евразийцев. Ленина он называет Владимир Иуда за то, что тот предал дело русского национализма. Зато Сталин — это Иосиф Великий, которого Юрьев восхваляет за те же свершения, что и Дугин: и за создание великой имперской армии, и за захват новых территорий, и за уничтожение элит в ходе безжалостных и кровавых чисток, и за установление режима террора [Юрьев 2007: 16—17]. Вот как Юрьев видит четыре составляющих исторической традиции, на которых строится его утопия:

Эти четыре источника — древняя доэтническая традиция ощущения иноплеменников как абсолютных чужаков, средневековая традиция религиозного отчужде-

ния от окружающего мира, социалистических времен традиция восприятия остального мира как отсталого и недоразвитого и новейшая традиция отчужденного восприятия внешнего мира как априори русофобского — и породили современное отношение русских к внешнему миру как к абсолютно чуждому и враждебному, но с нейтральной эмоциональной оценкой, без всякой злобы, — как к природной стихии [Юрьев 2007: 277].

Итак, за железным занавесом «крепости Россия», пожравшей, в воображении Юрьева, два материка, затаилась «русская цивилизация» [Юрьев 2007: 621], которая живет, подчиняясь жесткой диктатуре и цензуре. Юрьев считает ее самодостаточной: «Все, что ей надо — и в материальном, и в духовном смысле, — она может произвести сама» [Юрьев 2007: 278].

Что же так нравится Юрьеву в этой русской цивилизации, что из отечественного наследия он стремится сохранить? Какие обычаи и культурные традиции проходят через «сепаратор» его евразийской мысли? Какое достояние русская цивилизация несет народам Европы и США? Главные из них — обязательные для всех в его империи сословные застолья — «братчины», которые устраиваются в складчину и кончаются пьянством и драками, «но обычно без злобы» [Юрьев 2007: 223]. Этот институт, по мысли Юрьева, является важнейшей скрепой русского общества и лучше других отражает особенности русского национального характера [Юрьев 2007: 222—224]. Но одного мордобоя оказывается недостаточно, поэтому есть еще одна традиция, которая, по мысли Юрьева, создает неповторимый колорит русской цивилизации, — кулачные бои [Юрьев 2007: 224].

В основе социального строя Третьей империи лежит сословность [Юрьев 2007: 175]. По Юрьеву, вся власть в стране, в том числе и «исключительное право избирать власть», в ней принадлежит служилому сословию [Юрьев 2007: 65], которое носит говорящее название — «опричнина». Оно является «высшим сувереном» и «избирает из себя верховного правителя (высшее должностное лицо) Российской Империи — императора, а также всех иных высших должностных лиц» [Юрьев 2007: 198]. И хотя Юрьев предпринимает робкие попытки откреститься от опричнины Ивана Грозного и придумать иную этимологию для этого исторического понятия — мол, это просто так называются «рыцари по-русски» [Юрьев 2007: 66], — то, как он описывает деятельность опричников, достаточно точно соответствует их функции в эпоху Ивана IV. Это тайная полиция, которой дано право убивать, мучить, казнить без суда и следствия, иными словами, помогать «государю» править страной с помощью кровавого террора. Юрьев считает опричнину «глубинно русской» традицией, еще одной замечательной особенностью российского общества⁴⁸:

Дело, по-видимому, в том, что принципы служилого сословия созвучны очень глубоким русским бессознательным архетипам — в отличие от артикулированных общепринятых представлений, которым они явно противоречат; на неосознаваемом уровне для очень многих опричники являются лучшей частью их самих [Юрьев 2007: 199].

48 «В общем и целом, я не уверен, что такая система — я имею в виду опричное сословие — прижилась бы (не говоря уже о том, что возникла бы) где-нибудь, кроме России; в своей сути в ней очень много глубинно русского» [Юрьев 2007: 199].

Ожидание конца света является идеей, с помощью которой Юрьев оправдывает террор и потребность общества в опричниках: «...Опричники чувствуют себя поставленным Богом дозором, и, когда все вокруг начнет рушиться, это будет для них тем, что они всегда ждуг и в чем видят смысл своего существования» [Юрьев 2007: 202]. Юрьев с наслаждением описывает, что восстания недовольных опричники «топят в крови, причем с удовольствием, потому что для них <...> это будет поединок с дьяволом». Поэтому такие восстания опричники периодически провоцируют сами, и тогда непокорных «убивают и не пересчитывают» [Юрьев 2007: 225—226]. Описывая образ жизни опричника, Юрьев мало отступает от исторической истины, добавляя, что для отцов православной церкви он не является поводом для осуждения:

У духовенства к служилому сословию отношение явно хорошее; хотя многие из них считают, что убийства (пусть даже и врагов державы), пьянство и блуд не крадут опричников, их религиозность, бескорыстность и твердая защита веры и Церкви, сравнимая с таковой самого духовенства, не может не подкупать духовенство [Юрьев 2007: 198].

Следует подчеркнуть, что к духовному сословию «относится духовенство только Вселенской Русской православной церкви (ВРПЦ)» [Юрьев 2007: 203]. Все остальные конфессии остаются за бортом теократической монархии Юрьева. Но, как и земство (третье сословие), духовенство не имеет никаких политических прав и свобод. Разница между ними состоит в том, что духовенство не платит налоги, как, впрочем, и опричники, а земство платит и содержит первые два сословия [Юрьев 2007: 128]:

Ничего другого, кроме обязанности платить налоги, земцев не роднит — к ним относятся предприниматели и работники, ученые и писатели, артисты и инженеры и т.п. Труд играет для земцев ту же роль, что служба Богу или державе для первых двух сословий [Юрьев 2007: 220].

Эта политически бесправная масса россиян и подвластных покоренных народов, находящаяся в полной власти опричников и не защищенная никакими законами, — вот истинная, неприкрашенная идиллия пост-евразийства. Юрьев не имеет никаких иллюзий относительно того, что такой строй должен вызывать ненависть народа, и прямо пишет, что земство относится к опричникам «с отчужденной и опасливой недоброжелательностью». Но игнорировать интересы и волю народа, в том числе братьев по крови, — важный принцип его антидемократической фантазии:

Если бы сейчас, в 2053 году, имеющуюся конституцию России вынести на референдум с участием всех граждан, то ее не поддержала бы и четверть; но в том-то и дело, что никто, кроме опричников, не может участвовать в референдумах [Юрьев 2007: 199].

Цель сословной системы проста — «отделять овец от козлищ, воинов по духу от обычных людей, превращая потенциальных врагов режима в его опору» [Юрьев 2007: 31].

Но где же, спросит читатель, тут рабы? О рабстве как об институте Юрьев не высказывается прямо — только из описания российских завоеваний мы узнаем, что часть народов была уничтожена, а другая часть депортирована и

прикреплена к новым землям без права выбирать род занятий, что является привилегией россиян. Крепостными, собственно, являются все — и «земство», и покоренные народы, но только русские имеют хоть какие-то права, «проситекающие из того, что [они] часть российского этноса; к ним относятся, например, право на свободный выбор места жительства или рода деятельности» [Юрьев 2007: 615].

На утопию Юрьева вскоре последовал ответ Владимира Сорокина, опубликовавшего дистопию «День опричника» [Сорокин 2006]. Действие в ней происходит в Москве 2027 года. К этому моменту Россия является сословной монархией, установленной после периода смуты, в описании которого читатель легко узнает попытки принизить эпоху демократических реформ 1990-х годов. Отгороженная от мира Великой Русской Стеной, Россия живет за счет продажи нефти и газа и пошлины с транзита китайских товаров в Европу в обстановке постоянного террора и репрессий, творимых опричниками на манер Ивана Грозного. Здесь следует сделать важную оговорку: с точки зрения писателя, метафора Средневековья вовсе не предполагает грядущую экономическую отсталость России. Напротив, детали средневекового быта и нравов эпохи опричнины органично сочетаются в романе с постсоветскими реалиями и с новейшими технологиями китайского производства. Словно упреждая программу модернизации Медведева, писатель показывает, что идея технологически развитой империи может прекрасно сочетаться со средневековым общественным устройством.

День опричника Комяги, главного героя романа, начинается казнью, вершить ее он спешит на своем «мерседесе», к которому привязаны метла и отрезанная собачья голова — атрибуты власти опричников эпохи Ивана Грозного. Сорокин исключительно реалистически описывает, как Комяга с подручными вешает на воротах неугодного боярина, насилует его жену, отправляет малолетних детей в сиротский приют. Террор опричнины показан в романе как «социальный клей», соединяющий это общество будущего. Отношения между опричниками больше всего напоминают отношения между членами секретной службы или бандитской группировки, на что постоянно дополнительно указывает постсоветский криминальный сленг, перемежаемый древнерусскими фольклорными выражениями. В дистопии Сорокина сословия соответствуют русскому Средневековью: здесь есть челядь, домашние рабы, смерды — холопы, земские — и опричники.

«День опричника» тоже не остался без ответа — в 2008 году Максим Кононенко опубликовал «День отличника» [Кононенко 2008]. В этой антиутопии Новое Средневековье в стране под названием «Д. Россия» наступает в результате Березовой революции под руководством Бориса Березовского (заметим в скобках, что в 2008-м, до загадочной смерти бывшего олигарха в Лондоне, эта идея звучала менее готично, чем сегодня). Победившая демократическая интеллигенция превращает «Хьюман райтс вотч» в символ нового порядка. Россия становится эгалитарным обществом и преодолевает коррупцию, запрещая деньги, производство нефти и использование электричества [Кононенко 2008: 57]. Природные ресурсы России переданы новым правительством в пользование компании «Проктер энд Гэмбл», которую режим объявляет благодетелем российской демократии⁴⁹. Общество живет в состоянии непрерывного террора отличников-правозащитников («тюрьма — это все, что снаружи камер

49 «Проктер энд Гэмбл», ты думаешь о нас!» [Кононенко 2008: 12].

правозащитников» [Кононенко 2008: 285]), холода и дефицита, когда единственным транспортом является лошадь, а отоплением — буржуйка. Демократическая свобода слова сводится к митингам на Красной площади имени Ющенко и коллективному просмотру концертов Шендеровича трехлетней давности в специальных телекомнатах: «После того, как граждане этой страны избавились от телеприемников, они перестали быть быдлом» [Кононенко 2008: 15].

Социальная структура «Д. России» представлена как 140-этажный Фридом Хауз, на этажах которого располагается бюрократия с соответствии с чином и социальным положением. Последние этажи занимает компания «Проктер энд Гэмбл», но русским правозащитникам туда вход воспрещен. Это общество основано на рабовладении: российские граждане равны между собой, но киргизы — «бахтияры», как называет их Кононенко, — выполняют роль домашних рабов и используются на грязных и тяжелых работах наравне с животными [Кононенко 2008: 40—41].

Да, денег в свободной Д. России не ходит — они порождают коррупцию. Но товары! Товары-то у нас все-таки есть! И чем выше твой статус — тем больше тебе достается товаров. Если ты мальчик — тебе полагается столько-то, если же ты Бахтияр — то столько-то [Кононенко 2008: 105].

Прохудились коммуникации? В топку такие коммуникации! Воду принесут трудолюбивые бахтияры. Помои вынесут тоже они. Заодно и с занятостью вопрос решится [Кононенко 2008: 164].

Итак, опричнина Ивана Грозного и эпоха правления его преемников — сына Федора Иоанновича и Бориса Годунова — является самым популярным эпизодом русского Средневековья, с которым постоянно сравнивается российская действительность не только в литературе, но и в кино. Фильм «Царь» Павла Лунгина (2009), обличающий ужасы опричнины и бросающий вызов сусальному образу Ивана, созданному Сергеем Эйзенштейном на потеху Сталину, вызвал бурную дискуссию не только среди киноведев, но и в кругах историков и церковников.

Другой фильм, «Борис Годунов» Владимира Мирзоева (2011), помещает действие одноименной драмы Пушкина в современную обстановку: летописец пишет сказание на MacBook, бояре разъезжают по Москве на «мерседесах», дьяк зачитывает приказы Бориса Годунова по телевизору, стрельцы читают указы со смартфона и т.д. Критики объясняют успех этого фильма, который не выглядит художественным новаторством после «Ромео + Джульетта» (Баз Лурман, 1996), тем, что средневековые аллюзии вызывают у российских зрителей исключительное чувство достоверности, аутентичности происходящего⁵⁰.

Причины, по которым опричнина затмила все другие эпохи и стала главной метафорой постсоветской жизни, лишь отчасти можно объяснить популярностью образа Ивана Грозного при советской власти. Действительно, культ Ивана Грозного насаждался в советскую эпоху [Perrie 2001; Platt 2011], поскольку Сталин видел в нем своего великого предшественника. Среди писателей и режиссеров, изобразивших эпоху Грозного, достаточно назвать Михаила Булгакова и Леонида Гайдая, произведения которых не могли не повли-

50 Бояре в мерседесах: «Борис Годунов» сегодня // Финам FM. 2011. 9 ноября (web.archive.org/web/20120126064012/http://finam.fm/archive-view/5012).

ять на формирование массовых представлений об истории. Опричнина представляется как традиция «русского народовластия», такая особая форма «социального контракта» царя с народом против богатых, как ее описывал, например, литературный идеолог сталинизма, «красный граф» Алексей Толстой [Толстой 1972: 449]. Но, конечно, самой по себе этой советской традиции недостаточно для того, чтобы эпоха опричнины могла стать ведущей метафорой постсоветской действительности.

Успех этой метафоры вызван чертами сходства с российской современностью. Владимир Сорокин так определил социально-политический смысл образа опричнины:

Наш нынешний строй я бы назвал просвещенным феодализмом. Феодальное сознание в России не изжито, власть нынешняя этим активно пользуется. Иван Грозный выстроил пирамиду российской власти, она стоит до сих пор. В советское время на ней написали: «Наша цель — коммунизм!», сейчас ее облицовывают высокотехнологичными материалами. Но сердцевина всё та же: президент ощущает себя государем, губернатор — феодалом, силовик — опричником, гражданин — холопом⁵¹.

Важнейшая особенность российской действительности, делающая опричнину ее метафорой, — это государственный произвол и насилие, возведенные в принципы правления⁵². Именно произвол («беспредел»), т.е. не только бессилие закона, но и отсутствие любых правил или даже неписаных норм, выполнение которых гарантировало бы гражданина от того, чтобы стать жертвой государственного насилия, — вот что делает образ опричнины столь суггестивным и достоверным для описания российской повседневности.

Бесправие населения, право сильного как единственная норма права, упадок культуры и государственности — таковы другие черты, благодаря которым образ опричнины (и Средневековья в целом) становится столь навязчивым способом осмысления российской современности. Виктор Пелевин устами своей героини — лисы-оборотня из романа «Священная книга оборотня» [Пелевин 2005] — иронически подчеркивает различия, в силу которых, например, параллели с императорской Россией не могут быть эффективно использованы современной властью для создания достоверного образа российской современности, а период Средневековья, напротив, может:

Я давно заметила одну китчеватую тенденцию российской власти: она постоянно норовила совпасть с величественной тенью имперской истории и культуры, как бы выписать себе дворянскую грамоту, удостоверяющую происхождение от благородных корней — несмотря на то, что общего с прежней Россией у нее было столько же, сколько у каких-нибудь лангобардов, пасших коз среди руин Форума, с династией Флавиев. <...> Наверное, дело было в неверном выборе эпохи для ре-

51 Владимир Сорокин: «Феодальное сознание в России не изжито, власть нынешняя этим активно пользуется»: [Интервью] // Аргументы и факты. 2010. 11 августа (www.aif.ru/culture/person/19836).

52 Опричнина — это первый в русской истории опыт систематического государственного террора, возведенного в главный принцип внутренней политики. Поклонникам опричнины следует напомнить, что итогом царствования Ивана Грозного стало поражение в Ливонской войне, запустение земель и последовавшая Смута, которая продолжалась вплоть до воцарения династии Романовых в 1613 году.

ференций. Следовало обращаться не к имперским орлам, а к феодальным летописям. Там легче было бы найти маячки: Борис Большое Гнездо, Владимир Красная Корочка... [Пелевин 2005: 87].

Одичание власти, примитивизация постсоветского общества, отношения в котором все больше напоминают племенную организацию раннего Средневековья, — еще один важный аспект популярности исследуемой метафоры. В шумевшем романе-дистопии «Ж/Д» Дмитрия Быкова [Быков 2006] Россия будущего предстает охваченной перманентной войной между двумя пришлыми племенами — хазарами и варягами. Эти племена ведут войну за русские земли, подчиняя себе коренное русское население, которое терпеливо сносит их набеги и не сопротивляется захватчикам; битвы между ними разворачиваются вокруг деревни Дегунино — этого «геополитического сердца Евразии, и тот, кому оно будет принадлежать, получит власть над миром...» [Быков 2006: 37].

В романе Быкова детали современного политического пейзажа и социальные практики постсоветского общества органически сочетаются с нравами раннего Средневековья с его примитивной военно-племенной организацией, что подчеркивает криминальный характер многих постсоветских норм. Пародируя евразийские идеи, Быков издевается над переплетением в них полуграмотных представлений о варягах и о норманнской теории и высмеивает оккультные и фашистские корни пост-евразийства:

Русские, или русы, — великий северный народ, согнанный с места похолоданием <...>. Истинной причиной оледенения было то, что срединные народы, живущие в глубине материка, нуждались в просвещении. Это просвещение и принесли им арии — русоволосые, высокие воины, проводившие дни в овладении боевыми искусствами и магическими ритуалами. Под руководством вождя Яра, о котором сообщала Велесова книга, русы вышли из Гипербореи и устремились на плодородные земли, где жили дикие племена. Племена уже умели обрабатывать эти земли, но не знали зачем, то есть для кого [Быков 2006: 54].

Быков продолжает:

Не вызывает сомнения, что <...> брахманы — жрецы высшей расы, жившей на крайнем севере и исповедовавшей индуизм. Впоследствии они ушли с севера и основали вначале славянскую, а затем древнегреческую и индийскую цивилизации... [Быков 2006: 63–64].

Офицерство — особая каста этого общества, и его оккультные «варяжские» обряды, для которых Быков подбирает фашистскую символику, пародируют оккультные идеи пост-евразийцев:

Иерей разложил святыни — череп, свастику, кристалл, извлек из недр рясы старинный, закапанный воском и кровью молитвенник, укрепил в специальном держателе свечу вниз фитилем, поставил под нее чашу для сбора драгоценного освященного воска, снял крест и застенчиво спрятал в специальный карман <...>; все было готово [Быков 2006: 23].

Граждане холопы

Популярность средневековых аллюзий свидетельствует о серьезных переменах, происходящих в постсоветской России в представлениях о границах личной свободы и в отношении к человеку.

Об укорененности и распространенности средневековых сословных терминов позволяют судить не только политические трактаты, литература и кино. Она наглядно проявляется и в общественных дебатах⁵³. Об этом свидетельствует, например, беседа Путина с «представителями творческой интеллигенции», а конкретно с музыкантом Юрием Шевчуком, который констатировал, что в России уже де-факто существуют бояре и «тягловое сословие»:

...То, что сейчас творится в стране, — это сословная страна, тысячелетняя. Есть князья и бояре с мигалками, есть тягловый народ. Пропасть огромная. <...> Единственный выход — чтобы все были равны перед законом: и бояре, и тягловый народ⁵⁴.

Но самым распространенным из средневековых понятий в современном русском является слово «холоп». Это социальный термин, который восходит к «Русской правде». Согласно этому своду законов XI века, холоп был бесправен, как вещь: его можно было продать, кушить и избить, а его убийство не являлось преступлением. Понятно, что у холопа не могло быть ни чувства собственного достоинства, ни имущества, и неудивительно, что это слово до сих пор считается оскорбительным. И тем не менее именно оно прямо на наших глазах превращается в синоним слов «народ» или «граждане».

«Расступись, холопы, барин едет!», «Кто мы, холопы или налогоплательщики?», «Паны дерутся, у холопов чубы трещат», «генетические холопы» — Интернет полон такими комментариями относительно самых разнообразных событий внутривнутриполитической жизни или бытовых сцен. Теме российского холопства посвящены форумы, блоги, потешные конституции, высмеивающие бесправие граждан⁵⁵.

Политические события описываются журналистами с помощью средневековых понятий и метафор. Например, отставка Юрия Лужкова с поста мэра Москвы комментировалась так:

Сдается, что ушедший в отставку Юрий Михайлович Лужков был великим мастером феодальных интриг, настолько успешным, что, как какой-нибудь герцог Бургундский, не на шутку встревожил верховную власть. Однако снятие крупнейшего феодального барона — в целом шаг положительный...⁵⁶

53 Вот недавний пример: «Книжка Сорокина “День опричника” во многом пророческая. Может, даже используется как методичка» (*Галева В.* Петербургская элита провожает год силовика // Фонтанка. 2016. 22 декабря (www.fontanka.ru/2016/12/22/162)).

54 Шевчук и Путин. Полная стенограмма встречи // Блог «Новой газеты». 2010. 29 мая (novayagazeta.livejournal.com/207484.html).

55 Скобов А. Пороть! // Грани.ру. 2008. 28 марта (graniru.org/Politics/Russia/m.134996.html); Вишневский Б. Мораль сей башни // Грани.ру. 2009. 7 октября (graniru.org/Politics/Russia/m.160280.html); Конобеевская Н. Россияне считают, что высшие чиновники регулярно лгут народу и президенту, — «Левада-центр» // Ведомости. 2015. 19 августа (www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/08/20/605506-rossiyane-schitayut-visshie-chinovniki-regulyarno-lgut-prezidentu).

56 Добродеев Д. Снятие Ю. Лужкова и преодоление феодализма в России // Эхо Москвы. 2010. 30 сентября (www.echo.msk.ru/blog/ddobrodeev/714539-echo).

Ветки интернет-форумов с характерными названиями «Россия феодальное общество. Обсуждаем» или «Демократии в России нет! Россия — страна феодальная!»⁵⁷ свидетельствуют о значимости вопроса о феодальном характере современной России не только для «политического класса», но и для рядовых граждан. Убежденность, что Россия уже живет при феодализме, находит выражение в призывах одних интернет-блогеров «не пытаться напрямую разрушить феодализм в России, ибо это приведет к гражданской войне»⁵⁸, тогда как другие утверждают, что «Россию погубит сложившаяся феодальная система»⁵⁹.

Итак, часть общества стала примерять на себя — пусть пока иронически и с чувством протеста — отребья холопства. Согласно анализу социологов и политологов, о нарастающей тенденции отзываться о существующем режиме как о феодализме, критически противопоставляя его демократии, в 2010—2011 годах свидетельствовали фокус-группы, и эта формула стала главным способом выражения протестных настроений в российском обществе [Белановский, Дмитриев 2011].

Но есть и другая часть населения, которая с удовольствием видит себя «барами», перспективными владельцами «холопьев». Различные «фейки», высказывания о крепостном праве как о «патриотизме, закрепленном на бумаге», чаще всего приписываемые Никите Михалкову⁶⁰, а также гулявшая по Интернету пародийная обложка журнала «Крепостная» тоже отражают эту атмосферу⁶¹.

Слова «барин» и «боярин» — не единственные самоназвания, нравящиеся российскому правящему классу. Чиновники, например, с удовольствием пользуются понятием «люди государевы» [Вишневецкий 2011]. Тем самым они одновременно и «выписывают себе дворянскую грамоту», заискивают перед «государем», и снимают с себя ответственность за непопулярные решения, как это произошло, например, при строительстве башни Газпрома в Петербурге, когда была разрушена древняя крепость Ниеншанц. Чиновники оправдывались, что они «люди государевы» и своего мнения иметь не могут⁶². «Государем» остается, конечно, Путин — неважно, в какой должности — президента, премьер-министра или снова президента⁶³. О популярности идеи сословной монархии и успешности евразийской пропаганды свидетельствует тот факт, что идея реставрации в России сословной монархии и избрания Путина царем

57 Лачинов Е. Феодальная Россия // Мой мир@Mail.ru. 2010. 18 сентября (my.mail.ru/community/economics_sng/454580D9D53B88F8.html); Демократии в России нет! Россия — страна феодальная! // ВСМ. 2011. 2 мая (news.bcm.ru/doc/84291); Россия феодальное общество. Обсуждаем // Придумываем, обсуждаем и заказываем будущее. 2009. 3 мая (designingthefuture.ibord.ru/viewtopic.php?id=1480).

58 Добродеев Д. Снятие Ю. Лужкова и преодоление феодализма в России.

59 Мазур А. Вассалы модернизации // Каспаров.ru. 2009. 23 декабря (www.kasparov.ru/material.php?id=4V320194A565C).

60 Касимов М. Барин о крепостном праве, или Никита-мифотворец // Эхо Москвы. 2013. 14 июля (echo.msk.ru/blog/mkassimov/1114906-echo).

61 twitter.com/apravda/status/519346313444737024.

62 [Вишневецкий 2011]; Мухамедьярова Л., Самарина А., Виноградов Д. Губернаторы — люди государевы // Независимая газета. 2005. 10 августа (www.ng.ru/politics/2005-08-10/1_gubernatory.html).

63 «У многих корпораций пока еще есть шанс войти в президентские проекты и тем самым оказаться в привилегированном положении “государевых людей”» (Шустер Е. Государевы люди // Lobbying.ru. 2010. 15 ноября (lobbying.ru/content/sections/articleid_6365_linkid_.html)).

стала предметом не только живого обсуждения в Интернете, но и сбора многочисленных подписей⁶⁴.

Но дело, конечно, не в словах. Налицо целый ряд вполне впечатляющих социальных и политических симптомов, которые активно обсуждаются экспертами и общественными деятелями. Лидер оппозиции Алексей Навальный считает, что в России происходит формирование феодального режима, когда госкомпании «превращаются в личную собственность чиновников через [назначения на руководящие посты] их детей»⁶⁵.

Но дело не ограничивается просто назначениями. В хронике происшествий все чаще звучит тема сословных конфликтов между ФСБ, армией и полицией из-за нарушения их привилегий и торга за ресурсы, «предоставляемые президентом под жестким силовым контролем» [Кордонский 2009]⁶⁶. Ощущение сословного неравенства особенно часто возникает в связи с произволом дорожной полиции, перед которой рядовой житель России, не обладающий «непроверяхой» (документом, фиксирующим его иммунитет по отношению к органам правопорядка), чувствует себя столь же незащищенным, как земский перед опричниками:

Например, сотрудник ППС после 12-часовой смены возвращается домой. Во время исполнения своих обязанностей он штрафовал, проверял документы, досматривал машины. Но после того, как сдал свою смену, то есть стал простым гражданином, его «полномочия» остались при нем. Если он попадет в аварию по дороге домой, то, позвонив по одному номеру, сможет избежать последствий, потому что он — «в структуре». То же самое произойдет и с чиновниками, и с крупными бизнесменами. Это сословное деление по профессиональной принадлежности, в котором определенные права закреплены за тем или иным сословием⁶⁷.

Как считает Симон Кордонский, формирование сословия, включающего в себя госслужащих, силовиков, правоохранителей, депутатов всех уровней и руководящих работников госкорпораций, — сословия, которое обладает особым юридическим статусом, не прописанным в Конституции, но закрепленным большим количеством подзаконных актов, ведомственных инструкций и правоприменительных практик, уже фактически произошло.

64 *Фокина Л.В.* Петиция за установление монархии в России и коронацию Путина В.В. // Петиция Президенту. 2015. 17 октября (петиция-президенту.рф/установление-монархии).

65 *Мейер Г., Архипов И.* Отцы, дети и российские игрища в борьбе за власть // Inopressa. 2011. 20 мая (www.inopressa.ru/article/20may2011/businessweek/russia.html). См. другие статьи по теме: Зампред ВЭБа Петр Фрадков возглавил агентство по страхованию экспорта // РИА Новости. 2011. 27 сентября (ria.ru/economy/20110927/444871452.html); Newsweek о «новом феодализме» Путина: средневековый уровень взяток и кумовства // NEWSru.com. 2006. 16 октября (www.newsru.com/russia/16oct2006/feudalism.html). См. также: [Кордонский 2010].

66 О полиции / милиции как «социальной группе» см.: *Зея Н.* Милиция не социальная группа // Газета.ру. 2011. 11 октября (www.gazeta.ru/social/2011/10/11/3797846.shtml). Аналогичное обвинение по статье о возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды было предъявлено С. Терентьеву за негативное высказывание в адрес сотрудников правоохранительных органов (Пользователя Livejournal судят за оскорбление милиции в сети // РБК. 2008. 26 февраля (www.rbc.ru/society/26/02/2008/5703cb539a79470eaf7696a4)).

67 *Салин П.* Россия становится сословным обществом // Union Report. 2011. 17 января (web.archive.org/web/20160305145702/http://union-report.ru/expert/21/8).

Липовый Крым

В свете массового энтузиазма по поводу «присоединения» Крыма можно считать, что пост-евразийские имперские идеи находят отклик среди населения. Общество принимает неомедиевалистский дискурс, в котором идея сословного неравенства и холопства выступает в качестве главной темы. В этих терминах осмысливают российскую современность как сторонники, так и противники существующего режима.

Недавно мой коллега — американский историк — с недоверием спросил меня: как же могут быть популярными идеи, в которых народу отводится роль холопов? Но в России молчаливо подразумевается, что русские не сами будут холопами, а у них будут холопы — казахи, таджики и т.д. Развитие российского законодательства подкрепляет такие ожидания граждан, зараженных имперской горячкой. Правозащитники говорят, что в России идет процесс узаконивания рабского труда. Например, закон № 103-ФЗ, вступивший в силу в июне 2013 года, устанавливает, что с 2013-го по 2018 год

для иностранцев, заключивших договор с Оргкомитетом «Россия-2018», «не требуется предоставление копий разрешения на привлечение и использование иностранных работников и разрешения на работу для такого иностранного гражданина или такого лица без гражданства либо заявления, подтверждающего прием документов на оформление разрешения на работу».

В переводе на нормальный язык это означает следующее: квоты для сотен тысяч, а возможно, и миллионов новых рабов не требуются, официального разрешения на работу — тоже⁶⁸.

Принять новый закон потребовалось для того, чтобы обеспечить практически бесплатным трудом — за счет «бахтияров» из Северной Кореи и Китая — строительство объектов для чемпионата мира по футболу на фоне сокращения трудоспособного населения в самой России. В законе предусматривается возможность привлекать «волонтеров» и

использовать их труд в обход ФМС, налоговой и трудовой инспекции на основании лишь трудового договора, который они заключат с работодателем. Статьи про волонтеров здесь явно заготовлены для тех мигрантов, кто слаб в русском языке. Задача работодателя в этом случае сводится лишь к тому, чтобы подписать с таким договор, в котором этот работник будет назван волонтером. А когда он, не глядя его, подпишет и через месяц потребует зарплату, ткнуть носом в эту бумажку — все по закону!⁶⁹

«Статья 11 разрешает устанавливать для этих работников, а также для наемных работников, работающих за зарплату, ненормированный рабочий день»⁷⁰. По словам Влада Руханова, «впервые со времен отмены крепостного права в России узаконивается рабский труд! Это ведь не филькина грамота, это федеральный закон, принятый Госдумой и подписанный президентом РФ!»⁷¹

68 Руханов В. В России узаконен рабский труд // Политический форум Дзержинска. [2013] (1dzer.ru/articles/935-v-rossii-uzakonon-rabskiy-trud).

69 Там же.

70 Там же.

71 Там же.

Этот закон не просто попирает нормы Трудового кодекса: он узаконивает уже сложившуюся практику использования рабского труда. В частности, речь идет о рабочих из Северной Кореи и Китая, которых их государства по дешевке продают российским властям для работы на строительстве и лесоповале в Приморском крае, Новосибирской области, Хабаровском крае, Иркутской и Амурской областях:

В 2011 году Ким Чен Ир посетил Россию, где, по данным южнокорейской разведки, заключил соглашение об увеличении числа своих граждан, отправляемых в Россию на работу. До 70% месячной зарплаты рабочих, составляющей от 40 до 100 долларов в месяц, у них забирают в пользу государства в знак «верности Вождю»⁷².

Вот как рассказывает об условиях жизни и труда этих людей Стивен Сакур для программы «HARDtalk» на Би-би-си:

Они живут в огражденных охраняемых бараках. Правозащитные организации называют это одной из современных форм рабского труда, спонсируемых на уровне государства. Эти бригады были отправлены на работу за границу для зарабатывания денег на режим Ким Чен Ына. К сожалению, попасть на территорию таких бараков практически невозможно⁷³.

Другую многочисленную категорию иммигрантов-невольников составляют таджики, среди которых большинство не знает русского языка⁷⁴.

Теперь настало время вернуться к пророчеству Маркса, о котором мы говорили в начале статьи. Не началась ли уже сейчас «крепка» к земле? Ведь «крепость Россия» может означать еще и это⁷⁵. В этом смысле можно интерпретировать ограничения права на выезд, введенные в 2010 году в отношении сотрудников ФСБ (по оценкам экспертов, примерно 200 тыс. человек). Следом запрет был распространен и на должников перед бюджетом или частными лицами, включая неплательщиков алиментов и налогов (на 2012 год — около 500 тыс. человек). В 2014 году, после «присоединения» Крыма,

практически одновременно запретили выезд за границу (в примерно 150 стран) личному составу МВД (1,325 млн. чел.), Минобороны (2,02 млн.), ФСИН (325,5 тыс.), ФСКН (40 тыс.), работникам прокуратуры (63 тыс.), судебным приставам (23 тыс.), служащим федеральной миграционной службы (34,5 тыс.), МЧС (20 тыс.). В общей сложности, число невыездных российских «силовиков» оценивается в 4 млн. человек. При этом подавляющее большинство из них не имеет никакого отношения к секретам или вопросам национальной безопасности. Решение о запрете на выезд носит чисто политический характер. Интересно, что часть руководителей этих ведомств (С. Шойгу, В. Иванов, А. Бортников и др.) сами попали в санкционные списки и не могут посещать страны Запада⁷⁶.

72 ВВС: в России используют «рабский труд» десятков тысяч граждан КНДР.

73 Цит. в русском переводе по: В РФ используют рабский труд северокорейских рабочих — ВВС // Лига.Новости. 2015. 24 июля (news.liga.net/news/world/6256257-v_rf_ispolzuyut_rabskiy_trud_severokoreyskikh_rabochikh_bbc.htm).

74 Рабский труд таджиков в России // Seafarers Journal (www.seafarersjournal.com/news/view/rabskij-trud-tadzhikov-v-rossii-).

75 Архангельский А. Опричина вместо элиты // Slon.ru. 2014. 11 июня (republic.ru/world/pesi_golovy-1112166.xhtml).

76 Рыжков В. 5 миллионов невыездных // Эхо России. 2014. 27 мая (ehorussia.com/new/node/9209).

В особенности характерно, что «крепа» устанавливается простыми и надежными методами: изъятием загранпаспортов, как это произошло с курсантами Петербургского университета МВД и с сотрудниками Хабаровского управления МВД. Фактически ограничен выезд и части сотрудников госкорпораций:

Культивировать образ страны — осажденной крепости, окруженной врагами, куда проще, когда военные, полиция, спецслужбы лишены возможности видеть окружающий мир своими глазами и озлоблены отлучением от любимых пляжей Турции и Египта⁷⁷.

Не поехали люди «Роснефти» и «Газпрома», «Стройтрансгаза» и «Газстройконсалтинга», «Транснефти» и «Уралвагонзавода», даже руководителям среднего звена «Аэрофлота» и боссам РЖД пришлось остаться под синевой родных небес⁷⁸.

К этому списку скоро добавили сначала судей и прокуроров, а следом и членов Совета Федерации, которых «оставила дома» Матвиенко⁷⁹. «Люди государевы» отреагировали на крепу, как и следовало ожидать, по-холопски: вместо протестов или возмущения они стали покупать липовые документы о пребывании на курортах Крыма⁸⁰.

Конечно, такая «крепа» входит в противоречие с действующей Конституцией, уничтожившей советский «железный занавес». В ст. 27 ч. 2 она гарантирует: «Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию»⁸¹.

Вместо заключения

Некоторое время назад в Интернете горячо обсуждалось высказывание председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, который выразил положительное отношение к крепостному праву⁸². Само по себе оно могло показаться странностью, объяснимой либо его личной идиосинкразией, либо неспособностью ясно выражать свои мысли. Короче, серьезность этого высказывания недооценили потому, что прочли как курьез из известной рубрики «Грани.ру».

77 Там же.

78 Каматов А. «Руссо туристо» уплывает в историю // ИноСМИ.ру. 2014. 29 августа (inosmi.ru/world/20140829/222677376.html).

79 «Совет Федерации рекомендовал сенаторам ограничить свои выезды за рубеж в связи с возможными провокациями, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко» (СФ рекомендует сенаторам ограничить выезды за рубеж // РИА Новости. 2014. 8 июля (ria.ru/politics/20140708/1015147042.html)).

80 О липовых документах о пребывании на курортах Крыма см.: Самый прибыльный бизнес в России — липовые документы о пребывании на курорте в Крыму // Свободный журнал. 2014. 8 июня (freejournal.biz/article4265/index.html).

81 См. также: Верховный суд рекомендовал российским судьям не отдыхать за границей // Каспаров.ru. 2014. 28 мая (www.kasparov.ru/material.php?id=53855FD9816EA); Пономарев А. ОНФ попрекнул госкомпанию отправкой детей на отдых за границу вместо Крыма // Slon. 2014. 2 июня (republic.ru/fast/russia/onf-popreknul-goskompanii-otpravkoy-detey-na-otdykh-za-granitsu-vmesto-kryma-1107421.xhtml).

82 См., например: Медведев С. Почему в России заговорили о крепостном праве // Info-Resist. 2014. 11 октября (inforesist.org/pochemu-v-rossii-zagovorili-o-krepostnom-prave).

Но в контексте материалов, изложенных в этой статье, становится понятно, что эта цитата — не случайный «ляп» высокопоставленного чиновника. Председатель Конституционного суда выразил в статье, опубликованной главной правительственной газетой страны, те мнения и идеи, которые являются расхожими во власти:

При всех издержках крепостничества именно оно было главной скрепой, удерживающей внутреннее единство нации. Не случайно же крестьяне, по свидетельству историков, говорили своим бывшим господам после реформы: «Мы были ваши, а вы — наши».

<...> Таким образом, основная линия социального напряжения — между властью и крестьянскими массами — лишилась важнейшего амортизатора в лице помещиков. И это стало одной из существенных причин роста «бунташных», а затем и организованных революционных процессов в России на исходе XIX и в начале XX вв.⁸³

Идея сословного общества, представление о крепостном праве как о «социальном клее» стало восприниматься как нормальный вектор общественного развития постсоветской России.

Читатель может усомниться в том, насколько уже сейчас велик повод для беспокойства: ведь рабство пока не является структурной основой российского общества, а остается маргинальным явлением, крепостное право пока еще никто не предлагает закрепить законодательно, а идея сословного общества может и не предполагать наличия большого числа рабов. Но ведь совсем еще недавно было трудно представить себе, что эти понятия, несовместимые с современным обществом и демократией, но взаимно дополняющие друг друга, станут расхожими и приемлемыми представлениями российского общественного сознания. Поэтому тенденция, которую я описываю на этих страницах, сама по себе уже является новым фактом российской действительности. Десять лет назад, когда я писала книгу «Готическое общество», я попыталась представить читателю те мрачные тенденции, которые, как мне тогда хотелось верить, никогда не смогут осуществиться в полной мере. То, что происходит сегодня, превосходит самые мрачные ожидания тех лет. Но мне все же очень хочется верить, что мрачное время «нового средневековья» никогда не наступит.

Библиография / References

- [Адельханян и др. 2010] — *Адельханян Р.А. и др.* Уголовное право России. Практический курс: Учебник / Под общ. и науч. ред. А.В. Наумова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2010.
(*Adel'khanyan R.A. et al.* Uголовное право Rossii. Prakticheskiy kurs: Uchebnik / Ed. by A.V. Naumov. 4th ed. Moscow, 2010.)

- [Бауринг 2015] — *Бауринг Б.* Консерватизм, национализм и «суверенная демократия» в России / Пер. с англ. А. Зыковой // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2015. Т. 12. № 1. С. 192—210 (www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/forumruss23/13Bowring.pdf (дата обращения: 19.02.2017)).

83 *Зорькин В.* Суд скорый, правый и равный для всех. Судебная реформа Александра II: Уроки для правового развития России // Российская газета. 2014. 26 сентября (rg.ru/2014/09/26/zorkin.html).

- (Bowring B. Conservatism, Nationalism and “Sovereign Democracy” in Russia // Forum noveyshey vostochnoevropeyskoy istorii i kul'tury. 2015. Vol. 12. № 1. P. 192—210 (www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/forumruss23/13Bowring.pdf (accessed: 19.02.2017)). — In Russ.)
- [Белановский, Дмитриев 2011] — *Белановский С., Дмитриев М.* Политический кризис в России и возможные механизмы его развития. М., 2011.
- (Belanovskiy S., Dmitriev M. Politicheskiy krizis v Rossii i vozmozhnye mekhanizmy ego razvitiya. Moscow, 2011.)
- [Бурдье 1993] — *Бурдье П.* Социология политики / Пер. с франц. Е.Д. Вознесенской и др.; сост. и общ. ред. Н.А. Шматко. М., 1993.
- (Bourdieu P. Sotsiologiya politiki: [Collection of articles] / Ed. by N.A. Shmatko. Moscow, 1993. — In Russ.)
- [Быков 2006] — *Быков Д. Ж/Д: Поэма.* М., 2006.
- (Bykov D. Zh/D: A Poem. Moscow, 2006.)
- [Вишневский 2011] — *Вишневский Б.* Государевы люди // Новая газета СПб. 2011. № 28. 25 апреля.
- (Vishnevskiy B. Gosudarevy lyudi // Novaya gazeta SPb. 2011. № 28. April 25.)
- [Дугин 2014] — *Дугин А.* Международные отношения: Парадигмы, теории, социология. М., 2014.
- (Dugin A. Mezhdunarodnye otnosheniya: Paradigmy, teorii, sotsiologiya. Moscow, 2014.)
- [Кибальник, Соломоненко 2004] — *Кибальник А., Соломоненко И.* Новые преступления против личной свободы // Российская юстиция. 2004. № 6. С. 28—29.
- (Kibal'nik A., Solomonenko I. Novye prestupleniya protiv lichnoy svobody // Rossiyskaya yustitsiya. 2004. № 6. P. 28—29.)
- [Кожевникова 2005] — *Кожевникова Г.* Неоимперия АПН // Путиами несвободы / Сост. А. Верховский. М., 2005. С. 81—96.
- (Kozhevnikova G. Neoimperiya APN // Putyami nesvobody / Ed. by A. Verkhovskiy. Moscow, 2005. P. 81—96.)
- [Кононенко 2008] — *Кононенко М.* День отличника. М., 2008.
- (Kononenko M. Den' otlichnika. Moscow, 2008.)
- [Кордонский 2009] — *Кордонский С.* Административный торг как форма согласования интересов в словесном обществе, коррупция и дефицит // Гуманитарный контекст. 2009. № 1 (lawfirm.ru/article/index.php?id=4039 (дата обращения: 19.02.2017)).
- (Kordonsky S. Administrativnyy torg kak forma soglasovaniya interesov v soslovnom obshchestve, korruptsiya i defitsit // Gumanitarnyy kontekst. 2009. № 1 (lawfirm.ru/article/index.php?id=4039 (accessed: 19.02.2017)).)
- [Кордонский 2010] — *Кордонский С.Г.* Россия: поместная федерация. М., 2010.
- (Kordonsky S.G. Rossiya: pomestnaya federatsiya. Moscow, 2010.)
- [Левченко 2009] — Торговля людьми и легализация преступных доходов: Вопросы противодействия / Под ред. О.П. Левченко. М., 2009.
- (Torgovlya lyud'mi i legalizatsiya prestupnykh dokhodov: Voprosy protivodeystviya / Ed. by O.P. Levchenko. Moscow, 2009.)
- [Пелевин 2005] — *Пелевин В.* Священная книга оборотня. М., 2005.
- (Pelevin V. Svyashchennaya kniga oborotnya. Moscow, 2005.)
- [Проект Россия 2006] — Проект Россия. [Кн. 1.] М., 2006.
- (Proekt Rossiya. [Vol. 1.] Moscow, 2006.)
- [Проект Россия 2010] — Проект Россия. Кн. 2: Выбор пути. М., 2010.
- (Proekt Rossiya. Vol. 2: Vybora puti. Moscow, 2010.)
- [Сорокин 2006] — *Сорокин В.* День опричника. М., 2006.
- (Sorokin V. Den' oprichnika. Moscow, 2006.)
- [Толстой 1972] — *Толстой А.Н.* Собрание сочинений: В 8 т. / Под общ. ред. В.Р. Щербини. Т. 6. М., 1972.
- (Tolstoy A.N. Sobranie sochineniy: In 8 vols. / Ed. by V.R. Shcherbina. Vol. 6. Moscow, 1972.)
- [Тюрюканова 2006] — *Тюрюканова Е.В.* Торговля людьми в Российской Федерации: Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме. М., 2006 (www.un.org/ru/rights/trafficking/human_trafficking_russia.pdf (дата обращения: 19.02.2017)).
- (Tyuryukanova E.V. Torgovlya lyud'mi v Rossiyskoy Federatsii: Obzor i analiz tekushchey situatsii po probleme. Moscow, 2006 (www.un.org/ru/rights/trafficking/human_trafficking_russia.pdf (accessed: 19.02.2017)).)
- [Хапаева 2010] — *Хапаева Д.* Кошмар: литература и жизнь. М., 2010.
- (Khapayeva D. Koshmar: literatura i zhizn'. Moscow, 2010.)
- [Юрьев 2007] — *Юрьев М.* Третья империя: Россия, которая должна быть. М., 2007.
- (Yur'ev M. Tret'ya imperiya: Rossiya, kotoraya dolzhna byt'. Moscow, 2007.)
- [Юрьев 2008] — *Юрьев М.* Крепость Россия // Крепость Россия: Сборник, 2004—2007 / [Под ред. М. Леонтьева и А. Невзорова]. М., 2008 (projectrussia.orthodoxy.ru/PR/fr.php#PART2 (дата обращения: 19.02.2017)).
- (Yur'ev M. Krepost' Rossiya // Krepost' Rossiya: Sbornik, 2004—2007 / [Ed. by M. Leont'ev and A. Nevzorov]. Moscow, 2008 (projectrussia.orthodoxy.ru/PR/fr.php#PART2 (accessed: 19.02.2017)).)

- [Goodrick-Clarke 1985] — *Goodrick-Clarke N.* The Occult Roots of Nazism. Wellingborough, 1985.
- [Khapaeva 2013] — *Khapaeva D.* Nightmare: From Literary Experiments to Cultural Project / Transl. by R. Tweddle. Amsterdam, 2013.
- [Khapaeva 2016] — *Khapaeva D.* Triumphant Memory of the Perpetrators: Putin's Politics of Re-Stalinization // *Communist and Post-Communist Studies*. 2016. Vol. 49. № 1. P. 61—73.
- [Laqueur 1996] — *Laqueur W.* Fascism: Past, Present, Future. New York: Oxford University Press, 1996.
- [Laruelle 2016] — *Laruelle M.* The Three Colors of Novorossiya, or The Russian Nationalist Mythmaking of the Ukrainian Crisis // *Post-Soviet Affairs*. 2016. Vol. 32. № 1. P. 55—74.
- [Parland 2005] — *Parland Th.* The Extreme Nationalist Threat in Russia: The Growing Influence of Western Rightist Ideas. London: Routledge, 2005.
- [Perrie 2001] — *Perrie M.* The Cult of Ivan the Terrible in Stalin's Russia. Basingstoke, 2001.
- [Platt 2011] — *Platt K.M.F.* Terror and Greatness: Ivan and Peter as Russian Myths. Ithaca, N.Y., 2011.
- [Umland 2007] — *Umland A.* Post-Soviet "Uncivil Society" and the Rise of Aleksandr Dugin: A Case Study of the Extraparliamentary Radical Right in Contemporary Russia: PhD dis. Cambridge: Trinity College, Cambridge University, 2007.
- [van Dijk 2006] — *van Dijk T.A.* Ideology and Discourse Analysis // *Journal of Political Ideologies*. 2006. Vol. 11. № 2. P. 115—140.

Алек Д. Эпштейн

Между религиозными сомнениями и неверием:

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ДИСКУРСА И ПОЛИТИЧЕСКОЙ РИТОРИКИ В ЭПОХУ
ЗАКАТА МОНАРХИИ (ОПЫТ ФРАНЦИИ)

Alek D. Epstein

Between Religious Doubts and Unbelief: The Transformation of Intellectual Discourse
and Political Rhetoric before the Downfall of the *Ancien Régime*

Алек Д. Эпштейн (Центр изучения и развития современного искусства (Иерусалим / Москва); председатель; PhD)
alekdep@gmail.com.

Alek D. Epstein (Center for Research in Contemporary Art (Jerusalem / Moscow); chairperson; PhD)
alekdep@gmail.com.

Ключевые слова: атеизм, Просвещение, Вольтер, Дидро, Мелье, Гольбах, дехристианизация Франции, культ Разума, культ Верховного Существа, революция и церковь

Key words: atheism, the Enlightenment, Voltaire, Denis Diderot, Meslier, d'Holbach, Dechristianization, *Culte de la Raison*, *Culte de l'Être suprême*, the revolution and the church

УДК: 94+211.5+23/28

UDC: 94+211.5+23/28

Период, начавшийся с Великой французской революции 1789 года, справедливо характеризуется историками как первый в Новое время, когда доминирующей в одной из европейских стран идеологией стал атеизм. Однако очевидно и то, что трансформации политической риторики неизменно предшествуют изменения интеллектуального дискурса. Первоначально и во Франции, и в других странах слово «атеизм» имело резко негативную окраску. Перелом произошел в эпоху Просвещения, когда атеистические идеи обрели некоторую, пусть и ограниченную, популярность в парижских интеллектуальных салонах. При этом необходимо крайне критически относиться к отечественным и зарубежным публикациям, относящим к числу атеистов едва ли не всех наиболее видных мыслителей-энциклопедистов того времени. Статья написана во многом с целью продемонстрировать, насколько неоднозначными были воззрения большинства из них, насколько на самом деле были они далеки от той политической риторики, которая, победив, объявила их своими предшественниками. За десятилетие после революции Франция, заменив религию вначале «культом Разума», а затем «культом Верховного Существа», вернулась к католицизму. Изменить сознание миллионов людей оказалось несравнимо сложнее, чем это изначально казалось отдельным радикальным мыслителям и политикам.

Historians have described the period that begins with the 1789 French Revolution as the first in modern history in which atheism became the dominant ideology in a European country. However, it is clear that a transformation in political rhetoric is always preceded by changes in intellectual discourse. At first, in France and other countries, the word “atheism” had a strongly negative coloring. The turning point came during the Enlightenment period, when atheistic ideas acquired a certain, albeit limited, popularity in Parisian intellectual salons. Meanwhile, critical distance is required in treating local and foreign publications that relegate virtually all of the major thinkers and “Encyclopaedists” to the ranks of atheists. Epstein’s article seeks to a large extent to demonstrate how ambiguous the views of the majority of these thinkers actually were, how far they were from the political rhetoric that, once victorious, sought to declare them its predecessors. A decade after the revolution, which replaced religion first with the “cult of Reason” and then the “cult of the Supreme Being,” France returned to Catholicism. Changing the consciousness of millions of people proved to be immeasurably more complicated than it initially appeared to individual radical thinkers and politicians.

Период, начавшийся с Великой французской революции 1789 года, справедливо характеризуется историками как первый в Новое время, когда доминирующей в одной из европейских стран системой взглядов стал атеизм, практически в одночасье превратившийся из враждебного государству учения в едва ли не государственную идеологию. Совершенно очевидно, что 1789 год стал водоразделом, после которого атеизм на несколько лет занял центральное место во французской *политической риторике* на религиозные темы. Однако совершенно очевидно и то, что трансформации политической риторики неизменно предшествуют *изменения интеллектуального дискурса*: новые идеи, выдвигаемые и обсуждаемые передовыми мыслителями, формируют обновленный репертуар мыслей и ценностных установок, из которого политики могут выбирать то, что кажется им наиболее подходящим.

Политическими лидерами, продвигавшими в начале 1790-х годов «культ Разума», призванный заменить христианство, были Пьер Гаспар Шометт (1763—1794) и Жак-Рене Эбер (1757—1794), которые не принадлежали к числу видных французских интеллектуалов при жизни — и не были отнесены к ним историками позднее. Однако их деятельность стала возможной вследствие серьезной интеллектуальной работы, проделанной некоторыми из наиболее свободомыслящих философов периода заката монархии. Практически всегда в истории политикам предшествуют мыслители, которые, впрочем, не имеют обычно никакой возможности повлиять на то, что происходит с выдвинутыми ими идеями в общественном пространстве. У мыслителей центральное место традиционно занимают сомнения, но у политиков на первый план выходит не знающая колебаний решимость.

Следует напомнить, в каких политико-правовых условиях находились мыслители, искавшие нетрадиционные для того времени ответы на вопросы бытия. Отмена в 1685 году Нантского эдикта, основанного на принципе достаточно широкой веротерпимости в отношении французских протестантов, означала восстановление монополии католической церкви. Важнейшим вопросом во Франции стал вопрос не о расширении, как в английском Просвещении, а об элементарном достижении веротерпимости [Linton 2000].

Первоначально и во Франции, и в других странах слово «атеизм» имело резко негативную окраску. В официальных документах — законах, приказах, судебных решениях — слово «атеист» всегда использовалось с осуждением, как годы спустя в таком же негативном ключе будут использоваться слова «нигилист» и «релятивист». До середины XVIII столетия люди, даже глубоко сомневавшиеся в существовании Бога, не называли себя атеистами, хотя еще в 1683 году Пьер Бейль (1647—1706) закончил трактат «Разные мысли о комете» — насколько известно, первое философское произведение, в котором провозглашались благородство и добродетельность атеистов [Эпштейн 2015б: 103]. Перелом произошел в эпоху Просвещения, когда атеистические идеи обрели некоторую, пусть и ограниченную, популярность в парижских интеллектуальных салонах. При этом необходимо крайне критически относиться к отечественным и зарубежным публикациям, причисляющим к атеистам едва ли не всех наиболее видных мыслителей-энциклопедистов того времени. Настоящая статья написана во многом именно с целью продемонстрировать, насколько неоднозначными были воззрения большинства из них, насколько на самом деле были они далеки от той политической риторики, которая, победив, объявила их своими предшественниками.

Дени Дидро между верой, агностицизмом и апатеизмом

Доцент Ланкастерского университета Гэвин Хаймен, автор книги, посвященной истории атеизма [Нуман 2010], считает, что первым мыслителем-атеистом, который открыто признавал и называл себя таковым, был Дени Дидро (1713—1784) — главный редактор знаменитой «Энциклопедии наук, искусств и ремесел», издававшейся в 1752—1766 годах и ставшей фундаментальным интеллектуальным проектом, в полной мере воплотившим в себе идеи Просвещения как с точки зрения охвата тем, так и с точки зрения просветительских целей. С 1751-го по 1778 год Д. Дидро написал для энциклопедии тысячу двести статей и отредактировал — вместе с Жаном Лероном Д’Аламбером (1717—1783) — почти все семнадцать томов. В статьях «Энциклопедии» последовательно, хотя и в осторожной форме, проводились мысли о том, что христианство «вовсе не включает в себя <...> принуждение совести, насильственное отправление культа божеству» (статья «Христианство») [История в Энциклопедии 1978: 118], что «просвещение, убеждение, молитва — вот единственные законные средства внушения веры» (статья «Нетерпимость») [Философия в Энциклопедии 1994: 360], что «заблуждающимся можно предоставить свободу в вопросах религии» (статья «Еретик») [Философия в Энциклопедии 1994: 218].

Г. Хаймен признает, что «Д. Дидро не всегда был атеистом, поскольку его мировоззрение постоянно развивалось, и в определенные периоды жизни он был теистом, деистом, а порой — даже пантеистом, однако на всех стадиях своего интеллектуального пути он стремился оставаться верным духу Просвещения» [Нуман 2010: 7]. С последним, разумеется, невозможно не согласиться, ибо Д. Дидро больше, чем кто бы то ни было, символизировал этот дух как таковой, а вот предыдущие положения британского историка заслуживают критического осмысления.

Ведущими фигурами французского атеизма XVIII века, наряду с Д. Дидро, принято считать Жюльена Офре де Ламетри (1709—1751), Клода Адриана Гельвеция (1715—1771), Поля-Анри Гольбаха и некоторых других их современников. Это было созвездие мыслителей, в значительной мере развивавших сходные взгляды на религию. Можно выделить ряд общих черт французской атеистической мысли того периода. Атеизм этих философов вытекал из материалистического учения о природе и человеке, так как атеизм и материализм были двумя неразрывно связанными элементами их единого научного взгляда на мироздание. Вместе с тем не все они и не всегда придерживались мировоззрения, которое можно назвать именно атеистическим, — путь от религиозного скептицизма к собственно атеизму был для них весьма извилистым и не обязательно завершенным.

«Энциклопедия» имела очевидно прохристианский характер, утверждая истинность христианской религии как сам собой разумеющийся факт:

Христианство <...> является единственной религией откровения среди всех религий, так себя называющих, а следовательно, и единственной, которой надо следовать. Свидетельства ее божественности содержатся в книгах Ветхого и Нового Завета. Самая строгая критика признает подлинность этих книг, самый высокомерный разум уважает истину сообщаемых ими событий, и здравая философия,

опираясь на их подлинность и истину, заключает на их основе, что эти книги боговдохновенные [История в Энциклопедии 1978: 111].

О других религиях в «Энциклопедии», в частности в статье «Христианство», говорилось в таком тоне, что было очевидно — истинными они считаться никак не могут:

Другие законодатели, чтобы привить народу уважение к данным им законам, тоже уповали на славу считаться орудием бога. Египетские законодатели Амазис и Мневис выдавали свои законы за законы, данные Меркурием. Бактрийский законодатель Зороастр и гетский Замолксис кичились тем, что их законы получены у Весты. <...> Критские законодатели Радамант и Минос выдумали, что они общались с Юпитером. Афинский законодатель Триптолем притворялся, будто его вдохновила Церера. Законодатель кротонцев Пифагор и локрийцев Залхий приписывали свои законы Минерве; спартанский законодатель Ликург — Аполлону; Нума, римский царь и законодатель, похвалялся, что вдохновлен богиней Эгерией. По сообщениям иезуитов, основатель Китая звался Фанфуром, «сыном солнца», ибо он претендовал на происхождение от него. В истории Перу сказано, что основатели империи инков Манко-Капак и его сестра и жена Койя-Мама выдавали себя один за сына, а другая за дочь солнца, посланных отцом извлечь людей из дикой жизни и установить у них порядок и просвещение. <...> Откровения вождя арабов Магомета слишком известны, чтобы останавливаться на них. <...> Рассказывая народу смехотворные видения, обманщик из Мекки искусил легковерных людей, поразил умы и сумел их очаровать, возбудив восхищение и пленив их доверие. Очарованные победительным обаянием его красноречия, они увидели в том смелом и выпендренном обманщике пророка, который действовал, говорил, наказывал или прощал от имени Бога. Сохрани меня бог от того, чтобы я здесь смешал те откровения, которыми столь справедливо гордится христианство, с теми, которыми хвастливо кичатся другие религии. <...> Порода вдохновленных свыше законодателей продолжалась долго и, наконец, кажется, закончилась Чингис-ханом, основателем империи монголов. У него были откровения, и он был не меньше, как сын солнца [История в Энциклопедии 1978: 112].

Сравним то, что сказано о книгах Ветхого и Нового Завета («самая строгая критика признает их подлинность, самый высокомерный разум уважает истину сообщаемых ими событий»), с тем, какие глаголы используются для описания других религий: «выдавали», «кичились», «выдумали», «притворялся», «приписывали», «похвалялся», «претендовал», «искусил легковерных» и т.д. Никакой нейтральной позиции по отношению к различным верованиям здесь и близко не было, авторы «Энциклопедии» стояли на очевидно христианских позициях, никакого атеизма или агностицизма обнаружить в цитируемых строках невозможно.

Более того, в «Энциклопедии» не только утверждалась истинность христианства, но и подчеркивалась его социально-психологическая необходимость. Автор статьи «Христианство» вел следующий диалог со своими потенциальными критиками:

Вы мне, вероятно, возразите, что лучшим средством против фанатизма и суеверия было бы придерживаться религии, которая предписывает сердцу чистую мораль, не навязывая разуму слепое доверие к догмам, которых он не понимает. <...> Людям необходим культ откровения; это единственная узда, которая может их сдер-

жать. Если бы большинство людей руководствовались только разумом, они прилагали бы безуспешные усилия, чтобы убедиться в догмах, вера в которые совершенно необходима для сохранения государств. Спросите у Сократов, Платонов, Цицеронов, Сенек, что они думали о бессмертии души; вы увидите их нерешительность и неопределенность в этом важном вопросе, от которого зависит вся экономия религии и государства. Они хотели руководствоваться только светильником разума, поэтому они шли темной дорогой между бессмертием и пустотой. Народу не годится путь умствований [История в Энциклопедии 1978: 118—119].

Нередко цитируется фраза Д. Дидро, что нетерпимость — «отвратительная несправедливость в глазах Бога и людей». Однако прав М.С. Стецкевич: «К идее свободы совести как права человека даже наиболее радикальные представители французского Просвещения, как правило, не приближались, ограничиваясь порицанием нетерпимости» [Стецкевич 2006: 108—109].

Живя и работая в христианской среде, мыслители французского Просвещения исходили из того, что не существует религии без Бога и что на вере в Бога, собственно, и базируется всякая религиозная система. Это утверждение неверно для ряда восточных верований, однако французские просветители никак не соотносились с ними, видя свою главную задачу в доказательстве отсутствия существования Бога. Признание существования — наряду с природой — некоего активного начала, которое, однако, не объясняет ни одного явления, виделось философам Просвещения в высшей степени противоречивым мыслительным актом. При этом принципиально важным для просветителей XVIII века был вопрос взаимосвязи (а точнее, ее отсутствия) между религиозными верованиями и моралью. Ж. Ламетри указывал: «Добродетель может иметь у атеиста самые глубокие корни, которые часто у набожного сердца держатся, если можно так выразиться, на одной ниточке» [Ламетри 1750/1983: 435]. Отсюда следовал вывод, что религия не может стать основой подлинной нравственности: «Только разум, просвещенный светочем философии, — отмечал Ж. Ламетри, — дает нам твердую опору <...>, исходный пункт для распознавания справедливого от несправедливого, морально хорошего от дурного» [Ламетри 1750/1983: 445]. В «Беседе с аббатом Бартеlemi», написанной в начале 1770-х годов, но впервые опубликованной лишь в 1920 году, Д. Дидро подчеркивал: «Самая большая услуга, которую можно оказать людям, заключается в том, чтобы научить их пользоваться своим разумом и считать истинным то, что они могут проверить и констатировать. <...> Чем более просвещен и развит народ, тем быстрее слабеет и исчезает в нем вера в сверхъестественное» [Дидро 1771?/1956: 229]¹. Исторический опыт последующих столетий лишь частично подтверждает этот вывод: как тогда, так и в наши дни немало ученых, в том числе выдающихся, оставались и остаются людьми верующими, а несомненный научно-технический прогресс не смог изменить того факта, что большинство населения, в том числе в самых развитых странах

1 Следует отметить, что во французской научной литературе авторство Дидро в отношении к этому сочинению начиная с 1950-х годов ставится под сомнение. Это указано и в монографии Арнольда Миллера, целиком посвященной изучению наследия Дидро в Советском Союзе, где весьма критически разбирается предисловие публикатора перевода этого сочинения на русский язык Х.Н. Момджяна; при этом о самом Хачике Нишановиче Момджяне профессор из Висконсина писал почему-то в женском роде [Miller 1971: 293].

мира, сохраняет веру в Бога. Вместе с тем знание действительно является защитой от религиозного фанатизма; в ретроспективе представляется, что именно религиозному фанатизму французские просветители XVIII века противостояли куда больше, чем религии в целом.

Основная критика любой философской доктрины, в центре которой не находятся религиозные принципы, обычно фокусируется на отсутствии у атеистов и агностиков какого-либо высшего этического кодекса. Такого рода обвинения бросали, конечно, и мыслителям французского Просвещения. Д. Дидро отвечал на это:

Наш жребий и наше назначение здесь, на земле, [состоит в том, чтобы] стараться оставить после себя больше знаний и счастья, чем их было раньше, улучшать и умножать полученное нами наследство — вот над чем мы должны трудиться! И добавлю: надо делать возможно больше добра и избавлять возможно большее число людей, встреченных на нашем жизненном пути, от страданий <...>. Труд и доброта — вот мои единственные догматы веры [Дидро 1771?/1956: 240—241].

Эта цитата свидетельствует о том, на какие вершины гуманизма поднимались французские просветители.

Д. Дидро делал важный шаг вперед, выступая за религиозный плюрализм: «Дайте доступ к высшим постам в государстве всем достойным людям, без различия религиозных воззрений, к каким бы общественным слоям они ни принадлежали» [Дидро 1774/1956: 272]. В настоящее время этот принцип реализован практически в полной мере во всех странах Запада и во всех либерально-демократических странах вообще, но во времена Д. Дидро такой призыв звучал по-настоящему новаторски.

Отдельные ученые представляют Д. Дидро последовательным атеистом. «В “Письме о слепых в назидание зрячим” (1749) он окончательно порвал с идеей бога и прочно стал на позиции материализма и атеизма», — утверждалось в предисловии к сборнику его трудов, озаглавленному редакторами «Избранные атеистические произведения» [Момджян 1956: 14]. Г. Хаймен, описывая его мировоззрение, отмечал:

Дени Дидро во многом содействовал тому, чтобы атеизм стал восприниматься в качестве допустимой жизненной позиции, которую человек мог открыто выражать. Этому способствовал высокий авторитет самого Дидро, к словам которого прислушивались с уважением. Было понятно, что Дидро пришел к атеизму в результате долгого и кропотливого поиска истины. Кроме того, во многом именно этому помогли учения Декарта и Ньютона — хотя заслуживает упоминания факт, что на тот момент именно в этих мыслителях христиане видели защитников своей веры среди ученых и философов. Считалось, что Декарт защищает теизм средствами философии Нового времени, а Ньютон подтверждает истинность веры через современную науку. Дидро же показал, что их идеи можно трактовать и как поддержку атеистических концепций [Нуман 2010: 8].

Как представляется, Д. Дидро действительно показал, что эти идеи можно трактовать и как поддержку атеистических концепций, но он совсем не подводил к выводу, что это обязательно необходимо делать. В этой связи заслуживает внимания книга «Мысли к истолкованию природы», опубликованная им в 1754 году, заключительная часть которой носит весьма неочевидное для атеиста название — «Молитва». Некоторые исследователи, в частности автор

ряда книг и статей о Д. Дидро Т.Б. Длугач, характеризуют это название как «ироническое», указывая:

До конца жизни Дидро не прекращал атак на религию и Церковь; предсмертные его слова были о том, что «неверие — первый шаг в философии». Переход на позиции атеизма совпадал у Дидро с формированием собственных философских взглядов, ибо все эти годы — с 1733 по 1750 год — он внимательно изучает произведения Аристотеля и Платона, Ф. Бэкона и Дж. Локка, Р. Декарта и Б. Спинозы. Начиная с «Письма о слепых» и кончая «Элементами физиологии» (работа над которыми продолжалась с 1773 по 1780 годы), он разрабатывает многие философские проблемы [Длугач 1975: 20].

Уместно спросить: является ли «неверие» синонимом «атеизма»? Едва ли. Текст «Молитвы» имеет смысл привести почти целиком, ибо он позволяет куда как точнее понять мировоззрение Д. Дидро:

Я начал с Природы, которую люди назвали твоим творением, кончу же я мыслью о тебе, чье имя на земле — Бог. О Боже! Я не знаю, существуешь ли ты; но я буду мыслить так, как если бы ты видел мою душу, я буду действовать так, как если бы я находился перед тобой. Если я когда-нибудь согрешил против своего разума или твоего закона, то я буду менее удовлетворен своей прошлой жизнью, но все же я буду спокоен насчет моей будущей судьбы, потому что ты забыл мою вину, как только я ее признал. Я ни о чем тебя не прошу в этом мире, ведь ход вещей необходим сам по себе, если тебя нет; а если ты существуешь, то он необходим по твоим установлениям. В мире ином я жду от тебя воздаяния, если иной мир существует; но вместе с тем все, что я делаю в этом мире, я делаю для себя. Если я следую добру, то это делается без усилий; если я отвращаюсь от зла, то без мысли о тебе. Я не мог бы помешать себе любить истину и добродетель и ненавидеть ложь и порок, если бы даже знал, что тебя не существует, или если бы верил, что ты существуешь и оскорбляешься этим. Вот каков я есть, необходимо организованная часть вечной и необходимой материи, а может быть, твое создание. Но если я благосклонен и добр, что за дело мне подобным до того, происходит ли это по причине счастливой организации, по причине свободного действия моей воли или по причине твоей благодати? [Дидро 1751/1986: 377—378].

Нигде в этих размышлениях, идущих из глубин его сердца, Д. Дидро не постулировал факт отсутствия Бога, как и не постулировал обратного. Здесь выражены сомнения и неуверенность в факте существования Бога, но не отрицание этого, — обращаясь к Богу, Д. Дидро начинает со слов: «Я не знаю, существуешь ли ты». И после еще дважды повторяет свое сомнение: «Если ты существуешь», «Если бы [я] верил, что ты существуешь». Однако он ни разу не говорит, что, по его мнению, Бога не существует, и даже не формулирует этот тезис как более вероятный в сравнении с противоположным, поэтому атеистическим мировоззрение автора этой «Молитвы» признать никак нельзя. Отношение Д. Дидро к вопросу о существовании Бога было позицией равноудаленного от обоих четких вариантов ответа агностика, хотя сам термин «агностицизм» впервые появился в печати лишь в 1869 году, спустя почти столетие после смерти Д. Дидро [Эпштейн 2015а: 63]!

Однако Д. Дидро пошел дальше, добавив в обращении к Богу: «Если я благосклонен и добр, что за дело мне подобным до того, происходит ли это по причине счастливой организации, по причине свободного действия моей воли или

по причине твоей благодати?» Этот подход, свидетельствующий о безразличии к самому факту существования Бога, свидетельствует об апатии по отношению к религиозной вере, т.е. *апатеизме*, но отнюдь не об атеизме. Д. Дидро воспринимал вопрос о существовании Бога как не имеющий значения для его жизни, при этом атеистическую убежденность в отсутствии Бога он не формулировал.

Вольтер в метаниях против религии и атеизма

В целом ряде книг и статей повторяется мысль, что одним из первых выдающихся французских просветителей, выступивших против религии и церкви, был Вольтер (1694—1778). Утверждается также, будто с момента создания в 1722 году философской поэмы «За и против», в которой он дал торжественное обязательство «священный развенчать обман», и вплоть до последних дней жизни «философ не прекращал титанической борьбы с религией, создав десятки антиклерикальных произведений всех жанров» [Настольная книга атеиста 1981: 27] (отсюда это утверждение перекочевало во множество публикаций).

Хорошо известно, что неутомимый и беспощадный враг церкви и клерикалов, которых он преследовал аргументами логики и стрелами сарказма, писатель, чей лозунг гласил: *écrasez l'infâme* — «уничтожьте подлую» или «раздавите гадину», — Вольтер обрушивался и на иудаизм, и на христианство (например, в «Обеде у графа Буленвилье»), изъявляя, впрочем, свое уважение к личности Христа (как в указанном сочинении, так и в трактате «Бог и люди»). В 1722 году Вольтер написал упомянутую выше поэму «За и против», в которой доказывал, что христианская религия, предписывающая любить милосердного Бога, на самом деле рисует его жестоким тираном, «которого мы должны ненавидеть». Тем самым Вольтер провозглашает решительный разрыв с христианскими верованиями: «В этом недостойном образе я не признаю Бога, которого я должен чтить. <...> Я не христианин» [Кузнецов 1978: 28—29].

Однако не менее важна и другая сторона литературного, философского и публицистического творчества Вольтера: борясь против церкви, духовенства и религий «откровения», он был вместе с тем врагом атеизма — атаке на атеизм Вольтер посвятил целое произведение «Проповедь об атеизме». Будучи хоть и вольнодумцем, но деистом, Вольтер всевозможными аргументами старался доказать существование Бога, сотворившего вселенную, в дела которой он, однако, не вмешивается. Он подчеркивал:

Цивилизованные народы — индийцы, китайцы, египтяне, персы, халдеи, финикийцы — все признавали одного Верховного бога. Я не стану утверждать, будто у этих столь древних наций не было атеистов; я знаю, их много в Китае; мы видим их в Турции, они есть в нашем отечестве и у многих народов Европы. Но почему их заблуждение должно поколебать нашу веру? [Вольтер 1765/1988: 387].

Сама эта постановка вопроса наглядно демонстрирует, что критика Вольтером догматов христианства и христианского духовенства отнюдь не превращала его в атеиста.

В «Назидательных проповедях», а также в философских повестях неоднократно встречается и аргумент «полезности», т.е. такое представление о Боге, при котором он выступает в качестве социального и нравственного регулирующего принципа. В этом смысле вера в него оказывается необходимой, по-

скольку только она, по мысли Вольтера, способна удержать человеческий род от саморазрушения и взаимного истребления: «Давайте же, братья мои, по крайней мере, посмотрим, насколько полезна такая вера и сколь мы заинтересованы в том, чтобы она была запечатлена во всех сердцах. Принципы эти необходимы для сохранения людского рода» [Вольтер 1765/1988: 382].

Мыслительный поиск Вольтера, при всех нюансах и противоречиях, неизбежно присутствующих в его чрезвычайно многообразном и объемном творческом наследии, тем не менее был ограничен четко определенными пределами. Будучи деистом, он, однако, активно развивал мысль о необходимости и полезности для общества массовой веры в Бога, карающего и милующего, выполняющего функции «узды для злодеев» и дающего надежду праведникам. Именно к этому Богу — гаранту справедливости — относится знаменитая фраза Вольтера: «Если бы бога не было, его следовало бы придумать» [Кузнецов 1978: 89].

Коснувшись вопроса о веротерпимости уже в одной из ранних работ, «Философских письмах», Вольтер, характеризуя религиозную ситуацию в Англии, отмечал в качестве положительного факта отсутствие единой церкви, которая неизбежно стремилась бы к деспотизму. Множество существующих в Англии «сект», по мнению мыслителя, взаимно уравнивают друг друга и тем самым обеспечивают общественную стабильность. Наиболее же подробно вопросы, связанные со свободой вероисповедания, были рассмотрены Вольтером в «Трактате о веротерпимости в связи со смертью Жана Каласа» [Вольтер 1763/1961]. Этот трактат был создан под влиянием казни купца-гугенота Жана Каласа (1698—1762), ложно обвиненного в убийстве своего сына, готовившегося к переходу в католицизм. Ж. Калас и его супруга были протестантами, в то время как Франция была страной, где католицизм являлся государственной религией. Один из сыновей Каласа, Луи, принял католическую веру в 1756 году. А 13 октября 1761 года другой сын Ж. Каласа, Марк Антуан, был найден мертвым в подвале. Сразу появились слухи, что Ж. Калас убил сына за то, что тот тоже собирался принять католицизм. 9 марта 1762 года он был приговорен к смерти через колесование. 10 марта приговор был исполнен, и Ж. Калас умер от пыток на колесе, до конца твердо заявляя о своей невинности. Вольтер, которому сообщили об этом деле, после того как первоначальные подозрения в антикатолическом фанатизме Каласа исчезли, начал кампанию по отмене приговора. По ходатайству вдовы безвинно осужденного за три дня до первой годовщины казни, 7 марта 1763 года, Большой королевский совет предписал представить ему материалы дела Каласа. Еще через год с лишним, 4 июня 1764 года, приговор был отменен королевским Тайным советом. Дело перешло к парижским судьям, которые 9 марта 1765 года, спустя три года после смертного приговора, вынесенного в Тулузе, единогласно реабилитировали Ж. Каласа. Это был первый случай официального признания государством юридической ошибки, совершенной при проведении политического процесса [Черняк 1991].

В написанном под влиянием этой трагедии «Трактате» Вольтер утверждал, что закон нетерпимости невозможно признать естественным, иначе, следуя ему, все народы истребили бы друг друга. Напротив, «великий принцип», общий для всех повсюду на земле, гласит: «Не делай ближнему того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе». Следуя этому принципу, ни один человек не смог бы сказать другому: «Веруй в то, во что я верую и во что ты веровать не мо-

жешь, или ты погибнешь» [Вольтер 1763/1961: 25]. Далее Вольтер приводил различные факты с целью доказать большую политическую стабильность веротерпимых государств, таких, как Англия и Голландия. Терпимость, по его мнению, прежде всего полезна, так как представляет очевидный интерес для государства.

Однако, решительно осуждая религиозное принуждение, Вольтер полагал разумным существование государственного контроля над религиозными организациями и даже не приблизился к идее отделения церкви от государства. Задаваясь вопросом о том, что необходимо для спокойствия и процветания народа, он предлагал, чтобы государственная власть контролировала религиозные институты; все церковные уставы, по его мнению, должны были издаваться гражданской властью. В итоге у Вольтера мы наблюдаем проявление типичной для французских просветителей апологии терпимости как отсутствия преследований и принуждения, о праве же на законодательно закрепленную свободу совести речи вообще не идет. Впрочем, для Франции XVIII столетия и такая позиция уже была серьезным шагом вперед [Стецкевич 2006: 109].

Противники атеизма: Шарль Луи Монтескьё и Жан-Жак Руссо

Весьма далек от атеизма был и выдающийся французский мыслитель Шарль Луи Монтескьё (1689—1755). В отличие от Вольтера, Монтескьё позитивно оценивал христианство, отмечая проповедуемые этой религией кротость и милосердие. При этом вопрос истинности христианства был для него вторичен в сравнении с его социально-психологической пользой: «Гораздо очевиднее, что религия должна смягчать нравы людей, чем то, что та или иная религия истинна» [Монтескьё 1748/1999: 381]. Иные религии, по его мнению, хотя и не ведут к спасению, но могут быть полезны, если «соответствуют целям общественного блага» и способствуют «земному счастью» человека. Атеизм же Ш.Л. Монтескьё решительно отвергал, отмечая:

Даже если бы религия могла оказаться бесполезной для подданных, она все-таки осталась бы полезной для государей, для которых, как для всех, кто не боится человеческого закона, она составляет единственную узду. Государя, любящего религию и боящегося ее, можно уподобить льву, когда он слушается руки, которая его ласкает, и голоса, который его укрощает; государь, который боится религии и ненавидит ее, подобен дикому зверю, когда он кусает цепь, которая ему мешает бросаться на проходящих; государь, вовсе не имеющий религии, подобен ужасному животному, которое чувствует свою свободу только тогда, когда терзает и пожирает [Монтескьё 1748/1999: 379].

Главную функцию как религии, так и гражданских законов Ш.Л. Монтескьё видел в том, чтобы «делать людей добрыми гражданами». В важнейшем произведении «О духе законов», рассуждая о законодательстве в религиозной сфере, он рассмотрел две возможные ситуации: в первой в государстве существует несколько религий, тогда как во второй — только одна. В первом случае Ш.Л. Монтескьё полагал необходимым принятие законов, обязывающих все конфессии соблюдать взаимную терпимость, во втором же считал разумным,

если государство удовлетворено существующей единственной религией, запретить распространение новых. Никак не раскрывая способы, позволяющие не допустить развитие в государстве новых религий, Ш.Л. Монтескьё тем не менее категорически отвергал прямое насилие и принуждение, подчеркивая, что если другая религия все-таки «водворилась» в государстве, то «надо ее терпеть» [Монтескьё 1748/1999: 402].

Не поднимаясь, как видим, выше проповеди достаточно ограниченной терпимости, Ш.Л. Монтескьё в то же время одним из первых провел подробное разграничение между преступлениями против религии, караемыми уголовными наказаниями, и преступлениями, заслуживающими наказаний исключительно церковных. К числу правонарушений первого рода он отнес только те, которые связаны с нарушениями отправления культа, например публичное святотатство, нарушающее спокойствие или безопасность граждан. В чисто религиозную сферу государство вмешиваться не должно, а церковь, если захочет, может предпринять свои меры: «В преступлениях против божества, там, где нет публичного действия, нет и материала для преступления: все происходит между человеком и богом, который знает время и меру своего отмщения» [Монтескьё 1748/1999: 166—167]. Заслуживают внимания и очень редкие для того времени слова, написанные Ш.Л. Монтескьё против преследования евреев: «В царствование Филиппа V евреи были изгнаны из Франции, так как их обвинили в отравлении колодцев посредством прокаженных. Казалось бы, это нелепое обвинение должно было бы заставить усомниться в правдивости всех обвинений, основанных на общественной ненависти» [Монтескьё 1748/1999: 169]. Все-таки допуская преследование ереси, он призывал к особой осмотрительности, высказывая опасение, что эти меры могут привести к установлению тирании.

Ярым противником атеизма был и Жан-Жак Руссо (1712—1778). Христианство он называл религией «святой, возвышенной и истинной» [Руссо 1762/1969: 252]. Он ратовал за то, чтобы суверен каждой страны установил общеобязательные догматы гражданской религии, которые сам Руссо формулировал так: «Существование Божества могущественного, разумного, благодетельного, предусмотрительного и заботливого; загробная жизнь, счастье праведных, наказание злых, святость общественного договора и законов» [Руссо 1762/1969: 254]. Руссо предлагал «терпеть все религии, которые и сами терпимы к другим, если только их догматы ни в чем не противоречат долгу гражданина» [Руссо 1762/1969: 255]. Стоя в общефилософском плане на позициях деизма, Руссо отказывал атеистам в гражданских правах, как бы видя в них тех, кто не хочет присоединиться к общественному договору и потому не имеет права оставаться в среде этого гражданского общества.

Атеизм скрывающийся: Жоффруа Валле, Жан Мелье и Жак-Андре Нежон

Особняком в истории вольнодумства стоит рукопись XVIII века, имеющая заглавие, дословно совпадающее с названием сочинения Жоффруа Валле (1535—1574) «Блаженство христиан, или Бич веры». Хотя на титульном листе указано имя Ж. Валле, в тексте рукописи дважды упоминается имя Блеза Паскаля (1623—1662), родившегося полвека спустя после гибели Ж. Валле, и цити-

ругуются его «Мысли». Таким образом, речь идет о мистификации. Подобный прием был распространен в XVIII веке, особенно когда дело касалось вольнодумных произведений. Какой-то вольнодумец скрылся под именем давно погибшего Ж. Валле, чтобы избежать преследований [Гулыга, Майкова 1969].

Центральная идея книги анонимного автора, скрывшегося под псевдонимом Валле, — призыв отказаться от веры и заменить ее знанием. Знание вытесняет веру, с которой оно несовместимо: чем больше у человека знаний, тем меньше у него веры. Автор указывал: «Существует одно воззрение, порожденное в нас знанием, и другое, которое в нас вселили, пользуясь нашим невежеством, посредством веры, боязни или внушенного нам страха перед богом <...>. Вера есть недостаточность знания, ибо, где имеется знание, там вера умерла и не может существовать» [Настольная книга атеиста 1981: 18]. И нравственность человека, и его счастье, по словам автора, зависят только от знания и разума.

Автор трактата отверг католицизм, кальвинизм, христианство вообще, так как его сторонники принимают религию «на веру и из страха». Это же обвинение он бросил всем религиям:

Не только католическая, но и чуть ли не каждая религия доказывает мне, со своей стороны, что все другие религии неразумны, а разумна лишь она одна <...>. Иудейская религия, языческая, христианская, магометанская предоставляют мне на выбор свои чудеса, своих мучеников, свои традиции, свою древность, возвышенность, мораль и свой культ: каждая стремится соблазнить меня грядущим блаженством, какое приносит только она; каждая пугает меня своим адом, которого можно избежать не иначе, как бросившись в ее объятия. <...> Сколько глупости, низостей, заблуждений, наконец, безумия проявили сектанты, и даже те, кого поддерживали знаменитые защитники! Растения, животные, люди, пороки, страсти — все было обожествлено [Валле 1746?/1969: 30–31].

Автор считал, что все известные ему религии не только ложны, но и вредны. Человек должен «осознать яд и разврат, мерзости и злодеяния, причиняемые всеми религиями» [Настольная книга атеиста 1981: 18], и отвергнуть их. Будучи антиклерикалом и не симпатизируя христианству, он, однако, не был и атеистом, полагая, что, вооружившись знаниями, можно прийти к пониманию Бога, основанному на разуме.

В раннее Новое время появилось немало произведений, отличавшихся той или иной степенью религиозного свободомыслия, однако особняком стоит «Завещание» Жана Мелье (1664–1729), законченное автором незадолго до собственной кончины, но изданное целиком лишь спустя почти полтора столетия. Внимательное чтение «Завещания» позволяет считать этого мыслителя едва ли не первым, пусть и посмертным, атеистом Нового времени (посмертным — потому что всю свою жизнь он оставался священником). Американский историк Алан Чарльз Корс называет Мелье «атеистом в отсутствие атеизма», и это определение представляется совершенно верным, несмотря на его парадоксальность [Kors 1990: 5–6]. Вольтер сделал конспект первой части «Завещания» и, смягчив атеистический и социальный радикализм, впервые опубликовал в 1762 году. Расширенное издание вышло в 1772 году в Амстердаме стараниями французского философа и энциклопедиста Поля-Анри Гольбаха (1723–1789), а затем в том же году в Лондоне. Этот вариант «Завещания» впоследствии неоднократно переиздавался [Кучеренко 1968]. «Извлечения» Вольтера и Гольбаха неоднократно осуждались на сожжение. Впервые «За-

вещание» было сожжено по постановлению парижских властей 8 февраля 1775 года. В 1838 году издание Гольбаха было сожжено по постановлению судебной палаты во Вьенне. Полностью «Завещание» было впервые опубликовано в Амстердаме в 1864 году, через 135 лет после смерти автора.

Ж. Мелье родился в деревне Мазерни в Шампани, где провел детство и получил первоначальное образование. По окончании семинарии он занял место священника в одном из приходов Шампани, где жил почти безвыездно до конца своих дней. Его эрудиция была незаурядной: большое место в «Завещании» занимают цитаты латинских и греческих авторов, целые главы посвящены полемике с философией Декарта, многократно цитируются труды Мишеля Монтеня.

Ж. Мелье умер в преклонном возрасте после многих лет добросовестного исполнения обязанностей священника. Готовясь к уходу из жизни, он почувствовал себя в силах сделать то, на что не мог решиться раньше, — открыто высказать давно и глубоко продуманные им мысли о человеческих отношениях, религии, государстве и общественном строе. «Мои дорогие друзья, — пишет он во вступлении к “Завещанию”, — я не мог сказать вам при жизни того, что я думаю, и решил поделиться с вами своими мыслями после смерти». Мыслью о близкой смерти начинается «Завещание», этой же мыслью оно и заканчивается [Мелье 1729/1954, 1: 55; 3: 377].

Ж. Мелье обращал внимание на то, что, хотя на первый взгляд религия и политика противоположны по своим принципам, они неплохо уживаются друг с другом, как только заключат между собой союз. Автор сравнивает их с двумя ворами-карманниками, работающими в паре. Религия поддерживает даже самое дурное правительство, а правительство, в свою очередь, поддерживает даже самую глупую религию. Ж. Мелье бросал обвинения удивительно для своего времени:

Всякий культ и поклонение богам есть заблуждение, злоупотребление, иллюзия, обман и шарлатанство, что все законы и декреты, издаваемые именем и властью бога и богов, лишь измышление человека, точно так же как все великолепные празднества и жертвоприношения и прочие действия религиозного и культового характера, совершаемые в честь богов. Все это выдуманно, как я уже говорил, хитрыми и тонкими политиками, потом было использовано и умножено лжепророками, обманщиками и шарлатанами, затем слепо принималось на веру невеждами и наконец было поддержано и закреплено законами государей и сильных мира сего, которые воспользовались этими выдумками для того, чтобы с их помощью легче держать в узде народ и творить свою волю, ибо, в сущности, все эти выдумки не что иное, как узда для коров [Мелье 1729/1954, 1: 82].

Ж. Мелье сформулировал главный тезис атеизма: «Религии — лишь измышления человека» [Мелье 1729/1954, 1: 84]. Понятно, что основным удар он направил на хорошо ему знакомое христианство, безоговорочно доминировавшее в мире, в котором он жил:

Когда я говорю здесь вообще о вздорности и ложности религий мира, я имею в виду не только языческие и чуждые религии, которые и вы сами тоже уже считаете ложными, — я имею в равной мере в виду также вашу христианскую религию, которую вы называете католической, апостольской и римской; в самом деле, она не менее пуста и ложна, чем всякая другая религия <...>. Я говорю вам это для того, чтобы вы более не поддавались на удочку ее прекрасных обещаний: тот рай с его вечным блаженством, который она сулит вам, существует только в во-

ображении; вы не должны также поддаваться пустым страхам, внушаемым вам этой религией относительно ужасных мук несуществующего ада, я говорю вам это для того, чтобы вы успокоились умом и сердцем от этих страхов. Все, что вам толкуют о прелестях рая и ужасах ада, пустые сказки [Мелье 1729/1954, 1: 83].

Он выступал против религии с этических позиций, упрекая христианство в искажении моральных принципов:

Религия, которая терпит, одобряет и даже поощряет злоупотребления, противные справедливости и хорошему управлению, которая поощряет даже тиранию сильных мира во вред народу, не может быть истинной, не может быть действительно богоустановленной, так как все божественные законы и установления должны быть справедливыми <...>. Между тем христианская религия терпит, одобряет и поощряет ряд злоупотреблений, противных справедливости, здравому разуму и доброму управлению; мало того, она терпит и поощряет много несправедливых притеснений и даже тиранию королей и сильных мира, к великому соблазну и ущербу для народных масс, которые несчастны и бедствуют под их жестоким и тягелым игом и господством [Мелье 1729/1954, 2: 153–154].

Ж. Мелье утверждал, что христианская религия освящает неравенство между различными состояниями и положением людей, когда одни рождаются лишь для того, чтобы деспотически властвовать и вечно пользоваться всеми удовольствиями жизни, а другие обречены оставаться нищими, несчастными и презренными рабами; она допускает существование таких категорий людей, которые не приносят действительной пользы миру и только в тягость народу, — так он характеризовал епископов, аббатов, капелланов и монахов, наживавших богатства, вырывая из рук честных тружеников заработанное ими в поте лица; она мирится с несправедливым присвоением в частную собственность благ и богатств земли, которыми все люди должны были бы владеть сообща и пользоваться на одинаковом положении; она освящает и поддерживает тиранию королей и придворных.

Не лучше было отношение Ж. Мелье к историям, изложенным в Ветхом Завете, имевшим сакральный статус также и в иудаизме:

Представьте себе, <...> как несколько иностранцев, например немцев или швейцарцев, придут в нашу Францию и, повидав самые прекрасные провинции королевства, объявят, что бог явился им в их стране, велел им отправиться во Францию и обещал отдать им и их потомкам все прекрасные земли, вотчины и провинции королевства от больших рек Рейна и Роны до океана, обещал им заключить вечный союз с ними и их потомками, умножить их потомство, сделать его таким же многочисленным, как звезды на небе и песчинки в море, и наконец благословить в них все народы земли, а в знак своего союза с ними велел им обрезать себя и всех младенцев мужского пола, рождающихся у них и их потомства, и так далее. Найдется ли человек, который не станет смеяться над этим вздором и не сочтет этих иностранцев помешанными, людьми, страдающими галлюцинациями, безумными фанатиками? Разумеется, не найдется. Каждый лишь посмеется над всеми этими великолепными видениями и божественными откровениями, проведет несколько веселых минут. Нет никакого основания отнестись иначе, благоприятнее к рассказам якобы святых и великих патриархов Авраама, Исаака и Иакова о бывших им видениях и божественных откровениях — безразлично, верят ли они в них; так или иначе они заявляют о них. Эти рассказы их не заслуживают

более серьезного отношения, чем бредни иностранцев, которые я привел вам в пример, и тоже были в действительности лишь заблуждением, самообманом, ложью и обманом [Мелье 1729/1954, 1: 246—247].

Однако — и это важно подчеркнуть — основной посыл Ж. Мелье был не антихристианский и не антииудейский, а атеистический: он выступал не столько против той или иной конкретной религии или направления в ней (католицизма или протестантизма), сколько против религии как таковой. Само представление людей о существовании Бога Ж. Мелье считал заблуждением. Откровенно говоря, за почти триста лет, прошедших с написания «Завещания», атеистическая мысль едва ли сделала принципиальный скачок вперед. Основные положения были сформулированы и обоснованы Ж. Мелье весьма отчетливо. Проблема, однако, состояла в том, что его мысли на протяжении полутора веков оставались неизвестными другим мыслителям. Интеллектуалы французского Просвещения, считавшиеся в этой связи «вольнодумцами», делали куда менее радикальные шаги в направлении разрыва с религией, чем это сделал Ж. Мелье.

Шли годы, а атеистическая мысль продолжала развиваться почти исключительно в подполье. В 1768 году в Лондоне и Амстердаме анонимно вышел трактат «Воин-философ, или Сомнения в религии, изложенные преподобному о. Мальбраншу» (в 1925 году был издан перевод книги на русский язык, но название труда было искажено — «Солдат-безбожник»), автором которого считается уроженец Парижа Жак-Андре Нежон (1738—1810). В этом произведении от имени военного, к концу жизни усомнившегося в религии, Ж.-А. Нежон подверг резкой критике и осмеянию христианскую религию и в особенности католическую церковь. Он писал:

Я нахожу эту религию нелепой, пагубной для людей, поощряющей грабежи, обольщения, честолюбие, корысть своих служителей и разоблачение семейных тайн; я в ней вижу неиссякаемый источник убийств, преступлений, жестокостей, совершаемых от ее имени; она мне представляется факелом раздора, ненависти, мести и личиной, которой прикрывается ханжа с целью получше обмануть тех, чье легкоеверие ему на руку; наконец, я вижу в ней щит тирании против угнетаемых ею народов... [Нежон 1768/1925].

Ученик и близкий друг Д. Дидро, автор книги о нем, редактор и издатель первого полного собрания его сочинений в двадцати томах, Ж.-А. Нежон, однако, не подписал свою собственную главную книгу.

Атеизм, смеющийся назвать себя: Поль-Анри Гольбах

Наиболее последовательным атеистом Франции эпохи Просвещения был родившийся в Германии Поль-Анри Тири, барон Гольбах (1723—1789). В 1770 году он написал книгу «Система природы, или О законах мира физического и мира духовного». По словам британской исследовательницы религии Карен Армстронг, эта книга стала «впоследствии библией атеистического материализма» [Армстронг 1993/2004: 397]. Нет ничего сверхъестественного, — утверждал П.-А. Гольбах, — есть только природа, которая «является лишь длинной цепью причин и следствий» [Гольбах 1770/1963: 61].

В своем труде П.-А. Гольбах с сугубо атеистических позиций рассматривал генезис понятия божественного, подчеркивая, насколько противостественной и нелогичной является система аргументов, сформулированная для обоснования существования Бога:

Первоначально люди заимствовали у самих себя основные черты своего Бога, хотя они сделали из него могущественного, ревнивого, мстительного монарха <...>. [Бог] был подобен самым испорченным земным государям, но теология в итоге своих блужданий окончательно отошла от человеческой природы; чтобы еще больше отличить божество от его творений, она приписала ему столь чудесные, странные и непостижимые для нашей мысли качества, что под конец запуталась в них сама. <...> Теология <...> понимает, что этот чудесный Бог способен занимать лишь воображение нескольких мыслителей, мозг которых привык оперировать химерами или принимать слова за реальность <...>. Необходимость приблизить Бога к его творениям заставила закрыть глаза на эти зияющие противоречия, и теология стала упорно тщиться приписать ему качества, которые человеческая мысль напрасно старается постигнуть или примирить друг с другом. Если верить учению теологии, приходится допустить, что чистый дух является двигателем материального мира; что необъятное существо может заполнить пространство, не исключая из него, однако, природы; что неизменное существо является причиной происходящих в мире непрерывных изменений; что всемогущее существо не может воспрепятствовать существованию неугодного ему зла; что источник порядка вынужден допустить наличие беспорядка. Одним словом, чудесные качества теологического Бога на каждом шагу опровергаются данными опыта [Гольбах 1770/1963: 398—402].

Обратим внимание на то, какие беспрецедентно резкие выражения использовал П.-А. Гольбах. В другом фолианте, хлестко озаглавленном «Священная зараза, или Естественная история суеверия», он акцентировал внимание на том, что, будучи продуктами людской фантазии, боги существуют только в сознании отдельных людей — используя одни и те же слова, каждый верит в иного Бога, чем остальные:

Боги, образ которых видоизменялся в зависимости от воображения, должны были следовать фантазии людей, провозгласивших их. Культы богов тоже не могли не следовать этой фантазии. Каждый человек вынужден создавать себе бога на свой лад, в соответствии со своим характером и обстоятельствами своей жизни; нет двух людей с совершенно сходными представлениями о своем боге. Неудивительно поэтому, что люди делают из этих представлений бесконечно разнообразными выводы. Можно утверждать, что на свете нет двух человек, у которых в точности одна и та же религия [Гольбах 1768/1936: гл. 2].

Пожалуй, этими словами П.-А. Гольбах предвосхитил основное положение агностицизма, что никто не может говорить о существовании Бога или даже о самой возможности его существования, поскольку совершенно непонятно, что имеется в виду под словами «Бог» и «существование Бога», ибо каждый вкладывает в эти термины сугубо свой, методологически не верифицируемый, субъективный смысл [Эпштейн 2015а: 67].

П.-А. Гольбах выступал против религии с морально-этических позиций, подчеркивая, что огромное количество несчастий, бед и проявлений несправедливости опровергают факт существования доброго и благостного Бога:

Нас уверяют, что Бог добр <...>. Обладает ли владыка природы такого рода добротой? Разве он не творец всех вещей? А в таком случае разве можем мы не считать его виновником страданий от подагры, жара, вызываемого лихорадкой, различных болезней, голода, войн, столь губительных для человеческого рода? Когда я страдаю от мучительнейших болей, когда я влачу свое существование в лишениях и болезнях, когда я изнываю под чьим-то гнетом, — где благодать бога по отношению ко мне? Когда благодаря нерадивости или испорченности правительства мое отечество нищает, пустеет, лишается своего населения и подвергается опустошению, то где благодать бога по отношению к нему? Когда грозные катастрофы, потопа, землетрясения обрушиваются на значительную часть земного шара, то где благодать этого бога и прекрасный порядок вселенной, созданный его мудростью? В чем обнаруживается заботливость провидения, раз все показывает, по-видимому, что оно издевается над человечеством? <...> Где эти лживые конечные цели, эти пресловутые неоспоримые доказательства существования мудрого и всемогущего Бога, который может сохранить свое творение, лишь разрушая его, и не в состоянии придать ему сразу все возможное совершенство и устойчивость? [Гольбах 1770/1963: 403].

Вопреки тому, что было принято считать на протяжении многих столетий, П.-А. Гольбах утверждал, что «хваленая польза религии для морали — не более чем миф». Кроме того, по его мнению, религия не только не способствует совершенствованию морально-нравственного облика общества, но и имеет прямо противоположное, резко негативное влияние:

Принципы правильно рассуждающих атеистов, ознакомившихся с законами природы, всегда более надежны и гуманны, чем принципы верующих: последние под влиянием своей религии — то мрачной, то мечтательно-восторженной — либо становятся жестокими мучителями, либо начинают предаваться всяким бредням. <...> Мы ежедневно наблюдаем, как религия до того затуманивает головы в других отношениях гуманных, справедливых и рассудительных людей, что они начинают считать своим долгом самым жестоким образом обращаться с инакомыслящими. Еретики, неверующие перестают быть людьми в глазах религиозных изуверов. Во всех государствах, зараженных ядом религии, мы наблюдаем бесчисленные примеры юридически обоснованных убийств, совершаемых жестокими и бессовестными судами; судьи, справедливые в других вопросах, перестают быть такими, лишь только дело доходит до теологических призраков; они воображают, что, обагрив свои руки кровью, совершают угодное богу дело. Почти повсюду законы, подчиненные религиозному суеверию, являются соучастниками его неистовств: они оправдывают или даже вменяют в обязанность акты жестокости, находящиеся в вопиющем противоречии с правами человечества [Гольбах 1770/1963: 648—649].

Мораль не имеет ничего общего с фантастическими теориями о какой-то отличной от природы силе; в самой природе одаренного разумом и способностью чувствовать существа имеется достаточно побудительных мотивов для того, чтобы сдерживать страсти, бороться с порочными наклонностями, избегать преступных привычек, быть полезным и дорогим тем существам, в которых оно постоянно нуждается. Эти мотивы, несомненно, истиннее, реальнее, могущественнее, чем те, корень которых ищут почему-то в воображаемом существе, представляющемся совершенно различно всем тем, кто размышляет о нем [Гольбах 1770/1963: 540].

Антитеизм П.-А. Гольбаха шел рука об руку с его антиклерикализмом — он настаивал на том, что священнослужители цинично пользуются религией для

обеспечения своего политического влияния и безбедного существования. Одновременно с этим он убеждал читателей в том, что скоро наука полностью заменит религию: «Если незнание природы породило богов, то познание ее должно их уничтожить» [Гольбах 1770/1963: 375].

Фактически именно начиная с трудов П.-А. Гольбаха можно говорить не об агностицизме или апатеизме, а об атеизме как таковом, причем не опосредованно представленном в виде хлестких метафор и намеков между строк, а обоснованном и развернутом целостном мировоззрении. При этом воззрения Ж.-А. Нежона и П.-А. Гольбаха (первый был ближайшим другом и душеприказчиком второго) отнюдь не были общепринятыми среди интеллектуалов французского Просвещения: и Вольтер, и ряд других мыслителей подвергали их атеизм и материализм острой критике [Kors 1992].

Революция: от католицизма к культу разума и обратно

П.-А. Гольбах скончался 21 января 1789 года, т.е. менее чем за шесть месяцев до Великой французской революции, начавшейся 14 июля. Политическая риторика, сложившаяся в ходе этой революции, от предшествующего ей интеллектуального дискурса была весьма и весьма далека. Самыми яркими проявлениями атеистического подъема после революции 1789 года стали создание храма Разума и основание культа Разума, который получил достаточно широкое распространение в 1793—1794 годах. Хотя среди ученых ведутся споры, насколько простые люди в массе продолжали исполнять христианские обряды в обстановке революционного атеизма [Tallett 1991], в том, что государственная идеология была тогда явно антихристианской и атеистической, сомнений нет. При этом очевидно, что ни о каком «культе Разума» никто из мыслителей французского Просвещения или их предшественников никогда не писал, — это яркий пример того, насколько политическая риторика и политические практики могут уйти далеко от интеллектуального дискурса, сформировавшего идейную базу произошедшей революции. После издания коммуной Парижа 24 ноября 1793 года декрета о запрете католического богослужения и закрытии всех церквей моленные дома в Париже стали превращать в храмы Разума. В процессе дехристианизации 5 октября 1793 года григорианский календарь был заменен на французский республиканский календарь. Конвент постановил, что все граждане имеют право исповедовать и отправлять тот культ, который кажется им подходящим, а также упразднить те церемонии, которые им не нравятся. Высшей инстанцией по вопросу об упразднении приходов Конвент признал директории департаментов.

Первые насаждения культа Разума осуществлялись за пределами Парижа. В сентябре—октябре 1793 года Жозеф Фуше (1759—1820) организовывал празднества в департаментах Ньевр и Кот-д'Ор. В городе Невер, центре департамента Ньевр, Ж. Фуше запретил всякие религиозные манифестации вне церквей, не исключая и похорон, которым придавал, таким образом, чисто гражданский характер; с кладбища он удалил кресты и предписал поставить статую сна с подписью: «Смерть есть вечный сон». В Рошфоре Жозеф-Франсуа Ленъело (1752—1829) преобразовал приходскую церковь в «Храм Истины», где 31 октября 1793 года шесть католических священников и один протестантский

в торжественной обстановке отреклись от своей религии. Церемонии культа Разума сопровождалось проведением карнавалов, парадов, принуждением священников отречься от сана, разграблением церквей, уничтожением или поруганием христианских священных предметов: икон, статуй, крестов и т.д. Кроме этого, проводились церемонии почитания «мучеников Революции». Подобные события происходили и в других регионах Франции.

17 брюмера (7 ноября 1793 года) коммуна и департамент Парижа постановили, чтобы ближайший десятый день, приходившийся на 20 брюмера (10 ноября 1793 года), был отпразднован как «Фестиваль Свободы» (*Fête de la Liberté*) в соборе Богоматери, где должна быть воздвигнута статуя Свободы «на месте и взамен бывшей Святой Девы». Мэр Парижа Жан-Николя Паш (1746—1823) окрестил эту церемонию «праздником Свободы и Разума».

Сама церемония, придуманная и организованная П.Г. Шометтом, была чрезвычайно торжественной. В соборе Парижской Богоматери, где все христианские культовые эмблемы и изображения были задрапированы, воздвигли искусственную гору, увенчанную Храмом философии. На самом алтаре горел «факел истины». По горе двигались вереницы молодых девушек, одетых в белое, с трехцветными поясами, с цветочными коронами на голове, с факелами в руках. Затем из храма вышла известная актриса Парижской оперы Тереза-Анжелика Обри (1772—1829), одетая в синий плащ, с красным колпаком на голове. Это было олицетворение Свободы, принимающей поклонение республиканцев, которые, протягивая к ней руки, пели гимн Мари-Жозефа Шенье (1764—1811): «О, ты, святая Свобода, приди обитать в этом храме, будь богиней Франции!»²

Это событие стало основой для новеллы «Богиня разума», написанной Иваном Буниным, который провел тридцать последних лет жизни во Франции:

Я записал в этот день: «Париж, 6 февраля 1924 г. Был на могиле Богини Разума <...> на Монмартрском кладбище». Богиня Разума родилась в Париже, полтора века тому назад, звали ее Тереза Анжелика Обри. Родители ее были люди совсем простые, жили очень скромно, даже бедно. Но судьба одарила ее необыкновенной красотой в соединении с редкой грацией, в отрочестве у нее обнаружился точный музыкальный слух и верный, чистый голосок, а в двух шагах от улочки Сэн-Мартэн, где она родилась и росла, находилось нечто сказочно-чудесное, здание Оперы. Естественно, что «античную головку» живой и талантливой девочки рано стали туманить обольстительные мечты, надежды на славную будущность. И случилось так, что мечты и надежды не только не обманули, но даже в некоторых отношениях превзошли ожидания. Тереза Анжелика Обри не только стала артисткой Оперы, не только пела и танцевала на ее сцене рядом с знаменитостями и вызывала восторженные рукоплескания, являясь перед толпой олимпийскими богинями, — то Дианой, то Венерой, то Афиной-Палладой, — но и попала в историю: 10 ноября 1793 года она играла на сцене, которую никогда не могла и вообразить себе, — в Соборе Парижской Богоматери, выступала в роли неслыханной и невиданной, в роли Богини Разума, и затем — *apres avoir detrone la ci-devant Sainte Vierge* [после того, как была свергнута бывшая Святая Дева] — торжественно была отнесена в Тюильерийский дворец, в Конвент: как живое воплощение нового Божества, обретенного человечеством [Бунин 1924/1973: 78—87].

2 «Toi, sainte liberté, viens habiter ce temple / Sois la déesse des Français» (стихотворение М.-Ж. Шенье «A la liberté» («К свободе»), 1785 год).

После всего этого должностные лица департамента и Коммуны отправились к решетке Конвента, где П.Г. Шометт от их имени заявил, что народ не хочет больше священников, не хочет больше иных богов, кроме тех, которых дает природа: «Мы, его должностные лица, мы услышали это его желание, мы приносим его из храма Разума» [Олар 1925]. Он потребовал, чтобы отныне это название, «Храм Разума», осталось за собором Парижской Богоматери. Соответствующий декрет был принят сразу же.

24 ноября 1793 года Парижская коммуна, по совету П.Г. Шометта, выпустила постановление, чтобы «все церкви или храмы каких бы то ни было религий и культов, которые только существуют в Париже, были немедленно закрыты» и чтобы всякий, кто потребовал бы их открытия, задерживался как подозрительный.

Хотя по всей Франции в то время было закрыто множество церквей, превращенных затем в «храмы Разума», отнюдь не везде люди отказывались от религии, а священники — от сана. Во многих деревнях крестьяне выступали с требованиями открытия церквей и восстановления католической религии. Максимилиан Робеспьер (1758—1794), будучи фактически главой правительства, с 21 ноября 1793 года начал протестовать против действий «дехристианизаторов». Он заявлял, что Конвент, принимая проявления гражданственных чувств, отнюдь не думал упразднить католичество. Он также решительно высказывался против атеизма как мировоззрения, выступая за то, что «идея Верховного Существа, блюдущего угнетенную невинность и карающего торжествующее преступление, является истинно народной идеей». 6—7 декабря 1793 года Конвент осудил меры насилия как противоречившие свободе вероисповедания.

Уже весной 1794 года «культ Разума» был запрещен, и Конвент своим декретом установил в качестве государственной «гражданской религии» Франции «культ Верховного Существа» — еще одно новшество, ни Ж. Мелье, ни П.-А. Гольбахом, ни Ж.-А. Нежоном никогда не упоминавшееся. Этот культ утверждался властями в борьбе, во-первых, с христианством, прежде всего с католицизмом как традиционной религией большинства французов (представляя собой часть процесса дехристианизации), а во-вторых, с рационалистическим «культом Разума».

Хотя употребление термина «Бог» избегали, заменяя его словосочетанием «Верхнее Существо», различия между этими понятиями так и не были прояснены до конца. Этот термин использовался философами и публицистами и до Французской революции с разным религиозным и философским содержанием, в том числе и в рамках традиционного католицизма. Он был включен и в Декларацию прав человека и гражданина 1789 года — права были установлены Национальным собранием «перед лицом и под покровительством Верховного Существа». Введенный в 1793 году якобинцами новый текст Декларации отсылает уже не к «покровительству», но по-прежнему к «присутствию» Верховного Существа.

На неприятие атеизма и культа Разума и поддержку культа Верховного Существа ориентировалась наиболее влиятельная часть якобинцев во главе с М. Робеспьером. В последние месяцы правления М. Робеспьера культ Верховного Существа внедрялся наиболее последовательно. В его рамках признавалось наличие такого всемогущего существа — разумного, благодетельного, предвидящего и пекущегося о людях; признавались и бессмертие души, и стра-

дания в будущей жизни для живших несправедливо, и блаженство для праведников. Провозглашалось, что путь к блаженству лежит через соблюдение республиканских добродетелей: ненависть к тирании, наказание тиранов и изменников, помощь слабым, защита угнетенных.

7 мая 1794 года Национальный конвент принял декларацию, согласно которой «французский народ <...> признает существование Верховного Существа и бессмертие души» [П.К. 1899: 862]. Далее в декларации говорилось о «признании народом» того, что «достойное поклонение Верховному Существу есть исполнение человеческих обязанностей. Во главе этих обязанностей он (народ. — А.Э.) ставит ненависть к неверию и тирании, наказание изменников и тиранов, помощь несчастным, уважение к слабым, защиту угнетенных, оказание ближнему всевозможного добра и избежание всякого зла» [П.К. 1899: 862]. 8 июня 1794 года в Париже был организован публичный торжественный праздник Верховного Существа, где с речью выступил М. Робеспьер. Тем самым фактически вводилась государственная религия в нарушение идеалов революции и не допускалась свобода совести, что стало еще одним шагом назад от идей, за которые ратовали мыслители Просвещения.

Однако после переворота, произошедшего 27 июля 1794 года (9 термидора II года по республиканскому календарю), приведшего к аресту и казни М. Робеспьера вместе с его сторонниками и положившего начало сворачиванию режима революционного правительства, культ Верховного Существа быстро сошел на нет. К концу XVIII века Франция, совершив двойной кульбит с «культом Разума» и «культом Верховного Существа», возвращалась к католицизму. И Пьер Гаспар Шометт, и Жак-Рене Эбер, и споривший с ними Максимилиан Робеспьер были казнены. Изменить сознание миллионов людей оказалось несравнимо сложнее, чем это изначально казалось отдельным радикальным мыслителям и политикам.

Библиография / References

- [Армстронг 1993/2004] — *Армстронг К.* История Бога: Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе [1993] / Пер. с англ. К. Семенова. М.: София, 2004.
- (*Armstrong K.* A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam. Moscow, 2004. — In Russ.)
- [Бунин 1924/1973] — *Бунин И.А.* Богиня разума [1924] // Литературное наследство. Т. 84: Иван Бунин. Кн. 1 / Под ред. А.Н. Дубовикова, С.А. Макашина и Т.Г. Динесман. М.: Наука, 1973. С. 78—87.
- (*Bunin I.A.* Boginya razuma [1924] // Literaturnoe nasledstvo. Vol. 84: Ivan Bunin. Part 1 / Ed. by A.N. Dubovikov, S.A. Makashin and T.G. Dinesman. Moscow, 1973. P. 78—87.)
- [Валле 1746?/1969] — *Валле Ж.* Бич веры [не позже 1746] // Анонимные атеистические трактаты / Пер. с франц. И.И. Кравченко; под ред. А.В. Гулыги. М.: Мысль, 1969. С. 25—131.
- (*Vallée G.* La béatitude des Chrétiens ou le Fléau de la foy // Anonimnye ateisticheskie traktaty / Ed. by A.V. Gulyga. Moscow, 1969. P. 25—131. — In Russ.)
- [Вольтер 1763/1961] — *Вольтер.* Трактат о веротерпимости в связи со смертью Жана Каласа [1763] / Пер. с франц. Е.Ф. Зворыкиной // Вольтер. Бог и люди: Статьи, памфлеты, письма: В 2 т. Т. 2 / Под ред. Ю.Я. Когана. М.: Издательство АН СССР, 1961. С. 5—51.
- (*Voltaire.* Traité sur la Tolérance à l'occasion de la mort de Jean Calas // Voltaire. Bog i lyudi: Stat'i, pamphlety, pis'ma: In 2 vols. Vol. 2 / Ed. by Yu.Ya. Kogan. Moscow, 1961. P. 5—51. — In Russ.)

- [Вольтер 1765/1988] — *Вольтер*. Назидательные проповеди, прочитанные в частном собрании в Лондоне в 1765 году. Проповедь первая: об атеизме / Пер. с франц. С.Я. Шейнман-Топштейн // Вольтер. Философские сочинения / Отв. ред. В.Н. Кузнецов. М.: Наука, 1988. С. 374—390.
- (*Voltaire*. Homelies prononcées à Londres en 1765, dans une assemblée particulière. Première homelie: Sur l'athéisme // *Voltaire*. Filosofskie sochineniya / Ed. by V.N. Kuznetsov. Moscow, 1988. P. 374—390. — In Russ.)
- [Гольбах 1768/1936] — *Гольбах П.-А.* Священная зараза. Разоблаченное христианство [1768] / Пер. с франц. под ред. И.К. Луппола. М.: Государственное антирелигиозное издательство, 1936 (www.gumer.info/bogoslov_Buks/Ateizm/Golbah/index.php (дата обращения: 13.02.2017)).
- (*D'Holbach P.-H.* La Contagion sacrée. Le Christianisme dévoilé. Moscow, 1936 (www.gumer.info/bogoslov_Buks/Ateizm/Golbah/index.php (accessed: 13.02.2017)). — In Russ.)
- [Гольбах 1770/1963] — *Гольбах П.-А.* Система природы, или О законах мира физического и мира духовного [1770] / Пер. с франц. П.С. Юшкевича // Гольбах П.-А. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1 / Под ред. Х.Н. Момджяна. М.: Соцэкгиз, 1963. С. 51—684.
- (*D'Holbach P.-H.* Système de la nature ou Des loix du monde physique et du monde moral // *D'Holbach P.-H.* Izbrannyye proizvedeniya: In 2 vols. Vol. 1 / Ed. by Kh.N. Momdzhyan. Moscow, 1963. P. 51—684. — In Russ.)
- [Гульга, Майкова 1969] — *Гульга А.В., Майкова К.А.* Предисловие // Анонимные атеистические трактаты / Под ред. А.В. Гульги. М.: Мысль, 1969. С. 5—23.
- (*Gulyga A.V., Maykova K.A.* Predislovie // Anonimnyye ateisticheskie traktaty / Ed. by A.V. Gulyga. Moscow, 1969. P. 5—23.)
- [Дидро 1751/1986] — *Дидро Д.* Мысли к истолкованию природы [1751] / Пер. с франц. П.С. Попова // Дидро Д. Сочинения: В 2 т. Т. 1 / Под ред. В.Н. Кузнецова. М.: Мысль, 1986. С. 333—378.
- (*Diderot D.* Pensées sur l'interprétation de la nature // *Diderot D.* Sochineniya: In 2 vols. Vol. 1 / Ed. by V.N. Kuznetsov. Moscow, 1986. P. 333—378. — In Russ.)
- [Дидро 1771?/1956] — *Дидро Д.* Беседа с аббатом Бартеlemi о молитве, Боге, душе, будущей жизни и пр. [не ранее 1771] / Пер. с франц. Х.Н. Момджяна // Дидро Д. Избранные атеистические произведения / Под ред. Х.Н. Момджяна. М.: Издательство АН СССР, 1956. С. 222—241.
- (*Diderot D. et l'abbé Barthélemy.* Dialogue philosophique inédit (La Prière, Dieu, l'Âme, la Vie future, etc.) // *Diderot D.* Izbrannyye ateisticheskie proizvedeniya / Ed. by Kh.N. Momdzhyan. Moscow, 1956. P. 222—241. — In Russ.)
- [Дидро 1774/1956] — *Дидро Д.* Разговор философа с женой маршала де *** [1774] / Пер. с франц. П.С. Юшкевича // Дидро Д. Избранные атеистические произведения / Под ред. Х.Н. Момджяна. М.: Издательство АН СССР, 1956. С. 265—279.
- (*Diderot D.* Entretien d'un philosophe avec la maréchale de *** // *Diderot D.* Izbrannyye ateisticheskie proizvedeniya / Ed. by Kh.N. Momdzhyan. Moscow, 1956. P. 265—279. — In Russ.)
- [Длугач 1975] — *Длугач Т.Б.* Дени Дидро. М.: Мысль, 1975.
- (*Dlugach T.B.* Deni Didro. Moscow, 1975.)
- [История в Энциклопедии 1978] — История в Энциклопедии Дидро и Д'Аламбера / Пер. с франц. Н.В. Ревуненковой; под ред. А.Д. Люблинской. Л.: Наука, 1978.
- (*Istoriya v Entsiklopedii Didro i D'Alambéra* / Ed. by A.D. Lyublinskaya. Leningrad, 1978.)
- [Кузнецов 1978] — *Кузнецов В.Н.* Франсуа Мари Вольтер. М.: Мысль, 1978.
- (*Kuznetsov V.N.* Fransua Mari Vol'ter. Moscow, 1978.)
- [Кучеренко 1968] — *Кучеренко Г.С.* Судьба «Завещания» Жана Мелье в XVIII веке. М.: Наука, 1968.
- (*Kucherenko G.S.* Sud'ba «Zaveshchaniya» Zhana Mel'e v XVIII veke. Moscow, 1968.)
- [Ламетри 1750/1983] — *Ламетри Ж.О.* Предварительное рассуждение [1750] / Пер. с франц. Э.А. Гроссман и В.И. Левицкого // Ламетри Ж.О. Сочинения / Под ред. В.М. Богуславского. М.: Мысль, 1983. С. 419—456.
- (*La Mettrie G.O. de.* Discours préliminaire // *La Mettrie G.O. de.* Sochineniya / Ed. by V.M. Boguslavskiy. Moscow, 1983. P. 419—456. — In Russ.)
- [Мелье 1729/1954] — *Мелье Ж.* Завещание [1729]. Т. 1—3 / Пер. с франц. Ф.Д. Капелюша и Г.П. Полякова; под ред. Ф.А. Коган-Бернштейн. М.: Издательство АН СССР, 1954.
- (*Le Testament de J. Meslier.* Moscow, 1954. — In Russ.)
- [Момджян 1956] — *Момджян Х.Н.* Атеизм Дидро // Дидро Д. Избранные атеистические произведения / Под ред. Х.Н. Момджяна. М.: Издательство АН СССР, 1956. С. 5—41.
- (*Momdzhyan Kh.N.* Ateizm Didro // *Diderot D.* Izbrannyye ateisticheskie proizvedeniya / Ed. by Kh.N. Momdzhyan. Moscow, 1956. P. 5—41.)
- [Монтескье 1748/1999] — *Монтескье Ш.Л.* О духе законов [1748] / Пер. с франц. А.Г. Горнфельда; под ред. А.В. Матешук. М.: Мысль, 1999.

- (*Montesquieu Ch.L. De l'esprit des lois. Moscow, 1999. — In Russ.*)
- [Настольная книга атеиста 1981] — Настольная книга атеиста. 6-е изд. / Под ред. С.Д. Сказкина. М.: Политиздат, 1981.
- (*Nastol'naya kniga ateista. 6th ed. / Ed. by S.D. Skazkin. Moscow, 1981.*)
- [Нежон 1768/1925] — *Нежон Ж.-А. Солдат-безбожник [1768] / Пер. с франц. под ред. И. Луппола. М.: Металлист, 1925.*
- (*Naigeon J.-A. Le Militaire philosophe ou, Difficultés sur la religion proposées au R.P. Malebranche. Moscow, 1925. — In Russ.*)
- [Олар 1925] — *Олар А. Христианство и Французская революция. 1789—1802 / Пер. с франц. И. Шпицберга. М.: Атеист, 1925.*
- (*Aulard A. Le Christianisme et la Révolution française. Moscow, 1925. — In Russ.*)
- [П.К. 1899] — *П.К. Робеспьер // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. XXVIa. СПб.: Типография акционерного общества «Издательское дело, бывшее Брокгауз—Ефрон», 1899.*
- (*P.K. Robesp'er // Entsiklopedicheskiy slovar' F.A. Brokgauza i I.A. Efrona. Vol. XXVIa. Saint Petersburg, 1899.*)
- [Руссо 1762/1969] — *Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права [1762] / Пер. с франц. А.Д. Хаютина и В.С. Алексеева-Попова // Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре: Трактаты / Пер. с франц. под ред. В.С. Алексеева-Попова и Л.В. Борщевского. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 1998. С. 151—256.*
- (*Rousseau J.-J. Du contrat social ou Principes du droit politique // Rousseau J.-J. Ob obshchestvennom dogovore: Traktaty / Ed. by V.S. Alekseev-Popov and L.V. Borshchevskiy. Moscow, 1998. P. 151—256. — In Russ.*)
- [Стецкевич 2006] — *Стецкевич М.С. Свобода совести. СПб.: Издательство СПбГУ, 2006.*
- (*Stetskevich M.S. Svoboda sovesti. Saint Petersburg, 2006.*)
- [Философия в Энциклопедии 1994] — *Философия в Энциклопедии Дидро и Д'Аламбера / Пер. с франц. под ред. В.М. Богуславского. М.: Наука, 1994.*
- (*Filosofiya v Entsiklopedii Didro i D'Alambere / Ed. by V.M. Boguslavskiy. Moscow, 1994.*)
- [Черняк 1991] — *Черняк Е.Б. Дело Жана Каласа // Черняк Е.Б. Судебная петля: Секрет-*
- ная история политических процессов на Западе. М.: Мысль, 1991.*
- (*Chernyak E.B. Delo Zhana Kalasa // Chernyak E.B. Sudebnaya petlya: Sekret'naya istoriya politicheskikh protsessov na Zapade. Moscow, 1991.*)
- [Эпштейн 2015а] — *Эпштейн А.Д. Мозаика нерелигиозного свободомыслия: Атеизм, агностицизм и другие интеллектуальные доктрины // Неприкосновенный запас. 2015. № 102. С. 55—74.*
- (*Epstein A.D. Mozaika nereligioznogo svobodomyслиya: Ateizm, agnostitsizm i drugie intellektual'nye doktriny // Neprikoisnovennyy zapas. 2015. № 102. P. 55—74.*)
- [Эпштейн 2015б] — *Эпштейн А.Д. Религиозные сомнения в отсутствие атеизма: Истоки и пределы богословского вольнодумства в Европе от Диагора Мелосского до Пьера Бейля // Вестник Московского государственного гуманитарного университета. Серия «История и политология». 2015. № 3. С. 86—108.*
- (*Epstein A.D. Religioznye somneniya v otsutstvie ateizma: Istoki i predely bogoslovskogo vol'nodumstva v Evrope ot Diagora Meloskogo do P'era Beylya // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta. Series «Istoriya i politologiya». 2015. № 3. P. 86—108.*)
- [Hyman 2010] — *Hyman G. A Short History of Atheism. London: I.B. Tauris, 2010.*
- [Kors 1990] — *Kors A.C. Atheism in France, 1650—1729. Princeton: Princeton University Press, 1990.*
- [Kors 1992] — *Kors A.C. The Atheism of d'Holbach and Naigeon // Atheism from the Reformation to the Enlightenment / Ed. by M. Hunter and D. Wootton. Oxford: Oxford University Press, 1992. P. 273—300.*
- [Linton 2000] — *Linton M. Citizenship and Religious Toleration in France // Toleration in Enlightenment Europe / Ed. by O.P. Grell and R. Porter. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 157—174.*
- [Miller 1971] — *Miller A. Diderot in Soviet Criticism. Geneva: Librairie Droz S.A., 1971.*
- [Tallett 1991] — *Tallett F. Dechristianizing France: The Year II and the Revolutionary Experience // Religion, Society and Politics in France since 1789 / Ed. by F. Tallett and N. Atkin. London: Hambledon Press, 1991. P. 1—28.*

Быть видимым: техники властного взгляда в этнографической имперской фотографии

Евгений Савицкий

Демоны в зоопарке:

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО И КОЛОНИЗАЦИЯ
СЕВЕРА В РОССИИ 1890-х ГОДОВ*

Evgeniy Savitskiy

Demons at the Zoo: Contemporary Art and the Colonization of the Far North in 1890s Russia

Евгений Савицкий (РГГУ; доцент кафедры истории и теории культуры Отделения социокультурных исследований; ИВИ РАН; старший научный сотрудник Центра сравнительной истории и теории цивилизаций; кандидат исторических наук) e.savitski@gmail.com.

Ключевые слова: искусство, фотография, колонизация, империя, этнография, ненцы, выставка, зоопарк, Нижний Новгород

УДК: 7.036+930.85+94(47).083

В статье на примере павильона Крайнего Севера на Всероссийской выставке 1896 года в Нижнем Новгороде исследуется значение современного для того времени искусства (М.А. Врубель, В.А. Серов, К.А. Коровин) и фотографии (М.П. Дмитриев) для рекламы колонизационных усилий, направленных на строительство железных дорог и освоение хозяйственных ресурсов окраинных территорий. Реконструируются условия экспонирования художественных произведений и рассматриваются способы их видения как на рубеже XIX—XX веков, так и в наше время.

Evgeniy Savitskiy (RSUH, assistant professor, Department of Cultural History and Theory; IGH RAS, senior researcher, Department of Comparative History and Theory of Civilizations, PhD) e.savitski@gmail.com.

Key words: art, photography, colonization, empire, ethnography, Nenets people, exhibition, zoo, Nizhny Novgorod

UDC: 7.036+930.85+94(47).083

Savitskiy takes as his starting point the Far North Pavilion at the 1896 All-Russian Exhibition in Nizhny Novgorod, examining the significance of contemporary art (M. Vrubel, V. Serov, K. Korovin) in advertising the State's colonizing efforts directed at building railroads and claiming natural resources in Russia's most distant territories. Savitskiy reconstructs the conditions for exhibiting artworks, while also examining the ways they can be seen both at the turn of the nineteenth century and in our own time.

* Автор благодарен ГЦСИ «Арсенал» в Нижнем Новгороде, выступившему инициатором этого исследования и поддерживавшему его на ранней стадии в рамках совместной с издательством «Новое литературное обозрение» программы исследовательских резиденций. Поддержка со стороны РНФ (проект № 15-18-00135) позволила продолжить работу с использованием фондов, хранящихся в других городах.

На открытие Всероссийской выставки в Нижний Новгород приехало много знати, министры — Витте и другие, деятели финансов и промышленных отделов, вице-президент Академии художеств граф И.И. Толстой, профессора академии.

На территории выставки митрополитом был отслужен большой молебен. Было много народу — кушцов, фабрикантов (по приглашению).

Когда молебен кончился, Мамонтов, Витте в мундире, в орденах и многие с ним, тоже в мундирах и орденах, направились в павильон Крайнего Севера.

Мы с Шаляпиным стояли у входа в павильон.

— Вот это он сделал, — сказал Мамонтов, показав на меня Витте, а также представил и Шаляпина [Коровин 1993: 18].

Искусство рубежа XIX—XX веков, помещенное в нейтральное музейное пространство, нередко оказывается лишено коннотаций, связанных с его изначальным культурным бытованием. Это касается и вовлеченности новейших художественных течений того времени в пропаганду колониционных предприятий на окраинах Российской империи. Реконструкция таких контекстов, с одной стороны, позволит увидеть иначе многие значимые художественные произведения, которые, особенно в советское время, по идеологическим причинам редуцировались к их сугубо техническим художественным достоинствам, а во-вторых, выявит пересечения между различными сферами имперской культуры, обычно рассматриваемые вне связи друг с другом (искусство, железные дороги, этнография, зоопарки и др.). Не менее важно и то, что более широкая контекстуализация российской художественной культуры рубежа XIX—XX веков будет способствовать переосмыслению места этого культурного наследия в современной ситуации.

Эти вопросы, возникающие в контексте современных исследований имперского прошлого, встречаются с другими, гораздо более традиционно-историческими, — с попытками понять, что сообщает нам тот или иной исторический документ, как его следует интерпретировать. Одно из таких довольно загадочных свидетельств прошлого — фотография, сделанная М.П. Дмитриевым в том самом павильоне Крайнего Севера, у входа в который 28 мая 1896 года К.А. Коровин с Ф.И. Шаляпиным ждали С.И. Мамонтова и С.Ю. Витте. В отличие от других павильонов Всероссийской промышленной и художественной выставки, Отдел Крайнего Севера был не государственным, а частным, созданным на средства Мамонтова, строившего тогда железную дорогу до Архангельска, и архангельского губернатора А.П. Энгельгардта, также активно участвовавшего в колонизации северных территорий. Именно поэтому Мамонтов сопровождал Витте при осмотре павильона, и именно поэтому Дмитриеву удалось снять здесь довольно необычную композицию.

На фотографии (ил. 1) видна женщина, одетая в национальный костюм и с ненецкими чертами лица. Она вроде бы занимается самым обычным делом — каким-то шитьем. В то же время, хотя на дворе лето, женщина одета в довольно теплый, с меховым воротником, национальный костюм, паницу; на голове у нее меховая шапка. На стене висит еще зимняя ягушка с рукавицами. Можно представить себе, что это некий домашний интерьер, однако женщина сидит на своеобразном помосте, она — экспонат выставки. Ее статус — такой же, как и у выстроившихся на полках кукол, также одетых в национальные костюмы¹.

1 При других обстоятельствах окажется возможным подменить женщину куклой, например в составленной чуть позднее, в 1910—1913 годах, коллекции Этнографического



Ил. 1. Отдел Крайнего Севера. Внутренний вид (фотограф М.П. Дмитриев. 1896). Фрагмент [Дмитриев 1996: 228]

готовность участвовать в общероссийской капиталистической экономике, производить больше, чем нужно ей самой, чтобы предлагать это все на рынок. Примечательно также, что она вышивает, сидя в одиночестве «дома», — приучение дикарей к домашности, к различению частной и публичной сфер, было одним из лейтмотивов цивилизаторского дискурса того времени, подвергавшего критике неупорядоченные отношения в домах аборигенов, где проживало порой до двадцати человек [Comaroff, Comaroff 1997: 274–323]. Фотография Дмитриева изолирует изображенное пространство, заставляя его казаться небольшим, домашним, хотя это всего лишь угол огромного выставочного зала².

Один объект на этой фотографии, однако, никак не относится к «традиционной культуре» ненцев. Он не сразу виден, но, как заметили О. Наумова и Е. Кузнецов, авторы недавно изданной книги «Старый Нижний в деталях» [Кузнецов, Наумова 2013: 7–9], из-за ног сидящей женщины выглядывает не кто иной, как врубелевский «Демон» (1894). Каким образом работа Врубеля оказалась в таком странном окружении, в которое ее вряд ли поместит современный музейный куратор? Наумова и Кузнецов предполагают, что фотография, возможно, представляет собой шутку Дмитриева, он «послал нам свою загадку с улыбкой» [Кузнецов, Наумова 2013: 9], которая и сегодня способна порадовать тех, кто пусть не сразу, но находит на этой фотографии врубелевский шедевр. Кроме того, авторы книги напоминают о ряде обстоятельств устройства выставки, отчасти объясняющих, как работа Врубеля могла оказаться в павильоне Крайнего Севера. Врубелю при участии Мамонтова было заказано два панно для располагавшегося рядом с павильоном Севера Художественного отдела выставки, где должны были быть представлены также многие другие достижения российских художников и скульпторов. Однако незадолго до открытия в павильоне появилась комиссия от Академии художеств (в состав ее входили В.А. Беклемишев, А.Н. Бенуа, М.П. Боткин, П.А. Брюллов, А.А. Киселев и К.А. Савицкий), которая приняла решение панно Врубеля («Принцессу Грезу» и «Микулу Селяниновича») не выставлять. Появление академической

музея в Санкт-Петербурге [Путеводитель 1959: 4, ил. 1, 3, 4, 5, 7–8]. На ил. 5 и 8 можно увидеть витрины, в точности повторяющие композицию Дмитриева.

2 Эту фотографию можно сравнить с иной, изображающей В.С. Мамонтову и О.Н. Алябьеву в другом углу павильона Крайнего Севера, — там пространство размыкается включением в кадр краев двух огромных панно Коровина [Атрощенко 2013].

комиссии было неожиданным, а ее вмешательство многим представлялось совершенно неуместным. Так, М. Горький писал в статье для «Одесских новостей»: «Какое дело академии до работ лиц, к ней не причастных и являющихся на выставку в роли экспонентов? Чем объясняется этот странный и совершенно произвольный поступок?» [Горький 1953: 222]. Враждебный поступок академиком не остался без ответа — поддерживавший Врубеля Мамонтов способствовал тому, что история получила огласку в прессе как скандальная. Горячая полемика по поводу запрещенных картин на страницах «Нижегородского листка» вызвала большой интерес публики к ним [Коган 1980: 232—234]. Инцидент привел к конфликту между вице-президентом Академии художеств графом И.И. Толстым и покровительствовавшим Мамонтову министром финансов Витте, устроителем выставки; на ситуацию пришлось обратить внимание великому князю Владимиру Александровичу, президенту Академии. В итоге Мамонтов возвел перед главным входом на выставку специальный павильон, на котором большими буквами было написано: «Панно художника Врубеля, забракованные комиссией Академии художеств», где кроме отвергнутых демонстрировался еще целый ряд других работ художника. Видимо, что-то из них могло быть размещено и в мамонтовском Отделе Крайнего Севера, и как раз «Демон», чьи волосы производят впечатление грубо сделанных, не законченных мастеров, соответствовал эстетике оформленного Коровиным павильона:

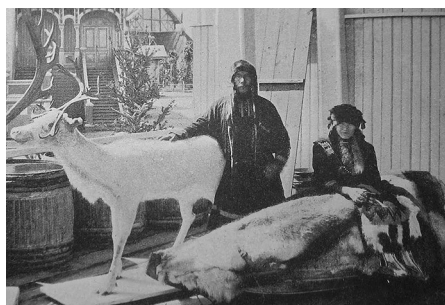
Вводя в экспозицию грубые канаты, мешковину, связывая в гирлянды рыбу, группируя птиц, животных, Коровин эстетически утверждал изобилие и красоту Северного края в плане «робинзоны». Здесь граница между искусством и искусством готова была стереться. Эстетизация подчеркнуто грубых предметов, олицетворяющих северное начало, — дань тому же стилю, к которому причастны панно Врубеля. <...> Особенно же союзниками врубелевским идеям были исполненные Коровиным панно, посвященные Северу, висящие рядом с экспонатами. Подчеркнутая скупость в выборе художественных средств, дымный, серый колорит, обобщенность форм в решении этих панно были данью тому же стилю, к которому имел отношение Врубель [Коган 1980: 230—231].

Надо сказать, что, хотя этого не видно на фотографии Дмитриева, одно из панно Коровина, изображающее охоту самоедов на моржей, висело ровно над головой ненецкой женщины³. Дело на картине происходит в прибрежных льдах, два охотника с копьями и сетью подкрадываются к отдыхающим на берегу моржам, на заднем фоне виднеется высокий скалистый берег, при этом частично скрытые дымкой скалы кажутся возносящимися за облака. Можно сопоставить эту сцену с акварелью Врубеля 1891 года из киевского Музея русского искусства, где та же самая голова демона изображена как раз на фоне обледенелых гор. К тому же, 1891 году относятся и первые эскизы Врубеля к картине «Демон поверженный», где на заднем плане — снова обледенелые скалы, на переднем — горизонтально распростертое тело Демона, и как будто немного позади этого тела стоит та же самая его голова, над которой, повторяя форму скал, острым углом запрокинута рука. На фотографии Дмитриева над головой Демона нет изогнутой руки, зато перед его носом находятся согнутые в коленях ноги ненецкой женщины, а чуть правее распростерта шкура белого медведя.

3 Репродукции панно Коровина для нижегородской выставки: [Киселев 2011].

Здесь мы возвращаемся к переднему плану фотографии, который как бы отступает, как только мы заметили врубелевскую скульптуру, становится фоном для нее. Сидящая здесь женщина оказывается не важна, как только зритель замечает на снимке подлинно существенное, посланную нам Дмитриевым «загадку с улыбкой». Создавая визуальную игру переднего и заднего планов, фотография разрешает ее в очень четкой культурной иерархии — важным оказывается произведение русского искусства, а не ненецкая женщина. Причем этот трюк так же хорошо срабатывает сегодня, как и сто двадцать лет назад. Одновременно, однако, фотография показывает не только контраст между фигурами, но и тесную связь между пропагандой колониционных усилий, что было целью павильона Севера, и работами ведущих художников и фотографов конца XIX века. Примечательно, что мирно шьющая женщина связана тут с грубым и демоническим, не случайно и Д. Коган в приведенной выше цитате говорит о «подчеркнуто грубых предметах, олицетворяющих северное начало». При этом дело вовсе не в том, что сам Север как таковой груб, а в желании Коровина и Врубеля работать с эстетикой грубости, и уже производным от этого оказывается образ северной дикости. Но выглядит все так, будто объект и способ изображения просто идеально подходят друг другу.

Ненецкую женщину можно увидеть не только на этой фотографии, но и на нескольких других, также сделанных Дмитриевым. Взятые вместе, они позволяют лучше представить, как могла прочитываться жизнь экспонируемой женщины. На одной такой фотографии (ил. 2) женщина изображена уже не одна, а рядом с мужчиной, тоже ненцем, точнее, «самоедом», как их тогда называли, и именно это этническое обозначение использует в своих текстах Коровин. Они стоят на окружающей павильон Севера открытой галерее и соседствуют уже не с куклами, а с бочками и чучелами оленей. Мужчина по-хозяйски положил руку на спину одного из оленей и смотрит прямо в камеру. Очевидно, где народы Севера, там должны быть и олени, не с томиком же Гуссерля фотографировать этого дикаря. При этом есть некоторая ирония в уверенной позе того, кто не является хозяином самому себе, кто не может определять тот образ, в рамки которого он помещается. В то же время наряду с «традиционностью» мужчина и женщина снова воплощают здесь собой и цивилизационный прогресс. Они выглядят как нормальная моногамная семья (с мужчиной-хозяином, жена сидит рядом), возможно, даже крещеная. Об этом нельзя судить по фотографии, но Коровин в воспоминаниях сообщает, что у самоеда (о женщине он вообще не упоминает) есть христианское имя — Василий [Коровин 2016: 398]. Конец XIX века — это время, когда у самоедов, которых тут представляют эти мужчина и женщина, под воздействием русской колонизации происходит разрушение старой структуры семьи, допускавшей среди прочего многоженство, покупку жен, кровосмесительные с христианской точки зрения браки (например, с сестрой матери) [Хомич 1966]. До этого браки у самоедов — точнее, то, что русские этнографы, мысля европейскими и христианскими категориями, называли браком, — легко расторгались. Но одновременно у них существовали и строгие правила, касавшиеся принадлежности жениха и невесты к тому или иному роду, довольно абсурдные с европейской точки зрения. На выставке, как мы видим, не стали представлять дикаря, живущего, скажем, с сестрой матери и десятком других жен разного возраста, — у него одна жена, более-менее его ровесница. Неприятная для «цивилизованного» взгляда действительность приведена к благопристойному образу.



*Ил. 2. Самоеды на террасе у павильона
Крайнего Севера (фотограф
М.П. Дмитриев. 1896). Фрагмент
[XVI Всероссийская 2016: 111]*



*Ил. 3. У Отдела Крайнего Севера
(фотограф М.П. Дмитриев. 1896).
Фрагмент [Дмитриев 1996: 228]*

Еще на одной фотографии Дмитриева (ил. 3) эти же самые мужчина и женщина изображены уже не кочевниками-оленеводами, а рыбаками, они позируют на увешанной снастями большой лодке-шняке. Как сообщает о «самоедах» Энциклопедия Брокгауза и Ефрона (1900), большинство из них — кочевники-оленеводы, другие — рыболовы. Ровно это мы и видим. При этом на выставке одни и те же люди изображают как оленеводов, так и рыбаков. Выходцы с Севера не важны в своей индивидуальности: они могут одинаково хорошо служить изображению чего угодно — и оленеводства, и рыболовства, и надомных кустарных промыслов. Это тип человека Севера вообще, так же как само понятие Севера объемлет тут гигантские пространства от Белого моря до Западной Сибири — пространства, которые, однако, делаются обозримыми, репрезентируемыми в пространстве выставки. Нам по силам с ними справиться⁴.

Примечательно, что на всех трех фотографиях жители Севера изображены за своими хозяйственными занятиями — они воплощают собой экономическую функцию, определенное предложение на рынке. Это люди-ресурсы, такие же, как и помещенные тут в виде чучел олени и бочки. За рамками такой художественно-хозяйственной и этнографической репрезентации остается история этих людей, не только индивидуальная, но и коллективная, в частности такая, которую называют военной и политической. Если Кавказу на Всероссийской выставке 1896 года был посвящен среди прочего павильон Ф. Рубо с панорамой «Покорение Кавказа: Штурм Ахульго», то о военных столкновениях русских и самоедов не упоминалось никак. Впрочем, даже сегодня Ваули Пиеттомин отнюдь не так знаменит, как имам Шамиль. Между тем в самую географию современного расселения народов Севера вписана история:

Противостояние российским властям и стремление самоедов сохранить независимость вызвали обострение межэтнических конфликтов на Уральском Севере и отход оленеводов в отдаленные тундры. В этот период подвижность кочевников резко возросла: они «легко меняли места своих стойбищ и необычайно быстро перебрасывались с одного конца тундр к другому». <...> Для освоения отдален-

4 Здесь, конечно, можно сравнить такие образы Севера с современными им репрезентациями Востока, исследованными у Э. Саида [Саид 2006].

ных тундр и долгих миграций требовались большие стада оленей, и самоеды наращивали их всеми доступными средствами, включая торговлю, военные грабежи и захват оленей у соседей [Гемуев, Молодин, Соколова 2005: 408].

Таким образом, в образе жизни самоедов рубежа XIX—XX веков не было ничего этнографически-аутентичного и внеисторичного, сама потребность в больших стадах оленей и подвижный кочевой образ жизни были следствием давления со стороны русских колонизаторов.

В свое время, сравнивая расистские стереотипы, существующие в отношении евреев и африканцев, Ф. Фанон [Fanon 1952] отмечал, что у еврея никто не отнимает его историю и культуру и, даже уничтожая евреев (или подвергая их стерилизации), уничтожают их род, генеалогию; африканец же воспринимается как человек без культуры и истории, и потому, когда его кастрируют, борются с биологичностью отдельного живого существа. Отношение к африканцам как к людям без истории проявляется, по мнению Фанона, и в распространенной фамиллярно-сюсюкающей манере разговаривать с ними, как если бы они были не имеющими долгого прошлого детьми, нуждающимися в снисхождении. С этим связаны и расистский страх перед биологичностью «детей природы», фантазии об их неумемной сексуальности, особенно больших пенисах и т.п. Нельзя ли увидеть элементы схожего расистского воображения в случае с фотографиями самоедов на выставке — в соседстве людей с куклами, в помещении их в игрушечный дом под названием «Отдел Крайнего Севера», в изъятии их из истории? В отличие от войны на Кавказе, известной каждому школьнику хотя бы по каноническим литературным текстам, события, происходившие тогда же, в 1825—1856 годах, на Севере, и сегодня мало кому известны⁵. Даже если бы художник Рубо решил создать к выставке панораму «Оборона Обдорска», в отсутствие литературных образцов воображению зрителей было бы не на что опереться.

18 июля выставку посещает сам император Николай II в сопровождении императрицы Александры Федоровны и великого князя Алексея Александровича. В павильон Севера царь направляется после того, как осмотрел расположенный рядом Художественный отдел:

В 5 часов 30 минут Их Императорские Величества изволили выйти из покоев Царского павильона и в открытой коляске проследовать к зданию Художественного отдела Всероссийской выставки <...>. Далее Их Величества прошли в Отдел Крайнего Севера, у входа в который были встречены заведующим отделом Саввой Ивановичем Мамонтовым [Виноградова, Авдеев 2013: 65—66].

5 Военные столкновения самоедов с русскими происходили и до XIX века: «Московский административный стиль в период экспансии российской государственности (XVII в.) вызывал у ненцев стойкую неприязнь. Если к новгородским и поморским факториям самоеды ехали торговать, то созданные Москвой пункты ясачного сбора они обходили стороной, а иногда подвергали осаде и грабежам. В XVII—XVIII вв. они совершали набеги на русские остроги и селения коренных жителей, подчинившихся русской власти. В 1600 г. самоеды нанесли поражение шедшему из Тобольска отряду кн. Шаховского. В 1662, 1668, 1719, 1730, 1732, 1746 гг. они совершали набеги на Пустозерск, в 1641 г. — на Березов, в 1643, 1645, 1648 гг. — на Мангазею, в 1678 г. — на Обдорск, в 1678, 1679, 1722, 1748 гг. — на селения крещеных обских остяков» [Гемуев, Молодин, Соколова 2005: 407—408]. См. также более общую картину в: [Слезкин 2008].

Последовательность посещения, конечно, была связана с близостью расположения павильонов, но тут можно увидеть и содержательную логику — павильон Севера дополнял программу Художественного отдела демонстрацией нового искусства (рядом располагались также павильон Г.К. Маковского с эпическим полотном «Воззвание Минина» и упоминавшаяся уже панорама Рубо; напротив, «колониальные» отделы вроде Сибирского, Среднеазиатского, павильона кяхтинских чаоторговцев или кожевенно-войлочных изделий Адельханова и др. располагались в другой части выставки). Таким образом, художественный контекст оказывался доминирующим над территориальным.

По выставке государя сопровождал Витте — не только инициатор проведения выставки, но и активный сторонник строительства новых железных дорог, в том числе к северным портам. В 1894 году Витте лично предпринимает поездку на Север, чтобы убедить Александра III вкладывать средства в развитие именно северных, а не балтийских портов, которые в случае войны с Германией могли быть блокированы германским флотом. Вместе с Витте в поездке участвует и Мамонтов, который в том же году решает командировать на Север для создания его живописных образов Коровина и В.А. Серова. Именно на договоренности с Витте ссылается Мамонтов в разговоре с художниками. Как вспоминает Коровин, во время одной из дружеских встреч с художниками он внезапно перешел от обсуждения «Ковра-самолета» Васнецова к планам устройства павильона Севера на нижегородской выставке:

...Мы вас приговорили в Сибирь, в ссылку. Вот что, в Нижнем будет Всероссийская выставка, мы решили предложить вам сделать проект павильона «Крайний Север», и вы должны поехать на Мурман. Вот и Антон⁶ Серов хочет ехать с вами. Покуда Архангельская дорога еще строится, вы поедете от Вологды по Сухоне, Северной Двине, а там на пароходе «Ломоносов» по Ледовитому океану. Я уже говорил с Витте, и он сочувствует моей затее построить этот отдел на выставке [Коровин 2016: 397].

Развитие Мурманска и Архангельска, по мнению Витте, было важно потому, что должно было обеспечить большую свободу морских коммуникаций в случае войны, чем балтийские порты, в частности военно-морская база в Либаве, строительство которой было начато при Александре III. Вопрос, будет ли развиваться Либавка, расположенная в 30 км от границы и удобная для поддержки сухопутных наступательных операций против Германии, или удаленный от германских границ Мурманск, был связан и с различными взглядами на внешнеполитическую ориентацию России. Основными сторонниками развития Либавского порта и, соответственно, противниками Витте были начальник генерального штаба Н.Н. Обручев, а также управляющий морским министерством Н.М. Чихачев, по поводу которого Витте пишет, что он был «умным преимущественно в делах коммерческих, а не военных» [Витте 1960: 10]. Впрочем, и за инициативой Витте стояли интересы потенциальных подрядчиков, не в последнюю очередь Мамонтова. 18 мая 1896 года, через шесть дней после московской коронации и ровно за два месяца до посещения императором выставки, адмирал Чихачев был смещен со всех должностей и определен в Государственный совет. Именно поэтому государя сопровождает главный начальник флота и морского ведомства великий князь Алексей Александрович:

6 Имеется в виду В.А. Серов, которого знакомые обычно звали Антоном.

как пишет в воспоминаниях Витте, если государь «причинял своим близким какое-нибудь огорчение, то старался и старается загладить это ласками» [Витте 1960: 79]. В конце 1897 года в отставку уйдет и генерал Обручев, а в 1898 году Витте резко сократит финансирование стройки в Либаве. Новый сокращенный план развития порта будет разработан к 1901 году, но и его реализация будет тормозиться в Министерстве финансов.

Среди других лиц, сопровождающих государя, — генерал Н.М. Баранов, нижегородский губернатор в 1882—1897 годах, у которого тоже были плохие отношения с Алексеем Александровичем еще со времен Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, когда Баранов, служивший на флоте и прославившийся после героического боя вверенного ему парохода «Веста» с турецким броненосным корветом «Фетхи-Булендом», посмел написать жалобу на великого князя из-за его несправедливых действий как командующего и оказался за это под судом. Спасло Баранова покровительство министра внутренних дел М.Т. Лорис-Меликова, благодаря которому командир «Весты» был помилован, но уволен с флота и переведен в полицию с переименованием из капитанов 1-го ранга в полковники. В начале 1881 года Баранов был назначен исполняющим должность губернатора Ковенской области, но уже в марте после убийства Александра II занял пост петербургского градоначальника и в этой должности успешно выполнял всю грязную работу, связанную с арестами и казнями народовольцев и сочувствующих им. Быстро ставший, таким образом, одиозной фигурой, Баранов в том же, 1881 году был переведен на должность архангельского губернатора — в глушь, куда еще не скоро Мамонтов приведет железную дорогу. Впрочем, архангельским губернатором Баранов пробудет недолго, уже на следующий год получив назначение в Нижний Новгород, где и проведет последующие пятнадцать лет, сохранив при этом связи с Архангельском. Как показывают журналы заседаний нижегородской Распорядительной комиссии по устройству выставки, Баранов проявлял особую заинтересованность в том, чтобы в Нижнем Новгороде, в отличие от московской выставки 1882 года, был особый Отдел Севера. Успешное проведение выставки позволит престарелому уже Баранову в 1897 году вернуться в Петербург в качестве члена Государственного совета.

Таким образом, в создании павильона Крайнего Севера как особого XX отдела выставки и в его посещении государем не было ничего само собой разумеющегося, тут соединялись самые разные коммерческие, военно-политические и придворные фракционные интересы, заставлявшие Витте, Баранова и Мамонтова действовать заодно.

Еще один важный аспект функционирования павильона Севера позволяет увидеть продолжение рассказа о его посещении Николаем II и Александрой Федоровной:

На террасе, окружающей павильон, Их Величества изволили обратить милостивое внимание на двух самоедов в национальных костюмах и на дрессированного тюленя, а затем проследовали внутрь павильона, где, ознакомившись с экспонатами, относящимися до вновь строящейся Архангельской железной дороги, и с промыслами Крайнего Севера, вышли и, сев в поданную к павильону коляску, в 6 ч. 20 мин. изволили отбыть при родных кликах народа в сопровождении лиц свиты со Всероссийской выставки [Виноградова, Авдеев 2013: 66].

Здесь мы снова встречаем упоминание о самоедах, а кроме того, сообщается и о дрессированном тюлене, который тоже приветствует государя. Упоминание

о самоедах и тюлене в одном ряду выглядит расистской шуткой, но, возможно, автор статьи ничего такого не подразумевал, и тем более здесь трудно судить, подразумевалась ли такая шутка самими устроителями павильона. Однако если обратиться к воспоминаниям Коровина, то в них нетрудно найти прообраз этой шутки. Когда в 1894 году Коровин вместе с Серовым посещает Новую Землю, они встречаются там австрийского барона⁷, приехавшего в эти места поохотиться на белых медведей, — подобно тому как другие бароны ездили охотиться на тигров в Индию или на крокодилов в Гамбию. Однажды Коровин с Серовым увидели такую сцену:

Кругом барона сидели самоеды — ребятишки и подростки. Глотая шампанское, барон доставал из жестяной коробки печенье и бросал его в толпу самоедов. Те мгновенно набрасывались и мгновенно уничтожали все, как... ну как тюлени брошенную им рыбу [Коровин 2016: 282].

Это уподобление самоедов тюленям — не единственное у Коровина. Другой показательный эпизод связан еще с подготовкой к отъезду, когда знакомый Коровина по имени Вася пугает его подстерегающими человека на Севере опасностями. Вася говорит:

— А если вы случайно попадете на льдину в Бело море? Ведь там такие голубчики ходят... Тогда вы без штуцера что будете делать?

— Какие голубчики? — удивляюсь я.

Вася прищурил на меня один глаз.

— Белые медведи и моржи — вот какие... Моржей вы видали? Нет? Так у него клыки в два аршина... Да-с... Встретит он, знаете, рыбаков, клыками расшибает лодку, рыбаки, конечно, в воду, а морж и начнет кушать их по очереди... [Коровин 2016: 239].

За этой ужасной картиной моржей-людоедов всего через несколько строчек следует другая, возникающая в разговоре с Серовым:

— Я к тебе, — сказал Серов. — Знаешь, я решил ехать с тобой на Север.

— Отлично! — обрадовался я.

— Савва Иванович Мамонтов говорил, что там дорога строится, но по ней ехать еще нельзя... Как-нибудь с инженерами проедем до Двины, а там — пароход есть.

— Как я рад, что ты едешь. Вот только Вася все пугает, говорит, что нас самоеды съедят [Коровин 2016: 239].

Действительно, перед этим Вася говорит, отвечая на предложение Коровина присоединиться к поездке: «Ну уж нет... Хорошо, если самоеды себя или друг дружку едят, а как им влезет в башку меня скушать... Нет уж, я туда не поеду...» [Коровин 2016: 239].

Все это говорится как шутка, и, скорее всего, собеседники прекрасно знают, что никакого людоедства среди самоедов нет, они просто обыгрывают стереотипные представления о дикарях, бытовавшие в то время благодаря рассказам

7 Изучение Севера занимало особое место в публичной культуре Австро-Венгрии конца XIX века — открытие австрийскими исследователями земли, названной в честь императора Франца-Иосифа, и другие успехи полярных экспедиций широко освещались в прессе. О специфике восприятия исследований Севера в этой стране см., например: [Schimanski, Spring 2002]. См. также: [Пайер 1935].

путешественников, а этническое обозначение «самоеды» дает к этому дополнительный повод. Откуда на самом деле взялось обозначение «самоеды» в русском языке — неизвестно, но с определенного времени в нем начинают слышаться отсылки к каннибализму — «сами себя едят». И среди этих шуток неприметно возникает параллель между моржами, которые могут съесть Коровина, и самоедами, которые якобы тоже вполне на это способны. То есть та расистская параллель между самоедами и тюленями, которая появляется в описании визита Николая II на Всероссийскую выставку, видимо, не была спонтанной фантазией репортера, она появляется в шутливых фантазиях Коровина и его друзей еще задолго до того, как они увидели настоящих моржей и самоедов, задолго до открытия выставки.

В дальнейшем Коровин то и дело играет с образом самоеда-каннибала, например в истории о мертвой голове:

Из чума вышел молодой самоед. На его открытой груди висел медный крест. Он пристально посмотрел на нас большими глазами и внезапно завыл, как собака. И ужас — у его сыромятного пояса была привешена за волосы голова человека. Вытекшие глаза и оскаленные зубы сверкали от костра... [Коровин 2016: 282].

Тут, казалось бы, оправдались опасения Коровина и его друга Васи — от дикого взгляда молодого самоеда не стоит ожидать ничего хорошего. Возможно, он воеет в поисках новой жертвы. Коровин ставит здесь в тексте многоточие, он задерживает внимание читателя, прежде чем продолжить: «Это была голова его отца. Он отрезал ее у умершего, не желая расстаться. Он так любил отца, что оставил себе голову, которую целовал и клал на ночь рядом с собой. “Хорошая жизнь”, — подумал я» [Коровин 2016: 282]. Коровин тут снова шутит — и по поводу «хорошей жизни», и по поводу ожиданий читателя, которые предполагают встречу с людоедом, а все оказывается еще отвратительнее: с этим молодым человеком, целующим и обнимающим полуразложившуюся голову. Одновременно читатель видит странную, дикую манеру поведения самоеда, лишь по видимости крещеного, с медным крестом на груди. Впрочем, шутка Коровина оказывается шуткой лишь отчасти, поскольку подкрепляется его авторитетом свидетеля, того, кто там был, кто это действительно видел. Именно поэтому коровинский анекдот способен воздействовать на читателя гораздо сильнее, чем фантазии о моржах и самоедах перед отъездом. Трудно судить, что видел Коровин на самом деле и видел ли он вообще что-нибудь. Профессиональные этнографы не только не подтверждают наличие у самоедов каннибализма, но и скучно пишут об издавна принятом у них погребении трупов в земле, с особой ориентацией по сторонам света, но в общем эти народы Севера хоронят умерших так же, как и русские. Тем не менее Коровину нравится нагнетать страх и уподоблять самоедов диким животным, еще чуть ниже он пишет: «Кругом темные, красно-бурые горы: ночное солнце освещает их. Есть неизъяснимо таинственное в этом полярном свете. И страшно-таинственны плоские лица самоедов, а глаза, как черные пуговицы. Что-то есть в них звериное...» [Коровин 2016: 282]. Описание это, однако, снова оказывается литературным приемом, используемым для конструирования расистской шутки:

Утром, только мы вышли с ночлега, как я увидел на пригорке много оленьих костей и рогов. На рогах висели красные и беленькие тряпочки-лоскутки. Оказалось, что это самоедское кладбище. Посреди них стоял деревянный идол, выпи-

ленный из доски, с несколькими нарисованными глазами. Проходя под идолом, самоеды внезапно заехали. — Они поют: «Приедет пароход, привезет нам водки», — перевел мне с усмешкой урядник [Коровин 2016: 282].

Надо отметить, что переполненные такого рода расистскими шутками воспоминания Коровина переиздаются сегодня без всяких комментариев, которые проблематизировали бы такие колониальные непристойности, так, как будто и сегодняшние исследователи творчества Коровина не видят проблем в таких высказываниях.

Тут, может быть, надо еще отметить, что используемое в тексте обозначение «самоеды» уже в то время, в конце XIX века, не соответствовало уровню этнографических знаний. По давней традиции так обобщенно называли ненцев, энцев, нганасан, селькупов, камасинцев, койбал, тайгйцев, карагосов, сойотов и ряд других народов, при этом такие частные обозначения — во многом сами по себе тоже обобщения этнографов. По сути, самоед — образ северного дикаря вообще, без привязки к чему-то конкретному, подобно негру как обобщенному образу африканца или папуасу как жителю островов южных морей⁸. Можно сказать, что в случае «самоеда» речь идет о воображаемом в русской культуре того времени северянине, а не о чем-то реальном, связанном с массой частных отличий. Ненецкая женщина в теплой меховой шапке и «ее муж» Василий еще до того, как они были сфотографированы, уже были помещены в образ, уже стали продуктом этнографического воображения⁹.

Другое обстоятельство, которое тут важно отметить, — это что самоеды, в отличие, скажем, от представителей среднеазиатских ханств, не имели на выставке статуса экспонентов, они являлись экспонируемыми, наряду с тюленем. При этом если привезенного на выставку самоеда звали Василием, то тюлень, как сообщает Коровин, звался Васькой¹⁰, что, впрочем, могло быть просто совпадением.

Тюлень Васька сам по себе не выглядит в этой истории особо значимой фигурой; биографы Коровина, Серова, Врубеля, более или менее пространно говоря о значении павильона Севера для истории искусства, не считают Ваську заслуживающим упоминания. Между тем рассказы о Ваське занимают огромное место не только в воспоминаниях Коровина, но и в газетных публикациях того времени. Одновременно обнаруживаются новые умолчания в рассказах Коровина: он забывает не только про женщину-самоедку, но и про то, что Васька был отнюдь не единственным животным, демонстрировавшимся в Отделе Крайнего Севера. Вообще, газеты того времени, ориентируясь на интересы читателей, всего несколько раз сообщают о панно Коровина и Врубеля, зато изо дня в день следят за судьбой экспонируемых в павильоне Крайнего Севера птиц и зверей. Если судить по газетным публикациям, то павильон функционировал главным образом как временный зоопарк. Так, 3 июня 1896 года, на шестой день работы выставки, нижегородская газета «Волгарь» сообщает:

8 О попытках реконструировать этимологию слова «самоед» см.: [Хомич 1966: 25–27].

9 Это этнографическое воображение не так давно исследовалось в: [Вишленкова 2011].

10 Об обстоятельствах встречи Коровина и Серова с Васькой еще на Севере см.: [Коровин 2016: 244]. В описании этой сцены снова ужасное оборачивается смешным: угрожающий жизни Серова морской монстр оказывается милым дрессированным тюленем, которого подзывает к себе выглянувшая из избы старушка. О Ваське и Василии в павильоне Крайнего Севера см.: [Коровин 2016: 398–399].

Со вчерашнего дня в павильоне крайнего Севера привлекают внимание публики привезенные на днях чайка и два тюленя. Чаек привезено 8 штук. Как чайки, так и тюлени помещены в гроте, устроенном подле павильона. Чайки приручены и находятся в гроте на свободе.

Впрочем, «Нижегородский листок» в тот же день говорит о прибывших как о моржах, а число чаек сокращает до пяти. 8 июня «Волгарь» рассказывает читателям: «Вчера в павильон крайнего Севера доставлен новый тюлень, и кроме того ожидается еще несколько штук тюленей», но ниже отдельной новостью говорится и об убывании экспонатов: «Как известно, в павильон крайнего Севера было доставлено недавно 8 штук северных чаек. В настоящее время из всех чаек осталось три; четыре чайки улетели, а одна погибла». Сообщения о животных, впрочем, касаются не только павильона Севера. 7 июня «Нижегородский листок» сообщает: «Сибирские олени, 10 штук, размещены очень тесно в своей клетке, на демонстративных полях министерства земледелия. Бедные животные до одурения вертятся на одном месте». 10 июня в «Волгаре» рассказывается о гибели одного из трех тюленей в Отделе рыбоводства и рыболовства и тут же, чуть ниже, — о прибытии в Отдел Севера Васьки: «В отделе Крайнего Севера появился дрессированный тюлень, который исполняет целый ряд номеров по приказу своего хозяина. Экспонирует тюленя какой-то грек». В последующие дни газеты информируют читателей о смерти всех тюленей в Отделе рыболовства, а также о том, что тюлени начали умирать и в Отделе Крайнего Севера. Со ссылкой на администрацию павильонов утверждается, что животные прибыли уже больными, но одновременно в газетах появляются жалобы на нестерпимую жару как на улице, так и, особенно, в самих павильонах выставки с их стеклянными крышами. К 21—22 июня все привезенные тюлени, кроме Васьки, были мертвы. 2 июля становится известно, что в больницу доставлен самоед — без упоминания имени. Дальнейшая судьба самоеда газеты не интересуют, хотя мы знаем, что уже 18 июля он был в состоянии приветствовать государя императора при посещении им павильона Севера. Зато газеты в подробностях сообщают о мерах, предпринимаемых к спасению Васьки. В «Нижегородском листке» за 23 июня говорится:

В аквариуме Северного отдела поставлен особый бак с водой для известного тюленя «Васьки», который так потешает публику своими незатейливыми выходками (он говорит что-то вроде «мама», «благодарю», перевортывается по требованию служителя и т.д.). Так как «Васька» из Ледовитого океана, то в бак кладется лед.

Чуть ниже отдельной заметкой сообщается:

Ввиду того, что с 20 на 21 июня в бассейне отдела Крайнего Севера пали два тюленя, администрация отдела, особенно дорожа дрессированным тюленем, изолировала его, поместив в особый ящик, в который 3—4 раза в день кладутся два куса льда с целью поддерживать ту температуру воды, в которой всегда жил пойманный в Ледовитом океане тюлень.

Кстати сказать, тут же, вслед за второй заметкой о Ваське, говорится о прибытии на выставку осетин, для которых будет устроен специальный павильон, где они будут знакомить публику с национальной музыкой, танцами и играми. В двух отдельных новостях про бак с водой и ящик тоже с водой видна некоторая путаница, которая разъясняется в последующие дни: сообщается об устрой-

стве под зданием павильона ледника, откуда берут лед для аквариума с «ученым» тюленем. О чем не сообщают газеты, но о чем упоминает Коровин (возможно, сочиняя очередную шутку), так это о том, что в леднике вместе с тюленем любил поспать и самоед. Коровин рассказывает, что как-то вечером, отобедав, они с Саввой Ивановичем уже собирались ехать в театр, но решили перед этим проведать Ваську и Василия:

Мы пошли посмотреть, открыли крышку погреба. На снегу лежал Василий, спал, а рядом с ним, распластавшись на льду, так же сладко спал Васька.

— Это они у себя дома, — смеясь, сказал Савва Иванович. — Наверное, видят сны и северное сияние, чум, очаг, тундру, океан. Как это все трогательно в жизни и таинственно!.. [Коровин 2016: 399]¹¹.

Предпринимаемые меры, однако, не спасли Ваську: по словам Мамонтова, цитируемым Коровиным, он вскоре тоже умер от разрыва сердца вследствие ожирения¹² — кормление тюленя, как и демонстрация поедающего сырую рыбу самоеда, было одним из основных развлечений в павильоне Севера [Коровин 1993: 15—18].

В нем, однако, демонстрировались не только тюлени / моржи и чайки. 13 июня «Волгарь» информирует, что ожидается прибытие партии живых белых медведей и песцов, 4 июля новость о скором прибытии медведей повторяет «Нижегородский листок». Песцы и правда были доставлены, также сообщалось о доставке в отдел Севера морского орла и двух «птиц-баб» (т.е. пеликанов), относительно же медведей 23 июля «Нижегородский листок» извещает: «Белые медведи доставлены не будут». А 3 августа там же появляется заметка: «В отдел крайнего Севера привезен медвежонок. Он почти все время отчаянно ревет. Его часто поливают холодной водой из тюленьего бассейна. Публика толпами стоит вокруг дикого зверька».

Все это — лишь небольшая часть сообщений о животных в павильоне Севера, и они важны, потому что позволяют лучше представить контекст экспонирования как самоедов, так и живописных репрезентаций Севера, созданных Коровиным. В конце XIX века демонстрация этнических типов в зоопарках была довольно распространенным явлением, связанным с низкой рентабельностью показа одних только животных. Изобретателем совмещенных показов животных и дикарей был гамбургский предприниматель Карл Хагенбек, чья фирма создала целую сеть по вербовке экзотических людей и организации их туров по городам Европы [Hagenbeck 1908; Thode-Arora 1989; Rothfels 2002]. В том числе экспонировались и народы России. Так, в 1880—1890-х годах в зоопарках различных немецких городов можно было увидеть живых калмыков [Dreesbach 2005; Radauer 2011], саамов, самоедов и эскимосов, хотя последние привозились из США [Voges 2001: 308—311]. Подобные показы устраивались и в России, как в увеселительных садах, где этнические типы демонстрировались отдельно от животных, так и в зоопарках. Изданный уже в 1940 году первый том «Трудов Московского зоопарка», рисуя ужасы дореволюционных вре-

11 Остается неясным, спала ли в холодильнике и женщина-самоедка. Как уже отмечалось, Коровин ни разу о ней не упоминает.

12 «...Тюлень так потолстел, так объелся рыбы, что умер от разрыва сердца. Что было с Василием! Он так рыдал. Мы с ним хоронили тюленя. Он его закопал у самой воды, в песке на Волге, и говорил какую-то свою молитву, смотря на воду. Я не мог видеть и тоже плакал» [Коровин 2016: 400].

мен, сообщает о показе в 1907 году группы самоедов, а также о допустимости жестокого обращения с животными для увеселения публики [Островский 1940: 13]¹³. Таким образом, Коровин в павильоне Севера воспроизводил хорошо опробованную в Европе модель устройства развлечений.

Другой моделью, на которую мог ориентироваться Коровин, было устройство этнических деревень в рамках европейских же художественно-промышленных и специализированных колониальных выставок. В том же, 1896 году, когда была устроена Нижегородская выставка, проходили Первая колониальная выставка в Берлине, Выставка в честь тысячелетия Венгрии в Будапеште, а также Национальная и колониальная выставка в Руане, и все эти выставки включали в себя этнические деревни¹⁴. В России в этом году была проведена Латышская этнографическая выставка в Риге [1896. Latviešu 2016]. Странным исключением здесь оказывается Нижний Новгород.

Максим Горький в упоминавшихся уже «Записках с Всероссийской выставки» пишет, что

в частном собрании представителей выставочной администрации, — в котором, между прочим, принимали участие В.И. Ковалевский, В.И. Тимирязев, Н.М. Баранов и другие лица, признано желательным, в видах увеличения интереса к выставке и привлечения на нее иногородних и иностранных гостей, устроить ряд поселков этнографического характера, по примеру парижской выставки в 1889 году. Все народности России — предполагается — будут представлены в рамках их быта с возможно более строгим соблюдением всех деталей обычаев, утвари и т.д. Намечено собранием: устроить малорусскую хату со всеми к ней хозяйственными пристройками, с волами и всем домашним скарбом, кочевку бессарабских цыган, лопарскую вежу, великорусскую избу из Пскова или с верхней Волги — местностей, где еще уцелели точные стильные избы, финляндскую деревню, юрты кочевников Тургайской области, избы татар из Касимова, Казани и других мест, инородцев Востока и сакли горцев Кавказа. Сеть таких поселков предполагается разбросать по всей территории выставки, около каждого разбить площадку, на которой будут демонстрироваться различные обряды, игры, пляски [Горький 1953: 230].

Таким образом, размахом демонстрации этнических типов выставка 1896 года должна была многократно превзойти то, что удалось устроить французам в 1889 году. Ковалевский, Тимирязев и Баранов, если верить Горькому, вынашивали мегаломанские планы имперского этнического музея, где были бы собраны живые представители основных подвластных русскому царю народов, чтобы они пели и плясали — подобно тем осетинам, о прибытии которых на выставку сообщалось в газетах.

13 Парадоксальным образом и СССР конца 1930-х, и Германия того же времени нарочито демонстрировали гуманизм в отношении животных.

14 Сообщал из Будапешта: «Особый, тщательно организованный и обширный отдел представляет боснийско-герцеговинская выставка. Австро-венгерское правительство и на этот раз не пощадило трудов и средств на рекламу своей цивилизаторской деятельности в оккупированных провинциях. Боснийский отдел прежде всего представляет чрезвычайно живописную картину этой полувосточной, полувосточной окраины Габсбургской империи. Среди пестрого базара, в палатках, украшенных разнообразными коврами, сидят продавщицы разных восточных товаров — боснийские женщины в национальных костюмах...»

Примечательно, конечно, что среди «инородцев Востока» и «бессарабских цыган» предполагалась и «великорусская деревня». На одной из фотографий Дмитриева можно увидеть расположенный в одном из павильонов выставки шатер с надписью «Отдел женских кустарных работ», перед шатром сидит и вяжет женщина в русском национальном костюме (ил. 4). Она сидит точно так же, как и ненецкая женщина в своем павильоне. Ковер и картины за ее спиной, вышитая подушка на тумбочке рядом создают видимость домашнего уголка, хотя она тоже находится в большом открытом пространстве зала¹⁵.



Ил. 4. Витрина женских кустарных работ (фотограф М.П. Дмитриев. 1896).
Фрагмент [Дмитриев 1996: 227]

но в Нижнем Новгороде, в то время как все предыдущие проводились в Санкт-Петербурге или Москве. Во введении к официальному перечню экспонентов, изданному к открытию выставки в 1896 году, говорится:

Притом же и самые мотивы выбора Нижнего Новгорода для новой Всероссийской выставки были связаны с вопросом о необходимости лучшего выяснения условий развития столь богатых и обширных областей, какими являются Сибирь и Среднеазиатские владения. Особенно важным представляется знакомство с Сибирью... [Шустов 1896: 9].

Таким образом, выбор Нижнего Новгорода объясняется прежде всего колониальными акцентами в концепции выставки, но наряду с этим была и другая причина, о которой не раз упоминается в журналах заседания Нижегородской распорядительной комиссии, но каждый раз эта тема оказывается неприятна для губернатора Баранова и большинства других присутствующих. Так, на заседании 19 декабря 1893 года представитель дворянства А.Д. Краснопольский заявляет:

15 Здесь заодно можно вспомнить еще один тип использования этнических женщин на выставке, причем не восточных, а западноевропейских. Так, Горький пишет о приехавших в Нижний Новгород, чтобы, как он выражается, «делать себе приданое для выхода замуж в фатерланде». Писатель обращает внимание на большое количество проституток из Германии и Австро-Венгрии, а также на недостаток французенок [Горький 1953: 229]. Врубель шутит об «открытии прелестей пышных французенок» за беседой в ресторане в компании Н. Прахова, К. Коровина, Н. Досекина и Н. Каразина, утешаясь таким образом после снятия его картин академической комиссией [Жоган 1980: 232]. Фотографии местных ярмарочных проституток из полицейских архивов см., например: [Наумова, Пожарская 2013: 158—159].

А.Д. Краснопольский: Как житель Нижнего и Нижегородский дворянин, я считаю нужным сказать следующее. Словами Августейшего Монарха установлена цель выставки — ознакомить посетителей ее с русским производством и его успехами, чтобы эти посетители разнесли почерпнутые ими сведения по всей земле русской. Другая цель выставки — некоторое восполнение Нижегородской губернии, пострадавшей от голодовки...

Председатель: По воле Государя Императора в целях пресечения бедствий от голодовки и холеры, для Нижегородской губернии, как и для других пострадавших местностей, сделано и делается, как Вам известно, чрезвычайно много и в настоящее время на выставку смотреть как на продолжение этих вспоможений не следует [Сборник 1894: 16].

Баранов обрывает Краснопольского на полуслове и дает ему хорошую отповедь, но еще в начале того же года, на заседании 11 января, Баранову пришлось самому вспомнить о голоде и эпидемии 1891—1892 годов в связи с газетными публикациями, обвинявшими Распорядительный комитет в желании скрыть реальное положение дел в российском сельском хозяйстве, показывая лишь положительные его стороны. После обмена мнениями комитет постановляет, что

отделы, посвященные изображению голода, не должны иметь место на выставке как не выражающие нормальной жизни народа, а напротив уклонение от ее, почему такой отдел может быть помещаем в музеях, а не на Выставке, и соглашается с предложением Председателя [Сборник 1894: 45].

Предложение председателя состояло в том, что раз устройство Сельскохозяйственного отдела поручено ведомству государственных имуществ, его рассмотрению и должен подлежать поднятый в прессе вопрос. Соответствующую записку надо поэтому препроводить в петербургскую Высочайше утвержденную комиссию по устройству выставки. В итоге можно сказать, что если бы «великорусская деревня» и правда была устроена, то функционировала бы она примерно так же, как и внеисторичная, внешне деполитизированная демонстрация «самоедов»¹⁶.

В одном из очерков, датированных 30 мая 1896 года, вторым днем работы выставки, Горький обращает внимание на то, что она оказалась скорее собранием диковинок, нежели действительной демонстрацией прогресса промышленности, искусств и ремесел. Горький воспроизводит свою беседу с одним из организаторов выставки, которого не называет по имени, но упоминает, что у него уже был опыт устройства выставок, и, скорее всего, это был В.И. Тимирязев. Собеседник Горького сокрушается:

Мы выставляем продукты труда нации, но где же приемы производства продуктов? Какое образовательное значение для публики и самих экспонентов имеет продукт, раз не показано, из чего и как он возникает? <...> Покажите формы производства, все условия его в их полном объеме, тогда это будет иметь развивающее значение как для публики, так и для самой промышленности [Горький 1953: 223—224].

Горькому вторил автор заметки в «Нижегородском листке», посвященной специально Отделу Крайнего Севера. В ней обращалось внимание на то, что все

16 О русском крестьянстве как объекте внутренней колонизации см., например: [Кочонис 2006].

эти демонстрации шкур белых медведей, чаек, бочек с рыбой, кукол и туфель из оленьих шкур ничего не добавляют к тому, что и так известно о Севере всякому гимназисту-четверокласснику:

В самом деле, перед вами ряд сетей, вы предполагаете о существовании рыбного промысла, но на какую площадь распространяется этот промысел, как обставлен он, каковы условия его, каковы выгоды извлекает из него население — этого ничего не показано. Вы видите олени и тюленьи шкуры, но никакие данные об оленеводстве и его современном состоянии не освещают экспонируемые шкуры [Северный Край I 1896: 2—3].

Под конец автор ставит также вопрос о влиянии на жизнь Севера «крупного капитализма», о чем устроенный Коровиным и Мамонтовым павильон тоже не сообщал ничего.

Надо сказать, что значительную часть газетных сообщений с выставки составляют именно описания разных диковинок — от людей-феноменов до «масок идолов» в коллекции по ламаизму Сибирского отдела¹⁷ и довольно архаичных уже показов монструозных отродий. Этнические же деревни, о которых пишет Горький, по какой-то причине так и не были устроены¹⁸, все ограничилось временными гастрольями музыкантов и танцоров вроде осетинских, а также показом самоедов в Отделе Крайнего Севера. В связи с этими нереализованными планами, однако, можно вспомнить еще о том, что в 1894 году, как раз по окончании голода и в преддверии выставки, нижегородский фотограф М.П. Дмитриев, с чьих фотографий самоедов началась эта история, отправляется в свое знаменитое путешествие по Волге, фотографируя природу, дома местных жителей, их самих — «типы» жителей Поволжья, как тогда говорили. С этих фотографий на нас смотрят «Ширковские рыболовы на озере Вселуг» (можно увидеть общий вид озера и Волги с живописным рыболовом или в лодке, или развешивающим сети); рыбаки на оз. Пено, снова рыбаки у д. Лохово, рыбаки у д. Хотошино, осташковские рыболовы, крестьянин в круглой шапке у села Селижарова и снова круглые шапки, но уже в Нижнем Новгороде, — «типажи нижнего базара»; общий вид ярмарочной стороны и плашкоутного моста. На других фотографиях — «черемисы», «мордва», «мусульмане», «татары» [Дмитриев 2013]. Некоторые из этих фотографий были сделаны уже после выставки, во время второй поездки Дмитриева, состоявшейся в 1903 году, но те снимки, что были сделаны в 1894-м, во время первой поездки, демонстрировались в собственном павильоне фотографа на выставке

17 Буддисты в это время официально определялись как идолопоклонники.

18 Мне не удалось найти упоминаний о таких планах ни в журналах заседаний нижегородского Распорядительного комитета выставки, ни в журналах петербургской Высочайше учрежденной комиссии по заведованию устройством выставки, хотя там фиксируются обсуждения самых разных вопросов: от разрешения на устройство «магических качелей» петербургскому купцу 1 гильдии А.В. Крашенинникову до предложений члена Французской академии изобретателей С.С. Ралли из г. Астрахани построить всю выставку на воде посреди Волги. Впрочем, Горький пишет об обсуждении этого вопроса не на официальном заседании, а в частном собрании, и возможно, что это — не только распространявшиеся в большом количестве накануне открытия выставки слухи, но и действительно имевшие место и обсуждавшиеся чиновниками коммерческие предложения. Если Горький действительно воспроизводит в очерке от 30 мая беседу с Тимирязевым, от него же он мог узнать и о неофициально обсуждавшихся планах относительно этнодеревень.

1896 года¹⁹. Можно сказать, что павильон Дмитриева был частичным виртуальным воплощением тех масштабных планов человеческого зоопарка, что, если верить Горькому, вынашивали Ковалевский, Тимирязев и Баранов.

Сюжеты фотографий Дмитриева схожи с теми, что избрал для своих панно Коровин. После выставки их предполагалось использовать для украшения станций строящейся Архангельской железной дороги, в частности Ярославского вокзала в Москве, и сегодня еще копии коровинских панно (оригиналы — в Государственной Третьяковской галерее) напутствуют отправляющихся на Север пассажиров. Одно из них называется «Ловля рыбы», и если смотреть на картину саму по себе, то она кажется не особо примечательной и интересной — как и у Дмитриева, какие-то люди заняты рыбным промыслом, только тут они помещены среди бушующего северного моря, что придает больше драматизма борьбе человека и природы, сильнее подчеркивает тяжесть труда рыбаков. Картина получает, однако, гораздо более конкретные значения, если представить ее в том изначальном контексте, для которого она создавалась, а именно в павильоне Крайнего Севера, где она служила демонстрации великих колонизаторских усилий и успехов русских в конце XIX века, рекламируя коммерческий проект Мамонтова. Картина побуждала присоединиться к колонизационным усилиям, окончательно сформировать человека. Другое панно, которое тоже можно сегодня увидеть при входе в Ярославский вокзал, изображает крохотную фигуру колониста, разделяющего огромную и белую, как Север, тушу кита на фоне промысловой фактории. Кроме упоминавшейся уже «Охоты на моржей» сохранились также «Прокладка узкоколейной железной дороги в тундре», «Базар у пристани в Архангельске», «Белые медведи», «Северное сияние», а также «Тюлений промысел на Белом море», изображающий самоедов, забивающих палками тюленей в прибрежной полосе. В связи с этой картиной Коровин упоминает единственный случай, когда самоед Василий решил прокомментировать его живопись: «Морской человек, — говорил самоед Савве Ивановичу про тюленя. — Они любят нас, с нами живут, мы их не бьем» [Коровин 2016: 399]. На первый взгляд все это нейтральные картины, как и аналогичные виды Нижнего Новгорода у Дмитриева с пароходами у Нижневолжской набережной, видами павильонов Нижегородской ярмарки или фотографиями сооружений Нижегородско-Ромодановской железной дороги, которая пройдет через мордовские земли и послужит их включению в общероссийский рынок.

На юбилейной выставке Коровина в ГТГ в 2012 году посвященные Северу панно были представлены в специально огороженном пространстве, напоминающем об Отделе Крайнего Севера, но в комментариях отсутствовали какие-либо упоминания о колониальном контексте этих произведений, о расистских шутках Коровина. Работы демонстрировались на чистых белых стенах²⁰, что в эстетическом плане было не лишено аутентичности (так же и у Коровина соз-

19 Павильон Дмитриева располагался непосредственно рядом с павильоном Крайнего Севера, его боковые окна можно увидеть на заднем плане на ил. 3.

20 На сайте выставки доступен виртуальный тур по ней, где можно увидеть как размещение картин, так и комментарии к ним; экскурсия сопровождается умиротворяющей музыкой. См.: korovin.tretyakov.ru/ekskladyuziv/virtualnaya-vystavka.html (дата обращения: 30.10.2016). Каталог выставки: [Коровин 2012]. См. также снятый независимо от выставки при участии ГТГ фильм «Константин Коровин. Северная идиллия»: www.youtube.com/watch?v=uFghmxUmedk (дата обращения: 30.10.2016).

давалась стереотипная ассоциация севера с белизной²¹), но в итоге изолировало, а не проблематизировало исторический контекст. Годом ранее в Государственном Русском музее демонстрировались другие северные панно Коровина, выполненные им уже для Парижской выставки 1900 года, и снова картины были размещены на белых стенах и с комментариями сугубо искусствоведческого характера²².

Контекст опущен и в современном издании некоторых фотографий «Волжской коллекции» М.П. Дмитриева, вышедшем в 2013 году. Более того, выполненное в ретростиле, оно предлагает нам как бы снова пережить путешествие по Волге, как это было возможно на рубеже XIX—XX веков. То, что фотографии Дмитриева сегодня наконец издаются, конечно, хорошо, и можно понять издателей, которые хотят акцентировать эстетические, а не политические контексты этих произведений, сделать для нас значимым то хорошее, что есть в них как проявлениях художественного мастерства. Вопрос, однако, в том, насколько действительно удастся таким образом нейтрализовать непристойное содержание таких образов, не подразумевает ли сам показ возобновление того взгляда, на который эти произведения были рассчитаны. Скажем, я как посетитель выставки Коровина или же как тот, кто смотрит на фотографии Дмитриева, ощущаю себя вправе иметь перед глазами запечатленных там людей, рассматривать их одежды, заглядывать в их лица, предлагать им встать у оленей (я же знаю, что вы выращиваете оленей) или, вооружившись веслом, занять величественную позу на шняке (я ведь знаю, что у вас там Северный Ледовитый океан и великие северные реки). Мой взгляд возрождает оптику человека конца XIX века.

Иными словами, люди и на фотографиях Дмитриева, и в *Gesamtkunstwerk*'е Коровина с самого начала представляли собой не только экономический ресурс, но и послушные объекты визуального знания, которыми я и теперь оказываюсь вправе распоряжаться, которые не скрываются от меня, будучи целиком мне предоставлены, — я могу заглянуть во внутренности их чума, я могу даже приобрести фотографию этого внутреннего пространства, сделав его визуально доступным мне и тогда, когда выставка закроется. Можно ли сказать, что фотография соучаствует в том насилии, которое осуществляется по отношению к колонизированным людям? Конечно, это насилие иного рода, чем то, что осуществляется при помощи демонстрируемых на выставке 1896 года новейших орудийных стволов, но в определенном смысле оно — не менее опасное, потому что красивые фотографии, которые потом печатались в альбомах и продавались как открытки, культивировали и поддерживали те способы видения,

21 «Все экспонаты сверкают снежной белизной, — здесь и олень белый, бела и куропатка, преобладающий цвет прочих птиц белый. Иллюзия получается полная: незаметно перед глазами встают бесконечные снеговые равнины» [Северный край II 1896: 2].

22 См. каталог выставки: [Коровин 2012], репортаж «Вестей» с ее открытия: www.youtube.com/watch?v=NnsNLtCeWiw (дата обращения: 30.10.2016), а также опубликованную Русским музеем независимо от выставки лекцию о Коровине ведущего методиста сектора методики экскурсионной и лекционной работы А.В. Прозоровой, где под конец речь заходит и о северных панно: www.youtube.com/watch?v=aX-aKYqr_uw (дата обращения: 30.10.2016). 15 декабря 2016 года открылась выставка «Павильон “Крайний Север”» в ГЦСИ «Арсенал» (Нижний Новгород), научная программа которой включает и проблематику моделирования географических образов: www.ncca.ru/events.text?filial=3&id=3886 (дата обращения: 15.02.2017).

которые делали оправданным применение более прямого насилия, действительно превращали людей в экономические ресурсы, в послушные объекты научного и административного знания.

Важно также, что когда такого рода фотографии воспроизводятся уже в современных альбомах («В фокусе времени» 1996 года, «Нижегородская фотография» 2007 года, «Нижегородские открытия: Код Шухова» 2013 года и др.; они также легко доступны в Интернете), и воспроизводятся без необходимых комментариев, как если бы с этими изображениями было все в порядке, то это проблема уже наших визуальных практик. На такие фотографии предлагается смотреть как на такие же приятные и любопытные, как и на дмитриевские «Вид Благовещенской площади» или «Кремль со Спасо-Преображенским собором», способные даже пробуждать в нас чувство ностальгии по тем временам, когда Нижний Новгород был так красиво благоустроен, — и особенно красиво во время выставки 1896 года. Вот бы вернуться в те дни, пройтись по аллеям выставки, свернуть в Отдел Севера с дрессированным тюленем и самоедами... Издание снимков из «Волжской коллекции» Дмитриева прямо предлагает читателям как бы снова пережить это увлекательное путешествие. В коротком введении задача Дмитриева при создании этих фотографий описывается просто как «запечатлеть Волгу от истоков до устья» [Дмитриев 2013: 5], как будто это производство визуального знания было нейтральным актом, не связанным с современными ему имперскими политикой и экономикой.

Нужно ли сегодня портить себе впечатление от этих прекрасных фотографий воспоминаниями о разных сомнительных контекстах? Что делать с этим колониальным прошлым, которое, впрочем, не так уж чуждо современности²³: оставлять его за скобками, показывая «хорошую» сторону выставки 1896 года и связанных с ней фотографий Дмитриева? Удивляться «Демону» Врубеля в павильоне Севера, не удивляясь женщине-самоедке там же? Или все-таки обратить внимание и на нее тоже, и не только на нее. Как быть с тем же запечатленным Дмитриевым павильоном «Покорение Кавказа. Штурм Ахульго», где находилась панорама Рубо — того самого Рубо, что и знаменитую «Бородинскую панораму» создал, и «Оборону Севастополя», только тут изображалось сражение, которое сегодня представляется морально весьма сомнительным? В отличие от Бородинской битвы и обороны Севастополя о воинской славе героев Ахульго в наши дни вспоминать не принято. В наше время фотография Дмитриева с павильоном «Покорение Кавказа», над которым развевается большой российский флаг, оказывается напоминанием о ставшей непристойной исторической памяти. В то же время эта хорошо воспроизведенная в современном альбоме ретрофотография не лишена и эстетизации непристойного [Дмитриев 1996: 223].

Здесь, в заключение, может быть, стоит еще упомянуть фотографии Дмитриева совсем иного рода: в 1891—1892 годах он снимает голод в Нижегородской губернии — доставку семян нуждающимся в деревню Урга Княгинин-

23 Панно Коровина, которые в советское время были сняты со стен Ярославского вокзала и долгое время хранились в небрежении в одном из подсобных помещений [Киселев 2011], вернулись в виде копий в постсоветскую эпоху. Мамонтов в 2008 году был удостоен памятника у Главного вокзала Ярославля — в этом городе сегодня размещается дирекция Северной железной дороги. Бронзовая фигура Мамонтова стоит на фоне нарисованной у него за спиной ретрокарты Севера с прочерченной на ней линией железнодорожной ветки.

ского уезда, земскую столовую в селе Большом Мурашкине того же уезда, раздачу крестьянам благотворительного хлеба, детей в «народной столовой», но также и взгляд мальчика на фотографии «Семья крестьянина Тугаева, больная тифом, село Протасово Лукояновского уезда» (ил. 5).



Ил. 5. Семья крестьянина Тугаева, больная тифом. Село Протасово Лукояновского уезда (фотограф М.П. Дмитриев. 1891–1892). Фрагмент [Дмитриев 1996: 254]

Один из комментариев к фотографиям начала 1890-х годов: «Мы получили от нижегородского фотографа г. М. Дмитриева фототипный альбом сцен неурожайного 1891–1892 года в разных местах Нижегородской губернии, заключающий в себе 51 лист фототипий, сделанных этим художником-фотографом с натуры...» [Дмитриев 1996: 248–249]. И чуть дальше: «Правда, фототипии, сделанные в мастерской г. Дмитриева, при всем его желании и старании, не передают всех тех прелестей, которыми дышат его оригиналы...» [Дмитриев 1996: 249]. Можно ли представить себе, чтобы сегодня кто-то рассуждал о прелести, которой дышат оригиналы фотографий Аушвица? Или публиковал бы их в ностальгических альбомах «наша старина»? В случае с фотографиями Дмитриева, изображающими голод или колониальный зоопарк, это оказывается возможно²⁴. Проблема

здесь, наверно, двойная: и в том, что фотографии Дмитриева стремятся сочетать документальность с художественностью, в них есть внутреннее противоречие, которое оказывается, с сегодняшней точки зрения, противоречием моральным; и в том, что, несмотря на все катаклизмы XX века, не возникло еще достаточной дистанции по отношению к тем временам, когда жили Коровин и Дмитриев. Имперское прошлое не воспринимается как нечто чуждое и непристойное, и это уже проблема сегодняшних способов его репрезентации.

24 Это не значит, что такие фотографии лучше опускать в ностальгических сборниках, — скорее «публичную историю» нужно делать более проблемной, чем ностальгической. Подробнее о современном использовании фотографического наследия Дмитриева в Нижнем Новгороде и в более широком общероссийском контексте см.: [Кобылин 2016].

Библиография / References

- [XVI Всероссийская 2016] — XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года в Нижнем Новгороде / Сост. Я. Гройсман, М. Храповицкий, С. Пожарская. Нижний Новгород: Деком, 2016.
- (XVI Vserossiyskaya promyshlennaya i khudozhestvennaya vystavka 1896 goda v Nizhnem Novgorode / Ed. by Ya. Groysman, M. Khrapovitskiy, S. Pozharskaya. Nizhny Novgorod, 2016.)
- [Атрощенко 2013] — *Атрощенко О.* Русские художники: путь на Север // Третьяковская галерея. 2013. Специальный выпуск: Норвегия — Россия на перекрестках культур (www.tg-m.ru/articles/norvegiya-rossiya-na-perekrestkakh-kultur/russkie-khudozhniki-put-sever (дата обращения: 30.10.2016)).
- (*Atroschenko O.* Russkie khudozhniki: put' na Sever // *Tret'yakovskaya galereya*. 2013. Special issue: Norvegiya — Rossiya na perekrestkakh kul'tur (www.tg-m.ru/articles/norvegiya-rossiya-na-perekrestkakh-kultur/russkie-khudozhniki-put-sever (accessed: 30.10.2016)).)
- [Виноградова, Авдеев 2013] — Нижегородские открытия: Код Шухова / Сост. Т.П. Виноградова, С.Н. Авдеев. Нижний Новгород: Покровка 7, 2013.
- (*Nizhegorodskie otkrytiya: Kod Shukhova* / Ed. by T.P. Vinogradova, S.N. Avdeev. Nizhny Novgorod, 2013.)
- [Витте 1960] — *Витте С.Ю.* Воспоминания / Под общ. ред. А.Л. Сидорова. Т. 2: 1894 — октябрь 1905. Царствование Николая II. М.: Соцэргиз, 1960.
- (*Vitte S.Yu.* Vospominaniya / Ed. by A.L. Sidorov. Vol. 2: 1894 — oktyabr' 1905. Tsarstvovanie Nikolaya II. Moscow, 1960.)
- [Вишленкова 2011] — *Вишленкова Е.А.* Визуальное народоведение империи, или Увидеть русского дано не каждому. М.: Новое литературное обозрение, 2011.
- (*Vishlenkova E.A.* Vizual'noe narodovedenie imperii, ili Uvidet' russkogo дано не kazhdomu. Moscow, 2011.)
- [Гемуев, Молодин, Соколова 2005] — Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Энты. Нганасаны. Кеты / Отв. ред. И.Н. Гемуев, В.И. Молодин, З.П. Соколова. М.: Наука, 2005.
- (*Narody Zapadnoy Sibiri: Khanty. Mansi. Sel'kupy. Nentsy. Entsy. Nnganasany. Kety* / Ed. by I.N. Gemuev, V.I. Molodin, Z.P. Sokolova. Moscow, 2005.)
- [Горький 1953] — *Горький А.М.* С Всероссийской выставки: (Впечатления, наблюдения, наброски, сцены и т.д.) // Горький А.М. Собрание сочинений: В 13 т. Т. 23: Статьи 1895—1906. М.: ГИХЛ, 1953. С. 213—254.
- (*Gorky A.M.* S Vserossiyskooy vystavki: (Vpechatleniya, nablyudeniya, nabroski, stseny i t.d.) // *Gorky A.M. Sbranie sochineniy: In 13 vols. Vol. 23: Stat'i 1895—1906.* Moscow, 1953. P. 213—254.)
- [Дмитриев 1996] — *Дмитриев М.П.* В фокусе времени. Нижний Новгород: Арника, 1996.
- (*Dmitriev M.P.* V fokuse vremeni. Nizhny Novgorod, 1996.)
- [Дмитриев 2013] — *Дмитриев М.П.* Волжская коллекция (1894—1903): По Волге-реке. Нижний Новгород: Деком, 2013.
- (*Dmitriev M.P.* Volzhskaya kolleksiya (1894—1903): Po Volge-reke. Nizhny Novgorod, 2013.)
- [Киселев 2011] — *Киселев М.* Нижегородские панно К.А. Коровина // Русское искусство. 2011. № 4. С. 86—84.
- (*Kiselev M.* Nizhegorodskie panno K.A. Korovina // *Russkoe iskusstvo*. 2011. № 4. P. 86—84.)
- [Кобылин 2016] — *Кобылин И.И.* Из Нижнего в Горький и обратно: Старая фотография, кино и историческое воображение // Неприкосновенный запас. 2016. № 106. С. 129—149.
- (*Kobylin I.I.* Iz Nizhnego v Gor'kiy i obratno: Staraya fotografiya, kino i istoricheskoe voobrazhenie // *Neprikosnovennyuy zapas*. 2016. № 106. P. 129—149.)
- [Коган 1980] — *Коган Д. М.А.* Врубель. М.: Искусство, 1980.
- (*Kogan D. M.A.* Vrubel'. Moscow, 1980.)
- [Коровин 1993] — *Коровин К.А.* Шаляпин: Встречи и совместная жизнь. М.: Московский рабочий, 1993.
- (*Korovin K.A.* Shalyapin: Vstrechi i sovместnaya zhizn'. Moscow, 1993.)
- [Коровин 2012] — Константин Коровин: Живопись. Театр. М.: Государственная Третьяковская галерея, 2012.
- (*Konstantin Korovin: Zhivopis'.* Teatr. Moscow, 2012.)
- [Коровин 2016] — *Коровин К.А.* «То было давно... там... в России...»: Воспоминания, рассказы, письма: В 2 кн. / Сост., вступ. ст. Т.С. Ермолаевой; примеч. Т.С. Ермолаевой, Т.В. Есиной. 4-е изд. Кн. 1. М.: Русский путь, 2016.
- (*Korovin K.A.* «To bylo davno... tam... v Rossii...»: Vspominaniya, rasskazy, pis'ma: In 2 vols. / Ed. by T.S. Ermolaeva. 4th ed. Vol. 1. Moscow, 2016.)

- [Коцонис 2006] — *Коцонис Я.* Как крестьян делили отсталыми: Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России, 1861—1914 / Авториз. пер. с англ. В. Макарова. М.: Новое литературное обозрение, 2006.
- (*Kotsonis Ya.* Making Peasants Backward: Agricultural Cooperatives and the Agrarian Question in Russia, 1861—1914. Moscow, 2006. — In Russ.)
- [Кузнецов, Наумова 2013] — *Кузнецов И., Наумова О.* Старый Нижний в деталях. Нижний Новгород: Кварц, 2013.
- (*Kuznetsov I., Naumova O.* Staryy Nizhniy v detalyakh. Nizhny Novgorod, 2013.)
- [Наумова, Пожарская 2013] — Нижний Новгород и нижегородцы в старинных фотографиях / Сост. О. Наумова, С. Пожарская. Нижний Новгород: Кварц, 2013.
- (Nizhniy Novgorod i nizhegorodtsy v starinnykh fotografyakh / Ed. by O. Naumova, S. Pozharskaya. Nizhny Novgorod, 2013.)
- [Островский 1940] — *Островский Л.В.* Прошлое и будущее зоопарка // Труды Московского зоопарка. Т. 1. М.: Московский зоопарк, 1940. С. 9—31.
- (*Ostrovskiy L. V.* Proshloe i budushchee zooparka // Trudy Moskovskogo zooparka. Vol. 1. Moscow, 1940. P. 9—31.)
- [Пайер 1935] — *Пайер Ю.* 725 дней во льдах Арктики: Австро-венгерская полярная экспедиция 1871—1874 / Пер. с нем. и ред. И. и Л. Ретовских. Л.: Издательство Главсевморпути, 1935.
- (*Payer J.* Die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition in den Jahren 1872—1874 nebst einer Skizze der Polar-Expedition von 1871. Leningrad, 1935. — In Russ.)
- [Путеводитель 1959] — Путеводитель по экспозиции «Народы Севера»: Ненцы и эвенки, XIX—XX вв. Л.: Государственный музей этнографии народов СССР, 1959.
- (*Putevoditel' po ekspozitsii «Narody Severa»:* Nentsy i evenki, XIX—XX vv. Leningrad, 1959.)
- [Саид 2006] — *Саид Э.* Ориентализм: Западные концепции Востока / Пер. с англ. А. Говорунова. М.: Русский мир, 2006.
- (*Said E.* Orientalism. Moscow, 2006. — In Russ.)
- [Сборник 1894] — Сборник журналов заседаний Нижегородского распорядительного комитета Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде. Вып. 1: С 25 августа 1893 г. по 1 января 1895 г. Нижний Новгород: С.Н. Казачков, 1894.
- (*Sbornik zhurnalov zasedaniy Nizhegorodskogo rasporyaditel'nogo komiteta Vserossiyskoy promyshlennoy i khudozhestvennoy vystavki 1896 goda v Nizhnem Novgorode.* Vol. 1: S 25
- avgusta 1893 g. po 1 yanvarya 1895 g. Nizhny Novgorod, 1894.)
- [Северный край I 1896] — Северный край: (XX отдел) // Нижегородский листок. 1896. № 155. 7 июня. С. 2—3.
- (*Severnuyy kray: (XX otdel) // Nizhegorodskiy listok.* 1896. № 155. June 7. P. 2—3.)
- [Северный край II 1896] — Северный край: (XX отдел) // Нижегородский листок. 1896. № 159. 11 июня. С. 2—3.
- (*Severnuyy kray: (XX otdel) // Nizhegorodskiy listok.* 1896. № 159. June 11. P. 2—3.)
- [Слезкин 2008] — *Слезкин Ю.* Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера / Авториз. пер. с англ. О. Леонтьевой. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
- (*Slezkine Yu.* Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North. Moscow, 2008. — In Russ.)
- [Хомич 1966] — *Хомич Л.В.* Ненцы: Историко-этнографические очерки. М.; Л.: Наука, 1966.
- (*Khomich L. V.* Nentsy: Istoriko-etnograficheskie ocherki. Moscow; Leningrad, 1966.)
- [Шустов 1896] — *Шустов А.С.* Альбом участников Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде 1896 г. СПб.: Типография Министерства путей сообщения, 1896.
- (*Shustov A. S.* Al'bom uchastnikov Vserossiyskoy promyshlennoy i khudozhestvennoy vystavki v Nizhnem Novgorode 1896 g. Saint Petersburg, 1896.)
- [1896. Latviešu 2016] — 1896. Latviešu etnogrāfiskā izstāde / Sast. S. Stinkule; tekstu autori: J. Ciglis, T. Ķikuts, S. Stinkule; red. S. Kušnere. Rīga: Neputns, 2016.
- [Comaroff, Comaroff 1997] — *Comaroff J., Comaroff J.L.* Of Revelation and Revolution. Vol. 2: The Dialectics of Modernity on a South African Frontier. London; Chicago: University of Chicago Press, 1997.
- [Dreesbach 2005] — *Dreesbach A.* Gezähmte Wilde: Die Zurschaustellung „exotischer“ Menschen in Deutschland 1870—1940. Frankfurt am Main; New York: Campus, 2005.
- [Fanon 1952] — *Fanon F.* Peau noire, masques blancs. Paris: Seuil, 1952.
- [Hagenbeck 1908] — *Hagenbeck C.* Von Tieren und Menschen: Erlebnisse und Erfahrungen. Berlin: Vita, 1908.
- [Radauer 2011] — *Radauer C.G.* Hagenbeck's anthropologisch-zoologische Kalmücken Ausstellung: Diplomarbeit. Universität Wien, 2011.
- [Rothfels 2002] — *Rothfels N.* Savages and Beasts: The Birth of the Modern Zoo. Baltimore; London: Johns Hopkins University Press, 2002.
- [Schimanski, Spring 2002] — *Schimanski J., Spring J.* Polarwissenschaft und Kolonialismus in österre-

- ich-Ungarn: Zur Rezeption der österreichisch-ungarischen Polarexpedition (1872—1874) // Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit. 2002. Heft 2. S. 53—71.
- [Thode-Arora 1989] — *Thode-Arora H.* Für fünfzig Pfennig um die Welt: Die Hagenbeckschen Völkerschauen. Frankfurt am Main, New York: Campus, 1989.
- [Voges 2001] — *Voges H.* Das Völkerkundemuseum // Deutsche Erinnerungsorte / Hrsg. von E. François, H. Schulze. Bd. 1. München: C.H. Beck, 2001. S. 305—321.

Надежда Крылова

Нерчинская каторга:

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА РОССИЙСКУЮ
ИМПЕРИЮ В ФОТОГРАФИЯХ «ВИДОВ И ТИПОВ»
ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА

Nadezhda Krylova

The Nerchinsk Katorga: An Ethnographic View of the Russian Empire in Photographs of 'Types and Species'
During the Final Quarter of the Nineteenth Century

Крылова Надежда (Музей «Мультимедийный комплекс актуальных искусств»; главный специалист Отдела учета и хранения; аспирант Института «Русская антропологическая школа» РГГУ) nadinkru@gmail.com.

Krylova Nadezhda (Museum Multimedia Complex of Actual Arts; curator of Storage Department; PhD Student of Russian Anthropology School RSUH) nadinkru@gmail.com.

Ключевые слова: этнографический взгляд, фотография, зритель, картинность, «tableau», виды и типы, документальность, постановочность, криминальная антропология, тюремная выставка, Нерчинская каторга

Key words: ethnographic view, photography, viewer, picture, «tableau», types and views, documentary, staged photography, criminal anthropology, the prison exhibition, Nerchinsk hard labor

УДК: 77.03, 77.04, 7.01.7

UDC: 77.03,77.04,7.01.7

В статье на материале фотографий Нерчинской каторги рассматривается популярный во второй половине XIX века жанр «видов и типов». Он не только несет на себе следы отношений власти и подчинения, установившихся в то время в империи, но и содержит черты определенного режима документальности, позволяя судить об особых характеристиках взгляда, в расчете на который создавались подобные типовые изображения. Криминальная антропология и этнография очерчивают круг методов и приемов жанра, обнаруживая близость двух наук, подчеркивая репрессивный характер антропологических трудов и исследовательские амбиции криминальных служб. Два фоторепортажа разных авторов дают возможность увидеть взаимосвязь изменений в восприятии технических возможностей камеры и в понимании изображения как свидетельства.

Using photographic materials from the Nerchinsk prison camp, Krylova examines the popular late nineteenth-century genre of 'types and species.' This genre not only contains the relationship between authority and subjugation established at that time in the empire, but also the features of a certain mode of documentation. This latter point opens up a discussion of particular characteristics of the gaze that conditioned the creation of such 'typical' images. Criminal anthropology and ethnography offer a number of generic methods and devices that reveal the proximity of the two sciences and underscore both the repressive character of anthropological studies and the research ambitions of criminal investigators. Two photographic reports made by different authors provide an opportunity to see the connection between changes in the perception of the camera's technological capabilities and in the understanding of an image as witness.

Попытки сбора и систематизации разнообразной визуальной информации в последней четверти XIX века часто проходили сквозь призму этнографического взгляда, выраженного в пристальном внимании к телу и лицу человека, в стремлении поместить его в рамки определенной типологии. Подобный подход позволял успешнее сравнивать и ранжировать индивидов, став своего рода результатом формирования особых социально-общественных отношений в России той

эпохи; политического и культурного разделения разных слоев общества на наблюдающих и наблюдаемых.

Ярко выраженный этнографический интерес можно видеть в фотографиях этого периода, не только в узкопрофессиональных областях антропологии и этнографии, но и, например, в художественной и в специальной служебной съемке (в криминалистике, сыском деле, судебной медицине и др.).

В рамках этой логики появился популярный в 1870—1880-е годы жанр «виды и типы». Техническая и стилистическая парадигма «видов и типов» имела тесную связь с картинностью, акцентировавшей ситуацию взгляда, и особым режимом документальности, на смену которому позднее пришел «нейтральный стиль» полевых съемок. Снимки, на которых фигуры были частью определенных законченных мизансцен, представляли мир как изолированный от наблюдателя, всячески подчеркивая дистанцию между зрителем и объектом, но в то же время предлагали ему вполне определенное, комфортное место, относительно которого разворачивалось зрелище.

Более специальные съемки типов в профиль и анфас, отсылающие к контекстам антропологических и криминологических исследований, были отражением освоения в течение XIX века визуальной репрезентации социальными науками. Здесь место зрителя и оптический взгляд камеры становятся неразрывным целым и, несмотря на зримое упрощение, мизансцена еще более жестко закрепляет позицию смотрящего. Подчеркнутый однотонным серым задником, объект как будто выступает из своего фона и оказывается лицом к лицу с объективом.

Данный вид съемок, как считает исследователь фотографии Дж. Тэгг [Tagg 1988: 5, 11], появился в рамках определенного понимания «свидетельства», возникшего внутри специфических институциональных контекстов и логик конкретных дисциплин. Стандартизированные изображения анфас и в профиль отделялись от логики художественного портрета, становясь проявлением репрессивной функции фотографии. Антропологические и криминальные типы, при прежних несовершенных технических условиях, создавали новую ситуацию встречи объекта и зрителя в режиме «здесь и сейчас», ставшем впоследствии основным для современного понимания документальности.

В последней трети XIX века под влиянием дискуссий о природе преступления уголовное право претерпело большие изменения. Большую известность в это время приобрела итальянская школа криминалистов во главе с известным врачом и криминологом Чезаре Ломброзо, предложившая новый метод борьбы с преступлениями с помощью наблюдения за соматическими и физическими особенностями преступника. В 1870-е годы взвешивание, измерение, наблюдение за преступником и его социальной средой легли в основание новой науки — криминальной антропологии. В отличие от классической школы уголовного права, концентрировавшей внимание на справедливости возмездия/наказания за нарушение закона, новая школа обратилась к изучению личности преступника [Гернет 1905: 1—28].

Ломброзо и его единомышленники предположили существование особого типа преступного человека, отмеченного физическими (покатый лоб, развитые подглазничные дуги, большие скулы, большая нижняя челюсть) и психическими признаками (неспособность к состраданию, склонность к жестокости, легкомыслие, слабая воля). Хотя эта теория не стала доминирующим направлением в криминальной антропологии, дискуссии о существовании биологи-

ческого типа преступника, а также классификации типажей преступников, созданные Ломброзо на основании антропометрической статистики, во многом определили круг ее методов. В отличие от итальянской школы, занимающейся поиском криминального типа вообще, система Альфонса Бертильона, ставшая на несколько десятилетий ведущим методом криминалистики, основывалась на поиске конкретного индивида.

Во многом именно через типы и посредством фотографии на массовый рынок зрителей среднего класса проникают изображения наименее обозримого опыта социально неблагополучных категорий населения [Price 2004: 75]. В рассматриваемый период большую популярность приобретают съемки различных типов каторжников, сочетающие в себе черты этнографической и полицейской фотографии. Примерно до второй половины XIX века в России не было сложившегося визуального языка для выражения маргинального опыта арестантов, равно как не было и восприятия такого опыта как составного элемента общества. Хотя фотографии преступников стали появляться практически сразу, публичное распространение подобных снимков затруднялось стремлением государственных органов ввести монополию на создание и тиражирование изображений такого рода.

Запрет распространять снимки политических преступников, например, существовал вплоть до принятия Манифеста 17 октября 1905 года. Однако изображения обобщенного характера — типаж арестантов без отсылки к конкретным именам — стали к 1880-м годам весьма популярным зрелищем. В 1880—1890-е годы фотографии, изображающие типы осужденных, получали награды на фотографических выставках и, тиражируемые в виде почтовых открыток, становились частью повседневности¹. Такой интерес был, вероятно, отголоском популярной в обществе физиогномики — теории, устанавливающей связь между внешним видом человека и его занятиями, склонностями, характером²:

Морфологическая физиогномика... есть достояние каждого развитого человека. Каждый составил себе известный кодекс физиогномических данных, по которым он судит о других. Душа человека сокрыта, а все сокровенное именно и возбуждает особое любопытство наше. Каждому хочется проникнуть вглубь нравственной жизни другого, знать, чего от него можно ждать или надеяться, не говоря уже о практических целях, которые делают практическую физиогномику необходимой в жизни [Богданов 1878: 2].

Многих, вслед за Ломброзо и английским психологом Ф. Гальтоном, занимал вопрос о профилактике преступлений с помощью «вычисления» биологического типа потенциального нарушителя [Secula 1986: 18—19].

Одной из причин подъема интереса к арестантской теме стал проходивший в 1890 году 4-й международный пенитенциарный конгресс. Российское правительство, пребывающее в последней четверти XIX века в сложной социально-политической ситуации, проявляло большую заинтересованность в преобразовании тюремной структуры и усовершенствовании тюремной политики, активно обмениваясь опытом со специалистами из других стран. Устройство

1 Известны, например, фототипические открытки «Типов и видов Нерчинской каторги» А.К. Кузнецова.

2 Из русскоязычных сочинений этого периода на эту тему можно указать, например, следующие: [Бурдон 1864; Астрономический телескоп 1874; Богданов 1878].

такого заметного для мировой общественности события считалось и вопросом престижа — это характеризовало страну-организатора как сторонницу важных реформ.

Конгресс большое внимание уделял вопросу благотворного влияния труда на нравственное состояние заключенных, что полностью отвечало стремлению государства продемонстрировать публике успешное применение утвержденного в январе 1886 года особого положения об организации арестантского труда в Российской империи. Это был первый закон³, регулировавший работу заключенных в тюрьмах и в местах ссылки⁴. В основание этого закона легли такие положения, как обязательность труда для определенных категорий заключенных и денежное вознаграждение за труд в зависимости от вида лишения свободы. Положение о труде влекло за собой, прежде всего, перестройку всей тюремной жизни — организацию специальных помещений для мастерских, снабжение тюрем инструментами, сырьем для работ, обеспечение должного количества охраны и оборудованного рабочего пространства, в том числе на заводах и рудниках. Важной проблемой было создание устойчивого спроса на арестантский труд — как правило, частные предприниматели не хотели пользоваться некачественными услугами, а для государства в условиях постоянно возрастающего количества отправлявшихся по этапам было крайне дорого искусственно создавать занятость, тем самым решая в глазах общества задачу исправления преступников.

Популяризировать идею подневольного труда было решено с помощью первой в России тюремной выставки, приуроченной к пенитенциарному конгрессу. Она была устроена в Михайловском манеже «в размерах, доселе невиданных даже в Западной Европе» [Нива 1890: 627]. Для ее подготовки свозились экспонаты со всей страны — выполнялись фотографии мест отбывания наказаний, отбирались предметы труда и быта, как заключенных, так и абригенов, доставлялись коллекции образцов флоры и фауны из самых отдаленных мест империи. Многие из них шли через десятки перегрузок, совершая настоящее кругосветное путешествие, но, как отмечено в путеводителе по выставке, «даже сухари, выпеченные арестантами и прошедшие через тропики, сохранились прекрасно» [Международная тюремная выставка 1890: 21].

Как все экспонаты, так и сам «дизайн», по мысли устроителя, начальника Главного тюремного управления М.Н. Галкина-Враского, были созданы из материалов, добываемых и вырабатываемых исключительно в тюрьмах или ссыльными, что, однако, не помешало выставке производить на посетителей впечатление «грандиозное, живописное и нарядное» [Нива 1890: 627].

Этот масштабный проект призван был не только ознакомить просвещенную публику с тюремными порядками, но и репрезентировать империю для внутреннего и внешнего зрителя. Одной из главных задач выставки было официально представить российскую тюремную систему международному сообществу, а также доказать эффективность и популяризировать среди русских дорогостоящие для казны ссылки и каторгу.

3 № 3447 от 6 января 1886 года. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета (Собрание узаконений 1886 года, 21 марта. Ст. 247) «О занятии арестантов работами и о распределении получаемых от сего доходов» [Полное собрание законов 1888: 8—11].

4 См., например: [Очерк развития арестантского труда 1890].

К 1880-м годам большинство государств, кроме России, Франции, Португалии и Испании, склонились к модернизации институтов наказания преступников и предпочли ссылке тюрьму, так как «ссылка, мало-мальски организованная, обходилась несравненно дороже тюрьмы» [Фойницкий 1881: 305]. Они отказались высылать преступников в колонии по причине сложности и дороговизны транспортировки, отсутствия должного контроля за отбывающими наказание вдали от центральной власти и негативного эффекта, оказываемого на развитие местных территорий. Вставали и чисто практические вопросы, вроде сложности отбора на каторжную работу лишь молодых, физически здоровых арестантов, а также вопрос гуманности изгнания преступников из общества и их пожизненной изоляции. Странники же ссылки утверждали, что,

доставляя государству безопасность почти в той же степени, как смертная казнь, ссылка есть единственное пожизненное наказание, с которым мирится чувство справедливости современного человека, так как она несравненно легче допускает возможность перехода к свободной жизни, чем тюрьма [Фойницкий 1881: 318].

Россия впервые представила свои достижения в этой области в таком объеме — русский отдел занимал 3/5 всего пространства манежа. Кроме общих тем труда в отделе были представлены два целостных раздела, повествующих о жизни восточных окраин России — Нерчинской каторги и Сахалина. В контексте выставки эти пространства удалось показать как места идеальной подотчетности и подчинения, визуализируя гомогенность власти на огромной территории и как бы создавая образцовое государство в государстве — идиллическую колонию, построенную на эффективном труде и исправлении членов общества.

Как показал Бенедикт Андерсон, развитие национализма в XIX веке как нового мировоззрения было неразрывно связано с изменением восприятия пространства [Андерсон 2001: 10]. Фотография мест ссылки позволяла решить вопрос формирования образа границ империи, остававшихся неведомыми для среднестатистического зрителя. С целью знакомства посетителя с отдаленными территориями на выставке была представлена, например, этнографическая коллекция Сахалина [Беляновский 2009: 35; Нива 1890: 627].

* * *

Нерчинская каторга — едва ли не самое знаменитое место заключения в Российской империи, находилось в непосредственном ведении Кабинета Его Императорского Величества. На выставке она привлекала особое внимание благодаря сооруженной в конце зала модели Алгачинского рудника в натуральную величину. За ней всю стену занимала картина, представляющая собой перспективу окрестностей, что делало «иллюзию полною». Внутри этой модели можно было спуститься по шахте,

где изумленный зритель в различных коридорах и переходах видит воочию все устройство рудника, рабочих-арестантов (манекены), приспособления для их безопасности и проч. [Нива 1890: 627].

...Мороз по коже пробирает, когда вы входите в подземную галерею, откуда добывается «презренный металл», руками и трудами «искупающих своих вины» пред законом и обществом [Международная тюремная выставка 1890: 4–5].

Вся выставка наряду с предметами тюремного быта, планами, макетами тюрем и камер с манекенами в форме надзирателей и арестантов, отчетами и нормативными актами, а также произведениями арестантского труда сопровождалась и обширным фотографическим материалом [Каталог 1890]. Одна из самых заметных серий Русского отдела иллюстрировала «Типы и виды Нерчинской каторги». Автором серии был фотограф-любитель Алексей Кириллович Кузнецов⁵, сам бывший ссыльнокаторжный. После отбытия каторги он перебрался в Нерчинск, где стал профессионально заниматься фотографией.

По причине его добросовестности и надежности выбор фотографа для выполнения серии для Тюремной выставки пал на Кузнецова. Из его писем, сохранившихся в канцелярии Нерчинской каторги, можно заключить, что указания по поводу выполнения работ давались самого общего характера (маршрут, приблизительное число снимков в каждом месте, обеспечение разрешения на съемку)⁶ и решение о выборе места, приемов, деталей съемки оставалось на усмотрение фотографа.

Серия была подготовлена Кузнецовым в 1888 году в трех экземплярах специально для показа на тюремной выставке с запретом распространять ее в его собственных интересах. Сознание значимости проделанной работы и невозможность представить ее на ближайшей Московской фотографической выставке сильно расстраивали автора: «Все, кто видит у меня типы и виды Нерчинской каторги, находят их очень интересными, а в России они произвели бы огромное впечатление, и я наверно получил бы награду»⁷. Действительно, несколько лет спустя современники оценили труд Кузнецова по заслугам, и в 1891 году один из экземпляров альбома попал в собрание Императорской публичной библиотеки, где он и хранится в настоящее время [Российские фотографии 2013: 667; Бархатова 2009: 249].

* * *

Фотографический альбом второй половины XIX века — особый тип организации визуального материала — рассчитан на продолжительный индивидуальный просмотр, логика которого задана уже самим весом и форматом издания (некоторые альбомы имели вес до 7 кг и размер до 100 см). Кроме того, подобные альбомы являлись уникальной вещью, сделанной вручную; выпускались небольшим тиражом (нередко они переиздавались в формате более выгодных для продажи открыток), при этом каждый экземпляр отличался от другого,

5 Алексей Кириллович Кузнецов (1846—1928) в 1869 году был арестован за убийство студента Иванова членами революционного кружка «Народная расправа» и сослан в Сибирь на каторжные работы сроком на 10 лет с последующим бессрочным поселением. После 1876 года жил в Нерчинске, где начал заниматься фотографией. Участвовал в 3-й выставке 5-го отдела ИРГО в Петербурге (1891), где демонстрировал виды Восточной Сибири и Дарасунских приисков. В 1905 году принял деятельное участие в революционном движении в Забайкалье и в марте 1906 года военнопольным судом приговорен к повешению. По ходатайству Императорской академии наук и ИРГО казнь была заменена десятилетней каторгой в Акатуе [Российские фотографии 2013: 667].

6 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 29 (канцелярия Нерчинской каторги). Оп. 1 (делопроизводство 246). Д. 526 Л. 3—7.

7 Там же.

в том числе характеристиками печати снимков. Один альбом требовал труда нескольких мастеров: фотографа (включая работы по проявке, печати и наклейке на картон), переплетчиков, типографов (производство и тиснение паспарту) и иногда писаря и ювелира. Такие издания могли носить характер презентационных и преподноситься в подарок официальному лицу или в частные коллекции, музеи или библиотеки.

Фотографии альбома «Типы и виды Нерчинской каторги» были не только выполнены Кузнецовым, но и организованы в определенную последовательность. Важно, что листы серии не разрознены, а сброшюрованы, пронумерованы и скреплены соответствующим списком с перечислением работ (всего 63 фотографии) самим автором. Каждая фотография относительно небольшого размера (размер альбома 42,5 × 37 см, снимка — около 18 × 23) наклеена на отдельное паспарту, оформленное рамкой с подписью серии наверху и названием изображения внизу с фамилией фотографа. На паспарту отпечатана изящная геометрическая рамка, отсылающая к особой традиции просмотра — интеллектуальной досугу, что создает контраст с самой арестантской темой. В то же время рамка ненавязчиво форматирует поле зрения, накладывая ограничение на то, что мы видим, наводя фокус на отдельные фрагменты, напоминая рамку видеоискателя или картины. Внизу — подписи к фотографиям, которые мягко направляют взгляд и не дают ему заблудиться, подсказывая название сцены, проговаривая «простым» языком происходящее и определяя его: «Пароход “Вестник” у пристани в Усть-Каре», «Разгрузка барж трудом арестантов в Усть-Каре», «Дети Карийского приюта», «Выход ссыльнокаторжных на работы из тюрьмы Нижнего промысла», «Побег арестанта во время работ», «Бродяга на воле» и др.⁸

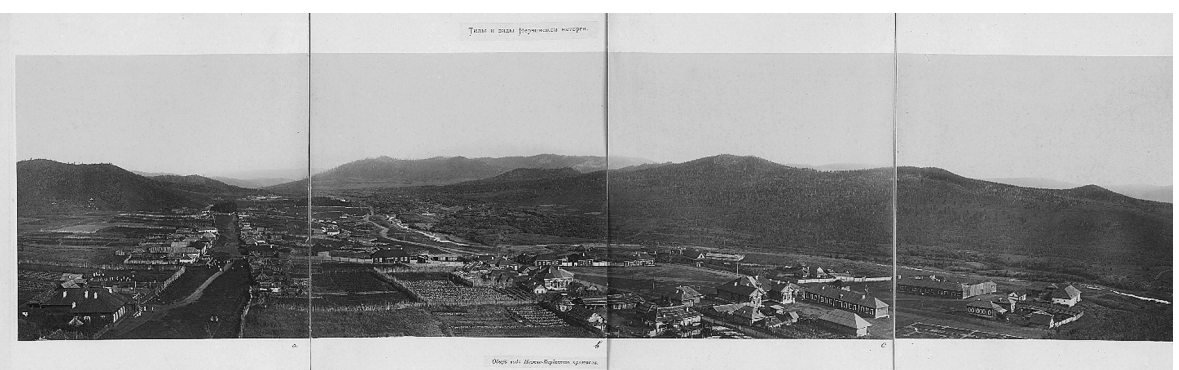
Исходя из приемов съемки, можно условно разделить фотографии в альбоме на две группы. Фотографии в первой половине альбома расположены по следующему принципу: общий вид поселения, в котором находится рудник или завод, значимые постройки (тюрьмы, дома надзирателей, церкви), общие планы работающих или отдыхающих арестантов. Вторая часть серии представляет собой типологические портреты отдельных арестантов в рост, по пояс и грудь.

Интересно, что в качестве технического приема для выполнения общих видов рудников Нерчинской каторги Кузнецов прибегает к технике панорамы, отсылающей к опыту фотографов-путешественников и исследователей и, в известной степени, удовлетворяющей интерес публики к азиатской части России. Панорама представляла «неисчерпаемое богатство картин... почти вовсе незнакомых не только Европе, но и самим русским» [Стасов 1894: 865]. Она могла монтироваться из двух и более снимков, которые делались последовательно с переносом камеры и затем складывались в общую картинку. Такие смонтированные единым планом изображения соединяются как бы в один долгий непрерывный взгляд. Альбом готовился на выставку, и Кузнецов много работал над техническим совершенством снимков и оформления:

8 Размеры альбома и названия даны согласно экземпляру, хранящемуся в Российской национальной библиотеке (Кузнецов А.К. Типы и виды Нерчинской каторги (Нерчинск, 1891). 4 страницы рукописного текста, 63 отдельные фотографии; в переплете; 42,5 × 37 см; шифр хранения: Э АлТ63/3-Н548) http://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_6463/ (дата обращения: 12.01.2017).

Я расположил все снимки в известном порядке, что можете видеть из приложенного списка к трем альбомам, позвольте надеяться, что Вы не откажетесь приказать у себя написать список к каждому альбому красивым почерком, сделать чего у меня некому... Альбом № 1 лучший по тону отпечатков, заметных только для опытного глаза, поэтому я покорнейше прошу Вас альбом этот отправить на выставку, также хорош 2-й альбом, 3-й же альбом имеет вполне ровные отпечатки и бумагу неодинакового цвета⁹.

Техническое мастерство Кузнецова, адресованное в том числе фотографам-экспертам, создает эффект искусственного, надперсонального взгляда и, кажется, делает его присутствие вездесущим.



Ил. 1. Кузнецов А.К. Общий вид Нижне-Карийского промысла. Нерчинск, 1891. Фотография на 4 листах 86,2 × 21 см. Лист из альбома «Типы и виды Нерчинской каторги». Российская национальная библиотека (РНБ).

За панорамами следует укрупнение плана, вплоть до того, что становится возможным различить лицо стоящего арестанта. Этот эффект «пронизывания» территории используется фотографом несколько раз. Несмотря на то что в действительности такие снимки могли делаться с промежутком в несколько дней, символически временное и пространственное расстояние между ними нивелируется моментальностью взгляда. Такой прием представления каторги служил также прекрасной иллюстрацией прозрачности территории всего государства и «приближал» далеко отстоящие от центра границы.

Даже при достаточно сильной смене масштаба фотограф различными средствами поддерживает ощущение дистанции между зрителем и объектом съемки (съемка из-за спины охранников, постоянная широкая полоса земли снизу, попадающая в объектив), создавая ощущение подглядывания, вездесущего тайного наблюдения, которое тем не менее диктует своим незримым присутствием мизансцену. Перспектива, рамка альбома как будто фиксируют для зрителя идеальную точку зрения, из которой разворачивается зрелище.

9 ГАРФ. Там же. Л. 6—7.

Примерно в середине альбома происходит радикальная смена приема показа. Ритм фотографий резко меняется, и в последующих снимках тело преступника оказывается в неестественной близости от зрителя. Иллюзия глубины снимка разрушается, стирая разделительную черту между зрителем и объектом съемки. Происходит слом пространства, в котором некогда господствовал зритель, — на смену ему как будто приходит механический взгляд камеры.

Для современного зрителя используемые Кузнецовым приемы считаются скорее как разновидность криминалистической фотографии (ровный свет, единое расстояние от камеры до объекта, съемка в помещении, портреты в профиль и анфас), однако в 1880-е годы эти же принципы в равной степени являлись частью языка этнографической фотографии. Учитывая, что Кузнецов, с одной стороны, занимался постоянной съемкой арестантов в Нерчинске, а с другой, будучи членом Русского географического общества, подготовил этнографическую экспозицию для основанного им музея в Чите [Этнография 1904: 186; Морозов 1953: 36—37] и выполнил альбом «Племенной состав Нерчинской каторги: типы преступников различных национальностей», можно предположить, что он был одинаково хорошо знаком с принципами обоих типов съемок.

В каталоге тюремной выставки перечислены следующие типы «племенной» серии: татарин, армянин, латыш, финн, зырянин, чухонец, чеченец, эст, литвин, поляк, русский, немец, еврей, бурят, тунгус, киргиз, сарт, дунган, кинчак, узбек. Два снимка анфас и в профиль, на которых изображен «бурят ссыльнокаторжный», Кузнецов включил и в альбом «Типы и виды Нерчинской каторги», помещая категорию этничности в один смысловой ряд с полом, физическими изъянами и видами наказания: с бурятом соседствовали «группа слепых ссыльнокаторжных», «богадельщик с 3 клеймами, наказанный 7 раз», «типы клейменных ссыльнокаторжных богадельщиков», «закованная ссыльнокаторжная в ручные и ножные кандалы», «прикованный к тачке», «приговоренный к смертной казни» и т.д.

Попытки совместить идею расового разнообразия и изучение преступников вызывали большой интерес у самой широкой публики. Придание разнообразным объектам этнографического измерения в целом было характерно для научно-популярного дискурса 1880—1890-х годов. Формула «видов и типов» как универсальная составляющая визуального языка второй половины XIX века стала приметой особого стиля представления позднеколониальным государством своих владений. В основе этой модели государственности, по словам Б. Андерсона, лежала «тотализирующая классификационная разметка» [Андерсон 2001: 202], представляющая мир как совокупность воспроизводимых множественных чисел, где частное — лишь временный представитель ряда. Для империи последней четверти XIX века, упорядочившей мир по модели каталога или архива, важна была не только категория «просматриваемости» территории, но также присвоение каждому человеку и каждой вещи своего «серийного номера». Как и в случае с другими объектами, рассмотрение преступников через этнографическую призму позволяло нанизывать визуальный материал на единый стержень этнорасовой иерархии. Последняя воспринималась всегда «в терминах параллельных серийных рядов» и лежала в основе построения национального государства [Там же: 183].

Историк фотографии М. Фризо отмечает повсеместное присутствие этнографического видения в фотографии XIX века:

Зарождавшаяся под влиянием путешествий и колониальных завоеваний этнография была глубоко связана с фотографической практикой. Все подмечали, исследовали, фиксировали, описывали; редкий путешественник, вооруженный фотокамерой, не вел себя как этнограф [Фризо 2008: 267].

Этнография и антропология как изучение человеком человека, а также фотография, способная «пронзить» физическую оболочку — «последнюю преграду... на пути к знанию» [Фризо 2008: 271], обнаруживают самое близкое родство в своем неисчерпаемом интересе к телу, в котором видели «зримое свидетельство отличия, отклонения, патологии, предрасположенности к преступлению» [Фризо 2008: 259].

Достижениями этнографии пользовались и другие области знания, в том числе полицейские службы, в частности, Фризо указывает, что «именно этнографические методы послужат моделью для судебной антропометрии» [Фризо 2008: 267]. И ученые, и полицейские были заняты решением одного и того же вопроса — выработкой стандартов описания и съемки лиц и тел. Для антропологии это было необходимо, прежде всего, с целью создания международного профессионального языка, позволяющего проводить сравнительные исследования различных рас между собой. Устанавливался единый размер изображений — портреты не менее 1/8 натуральной величины, «потому что при меньшей величине отдельные пропорции лица не могут подлежать измерению по снимку» [Наставления для желающих 1872: 86—88]. Съемка «стоймя и держась прямо» еще более требовала определенной величины, как указывалось в статье 1872 года, и для нее был предписан стандарт 1/20 роста модели.

В применении фотографии к делу поимки преступников наиболее преуспела Франция, где под руководством А. Бертильона была разработана первая эффективная система идентификации преступников. В конце 1880-х годов Бертильон статистически подтвердил необходимость съемки арестантов в профиль и анфас — стандарт, существующий и по сей день в криминалистике, — придав при этом снимку в профиль первостепенное значение, «ибо правое ухо и вообще фотография в профиль являются нередко единственным возможным способом точного установления тождества личности по фотографии, не дополненной другими сведениями»¹⁰. Принципы изображения, выработанные Бертильоном, были близки рекомендациям для этнографической съемки — 1/7 для портретов анфас и в профиль и 1/20 для снимков в рост.

Эффективность системы была достигнута тем, что микроскопические индивидуальные записи (совмещение на одном бланке фотографического портрета антропометрических измерений 11 частей тела и лица человека, неизменных в течение всей жизни, и стандартных текстовых пометок) удалось поместить в макроскопическую совокупность — основанную на статистике систему хранения [Secula 1986: 18]. В итоге небольшая группа из двух-трех чело-

10 ГАРФ. Ф. 102 (Департамент полиции Министерства внутренних дел). Оп. 260. Д. 269 (Инструкция фотографирования преступников и составления карты с описанием примет. Приложение к циркуляру Департамента полиции от 29 декабря 1906 г.). Л. 31—32.

век могла обслуживать огромный каталог и легко отыскать досье с карточкой конкретной личности среди тысячи других постоянно обновляемых изображений архива.

Главной целью антропометрической работы было опознать рецидивиста — следствие озабоченности статистическим увеличением повторно совершенных преступлений:

...При настоящем развитии и осложнении общественной жизни приемы преступности приобрели утонченность и разнообразие, отсутствовавшие в прежнем типе разбойника или вора. Вместе с тем рецидивист изошился в искусстве не возбуждать к себе подозрения, явилась возможность переезда за тысячи верст, менять облик, профессию, общественный круг, в котором ранее вращался; словом, явились к услугам рецидивистов разнообразные способы сделаться неузнаваемым [Козлов 1894: 195].

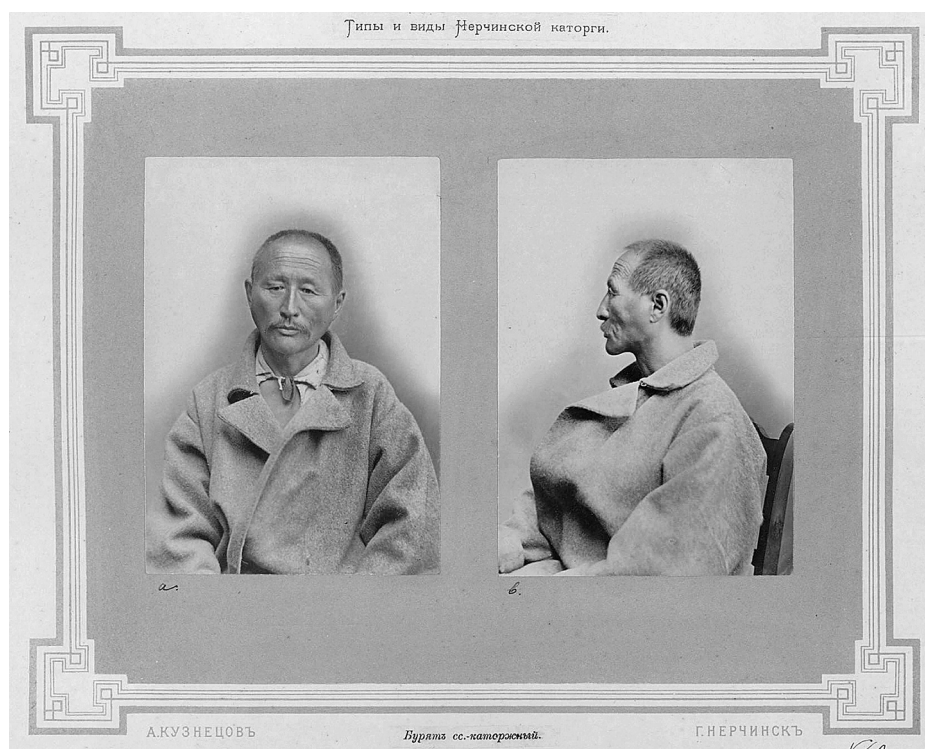
Сплав «оптики и статистики», коим являлся подобный архив, был крайне важным явлением, ознаменовавшим сближение визуальной репрезентации и социальных наук, характерное для XIX века [Secula 1986: 18].

Один из главных проводников идей Бертильона в России — инженер-полковник Н.А. Козлов, начальник первого открытого здесь в 1890 году антропометрического бюро [Огонек 1908]. В тесном сотрудничестве с председателем Антропологического общества А.И. Таренецким, Козлов публиковал в Трудах Антропологического общества статьи на тему роли фотографии в антропометрии. Такое содружество антропологии и криминалистики поддерживалось и на практике — Козлов был убежден, что в недалеком будущем статистические данные, полученные в бюро, сыграют существенную роль для новых выводов антропологии [Труды 1894: 191]. Козлов также дополнил метод Бертильона собственными измерениями и добавил к сбору сведений о преступнике указания на место его рождения и вероисповедание. Для упрощения процесса фиксации антропометрических признаков он разработал прибор, позволявший одновременно получать фотоснимки преступников и антропометрические данные [Козлов 1896: 18—26].

Криминалистика как одна из ветвей развития антропологии («криминальная антропология») унаследовала ее методы, многие из которых были связаны с инструментализацией фотографии. Зачастую интересы двух наук были очень близки — в альбомах преступных типов встречались снимки представителей различных национальностей и племен, в антропологических и географических сборниках публиковались статьи о пенитенциарных конгрессах и съемке преступников. На антропологической выставке 1879 года, например, «как особенная важность» демонстрировалась серия, изображающая «трех лиц в 35 изменениях под влиянием лет, прически и костюма» [Фотографический отдел 1879—1880: 1], что имеет прямое отношение к вопросу идентификации личности.

Расхождение криминалистики с антропологией и этнографией, не столь очевидное с точки зрения их методов, происходило на уровне целей. Как можно видеть, основная задача, стоявшая при создании этнографической фотографии, — сравнение между собой различных народов с помощью выделения характерных типов и унификации стандартов съемки. Цель же полицейской съемки — проведение идентификации личности, где, напротив, унификация приемов позволяла выделить общие параметры тела и лица для получения «доступа» к конкретному субъекту.

В случае с серией Кузнецова уместно предположить, что, хотя двойные портреты (съемка анфас и в профиль или 3/4) имели место и в российской уголовной системе в конце 1880-х годов¹¹, Кузнецов опирался в большей степени именно на логику этнографической фотографии, обращаясь к приему создания типа ссыльнокаторжного из ряда частных случаев. С этой точки зрения легко объяснить и структуру альбома, совмещающего два разных способа репрезентации криминального «племени» — «этнографический» и «физиогномический».

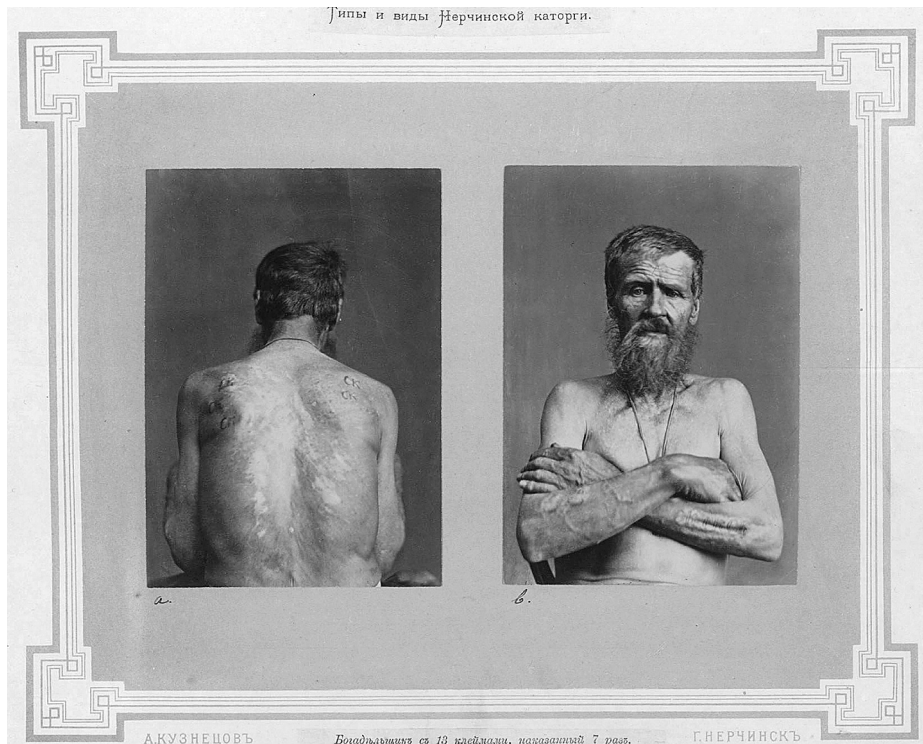


Ил. 2. Кузнецов А.К. Бурята ссыльнокаторжный. Нерчинск, 1891.
2 фотографии 14 × 10 (каждая) см. Лист из альбома «Типы и виды Нерчинской каторги». Российская национальная библиотека (РНБ).

Пересечение этнографической и криминалистической логики также возникает при включении в серию изображения обнаженного тела. В течение колониального и постколониального периодов фотография была основным средством, маркирующим противостояние между местным и господствующим «культурным стилем» [Price 2004: 84]. В этом противостоянии нагота использовалась как визуальный маркер специфического, локального, транслирующий значение примитивности, недоразвитости и неприличия. Антропология, переживавшая расцвет расовых теорий, исходила из представления о том, что основные различия между людьми концентрируются в области тела.

11 См., например, обсуждение этого вопроса в статье «О фотографировании арестантов»: [Фотограф 1883: 291–293; Юрковский 1884: 51–57].

Кузнецов, «заставляя» своих моделей снимать одежду, предъявляет зрителям не просто физические особенности осужденного, но и систему клеймения, которая была в ходу до распространения фотографии в качестве средства опознания преступников. Фактически здесь фиксируется клеймение как практика идентификации, на смену которой пришли серийные изображения.



Ил. 3. Кузнецов А.К. Богадельщик с 13 клеймами, наказанный 7 раз. Нерчинск, 1891. 2 фотографии 14 × 10 (каждая) см. Лист из альбома «Типы и виды Нерчинской каторги». Российская национальная библиотека (РНБ).

Альбом завершается двумя наклеенными на один лист снимками — «приговоренного к смертной казни» и «запленного мастера (палача) из ссыльнокаторжных». Здесь фотограф впервые создает не синонимичный ряд обобщенных портретов ссыльнокаторжных, а тематическую оппозицию преступника и представителя закона. Известна практика, когда ссыльнокаторжные после отбытия наказания оставались в роли надзирателей или палачей, в результате чего служители каторги и заключенные нередко были людьми одной телесной культуры. Вероятно, чтобы избежать визуального уравнивания двух полярных по своему социальному статусу фигур, фотограф прибегает к специфическому средству. Портрет палача, который сидит на том же стуле, в той же обстановке, отличается от портрета приговоренного к казни неожиданным укрупнением плана, создающим интересную игру масштабов. Для сегодняшнего зрителя крупный план во многом читается через визуальный опыт кинематографа, который задает обратную проекцию на фотографию. Восприятие, пропущенное через фильтры кино, создает ощущение, что на лице палача (в отличие от других представленных в серии типов) присутствует подобие эмоции.



*Ил. 4. Кузнецов А.К. Приговоренный к смертной казни [слева].
 Запленный мастер (палач) из ссыльнокаторжных [справа]. Нерчинск, 1891.
 2 фотографии 14 × 10 (каждая) см. Лист из альбома «Типы и виды
 Нерчинской каторги». Российская национальная библиотека (РНБ).*

* * *

Интересен переход между двумя выделенными выше частями альбома — общими планами, которые можно назвать в целом «видами» и типологическими портретами — «типами». Это две фотографии, рассказывающие о поимке бродяги. Первый кадр под названием «Бродяга на воле» парадоксальным образом был снят в ателье фотографа, о чем свидетельствует поставленный в качестве фона задник и нехитрый реквизит. Второй снимок, «Бродяга за сельским караулом», демонстрирует бродягу в той же позе, идущего под конвоем, но на этот раз не в ателье, а на природе.

Появление этих сцен в альбоме Кузнецова связано, вероятно, с символической фигурой бродяги для правосудия второй половины XIX — начала XX века. Так называемые «непомнящие родства» бродяги — беглые крестьяне и бежавшие из Сибири ссыльнокаторжные считались самым многочисленным и «самым беспокойным» [Что такое дактилоскопия 1907: 16] элементом всей уголовной системы Российской империи. Невидимость бродяги для полицейского архива, способного включить в себя любого субъекта даже на основании фиктивной или множественной биографии, возникала из-за отсутствия связи между внешностью, которая и была ключом к биографическим сведениям преступ-

ника, и прошлым субъекта. Решать данную проблему государство пыталось посредством антропометрических измерений «Иванов непомнящих» [Кеннан 1906: 152] и вкладывания фотографий в статейные списки пересылаемых заключенных. Однако в масштабах огромных территорий империи поймать, измерить и запечатлеть бродяг, к тому же неоднократно совершающих побеги, оказалось делом крайне трудным. Даже в начале 1900-х годов «Вестник полиции» высказывался критически относительно успехов правительства в борьбе с бродяжничеством и возлагал большие надежды на применение в этом деле дактилоскопии, пришедшей на смену антропометрии [Что такое дактилоскопия 1907: 16].



Ил. 6. Кузнецов А.К. Бродяга на воле. Нерчинск, 1891. Фотография 21 × 16 см. Лист из альбома «Типы и виды Нерчинской каторги». Российская национальная библиотека (РНБ).



*Ил. 7. Кузнецов А.К. Бродяга за сельским караулом. Нерчинск, 1891.
 Фотография 18,5 × 23 см. Лист из альбома «Типы и виды
 Нерчинской каторги». Российская национальная библиотека (РНБ).*

Неожиданное для современного зрителя появление студийной фотографии в рамках этой серии приводит в замешательство — серьезность позы «бродяги» с трудом сочетается с ироничным контекстом ателье. Постановочность, понимаемая как приостановка действия, вторжение фотографа в происходящее, выбор им определенной мизансцены, присутствовала и на других снимках Кузнецова, но здесь она впервые не кажется тонко замаскированной, а указывает сама на себя с помощью реквизита, позы, а также наивного повторения точь-в-точь той же позы на следующем снимке.

Другой отпечаток, также отсылающий к особой связи ранней фотографии с постановочностью, иллюстрирует «побег арестанта во время работ» — актуальную проблему того времени, для решения которой еще в 1879 году была введена круговая порука арестантов [Гернет 1962: 389]. Реалистичность происходящего создает «спецэффект» дыма от пороховых залпов ружей, направленных в сторону беглеца. Включение такого негуманного сюжета, вероятно, объясняется желанием дополнить образ ссылки грозными красками, позволяющими представить каторгу не только как место исправления и труда, но и как карательное учреждение.

Сложно сказать, присутствовал ли фотограф при реальном побеге или, что вероятнее, сцена была срежиссирована. Об этом свидетельствует как общий характер всей серии, тяготеющей к статичности, съемкам подготовленных и расставленных групп с явными элементами позирования, так и поведение



*Ил. 5. Кузнецов А.К. Побег арестанта во время работ. Нерчинск, 1891.
 Фотография 18,5 × 23,5 см. Лист из альбома «Типы и виды
 Нерчинской каторги». Российская национальная библиотека (РНБ).*

«убегающего» арестанта, спокойно идущего по холму, отсутствие какой-либо заинтересованности в происходящем у других каторжных. История разыгрывается не для них, а для другого, невидимого для них зрителя фотографии, для которого и выстраивается вся мизансцена, только ему видная полностью.

Исследователи фотографии указывают на особую характеристику изображения, свойственную фотографии XIX века. Опираясь на работу английского искусствоведа М. Фрида, историк фотографии О.В. Гавришина пишет о значимости формы *tableau* — «живой картины» — для понимания функционирования в культуре ранних снимков, в которых возникает «акцентирование ситуации взгляда, направленного на изображение» [Гавришина 2012: 116]. Иными словами, вся запечатленная мизансцена представляет собой «отдельное, законченное произведение» и разворачивается с учетом того зрителя, который будет ее рассматривать [Там же]. Речь здесь не столько о выделении какого-то особого жанра, сколько об определенной культурной привычке зрителя, который мог опознавать эту форму в снимках самого разного характера — полицейских, судебных, домашних, этнографических, художественных. Такая общность несхожих по функции изображений позволяет говорить о картинности как о важном условии восприятия, свойственном определенной социальной культуре. Наше же «непонимание» этой открыто заявляющей о себе инсценированности в рамках, казалось бы, вполне документального альбома говорит о том, что современный зритель наделяет такой прием другими значениями.

Примеры снимков альбома показывают, что в последней четверти XIX века инсценировка или форма «картины» являлась одним из способов свидетельства о реальности. Как пишет английская исследовательница Э. Эдвардс, анализируя изображения из этнографических коллекций этого периода, постановочность (reenactment) можно рассматривать как *вариант нормы* [Edwards 2001: 157—180] — возможную модель того, что может произойти или действительно случается. Такой подход полностью отвечал представлениям эпохи о научном методе (являясь близким по смыслу к требованию воспроизводимости экспериментов). В сценах Кузнецова, представляющих для своих современников типичную или возможную ситуацию, аутентичность постановкам также добавляет то, что в них участвовали реальные люди — ссыльные и надзиратели, выполнявшие свои обязанности даже перед объективом фотоаппарата. Впоследствии авторитет картинности в качестве правдоподобного свидетельства сильно пошатнулся. Антропология искала актуальные формы для выражения обновленной идеи культуры как живого опыта. Благодаря эволюции фотографии как технического средства, широкое распространение моментальности изменило представление о правдивости тех или иных характеристик изображения, сыграв свою роль в утверждении другой стратегии научной съемки: фиксации естественного хода событий «здесь и сейчас» [Pinney 2011: 25—28].

* * *

Другой пример пересечения этнографической логики и темы власти и подчинения, выраженной в появлении заключенных в качестве объекта съемки, можно увидеть на примере архива американского журналиста Джорджа Кеннана (1845—1924), опубликованного на сайте Национальной библиотеки Конгресса США¹². Результатом его путешествия по Сибири в мае 1885-го — августе 1886 года, выполненного по заказу журнала «The Century», стал ряд статей, собранных позднее в книгу «Сибирь и ссылка» [Kennan 1891].

Как отмечал в 1881 году профессор кафедры уголовного права Санкт-Петербургского университета И.Я. Фойницкий, прекрасно знавший особенности правовых систем разных стран, русская ссылка сформировалась отдельно и независимо от западной, что, наряду с полным отсутствием объективного материала о ней на иностранных языках, спровоцировало в 1880-х годах волну интереса к этой теме ряда зарубежных исследователей и реформаторов пенитенциарной системы¹³. Безусловно, статьи и книга Кеннана стали крайне востребованными источниками и были переведены на многие европейские языки, сыграв свою роль в формировании общественного мнения относительно Российской империи и ее системы каторги и ссылки не только в Америке, но и в Европе. Однако резко негативный взгляд на российское правительство и условия содержания заключенных, содержащийся в данной работе, обусловил запрет на издание книги в России вплоть до 1906 года.

Известно, что Кеннан не только писал заметки во время своего путешествия, но и уделял большое внимание сбору визуального материала — он и его

12 Views of people and places in Siberia from the George Kennan papers // The Library of Congress (<http://www.loc.gov/pictures/item/99472050/> (дата обращения: 12.01.2017)).

13 См. об этом: [Фойницкий 1881].

компаньон, художник Джордж Фрост, старались при первой возможности приобрести или самостоятельно произвести снимки или сделать наброски. В архиве содержится большое количество фотографий и рисунков, среди которых есть как связанные с темой ссылки, так и вызывающие интерес у путешествующих американцев изображения этнографических типов и виды дикой природы и русских провинциальных городов. Поэтому характер коллекции передает скорее любознательный взгляд туриста — группы каторжников компаньоны располагают по тому же принципу, по которому они снимают группы киргизов, китайцев или татар.

Жанр путевых заметок был хорошо знаком Кеннану. В 1864—1868 годах он уже был членом экспедиции Русско-американской телеграфной компании, преследовавшей цель изучить возможность прокладки альтернативной трансатлантической телеграфной линии из Сан-Франциско в Москву. С экономической точки зрения проект был признан неудачным, но исследования, инициированные им, имели важное значение для освещения ранее мало изученных территорий. Кеннан поведал о своих приключениях и знакомстве с местным населением и природой в книге «Кочевая жизнь в Сибири» [Кеннан 1872].

Путешествие 1895—1896 годов также позволило Кеннану собрать, помимо узкоспециальных, разнообразные географические и антропологические сведения. Живо описывая свой путь в сторону Нерчинской каторги, Кеннан рассказывает о своем посещении Маймачена — китайского торгового поселения недалеко от Кяхты. Как истый путешественник, Кеннан с восторгом описывает разительную смену окружающей обстановки:

...Всюду, куда ни бросишь взор, видишь, что Китай вступил вполне на место России; на каждом шагу встречаешься с чуждыми нравами, с неизвестными типами <...> все послеобеденное время мы истратили в бесплодных попытках снять особенно оригинальные типы или интересные группы, попадавшиеся на каждом шагу Маймачина. Сорок или пятьдесят бурят, монголов и обитателей Гобийской пустыни, еще до сих пор никем не описанных, окружали нас [Кеннан 1906: 293].

Типы преступников занимали путешественников не меньше. Присутствуя при погрузке арестантов на пароход, Кеннан и Фрост получили разрешение фотографировать ссыльных и само судно:

...В течение часа слышен был только лязг цепей спускавшихся узников. Одеты были все в однообразную серую одежду, но с этнологической точки зрения они представляли собой замечательное разнообразие типов, так как здесь были представители всех народностей, обитающих в России... Г. Фрост стал набрасывать особенно характерные лица в свою записную книжку, что возбудило немедленно внимание арестантов — со смехом и остротами начали они проталкивать вперед тех, которых они считали наиболее достойными быть увековеченными карандашом художника, ставили модель во всевозможные позы, причёсывали длинные волосы на небритой половине головы, надевали на голову феску или татарскую шапку и давали указания художнику [Кеннан 1906: 60—61].

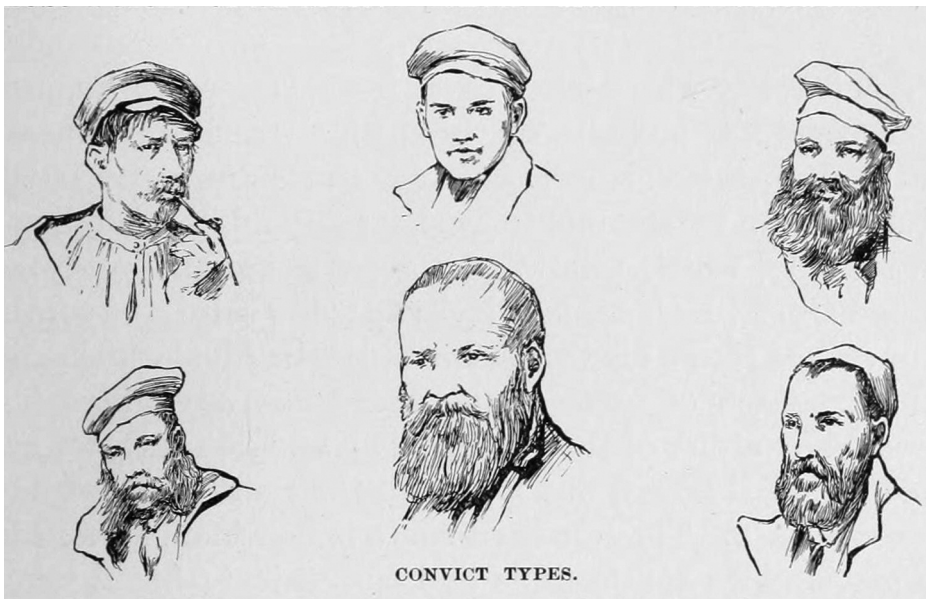
Снимки, выполненные Фростом, носят подчеркнуто инструментальный характер — впоследствии многие из них были использованы в качестве иллюстраций к книге в виде гравюр. Некоторые изображения использовались практически без изменений, некоторые были источниками для создания типажей при построении сюжетных сцен. В первом издании 1891 года есть собранные

из разных лиц художественные типажи преступников, типы сибирских крестьян, выполненные по фотографиям и зарисовкам самого художника.

Отпечатки Фроста далеки от технического совершенства — неодинаковые по тону и неровные, нерезкие по краям, со следами потертости и плохой сохранности негативов, заваленным горизонтом и нарушенной перспективой. В поисках интересных типов он старался снять лица четче и крупнее, чем это делал Кузнецов, при этом сильно кадрируя фигуры по бокам.

Но не только приемы съемки отличают фотографии из архива Кеннана от альбома Кузнецова. Принципиальное отличие двух корпусов изображений состоит и в поведении людей, в их реакциях на камеру. Многие арестанты, попадавшие в объектив Фроста, не позируют, а намеренно отворачиваются, что было невозможно в ситуации «официального» репортажа Кузнецова. На лицах есть эмоции — улыбки, недовольство, безразличие. Создается впечатление, что заключенные не имели специальных указаний на предмет того, как они должны себя вести, и располагались, как им казалось, наилучшим образом — некоторые обнимались «на камеру», ставили руку на пояс.

В отличие от фотографий Фроста и Кеннана снимки Кузнецова имеют одну особенность — мы видим, что камере подконтрольны тела, но не лица преступников. Отчасти это связано с тем, что выражение лица и эмоции, вероятно, находились на периферии внимания фотографа. Даже в практике криминальной съемки долгое время не было специальных норм, регулирующих способ работы с лицом арестантов. Именно лицо (в том числе взгляд) было самым сложным элементом — последним рубежом, на котором сосредоточивалось все сопротивление преступников представителям закона.



Ил. 8. «Типы преступников». Иллюстрация к книге Д. Кеннана «Сибирь и ссылка» [Кеннан 1891].

Лица у Фроста и Кеннана также неподконтрольны фотографу, но они больше говорят нам о присутствии фотокамеры: их прикрывают рукой, улыбаются,

хмурятся, отворачиваются, смотрят прямо в объектив или не обращают внимания. Но реакции каторжников хорошо просматриваются, они не регламентированы, а «естественны» — вызваны непосредственно и не спланированы. Показательно, что в книге лица предстают как раз «очищенными» от субъективных эмоций — с помощью рисунка автор создает ощущение типичности, которое ему не удается получить на снимках.

Интересно сравнение взглядов Кеннана—Фроста и Кузнецова на одни и те же объекты. Ощущение несхожести усиливается из-за технических параметров съемки — постановки камеры. Кузнецов как профессиональный фотограф ищет композиционный центр сцен, его объектив направленно и внимательно «смотрит» перед собой. Фотоаппарат американцев схватывает отдельные фрагменты, часто на периферии кадра, рассеянно двигаясь и фиксируя все детали окружающего пространства, больше напоминая то, что впоследствии получит название «полевой съемки». На их снимках часто оказываются как группы позирующих, так и зрители, окружавшие их. В результате «картинность», столь важная для Кузнецова, разрушается и, как следствие, исчезает ощущение мира как чего-то отделенного от наблюдателя [Pinney 2011: 28]. Так, снимки Кузнецова и Кеннана—Фроста по своим функциям, как и по характеру съемок, принадлежат как бы к разным регистрам — «публичному», доступному для большой аудитории, и «частному», носящему характер дневниковых записей.



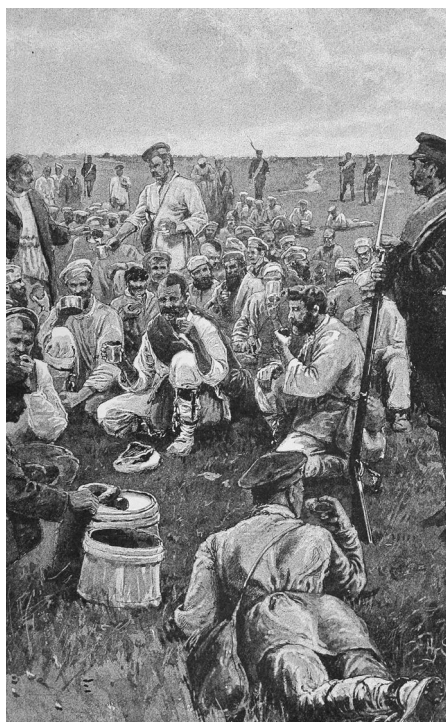
Ил. 9. Кузнецов А.К. Вид ссыльнокаторжного селения Михаило-Никольского на реке Гурбанше, основанного в 1881 году. Нерчинск, 1891. Фотография 18 × 23,5 см. Лист из альбома «Типы и виды Нерчинской каторги». Российская национальная библиотека (РНБ).



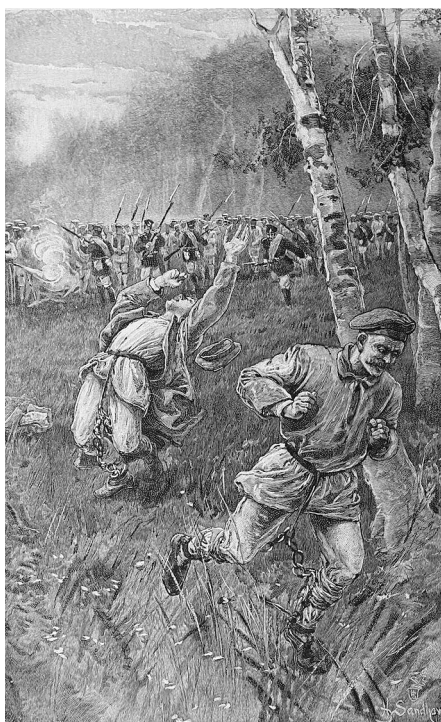
Ил. 10. Кеннан Д., Фрост Д. Этап для ссыльных на дороге из Барнаула в Красноярск. Из архива Д. Кеннана. Library of Congress.



Ил. 11. Кеннан Д., Фрост Д. Ссыльные на обеде у дороги. Из архива Д. Кеннана. Library of Congress.



Ил. 12. Кеннан Д., Фрост Д. Остановка партии осужденных на обед. Иллюстрация к книге Д. Кеннана «Сибирь и ссылка».



Ил. 13. Кеннан Д., Фрост Д. Побег на свободу. Иллюстрация к книге Д. Кеннана «Сибирь и ссылка».



Ил. 14. Кеннан Д., Фрост Д. Партия ссыльнокаторжных, отдыхающих на дороге к Томску. Из архива Д. Кеннана. Library of Congress.



Ил. 15. Неизвестный автор. Джордж Кеннан в одежде каторжника. Из архива Д. Кеннана. Library of Congress.



Ил. 16. Неизвестный автор. Джордж Кеннан в традиционном костюме [неустановленной народности] России. Из архива Д. Кеннана. Library of Congress.

В фотоархиве Кеннана также присутствуют несколько фотографий, возвращающих нас в пространство ателье и указывающих на игровое начало, наличие логики документальной постановочности, о которой говорилось выше в связи с работами Кузнецова. На одной из карточек Джордж Кеннан в нью-йоркской студии позирует в облике русского ссыльнокаторжного — в халате, котях, рубахе и кандалах. Он в полном смысле позирует, с легкостью держится в кандалах, ставит руку на пояс, направляя взгляд вдаль. На втором снимке Кеннан стоит в той же «фотографической» позе в восточном костюме. Включение данных изображений в архив, как и в случае с альбомом Кузнецова, вновь возвращает нас к доминирующей визуальной логике «типов» и свойственному ей особому режиму документальности.

Снимки, которые Кеннан и Фрост тайком смогли вывезти из России, были лишь сырым материалом, на основе которого впоследствии были сделаны художественные гравюры, размещенные в книге Кеннана. Для него фотография — вспомогательное средство, которое нуждается в доработке не только с технической, но и с содержательной точки зрения. Снимки, хранящиеся в архиве, действительно грешат техническими неточностями — нерезкостью, заваленным горизонтом, ошибками, допущенными при печати. Объект на них часто не попадает целиком, фокус смещен, в кадре оказываются детали, которые отвлекают внимание зрителя от основной темы. По этой причине для Кеннана подобная съемка не могла служить доказательством идей, и для убедительного

«рассказа» ему требовалось совершенство, гладкость и недвусмысленность гравюры, выстроенной согласно определенному сюжету и композиционному плану. Следуя представлениям своего времени, Кеннан отдает предпочтение типическому изображению преступника в виде художественной графики.

Но по этой же причине фотографии, выполненные во время путешествия американца, сегодня выглядят чрезвычайно правдоподобно. Именно в этих изъясных и помехах видения сегодняшний зритель опознает признаки документальности, понимаемой как «честное свидетельство». А ретушированные, тщательно выстроенные кадры Кузнецова, в свое время имевшие статус доказательства эффективности всей системы наказания империи, считаются нами, напротив, как изощренная постановочность.

Библиография / References

- [Андерсон 2001] — *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-Пресс-Ц: Кучково поле, 2001. (Anderson B. Imagined Communities. Moscow, 2001. — In Russ.)
- [Астрономический телескоп 1874] — Астрономический телескоп, объясняющий свойство небесных планет и различные явления природы с присовокуплением правил «физиогномики», по которым можно узнать характер и судьбу каждого человека. М.: Братья Абрамовы, 1874. (Astronomicheskij teleskop, objasnajushhij svojstvo nebesnyh planet i razlichnye javlenija prirody s prisovokupleniem pravil "fiziognomiki", po kotorym možhno uznat' harakter i sud'bu kazhdogo cheloveka. Moscow, 1874.)
- [Бархатова 2009] — *Бархатова Е.В.* Русская светопись. Первый век фотоискусства 1839—1914. СПб.: Лики России; Альянс, 2009. (Barhatova E.V. Russkaja svetopis'. Pervyj vek fotoiskusstva 1839—1914. Saint Petersburg, 2009.)
- [Беляновский 2009] — *Беляновский А.* Последнее слово тюремоведения: Международная тюремная выставка и конгресс 1890 года // Экспо ведомости. 2009. № 5-6. С. 34—39. (Beljanovskij A. Poslednee slovo tjur'movedenija: Mezhdunarodnaja tjuremnaja vystavka i kongress 1890 goda // Jekspo vedomosti. 2009. № 5-6. P. 34—39.)
- [Богданов 1878] — *Богданов А.П.* Антропологическая физиогномика. М., 1878. (Bogdanov A.P. Antropologicheskaja fiziognomika. Moscow, 1878.)
- [Бурдон 1864] — *Бурдон И.* Физиогномика, или Наука знать людей по чертам лица и наружным признакам. М.: Тип. С. Орлова, 1864. (Burdon I. Fiziognomika, ili nauka znat' ljudej po chertam lica i naruzhnyh priznakam. Moscow, 1864.)
- [Гавришина 2012] — *Гавришина О.В.* Повседневность между реальностью и фантазмом: фотографии Джули Блэкмон // Цифровая культура. 2012. № 3(8). С. 114—119. (Gavrishina O.V. Povsednevnost' mezhd real'nost'ju i fantazmom: fotografii Dzhuli Blijekmon // Cifrovaja kul'tura. 2012. № 3(8). P. 114—119.)
- [Гернет 1905] — *Гернет М.Н.* Социальные факторы преступности. М.: Университетская типография, 1905. (Gernet M.N. Social'nye faktory prestupnosti. Moscow, 1905.)
- [Гернет 1962] — *Гернет М.Н.* История царской тюрьмы. Т. 3. М.: Государственное издательство юридической литературы, 1962. (Gernet M.N. Istorija carskoj tjur'my. Vol. 3. Moscow, 1962.)
- [Каталог 1890] — Каталог Международной тюремной выставки / 4-й Международный тюремный конгресс. СПб. Июнь 1890. (Katalog Mezhdunarodnoj tjuremnoj vystavki / 4th Mezhdunarodny tjuremny kongress. Saint Petersburg, 1890.)
- [Кеннан 1872] — *Кеннан Д.* Кочевая жизнь в Сибири. СПб.: С.В. Звонарев, 1872. (Kennan G. Tent Life in Siberia. Saint Petersburg, 1872. — In Russ.)
- [Кеннан 1906] — *Кеннан Д.* Сибирь и ссылка. СПб.: Издание В. Врублевского, 1906. (Kennan G. Siberia and the Exile System. Saint Petersburg, 1906. — In Russ.)

- [Козлов 1894] — *Козлов Н.А.* Измерение преступников // Труды Антропологического общества при Императорской Военно-медицинской академии. Т. 1. Вып. 1 (за 1893 год). СПб., 1894. С. 18—200.
- (*Kozlov N.A.* Izmerenie prestupnikov // Trudy Antropologicheskogo obshhestva pri Imperatorskoj Voennomedicinskoj akademii. Vol. 1. № 1 (year 1893). Saint Petersburg, 1894. P. 18—200.)
- [Козлов 1896] — *Козлов Н.А.* О применении современной фотографии в антропологии // Труды Антропологического общества при Императорской Военно-медицинской академии. Т. 1. Вып. 2. СПб., 1896. С. 18—26.
- (*Kozlov N.A.* O primenenii sovremennoj fotografii v antropologii // Trudy Antropologicheskogo obshhestva pri Imperatorskoj Voennomedicinskoj akademii. Vol. 1. № 2. Saint Petersburg, 1896. P. 18 — 26.)
- [Международная тюремная выставка 1890] — Международная тюремная выставка. Прогулка по Михайловскому манежу. СПб., 1890.
- (*Mezhdunarodnaja tjuremnaja vystavka.* Progulka po Mihajlovskomu manezhu. Saint Petersburg, 1890.)
- [Морозов 1953] — *Морозов С.А.* Русские фотографы-путешественники. М.: Гос. изд-во геогр. лит. [Географгиз], 1953.
- (*Morozov S.A.* Russkie fotografy-puteshestvenniki. Moscow, 1953.)
- [Наставления для желающих 1872] — Наставления для желающих изготавливать фотографические снимки на пользу антропологии // Известия ИРГО. 1872. Т. VIII. № 2. С. 86—88.
- (*Nastavlenija dlja zhelajushhij izgotovljat' fotograficheskie snimki na pol'zu antropologii // Izvestija IRGO.* 1872. Vol. VIII. № 2. P. 86—88.)
- [Нива 1890] — Нива. СПб. 1890. № 24. С. 627.
- (*Niva.* Saint Petersburg. 1890. № 24. P. 627.)
- [Огонек 1908] — Огонек. 1908. № 37. 14 сентября.
- (*Ogonek.* 1908. № 37. 14 September.)
- [Очерк развития арестантского труда 1890] — Очерк развития арестантского труда в русских тюрьмах 1885—1888 / 4^й Междунар. тюремный конгресс. СПб. Июнь 1890.
- (*Ocherk razvitiya arestantskogo truda v russkijh tjur'mah 1885—1888 / 4th Mezhdunarodny tjuremny kongress.* Saint Petersburg, 1890.)
- [Полное собрание законов 1888] — Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. VI. СПб., 1888. С. 8—11.
- (*Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sbranie tret'e.* Vol. VI. Saint Petersburg, 1888. P. 8—11.)
- [Российские фотографы 2013] — Российские фотографы (1839—1930): словарь-справочник: В 3 т. / Ред. А.П. Попов. Т. 1: А—М [Мей]. Коломна: Музей органической культуры, 2013.
- (*Rossijskie fotografy (1839—1930): slovar'-spravochnik:* In 3 vols. / Ed. by A. P. Popov. Vol. 1: А—М [Mej]. Kolomna, 2013.)
- [Стасов 1894] — *Стасов В.В.* Фотографические и фототипические коллекции Публичной библиотеки // Стасов В.В. Собрание сочинений 1847—1886. Т. 2: Художественные статьи. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1894.
- (*Stasov V.V.* Fotograficheskie i fototipicheskie kolekcii Publichnoj biblioteki // Stasov V.V. Sbranie sochinenij 1847—1886. Vol. 2: Hudozhestvennye stat'i. Saint Petersburg, 1894.)
- [Труды 1894] — Труды Антропологического общества при Императорской Военно-медицинской академии. Т. 1. Вып. 1 (за 1893 год). СПб., 1894.
- (*Trudy Antropologicheskogo obshhestva pri Imperatorskoj Voennomedicinskoj akademii.* Vol. 1. № 1 (year 1893). Saint Petersburg, 1894.)
- [Фойницкий 1881] — *Фойницкий И.Я.* Ссылка на Западе в ее историческом развитии и современном состоянии. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1881.
- (*Fojnickij I.Ja.* Ssylka na Zapade v ee istoricheskom razvitii i sovremennom sostojanii. Saint Petersburg, 1881.)
- [Фотограф 1883] — О фотографировании арестантов // Фотограф. 1883. № 12. С. 291—293.
- (*O fotografirovanii arestantov // Fotograf.* 1883. № 12. P. 291—293.)
- [Фотографический отдел 1879—1880] — Фотографический отдел // Антропологическая выставка / Под ред. А.П. Богданова Т. 3. Ч. 2. М., 1879—1880.
- (*Fotograficheskij otdel // Antropologicheskaja vystavka /* Ed. by A.P. Bogdanov. Vol. 3. Part 2. Moscow, 1879—1880.)
- [Фризо 2008] — *Фризо М.* Дело о теле // Новая история фотографии / Пер. с фр. В.Е. Лапицкий и др. СПб.: А.Г. Наследников, 2008. С. 259—272.
- (*Frizot M.* Corps et délits, une ethnophotographie des differences // Nouvelle histoire de la photographie. Saint Petersburg, 2008. — In Russ.)
- [Что такое дактилоскопия 1907] — Что такое дактилоскопия? // Вестник полиции. СПб. 1907. № 1. С. 16.
- (*Chto takoe daktiloskopija? // Vestnik policii.* Saint Petersburg. 1907. № 1. P. 16.)
- [Этнография 1904] — Этнография // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XLI (81). СПб.: Семеновская типолитография (И.А. Ефрона), 1904. С. 186.
- (*Jetnografija // Enciklopedicheskij slovar' Brokgauza i Efrona.* Vol. XLI (81). Saint Petersburg, 1904. P. 186.)

- [Юрковский 1884] — *Юрковский С.* О фотографировании арестантов // Фотограф. 1884. № 3. С. 51—57.
(*Jurkovskij S.* O fotografirovanii arestantov // Fotograf. 1884. № 3. P. 51—57.)
- [Edwards 2001] — *Edwards E.* Raw histories: Photographs, Anthropology and Museums. Oxford, New York, 2001.
- [Kennan 1891] — *Kennan G.* Siberia and the Exile System. Vol. 1, 2. New York: The Century Co., 1891.
- [Pinney 2011] — *Pinney Ch.* Photography and Anthropology. London: Reaktion books, 2011.
- [Price 2004] — *Price D.* Surveyors and Surveyed: Photography Out and About // Photography: A Critical Introduction / Ed. by Liz Wells. London; New York: Routledge, 2004. P. 55—102.
- [Secula 1986] — *Secula A.* The Body and the Archive // October. Vol. 39. Winter 1986. P. 3—64.
- [Tagg 1988] — *Tagg J.* The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories. Massachusetts, 1988.

Врожденный преступник: криминальная антропология российской империи

Составитель блока Риккардо Николози

Риккардо Николози
От составителя

Riccardo Nicolosi
From the Guest Editor

Риккардо Николози (Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана; профессор, ведущий кафедрой славянской филологии (литературоведение) факультета языкознания и литературоведения; PhD) riccardo.nicolosi@lmu.de.

Riccardo Nicolosi (Ludwig Maximilian University of Munich; professor, Chair of the Department of Slavic Philology (Literary Science), Faculty for Languages and Literature; PhD) riccardo.nicolosi@lmu.de.

В согласии с идеей, общей для ряда теорий преступности, возникших в конце XIX века и постулировавших биологическую предрасположенность к совершению преступлений, пусть и понимаемую по-разному, имперский преступник — предмет исследования статей настоящего блока — это «преступник от рождения». В виду имеется не только спорная теория Чезаре Ломброзо о существовании людей с врожденными преступными наклонностями¹, но и все те концепции, которые, опираясь на теорию вырождения, для объяснения причин преступности исходят из факторов наследственности. Обращаясь к этой «медикализации» личности преступника, авторы статей развивают принявшую в последнее время острый характер полемику о существовании и функции биомедицинских дискурсов в России конца царской эпохи [Engelstein 1992; Sirotkina 2002; Goering 2003; Beer 2008; Morrissey 2010; Mogilner 2013]. В рамках осмысления *Sonderwege* («особых путей») российской и советской культуры в аспекте различных биомедицинских теорий и практик российская нау-

1 Подробнее о выдвинутой Ломброзо теории преступности см. статью Р. Николози в этом блоке.

ка десятилетиями попросту игнорировала распространение криминальной антропологии и теории вырождения, виной чему были теоретические предпосылки разного характера: с одной стороны, главенство в советских исследованиях по истории медицины «социального конструктивизма» (касательно психиатрии и криминальной антропологии ср., например: [Юдин 1951]); с другой, неприятие фуколдианской модели западноевропейскими исследователями российской истории. Последние до недавнего времени придерживались мнения, что представление об обществе как биологическом организме, которому свойственны «здоровые» и «патологические» состояния и который поэтому может быть «исцелен» учеными экспертами (медиками, психиатрами, криминологами и т.д.), в Российской империи прижиться не смогло бы. Народнически-романтический, органический взгляд на общество воспрепятствовал бы биологистским тенденциям диверсификации и стигматизации, как якобы доказывает, например, преобладание таких понятий, как «народность», над такими, как «раса» [Knight 2000: 57–58; критика этого: Mogilner 2009].

Даже Лора Энгельштейн, благодаря которой забытые биомедицинские курсы, отклонения от нормы наконец попали в поле зрения исследователей, считает, что влияние они приобрели не раньше 1905 года [Engelstein 1992: 130]. Она усматривает в этом следствие особенностей русской культуры конца царского периода, к которой, ввиду ее отличия от западноевропейского модерна, идеи биополитики Мишеля Фуко оказываются неприменимы [Engelstein 1993]. По мнению Энгельштейн, в России XIX века не наблюдаются диспозитивы власти в том смысле, в каком они, по Фуко, характерны для гражданских обществ Западной Европы: дисциплинарно-контролирующие практики, при которых власть осуществляется на основании не законов, а механизмов нормирования, опирающихся на научное знание. Энгельштейн ставит под вопрос универсальный характер предложенной Фуко модели развития, согласно которой полицейское государство просвещенного абсолютизма, где на первом плане находятся право, закон и наказание, сменяется «либеральным» современным государством, где власть и контроль осуществляются с помощью практик самоуправления: в Российской империи, с точки зрения Энгельштейн, подобного возникновения современного государства не произошло [Engelstein 1993: 343].

Хотя критика, которой Энгельштейн подвергает идею использования фуколдианской концепции в качестве объяснительной модели для заключительного этапа царской эпохи, без сомнения, правильна, сделанные ею выводы, согласно которым биомедицинские концепции были мало распространены в России конца XIX века, спорны. Если Энгельштейн занимается преимущественно дискурсом сексуальных отклонений, то авторы новейших исследований обрисовали более широкую и многогранную картину становления и развития в России биологистских дискурсов, тем самым убедительно опровергнув тезис о русском «особом пути». Основополагающая роль принадлежит здесь работам Дэниела Бира [Beer 2008] и Марины Могильнер [Mogilner 2013], которые, используя чрезвычайно разные теоретико-методологические подходы, с позиций «археологии знания» извлекли на свет забытые российские биомедицинские курсы и практики.

Дэниел Бир, занимающийся тщательным исследованием биологистских концепций преступника в криминологии и криминальной антропологии, а также дискурса о вырождении и теорий психических эпидемий в психологии масс, поясняет ту роль, которую при переходе от царской России к молодому Советскому Союзу сыграли в концептуализации «либерального модерна» науки

о человеке. Бир оспаривает тезис Энгельштейн, что в России опирающийся на науки о человеке «модерный либерализм» оказался невозможен, утверждая, что в конце царской эпохи биомедицинские концепции — как движущая сила «либерально-дисциплинирующего» проекта «оздоровления» России — активно использовались для осмысления общественного организма в категориях нормы и патологии [Веер 2008: 8]. При этом Бир также показывает, как эти дореволюционные дискурсивные практики продолжали жить в рамках того социального эксперимента, что в раннесоветский период предприняли большевики.

Подчеркивая совпадения между политическим и научным дискурсами, Бир разъясняет, как именно биомедицинский дискурс превращается в диагностирующий, терапевтический и репрессивный инструмент борьбы с социальными «патологиями» благодаря введению бинарного различия между нормальным/здоровым и ненормальным/болезненным. Российскую специфику этого дискурса Бир усматривает в том, что феномену вырождения присваивается амбивалентный статус: оно осмысляется одновременно как внешний и как внутренний элемент российского социального организма, поскольку представляет собой как проявление «атавистического» состояния отсталой, нецивилизованной России, так и следствие «вредоносных» процессов модернизации, таких, как капитализм, урбанизация и т.д. Таким образом, Бир выдвигает концепцию особой российской формы биополитической модерности, в которой центральная роль — согласно фуколдианской модели — принадлежит дискурсивному авторитету экспертов в сфере наук о человеке (психиатров, криминологов, психологов), но которая тем отличается от модерности «западноевропейской», что отклонения понимаются как явление, повсеместно распространенное, а потому, прежде чем защищать нормальность, нужно для начала ее достигнуть.

Иную интерпретацию биомедицинских дискурсов в России XIX столетия предлагает Марина Могильнер в работе о российской традиции «физической антропологии». Могильнер упрекает Бира в упрощении и гомогенизации российского контекста, по сути своей гетерогенного; в недифференцированном рассмотрении совершенно разных научных и идеологических позиций в качестве равноценных составных частей единственного биомедицинского дискурса, а главное — в невнимании к имперской природе России, которая, по мнению Могильнер, имеет основополагающее значение для биосоциального воображения той эпохи [Mogilner 2010]. С опорой на новейшие исследования имперских культур как таких, которым присущи разнообразие и гетерогенность [Karpeleer 1992; Burbank, Cooper 2010], Могильнер придерживается точки зрения, согласно которой представления о «норме» и «отклонении» в Российской империи зависели от контекста и варьировались, так как империя объединяла в себе многочисленные и частично несовместимые друг с другом социокультурные пространства, а такие категории, как «население» и «этническая принадлежность», отнюдь не имели четких границ.

Согласно Могильнер, именно гибкость имперского подхода к проблеме социальной и этнической гетерогенности в первую очередь закладывает основы специфики русского биомедицинского дискурса, для которого «стратегический релятивизм», свойственный империи [Gerasimov et al. 2009], составлял эпистемологическую проблему, так как противоречил современным научным приемам проведения отчетливых границ между нормой и вырождением. Могильнер демонстрирует имперские стратегии приспособления, к которым прибегали представители российского биомедицинского знания, на примере

адаптации ломброзианской криминальной антропологии, которая в России осмыслялась в свете теории вырождения. Если Ломброзо понимал разницу между нормальным и преступно-патологическим как антропологически универсальную, то российские ученые склонны были интерпретировать «прирожденного преступника» как категорию коллективную, которая позволяла стигматизировать целые социальные и этнические группы и тем самым держать имперское человеческое разнообразие под контролем. Психиатры — теоретики русского национализма, например И.А. Сикорский, В.Ф. Чиж и П.И. Ковалевский, в зависимости от контекста диагностировали дегенеративные отклонения от нормы у татар, сектантов, евреев, а также кавказцев и стремились достичь «имперской однородности» посредством очерчивания границ «здоровой» России. Однако в целом в российской криминальной антропологии можно констатировать широкий набор концепций «прирожденного преступника», отражавший гетерогенность российской имперской ситуации.

Эту интерпретацию криминально-антропологических дискурсов в имперском контексте развивает **Марина Могильнер** в статье, открывающей настоящей блок. По ее мнению, адаптация ломброзианской криминальной антропологии к имперскому «стратегическому релятивизму» привела к возникновению ряда новых концепций «внутреннего дикаря» как атавистического явления, опиравшихся на «метод имперского сравнительного анализа». Склонность социологов в лице, например, М.М. Ковалевского, а также представителей криминальной антропологии, например последовательницы Ломброзо П.Н. Тарновской, к выявлению особых форм атавизма и вырождения у различных этнических групп особенно ярко проявилась накануне 1905 года. Могильнер указывает, что в период с 1905 года и до распада империи в биологистском дискурсе о преступности происходит сдвиг: теперь физиогномические и антропометрические признаки атавистического преступника играют второстепенную роль по отношению к его внутреннему «сокрытому, а потому обманчивому и пугающему означающему». Могильнер убедительно показывает, что и в эту позднеимперскую фазу существования российского биологистского дискурса об отклонении первобытные инстинкты, которые Ломброзо считал атавистическими в универсальном смысле, могли в зависимости от контекста расцениваться совершенно по-разному: как здоровые или дегенеративные, прогрессивные или регрессивные. Этот дискурсивный сдвиг оказывается выгоден быстро развивавшейся после 1905 года российской психиатрии, поскольку та располагала эффективным научным инструментарием для выявления преступных отклонений. В то же время ей постоянно приходилось приспосабливаться к российской ситуации «имперского человеческого разнообразия», где всякая медикализация атавистического дикаря была обречена сохранять гибридный, неустойчивый, а потому тревожный характер, как показывает Могильнер на примере первого поколения российских психиатров (И.А. Сикорского, П.И. Ковалевского, В.Ф. Чижа). Даже психиатры второго поколения (Э.М. Будул, Э.В. Эриксон), в попытке преодолеть эту двойственность российского дискурса об отклонении обратившиеся к расовой теории, вынуждены были прибегать к методу «имперского сравнительного анализа», чтобы создать образ «внутреннего дикаря» — прежде всего еврея. Лишь в ранний советский период благодаря ясной идеологической ориентации оказалось возможным, по Могильнер, преодолеть неустойчивость дискурса социальной эксклюзии и добиться однозначности при создании модели социальной «дикости».

Исследованию связи между криминальной антропологией и русским национализмом, обратной стороной имперского дискурса о разнообразии, посвящена статья **Луизы МакРейнольдс** о П.И. Ковалевском, одном из отцов-основателей русской психиатрии. В 1883 году Ковалевский, заведовавший кафедрами психиатрии Харьковского и Казанского университетов и бывший ректором Варшавского университета, основал первый русский психиатрический журнал «Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии», само название которого уже свидетельствует о преемственности по отношению к журналу Ломброзо «Архив психиатрии, криминальной антропологии и уголовного права» («Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali») и который сразу становится одним из наиболее влиятельных рупоров российской криминальной антропологии [Salomoni 2009]. МакРейнольдс объясняет, как политический консерватизм Ковалевского повлиял на его судебно-психиатрическую работу, т.е. на социополитическое истолкование биологически предопределенных преступных отклонений. При этом показано становление Ковалевского, особенно после 1905 года, как мыслителя-националиста, который стал использовать криминальную антропологию в качестве инструмента при создании модели здоровой русской нации. Как в профессиональных публикациях ученого, получивших международное признание, так и в его научно-популярных сочинениях, издававшихся крупными тиражами и отличавшихся «алармистским» стилем, напоминающим Крафт-Эбинга, на первый план отчетливо выступает политический подтекст отмеченной влиянием Ломброзо судебной психиатрии в том виде, в каком ее понимал Ковалевский.

Важная роль отводится его концепции судебной психиатрии и в статье **Риккардо Николози**, который сосредоточивается на нарративном потенциале российской криминальной антропологии, причастной одновременно к научному и литературному дискурсам. Судебные анализы Ковалевского выступают здесь яркими примерами основанной на совмещении теорий атавизма и вырождения с их нарративными возможностями повествовательной формы, в которую облекались криминально-антропологические концепции. Николози дает комментарий мифопоэтической подоплеке ломброзианских «врожденных преступных наклонностей» и их возросшей «способности быть рассказанными» благодаря включению в психиатрическую теорию вырождения. В судебных анализах Ковалевского прирожденный преступник, изображаемый как атавистическое чудовище, становится частью генеалогической истории вырождения, которая позволяет психиатру дать первобытной звериной сущности преступника исчерпывающее объяснение и тем самым ее «обезвредить». Взгляд на теории атавизма и вырождения как на повествовательные модели позволяет Николози показать тесное взаимодействие между поэтологией науки и эпистемологией литературы в области российской криминальной антропологии конца XIX века. Таким образом, русская литература того времени больше не кажется «невосприимчивой» к биологистским теориям преступности, как до сих пор утверждалось, а в сочинениях как классиков, например Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского, так и менее известных писателей, таких, как А.И. Свирский и В.А. Гиляровский, отчетливо проступают повествовательные модели изображения врожденных преступных наклонностей.

Пер. с нем. Нины Ставрогиной

Библиография / References

- [Юдин 1951] — *Юдин Т.И.* Очерки истории отечественной психиатрии. М.: Медгиз, 1951.
(*Yudin T.I.* Ocherki istorii otechestvennoy psikiatrii. Moscow, 1951.)
- [Beer 2008] — *Beer D.* Renovating Russia: The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity, 1880—1930. Ithaca; London: Cornell University Press, 2008.
- [Burbank, Cooper 2010] — *Burbank J., Cooper F.* Empires and the World of History: Power and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press, 2010.
- [Engelstein 1992] — *Engelstein L.* The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siècle Russia. Ithaca; London: Cornell University Press, 1992.
- [Engelstein 1993] — *Engelstein L.* Combined Underdevelopment: Discipline and the Law in Imperial and Soviet Russia // *American Historical Review*. 1993. № 98/2. P. 338—353.
- [Gerasimov et al. 2009] — *New Imperial History and the Challenges of Empire // Empire Speaks Out: Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire / Ed. by I. Gerasimov et al.* Leiden: Brill, 2009. P. 3—32.
- [Goering 2003] — *Goering L.* Russian Nervousness: Neurasthenia and National Identity in Nineteenth-Century Russia // *Medical History*. 2003. № 47. P. 23—46.
- [Kappeler 1992] — *Kappeler A.* Rußland als Vielvölkerreich. Entstehung, Geschichte, Zerfall. München: C.H. Beck, 1992.
- [Knight 2000] — *Knight N.* Ethnicity, Nationalism and the Masses: Narodnost' and Modernity in Imperial Russia // *Russian Modernity: Politics, Knowledge Practices / Ed. by D.L. Hoffman, Y. Katsonis.* Basingstoke et al.: Macmillan, 2000. P. 41—64.
- [Mogilner 2009] — *Mogilner M.* Russian Physical Anthropology of the Nineteenth-Early Twentieth Centuries: Imperial Race, Colonial Other, and the Russian Racial Body // *Empire Speaks Out. Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire / Ed. by I. Gerasimov et al.* Leiden; Boston: Brill, 2009. P. 155—189.
- [Mogilner 2010] — *Mogilner M.* Review: Daniel Beer, *Renovating Russia: The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity, 1880—1930.* Ithaca; N.Y.: Cornell University Press, 2008 // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2010. № 11/3. P. 661—672.
- [Mogilner 2013] — *Mogilner M.* Homo Imperii: A History of Physical Anthropology in Russia. Lincoln; London: University of Nebraska Press, 2013.
- [Morrissey 2010] — *Morrissey S.* The Economy of Nerves: Health, Commercial Culture, and the Self in Late Imperial Russia // *Slavic Review*. 2010. № 69/3. P. 546—675.
- [Salomoni 2009] — *Salomoni A.* La Russia // *Cesare Lombroso cento anni dopo / Ed. by S. Montaldo, P. Tappero.* Turin: Utet, 2009. P. 249—261.
- [Sirotkina 2002] — *Sirotkina I.* Diagnosing Literary Genius. A Cultural History of Psychiatry in Russia, 1880—1930. Baltimore; London: The Johns Hopkins University Press, 2002.

Марина Могильнер

Прирожденный преступник в империи:

АТАВИЗМ, ПЕРЕЖИТКИ, БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЕ
ИНСТИНКТЫ И СУДЬБЫ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРСКОЙ МОДЕРНОСТИ

Marina Mogilner

The Empire-Born Criminal: Atavism, Survivals, Irrational Instincts, and the Fate of Russian Imperial Modernity

Марина Могильнер (Иллинойский университет в Чикаго; профессор российской и восточноевропейской интеллектуальной истории (именная профессура Эдварда и Марианны Таден), исторический факультет; PhD) mmogilne@uic.edu.

Marina Mogilner (University of Illinois at Chicago; Department of History, Edward and Marianna Thaden Chair in Russian and East European Intellectual History, associate professor of history; PhD) mmogilne@uic.edu.

Ключевые слова: Российская империя, СССР, имперская история, криминальная антропология, кровавый навет, национально-этническая политика, психиатрия

Key words: Russian Empire, USSR, imperial history, criminal anthropology, blood libel, nationalities politics, psychiatry

УДК: 572+343.9

UDC: 572+343.9

В статье исследуется разнообразие представлений о норме и отклонении в поздней имперской России. Адаптируя криминальную антропологию к имперской ситуации, врачи и ученые рассматривали «прирожденного преступника» как коллективную категорию и создали сравнительную шкалу имперского человеческого разнообразия, позволявшую стигматизировать целые группы. Между революциями в дискурсе о преступности произошел семиотический сдвиг от означающего к означаемому, обусловивший новый образ «внутреннего дикаря» — впрочем, гибридный и неустойчивый. Задачей младшего поколения психиатров стало преодоление этой двойственности, но удалось это лишь в раннесоветский период, когда понятие «прирожденного преступника», сменившись понятием «вредителя», приобрело однозначный — чисто социологический — смысл.

The article examines the plethora of ideas regarding norms and deviations in late imperial Russia. Adapting criminal anthropology to the imperial situation, doctors and scientists examined the “natural-born criminal” as a collective category and created a comparative scale of imperial human diversity that allowed them to stigmatize entire groups. In the period between revolutions, the discourse on criminality underwent a semiotic shift from the signifier to the signified, conditioning a new image of the “internal savage,” one that was, however, hybrid and unstable. The following generation of psychiatrists was tasked with overcoming this duality, but this was only achieved in the early Soviet period, when the concept of the “natural-born criminal” was replaced by that of the “counterrevolutionary” and acquired an unambiguous, purely sociological sense.

Характер преступности и научное поле криминальной антропологии, занятой изучением этого явления, а также возникшие на этой почве общественные дискурсы, посвященные противоправному поведению и отклонениям от нормы, часто рассматриваются как критерии участия России в глобальной «модерности». Исследуя научные и популярные представления об отклонении от нормы, историки — намеренно, а порой и не отдавая себе в этом отчета, — выносят

диагноз российской современности, оценивая ее относительно некоей нормативной версии, констатируя отсталость, недомодернизированность или «комплексное недоразвитие» (*combined underdevelopment*) [Engelstein 1992; 1993; Beer 2008]. В настоящей статье я собираюсь выйти за пределы устоявшейся традиции и пересмотреть этот давнишний спор с точки зрения новой имперской истории, исходя из тезиса о том, что в имперской ситуации динамичного и неупорядоченного разнообразия вроде бы самоочевидные политические действия и идеи обычно порождают множественный эффект и непреднамеренные последствия. Империя как контекстообразующая категория придает смысл ситуациям и отношениям в зависимости от конкретных обстоятельств, субкультур или локального знания (в гирцевском понимании). С точки зрения новой имперской истории сравнение некоей универсальной и устойчивой российской «ненормативности» (а в более широком смысле и российской модерности) с некоей столь же самоочевидной западной моделью, признаваемой за норму, просто лишено смысла. Вне зависимости от того, будем ли мы рассматривать их сквозь ломброзианскую или фуколдианскую призму, дискурсы о норме и отклонении от нее, выступающие как воплощение модерности, оказываются обусловлены определенной имперской ситуацией — решающим фактором, который определяет структуру взаимоотношений власти и знания [Gerasimov et al. 2009].

Империя объединяет многочисленные, лишь отчасти совместимые и поддающиеся взаимному «переводу» социокультурные пространства и играет роль «переключателя» контекстов, задающих разные смыслы и модусы деятельности, мышления и самоопределения индивида. В имперской ситуации этническая принадлежность как главный признак различия может уживаться с социальным статусом и даже заменять его. Как известно, в Российской империи правовой статус «иностранцев» был уделом этнических меньшинств, а принадлежность к полякам или евреям была сопряжена с целым комплексом установленных законом социальных, экономических и правовых характеристик. С другой стороны, при определенных обстоятельствах имперское уголовное уложение позволяло истолковывать преступные действия как проявление «обычая». Правовой порядок империи, или «режим имперского права» [Bugbank 2006], предполагал одновременное существование многочисленных и нередко взаимно противоречивых правовых логик, институтов и практик, выходящих за рамки правового плюрализма. Многомерные имперские ситуации производили гибридность: необязательно в том значении, которое сформулировал Хоми Баба (как гибридизацию исключительно колониального дискурса) [Bhabha 2004], а в более прямом и обобщенном смысле порождения гибридных — сложных, иерархических, относительных и ситуативных — знания, идентичностей и дискурсов.

С этой точки зрения представляется, что основной конфликт, связанный с подходом к проблеме отклонения от нормы в позднеимперской России, не был конфликтом между экспертами с их нормативным дискурсом о норме и отсталым государством, которое его не принимало. В конце концов, в том, что эти эксперты якобы готовы были радикально изменить «социальную среду» (не исключая возможности политической революции), чтобы навязать свое ясное представление о норме и отклонении всему обществу, не было ничего специфически русского [Engelstein 1993; Beer 2008; Morrissey 2010]. Основным конфликтом сводился, думается, к имперской по существу дилемме: как прими-

речь «стратегический релятивизм» критериев и ценностей, порожденных основополагающим фактором имперской гетерогенности и разнообразия, с тем систематизирующим и рационализирующим импульсом, который исходил от модерной научной эпистемы и политической культуры (примером чего служит экспертный нормативный подход) [Mogilner 2013]. Именно этот конфликт вдохновил ранние размышления о феномене гибридности и релятивизирующую критику гегемонных дискурсов [Gerasimov et al. 2013]. В то же время он подпитывал популярность позиции «выученного незнания» (*learned ignorance*) об империи, когда игнорирование ненужной информации помогало сделать неустойчивую имперскую ситуацию более доступной пониманию¹. Одновременное сосуществование столь противоположных откликов на главный конфликт российской имперской модерности свидетельствует о влиятельности имперского стратегического релятивизма, отражающего невозможность навязывания единственного «режима истины» и одной объяснительной стратегии, которая бы охватывала всю сложность имперской ситуации в Российской империи².

Ярким примером стратегического релятивизма в действии служит восприятие в России ломброзианской криминальной антропологии. Ломброзо с самого начала подвергался критике как основатель европоцентристского гегемонного дискурса о норме и отклонении, претендующего на универсальность и исключительную научность. Дмитрий Анучин, первый русский профессор антропологии и глава московской школы либеральной антропологии, полагал:

«Антропологическая» школа должна пользоваться данными действительной антропологии и включать в свой кругозор все известные разновидности человечества. Данные же антропологии доказывают, что <...> [в] морфологическом отношении нормальный человек может принадлежать к белой или к черной расе, иметь шерстистые волосы, как негр или готтентот, или прямые и гладкие, как монгол или американец; быть высокорослым, как полинезиец, патагонец, кафр, или малорослым, как негритос, японец, лопарь [Анучин 1890: 337–338].

Обобщения, опирающиеся исключительно на европейские антропологические измерения, Анучин называл произвольными и необоснованными, уподобляя их нормативному подходу, который предлагает «считать только белого

-
- 1 «Выученное незнание» — термин Энн Стоулер. Она возводит его к «умышленно воспитанному незнанию» У.Э. Дюбуа, «культивированному незнанию» Фуко и «санкционированному незнанию» Гаятри Чакраворти Спивак, в которых Стоулер подчеркивает не столько когнитивные, сколько лингво-афатические элементы окклюзии знания [Stoler 2009: 247]. Такое выученное незнание было характерно, например, для русских народников в XIX веке, которые потому остались слепы к разнообразию социального пространства империи и пронизывающим его взаимосвязям, что усвоили восприятие общества как холистского социального порядка. Более подробное обсуждение вопроса см. в: [Semyonov et al. 2013].
 - 2 Понятие «стратегического релятивизма» является модификацией выдвинутой Гаятри Чакраворти Спивак концепции «стратегического эссенциализма» [Spivak 1987: 205]: «Противоположный случай, являющийся отличительной чертой империи как идеального типа <...> можно обозначить как стратегический релятивизм, который следует понимать как такого рода дискурс и позицию, которые релятивизируют внешнюю цельность и внутреннюю однородность элементов социально-политического пространства <...> и <...> порождают ситуацию неопределенности, несоотнесенности частей и неясности» [Gerasimov et al. 2009: 20].

человека нормальным, а в неграх, монголах и других видеть ненормальных, выродившихся и оскуделых представителей рода homo» [ibid.: 338].

Эта критика, носившая имплицитно антиколониальный характер, отражает трансформацию ломброзианской концепции «прирожденного преступника» в российском контексте, где она подверглась дифференциации и этнизации, как, например, в следующем утверждении: «Ломброзо нашел в преступниках преобладание прогнатического брахицефализма, т.е. приближение к типу татар, калмыков, отаитян, арауканцев» [Минцлов 1881: 219]. Подобной дифференциации подвергся и нормативный тип, распадаясь на характерные региональные, расовые и социальные типы. Это вполне согласовывалось с общей имперской логикой постоянного переопределения критериев и степеней человеческого разнообразия [Mogilner 2013: 328–346]. Подобно другим языкам имперской самомодернизации, криминальная антропология была средством контроля, а также систематической реорганизации и рационализации человеческого разнообразия империи. В Российской империи рубежа веков последовательное насаждение одной универсальной нормы и маргинализация и криминализация отклоняющихся от ее вариантов могли мотивироваться лишь сознательной [реакционной] политической позицией. Но даже тогда империя как контекстообразующая категория релятивизировала и смягчала наиболее радикальные попытки ввести и утвердить единый нормативный дискурс нормы и политику в отношении отклонений.

Методологическое принятие факта имперского человеческого разнообразия могло вести к дискриминационным политическим выводам, включая неприкрыто колониальные. Таков был случай профессора Максима Максимовича Ковалевского, социолога и историка, занимавшегося изучением британской политической традиции и обычного права кавказских горцев, основателя Партии демократических реформ и члена Государственной думы. Значительная доля харизмы Ковалевского заключалась в факте личного знакомства с Карлом Марксом, которому Ковалевский служил источником познаний по истории общинного землевладения и который, возможно, способствовал тому, что Ковалевский стал воспринимать девиацию не как индивидуальный феномен, а как качество, присущее исторически сложившимся социальным группам [Бороноев 1996; Semyonov et al. 2013: 64–68]. «Представьте себе кавказского горца, обсуждающего те или другие статьи уголовного кодекса и проникнутого убеждением, что кровь надо смывать кровью или взамен этого требовать коров и баранов», — писал Ковалевский в 1905 году в ведущей русской либеральной газете. И продолжал: «Когда окружной суд приговаривает убийцу-черкеса к каторжным работам в Сибири, ближайший родственник жертвы спешит последовать за ссыльным, чтобы осуществить на нем долг мести. Такие факты не раз упоминаются судебными протоколами и административной перепиской» [Ковалевский 1905: 2]. Народы русского Кавказа вместе с коренными народами Сибири — чукчами, камчадалами и якутами — Ковалевский объединял в одну категорию слаборазвитых и нецивилизованных подданных империи, чьи «преступные наклонности» хотя и не являлись, строго говоря, «врожденными», поскольку объяснялись примитивной стадией их развития, но все же в структурном отношении были в корне несовместимы с современным обществом. Поэтому Ковалевский советовал поместить примитивные народности в резервации, основанные на принятой в США индейской модели, и исключить их из общегражданского пространства в качестве «наказания» и условия

создания в империи современного общества [ibid.]. В то же время Ковалевский не считал «примитивность», «традиционное общество», «атавизм» и «преступные наклонности» лишь научными понятиями общего характера и отнюдь не связывал их исключительно с криминальной антропологией. Их конкретное содержание и практический смысл зависели от анализируемой структурной ситуации [Ковалевский 1886; 1890].

Альтернативу этой разновидности либерального империализма представляло гораздо более эгалитаристское и даже популистское видение совместного существования различных локально обусловленных представлений о норме и вырождении, предполагавшее «горизонтальную» дифференциацию четко разграниченных национальных групп. Подобное воплощение принципа имперского релятивизма в области криминальной антропологии ассоциируется прежде всего с самой известной из русских последователей Чезаре Ломброзо — Прасковьей Николаевной Тарновской, которая занималась изучением русских женщин-убийц и проституток [Engelstein 1992: 138—143; Mogilner 2013: 339—340]. Она была буквально одержима идеей строгого разграничения нормальных и отклоняющихся от нормы групп, в состав которых включала лишь этнически русских. Из ее выборов тщательно исключались,

как бы интересны они ни были, все те случаи, где, при ближайшем ознакомлении, один из родителей оказывался не коренным русским по рождению. Таким образом, приходилось откинуть всех осужденных, один из родителей которых был уроженцем Финляндии, Балтийских губерний, Западного края, равно как и Кавказа, или происходил от казанских или крымских татар или иных инородцев. Мы исключили также всех женщин, заведомо имевших в своем восходящем поколении евреев и армян, строго исключая из своих наблюдений примеси посторонней крови, обуславливающие скрещения рас, — в остальном я не выделяла субъектов для своих наблюдений, а брала подряд всех представлявшихся мне женщин-убийц средних русских губерний, русских по происхождению [Тарновская 1902: 2].

Женские «преступные типы» и «нормальные» крестьянки Тарновской отнюдь не являлись представителями некоей универсальной антропологической модели нормы и вырождения; не выступали они и простым олицетворением политически бесправной классово-гендерной группы, на которую интеллигенция проецировала свои культурно-биологические предрассудки и утопические представления. Вместо этого они воплощали русскую расово-этническую норму и русский расово-этнический атавизм, и Тарновская с готовностью признавала ограниченность полученных результатов. Она допускала, что другие чистые этнические группы в империи могли иметь собственные особые разновидности нормы и вырождения, подразумевая тем самым возможность одновременного существования множества правовых логик, отражающих разные социобиологические условия [Mogilner 2013: 339—340].

Главным препятствием для реализации подобной ломброзианской методологии на практике была вытекавшая из нее политическая модель. Политический порядок, при котором каждый коллективный субъект имел своего «прирожденного преступника», а стало быть, и индивидуальный правовой режим, был возможен лишь при архаическом партикуляристском имперском строе. Именно «старое» имперское государство универсальным экспертным парадигмам предпочитало локальное знание и индивидуализированный подход к разным группам подданных (пресловутый «еврейский вопрос» или

«финский вопрос» вместо общей национально-этнической политики). Практическое применение с целью переустройства существующего имперского порядка различных адаптаций ломброзианского подхода, в том числе в духе Ковалевского и Тарновской, оставляло лишь два варианта: последовательный современный колониализм по образцу заокеанских империй Запада или некую ретроспективную (обращенную к старому имперскому партикуляристскому порядку), пусть и весьма современную и «прогрессивную» на уровне риторики, социальную утопию. Ни одна из этих альтернатив, четко сформулированных на языке политики, не могла в полной мере удовлетворить русскую интеллектуальную общественность, включая самих Ковалевского и Тарновскую. При этом такая неудовлетворенность в практическом отношении отнюдь не умаляла важности самой задачи реформирования на рациональных началах неупорядоченного и хаотичного имперского человеческого разнообразия.

Эта задача решалась во многих научных и профессиональных сферах за пределами собственно криминальной антропологии. Такие категории, как «атавизм», «пережиток», «стихийность» и «примитивность», могли заимствоваться из этнографии, философии, социологии или психиатрии и использоваться с целью создания условий для широких междисциплинарных дискуссий, которые регулярно делались достоянием общественности. В конце XIX века эта риторика становится общей для этнографов, юристов, специалистов по физической антропологии, врачей, психиатров, педагогов, офицеров русской армии, национальных и гражданских общественных деятелей и политиков всех мастей. Это позволяло сохранять ломброзианскую программу на слуху, не упоминая итальянского криминального антрополога и концепцию «прирожденного преступника» напрямую.

Так, в пореформенный период обращение к концепции «пережитка» в ходе судебных заседаний открывало простор для ломброзианского по сути социального воображения (в его характерном русском имперском изводе) под видом почтенной этнографической генеалогии, восходящей к Э.Б. Тайлору. В своей книге «Первобытная культура» (1871) Тайлор изложил эволюционистское представление о единообразном «доисторическом» обществе как необходимой стадии развития любого человеческого коллектива. Он сформулировал концепцию пережитков как «свидетельств и примеров более раннего состояния культуры», не имеющих никакого функционального смысла в современности [Тулог 1871: 15]. Вне надлежащего контекста и эволюционного хронотопа «пережиток» легко прочитывался как ломброзианский «атавизм». Ярким образчиком такого рода подмены понятий стало так называемое мултанское дело (1892—1896), когда группа вотяков (сегодняшние удмурты) из села Старый Мултан, располагавшегося в таежном треугольнике в междуречье Волги и Камы, была несправедливо обвинена в ритуальном убийстве русского [Гераси 2000]. Два обвинительных приговора по этому делу основывались главным образом на экспертизе профессора Казанского Императорского университета, этнографа Ивана Смирнова, который никогда не объявлял себя поклонником Ломброзо. Будучи истым приверженцем Тайлора, он верил в универсальное движение человеческого прогресса к цивилизованным культурным и социальным формам и в цивилизаторскую миссию Российской империи. С позиции эксперта он обвинял не столько конкретных вотяков, сколько архаические «пережитки» их этнической группы, которые необходимо

было искоренить. До тех пор, пока вотяки как группа сохраняли эти «пережитки», они обречены были считаться «прирожденными преступниками». В то же время с точки зрения тех, кто все еще сохранял веру в имперскую цивилизаторскую миссию и в не детерминированную расой имперскую «русскость», криминальная девиация вотяков теоретически подлежала исправлению [Mogilner 2017].

За последние десятилетия существования империи этот прикладной дискурс претерпел серьезные перемены, ставшие очевидными в ходе еще одного хрестоматийного судебного процесса — «дела Бейлиса» (1911—1913) [Weinberg 2014]. Когда еврей Мендель Бейлис был обвинен в ритуальном убийстве христианского мальчика Андрея Ющинского, эксперты, поддержавшие это обвинение, возложили вину в преступлении не на определенные атавистические «пережитки», а на примитивную природу еврейской расы в целом. На этот раз все евреи были осмыслены как коллективный пережиток и потому признаны «преступными от рождения» без надежды на исправление и интеграцию в общество [Mogilner 2016]. Главный эксперт со стороны обвинения, профессор Киевского Императорского университета Святого Владимира Иван Алексеевич Сикорский (1842—1919), считал, что для объяснения побуждений Менделя Бейлиса нужно «исходить из соображений исторического и антропологического характера» и обращаться с убийцей как с «уголовно-антропологическим типом». «Следует признать вслед за криминальными антропологами, — продолжал Сикорский, — что основой разбираемого типа злодеяний является расовое мщение» [Weinberg 2014: 99—100]. Чтобы избавиться от этого «коллективного пережитка» первобытной эпохи, современное общество должно изолировать или полностью истребить всю опасную группу, движимую преступной жадностью. В своей экспертизе Сикорский недвусмысленно соединил криминальную антропологию Ломброзо с этнографией Тайлора, искаженно истолковав «пережиток» как живое явление, а не просто пустую оболочку, оставшуюся от практики, которая считалась давно утратившей свой культурный смысл и функцию. Сюда же он присовокупил и Джеймса Фрэзера, автора книги «Золотая ветвь: Исследование магии и религии» (1890) — новаторского исследования ритуалов анимизма в первобытных культурах. Фрейзер понадобился Сикорскому для того, чтобы подкрепить утверждение о том, что ритуальное умерщвление детей иной этнической принадлежности — это признак сохраняющих свою силу примитивных черт дегенеративной расы [Mogilner 2017].

При всей кажущейся произвольности случаев подобного синтеза они свидетельствуют о том, что теория Ломброзо, устанавливавшая связь между атавизмом и преступным/ненормальным поведением (пережитком и современностью), не утрачивала теоретической и практической значимости для осмысления человеческого разнообразия в Российской империи.

Внутренний дикарь

Как семиотическая система эта ломброзианская связь подразумевала, что внешние признаки атавизма и вырождения (означающие) выступают показателями внутреннего дегенеративного состояния (означаемого). Впрочем, за те годы, что отделяли мултанское дело от суда над Бейлисом, отношения между означающим и означаемым изменились: с поддающихся наблюдению и изме-

рению означающих внимание экспертов сместилось на сокрытое, а потому обманчивое и пугающее означаемое. Особенно отчетливо этот сдвиг проявился в период между революциями 1905 и 1917 годов. Ученые и политики, разделявшие модернистское и националистическое представления об обществе, к немалой своей досаде обнаружили все те качества, которые они приписывали инородческим группам (примитивность, иррациональность, следование инстинктам), среди собственных «референтных групп» — прежде всего представителей русской этнокультурной нации. С тайлоровской точки зрения, в таком открытии не было бы ничего ужасного, однако более ломброзианский по сути своей взгляд на имперское человеческое разнообразие (оперирующий категориями расы или социального класса) не позволял возлагать надежды на эволюционные преобразования. Раз уж «внутреннего дикаря» нельзя было искоренить, не уничтожив самого человека, то оставалась лишь одна возможность: искренне принять его как своего рода положительную разновидность «примитивизма» со всеми его преступными коннотациями.

Неслучайно, что в 1950—1960-е годы группа американских историков — специалистов по позднеимперскому периоду русской истории, почти не проявлявших интереса к имперской природе страны, тем не менее увидела ключевое противоречие того времени в конфликте между социальной организацией и стихийной импровизацией, сознательностью и спонтанностью, воплощенном (с точки зрения этих историков) в противостоянии большевиков и меньшевиков.

На протяжении почти тридцати лет члены разных фракций социал-демократического движения для объяснения фактов своего жизненного опыта — а также определения и выражения своих разнившихся и менявшихся политических позиций — довольствовались двумя концептуально-символическими категориями: «сознания» и «спонтанности». Именно общее стремление к сознательности, к выработке разумного и ответственного мировоззрения перед лицом чуждого им и равнодушного общества и сплотило представителей интеллигенции изначально. <...> Сама интенсивность этих усилий обрести «сознательную» идентичность время от времени побуждала многих представителей интеллигенции к противоположным устремлениям, к желанию вырваться из изоляции и дать своим чувствам свободное, «спонтанное» выражение — путем «слияния» с внешней народной силой. <...> Понятия сознания и спонтанности отражали конфликт между двумя этими тенденциями. Они отражали разрыв между разумом и чувством, между которыми многие представители интеллигенции проводили строгую границу [Haimson 1955: 209—210].

По мнению автора этого пассажа, историка Леопольда Хеймсона, у меньшевиков вызывала отторжение примитивная натура их классовой опоры — значительной части российского пролетариата, которая якобы была «совершенно не приспособлена к новой заводской среде, руководствовалась “скорее инстинктом и чувством, чем сознанием и расчетом”, которая придавала массовому движению “его беспорядочный, примитивный, стихийный характер”» [Haimson 1964: 634]. Большевики потому одержали победу над меньшевиками, что более преуспели в разрешении дилеммы «внутреннего дикаря».

В самом деле, тщательный анализ сочинений Владимира Ленина позволяет выявить показательную динамику использования понятия «классового инстинкта» («революционного инстинкта») в качестве противоположности

рациональным формам организации или теоретической мысли. На протяжении более чем десяти лет, с 1893 по 1903 год, он говорил о роли «инстинкта» лишь в отрицательном смысле. Это его политические противники, народники, верили «в коммунистические инстинкты “общинного” крестьянина» и «социалистические инстинкты народа» [Ленин 1894: 284; 1901: 327, 345; 1902a: 43—44]. Они были «демагогами», разжигавшими «дурные инстинкты толпы». В ответ Ленин требовал, чтобы «все революционные инстинкты и стремления» подчинились «централизованной боевой организации, выдержанно проводящей социал-демократическую политику» [Ленин 1902a: 123, 137; 1902b: 395; 1902c: 56—57]. Ленин считал, что лишь «серый рабочий из нижних и средних слоев массы» может руководиться инстинктом [Ленин 1899: 316]; что «борьба кавказских рабочих с хозяевами, ввиду их крайне низкого культурного уровня, естественно, носила до сих пор более или менее бессознательный, стихийный характер» [Ленин 1902d: 103]. Перелом в восприятии, заставивший Ленина увидеть в иррациональной, инстинктивной социальной активности педагогическую и созидательную ценность [Ленин 1904: 260], наступил в ноябре 1903 года, когда Ленин неожиданно признал, что «пролетарское чутье» рабочих может «научить кое-чему и нас, “руководителей”» [Ленин 1903: 95]. После января 1905 года отсылки к переосмысленному «инстинкту» буквально захлестнули его сочинения, появляясь в десятках статей на протяжении всего года. В «трезвом пролетарском инстинкте» больше не было ничего дикарского [Ленин 1905a: 161], так что «товарищам придется <...> руководиться <...> инстинктом революционера» [Ленин 1905b: 172; 1905c: 28]. В апреле 1905 года Ленин уже открыто противопоставлял «революционный инстинкт рабочего класса» «ошибочным теориям» [Ленин 1905d: 329, 330], а к маю полностью опрокинул иерархию ценностей, заявив о первенстве инстинкта перед рациональным мышлением и организацией³.

Несколько отставая в этом от большевиков, русские либералы и националисты тоже искали примирения с прежде отвергаемым и угнетенным «дикарем» в своей целевой аудитории. В марте 1909 года Петр Струве опубликовал программную статью «Интеллигенция и национальное лицо», в которой потребовал, чтобы русская интеллигенция осознала себя как «национально-русскую». Для Струве, который считался одним из ведущих российских либеральных идеологов и политиков (как в 1890-е годы считался признанным вождем социал-демократов), период 1908—1909 годов стал временем радикальной смены политических взглядов. Поразителен не столько идеологический посыл этой статьи (поворот от либерализма к государственничеству и национализму), сколько совершенное новое психическое отображение социальной действительности:

Когда-то думали, что национальность есть раса, т.е. цвет кожи, ширина носа («носовой указатель») и т.п. Но национальность есть нечто гораздо более несомненное и в то же время тонкое. Это духовные притяжения и отталкивания, и для того, чтобы осознать их, не нужно прибегать ни к антропологическим приборам, ни к генеалогическим изысканиям. Они живут и трепещут в душе [Струве 1909: 3].

3 «У рабочих есть классовый инстинкт, и при небольшом политическом навыке рабочие довольно скоро делают выдержанными социал-демократами. Я очень сочувствовал бы тому, чтобы в составе наших комитетов на каждых 2-х интеллигентов было 8 рабочих» [Ленин 1905e: 163].

Интеллектуал и рационалист, Струве отверг любые объективные и институционализированные (рациональные) формы социальной дифференциации. Заявив, что будущее государства зависит от того, удастся ли сплотить и мобилизовать нацию, он доверил эти важные задачи «духовным притяжениям», которые «трепещут в душе», — иными словами, тем самым бессознательным инстинктам, что составляют самую суть представления о примитивном состоянии.

Оказывалось, что в Себе и в Ином присутствовали те же инстинкты; в зависимости от интерпретатора они могли объявляться здоровыми и дегенеративными, преступными и вполне законными, прогрессивными и реакционными, или атавистическими. Их значение отнюдь не было устойчивым и универсальным; оно зависело от конкретной имперской ситуации, определенной политической повестки, от взглядов на имперское или постимперское будущее. Очевидно, что перенос акцента с означающего на означаемое не сделал представления о норме и отклонении от нее более устойчивыми. Не привел он и к более индивидуализированным трактовкам ломброзианского понятия «прирожденного преступника», органической девиации и инаковости в целом. Зато психиатрам, как главным экспертам по бессознательным инстинктам, «притяжениям и отталкиваниям», он предоставил простор для действий. Теперь они были самыми авторитетными диагностами, дававшими оценку всевозможным состояниям общества и лучше всех разбиравшимися в понятийном аппарате, сложившемся вокруг проблем девиации, «преступного типа», «перешитка», «дикаря» и так далее. Неудивительно, что становление русской психиатрии как профессии, а главное, как влиятельного общественно-политического дискурса хронологически совпадает с периодом семиотического сдвига, который в свою очередь совпадает с эпохой расцвета массовой политики и ее национализации в империи [Brown 1981; 1987; Эткинд 1993; Менжулин 2004; Веег 2008]. Этот сюжет еще предстоит вписать в имперскую историю с точки зрения открытия «внутреннего дикаря»⁴. Русские психиатры, наследовавшие традиции этнизации отклонений от нормы, столкнулись с непростой задачей упорядочения и рационализации не только «внешнего» имперского человеческого разнообразия, но и скрытых внутренних бессознательных инстинктов.

Имперская сравнительная шкала отклонений от нормы

Профессор Иван Сикорский, киевский психиатр и невролог, специалист по еврейскому расово обусловленному примитивизму, автор позорной экспертизы по делу Бейлиса, был типичным представителем тех русских психиатров, что вполне сознательно приняли идеологию модерного — по сути дела, постимперского с точки зрения политического содержания и горизонта — русского национализма [Mogilner 2013: 185—200]. К той же когорте относился и профессор Павел Иванович Ковалевский, другой знаменитый русский психиатр и видный русский националист. В 1883 году, спустя всего три года после того, как Чезаре Ломброзо основал собственный журнал итальянской школы кри-

4 Я предпринимаю попытку такого изложения этого исторического сюжета в статье: [Mogilner 2016].

минальной антропологии, «Архив психиатрии, криминальной антропологии и уголовного права», Ковалевский начал издавать русский «Архив психиатрии, неврологии и судебной психопатологии». Как и отдельные научные и популярные публикации Сикорского, Ковалевского или еще одного видного участника группы — профессора Владимира Федоровича Чижа, «Архив» отличало фирменное сочетание оригинальной жесткой ломброзианской трактовки «типов», их же этногрупповой интерпретации и сильной фиксации на бессознательных инстинктах. Ковалевский утверждал, что русские ощущают «инстинктивный, биологический национализм» [Ковалевский 1910: 76], в котором он видел инстинкт здоровый, поскольку понимал национализм как синтез рациональной мыслительной деятельности с «национальным чувством» — «явлением животным, стадным, органическим и прирожденным» [Ковалевский 1915: 3]. Однако в случае с татарами и особенно с евреями то же самое «животное, стадное, органическое» означало опасное, преступное и «хищное» [Ковалевский 1900: 103].

Сикорский пошел еще дальше, обличая опасную и откровенно преступную природу бессознательных инстинктов у русских религиозных сектантов, отравляющих тело русской нации изнутри. Впрочем, в других контекстах те же самые инстинкты он выставлял проявлением подлинной религиозности и экзистенциальной «русскости» сектантов [Mogilner 2013: 167—200]. Для проведения границы между двумя этими интерпретациями Сикорскому нужен был третий элемент, который он и нашел в коллективных евреях, в чьей иррациональной природе не было ничего двойственного, и она несла в себе абсолютную угрозу нарождавшейся постимперской русской национальной модерности. Полученный в результате образ «внутреннего дикаря» представлял собой гибридный продукт совмещения еврейского атавизма и русской примитивности; влияния социальной среды и расового детерминизма; возвышенных религиозных переживаний и первобытного экстаза; сложных (русских сектантских) галлюцинаций и отгалкивающих (еврейских) икания и рвоты; индивидуальных историй дегенеративных психозов у мужчин (проанализированные Сикорским частные медицинские случаи касались только сектантов мужского пола) и обобщенных сексуализированных описаний истерии у женщин (с одной стороны, эту тему воплощала страдавшая от приступов икоты и тошноты молодая еврейка из одного из опубликованных медицинских отчетов Сикорского, а с другой — женщины, руководившие коллективными молениями в одной из изученных им русских сект). Оставляя в стороне вопрос о том, насколько научным был подход Сикорского к вопросам атавизма и преступных наклонностей, можно сказать, что в его изображении «дикарь» всегда являл собой гибридный, ускользающий, неустойчивый и оттого еще более пугающий образ [Mogilner 2016].

Задачей младшего поколения психиатров, настроенных куда более решительно в своей готовности порвать со старой имперской сложностью, стало очищение шатких концепций, выстроенных их учителями, от всякого намека на двусмысленность. Ассистент Владимира Федоровича Чижа Э.М. Будул (впоследствии известный у себя на родине в Латвии как Херманис Будулс, 1882—1954⁵) предпринял такую попытку в своей диссертации «К сравнительной

5 Он считается «отцом-основателем латвийской психиатрии» [Kuznetsov 2013: 149].

расовой психиатрии» (1914). Он организовал по расовому признаку и проанализировал психиатрическую статистику, собранную в Юрьевской (Тартуской) университетской клинике нервных болезней, и разработал сравнительный метод определения степени врожденных и социально обусловленных психологических и психических отклонений. Одним из главных предметов его интереса была истерия — та самая истерия, которую Сикорский, как известно, диагностировал у выродившихся в расовом отношении евреев и у русских сектантов. Наука того времени чаще всего понимала истерию как культурно обусловленное заболевание, постепенно исчезающее по мере развития общественного прогресса. Считалось, что в Новое время истерия поражала преимущественно субалтерные группы: женщин, крестьян и евреев [Gilman 1991] — три главные составляющие расплывчатого образа «внутреннего дикаря», предложенного Сикорским. Будул предпринял попытку разорвать связь между элементами этой триады (особенно между евреями и русскими крестьянами), составив сложную иерархию расовых, с одной стороны, и культурных, с другой, форм примитивности, наблюдаемых в пределах империи. Истерию — недуг дикарей и женщин — он диагностировал у придерживающихся анимизма якутов, остяков, тунгусов и калмыков, культуру которых он ассоциировал с «истерическими» ритуалами и членовредительством и которых в прочих отношениях едва ли можно было соотнести с евреями — народом с развитой культурой, монотеистической религией и «капиталистическим» экономическим поведением. В диссертации Будула врожденная — иными словами, расовая — предрасположенность к истерии и членовредительству определяет две основополагающие черты примитивного состояния, которые делают культурные различия между якутами и евреями несущественными.

Всем им Будул противопоставлял русскую нацию. Он признавал ее относительную культурную отсталость, однако полагал, что со временем она исчезнет («в России психические эпидемии названного рода наблюдаются сравнительно часто только потому, что культура в России еще не пошла так далеко вперед, как в Западной Европе» [Будул 1914: 182]). При этом Будул отметил идею биологических причин истерии у сектантов. По мнению Будула, для сектантов, как и для вотяков, ставших фигурантами мултанского дела, были характерны «пережитки», теоретически поддающиеся излечению. Как и в трудах Сикорского, в диссертации Будула истерия у русских проявлялась в «самых красивых галлюцинациях с религиозными и страшными фантазиями», тогда как истерия у евреев изображалась на примере страдавшей от приступов икоты и тошноты молодой еврейской девушки. Установив таким образом два крайних полюса на относительной шкале имперской «примитивности», Будул смог оценивать биологическую и социальную опасность, исходящую от каждой отдельно взятой инородческой группы между русскими/славянами и евреями. Так, башкиры, по его мнению, страдали от вырождения, обусловленного сразу культурными и биологическими причинами, а потому обречены были оставаться народом наполовину современным, наполовину примитивным. В отличие от них сектанты, наряду с прочими отсталыми славянскими группами, находились на пути к высшей отметке на сравнительной имперской шкале — позиции, отведенной для русской расово однородной нации в ее идеальном состоянии. Если судьба евреев была предопределена с «научной» точки зрения, то участь других примитивных народов (таких, как якуты или остяки), изображенных в диссертации как довольно близкие к выродившимся евреям,

оставалась неясной и оставлялась, по всей видимости, на усмотрение не столько науки, сколько политики⁶.

Врачебная практика как политика населения

Начиная с конца XIX века русские врачи и особенно военные врачи, причастные к прогрессивному пореформенному дискурсу политики населения, склонны были усматривать взаимосвязь между этничностью, атаквизмом и девиацией. Если профессиональные позиции земских и частных врачей по-прежнему отличались большим разнообразием, то в ежегодных отчетах врачей русских военных госпиталей стало рутиной классифицировать пациентов по национальности (в официальной государственной статистике эта категория отсутствовала). Врачи неврологических и психиатрических отделений этих госпиталей с особой готовностью совмещали этничность пациентов с расой и почти всегда предоставляли описания «признаков антропологического вырождения», которые варьировались от аномалий строения черепа и черт лица в духе Ломброзо до истерии и других «органических» психиатрических расстройств⁷.

Таким типичным военным врачом был доктор Эрнест Вильгельмович Эриксон. Степень доктора медицины он получил в 1900 году, защитив в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии диссертацию «О влиянии мозговой коры и подкорковых узлов на сокращение селезенки» под руководством профессора Бехтерева [Эриксон 1900]. Однако главной сферой его научных интересов как клинического психиатра и невролога стала ломброзианская взаимосвязь между атаквизмом и преступными наклонностями. Результаты его медицинских и антропологических изысканий появлялись в профессиональных журналах, включая «Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма» под редакцией Владимира Бехтерева, «Естествознание и географию», «Неврологический вестник» и другие [Эриксон 1899; 1901; 1902; 1905, 2]. Наиболее плодотворным периодом стало для Эриксона начало XIX века, как раз перед первой русской революцией, когда он служил военным врачом на Кавказе. Там он разработал исследовательскую программу для каждого «психиатра и психолога», интересующегося связью между атаквистическим (врожденным, расово предопределенным) и преступным: «не имеют ли значение в этиологии убийств и разбоев на Кавказе врожденные особенности психики отдельных племен и рас, населяющих край, и не играют ли в этого рода преступлениях также некоторой роли, а если играют, то в какой степени — психические и нервные болезни людей?» [Эриксон 1906: 48]. Регистрирование признаков физического вырождения и сбор антропометрической статистики доктор Эриксон считал совершенно необходимыми элементами медицинской практики на Кавказе [Эриксон 1909а: 1].

6 Более детальный анализ см. в: [Mogilner 2016].

7 Типичный образчик можно найти в: [Киселев 1889], особенно с. 129. В отдельном разделе Киселев касается «признаков антропологического вырождения» у одиннадцати меланхоликов — пациентов психиатрического отделения больницы, где он работал. Он обнаружил эти признаки в форме их черепов и форме и размерах ушей: «...у одного больного правое ухо было больше левого совместно с большим развитием правой стороны черепа; у другого правое ухо было меньше левого при асимметрии черепа» [Киселев 1889: 129].

Несомненно, колониальное дистанцирование проявлялось там как нигде в империи, а «преступные наклонности» местного населения выступали общим местом в академических, профессиональных и политических спорах. Однако самому Эриксону Кавказ и медицинское лечение местных отклонений не представлялись уникальным колониальным случаем, не имеющим аналога в империи. В других местах своей службы в военных госпиталях, от Сибири и Дальнего Востока до Варшавского уяздовского военного госпиталя, он практиковал точно такой же подход, ту же исследовательскую программу и то же понимание связи между атавизмом, отклонениями и преступностью. Острое чувство профессиональной и общественной ответственности, лежавшей на нем как на эксперте по бессознательным инстинктам, владеющем искусством интерпретации сокрытого означаемого, пронизывает рутинные медицинские отчеты и ученые сочинения Эриксона безотносительно к географическому положению в империи тех мест, где ему доводилось наблюдать пациентов. Когда культурные и расовые различия между ними оказывались не такими очевидными, как на Кавказе, Эриксон прибегал к имперской сравнительной шкале. К этому методу он пришел самостоятельно, руководствуясь практическими соображениями и задолго до того, как его разработал в своей диссертации Будул.

Будучи психиатром Варшавского уяздовского военного госпиталя, Эриксон освидетельствовал и лечил чрезвычайно разнообразный солдатский контингент (включая и небольшое меньшинство новобранцев с Кавказа), отражавший демографию не только Привислинского края, но и Российской империи в целом. С учетом этих обстоятельств Эриксон «откалибровал» свою шкалу нормальности таким образом, чтобы еврейским пациентам соответствовала нижняя отметка, означающая необратимое органическое отклонение от нормы (расовое вырождение, проявления атавизма, органические психозы, преступные наклонности, социальная опасность). Русские же пациенты представляли противоположный полюс культурно обусловленных и излечимых отклонений. Все прочие национальности удобно было помещать между этими двумя крайностями.

Стоит сравнить действие неприятного письма, полученного из дому, на русского и на еврея: русский подчас совершенно здоровый и крепкий мужчина, по крайней мере считавшийся таковым на службе, сплось да рядом падает в обморок или обнаруживает бурный приступ истерического возбуждения, а случается — пойдет и повесится или застрелится; у еврея при тех же условиях вспыхивает разве только гнев необычайной силы, появляется жажда мести, стремление убежать со службы домой и расправиться самолично, но он вряд ли сделает покушение на свою жизнь и во всяком случае не запьет «с горя», что так обычно у русских солдат [Эриксон 1907а: 12].

По Эриксону, изначально русский солдат — это «здоровый и сильный» мужчина, чья невротическая реакция объясняется тяжелыми условиями военной службы у западных границ империи, в чуждом окружении, вдали от дома и семьи. При этом в своей оценке психопатологической реакции у евреев Эриксон предвосхитил экспертное мнение Сикорского на суде над Бейлисом, согласно которому Мендель Бейлис действовал из «расового мщения». Собственных же конкретных русских пациентов-солдат Эриксон характеризовал как «мечтателей и мистиков» [ibid.], совсем как Будул, который семь лет спустя станет настаивать, что у всех русских истерия проявляется в «самых красивых галлюцинациях с религиозными и страшными фантазиями».

В рутинном врачебно-статистическом отчете о работе психиатрического отделения Варшавского госпиталя в 1906 году Эриксон представил своих еврейских пациентов как «племя», дающее максимальное число «истериков, неврастеников и разного рода дегенератов». В контексте отчета подобная характеристика служила обоснованием диагнозов, которые Эриксон с коллегами ставили пациентам (при полном пренебрежении сведениями, которые сообщали сами пациенты), и применяемых к ним методов лечения, включая такие жесткие меры, как изоляция и болезненные медицинские процедуры, проводившиеся в экспериментальных целях [Эриксон 1907b: 138; 1908]. Агрессивные преступные инстинкты больных и племенная «жажда мщения» снимали с врачей любые нравственные и профессиональные ограничения.

Уже в 1910 году, если не раньше, Эриксон предложил, чтобы военно-медицинская комиссия, вынося вердикт о пригодности призывников к военной службе, принимала во внимание природу специфических расовых неврозов и психозов [Эриксон 1909b; 1910b: 159]. В этом предложении сказался семитический сдвиг от означающего к означаемому, особенно когда Эриксон подверг критике традиционный ломброзианский подход, основанный на анализе внешних признаков атавизма. Как практикующий врач, работающий с пациентами, которых он воспринимал в качестве отдельных представителей своей расы, Эриксон знал, что антропометрические показатели хороши для создания обобщенного образа «преступного типа», однако для различения этнически и расово маркированных специфических «преступных типов» их недостаточно. Кроме того, одни внешние признаки не позволяли убедительно представить еврейских призывников как тип полностью дегенеративный. В большинстве случаев средняя длина и ширина черепов еврейских пациентов Эриксона были нормальными. Не оправдались и его ожидания обнаружить у них черепа преимущественно долихоцефалической формы. Он пытался доказать, что еврейская раса эволюционировала от древней долихоцефалии к современной брахицефалии: «...если смотреть на душевные болезни как на явления вырождения и атавизма, то следовало бы в нашем материале найти много долихоцефалов» [Эриксон 1909a: 5]. К своему разочарованию он вынужден был констатировать, что это не так и что в целом «отыскивать какую-либо связь между высотой черепа и формами душевного расстройства не представляется возможным» [ibid.: 6]. Не обнаружил он у пациентов-евреев и чрезмерно развитых челюстей ломброзианских «прирожденных преступников». Единственным «дегенеративным» анатомическим признаком, якобы сигнализирующим об атавизме, было, по его мнению, еврейское ухо: «Уши, торчащие в обе стороны, с большим или меньшим развернутым helix'ом и сравнительно сильно выступающим Дарвиновым бугорком очень часто встречаются у евреев. Это признак настолько характерный для данной народности, что часто по ушам можно сказать, с кем имеешь дело» [Эриксон 1909a: 17]. Не найдя ничего, кроме ушей, Эриксон заключил, что инстинкты, а также неврозы и психозы являются более верными признаками «внутреннего дикаря» и что задача практикующих психиатров и неврологов заключается не только в сборе антропометрической статистики и выявлении и лечении заболеваний, но и в объяснении смысла и природы импульсов, инстинктов и ненормального поведения, а когда возможно, то и их потенциальной опасности. В сформулированной им задаче практической психиатрии стиралась грань между врачебной практикой и полицейской защитой нормативного общества. В качестве главного объекта диагностики

означаемое предоставляло почти ничем не ограниченные возможности для идеологического творчества (при условии соблюдения формальных требований, предъявляемых к научному нарративу).

Так, 26 февраля 1910 года врачи Варшавского госпиталя обсуждали медицинские аспекты доклада д-ра Э. Нильсона «О болезненных побуждениях к побегу у солдат». Медико-социальный дискурс о девиации, общий для всех этих психиатров, подталкивал их к политизации «данных» о расовых импульсах и к применению имперской сравнительной шкалы для определения степени опасности, которую эти импульсы представляли для общества. Во время обсуждения коллеги д-ра Нильсона предсказуемым образом предположили, что склонность к бродяжничеству — это атавистическое свойство, детерминированное расой. Возможно, они были наслышаны о драпетомании — психиатрическом диагнозе, который американские психиатры девятнадцатого века ставили неграм и описывали как непреодолимое стремление сбегать от «хозяина» и менять место жительства [Cartwright 1851; Baynton 2001], а может быть, просто придерживались похожей логики, рассуждая о «низших» расах. При этом, несмотря на наличие готовой объяснительной модели, врачи столкнулись с проблемой дифференциации проявлений атавизма у кочевых народов империи: цыган и евреев, с одной стороны, и «руси бродячей» (русских колонизаторов, паломников или сезонных работников), с другой. В каждом конкретном случае следовало ответить на вопрос, сформулированный Эриксоном: «...где границы унаследованного инстинкта и где проявление психопатологии?» [Эриксон 1910а: 153—154]. Переформулирование этого вопроса в общественно-политическом ключе было неизбежно и, в сущности, произошло вполне осознанно.

Та же размытость границы между медицинским и общественно-политическим дискурсами отличала психиатрический взгляд на феномен членовредительства как проблему, имеющую практическую важность для врачебного сообщества и модернизирующегося имперского общества в целом. Начиная с конца XIX века в сотнях неопубликованных отчетов и опубликованных работ, вышедших из-под пера врачей, служивших в разных военных госпиталях Российской империи, подробно описывалось характерное для евреев членовредительство, способы которого, как заметил один доктор медицины из Варшавского военного госпиталя, «хорошо известны» «всякому старому военному врачу» [Нильсон 1909: 98]. Распространение, которое получила такая литература, явно объяснялось попытками снизить численность евреев в русской армии путем всяческого подчеркивания тех хитроумных уловок, к которым они якобы прибегают во избежание призыва, и их физической (и моральной) непригодности к службе [Holquist 2001; Petrovsky-Shtern 2008; Mogilner 2013: 269—296]. Однако к 1910-м годам этот практический и открыто антисемитский дискурс оказался заражен расоизированной концепцией еврейского членовредительства как проявления атавизма у еврейской расы. Если в диссертации Будула членовредительство было изобретательно представлено как ключевой атавистический показатель примитивного состояния, объединяющего евреев с народами, придерживающимися шаманских культов, то клиницисты, подобные Эриксону, обобщали несколько частных случаев из собственной практики, используя уже успешную оформиться мультидисциплинарную (этнографическую, психиатрическую, историческую, социологическую) модель «примитивизма» в своих интересах. Они не только систематизировали отдельно взя-

тые и чрезвычайно разнящиеся между собой медицинские случаи как вариации одного и того же типично преступного сценария сознательного членовредительства с целью избежать призыва, но и переосмыслили все эти эпизоды как проявления атавизма, бессистемно ассоциировав их с отдельными «дикими» еврейскими ритуалами и культурами. В любой жалобе медицинского характера, поступающей от еврея, Эриксон готов был видеть пример членовредительства, связанного с каким-либо практикуемым атавистическим еврейским ритуалом. Так, он выявил специфически еврейский паралич верхней части кисти левой руки, происходящий от традиции ношения теффиллина [Эриксон 1911]. Еврейская религия, еврейские ритуалы, еврейские инстинкты, еврейские неврозы и психозы и еврейская телесность — все это составляло единый мощный образ отъявленного и опасного (агрессивного, жестокого, извращенного) дикаря, живущего в современную эпоху.

Разумеется, далеко не все медики или политики принимали подобные теории, осознавая реальную опасность их идеологических и, главное, практических последствий для евреев и всего имперского общества. Так, Соломон Вермель, психиатр Казанской окружной лечебницы для душевнобольных, в собственном исследовании, посвященном душевнобольным пациентам Казанской лечебницы, имевшим еврейское происхождение, счел своим долгом посвятить немало страниц разоблачению медицинских ошибок Эриксона, его идеологической предвзятости и незнания еврейской культуры: «Я так долго остановился на этом вопросе потому, что в наше время, когда нередко всем и каждому везде видится симуляция и членовредительство, “открытие” д-ра Эриксона может оказать влияние не только на положение, но, может быть, и на жизнь многих людей» [Вермель 1917: 36].

Однако даже в данном случае открытого профессионального выступления против Эриксона медицинский дискурс сохранял убежденность в коллективной природе «пациента» (как представителя расы, национальности, класса или даже идеологической общности), склонность любое отдельно взятое отклонение от нормы воспринимать как выражение дефекта или атавизма (пусть и культурно обусловленного), свойственного целой группе, и по-прежнему обещал единственно верную и научно обоснованную интерпретацию бессознательных инстинктов. Да, Вермель был евреем и еврейским общественным деятелем, тогда как Эриксон, хотя и носил шведскую фамилию, считал себя русским и был русским националистом и поборником радикального колониализма (подобно Сикорскому, чья фамилия имеет отчетливо польское звучание, или латышу Будулу, бывшему имперским русским националистом). Да, оппоненты Вермеля использовали свои познания в области психиатрии для того, чтобы с научной точки зрения представить евреев и русских/славян как однородные сообщества с целью стабилизировать неустойчивую и неупорядоченную имперскую ситуацию в согласии с собственными идеологическими предпочтениями. Но и Вермель был в равной мере склонен гомогенизировать как минимум евреев согласно своим общественно-политическим взглядам. Хотя в его изображении свойственные евреям отклонения представляли скорее культурно и социально обусловленными, чем «врожденными», они все же сохраняли статус коллективной стигмы и коллективной основы будущего развития и оставались показателем цивилизационного уровня целой группы. Вермель нормализовывал евреев, используя ламаркистские и основанные на знании социологических реалий еврейской жизни теории наследственности. В то же

время он соглашался с утверждением, что чем сильнее развита национальная культура, тем более «сложную и замысловатую», «прекрасную и яркую» форму принимает порождаемая ею душевная болезнь. Чтобы интерпретировать случаи отклонений от нормы среди евреев как феномен развитой модерности и утонченной национальной культуры, Вермелью тоже пришлось прибегнуть к имперской сравнительной шкале.

Неудивительно, что оба клинициста, Вермель и Эриксон, ссылались в своих медицинских публикациях на Ломброзо, который продолжал оказывать влияние на их профессиональный язык и идеологический кругозор. Если Эриксон приветствовал семиотический сдвиг в сторону означаемого в рамках того извода криминальной антропологии, который считался классическим, то Вермель апеллировал к авторитету Ломброзо — критика научных основ антисемитизма, многозначительно названного итальянским криминальным антропологом «атавизмом». Русский перевод сочинения Ломброзо под названием «Евреи и ненависть к ним (антисемитизм)» (1894) вышел в 1906 году с предисловием известного юриста и члена Думы Осипа Яковлевича Пергамента [Ломброзо 1906]. Впрочем, в руках еврейских общественных деятелей эта книга Ломброзо оказалась палкой о двух концах, потому что обсуждение в ней антисемитизма как проявления человеческой нетерпимости, по сути своей атавистического, включало в себя и радикальное обличение «варварских» еврейских ритуалов вполне в духе Эриксона или Будула. В качестве наиболее возмутительного примера Ломброзо упомянул «дикий обряд обрезания, который, как доказал Спенсер, представляет настоящий символический рудимент человеческих жертвоприношений». Ломброзо изобразил это как частный случай ритуального членовредительства. Наиболее же ортодоксальные иудеи, утверждал Ломброзо, «дошли до употребления при жестоком обряде обрезания зубов и каменного ножа, подобно нашим предкам, жителям пещер» [Ломброзо 1906: 14, 15].

Раннесоветское переизобретение примитивизма: ЭПИЛОГ

Вне зависимости от идеологической позиции и воззрений на постимперское общество, ломброзианский по своему происхождению дискурс об атавизме и преступности, дикости и современности создавал гегемонные идиомы политики социального исключения. Все кандидаты на исключение, будь то природный преступник, дикарь, скрытый враг, выродившаяся раса, а чаще всего — та или иная их комбинация, являлись коллективными акторами. Их нормализация и интеграция в общество в результате личного выбора были практически невозможны. Перечисленные идиомы социально иных и опасных не исчезли после 1917 года, однако в структурно новой ситуации их содержание изменилось. Во-первых, в советском обществе вся модернизированная элита старого режима вне зависимости от политической лояльности превратилась в воплощение архаического начала. Во-вторых, в национальной политике господствовали конструктивизм и утопии будущего, составляя мощную альтернативу биологическим концепциям расы. В-третьих, евреи перестали считаться воплощением «внутреннего дикаря» — теперь официальная идеология определялась ломброзианским прочтением антисемитизма как атавизма. В 1931 году в ответ на запрос Еврейского телеграфного агентства Сталин

примечательным образом заклеил антисемитизм как пережиток, сформулировав это в безукоризненно ломброзианских категориях:

Национальный и расовый шовинизм есть *пережиток человеконенавистнических нравов, свойственных периоду каннибализма*. Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является *наиболее опасным пережитком каннибализма*. Антисемитизм выгоден эксплуататорам как громоотвод, выводящий капитализм из-под удара трудящихся. Антисемитизм опасен для трудящихся как *ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли*. Поэтому коммунисты как последовательные интернационалисты не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами антисемитизма [Сталин 1931: 1; курсив автора статьи].

Воплощая эти идиомы в жизнь, советский режим, инкорпорировавший их в свою агрессивную социальную инженерию и правовую систему (вспомним социальную категорию «бывших»), изменил лексикон, а в конечном счете и символическую составляющую языка социальной эксклюзии. Старая метафора, порожденная некогда передовой гуманитарной наукой, была адаптирована к культурному багажу и образовательному уровню новой политической элиты и заменена в буквальном смысле более приземленной (однако все еще научной) концепцией «вредителя». В своем исследовании, посвященном развитию политической этимологии термина «вредитель» в раннесоветском публичном дискурсе, Галина Орлова показывает, каким образом чисто сельскохозяйственный по своему происхождению термин был внедрен в критический общественный дискурс о деревенских землевладельцах в 1924 году, а двумя-тремя годами позднее разросся в целый дискурс о врагах с неконтролируемыми инстинктами внутри советского проекта [Орлова 2003]. Вредители являлись «прирожденными преступниками» постольку, поскольку принадлежали к определенным общественным классам, и даже самые лояльные из них в любой момент могли поддаваться искушению дать волю своим врожденным рудиментарным инстинктам. Впрочем, их антропологические приметы не имели никакого значения, а внутренние инстинкты не считались иррациональными и неясными. Ломброзианская взаимосвязь между атавизмом и преступными наклонностями сделалась чисто социологической. «Вредитель» отличался от «обыкновенных преступников» родом из «прогрессивных классов» общественным происхождением: последние хотя и совершили преступление, но поступили так под влиянием культурных «пережитков», не являвшихся органическими, а потому исцелимых. «Вредитель» конца 1920-х годов являл собой противоположность обыкновенному преступнику, который не был классово предрасположен к проступкам против советского общества.

Советское государство институционализовало принцип групповой субъектности, опираясь на идеи не биологических рас и их цивилизационной иерархии, а классовой политической философии и национального эволюционизма, отдав тем самым предпочтение одной определенной концепции примитивизма и социального исключения. Это оказалось возможным потому, что советский режим был режимом идеологическим. У старой империи не было ни времени, ни возможности достичь этой стадии — она распалась как раз тогда, когда в политических и профессиональных кругах велись споры вокруг ряда различных концепций субъектности и политических программ социальной эксклюзии. Как я постаралась показать, даже наиболее бескомпромиссные

сторонники радикальной стратегии истребления расовой примитивности оказались вынуждены принять метод имперского сравнения, чтобы создать образ абсолютного «внутреннего дикаря», — метод, который оставался уместным и значимым лишь до тех пор, пока сохранялась имперская ситуация недостаточно упорядоченного, неустойчивого человеческого разнообразия.

Советский режим изменил язык социальной эксклюзии и переосмыслил взаимосвязь между атавизмом/врожденной природой и преступными наклонностями/опасностью, а также вопрос о релевантности семиотики внешних антропологических означающих и внутренних означаемых. Важнее же всего тот факт, что он пересмотрел старую имперскую ситуацию, которая наполняла смыслом и этот язык социального исключения, и архетипическую ломброзианскую семиотическую концепцию, лежавшую в его основе.

Авториз. пер. с англ. Нины Ставрогиной

Библиография / References

- [Анучин 1890] — *Анучин Д.Н.* Изучение психофизических типов. Д.А. Дриль: «Психофизические типы в их соотношении с преступностью и ее разновидностями». М., 1890 // Вестник Европы. 1890. № 5/3. С. 337—341.
- (*Anuchin D.N.* Izuchenie psikhofizicheskikh tipov. D.A. Dril': «Psikhofizicheskie tipy v ikh sootnoshenii s prestupnost'yu i ee raznovidnostyami». M., 1890 // Vestnik Evropy. 1890. № 5/3. P. 337—341.)
- [Бороноев 1996] — М.М. Ковалевский в истории российской социологии и общественной мысли: сборник статей к 145-летию рождения М.М. Ковалевского / Ред. А.О. Бороноев. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 1996.
- (*M.M. Kovalevskiy v istorii rossiyskoy sotsiologii i obshchestvennoy mysli: sbornik statey k 145-letiyu rozhdeniya M.M. Kovalevskogo* / Ed. by A.O. Boronoev. Saint Petersburg, 1996.)
- [Будул 1914] — *Будул Э.М.* К сравнительной расовой психиатрии: диссертация на степень доктора медицины. Юрьев: Типо-литография Эд. Бергмана, 1914.
- (*Budul E.M.* K sravnitel'noy rasovoy psikhiiatrii: Dissertatsiya na stepen' doktora meditsyny. Yur'ev, 1914.)
- [Вермель 1917] — *Вермель С.С.* Душевные болезни у евреев (из Казанской окружной лечебницы). Казань: Типо-литография университета, 1917.
- (*Vermel' S.S.* Dushhevnyye bolezni u evreev (iz Kazanskoy okruzhnoy lechebnitsy). Kazan, 1917.)
- [Киселев 1889] — *Киселев В.Г.* Отчет по отделению душевно-больных Тифлисского военного госпиталя за 1888 год // Медицинский сборник, издаваемый Императорским Кавказским медицинским обществом. 1889. № 50/26. С. 107—134.
- (*Kiselev V.G.* Otchet po otdeleniyu dushevno-bol'nykh Tiflisskogo voennogo gospiyatya za 1888 god // Meditsinskiy sbornik, izdavaemyy Imperatorskim Kavkazskim Meditsinskim Obshchestvom. 1889. № 50/26. P. 107—134.)
- [Ковалевский 1886] — *Ковалевский М.М.* Современный обычай и древний закон (Обычное право у осетин в историко-сравнительном освещении): В 2 т. М.: Типография В. Гацук, 1886.
- (*Kovalevskiy M.M.* Sovremennyy obychay i drevniy zakon (Obychnoe pravo u osetin v istoriko-sravnitel'nom osveshchenii): In 2 vols. Moscow, 1886.)
- [Ковалевский 1890] — *Ковалевский М.М.* Закон и обычай на Кавказе: В 2 т. М.: Типография А.И. Мамонова и Ко, 1890.
- (*Kovalevskiy M.M.* Zakon i obychay na Kavkaze: In 2 vols. Moscow, 1890.)
- [Ковалевский 1900] — *Ковалевский П.И.* Психология преступника по русской литературе о каторге. СПб.: Русский медицинский вестник, 1900.
- (*Kovalevskiy P.I.* Psikhologiya prestupnika po russoy literature o katorge. Saint Petersburg, 1900.)
- [Ковалевский 1905] — *Ковалевский М.М.* Отношение России к окраинам // Русские ведомости. 1905. № 2. 2 октября.
- (*Kovalevskiy M.M.* Otnoshenie Rossii k okrainam // Russkie vedomosti. 1905. № 2. October 9.)

- [Ковалевский 1910] — *Ковалевский П.И.* Национальное воспитание и образование в России. СПб.: Акинфиев, 1910.
- (Kovalevskiy P.I. Natsional'noe vospitanie i obrazovanie v Rossii. Saint Petersburg, 1910.)
- [Ковалевский 1915] — *Ковалевский П.И.* Психология Русской нации. СПб.: Отечественная типография, 1915.
- (Kovalevskiy P.I. Psikhologiya Russkoy natsii. Saint Petersburg, 1915.)
- [Ленин 1894] — *Ленин В.И.* Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? // Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т. 5-е изд. Т. 1. М.: Издательство политической литературы, 1967. С. 125—346.
- (Lenin V.I. Chto takoe «druz'ya naroda» i kak oni voyuyut protiv sotsial-demokratov? // Lenin V.I. Polnoe sobranie sochineniy: In 55 vols. 5th printing. Vol. 1. Moscow, 1967. P. 125—346.)
- [Ленин 1899] — *Ленин В.И.* По поводу «Profession de foi» // Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т. 5-е изд. Т. 4. М.: Издательство политической литературы, 1967. С. 310—321.
- (Lenin V.I. Po povodu «Profession de foi» // Lenin V.I. Polnoe sobranie sochineniy. In 55 vols. 5th printing. Vol. 4. Moscow, 1967. P. 310—321.)
- [Ленин 1901] — *Ленин В.И.* Внутреннее обозрение // Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т. 5-е изд. Т. 5. М.: Издательство политической литературы, 1967. С. 295—347.
- (Lenin V.I. Vnutrennee obozrenie // Lenin V.I. Polnoe sobranie sochineniy: In 55 vols. 5th printing. Vol. 5. Moscow, 1967. P. 295—347.)
- [Ленин 1902a] — *Ленин В.И.* Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения // Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т. 5-е изд. Т. 6. М.: Издательство политической литературы, 1963. С. 1—192.
- (Lenin V.I. Chto delat'? Nabolevshie voprosy nashego dvizheniya // Lenin V.I. Polnoe sobranie sochineniy: In 55 vols. 5th printing. Vol. 6. Moscow, 1963. P. 1—192.)
- [Ленин 1902b] — *Ленин В.И.* Революционный авантюризм // Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т. 5-изд. Т. 6. М.: Издательство политической литературы, 1963. С. 377—398.
- (Lenin V.I. Revolyutsionnyu avanturyizm // Lenin V.I. Polnoe sobranie sochineniy: In 55 vols. 5th printing. Vol. 6. Moscow, 1963. P. 377—398.)
- [Ленин 1902c] — *Ленин В.И.* О задачах социал-демократического движения // Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т. 5-е изд. Т. 7. М.: Издательство политической литературы, 1967. С. 56—57.
- (Lenin V.I. O zadachakh sotsial-demokraticeskogo dvizheniya // Lenin V.I. Polnoe sobranie sochineniy: In 55 vols. 5th printing. Vol. 7. Moscow, 1967. P. 56—57.)
- [Ленин 1902d] — *Ленин В.И.* О манифесте «Союза армянских социал-демократов» // Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т. 5-е изд. Т. 7. М.: Издательство политической литературы, 1967. С. 102—106.
- (Lenin V.I. O manifeste «Soyuza armyanskikh sotsial-demokratov» // Lenin V.I. Polnoe sobranie sochineniy: In 55 vols. 5th printing. Vol. 7. Moscow, 1967. P. 102—106.)
- [Ленин 1903] — *Ленин В.И.* Письмо в редакцию «Искры» // Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т. 5-е изд. Т. 8. М.: Издательство политической литературы, 1967. С. 93—97.
- (Lenin V.I. Pis'mo v redaktsiyu «Iskry» // Lenin V.I. Polnoe sobranie sochineniy: In 55 vols. 5th printing. Vol. 8. Moscow, 1967. P. 93—97.)
- [Ленин 1904] — *Ленин В.И.* Шаг вперед, два шага назад (Кризис в нашей партии) // Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т. 5-е изд. Т. 8. М.: Издательство политической литературы, 1967. С. 184—414.
- (Lenin V.I. Shag vpered, dva shaga nazad (Krizis v nashей partii) // Lenin V.I. Polnoe sobranie sochineniy. In 55 vols. 5th printing. Vol. 8. Moscow, 1967. P. 184—414.)
- [Ленин 1905a] — *Ленин В.И.* Соловья баснями не кормят // Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т. 5-е изд. Т. 9. М.: Издательство политической литературы, 1967. С. 160—166.
- (Lenin V.I. Solov'ya basnyami ne kormyat // Lenin V.I. Polnoe sobranie sochineniy. In 55 vols. 5th printing. Vol. 9. Moscow, 1967. P. 160—166.)
- [Ленин 1905b] — *Ленин В.И.* Письмо Е.Д. Стасовой и товарищам в московской тюрьме // Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т. 5-е изд. Т. 9. М.: Издательство политической литературы, 1967. С. 169—173.
- (Lenin V.I. Pis'mo E.D. Stasovoy i tovarishcham v moskovskoy tyur'me // Lenin V.I. Polnoe sobranie sochineniy. In 55 vols. 5th printing. Vol. 9. Moscow, 1967. P. 169—173.)
- [Ленин 1905c] — *Ленин В.И.* Революционная демократическая диктатура пролетариата и крестьянства // Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т. 5-е изд. Т. 10. М.: Издательство политической литературы, 1967. С. 20—31.
- (Lenin V.I. Revolyutsionnaya demokraticeskaya diktatura proletariata i krest'yanstva // Lenin V.I. Polnoe sobranie sochineniy. In 55 vols. 5th printing. Vol. 10. Moscow, 1967. P. 20—31.)

- [Ленин 1905d] — *Ленин В.И.* План чтения о Коммуне // Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т. 5-е изд. Т. 9. М.: Издательство политической литературы, 1967. С. 328—330.
- (*Lenin V.I.* Plan chteniya o Kommune // Lenin V.I. Polnoe sobranie sochineniy. In 55 vols. 5th printing. Vol. 9. Moscow, 1967. P. 328—330.)
- [Ленин 1905e] — *Ленин В.И.* Речь по вопросу об отношениях рабочих и интеллигентов в с.-д. организациях 20 апреля (3 мая) // Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т. 5-е изд. Т. 10. М.: Издательство политической литературы, 1967. С. 162—163.
- (*Lenin V.I.* Rech' po voprosu ob otnosheniyyakh rabochikh i intelligentov v s.-d. organizatsiyakh 20 aprelya (3 maya) // Lenin V.I. Polnoe sobranie sochineniy. In 55 vols. 5th printing. Vol. 10. Moscow, 1967. P. 162—163.)
- [Ломброзо 1906] — *Ломброзо Ч.* Евреи и ненависть к ним (антисемитизм) / Пер. с ит. Г. З. Одесса: Трибуна, 1906.
- (*Lombroso C.* L'Antisemitismo e le scienze moderne. Odessa, 1906. — In Russ.)
- [Менжулин 2004] — *Менжулин В.И.* Другой Сикорский: Неудобные страницы истории психиатрии. Киев: Сфера, 2004.
- (*Menzhulin V.I.* Drugoy Sikorskiy: Neudobnye stranitsy istorii psikhiiatrii. Kyiv, 2004.)
- [Мицлов 1881] — *Мицлов Р.Р.* Особенности класса преступников // Юридический вестник. 1881. № 10. С. 216—246.
- (*Mintslov R.R.* Osobennosti klassa prestupnikov // Yuridicheskiy vestnik. 1881. № 10. P. 216—246.)
- [Нильсон 1909] — *Нильсон Э.* По поводу набора призывных в П-м уезде Варшавской губернии в 1908 г. // Медицинский сборник Варшавского уездного военного госпиталя. 1909. № XXI/1—III. С. 87—99.
- (*Nil'son E.* Po povodu nabora prizyvnykh v P-m uезде Varshavskoy gubernii v 1908 g. // Meditsinskiy sbornik Varshavskogo uyazdovskogo voennogo gospiyatya. № XXI/1—III. P. 87—99.)
- [Орлова 2003] — *Орлова Г.А.* Рождение вредителя: отрицательная политическая сакрализация в стране советов (1920-е) // Wiener Slavistischer Almanach. 2003. № 49. С. 309—346.
- (*Orlova G.A.* Rozhdenie vreditelya: otritsatel'naya politicheskaya sakralizatsiya v strane sovetov (1920-e) // Wiener Slavistischer Almanach. 2003. № 49. P. 309—346.)
- [Сталин 1931] — *Сталин И.В.* Об антисемитизме. Ответ на запрос Еврейского телеграфного агентства из Америки [1931] // Правда. 1936. № 329. 30 ноября.
- (*Stalin I.V.* Ob antisemitizme. Otvet na zapros Evreyskogo telegrafnogo agentstva iz Ameriki [1931] // Pravda. 1936. № 329. November 30.)
- [Струве 1909] — *Струве П.Б.* Интеллигенция и национальное лицо // Слово. 1909. № 3. 10 марта.
- (*Struve P.B.* Intelligentsiya i natsional'noe litso // Slovo. 1909. № 3. March 10.)
- [Тарновская 1902] — *Тарновская П.Н.* Женщины-убийцы: Антропологическое исследование с 163 рисунками и 8 антропометрическими таблицами. СПб.: Товарищество художественной печати, 1902.
- (*Tarnovskaya P. N.* Zhenshchiny-ubiytsy: Antropologicheskoe issledovanie s 163 risunkami i 8 antropometricheskimi tablitsami. Saint Petersburg, 1902.)
- [Эрикссон 1899] — *Эрикссон Э.В.* Из воспоминаний о Батуме и его окрестностях // Естествознание и география. 1899. № 6. С. 1—27.
- (*Eriksson E.V.* Iz vospominaniy o Batume i ego okrestnostyakh // Estestvoznaniye i geografiya. 1899. № 6. P. 1—27.)
- [Эрикссон 1900] — *Эрикссон Э.В.* О влиянии мозговой коры и подкорковых узлов на сокращение селезенки. Диссертация на степень доктора медицины Э.В. Эриксона. Из физиологической лаборатории при клинике душевных и нервных болезней проф. В.М. Бехтерева. СПб.: Типография кн. В.Г. Мещерского, 1900.
- (*Eriksson E.V.* O vliyaniy mozgovoy kory i podkorkovykh uzlov na sokrashcheniye selezenki. Dissertatsiya na stepen' doktora meditsiny E.V. Eriksona. Iz fiziologicheskoy laboratorii pri klinike dushevnykh i nervnykh bolezney prof. V.M. Bekhtereva. Saint Petersburg, 1900.)
- [Эрикссон 1901] — *Эрикссон Э.В.* Душевные и нервные болезни на Дальнем Востоке // Неврологический вестник. 1901. № 9/4. С. 172—229.
- (*Eriksson E.V.* Dushevnyye i nervnyye bolezni na Dal'nem Vostoke // Nevrologicheskiy vestnik. 1901. № 9/4. P. 172—229.)
- [Эрикссон 1902] — *Эрикссон Э.В.* Душевно и нервно больные в Абастумане в сезон 1902 г. // Протоколы заседания Императорского Кавказского медицинского общества (Тифлис). 1902. № 7. С. 170—192.
- (*Eriksson E.V.* Dushevno i nervno bol'nyye v Abastumane v sezon 1902 g. // Protokoly zasedaniya Imperatorskogo Kavkazskogo meditsinskogo obshchestva (Tiflis). 1902. № 7. P. 170—192.)
- [Эрикссон 1905] — *Эрикссон Э.В.* Алкоголизм на Кавказе // Обзорение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. 1905. № 2. С. 98—122; № 3. С. 198—214.
- (*Eriksson E.V.* Alkogolizm na Kavkaze // Obozreniye psikhiiatrii, nevrologii i eksperimental'noy psikhologii. 1905. № 2. P. 98—122; № 3. P. 198—214.)

- [Эрикссон 1906] — Эрикссон Э.В. Об убийствах и разбоях на Кавказе // Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнозизма. 1906. № 3/1. С. 21—53.
(Erikson E.V. Ob ubiystvakh i razboyakh na Kavkaze // Vestnik psikhologii, kriminal'noy antropologii i gipnotizma. 1906. № 3/1. P. 21—53.)
- [Эрикссон 1907а] — Эрикссон Э.В. Материалы к вопросу о покушении на самоубийство среди нижних чинов в войсках Привислинского края (По наблюдениям в психиатрическом отделении при Варшавском уяздовском военном госпитале за 1906 год) // Медицинский сборник Варшавского уяздовского военного госпиталя. 1907. № XIX/I—III. С. 11—15.
(Erikson E.V. Materialy k voprosu o pokushenii na samoubiystvo sredi nizhnikh chinov v voyskakh Privislinskogo kraya (Po nablyudeniyam v psikhiatricheskom otdelenii pri Varshavskom uязdovskom voennom gospi-tale za 1906 god) // Meditsinskiy sbornik Varshavskogo uязdovskogo voennogo gospi-talya. 1907. № XIX/I—III. P. 11—15.)
- [Эрикссон 1907б] — Эрикссон Э.В. Психиатрическое отделение при Варшавском уяздовском военном госпитале и количество, состав и движение в нем больных за 1906 год // Медицинский сборник Варшавского уяздовского военного госпиталя. 1907. № XIX/I—III. С. 114—140.
(Erikson E.V. Psikhiatricheskoe otdelenie pri Varshavskom uязdovskom voennom gospi-tale i kolichestvo, sostav i dvizhenie v nem bol'nykh za 1906 god // Meditsinskiy sbornik Varshavskogo uязdovskogo voennogo gospi-talya. 1907. № XIX/I—III. P. 114—140.)
- [Эрикссон 1908] — Эрикссон Э.В. Психиатрическое отделение при Варшавском уяздовском военном госпитале за 1907 год // Медицинский сборник Варшавского уяздовского военного госпиталя. 1908. № XX/I—III. С. 5—40.
(Erikson E.V. Psikhiatricheskoe otdelenie pri Varshavskom uязdovskom voennom gospi-tale za 1907 god // Meditsinskiy sbornik Varshavskogo uязdovskogo voennogo gospi-talya. 1908. № XX/I—III. P. 5—40.)
- [Эрикссон 1909а] — Эрикссон Э.В. Антропологические исследования евреев на материале психиатрического отделения при Варшавском уяздовском военном госпитале // Медицинский сборник Варшавского уяздовского военного госпиталя. 1909. № XXI/I—III. С. 1—121.
(Erikson E.V. Antropologicheskie issledovaniya evreev na materiale psikhiatricheskogo otdeleniya pri Varshavskom uязdovskom voennom gospi-tale // Meditsinskiy sbornik Varshavskogo uязdovskogo voennogo gospi-talya. 1909. № XXI/I—III. P. 1—121.)
- [Эрикссон 1909б] — Эрикссон Э.В. Заметка о призывных, прошедших через психиатрическое отделение при Варшавском уяздовском военном госпитале в течение 1908 года // Медицинский сборник Варшавского уяздовского военного госпиталя. 1909. № XXI/I—III. С. 79—85.
(Erikson E.V. Zametka o prizyvnykh, proshedshikh cherez psikhiatricheskoe otdelenie pri Varshavskom uязdovskom voennom gospi-tale v techenie 1908 goda // Meditsinskiy sbornik Varshavskogo uязdovskogo voennogo gospi-talya. 1909. № XXI/I—III. P. 79—85.)
- [Эрикссон 1910а] — Эрикссон Э.В. Заседание 26 февраля 1910 года // Медицинский сборник Варшавского уяздовского военного госпиталя. 1910. № XXII/I—III. С. 153—156.
(Erikson E.V. Zasedanie 26 fevralya 1910 goda // Meditsinskiy sbornik Varshavskogo uязdovskogo voennogo gospi-talya. 1910. № XXII/I—III. P. 153—156.)
- [Эрикссон 1910б] — Эрикссон Э.В. Заседание 10 марта 1910 года // Медицинский сборник Варшавского уяздовского военного госпиталя. 1910. № XXII/I—III. С. 156—159.
(Erikson E.V. Zasedanie 10 marta 1910 goda // Meditsinskiy sbornik Varshavskogo uязdovskogo voennogo gospi-talya. 1910. № XXII/I—III. P. 156—159.)
- [Эрикссон 1911] — Эрикссон Э.В. Значение тэфиллина в развитии паралича руки у евреев // Военно-медицинский журнал. 1911. № 132. С. 498—508.
(Erikson E.V. Znachenie tefillina v razvitii paralicha ruki u evreev // Voенно-meditsinskiy zhurnal. 1911. № 132. P. 498—508.)
- [Эткинд 1993] — Эткинд А.М. Эрос невозможного: История психоанализа в России. СПб.: Медуза, 1993.
(Etkind A.M. Eros nevozmozhnogo: Istoriya psikhonanaliza v Rossii. Saint Petersburg, 1993.)
- [Baynton 2001] — Baynton D.C. Disability and the Justification of Inequality in American History // The New Disability History: American Perspectives / Ed. by P.K. Longmore, L. Umansky. New York: New York University Press, 2001. P. 33—57.
- [Beer 2008] — Beer D. Renovating Russia: The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity, 1880—1930. Ithaca; London: Cornell University Press, 2008.
- [Bhabha 2004] — Bhabha H. Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse // Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World / Ed. by A.L. Stoller, F. Cooper. Berkeley: University of California Press, 2004. P. 152—162.

- [Brown 1981] — *Brown J.* The Professionalization of Russian Psychiatry, 1857—1911. Ph.D. diss. University of Pennsylvania, 1981.
- [Brown 1987] — *Brown J.* Revolution and Psychosis: The Mixing of Science and Politics in Russian Psychiatric Medicine, 1905—1913 // *Russian Review*. 1987. № 46/3. P. 283—302.
- [Burbank 2006] — *Burbank J.* An Imperial Rights Regime: Law and Citizenship in the Russian Empire // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2006. № 7/3. P. 397—431.
- [Cartwright 1851] — *Cartwright S.A.* Report on the Diseases and Peculiarities of the Negro Race // *New Orleans Medical and Surgical Journal*. 1851. May 7. P. 331—336.
- [Engelstein 1992] — *Engelstein L.* The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in fin-de-siècle Russia. Ithaca; London: Cornell University Press, 1992.
- [Engelstein 1993] — *Engelstein L.* Combined Underdevelopment: Discipline and the Law in Imperial and Soviet Russia // *American Historical Review*. 1993. № 98/2. P. 338—353.
- [Geraci 2000] — *Geraci R.* Ethnic Minorities, Anthropology, and Russian National Identity on Trial: The Multan Case, 1892—96 // *Russian Review*. 2000. № 52/4. P. 530—554.
- [Gerasimov et al. 2009] — *New Imperial History and the Challenges of Empire // Empire Speaks Out: Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire / Ed. by I. Gerasimov et al.* Leiden: Brill, 2009. P. 3—32.
- [Gerasimov et al. 2013] — *Gerasimov I. et al.* The Postimperial Meets the Postcolonial: Russian Historical Experience and the Postcolonial Moment // *Ab Imperio*. 2013. № 14/2. P. 97—135.
- [Gilman 1991] — *Gilman S.* The Jew's Body. New York: Routledge, 1991.
- [Haimson 1955] — *Haimson L.* The Russian Marxists and the Origins of Bolshevism. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1955.
- [Haimson 1964] — *Haimson L.* The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905—1917 (Part One) // *Slavic Review*. 1964. № 23/4. P. 619—642.
- [Holquist 2001] — *Holquist P.* To Count, to Extract and to Exterminate: Population Statistics and Population Politics in Late Imperial and Soviet Russia // *A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin / Ed. by R.G. Suny, T. Martin*. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 110—143.
- [Kuznecovs 2013] — *Kuznecovs V.* Latvian Psychiatry and Medical Legislation of the 1930s and the German Sterilization Law // *Baltic Eugenics: Bio-Politics, Race and Nation in Interwar Estonia, Latvia and Lithuania, 1918—1940 / Ed. by B.F. Felder, P.J. Weindling*. Amsterdam; New York: Rodopi, 2013. P. 147—168.
- [Mogilner 2013] — *Mogilner M.* Homo Imperii: A History of Physical Anthropology in Russia. Lincoln; London: University of Nebraska Press, 2013.
- [Mogilner 2016] — *Mogilner M.* Racial Psychiatry and the Russian Imperial Dilemma of the «Savage Within» // *East Central Europe*. 2016. № 43. P. 99—133.
- [Mogilner 2017] — *Mogilner M.* Human Sacrifice in the Name of a Nation: The Religion of Common Blood // *The Worlds of Ritual Murder: Culture, Politics, and Belief in Eastern Europe and Beyond / Ed. by E. Avrutin et al.* Bloomington: Indiana University Press, 2017 (forthcoming).
- [Morrissey 2010] — *Morrissey S.* The Economy of Nerves: Health, Commercial Culture, and the Self in Late Imperial Russia // *Slavic Review*. 2010. № 69/3. P. 546—675.
- [Petrovsky-Shtern 2008] — *Petrovsky-Shtern Y.* Jews in the Russian Army 1827—1917: Drafted into Modernity. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- [Semyonov et al. 2013] — *Semyonov A. et al.* Russian Sociology in Imperial Context // *Sociology and Empire. The Imperial Entanglement of a Discipline / Ed. by G. Steinmetz*. Durham, N.C.: Duke University Press, 2013. P. 53—82.
- [Spivak 1987] — *Spivak G.Ch.* In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. New York; London: Routledge, 1987.
- [Stoler 2009] — *Stoler A.* Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2009.
- [Tylor 1871] — *Tylor E.* Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom. Vol. 1. London: John Murray, 1871.
- [Weinberg 2014] — *Weinberg R.* Blood Libel in Late Imperial Russia: The Ritual Murder Trial of Mendel Beilis. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 2014.

Луиза МакРейнольдс

П.И. Ковалевский:

УГОЛОВНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ

Louise McReynolds

P.I. Kovalevskii: Criminal Anthropology and Great Russian Nationalism

Луиза МакРейнольдс (Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл; профессор кафедры истории; PhD) louisem@email.unc.edu.

Louise McReynolds (University of North Carolina at Chapel Hill; Department of History; Associate Department Chair; Professor; PhD) louisem@email.unc.edu.

Ключевые слова: Павел Ковалевский, ломброзианство в России, воспитание, вырождение, криминология, наследственность, национализм, преступность, психические болезни, русское национальное самосознание, судебная психопатология

Key words: Pavel Kovalevsky, Lombrosianism in Russia, upbringing, degeneration, criminology, heredity, nationalism, criminality, mental illness, Russian national identity, forensic psychopathology

УДК: 343.9.01+616.89+340.63

UDC: 343.9.01+616.89+340.63

Статья посвящена выдающемуся психиатру П.И. Ковалевскому, известному прежде всего своим новаторством в сфере уголовной антропологии и приверженностью идее русского национализма. По мнению автора, националистическое мировоззрение Ковалевского можно полнее понять в контексте его опыта работы в психиатрии и судебной психопатологии. Лишь отчасти разделяя ломброзианскую теорию вырождения, Ковалевский боролся за более человеческое отношение к преступникам. Изучая алкоголизм и сифилис, ученый все яснее осознавал связь между вырождением индивидуального тела и всего общества. В русском же национализме Ковалевский увидел альтернативу повсеместной деградации, вызванной развитием цивилизации. Заключительная часть посвящена потенциальной важности наследия Ковалевского для современной России.

This article focuses on the successful psychiatrist P. I. Kovalevsky, known primarily for his innovations in criminal anthropology and his devotion to the idea of Russian nationalism. McReynolds asserts that Kovalevsky's nationalist worldview can be more fully understood in the context of his experience working in psychiatry and forensic psychopathology. Only partly sharing Lombroso's theory of degeneration, Kovalevsky fought for a more humane relationship to criminals. Studying alcoholism and syphilis, he came to an ever-clearer awareness of the connection between the degeneration of the individual body and society as a whole. In Russian nationalism, meanwhile, Kovalevsky saw an alternative to the ubiquitous degradation provoked by the development of civilization. The final section of the article addresses the potential importance of Kovalevsky's legacy for contemporary Russia.

Если бы Павел Иванович Ковалевский узнал, что после революции окажется почти полностью вычеркнут из исторических исследований о дореволюционной эпохе, это явилось бы для него неожиданностью. Имя Ковалевского лишь вскользь упоминается в работах, посвященных теме преступности, в связи с его увлечением теорией Чезаре Ломброзо и концепцией вырождения, которая в конце XIX века пользовалась большой популярностью, особенно в аспекте пересечения уголовной антропологии и судебной психиатрии. Хотя Ломброзо со временем отчасти отказался от своего учения, утверждавшего, что преступ-

ники — это от природы атавистические существа, которых можно узнать по внешнему облику, он продолжает оставаться известной исторической фигурой. О Ковалевском же вспоминают лишь изредка и главным образом в контексте той возросшей роли, которую в реакционной политике периода *fin de siècle* стала играть медицина [McReynolds 2013; Goering 2003; Brown 1987; Beer 2008; Miller 1998].

Ковалевский, который родился на Украине (сам он воспринимал свою родину как Малороссию¹) в семье сельского священника, в свое время был чрезвычайно уважаемым психиатром — первопроходцем в своей области. Он пользовался международной репутацией; ряд его книг был переведен на французский и немецкий языки, а сам он вместе с женой переводил на русский новейшие западные труды по психиатрии. Хотя остается неясным, какие из его судебно-психиатрических анализов стали достоянием психиатрической науки в целом, переведены были по меньшей мере его книга об эпилепсии и некоторые из составленных им психологических портретов исторических личностей. В своих трудах он неизменно ссылаясь на западных ученых, чувствуя себя с ними на равных в профессиональном отношении. Ковалевский стал и русским Филиппом Пинелем, сняв цепи с обитателей печально знаменитой Харьковской земской психиатрической больницы — Сабуровой дачи; и Жан-Мартеном Шарко, подчеркивая, что душевные болезни имеют неврологическое происхождение; наконец, убеждение, что судебная практика должна сместить акцент с преступления на преступника, позволяет говорить о нем и как о русском Ломброзо. Профессиональная биография Ковалевского внушительна: с 1883 года он редактировал и издавал «Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии» — первый психиатрический журнал на русском языке²; написал русское руководство по психиатрии, тоже первое в своем роде, которое позже дополнил приложением для юристов [Ковалевский 1880; 1905]; был сначала деканом медицинского факультета Харьковского университета, затем ректором Варшавского университета, потом заведовал кафедрой психиатрии Казанского университета и, наконец, стал старшим врачом психиатрического отделения Николаевского военного госпиталя в Санкт-Петербурге. Таким образом, прежде чем занять в Петербурге свою последнюю должность, он работал в тех губерниях Российской империи, где значительная часть населения не была этнически русской. По большому счету он оказал влияние на целое поколение психиатров (а быть может, и не одно) по всей стране, многим из которых впоследствии предстояло вести практику в молодом советском государстве.

При этом воздействие его идей не ограничивалось пределами научного сообщества. Ковалевский достиг значительных успехов и на поприще общественной деятельности, занявшись популяризацией психиатрии и опубликовав серию «Психиатрических эскизов из истории», посвященных историческим личностям, среди которых Иван Грозный, Петр I, Павел I, а также Наполеон

1 Себя он считал «малороссом»: [Ковалевский 1912: 184].

2 Тем не менее впервые статьи по судебной психопатологии начал публиковать «Архив судебной медицины и общественной гигиены, издаваемый медицинским департаментом МВД», который выходил с 1865 года, в 1871 году был переименован в «Вестник общей гигиены, судебной и практической медицины, издаваемый при управлении Главного врачебного инспектора Министерства внутренних дел» и существовал до 1917 года. В редакционную коллегию входили такие знаменитости, как Дмитрий Андреевич Дриль и Владимир Михайлович Бехтерев.

и даже Навуходоносор [Ковалевский 1994]³. В 1890-е годы он выступает с публичными лекциями и выпускает книги, рассчитанные на широкую аудиторию, где излагает свое психиатрическое учение доступным и образным языком, прибегая к чрезвычайно яркой алармистской риторике⁴.

Кроме того, Ковалевский написал туристические путеводители по курортным городам Боржому (1892) и Кисловодску (1894). Это заставляет вспомнить о любопытном белом пятне в его биографии, когда «тяжелая болезнь», оставшаяся неназванной, вынудила его в 1897—1903 годах отойти от профессиональной деятельности [Петрюк 1996: 57—61]. Можно предположить, что для укрепления здоровья он проходил водные процедуры, о которых впоследствии рассуждал со знанием дела. Революция 1905 года лишь усиливает его литературный интерес к теме национализма. В 1908 году Ковалевский вступает во Всероссийский национальный союз — политическую партию, которая поддерживала самодержавие и выступала за территориальное единство империи, признавая при этом, что структура современного мира не поддается строгому определению, а научный прогресс необходим — до тех пор, пока не начинает вмешиваться в общественное устройство и монархистскую политику [Коцюбинский 2001]. В популярной биографии Александра III, написанной в 1912 году [Ковалевский 2005], Ковалевский превозносит самодержца за преданность России, не подвергая его личность психиатрическому анализу в отличие от персонажей остальных очерков. Одинокая кончина Ковалевского в бельгийском городке Льеже в 1931 году резко контрастирует с тем положением и авторитетом, которым он некогда пользовался⁵.

Чтобы восстановить справедливость в отношении Ковалевского, можно обратиться к имени Ломброзо, однако вовсе не с тем, чтобы представить первого исключительно как ученика последнего. Как замечают Николь Рафтер и Мэри Гибсон в предисловии к своему переводу книги Ломброзо «Женщина: преступница, проститутка и нормальная женщина», написанной им в соавторстве с Гульельмо Ферреро, Ломброзо по-прежнему «считается одним из тех мыслителей, чьи идеи, пусть им и недостает критичности, оказались для XIX столетия наиболее плодотворными, и автором трудов, которые привели к перелому в восприятии человеческого тела как признака достоинства личности» [Rafter, Gibson 2004: 4]. В основополагающей статье Дэниела Пика, без учета которой невозможен серьезный разговор о Ломброзо, автор напрямую помещает личность итальянского криминолога в контекст итальянской истории эпохи после Рисорджименто; так и деятельность Ковалевского, который застал и реформы Александра II, и время после революции 1905 года, могла бы многое поведать нам о России. Пик отмечает, что «выявление преступника сложнейшим образом связано с процессом пусть и противоположным, однако представляющим собой лишь другую сторону медали: определением добропорядочного гражданина, или добропорядочного подданного, в определенных обществах в определенные эпохи» [Pick 1986: 61]. Это несколько напоминает фуколдианскую философию социальной конструкции политического тела. Как

3 Некоторые из них были переведены на немецкий язык.

4 Наиболее ярко это проявилось в: [Ковалевский 1894].

5 В источниках обычно указываются даты жизни 1849—1923, но на самом деле он эмигрировал в 1924 году, а его переписка с другими эмигрантами предполагает, что «сообщения о его смерти были сильно преувеличены» [Петрюк 2009: 77—87].

и другие исследователи, Лора Энгельштейн и Дэниел Бир ссылались на французского корифея, чтобы лучше пояснить некоторые проблемы, присущие русскому либерализму [Engelstein 1993; Beer 2008], однако я буду двигаться в другом направлении и обращусь к русскому консерватизму, каким он предстает через призму идей Ковалевского о психопатологии.

Как и у Ломброзо, аналитические работы Ковалевского имели политическую подоплеку, связанную с темой гражданства или, вернее, подданства Российской империи. Мишель Фуко обращает внимание на то, что при либеральном республиканизме преступник лишается гражданских свобод, так как по законам этой политической системы надлежащее наказание для тех, кто нарушил общественный договор, заключается в исключении из политической жизни общества [Foucault 1995]. Ковалевского же в политическом отношении значительно меньше занимают индивидуальные правонарушители; он сосредоточивает внимание на патологии дегенеративного тела таким образом, чтобы сместить акцент с большой личности на социальные и другие внешние причины тех заболеваний, которые считались связанными с головным мозгом. В своих выводах ученый последовательно старался отыскать такие меры, которые позволили бы облегчить положение и сохранить социальный коллектив. «Только общество или община может спасти единицу», — писал он [Ковалевский 1903: 231].

Врачебная карьера Ковалевского началась в 1870-е годы с изучения нейрофизиологии, которая и заложила основы его представления о психиатрии, так как в буквальном смысле позволяла видеть связь между телом и разумом. Его диссертация была посвящена органам чувств, причем диагностированные в них физические изменения неизменно находились в центре его исследовательской работы⁶. Задачу психиатрии он видел в том, чтобы выявлять душевные болезни и лечить их, а поскольку стремился отыскать соматические причины безумия, то нет ничего удивительного в том, что его привлекла идея вырождения, которая была столь популярна в эпоху *fin de siècle*, а Макса Нордау вдохновила посвятить Ломброзо свою знаменитую книгу «Вырождение» (1892). На передовице первого тома «Архива» Ковалевский объявил: «...наш журнал станет прибежищем для статей по патологии, криминологии и судебной психопатологии». Особое внимание предполагалось уделять вопросам «нервной жизни», под которой Ковалевский подразумевал нервную систему — аспект биологии человека, оказывающий влияние на поведение. Кроме того, по убеждениям оставаясь натуралистом, ученый проводил связь между человеком и другими животными, считая, что от последних люди отличаются гораздо более сложной физиологией. Заверив, что в его журнале «не место философским рассуждениям», Ковалевский высказал точку зрения, что «каждый мыслящий человек не может не согласиться с тем, что три фактора влияют на образование физической и психической организации человека: наследственности, воспитания, условия, среди которых он развивался» [Архив 1883, т.1: 2—3].

В первом выпуске также была помещена статья А.У. Фрезе, наставника Ковалевского, в которой отношения между душой и телом рассматривались

6 Например, вот начало «Судебной общей психопатологии»: «*Расстройства органов чувств*. Душевные болезни выражаются расстройством в области органов чувств, мышления, поступков или произвольных движений, а нередко и в органах растительной жизни, — поэтому мы считаем необходимым коротко наметить эти расстройства, дабы быть понятыми при изложении отдельных душевных болезней» [Ковалевский 1896: 1].

в широком историческом контексте, а истоки современной физиологии возводились к Адаму и Аристотелю [Фрезе 1883]. Впоследствии «Архив» стал площадкой, которой могли воспользоваться и другие врачи, чтобы поделиться открытиями — результатами наблюдений над преступниками и душевнобольными. На страницах журнала Ковалевский констатировал присущую русским связь между безумием и порочностью — и почти полную невозможность отделить одно от другого. Я уже писала, что русские криминалисты не делали попыток согласовать, подобно Фоме Аквинскому, религиозную веру с научным знанием [McReynolds 2013: 56—59]. Это хорошо видно на примере употребления слова «душа», которое почти полностью соответствует английскому *soul*, однако может обозначать и метафорические понятия, имеющие отношение к «душе», в частности «разум» и «дух», а также самого человека. Слово «болезнь», снабженное прилагательной формой «душевная», означает психическое расстройство, болезнь в психиатрическом смысле, что тоже способствовало пониманию безумия как явления социального и медицинского. Ковалевского вполне устраивала мысль, что вера и знание происходят из разных источников: первая от сердца, второе от ума, — и он оставался набожным православным, чья религиозность, в частности, проявлялась в сострадании к тем, кто стал жертвой душевной болезни, каковы бы ни были их преступления. Действовавший же уголовный кодекс был «нехристианским», так как расценивал наказание как возмездие [Ковалевский 1903: 272]. Ковалевский вполне разделял чувства великого физиолога Ивана Михайловича Сеченова:

Общество не может смотреть на пороки своих членов иначе, как на продукт наследственного расположения, невежества, грубости нравов, дурного воспитания, недоумения, бедности, праздности, лени и пр. Поэтому оно не имеет права относиться с злобою к своим порочным членам и тем менее наказывать их в виде возмездия за дурные дела [Ковалевский 1881: 25].

При всей убежденности Ковалевского в биологическом, физиологическом материализме психиатрии как науки, его методы применения судебной психиатрии в сфере криминологии были таковы, что выносимые им медицинские заключения носили в конечном счете политический характер. Ковалевский установил, что преступность чаще всего бывает обусловлена ухудшением социальных условий (которое, по его мнению, объясняется материальными причинами), но ее уровень можно было бы снизить, если бы государство вмешалось в судебную практику и выступило в пользу замены правового принуждения врачебным лечением преступников.

Ковалевский хотел, чтобы во всех губерниях на земские и правительственные средства были построены лечебницы для душевнобольных [Ковалевский 1905: 293]. В своих работах, включая редактируемый им журнал, он вновь и вновь обращался к проблеме отсутствия условий для своевременного выявления и надлежащего лечения психически больных людей, которые в наказание за свои действия, особенно насилие и покушение на убийство, слишком часто попадали не в больницу, а в тюрьму⁷.

7 Он настаивал, что «всякий, кто совершает преступление, должен быть помещен в психиатрическую лечебницу, и что расследование должно быть в руках психиатров» [Ковалевский 1909: 25].

Ковалевский начинал писать в 1880-е годы, когда Ломброзо уже не уделял концепции атавизма прежнего внимания и в большей степени сосредоточился на идее о «прирожденном преступнике», которого можно выявить по дегенеративным чертам во внешности и поведении. Признавая, что склонность к преступности бывает врожденной, Ковалевский тем не менее считал закоренелых преступников лишь второстепенными персонажами великой социальной драмы. В кратком разделе о «преступнике» в его книге, посвященной вырождению и борьбе с преступностью, использована терминология Ломброзо, однако цитаты из работ итальянского психиатра отсутствуют [Ковалевский 1903: 231—254]⁸. Плохая кожа, плохие зубы, плохое отношение к окружающим: распознать преступника смог бы любой тюремщик или антрополог [Ковалевский 1881: 19]. Ковалевский отмечал, что среди законопослушного населения тоже встречаются примеры атавизмов⁹, и время от времени писал об атавистических признаках, которые заставляют вспомнить идеи Ломброзо, например о зубах мудрости (Ковалевский ассоциировал их со склонностью к садизму) [Архив 1898, 32/1: 10].

Однако такие индивиды представляли для Ковалевского лишь ограниченный интерес. Хотя «Архив» проникнут преклонением перед итальянской криминологической школой, русских врачей, по-видимому, больше всего занимало то, что Рафтер и Гибсон называют восприятием «человеческого тела как признака достоинства личности». Итальянское выражение, которое использовал Ломброзо, *uomo delinquente* — «преступный человек» и русский аналог из работ Ковалевского — «прирожденный преступник» тоже попали в совсем разные национальные и культурные контексты. В любом случае рассматривать Ковалевского как всего лишь последователя Ломброзо недопустимо, так как разными были не только уголовные уложения России и Италии, но и распространенные в этих странах представления о причинах возникновения преступности.

Складывается впечатление, что Ковалевскому всегда удавалось дать противоправным деяниям соматическое объяснение. В более же общем теоретическом споре о том, являются ли преступники «прирожденными» или же «формируются культурой», он занял промежуточную позицию, которая подразумевала тесную связь между обеими возможностями: черты вырождения, возникшие в результате социальных условий, могут передаваться по наследству и обрекать потенциальную жертву на преступную жизнь [Ковалевский 1903: 282—291]. Подобно многим судебным психиатрам, Ковалевский собрал в тюрьмах внушительный материал, так как считал многих заключенных скорее душевнобольными, чем преступниками. Особенно занимала его проблема родства между преступниками и умалишенными; судя по его высказыванию «такие особы умирают, не оставляя после себя потомство» [Ковалевский 1881:

8 «Преступнику» посвящено 23 страницы из 370, однако некоторые разделы книги были предположительно опубликованы отдельно в других местах.

9 См. его статью о статистике по законопослушным гражданам, собранной профессором Д.Н. Зерновым: [Архив 1896, 27/3: 124—125]. Психиатры Дмитрий Дриль и Владимир Чиж, оба принадлежавшие к близкому кругу Ковалевского, в свое время открыто сочувствовали теории Ломброзо. К моменту смерти итальянского психиатра в 1909 году Дриль успел разочароваться в идее «врожденного преступника» (Русское слово. 1909. № 1. 24 октября. С. 231, 244). Чиж же в 1893 году заметил, что рад тому, что Ломброзо теперь уделяет меньше внимания концепции атавизма [Архив 1893, 22/3: 105—118].

12—14], более опасную угрозу он усматривал не в самом человеке, а в причинах его столь плачевного положения.

Считая границу между порочностью и безумием чрезвычайно размытой, Ковалевский и в суде, и в больнице всегда искал потенциальных пациентов. Он был убежден, что «цели уголовного правосудия могут быть достигнуты посредством медицинских психиатрических исследований» [Ковалевский 1909: 23]. В своем двухтомном пособии, адресованном «медикам и юристам», он приводит ряд судебных дел, на которых ему доводилось давать показания, и наблюдения из своей врачебной практики, чтобы подкрепить идею о взаимосвязи между преступностью и безумием — лейтмотив его медицинско-политического мировоззрения [Ковалевский 1881]. У обеих групп, умалишенных и преступников, были две общие основополагающие черты: в обоих случаях некоторые поддаются излечению; и безумие, и преступные наклонности могут передаваться по наследству. Задача общества в отношении и тех и других заключается в том, чтобы изолировать их для оказания действенной врачебной помощи. Естественный же вывод о необходимости защитить остальное население, в ту эпоху главенствовавший в американской судебной практике, русский психиатр считал второстепенным¹⁰. Давая конкретные рекомендации по лечению представителей различных прослоек преступного класса, Ковалевский предусматривал возможность возвращения в общество для всех, кроме незначительного числа неисправимых, но даже для последних поселение считал местом лучшим, чем тюрьма [Ковалевский 1903: 363—370]. Население Петербурга он описывал как потенциальную «армию психопатов» и доказывал, что без лечения остаются, быть может, до 90% умалишенных [Ковалевский 1903: 39; см. также: Ковалевский 1887]. В «борьбе с преступностью» он видел лишь часть всеобщей войны с вырождением, которое, если учесть, что «добрая половина наших знакомых демонстрирует те или иные признаки вырождения», грозило всем и каждому [Ковалевский 1903: 39]¹¹. Воровство тоже можно рассматривать как симптом душевной болезни [ibid.: 322]. Ковалевский неустанно твердил: «Тюрьмы пережили свое время» [ibid.: 22].

Современное ему общество выступало одновременно в роли преступника и жертвы. Ковалевский усматривал связь между современностью и душевным здоровьем и считал цивилизацию источником вырождения, которое, начинаясь с тела, затем по сосудам и клеткам достигает головного мозга. В сочетании с дурной наследственностью ухудшающиеся социальные условия в долгосрочной перспективе представляли опасность, и начинать решать проблему требовалось незамедлительно [Ковалевский 1886]. Ковалевский выступил инициатором созыва Первого съезда психиатров и невропатологов России (1887) и во вступительной речи уделил особое внимание тем социальным и политическим последствиям, которые ждут страну, если на душевные болезни будут и впредь закрывать глаза. Его план предусматривал, в частности, кампанию за моральное воспитание населения; к этой теме он еще вернется в 1898 году, когда об-

10 Фредерик У. Гриффин писал: «...поскольку единственная цель наказания заключается в том, чтобы обезопасить общество... общество никогда не будет в безопасности, пока сумасшедший убийца разгуливает на свободе» [Griffin 1910: 17].

11 «Борьба с преступностью» [Ковалевский 1909: 257—370] сосредоточивается на несостоятельности современной практики в связи с ростом преступности. Выход же заключается в том, чтобы обращаться с преступниками так же, как с душевнобольными, а не в наказании.

ратится к общественной деятельности и выпустит руководство о необходимости здорового и порядочного образа жизни как способа избежать нервных расстройств [Morrissey 2010: 659]. В большинстве случаев нарушение закона объясняется ответной реакцией на перенапряжение, а не врожденными склонностями нарушителя.

Реформы Александра II, положившие начало модернизации страны, увенчались успехом, однако впоследствии этот новый порядок не смог оправдать возложенных на него ожиданий. В результате возникли политические настроения, которым вскоре предстояло привести страну к революции; во многих отношениях созвучны им были и идеи Ковалевского. Рассуждая о соотношении воздействия на человека наследственности и социальной среды, он доказывал, что полученное воспитание влияет на поведение личности сильнее, нежели врожденные качества [Ковалевский 1894: 39]. Основное внимание Ковалевский сосредоточил на двух заболеваниях, которые имеют самое непосредственное касательство как к вырождению индивидуального тела, так и к распаду социального целого, — на алкоголизме и сифилисе. Оба этих недуга особенно страшны своим коварством, поскольку некоторые их опасные последствия могут передаваться по наследству, вынуждая детей расплачиваться за грехи отцов. Поврежденные гены могут «попадать в архив» и передаваться дальше, иногда пропуская целые поколения [Ковалевский 1903: 76].

В работе «Нервные болезни нашего общества» (1894) Ковалевский предлагает вниманию равнодушных читателей идею, что душевные болезни — проблема скорее социальная, чем индивидуальная. Тремя решающими факторами выступают наследственность, воспитание и «жизненные условия» [Ковалевский 1894: 7]. Однако, упрощая, все это можно свести к последствиям отклонений в работе нервной системы, пораженной, как правило, либо сифилисом, либо алкоголизмом, которые могут быть потенциально унаследованы потомками. Обе болезни, каждая из которых имеет долгую историю, берут начало в социально-деструктивном поведении, которое в условиях современной цивилизации, сделавшей жизнь гораздо более напряженной, стало еще более обыденным явлением [ibid.: 20]. В красках описав все разрушительное воздействие этих болезней, Ковалевский предлагает разумные советы по вопросам воспитания детей и здорового образа жизни: избегать спиртного, табака и морфия; матери должны сами выкармливать своих детей, как бы тягостно это ни было; для здоровья гораздо полезнее жить в деревне, чем в городе; родителям следует избегать «английской системы» питания, при которой детям дают вино и непрожаренное мясо [Ковалевский 1903: 28]. Полное отсутствие стремления проповедовать на каждом шагу воздержание и трезвенность в корне отличала его от западных социальных теоретиков того времени. В своих популярных книгах практических советов Ковалевский открыто говорил о сифилисе, прежде всего потому, что многие молодые женщины, заразившись от мужей, во время беременности передавали болезнь ребенку [ibid.: 30]. Болезнь же эту следует считать «страшной, но не постыдной» [ibid.: 50]. Женское половое влечение Ковалевский считал нормальным явлением, существенно расходясь в этом вопросе с Ломброзо [ibid.: 63]¹².

Расширяя свой опыт диагноста, Ковалевский описал историю жизни членов одной семьи своих пациентов. Начиная с того момента, когда муж зара-

12 Ломброзо считал его признаком «прирожденных» проституток.

зился сифилисом во время учебы в Париже, Ковалевский подробно описывает постепенный процесс деградации, затронувший всех пятерых детей и даже внуков [Ковалевский 1894: 57—119]. Болезнь миновала лишь одного ребенка — сына, который переехал в деревню и стал вести здоровый образ жизни на свежем воздухе; к сожалению, его собственный сын унаследовал пораженную нервную систему. В методологическом плане «Вырождение и возрождение» Ковалевского напоминает социологическое исследование американца Ричарда Дагдейла «Семейство Джук: История преступлений, нищеты, болезней и дурной наследственности» («The Jukes: A Study in Crime, Pauperism, Disease, and Heredity»). В отличие от Дагдейла, который в своем сочинении фактически криминализировал низшие классы, Ковалевский, напротив, обращает свой взор на семью обеспеченную и образованную, а не нищую и неграмотную [Dugdale 1910]¹³. Однако русский психиатр отнюдь не различал своих пациентов по классовому, гендерному или национальному признаку; крестьянку он обследовал с тем же профессионализмом и вниманием, что и грузинского офицера. Быть может потому, что оба исследователя работали со столь различными контрольными группами, работа Ковалевского, в отличие от книги Дагдейла, не была поднята на щит идеологами евгеники. Впрочем, я полагаю, что разница в отношении к бедным в Америке и России в большей степени обусловлена культурными различиями (что будет рассмотрено ниже)¹⁴.

Наиболее общественно порицаемой патологией, которую страдающие алкоголизмом или сифилисом родители могли передать потомству, была эпилепсия — соматическое заболевание, поражающее ни в чем не повинных людей. Именно этой болезни Ковалевский отводил важную роль в своем просветительском проекте, целью которого было предотвратить вырождение русского народа. Ученый обнаружил патологическую связь между телом и разумом при эпилепсии, своего рода эквивалент первородного греха, передающегося детям от беспечных родителей¹⁵. Ковалевский, который всегда прослеживал проявления той или иной душевной болезни в истории, чтобы установить прецедент, впоследствии усиливающийся по мере развития цивилизации, определил и место эпилепсии. Полагая, что болезнь эта возникла в Древней Греции, он изучил ее распространение в разных странах и в разные эпохи и пришел к выводу, что эпилепсия повлияла на представление о душевных болезнях в разных культурах. Ковалевский популяризировал эту тему, а многие его читатели наверняка знали, что любимый многими писатель Достоевский страдал падучей болезнью. Кроме того, Ковалевский описал ряд знаменитых личностей, которые страдали если не эпилепсией, то различного рода припадками. Среди них Давид, победитель Голиафа, бежавший от гнева впавшего в черную меланхолию царя Саула; силач Геркулес, тоже подверженный припадкам; страдал ими и Мартин Лютер. Некоторых исторических личностей, чьи психологические портреты он составил, включая Мухаммеда и Жанну д'Арк, Ковалевский тоже характеризовал как эпилептиков, хотя медицинские исследования не позволяют утверждать этого ни об

13 Многие социологи ссылались на это в качестве оправдания евгеники.

14 Ковалевский действительно отмечал классовую основу некоторых видов душевных болезней, но приписывал их «историческому развитию» [Ковалевский 1905: 207].

15 Он часто об этом писал и впоследствии изложил свои идеи в учебнике [Ковалевский 1898a].

одном из них. Иными словами, все это подводило читателя к мысли, что он, сам того не зная, уже сталкивался с большими эпилепсией, так что ему нечего их бояться.

Социально-медицинское значение эпилепсии заключалось в том, что болезнь плохо поддавалась диагностированию и лечению, а особенно — в непредсказуемости характера и длительности приступов. У разных больных эпилепсия протекала по-разному, и это делало ее предметом самого пристального внимания врачей XIX века, особенно нейробиологов и психиатров — таких, как Ковалевский, который настаивал на том, что душевные болезни имеют неврологическое происхождение. Он входил в международное сообщество врачей, чья деятельность была посвящена изучению эпилепсии и членами которого были такие светила новейшей психиатрии, как Шарко и Рихард фон Крафт-Эбинг [Friedlander 2001]. Участие Ковалевского в общем диалоге важно прежде всего потому, что предоставляет возможность сопоставить те соображения, которые он высказывал об эпилепсии, с идеями, происходящими из иных культурных контекстов. Из-за многочисленности преступлений, совершенных эпилептиками во власти припадков, все психиатры и неврологи относили эпилепсию к сфере уголовной антропологии. Кроме того, эпилепсия оказалась включена в теорию вырождения, а также в ряд других моделей научного изучения влияния, оказываемого на человеческие поступки социальными условиями и окружением.

350-страничный учебник по эпилепсии, написанный Ковалевским, включал в себя раздел о ее «судебно-психиатрическом смысле». Во введении к нему он пишет: «Деятельность наших новых судебных учреждений достаточно убеждает нас в том, что масса преступлений, особенно уголовных, совершается под влиянием приступов эпилепсии» [Ковалевский 1898а: 324]. Далее он разделяет саму болезнь на два типа: «соматическую» эпилепсию и «психотическую». Первая поражает и тело, и разум, а вторая — только разум. Соматическая эпилепсия может быть связана, например, с половым влечением, употреблением кокаина, диабетом и, что более прозаично, состоянием коры головного мозга [ibid.: 93—104; 109]. Психотическая эпилепсия сопровождается «душевым расстройством», являющимся результатом «патологических анатомических изменений, которые вызывают как эпилепсию, так и психоз». Кроме того, этот вид эпилепсии «может проявляться вместе или независимо от других душевных расстройств» [ibid.: 134]. Психотическую эпилепсию Ковалевский понимал прежде всего как патологическое состояние, которым можно объяснить едва ли не любое необычное поведение.

Хотя эпилепсия нередко носит наследственный и хронический характер, ее диагностику затрудняет то обстоятельство, что приступы могут быть кратковременными или случаться через большие промежутки времени — иногда годы. Поэтому после совершения преступления криминалисты оказываются вынуждены полагаться на свидетельства очевидцев о внешнем облике и поведении обвиняемых. На протяжении всей своей карьеры Ковалевский продолжал отстаивать мнение, что обвиняемые в преступлениях, совершенных под влиянием эпилептического припадков, нуждаются в профессиональной медицинской помощи; длительность же времени, необходимого для клинического наблюдения подозреваемых, говорила в пользу специализированных заведений, за которые он ратовал. Показательно, что Ковалевский исходил из предположения, будто царское правительство и обязано, и в состоянии выделить

средства на столь затратный медицинский проект. Это следует понимать в контексте русского консерватизма, который, возлагая на самодержавие ответственность за социальную политику, не принимал во внимание финансовый аспект ее проведения. Даже допуская возможность устроить частные лечебницы «для богатых, избалованных жизненными удобствами», Ковалевский предупреждал о необходимости там строгого врачебного надзора, способного пресекать возможные нарушения со стороны привыкших к праздности богатей [Ковалевский 1905: 293].

Еще одной серьезной проблемой, вставшей перед судебной психиатрией в XIX веке, стал патологический аффект, диагностика которого была сопряжена с рядом тех же трудностей, что и в случае с эпилепсией, поскольку зависела от очевидцев тех физиологических изменений, которые произошли в обвиняемом. Ковалевский методично описал три стадии «патологического аффекта» — бурной эмоциональной вспышки, означающей полную потерю памяти, что могло бы избавить обвиняемого от виновности перед законом [Ковалевский 1896: 21—25 et passim]¹⁶. Главное различие между обоими патологическими состояниями заключается, по-видимому, в том, что эпилепсия бывает наследственной, а аффект может возникать вследствие физиологической травмы мозга, например удара по голове¹⁷. В обоих случаях больной действует рефлекторно, только патологический аффект — результат такого взрыва чувств, который лишает субъекта способности к здравому суждению¹⁸. Однако Ковалевский был очень осторожен в различении аффекта, состояния болезненного, и эмоциональной страсти: «Страсть может обеспечить почву для развития аффекта, а вот обратное исключено» [ibid.: 92]. Склонность к аффекту может быть «прирожденной» [ibid.: 94].

В обоих случаях больной теряет контроль над своей свободной волей, понимаемой скорее в физиологическом смысле, нежели в религиозном. Как эпилепсия, так и патологический аффект могут лишить богобоязненного человека способности к моральной оценке собственных действий и толкнуть его на убийство. Однако западная судебная практика, не разделяя убеждений, которые отстаивали русские психиатры, требует от присяжных решить, способен ли обвиняемый отличать дозволенное от недозволенного, не находясь во власти припадка. Если вновь обратиться к мнению Пика об обоюдном характере отношений между преступными членами общества и «добропорядочными подданными», то особенности России рубежа веков вообще не позволяли надежно отделить одних от других. Несчастный эпилептик, попавший за решетку из-за того, что недостаточно грамотный тюремный врач не смог поставить ему правильный диагноз, не переставал от этого быть «порядочным русским человеком». Ковалевский не уставал твердить: в суде необходимы профессиональные судебные психиатры, получающие государственное жало-

16 Судебное дело, на котором он давал об этом показания («Дело подпоручика Шмидта»), перепечатано в: [Владимиров 1892: 60—93].

17 Занимаясь одним особенно интересным делом (князя Микеладзе, который ударил старшего по званию офицера), Ковалевский, вникнув во все подробности инцидента, пришел к выводу, что у князя случился скорее «патологический аффект» (сильнейшая эмоциональная вспышка при полном помрачении сознания), нежели эпилептический припадок. Физиологическая же подоплека его проступка заключалась в травме головы, полученной за годы до происшествия [Ковалевский 1881: 170—183].

18 «Свободы воли не бывает» [Ковалевский 1896: 23].

ванье, которые могли бы вставать на защиту этих совершенно добропорядочных русских людей¹⁹.

Если сопоставить материалы судебных дел, в которых факт эпилепсии использовался стороной защиты, то станет очевидно, что русские действительно относились к эпилептикам более гуманно, чем, например, американцы в ту же эпоху. Если американской защите удавалось доказать, что больной совершил убийство во время припадка, то приговор мог быть смягчен и смертная казнь заменялась пожизненным тюремным заключением [Friedlander 2001, ch. 9]. В показаниях Ковалевского было гораздо больше сострадания к обвиняемым, а русские жюри присяжных значительно чаще проявляли снисхождение и выносили оправдательные вердикты [McReynolds 2013, ch. 2]²⁰. В то же время в Соединенных Штатах набирал силу крестовый поход евгеники, и ее приверженцы внесли больных эпилепсией в число тех социальных групп, которым не следует позволять производить потомство; к 1914 году тринадцать штатов приняли законы, запрещающие эпилептикам вступать в брак [Friedlander 2001: 263]²¹. Хотя в печати Ковалевский высказывал озабоченность теми опасностями, какими грозит обществу дальнейшее наследование заболеваний, усугубляющих вырождение, мне не удалось найти у него ни одного слова в поддержку евгеники. Единственная его идея, подразумевающая использование брака в целях общественного контроля, заключается в поощрении ранних браков как способа избежать сифилиса²². Даже такой реакционный психиатр, как Владимир Чиж, изучив связь между эпилепсией и прерванным половым актом, не стал отказывать больным эпилепсией в праве на половые сношения, допустимые, с его точки зрения, только в браке (цитаты приведены в: [Ковалевский 1898а: 215]). А как прагматично заметил Ковалевский, удержать от вступления в брак людей, которые этого хотят, в любом случае невозможно [Ковалевский 1903: 81].

Чем больше Ковалевский погружался в социальную проблематику, тем заметнее становилась его роль общественного деятеля. Ярким проявлением этого стало его обращение к национализму, впервые ясно сформулированное в написанном им путеводителе по Ялте, изданном в 1898 году. Повлияла ли на Ковалевского собственная болезнь и последующее выздоровление на крымских курортах? В его сочинениях, адресованных широкой публике, появилась новая тема: отстаивание прогрессивной сущности русского империализма. Критика в адрес местных санитарно-гигиенических условий и курортных развлечений перемежалась историческими справками о «десятках тысяч женщин и детей», замученных и угнанных в рабство крымскими татарами, пока Россия не присоединила Крым в 1783 году. Под русским владычеством весь этот «раз-

19 Он хотел, чтобы психиатры прикреплялись к судам официально и получали жалованье, а не привлекались от случая к случаю в качестве экспертных свидетелей. Свои аргументы он излагает в: [Ковалевский 1881: 377—406].

20 Ковалевский публикует свои судебные отчеты на протяжении всего своего журнала, а также в монографиях.

21 Рузвельт также некоторое время поддерживал евгенику.

22 Несмотря на то что Ковалевский всю жизнь интересовался проблемой наследования патологий, связанных с венерическими заболеваниями, он не приветствовал общественного вмешательства с целью предотвратить брак, даже когда помолвленные приходились друг другу кровными родственниками, а стало быть, их дети были обречены с самого начала [Ковалевский 1903: 56—57].

бой был заменен грушами и виноградом» [Ковалевский 1898b: 22]. Эта тематика впоследствии будет вновь затронута в его книгах о жемчужине Российской империи — Кавказе, предгорья которого к 1914 году стали считаться родиной русского народа²³.

Интерес Ковалевского к национализму резонирует с его лексиконом судебного психопатолога. Для понимания того, как занятия уголовной антропологией сочетались у него с увлеченностью великорусским национализмом, нам особенно важны два момента. Во-первых, его статус общественного деятеля и просветителя придавал его воззрениям своего рода «популистскую весомость». Во-вторых, свои националистические идеи Ковалевский выражал во многом с помощью все той же теоретической образности, к которой он прибегал, обсуждая вопросы уголовной антропологии — в частности, рассуждая о двойном влиянии социополитической среды и физического окружения. Наследственности же по-прежнему отводилась первостепенная роль, поскольку племена передавали потомству свои физические и психологические свойства, многие из которых сформировались под воздействием факторов окружающей среды.

Ковалевский отмечал, что «нация» слово не русское, и редко использовал термин «раса», однако у него было очень конкретное представление о том, что значили эти слова. В его понимании нация определялась единством языка, территории, религиозных верований и исторических обычаев: все это позволяло ему описать нацию так, как он мог бы описать отдельную личность. Ковалевский считал национальную принадлежность — как физическую, так и духовную — «прирожденной» [Ковалевский 2005: 45]²⁴. Однако теперь речь шла о наследовании русскими не дегенеративных душевных болезней, но «инстинктивного, биологического национализма» [Ковалевский 1912: 76]. Хотя и признавая существование незначительных различий между великороссами, малороссами и белорусами, Ковалевский рассматривал их как единое целое. В его сознании они пришли на смену жертвам современного общества, страдающим от различных патологий, и поэтому он стал говорить о русском будущем в гораздо более приподнятом тоне²⁵.

Вера в неделимость империи, созданной Петром, составляла краеугольный камень политического сознания Ковалевского. Если империя была *Российской*, то есть полиэтнической, то ее «создатель», дом Романовых, был *русским* [Ковалевский 1914: 6]²⁶. Урожденная немка Екатерина Великая сумела стать «чистой исконной» Романовой благодаря тому, что самоотверженно посвятила себя Российской империи, ее языку и культуре. Кстати сказать, Ковалевский был большим поклонником одного из современных ему американских президентов, Теодора Рузвельта, за царивший при нем дух национализма, славившего здоровое, оптимистически настроенное население. В 1912 году Ковалевский заметил: «Президент свободной республики Рузвельт заявил прямо

23 [Ковалевский 2005: 38]. См. также: [Ковалевский 1914; 1916a].

24 Он сознательно избегал слова «народ» из-за того, что в культуре оно ассоциировалось с русским крестьянством.

25 Он отмечал, что в жилах великороссов течет монгольская кровь, малороссы испытывали влияние степных племен, а белорусы — Польшы и Литвы; однако все вместе они составляют русскую нацию [Ковалевский 2005: 40–41].

26 Ковалевский не замедлил прибавить: «Русский народ есть создатель Российской Державы».

и открыто: американский гражданин только тот, кто всей душой предан Америке. Почему в России должны думать иначе?» [Ковалевский 1912: 8].

Однако вся эта кажущаяся непредвзятость на деле предполагала, что все нации, проживающие на территории империи, должны перенять русскую культуру и традиции, отказавшись от собственных. В 1910 году Ковалевский выпускает первое из по меньшей мере трех изданий «Национального воспитания и образования в России», по существу представляющее собой историю России, изложенную в общедоступной форме и сосредоточенную на эволюции национального самосознания [Ковалевский 1910]. Ковалевский обратился к той же теме, что и при описании борьбы с угрозой вырождения, — воспитанию. Система образования, в 1880-е годы только и делавшая, что подавлявшая инициативу учеников, теперь сама подверглась порицанию за то, что не сумела уделить достаточного внимания русскому языку и истории России. На реакционных министров народного просвещения Ивана Делянова и Дмитрия Толстого, которым когда-то рукоплескали за возвращение во главу угла классических языков, знакомящих русских гимназистов с гражданскими добродетелями Античности, обрушилась суровая критика за медвежью услугу, оказанную за счет преподавания родных языка и культуры [Ковалевский 1903: 103—108]. С началом Первой мировой войны националистическая риторика становится агрессивнее, и Ковалевский вновь вдохновляется своим психиатрическим опытом. В работе «Психология русской нации» (1915) [Ковалевский 2005: 37—100], относительно коротком и в высшей степени пропагандистском трактате, автор предпринимает попытку разъяснить причины не только того, почему русские лучше психологически подготовлены к победе, но и того, почему немецкие варвары с националистической точки зрения обречены на поражение²⁷.

Впрочем, наиболее ощутимую опасность для России, по Ковалевскому, представляли евреи. Несмотря на то что они и сами составляли отдельную нацию, отсутствие собственной родины заставляло их проживать в чужих странах; евреи же Российской империи не желали ассимилироваться в согласии с русской национальной идеей Ковалевского²⁸. Хотя «некоторые из его лучших друзей и были евреями», Ковалевский, как и большинство русских националистов, вкладывал в свои теории умело замаскированный антисемитизм²⁹. Психиатр же Иван Сикорский, напротив, в этом вопросе всегда оказывался на виду, а наиболее громкую дурную славу снискал себе в 1911 году на суде по делу Менделя Бейлиса, дав показания, подтверждающие «кровавый навет на евреев» [Weinberg 2013: 152—154]³⁰. Отчасти антисемитизм Ковалевского проистекал из знаменитого образа Христа, изгоняющего из храма менял, которые

27 «Из всего множества добродетелей, составляющих сущность русской нации, мне особенно нравится “избыток здравого смысла”» [Ковалевский 2005: 76].

28 По мнению Ковалевского, стержень их природы составляла «дерзость», так как они отказывались принимать религию и язык тех стран, в которых жили; поступить так сначала бы присоединиться к русской нации [ibid.: 44].

29 Он признает евреев как отдельную национальность, не имеющую родной страны, которой не было, потому что они предпочитали жить как паразиты в странах других народов; в Малороссии и Белороссии они превратили коренное население в «белых негров» [Ковалевский 1912: 184—208]. В разных изданиях и переизданиях слово «русский» в названии присутствует не всегда, хотя книга посвящена именно русскому национализму.

30 Дополнительное внимание к личности Сикорского обеспечивал тот факт, что его сын Игорь был известен как изобретатель вертолета.

в России на закате империи ассоциировались с капитализмом, вступавшим в противоречие с наивной ностальгией по особому «русскому образу жизни» [Ковалевский 1915: 7]. Ковалевский испытывал терпение даже Православной церкви, запятнавшей себя антисемитизмом, доказывая в «Библии и нравственности», что христиане должны исключить из Библии Ветхий Завет, потому что Иегова и Христос — два разных Бога, а потому два Завета — Божественных откровения якобы не имеют между собой ничего общего. После того как цензурный запрет был снят в 1906 году, брошюра выдержала по крайней мере четырнадцать изданий [Ковалевский 1916b]. В 1907 году Ковалевский также написал трактат «Иисус Галилеянин», в котором утверждалось, что Иисус был галилеянином, а не евреем [Ковалевский 1907]³¹. С евреями Ковалевский любил сравнивать либеральную интеллигенцию, тем самым выражая свое к ней презрение, так как считал, что и те и другие отрицают свою национальную самость и потому ненавидят самих себя [Ковалевский 1912: 7]³².

Хотя маловероятно, что Ковалевскому будет отведено видное место в новом едином учебнике русской истории, с идеей которого выступил в 2013 году президент Владимир Путин, сегодня его имя все же возвращается из забвения³³. Его «психиатрические эскизы» несколько раз переиздавались начиная с 1991 года, а в 1996 году вышло новое издание «Русского национализма и национального воспитания в России». В 2005 году под редакцией Евгения Троицкого была издана трилогия, куда вошли «Психология русской нации», «Воспитание молодежи» и «Александр III — царь-националист» [Ковалевский 2005]. Во вступительном очерке Троицкий пишет о том, как важно познакомить современных читателей с националистическими идеями Ковалевского, особенно теперь, после катастрофического распада Советского Союза и страшных проявлений национализма чеченского: новое обращение к Кавказу, который был так важен для имперского самосознания Ковалевского. Кроме того, Троицкий цитирует работу американского консерватора Самюэля Хантингтона «Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности», отсылая тем самым к мысли, что и другие общества, столкнувшиеся с опасностью радикального ислама, переживают угрозу своему чувству национальной самости [Ковалевский 2005: 101]³⁴.

Хотя в обиход возвращаются в основном популярные работы Ковалевского, а не его труды по криминальной антропологии, именно идеи о безумии и порочности привели его к национализму. Его представление об особой важности воспитания и окружения для формирования личности в контексте национального самосознания легко может найти отклик и сегодня. Реабилита-

31 Французский востоковед Эрнест Ренан, чье имя впоследствии оказалось связано с научным расизмом, тоже писал, что Иисус смог избавиться от своих «еврейских» качеств, так как был галилеянином.

32 Впрочем, ранее он находил похвальным, что евреи не боялись заявлять о своем патриотизме, в отличие от иных русских. См. также: [Ковалевский 1903: 108].

33 Как и имена других влиятельных дореволюционных ученых-консерваторов, таких как Д.Я. Самоквасов, археолог, архивовед и общественный деятель [Щавелев 1998]. Щавелев также выступил редактором и комментатором переписки Самоквасова, которая вышла в том же издательстве в 2007 году.

34 Примечательно, что как в России, так и в США преобладает христианское население кавказоидной расы.

ция же Ковалевского-националиста требует более пристального внимания к современному русскому консерватизму, особенно тому его аспекту, который заново обрел поддержку в институте Русской православной церкви. У современной российской правовой системы пока больше общего со своей советской предшественницей, чем с имперской системой суда присяжных, в которой работал Ковалевский [Solomon 2015: 59—78], однако его убеждение, что когда преступники рассматриваются как жертвы, «общество не имеет права <...> наказывать их в качестве возмездия за их действия», может быть воспринято и в постсоветской России. Потому что всякое общество, даже когда решающую роль играют его политические руководители, будет самостоятельно решать, какие именно поступки и какое поведение человека должны считаться «преступными» и какое наказание он или она должны за них понести.

Пер. с англ. Нины Ставрогиной

Библиография / References

- [Архив] — Архив психиатрии, неврологии и судебной психопатологии / Под ред. П.И. Ковалевского. Харьков: Типография М.Ф. Зильберберга.
- (Arkhiv psikhiiatrii, neyrologii i sudebnoy psikhopatologii / Ed. by P.I. Kovalevskiy. Khar'kov, 1883—1894.)
- [Владимиров 1892] — *Владимиров Л.Е.* Защитительные речи и публичные лекции. М.: Т-во Скоропечатня А.А. Левенсон, 1892.
- (Vladimirov L.E. Zashchittel'nyye rechi i publichnyye lektsii. Moscow, 1892.)
- [Ковалевский 1880] — *Ковалевский П.И.* Руководство к правильному уходу за душевными больными. 2-е изд. Харьков: Типография М.Ф. Зильберберга, 1880.
- (Kovalevskiy P.I. Rukovodstvo k pravil'nomu ukhodu za dushevnyymi bol'nymi. Khar'kov, 1880.)
- [Ковалевский 1881] — *Ковалевский П.И.* Судебно-психиатрические анализы. 2-е изд. Харьков: Типография М.Ф. Зильберберга, 1881.
- (Kovalevskiy P.I. Sudebno-psikhiatricheskie analizy. Khar'kov, 1881.)
- [Ковалевский 1886] — *Ковалевский П.И.* Общая психопатология. Харьков: Типография М.Ф. Зильберберга, 1886.
- (Kovalevskiy P.I. Obshchaya psikhopatologiya. Khar'kov, 1886.)
- [Ковалевский 1887] — *Ковалевский П.И.* Вступительная речь П.И. Ковалевского // Труды первого съезда отечественных психиатров. СПб.: Типография Стасюлевича, 1887.
- (Kovalevskiy P.I. Vstupitel'naya rech' P.I. Kovalevskogo // Trudy pervogo s'ezda otechestvennykh psikhiatrov. Saint Petersburg, 1887.)
- [Ковалевский 1894] — *Ковалевский П.И.* Нервные болезни нашего общества. Харьков: Типография М.Ф. Зильберберга, 1894.
- (Kovalevskiy P.I. Nervnye bolezni nashego obshchestva. Khar'kov, 1894.)
- [Ковалевский 1896] — *Ковалевский П.И.* Судебная общая психопатология. Варшава: Типография Варшавского учебного округа, 1896.
- (Kovalevskiy P.I. Sudebnaya obshchaya psikhopatologiya. Warsaw, 1896.)
- [Ковалевский 1898a] — *Ковалевский П.И.* Эпилепсия, ее лечение и судебно-психиатрическое значение. СПб.: Типография М.И. Акинфиева и И.В. Леонтьева, 1898.
- (Kovalevskiy P.I. Epilepsiya, ee lechenie i sudebno-psikhiatricheskoe znachenie. Saint Petersburg, 1898.)
- [Ковалевский 1898b] — *Ковалевский П.И.* Ялта. СПб., 1898.
- (Kovalevskiy P.I. Ialta. Saint Petersburg, 1898.)
- [Ковалевский 1903] — *Ковалевский П.И.* Возрождение и возрождение. Преступник и борьба с преступностью. 2-е изд. СПб.: Типография М.И. Акинфиева и И.В. Леонтьева, 1903.
- (Kovalevskiy P.I. Vyrozhdenie i vozrozhdenie. Prestupnik i bor'ba s prestupnost'yu. Saint Petersburg, 1903.)
- [Ковалевский 1905] — *Ковалевский П.И.* Душевные болезни: Курс психиатрии для

- врачей и юристов. 5-е изд. СПб.: Типография М.И. Акинфиева и И.В. Леонтьева, 1905.
- (*Kovalevskiy P.I. Dushevnye bolezni: Kurs psikiatrii dlya vrachey i yuristov. Saint Petersburg, 1905.*)
- [Ковалевский 1907] — *Ковалевский П.И. Иисус Галилеянин. СПб., 1907.*
- (*Kovalevskiy P.I. Iisus Galileyanin. Saint Petersburg, 1907.*)
- [Ковалевский 1909] — *Ковалевский П.И. Борьба с преступностью путем воспитания. СПб.: Т-во М.О. Вольф, 1909.*
- (*Kovalevskiy P.I. Bor'ba s prestupnost'yu putem vospitaniya. Saint Petersburg, 1909.*)
- [Ковалевский 1910] — *Ковалевский П.И. Национальное воспитание и образование в России. СПб.: Типография М.И. Акинфиева, 1910.*
- (*Kovalevskiy P.I. Natsional'noe vospitanie i obrazovanie v Rossii. Saint Petersburg, 1910.*)
- [Ковалевский 1912] — *Ковалевский П.И. Русский национализм и национальное воспитание в России: В 2 т. 3-е изд., дополн. СПб.: Типография М.И. Акинфиева и И.В. Леонтьева, 1912.*
- (*Kovalevskiy P.I. Russkiy natsionalizm i natsional'noe vospitanie v Rossii: In 2 vols. Saint Petersburg, 1912.*)
- [Ковалевский 1914] — *Ковалевский П.И. Кавказ. СПб.: Типография М.И. Акинфиева и И.В. Леонтьева, 1914.*
- (*Kovalevskiy P.I. Kavkaz. Saint Petersburg, 1914.*)
- [Ковалевский 1915] — *Ковалевский П.И. Психология русской нации. Петроград: Отечественная типография, 1915.*
- (*Kovalevskiy P.I. Psikhologiya russkoy natsii. Petrograd, 1915.*)
- [Ковалевский 1916а] — *Ковалевский П.И. Завоевание Кавказа Россией: исторические очерки: с картами и рисунками. СПб.: Типография М.И. Акинфиева и И.В. Леонтьева, 1916.*
- (*Kovalevskiy P.I. Zavoevanie Kavkaza Rossiei: istoricheskie ocherki: s kartami i risunkami. Saint Petersburg, 1916.*)
- [Ковалевский 1916б] — *Ковалевский П.И. Библия и нравственность. СПб.: Типография М.И. Акинфиева и И.В. Леонтьева, 1916.*
- (*Kovalevskiy P.I. Bibliya i nrvstvinnost'. Saint Petersburg, 1916.*)
- [Ковалевский 1994] — *Ковалевский П.И. Одаренные безумием. Психиатрические эскизы из истории. Киев: Україна, 1994.*
- (*Kovalevskiy P.I. Odarennye bezumiem. Psikiatricheskie eskizy iz istorii. Kiev, 1994.*)
- [Ковалевский 2005] — *Ковалевский П.И. Психология русской нации. Воспитание молодежи. Александр III — царь-националист. М.: Граница, 2005.*
- (*Kovalevskiy P.I. Psikhologiya russkoy natsii. Vospitanie molodezhi. Aleksandr III — tsar'-natsionalist. Moscow, 2005.*)
- [Коцюбинский 2001] — *Коцюбинский Д.А. Русский национализм в начале XX столетия: рождение и гибель идеологии Всероссийского национального союза. М.: РОССПЭН, 2001.*
- (*Kotsyubinskiy D.A. Russkiy natsionalizm v nachale XX stoletiya: rozhdenie i gibel' ideologii Vserossiyskogo natsional'nogo soyuza. Moscow, 2001.*)
- [Петрюк 1996] — *Петрюк П.Т. Павел Иванович Ковалевский — известный отечественный психиатр // История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 15 (Сабуровой дачи) / Под общ. ред. И.И. Кутько, П.Т. Петрюка. Т. 3. Харьков, 1996. С. 57—61.*
- (*Petryuk P.T. Pavel Ivanovich Kovalevskiy — izvestnyy otechestvennyy psikiatr // Istoriya Saburovoy dachi. Uspekhi psikiatrii, neurologii, neyrokhirurgii i narkologii / Ed. by I.I. Kut'ko, P.T. Petryuk. Vol. 3. Khar'kov, 1996. P. 57—61.*)
- [Петрюк 2009] — *Петрюк П.Т. Профессор Павел Иванович Ковалевский — выдающийся отечественный ученый, психиатр, психолог, публицист и бывший сабурянин // Психичне здоров'я. 2009. № 3. С. 77—87.*
- (*Petryuk P.T. Professor Pavel Ivanovich Kovalevskiy — vydayushchiysya otechestvennyy uchenny, psikiatr, psikholog, publitsist i byvshiy saburyanin // Psikhichne zdorov'ya. 2009. № 3. P. 77—87.*)
- [Фрезе 1883] — *Фрезе А.У. Исторический очерк о душе // Архив психиатрии, неврологии и судебной психопатологии. 1883. Т. 1. № 1. С. 1—19.*
- (*Freze A.U. Istoricheskiy ocherk o dushe // Arkhiv psikiatrii, neyrologii i sudebnoy psikhopatologii. 1883. Vol. 1. № 1. P. 1—19.*)
- [Щавелев 1998] — *Щавелев С.П. Историк русской земли: Жизнь и труды Д.Я. Самоквасова. Курск: КГМУ, 1998.*
- (*Shchavalev S.P. Istoriik russkoy zemli: Zhizn' i trudy D.Ya. Samokvasova. Kursk, 1998.*)
- [Beer 2008] — *Beer D. Renovating Russia. The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity, 1880—1930. Ithaca: Cornell University Press, 2008.*
- [Brown 1987] — *Brown J. Revolution and Psychosis: The Mixing of Science and Politics in Russian Psychiatric Medicine, 1905—13 // Russian Review. 1987. № 46. P. 283—302.*

- [Dugdale 1910] — *Dugdale R.* The Jukes: A Study in Crime, Pauperism, Disease, and Heredity. New York: G.P. Putnam's Sons, 1910.
- [Engelstein 1993] — *Engelstein L.* Combined Underdevelopment: Discipline and the Law in Imperial and Soviet Russia // *The American Historical Review.* 1993. № 98. P. 338—353.
- [Foucault 1995] — *Foucault M.* Discipline and Punish: the Birth of the Prison / Tr. from the French by Alan Sheridan. New York: Vintage Books, 1995.
- [Friedlander 2001] — *Friedlander W.* The History of Modern Epilepsy: the Beginning, 1865—1914. Westport, Conn.: Greenwood Press, 2001.
- [Goering 2003] — *Goering L.* Russian Nervousness: Neurasthenia and National Identity in Nineteenth-Century Russia // *Medical History.* 2003. № 47/1. P. 23—46.
- [Griffin 1910] — *Griffin F.E.* Insanity as a Defense to Crime // *Journal of the American Institute of Law and Criminology.* 1910. Vol. 1. № 2. P. 13—28.
- [McReynolds 2013] — *McReynolds L.* Murder Most Russian: True Crime and Punishment in Late Imperial Russia. Ithaca: Cornell University Press, 2013.
- [Miller 1998] — *Miller M.* Freud and the Bolsheviks. New Haven: Yale University Press, 1998.
- [Morrissey 2010] — *Morrissey S.* The Economy of Nerves: Health, Commercial Culture, and the Self in Late Imperial Russia // *Slavic Review.* 2010. № 69. P. 645—675.
- [Pick 1986] — *Pick D.* The Faces of Anarchy: Lombroso and the Politics of Criminal Science in Post-Unification Italy // *History Workshop Journal.* 1986. № 20. P. 60—86.
- [Rafter, Gibson 2004] — *The Female Criminal* / Ed. by N. Rafter and M. Gibson. Durham: Duke University Press, 2004.
- [Solomon 2015] — *Solomon P. H.* Post-Soviet Criminal Justice: The Persistence of Distorted Neo-Inquisitorialism // *Theoretical Criminology.* 2015. № 19/2. P. 159—178.
- [Weinberg 2013] — *Weinberg P.* Blood Libel in Late Imperial Russia: The Ritual Murder Trial of Mendel Beilis. Bloomington: Indiana University Press, 2013.

Риккардо Николози

Преступный тип, Ломброзо и русская литература

НАРРАТИВНЫЕ МОДЕЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ВРОЖДЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И АТАВИЗМА
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1880—1900 ГОДОВ

Riccardo Nicolosi

Criminality, Lombroso and Russian Literature.

Narratives of Inborn Criminality and Atavism in Late Imperial Russia (1880—1900)

Риккардо Николози (Мюнхенский университет Людвиг-Максимилиана; профессор, заведующий кафедрой славянской филологии (литературоведение) факультета языкознания и литературоведения; PhD) riccardo.nicolosi@lmu.de.

Ключевые слова: Владимир Гиляровский, Федор Достоевский, Чезаре Ломброзо, Алексей Свирский, Лев Толстой, криминальная антропология, нарратив, натурализм, роман о вырождении, русская литература XIX века, теория вырождения, трущобная литература

УДК: 82-3+821.161.1

Статья посвящена повествовательному потенциалу теории Ломброзо об атавизме и врожденной преступности в контексте теории вырождения и форм его реализации в русской литературе конца XIX века. Разительные совпадения между наукой и литературой в сфере криминальной антропологии и дискурса о вырождении позволяют рассматривать повествовательность как «эпистемологический мост» между научным и литературным дискурсами. На примере одного из судебно-психиатрических анализов П. Ковалевского показано, что концепция вырождения немыслима в отрыве от собственной нарративной стратегии. В русской литературе автор выделяет три нарративные модели: *вне*-криминально-антропологическую, *анти*-криминально-антропологическую (А. Свирский, Л. Толстой) и *крипто*-криминально-антропологическую (В. Гиляровский, Ф. Достоевский); две последние анализируются в отдельных частях статьи.

Riccardo Nicolosi (Ludwig Maximilian University of Munich; professor, Chair of the Department of Slavic Philology (Literary Science), Faculty for Languages and Literature; PhD) riccardo.nicolosi@lmu.de.

Key words: Vladimir Gilyarovskiy, Fyodor Dostoyevskiy, Cesare Lombroso, Alexey Svirskiy, Leo Tolstoy, criminal anthropology, narrative, naturalism, degeneration novel, Russian literature of the 19th century, degeneration theory, slum literature

UDC: 82-3+821.161.1

The article addresses the narrative potential of Lombroso's theory of atavism and inborn criminality in the context of the theory of degeneration and the forms of its realization in late nineteenth-century Russian literature. The striking coincidences between science and literature in the sphere of criminal anthropology and the discourse on degeneration allow us to examine narration as an "epistemological bridge" between scientific and literary discourses. Using one of P. Kovalevsky's forensic psychiatric analyses, Nicolosi demonstrates that the concept of degeneration is unthinkable in isolation from narrative strategy. In Russian literature, Nicolosi highlights three narrative models: the *extra*-criminal-anthropological, *anti*-criminal-anthropological (A. Svirsky, L. Tolstoy) and *crypto*-criminal-anthropological (V. Gilyarovskiy, F. Dostoyevskiy); the latter two are analyzed in separate parts of the article.

«Был Ломброзо, ограниченный наивный старичок» [Толстой 1953: 150]. Этой иронической фразой Лев Толстой отметил в дневнике посещение Чезаре Ломброзо Ясной Поляны в августе 1897 года. Ломброзо, основатель итальянской позитивистской школы криминологии, также известной как криминальная

антропология, приезжал в Москву для участия в Международном съезде врачей [Mazzarello 1998; Sirotkina 2002: 75—79]. Решение навестить Толстого он принял спонтанно, чтобы проверить свою теорию о взаимосвязи гениальности и вырождения на «живом объекте». Ломброзо с самого начала отводил Толстому важную роль в своем труде «Гениальность и помешательство» («Genio e follia»); впоследствии дополненная и расширенная версия этой книги вышла под названием «L'uomo di genio» — «Гениальный человек»¹: неслучайно портрет Толстого был помещен на обложках шестого итальянского издания «L'uomo di genio» (1894) и сборника статей под редакцией Ганса Куреллы «Вырождение и гений» («Entartung und Genie», 1894). Таким образом, Толстой воплощал собой парадоксальную связь между этими «двумя на первый взгляд противоречащими друг другу понятиями» [Lombroso 1894: 4].

На протяжении этого визита Ломброзо и Толстой отстаивали свои диаметрально противоположные точки зрения на природу преступления и законность наказания. Ломброзо объяснял, что преступник имеет биологические отклонения от нормы и, ввиду наследственности и влияния среды, не может в полной мере отвечать за свои поступки; цивилизованное же общество имеет право защитить себя от прирожденного преступника. Но Толстой «оставался глухим ко всем этим доводам, насупливал свои страшные брови, метал на меня [Ломброзо] грозные молнии из своих глубоко сидящих глаз и наконец произнес: “Все это бред! Всякое наказание преступно!”» [Ломброзо 1902]².

Во встрече Толстого с Ломброзо и возникшем между ними непонимании можно увидеть символ очевидной общей «невосприимчивости» русской литературы конца XIX века — в отличие от других европейских литератур эпохи — к биологическим теориям преступности. Может показаться, что в России не появлялось литературных произведений, подобных «Человеку-зверю» Эмиля Золя («La bête humaine», 1890) или «Дракуле» («Dracula», 1897) Брэма Стокера, художественный мир которых выстроен на основе таких концепций криминальной антропологии, как «агавизм» и «врожденная преступность».

На первый взгляд, в Российской империи конца XIX столетия существовал разрыв между научным и литературным дискурсами о прирожденном преступнике. В дискурсе научном, особенно судебно-психиатрическом, теория Ломброзо получила широкое признание; как и во Франции и в Германии, ее объединили с теорией вырождения — концепцией, которая в то время главенствовала в Европе [Engelstein 1992: 128—164; Beer 2008: 97—130; Могильнер 2008: 358—396; McReynolds 2013: 47—78; Salomoni 2009]³. Такие психиатры, как П.И. Ко-

1 Шесть изданий с 1864 по 1894 год.

2 Хотя Ломброзо не удалось убедить Толстого в истинности положений криминальной антропологии, он смог по крайней мере подтвердить свой предварительный диагноз, согласно которому гениальность Толстого обусловлена вырождением. Пусть русский романист «на удивление» сам не проявлял никаких признаков нравственного вырождения, его «чрезмерная импульсивность» и нервное расстройство, которым страдал его сын, Лев Львович, являли собой очевидные симптомы далеко зашедшего семейного вырождения, развитие которого можно проследить вплоть до страдавших «психопатологиями» предков [Mazzarello 1998: 75; Magiani 1901].

3 В статье, опубликованной в 1884 году в журнале «Архив психиатрии, криминальной антропологии и уголовного права», редактором которого был Ломброзо, Раффаэле Гарофало пишет, что возникновение в России позитивной школы криминологии было вдохновлено итальянской криминальной антропологией. Особое внимание он уделяет работам Р.Р. Минцлова и Д.А. Дриля [Garofalo 1884].

валевский и В.Ф. Чиж, или криминологи, как Д.А. Дриль, рассматривали преступника с медицинской точки зрения, объясняя его ненормальное социальное поведение наследственными дегенеративными нарушениями (см. ниже)⁴. Это переплетение медицинской и социальной диагностики обеспечило простор для институциональной легитимации психиатрии, которая в России рубежа веков стала позиционировать себя в качестве ведущей дисциплины в деле борьбы с социальными патологиями [Brown 1981; Becker 2003: 221—266].

Однако в русской литературе того времени преобладает представление о преступнике как о человеке скорее «падшем», нежели страдающем биологическими «нарушениями»⁵. Широко применяется термин «несчастный»; хорошим примером этой тенденции может послужить Ф.М. Достоевский, который в статье «Среда» (1873) подчеркнул, что русские потому называют преступника «несчастливым», что узнают в нем проявления собственной несовершенной человеческой природы и испытывают к нему сострадание [Достоевский 1980: 16]. Эту христианскую концепцию Достоевский использовал во многих своих романах, например в «Преступлении и наказании» (1866), где «Раскольников представляет квинтэссенцию человека “несчастливого”» [McReynolds 2013: 117].

Непротиворечивой концептуализации антропологической «инаковости», чтобы не сказать — чудовищности преступников не обнаруживается и в документальной литературе о сибирских ссыльных поселениях. В работе Н.М. Ядринцева «Русская община в тюрьме и ссылке» (1872) ссылка превращается в некий утопический мир, где ссыльные образуют сообщество, действующее в интересах общего блага, — «общину», как ее понимали русские народники: своего рода социальный авангард, который служит моделью русского общества, свободного от влияния западной цивилизации. Даже А.П. Чехов в книге «Остров Сахалин» (1980), описывая общество арестантов не как «общину», но как «шайку» [Чехов 1978: 92], а каторгу изображая как хаотическое «ничейное пространство русской культуры» [Frank 2001: 44], называет преступников «обыкновенными людьми с добродушными и глуповатыми физиономиями», чьи жизненные истории отличаются «бесцветностью и бедностью содержания» [Чехов 1978: 131]. Согласно Чехову, преступный человек — это самый «обыкновенный» преступник ввиду «нормальной» заурядности последнего.

Впрочем, эта пропасть между криминальной антропологией и художественной литературой в России становится заметной лишь в том случае, если рассматривать литературу и науку как две отдельные области, которые существенно различаются между собой в плане логики, референциальности и способов репрезентации. Но в отношении XIX столетия это далеко от истины: в науках о жизни как нигде решающим фактором оказывались приемы риторические и повествовательные. Превосходным примером тому служит теория эволюции Чарльза Дарвина, где само повествование — Джиллиан Бир (1983) называет его «дарвиновским сюжетом» — и риторические приемы, особенно аналогия и метафоры [Derew 2009; Campbell 1997], составляют неотъемлемую часть аргументации. В сфере же криминальной антропологии и дис-

4 См., в частности: [Мечников 1878—1880; Ковалевский 1882; 1896; 1903; Чиж 1894; 1895; Дриль 1884; 1895; Минцлов 1881]. О Ковалевском см. статью Луизы МакРейнольдс в этом номере «НЛО».

5 Об эпистемологическом различении человека «падшего» и страдающего «нарушениями» в криминологическом дискурсе XIX века см.: [Becker 2002].

курса о вырождении XIX века совпадения и взаимообусловленные явления между научным и литературным дискурсами даже еще более разительны [Niccolosi 2017]. Поэтому поиск *нарративов*, посвященных феноменам атавизма и врожденной преступности, следует начинать с дискурса научного. Это обусловлено тем, что повествовательность является тем «эпистемологическим мостом», который позволяет продуктивно соотнести научный и литературный дискурсы вне рамок (иллюзорной) оппозиции факта и вымысла. Сначала я объясню, какой повествовательный потенциал можно обнаружить в ломброзианской теории атавизма и врожденной преступности, если рассматривать ее как часть теории вырождения. Затем на примере судебно-психиатрических анализов, выполненных выдающимся русским психиатром П.И. Ковалевским, будет показано, как этот потенциал реализуется в повествовании. В заключение я продемонстрирую, как такой взгляд на «науку, изложенную в повествовании» позволяет обнаруживать нарративы об атавизме и врожденной преступности в русской литературе конца XIX века. Согласно моему определению, в русской литературе этого периода задействованы три типа нарратива: *вне-криминально-антропологический*, *анти-криминально-антропологический* и *крипто-криминально-антропологический*.

1. Повествовательный потенциал криминальной антропологии

Криминальная антропология тесно связана с именем Чезаре Ломброзо, родоначальника «позитивной школы» итальянской криминологии, которая на протяжении последней трети XIX века пропагандировала новые подходы к изучению преступности. Эти подходы получили распространение по всей Европе и стали предметом бурных споров [Montaldo, Tappero 2009: 193–287; Pick 1989: 109–152; Нье 1984: 97–133; Wetzell 2000: 39–71]. Противопоставив себя классической школе криминологии, позитивисты стремились сосредоточиться не на преступлении как юридической «абстракции», а на самом преступнике и его психофизической конституции, которая поддается научному количественному определению [Lombroso 1910; Ferri 1926]. В своем главном труде — «Преступный человек» («L'uomo delinquente») — Ломброзо выдвинул идею антропологического отличия от нормы, присущего определенным типам преступников, которое он объяснял с точки зрения атавистического регресса. Концепция «прирожденного преступника» (*criminale nato*), ядро теории Ломброзо об атавизме, означает радикальную биологизацию подхода к феномену преступности: отныне это уже не чисто социальное девиантное явление, но медицинская проблема [Gibson 2002].

Впрочем, общеевропейским успехом в конце XIX века криминально-антропологическая теория обязана не столько своей научной природе, которая, в общем-то, с самого начала подвергалась сомнению, сколько своему мифопоэтическому измерению. Как уже отмечалось, Ломброзо придает природженному преступнику черты мифологического образа, который «[сохраняет] символическую связь со всеми аспектами царства смятения, хаоса, зла и ночи» [Strasser 1984: 89]. Аномальная чудовищность природженного преступника напрямую происходит из готического романа: примером тому служит ретроспективное описание того, как именно был «открыт» атавизм, данное им во введе-

нии к британскому изданию книги своей дочери Джины Ломброзо Ферреро «Преступный человек согласно классификации Чезаре Ломброзо» («Criminal Man According to the Classification of Cesare Lombroso», 1911). Во время вскрытия тела известного разбойника из Калабрии по фамилии Вилелла Ломброзо обнаружил анатомическую аномалию черепа, среднюю затылочную ямку, которую до тех пор находили только у «низших зверей, особенно у грызунов»:

Это была не просто идея, но откровение. При виде того черепа мне будто на просторной равнине предстала, озаренная светом пламенеющих небес, проблема сущности преступника — атавистического существа, которое воспроизводит в себе свирепые инстинкты первобытного человечества и низших зверей. С анатомической точки зрения этим объяснялись громадные челюсти, высокие скулы, выступающие надбровные дуги, обособленные линии (*solitary lines*) на ладонях, огромный размер глазных орбит, оттопыренные или плотно прижатые уши, какие можно найти у преступников, дикарей и обезьян, нечувствительность к боли, чрезвычайная острота зрения, татуировки, чрезмерная лень, пристрастие к оргиям и непреодолимая жажда творить зло ради него самого, желание не только умертвить жертву, но и изуродовать труп, терзать его плоть и пить из него кровь [Lombroso 1911, XIV—XV]⁶.

Если прирожденный преступник ничем не отличается от вампира, то неудивительно, что и графа Дракулу из романа Брэма Стокера описывают как прирожденного преступника [Andriopoulos 1996: 48; Schönert 1991].

Еще более широкие возможности для создания нарратива о прирожденном преступнике открывает уже упоминавшееся объединение теории атавизма с теорией дегенерации, которое наблюдается и в трудах самого Ломброзо. Первоначально его понимание атавизма основывалось на чисто *аналогической* модели: существование особой антропологической разновидности, *homo delinquens*, «доказывается» огромным числом морфологических, психологических и социокультурных признаков, которые позволяют выявить значимые аналогии между преступниками, «примитивными народами», первобытными людьми и определенными видами обезьян. Поэтому преступник предстает как форма возвращения к более ранней фазе развития человечества или же как пережиток примитивного состояния, которое считалось пройденным этапом [Frigessi 2000: 346—347].

Даже по меркам того времени метод аналогии не мог считаться строго научным. Начиная с третьего издания своей книги Ломброзо начинает говорить о патологических элементах, чтобы рассматривать атавизм в *причинно-следственной* связи [Villa 1985: 163—205]. Он говорит о нарушениях в развитии как о признаке вырождения, обусловленного прежде всего наследственностью. Согласно Ломброзо, вырождение оборачивается регрессом, обнажая первобытную, примитивную человеческую природу: будучи «цивилизованными людьми с нарушениями развития», преступники не могут преодолеть той ранней фазы филогенеза, на которой преступление — явление естественное [Velo Dalbrenta 2004: 67].

Объединение теорий атавизма и вырождения породило возможность рассказывать о преступности, которой русский криминально-антропологический дискурс воспользовался с самого начала (см. ниже). Начиная с Бенедикта Огюс-

6 Анализ этой мифопоэтической сцены рождения новой академической дисциплины см. в: [Villa 1985: 148—150; Frigessi 2000: 345—348].

тена Мореля, «изобретателя» теории вырождения во французской психиатрии, повествовательность заняла ключевое положение в этой концепции, которая сама сделалась немислимой вне собственной нарративной модели. Морель определяет душевные и нервные болезни, используя причинно-временную схему, которая позволяет ему интерпретировать причину возникновения и ход развития этих заболеваний в соответствии с теорией наследственности [Morel 1857]⁷. Передача приобретенных патологических изменений последующим поколениям означает наследование не столько определенной болезни, сколько общего ослабленного состояния нервной системы, так называемого «нервного диатеза». Благодаря постоянным процессам преобразования и накопления этот диатез прогрессирует и видоизменяется, выливаясь в различные психофизические и нравственные расстройства в восходящем порядке в зависимости от степени их тяжести. В конце концов пораженная им семья вымирает на протяжении нескольких поколений. Этому стремительному вырождению способствует губительное сочетание внутренних и внешних факторов: вредное воздействие окружающей среды накладывает отпечаток на набор генов отдельной семьи и ослабляет нервную систему до такой степени, что она уже не может противостоять ни дальнейшим «нападениям» извне, ни тем новым формам, которые принимает патология [Huertas 1992; Dowbiggin 1985].

Научные доказательства теории вырождения черпает исключительно из собственной нарративной структуры: лишь генеалогическое повествование может создать единый осмысленный контекст для таких явлений, о которых в противном случае не было бы никаких данных [Föcking 2002: 301]. Генеалогическая линия вырождения в теории Мореля — это не что иное, как завершенная история, у которой есть начало — «трещина» (*fêlure*) в семейном геноипе, прогрессирующий, необратимо заданный ход развития и неизбежный конец. Эта «трещина» — своего рода «протособытие» в повествовании, момент пересечения границы между нормой и патологией. Она кладет начало замкнутому космосу, в котором происходит вырождение и запретительную границу которого больше нельзя пересечь.

Дальнейшее развитие теории вырождения после Мореля в работах Валантена Маньяна, Рихарда фон Крафт-Эбинга, Пауля Ю. Мёбиуса и других⁸ привело к тому, что в этот нарратив стали включаться любые девиантные явления, то есть не только душевные болезни, но и аномальное социальное поведение, такое как преступность или проституция: не осталось такого признака отклонения от нормы, который нельзя было бы истолковать как симптом вырождения [Nye 1984; Chamberlin, Gilman 1985; Roelcke 1999]. Нарратив начал выступать как динамический конструкт, который обеспечивает максимальную семиотическую открытость при внутренней непротиворечивости повествования. Тем самым гарантировался высокий уровень гибкости при описании самых разных форм девиации и компенсировалась эмпирическая недоказуемость теории, которая в конечном счете так и не поднялась выше уровня умозрительной гипотезы [Weingart et al. 1988: 77–80].

7 Теория Мореля основана на доопытной концепции наследственности XIX века (см. работу Проспера Люка «*Traité philosophique et physiologique de l'hérédité naturelle*», 1847–1850), которая отводит центральное место метафизическому умозрению, ставя его выше эмпирической доказательности.

8 См., в частности: [Legrain, Magnan 1895; Krafft-Ebing 1898; Möbius 1900].

Теория вырождения как нарратив — это основополагающая схематическая модель, «базовый нарратив» (*master narrative*)⁹, который может быть рассказан в бесконечных вариациях. В этом контексте незаменимым для объяснения теории элементом становится изучение частных случаев (*case studies*), поскольку они вновь и вновь пересказывают «базовый нарратив» и тем самым его «подтверждают» [Düwell, Pethes 2014]. Для того чтобы придать процессу вырождения форму законченной истории, требуется рассказчик-психиатр, который отбирает определенные события из бесформенного континуума происшествий, из бескрайней «жизни» в виталистическом представлении [Foucault 2002: 287—304] — «трещину» в семейном наборе генов, определенные случаи и патологические эпизоды из жизни пациента и его предков — и составляет из них историю, объединяя эти события единым смысловым сюжетом и тем самым помещая отобранные элементы в определенную перспективу. Протагонисты индивидуальных историй болезни попадают в предзаданный мир нарратива о вырождении, откуда нет выхода. Все метаморфозы, которые происходят с ними в результате тех патологий, которыми они страдают, означают не новое пересечение границы, а подтверждение неизменяемого с медицинской и семиотической точек зрения состояния (*état*) [Foucault 2003: 291—321]. Психиатрические *case studies* Валантена Маньяна служат примером того, как преступное поведение, понятое как одно из возможных проявлений дегенеративного состояния, превращается в черту нарратива о вырождении [Magnan 1892: 115—123].

Однако в то же время включение преступности в нарратив о вырождении нередко приводит к тому, что авторы отходят от ломброзианской теории атавизма, поскольку многие из них считают вырождение и атавизм явлениями несовместимыми. В частности, Валантен Маньян указывает, что вырождение может проявляться в ретроградном движении к менее совершенному эволюционному состоянию, но не в смысле атавистического регресса: атавизм означает «возвращение к состоянию, которое рассматривается как нормальное» [Legrain, Magnan 1895: 76], тогда как вырождение, по мнению Маньяна, приводит к появлению *новой* патологической формы.

Хотя эти попытки дистанцироваться от теории Ломброзо предпринимались не в последнюю очередь по причинам стратегического толка, а концептуальные совпадения между обеими теориями определенно существовали [Galassi 2004: 139—190], для европейского восприятия криминальной антропологии характерно было как раз стремление подчеркнуть различие между атавизмом и вырождением, чтобы, отрицая существование прирожденного преступника как антропологического вида, рассматривать преступника, чьи склонности предопределены биологически, как одно из многочисленных проявлений вырождения. Если теория вырождения позволяет учитывать в равной мере эндогенные и социальные факторы этиологии преступления, то Ломброзо не концептуализировал патологическую сторону прирожденного преступника как обусловленную в первую очередь социальной средой¹⁰.

9 О «базовых нарративах» см.: [Abbott 2002: 47].

10 Теория вырождения пользовалась поддержкой во Франции (где ее полемически противопоставляли ломброзианской теории атавизма), в частности в работах Шарля Фере («*Dégénérescence et criminalité*», 1888) и Поля Легрена в соавторстве с Валантеном Маньяном («*La médecine légale du dégénééré*», 1894). Наиболее влиятельным критиком Ломброзо во французской криминологии стал Габриель Тард («*La criminalité comparée*», 1886).

Изучая восприятие криминальной антропологии в России, исследователи выявили похожую тенденцию отдавать предпочтение теории вырождения для объяснения причин преступности, специфика которой связывается с социальными факторами, противопоставляемыми биологическим [Beer 2008: 103—110; Salomoni 2009]. Тем не менее в нашем контексте важно подчеркнуть, что некоторые русские авторы рассматривали атавизм и вырождение как взаимно дополняющие друг друга явления, расширяя тем самым возможности повествования о преступности. Эта позиция пользовалась особой поддержкой харьковской школы русской психиатрии, сложившейся вокруг П.И. Ковалевского, который начиная с 1883 года издавал первый русский психиатрический журнал «Архив психиатрии, неврологии и судебной психопатологии» и воспринял как теорию вырождения, так и криминальную антропологию. Так, Ковалевский поддерживал идею биологической близости «помешанных и преступников от рождения», так как видел и в тех и в других формы «вырождения человеческого рода» [Ковалевский 1882: 12, 14]¹¹. В судебно-психиатрических анализах Ковалевского сочетание теорий атавизма и вырождения проявляется в развитии таких нарративных моделей изображения преступности, в которых эпистемологическая убедительность нарратива о вырождении усиливается благодаря созданию мифопоэтического образа прирожденного преступника как зла во плоти.

2. Судебно-психиатрические анализы Павла Ковалевского

Павел Ковалевский среди русских психиатров был наиболее успешным рассказчиком истории о вырождении: именно он смог полнее всего раскрыть ее нарративный потенциал¹². Его «Судебно-психиатрические анализы» (1882) — пример того, как прирожденный преступник, изображенный как личность дегенеративная, становится протагонистом историй, в которых его завораживающая и вместе с тем пугающая антропологическая «инаковость» живописуется с тем, чтобы затем быть «обезвреженной» аналитическим разбором рассказчика-психиатра. Стремление поразить читателя выступает как основной нарративный принцип этих анализов: чудовищная жестокость преступников поражает воображение, — по всей видимости, один из них недаром носит имя С. Вовк [Ковалевский 1882: 30], что по-украински означает «волк», — как и неожиданная внезапность преступлений; впрочем, не менее поразительно и семиотическое представление, разыгрываемое психиатром, который лишь с тем предъявляет читателям заведомо непонятные им судебно-психиатрические признаки, чтобы затем, словно Шерлок Холмс от науки, истолковать их как «очевидные» признаки вырождения.

Типичным примером может послужить история П.М. Погорелова, жестоко убившего свою жену в 1879 году [ibid.: 79—128]. На суде по делу об убийстве в 1880 году Ковалевский выступал в качестве эксперта и сам стал, таким обра-

11 См. публикации в «Архиве»: [Беляков 1882; Троицкий 1885]. Об атавизме как подкатегории вырождения см. также: [Сикорский 1904; Оршанский 1910].

12 См. мой разбор случая вырождения, описанного Ковалевским в «Нервных болезнях нашего общества» [Ковалевский 1894: 57—119]: [Nicolosi 2007: 148—152].

зом, вторым протагонистом этой истории. Сначала он излагает дело посредством «нейтрального» описания фактов: бегло изображает ничем не примечательную жизнь «служащего по межевой части» Погорелова, его женитьбу по любви на генеральской дочери и их вполне мирную, невзирая на разницу в общественном положении, совместную жизнь. Затем он описывает первые признаки аномального поведения Погорелова в дни, предшествовавшие убийству, которые внушили окружающим тревогу, так как его слова и поступки не поддавались логическому объяснению. Объективность этого отчета внезапно резко сменяется изображением «ужасной картины» места преступления, представшей глазам очевидцев:

Погорелов, у дверей на полу спальни, сидит на груди своей жены, распростертой в одной рубашке, с страшно изуродованной правой стороной лица и глазом, лужей крови около головы, и тянет жену за язык, приговаривая: «вот тебе и мужик, теперь не будешь больше говорить». <...> Погорелова едва стащили веревкой и связали. Он бранился, кричал, чтобы всех резали, потом замолчал и лежал неподвижно с закрытыми глазами [Ковалевский 1882: 84–85].

Аналитическая работа психиатра начинается после этой тщательно подготовленной кульминации. Сначала Ковалевский дает убийству на первый взгляд исчерпывающее объяснение как умышленному деянию человека, который не страдает никакой патологией и лишь притворяется безумным в надежде на более мягкий приговор. Однако далее, предваренная риторическим вопросом («но действительно ли это так?» [ibid.: 97]), следует «правильная» интерпретация убийства как поступка личности дегенеративной, человека дефективной конституции, который убил во время эпилептического припадка: с точки зрения непрофессионала, объяснение поразительное. Ковалевский помещает Погорелова в схему нарратива о вырождении, подчеркивая его патологическую наследственность и представляя эпилепсию как один из многочисленных синдромов, в которых могло проявиться вырождение. Врожденная дефективность Погорелова устанавливается с помощью ужасающей, однако типичной по тем временам псевдодедукции:

Родители П. обнаруживали нервное расстройство: отец страдал ударами, от которых и умер, — мать головными болями. Следовательно, г. Погорелов унаследовал не здоровый мозг, а инвалидный, расположенный ко всевозможного рода уклонениям от известного здорового состояния, в зависимости от жизненных условий [ibid.: 93].

Эта нарративная установка помещает Погорелова в замкнутое пространство вырождения, откуда ему уже не вырваться. Патологическое отличие Погорелова от других людей становится отличием *антропологическим* в *атавистическом* смысле, когда Ковалевский описывает убийцу-эпилептика в категориях Ломброзо. В более поздних изданиях своего труда Ломброзо делает эпилепсию новым стержнем концепции прирожденного преступника: «...врожденные преступные наклонности и нравственное помешательство суть не что иное, как разновидности эпилепсии» [Kurella 1910: 59]. Кроме того, Ковалевский перечисляет многочисленные стигмы, которые, согласно Ломброзо, отличают преступников; среди них сниженная чувствительность кожи. Впрочем, в данном случае красноречивее всего сама жестокость, чудовищность преступления:

[Э]пилептики совершают самые страшные, зверские и поражающие преступления. <...> И действительно, свидетели этих преступлений невольно поражаются, до оцепенения, проявлением зверства преступника-эпилептика. Обыкновенно, совершая убийство, эпилептики не ограничиваются одним ударом, напротив, они как бы упиваются своим зверством и с каким-то увлечением довершают его уже над мертвой жертвой. Еще более ужасными представляются эти преступления потому, что они являются или *совершенно без всякого повода, мотива*, или же при таком *ничтожном поводе*, что уже с первого взгляда выясняются вся нелепость и бессмысленность его, а также и болезненное состояние умственных способностей преступника [Ковалевский 1882: 106].

Ковалевский мастерски вводит в повествование заворуженность мифологическим злом, присущую идее Ломброзо о прирожденном преступнике. Однако при этом сам Ковалевский оказывается тем, кто благодаря своим познаниям способен укротить первобытные инстинкты: будучи описаны, явления утрачивают свою пугающую непонятность, потому что он истолковывает их как симптомы наследственного вырождения. Точность его медицинско-семиотической работы перформативным образом подтверждается в заключительной сцене, когда Ковалевский выступает в качестве эксперта. Его экспертиза выходит за рамки обыкновенного и снова начинает походить на своего рода повествовательный *coup de théâtre*, нагнетая напряжение и приводя к новой кульминации. Вместо того чтобы повторить в зале суда уже названный диагноз эпилепсии, эксперт предсказывает, что в ближайшем будущем с подсудимым случится еще один приступ. И действительно:

[В]друг в суде раздался неистовый крик. Буйство началось. Четыре человека едва удерживали Погорелова. <...> [Л]ицо выражает ужас. Больной сильно галлюцинирует. «Режут, людей режут! Ай! Караул! Спасите, спасите! Караул!» <...> Припадок буйства, под влиянием которого совершенно было преступление, повторился в том самом суде при освидетельствовании и послужил самым лучшим подтверждением мнения экспертов и убеждения судей [ibid.: 123—124].

Дар семиотической убедительности, которым обладал судебный психиатр Ковалевский, распространялся не только на прошлое, но и на будущее.

3. Нарративные модели изображения врожденной преступности в русской литературе конца XIX века

Основываясь на этих наблюдениях над возможностью создавать повествования о явлениях атавизма и врожденных преступных наклонностей, можно выделить три нарративные модели, представленные в русской литературе конца XIX века: *вне-криминально-антропологическую*, *анти-криминально-антропологическую* и *крипто-криминально-антропологическую*. Первая модель концептуализирует преступника как человека «несчастливого», о чем говорилось выше; эта концепция старше, чем криминальная антропология и, по-видимому, никак с ней не взаимодействует. Поэтому дальнейший анализ будет сосредоточен на двух других нарративных моделях.

3.1. Анти-криминально-антропологические нарративные модели: А.И. Свирский и Л.Н. Толстой

Анти-криминально-антропологические нарративные модели развивали такие писатели, как Л.Н. Толстой в последнем романе «Воскресение» (1899) и менее знаменитый А.И. Свирский в очерках о преступном мире 1890-х годов [Свирский 2002]. С одной стороны, приставка *анти-* означает, что Толстой и Свирский эксплицитно ссылаются на криминальную антропологию, чтобы опровергнуть ее гипотезы. Так, Свирский спорит с утверждением, что татуировки заключенных сопоставимы с татуировками примитивных народов; Ломброзо усматривал в этой аналогии признак атавизма прирожденных преступников [ibid.: 97—106; Lombroso 2000].

Толстой же не только аргументированно отвергает криминальную антропологию в «Воскресении», но и дискредитирует ее на перформативном уровне. Типичным примером тому служит сцена судебных разбирательств, когда самодовольный товарищ прокурора, давая характеристику обвиняемым в заключительной речи, прибегает к криминально-антропологической терминологии, чтобы доказать их виновность: «Тут была и наследственность, и прирожденная преступность, и Ломброзо, и Тард, и эволюция, и борьба за существование, и гипнотизм, и внушение, и Шарко, и декадентство» [Толстой 1936: 72]. При этом он делает вывод о необходимости вынести подсудимым обвинительный приговор, чтобы защитить общество от опасности заражения, которая исходит от преступника как элемента патологического:

«Господа присяжные заседатели, — продолжал между тем, грациозно извиваясь тонкой талией, товарищ прокурора, — в вашей власти судьба этих лиц, но в вашей же власти отчасти и судьба общества, на которое вы влияете своим приговором. Вы вникните в значение этого преступления, в опасность, представляемую обществу от таких патологических, так сказать, индивидуумов, какова Маслова, и оградите его от заражения, оградите невинные, крепкие элементы этого общества от заражения и часто гибели». И как бы сам подавленный важностью предстоящего решения, товарищ прокурора, очевидно до последней степени восхищенный своею речью, опустил на свой стул [ibid.: 73].

Впрочем, цели представить криминальную антропологию явлением пошлым служит не одна только ироническая характеристика товарища прокурора с его модной «научной» риторикой. Его аргументация тоже разоблачается как основанная на ложных выводах: утверждение товарища прокурора, будто одна из подсудимых — «жертва наследственности», опровергается адвокатом, который подчеркивает, что родители его подзащитной неизвестны:

В заключение адвокат в пику товарищу прокурора заметил, что блестящие рассуждения господина товарища прокурора о наследственности, хотя и разъясняют научные вопросы наследственности, неуместны в этом случае, так как Бочкова — дочь неизвестных родителей [ibid.: 74].

Товарищ прокурора отвечает, что теория наследственности позволяет не только выводить преступление из наследственности, но и наоборот:

После этого защитника опять встал товарищ прокурора и, защитив свое положение о наследственности против первого защитника тем, что если Бочкова и дочь

неизвестных родителей, то истинность учения наследственности этим нисколько не инвалидируется, так как закон наследственности настолько установлен наукой, что мы не только можем выводить преступление из наследственности, но и наследственность из преступления [ibid.: 74–75].

С другой стороны, в рамках этой *анти*-модели Свирскому и Толстому удастся опровергнуть криминальную антропологию, противопоставляя индивидуальные судьбы преступников идее Ломброзо об антропологическом отличии преступников от законопослушных людей. Судьбы же эти свидетельствуют о человеческой «нормальности» преступника как личности, а не как «вида». Так, князь Нехлюдов, протагонист «Воскресения», выступающий выразителем авторской позиции, доказывает:

Эти так называемые испорченные, преступные, ненормальные типы были, по мнению Нехлюдова, не что иное, как такие же люди, как и те, перед которыми общество виновато более, чем они перед обществом <...> [ibid.: 312].

Сентиментальные истории Свирского нередко служат цели заново придать чудовищному на первый взгляд преступнику человеческие черты. В рассказе «Зверь», повествующем о каторжнике и палаче Кандыбе, это преобразование описано от лица рассказчика, отбывающего наказание вместе с Кандыбой. По прибытии в место заключения до рассказчика доходят слухи о звериной жестокости Кандыбы, которые передаются из уст в уста в тюрьмах и острогах:

Кандыба был человек сильный, смелый и жестокий. О нем в острогах рассказывали чудовищные легенды. Рассказывали, что Кандыба многих засекал до смерти. <...> И еще рассказывали о нем, что однажды, находясь в бегах и заблудившись в тайге, он убил своего товарища и семь дней питался трупом убитого спутника. Такова была слава знаменитого сахалинского палача Кандыбы [Свирский 2002: 225–226].

По мере развития событий рассказчику приоткрывается внутренний мир Кандыбы, и тот постепенно обретает человеческие/личностные черты. Этот процесс регуманизации достигает высшей точки в заключительной сцене очерка, где Кандыба, закованный в кандалы, бежит по двору, таская на плечах Ваньку, маленького сына другого заключенного. Кандыба отдувается, ребенок в восторге, а рассказчик, оглядываясь назад, подводит итог: «До сих пор я отчетливо вижу эту сцену и, вспоминая о ней сейчас, начинаю понимать, сколько чудесного спрятано на дне человеческой души» [ibid.: 244].

3.2. *Крипто-криминально-антропологические нарративные модели — I: трущобная литература (В.А. Гиляровский)*

Крипто-криминально-антропологическая нарративная модель устроена несколько сложнее, чем «оппозиционная» *анти*-модель. Приставка *крипто* указывает на то, что эту нарративную модель нельзя распознать сразу. О криминально-антропологической концепции преступника заставляют вспомнить два жанра: «трущобная литература» и «роман о вырождении». Примером трущобной литературы в нижеследующем анализе служат очерки В.А. Гиляровского, а роман вырождения представлен романом Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».

В своих очерках «Трущобные люди» (1887) Гиляровский изображает живущий по своим особым законам преступный мир, расположенный в самом центре Москвы. Как и в других европейских литературах [Greenslade 1994: 47–64], московские трущобы изображаются как гетеротопии аномального посреди современной цивилизации, замкнутые пространства, где господствует биологический/социальный регресс¹³. Радикализируя «трущобную» литературную традицию (к которой принадлежат, например, «Петербургские трущобы» (1864–1867) В.В. Крестовского; см.: [Buckler 2005: 171–179]), Гиляровский изображает своего рода примитивный «мир наоборот», где преступления, как и в теории Ломброзо, составляют часть повседневной жизни. Это регрессивное вырождение пространства и его обитателей Гиляровский иллюстрирует с помощью отождествления трущоб с дикой природой. Тем самым он усиливает завроженность, которую читатель, будучи «цивилизованным человеком», испытывает перед лицом чуждого ему антропологического опыта:

Притон трущобного люда, потерявшего обличье человеческое, — в заброшенных подвалах, в развалинах, подземельях. Здесь крайняя степень падения, падения безвозвратного. Люди эти, как и лесные хищники, боятся света, не показываются днем, а выползают ночью из нор своих. Полночь — их время. В полночь они забьются о будущей ночи, в полночь они устраивают свои ужасные оргии <...> [Гиляровский 1960: 80].

Произведения Гиляровского часто строятся согласно принципу сенсации, обычному для приключенческого повествования: наблюдатель из цивилизованного мира, нередко журналист, вступает в полный опасностей мир трущоб, пересекая семиотическую сдерживающую границу между нормальным и патологическим, и иногда расплачивается за это жизнью. Сюжет требует того, чтобы радикальное отличие запретного пространства от нормального было ясно выражено, так что в итоге задействуются элементы криминальной антропологии. Обитатели трущоб, лишённые человеческих и индивидуальных черт, изображаются как опасная толпа, чья «естественная» склонность к преступности предопределена не столько биологическими или социальными факторами, сколько самим пространством: их жизни протекают в притонах неподалеку от Хитрова рынка, которые носят такие названия, как «Каторга» и «Сибирь» [ibid.: 88–94]. Это метонимии того ненормального мира, в котором обитают преступники и из которого нет выхода, поскольку ссылка на настоящую каторгу будет означать лишь перемещение внутри дискретного пространства.

3.3. Крипто-криминально-антропологические нарративные модели — II: роман о вырождении (Ф.М. Достоевский)

Вторая разновидность крипто-криминально-антропологической нарративной модели возникла в результате объединения теорий вырождения и атавизма в рамках «романа о вырождении». Появление в европейской литературе между 1880-ми и 1910-ми годами романов о вырождении стало следствием публи-

13 Среди русских исследований того времени похожую концептуализацию городских пространств, где царят проявления атавизма и девиации, можно найти в: [Мечников 1878–1880].

кации 20-томной семейной саги Эмиля Золя «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» («Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire», 1871—1893). В таких романах сами семьи и их наследственная предрасположенность к различным заболеваниям играют равно ключевую роль в проникнутом детерминизмом повествовании о гибели, в котором психофизические заболевания и прочие примеры отклонения от нормы выступают симптоматическими проявлениями прогрессирующего процесса распада. Примеры этой тенденции можно найти в творчестве скандинавских писателей, например в романах «Безнадежные поколения» («Naabløse Slægter», 1880/1884) Германа Банга и «Флаги веют над городом и над гаванью» («Det flager i Byen og paa Havnen», 1884) Бьёрнстjerne Бьёрсона; в Германии «Болезнь века» («Die Krankheit des Jahrhunderts», 1887) Макса Нордау кладет начало традиции, к которой в хронологическом порядке относятся «Декаденты» («Die Dekadenten», 1898) Герхарда Оукамы Кноопа, «Будденброки» («Buddenbrooks», 1901) Томаса Манна и «Вечерние дома» («Abendliche Häuser», 1914) Эдуарда фон Кайзерлинга; в Италии проект Золя воплощает Джованни Верга в романах «Семья Малаволья» («I Malavoglia», 1881) и «Дон Джезуальдо» («Mastro don Gesualdo», 1888), а его признанию в Португалии и в Испании способствуют Жозе Мария Эса ди Кейрош и Бенито Перес Гальдос.

Контекст возникновения первых романов о вырождении, прежде всего цикла Золя о Ругон-Маккарах, представляет собой интердискурсивное поле, к которому в равной степени причастны литература и медицина (психиатрия). Натурализм как литературное направление стремился к симбиозу этих двух дискурсов, который стал возможным благодаря интердискурсивному режиму знания [Gumbrecht 1978]. Первые русские романы о вырождении явились прямым следствием увлечения эпистемологической поэтикой Золя: «Господа Головлевы» (1875—1880) М.Е. Салтыкова-Щедрина, «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского (1879—1880), «Приваловские миллионы» (1882) Д.Н. Мамина-Сибиряка и «Из новых» (1887) П.Д. Боборыкина [Николози 2006; 2015; Nicolosi 2008; 2010].

Переплетение нарративов о вырождении, преступности и атавизме является, согласно моей интерпретации, главным элементом романа «Братья Карамазовы», не в последнюю очередь потому, что фоном тут послужила полемика с натуралистической поэтикой Золя. В «Братьях Карамазовых» Достоевский с частотой, которая кажется прямо-таки навязчивой, ставит вопрос: передается ли «карамазовщина» — понятая как вся совокупность ненормальных качеств Федора Павловича Карамазова — по наследству? Является ли она чем-то биологически необоримым, что непременно должно отрицательно сказаться на братьях? Вопрос о биологической сущности — это вопрос о наследственности и вырождении. В свете этого представляется, что последний роман Достоевского связан дискурсивными и интертекстуальными отношениями с циклом романов о вырождении «Ругон-Маккары»¹⁴.

Семейный эпос Золя программным образом связан с медицинским дискурсом эпохи. У Золя повествовательная схема дегенеративной наследствен-

14 Об интертекстуальных связях «Братьев Карамазовых» с «Ругон-Маккарами» см.: [Рейзов 1970: 147—158; Belknap 1990, 39—40]. Первые пять томов «Ругон-Маккаров» есть в каталоге личной библиотеки Достоевского [Гроссман 1922: 34].

ности лежит в основании сюжета: передача и комбинация отрицательных качеств на протяжении пяти поколений воплощают принцип макроструктурной систематизации семейной истории. В то же время сама эта наследственность выступает в качестве стартовой гипотезы, подвергнуть которую научной проверке берется автор. По сути, основную задачу литературы Золя видит в экспериментальной проверке теорий, взятых из естественных наук: художественный мир, создаваемый авторами-натуралистами, призван служить своего рода лабораторией для проверки научных идей, приводящих к социальному и биологическому детерминизму [Kolkenbrock-Netz 1981: 193—217].

Хорошо известно, что Достоевский был далек от подобного рода натуралистических представлений о литературе. В задачи «Братьев Карамазовых» не входит ни проверка научных концепций, ни создание художественного мира, управляемого законами детерминизма. Но вся художественная ткань романа проникнута тревожным подозрением, что реальный мир подчиняется законам предопределения, особенно закону наследственности. При этом вопрос о наследственности с уровня автора, как это было во французском натурализме, где автор, в сущности, рассматривает себя как ученого наблюдателя и экспериментатора, переносится на уровень действующих лиц романа, которые наблюдают за проявлениями как собственной, так и чужой генетики и размышляют о ее потенциальном влиянии на решения и поступки.

Созданный Достоевским художественный мир, отравленный идеей наследственности, предстает своего рода противоположным экспериментом по отношению к экспериментальному циклу Золя. Представляется, что собственная экспериментальная гипотеза Достоевского (говоря заостренно) такова: насколько может быть опасно, когда люди начинают полагать, будто устроены как персонажи натуралистического романа? Если Золя пишет хронике биологически и социально предопределенного вырождения семьи в эпоху Второй империи во Франции, то история семейства Карамазовых призвана показать, что дурную наследственность можно преодолеть, — причем высказывается эта мысль с точки зрения христианского возрождения. Несмотря на общее биологическое происхождение братьев, их судьбы различаются между собой, тем самым доказывая, что человек несет за свои поступки ответственность, не ограниченную биологически¹⁵. Тем не менее в тексте Достоевского содержится и противоположный смысл, который посредством «испорченной» карамазовской крови угрожает успеху «контрэксперимента»: у романа есть поразительное — без сомнения, не входившее в намерения автора, но все же ясно различимое — криминально-антропологическое измерение. Как мы увидим, решающую роль тут играет противоречивый образ Смердякова¹⁶.

Впервые в романе Достоевского идея наследственности высказывается в диалоге Алеши Карамазова и Ракитина, о котором Дмитрий впоследствии отзовется как о «русском Клоде Бернаре». Отсылка эта неслучайна, поскольку Клод Бернар написал «Введение в изучение экспериментальной медицины» («Introduction à l'étude de la médecine expérimentale», 1865), которое послужило основой для статьи Золя «Экспериментальный роман» («Le Roman Experi-

15 Об экспериментальном методе Достоевского см.: [Паперно 1999: 161—167].

16 См. также разбор «Братьев Карамазовых» с точки зрения психопатологии, который в 1885 году предложил В. Чиж: [Чиж 2001: 290—293]. Ср.: [Sirotkina 2002: 50—53].

mental», 1880)¹⁷. После встречи всех Карамазовых в келье старца Зосимы, драматической и в то же время бурлескной, Ракитин в разговоре с Алешей выдвигает первое, весьма примечательное объяснение тому, что Зосима опустился на колени перед Дмитрием:

По-моему, старик действительно прозорлив: уголовщину пронюхал. Смердит у вас. <...> В вашей семейке она будет, эта уголовщина. Случится она между твоими братцами и твоим богатеньким батюшкой [Достоевский 1976, 14: 73].

В дополнение к этой интерпретации необычного поступка Зосимы Ракитин предлагает своего рода научное объяснение наследственной натуры Карамазовых, которую он, в соответствии с законом природы, считает присущей и Алеше с Иваном:

— Он [Дмитрий. — *Р.Н.*] — сладострастник. Вот его определение и вся внутренняя суть. Это отец ему передал свое подлое сладострастие. <...> В вашем семействе сладострастие до воспаления доведено. <...> Ты сам Карамазов, ты Карамазов вполне — стало быть, значит же что-нибудь порода и подбор. По отцу сладострастник, по матери юродивый. Чего дрожишь? Аль правду говорю? <...> В этом весь ваш карамазовский вопрос заключается: сладострастники, стяжатели и юродивые! [ibid.: 74–75].

Дарвинистский лексикон Ракитина помещает его замечание в контекст тривиального/детерминистского мировоззрения (*Weltanschauung*), которое рассматривает личные качества исключительно в аспекте наследственности. С точки зрения Ракитина, наличие такого генетического набора, как в случае Карамазовых, неминуемо приведет к убийству. С одной стороны, Достоевский морально дискредитирует Ракитина — носителя такого мировоззрения; с другой же — представляется, что, будучи высказанной, идея наследственности со всеми своими детерминистскими импликациями господствует в художественном мире «Братьев Карамазовых». Чаще всего обращаются к этой теме и проблематизируют свою патологию Дмитрий, Иван и Алеша: ядро ее составляет, по их утверждению, инстинктивный, патологический, не признающий границ «безудерж желаний», «доведенное до воспаления сладострастие» [Достоевский 1976, 14: 74]. Развитие сюжета романа, особенно нравственное возрождение Дмитрия, призвано показать, что карамазовская природа наделена и «жаждой жизни» — потенциальным источником веры и спасения в христианском смысле.

Ход эксперимента, противоположного предпринятому у Золя, можно проиллюстрировать сравнением с романом «Человек-зверь» («*La bête humaine*», 1890) — классическим примером натуралистической поэтики переплетения нарративов о вырождении и атавизме. «Человек-зверь» — роман, в котором убийство имеет сексуальную подоплеку, а определяющее влияние болезненной биологической предрасположенности на поступки протагониста, машиниста локомотива Жака Лантье, представлено как совершенно очевидное. Таким образом, Лантье являет собой парадигматический пример персонажа натуралистического романа, чьи поступки предзаданы и чья борьба со своими атавистическими инстинктами с самого начала проиграна из-за внутренних факторов,

17 О теории экспериментального романа Золя и о восприятии ее в России см.: [Николози 2015].

сводящих на нет всякую возможность свободного выбора. В его случае «зверь» неизбежно одержит победу над «человеком». В натуралистическом изображении Золя человеком управляют импульсы, эмоции, наследственная предрасположенность и влияние среды и ему лишь изредка удается свернуть с предсказуемого пути вырождения.

В «Братьях Карамазовых» идея возможного влияния патологической наследственности на поведение больше всех тревожит Дмитрия, поскольку тот испытывает к отцу отвращение и страшится неуправляемости собственных побуждений и инстинктов. Дмитрию особенно ненавистно лицо отца, которым сам старик Карамазов гордится, уподобляя его физиономии римского патриция времен упадка. Интуитивно Дмитрий обращает здесь внимание на дегенеративную сторону отца, которая, если окажется наследственной, проявится и в нем самом. Достоевский создает типичную для натурализма повествовательную ситуацию: будь его роман произведением натуралистическим, «карамазовская животная природа» со всей очевидностью предопределила бы участь героя, толкнув его на неминуемое убийство. Это и в самом деле может показаться сутью той близкой к убийству сцены, когда Дмитрий, стоя в саду, наблюдает за отцом сбоку, пока тот выглядывает из окна в надежде увидеть Грушеньку:

Весь столь противный ему профиль старика, весь отвисший кадык его, нос крючком, улыбающийся в сладостном ожидании, губы его, все это ярко было освещено косым светом лампы слева из комнаты. Страшная, неистовая злоба закипела вдруг в сердце Мити <...> Это был прилив той самой внезапной, мстительной и неистовой злобы, про которую, как бы предчувствуя ее, возвестил он Алеше в разговоре с ним в беседке четыре дня назад, когда ответил на вопрос Алеши: «Как можешь ты говорить, что убьешь отца?» <...> «Боюсь, что ненавистен он вдруг мне станет *своим лицом в ту самую минуту*. <...> Вот этого боюсь, вот и не удержусь...» Личное омерзение нарастало нестерпимо. Митя уже не помнил себя и вдруг выхватил медный пестик из кармана... [ibid.: 354–355].

Таким образом, тот сценарий, которого боялся Дмитрий, воплощается в точности так же, как он и предчувствовал, а его неуправляемые импульсы запускают иррациональную цепную реакцию, которая на первый взгляд должна привести непосредственно к отцеубийству. Изображая борьбу Лантье с собственными атавистическими фантазиями об убийстве женщин, Золя показывает, к чему могут приводить инстинктивные импульсы (по крайней мере в рамках литературы натурализма): постоянное наблюдение за самим собой и попытки управлять инстинктами не оберегают Лантье от деяния, которого он не властен избежать, — и все его усилия терпят поражение в тот самый момент, когда вид шеи Северины, его возлюбленной, запускает реакцию, подобную реакции Дмитрия Карамазова при виде ненавистного отцовского профиля:

Северина все приближалась, и Жак, пятясь, оказался у самого стола, дальше ему уже некуда было отступать, а она стояла перед ним, ярко освещенная лампой. Никогда еще Жак не видал ее такой: волосы молодой женщины были высоко подбраны, сорочка спустилась так низко, что открывала шею и грудь. Он задыхался, тщетно борясь с собой, но отвратительная дрожь уже охватывала его, кровь яростной волною кинулась ему в голову. Он все время помнил, что нож тут, на столе, позади него, он почти физически осязал его — надо было только протянуть руку! [Золя 1964: 594].

Лантье убивает, Дмитрий — нет; Лантье не испытывает раскаяния в содеянном. Напротив, он испытывает облегчение от прекращения изнурительной борьбы с собственной природой. Дмитрий же чувствует, что его спас Бог, и признает свою вину, в конечном счете состоящую в нездоровых инстинктах. Каким бы непостижимым это ни показалось, его решение не убивать, означающее принятие собственной индивидуальности и ответственности, возвращает ему человечность и опровергает тезис о механическом действии инстинктов.

Эксперимент Достоевского содержит в себе и собственную противоположность, своего рода «контропыт», предназначенный для проверки изначальной гипотезы (иными словами, решающий вопрос о допустимости нарушения этических запретов под влиянием иррациональных, бессознательных, физиологических сил), который ставится в похожих экспериментальных условиях, но дает противоположный результат. Судьба Ивана, который пассивно поддерживает зло и способствует свершению этого зла руками Смердякова, неспособен к безоговорочному раскаянию и в итоге заболевает серьезным нервным недугом, показывает, что разум и религиозный скептицизм не могут победить биологическое дурное начало и лишь укрепляют его.

Можно ли считать «контрэксперимент» Достоевского удавшимся? Хотя настоящий обзор на первый взгляд позволяет ответить на этот вопрос утвердительно, экспериментальная повествовательная конструкция, созданная Достоевским, содержит в своей основе парадокс, на котором необходимо остановиться. Испытание человеческой свободной воли перед лицом зла требует пересечения черты, то есть убийства. Без убийства не было бы и катарсиса, евангельской «смерти пшеничного зерна» — предпосылки воскресения в вере. В художественном мире Достоевского зло — это не просто теоретическая возможность: ответственность за происходящие в мире события, суть которых заключается в борьбе добра и зла за человеческую душу, несет Дьявол — противник Бога и искуситель рода человеческого. Но, чтобы заставить зло открыть свое истинное лицо через преступление и продемонстрировать торжество божественного начала в душе человека, Достоевский вынужден кем-то пожертвовать. Тем самым Достоевский словно бы берет на себя в своем экспериментальном мире ту роль, которую Иван Карамазов полемически приписывает Богу: экспериментатора, создавшего людей как «пробные существа» [Достоевский 1976, 14: 238], чтобы проверить Себя в извечной борьбе со злом.

Именно эта структурная необходимость преступления и подразумевает наличие в «Братьях Карамазовых» скрытого парадоксального мотива, который заставляет посмотреть на решительное отвержение Достоевским биологического детерминизма как на проблему. Вернемся к процитированному выше предсказанию отцеубийства, сделанному Ракитиным: «Смердит у вас. <...> В вашей семейке она будет, эта уголовщина. Случится она между твоими братьями и твоим богатеньким батюшкой». Предсказание это поражает точностью: оно указывает не только на общую нравственную вину старших братьев, Дмитрия и Ивана, но и на собственно убийцу, Смердякова, о чьем имени напоминает звучание глагола «смердеть». Хотя сам Ракитин и не сознает этой точности, она заставляет нас обратить внимание на детерминистские предпосылки, которые находят парадоксальное подтверждение в фигуре Смердякова. Своего рода «расщепление» личности преступника в «Братьях Карамазовых», обусловленное дифференциацией базового отношения человека к злу, отводит Смердя-

кову роль орудия Дьявола — воплощенного зла. Неминуемость участи Смердякова, неспособность к развитию, которые делают его единственным грешником в романе, которого нельзя спасти¹⁸, мотивированы не только его структурной функцией в системе персонажей, но и биологическим детерминизмом, объясняющим психофизические стигмы вырождения и атавизма.

Таким образом, во многих отношениях образ Смердякова отвечает стандарту изображения дегенеративной болезни с необходимой для нее предысторией — запойным пьянством деда Ильи и полным «идиотизмом» матери Лизаветы Смердящей. Смердяков представляет собой конечную точку прогрессирующего истощения карамазовской жизненной силы. Его эпилептические припадки соответствуют медицинским представлениям того времени и служат образцовым примером неизлечимого разрушения нервной системы, заставляя его преждевременно «постареть», «сморщиться» и стать похожим на «скопца» [Достоевский 1976, 14: 115]. Даже в детстве Смердяков обнаруживает симптомы патологического «нравственного помешательства», как будто позаимствованные из учебника: садистскую склонность «вешать кошек и потом хоронить их с церемонией» [ibid.: 114]. Осуществив эксперимент убийства, который сулил ему ничем не ограниченную свободу воли, Смердяков надеется избежать той участи, которая, будучи предопределена внутренней художественной логикой романа, обрекает его на роль преступника в криминально-антропологическом смысле слова. Отсюда его атеистическая аксиома «все позволено». То обстоятельство, что он последовательно становится не только орудием, но и жертвой этой аксиомы, окрашивает последний роман Достоевского в тревожные тона биологического детерминизма.

Пер. с англ. Нины Ставрогиной

Библиография / References

- [Беляков 1882] — *Беляков С.А.* Антропологическое исследование убийц // Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии. 1882. Т. 4. № 1. С. 19—48; № 2. С. 12—52.
- (*Belyakov S.A.* Antropologicheskoe issledovanie ubiyts // Arkhiv psikhiiatrii, neyrologii i sudebnoy psikhopatologii. Vol. 4. № 1. P. 19—48; № 2. P. 12—52.)
- [Гиляровский 1960] — *Гиляровский В.А.* Избранное: В 3 т. Т. 1 (Трущобные люди. Мои скитания. Люди театра). М.: Московский рабочий, 1960.
- (*Gilyarovskiy V.A.* Izbrannoe: In 3 vols. Vol. 1 (Trushchobnyye lyudi. Moi skitaniya. Lyudi teatra). Moscow, 1960.)
- [Гроссман 1922] — *Гроссман Л.П.* Семинарий по Достоевскому. М.: Гос. издательство, 1922.
- (*Grossman L.P.* Seminariy po Dostoevskomu. Moscow, 1922.)
- [Достоевский 1976] — *Достоевский Ф.М.* Братья Карамазовы // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 14—15. Л.: Наука, 1976.
- (*Dostoevskiy F.M.* Brat'ya Karamazovy // Dostoevskiy F.M. Polnoe sobranie sochineniy: In 30 vols. Vols. 14—15. Leningrad, 1976.)
- [Достоевский 1980] — *Достоевский Ф.М.* Среда // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 21 (Дневник писателя 1873). Л.: Наука, 1980. С. 13—23.

18 По мнению Майкла Холквиста [Holquist 1977: 182], Смердяков «обречен навсегда остаться беззащитным сыном».

- (*Dostoevskiy F.M. Sreda // Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy. In 30 vols. Vol. 21 (Dnevnik pisatelya 1873). Leningrad, 1980. P. 13—23.*)
- [Дриль 1884] — *Дриль Д.А.* Малолетние преступники. Этюд по вопросу о человеческой преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней. М.: А.И. Мамонтов, 1884.
- (*Dril' D.A. Maloletnie prestupniki. Etyud po voprosu o chelovecheskoy prestupnosti, ee faktorakh i sredstvakh bor'by s ney. Moscow, 1884.*)
- [Дриль 1895] — *Дриль Д.А.* Преступность и преступники (уголовно-психологические этюды). СПб.: Я. Канторович, 1895.
- (*Dril' D.A. Prestupnost' i prestupniki (ugolovno-psikhologicheskie etyudy). Saint Petersburg, 1895.*)
- [Золя 1964] — *Золя Э.* Человек-зверь // Золя Э. Собрание сочинений: В 26 т. Т. 13 (Мечта. Человек-зверь) / Пер. с фр. Я. Лесюка. М.: Художественная литература, 1964. С. 231—642.
- (*Zola É. La bête humaine // Zola É. Sobranie sochineniy. In 26 vols. Vol. 13. Moscow, 1964. P. 231—642. — In Russ.*)
- [Ковалевский 1882] — *Ковалевский П.И.* Судебно-психиатрические анализы. Харьков: Типография М.Ф. Зильберберга, 1882.
- (*Kovalevskiy P.I. Sudebno-psikhiatricheskie analizy. Khar'kov, 1882.*)
- [Ковалевский 1894] — *Ковалевский П.И.* Нервные болезни нашего общества. Харьков: Типография М.Ф. Зильберберга, 1894.
- (*Kovalevskiy P.I. Nervnye bolezni nashego obshchestva. Khar'kov, 1894.*)
- [Ковалевский 1896] — *Ковалевский П.И.* Судебная общая психопатология. Варшава: Типография Варшавского учебного округа, 1896.
- (*Kovalevskiy P.I. Sudebnaya obshchaya psikhopatologiya. Warsaw, 1896.*)
- [Ковалевский 1903] — *Ковалевский П.И.* Вырождение и возрождение. Преступник и борьба с преступностью. 2-е изд. СПб.: Типография М.И. Акинфиева и И.В. Леонтьева, 1903.
- (*Kovalevskiy P.I. Vyrozhdenie i vozrozhdenie. Prestupnik i bor'ba s prestupnost'yu. 2-e izd. Saint Petersburg, 1903.*)
- [Ломброзо 1902] — *Ломброзо Ц.* Мое посещение Толстого. Женева: Изд. Эллидина, 1902 (http://az.lib.ru/l/lombrozo_c/text_1902_moyo_poseshenie_tolstogo.shtml (дата обращения: 14.12.2016)).
- (*Lombroso C. Mein Besuch bei Tolstoi. Geneva, 1902. — In Russ. (http://az.lib.ru/l/lombrozo_c/text_1902_moyo_poseshenie_tolstogo.shtml (accessed: 14.12.2016)).*)
- [Мечников 1878—1880] — *Мечников Л.И.* Изнамка цивилизации // Дело. 1878. № 10. С. 89—132; № 11. С. 181—222; 1880. № 1. С. 49—84; № 2. С. 99—137.
- (*Mechnikov L.I. Iznanka tsivilizatsii // Delo. 1878. № 10. P. 89—132; № 11. P. 181—222; 1880. № 1. P. 49—84; № 2. P. 99—137.*)
- [Мицлов 1881] — *Мицлов Р.* Особенности класса преступников // Юридический вестник. 1881. № 10. С. 216—246; № 11. С. 355—418; № 12. С. 577—606.
- (*Mintslov R. Osobennosti klassa prestupnikov // Yuridicheskiy vestnik. 1881. № 10. P. 216—246; № 11. P. 355—418; № 12. P. 577—606.*)
- [Могильнер 2008] — *Могильнер М.* Homo imperii. История физической антропологии в России. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
- (*Mogil'ner M. Homo imperii. Istoriya fizicheskoy antropologii v Rossii. Moscow, 2008.*)
- [Николози 2006] — *Николози Р.* Вырождение семьи, вырождение текста. Господа Головлевы, французский натурализм и дискурс дегенерации XIX века // Русская литература и медицина. Тело, предписания, социальная практика / Ред. К. Богданов и др. М.: Новое издательство, 2006. С. 170—193.
- (*Nicolosi R. Vyrozhdenie sem'i, vyrozhdenie teksta. Gospoda Golovlevy, frantsuzskiy naturalizm i diskurs degeneratsii XIX veka // Russkaya literatura i meditsina. Telo, predpisaniya, sotsial'naya praktika / Ed. by K. Bogdanov et al. Moscow, 2006. P. 170—193.*)
- [Николози 2015] — *Николози Р.* Эксперименты с экспериментами: Эмиль Золя и русский натурализм («Приваловские миллионы» Д.Н. Мамина-Сибиряка) // Новое литературное обозрение. 2006. № 134. С. 202—220.
- (*Nicolosi R. Eksperimenty s eksperimentami: Emil' Zolya i russkiy naturalizm («Privalovskie milliony» D.N. Mamina-Sibiryaka) // Novoe literaturnoe obozrenie. 2006. № 134. P. 202—220.*)
- [Оршанский 1910] — *Оршанский И.Г.* Атавизм и вырождение. М.: И.Н. Кушнерев, 1910.
- (*Orshanskiy I.G. Atavizm i vyrozhdenie. Moscow, 1910.*)
- [Паперно 1999] — *Паперно И.А.* Самоубийство как культурный институт. М.: Новое литературное обозрение, 1999.
- (*Paperno I.A. Samoubiystvo kak kul'turnyy institut. Moscow, 1999.*)
- [Рейзов 1970] — *Рейзов Б.* К истории замысла «Братьев Карамазовых» // Рейзов Б. Из истории европейских литератур. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1970. С. 129—158.
- (*Reyzov B. K istorii zamysla «Brat'ev Karamazovykh» // Reyzov B. Iz istorii evropeyskikh literatur. Leningrad, 1970. P. 129—158.*)
- [Свирский 2002] — *Свирский А.И.* Казенный дом. Тюрмы, надзиратели, арестанты. М.: Эксмо-Пресс, 2002.

- (*Svirskiy A.I.* Kazenny dom. Tyur'my, nadzirately, arestanty. Moscow, 2002.)
- [Сикорский 1904] — *Сикорский И.А.* Биологические вопросы в психологии и психиатрии // Вопросы нервно-психической медицины. 1904. № 1. С. 79—114.
- (*Sikorskiy I.A.* Biologicheskie voprosy v psikhologii i psikhiiatrii // Voprosy nervno-psikhicheskoy meditsiny. 1904. № 1. P. 79—114.)
- [Толстой 1936] — *Толстой Л.Н.* Полное собрание сочинений. Т. 32 (Воскресение). М.: Художественная литература, 1936.
- (*Tolstoy L.N.* Polnoe sobranie sochineniy. Vol. 32. Moscow, 1936.)
- [Толстой 1953] — *Толстой Л.Н.* Полное собрание сочинений. Т. 53 (Дневники). М.: Художественная литература, 1953.
- (*Tolstoy L.N.* Polnoe sobranie sochineniy. Vol. 53. Moscow, 1953.)
- [Троицкий 1885] — *Троицкий П.А.* Итоги кефалометрии у преступников в связи с некоторыми признаками физического их вырождения (Материалы для судебной психопатологии) // Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии. 1885. Т. 5. № 2. С. 1—93.
- (*Troitskiy P.A.* Itogi kefalometrii u prestupnikov v svyazi s nekotorymi priznakami fizicheskogo ikh vyrozhdeniya (Materialy dlya sudebnoy psikhopatologii) // Arkhiv psikhiiatrii, neyrolologii i sudebnoy psikhopatologii. 1885. Vol. 5. № 2. P. 1—93.)
- [Чехов 1978] — *Чехов А.П.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 14—15 (Из Сибири. Остров Сахалин). М.: Наука, 1978.
- (*Chekhov A.P.* Polnoe sobranie sochineniy i pisem: In 30 vols. Vol. 14—15. Moscow, 1978.)
- [Чиж 1894] — *Чиж В.Ф.* Преступный человек перед судом врачебной науки. Казань: Типография Императорского университета, 1894.
- (*Chizh V.F.* Prestupnyy chelovek pered sudom vrachebnoy nauki. Kazan', 1894.)
- [Чиж 1895] — *Чиж В.Ф.* Криминальная антропология. Одесса: Типография Исаковича, 1895.
- (*Chizh V.F.* Kriminal'naya antropologiya. Odessa, 1895.)
- [Чиж 2001] — *Чиж В.Ф.* Достоевский как психопатолог // Чиж В.Ф. Болезнь Н.В. Гоголя. Записки психиатра. М.: Терра, 2001. С. 287—384.
- (*Chizh V.F.* Dostoevskiy kak psikhopatolog // Chizh V.F. Bolezni N.V. Gogolya. Zapiski psikhiiatra. Moscow, 2001. P. 287—384.)
- [Abbott 2002] — *Abbott H.P.* The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- [Andriopoulos 1996] — *Andriopoulos S.* Unfall und Verbrechen. Konfigurationen zwischen juri-
- stischem und literarischem Diskurs um 1900. Pfaffenweiler: Centaurus, 1996.
- [Becker 2003] — *Becker E.M.* Medicine, Law, and the State in Imperial Russia. Budapest; New York: Central European University Press, 2003.
- [Beer 2008] — *Beer D.* Renovating Russia: The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity. Ithaca; London: Cornell University Press, 2008.
- [Belknap 1990] — *Belknap R.L.* The Genesis of The Brothers Karamazov. The Aesthetics, Ideology, and Psychology of Making a Text. Evanston: Northwestern University Press, 1990.
- [Brown 1981] — *Brown J.V.* The Professionalization of Russian Psychiatry: 1857—1911. Ph.D. Diss., University of Pennsylvania, 1981.
- [Buckler 2005] — *Buckler J.A.* Mapping Saint Petersburg. Imperial Text and Cityshape. Princeton: Princeton University Press, 2005.
- [Campbell 1997] — *Campbell J.A.* Charles Darwin: Rhetorician of Science // Landmark Essays on Rhetoric of Science: Case Studies / Ed. by R.A. Harris. Mahwah, N.J.: Routledge, 1997. P. 3—17.
- [Chamberlin, Gilman 1985] — Degeneration. The Dark Side of Progress / Ed. by J.E. Chamberlin, S.L. Gilman. New York: Columbia University Press, 1985.
- [Depew 2009] — *Depew D.J.* The Rhetoric of the Origin of Species // The Cambridge Companion to the «Origins of Species» / Ed. by M. Ruse, R.J. Richards. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 237—255.
- [Dowbiggin 1985] — *Dowbiggin I.* Degeneration and Hereditarianism in French Mental Medicine 1840—90: Psychiatric Theory as Ideological Adaptation // The Anatomy of Madness. Essays in the History of Psychiatry / Ed. by W.F. Bynum and R. Porter. Vol. 1 (People and Ideas). London; New York: Routledge, 1985. P. 188—232.
- [Düwell, Pethes 2014] — Fall. Fallgeschichte. Fallstudie. Theorie und Geschichte einer Wissensform / Hg. von S. Düwell, N. Pethes. Frankfurt; New York: Campus, 2014.
- [Engelstein 1992] — *Engelstein L.* The Keys to Happiness. Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siècle Russia. Ithaca; London: Cornell University Press, 1992.
- [Ferri 1926] — *Ferri E.* Polemica in difesa della scuola criminale positiva // Ferri E. Studi sulla criminalità. 2nd ed. Turin: Bocca, 1926. P. 167—248.
- [Föcking 2002] — *Föcking M.* Pathologia litteralis. Erzählte Wissenschaft und wissenschaftliches Erzählen im französischen 19. Jahrhundert. Tübingen: Gunter Narr, 2002.
- [Foucault 2002] — *Foucault M.* The Order of Things. An Archaeology of the Human Sciences. London; New York: Routledge, 2002.

- [Foucault 2003] — *Foucault M.* Abnormal. Lectures at the Collège de France, 1974—1975. London; New York: Verso, 2003.
- [Frank 2001] — *Frank S.K.* Dostoevskij, Jadrincev und Čechov als «Geokulturologen» Sibiriens // Gedächtnis und Phantasma. Festschrift für Renate Lachmann / Hg. von I.P. Smirnov et al. Munich: Sagner, 2001. S. 32—47.
- [Frigessi 2000] — *Frigessi D.* La scienza della devianza // Lombroso C. Delitto, genio, follia. Scritti scelti / Ed. by D. Frigessi et al. Turin: Bollati Boringhieri, 2000. P. 333—373.
- [Galassi 2004] — *Galassi S.* Kriminologie im Deutschen Kaiserreich. Geschichte einer gebrochenen Verwissenschaftlichung. Stuttgart: Franz Steiner, 2004.
- [Garofalo 1884] — *Garofalo R.* Di una nuova scuola penale in Russia // Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali. 1884. № 5. P. 328—331.
- [Gibson 2002] — *Gibson M.* Born to Crime. Cesare Lombroso and the Origins of Biological Criminology. Westport, Conn.; London: Praeger, 2002.
- [Greenslade 1994] — *Greenslade W.* Degeneration, Culture and the Novel 1880—1940. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- [Gumbrecht 1978] — *Gumbrecht H.U.* Zola im historischen Kontext. Für eine neue Lektüre des Rogon-Macquart-Zyklus. Munich: Fink, 1978.
- [Holquist 1977] — *Holquist M.* Dostoevsky and the Novel. Princeton: Princeton University Press, 1977.
- [Huertas 1992] — *Huertas R.* Madness and Degeneration, I. From «Fallen Angel» to Mentally Ill // History of Psychiatry, 1992. № 3. P. 391—411.
- [Kolkenbrock-Netz 1981] — *Kolkenbrock-Netz J.* Fabrikation – Experiment – Schöpfung. Strategien ästhetischer Legitimation im Naturalismus. Heidelberg: C. Winter, 1981.
- [Krafft-Ebing 1898] — *Krafft-Ebing R. v.* Über gesunde und kranke Nerven. Tübingen: Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung, 1898.
- [Kurella 1910] — *Kurella H.* Cesare Lombroso als Mensch und Forscher. Wiesbaden: Bergmann, 1910.
- [Legrain & Magnan 1895] — *Legrain M.P., Magnan V.* Les dégénérés. état mental et syndromes épidémiques. Paris: Rueff et Cie, 1895.
- [Lombroso 1894] — *Lombroso C.* Entartung und Genie. Leipzig: Georg H. Wigand, 1894.
- [Lombroso 1902] — *Lombroso C.* Mein Besuch bei Tolstoj // Das freie Wort. 1902. № 1. S. 391—397.
- [Lombroso 1910] — *Lombroso C.* La nuova scuola penale. Turin: Bocca, 1910.
- [Lombroso 1911] — *Lombroso C.* Introduction // Lombroso Ferrero G. Criminal Man According to the Classification of Cesare Lombroso. New York; London: G.P. Putnam's sons, 1911. P. XI—XXI.
- [Lombroso 2000] — *Lombroso C.* Ritorno al primitivo // Lombroso C. Delitto, genio, follia. Scritti scelti / Ed. by D. Frigessi D. et al. Turin: Bollati Boringhieri, 2000. P. 426—457.
- [Magnan 1892] — *Magnan V.* Psychiatrische Vorlesungen. Vol. 2/3: Über die Geistesstörungen der Entarteten. Leipzig: Georg Thieme, 1892.
- [Mariani 1901] — *Mariani C.E.* Appunti per uno studio sulla psicosi del genio in Tolstoj // Archivio di Antropologia Criminale, Psichiatria, Medicina Legale e scienze affini. 1901. № 31. P. 260—265.
- [Mazzarello 1998] — *Mazzarello P.* Il genio e l'alienista. La visita di Lombroso a Tolstoj. Naples: Bibliopolis, 1998.
- [McReynolds 2013] — *McReynolds L.* Murder Most Russian. True Crime and Punishment in Late Imperial Russia. Ithaca; London: Cornell University Press, 2013.
- [Möbius 1900] — *Möbius P.J.* Über Entartung. Wiesbaden: Bergmann, 1900.
- [Montaldo, Tappero 2009] — *Cesare Lombroso cento anni dopo* / Ed. by S. Montald and P. Tappero. Turin: Utet, 2009.
- [Morel 1857] — *Morel A.B.* Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine et des causes qui produisent ces variétés maladives. Paris: J.B. Baillière, 1857.
- [Nicolosi 2007] — *Nicolosi R.* Genealogisches Sterben. Zum wissenschaftlichen und literarischen Narrativ der Degeneration // Wiener Slawistischer Almanach. 2007. № 60. S. 137—174.
- [Nicolosi 2008] — *Nicolosi R.* Das Blut der Karamzovs. Vererbung, Experiment und Naturalismus in Dostoevskijs letztem Roman // Laien — Lektüren — Laboratorien. Wissenschaften und Künste in Russland 1850—1950 / Hg. von M. Schwartz et al. Berlin: Peter Lang, 2008. S. 147—180.
- [Nicolosi 2010] — *Nicolosi R.* Nervöse Entartung. Narrative Modelle von Neurasthenie und Degeneration im Russland des ausgehenden 19. Jahrhunderts // Neurasthenie. Die Krankheit der Moderne und die moderne Literatur / Hg. von M. Bergengruen et al. Freiburg: Rombach, 2010. S. 103—138.
- [Nicolosi 2017] — *Nicolosi R.* Degeneration Erzählen. Literatur und Wissenschaft im Russland der 1880er und 1890er Jahre. Munich: Fink, 2017 (forthcoming).
- [Nye 1984] — *Nye R.A.* Crime, Madness, and Politics in Modern France. The Medical Concept of National Decline. Princeton: Princeton University Press, 1984.
- [Pick 1989] — *Pick D.* Faces of Degeneration: Aspects of a European Disorder, c. 1848 — c. 1918. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- [Roelcke 1999] — *Roelcke V.* Krankheit und Kulturkritik. Psychiatrische Gesellschaftsdeutungen

- im bürgerlichen Zeitalter (1790—1914). Frankfurt am Main; New York: Campus, 1999.
- [Salomoni 2009] — *Salomoni A.* La Russia // Cesare Lombroso cento anni dopo / Ed. by S. Montaldo, P. Tappero. Turin: Utet, 2009. P. 249—261.
- [Schönert 1991] — *Schönert J.* Bilder vom «Verbrechermenschen» in den rechtskulturellen Diskursen um 1900: Zum Erzählen über Kriminalität und zum Status kriminologischen Wissens // Erzählte Kriminalität. Zur Typologie und Funktion von narrativen Darstellungen in Strafrechtspflege, Publizistik und Literatur zwischen 1770 und 1920 / Hg. von J. Schönert. Tübingen: Niemeyer, 1991. S. 497—531.
- [Sirotkina 2002] — *Sirotkina I.* Diagnosing Literary Genius. A Cultural History of Psychiatry in Russia, 1880—1930. Baltimore; London: The Johns Hopkins University Press, 2002.
- [Strasser 1984] — *Strasser P.* Verbrechermenschen. Zur kriminalwissenschaftlichen Erzeugung des Bösen. Frankfurt am Main; New York: Campus, 1984.
- [Velo Dalbrenta 2004] — *Velo Dalbrenta D.* La scienza inquieta. Saggio sull'Antropologia criminale di Cesare Lombroso. Padua: Cedam, 2004.
- [Villa 1985] — *Villa R.* Il deviante e i suoi segni. Lombroso e la nascita dell' antropologia criminale. Milan: Franco Angeli, 1985.
- [Weingart et. al. 1988] — *Weingart P. et al.* Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988.
- [Wetzell 2000] — *Wetzell R.F.* Inventing the Criminal. A History of German Criminology, 1880—1945. Chapel Hill; London: The University of North Carolina Press, 2000.

Постколониальность и имперскость в литературе

Составитель блока Наталья Полтавцева

Наталья Полтавцева

По ту сторону колониального:

(ОТ СОСТАВИТЕЛЯ)

Natalia Poltavtseva

On the Other Side of the Colonial, or Colonial Wonderland:
(From the Guest Editor)

Наталья Полтавцева (Российский государственный гуманитарный университет; ведущий научный сотрудник Института «Русская антропологическая школа»; доцент; кандидат филологических наук) natalypol@gmail.com.

Natalia Poltavtseva (Russian State University for the Humanities; leading researcher, Russian School of Anthropology; associate professor; PhD) natalypol@gmail.com.

Репрезентация постколониальных идей и идеологий в литературных текстах — тема крайне обширная, поэтому здесь решено было ограничить ее одним специфическим ракурсом. Если обычно постколониальный дискурс понимается как оппозиция доминирующему имперскому дискурсу, как бунт против него и его преодоление, то в статьях этого блока показано, что реальные взаимоотношения между постколониальностью и имперскостью могут быть гораздо сложнее и запутаннее. Идеология антиколониального национального протеста совсем не обязательно уничтожает идеологию интернациональной имперской целостности — обе они могут переплетаться, превращаясь друг в друга; имперская идея при определенных условиях может даже поддерживать идею антиколониальную и националистическую — по крайней мере так будет казаться носителям последней. Литературные тексты способны достаточно тонко уловить эти нюансы, что и будет продемонстрировано в этой подборке.

Блок состоит из трех статей. **Гасан Гусейнов** обращается к консервативному крылу позднесоветской литературы, которое обычно описывают как почвенническое или националистическое, с гораздо менее распространенной по-

зиции: он оценивает ее в терминах своеобразной антиглобалистской реакции на советский официальный интернационализм. Он показывает, как из националистической идеологии, представленной в этой литературе и находящейся в оппозиции не только к либеральным веяниям с Запада, но и к официальному дискурсу, формируется местная советская разновидность раннего мультикультурализма, а взгляд самих литераторов-почвенников вполне может быть определен как постколониальный. При этом в 1960—1970-е годы почвенники искали себе союзников среди носителей, казалось бы, противоположных национализму идеологий — от зарубежных марксистов-глобалистов (таких, как Джеймс Олдридж) до имперцев-интернационалистов из литератур советских «национальных окраин» (таких, как Расул Гамзатов). Тем не менее в раннем советском постколониализме, как показывает Гусейнов, эти различия игнорировались, и носители имперских идеологий, выступая в поддержку русской культуры, с точки зрения русских националистов, поддерживали их, а не подрывали их позиции.

Тему взаимоотношения постколониальной и имперской идеологий — на этот раз в аспекте культурной идентичности — продолжает **Тамара Гундорова**. Она обращается к восходящей к Ницше концепции ресентимента и интерпретирует его в культурно-антропологическом ключе: как одну из отличительных черт колониального протеста и бунта. На сопоставлении произведений польского писателя Анджея Стасюка и украинского писателя Юрия Андруховича она показывает, как работает постколониальный ресентимент. Оба автора рисуют образ «их собственной Европы», включающей родные для них места, — по сути, некоторого (мифического) имперского начала, с которым они могут идентифицировать себя. Но в то время как у Стасюка подобная идентификация происходит по видимости безболезненно, даже как бы «естественно» — его малая родина самодостаточна и идеальна без каких-либо внешних вмешательств, она легко растворяется в центральноевропейской утопии, — то Андрухович чувствует себя выключенным из Европы и призывает к «центральноевропейской ревизии». Он хочет преодолеть одно имперское наследие (российское / советское) с помощью мифологизированного другого (австро-венгерского), переопределить собственную географическую и культурную идентичность, придумать для своего родного края иную культурную биографию, восходящую не к СССР, а к Австро-Венгрии. Ресентимент Андруховича приводит к антиколониальному бунту, который, однако, разрешается в одной из форм постколониальной идентичности — транзитной культуре.

Блок завершается статьей **Натальи Полтавцевой**, посвященной одному из самых ранних примеров постколониального дискурса в европейской литературе, написанному еще до начала деколонизации, — роману Гилберта Кита Честертона «Наполеон Ноттингхилльский» (1904). Изображая в сатирическом и антиутопическом виде логику развертывания антиколониального протеста, Честертон демонстрирует его амбивалентность: восстание против империи само способно породить новые империи. В романе по прихоти нового британского короля все предместья Лондона обретают собственную символику, из которой вырастает их национальная (и националистическая) идентичность; далее между предместьями начинается война, победителем в которой оказывается Ноттинг-Хилл. Однако имперские функции пространства никуда не исчезают, а просто переопределяются, Ноттинг-Хилл превращается в центр империи, а его лидер — последовательный носитель националистической

и антиколониальной идентичности — обнаруживает себя носителем нового имперского начала. При этом он уже понимает внутреннюю логику этого постколониального процесса и видит, что неизбежна новая война, где другие предместья, борясь против Ноттинг-Хилла, по сути, будут бороться за новое имперское лидерство.

В целом все три исследования, представленные в блоке, показывают, что традиционные терминологические оппозиции «имперское *vs.* антиколониальное», «колонизация *vs.* деколонизация», «национализм *vs.* интернационализм», «националистическая *vs.* имперская идентичность» и др. описывают проблему неполно, не учитывают множества нюансов и сложных взаимных переплетений тех тенденций, которые постулируются как противоположные. На примерах из российской, польской, украинской и английской литератур показано, что постколониальные идентичности могут быть гораздо более амбивалентными, чем обычно принято считать.

Гасан Гусейнов

Русское, советское и иное в послесталинском национальном дискурсе:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Gasan Gusejnov

Russian, Soviet and Other in Post-Stalin National Discourse: Initial Remarks

Гасан Гусейнов (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; профессор Школы филологии факультета гуманитарных наук; ординарный профессор; доктор филологических наук) gguseynov@hse.ru.

Gasan Gusejnov (National Research University "Higher School of Economics"; professor, School of Philology, Faculty of Humanities; tenured professor; D. habil.) gguseynov@hse.ru.

Ключевые слова: советская литература, постколониальные исследования, Владимир Солоухин, Расул Гамзатов, Герман Абрамов, Джеймс Олдридж, Павел Горелов, Егор Исаев, почвенничество, интернационализм, космополитизм, антисемитизм, коммунизм, Болгария, Дагестан, Россия

Key words: Soviet literature, post-colonial studies, Vladimir Soloukhin, Rasul Gamzatov, German Abramov, James Aldridge, Pavel Gorelov, Yegor Isaev, nativism, pochvennichestvo, internationalism, cosmopolitanism, anti-Semitism, communism, Bulgaria, Dagestan, Russia

УДК: 821.161.1+325.36+327.2

UDC: 821.161.1+325.36+327.2

В статье рассматривается пример ранней антиглобалистской почвеннической реакции на интернационализацию культуры, или ранний мультикультурализм. На примере книги «Мой Дагестан» в переводе Владимира Солоухина и собственного творчества последнего анализируется формирование советского постколониального дискурса.

Gasan Gusejnov examines an example of an early anti-globalist "nativist" [*pochvennitcheskii*] reaction to the internationalization of culture, or early multiculturalism. Using the book *My Dagestan*, translated into Russian by Vladimir Soloukhin, as well as the latter's own writing, he analyzes the formation of Soviet postcolonial discourse.

Формальное исчезновение Советского Союза и институтов советской литературы и культуры не означало одномоментного минования и советского дискурса. Основные опорные точки этого дискурса сохранили силу и четверть века спустя после формального роспуска СССР, но в новую эпоху они могли изменять и полярность, и местоположение на карте культуры. Одной из таких опорных точек было представление, согласно которому общество и искусство развиваются в силу определенных научно устанавливаемых закономерностей в направлении все более общих и даже всеобъемлющих ценностей. Эти ценности предполагают массовое самосовершенствование людей определенного типа. Для их окончательного торжества, предполагала официальная советская идеология, имеются нормативные предпосылки-аксиомы. В число таких предпосылок входят жизнеподобие («реалистичность»), победа положительного,

ясного и мелодичного над отрицательным, мутным и дисгармоничным. Спасительным для официальной советской идеологии, в том числе в области культуры, в годы так называемой «оттепели» стал спрос на некий эстетический идеал, потрепанный и поколебленный в сталинскую эпоху. Начало 1960-х годов отмечено появлением целого вала работ о «советском эстетическом идеале» [Громов 1961; Гей, Пискунов 1962; Лармин 1964; Давыдов 1966]. До самого конца 1980-х продолжается стратегическая линия на сохранение культуры как механизма строительства и обслуживания «эстетического идеала»:

Эстетический идеал — представление о высшей гармонии и совершенстве в действительности и в культуре, которое становится целью, критерием и вектором деятельности человека по преобразованию мира и созиданию культуры. Идеал не совпадает с действительностью и является обобщением и гиперболизацией лучшего в ней, домысливанием желаемого, но еще не существующего, потребность в чем уже возникла и была осознана [Борев 1988: 24].

Так понимаемому идеалу соответствовала несколько более узкая норма. Нормативные предпосылки-аксиомы в каждом конкретном случае зависят от вида искусства, места произведения в жанровой сетке и многого другого. Гипернормативизация через культ прекрасного и должного по прошествии полувека может показаться загадочной или по меньшей мере не совсем понятной для читателя 2010-х годов, заслоняя от него некоторые ключевые обстоятельства советской культурной жизни на переходе от ее зрелого постсталинского к позднесоветскому этапу.

Норма предполагает помимо, например, гармоничности множество сопутствующих нюансов, обеспечивающих исполнимость задач, поставленных ради достижения идеала. Прежде всего, норма вовсе не обязательно даже и в советское время определялась внутри страны. Подобно тому, как это можно наблюдать в современной России, где широко обсуждаются критерии, скажем, Нобелевской премии, и в СССР существовала публичная перепроверка аргументов Нобелевского комитета, присуждавшего премии по литературе, с точки зрения предполагаемой нормативной матрицы.

Вскоре после того, как Иосиф Бродский стал нобелевским лауреатом, в «Комсомольской правде» вышла статья Павла Горелова [Горелов 1988], в дальнейшем перепечатанная в расширенном варианте в его книге «Кремнистый путь» [Горелов 1989: 154–181]. Она вызвала оживленную полемику. Из откликов можно выделить открытое письмо в «Огоньке» (1988. № 18), подписанное А. Кушнером, Я. Гординым, В. Поповым, М. Борисовой, М. Чулаки, Д.С. Лихачевым, и статью С. Бавина и М. Соколовой [Бавин, Соколова 1988] в той же «Комсомольской правде». Поскольку письмо Горелова в газете было подписано «научный сотрудник ИМЛИ АН СССР», а в этом институте я тогда работал, написал свое письмо протеста и я. Точнее говоря, мне захотелось проанализировать одну тему, удивительным образом соединившую тогда две страны — Советский Союз и Соединенные Штаты Америки — в письме Горелова. Суть его претензий к Нобелевскому комитету сводилась к тому, что премию по литературе, как полагал автор письма, следует вручать только писателям, пишущим на своем родном языке. Разумеется, в письме в газету советский автор выражался обтекаемо, но мысль его легко реконструировалась. Поскольку официальным критерием вручения премии является принадлежность автора к стране, которую тот как бы представляет на мировой арене, то и ду-

мать Нобелевский комитет должен о соответствии настоящего представителя этой страны и представителя ее языкового меньшинства. С этой точки зрения, например, четыре советских нобелевских лауреата, о которых можно было тогда говорить в открытой печати, — Шолохов, Бунин, Пастернак и Бродский — стяжали премию по литературе с разной степенью легитимности. Бродский и Пастернак, евреи по происхождению, писать должны были бы по-еврейски. Эти лауреаты сравнивались с американцами. Например, Исаак Башевис-Зингер премию получил (в 1978 году) правильно: еврей и писал по-еврейски. А вот Сол Бэллоу, сочинявший по-английски, получил премию по той же ошибочной, с точки зрения Горелова, логике, что и Пастернак с Бродским, не имевшие равных прав с Буниным и Шолоховым.

Горелов, при всем дикарстве изложенной позиции, не был, однако, ни первым, ни самым буйным носителем идеологии «крови и почвы» в советском литературоведении. К тому же свои раздумья он опубликовал за два-три года до роспуска Советского Союза. Но Горелов завершил в гротескной форме тлевший несколько десятилетий конфликт. Его союзниками в нем ретроспективно оказывались в 1960—1970-е годы люди неожиданные. Тем важнее сейчас понять логику участников конфликта и его возможные истоки.

Последнее сделать труднее в силу кажущейся вполне законченной и многократно описанной одной линии этого конфликта, достаточно прозрачно прослеживаемой в статье Горелова. Это — привычный официально-неофициальный советский антисемитизм, который проявлялся противоречиво. С одной стороны, евреям полагалась своя национальная литература — журнал «Советиш геймланд» и даже издательства, публиковавшие сочинения на языке идиш. С другой стороны, предпринимались карикатурные попытки вывести на чистую воду евреев, писавших по-русски и часто ради публикации своих сочинений выдававших себя за неевреев. Этих евреев — гораздо более многочисленных, чем первые, — разрешалось, употребив осторожное слово, гонять, чтобы отвадить от издательств и журналов. Огромность и неисполнимость этой задачи доводили некоторых представителей негласного движения «кровь и почва» до фантазмагорических по трагикомичности действий. Так, поэт Егор Исаев (1926—2013) прославился в свое время, публично встав на четвереньки перед поэтом Германом Абрамовым (настоящее имя — Герман Моисеевич Абрамович, 1906—1989) и буквально пролаяв клятву не допустить выхода сборника поэта в издательстве «Советский писатель». Услышав эту историю в начале 1980-х годов от самого Абрамовича и записав подробности эпизода в дневник, я и не думал, что к нему придется вернуться три десятилетия спустя в новом историческом контексте.

Вышеописанной, самой примитивной, форме советского антиинтернационализма сопутствовали другие, необъяснимые в рамках противопоставления почвенничества, или национализма, официальному «советизму» как новой интернациональной культурной общности, предшественнице ставшего модным в 1990-е годы международного, или глобального, мультикультурализма.

Горелов и Исаев видели и видят угрозу русской культурной традиции в обрусевших инородцах, и прежде всего в евреях, лишаящих, с их точки зрения, русскую культуру ее важных свойств и черт, размывающих традицию чужеродным словарем, тональностью, синтаксисом, меняющих сам дух традиции.

Но наряду с этим подходом существовал и другой, становящийся более понятным лишь теперь, по миновании той довольно длительной позднесовет-

ской эпохи, которая заслоняла от нас 1960-е годы. К концу 1950-х — началу 1960-х годов официальная политика интернационализма привела к значительному расширению нового и странного для СССР художественного либерализма. Практика перевода на русский язык произведений так называемых «национальных писателей», или «писателей-националов», как их называли в просторечии, была, с одной стороны, частью проекта интернационализации и даже коммунизации культуры. При этом «националы» часто создавали новую литературную форму, которая уже благодаря переводу на русский язык оказывала воздействие и на «русскую советскую литературу». В тени более заметного воздействия переводов на русский с английского, немецкого, французского, испанского, португальского влияние переводной литературы с «языков народов СССР» на русскую либо не изучалось вовсе, либо воспринималось как странная и даже опасная контрабанда.

Здесь приходится говорить о нескольких сложно организованных пластах языкового и культурного взаимодействия и самочувствия писателей, мысливших себя автохтонами, перед лицом нового для них явления, которое официально называлось «интернационализмом» и «взаимообогащением культур народов СССР», а в неофициальном обиходе принимало довольно разнообразные и, главное, противоречивые обличья.

От самого заметного и одновременно самого примитивного понимания взаимодействия — гореловско-исаевских обрусевших евреев, незаконно пробравшихся в русскую литературу под маской советских поэтов, — мы переходим на другой уровень, также принадлежащий почвеннической партии, но в гораздо более тонком и талантливом изводе. Речь пойдет о Владимире Алексеевиче Солоухине — поэте и прозаике, прославившемся как очеркист, переводчик, любитель антиквариата, писавшем о культуре и языке мечтательно, но и с большой любовью к детали, к вещи. Солоухин имел и строил для своего читателя гораздо более дифференцированную картину взаимодействия внутри русского мира инородчески-еврейских и русско-славянских элементов, чем большинство других почвенников. Удивительное совпадение, но и у Солоухина мы встречаем Германа Абрамова — только не в роли преследуемого по национальному признаку бедного поэта, а в роли учителя рыбалки и в особенности великого умельца подледного лова. Опубликованный в 1963 году рассказ-очерк «Григоровы острова» [Солоухин 1963а] отразил восторг русского писателя перед невероятной мастеровитостью собрата по цеху, подчеркиваемой несметным богатством рыбацкого словаря:

Герман выдвинул несколько ящиков в сооружении, похожем на комод, и перед глазами открылась картина, которая, как я теперь понимаю, ввергла бы в трепет любого рыбака. Тут были деревянные формы для отливки летних крупных грузил. Отлитые грузила — то сигарообразные, то в форме вытянутого ромба — лежали тут же. Бесформенные кусочки свинца ждали своей очереди. В других дощечках были выдолблены аккуратные формочки для отливки мормышек. Яркие медные пластиночки, серебряный полтинник, изрубленный на куски, напильнички для зачищения мормышек после отливки, наждачная бумага для осветления их, сукопочки для окончательной шлифовки, крохотные брусочки для заточки крючков, иголки для прочистки отверстий в мормышках, ну и сами мормышки, наконец: мормышки «клопики», мормышки «гробики», мормышки «капельки», мормышки «рыбий глаз», мормышки «красенькие», мормышки «комбинированные», мормышки «шестигранные», мормышки «дробинки», мормышки разнооб-

разные и многочисленные — представляли собой целую коллекцию, которую, верно, пришлось бы собирать годами... [Солоухин 1963а: 5]¹.

Солоухин ценил Абрамова:

Литератор по профессии (поэт, но главным образом переводчик), Герман Моисеевич Абрамов представляет собой тот редкий, совершенный тип рыболова, когда рыбалка — не воскресное развлечение, а почти вторая профессия, когда рыбацкая страсть поставлена на теоретическую основу и подкована на все копыта [Солоухин 1963а: 7].

Оттепельные годы — первая половина 1960-х — были для Солоухина временем погружения в культуру народов, входивших в орбиту того, что пятьдесят лет спустя попытаются назвать «русским миром», а тогда называлось миром советским. Начался этот этап для Солоухина — в читательском восприятии — с путешествия по Болгарии («творческая командировка по линии Союза писателей СССР»), в результате которого появилась книга «Славянская тетрадь» [Солоухин 1963б], а закончился переводом с подстрочника книги аварца Ра-сула Гамзатова «Мой Дагестан» [Гамзатов 1970].

Именно книгой Гамзатова Солоухин высказал и собственные базовые представления о России—СССР, которые едва ли мог бы безнаказанно произнести тогда от своего, русского имени, а только вложив в уста нерусского, дагестанского поэта: тогдашний русский глобализм держался на советской многонациональности. Вот ее схема, высказанная Гамзатовым в переводе Солоухина:

За эти годы и десятилетия расширились не только границы наших кладбищ, но и границы наших представлений о жизни и о мире.

Я аварский поэт. Но в своем сердце я чувствую гражданскую ответственность не только за Аваристан, не только за весь Дагестан, не только за всю страну, но и за всю планету. Двадцатый век. Нельзя жить иначе.

Мне рассказали. Вскоре после моего рождения отец временно был вынужден перебраться на службу в аул Арадерих. К седлу отцовского коня были приторочены две дорожные сумы, два хурджуна. В один хурджун был собран весь наш домашний скарб: одежда, остатки муки, толокно, сало, книги. Из другой сумы выглядывала моя голова.

После дороги моя мать тяжело заболела. В ауле, куда мы переехали, нашлась бедная одинокая женщина, у которой недавно умер ребенок. Эта арадериханка стала кормить меня своей грудью. Она стала моей кормилицей и моей второй матерью.

Итак, две женщины на земле, перед которыми я в долгу. Сколько бы ни длилась моя жизнь и что бы я ни делал для этих женщин, что бы я ни совершал во имя их, мне никогда не оплатить долга. Сыновний долг не имеет конца.

1 И еще одно свойство, никак не вписывающееся в традиционный для антисемитского дискурса образ «жадюги-жидюги», отмечает Солоухин в Германе Абрамове — безоглядную и безотчетную щедрость. Должен в этом месте напомнить, что рассказ Солоухина был написан в 1963 году — по следам недавнего общения с Абрамовичами в их тогдашней тесной каморке «у Новослободского метро», а это был год переезда старших членов семьи в отдельную двухкомнатную квартиру на Красноармейской улице у метро Аэропорт, и — вот уж буквально *pro domo sua!* — с этого года отсчитываются и мои знакомство и многолетняя дружба с Германом Моисеевичем.

Эти две женщины: одна — моя мать, та, которая меня родила, и впервые качала мою колыбель, и спела мне первую колыбельную песню; другая... тоже моя мать, та, которая, когда я был обречен на смерть, дала мне свою грудь, и теплая жизнь начала вливаться в меня, и я с узкой тропинки умирания свернул на дорогу жизни.

Две матери и у моего народа, у моей маленькой страны, у каждой из моих книг.

Первая мать — родной Дагестан. Здесь я родился, здесь я впервые услышал родную речь, научился ей, и она вошла в мою плоть и кровь. Здесь я впервые услышал родные песни и первую песню спел сам. Здесь я впервые ощутил вкус воды и хлеба. Сколько бы раз ни поранился я в детстве, карабаясь по острым камням, воды и травы родной земли залечили все мои раны. Горцы говорят: нет такой болезни, против которой не нашлось бы в наших горах целебной травы.

Моя вторая мать — великая Россия, моя вторая мать — Москва. Воспитала, окрылила, вывела на широкий путь, показала неоглядные горизонты, показала весь мир [Гамзатов 1970].

Картина мира, в которой «свой» локус дома соприкасается с внешними мирами через посредничество «великой России», лишена противоречий для представителя «внутренней» миноритарной культуры, в то время граничившей только со старшими советскими внутренними мирами. Вот ее, лишенное для Гамзатова противоречий, «геополитическое представление»:

Теперь Дагестан — республика. Мал он или велик, не имеет значения. Такой, как нужно. У нас-то в стране теперь, пожалуй, никто не скажет, что Дагестан находится в Туркестане, но в какой-нибудь далекой стране приходилось мне вести разъяснительные разговоры вроде этого:

— Откуда вы к нам приехали?

— Из Дагестана.

— Дагестан... Дагестан... Это где же такое?

— На Кавказе.

— На востоке или на западе?

— На берегу Каспийского моря.

— А, Баку!

— Да нет, не Баку. Немного северней.

— Кто же ваши соседи?

— Россия, Грузия, Азербайджан...

— Но разве не черкесы живут в этом месте? Мы думали, что черкесы.

— Черкесы живут в Черкесии, а дагестанцы живут в Дагестане. Толстой... Хаджи-Мурат... Толстого читали? Бестужев-Марлинский... Лермонтов, наконец: «В полдневный жар в долине Дагестана...»

— Это где Эльбрус?

— Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Казбек — в Грузии, а у нас... у нас аул Гуниб... Ну и Цада.

Так порой приходится говорить мне в какой-нибудь далекой стране. Но ведь известно: для того, чтобы поняла невестка, ругают кошку. Может найтись и у нас какой-нибудь верхогляд, который до сих пор думает, что в Дагестане живут черкесы, или, вернее, совсем ничего не думает.

Приходилось мне уезжать далеко, участвовать в разных конференциях, конгрессах, симпозиумах.

Собираются люди с разных континентов: из Азии, из Европы, из Африки, из Америки, из Австралии. Там, где все меряется на континенты, я все равно говорю, что я из Дагестана [Гамзатов 1970].

Солоухин любит самую возможность для представителя малого народа иметь такую гармоничную картину мира. Главное для него, как и для Гамзатова, — свое, защищенное место под солнцем. Территориальная, этническая и языковая ниша в рамках общего колониального советского дискурса, что передавалось вовне через язык и культуру старшего («великого») языка. В этой картине мира есть место для антизападничества, стыкующегося с эссенциализмом в духе Сенгора и Фанона, тогда еще совершенно отсутствовавших в советском дискурсе. Гамзатов рассказывает о встрече в Париже с аварским художником, оказавшимся в эмиграции. На вопрос поэта, почему тот не хочет возвратиться на родину, последовал ответ:

— Поздно. В свое время увез я с родной земли свое молодое жаркое сердце, могу ли я вернуть ей одни старые кости.

Приехав из Парижа домой, я разыскал родственников художника. К моему удивлению, оказалась еще жива его мать. С грустью слушали родные, собравшись в сакле, мой рассказ об их сыне, покинувшем родину, променявшем ее на чужие земли. Но как будто они прощали его. Они были рады, что он все-таки жив. Вдруг мать спросила:

— Вы разговаривали по-аварски?

— Нет. Мы говорили через переводчика. Я по-русски, а твой сын по-французски.

Мать закрыла лицо черной фатой, как закрывают, когда услышат, что сын умер. По крыше сакли стучал дождь. Мы сидели в Аварии. На другом конце земли, в Париже, тоже, может быть, слушал дождь блудный сын Дагестана. После долгого молчания мать сказала:

— Ты ошибся, Расул, мой сын давно умер. Это был не мой сын. Мой сын не мог забыть языка, которому его научила я, аварская мать [Гамзатов 1970].

Ни у собеседников Гамзатова, ни у него самого не возникло вопроса: а как бы мог их парижский родственник вообще сохранить свой аварский язык в отсутствие аварского окружения? В этой точке идеологическая выдержка, заставлявшая противопоставлять буржуазное и французское русскому и советскому, сочетается у Гамзатова (и Солоухина) с представлением о роли переводчика-посредника, которую не должен брать на себя не носитель родного языка.

Философия советского перевода на русский с миноритарных языков народов СССР, как ее представляет себе Гамзатов в «Моем Дагестане», сложилась у Солоухина в начале 1960-х годов. В формировании этой философии, по-видимому, особую роль сыграло путешествие в Болгарию. Наблюдение за славяно-тюркским культурно-бытовым симбиозом постоянно возвращает писателя к мыслям о национальной самобытности. К кому же в конечном счете ближе братья-болгары? К нелюбимым бывшим захватчикам-туркам? К более легкомысленно относящимся к собственным культурным корням советским русским? К космополитической западной культуре?

Солоухин противопоставляет столичную культурную жизнь как мнимое и чужеродное — жизни маленького города как подлинному и своему:

— Эх, вы, — говорил я болгарам [в Софии]. — У вас такая яркая, такая самобытная культура. Какие танцы я видел в ваших деревнях, какие хороводы. А какие песни. Эх, вы! Стоило освободиться от турецкого ига, проливать за это кровь, чтобы теперь попасться в плен этой нелепой, как бы негритянской, а на самом деле выхолощенной, ничейной, космополитической «музыки»? И это где? В Софии! Вот я

был недавно в маленьком болгарском городке Петриче, знаете, там, около греческой границы... [Солоухин 1963б: 142].

Болгария, в представлении Солоухина, оказывается одновременно и «младшей славянской сестрой», остро, в отличие от России, осознающей свежесть освобождения от турецкого ига, и сестрой старшей, чуть-чуть опережающей, испытывающей искушение нового «космополитизма». В риторической лексике «как бы негритянская, а на самом деле выхолощенная, ничейная, космополитическая “музыка”» Солоухин передает весь набор страхов советского идеолога и русского националиста перед американско-еврейской культурной экспансией. Он любит момент подъема национального чувства у меньшинства в меньшинстве — у македонцев среди болгар. Подобно аварскому патриотизму Гамзатова, который будет завернут в общедагестанский, а потом и в русский советский патриотизм, в описании Солоухина торжествует взрыв национального культурного единения «македонских болгар»:

Мы зашли в корчму, недалеко от главной площади. Посетители, главным образом мужчины, занимая все столики (многие столики сдвинуты для компании), смачно ели неперменные вечером в Болгарии кебабчаты, сдабривая их маринованными стручками жгучего красного перца и запивая легким красным вином. Это не мешало разговаривать всем одновременно. Надо учесть и темперамент болгар вообще, македонских в особенности (Петрич населен македонцами, тоже по существу болгарами, но с диалектом и с некоторыми этнографическими особенностями).

Оркестранты в малиновых куртках после македонских песен заиграли вдруг что-то вроде твиста (их попросил об этом один юноша), и вот две пары молодых людей, может быть, студентов из Софии, решили показать провинциалам, как танцуют теперь «передовые», вполне культурные, вполне современные люди.

Из-за нашего столика хорошо было видно, что танцевали они в сущности неумело (куда им до варшавского бала-маскарада!), но все же вся корчма, повернув головы и вытянув шеи, заинтересовалась зрелищем.

Мирное созерцание длилось недолго. Мужчины, сидевшие за одним столом (шесть человек), вдруг встали, обхватив друг друга за плечи, образовав таким образом круг, и пошли, разворачиваясь в стремительном четком хороводе.

Из-за других столов повскакали, оторвавшись от кебабчатых, другие мужчины. Они дружно присоединились к хороводу, столы отодвинули к краям, хоровод раскручивался все центробежней. Бедных любителей твиста, как вихрем, откинуло к стене. Но все это происходило пока вопреки оркестру. Хороводники пели свою песню, а оркестр играл свою. Наконец, оркестр должен был признать свою нетактичность. Оркестранты остановились на минуту и вдруг заиграли нечто совсем другое. Тогда остановились и танцующие, как если бы заиграли гимн. Не танцевавшие посетители тоже все вскочили на ноги. И вот все, сколько тут было народу, хором, дружно, красиво подняли могучую песню, у которой был часто, почти через строку повторяющийся припев:

Вставайте, братья, не спите!

Ма-ке-до-ния! [Солоухин 1963б: 144].

В самом процессе формирования философии национального своеобразия мы видим специфику советской глобализации, которая, в свою очередь, образует одну из маргинальных ветвей и современной русской национальной идеологии, прежде всего антизападной, но имеющей и другую, внутреннюю мишень:

— Неужели вам, — говорил я, — болгарам, обладающим яркой национальной культурой, не стыдно смотреть, как кривляются под дикую, нелепую, почти людоедскую музыку молодые болгары же. Кто им дорог, этим дергающимся в твисте: Паисий, Вазов, Ботев, Багряна — черта с два! Один Пикассо им дороже всей болгарской культуры. И то не потому, что они его хорошо знают и что он им действительно дорог, а потому, что так уж модно. Так-де в Париже и Лондоне.

Но радирующие центры с этой «глобального» характера заразой уже иссякают. Я был в Лондоне. Зал, где давали «Тоску», был полон молодежи. Лондонцы начинают стыдиться своих ночных клубов. Ладно, не будем обольщаться.

Но если твисты грохочут где-нибудь в Нью-Йорке, то нам-то что. Неужели мы не можем подняться поперек этой духовной интервенции, и как там, в маленькой петричевской корчме, дружно провозгласить, положив друг другу руки на плечи:

Вставайте, братья, не спите!

Ма-ке-до-ния! [Солоухин 1963б: 145].

В условиях советской цензуры 1960-х годов адресовать такое обращение русским людям, а не болгарам, было не намного труднее. И все же есть существенное отличие тогдашнего антизападнического и антилиберального дискурса от принятого в 2010-е годы в России. Обратим внимание на эпитеты «космополитический» и «людоедский». Оба они отсылают читателя Солоухина к совсем еще недавнему прошлому. В 1963 году слово «космополит», восходящее к одноименной сталинской кампании 1949—1952 годов, оставалось синонимом слова «еврей» («врач-вредитель»), а при звуке слова «людоедский» читателям старшего поколения достаточно было вернуться в конец 1930-х или конец 1940-х², когда в людоедах числились то «Иуда-Троцкий», то «западные пособники Гитлера» вроде Уинстона Черчилля. Появление именно этих эпитетов в лексиконе Солоухина, когда речь заходит о культуре, вступает, однако, в только кажущееся противоречие с хорошо сознаваемой им же концепцией советского глобализма, которую в 1970 году будет проповедовать в его же, солоухинском, переводе имперец-интернационалист Расул Гамзатов.

В книге о Болгарии есть примечательный эпизод. Солоухин, сравнивая развитие традиционных народных ремесел в Болгарии и в СССР (который он называет Россией), приходит к неутешительному выводу:

Болгарские черги делаются гораздо шире наших половиков, часто квадратные и несравненно ярче, разнообразнее, смелее по сочетанию цветов, наряднее и праздничнее. Впрочем, я ведь сравниваю с современными русскими половиками (иногда привозят ярославские колхозницы на московский рынок или увидишь в иной деревенской избе). Не будем скрывать от самих себя, что это искусство увяло в России.

А казалось, чего бы. Болгария тоже цивилизована; развитая промышленная страна. Однако в Софии, в самом центре, едва ли в ста шагах от мавзолея Димитрова (разве чуть-чуть подалее, чем у нас от Мавзолея до ГУМа) есть магазин художественных изделий. Вместе со всем другим в нем продаются такие великолепные черги, то есть домотканые половики, что иностранные туристы с вкусом, особенно итальянцы и французы, не берут ничего другого, кроме как нарядные болгарские черги.

2 См., например: «“Чем больше жертв, тем лучше”, — твердили троцкистско-фашистские людоеды, стремясь вызвать у рабочих озлобление против советской власти» [Подчасовой 1937: 3].

Кстати сказать, не так давно мне посчастливилось побывать в гостях у английского писателя Джеймса Олдриджа. Так вот, у него в гостиной, посреди комнаты, послана настоящая болгарская черга.

— София? — спросил я.

— О, да, да, София. — И уже по улыбке можно было понять, как нравится ему София, а заодно и память о ней — великолепная черга [Солоухин 1963б: 40].

Не думаю, что Солоухин отдавал себе отчет в том, кем был упомянутый им «английский писатель Джеймс Олдридж» (1918—2015) — ценитель народных промыслов от иракского Курдистана до Константинополя, от Тегерана до Софии. Автор нескольких романов, Олдридж был певцом национально-освободительных движений — как бывших (курды в Ираке), так и по большей части воображаемых (азербайджанцы в Северном Иране). Подобно самому Солоухину, записавшему гимн «македонского национального возрождения» в Болгарии, Олдридж был певцом народных восстаний «советского типа» на Ближнем Востоке [Гасанов 1997]. И он, как Солоухин, проклинал логику и практику колониализма, считая главной единицей человеческой культуры автохтонов, не забывающих и своей настоящей родины — где-нибудь в районе Табриза или Киркука, и родины идеальной — в далекой Москве [Олдридж 1958; Стуков 1961; Ивашева 1962]³. Дух «советского» как великодержавного наследника погибших империй, по-видимому, волновал Олдриджа — выходца из Австралии, сделавшего писательскую карьеру главным образом благодаря публикациям в Советском Союзе, — еще и тем, что сам себя писатель, очутившись в Ираке или в Египте, ощущал проводником новой картины мира, которая сейчас называется глобализмом. Но в 1960-е годы этот глобализм был со стороны СССР коммунистической и в этом смысле космополитической экспансией.

И вот тут против этого глобализма возвышали голос писатели-почвенники, видящие простую, частную, бытовую ценность жизни в своих или ставших своими странах и малых родинах как слишком распахнутую либеральным ценностям и открытую угрозам со стороны «космополитов» и врагов погибшей старой государственности. Русское в советском обличье было для имперцев и почвенников 1960-х годов источником беспокойства и утраты самобытности, но в западных левых глобалистах они пока никакой угрозы не чувствовали и часто принимали их за союзников — как Солоухин Олдриджа. Положение решительно изменится через два десятилетия, когда СССР вступит в завершающую фазу постколониального распада.

Библиография / References

[Бавин, Соколова 1988] — Бавин С., Соколова М. ...И волны с переклестом // Комсомольская правда. 1988. 13 мая.
(Bavin S., Sokolova M. ...I volny s perekhlestom // Komsomol'skaya pravda. 1988. May 13.)

[Борев 1988] — Борев Ю.Б. Эстетика. 4-е изд., доп. М.: Политгиздат, 1988.
(Borev Yu.B. Estetika. 4th ed. Moscow, 1988.)
[Гамзатов 1970] — Гамзатов Р. Мой Дагестан / Пер. Вл. Солоухина. М.: Советский писа-

3 Вплоть до конца 1980-х годов Олдридж был и предметом активного изучения в Советском Союзе, и не менее активным субъектом пропаганды.

- тель, 1970 (modernlib.ru/books/gamzatov_rasul/moy_dagestan/read (дата обращения: 17.02.2017)).
- (*Gamzatov R. Moy Dagestan / Transl. by Vi. Soloukhin. Moscow, 1970 (modernlib.ru/books/gamzatov_rasul/moy_dagestan/read (accessed: 17.02.2017)).*)
- [Гасанов 1997] — *Гасанов Н.А.* Джеймс Олдридж и Восток: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Баку: Институт литературы им. Низами Академии наук Азербайджана, 1997.
- (*Gasanov N.A. Dzheyms Oldridzh i Vostok: Synopsis of PhD. dis. Baku, 1997.*)
- [Гей, Пискунов 1962] — *Гей Н., Пискунов В.* Эстетический идеал советской литературы. М.: Издательство АН СССР, 1962.
- (*Gey N., Piskunov V. Esteticheskiy ideal sovetsoy literatury. Moscow, 1962.*)
- [Горелов 1988] — *Горелов П.* Мне нечего сказать... // Комсомольская правда. 1988. 19 марта.
- (*Gorelov P. Mne nechego skazat'... // Komsomol'skaya pravda. 1988. March 19.*)
- [Горелов 1989] — *Горелов П.* Кремнистый путь: Книга литературно-критических статей. М.: Молодая гвардия, 1989.
- (*Gorelov P. Kremnistyy put': Kniga literaturno-kriticheskikh statey. Moscow, 1989.*)
- [Громов 1961] — *Громов Е.С.* Проблема эстетического идеала: (К вопросу о становлении категории эстетического идеала): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М.: МГУ, 1961.
- (*Gromov E.S. Problema esteticheskogo ideala: (K voprosu o stanovlenii kategorii esteticheskogo ideala): Synopsis of PhD. dis. Moscow, 1961.*)
- [Давыдов 1966] — *Давыдов Ю.Н.* Идеал эстетический // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. / Глав. ред. А.А. Сурков. Т. 3. М.: Советская энциклопедия, 1966. Стлб. 48.
- (*Davydov Yu.N. Ideal esteticheskii // Kratkaya literaturnaya entsiklopediya: In 9 vols. / Ed. by A.A. Surkov et al. Vol. 3. Moscow, 1966. Line 48.*)
- [Ивашева 1962] — *Ивашева В.В.* Английский роман последнего десятилетия (1950—1960). М.: Советский писатель, 1962.
- (*Ivasheva V.V. Angliyskiy roman poslednego desyatiletiya (1950—1960). Moscow, 1962.*)
- [Лармин 1964] — *Лармин О.В.* Эстетический идеал и современность. М.: МГУ, 1964.
- (*Larmin O.V. Esteticheskiy ideal i sovremennost'. Moscow, 1964.*)
- [Олдридж 1958] — *Олдридж Дж.* Герои пустынных горизонтов / Пер. с англ. Е. Калашниковой. М.: Издательство иностранной литературы, 1958.
- (*Aldridge J. Heroes of Empty View. Moscow, 1958. — In Russ.*)
- [Подчасовой 1937] — Враги народа: К итогам процесса антисоветского троцкистского центра: Сборник статей / Ред. А. Подчасовой. М.: Партиздат ВКП(б), 1937.
- (*Vragi naroda: K itogam protsessy antisovetskogo trotskistskogo tsentra: Sbornik statey / Ed. by A. Podchasovoy. Moscow, 1937.*)
- [Солоухин 1963а] — *Солоухин В.А.* Григоровы острова // Солоухин В.А. Времена года: Короткие повести и рассказы. М.: Советская Россия, 1964. С. 3—17.
- (*Soloukhin V.A. Grigorovy ostrova // Soloukhin V.A. Vremena goda: Korotkie povesti i rassказы. Moscow, 1964. P. 3—17.*)
- [Солоухин 1963б] — *Солоухин В.А.* Славянская тетрадь: Избранные этюды. М.: Советская Россия, 1965.
- (*Soloukhin V.A. Slavyanskaya tetrad': Izbrannye etyudy. Moscow, 1965.*)
- [Стуков 1961] — *Стуков О.В.* Романы Джеймса Олдриджа. М.: Издательство ВПШ и АОН, 1961.
- (*Stukov O.V. Romany Dzheymsa Oldridzha. Moscow, 1961.*)

Тамара Гундорова

Транзитная культура и постколониальный ресентимент

Tamara Hundorova

Transitional Culture and Post-Colonial *Ressentiment*

Тамара Гундорова (Институт литературы НАН Украины; заведующая отделом теории литературы и компаративистики; доктор филологических наук, член-корреспондент НАН Украины) hundorova@gmail.com.

Tamara Hundorova (Institute of Literature of the NAS of Ukraine; chair, Department of Literary Theory and Comparative Literature; Doctor of Sciences, corresponding member of the NAS of Ukraine) hundorova@gmail.com.

Ключевые слова: постколониальный ресентимент, культурная терапия, транзитная культура, Анджей Стасюк, Юрий Андрухович

Key words: postcolonial *ressentiment*, cultural therapy, transit culture, Andrzej Stasiuk, Yuri Andrukhovych

УДК: 325.36+325.81+821.161.2+821.162.1

UDC: 325.36+325.81+821.161.2+821.162.1

В статье предложена постколониальная интерпретация ресентимента как одного из «орудий культуры» и ключевого понятия феноменологии после Ницше. Рассматривая ресентимент как отличительную черту транзитной культуры, автор обращает внимание на актуальность этого понятия для анализа колониального протеста, революций, войн и бунтов. В статье делается акцент на такие особенности ресентимента, как экзистенциальная зависть к бытию Другого, телесное расщепление субъекта, вытеснение объекта зависти и его подмена разными замещениями. В аспекте постколониальной критики анализируется европейский ресентимент Анджея Стасюка в форме «идеальной картографии» и топос «зависти к истории» Юрия Андруховича.

Hundorova suggests a post-colonial interpretation of *ressentiment* as one of the “weapons of culture” and a key concept in phenomenology after Nietzsche. Examining *ressentiment* as a distinguishing feature of transitional culture, Hundorova notes the topicality of this concept in the analysis of colonial protests, revolutions, wars and uprisings. She emphasizes certain features of *ressentiment* including the existential envy of the Other's existence, the corporeal splintering of the subject, the suppression of the object of envy and its replacement by figurative substitutes. Regarding the post-colonial critique, Hundorova analyzes Andrzej Stasiuk's European *ressentiment* in the form of an “ideal cartography” and Yuri Andrukhovych's topos of “envying history.”

Ресентимент как «орудие культуры»

Начиная с «Генеалогии морали» Фридриха Ницше, написанной за двадцать дней между 10-м и 30 июля 1887 года, в западное культурное сознание стремительно входит понятие «ресентимент» (*ressentiment*). Ницше обозначает это состояние через негативную перспективу, которая служит исходным пунктом и механизмом самоидентификации рабов, а также всех слабых и угнетенных. *Ressentiment* является, по мнению немецкого философа, состоянием «таких существ, которые не способны к действительной реакции, реакции, выразившейся бы в поступке, и которые вознаграждают себя воображаемой мстостью» [Ницше 1990: 424]. Противопоставляя им самооценку счастливых благородных существ, которым не приходится «искусственно конструировать свое счастье

лицезрением собственных врагов» и которые являются цельными, сильными, «неотвратно активными людьми» [Ницше 1990: 426], Ницше отмечает, что человек ressentимента лишен открытости, честности, он знает толк в молчании, злопамятстве, сиюминутном самоумалении и самоуничтожении, его ум «любит укрытия, лазейки и задние двери» [Ницше 1990: 426].

Ключевым при этом является создание образа врага, причем элемент творчества, фантазии играет здесь особенно существенную роль. Итак, человек ressentимента выдумывает себе «злого врага» — «*“злого”* как раз в качестве основного понятия, исходя из которого и как послеобраз и антипод которого он выдумывает “доброе” — самого себя!» [Ницше 1990: 427]. Именно начиная с Ницше утвердительная форма самоидентификации подменяется негативной, когда оценивающий себя взгляд человека обращен не внутрь его самого, а вовне.

Ressentiment становится тем понятием, которому Ницше в конце XIX века передает функции «орудия культуры», истребляющего, по его мнению, саму культуру, уничтожающего высокие благородные идеалы, личности, поколения, нации и расы, ведущего к «измельчению и нивелированию европейского человека» [Ницше 1990: 430]. Со временем это понятие приобретает широкое культурное значение и отождествляется с формой мнимого реванша и контр-существования, т.е. бытия не *вследствие*, а *вопреки*. Оно также актуализируется при анализе ситуаций, связанных с насилием, революциями и войнами на протяжении всего XX века.

Понятие «ressentiment» является важным компонентом в феноменологии Макса Шелера, который делает особый акцент на роли эмоций и духовных переживаний в исторических и социальных процессах. Не какие-то объективные материальные причины обуславливают социальные катаклизмы и вспышки насилия, по мнению философа, а сдвиги и переоценки ценностей, т.е. эмоциональные стрессы. В работе 1912 года «О ressentименте и моральной оценке: Исследование о патологии культуры» Шелер обозначает это явление как особого рода комплекс эмоций, свидетельствующих о пересмотре ценностей. Это особое состояние, связанное с интенсивным переживанием и последующим воспроизведением «эмоциональной ответной реакции на другого человека, благодаря которой сама эмоция погружается в центр личности» [Шелер 1999].

Причем такая ответная реакция задерживается или откладывается, поскольку индивид не может ответить на обиду и начинает мстить:

Жажда мести, зависть, недоброжелательность, коварство, злорадство и злоба только там вступают в процесс формирования ressentимента, где не происходит ни нравственного преодоления (в случае мести, например, искреннего прощения), ни действия и, соответственно, адекватного отображения душевного движения во внешних проявлениях, например ругательствах, размахивании руками и т.д.; и где это не происходит потому, что такое действие или выражение сдерживается еще более очевидным сознанием собственного бессилия [Шелер 1999].

Причем эта эмоция не исчезает, а все время возвращается, что вызывает состояние «послечувства», или ее «новоощущения». Такое состояние превращается в некую психологическую установку [Шелер 1999].

Шелер отметил несколько принципиальных особенностей эмоционального состояния, с которыми связан ressentiment. В частности, а) он появляется тогда, когда зависть сопровождается слабостью и направлена вне себя; б) он направляет чувства на ценности и блага, которыми владеют другие личности, т.е. яв-

ляется экзистенциальной завистью к бытию Другого: ресентимент лишает Другого права на существование, которое воспринимается как вызов, приуменьшение собственного «я»; в) разрядка чувства ресентимента состоит в расширении объекта зависти, его вытеснении или подмене ценности. Если же эти процессы задерживаются, аффект направлен на самого себя. Он заражает «я» самокритикой и приносит боль; г) ресентимент является феноменом тела, порождает болезненные ощущения, часто — неприязнь, дистанцирование от собственного тела, сопровождается желанием самоуничтожения; д) ресентимент связан не только с мстостью, но и с фантазией: удерживание и повтор негативной эмоции погружает в некий иллюзорный и фантастический мир, из которого невозможно вырваться.

Итак, по словам Шелера, «именно чрезвычайное напряжение между импульсом мести, ненависти, зависти и их проявлениями, с одной стороны, и бессилием, с другой, приводит к той критической точке, когда эти аффекты принимают “форму ресентимента”» [Шелер 1999]. Что особенно важно — Шелер рассматривает ресентимент как сложную и продуктивную культурную терапию.

Понятием «ресентимент» в истории XX века объясняются самые различные процессы — от отношений раба и хозяина до религиозных войн, конфликтов поколений, положения женщины в семье, отношений сына и матери, революций, бунтов, войн и смены культурных стилей. Учитывая значительный креативный потенциал ресентимента, который служит способом и оружием самоутверждения слабого в отношениях с сильным, интересно использовать его и для анализа колониального сознания, которое, метафорически говоря, перехватывает взгляд у колонизатора и возвращает его назад.

В целом понятие ресентимента выглядит особенно продуктивным для анализа маргинального сознания, пронизанного неприязнью и слабостью в отношениях с угнетателями. Как заметил Шелер, «почва, на которой произрастает ресентимент, — это прежде всего те, кто служит, находится под чьим-то господством, кто понапрасну прельстился авторитетом и нарвался на его жало» [Шелер 1999]. Альбер Камю позже придаст позитивный аспект ресентименту бунтующего человека в отличие от негативного чувства мести, о котором говорит Шелер. Своей теорией *человека бунтующего* Камю утверждает, что доминантным чувством ресентимента является не обида, а страстное самоутверждение и создание своего «я».

Освобождение из-под чужого взгляда и чужой власти, чья траектория ведет от Шелера к Камю и Фанону, можно считать конститутивным элементом культуры ресентимента, пронизанной отношениями сильного и слабого, а также эмоциональным напряжением, бунтом и обидой.

Колониальный ресентимент

Одним из первых применил понятие ресентимента для анализа колониального сознания, в частности психопатологии колониализма, французский психиатр и философ Франц Фанон. Утверждая, что колониальный мир организован по манихейскому принципу и жестко разделен на колонизируемых и колонизаторов, Фанон утверждал, что орудием этого мира является насилие, причем «порабощенный человек переполнен завистью. Колонизатор прекрасно осведомлен об этом; когда взгляды антагонистов встречаются, он в очередной раз

со всей силой удостоверяется в едкой зависти и всегда занимает оборонительную позицию, потому что «они хотят занять наше место» [Фанон 2003].

Не только колонизаторы покоряют туземцев с помощью насилия, но и житель колоний добывает свободу в насилии и посредством насилия. Психоэмоциональным аффектом насилия сплачивается национальное сообщество, а для отдельного индивида насилие становится средством духовного очищения от чувства неполноценности. Такое существование становится основой экзистенциального телесного самоутверждения колонизованного и наделяет смыслом его существование.

Анализируя напряженные взаимоотношения колонизатора и колонизируемого, Фанон обращает особое внимание на роль тела и постоянное мускульное напряжение, а также на нестерпимое чувство обиды, которое конституирует само существование подчиненного и одновременно ведет его к суицидальному выкорчевыванию из бытия.

Фанон обращает внимание и на особую эмоциональную чувствительность в колониальном мире: «В колониальном мире эмоциональная чувствительность местного жителя доходит до поверхности его кожи, напоминая открытую рану, которая всеми силами избегает попадания в нее какого-нибудь едкого вещества» [Фанон 2003]. Эта чувствительность питается не только ненавистью и завистью, но и осознанием того, что местный житель, лишенный так называемых плодов цивилизации, «наиболее остро и все еще на уровне непосредственного опыта понимает, что есть вещи, которыми он не обладает». И «при помощи нехитрых (с позволения сказать — по-детски простых) умозаключений угнетенные массы убеждают себя в том, что их ограбили, лишив упомянутых вещей» [Фанон 2003].

Итак, подобная чувствительность заражается ресентиментом, когда болезненное эмоциональное состояние, вызванное напряжением между разными эмоциями — завистью, обидой на внешний мир, стремлением присвоить бытие другого, — соединяется с чувством бессилия. Бессилие обычно преодолевается и проходит, но может задерживаться и отравлять сознание маргинального индивида. Последний оказывается под разрушительным действием самоунижения и самокритики, переживает моменты самоотчуждения, моральные и телесные муки самобичевания, желает символического убийства отца и чувствует неприязнь к матери.

Достаточно примечательно, что ресентимент становится частью постколониального дискурса, который с самого начала направлен на деконструкцию следов власти, закрепленных в отношениях между угнетенным и угнетающим. Когда говорят о постколониальной критике, обычно имеют в виду анализ власти, вписанной в бинарные оппозиции типа колонизатор — колонизируемый, Запад — Восток, Европа — остальной мир и пр. Однако развитие постколониальных штудий привносит представление о достаточно сложной системе отношений внутри этих оппозиций — речь идет о «радикальной амбивалентности среднего поля в колониализме», как называет этот процесс Стивен Слемон [Slemon 1995: 107]. В частности, концепция мимикрии и гибридизации Хоми Баба показывает амбивалентность отношений в диаде «колонизатор и подчиненный». Слемон переносит эти отношения на литературу и предлагает говорить о литературном сопротивлении. Он рассматривает их и нарративно — как стратегии подрыва власти, вписанной в рассказ, и рецептивно — через техники прочтения текста и медиальные структуры, общие для коммуникативного сообщества, которые лишали бы тексты доверия.

Но как вписать это сопротивление в само письмо? Слемон видит здесь три проблемы. Во-первых, переписывание отношений центр — периферия может служить институциональной формой сохранения доминантной наррации. Во-вторых, можно допустить, что литературное сопротивление просто существует где-то в тексте, который является интенциональной структурой и социальной формой коммуникации, однако его тяжело вычленишь, потому что текст является многогранной и противоречивой структурой субъектных образований. В-третьих, если воспользоваться теорией Мишеля Фуко, власть сама по себе впитывает сопротивление и несет его в себе.

Как показывает Дженни Шарп в статье «Фигуры колониального сопротивления» [Sharpe 1995], места антиколониального сопротивления совсем нелегко найти в тексте, поскольку сопротивление само по себе является результатом противоречивого изображения колониальной власти и никогда не является «переворотом» власти. Кроме того, само сопротивление никогда не является чистым сопротивлением, оно не существует просто в тексте или в интерпретативном сообществе, но всегда является частью того, что стремится превзойти (побороть). В целом антиколониальное сопротивление не сводится к критическим аргументам или идеологическим лозунгам, как это обычно кажется, поскольку оно тематизировано внутри текста. Динамика развертывания и преодоления ресентимента, который вписан в текстуальную структуру, созвучна постколониальному сопротивлению. Он проявляется через деконструкцию и игровое переворачивание центра / периферии, переприсвоение ценностей, геокультурное вписывание себя в историю.

Европейский транзитный ресентимент: «Европа» Стасюка и Андруховича

Опыт постсоветской литературы показывает, что она сплошь пронизана ресентиментом. Деконструкция и инверсии ценностей занимают в ней существенное место. Маркерами постсоветской транзитной культуры становятся прощание с СССР, переписывание истории, зависть к Западу и обида на него, попытки освободиться от «ориентализма», а также множественность персонификаций и идентификаций. Хотя до сих пор не утихают дискуссии, применимы ли подходы, выработанные постколониальной критикой, для анализа постсоветской литературы и культуры, можно утверждать, что постколониальные модели позволяют в значительной степени объяснить логику постсоветского транзита. Причем эта транзитность прослеживается не только по отношению к советской истории, но и в отношении Запада. Ресентимент в значительной степени определяет оценку и советского прошлого, и западного мира, который отчуждает Другого. Этот постколониальный ресентимент, определяющий переприсвоение Европы, мы можем проследить на примере видения «моей Европы» польским писателем Анджеем Стасюком и украинским писателем Юрием Андруховичем — двумя яркими и репрезентативными представителями национальных литератур.

«Моя Европа» для поляка Анджея Стасюка не является следствием виртуальной коррекции реальности или линейным рассказом *ab ovo*. Как сознается рассказчик, ее не покрывает ни «постмодернистская <...> свобода выбора», ни «модернистское стремление к границам» [Стасюк, Андрухович 2001: 46]. Напротив, Стасюк апеллирует к собственному пространству, т.е. «кружению по

кругу» вокруг своего родного городка, ограничивая тем самым границы желаемых странствий. Его малая родина, описываемая таким образом, является также «идеальной географией» [Стасюк, Андрухович 2001: 67] и «идеальным государством», что снимает саму потребность трансцендирования, т.е. стремления к другому, лучшему и желаемому. «Идеальная география» является в этой связи выражением достигнутой в постколониальной ситуации самодостаточности, в которой преодолевается обида на Другого, сливаются пейзаж и карта, отождествляются реальность и идея, вечность и мгновение.

«Моя Европа» в конечном счете является кругом возвращения и существует потому, что польского автора привлекает собственная неподвижность в точке пребывания, а именно в большом трехсоткилометровом круге вокруг родного Воловца, соотносимого со «своей центральной Европой» [Стасюк, Андрухович 2001: 7]. Собственное местонахождение польский автор помечает как «середину». Правда, в своем центральноевропейском путешествии по отмеченному кругу он также сознается в «ностальгии по утопии» (Дьёрдь Конрад), однако эта ностальгия не имеет «ничего общего ни с историей, ни с памятью» [Стасюк, Андрухович 2001: 22]. Не стремится он и перестроить новую Европу, поскольку сознается: «Моя душа не понесла ни одной потери, ничего не приобрела и не потеряла, потому что владеет опорой на виртуальное, на государства и города, которые являются и исчезают согласно ритмам их жителей» [Стасюк, Андрухович 2001: 45].

По сравнению со Стасюком, который выстраивает «свою границу для трансгрессий», говорит о «серединности» собственного центральноевропейского местопребывания [Стасюк, Андрухович 2001: 63] и утверждает, что «существование совсем не должно означать экспансию» [Стасюк, Андрухович 2001: 58], его украинский коллега Юрий Андрухович, конструируя «свою Европу», стремится осуществить «центральноевропейскую ревизию».

Постколониальная концепция Андруховича пронизана ресентиментом, и не только относительно прежнего советского прошлого. Пребывание между двумя империями — Австро-Венгерской и Российской — определяет двойной смысл такого ресентимента. Колониальное положение Галичины в Австро-Венгрии в целом вытесняется из памяти представлением о принадлежности этой части Украины к центрально-восточной Европе. Рассказчик не считает нужным деколонизировать себя, освободить от габсбургской империи — наоборот, он идентифицирует себя с теми, у кого «человеческое “я” лежит в центрально-восточной части тела» [Стасюк, Андрухович 2001: 125]. Итак, вытеснение и достраивание становятся двумя взаимозависимыми процедурами постколониальной ревизии Андруховича.

Процедура достраивания «своей Европы» совсем не уникальна. Славенка Дракулич так говорит о Европе, вымышленной боснийцами:

Это мы, восточные европейцы, изобрели «Европу», сконструировали ее, мечтали о ней, призывали ее... Эта Европа является мифом, созданным нами, не только боснийцами, но и другими восточными европейцами — несчастными аутсайдерами, бедными родственниками, незрелыми нациями нашего континента. Европа была создана теми из нас, кто живет по краям, потому что только там вы нуждаетесь в представлении чего-то такого, как «Европа», чтобы уберечь себя от своих комплексов, незащищенности и страхов [Drakulic 1996: 212].

Этот механизм европейского ресентимента, который описывает Дракулич, определяет и структуру, и философию эссе украинского автора. Дополняет его

постсоветский, назовем его так, ресентимент, т.е. полемичность и оппозиционная направленность против тоталитарного прошлого. Аналогичный аспект отмечает и Дракулич, признавая, что объединяет постсоветских авторов не только общее коммунистическое прошлое, но и способ, при помощи которого писатели стремятся уйти от него, а также направление, в котором они хотят идти.

В своей центрально-восточной европейской ревизии Андрухович использует один из наиболее вероятных путей к конструируемой им «Европе» — визионерский. Как отмечает Эдвард Саид, в колониальной истории утрата своего места, отобранного захватчиком, является травматической; соответственно, это место необходимо найти и обновить его географическую идентичность. Преодолеть географический империализм и вернуть свою землю можно при помощи воображения [Саид 2006]. Ностальгический миф о добром цесаре и счастливой империи Габсбургов, хотя и мало совпадает с исторической реальностью, несет в себе ту «легкость имперского бытия», которая создается эстетически и помогает присвоить землю хотя бы в воображении. Андрухович, как и другие представители так называемого «станиславского феномена», обращается к этому мифу, во-первых, чтобы утвердить европейскую родословную родной ему Галичины как территории, которая когда-то была частью Австро-Венгерской империи, а во-вторых, чтобы отбросить другое видение Галичины — как части советской империи (советского народа). Я-нарратор обижен тем, что его родной город Станиславив (в настоящее время Ивано-Франковск) может даже мысленно располагаться в одном пространстве с «чужими» Тамбовом или Ташкентом, а не со «своими» Венецией или Веной.

Оппозиционность в целом становится доминантной стратегией ревизии. Если Стасюк находит идентичность в границах очерченного им центрально-европейского круга, то нарратор Андруховича настроен на мнимое перемещение себя, своего места, своего времени куда-то вовне, за границы колонии. Толчком к построению контрсуществования и контристории, как показал еще Ницше, служат обида и злопамятство, которые и дают негативную перспективу. Последняя восполняет *полноту мира*, хотя бы в форме какого-то идеального видения, в котором могли бы реализоваться желания. Такое видение может быть направлено и в прошлое (к потерянному раю), и в будущее (к земле обетованной), но самое главное, что оно дает представление о *полноте* истории. Андрухович не без самоиронии сознается в национальной «зацикленности на прошлом». Поэтому встреча украинских и западных интеллектуалов отмечена разницей между «представителями счастливых сообществ», которые не нуждаются в истории, и «представителями несчастливых сообществ», которые должны быть заняты своим прошлым.

Бесспорно, автор «центрально-восточной ревизии» не хочет терять историю, более того, он видит ее как желаемое будущее, переплетенное с не менее желаемым прошлым. В рамках габсбургского мифа, к которому обращается Андрухович, идеальной страной является «Галичина», отождествленная с утопией. Эта идеальная страна существует в «следах» присутствия прошлого, и автор выстраивает ее из впечатлений о руинах и замках, воспоминаний о сгорбленных старых мужчинах и женщинах, которые «знали на память гимназические латинские поговорки и во времена Хрущева и The Beatles одевались так, будто вышли приветствовать эрцгерцога Франца Фердинанда» [Стасюк, Андрухович 2001: 72].

Интересно, что при этом старые вещи коллекционируются и становятся фетишами. Рассказчик сознается:

Значительно красноречивее каких-нибудь моральных сентенций мне кажутся просто обломки старого быта — искусственные цветы, горшочки, елочные ангелы с ягнятами, стертые монеты, какая-нибудь декадентская бижутерия, истлевшие подвязки для чулок, музыкальные шкатулки, птичьи гнезда. Меня интересуют старые аквариумы, окаменелые рыбы, закопченные ванны и раковины, свистки, пищики, фарфоровые олени [Стасюк, Андрухович 2001: 77].

Дальше речь идет о коллекциях старых бутылок, старых географических карт, старых железнодорожных расписаний. Примечательно, что эти вещи-фетиши старого изменчивого времени являются объектами коллекционирования, освобожденными от собственной подлинности. Ведь, как утверждал Вальтер Беньямин, подлинность вещи — это «совокупность всего, что она способна нести в себе с момента возникновения, от своего материального возраста до исторической ценности» [Беньямин 2012: 195—196]. Фетиши-объекты, из которых нарратор реконструирует потерянную европейскую «Галичину», становятся эстетизированным убежищем, в котором можно спрятаться от реальности. Габсбургский миф при этом превращается в ностальгическое убежище-дом для постколониального индивида, страдающего от «неполной» колониальной истории.

Тогда как Стасюк сознается в нелюбви к виртуальным городам типа реконструированных Берлина или Варшавы, выстроенных на месте разрушенных старых городов, Андрухович направляет свое воображение именно на виртуальность. Его видение Галичины как локуса «моей Европы» является прежде всего виртуальной картиной. Андрухович прибегает к «идеальной автобиографии» вместо «идеальной географии» своего польского коллеги. Он достраивает виртуальную Европу с помощью не только фетишей — вещей старого быта, но и преданий о прадеде, деде, отце, т.е. использует прием некоей постбиографии. Итак, в «ревизии» (жанрово отличной от «корабельного дневника» Стасюка, так называемого произвольного плавания по карте реальной Европы) рассказчик Андруховича пересматривает (ревизует) прежде всего собственную историю. Он вспоминает своего прадеда — судетского немца по имени Карл — и рассказывает историю о другом прадеде, который едет в Америку на заработки. Он реконструирует образ отца, повествует о его смерти и похоронах и в конечном счете идентифицирует себя с ним: «Вот я смотрю с холма на лес — и забываю обо всем, замираю, тихну. И тогда вдруг: или это не он смотрит на лес, или это не его взгляд?..» [Стасюк, Андрухович 2001: 124]. Руины прошлого, обломки быта, вещи-фетиши, сказы свидетелей, мифы и воспоминания наполняют пустоту: ведь «нам казалось, что именно руины и именно замков хранят в себе упомянутое “далекое”, весть о полноте», — сознается нарратор [Стасюк, Андрухович 2001: 73].

Достроенная «полнота» бытия формирует новое экзистенциальное тело центральноевропейски ориентированного украинского субъекта. Видения и фетиши компенсируют его ресентимент в адрес полнокровной истории «других» европейцев. Обида могла истощить колониального индивида, вытолкнуть его из современности. И Андрухович осуществляет рывок — повествуя об отце, вспоминая о его смерти, о похоронах, о своих непростых отношениях с ним, он сам включается в историю.

Стасюк, который не ставит перед собой цели воссоздать собственную европейскую идентичность, потому что находится внутри нее, сознается, что не любит линейных повествований. Не обращается он и к персонализации своей ис-

тории. Однако постколониальный украинский субъект, с которым идентифицируется нарратор Андруховича, должен выстраивать свою индивидуально-родовую линию — свою персональную историю, чтобы вписать ее в уже сформированный (давно и без его участия) европейский нарратив. Однако выстроить такую персональную историю нормально, т.е. начиная с момента рождения и далее, как последовательность событий, просто невозможно, поскольку из этой истории вырваны целые куски, события, люди, факты, свидетельства. Канон европейской украинской истории еще только предстоит создать. Правда, можно одолжить чужие среднеевропейские истории, что и делает Андрухович, отсылая к произведениям Б. Шульца, А. Стасюка, Р.-М. Рильке, Р. Музиля, Д. Киша и др.

Убегая в эстетически взлелеянное в мечтах виртуальное центральноевропейское видение, Андрухович-постмодернист знает, что обида за неосуществленное прошлое является бездной, что прошлое «мешает возникнуть будущему», прошлое «держит в лапах время». Восточноевропейская obsessia относительно прошлого, непонятная в конечном счете «нормальным» европейцам, имеет, как замечал Жан Бодрийяр, фатальные последствия и для самих этих европейцев.

Неосуществленное прошлое, которое несут с собой постсоветские люди, по мнению французского философа, втягивает и европейцев в пустоту чужого прошлого, мешает наслаждаться теперешним, разбивает большие нарративы европейской истории. Бодрийяр говорит, что открытость Запада странам Восточного блока подобна обнаружению тех, кто выжил в концентрационных лагерях. «Опасно кормить их быстро, потому что это их убьет», — продолжает он аналогию с жертвами концлагерей. Он говорит, что эти люди живут в другом мире, они разрушены катастрофой, они никогда не войдут в наш (западный) мир. Можно стереть прошлое из их памяти. Но это бесполезно: напротив, они сами затягивают европейцев в свое пустое пространство, почти как мертвецы, и те, кто выжил в лагерях, поглощают последнюю надежду на культуру, закон и нравственность. Привлекательность пустоты непреодолима, утверждает Бодрийяр, и в конце концов Запад аннигилируется пустотой коммунизма, пустотой истории [Baudrillard 1994: 49].

Однако в случае с Андруховичем, как нам кажется, Западу нечего бояться восточной пустоты. Андрухович, хотя и фатально зависит от колониальной истории и порожденного ею ресентимента, в конечном счете виртуально дозаполняет пустоту, выходит из циклической замкнутости побегов-и-возвращений, чтобы жить «внутри» теперешнего. Это «пребывание “внутри”, — твердит он, — всегда выше, более благодарно и более благородно, потому что оно означает твою включенность, причастность, присутствие, — в отличие от отдельного, отторгнутого, отброшенного пребывания “между”» [Стасюк, Андрухович 2001: 98].

Собственно, эта задержка «внутри» и возвращает постколониального субъекта к материнской зоне маргинальности, приобретающей формы полиморфной материи в ее бесконечных трансформациях, преобразовывающих руины, следы, воспоминания. Хотя ключевой темой «центрально-восточной ревизии» становится смерть отца, нарратор находится в лакановском мире ревизий-фикций на стадии зеркального самоотожествления, поскольку не может прорваться к реальности, и образы Другого (старого быта, чужих мифов) служат ему зеркалами, в которых он видит собственную осуществленную («полную») историю.

В целом постколониальное присвоение ценностей империи является болезненной самотерапией, которая включает и саморазрушение колониального

субъекта, и примерку на себя роли колонизатора-агрессора, и существование в зоне определяющего влияния материнского семиозиса, который возрождает первобытный нарциссизм отношений матери и ребенка. Андрухович создает свою постмодерную Галичину как полиморфную и самодостаточную страну-маргиналию. В эссе «Час и пространство, или Моя последняя территория» (1996) он уже говорил, что Центральная Европа никогда и не стремилась стать центром, поскольку является провинцией, «где каждый знает, что он на самом деле находится в самом центре, ибо центр есть нигде и везде в то же время» [Андрухович 1999: 121]. Таким образом, антиколониальный бунт, исходным настроением которого является чувство ресентимента (обиды и неудовлетворения), находит разрядку в маргинальной постколониальной идентичности — транзитной культуре.

Библиография / References

- [Андрухович 1999] — *Андрухович Ю.* Деорієнтація на місцевості: Спроби. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999.
- (*Andrukhovich Yu.* Dezorientatsiya na mistsevesti: Sprobi. Ivano-Frankivsk, 1999.)
- [Беньямин 2012] — *Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / Пер. и примеч. С. Ромашко // Беньямин В. Учение о подобии: Медиаэстетические произведения / Пер. с нем.; сост. и послесл. И. Чубарова и И. Болдырева. М.: РГГУ, 2012. С. 190—234.
- (*Benjamin W.* Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit // Benjamin W. Uchenie o podobii: Mediaesteticheskie proizvedeniya / Ed. by I. Chubarov and I. Boldyrev. Moscow, 2012. P. 190—234. — In Russ.)
- [Ницше 1990] — *Ницше Ф.* К генеалогии морали // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. / Пер. с нем.; сост., ред. и автор примеч. К.А. Свасьян. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 407—524.
- (*Nietzsche F.* Zur Genealogie der Moral // Nietzsche F. Sochineniya: In 2 vols. / Ed. by K.A. Svas'yan. Vol. 2. Moscow, 1990. P. 407—524. — In Russ.)
- [Саид 2006] — *Саид Э.* Ориентализм: Западные концепции Востока / Пер. с англ. А. Говорунова. М.: Русский мир, 2006.
- (*Said E.* Orientalism. Moscow, 2006. — In Russ.)
- [Стасюк, Андрухович 2001] — *Стасюк А., Андрухович Ю.* Моя Європа: Два есеї про найдивнішу частину світу. Львів: Кальварія, 2001.
- (*Stasyuk A., Andrukhovich Yu.* Moya Evropa: Dva eseї pro naydivnīshu chastinu svitu. Lviv, 2001.)
- [Фанон 2003] — *Фанон Ф.* Отрывки из книги «Весь мир голодных и рабов»: О насилии / Пер. с франц. Т. Давыдовой // Антология современного анархизма и левого радикализма / Сост. А. Цветков. Т. 2: Флирт с анархизмом; Левые радикалы. М.: Ультра.Культура, 2003. С. 15—78 (lib.rus.ec/b/227655/read (дата обращения: 17.02.2017)).
- (*Fanon F.* Les Damnés de la Terre: [Excerpts] // Antologiya sovremennogo anarkhizma i levogo radikalizma / Ed. by A. Tsvetkov. Vol. 2: Flirt s anarkhizmom; Levye radikaly. Moscow, 2003. P. 15—78. (lib.rus.ec/b/227655/read (accessed: 17.02.2017)). — In Russ.)
- [Шелер 1999] — *Шелер М.* Ресентимент в структуре моралей / Пер. с нем. А.Н. Малинкина. СПб.: Наука; Университетская книга, 1999 (www.max-scheler.spb.ru/content/view/86/37 (дата обращения: 17.02.2017)).
- (*Scheler M.* Das Ressentiment im Aufbau der Moralen. Saint Petersburg, 1999 (www.max-scheler.spb.ru/content/view/86/37 (accessed: 17.02.2017)). — In Russ.)
- [Baudrillard 1994] — *Baudrillard J.* The Illusion of the End / Transl. by Ch. Turner. Stanford: Stanford University Press, 1994.
- [Drakulic 1996] — *Drakulic S.* Bosnia, or What Europe Means to Us // Drakulic S. Café Europa: Life after Communism. New York: Penguin Books, 1996. P. 212.
- [Sharpe 1995] — *Sharpe J.* Figures of Colonial Resistance // The Post-Colonial Studies Reader / Ed. by B. Ashcroft, G. Griffiths, and H. Tiffin. London; New York: Routledge, 1995. P. 99—103.
- [Slemon 1995] — *Slemon S.* Unsettling the Empire: Resistance Theory for the Second World // The Post-Colonial Studies Reader / Ed. by B. Ashcroft, G. Griffiths, and H. Tiffin. London; New York: Routledge, 1995. P. 104—110.

Наталья Полтавцева

Динамическая модель (пост)колониальных исследований:

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПАРАДИГМА КОНФЛИКТА
КАК ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Natalia Poltavtseva

A Dynamic Model of (Post-)Colonial Studies:
The Sociocultural Paradigm of Conflict as a Form of Social Interaction

Наталья Полтавцева (Российский государственный гуманитарный университет; ведущий научный сотрудник Института «Русская антропологическая школа»; доцент; кандидат филологических наук) natalypol@gmail.com.

Natalia Poltavtseva (Russian State University for the Humanities; leading researcher, Russian School of Anthropology; associate professor; PhD) natalypol@gmail.com.

Ключевые слова: (пост)колониальные исследования, культурный стиль Модерн, культурная антропология, социокультурная парадигма конфликта, социальное взаимодействие, культурная (символическая) коммуникация, война, Гилберт Кит Честертон, Владимир Маканин

Key words: (post)colonial studies, Modern style in culture, cultural anthropology, sociocultural paradigm of conflict, social interaction, cultural (symbolic) communication, war, Gilbert Keith Chesterton, Vladimir Makanin

УДК: 821.111+821.161.1

UDC: 821.111+821.161.1

В статье предпринята попытка на материале прозы XX века (Гилберт Кит Честертон, Владимир Маканин) реконструировать в рамках парадигмы постколониальных исследований различные вариации модели конфликта как формы социального и культурного взаимодействия. Динамика такого конфликта (на примере отображения войны в творчестве Маканина и Честертон) будет прослежена в культурно-антропологическом разрезе внутри большого культурного стиля Модерн.

Natalia Poltavtseva offers an attempt to use twentieth-century prose (G.K. Chesterton, Vladimir Makanin) to reconstruct, within the postcolonial studies paradigm, different variations of the model of conflict as a form of social and cultural interaction. Poltavtseva traces the dynamics of such a conflict (in depictions of war in Makanin and Chesterton's work) in a cultural-anthropological cross-section within the broader cultural style of modernity.

Как замечает в статье «Антропологический поворот в российских гуманитарных науках» Николай Поселягин, рассматривая работу одного из участников коллоквиума 1995 года «The Anthropological Turn in Literary Studies» в Констанцском университете:

Жан-Жак Лесеркль предлагает под антропологическим поворотом понимать смещение акцента с самоценной текстуальности на прагматику коммуникации, на взаимодействия участников диалога; и условием, и результатом этого диалога становится конструирование «я» и «другого», которое, по мнению Лесеркля, является основным объектом изучения в рамках поворота. Текст, в том числе литературный текст, при этом остается важным звеном — инстанцией, как раз и кон-

струирующей эту прагматическую структуру субъектов коммуникации; именно в нем происходит порождение смыслов, которыми обмениваются участники диалога [Поселягин 2012: 28].

Это важный для нашего исследования аспект. Именно здесь, на наш взгляд, а не только в поле общего взаимодействия с такими дисциплинами, как антропология, социология, история, психология и др., находится возможность взаимодействия современной российской гуманитаристики с постколониальными исследованиями. Выходящие на первый план в современных исследованиях проблемы аутентичной трансляции семантики речевого поведения субъекта в сознании Другого как возможность адекватной коммуникации, коммуникативное партнерство как результат преодоления старых бинарных отношений позволяют по-новому рассмотреть эту проблематику в свете антропологии литературы как особой области взаимодействия социального и гуманитарного знания¹. Именно здесь можно проследить идею раздельности и равноправия социального и культурного, представленных как социальное взаимодействие и культурная (символическая) коммуникация. Эта позиция ярко выражена в работах Дж. Александера [Александр 2007] и в других терминах — классической, а не постклассической парадигмы — уже присутствует в работе К. Манхейма 1927 года «Идеология и утопия» [Манхейм 1994], актуальной до сих пор.

Автор статьи о постколониальных исследованиях в «Новейшем философском словаре», определяя их как «совокупность методологически и дисциплинарно гетерогенных, но тематически взаимосвязанных концептуальных дискурсов, осознающих себя в единой рамке (сети) критических проектов и программ, направленных на преодоление последствий экономической, политической, но прежде всего культурной и интеллектуальной зависимости “незападного мира” от “западных” образцов и прототипов» [Бобков 2003: 776], выделяет в качестве ключевых, этапных для них три текста. Первый — книга Э. Саида «Ориентализм» 1979 года [Саид 2006], в котором фукольтианская идея «западного» знания-власти как средства доминирования и управления колонизированным (порабощенным) «Востоком» порождает, с одной стороны, ущербную идентичность последнего, а с другой — возможность обращения западных стратегий против самого «Запада» с целью пристального рассмотрения, анализа и деконструкции. Второй культовый текст — работа Г.Ч. Спивак «Может ли угнетенный (subaltern) говорить?» 1985 года [Spivak 1988], где ставится проблема невозможности прямой репрезентации субалтерна в коммуникации — за него всегда высказываются Другие. И, наконец, третий классический текст постколониальных исследований — книга Х. Баба «Локализация культуры» [Bhabha 1994], в которой он сформулировал несколько основополагающих для понимания постколониальности идей: идеи гибридности и различия-разнообразия.

В конечном счете, продолжает И.М. Бобков, можно определить, что именно объединяет дискурс постколониальных исследований: тематизация и актуализация различаемых Других (Иных), которым в западной традиции отка-

1 При этом под культурной (социальной) антропологией мы понимаем «область социальных наук, основанных на выделении антропологических универсалий и редукции к ним результатов сравнительного изучения различных культур, субкультур и других социокультурных единиц. Ее генеральной целью является объяснение сходств и различий в формах и результатах человеческой активности, устойчивых и изменчивых характеристик социокультурной жизни» [Орлова 2012: 546].

зано в праве голоса, что приводит к: а) анализу опыта подчинения (угнетения), а тем самым и «колонизации»; б) признанию современного интеллектуального состояния как «постколониального». При этом нужно отметить, что в самом термине «постколониальный» важен не временной аспект (время «после» освобождения от колониальной зависимости) и не только опыт подчинения (угнетения) и сопротивления, а сам проект «вспоминания» («припоминания») и переосмысления колониального прошлого, реконструкция всей амбивалентности взаимоотношений и коммуникации [Бобков 2003].

Тогда — с акцентом на опыте взаимозависимости и симбиоза (что можно сравнить с метафорой «внутренней колонизации», используемой А. Эткингом [Эттинг 2013]), — сам термин предстает как временной маркер, обозначающий период или процесс деколонизации, как дискурс, который сопровождает этот процесс. При этом, отмечает Бобков, главным в приставке «пост-» становится определение позиции, ракурса видения, а она сама играет роль «жеста» — указания на деконструкцию и анализ. До этого пространство взаимодействия и коммуникации было заполнено колониальными номинациями и антагонистической борьбой, в которой принимали участие два постоянных фигуранта — колонизатор и колонизируемый. Но «жест» создает третьего участника — постколониального критика, порождающего, в свою очередь, новое пространство субъектных позиций (в которых и из которых разворачиваются критические проекты и программы, отличные как от направленных на колонизацию, так и от продуцируемых с позиций уже колонизированных) и постколониальный дискурс [Бобков 2003].

В поисках такого «критика» и такого дискурса мы обратимся к одному из текстов, формально относящихся к предыдущей эпохе, эпохе начала культурного стиля Модерн, — а именно к роману Г.К. Честертон «Наполеон Ноттингхилльский», написанному в 1904 году. На это есть веские причины. Как нам кажется, применение принципа *close reading* позволит нам обнаружить в романе и проект деконструкции Запада, и проект легитимации противодискурсов, и проект метаязыка для постколониальной ситуации. Но самое главное, мы предполагаем, что в этом тексте раннего Модерна уже присутствует реализация позиции «постколониального критика», которая, как обычно считается, возможна только в дискурсах постмодерна.

Говоря о Модерне, мы будем иметь в виду 1) не искусствоведческий стиль, 2) не *modernity* Ю. Хабермаса, связанную с европейским Новым временем, а *Модерн как большой культурный стиль XX века, чье возникновение связано с процессом модернизации, но им не ограничивается*. Прежде всего понятие «Модерн» относится к принципам образования и репрезентации культурных форм, которые определяются этим процессом и связаны с этой социальной парадигмой. Несмотря на активную рефлексивную критику, предпринятую в его же рамках постмодерном во второй половине века, исходные принципы построения и репрезентации культурных форм Модерна сохраняются до сих пор [Орлова 2012; Полтавцева 2016]. При этом литературу мы рассматриваем как медиа символической культурной коммуникации, а (пост)колониальная проблематика задается при помощи анализа социокультурной парадигмы конфликта как формы социального взаимодействия. Эту парадигму мы проследим на материале отображения войны в литературных текстах.

Когда в 1945 году окончилась Вторая мировая война, мир достаточно долго — вплоть до 1960-х — лелеял надежду на возможность бесконфликтного мир-

ного сосуществования, пока не признал перманентного существования конфликтов. Так возникла конфликтология как социальная наука [Dahrendorf 1990; Козер 2000; Дарендорф 2002], которая, развивая идеи Георга Зиммеля [Зиммель 1996], разбилась на два направления. Первое можно назвать эпифеноменальным; оно рассматривало конфликт как некое извечное бинарное противостояние. Второе предлагало подход, где конфликт предстал не как эпифеномен, но как самостоятельная социальная форма. В обоих случаях внимание обращалось на два момента: как предотвращать конфликт и как его улаживать.

Вопрос о возможности иного рассмотрения, когда конфликт исследуется как одна из форм социального взаимодействия, наряду с другими формами обладающая различными плюсами и минусами и не поддающаяся логике рассмотрения в бинарных оппозициях, до сих пор предстает как проблемный. В конечном счете наметилась проблема расхождения между рассмотрением конфликта в логике бинарных оппозиций и признанием подобной логики неэффективной, а ее диагностики и прогностики — недостаточными (в сущности, теория аутопоэзиса Никласа Лумана обращена к подобному же противоречию).

В свете этого следует признать, что мы, переходя от парадигмы Модерна (включая постмодерн) к некоей новой парадигме, еще окончательно не сложившейся, оказываемся в ситуации культурной и методологической неопределенности. Именно поэтому столь актуальными для нашей проблемы являются интеллектуальный опыт и рефлексия по этому поводу Модерна, связанные с коллективным переживанием абсолютно нового типа — аффективным опытом Первой и Второй мировых войн как опытом мирового конфликта.

Но случай Честертон абсолютно уникален: материал его аффективного, хотя и косвенного, «военного» опыта — это опыт эпохи колониальных англо-бурских войн 90-х годов XIX века, прозорливо понятый и как конец классической эпохи империй [Дроговоз 2004], и как конец Викторианской эпохи, представленный нам публицистом, журналистом, философом и религиозным мыслителем как некий антропологически значимый для будущего образчик. Для анализа мы возьмем его роман «Наполеон Ноттингхильский» 1904 года [Честертон 1990].

Время действия его романа таково: первый эпизод происходит в 1984 году, следующий — через десять лет, в 1994-м, и финальный — в 2004 году. В первой части воспроизводится условная ситуация, когда в благополучной Британии с Лондоном — столицей империи устанавливается, как говорят сами персонажи, деспотическая демократия. То есть демократия, на взгляд персонажей, настолько исчерпала себя, что перестала быть привлекательной и старое монархическое правление, которое, по существу, было квазиэффектом подобных демократий (амбивалентность конституционной монархии?), было заменено выборным королевским правлением по алфавитному принципу. Причиной этого Честертон считает замену принципа революционного развития событий эволюционным принципом². Мы видим перед собой завершенную, спелую, готовую подгнить и сорваться с дерева социальную систему, которая настолько стабильна и скучна, что в ней будущий монарх назначается по алфавиту. Поясняя логику подобного устройства, один из действующих персонажей, Баркер, молодой политик, приятель Оберона Квина — будущего автора реформ, говорит:

2 См. о необходимом негативном эффекте революции: [Магун 2008], а также: [Гумбрехт 2009; Тренчени 2009].

Тут напрашивается парадокс. Мы, собственно говоря, демократия из демократий. Мы стали деспотией. Вы не замечали, что исторически демократия всегда становится деспотией? Это называется загниванием демократии, а на самом деле это лишь ее реализация. Кому это надо — разбираться, нумеровать, регистрировать и добиваться голоса несчетных джонов робинсонов, когда можно выбрать любого из этих джонов с тем же самым интеллектом или с отсутствием одного, и дело с концом? Прежние республиканцы-идеалисты основывали демократию, полагая, что все люди умны, однако, уверяю вас, прочная здравая демократия базируется на том, что все люди — одинаковые болваны [Честертон 1990: 39].

Трое молодых людей — чиновников живут в Лондоне 1984 года, и один из них, Оберон Квин, создающий все время трикстерскую, игровую ситуацию разрушения обычного поведения, волей случая оказывается этим избранным по алфавитному списку королем. По сути дела, он должен спокойно досидеть до конца своего срока, никак не нарушая логики существующей социальной системы. Но Честертон запускает принцип деконструкции, чтобы показать, что бывает, когда игровое начало (новая символическая коммуникация) начинает разрушать стабильность системы (старую культурную форму).

Отчего это происходит? Оттого что ситуация стабильности вызывает чисто психологический эффект — эффект сатиации, привыкания — и запускает стресс монотонии. В результате назначенный королем Оберон Квин объявляет, что, исходя из эстетического принципа, он вводит в Лондоне так называемую Хартию предместий, по которой каждое лондонское предместье получает свой герб, своего лорд-мэра, свои национальные одежды, свой гимн и обязанность являться пред лицо короля и на заседание Совета со всеми этими атрибутами.

Причиной этому послужил следующий судьбоносный для Британии и Лондона эпизод. Во время прогулки, вскоре после того, как Оберона Квина назначили королем, он сталкивается с десятилетним мальчиком с деревянным мечом, который пытается прогнать его со своей улицы. Это можно интерпретировать как местный патриотизм — реакцию на нашествие Других / Чужих. В то же время удар мечом напоминает посвящение в «средневековую» культурную форму, причем ее использование амбивалентно: у Квина оно игровое, у мальчика — серьезное. Это подвигает Квина на шутовские реформы, на принятие Хартии предместий, и он развлекается, когда кондитер, бакалейщик, делец являются к нему в нелепых средневековых одеяниях и через силу, нарушая собственные привычные паттерны поведения, играют с ним в эту игру.

Все участники социального взаимодействия, вступившие в новую символическую коммуникацию, внутренне покатываются со смеху, считают, что все это — достаточно безобидная трата времени, и не учитывают воздействия культурного на социальное.

Воздействие же это, как показывает Честертон, имеет весьма долгосрочный эффект. Оказывается, что когда десять лет спустя двое успешных предпринимателей, одетые в шутовские одежды лорд-мэров, предлагают провести перспективное шоссе через район Ноттинг-Хилл и его Насосный переулок, некий Адам Уэйн (тот самый мальчик с деревянным мечом, через десять лет ставший лорд-мэром Ноттинг-Хилла) противится этому. Квин, наблюдая столкновение трех лорд-мэров, вдруг обнаруживает, что Уэйн верит в незыблемость Ноттинг-Хилла как самостоятельной территории, в незыблемость его символики, герба и знамени и готов с алебардой и мечом защищать вместе с остальными нот-

тингхильцами нерушимые интересы своей территории, своей ноттингхильской «нации» и своего города-государства в пределах предместья.

Квин при этом считает, что Уэйн развлекается так же, как он сам. Двое других лорд-мэров полагают, что, по рациональной логике — нормальной логике модерности, нормальной колониальной логике, — это просто попытка набить цену, и они повышают цену, которую предлагают за разрушение Ноттинг-Хилла. Это можно сравнить с логикой поведения современных колониальных правительств по отношению к туземцам и с захватом их территорий за выкуп — символические «бусы» модернизации. Однако Адам Уэйн стоит на своем. И тогда начинается война, т.е. конфликт из латентной стадии переходит в активную. Колонизация дает эффект отложенного конфликта, но он, как мы повсеместно видим, активно проявляется в эпоху деколонизации. Война Ноттинг-Хилла как отдельной территории с особой символикой, особой «нацией» вначале идет по логике модерности — арифметической логике рассудка, когда большинство должно победить меньшинство. Но оно не побеждает. Потому что благодаря умной тактике, использованию хитрых нетривиальных ходов (выключению фонарей, переходу на другие улицы и пр.) Уэйн и его соратники — аптекари, булочники, кондитеры и бакалейщики — в ходе войны выработывают в себе качества полководцев, военачальников, преображаются в воинственных защитников Ноттинг-Хилла, создают моральный, этический и даже эстетический перевес. Они перерождают, казалось бы, рутинную и обветшалую культурную форму во вполне боеспособную и адекватную с помощью ее игрового обновления. В результате они все более втягивают в стратегический тупик вовлекающиеся в войну, т.е. в парадигму конфликта, остальные предместья, воспринимаемые другими и воспринимающие себя сами как такие же «нации-государства» (по аналогии с полисами Древней Греции). В конце концов к улыбающимся в предвкушении неизбежной, как они считают, капитуляции лорд-мэрам является герольд от Адама Уэйна и предьявляет неожиданный ультиматум: в случае если противники не признают свое поражение и приоритет Ноттинг-Хилла, будут открыты шлюзы водонапорной башни, воды которой затопят врагов, находящихся в низине. И тогда лорд-мэры вынуждены отступить и признать приоритет Ноттинг-Хилла.

Далее с городом и его обитателями происходит еще более любопытная трансформация. Проходит еще десять лет, и за это время Ноттинг-Хилл превращается в центр-аттрактор, столицу империи. Среди всех предместий, образовавших нации-государства, Ноттинг-Хилл становится ведущим, он как бы колонизирует все остальные предместья. И когда через двадцать лет Оберон Квин, все еще продолжающий считать, что он играет в игру, правила которой всем прекрасно известны, является в тот же самый кабачок, в котором раньше встречался с приятелями, то с неприкрытым изумлением обнаруживает, что оба его друга превратились в последовательных носителей патриотической идеи собственных городов-предместий. Они говорят об «Индии Ноттинг-Хилла», которую несут как высокий образец и идеал со всеми вытекающими отсюда последствиями. Суть их выступлений в вольном пересказе такова: опять возникнет война, и в этой войне уже остальные лондонские предместья будут биться за права своей национальной символики, так как считают, что нарушается соглашение о суверенности их территорий и прав, не меньших, чем права Ноттинг-Хилла. Все это снова возрождает конфликт и войну. Но, в отличие от предыдущей, в этой войне Адам Уэйн знает, что обречен на пора-

жение. И он заявляет об этом не только королю Квину, который, все еще пребывая в шорах собственного предубеждения, говорит ему о необходимости отнестись ко всему как к игре. Уэйн сообщает о неизбежности поражения и своим соратникам, понимая все последствия смены культурных ролей:

— Что с тобой, народ мой? — вымолвил он. — Неужели едва мы достигаем благой цели, как она тут же являет свою оборотную сторону? Гордая слава Ноттинг-Хилла, достигшего независимости, окрыляла мой ум и согревала сердце в долгие годы уединенного созерцания. Неужели же вам этого недостаточно — вам, увлеченным и захваченным бурями житейскими? Ноттинг-Хилл — это нация, зачем нам становиться простой империей? <...> Разве не в том наша слава, наше высшее достижение, что благородный идеализм Ноттинг-Хилла вдохновляет другие города? Правота нашего противника — наша победа. О, близорукие глупцы, зачем вы хотите уничтожить своих врагов. Вы уже сделали больше — вы их создали. <...> Те, кто принял в себя частицу души Ноттинг-Хилла, постигли высокий удел горожанина. Мы создали свои символы и обряды; они создают свои — что за безумие препятствовать этому! <...> Ноттинг-Хилл воздвигся как нация и как нация может рухнуть. Он сам решает свою судьбу... [Честертон 1990: 134—135].

Резюме речи Уэйна таково: мы проиграли, так как наша пассионарность ушла, она стала повседневностью. Но мы победили, потому что дух Ноттинг-Хилла оказался заразительным! Сердца рационалистов, относившихся к нам прежде как к ничтожным и второстепенным, оказались побеждены. (Так демонстрируется амбивалентность культурных форм.) Все заканчивается так, как предрек Уэйн. Он погибает, оставшись последним на подмостках великой битвы предместий с Ноттинг-Хиллом. Его последнее заявление: пока я стою под сенью великого дерева, олицетворяющего Ноттинг-Хилл, Ноттинг-Хилл не погиб, он со мной и во мне! Вырванное с корнями дерево накрывает Уэйна, но перед этим он уничтожает главарей врагов.

Итак, первый финал романа: Ноттинг-Хилл умер — Ноттинг-Хилл победил. Но существует и второй финал, эпиграфом к которому могло бы стать резюме о приоритетности состояния, наступающего после конца не только второй фазы Модерна — т.е. постмодерна, но и того, что наступает после самого Модерна³. В нем утверждается главенство не истины, но человека, не объективности, но подлинности субъективного.

Честертон дает второй финал в главке под названием «Два голоса». В этом финале Оберон Квин, отказавшийся от королевского титула и игровой позиции ради роли военного корреспондента газеты, поставляющего последние известия с поля битвы, беседует с Адамом Уэйном:

Ничем не отменить простое противоречие, что я над этим смеялся. А ты это обожал. — Это противоречие теряется. Его снимает та сила, которая вне нас и о которой мы с тобой всю жизнь мало вспоминали. Вечный человек равен сам себе, и ему нет дела до нашего противоречия, потому что он не видит разницы между смехом и обожанием; тот человек, самый обыкновенный, перед которым гении, вроде нас с тобой, могут только пасть ниц. Когда настают темные и смутные времена, мы с тобой оба необходимы — и оголтелый фанатик, и оголтелый насмеш-

3 Это состояние «после Модерна» я называю постпостмодерном. При этом состоянии происходит возврат к значимости субъекта, человека, утраченной на последней стадии Модерна, но одновременно и отказ от претензий на абсолютную и объективную истину.

ник. Мы возместили великую порчу. Мы подарили нынешним городам ту поэзию повседневности, без которой жизнь теряет сама себя. Для нормальных людей нет между нами противоречия. Мы — два полушария мозга простого пахаря. На-смешка и любовь неразличимы [Честертон 1990: 143—144].

Непонятно, где происходит эта беседа: в воображении автора, в условном пространстве романа или в еще более условном метафизическом пространстве; но эта беседа между двумя основными «игроками» происходит, и оба они признают, что романтик-идеалист и игрок-экспериментатор — это те, кто запускает одну и ту же вечную модель существования, «две половинки ножниц», две необходимые составляющие в любом антропологическом или социальном эксперименте, в котором культурная составляющая не менее важна, чем собственно социальная, ибо она в большей степени основана на антропологической природе человеческого существа. По Честертону, это модель, базирующаяся на религиозной антропологии, но для нас важно не определение, а предикат.

Теперь перейдем к главному, ради чего был произведен этот акт «медленного чтения».

Вольно или невольно Честертон с антропологических, а не сугубо литературных позиций воссоздает в романе антропологическую модель человеческого поведения. Образцами для него являются романы Свифта и Дефо — великие исследования человеческой природы эпохи Просвещения, основанные на постколониальной модели конфликта.

На примере лондонского предместья, которое является, вполне по Б. Андерсону [Андерсон 2001], «воображаемым сообществом», нацией, государством (и — по аналогии с античностью — городом-полисом), мы видим, как происходит один и тот же процесс. Андерсон, работая с концептом «нация», сделал его примером понятия «сообщество» в постструктуралистском смысле слова, описав его как «воображаемое сообщество» при помощи метафор *перепись, карта, музей*, отождествленных автором с институтами власти и одновременно являющихся средствами структурирования воображения и особым стилем представления позднеколониальным государством своих владений. Главным в этом процессе Андерсон считал тотализующую классификационную разметку и сериализацию. С. Баньковская замечает, что на примере развития картографии, переписей населения и музеев Андерсон дал детальное описание того, как выстраивается «грамматика» исторического националистического нарратива как процесса «воображения нации» [Баньковская 2001: 16]. При этом следует обратить внимание на преобразенные, но все еще узнаваемые признаки классического сообщества: за *тотализующей классификационной разметкой и сериализацией* стоят их социологические предшественники — *типологизация и стратификация*.

В процессе исследования сам национальный язык, его исторический нарратив становятся для Андерсона тем социокультурным пространством, в котором создается «совокупный символический продукт» «воображаемого сообщества». Предшественниками, оказавшими влияние на его работу, он называет Э. Ауэрбаха [Ауэрбах 2000], В. Беньямина [Беньямин 2002] и В. Тёрнера [Тёрнер 1983]. Как считает сам Андерсон, он обращается к *нации* как концепту, созданному в поисках нового способа осмысленно связать воедино *братство, власть и время*, причем на ускорение этих поисков, по его мнению, повлиял так называемый «печатный капитализм», или феномен «галактики Гутенбер-

га», отразивший в себе развитие *печати-как-товара* и влияние *протестантизма*, способствовавшего спонтанному развитию национальных языков. Отсюда проистекает данное Андерсоном следующее определение нации: «...Это воображенное политическое сообщество, и воображается оно как нечто неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное» [Андерсон 2001: 30], а его истоками объявляются религиозное сообщество и династическое государство. Для Андерсона нация и национализм — это аналитические категории, появление которых связано с изменениями в способах восприятия мира. Как пишет Баньковская, «нация в такой трактовке выступает как новый, характерный для современного общества, способ связывать воедино, в целостном восприятии, пространство, время и человеческую солидарность» [Баньковская 2001: 10].

Как описывает этот процесс Честертон? Империя теряет колонии, но то, что было колонией, может так же превратиться в империю, воспроизвести ее логику, став по отношению к какой-либо из других частей не просто аттрактором, но доминирующим центром со всеми вытекающими (пост)колониальными последствиями, а эти части, в свою очередь, амбивалентно будут воспроизводить такой же процесс. По Честертону получается, что это модель, в которой культурное преобладает над социальным. Как возникла ситуация отпадения и деколонизации? Она возникла в результате возникновения игрового поля, при помощи культурного маскарада (которым может быть что угодно — «гибридные войны» и т.д.), с помощью запущенной вольно или невольно модели игры, где культурное было задумано для усложнения правил существования системы, ставшей чересчур стабильной и слишком неинтересной.

Но это «культурное», к тому же обращенное в прошлое (к культурным формам Средневековья), стало изменять систему и воспроизвело, само того не желая, независимо от изначальных намерений, собственную логику системы. Пусковым механизмом оказалась война.

В качестве «биографического» подтекста и комментария к роману «Наполеон Ноттингхильский» выступает сама Викторианская эпоха, эпоха классических империй, которая на глазах Честертона закончилась как эпоха имперская и колониальная, и началась ее первая постколониальная фаза (англо-бурские войны).

Задача исследования — не выяснение философских и религиозных взглядов Честертона, но описание модели, которая из «тела» романа экстраполируется. Одно дело — что хотел пропагандировать Честертон, и другое — его реальный литературный (пост)колониальный дискурс, представленный им как стихийным социокультурным антропологом. Он предъявил модель того, как идет процесс колонизации-деколонизации, когда меняется аттрактор (центр) этого процесса, когда и каким образом из понятия «нация» как «воображаемое сообщество» в локальных дистриктах — предместьях — возникает, по существу, новая колониальная система и как все это связано с вечной моделью конфликта, у которого лишь чередуются между собой латентные и активные фазы.

При этом, однако, в его романе «раннего» Модерна уже присутствуют и идея «обратимости» колониального / постколониального (связанная с темой революции как негативного «пустого» зияния, возвратного движения, прерывающего и отменяющего постепенность эволюционного развития), и понимание амбивалентности отношений доминирования / подчинения, и стремление выйти из-под власти бинарных оппозиций этих отношений, изменив само дискурсивное поле. Став пространством взаимодействия различных неоднознач-

ных дискурсов, это пространство не просто предъявляет нам постмодернистские интенции. Честертон своей позицией наблюдателя вплотную приближается к новой фигуре постколониального дискурса — «постколониальному критику», для которого главным оказывается преодоление не столько экономической и социальной, сколько культурной зависимости от прежних отношений. При этом «строительство нации», обернувшееся вновь «строительством империи», подвергается деконструктивистскому анализу, дабы снова привести к новому субъекту. Является ли это своеобразным предвкушением некоего нового субъекта, условно говоря, субъекта постпостмодерна — зависит от избранной нами точки анализа и точки сборки. Но, по логике Модерна как большого стиля культуры XX века, ранняя стадия этого стиля уже включает в себя противоречия поздней ступени, что позволяет увидеть и такую перспективу.

Любопытно сравнить повесть Честертона с рассказом В. Маканина «Кавказский пленный» [Маканин 1995], по-своему демонстративно рассматривающий проблематику (пост)колониальных исследований.

Рассказ Маканина — это тоже обобщение военного опыта, в данном случае опыта российского общества, пережившего чеченскую войну. Опыт странный и противоречивый, но перестающий казаться таковым, когда мы вновь обратимся к конфликту как форме социального взаимодействия, а к войне — как одному из видов конфликта, отражающему антропологическую природу человека. Здесь разговор идет уже не о фиксации противоречий Модерна, а о финальной фазе «большого культурного стиля», финале финала — жизни на последних границах, точнее, окраинах постмодерна, круто изменившей не только лексику дискурса, но и саму логику мышления модерности, если о ней еще можно здесь говорить.

Рассказ о таинственной, коварной и опасной красоте чужого края и «врага-чужака», приводящей к изменениям и метаморфозам вторгшегося в эти пространства завоевателя, демонстрирует неминуемую гибель старых моделей и представлений. С точки зрения проблематики постколониальных исследований неконтролируемое поле новых дискурсов и их возможностей здесь предстает перед нами как пространство одновременно внешней и внутренней колонизации, где взаимоотношения Своего и Чужого тесно переплелись.

Фабула рассказа предельно проста. Группа российских солдат, везущих продовольствие своим, не может пройти своеобразный «пограничный кордон» чеченцев. Правила прохода известны: надо обменять право прохода на пленного. И тогда главный герой отправляется за «обменной монетой». Но молодой чеченец, взятый в заложники для обмена, красив губительной и тонкой, непонятной, андрогинной красотой, рождающей в самой природе его врага неожиданное смутное влечение. Поход через горы, который должен закончиться, ко всеобщему удовольствию, обменом и проходом отряда с продовольствием, заканчивается смертью заложника: главный герой задушит его, дабы юноша не выдал солдат идущим рядом по горной тропе отрядам боевиков. Коллизия с проникновением в глубь чужого пространства закончилась ничем. Но финал рассказа рифмуется с его началом: на фоне прекрасных гор убит российский солдат, который пьяным заснул на поляне, убаюканный мнимым спокойствием и волшебной красотой чужих мест. «Солдаты, скорее всего, не знали про то, что *красота спасет мир*, но что такое красота, оба они, в общем, знали. Среди гор они чувствовали красоту (красоту местности) слишком хорошо — она пугала» [Маканин 1995: 3].

«Тела», вопреки всем правилам классической модели конфликта, тянутся друг к другу. Здесь нет противостояния «тел» и «сущностей», как, например,

в военных рассказах Андрея Платонова, нет жесткой оппозиции «свой—чужой», нет деконструкции и нет деструкции. Война идет на бывшей «общей» территории, которая на самом деле никогда «общей» не была, это «странная» война, не объявленная как война официально. Но она, как лакмус, проявляет состояния человека, вытаскивает его бессознательные влечения, вводит его на поверхности неизведанных пространств и в пограничье, размывает былую ригидность и определенность субъекта Модерна, являет его промежуточность и номадность как антропологическую данность. Поэтому мы видим сменяющиеся состояния, наплывающие друг на друга, как рябь по воде. Влечения тел в одну минуту сменяются взаимным уничтожением. Точнее, влечение не отменяет уничтожение, а скорее усугубляет его в стремлении избавиться от неизведанного и опасного в собственной природе. При этом конфликт как бы «плывет», перемещаясь от полюса «врага» внутрь, в природу самого субъекта.

Здесь впору вспомнить об отсылке к романтизму и к предыдущим трактовкам темы, заданным самим названием, слегка измененным. Романтические поэмы Пушкина и Лермонтова давали в свое время твердые каноны стиливого романтизма, где любовь как залог высшего, метафизического синтеза на небесах, в горних высях преодолевала бинарную оппозицию своего и чужого, уничтожая на земле героиню — носительницу конфликта⁴. «Кавказский пленник» Льва Толстого почти пародийно сознательно снижал ситуацию, заменяя пару романтических героев бывалым солдатом и девочкой, чья естественная человеческая приязнь помогала преодолеть оковы и конфликты социальных и культурных установлений. Очень толстовский ход дал развитие всему его «военному кавказскому тексту», включая «Набег» и «Хаджи-Мурата», замечательно совместив сентименталистские традиции Руссо и Стерна с толстовской диалектикой «живой жизни» в новой версии колониального дискурса.

Но в тексте Маканина, существующем на границах постмодерна, присутствует дух другого романтического творения, тоже через Пушкина вошедшего в плоть и кровь русской прозы, — «Сказок Альгамбры» Вашингтона Ирвинга [Irving 2007] с его «Легендой об арабском звездочете», легкой в основу пушкинской «Сказки о Золотом петушке». Правда, в прозе Маканина метаморфозы предстают не как романтическая череда сменяющихся друг друга масок, а как средство для фиксации и описания человеческих состояний, по-новому заставляющих говорить о конфликте как вечной форме социального и культурного взаимодействия и войне как вечной возможности его проявления. В духе концепции Эткинды мы вполне можем говорить о феномене «внутренней колонизации», отраженном в литературе. Одновременно перед нами, как и в романе Честертона, возникает эффект «третьего» — автора в роли «постколониального критика», включенного в коммуникативное поле (пост)колониальной ситуации и в полной мере обладающего «интеллектуальным протезом».

При этом наши предположения — тоже лишь одна из форм репрезентации ситуации, данная с культурно-антропологических позиций.

4 Ср. у Эткинды трактовку романтического конфликта русской прозы XIX века как столкновения и взаимодействия колониального с постколониальным в аспекте «внутренней колонизации»: от пушкинских и лермонтовских кавказских поэм — к «реалистической прозе» Лескова (его «Очарованный странник» в сравнении с «Сердцем тьмы» Джозефа Конрада и темой «ташкентцев» у Салтыкова-Щедрина, а также «заход» в текст Чернышевского с его антропологическим утопическим дискурсом) [Эткинды 2013].

Библиография / References

- [Александр 2007] — Александр Дж.С. Аналитические дебаты: Понимание относительной автономии культуры / Пер. с англ. М. Шуровой под науч. ред. Д. Куракина // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 1. С. 17—37.
- (Alexander J.C. Introduction: Understanding the “Relative Autonomy” of Culture // Sotsiologicheskoe obozrenie. 2007. Vol. 6. № 1. P. 17—37. — In Russ.)
- [Андерсон 2001] — Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В.Г. Николаева. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001.
- (Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Moscow, 2001. — In Russ.)
- [Ауэрбах 2000] — Ауэрбах Э. Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе / Пер. с нем. Ал.В. Михайлова, Ю.А. Архипова. М.; СПб.: Per Se; Университетская книга, 2000.
- (Auerbach E. Mimesis: Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. Moscow; Saint Petersburg, 2000. — In Russ.)
- [Баньковская 2001] — Баньковская С. Воображаемые сообщества как социологический феномен // Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В.Г. Николаева. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001. С. 5—16.
- (Ban'kovskaya S. Voobrazhaemye soobshchestva kak sotsiologicheskii fenomen // Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Moscow, 2001. — In Russ.)
- [Беньямин 2002] — Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы / Пер. с нем. С. Ромашко. М.: Аграф, 2002.
- (Benjamin W. Ursprung des deutschen Trauerspiels. Moscow, 2002. — In Russ.)
- [Бобков 2003] — Бобков И.М. Постколониальные исследования, постколониальные штудии // Новейший философский словарь. 3-е изд., исправл. / Сост. и глав. науч. ред. А.А. Грицанов. Минск: Книжный дом, 2003. С. 776—777.
- (Bobkov I.M. Postkolonial'nye issledovaniya, postkolonial'nye shtudii // Noveyshiyy filosofskiy slovar'. 3rd ed. / Ed. by A.A. Gritsanov. Minsk, 2003. P. 776—777.)
- [Гумбрехт 2009] — Гумбрехт Х.-У. Насколько антропологично время? Об «эффектах революции» в разных хронотопах / Пер. с англ. Е. Канищевой // Антропология революции / Сост. И. Прохорова, А. Дмитриев, И. Кукулин, М. Майофис. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 53—64.
- (Gumbrecht H.-U. How Anthropological Is Time? (About “Effects of Revolution” in Different Chronotopes) // Antropologiya revolyutsii / Ed. by I. Prokhorova, A. Dmitriev, I. Kukulin, M. Mayofig. Moscow, 2009. P. 53—64. — In Russ.)
- [Дарендорф 2002] — Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: Очерк политики свободы / Пер. с нем. Л.Ю. Пантинной. М.: РОССПЭН, 2002.
- (Dahrendorf R. Der moderne soziale Konflikt: Essay zur Politik der Freiheit. Moscow, 2002. — In Russ.)
- [Дроговоз 2004] — Дроговоз И. Англо-бурская война 1899—1902 гг. Минск: Харвест, 2004.
- (Drogovoz I. Anglo-burskaya voyna 1899—1902 gg. Minsk, 2004.)
- [Зиммель 1996] — Зиммель Г. Конфликт современной культуры / Пер. с нем. Г.А. Шевченко, примеч. Л.Г. Ионина // Зиммель Г. Избранное: В 2 т. / Пер. с нем.; сост. С.Я. Левит, Л.В. Скворцов, отв. ред. Л.Т. Мильская. Т. 1: Философия культуры. М.: Юрист, 1996. С. 494—516.
- (Simmel G. Der Konflikt der modernen Kultur // Simmel G. Izbrannoe: In 2 vols. / Ed. by L.T. Mil'skaya, S.Ya. Levit, L.V. Skvortsov. Vol. 1: Filosofiya kul'tury. Moscow, 1996. P. 494—516. — In Russ.)
- [Козер 2000] — Козер Л. Функции социального конфликта / Пер. с англ. О. Назаровой; под общ. ред. Л.Г. Ионина. М.: Идея-пресс; Дом интеллектуальной книги, 2000.
- (Coser L. The Functions of Social Conflict. Moscow, 2000. — In Russ.)
- [Магун 2008] — Магун А.В. Отрицательная революция: К деконструкции политического субъекта / Авториз. пер. с франц. Н.С. Мовниной, С.Л. Фокина. СПб.: ЕУСПб, 2008.
- (Magun A.V. La révolution negative: La déconstruction du sujet politique. Saint Petersburg, 2008. — In Russ.)
- [Маканин 1995] — Маканин В. Кавказский пленный // Новый мир. 1995. № 4. С. 3—19.
- (Makanin V. Kavkazskiy plennyuy // Novyy mir. 1995. № 4. P. 3—19.)
- [Манхейм 1994] — Манхейм К. Идеология и утопия / Пер. с нем. М.И. Левиной //

- Манхейм К. Диагноз нашего времени / Пер. с нем. и англ.; сост. Я.М. Бергер, П.С. Гуревич, С.Я. Левит, Л.Т. Мильская. М.: Юрист, 1994. С. 7—276.
- (Mannheim K. Ideologie und Utopie // Mannheim K. Diagnosis of Our Time / Ed. by Ya.M. Berger, P.S. Gurevich, S.Ya. Levit, L.T. Mil'skaya. Moscow, 1994. P. 7—276. — In Russ.)
- [Орлова 2012] — Орлова Э.А. Социология культуры. Киров; М.: Константа; Академический проект, 2012.
- (Orlova E.A. Sotsiologiya kul'tury. Kirov; Moscow, 2012.)
- [Полтавцева 2016] — Полтавцева Н.Г. Модерн как стиль культуры и утопия: Некоторые аспекты взаимодействия // Утопия и эсхатология в культуре русского модернизма / Отв. ред. О.А. Богданова, А.Г. Гачева. М.: Индрик, 2016. С. 42—61.
- (Poltavtseva N.G. Modern kak stil' kul'tury i utopiya: Nekotorye aspekty vzaimodeystviya // Utopiya i eskhatologiya v kul'ture russkogo modernizma / Ed. by O.A. Bogdanova, A.G. Gacheva. Moscow, 2016. P. 42—61.)
- [Поселягин 2012] — Поселягин Н. Антропологический поворот в российских гуманитарных науках // НЛЮ. 2012. № 113. С. 27—36.
- (Poselyagin N. Antropologicheskii povорот v rossiyskikh gumanitarnykh naukakh // NLO. 2012. № 113. P. 27—36.)
- [Саид 2006] — Саид Э. Ориентализм: Западные концепции Востока / Пер. с англ. А. Говорунова. М.: Русский мир, 2006.
- (Said E. Orientalism. Moscow, 2006. — In Russ.)
- [Тренчени 2009] — Тренчени Б. Бунт против истории: «Консервативная революция» и поиски национальной идентичности в межвоенной Восточной и Центральной Европе / Авториз. пер. с англ. А. Плисецкой // Антропология революции / Сост. И. Прохорова, А. Дмитриев, И. Кукулин, М. Майофис. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 207—241.
- (Trencsényi B. Revolt Against History: National Characterologies in East Central Europe in the Interwar Period // Antropologiya revolyutsii / Ed. by I. Prokhorova, A. Dmitriev, I. Kukulin, M. Mayo-fis. Moscow, 2009. P. 207—241. — In Russ.)
- [Тэрнер 1983] — Тэрнер В. Символ и ритуал / Пер. с англ.; сост. В.А. Бейлис. М.: Наука, 1983.
- (Turner V. Simvol i ritual / Ed. by V.A. Beylis. Moscow, 1983. — In Russ.)
- [Честертон 1990] — Честертон Г.К. Наполеон Ноттингхилльский / Пер. с англ. В. Муравьева // Честертон Г.К. Избранные произведения: В 3 т. / Сост. Н. Трауберг. Т. 1. М.: Художественная литература, 1990. С. 23—144.
- (Chesteron G.K. The Napoleon of Notting Hill // Chesteron G.K. Izbrannye proizvedeniya: In 3 vols. / Ed. by N. Trauberg. Vol. 1. Moscow, 1990. P. 23—144. — In Russ.)
- [Эткинд 2013] — Эткинд А. Внутренняя колонизация: Имперский опыт России / Авториз. пер. с англ. В. Макарова. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
- (Etkind A. Internal Colonization: Russia's Internal Experience. Moscow, 2013. — In Russ.)
- [Bhabha 1994] — Bhabha H.K. The Location of Culture. London; New York: Routledge, 1994.
- [Dahrendorf 1990] — Dahrendorf R. Reflection on the Revolution in Europe: In a Letter Intended to Have Been Sent to a Gentleman in Warsaw, 1990. London: Chatto & Windus, 1990.
- [Irving 2007] — Irving W. Legend of the Arabian Astrologer // Irving W. Tales of the Alhambra: Commemorative edition to mark the 175th anniversary of the publication of the *Tales of the Alhambra*. Granada: Ediciones Miguel Sanchez, 2007. P. 121—140.
- [Spivak 1988] — Spivak G.Ch. Can the Subaltern Speak? // Marxism and the Interpretation of Culture / Ed. by C. Nelson, L. Grossberg. Urbana, Il.: University of Illinois Press, 1988. P. 271—313.

Постколониальность постсоветских литератур: конструкции этнического

Клавдия Смола, Дирк Уффельманн

Введение

Klavdia Smola, Dirk Uffelmann

Introduction

Клавдия Смола (Университет Грайфсвальд; профессор института славистики; PhD; доктор наук) klavdia.smola@uni-greifswald.de.

Дирк Уффельманн (Университет Пассау; профессор, заведующий кафедрой славянских культур и литератур философского факультета; PhD; доктор наук) uffelmann@uni-passau.de.

Klavdia Smola (University of Greifswald; visiting professor at the Department of Slavic Studies; PhD; Dr habil.) klavdia.smola@uni-greifswald.de.

Dirk Uffelmann (University of Passau; professor, Chair of Slavic Literatures and Cultures; PhD; Dr habil.) uffelmann@uni-passau.de.

Постколониальный подход к (пост)коммунизму

Изучать славянские литературы постсоветского периода в постколониальном ключе означает, по сути, совершить двойной маневр: спроецировать постколониальную парадигму, разработанную в литературоведении и культурологии, на исследования постсоциализма и посткоммунизма, которые проводились в основном в общественных науках. Академические дебаты о постсоциалистических обществах до сих пор вращались вокруг таких явлений, как экономика переходного типа, неустойчивая система правления, коррупция, искажение исторической памяти о коллективных травмах. Причиной тому послужила политическая мифология времени: лидеры стремятся заполнить идеологические пустоты фантомами неонационализма, неотрадиционализма и воскрешения (евразийской) сверхдержавы. После крушения «великих нарративов» наследство коммунистического прошлого дает о себе знать в измененном культурном восприятии себя и «чужого», в новом соотношении культурного центра и пе-

риферии и в колебании между попыткой, с одной стороны, возвратиться к простым формам идентичности, с другой — построить новую, плюралистическую модель самовосприятия. И, наконец, наследие коммунизма видится в (де)конструкции исторического прошлого с помощью его «колониальной» интерпретации. Могут ли эти симптомы посткоммунизма быть истолкованы как очередная историческая и идеологическая реинкарнация постколониализма? И можно ли говорить в этом контексте о свойственном глобальной постколониальной ситуации культурном сдвиге?

В то время как исследователи постсоциализма довольно редко прибегают к постколониальным категориям [Kandiyoti 2002: 242—245; Hann 2002; Groys 2005: 44], обратный процесс начался около 20 лет назад. Тем не менее, если верить Виолете Келертас, и в последнем случае необходимо оказалось двойное «благословение» — классика постколониальной теории Гаятри Спивак и западного африканиста Дэвида Киони Мура, не имеющих никакого отношения к восточноевропейской диаспоре [Kelertas 2006: 3—4]. В интервью 1993—1994 годов Спивак призывает: «...мы должны сформулировать новые идеи национализма, постколониальности и мультикультурализма в масштабах разнообразной и многовековой имперской истории Содружества Независимых Государств, а также Российской Федерации — еще одной неведомой территории, требующей изучения» [Spivak 1996: 297—298]. Если принять во внимание очевидную случайность этого русского «постскриптума» к интервью, то ссылка Келертас на Спивак во введении к опубликованному ею тому [Kelertas 2006] смотрится скорее неперменной цитатой из Ленина в предисловии к многочисленным советским изданиям, чем серьезной научной генеалогией¹. Вторая ссылка куда более существенна: в статье 2001 года, восходящей к докладам второй половины 1990-х годов, Дэвид Киони Мур напрямую характеризует постсоветскую территорию как постколониальную [Moore 2001]. Мур предлагает «одновременную критику слишком узкого понятия постколониального и слишком ограниченной области постсоветских исследований» [Moore 2001: 112, 114]:

Ввиду очевидных постколониально-постсоветских параллелей поражает двойное молчание. С одной стороны, молчание современных исследователей постколониализма о бывших советских территориях. А с другой, как отражение, — нежелание специалистов по странам бывшего советского влияния осмыслить свое пространство в постколониальных категориях, разработанных, например, исследователями Индонезии или Габона, — пусть не идеальных, но полезных. Юг не говорит на языке Востока, а Восток не говорит на языке Юга [Moore 2001: 115].

С тех пор исследователи неоднократно повторяли критический диагноз Мура (особенно развернутый комментарий ср. в: [Ștefănescu 2012: 10—34]). Не раз обсуждался и практиковался перенос (пост)колониальных моделей в регионы сегодняшней Восточной Европы. Эти дебаты, ведущиеся в рамках разных дисциплин, часто имеют открытый метатеоретический характер.

Так, Януш Корек, редактор одного из первых сборников на эту тему, озаглавленного «От советологии к постколониальности» («From Sovietology to

1 Надо отметить, что украинско-австралийский исследователь Марко Павлышин значительно раньше, чем Спивак, связал последствия «советского культурного колониализма» с явлением и теорией постколониальности (см.: [Pavlyshyn 1992: 42] и его новейшую публикацию: [Pavlyshyn 2016]).

Postcoloniality»), выступает за расширение не только методологической, но и исторической сферы постколониализма: поводом тому служат, помимо имперских амбиций советской России и неоимперских постсоветской, новые формы расизма в посткоммунистическом мире: «Расовые аргументы и критерии <...> часто используются в политике, культуре, а также идеологиями <...> как против белых, так и против “небелых” групп и наций, населяющих Центральную и Восточную Европу» [Korek 2007: 7].

Два года спустя, в 2009 году, Шарад Хари и Кэтрин Вердери призвали «мыслить “в промежутке между двумя пост-”», то есть между постколониализмом и постсоциализмом². С их точки зрения, исследователи постсоциализма, вначале вкладывавшие в приставку «пост-» чисто хронологическое значение, «обрели критический взгляд» как раз после того, как взяли на вооружение постколониальные категории [Chari, Verdery 2009: 11]. Традиционная иерархия, в которой «постколониальность ассоциируется с ограниченным пространством, названным Третьим миром, а постсоциализм со Вторым», больше не работает. Только «взаимодополняющий инструментарий» поможет «пересмыслить современный империализм» в межтерриториальных масштабах [Chari, Verdery 2009: 12]. Эта программа включения читается как глобальное политическое кредо.

Во введении к вышедшему в том же году специальному выпуску журнала «Фокаал» под заглавием «Восток отвечает: гендер и сексуальность в постсоциалистической Европе» Джиль Овчачак во главу угла ставит понятие ориентализации, применяя его к общественно-экономической сфере эпохи постсоциализма. При этом она отмечает: «...“постсоциализм” использовался до сих пор в качестве географической этикетки, а не аналитической категории», в то время как у постколониализма за спиной богатая теоретическая история [Owczarzak 2009: 4]³. Антропологу постколониальный инструментарий помогает, таким образом, более точно очертить размытую геоисторическую область постсоциализма.

Постколониальный дискурс, как считает Кристина Шандру, сообщает восточноевропейской перспективе необходимую чувствительность критического анализа — анализа «властного отношения центра и периферии, а также проблем (э)миграции» и «гибридных сообществ». Наоборот, «неомарксистские

2 Это стремление заполнить пробел «между разными пост-» отличает и более раннюю концепцию Виталия Чернецкого, призвавшего «оставить позади пережитки эпохи холодной войны с ее разграничением трех миров и распределением между ними разных “пост”-дискурсов: <...> постмодернизм был и остается для многих прежде всего явлением Первого мира, в то время как постколониализм коренится в культурных и социальных реалиях Третьего; “посткоммунизм” же использовался, по крайней мере в общественных науках, как специфическая характеристика Второго мира» [Chernetsky 2007: 12].

3 Примерно такую же позицию занимают и главные редакторы сборника «Постколониальный подход к восточноевропейскому кино» Эва Мажерска, Ларш Кристенсен и Эва Нэрипея. Постколониализм — это «набор теоретических концептов <...> значимых в ситуации посткоммунизма» [Mazierska, Kristensen, Näripea 2014: 12]. Редакторы новейшего словацкого сборника «Постколониальная Европа?» называют постколониальную теорию «глобальным, подвижным дискурсом, с помощью которого можно анализировать множество регионов». Однако сама эта теория проверяется и оттачивается на примере территорий посткоммунизма [Puchegová, Gáfrík 2015: 12–13].

версии постколониализма» должны пройти «проверку на реальность», оглядываясь на опыт исторического посткоммунизма [Şandru 2011: 44]. Другой румынский исследователь, автор обстоятельного труда «Посткоммунизм / Постколониализм: близнецы субалтерности» Богдан Штефанеску видит скорее структурную аналогию между обоими «идеологическими дискурсами», что едва ли не нивелирует роль конкретной истории и географии при сравнении постколониализма и посткоммунизма: «Актеры могут быть разными, но роли те же самые» [Ştefănescu 2012: 44].

Адвокатами дифференцированного подхода к разным, но сравнимым историческим контекстам выступают составители специального выпуска «Журнала постколониального письма»⁴ («Journal of Postcolonial Writing») Дорота Колодзейчик и Кристина Шандру [Kołodziejczyk, Şandru 2012: 113]. И — в том же выпуске — Марсель Корнис-Поуп, который, ссылаясь на выражение Иона Богдана Лефтера, называет бывшие коммунистические регионы «полуколониями» [Cornis-Pope 2012: 146] (ср.: [Lefter 2001: 119]).

Подчеркивая промежуточное культурное и географическое положение Центрально-Восточной Европы, Мадина Тлостанова характеризует Россию и Советский Союз как «империи двуликого Януса» [Tlostanova 2012: 134–135]. Они выступали и выступают колонизаторами по отношению к «востоку» и колонизованными по отношению к «западу» (см. об этом также: [Hladík 2011]). Эпистемология «деколониального выбора» Вальтера Миньоло [Mignolo 2011: 53–54] позволяет, по Тлостановой, увидеть последствия колониальности в глобальном, сравнительном контексте [Tlostanova 2012: 132]. Как Мадина Тлостанова, так и Богдан Штефанеску и Бенедикт Калначс выступают за (географически) универсальное понятие «колониальности» (см. об этом в: [Şandru 2015: 69–70; Kalnačs 2015: 17]).

Названные выше публикации свидетельствуют о неизменно растущей привлекательности постколониальной призмы рассмотрения (пост)коммунистических обществ — и не в последнюю очередь о продуктивности этого поля исследований. Значима динамика в пределах самого научного поля, о которой говорят три недавние конференции. Если конференция «Постколониальные подходы к опыту постсоциализма»⁵ в Кембридже в феврале 2012 года была посвящена эвристической проверке постколониального описания посткоммунистических обществ, то симпозиум в Грайфсвальде в октябре 2014 года, результаты которого были опубликованы в: [Smola, Uffelman 2016], уже исходил из фактического существования *постколониальных славянских литератур после коммунизма*. Наконец, организаторы конференции «Имперское эхо: изучая постколонии коммунизма»⁶ в Принстоне в мае 2016 года выбрали метакритическую перспективу, пытаясь ответить на вопрос, можно ли рассматривать сами дискуссии о постколониальности посткоммунизма как культурный симптом.

4 Переизданного четыре года спустя в виде сборника статей [Kołodziejczyk, Şandru 2016].

5 Организованная Александром Эткингом и Дирком Уффельманном (см.: [Rowley 2012]).

6 Сергей Ушакин в сотрудничестве с Тариком Кирилом Амаром, Эдитой Бояновской, Михаэлем Куничика и Екатериной Правиловой. См. веб-сайт конференции: <https://imperialreverb.princeton.edu/> и группу на Facebook «Postcolonies of Communism», <https://www.facebook.com/groups/501781766697197/> (дата обращения: 20.05.2016).

Постколониальность постсоветских литератур: конструкции этнического

В тематическом блоке «Постколониальность постсоветских литератур: конструкции этнического» мы предлагаем исследовать не только эвристический потенциал постколониального подхода на метатеоретическом уровне, как это делают ученые в приведенных выше работах. Пытаясь определить роль собственно литературы в международной постколониальной дискуссии, мы задаемся вопросом, который наши коллеги историки все еще ощущают как провокационный: в каком отношении литературы посткоммунистического периода постколониальны?

1. Постколониальны ли они на «онтологическом» уровне социально-политических условий их возникновения?
2. Или на уровне (пост)колониального сознания их создателей?
3. Или «лишь» на уровне художественных постколониальных способов репрезентации?

В согласии с заглавием тематического блока авторы исходят из факта постколониальности славянских литератур, испытывая на прочность эпистемологию метатеоретических дискуссий. Литературы Восточной Европы — таков наш тезис — постколониальны не в более метафорическом смысле, чем литературы бывших «классических» заокеанских колоний. В то время как авторы изданного нами в 2016 году тома проиллюстрировали этот тезис на примере русской, украинской, польской и чешской литератур [Smola, Uffelman 2016], здесь нас интересует еще мало изученная область нерусских русскоязычных литератур с их конструкциями постколониальной этничности — как в пределах России (статья Смолы, Львовского, Уффельманна), так и в ближайшем зарубежье (статья Корчагина). Мы рассматриваем представленные здесь работы как попытку заполнить научный пробел, особенно заметный, если учесть, что ситуация *внутренней* колонизации России уже не раз находилась в фокусе фундаментальных исследований [Эткинд 2013; Эткинд, Уффельманн, Кукулин 2012⁷]. Предлагаемый тематический блок должен поэтому ознаменовать начало более интенсивного изучения нерусских (и потенциально не только русскоязычных) постколониальных литератур — по образцу постколониальных литератур Африки и Южной Америки (см.: [Tlostanova, Mignolo 2012]).

Наряду с постколониальными исследованиями центральную роль в новом понимании категорий национального и этнического с 1960-х годов сыграл (де)конструктивистский поворот в культурной антропологии, социологии и этнологии, связанный с именами Клиффорда Гирца, Джеймса Клиффорда, Майкла Фишера и других ученых, подвергнувших сомнению саму возможность объективного знания о других культурах. Так, Гирц призывал рассматривать этнографические описания индигенных обществ как литературный дискурс, работающий с тропами и субъективным автором-повествователем — исследователем-этнографом [Geertz 1988: 2]. В 1990—2000-х годах появляются концепции «перформативной этнографии» (Норман К. Дензин) и «автоэтногра-

7 В последнем сборнике исключение составляет статья Юлии Градсковой о постколониальных гендерных проекциях в советской Башкирии [Градскова 2012].

фии» (Мэри Луиз Пратт)⁸. С другой стороны, движения национальных меньшинств и коллективная ностальгия по утраченным корням в Америке и Европе второй половины XX века спровоцировали появление «символических» моделей этничности, своего рода «воображаемых сообществ» [Андерсон 2001], основанных не столько на реконструкции, сколько на конструкте общего прошлого. Символическое создание культурных общностей — например, в целях обретения политических прав или культурного равноправия — становится возможным именно благодаря пере-«изобретению традиции» (заглавие влиятельной сборной монографии, составленной Эриком Хобсбаумом в 1983 году [Хобсбаум 2000]). Как показывает стэнфордский социолог Джоан Нейджел на примере политических движений афроамериканцев и американских индейцев, этничность создается не в прошлом, а — каждый раз — в настоящем [Nagel 1994]. Этничность определяют, таким образом, не столько ее изначальные свойства, сколько подвижные границы ее заново воссоздаваемой территории [Nagel 1994: 156]. Или, как пишет Джон М. Райли уже о литературе, «этничность — это не идентичность. Это стратегия» [Reilly 1978].

Статьи, собранные в этом блоке, по-разному отвечают на конструктивистский поворот в культурных исследованиях этничности. Их объединяет, конечно, само обращение к литературе как к полигону испытаний тропов «воображаемых сообществ». Исследуемые нами литературные тексты так или иначе проблематизируют соотношение русского и нерусского — начиная с их «зеркального» (по Лакану) слияния в контексте советской многонациональной литературы и кончая образцами де(кон)струкции и травестирования у авторов новейшего периода. С помощью риторики, тропов, языковой гибридности и перформативного анализа идеологических моделей выбранные нами авторы критически переосмысливают сами конструкции этнического. Далеко не все делают это с позиции постструктуралистски просвещенных металитераторов: деконструкция и деэссенциализация этнического и колониального осуществляется порой в наших собственных статьях посредством литературы, в процессе ее дискурсивного рассмотрения. Постколониальность и постсоветскость встречаются в этих текстах в зоне *постимперского*, соединяющей контексты Восточной Европы и (например) Латинской Америки. И как раз этнические асимметрии сообщают (пост)империи привкус (пост)колоний.

Клавдия Смола обращается к малым северным литературам в последний период существования советской многонациональной литературы, когда этот универсальный институт начал осыпаться с краев, посылавших в центр амбивалентные сигналы изначальной (соцреалистической) солидарности и нового протеста. Совмещая полузабытые устные традиции своей локальной культуры, эстетику соцреализма и новую этику региональной экологии, такие авторы, как Еремей Айпин и Анна Неркаги, создавали нативную литературу на последней грани советского канона. Будучи одновременно этнографами и современными сказителями своих этносов, они наследовали традициям постколониальных авторов мировой литературы с их индигенной критикой колонизатора, высказанной на его культурном языке. В 1990-х годах радикальный пересмотр советской истории проникнут в их прозе пафосом не только возвращения к аборигенным истокам, но и ретроутопии дореволюционной православной империи. Как на уровне идеологического симбиоза, так и на уровне уникальной

8 Ср. об этом подробнее в статье Клавдии Смолы в данном блоке.

гибридной поэтики северные прозаики создают собственно постколониальный текст — иконический знак промежуток.

Перформативный синтез разных традиций в «переизобретении» локальной культуры анализирует также **Кирилл Корчагин** на примере ферганской поэтической школы 1990-х годов. Соединяя узбекский контекст с западноевропейским и американским высоким модернизмом, средиземноморской поэзией и поэтической практикой неофициальной ленинградской литературы 1980-х, поэты Шамшад Абдуллаев, Хамдам Закиров, Хамид Исмаилов и Даниил Кислов возрождали локальный поэтический язык с помощью космополитической мифологии западной культуры. В таком отраженном виде конструировалось представление о мировом культурном наследии нового Узбекистана. При этом, обращаясь к двойному адресату — читателю местной и мировой литературы, — поэты ферганской школы воссоздают и имитируют представление о мусульманском Востоке, свойственное колониальному дискурсу. Элементы самоэкзотизации соседствуют в переводах узбекской поэзии с практикой преобразования и «ориентального» остранения русского поэтического языка, что позволяет говорить о ферганцах как о мастерах синкретической локальной поэтики.

Игровую конфронтацию пре- и постмодерна — центральный прием в повести татарского писателя Ильдара Абузярова «Чингиз-роман» — исследует в своей статье **Дирк Уффельманн**. Помещая этническое в зоне густой гендерной архаики, Абузяров имеет в виду самое живое настоящее: вопреки всякой миметике его главный герой является по очереди то диким степным кочевником, то участником конкурирующих уголовных группировок в большом постсоветском городе. Слияние исторической реальности кочевых племен и современной городской действительности постоянно обнаруживает, однако, свою литературность: воспроизводя литературные маски таких писателей-«асоциалов», как Чарльз Буковски, Абузяров деконструирует эти и другие образцы классической гегемонной маскулинности. Само же кочевничество на фоне «просвещенной дикости» автора/героя отсылает к постмодернистским номадологическим конструкциям Делёза и Гваттари, а более всего к скифскому дискурсу русской литературы. Не в последнюю очередь провокационная позиция бунтаря и варвара на фоне «цивилизованных» декораций служит Абузярову инструментом для создания «бренда» на постколониальном литературном рынке (Хагген).

Далеко не игровую субъективность анализирует **Станислав Львовский** в прозе Германа Садулаева. Травматическая память чеченских войн порождает постсоветско-постколониальное расщепление образа главного героя «Шалинского рейда», наполовину русского, наполовину чеченца. Этот раскол символизирует положение Северного Кавказа и особенно Чечни как внутреннего Другого в истории России и проекцию на нее вечного «востока» в составе «империи двуликого Януса» (Тлостанова). Расколотой этнической и культурной идентичности соответствует в нарративе войны фрагментарность повествования (и памяти) и действующие на разных уровнях повествования тропы расчлененных человеческих тел. Отсутствие надежной субъективности «выброшенных из истории» создает ностальгию по потерянной целостности советского прошлого с его обещанием ассимиляции. И одновременно — прежде всего в повести «Я — чеченец!» — ностальгию по потерянной или как раз в момент потери болезненно рождающемуся мифу малой чеченской родины.

Характерно, что этот первобытный миф подкрепляется ссылкой на эссенциалистскую теорию этногенеза Льва Гумилева.

Три статьи этого блока представляют собой измененные и дополненные варианты статей, опубликованных в сборнике [Smola, Uffelman 2016]. Статья Кириллы Корчагина написана специально для настоящей публикации. Мы хотим поблагодарить Александра Скидана за помощь в редактировании текстов и Нину Ставрогину за перевод статьи Дирка Уффельманна с английского на русский.

Библиография / References

- [Андерсон 2001] — *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2001.
- (*Anderson B.* Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Moscow, 2001. — In Russ.)
- [Градскова 2012] — *Градскова Ю.* Күли семьи күли: «женщины отсталых народов» и советские политики культурности // Там, внутри: Практики внутренней колонизации в культурной истории России / Под ред. А. Эткинда, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 664—683.
- (*Gradszkova Ju.* Kuli sem'i kuli: "zhenshchiny otstalykh narodov" i sovetskie politiki kul'turnosti // Tam, vnutri: Praktiki vnutrenney kolonizatsii v kul'turnoy istorii Rossii / Ed. by A. Etkind, D. Uffelmann, I. Kukulin. Moscow, 2012. P. 664—683.)
- [Хобсбаум 2000] — *Хобсбаум Э.* Изобретение традиций // Вестник Евразии. 2000. № 1. С. 47—62.
- (*Hobsbawm E.* The Invention of Tradition // Vestnik Evrazii. 2000. № 1. P. 47—62. — In Russ.)
- [Эткинд, Уффельманн, Кукулин 2012] — Там, внутри: Практики внутренней колонизации в культурной истории России / Под ред. А. Эткинда, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
- (*Tam, vnutri: Praktiki vnutrenney kolonizatsii v kul'turnoy istorii Rossii / Ed. by A. Etkind, D. Uffelmann, I. Kukulin.* Moscow, 2012.)
- [Эткинд 2013] — *Эткинд А.* Внутренняя колонизация: имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
- (*Etkind A.* Vnutrennyaya kolonizatsiya: Imperskiy opyt Rossii. Moscow, 2013.)
- [Chari, Verdery 2009] — *Chari S., Verdery K.* Thinking Between the Posts: Postcolonialism, Postsocialism, and Ethnography After the Cold War // Comparative Studies in Society and History. 2009. Vol. 51. № 1. P. 6—34.
- [Chernetsky 2007] — *Chernetsky V.* Mapping Postcommunist Cultures: Russia and Ukraine in the Context of Globalization. Montreal: McGill-Queen's University Press, 2007.
- [Cornis-Pope 2012] — *Cornis-Pope M.* Local and Global Frames in Recent Eastern European Literatures: Postcommunism, Postmodernism, and Postcoloniality // Journal of Postcolonial Writing. 2012. Vol. 48. № 2. P. 143—154.
- [Geertz 1988] — *Geertz C.* Works and Lives: The Anthropologist as Author. Stanford, CA: Stanford University Press, 1988.
- [Groys 2005] — *Groys B.* Die postkommunistische Situation // Zurück aus der Zukunft. Osteuropäische Kulturen im Zeitalter des Postkommunismus / B. Groys, A. von der Heiden, P. Weibel (Hg.). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2005. S. 36—48.
- [Hann 2002] — Postsocialism: Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia / Ch. Hann (Ed.). London et al.: Routledge, 2002.
- [Hladik 2011] — *Hladik R.* A Theory's Travelogue: Post-Colonial Theory in Post-Socialist Space // Teorie vědy/Theory of Science. 2011. Vol. 23. P. 561—590.
- [Kalnačs 2015] — *Kalnačs B.* Postcolonial Narratives, Decolonial Options: The Baltic Experience // Postcolonial Europe? Essays on Post-Communist Literatures and Cultures / D. Pucherová, R. Gáfrík (Eds.). Leiden; Boston, MA: Brill Rodopi, 2015. P. 47—64.
- [Kandiyoti 2002] — *Kandiyoti D.* How Far Do Analyses of Postsocialism Travel? The Case of Central Asia // Postsocialism: Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia / Ch. M. Hann (Ed.). London et al.: Routledge, 2002. P. 238—257.
- [Kelertas 2006] — *Kelertas V.* Introduction // Baltic Postcolonialism / V. Kelertas (Ed.). Amsterdam; New York: Rodopi, 2006. P. 1—10.
- [Kołodziejczyk, Şandru 2012] — *Kołodziejczyk D., Şandru C.* Introduction: On Colonialism,

- Communism and East-Central Europe — Some Reflections // *Journal of Postcolonial Writing*. 2012. Vol. 48. № 2. P. 113—116.
- [Kolodziejczyk, Şandru 2016] — Postcolonial Perspectives on Postcommunism in Central and Eastern Europe / D. Kolodziejczyk, C. Şandru (Eds.). London: Routledge, 2016.
- [Korek 2007] — *Korek J.* Central and Eastern Europe from a Postcolonial Perspective // *From Sovietology to Postcoloniality: Poland and Ukraine from a Postcolonial Perspective* / J. Korek (Ed.). Stockholm: Södertörns Högskola, 2007. P. 5—20.
- [Lefter 2001] — *Lefter I.* Poate fi considerat postcomunismul un post-colonialism? // *Postcolonialism și Postcomunism: Cahiers de l'Echinoc Journal*. 2001. Vol. 1. P. 117—119.
- [Mazierska, Kristensen, Năripea 2014] — *Mazierska E., Kristensen L., Năripea E.* Postcolonial Theory and the Postcommunist World // *Postcolonial Approaches to Eastern European Cinema: Portraying Neighbours On-Screen* / E. Mazierska, L. Kristensen, E. Năripea (Eds.). London; New York: I.B. Tauris, 2014. P. 1—39.
- [Mignolo 2011] — *Mignolo W.* *The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options*. Durham, NC; London: Duke University Press, 2011.
- [Moore 2001] — *Moore D.Ch.* Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique // *Papers of the Modern Language Association*. 2001. Vol. 16. № 1. P. 111—128.
- [Nagel 1994] — *Nagel J.* *Constructing Ethnicity: Creating and Recreating Ethnic Identity and Culture* // *Social Problems*. 1994. Vol. 41. № 1. P. 152—176.
- [Owczarzak 2009] — *Owczarzak J.* Introduction: Postcolonial Studies and Postsocialism in Eastern Europe // *Focaal — European Journal of Anthropology*. 2009. Vol. 53. P. 3—19.
- [Pavlyshyn 1992] — *Pavlyshyn M.* Post-Colonial Features in Contemporary Ukrainian Culture // *Australian Slavonic and East European Studies*. 1992. Vol. 6. № 2. P. 41—55.
- [Pavlyshyn 2016] — *Pavlyshyn M.* “The Tranquil Lakes of the Transmontane Commune”: Literature and/ Against Postcoloniality in Ukraine After 1991 // *Postcolonial Slavic Literatures After Communism* / K. Smola, D. Uffelman (Eds.). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016. P. 59—82.
- [Pucherová, Gáfrík 2015] — *Pucherová D., Gáfrík R.* Introduction: Which Postcolonial Europe? // *Postcolonial Europe? Essays on Post-Communist Literatures and Cultures* / D. Pucherová, R. Gáfrík (Eds.). Leiden; Boston, MA: Brill Rodopi, 2015. P. 11—24.
- [Reilly 1978] — *Reilly J. M.* Criticism of Ethnic Literature: Seeing the Whole Story // *MELUS*. 1978. Vol. 5. № 1. P. 2—13.
- [Rowley 2012] — *Rowley Th.* Recent Events: Postcolonial Approaches to Postsocialist Experiences, Cambridge, 24—25 February 2012 // *East European Memory Studies*. 2012. Vol. 10. May 2012, P. 14—17 (<http://www.memoryatwar.org/enewsletter-May-2012.pdf> (accessed: 21.04.2016)).
- [Şandru 2011] — *Şandru C.* Textual Resistance: “Over-Coding” and Ambiguity in (Post)Colonial and (Post)Communist Texts // *Postcommunism: Intersections and Overlaps* / M. Bottez, M.-S.D. Alexandru, B. Ştefănescu (Eds.). Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2011. P. 39—56.
- [Şandru 2015] — *Şandru C.* Joined at the Hip? About Post-Communism in a (Revised) Postcolonial Mode // *Postcolonial Europe? Essays on Post-Communist Literatures and Cultures* / D. Pucherová, R. Gáfrík (Eds.). Leiden; Boston, MA: Brill Rodopi, 2015. P. 65—83.
- [Smola, Uffelman 2016] — *Postcolonial Slavic Literatures After Communism* / K. Smola, D. Uffelman (Eds.). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016.
- [Spivak 1996] — *Spivak G.C.* Subaltern Talk: Interview with the Editors (1993—94) // *The Spivak Reader: Selected Works by Gayatri Chakravorty Spivak* / D. Landry, G. Maclean (Eds.). New York; London: Routledge, 1996. P. 287—308.
- [Ştefănescu 2012] — *Ştefănescu B.* *Postcommunism/Postcolonialism: Siblings of Subalternity*. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2012.
- [Tlostanova 2012] — *Tlostanova M.* Postsocialist ≠ Postcolonial? On Post-Soviet Imaginary and Global Coloniality // *Journal of Postcolonial Writing*. 2012. Vol. 48. № 2. P. 130—142.
- [Tlostanova, Mignolo 2012] — *Tlostanova M., Mignolo W.* *Learning to Unlearn: Decolonial Reflections from Eurasia and the Americas*. Columbus, OH: Ohio State University Press, 2012.

Клавдия Смола

Постколониальные литературы Севера:

АВТОЭТНОГРАФИЯ И ЭТНОПОЭТИКА

Klavdia Smola

Postcolonial Literatures of the North: Autoethnography and Ethnopoetics

Клавдия Смола (Университет Грайфсвальд; профессор института славистики; PhD; доктор наук) klavdia.smola@uni-greifswald.de.

Ключевые слова: постколониальность, литературы Севера, гибридность, этнопоэтика, автоэтнография, культурный перевод, постсоветская субъективность

УДК: 812.161.1

В статье анализируются поздние и постсоветские литературы Севера на русском языке. Совмещая нативное письмо с автоэтнографией, а миф с культурным переводом, тексты коренных авторов находятся одновременно внутри и вне русского и советского способа «говорения», обнаруживая тем самым двойственность, свойственную постколониальным литературам. Этнические литературы анализируются как особого типа свидетельства, в которых амбивалентная, расщепленная субъективность (имплицитного) автора и героев проявляется на уровне риторики, тропов, аргументальной структуры и идеологического «дизайна». Исследование примыкает как к советологическим, так и к постколониальным исследованиям последних лет, заинтересованным в дискурсивном формировании социальной, политической и культурной субъективности.

Klavdia Smola (University of Greifswald; visiting professor at the Department of Slavic Studies; PhD; Dr habil.) klavdia.smola@uni-greifswald.de.

Key words: postcoloniality, literatures of the North, hybridity, ethnopoetics, autoethnography, cultural translation, post-Soviet subjectivity

UDC: 812.161.1

In her paper, Klavdia Smola reflects upon late-Soviet and post-Soviet texts by two Siberian authors — Eremey Aypin and Anna Nerkagi — who narrate the traumatic historical experiences of their populations in the margins of the Soviet state. Aypin and Nerkagi appear as indigenous representatives, ethnographers, and cultural translators of the Northern small peoples. Being both the Soviet regime's Other and its victim, the textual subject simultaneously shares communist or imperial modes of speaking. They both repudiate and reproduce the Soviet narrative “blueprint” and bear witness to the split, subversion, and dependency of the narrating voice. In a performative way, the contamination of indigenous and European elements reveals the uncertain relationship between the archaic and the modern, the mythical and the rational within the fictional worldview of the authors.

- Колонизаторы английские, французские, испанские, русские и прочие. Будь они в Америке, в Африке или в Сибири. Все они одинаковые <...>
- Колонизаторы русские?
- А их не было?
- Они не снимали скальпы. Даже в царские времена.
- Вам повезло. В отличие от индейцев.

Еремей Айпин [1990: 305]

Постколониальная теория и (пост)коммунизм

«Пересадка» постколониальной теории на восточноевропейскую почву обсуждалась и испытывалась в последние два десятилетия как в западной, так и в российской гуманитарной науке. Результат этого трансфера — мультидис-

курсивный и порой противоречивый академический нарратив, в рамках которого атрибут «постколониальный» часто используется как троп политического и культурного неравенства и тем самым как категория чистой риторики. Так, понятия субальтерности, инаковости («othering»), ориентализма, гегемонии, третьего пространства («third space») и мимикрии превратились в универсальные означающие языка, описывающего социальные и политические различия. Расширить рамки «классической» постколониальной географии и истории позволяет нередко сам понятийный инструментарий: например, термин *постколониальность*, в отличие от *постколониализма*, отсылает к более общим (психологическим, ментальным) характеристикам, возникающим как следствии постколониальной политики¹.

Несмотря на сопровождающую ее риторическую инфляцию², миграция постколониальной теории с запада на восток спровоцировала взлет аналитической «чувствительности» по отношению ко многим явлениям и процессам в (пост)социалистическом пространстве. Имея в виду полюса, с одной стороны, метафорического, а с другой — исторического использования понятия постколониального, я ориентируюсь на следующую градацию: (пост)колониальность, или постколониальное состояние, становится наиболее явственным симптомом и следствием исторических процессов, когда одна (часто, но не всегда более многочисленная) этническая группа в целях модернизации присваивает власть над отличной от нее по культуре и религии («индигенной») этнической группой. В случае Российской и советской империй речь идет в первую очередь о цивилизаторской и дисциплинирующей позиции славянских народов по отношению к неславянским и/или неевропейским (мусульманским, еврейским³ или политеистическим)⁴. Именно здесь феномены другости и (само)ориентализации обретают наиболее точный (пост)колониальный смысл, а пространственно-временной разрыв (архаика/модерность, свое/чужое, универсальное/нативное), как и пространственно-временная гибридность, становятся наиболее очевидными. И именно здесь можно говорить о наибольшей близости к классическим (пост)колониальным парадигмам власти и ее опровержения.

Это определение позволяет более тесно связать методологию — то есть неизбежно дедуктивное «испытание» постколониальных категорий на культурном пространстве Восточной Европы — с конкретными историческими и геополитическими явлениями. Более того, оно позволяет оценить расстояние между все более размытыми по смыслу постколониальными тропами⁵ и конкретными контекстами (пост)колониализма, породившими теорию Франца Фанона, Эдварда Саида и Хоми Бабы.

1 Синонимично ему во многих контекстах понятие «постколониального состояния» (postcolonial condition) (см.: [Peiker 2006]).

2 Виктория Куттайнен говорит о «популярной постколониальности» (popular postcoloniality) [Kuttainen 2012: 42].

3 Имеются в виду разные по культуре и географии еврейские меньшинства, в том числе (бывшего) Советского Союза. Что касается «городских», часто высокообразованных ашкеназских/русских евреев (поздне)советского времени, то здесь категория индигенности, несомненно, не работает, а их ситуация требует более дифференцированного постколониального подхода (см. подробно в: [Smola 2012/2013]).

4 На севере эта воспитательная миссия в значительной степени сочеталась с использованием природных ресурсов региона.

5 Своего рода системным тропом, стирающим эту дистанцию, является концепция «внутренней колонизации» [Эткинд 2013].

В изучении (пост)колониальной ситуации на (бывших) советских территориях названные выше этническая и религиозная составляющие особенно показательны, если говорить о тех неславянских окраинах, которые в разные периоды характеризовались как отсталые. Такое культурное различ(ен)ие, спроецированное на временную ось, побудило Мадину Тлостанову, исследовательницу «глобального юга» на европейском Востоке (см.: [Tlostanova 2011], заняться посткоммунизмом в постколониальном ключе: «Здесь, в неевропейских русских/советских колониях, постколониальные категории наиболее применимы. <....> В Средней Азии [процессы исключения] привели к самоориентализации, а на Кавказе к символическому “обелению” себя <...>» [Tlostanova 2012: 135]. По Тлостановой, советские и постколониальные исследования соприкасаются прежде всего там, где знаковые социалистические категории класса и идеологии переводились на язык расы и этноса [ibid.: 137].

В этой статье я обращаюсь к поздней и постсоветской литературе Севера на русском языке, которая в своих основных темах и характеристиках — неславянская «этничность», культурная инаковость, периферийность, экология и травматический опыт советского режима (этнические чистки, депортация) — выстраивает художественную картину мира постколониального типа. Топос советской аккультурации малых северных народов играет при этом центральную роль. Художественные тексты я анализирую как особого типа свидетельства, в которых амбивалентная, расщепленная субъективность (растворенного в тексте) автора и героев проявляется на уровне риторики, стилистических приемов, аргументативной структуры и идеологического «дизайна». Мой анализ примыкает как к советологическим, так и к постколониальным исследованиям последних десятилетий, изучающим формирование социальной, политической и культурной субъективности. Так, Тони Митчелл исследует возникновение постколониального субъекта в Индии постбританского периода в зоне смешения европейской модерности и местной традиции, причем понимает его как принципиально незавершаемый процесс культурного перевода [Mitchell 2000]. Интерес к субъекту истории сочетается со сравнительно новым акцентом на локальных, смешанных, идиосинкретических типах (пост)колониальности и (пост)коммунизма. В современном «самопредставлении вдовы в индуистском обществе» Митчелл наблюдает «локальное проявление модерности» [Mitchell 2000: xvi—xxvi]. Окви Энвезор пишет о «преобразовании модерности в специфические местные варианты», своего рода «цитате» модерности на перифериях [Enwezor 2010: 596]. Изучение гибридных культур приводит к выводу, что обычный («маленький») человек не (только) объект, но всегда и носитель, субъект исторического действия («agency»): так, в бывших советских республиках советизация и аккультурация стали возможными лишь благодаря развитию у населения и власти общего, разделяемого обоими чувства законности [Weisinger 1995: 162]. Разделяемая с колонизатором идентичность исключает взгляд на человека только как на объект или жертву навязанной ему идеологии и объясняет успех даже самых монструозных директив «сверху»⁶.

С начала 1990-х годов в рамках постколониальных исследований появился целый ряд работ о гибридности, локальном присвоении колонизирующей

6 О феномене «разделяемой идентичности» в советском политическом и культурном дискурсе см. у Коткина: [Kotkin 1995: 198—237], введшего метафору «говорящего большевика» («speaking bolshevik»), и Брукса: [Brooks 2000].

культуры и переводе универсальной исторической миссии на местный язык. Гиян Пракаш именно в «сдвиге колониальных оппозиций» видит основной симптом состояния культур «после колониализма»: «Как раз в <...> области смешений и пересечений, созданных практикой колониальной власти, границы смещались, и разделение на колонизирующего и колонизованного дестабилизировалось» [Prakash 1995: 3].

В последние несколько лет рефлексия субъективности в ситуации *пост*-провоцирует все более интенсивный диалог постсоветских исследований с постколониальными. Неслучайно, например, многие авторы специального выпуска «Journal of Postcolonial Writing» (2012) размышляют о «гибридных формах идеологической идентификации — с социализмом и одновременно в оппозиции к нему» [Kołodziejczyk, Śandru 2012: 114]⁷, а число исследователей, ставящих в единый контекст категории традиционности, модерности, советскости и колониальности, стремительно растет. Антрополог Сергей Абашин выделяет эти четыре атрибута во введении к своей монографии об узбекском кишлаке Ошоба: он анализирует локальность Ошобы как пример постколониальной гибридности в Средней Азии. Вместе с тем Абашин опирается и на этнографические работы, оспаривающие чистоту и однородность мест и идентичностей [Абашин 2015: 697–702].

Изучение моделей постколониального сознания в автобиографических и художественных текстах — классический предмет постколониальных исследований со времен возникновения последних. На примере литературы исследуется построение постколониального *нарратива* в самом широком (нелитературном — например, идеологическом) смысле этого термина. В то же время явления амбивалентности, удвоенности повествовательной перспективы и слияния противоположных поэтик на разных уровнях повествования стали «знаком качества» гибридных литератур эпохи постколониальных обществ, миграций и нового космополитизма в целом⁸. Проявление постколониальности отмечают, между прочим, в открытых временных и пространственных моделях, многоголосии, поэтике многоязычия и т.д.⁹

Я опираюсь в своем анализе, помимо прочего, на категории, разработанные Биллом Эшкрофтом, Гарет Гриффитс и Хелен Тиффин в их известной монографии о поэтике постколониальных литератур [Ashcroft, Griffiths, Tiffin 1989]. Эта поэтика явлена прежде всего в самом акте создания текста на языке «импортированной», у- и при-своенной культуры колонизатора, то есть в акте (частичной) идентификации с ней: «Самим фактом письма на языке доминантной культуры авторы сигнализируют, что они <...> принадлежат <...> привилегированному классу, наделенному языком, образованием и досугом, необходимыми для создания таких текстов» [Ashcroft, Griffiths, Tiffin 1989: 5]. Привнесение в этот изначально другой язык индигенной лексики и перспективы приводит к «лингвистическому смещению» и идеологической двусмыс-

7 О гибридных концептах модерности и об антидихотомических моделях постколониальности см.: [Tipps 1973; Mitchell 2000; Enwezor 2010], о них подробнее в: [Абашин 2015, 22–23, 26–27, 41–42].

8 Как раз такое «испытание» постколониальной теории на самых разных художественных территориях критикуют сторонники исторического, а не метафорического подхода.

9 См. примеры и теорию постколониальной нарратологии в: [Birk, Neumann 2002; Peiker 2006; Hausbacher 2009].

ленности [ibid.: 10]. Нередко подобная двойственность заключается в укорененности повествования в эксплицитно критикуемом в нем же дискурсе, а также в самой попытке поэтической и интеллектуальной деколонизации¹⁰.

Обратные нарративы (пост)советского времени

Проза хантыйца Еремея Айпина и ненки Анны Неркаги, рассматриваемая ниже, входит в дискурс поздне- и постсоветского «этнического» пересоздания истории (и истории литературы), направленного из периферии в центр, — «writing back». Травматическое письмо советского Другого — нарратив насилия, депортаций, чисток и геноцидов — возникает в самый начальный период деканонизации института советской многонациональной литературы в 1950-е годы. Универсальная имперская модель многонациональной литературы, основанная на гигантском аппарате переводов на русский и их симулякров (ср.: [Witt 2011]), неизбежно таила в себе и возможность отклонений и субверсий со стороны «просвещенной» центром периферии¹¹. Постсоветский «бум» альтернативного моделирования истории и литературы подготовили такие тексты, как «Черные поезда» крымского татарина Эрвина Умерова (рассказы писались с 1960-х годов), роман «Декада» еврея Семена Липкина (1990) и значительно более известные повести «И дольше века длится день» киргиза Чингиза Айтматова и «Ночевала тучка золотая» русского Анатолия Приставкина (1987). Воспоминания «Ассирийцы в Сибири» Ильи Вартанова (2000)¹², повесть «Молчащий» Анны Неркаги (1996), романы «Божья мать в кровавых снегах» Еремея Айпина (1999) и «Ложится мгла на старые ступени» Александра Чудакова (2000) прямо наследуют этим моделям, занимавшим очень разную позицию по отношению к канону многонациональной советской литературы¹³. Тем не менее именно в 1990-е и 2000-е годы «аппетит на травму», «постколониальная виктимология» и альтернативные версии истории [Kuttainen 2012: 33] становятся заметной тенденцией и в литературах Канады, Австралии и Америки.

Ориентируясь на модели переписывания колониального канона в литературах Африки, Индии и Америки, я отношу эти тексты к субжанру *обратного нарратива* («counter-narrative»). В более узком и точном для данной статьи смысле обратный нарратив — это повествование, которое опровергает властный (мета)нарратив канона, но одновременно использует его как структурный, дискурсивный и лингвистический шаблон. Такого рода зеркало гегемониального «рассказа» создается от лица бывшего угнетенного. В качестве обратного

10 См. выражение «write back» (буквально «писать ответ», то есть переписывать, заново писать литературу, а вместе с ней и историю) в заглавии труда Эшкрофта, Гриффитса и Тиффина, ставшее общим местом (и тропом) постколониального научного языка.

11 Показательна в этом смысле, например, биография чувашского поэта Геннадия Айги.

12 См. о Вартанове подробно в: [Smola 2016: 226–231].

13 В контексте постсоветских национально-этнических конфликтов в тот же дискурс «writing back» входят «Хуррамабад» Андрея Волоса (1997), «Я — чеченец!» (2006) и «Шалинский рейд» (2010) Германа Садулаева и «Салам тебе, Далгат!» Алисы Ганиевой (2006). В малоизвестной автобиографической повести «Погребенные без савана. Документальная повесть» (1990) узбекский поэт Шукрулло (Шукрулло Юсупов) обличает советскую национальную политику как неявную форму колониализма (см.: [Шукрулло 1995: 155]; текст был опубликован в русском переводе Эрвина Умерова). См. также статью Ст. Львовского в этом блоке.

нарратива Линн Виола исследует, например, рассказы жертв раскулачивания и бывших спецпоселенцев: «Распад Советского Союза дал им возможность если не пересоздать себя <...> то по крайней мере выявить то, что было скрыто. <...> [Они] выстраивают тип нарратива, или биографии, прямо противоположный официальному автобиографическому письму» [Viola 2011: 87]. Интересно, что в этих свидетельствах травмы авторы, обнажая жестокость режима, во многом воспроизводят воспринятые ими характеристики, топосы и риторику социалистического реализма. (Так, в них говорится о значении советского образования и школ в ссылке, обеспечивших социальное продвижение осужденных при коммунизме.) Рассказчики разделяют с властью язык саморепрезентации, ценности «империи положительных действий» [Martin 2001]¹⁴.

Именно расщепленность повествовательного субъекта и неоднозначность текстуальных стратегий делают прозу Айпина, Неркаги, Вартанова и других перформативным выражением (пост)советской постколониальности. И именно эта гибридность становится дискурсивным выражением коллективной травмы¹⁵ периода позднего социализма и после. Тексты этих авторов находятся одновременно внутри и вне коммунистического/колониального способа «говорения», выражая тем самым протест и зависимость.

Автоэтнография Севера

Американский антрополог Клиффорд Гирц был одним из первых, кто занялся проблемой этнографического субъекта. Гирц понимает этнографию как (художественный) нарратив и призывает изучать его «образность, метафорику, фразеологию и голос» [Geertz 1988: 2]. До сих пор казавшиеся объективными научные описания далеких, ритуальных культур обнаруживают при ближайшем рассмотрении специфику своей субъективности и точки зрения. Поворот в культурной антропологии, социологии и этнологии, связанный с именами Гирца, Джеймса Клиффорда, Майкла Фишера и других исследователей 1960—1990-х годов, происходил одновременно с возникновением знаковых постколониальных трудов, деконструирующих европейский, или европоцентричный, взгляд на Другого (ср. мощный культурологический троп ориентализма, сформировавшийся по следам монографии Эдварда Саида). Под их влиянием появляются концепции «перформативной этнографии» (Норман К. Дензин) и «автоэтнографии» (Мэри Луиз Пратт) [Pratt 1992]. В автоэтнографическом письме субъект и объект научного описания совпадают, так как субъектом выступает сам представитель коренной культуры. Так как этнография в понимании современной антропологии становится литературой, то наиболее интересны как раз собственно литературные тексты, использующие этнографический метод. Они изначально строятся на коллективных тропах, оценках, риторике и точке зрения. Повествователь соединяет в таких текстах взгляд этнографа и представителя аборигенного сознания, помещая себя в зону промежутка, ха-

14 Стивен Коткин [Kotkin 1995: 230—237] и Дэн Хили [Хили 2012] анализируют двойную стратегию тоталитарного советского государства — одновременное обвинение и воспитание — на примере концентрационных лагерей в системе ГУЛАГа.

15 Интердисциплинарное изучение травматического письма берет начало в исследованиях Холокоста и геноцидов (Holocaust и Genocide Studies).

ракторного для постколониальной позиции «цивилизованного туземца», или первого поколения, оторвавшегося от нативного окружения.

В нашем случае двойственность перспективы возникает уже потому, что писатели и поэты, родители которых говорили на местных языках Севера и которые сами «вышли» из этих языков, пишут в основном на русском и выполняют поэтому роль культурных посредников¹⁶. Это авторы, родители и(ли) дедушки которых были еще шаманами, охотниками, рыболовами, но которые сами учились в интернатах, а потом в высших учебных заведениях в столицах или областных городах, чаще всего в Литературном институте в Москве или в Институте народов Севера в Ленинграде¹⁷. С сознанием последних могикан и страхом потери они собирали фольклор своих этносов, защищали диссертации по их культурам, вели полевые исследования и не в последнюю очередь создавали двуязычную литературу. Произведения этих авторов-(авто)этнографов сочетают культурный перевод и этнопоэтику.

Еремей Айпин: нативное письмо и ретроутопия

Еремей Айпин, один из самых известных писателей малых русскоязычных литератур, в поздне- и постсоветской период стал центральной культурной и политической фигурой северных регионов. Будучи в конце 1980-х — начале 1990-х годов членом Совета народных депутатов и представителем президента РФ в Ханты-Мансийском округе, он активно выступал в защиту сохранения исчезающей культуры и природы народов Югры. В 1994 году он выступил на 49-й сессии ООН от Арктического региона планеты.

Айпин родился в семье хантыйского охотника в селе Варьеган. Его дед и прадед были шаманами, а сам он ребенком наблюдал древние угорские обычаи и обряды, например Медвежий праздник, уже в 1970-е годы ставший преданием. В детстве же Айпин стал свидетелем разрушения северных локальных культур: газовая и нефтяная промышленность вытесняла традиционные промыслы, а российско-советская цивилизация — мир верований, обычаев и магии. Как и многих других детей из коренных «отсталых» семей, Айпина рано забрали у родителей, так что он воспитывался в интернате, где позволялось говорить только по-русски. После окончания интерната Айпин уехал в Москву учиться в Литинституте и, как представитель одной из младописьменных советских литератур, сразу же столкнулся с проблемой языка: литературы на его родном аганском диалекте еще не существовало. Чтобы профессора могли прочесть его первые зарисовки, он переводил их на русский язык [ср.: Огрызко 2006: 35—36]. Но и чтобы войти в систему советской многонациональной литературы, надо было писать прежде всего на социалистической *лингва франка*, то есть на русском¹⁸.

Айпин принадлежит ко второму поколению малых литератур¹⁹, которое начало писать о конфликте между (советской) цивилизацией и коренными

16 Ср. подробнее: [Слезкин 2008: 407—412].

17 Ср. биографии Юрия Рытхэу, Ювана Шесталова, Еремея Айпина, Анны Неркаги или Татьяны Молдановой.

18 Большинство представителей малых советских литератур в 1970-е годы жили уже в Москве и Ленинграде.

19 Другие наиболее известные представители северных литератур поздне- и постсоветского периода — это Юрий Рытхэу, Владимир Санги, Роман Ругин, Юван Шесталов,

культурами, а также о катастрофе насильственной модернизации на советской периферии [Рогачев 2002: 139—140]. «Великий» коммунистический нарратив, который Айпин еще умеренно корректирует в своих советских текстах, это не только стиль, риторика и историография советской пропаганды в Сибири, но и сибирская соцреалистическая литература 1930—1950-х годов с ее пафосом счастливой эмансипации северных народов после Октябрьской революции²⁰. Творчество Айпина берет начало в экологической прозе 1960-х, наследовавшей поэтике соцреализма и нового почвенничества и выводявшей повествование писателей-деревенщиков на все более широкие географические территории. Кроме деревенщиков, это были и другие русские авторы, искавшие на советской периферии, особенно на Севере, духовного возрождения [ср.: Слезкин 2008: 402—407]. Одновременно с такими литераторами, как Владимир Санги и Анна Неркаги, молодой Еремей Айпин писал на самой последней грани советского канона, в зоне контаминации и зарождающейся субверсии.

Частичная укорененность в собственной индигенной культуре, объяснимая в контексте биографии Айпина, важна для понимания характера его меморативной, этнографической и ностальгической поэтики. Так, художественное воплощение локального мифа и погружение в мировосприятие северного аборигена достигаются средствами русской и советской литературы и на русском языке (сам трагический герой Айпина, потерянный между цивилизацией и природой, — продукт европейской, и в частности русской, литературной традиции). Столкновение культур («*clash of cultures*») не только основная тема, но и свойство гибридной поэтики и текстуальной структуры: Айпин выступает как анти- и постколониальный автор, с одной стороны, открыто говорящий об истории колонизации своего народа²¹, а с другой — отражающий этот процесс на перформативном уровне: через риторiku, фокализацию и сюжет, которые он разделяет с «великим нарративом» соцреализма.

Творчество Айпина вполне можно изучать с помощью классических постколониальных категорий. Айпин-писатель — адвокат экологической этики и экологического знания, интеллеktуал и активист, пользующийся преимуществом принадлежности к вымирающей туземной культуре. Он возрождает устные традиции и мифы, изображает трагический разрыв между миром архаики и модерности и развивает уникальную этнопоэтику, говоря семиотически, на границе смешения двух референциальных систем. Коренной американский писатель племени кайова и друг Айпина, Н. Скотт Момадей, с энтузиазмом искал родство между своим собственным творчеством и творчеством писателей

Василий Ледков, Зоя Ненлюмкина, Анна Неркаги. О сибирской, и в частности хантыйской, литературе см.: [Огрызко 2002а; Комаров, Лагунова 2003]. Важные публикации появились в последние несколько лет в журналах «Мир Севера» и «Космос Севера».

20 Юрий Слезкин называет эти тексты новой версией «Большого путешествия», где прибытие на Север русских коммунистов приводит местное население к духовному пробуждению [Слезкин 2008: 364—374].

21 «Классические» колониальные мотивы в прозе Айпина и других северных авторов — это эксплуатация природных ресурсов, насильственная унификация гетерогенных северных культур в системе общих социальных институтов, уничтожение мифической картины мира аборигенов, воспитание детей в духе партийной функциональности, массовый алкоголизм (ср.: [Огрызко 2006: 89—94]).

русского Севера. Описанный Айпиным Медвежий праздник побудил Момадея написать книгу о мифах медведя в аборигенных культурах («В доме Медведя» («In the Bear's House»), 2010)²².

Наиболее известный роман Айпина «Ханты, или Звезда утренней зари» (1987) — образец гибридной постколониальной поэтики. В нем — в основном от лица коренного жителя Демьяна/Нимьяна — повествуется об истории коммунистической индустриализации и насаждении партийной пропаганды в одном из сел раннесоветского Севера. Показывается, помимо прочего, как перевод социалистических лозунгов и реалий на культурный язык хантов породил идиолект периферийных строек 1930-х годов, симбиоз мифа и модерности. Новая власть является в индигенном сознании воплощением злых духов природы — ее зовут здесь Красный Царь и Кровавый Глаз [Айпин 1990: 100—101]. В то же время старый сказитель Корнеев включает «красных людей» в положительную систему местного фольклора: в его понимании, коммунистическая партия стремится воплотить народный (первобытный) идеал гармонии между людьми и племенами, и вождь революции Ленин превращается в полубожественное существо, героя древних остякских легенд [Айпин 1990: 269—273]²³. Показан, однако, не только синтез парарелигиозного культа, но и языковая гибридизация, возникавшая при переводе русско-советского новояза и реалий цивилизации на северные диалекты:

Колхоз-хот — колхозный дом.
 Пошта и радио-хот — почта и радиостанция.
 Мыр-лавка — народный магазин.
 Лекарь-хот — медпункт.
 Невремэт-хот — школа-интернат
 [Айпин 1990: 99].

Такой перевод — реальный факт истории советизации периферий²⁴, но и элемент антиколониальной семантики текста. Приход советской власти на Север представлен как нашествие варварской силы, разрушающей вековые традиции²⁵. Как замечают Эшкрофт, Гриффитс и Тиффин, дву- и многоязычие обретает в постколониальных литературах политическое значение, здесь присутствие нативного языка — синекдоха культурного различия [Ashcroft, Griffiths, Tiffin 1989: 53]. Постколониальная гибридность явлена, однако, как было ска-

22 Вячеслав Огрызко упоминает сборник эссе Айпина, который был переведен на немецкий язык и в 1998 году под экзотическим заглавием «Русские индейцы» («Indianer Russlands») опубликован известным издателем Альфонсом Бенедиктором [Огрызко 2006: 146].

23 Об идиосинкразических смещениях реалий и символов советской и индигенной культур на Кавказе см. роман Семена Липкина «Декада». Юрий Слезкин упоминает о религиозном почитании Ленина коренными народами в Сибири 1930-х годов [Слезкин 2008: 278]. Однако такое же почитание «икон» Ленина наблюдалось и среди русских крестьян.

24 Александр Джумаев приводит впечатляющие свидетельства того, как население Средней Азии «переводило» технические инновации европейских путешественников (железную дорогу, фотоаппарат и граммофон) на язык локальных мифов, магии и религии. Джумаев называет это культурным присвоением чужого в условиях временного разрыва [Джумаев 2013].

25 За исключением некоторых цивилизаторских предприятий, улучшающих условия жизни туземцев.

зано выше, не в открытом *антиколониальном* пафосе, но в перформативном смешении дискурсов. Поэтика нативного сознания (один из многочисленных примеров — это топографические координаты местного пространства и времени, передающие взгляд охотника: «Месяц больших жертвоприношений», «Звезда утренней зари», «Большая река» [Айпин 2010: 11—13]) сочетается в романе с публицистической инвективой в адрес колхозов и интернатов и со статистическими данными о катастрофической демографии и массовом алкоголизме хантов в 1980-х годах. Экскурсы в социологию и историографию, с одной стороны, и техника несобственно прямой речи/потока сознания в передаче мыслей аборигена Демьяна, с другой, локализуют точку зрения повествователя на границе внешней и внутренней, «цивилизованной» и «архаической» перспектив. Соседство документа (и вместе с ним дидактики как европейского, так и российско-советского образца) и мифа становится иконическим выражением постколониального нарратива.

Антиколониализм «Хантов», напротив, предмет открытой дискуссии *dramatis personae*, которые открыто сравнивают практики советской и американской колонизации и судьбу хантов с участием американских индейцев. Американская исследовательница Кетрин Джефферсон (вымышленное лицо) приезжает в село, чтобы наблюдать жизнь находящейся под угрозой вымирания культуры хантов. Она объясняет Микулю, сыну Демьяна, что в древности, еще до возникновения пролива, остяки и вогулы, вероятно, жили рядом с американскими индейцами. На страницах журнала «National Geographic», который Кетрин привозит с собой, Демьян видит фотографии индейских поселений и ощущает древнее родство своего племени с племенами индейцев. В тексте это родство — эхо социалистического пафоса дружбы народов: «...к нему пришла мысль, что общечеловеческое начало, несмотря на расовые, языковые и прочие барьеры, у всех чувствуется одинаково. У человечности одна природа...» [Айпин 2010: 306]. А в контексте критики колониализма это прежде всего родство судеб: собрать материалы Кетрин не удастся, так как культура сибирских этносов утрачена и сами они почти вымерли, а администрация округа демонстрирует приезжим «официальный» фольклор — потемкинские деревни²⁶.

В постсоветском романе «Божья мать в кровавых снегах» основные свойства смешанного, нативно-этнографического письма Айпина обостряются до обличительной дихотомии. Автор рассказывает историю Казымского восстания 1933—1934 годов, жестоко подавленного Красной армией и приведшего почти к полному уничтожению коренных остяжских поселений и их культуры. Роман — документ постперестроечной эпохи, времени возрождения региональных культур и резкого неприятия советской модерности. Ставшая доступной правда о геноциде радикализует и контраст между антиколониальной речью и перформативным, иконическим выражением постколониальности — поверхностной и глубинной структурой текста. Как будет показано ниже, перформативное начало состоит не только в дискурсивном наложении друг на друга *этнопоэтики* и *этнографии*, но и в построении модели (пост)имперской ностальгии.

Взгляд туземца использован в тексте не как одна из перспектив, но как этический масштаб видения реальности в трагический момент истории. Неторопливо, обстоятельно описываются погребальные ритуалы, которые исполняет

26 Ср. фрагмент разговора Микуля и Кетрин в эпиграфе к этой статье.

Мать детей (вся ее семья погибает), ее разговор с мертвыми, которых она готовит для «Нижнего Мира» [Айпин 2010: 25]. Приводится ее диалог с Огнем и Землей, главными защитниками человека. Рассказчик, последовательно использующий технику вживания и идентификации, в то же время выполняет роль культурного переводчика, посредника между остранным, языческим миром остячки и русским читателем: он толкует слова, обращения и религиозные обряды; текст оснащен сносками и комментариями автора. Ценностная структура романа строго дихотомична: коммунисты, колониальные захватчики, оскверняют остяцкие святыни, пытаются и убивают шаманов, арестовывают и расстреливают остяцких «кулаков» и уничтожают целые стада оленей, которых люди здесь почитают и с которыми они соединены духовными узами [Айпин 2010: 103–104]. Остяки же принимают самолеты за огненных драконов и встречают испытания со стоическим спокойствием, защищая свою землю и семью: испокон веков они воспитывались воителями, их мир самодостаточен, но хрупок²⁷. В приложении к роману автор приводит документы по истории Казымского восстания — протоколы допросов, судебные заключения, описания пыток и экзекуций — до сих пор неизвестные свидетельства этнических чисток в северных регионах раннесоветской империи [Айпин 2010: 233–254].

Положительный противовес «Красной Власти» — ушедшая в прошлое и тоже «уничтоженная» коммунистами Российская империя. Остяцкие народы в романе Айпина — продукт гармонического слияния с русским народом в до-революционные времена, союза, глубоко укорененного в православной вере. В царские времена остяки приняли православную веру, но могли почитать и своих богов, так возникла смешанная религия. Православная икона Божьей Матери стоит в углу дома Матери детей и охраняет домашний очаг; местные же боги и идолы защищают человека за пределами дома [Айпин 2010: 66]. Айпин изображает здесь одно из характерных явлений колониальной истории — возникновение синкретических религий у колонизированных народов²⁸. Религиозная гибридность предстает у него изначальным гармоническим синтезом на лоне погибшей многонациональной империи²⁹. В связи с этим интересен образ раненого белого офицера (Белого): остяцкая семья берет его к себе в дом, выхаживает, а он в системе многоголосного повествования становится рупором идей самого автора. Вот что он думает: «Государь — это символ России, символ нации, символ веры. Это Божий наместник на земле» [Айпин 2010: 107]. Члены царской семьи, расстрелянные большевиками в 1918 году, толкуются в категориях православного мученичества (ср. церковнославянский, с монархическим привкусом, эпитет «убиенный»: «безвинно убиен[ый] рус-

27 Аналогична система персонажей и фокализации в повестях писательницы-хантытки Татьяны Молдановой 1990-х годов (ср.: [Литовская 2007]).

28 Так, американская поэтесса черокского происхождения Диана Гланси пишет об «индианизации христианства» в определенных регионах [Lundquist 2004: 219].

29 Айпин идеализирует относительно толерантную российскую политику ассимиляции и христианизации по отношению к народам Сибири (ср.: [Слезкин 2008: 105–106, 108]). Русские политики и ученые считали индигенные народы Кавказа, Средней Азии и Сибири отсталыми, недоразвитыми и дикими и были убеждены в необходимости и неизбежности европеизации и «цивилизации» этих территорий [Баберовски 2004: 351; Слезкин 2008: 111, 135–138, 140]. Владимир Бобровников сравнивает французский образ Алжира с российским образом Кавказа в XIX веке: жители дальних «экзотических» регионов казались как ученым, так и путешественникам разбойниками и дикарями [Бобровников 2010].

ск[ий] государ[ь]» [Айпин 2010: 111]). Офицер пишет иконы членов царской семьи и строит для них маленькую церковь. Здесь Мать детей узнает в лицах мучеников черты своих собственных детей: Белый, не замечая того, написал синтетический образ чада царя и детей спасшей его остяцкой семьи.

На уровне повествования этот религиозно-этический синтез выражен в особой этнопоэтике, поэтике шаманства³⁰: ритмически организованная проза с лексическими повторами и параллелизмами воспроизводит заклинания:

И Белый царь, побродив по небесным слоям необходимое число лет и зим, вернется на землю. Душа-то его нетленна. Душа-то его бессмертна. И все его дочери вернутся на землю. И его сын вернется на землю. И его супруга вернется на землю [Айпин 2010: 128].

Так текст превращается в (пост)имперскую ретроутопию. Политик и писатель Айпин предпринимает попытку соединить миф, экологию и политическую утопию, что проявляется, как показано, и на уровне поэтики и стиля. Тенденция обозначена уже в заглавии — русскую икону Божьей Матери «расстреливают» большевики.

В обратном нарративе Еремея Айпина историческое событие трактуется как символ коллективной судьбы индигенных народов Севера. Такого рода символизация истории — распространенный меморативный прием постколониальных литератур, например аборигенных американских. Именно так американский поэт осейжских корней Картер Ревард в поэме «Песня, которую мы продолжаем петь» («A Song That We Still Sing», 2001) вспоминает и напоминает о трагедии Сэнд-Крика³¹ (о Реварде см. в: [Lundquist 2004: 211—212]). Анализируя локальные литературы Канады, Хартмут Луц говорит о сознании «травматической исключительности» туземных народов. «Колониальная виктимизация» — концепция народа как коллективной жертвы — диктует бинарный взгляд на историю [Lutz 2015: 134—137], имитирующий дихотомии канона. Возможный только благодаря советскому образованию (и в его системе оценок) этнографический взгляд на свою культуру становится одновременно инструментом протестной речи туземца, средством эмансипации и симптомом травмы. Роман проникнут пафосом символического возвращения, пафосом «реставрирующей ностальгии» [Boym 2001]³². Парадоксальным и показательным образом имперская травма сопровождается тоской по культурному симбиозу. Позднесоветское неопочвенничество региональных литератур реинкарнирует здесь в постсоветское «writing back», в котором «back» означает не только «против», но и «назад (во времени)».

30 С наибольшей прямотой шаманскую поэтику вводит в свою очень советскую прозу Юван Шесталов.

31 Когда в 1864 году американские войска напали на мирный лагерь шайеннов и арапахо на реке Сэнд-Крик.

32 О публичных дебатах и тенденциях в посткоммунистической историографии, которые обосновывают консервативную, идеалистическую и ностальгическую картину прошлого, см.: [Горшенина 2007].

Анна Неркаги: от фольклорного романтизма к языческому христианству

«Анна Павловна Неркаги (в переводе с ненецкого — род негнущихся) родилась 15 февраля 1951 года в чуме, в горах Полярного Урала, где у подножия хребта Сайрей в ягельных долинах каслал стада ее отец-ненец. <...> В 1970 году окончила среднюю школу-интернат в пос. Аксарка Приуральского района, поступила в Тюменский индустриальный институт на геологоразведочный факультет. По состоянию здоровья окончила лишь два курса. С 1975 по 1976 год работает методистом в Тюменском областном управлении культуры»³³. Полусоцреалистическое письмо позднесоветского периода — прежде всего ее наиболее известная ранняя повесть «Анико из рода Ного» (1977) — сменяется у Неркаги в эпоху постимперских «ответов» экологически-спиритуальной, беспросветной фантазмагорией северного апокалипсиса в повести «Молчащий» (1996).

В «Анико из рода Ного» парадигматический сюжет деревенщиков, в многочисленных вариантах воспринятый региональными литературами, — возвращение блудного сына к родному очагу — отчасти автобиографичен: сама Неркаги возвращается из Тюмени в тундру, где создает семейный детский дом и школу и воспитывает детей-сирот [Лагунова 2003: 264—265]. Регионально-экологический гуманизм сочетается в жизнетворчестве почитаемой своими земляками Неркаги с православным миссионерством³⁴. «Творя» постперестроечную и путинскую современность Севера со значимой отсылкой к истории православного крещения сибирских народов, Неркаги, может быть, как никто другой способствует канонизации и реставрации нарратива имперского прошлого.

В отличие от автора, героиня повести 1970-х годов Анико не в состоянии преодолеть разрыв между прошлым и настоящим. Приехав из областного центра, где она учится, и еще в детстве отданная в интернат, она чувствует себя чужой в доме отца, охотника Себеруя. Анико почти не знает ненецкого языка и испытывает отвращение к убожеству и грязи чума и неловкость при общении с соседями. Эта горькая правда о советской модернизации как отчуждении, которую Неркаги высказала с такой прямотой чуть ли не первой в северных литературах (ср.: [Огрызко 2006: 15—16]), еще свидетельствует, как и у Айпина, о частичной принадлежности канону. Метод постколониальной нарратологии³⁵ — выявление перспектив, тропов, риторики, конструирования пространства — поможет продемонстрировать поэтику *фронтира*, свойственную повествованию Неркаги.

Аборигенная перспектива Себеруя «маркирована» в тексте на уровне синтаксиса и фокализации: это короткие, простые предложения, передающие мыс-

33 Сайт «Писатели Ямала» // <http://gcbs.ru/pub/pis/Nerkagi/Nerk.htm> (дата обращения: 10.01.2017).

34 Так, в 2011 году Неркаги построила в тундре деревянный храм Живоначальной Троицы; в ее школе дети изучают основы православной религии, а сама она активно сотрудничает с православным духовенством (в 2015 году она, например, принимала патриарха Кирилла и епископа Николая Салехардского в фактории Лаборовая). Характерны ее фотографии в Интернете, на которых она символически запечатлена в платке на голове в окружении своих питомцев, часто рядом со священниками и с иконой в руках.

35 См. примеч. 9.

ли туземца в форме несобственно-прямой речи: «Себеруй радовался в душе <...>: буран прошел, скоро жена с дочкой вернутся. До поселка недалеко. На сытых оленях быстро домчатся, к обеду уж дома будут. <...> А за Анико Идолы протят его» [Неркаги 1996: 256]. Тут же рассказчик дистанцируется, принимая перспективу предполагаемого читателя, и сочувствует: «Себеруя можно понять: не всякому доверишь то, что с трудом добывал и о чем мечтал всю свою жизнь» [там же]. Особый вид двуязычия — прямой перевод ненецкого выражения на русский язык, нарушающий нормы последнего, — другой способ передать местную речь: «*И бумагу Алешка знает*. Говорит на другом языке, как настоящий русский» [Неркаги 1996: 258; курсив мой. — К.С.]. Мифопоэтические тропы Неркаги использует, чтобы передать «архаический» синкретизм картины мира туземцев. В литературном тексте тропы, однако, неизбежно становятся качеством культурного мышления автора, поэтизирующего мир нативного Севера: «Покачивается на ветру лес могучих рогов»; «Вчера утром Пасса, заметив, как хмурится лоб хребта Саурей...» [там же: 254]; «Мысли теснились, как непослушные олени» [там же: 290].

Эта техника жвирования, или временного слияния точки зрения повествователя с нативным сознанием героев, соединяется с элементами автоэтнографии и стилистикой соцреализма:

Себеруя шестьдесят четыре года. Роста он небольшого, серые глаза всегда внимательны и добры.

Пасса <...> тоже небольшого роста, но в плечах шире, а походка... В походке ненца все есть: и плавность, и твердость, и гордость, и достоинство. Пасса затянут поясом, обшитым красным сукном, с самодельными медными украшениями. Сзади на мелких цепочках висят пять волчьих зубов — знак доблести охотника. А сбоку — ножны, тоже украшенные пластинками меди, шило в костяном футлярчике. О мужчине судят по тому, как тот подпоясывается. Если полы малицы ниже колен и мешают ходить, то охотник и мастер он неважный [Неркаги 1996: 255].

Литературная автоэтнография становится выражением диалектики принадлежности и дистанции. И одновременно знаком возрождения региональной культуры, которое всегда амбивалентно, так как возвращение выражено в форме «чужого» дискурса. Тем более что официально публикуемый в 1970-х годах текст Неркаги содержит все топоры советского многонационального канона — топор советской культурности, мотив работы русского просветителя на периферии и тему солидарной близости геолога коренным жителям ненцам. Геолог Павел Леднев, воодушевленный тем, что ненцы «поняли необходимость жить культурнее» [Неркаги 1996: 309], размышляет:

— А почему бы действительно не отойти от привычного и дать душе побольше хлопотной работы, к которой лежит сердце? Остаться тут года на три, постараться изменить образ жизни в стойбищах ненцев. Собрать разбросанных по тундре комсомольцев, оживить комсомольскую организацию, построить новый клуб вместо этой развалины, наконец — собрать хорошую библиотеку <...> [Неркаги 1996: 310].

Интересна также легенда о происхождении рода Ного:

Самые первые люди рода Ного жили в горах. Они никогда не переходили через Уральский хребет и не знали, что там, по другую его сторону. Да и ни к чему это было — род большой, дел хватало всем: кто рыбу ловил, кто зверя добывал....

Жили дружно, старались не вступать в войну с другими родами, не обижали соседей, и, если кто-нибудь с черной мыслью смотрел на их богатые пастбища, Ного молча снимались и уходили.

— Земля большая, — говорили старейшие, — зачем ссориться.

Молодых учили мудро, спокойно [Неркаги 1996: 260—261].

Здесь идеальная цельность общины, ее нравственный закон и гармоническая непротиворечивость становятся в ходе сюжета основой ценностной дихотомии «плохое советское — хорошее местное». Хорошее же советское выражается в универсальном пафосе интернационализма и мирного сосуществования русских и северян. Такой «фольклорный романтизм» был, как пишет Юрий Слезкин, по сути, оборотной стороной русского взгляда на Сибирь и северные народности как на утерянный рай, проекцией собственных исканий [Слезкин 2008: 411—412]. А северный автор — русским интеллигентом, защитником окружающей среды на новом материале. Тем не менее как раз с постколониальной точки зрения аборигенные литературы (еще советского) Севера демонстрируют, как было показано выше, более сложную систему художественных приемов, что не позволяет считать их лишь оборотной стороной великого русского — колониального — нарратива. Как все постколониальные литературы, они гибричны, и их гибридность говорит (чужим языком) о зависимости, о травме исчезновения и о субверсии.

Позднесоветский и постколониальный — всегда неполный — перевод модерности в систему этноса порождает самые интересные формы промежутка. По большей части такой перевод, как у Неркаги, проходит через фильтр литературного остранения и становится маркером изображенного голоса туземца. Юван Шесталов, сын коммуниста и внук шамана, один из мастеров позднесоветского северного гибридного письма, в повести «Тайна Сорни-Най» (1976) так передает слово мансийского мальчика: «С малых лет всем прививалась мечта о сказочном Ленинграде, где в “чудесном чуме” — Институте народов Севера — дети неграмотных рыбаков и охотников становятся “большими людьми” своего таежного народа» [Шесталов 1988: 132]. Так как «в чудесном чуме» и «большими людьми» поставлены в кавычки, то очевидно, что повествователь находится вне круга конкретного мышления жителей чума. Шесталов, как и многие региональные писатели-деревенщики, сохраняет сочувственную дистанцию по отношению к индигенной перспективе. В других случаях — и порой особенно наглядно за пределами литературы — культурный перевод говорит о полусинкретическом сознании *самого автора*. Хантыйский поэт Леонтий Тарагупта сказал, по свидетельству Вячеслава Огрызко, что судьба Льва Толстого стала для него личным примером: «Сила Толстого в том была, что он умел натурально жить. Он жил, как говорил. <...> Кстати, ханты в своем большинстве очень похожи на Толстого. Они всегда ведут себя скромно, сидят, как правило, в сторонке и стараются “не высовываться”» [Огрызко 2002б: 195]. Здесь происходит перенос сложного явления культуры на характер человека; русский писатель XIX века берется как моральный пример и образец (коллективного) бытового поведения. Но в таком безусловном присвоении Толстого сказывается, конечно, и видение русской классики через призму его сусального образа в «столичной» советской культуре: инфантильность самого социалистического канона классиков по-своему адаптируется на периферии.

Сюжет постсоветской повести «Молчащий», которую Неркаги посвящает «убиенному Даниилу Андрееву», состоит из череды эсхатологических аллего-

рий, отсылающих к мифологическим топосам творения, смерти, воскресения, возмездия и спасения. Такой радикальный пересмотр истории не только своего народа, но всего человечества возможен благодаря полному отказу от социального миметизма и погружению в текстуру мрачного пророческого экстаза — автор переписывает не только историю, но и литературу и ее канонический (соц)реализм. Изданию своих повестей 1996 года, в котором был опубликован «Молчащий», автор предпосылает исповедальное предисловие:

Прошло пятнадцать лет молчания. За это время Душа моя прожила минимум 150 лет....

Господу понадобилось 15 лет, чтобы призвать меня к себе. К труду, назначенному мне. К ответственности за слово, за прожитую жизнь в миру. Теперь знаю, что мне можно, а чего нельзя. Теперь признаю с радостью, что я всего лишь заблудшая овца, блудное дите и что придет час, когда вернусь в Отчий дом. Но не для того, чтобы в нем отдохнуть, а держать ответ перед Отцом, как распорядилась дарами, что были отпущены [Неркаги 1996: 7].

Занимая позицию одновременно литературного шамана, цивилизованного сказителя и трагического христианского провидца, Неркаги берет на себя моральную ответственность за людей и предвзвешивает свою притчу констатацией: «В нас начала гнить Душа» [там же]. Сюжет повести не раз сочувственно толковался отечественными исследователями северной прозы³⁶. Ее первый образ, радикализирующий старые экологические тропы деревенщиков, символичен: последняя птица — старый седой орел — падает мертвым в расщелье скал. Хромотоп первой главы — Игралище на Семи Землях, на котором когда-то семь дней играли и смеялись люди, теперь «обитель скорби», а со второй главы — страшное Скопище: «В нем живут скопийцы, потомки людей, населявших Землю во времена, когда корнем человека в жизни был труд» [там же: 199]. Миф творения и вырождения человеческого рода, однако, быстро обнаруживает свою историографическую тенденцию: это «жилище червей» берет начало с «революционных времен»³⁷ — «так называлось одно из многочисленных заблуждений человека по пути к своей теперешней бездуховности» [Неркаги 1996: 199]. Тут же назван и виновник глобальной дегенерации: «Их [скопищ] рождению скопийцы обязаны своей лучшей половине — интеллигенции» [там же: 199—200]. Инвектива Неркаги, ниспровергающая былой историографический канон, становится в ряд постперестроечных обратных нарративов русской, в том числе бывшей многонациональной, литературы. Используя простые контрасты, повесть, написанная в духе магического (сюр)реализма, опирается вместе с тем на схемы и топосы социализма, например на тропы вредительства («Интеллигенция <...> стала торговать землей своего народа» [там же: 200]) и неопочвенничества («Корни порублены раз и навсегда» [там

36 О Неркаги, одной из центральных фигур сибирской литературы, написаны десятки статей. Если в сборнике «Хантыйская литература» (2002) большая часть текстов посвящена Айпину, то в сборнике «Ненецкая литература» (2003) главная героиня Анна Неркаги. Интересно, что сама позиция северных исследователей — признак общности мышления малых культур, в которых автор научного метанарратива в большинстве случаев хотя бы и с оговорками, но эмпатически солидаризируется с исследуемым писателем, которого нередко лично знает. Такова тональность многих отечественных публикаций о северных литературах начиная с 1990-х годов.

37 Поставлено в тексте в кавычки.

же]). В духе времени социальная тематика постперестройки соединяется с православным консерватизмом новообращенных (см. иносказание об абортках: скопийки «мало рожали, почти все они научились убивать младенцев еще в утробе» [там же]). Эта идеологическая структура облечена в гибридную, язычески-христианскую символику. Как показывает Ольга Лагунова, образ Молчащего черпает из ненецкого фольклора, в котором «в подземных норах» живут великаны; они «похожи то на полчеловека, то на человека, их иногда впрягают в упряжку вместо оленей» [Лагунова 2003: 336—337]. Молчащий — гибрид северного доброго духа и жертвенного христианского избавителя, в его превращениях соединяются истории реинкарнации и воскрешения. Если расчленение и поедание Молчащего тварями отсылают к мифам перерождения, то образы Голгофы, Отца Духа, крошечной тьмы, Блуда и Распятого — к Библии (см.: [Лагунова 2003: 339—346]). В финале повести люди исчезают в золоте «Огня искупительного», а автор-повествователь завершает мистерию словами: «— Отче — прости нас! За себя восклицаю и за всех» [Неркаги 1996: 251]. Говоря голосом одновременно кающегося и уверовавшего русского интеллигента и северного шамана, Неркаги 1990-х годов создает нарратив возвращения, духовного симбиоза и пережитой травмы.

Синтез советско-религиозного универсализма и аборигенного голоса меньшинства — одна из форм «гибридной идеологической идентификации», свойственной постколониальным литературам. Ненецкая антиутопия Неркаги, подобно хантыйской ретроутопии Айпина, воплощает постимперскую ностальгию, делая один шаг «против» и два «назад».

Наблюдения Франца Фанона о присвоении представителем «черной расы» «белого взгляда» на себя, который дискриминирует и дисциплинирует его [Fanon 1965], значимы в контексте моего анализа. Антиколониальный повествователь может частично присвоить колониальную перспективу, действуя в лиминальной зоне зависимости и протеста. Именно тогда он создает собственно *пост*колониальный текст как иконический (перформативный) знак промежутка.

Можно сказать, что с 1960-х годов (пост)советский Север становится «глобальным Югом», как он представлен в классических постколониальных литературах и в постколониальных исследованиях.

Библиография / References

- [Абашин 2015] — Абашин С. Советский кишлак: между колониализмом и цивилизацией. М.: Новое литературное обозрение, 2015.
- (Abashin S. Sovetskiy kishlak: mezhdru kolonializmom i modernizatsiey. Moscow, 2015.)
- [Айпин 1990] — Айпин Е. Ханты, или Звезда утренней зари. М.: Молодая гвардия, 1990.
- (Aypin E. Khanty, ili zvezda utrenney zari. Moscow, 1990.)
- [Айпин 2010] — Айпин Е. Божья мать в кровавых снегах. М.: Амфора, 2010.
- (Aypin E. Bozh'ya mater' v krvavykh snegakh. Moscow, 2010.)
- [Баберовски 2004] — Баберовски Й. Цивилизаторская миссия и национализм в Закавказье: 1828—1914 гг. // Новая имперская история постсоветского пространства / Отв. ред. И. Герасимов и С. Глебов. Казань: Центр исследований национализма и империи, 2004. С. 307—352.
- (Baberowski J. Tsivilizatorskaya missiya i natsionalizm v Zakavkaz'e: 1828—1914 gg. // Novaya imperskaya istoriya postsovetского prostran-

- stva / Ed. by I. Gerasimov and S. Glebov. Kazan', 2004. P. 307—352.)
- [Бобровников 2010] — *Бобровников В.* Русский Кавказ и французский Алжир: случайное сходство или обмен опытом колониального строительства? // *Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи [1700—1917]* / Отв. ред. М. Ауст, Р. Вульпиус и А. Миллер. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 182—209.
- (*Bobrovnikov V.* Russkiy Kavkaz i frantsuzskiy Alzhir: Sluchaynoe skhodstvo ili obmen opytom kolonial'nogo stroitel'stva? // *Imperium inter pares: Rol' transferov v istorii Rossiyskoy imperii [1700—1917]* / Ed. by M. Aust, R. Vulpius and A. Miller. Moscow, 2010. P. 182—209.)
- [Горшенина 2007] — *Горшенина С.* Извечна ли маргинальность русского Туркестана, или Войдет ли постсоветская Средняя Азия в область пост-исследований // *Ab Imperio*. 2007. № 2. С. 209—258.
- (*Gorshenina S.* Izvechna li marginal'nost' russkogo kolonial'nogo Turkestana, ili Voydet li postsovet'skaya Sredniaya Aziya v oblast' post-issledovaniy // *Ab Imperio*. Vol. 2. 2007. P. 209—258.)
- [Джумаев 2013] — *Джумаев А.* «Чудеса» и новшества русских и европейцев в восприятии «среднеазиатского человека»: культурный шок, адаптация, «присвоение» // *Культурный трансфер на перекрестках Центральной Азии: До, во время и после Великого шелкового пути* / Отв. ред. Ш. Мустафаев и др. Париж; Самарканд: Мицай, 2013. С. 245—257.
- (*Dzhumaev A.* «Chudesas» i novshestva russkikh i evropeytshev v vospriyatii «sredneaziatskogo cheloveka»: kul'turnyy shok, adaptatsiya, «prisvoenie» // *Kul'turnyy transfer na perekrestkakh Tsentral'noy Azii: Do, vo vremia i posle Velikogo shelkovogo puti* / Ed. by Sh. Mustafayev et al. Paris; Samarkand, 2013. P. 245—257.)
- [Комаров, Лагунова 2003] — На моей земле. О поэтах и прозаиках Западной Сибири последней трети XX века / Отв. ред. С. Комаров, О. Лагунова. Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство, 2003.
- (*Na moyey zemle: O poetakh i prozaikakh Zapadnoy Sibiri posledney treti XX veka* / Ed. by S. Komarov, O. Lagunova. Ekaterinburg, 2003.)
- [Лагунова 2003] — *Лагунова О.* Анна Неркаги: «За себя восклицаю и за всех» // На моей земле. О поэтах и прозаиках Западной Сибири последней трети XX века / Отв. ред. С. Комаров, О. Лагунова. Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство, 2003. С. 261—348.
- (*Lagunova O.* Anna Nerkagi: “Za sebya vosklitsayu i za vsekh” // *Na moyey zemle: O poetakh i prozaikakh Zapadnoy Sibiri posledney treti*
- XX veka / Ed. by S. Komarov and O. Lagunova. Ekaterinburg, 2003. P. 261—348.)
- [Липкин 1990] — *Липкин С.* Декада. М.: Книжная палата, 1990.
- (*Lipkin S.* Dekada. Moscow, 1990.)
- [Литовская 2007] — *Литовская М.* «Русское», «чужое», «враждебное» в повестях Татьяны Молдановой // *Известия Уральского государственного университета. Сер. 2: Гуманитарные науки*. 2007. Т. 53. № 14. С. 235—242.
- (*Litovskaya M.* “Russkoe”, “chuzhoe”, “vrazhdebnoe” v povestiyakh Tat'yany Moldanovoy // *Izvestiya Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 2: Gumanitarnye nauki. Vol. 53. № 14. P. 235—242.*)
- [Неркаги 1996] — *Неркаги А.* Молчалий. Тюмень: СофтДизайн, 1996.
- (*Nerkagi A.* Molchashiy. Tyumen', 1996.)
- [Огрызко 2002a] — Хантыйская литература / Отв. ред. В. Огрызко. М.: Литературная Россия, 2002.
- (*Khantyyskaya literatura* / Ed. by V. Ogryzko. Moscow, 2002.)
- [Огрызко 2002б] — *Огрызко В.* Мир арктического сознания // Хантыйская литература / Отв. ред. В. Огрызко. М.: Литературная Россия, 2002. С. 191—195.
- (*Ogryzko V.* Mir arkticheskogo soznaniya // *Khantyyskaya literatura* / Ed. by V. Ogryzko. Moscow, 2002. P. 191—195.)
- [Огрызко 2006] — *Огрызко В.* В сжимающемся пространстве: Портрет на фоне безумной эпохи. М.: Литературная Россия, 2006.
- (*Ogryzko V.* V szhimayushemaya prostranstve: Portret na fone bezumnoy epokhi. Moscow, 2006.)
- [Рогачев 2002] — *Рогачев В.* Стрелы вольного охотника // Хантыйская литература / Отв. ред. В. Огрызко. М.: Литературная Россия, 2002. С. 139—146.
- (*Rogachev V.* Strely vol'nogo okhotnika // *Khantyyskaya literatura* / Ed. by V. Ogryzko. Moscow, 2002. P. 139—146.)
- [Слезкин 2008] — *Слезкин Ю.* Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
- (*Slezkin Yu.* Arkticheskie zerkala: Rossiya i malye narody Severa. Moscow, 2008.)
- [Хили 2012] — *Хили Д.* Наследие ГУЛАГа: Принудительный труд советской эпохи как внутренняя колонизация // Там, внутри: Практики внутренней колонизации в культурной истории России / Отв. ред. А. Эткинд, Д. Уффельманн и И. Кукулин. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 684—728.
- (*Healey D.* Nasledie GULAGa: Prinuditel'nyy trud sovet'skoy epokhi kak vnutrennyaya kolonizatsiya // *Tam, vnutri: Praktiki vnutrenney kolonizatsii v kul'turnoy istorii Rossii* / Ed. by

- A. Etkind, D. Uffelmann and I. Kukulin. Moscow, 2012. P. 684—728.)
- [Шесталов 1988] — *Шесталов Ю.* Повести. М.: Советская Россия, 1988.
- (*Shestalov Ju.* Povesti. Moscow, 1988.)
- [Шукрулло 1995] — *Шукрулло.* Погребенные без савана. Документальная повесть. Ташкент: Издательство Езувчи, 1995.
- (*Shukrullo.* Pogrebennyye bez savana: Dokumental'naya povest'. Tashkent, 1995.)
- [Эткинд 2013] — *Эткинд А.* Внутренняя колонизация: имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
- (*Etkind A.* Vnutrennyaya kolonizatsiya: Imperskiy opyt Rossii. Moscow, 2013.)
- [Ashcroft, Griffiths, Tiffin 1989] — *Ashcroft B., Griffiths G., Tiffin H.* The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures. London: Routledge, 1989.
- [Beissinger 1995] — *Beissinger M.R.* The Persisting Ambiguity of Empire // *Post-Soviet Affairs.* 1995. Vol. 11. № 2. P. 149—184.
- [Birk, Neumann 2002] — *Birk H., Neumann B.* Go-between. Postkoloniale Erzähltheorie // *Neue Ansätze in der Erzähltheorie* / Hg. von A. Nünning, V. Nünning. Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 2002. S. 115—152.
- [Boym 2001] — *Boym S.* The Future of Nostalgia. New York: Basic Books, 2001.
- [Brooks 2000] — *Brooks J.* Thank You, Comrade Stalin! Soviet Public Culture from Revolution to Cold War. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000.
- [Enwezor 2010] — *Enwezor O.* Modernity and Post-colonial Ambivalence // *The South Atlantic Quarterly.* 2010. Vol. 109. № 3. P. 595—620.
- [Fanon 1965] — *Fanon F.* Peau noire, masques blancs. Paris: Seuil, 1965.
- [Geertz 1988] — *Geertz C.* Works and Lives: The Anthropologist as Author. Stanford, CA: Stanford University Press, 1988.
- [Hausbacher 2009] — *Hausbacher E.* Poetik der Migration. Transnationale Schreibweisen in der zeitgenössischen russischen Literatur. Tübingen: Stauffenburg, 2009.
- [Kolodziejczyk, Şandru 2012] — *Kolodziejczyk D., Şandru C.* Introduction: On Colonialism, Communism and East-Central Europe — Some Reflections // *Journal of Postcolonial Writing.* 2012. Vol. 48. № 2. P. 113—116.
- [Kotkin 1995] — *Kotkin S.* Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley, CA et al.: University of California Press, 1995.
- [Kuttainen 2012] — *Kuttainen V.* Boundary trouble: trauma fiction and postcolonialism in Tim Winton's "The Turning" // *Border-Crossings: narrative demarcation in postcolonial literatures and media* / Ed. by R. West-Pavlov, J. Makokha and J. Wawrzinek. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2012. P. 33—44.
- [Lundquist 2004] — *Lundquist S.E.* Native American Literatures: An Introduction. New York; London: Continuum, 2004.
- [Lutz 2015] — *Lutz H.* Contemporary Achievements: Contextualizing Canadian Aboriginal Literatures. Augsburg: Wißner-Verlag, 2015.
- [Martin 2001] — *Martin T.* The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923—1939. Ithaca, N.Y.; London: Cornell University Press, 2001.
- [Mitchell 2000] — *Mitchell T.* Introduction // *Questions of Modernity* / Ed. by T. Mitchell. Minneapolis, M.N.; London: University of Minnesota Press, 2000. P. xi—xxvii.
- [Peiker 2006] — *Peiker P.* Post-Communist Literatures: A Postcolonial Perspective // *Eurozine* <http://www.eurozine.com/articles/2006-03-28-peiker-en.html> (accessed 07.12. 2016).
- [Prakash 1995] — *Prakash G.* Introduction: After Colonialism // *After Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial Displacements* / Ed. by G. Prakash. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1995. P. 3—17.
- [Pratt 1992] — *Pratt M.L.* Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. London: Routledge, 1992.
- [Smola 2012/2013] — *Smola K.* Postkolonial, hybride, transkulturell. Moderne Schreibweisen in der zeitgenössischen russisch-jüdischen Literatur // *Zeitschrift für Slavische Philologie.* 2012/2013. Vol. 69. № 1. S. 107—150.
- [Smola 2016] — *Smola K.* Ethnic Postcolonial Literatures in the Post-Soviet Time: Siberian and Assyrian Traumatic Narratives // *Slavic Postcolonial Literatures After Communism* / Ed. by K. Smola and D. Uffelmann. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016. P. 219—243.
- [Tipps 1973] — *Tipps D.C.* Modernization Theory and the Comparative Study of Societies: A Critical Perspective // *Comparative Studies in Society and History.* 1973. Vol. 15. № 2. P. 199—222.
- [Tlostanova 2011] — *Tlostanova M.* The South of the Poor North: Caucasus Subjectivity and the Complex of Secondary "Australism" // *The Global South.* 2011. Vol. 5. № 1. P. 66—84.
- [Tlostanova 2012] — *Tlostanova M.* Postsocialist ≠ Postcolonial? On Post-Soviet Imaginary and Global Coloniality // *Journal of Postcolonial Writing.* 2012. Vol. 48. № 2. P. 130—142.
- [Viola 2011] — *Viola L.* Counternarratives of Soviet Life: Kulak Special Settlers in the First Person // *Writing the Stalin Era: Sheila Fitzpatrick and Soviet Historiography.* New York: Palgrave Macmillan, 2011. P. 87—100.
- [Witt 2011] — *Witt S.* Between the Lines: Totalitarianism and Translation in the USSR // *Contexts, subtexts and pretexts: Literary translation in Eastern Europe and Russia I* / Ed. by B.J. Baer. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2011. P. 149—170.

Кирилл Корчагин

«Когда мы заменим свой мир...»:

ФЕРГАНСКАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

В ПОИСКАХ ПОСТКОЛОНИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА¹

Kirill Korchagin

“When we replace our world...”: The Fergana School of Poetry in Search of a Post-Colonial Subject

Кирилл Корчагин (Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН / «Новое литературное обозрение»; кандидат филологических наук) stivendedal@gmail.com.

Kirill Korchagin (RAS Vinogradov Institute of Russian Language / *New Literary Observer*; PhD) stivendedal@gmail.com.

Ключевые слова: ферганская школа, постколониальность, субъект, Шамшад Абдуллаев, Хамид Исмаилов, Хамдам Закиров, «Звезда Востока», узбекская поэзия, русская поэзия

Key words: Fergana School, postcoloniality, subject, Shamshad Abdullaev, Khamid Ismailov, Khamdam Zakirov, *Star of the East*, Uzbek poetry, Russian poetry

УДК: 82.02+ 930.272

UDC: 82.02+ 930.272

Ферганская поэтическая школа — одно из наиболее заметных явлений в постсоветской поэзии. Представители этой школы (Шамшад Абдуллаев, Хамдам Закиров и близкий к ним Хамид Исмаилов) в начале 1990-х годов предложили проект пересоздания узбекской литературы. Этот проект был связан с изобретением нового типа субъективности, который по целому ряду черт может быть сближен с субъективностью постколониальной. В статье рассматриваются три предпосылки для конструирования такого субъекта: переосмысление узбекской литературы как части мировой и связанная с этим «самозэкзотизация», особый режим визуальности, определяющий для текстов представителей ферганской школы, и поиск новой языковой идентичности — более космополитичной, чем та, которую могли предложить узбекский язык и узбекская литература. Эти три темы рассматриваются на материале ташкентского журнала «Звезда Востока», отдел поэзии которого в 1991–1996 годах возглавлял Шамшад Абдуллаев.

The Fergana School of poetry is one of the most remarkable phenomena in post-Soviet poetry. Its representatives (Shamshad Abdullaev, Khamdam Zakirov and Khamid Ismailov, who is close to the school) proposed a project for the recreation of Uzbek literature in the early 1990s. This project was connected with inventing a new type of subjectivity, which in many of its features approaches postcolonial subjectivity. Korchagin's article examines three premises for constructing this kind of subject: rethinking Uzbek literature as part of world literature and the related process of “self-exoticizing”; a particular mode of visibility that distinguishes the texts of the Fergana School; and a search for a new linguistic identity, one more cosmopolitan than that offered by the Uzbek language and literature. Korchagin examines these three themes as they appear in the Tashkent-based journal *Star of the East* [Zvezda Vostoka]; Abdullaev edited the journal's poetry section between 1991—1996.

Ферганская школа — одно из самых известных поэтических сообществ постсоветского пространства (конкуренцию ей может составить разве что рижская группа «Орбита», находящаяся на противоположном конце бывшей советской карты)². Наиболее активна школа была в первой половине 1990-х годов, когда

1 Статья написана при поддержке РГНФ (проект № 15-24-06003. «Типология субъекта в русской поэзии 1990–2010-х»).

2 Сопоставлению этих двух групп и выявлению их общих черт посвящена статья [Кукулин 2002], которая была во многом ретроспективной — ферганской школы как

только что обретший независимость Узбекистан еще был открыт проектам по радикальному реформатированию культурного пространства, хотя судьба отстаиваемых ею литературных практик и оказалась сложной. Часть из них была воспринята собственно российской литературой (неслучайно Шамшада Абдуллаева чаще всего публикуют в Москве и Петербурге), часть теми писателями, которые, как и ферганцы, обитали на окраинах некогда единого советского пространства (так, практики ферганской школы стремятся развивать азербайджанский поэт Ниджат Мамедов). Однако в самом Узбекистане ее представители были вытеснены из литературы (тем более что некоторым из них пришлось эмигрировать, в том числе и по политическим причинам). Деятельность ферганской школы можно воспринимать как во многом утопическую попытку создания новой литературы, которая должна была сблизить молодые государства региона, и прежде всего Узбекистан, с большим европейским миром. Пространство, объединенное этой литературой, должно было стать своего рода новым греко-бактрийским царством — срединной территорией, соединяющей Средиземноморье с Востоком. Для того чтобы этот проект оказался возможен хотя бы в воображении представителей ферганской школы, требовалось создать нового субъекта³ — того, кто послужит своего рода центром аффективного притяжения для различных времен и культур, из соединения которых должна была возникнуть новая культура постсоветской Центральной Азии — культура, которую с известными ограничениями можно считать постколониальной.

Применение постколониальной теории к бывшим советским территориям до сих пор составляет отдельную проблему — прежде всего в силу того, что не вполне ясными оказываются границы ее применимости: какие из советских территорий можно интерпретировать как колонии, а какие нет? И как быть с довольно влиятельной теорией Александра Эткинда, предполагающего, что Россия в целом на протяжении своей истории осуществляет колонизацию самой себя [Эткинд 2013; Там, внутри 2012]? Этот вопрос неоднократно ставился в славистике (см., в частности, предисловие к этому блоку статей), но в случае постсоветской Центральной Азии ответ на него оказывается, возможно, проще, чем в других случаях. Так, согласно Гайятри Чакраворти Спивак, когда чужой народ устанавливает над территорией свое законодательство, вводит собственную систему образования и преобразовывает экономическую структуру региона для собственной пользы, можно говорить о том, что мы имеем дело с колониальным состоянием [Spivak et al. 2006: 828]. Подобные процессы имели место в Центральной Азии, но в то же время, как замечает исследователь этого региона Адиб Халид, уже советская политика 1920-х годов обладала не реали-

целостного явления на тот момент уже не существовало. Также см. антологию поэзии группы «Орбита», составленную Кевином М.Ф. Платтом: [Orbita 2015].

3 В статье я буду исходить из такого представления о поэтическом субъекте, которое позволяет объединить литературоведческое понятие о лирическом герое с тем представлением о субъекте и субъективности, которое существует, в частности, в постколониальной теории. Это представление родственно тому возвращению к философии субъекта, которое наблюдается, например, в работах Винсана Декомба, предлагающего преодолеть уже ставшую традиционной гетерогенность понятия о субъективности [Декомб 2011: 5–8 и далее]. См. также соответствующую главу из учебника «Поэзия», где теория субъекта излагается применительно к субъекту поэтического текста: [Поэзия 2016: 99–123].

зованным до конца деколонизирующим потенциалом [Khalid 2015: 8–13]. Все это привело к тому, что на рубеже 1980–1990-х годов прежде всего в интеллектуальных кругах Узбекистана появились попытки создания того, что можно назвать новым постколониальным субъектом. Этому субъекту придавала силы еще не до конца иссякнутая эмансипирующая энергия советского проекта, который был вынужден искать способ репрезентировать разрыв между старым и новым состояниями, между жизнью в советской республике и в независимом государстве.

То, что я предлагаю назвать новым постколониальным субъектом, возникло на пересечении нескольких силовых линий, каждая из которых отграничивала новую субъективность как от прежней советской субъективности, так и от новой российской. В этой статье я выделю три такие ограничивающие линии: линию экзотизации, связанную с особым пониманием европейского модернизма и его возможных региональных вариантов; линию визуального, предполагающую особый режим зрения и, соответственно, изображения наблюдаемых объектов; и линию языка, отмечающую разрыв между узбекским и русским языками — разрыв, ставший определяющим для поэтики ферганцев. Границы, задаваемые этими линиями, имеют, как сказано выше, аффективную природу: они устанавливают определенный режим утопического воображения, чьим пределом, согласно Бенедикту Андерсону, должен быть тот образ общности, который лежит в основе современных наций [Андерсон 2001: 31–32]. Утопический проект пересоздания Центральной Азии во многом провалился, однако деятельность ферганской школы позволяет понять, каким могло быть его воплощение, если бы усилия по созданию нового субъекта увенчались успехом не только внутри достаточно ограниченной группы интеллектуалов, какой была ферганская школа, но и в более широком контексте.

1. «Звезда Востока»: экзотика и современность

В марте 1996 года кампания по травле узбекского толстого журнала «Звезда Востока» вышла на финишную прямую: в газете «Халқ сўзи» («Народное слово»), близкой узбекскому правительству, появилась статья «“Звезда Востока”, или “Востоукен штерн”?», после которой главный редактор журнала Сабит Мадалиев и заведующий отделом поэзии Шамшад Абдуллаев были вынуждены покинуть редакцию⁴. Это поставило точку в попытках создать новую космополитическую литературу в независимом Узбекистане, берущих начало в 1991 году, когда в журнал «Звезда Востока» пришел Мадалиев, а за ним через какое-то время Абдуллаев. За пять лет их работы журнал стал одним из наиболее заметных явлений того сегмента постсоветской литературы, который был нацелен на осмысление и переработку опыта высокого модернизма, а также на включение вчерашних неподцензурных авторов в мировой литературный контекст.

«Звезда Востока» была основана в 1932 году как главный литературный журнал советского Узбекистана — через восемь лет после того, как на карте Центральной Азии появилась республика, ставшая результатом территориального размежевания региона в соответствии с этническим составом населе-

4 <http://www.fergananews.com/zvezda.html> (дата обращения: 2.01.2017).

ния [Haugen 2003: 18—26]. Журнал на протяжении всей своей истории издавался на русском языке, и это позволяло ему, с одной стороны, находить читателей по всему Советскому Союзу, а с другой — служить «витриной» литературы Центральной Азии. К тому моменту, когда журнал возглавил Мадалиев, он представлял собой довольно типичное для своего времени издание: в нем продолжали активно печататься представители местного союза писателей, публиковавшие стихи на производственные темы или стилизации в «восточном» духе (все — в переводах на русский)⁵, но в то же время, следуя курсу столетних толстых журналов, здесь публиковались и тексты из наследия русского модернизма (например, в № 3 за 1988 год была опубликована восторженная статья советского прозаика Бориса Лавренева о Николае Гумилеве, написанная в Ташкенте в 1923 году), а также обширные критические и публицистические статьи, в которых обсуждались как литературные, так и общественные проблемы (например, № 2 за 1990 год содержал обширную дискуссию о судьбе Аральского моря). Однако более всего к журналу привлекали внимание не эти публикации, а регулярный раздел переводной прозы, где публиковались переводы зарубежной массовой литературы, детективной и фантастической (например, Роберта Хайлайна и Агаты Кристи), и их аналоги, выходящие из-под пера советских писателей.

С приходом Мадалиева и Абдуллаева журнал существенно изменился: в нем стали в большом количестве появляться публикации, которые были бы немислимы в старой «Звезде Востока», — переводы новейшей зарубежной поэзии, стихи и проза российских авторов, еще недавно принадлежавших к неподцензурной литературе. При этом представители местного союза писателей практически исчезли со страниц журнала, что, конечно, не могло не породить той напряженности, что спустя несколько лет привела к решительной атаке на новую редакцию. В ретроспективном тексте Абдуллаев писал об этом так:

Журнал, надеясь на читательскую терпимость в абсолютно апоэтичное время, определил свой новый репертуар и новый маршрут примерно следующим образом: несомненно, существуют миры предпочтений и необходимо учитывать индивидуальные и территориальные особенности, при этом игнорируя симптомы национального нарциссизма, ибо восточная ментальность и западный нигилизм — всего лишь лингвистический трюк; мы предлагаем веер авторских опытов и методологий — от исповедальных путешествий, ландшафтной рефлексии, религиозных и фрагментаристских сочинений до крайних форм поэтической оппозиции [Абдуллаев 1998: 210].

Редакционная политика обновленной «Звезды Востока» интересна и сама по себе, однако наибольший интерес она представляет как попытка создать особое литературное пространство, которое могло бы стать своего рода лабораторией по изобретению нового постколониального субъекта, и решающая роль в этом изобретении принадлежала, конечно, Шамшаду Абдуллаеву. Об Абдуллаеве обычно говорят как о лидере ферганской школы⁶ — неформальной группы поэтов (а также писателей и художников), происходящих из узбекского

5 Например, в № 1 за 1990 год в одной из поэтических подборок читаем: *К наживе страсть — опаснейший порок. / Печален у рабов ее итог — / Они в плену у жадности безмерной, / Ей совесть отдают без выкупа в залог* (с. 4).

6 О предыстории ферганской школы см., в частности: [Козлет 2000].

города Ферганы⁷. Изначально группа была довольно многочисленна, однако лишь немногие ее участники со временем продолжили заниматься литературой: кроме Абдуллаева в нее входили поэты Хамдам Закиров и Ольга Гребенникова, прозаик и поэт Даниил Кислов, художник Григорий Коэлет и другие; к школе был близок также живший в Ташкенте Хамид Исмаилов, который, пожалуй, с наибольшей отчетливостью сформулировал многие двигавшие ферганцами идеи. Сейчас, спустя двадцать лет после того, как Абдуллаеву пришлось уйти из «Звезды Востока», ферганская школа едва ли существует как действующее объединение: Абдуллаев по-прежнему живет в Фергане и по-прежнему довольно часто публикуется в российской печати (но, что характерно, не в узбекской), другие представители школы проживают в разных отдаленных друг от друга точках мира: Хамдам Закиров — в Хельсинки, Хамид Исмаилов — в Лондоне, Даниил Кислов — в Москве и т.д. По-разному сложилась и литературная судьба всех этих авторов: кто-то (как Кислов) перестал публиковаться, кто-то радикально сменил творческую манеру, разорвав связи с ферганским прошлым (как Закиров).

Тем не менее в то пятилетие, когда Абдуллаев руководил поэтическим отделом «Звезды Востока», ферганская школа существовала как целостность, хотя связи между ее представителями со временем и начинали ослабевать. Так, в 1996 году Хамдам Закиров издает поэтический сборник «Фергана», который можно назвать одновременно и манифестом ферганской школы, и своеобразным прощанием с ней — за два года до этого он переезжает в Москву, после чего уже не возвращается в Узбекистан.

Ферганская школа скреплялась несколькими контекстами — контекстом западноевропейского и американского высокого модернизма, локальным узбекским контекстом, который усиленно пересоздавался на рубеже 1980—1990-х годов, и отталкиванием от контекста собственно русской литературы. Она была одной из немногих постсоветских литературных групп, обладавших собственным манифестом, хотя последний и появился за подписью одного Абдуллаева ретроспективно — в 1998 году, так что в нем уже ощущается стоическая ностальгия, сопровождавшая распад группы:

1. Ориентация на средиземноморскую поэзию и отчасти англосаксонскую, минуя русскую литературу.
2. Гибридная стилистика, но неизменно одно — несколько фальшивых и чужеродных компонентов образуют подлинность целого.
3. Конкретные ландшафтные признаки, южный знойный мир и вместе с тем герметическая «западная» поэтика, то есть сквозь немислимое для сегодняшних литературных приоритетов проступает некое космополитическое месиво одних и тех же мнимостей, залитых солнцем.
4. Стремление довести описание предмета до предельного натурализма в общем ирреальном настроении и одновременно в некоторых случаях угадывается следующий принцип: чем удаленнее объект, тем совершеннее орудие.

7 В постсоветском Узбекистане была и другая группа русскоязычных поэтов — так называемая ташкентская школа, представители которой формировались уже в постсоветское время и под сильным влиянием русской модернистской литературы (к ней обычно относят Санджара Янышева, Евгения Абдуллаева и Вадима Муратханова).

5. Обращенность к меланхолии позднего романтизма, выраженной современным языком, полным скепсиса и неуверенности.
6. Антиисторизм и неприязнь к социальной реальности, страх перед действием и тотальностью наррации, особый депрессивный лиризм и металлическое упрямство, не позволяющее автору «ферганской школы» жить жизнью и с каждым разом все больше отдаляющее его от смысла происходящего, — поэтому этос в наших текстах уходит в тень, на задний план.
7. И последнее. Мы не имеем своих изданий, своих журналов, своих читателей и вынуждены мириться с рассеянным присутствием (публикации в России, в эмиграции) для других, для другой культуры⁸.

Несмотря на такую расстановку приоритетов, на страницах «Звезды Востока» «средиземноморских» текстов было куда меньше, чем «англосаксонских», хотя в стихах Абдуллаева и Закирова можно было встретить многочисленные отсылки к поэзии итальянских герметистов и Константиноса Кавафиса⁹. Многие авторы высокого американского модернизма — в том числе те, кто до сих пор находится в центре внимания российской поэтической общности, — регулярно появлялись в журнале: среди них Джон Эшбери (1992. № 5), Майкл Палмер (1991. № 9), Роберт Данкан (1992. № 5), Роберт Крили (1994. № 1/2), Чарльз Олсон (1995. № 11/12) и многие другие; достаточно обширно был представлен французский сюрреализм — в лице Андре Бретона (1994. № 5/6), Анри Мишо (1992. № 5) и Жана Кокто (1996. № 1). Одну из ключевых ролей в таком расширении переводческого раздела «Звезды Востока» играл петербургский поэт Василий Кондратьев, сблизившийся в те годы с ферганской школой: переводной отдел журнала выступал своеобразным преемником петербургского «Митина журнала» 1980-х годов, который стремился открыть русскому читателю перечисленных зарубежных авторов, в том числе и в переводах Кондратьева.

Наиболее, пожалуй, характерная особенность переводимых авторов состояла в том, что они шли путем, который еще недавно был не только немислим в официальной советской литературе (а «Звезда Востока» сохраняла статус официального печатного органа), но и нетипичен для значительной части литературы неофициальной. Эти тексты отказывались от привычных примет «толстожурнальной» поэзии — от рифмы, регулярного размера, даже от той трудноуловимой «лиричности», которую все-таки часто сохранял советский свободный стих. Как и поэты-метареалисты, и петербургские авторы круга Аркадия Драгомощенко, представители ферганской школы, по словам Дмитрия Голынка, распознали в поэтике высокого модернизма ««магический кристалл», волшебного медиума, позволяющего им приобщиться к ранее недоступным или запрещенным горизонтам мировой культуры» [Голынка-Вольфсон 2003: 293].

Помимо европейского и американского модернизма у ферганцев была еще одна область интересов — собственно узбекская литература, однако не та, что

8 <http://library.ferghana.ru/almanac/index.htm> (дата обращения: 2.01.2017).

9 Ср. одно из стихотворений Хамдама Закирова: *Изредка / мы заговаривали о семитике, / Кузмине и Кавафисе, а прохожие / смотрели на нас как на внезапно / вынырнувших из подворотни «стрелков» сигарет, / нахально оторвавших их от собственных мыслей* [Закиров 1996: 7].

реально существовала и развивалась под крылом союза писателей, а воображаемая, которую еще только предстояло изобрести. Проект этой новой литературы лишь отчасти вдохновлялся зарубежными модернистскими авторами: другим его важным источником была особая визуальность, находящая основание в том облике магического колониального Востока, который формировался в европейской литературе начиная с XIX века и ревизию которого провел Эдвард Саид в своей шумевшей книге 1978 года [Саид 2006].

В 1990 году, еще до того, как в редакцию «Звезды Востока» пришли Мадалиев и Абдуллаев, в журнале начинает публиковаться русский перевод Корана Игнатия Крачковского, вышедший отдельным изданием еще в 1963 году. Каждый номер журнала содержал только одну суру с кратким комментарием, но уже этого было достаточно, чтобы создать специфический ориентальный колорит, присущий переводу Крачковского, стремившегося представить Коран прежде всего памятником древней восточной литературы, а не священной книгой. Кроме того, в первые постсоветские годы в журнале появляются тексты, прямо или косвенно посвященные восточному миру, увиденному глазами европейцев. Это и фрагмент из травелога английского дипломата середины XIX века Александра Борнса, где описывается путешествие в Бухару (1993. № 2), и «Мечта об Индии» Элиота Уайнебергера (1992. № 9/10) — таких текстов было немного, но само их присутствие обнажает логику, согласно которой конструировалось представление о культурном ландшафте нового Узбекистана. Все они укладываются в расхожее представление о мусульманском Востоке как о «живом собрании причуд» [Саид 2006: 161], и такой взгляд находил поддержку у ферганских интеллектуалов: мифологические и романтические представления, обнаруживаемые в текстах вроде анализируемого Саидом «Путешествия на Восток» Жерара де Нерваля, присваивались, включались почти в неизменном виде в новую картину узбекской литературы, постепенно формировавшуюся внутри ферганского круга. Происходила своего рода «самоэкзотизация», в результате которой не только те, о ком писали ферганские поэты, но и они сами становились обитателями магического Востока, о котором советский читатель узнавал из переводов зарубежной классики¹⁰.

Это положение дел отчасти объяснялось географией: Фергана — город, не обладающий древней историей; он был основан на юго-востоке Ферганской долины в 1876 году как форпост российской колониальной экспансии. Неудивительно, что для местных интеллектуалов отдельной задачей было изобрести для родного города отсутствующую историческую глубину, особенно необходимую на фоне того, что Ферганская долина в целом — едва ли не главная по культурному значению территория в Центральной Азии: здесь наиболее пестрый этнический состав и самая высокая плотность населения, здесь в XVIII—XIX веках существовало Кокандское ханство, а еще раньше, во времена

10 Внешне этот процесс может напоминать интерес к постколониальной тематике в коммерческой литературе, описанный Грэмом Хагеном, которая превращает постколониальное письмо в экзотический товар, занимающий особое место на рынке отнюдь не только символических ценностей [Huggan 2001: 28—33]. Однако важно, что «самоэкзотизация» внутри ферганской школы проходила в других условиях: включенность этих авторов в книжный рынок была минимальна, хотя, возможно, немногочисленных читателей произведений ферганцев привлекала в них именно специфичная «экзотичность» — как и зарубежного читателя «коммерческой» постколониальной литературы.

Античности, сюда от Каспийского моря простиралось так называемое греко-бактрийское царство. В 1924 году долина была разделена между советскими Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизстаном, оставаясь при этом во многом единым культурным регионом [Науген 2003; Халид 2010: 97—102]. Возможно, именно разрыв между большой культурной историей региона и скудостью истории, казалось бы, главного его города стал определяющим для этой самоэкзотизации.

Стратегию самоэкзотизации проясняет другая группа материалов из «Звезды Востока» — переводы с узбекского, выполнявшиеся близкими к ферганской школе переводчиками (например, Хамидом Исмаиловым) и резко противостоявшие той переводной поэзии, что заполняла страницы журнала еще в 1980-е. Они делятся на две части: первая — это переводы поэтической классики, причем классики неканонической — репрессированных поэтов, укладываемые в общий постсоветский интерес к именам, вычеркнутым из литературы при советской власти. Так, в № 4 за 1993 год были опубликованы стихи Абдулхамида Сулеймана угли Юнусова (1887—1938) — также выходца из Ферганской долины (он был родом из Андижана), одного из основоположников новой узбекской поэзии, стремившейся переосмыслить традиционные персидско-тюркские формы (прежде всего газеллу) через призму русской поэтической классики XIX века. Едва ли эти стихи выдерживали сравнение с изощренным интеллектуализмом американских и французских поэтов, однако они занимали важное место в мифологии ферганской литературы:

Когда же лекари мне пульс прощупают, когда?
Когда начнется ураган, сметающий года?

Опала осенью листва, скрежещет сухостой.
И для ничтожных эта жизнь как смерть, как звук пустой...¹¹

Вторая группа переводов даже более показательна: это переводы новейших узбекских поэтов, пытавшихся сочетать уже известный им зарубежный высокий модернизм с классической узбекской поэзией. Однако проблема заключалась в том, что круг таких авторов был крайне немногочислен — он был даже более ограничен, чем круг собственно ферганской школы. Наиболее близкими к ферганцам по эстетике были поэты предыдущего поколения — Рауф Парфи (1943—2005) и Мухаммад Салих (р. 1949), державшиеся вдали от официальной литературы и писавшие в том числе и свободным стихом. За редкими исключениями, литературы на узбекском языке, которая бы соответствовала ожиданиям ферганцев, во многом еще не существовало¹². На этом фоне интерес представляет подборка из трех стихотворений поэта Хайрулло, появившаяся в № 7/8 за 1994 год и призванная показать, как должна была выглядеть современная узбекская поэзия в интерпретации ферганской школы.

11 Звезда Востока. 1993. № 4. С. 124 (<http://www.ferghananews.com/zvezda/chulpan.html> (дата обращения: 2.01.2017)). Перевод Хамида Исмаилова.

12 Обзор молодой узбекской поэзии 1980-х был сделан в статье Хамида Исмаилова «“На крыльях крика своего мальчишка...” (вольные заметки о молодой поэзии Узбекистана)» (Звезда Востока. 1988. № 7. С. 131—139; эта статья была включена в роман Алтаэра Магди «Собрание утонченных»: <http://library.ferghana.ru/uz/sobr6.zip> (дата обращения: 2.01.2017)).

Имя этого поэта не встречается больше в узбекской печати, а все немногочисленные упоминания его в Интернете ведут к указанному выпуску «Звезды Востока». По всей видимости, такого поэта никогда не существовало, и его имя — псевдоним одного из ферганцев, однако поэтика, которая была изобретена в этой подборке, кажется очень показательной для проекта новой узбекской литературы.

Стихи Хайрулло содержат те же мотивы, что и поэзия ферганской школы, но при этом недвусмысленно сообщают читателю, что он имеет дело с особой языковой ситуацией: его стихи — либо переводы, сохраняющие языковые особенности оригинала, либо написаны под сильным влиянием другого языка, причем языка «экзотического», не вполне поддающегося «европеизации». На это указывают своеобразный синтаксис, многочисленные плеонастические повторы и инверсии, призванные напомнить о классических газеллах (например, употребление специфического для газеллы повтора в конце строки — реди-фа¹³). В то же время они переполнены культурными отсылками — их концентрация даже выше, чем в поэзии ферганской школы. Создается впечатление, что стихи Хайрулло специально созданы, чтобы показать, какой могла бы быть поэтика новой узбекской литературы:

когда мы заменим свой мир
я обязательно увижу сон долгий и белый я
я белый саркофаг и лебеди и вода я
я оказавшийся волшебный после молитв священника я
я и книга которую не читал никто со странным я
я названием «Игра в классики» и ночь я
я о ком мы забыли и я
я «Плач» Мальмстина и луна чем-то я
я напоминающая монашку и она сидящая я
я скрестив ноги бледная как сахар я
я растаявшая в моем стакане и конец сна я
я как добрая сказка по имени Смерть я¹⁴

Язык процитированного текста крайне показателен: он намеренно «экзотичен», странен, словно бы изначально существует в иной грамматической логике. С точки зрения редакции «Звезды Востока», новая узбекская литература

-
- 13 *Реди́ф* (или *ради́ф*) — характерная примета классической персидской поэзии и всех восходящих к ней традиций стихосложения, в том числе и поэзии на чагатайском языке, предке современного узбекского. Классический «Свод правил персидской поэзии» XIII века так определяет реди́ф: «...рифма — это часть последнего слова бейта [двустушия. — К.К.], при условии, что это слово не повторяется в точности по форме и по значению на концах других бейтов, ибо если оно повторяется, его имеют *ради́ф*, а рифма — в предшествующем ему слове» [Кайс ар-Рази 1997: 81; курсив оригинала]. Использование реди́фа можно проиллюстрировать фрагментом газеллы чагатайского поэта Алишера Навои: «*Кипарис мой! — ты сказала, — жди меня!*» и не пришла, / Я не спал всю ночь, дождался света дня — ты не пришла. / Поминутно выходил я на дорогу ждать тебя, / Поминутно умирал я, жизнь кляня, — ты не пришла. Думал я, что опасалась ты соперницы-луны, / Но и в полной тьме забыла ты меня и не пришла» (цит. по: [Квятковский 2013: 337]; перевод Вс. Рождественского). Истории реди́фа в персидской поэзии посвящена статья [Lewis 1994].
- 14 Звезда Востока. 1994. № 7/8. С. 90 (<http://www.fergananews.com/zvezda/khairullo.html> (дата обращения: 2.01.2017)).

может создаваться только на таком языке — переплавляющем наследие европейского модернизма с локальной традицией. Однако нетрудно заметить, что эта локальная традиция предстает здесь своего рода чуждым Другим: автор стихов словно бы всматривается в этого Другого — жителя ориентального магического Востока — и узнает в нем свои черты. В пределе поэт сам должен стать таким ориентальным субъектом (на это указывает и повторяемое в начале и конце каждой строки местоимение я), однако этот предел всегда остается недостижимым, и поэтический текст строится вокруг постоянного приближения к нему. Похожим образом складывается субъективность у поэтов ферганской школы, достигающих самоэкзотизации не столько с помощью преобразования языка, сколько с помощью особого режима визуальности. Визуальность же позволяет говорить о том, что изобретаемый постколониальный субъект создается не только особым языком, но и особым способом видеть окружающий мир.

2. Ферганская школа: визуальность

Новая узбекская литература в версии ферганской школы рождается, как было показано выше, на стыке между высоким модернизмом и узбекской традицией, причем первый воспринимается как своего рода аффективный «клей», объединяющий ферганских поэтов, а вторая — как то, что нужно изобрести заново, так как реальная узбекская литература требует очищения от тяжелого наследия провинциального соцреализма. Изобретение традиции, которое начинается на страницах «Звезды Востока», будет прервано — не только в силу того, что наиболее прогрессивная часть редакции будет вынуждена уйти, но и в силу отсутствия достаточного для такой большой страны, как Узбекистан, числа работающих в этом направлении авторов. И все же она содержала в себе зародыш будущей невоплотившейся нации с присущими ей горизонтальными связями и постоянным проговариванием того, на каких основаниях должна строиться идентичность сообщества [Андерсон 2001: 32, 221—222]. По сути, почти каждый текст, выходящий из этого круга, оказывался краткой историей новой узбекской идентичности, повествовал о том, как возникает новый субъект и с какими вызовами он сталкивается. Несмотря на то что в каждом случае выражение такого субъекта оставалось частным делом каждого конкретного поэта, в нем обнаруживались черты, которые объединяли поэзию всех представителей ферганской школы, а в потенциале могли бы быть распространены на всю территорию постсоветского Узбекистана.

Здесь возникает важный вопрос: почему ферганская школа отвергала опыт собственно русской литературы — даже неофициальной, которая, казалось бы, предоставляла куда большую свободу, чем литература официальная?¹⁵

15 Нужно сказать, что «отказ» от русской литературы стал одной из причин литературной борьбы между ферганской и ташкентской школами. Так, анонимный автор статьи о новой узбекской литературе, явно сочувствующий «ташкентцам», пишет, что «русский язык произведений [“ферганцев”. — К.К.] — скорее формальность “не по любви, а по необходимости”; его традиции и культура особого интереса для них не представляют» (http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/UZBEKSKAYA_LITERATURA.html?page=0,3 (дата обращения: 2.01.2017)). Это, конечно, явное преувеличение.

Возможно, ответ в том, что неофициальная поэзия при всех оговорках была сосредоточена на собственно российской культурной ситуации, не предполагая каких-либо других версий организации русскоязычной культуры. Более того, любые выходцы из провинции (тем более из союзных республик) в мире неофициальной литературы могли претендовать лишь на роль вечно отстающих учеников. В этом смысле неофициальная культура столиц оставалась культурой колониальной: ключевые для этой культуры смыслы могли возникнуть только в метрополии и уже оттуда распространяться по остальным территориям¹⁶.

Вероятно, поэтому самым близким для ферганской школы петербургским автором был Василий Кондратьев — поэт, который стремился выйти за пределы сложившихся неофициальных контекстов. Возможности для такого выхода он так же, как и ферганцы, видел в европейском и американском высоком модернизме, и именно поэтому Кондратьев, как и ферганцы, отчасти принял экзотику «ферганского текста» как саму собой разумеющуюся. В 1994 году он приезжает в Фергану и пишет несколько коротких прозаических зарисовок, где воспоминания о поездке запечатлеваются в характерных визуальных образах:

Этот город кажется бесконечным в его перепутывающемся и гипнотизирующем однообразии, однако вопреки всему и даже желанию тебе всегда удается, как будто по давней, ничего не удерживающей в памяти привычке, выйти на обратную дорогу. На пути тебе редко встречается что-то помимо непрерывно ведущих в сторону саманных стен, из-за которых едва видна выжженная садовая зелень, и нестерпимых перекрестков, которые преодолеваешь, даже не сообразив, во сколько раз разошлась улица¹⁷.

Похожий образ Ферганы можно найти и в текстах ферганцев — у Шамшада Абдуллаева или Хамдама Закирова. Характерные образы «длительности», «однообразия», «повторяемости», описания невыносимой жары и ведущих в никуда запыленных улиц — все эти элементы формируют образ Ферганы, но такой образ не возникает сам по себе, а оказывается изобретенным, сконструированным из тех визуальных элементов, которые ассоциируются с представлениями о магическом Востоке. Этот Восток — плод воображения, однако строительным материалом для него, как ни парадоксально, оказываются визуальные образы Запада, прежде всего те, что не соотносятся ни с какими конкретными культурными реалиями и, следовательно, могут быть переозначены, присвоены и превращены в часть воображаемого ферганского Востока.

Такое превращение лежит в основе многих стихотворений Шамшада Абдуллаева — например, стихотворения «Забытый фильм двадцатых годов»:

16 В этом смысле характерно деление на разделы самой крупной из доступных в Интернете антологий неофициальной поэзии (<http://rvb.ru/np/>), составленной Иваном Ахметьевым на основе поэтического раздела тома «Самиздат века» (1994), подготовленного Генрихом Сапгиром. В содержании этой антологии поэты из Москвы и Ленинграда объединяются в основном по направлениям и группам («группа Чертова», «Лианозовская группа», «хеленукты» и т.п.), в то время как поэты из других регионов, за редким исключением, обозначаются только местом проживания (разделы «Саратов», «Тамбов», «Урал» и т.п.).

17 Текст опубликован на сайте ферганской школы: <http://www.fergananews.com/vasily.html> (дата обращения: 2.01.2017).

В довершение ко всему, легче пламя. Ни дерева, ни дощатого навеса: только белая стена, залитая огнем, — под нею дуреет желтый, худосочный кот (он казался бы мертвым, если б не пугающая обдуманность его позы). Какая пустынная округа, пронизанная солнцем! Возможно, опасная пустынность? На пыльной, неверной поверхности земли, на глянцевиных камешках, на известковых приступках стены солнце расплавило насекомых — везде по-разному. Трое юнцов, словно фигуры из другой картины, появляются справа. Не их ли мы ждали? Несмотря на жесткость их поступи, они вряд ли оставят царапины на трогательной хрупкости захватанной пленки... Так ли существенно, что это — «Местность близ реки Арно», как гласит надпись над верхней тесемкой немого кадра? Куда важнее, что теперь мы учимся видеть вне нас, где необретенное уже утрачено.

[Абдуллаев 2003: 43]

«Местность близ реки Арно», как гласит комментарий к этому тексту, — несуществующий фильм, хотя его название содержит точное указание и на тип локаций, используемых Абдуллаевым, и на сам его метод. На реке Арно, как известно, стоят Флоренция и Пиза, однако название «забытого фильма» указывает на то, что речь не идет ни об одном из этих знаменитых городов. Скорее имеется в виду некое промежуточное пространство, затерянное между крупными городами с богатой историей, так же как город Фергана затерян между историческими монументами Ферганской долины¹⁸. Это пространство обретает и другие черты Ферганы: здесь есть и «легнее пламя», и «пыльная, неверная поверхность земли», более характерные для Центральной Азии, чем для долины реки Арно, — все те приметы городского пейзажа, что обнаруживаются в процитированном отрывке из Кондратьева и во многих других стихотворениях Абдуллаева¹⁹.

Это своего рода «не-места», в избытке обнаруживаемые, например, в итальянском неореалистическом кинематографе, — рабочие пригороды, шоссе, пролегающие посреди пустынной местности, развалины неясного происхождения и т.п. [Augé 1995: 83—86]. Все эти локации присваиваются при помощи особого «гаптического» режима зрения [Ямпольский 2001: 52—54], когда в изначально визуальном объекте — например, в последовательности кадров из итальянского фильма — вдруг проступают несвойственные визуальному восприятию черты — тактильные ощущения от прикосновения к попадающим в кадр предметам, головокружение от открывающихся просторов или ощущение невыносимой жары:

18 Ср. фразу из рецензии Александра Уланова на сборник эссе Абдуллаева: «Монпелье напоминает ферганские окрестности», — написал мой друг из Франции. Австрия — не менее призрачна и удаленна. И там человек тоже обречен проходить мимо. «Открыть глаза, подняться, надеть носки, жить, улыбаться, пожимать руки, соглашаться, замечать только достоинства, делать вид». Фергана везде. Хаос горяч, неподвижен и замкнут, и только человеческий взгляд различает и разделяет, делая возможным движение и встречу» [Уланов 2001].

19 Более подробный разбор поэтической техники Абдуллаева см. в: [Корчагин 2014].

Точно такой вызывающий мигрень вкрадчивый зной дул в фильме «Поездка в Италию», который ты смотрел с двоюродным братом тыщу лет назад в провинциальном амфитеатре среди шелестевших в зубах низкорослых зрителей сладких кукурузных семечек, купленных у бухарских евреев перед чугунной стойкой для нетленных афиш <...> и женщина в окрестностях Неаполя черными шелковыми перчатками, в каких твоя мать ходила в курортных городах ранних пятидесятых, поймала порхающий пепел двух влюбленных, двух лепестков, застигнутых в матримонийной тоске Везувием... [Абдуллаев 2012: 13].



Кадр из фильма Роберто Росселлини «Поездка в Италию» (1954). Герои фильма посещают область раскопок недалеко от Неаполя, где обнаруживают пустынную руинированную местность.

Таким образом, поэтический пейзаж Ферганы создается из подручных материалов — из образов ориентального Востока и итальянского кинематографа. Литература высокого модернизма дает возможность удержать вместе эти две, казалось бы, разнонаправленные траектории, утверждая принципиальную многослойность реальности, когда сквозь привычные улицы могут проступать пейзажи иных территорий. И здесь особенно важно вспомнить о процитированном выше манифесте ферганской школы: не смотря на то что в нем сразу же отвер-

гается русская литература, что лежит целиком в рамках постколониальной логики, ключом к зарубежному модернизму для ферганцев служит все же русский модернизм — прежде всего в лице Осипа Мандельштама, в творчестве которого ферганские поэты обнаруживают не только «тоску по мировой культуре», но и характерный разрыв между двумя реальностями, не способными полностью «срастись» друг с другом. Этот конфликт особенно очевиден в прозе Мандельштама: так, анализируя «Египетскую марку», Марк Липовецкий отмечает, что «авторская личность» (то есть *субъект* в нашей терминологии) в этой повести создается как «взрывная апория», «как неразрешимое конфликтное единство между Автором и Парноком, между смертью и проживанием-сквозь-смерть, между утратой и отсутствием» [Липовецкий 2008: 111—112]. Подобный разрыв заметен в большинстве произведений ферганцев, и чаще всего он выражается в образах двух накладывающихся друг на друга пространств.

Так, конфликт между реальной Ферганой и вымышленной становится одной из главных тем в манифестарной книге Хамдама Закирова «Фергана» (1996):

Тревожное жужжание полудня
в пригородах Дамаска или Кордовы,
где взгляд затерялся твой —
так и не найдя утешительного
людского жеста, местности,
хотя бы клочка земли,
что силы придаст.
Все незнакомо. Даже твое лицо.
Разве это возможно?

[Закиров 1996: 5]

В этих стихах образ Ферганы также проступает сквозь более привычные для европейской культуры восточные локации — например, сквозь Дамаск или Кордову или через другие места, которые могут быть не названы прямо, но тем не менее продолжают отсылать к «экзотическому» восточному миру: *...ощущение, / словно где-то рядом море и все заморожено его / гулким молчанием. Или пешком: жаркая тягучая дорога. <...> Сладостная увлеченность бесконечным движением — / идешь бездумно, изнываешь от солнцепека...* [Там же: 15]. Легко заметить, что все процитированные фрагменты почти одинаково изображают Фергану как место, где визуальные впечатления от пустынной местности синестетически смешиваются с ощущениями невыносимой жары, раскаленного ветра и т.п.

Такая оптика по своей природе аффективна: взгляд ферганского поэта не может просто скользить по предметам, он «цепляется» за них, стремится проникнуть за пределы видимого так, чтобы при помощи визуального восприятия схватить не только контуры и образы, но и саму текучую материальность мира: он стремится почувствовать жару или ощутить дуновение ветра с помощью зрения. Пространство, открывающееся такому взгляду, все время ширится и углубляется, словно бы тот, кто его наблюдает, не способен остановиться и найти ту точку, в которой вся глубина открывающейся его глазам картины будет исчерпана. Такой тип аффективности сосредоточивает внимание смотрящего на материальности открывающихся его взгляду предметов, оказывается своего рода «клеем», который позволяет скрепить друг с другом края разрыва, образованного постколониальным состоянием, — разрыва между ферганской повседневностью и западной культурой, рутинными провинциальными пейзажами и магическим колониальным Востоком, реальностью и фантазмом. В этой схеме присутствуют лишь скудные намеки на колониальное прошлое изображаемых территорий (неважно, относить ли его к дореволюционным временам или к советским), и такое отсутствие само по себе показательное: постколониальный субъект, возникающий в этой поэзии, порожден разрушением старого колониального порядка, но сам этот порядок сливается с обычной ферганской повседневностью, с жарким пустынным пейзажем, пребывающим в остановившемся времени. Поэтический язык при этом обретает особую материальность, он словно бы касается предметов, скользит по ним. Как замечает Билл Эшкрофт, специфическая материальность языка вообще характерна для постколониальной литературы — она подчеркивает тот разрыв, что проходит внутри субъекта, но в то же время помогает примириться с этим разрывом, узнавая в одной реальности другую, сшивая их вместе при помощи языка — так, как сшиваются реальности в поэзии ферганской школы [Ashcroft 2015: 414–415 et passim].

Возникающий при этом субъект хорошо описывается нашумевшей формулой, предложенной Хоми Бабой, согласно которой он всегда оказывается *less than one and double* (удвоенным, но при этом не единым). Такой субъект порожден разрывом: он не способен принять ни одну из сложившихся идентичностей как свою (в этом смысле он «меньше одного») и поэтому колеблется между идентичностями, языками и культурами — культурой империи и местной культурой, общепринятой *lingua franca* и местным вернакуляром:

...идентификация субъекта [постколониального. — К.К.] культурного дискурса является диалогической <...>. Она конституируется через *locus* Другого, и это значит, с одной стороны, что объект идентификации амбивалентен, а с другой сто-

роны (что более существенно), что акт идентификации никогда не является чистым или целостным, но всегда конституируется в процессе замены, смещения или проецирования [Баба 2005: 105].

В поэзии ферганской школы эта двойственность Другого отражается в постоянном порождении гибридных пространств, принадлежащих одновременно и Востоку, и Западу, и воображению, и реальности. Эта гибридность высвечивает двойственность и русского поэтического языка, и того узбекского культурного пространства, которое настоятельно требует изобретения, пусть даже ресурс для такого изобретения, как показывает обзор «Звезды Востока», исчезающе мал.

Во многом с похожей дилеммой еще в советское время столкнулся Геннадий Айги, в поэзии которого можно заметить движение к национальному не через язык, остававшийся русским, а через визуальность — через настойчивое повторение характерных чувашских ландшафтов [Корчагин 2016]. Типичная организация пространства для стихов Айги — поле, часто заснеженное, ограниченное почти на горизонте глухими лесами. Так же как ферганцы видели родной пейзаж в итальянских фильмах, в стихах Айги поля и леса, характерные для южной Чувашии, родины поэта, возникают среди московских новостроек, которые так же готовы в любой момент превратиться в лесостепь, как запыленные дороги Ферганы — в улицы маленьких итальянских городов. Можно сказать, что Айги стал образцом тюркского поэта²⁰, который выражал национальное посредством визуальных образов, оставаясь при этом в рамках языка гегемона [Азарова 2016; Гланц 2016]. Ферганские поэты также не остались в стороне от дискуссий о поэтическом языке, хотя эти дискуссии велись на периферии движения — в эссеистике Хамида Исмаилова.

3. Хамид Исмаилов и «философия узбекского языка»

Хамид Исмаилов жил в Ташкенте до 1992 года, после чего был вынужден покинуть Узбекистан. Его публикации рубежа 1980—1990-х годов, когда он особо активно выступал как критик и поэт, привлекали большое внимание. Уникальное положение Исмаилова в постсоветской литературе связано с тем, что он один из немногих русскоязычных авторов, предпочитавших публиковаться как под собственным именем, так и под разными гетеронимами, за каждым из которых стояла собственная история и биография²¹. Для новой узбекской

20 Чувашский язык, как известно, относится к тюркским, так же как узбекский, хотя и обладает рядом архаичных по сравнению с последним черт (редуцированные гласные и подвижное ударение), отмечен также многими инновациями (например, тенденцией к открытому конечному слогу) [Тюркские языки 1996: 481—482]. При этом Чувашия находится на периферии тюркоязычного пространства: официальная религия чувашей православие, а не ислам, и при этом они сохраняют многие дохристианские обычаи. В этом смысле Чувашия не принадлежит целиком к тому же культурному пространству, что и Узбекистан (в отличие от соседнего Татарстана).

21 Гетеронимия мало распространена в постсоветской литературе, а когда она все-таки имеет место, трудно бывает отличить гетероним от псевдонима. Среди немногочисленных примеров писатель и поэт Игорь Левшин, подписывавшийся также как Вепрь Петров, и поэтесса Полина Андрукович, одна из книг которой вышла под именем Лины Ивановой.

литературы Исмайллов стремился стать тем же, чем Фернандо Пессоа стал для литературы португальской, — он выдумал особый мир предшественников ферганской школы, довольно густонаселенный (хотя и не в такой мере, как мир португальской поэзии по Пессоа). На своей странице в Интернете Исмайллов описывает этот круг так:

В сентябре 1996 года Бамбергский университет в Баварии устроил литературно-философский вечер, посвященный «узбекскости», и на него были приглашены из разных стран философ Сократ Шаркиев, литераторы Алтаэр Магди, Мир Калигулаев, Ноумэн Смайлз, поэт Белги, критик Куванбек Кенжа. Как давнему другу факультета тюркологии университета, мне поручили председательствовать на этом собрании. Надо сказать, что подавляющее большинство приглашенных, кроме, разумеется, самих немцев, нескольких американцев да одного голландца, были выходцами из Ферганской долины. <...> Имеют ли они какое-то отношение к ферганской школе? Исторически их можно было бы назвать «преферганитами» (уж коль скоро существуют «префафалиты»). А может быть, и «постферганитами». Это уже дело вкуса²².

Все эти лица — гетеронимы Хамида Исмайллова: какие-то из них почти совпадают с ним самим (как Алтаэр Магди), другие, напротив, почти отделились от него, так что в разных внешних источниках они фигурируют как самостоятельные авторы (прежде всего Белги, переводы которого на русский можно встретить без всякого упоминания Исмайллова). Описание этого круга сопровождается очевидно монтажной фотографией, на которой изображена группа людей в национальных костюмах; среди них можно узнать некоторых представителей собственно ферганской школы (например, второй слева — Шамшад Абдуллаев, который, однако, не был упомянут в качестве участника «семинара»). Судьбы гетеронимов Исмайллова сложно переплетаются друг с другом: Магди пишет роман об Исмайллове («Собрание уточненных»), а Кулигулаев — о Белги («Дорога к смерти больше, чем смерть»), который якобы закончил свою жизнь бойцом-талибом, и т.п.²³ И весь круг — это та изобретенная для ферганской школы традиция, которая на самом деле отсутствовала в позднесоветском Узбекистане.

Гетеронимию в поэзии нужно воспринимать не только как литературную игру, но и как особый режим существования субъекта, при котором он вынужден все время снова изобретать себя, как бы каждый раз уточняя собственную субъективность (именно так интерпретирует творчество Пессоа Джорджо Агамбен [Агамбен 2012: 126—128]). Предпосылки этого перманентного изобретения субъекта стоит искать в разрыве, структурирующем постколониальную субъективность: как представители ферганской школы подчеркивают параллельное существование двух реальностей, так Исмайллов изобретает все новые субъективности, словно бы стремясь компенсировать невозможность достичь оставшейся в прошлом целостности.

22 См.: <http://library.ferghana.ru/uz/index.htm> (дата обращения: 2.01.2017). В отличие от гетеронимов Пессоа, похожих на обычные португальские имена, имена, которыми подписывался Исмайллов, часто намекают на то, что за ними не скрывается никакой внелитературной личности. Так, Магди — мессианическая фигура в исламе (хотя такое имя может существовать), а в Ноумэне Смайлзе угадывается английская фраза по *man smiles*, характеризующая, пожалуй, весь этот «семинар».

23 Попытка связать эти многочисленные гетеронимы друг с другом через призму поэзии Белги-Исмайллова предпринимается в работе: [Kleinmichel 2012].

В этом контексте одним из центральных вопросов становится вопрос о языке и его статусе, возникающий на рубеже 1980—1990-х годов в публицистике Исмаилова, посвященной «философии узбекского языка». Эти статьи по духу близки исследованиям «языковой картины мира», крайне популярным в постсоветской науке, но вызывающим подчас резкую критику со стороны лингвистического сообщества. Для нас, однако, взгляды Исмаилова на узбекский язык интересны не как вклад в лингвистику, но как одно из оснований для практики ферганской школы и как одна из характеристик постколониального субъекта.



Работы Исмаилова о языке подписаны разными именами, но при этом содержат один и тот же набор идей: это эссе «О философии узбекского языка», опубликованное в № 1 «Звезды Востока» за 1996 год под именем Абдулхамид Исмоили²⁴; затем книга «Очерки узбекского сознания» (1996), подписанная именами Хаида Исмаилова и Сократа Шаркиева, и, наконец, фрагменты из романа «Собрание уточненных», подписанного именем Алтаэра Магди (1996)²⁵.

В этих текстах Исмаилов рассматривает «связь узбекского языка и узбекского менталитета» [Исмоили 1996: 162], совершает более или менее пространственный экскурс в узбекскую грамматику, сравнивая ее с русской и выявляя в ней те элементы, которые, по

его мнению, позволяют провести различие между русским и узбекским менталитетами. Теоретической основой здесь служит, с одной стороны, гипотеза лингвистической относительности Эдварда Сепира и Бенджамена Уорфа, предполагающая, что грамматическое устройство языка непосредственно предопределяет особенности мышления его носителей [Алпатов 2005: 200—227], а с другой — работы Анны Вежбицкой, согласно которой определенный набор «ключевых» слов языка может свидетельствовать об особенностях вос-

24 Интересно, что это как раз настоящее, «паспортное» имя Исмаилова, в то время как привычная и более известная русифицированная форма — псевдоним.

25 Предисловие к роману, написанное от лица Магди, сообщает: «В 1987—1990-х годах во многих литературных газетах и журналах то и дело мелькали статьи Хаида Исмаилова. Имя вряд ли широко известно, хотя, скажем, за ряд статей это имя упоминалось среди лауреатов “ЛГ” 90. Как бы там ни было, я насчитал что-то около 20 статей, подписанных этим именем. Но я не только пересчитывал эти статьи, я собрал их (почти все!), расположил хронологически и перечитал. И вдруг меня осенила идея: а что, если взять эти статьи как продукт достаточно “типического литературного сознания” в довольно интересное — как бы мы его ни называли: перестройкой, неореабилитансом, новой оттепелью и т.д. — время и попытаться дорисовать это сознание как героя — в его противоречиях, исканиях, заблуждениях, откровениях — как того самого Хозяина, оставившего дом и двор, которые он построил и в которых жил» (<http://library.ferghana.ru/uz/sobr1.zip> (дата обращения: 2.01.2017)).

приятия мира его носителями (именно эта область исследования впоследствии получила название «языковой картины мира»²⁶). Все эти течения в лингвистике XX века в конечном счете восходят к воззрениям Вильгельма фон Гумбольдта, согласно которому язык — это «определенный уклад интеллектуального и чувственного восприятия, и этот уклад, доставаясь народу от отдаленных эпох, не может воздействовать на народ без того, чтобы не сказаться и на его языке» [Гумбольдт 2000: 63].

Проблемы, которые Исмаилов ставит в своих эссе, дают представление о том, какие понятия о языке были ключевыми для ферганской школы и проекта новой космополитической узбекской литературы. Они описываются Исмаиловым скорее *ex negativo* — как то, от чего этой новой литературе нужно отказаться, а отказаться прежде всего необходимо от тех особенностей местного языка, которые обуславливают его своеобразную «аутичность» и замкнутость, невозможность встроиться в современный мир. Одно из подобных свойств узбекского языка — его нацеленность на конкретную коммуникативную ситуацию:

...плеонастическое подчеркивание почти любой части речи местоименным или личным окончанием, которое собственно и повторяет само местоимение, в отличие, скажем, от русского или французского языка — еще раз говорит о значении, которое придается в этом [узбекском. — К.К.] языке, а стало быть и в способе мышления, отнесенности всего к лицу, о привязанности всей речи к конкретной персоне: мне, тебе, нам, вам, т.е. к тем, кто находится в диалогическом поле, в поле внимания [Исмоили 1996: 163].

Подобные особенности узбекского языка подчеркиваются Исмаиловым в его переводах узбекских поэтов (прежде всего Абдулхамид Сулеймана), но также напоминают о стихах поэта Хайрулло, которые разбирались в первой части статьи. Узбекские стихи настолько соответствуют языковой программе Исмаилова, что, пожалуй, уже на основании этого Хайрулло можно считать еще одним его гетеронимом. Поэзия и проза собственно ферганской школы, напротив, избегает такой обязательной коммуникативной соотнесенности, и именно это, с точки зрения Исмаилова, парадоксально делает ее более открытой миру, способной разорвать узкие границы конкретного языкового сообщества. Конфликт между русским и узбекским языками многократно подчеркивается:

[В узбекском языке] [р]аньше говорится о качествах и лишь потом о том, чему эти качества принадлежат. Качества в этой системе мышления предостоят самому объекту или процессу. Вектор этого познавательного движения: извне — вовнутрь. <...> В конечном итоге все языки таковы, но система мышления французского или русского языка, к примеру, в которой превалирует имя и затем оно описывается как «белое, толстое, бесформенное, несущее на себе собственное описание», имеет все же иной вектор восприятия: изнутри — вовне. Насколько фундаментально это «интравертное» и «экстравертное» различие языковых систем — об этом можно и следует подумать отдельно [Там же: 166].

Если русский язык предполагает движение «изнутри — вовне», то только он может подходить для той суммы аффектов, которая выражается в поэзии фер-

26 Из работ Вежбицкой см., например: [Wierzbicka 1998]; резкая критика этого подхода содержится в: [Павлова, Безродный 2011]; общий обзор применимости этой концепции в лингвистике в: [Руссо 2014].

ганской школы с характерной для нее гаптической визуальностью, при которой взгляд движется словно бы изнутри предметов, «цепляясь» за их поверхности, чтобы затем охватить остальной мир. В этом скрыт парадокс: если русский язык «интравертен», а узбекский «экстравертен», то почему именно первый оказывается наиболее пригоден в качестве языка новой космополитической литературы?

Разгадать этот парадокс отчасти позволяет работа Исмайлова, посвященная композиции классической узбекской газеллы²⁷. В ней идет речь о газеллах, писавшихся на чагатайском языке, предке современного узбекского, для которого также был характерен специфически тюркский «плеонастический» и «экстравертный» синтаксис. В этой работе выдвигается тезис, что структура газеллы изоморфна «структуре речевой коммуникации по Роману Якобсону, а через нее структуре и морфологии деятельности, структуре познания и мышления»²⁸. Однако следующий шаг анализа оказывается во многом неожиданным: как известно, в классических газеллах крайне распространен редиф, и именно он, согласно Исмайлову, позволяет «замкнуть» «экстравертную» структуру тюркского языка на себя, превратить коммуникацию с Другим в автокоммуникацию:

Если замкнуть любую из этих структур [то есть структур познания и мышления. — К.К.] на саму себя, как в случае с газелью Насими²⁹ с редифом *sig'mazam*, то изоморфность распространяется и на структуру и морфологию личности, принципиальная диалогичность которой раскрыта Михаилом Бахтиным³⁰.

Именно здесь лежит решение языкового парадокса: избыточная коммуникативная нацеленность требует такой поэтической формы, которая могла бы ее «обезвредить», «замкнуть на саму себя», в силу чего слово, первоначально обращенное в мир, остается словно бы внутри текста. Кроме того, как пишет Исмайлов в другой работе, не опубликованной в периодике, но включенной в роман «Собрание утонченных» («Изъятая литература как феномен литературного процесса»), морфологическая регулярность узбекского языка существенно больше, чем у языка русского, а следовательно, у поэзии на узбекском языке больший соблазн прибегать к клишированным «автореферентным» способам выражения³¹. В то же время русский язык, устроенный принципиально иначе, изначально направленный на себя, в силу этого оказывается обращенным к каждому, потому что не предполагает никакой конкретной адресации. Только такой язык способен стать языком постколониального субъекта — ведь в этом случае субъект вынужден обращаться не только к тем, кому понятна его речь, но и ко всему миру, утверждать себя как того, кто освобождается

27 <http://library.ferghana.ru/uz/uzbsoz4.htm> (дата обращения: 2.01.2017).

28 Там же.

29 Насими — поэт XIV—XV веков, писавший на азербайджанском, а также на фарси и арабском языках. Считается родоначальником азербайджанской поэзии. Исмайлов здесь пренебрегает различиями между азербайджанским языком этого времени и чагатайским языком, которые с точки зрения лингвистики действительно не так существенны [Тюркские языки 1996: 17—34].

30 <http://library.ferghana.ru/uz/uzbsoz4.htm> (дата обращения: 2.01.2017).

31 Ср.: «Основываясь на принципе изоморфного построения различных языковых уровней, означающем большую регулярность в узбекском языке последних, нежели в русском, мы можем утверждать: то, что и с точки зрения языковой ситуации, когда узбекская литература более определенно и регулярно сохраняла свое новое социалистически-реалистическое монофитство, нежели русская, также находит свое объяснение» (<http://library.ferghana.ru/uz/sobr7.zip> (дата обращения: 2.01.2017)).

от колониального наследия. Это оказывается созвучно ключевой идее Гаятри Чакраворти Спивак, согласно которой эмансипация бывших колонизируемых всегда разворачивается в рамках языка колонизатора, что, в свою очередь, отделяет возникающего постколониального субъекта от доколониального состояния [Spivak 1999: 269—311]³².

По всей видимости, работы Исмайлова об узбекском языке являются реакцией на кризис национальной идентичности, который в те годы переживала постсоветская Центральная Азия. Ответом на этот кризис должна была стать национальная революция, формирующая нацию уже на новых основаниях: ее провозвестником для многих узбекских интеллектуалов стали ферганские погромы 1989 года, вызванные конфликтом между узбеками и турками-месхетинцами³³; однако эти трагические события все-таки не вылились в полноценную национальную революцию [Roeder 1999]³⁴. Можно сказать, что ферганская школа была сообществом, способным при более благоприятных условиях стать прототипом для новой узбекской нации (если понимать нацию по Бенедикту Андерсону — как горизонтальное сообщество, которому предшествует изобретение особого рода коллективной субъективности).

Сообщество ферганцев сделало первый шаг: оно изобрело новую узбекскую литературу, хотя, как выяснилось уже в конце 1990-х годов, ее проект не был востребован Узбекистаном Ислама Каримова и не получил продолжения. В то же время для российского читателя ферганская школа во многом оказалась интеллектуальным вызовом: именно там в лабораторных условиях создавался новый постколониальный субъект и поэтический язык, на котором он мог бы себя выразить. Он был порожден характерным разрывом между двумя культурными и языковыми ситуациями, и такой разрыв должен был быть преодолен при помощи разных средств, помогающих удержать вместе части расходящихся реальностей, — при помощи гаптической визуальности, самоэкзотизации, переосмысления места Узбекистана в мировой культуре и т.д. Субъект, изобретенный ферганской школой, был вызван к жизни сменой эпох на рубеже 1980—1990-х годов, и силовые линии, которые его формировали, были характерны для всей постсоветской культуры, однако в случае ферганской школы они проявились, пожалуй, наиболее отчетливо.

32 Ср. более лаконичное описание парадокса, о котором пишет Спивак: «Если угнетение состояло в молчаливом существовании по ту сторону дискурса и субъективности, то, казалось бы, эмансипирующая субъективация оборачивается обучением чужому языку, в пределах которого автономия становящегося субъекта синонимична обретению идентичности, оторванной от его непосредственной практики. Иначе говоря, дискурсивная субъективность “освобожденного” человека оказывается эффектом приобщения к тому языку, чья гегемония ранее обеспечивалась социальным господством, протест против которого и привел к политическому освобождению “обретающих голос” угнетенных» [Калинин 2012: 595].

33 После этих событий Исмайлов отрешивается от участия в активном националстроительстве; ср. фрагмент из романа Алтаэра Магди: «...ферганские события 1989 года показали тот верхний и становящийся абсурдным предел национализма, которому мы все служили и следовали. Собственно, вот это отрезвление, когда джинн, вызванный из бутылки, уже не подчиняется тому, кто его вызвал, ворвалось, взорвалось в наших сознаниях» (<http://library.ferghana.ru/uz/sobr5.zip> (дата обращения: 2.01.2017)).

34 Впрочем, языковая политика правительства Каримова изначально была нацелена в эту сторону: уже в конституции 1992 года русский язык перестал быть официальным — в отличие от других государств Центральной Азии [Кельнер-Хайнке, Ландау 2015: 72].

Библиография / References

- [Абдуллаев 1998] — *Абдуллаев Ш.* Поэзия и Фергана // Знамя. 1998. № 1. С. 209—210. (*Abdullaev Sh. Poeziya i Fergana // Znamya. 1998. № 1. P. 209—210.*)
- [Абдуллаев 2003] — *Абдуллаев Ш.* Неподвижная поверхность. М.: Новое литературное обозрение, 2003. (*Abdullaev Sh. Nepodvizhnaya poverkhnost'. Moscow, 2003.*)
- [Абдуллаев 2012] — *Абдуллаев Ш.* Припоминающееся место. М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2012. (*Abdullaev Sh. Pripominayushcheesya mesto. Moscow, 2012.*)
- [Агамбен 2012] — *Агамбен Дж.* Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. М.: Европа, 2012. (*Agamben G. Quel che resta di Auschwitz. L'archivio e il testimone. Moscow, 2012. — In Russ.*)
- [Азарова 2016] — *Азарова Н.* Многоязычие Айги и языки-посредники // Russian Literature. 2016. Vol. 79/80. P. 29—44. (*Azarova N. mnogoyazychie Aygi i yazyki-posredniki // Russian Literature. 2016. Vol. 79/80. P. 29—44.*)
- [Алпатов 2005] — *Алпатов В.М.* История лингвистических учений. М.: Языки славянской культуры, 2005. (*Alpatov V.M. Istoriya lingvisticheskikh ucheniy. Moscow, 2005.*)
- [Андерсон 2001] — *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В. Николаева. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001. (*Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Moscow, 2001. — In Russ.*)
- [Баба 2005] — *Баба Х.* Диссеминация: время, повествование и края современной нации // Синий диван. 2005. № 6. С. 68—118. (*Bhabha H. DissemiNation: Time, Narrative and the Margins of the Modern Nation // Siniy divan. 2005. № 6. P. 68—118. — In Russ.*)
- [Гланц 2016] — *Гланц Т.* (Ино)странный язык поэзии Айги — проблемы и последствия транснационализма // Russian Literature. 2016. Vol. 79/80. P. 13—27. (*Glanc T. (Ino)strannyy yazyk poezii Aygi — problemy i posledstviya transnatsionalizma // Russian Literature. 2016. Vol. 79/80. P. 13—27.*)
- [Гольинко-Вольфсон 2003] — *Гольинко-Вольфсон Д.* От пустоты реальности к полноте метафоры («Метарелизм» и картография русской поэзии 1980—1990-х годов) // НЛО. 2003. № 62. С. 286—304. (*Golynko-Wolfson D. Ot pustoty real'nosti k polnote metafory («Metarelizm» i kartografiya russkoy poezii 1980—1990-kh godov) // NLO. 2003. № 62. P. 286—304.*)
- [Гумбольдт 2000] — *Гумбольдт В. фон.* Избранные статьи по языкознанию / Общ. ред. Г.В. Рамишвили. М.: Прогресс, 2000. (*Humboldt W. von Gesammelte Schriften. Moscow, 2000. — In Russ.*)
- [Декомб 2011] — *Декомб В.* Дополнение к субъекту: Исследование феномена действия от собственного лица / Пер. с фр. М. Головановской. М.: Новое литературное обозрение, 2011. (*Descombes V. Le Complément de sujet. Enquête sur la fait d'agir de soi-même. Moscow, 2011. — In Russ.*)
- [Закиров 1996] — *Закиров Х.* Фергана. СПб.: Митин журнал, 1996. (*Zakirov Kh. Fergana. Saint Petersburg, 1996.*)
- [Исмоили 1996] — *Исмоили А.* [Исмаилов Х.] О философии узбекского языка // Звезда Востока. 1996. № 1. С. 162—173. (*Ismoili A. [Ismaylov H.] O filosofii uzbekskogo yazyka // Zvezda Vostoka. 1996. № 1. P. 162—173.*)
- [Кайс ар-Рази 1997] — *Кайс ар-Рази Ш.* Свод правил персидской поэзии. Ч. II. О науке рифмы и критики поэзии / Пер. с персидск. Н.Ю. Чалисовой. М.: Восточная литература, 1997. (*Qays ar-Razi Sh. Al-Mu'jam fi ma'ayir ash'ar al-'ajam [A Compendium of the Standards of Persian Poetry]. Moscow, 1997. — In Russ.*)
- [Калинин 2012] — *Калинин И.* Угнетенные должны говорить: массовый призыв в литературу и формирование советского субъекта, 1920-е — начало 1930-х годов // Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России / Под ред. А. Эткинда, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение, 2012. (*Kalinin I. Ugnetennye dolzhny govorit': massovyy prizyv v literaturu i formirovanie sovetskogo sub'yekta, 1920-e — nachalo 1930-kh godov // Tam, vnutri. Praktiki vnutrenney kolonizatsii v kul'turnoy istorii Rossii / Ed. by A. Etkind, D. Uffelmann, I. Kukulin. Moscow, 2012.*)
- [Квятковский 2013] — *Квятковский А.П.* Поэтический словарь. 3-е изд. / Науч. ред. и сост. И.Б. Роднянская. М.: РГГУ, 2013. (*Kvyatkovskiy A.P. Poeticheskiy slovar'. Moscow, 2013.*)
- [Кельнер-Хайнкеле, Ландау 2015] — *Кельнер-Хайнкеле Б., Ландау Я.М.* Языковая

- политика в современной Центральной Азии: национальная и этническая идентичность и советское наследие / Пер. с англ. О. Богдановой. М.: Рудомино, 2015.
- (*Kellner-Heinkele B., Landau J.M.* Language Politics in Contemporary Central Asia: National and Ethnic Identity and the Soviet Legacy. Moscow, 2015. — In Russ.)
- [Корчагин 2014] — *Корчагин К.* Пространство и время ферганского фильма [Рец. на кн.: Абдуллаев Ш. Приближение окраин. М., 2013] // Новый мир. 2014. № 5. С. 184—189.
- (*Korchagin K.* Prostranstvo i vremya ferganskogo fil'ma // Novyy mir. 2014. № 5. P. 184—189.)
- [Корчагин 2016] — *Корчагин К.* Пространство и субъект в поэзии Геннадия Айги // Russian Literature. 2016. Vol. 79/80. P. 111—124.
- (*Korchagin K.* Prostranstvo i sub'ekt v poezii Gennadiya Aygi // Russian Literature. 2016. № 79/80. P. 111—124.)
- [Коэлет 2000] — *Коэлет Г.* Не покидая своего места // Абдуллаев Ш. Двойной полдень. СПб.: Борей-Арт, 2000. С. 5—11.
- (*Koellet G.* Ne pokidaya svoego mesta // Abdullaev Sh. Dvoynoy polden'. Saint Petersburg, 2000. P. 5—11.)
- [Кукулин 2002] — *Кукулин И.* Фотография внутренностей кофейной чашки // Новое литературное обозрение. 2002. № 54. С. 262—282.
- (*Kukulin I.* Fotografiiya vnutrennostey kofeynoy chashki // Novoe literaturnoe obozrenie. 2002. № 54. P. 262—282.)
- [Липовецкий 2008] — *Липовецкий М.* Паралогии: Трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920—2000-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
- (*Lipovetskiy M.* Paralogii: Transformatsii (post)modernistskogo diskursa v russkoy kul'ture 1920—2000-kh godov. Moscow, 2008.)
- [Павлова, Безродный 2011] — *Павлова А.В., Безродный М.В.* Хитрушки и единорог: из истории лингвоартицизма // Политическая лингвистика. 2011. № 38. С. 11—20.
- (*Pavlova A.V., Bezrodnyy M.V.* Khitrushki i edinorog: iz istorii lingvonartissizma // Politicheskaya lingvistika. 2011. № 38. P. 11—20.)
- [Поэзия 2016] — Поэзия: учебник / Сост. Н.М. Азарова, К.М. Корчагин, Д.В. Кузьмин, В.А. Плуныгин и др. М.: ОГИ, 2016.
- (*Poeziya: uchebnik.* Moscow, 2016.)
- [Руссо 2014] — *Руссо М.М.* Неогумбольдтианская лингвистика и рамки «языковой картины мира» // Политическая лингвистика. 2014. № 47. С. 12—24.
- (*Russo M.M.* Neogumbol'dtianskaya lingvistika i ramki «yazykovoy kartiny mira» // Politicheskaya lingvistika. 2014. № 47. P. 12—24.)
- [Саид 2006] — *Саид Э.* Ориентализм / Пер. с англ. А.В. Говорунова. М.: Русский мир, 2006.
- (*Said E.* Orientalism. Moscow, 2006. — In Russ.)
- [Там, внутри 2012] — Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России / Под ред. А. Этקיнда, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
- (*Tam, vnutri.* Praktiki vnutrenney kolonizatsii v kul'turnoy istorii Rossii / Ed. by A. Etkind, D. Uffelman, I. Kukulin. Moscow, 2012.)
- [Тюркские языки 1996] — Языки мира: Тюркские языки / Отв. ред. Э.П. Тенишев. М.: ИЯ РАН, 1996.
- (*Yazyki mira: Tyurkskie yazyki.* Moscow, 1996.)
- [Уланов 2001] — *Уланов А.* Разделяющий свет // Знамя. 2001. № 5 (<http://znamlit.ru/publication.php?id=1439> (дата обращения: 2.01.2017)).
- (*Ulanov A.* Razdelyayushchiy svet // Znamya. 2001. № 5 (<http://znamlit.ru/publication.php?id=1439>))
- [Халид 2010] — *Халид А.* Ислам после коммунизма: религия и политика в Центральной Азии. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
- (*Khalid A.* Islam after Communism: Religion and Politics in Central Asia. Moscow, 2010. — In Russ.)
- [Эткнд 2013] — *Эткнд А.* Внутренняя колонизация / Авториз. пер. с англ. В. Макарова. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
- (*Etkind A.* Internal Colonization. Moscow, 2013. — In Russ.)
- [Ямпольский 2001] — *Ямпольский М.* О близком (Очерки немиметического зрения). М.: Новое литературное обозрение, 2001.
- (*Yampol'skiy M.* O blizkom (Ocherki nemimeticheskogo zreniya). Moscow, 2001.)
- [Ashcroft 2015] — Ashcroft B. Towards a Postcolonial Aesthetics // Journal of Postcolonial Writing. 2015. Vol. 51. № 4. P. 410—421.
- [Augé 1995] — *Augé M.* Non-Places. Introduction to an Anthropology of Supermodernity / Trans. by J. Howe. London; N.Y.: Verso, 1995.
- [Haugen 2003] — *Haugen A.* The Establishment of National Republics in Soviet Central Asia. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003.
- [Huggan 2001] — *Huggan G.* The Postcolonial Exotic. Marketing the Margins. London; N.Y.: Routledge, 2001.
- [Khalid 2015] — *Khalid A.* Making Uzbekistan. Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2015.
- [Kleinmichel 2012] — *Kleinmichel S.* Spielerisch von einer Welt in die andere. Ein Blick auf Hamid Ismailovs Dichtung und Prosa // Kulturelle Grenzgänge. Festschrift für Christa Ebert zum 65. Geburtstag / Hg. A. Brockmann et al. Berlin: Frank & Timme, 2012. S. 373—384.

- [Lewis 1994] — *Lewis F.D.* The Rise and Fall of a Persian Refrain. The Radīf «Ātash u Āb» // Reorientations/Arabic and Persian Poetry / Ed. by S. Pinckney Stetkevych. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1994. P. 199—226.
- [Orbita 2015] — Hit Parade: The Orbita Group (A. Punte, V. Svetlov, S. Timofeev, S. Khanin) / Ed. by K.M.F. Platt. N.Y.: Ugly Duckling Press, 2015.
- [Roeder 1999] — *Roeder Ph.G.* People and States after 1989: The Political Costs of Incomplete National Revolutions // *Slavic Review*. 1999. Vol. 58. № 4. P. 854—882.
- [Spivak 1999] — *Spivak G.Ch.* A Critique of Postcolonial Reason. Toward a History of the Vanishing Present. Cambridge; London: Harvard University Press, 1999.
- [Spivak et al. 2006] — *Spivak G.Ch., Condee N., Ram H., Chernetsky V.* Are We Postcolonial? Post-Soviet Space // *PMLA*. 2006. Vol. 121. № 3. P. 828—836.
- [Wierzbicka 1998] — *Wierzbicka A.* Russian «National Character» and Russian language: A Rejoinder to Mondry and J. Taylor // *Speaking of Emotions: Conceptualisation and Expression* / Ed. by A. Athanasiadou, E. Tabakowska. Berlin: Walter de Gruyter, 1998. P. 49—54.

Дирк Уффельманн

Игра в номадизм, или Постколониальность как прием

(СЛУЧАЙ ИЛЬДАРА АБУЗЯРОВА)

Dirk Uffelmann

Playing Nomadism, or Postcoloniality as a Literary Device
(the Case of Il'dar Abuzyarov)

Дирк Уффельманн (Университет Пассау; профессор, заведующий кафедрой славянских культур и литератур философского факультета; PhD; доктор наук) uffelmann@uni-passau.de.

Dirk Uffelmann (University of Passau; professor, Chair of the Department of Slavic Literatures and Cultures, Faculty of Arts and Humanities; PhD; Dr habil.) uffelmann@uni-passau.de.

Ключевые слова: Ильдар Абузаров, Чингисхан, гендерный порядок, кочевничество, маскулинность, насилие, монголо-татары, номадология, постколониальные исследования, постмодернизм, постсоветская литература на русском языке, скифская тема в русской литературе

Key words: Il'dar Abuzyarov, Genghis Khan, gender order, nomadism, masculinity, violence, Mongol-Tatars, nomadology, postcolonial studies, postmodernism, post-Soviet Russian-language literature, the Scythian theme in Russian literature

УДК: 821.161.1

UDC: 821.161.1

В статье Д. Уффельманна творчество И. Абузарова представлено как яркий пример постколониальной поэтики в произведениях этнически нерусских российских писателей. На примере повести «Чингиз-роман» автор исследует постколониальное восприятие посткоммунистической действительности, уделяя особое внимание изображению подчиненной маскулинности под маской кочевой культуры. Разграничив практику кочевничества и постструктуралистскую номадологию и указав на возможность двойного прочтения «Чингиз-романа», Уффельманн анализирует игровой подтекст повести, в которой кочевник помещен в современные условия. Интертекстуальное измерение позволяет соотнести Абузарова со скифской темой в русской культуре, выявить литературность мотивов кочевничества и заключить, что постколониальность — это один из приемов, используемых нерусскими авторами в посткоммунистической России.

D. Uffelmann's article proposes the work of I. Abuzyarov as an illuminating example of postcolonial poetics in the literary works of ethnically non-Russian writers from the Russian Federation. It focuses on the short story «Chingiz-roman» [«Genghis Novel»] and reads its postcolonial attitudes toward the postcommunist condition with special attention to its depiction of subaltern masculinity in a nomadic disguise. After distinguishing the practice of nomadism from poststructuralist nomadology and looking into the double readability of «Chingiz-roman», Uffelmann analyzes the implications of playing nomadism in contemporary conditions. Including the intertextual dimension allows him to relate Abuzyarov to the Scythian theme in Russian culture, to carve out the literariness of the nomad motifs, and to conclude that postcoloniality is one of the devices employed by non-Russian writers in postcommunist Russia.

Постколониальная литература посткоммунистической эпохи

К настоящему моменту уже предпринимались различные попытки осмыслить посткоммунистический период с помощью постколониальных категорий (см., например: [Groys et al. 2005]). Согласно одной из наиболее распространенных точек зрения, концепция постколониализма наиболее продуктивна, если смот-

реть на коммунизм глазами носителей нерусских культур как на «чужую» колониальную власть. Примечательно, что эта перспектива исследовалась больше за пределами России (в украинских, прибалтийских и польских постколониальных исследованиях), чем в России. Имея в виду именно внутрисосисийский «нерусский» угол зрения, в этой статье я доказываю не только тот факт, что определенные социополитические обстоятельства, присущие посткоммунистической России, поддаются концептуализации в рамках постколониальной теории, но и что *постколониальные схемы применяются в художественной литературе* как способ работы с травмой, которая явилась следствием посткоммунистических преобразований.

Не имея возможности представить здесь исчерпывающий обзор творчества этнически нерусских писателей, живущих в России, я намерен рассмотреть эту проблематику на ярком примере татарского писателя Ильдара Абузярова, который пишет по-русски. Случай Абузярова интересен тем, что он стоит несколько особняком, о чем свидетельствуют высказывания таких его коллег, как писатель-националист Захар Прилепин: считая, что Абузярова трудно сравнить с каким-либо другим писателем, он называет его «писателем-одиночкой» [Прилепин, Абузяров 2014].

Многогранность прозы Абузярова

Ильдар Анвярович Абузяров (тат. Илдар Әнвүр улы Әбүзәрөв) родился в 1975 году в Горьком, где изучал историю, прежде чем перебраться в Москву и стать коммерческим директором журнала «Октябрь». Литературный дебют Абузярова, состоявшийся в 1998—1999 годах, составили несколько небольших рассказов, которые были написаны спонтанно и сразу же опубликованы [Прилепин, Абузяров 2014]. Его раннее творчество состоит исключительно из рассказов; они публиковались в толстых журналах, а два из них («Почта» и «Мавр») в 2005 году вошли в короткий список Премии имени Юрия Казакова. Малые жанры продолжают преобладать и в более поздних произведениях Абузярова, которые, хотя и называются «романами», как «Чингиз-роман» [Абузяров 2004], нередко представляют собой небольшие повести или собрания рассказов, складывающиеся в квазироманные единства, такие как «Курбан-роман» [Абузяров 2009].

Хотя основным жанром творчества Абузярова последовательно остается короткая проза, его поэтика невероятно разнообразна. Впрочем, у созданных писателем художественных миров есть и еще один общий знаменатель: будучи принципиально антимиметичны, все они выступают как психореалистические исследования миров внутренних [Далин, Абузяров 2009]. Преобладающие в творчестве Абузярова внутренние монологи подчинены предсознательным импульсам (сексуальность, социальная травматизация, мистическая или фантастическая спиритуальность). Источником вдохновения ему служит латиноамериканский магический реализм [Прилепин, Абузяров 2014].

Несмотря на то что произведения Абузярова были удостоены Новой Пушкинской премии «за новаторское развитие отечественных культурных традиций» (2011) и Премии имени Валентина Катаева (2012), а Прилепин делает все возможное для популяризации его творчества (высказывания Прилепина приводятся на обложках едва ли не всех книг Абузярова), этот автор все еще почти

неизвестен за рубежом, а его книги переводились мало (несколько рассказов были переведены на арабский, армянский, чешский и шведский языки, а на немецком вышла лишь одна книга рассказов [Abusjaḡow 2011]).

Хотя Абузярова печатают буквально в каждом толстом журнале, свои позиции на книжном рынке ему все еще предстоит укреплять [Зайнуллина, Абузяров 2010]. Быть может, это отчасти объясняет, почему его взгляды на российскую политику отличаются сознательной расплывчатостью, а его постколониальный подход к посткоммунизму далеко не всегда радикален. Как следует понимать такой двойственный жест: «...я не призываю что-то кардинально разрушить и социально перестроить, хотя, положив руку на сердце, и это не помешало бы» [Далин, Абузяров 2009]? Столь же неопределенное отношение к освободительным движениям заметно и в абузяровском понимании революций: его роман «Мутабор» [Абузяров 2012b] задуман как критическая оценка «цветных революций» 2000-х годов¹, однако Октябрьскую революцию, как социально прогрессивную, автор приветствует [Григорьева, Абузяров 2013].

Симптом ли это сознания, подвергнувшегося колониальному воздействию, если татарский писатель, проживающий в Бирюлеве, защищает русских от обвинений в национализме (и это в беседе об учиненных расистами в 2013 году погромах на той самой бирюлевской улице, где живет Абузяров) и объясняет весь этот эпизод травмой, связанной с утратой империи, — таким образом, и сам прибегая к империалистическому топосу [Брык, Абузяров 2013]?

Для самого Абузярова естественно относить себя к «нашей русской литературе» [Григорьева, Абузяров 2013], однако его «фирменный знак» на российском литературном рынке определяется сочетанием восточных мотивов с современными российскими реалиями. Татарско-русский писатель подчеркивает, что считает Казань «столицей всех татар» [Григорьева, Абузяров 2013], хотя сам родился в Горьком, а в Казани бывает лишь изредка². Голос же провинциальному писателю татарского происхождения позволила обрести столица, где Абузяров работает, — Москва с ее культурными институциями, такими как московские литературные журналы, — при условии, что писать и говорить он будет по-русски, что Абузяров и делает: даже в интервью «TatarChannel» на задаваемые по-татарски вопросы он отвечал по-русски [А́буз̣а́ров 2012]. Признавая главенство русского языка, татарский писатель Равиль Бухараев тепло приветствовал прозу Абузярова, видя в ней признак того, что живущие в постколониальный период татарские писатели вновь обретают голос: «...это голос, который говорит “мы еще здесь, мы живы, мы участвуем в этой жизни”» [Без формата 2011]. В другом интервью Абузяров сам открыто говорит о колониальной утрате малыми народами Поволжья этнической идентичности, включая и тот из них, который он называет «одним из самых потерявшихся в большой цивилизации народов», — татар [Бойко, Абузяров 2009].

Неизбежная постколониальная неоднозначность культурной, политической и лингвистической позиции Абузярова — это та призма, сквозь которую я попытаюсь проанализировать его литературное творчество. В фокусе моего

1 «...Не связан ли этот порыв к свободе с превращением человека в животного?» (sic!) [Григорьева, Абузяров 2013].

2 С тем же отсутствием намека на какую-либо программность, от случая к случаю, Абузяров выступает и как переводчик с татарского на русский [Гульназек 2011].

исследования находится повесть «Чингиз-роман», которую Прилепин, наряду с «Троллейбусом, идущим на восток» [Абузяров 2011], называет одним из ранних «шедевров» Абузярова [Прилепин, Абузяров 2014]. Я рассмотрю те проявления постколониального отношения к посткоммунистическому периоду, которые нашли отражение в «Чингиз-романе», и проанализирую, как угнетенная маскулинность (см.: [Uffelmann 2013]) выводится под маской кочевой культуры эпохи премодерна.

Так как речь пойдет о мотиве кочевничества, то я начну с разграничения исторического феномена воинов-кочевников и деконтекстуализированной номадологии Делёза и Гваттари, покажу возможность двойного прочтения, которое допускают апелляции абузяровского героя к «моим ханам», а затем обращусь к теме угнетенной маскулинности и тем попыткам компенсировать свое положение, которые предпринимают в «Чингиз-романе» ее носители. Далее я обращусь к постколониальному подтексту повести, в которой воображаемые кочевники помещаются в посткоммунистические условия, и соотнесу новый панмонголизм Абузярова со скифской традицией в русской литературе. Интертекстуальные отсылки к другим текстам писателя позволяют установить подчеркнутую литературность мотивов кочевничества и маскулинности, присутствующих в произведениях Абузярова, и сделать общий вывод о постколониальности как одном из источников, из которых могут черпать этнически нерусские писатели в посткоммунистической России.

В контексте этой статьи я определяю *посткоммунизм* исторически, то есть как совокупность социальных, политических и культурных обстоятельств, характерных для переходного периода в России с начала 1990-х годов. Напротив, термин *постколониальный* я буду использовать в целях критической, однако далекой от однозначности рефлексии, деконструируя по ходу феномена власти и подчинения, порожденные (квази)колониальной стратегией культурного различия.

Кочевничество и номадология

Историческую практику кочевничества и его скотоводческую культуру следует отличать не только от метафорического употребления кочевнических мотивов в деконтекстуализированной постструктуралистской номадологии [Fischer 2010; Kaplan 1996: 85–100], сформулированной в философии Жилия Делёза и Феликса Гваттари, прежде всего, в работе «Тысяча плато» («Mille Plateaux», 1980), но и от переходных явлений в истории самого кочевничества, а именно от непродолжительных военных кампаний, подобных той, что была предпринята Монгольской ордой в середине XIII века. В них-то, как в занятии по преимуществу мужском, и черпает вдохновение автор «Чингиз-романа».

Однако трудно предположить, что Абузяров со своей «просвещенной дикостью» [Jankowski 2012] мог не знать о том, как широко мотив кочевничества распространен в русской литературе и культуре в целом (ср.: [Ушакин 2012]) и какой популярностью метафоры детерриторизации пользуются в постмодернистской мысли. Судя по творчеству Абузярова, он должен быть знаком как с антигегемониальным, в некотором смысле антиколониальным вектором номадологического «антиконцепта» Делёза и Гваттари, так и с их абстрактным преклонением перед «машиной войны» воинов-номадов [Делёз, Гваттари

2010: 587—716]. Именно это последнее следует спроецировать на неономадический сюжет «Чингиз-романа».

Наконец, сама постмодернистская номадология — несмотря на некоторые попытки ее феминистской адаптации [Braidotti 2011] — по сути своей «глубоко маскулинна и индивидуалистична» [Fischer 2010: 16], и, таким образом, абузьяровские образы неистовой маскулинности, попадающей в подчиненное положение и в конце концов терпящей поражение, наряду с частыми апелляциями протагониста к ханам кочевых племен, могут пролить деконструирующий свет на псевдономадические устремления Делёза и Гваттари.

Игра с фантастическим образом «моего хана»: возможность двойного прочтения

Мотив кочевничества возникает в первых же трех фразах «Чингиз-романа»: «Иногда во мне просыпается дух воина и я слышу стук-звезду. То ли это стук копыт, то ли стук моего сердца. Но всегда этот стук ведет меня к звезде» [Абузьяров 2004: 57]. Первый абзац предполагает двойное прочтение: стук сердца или стук копыт, — и одновременно дает читателю ключ к тому, как истолковывать эту двойственность в процессе дальнейшего чтения.

Метонимии кочевничества, такие как кони³, ковыль [Абузьяров 2004: 60] или верховая прогулка «с ветерком» [Абузьяров 2004: 62], разбросаны по всему тексту «Чингиз-романа». Наиболее часто цитируемый мотив — «мой хан» или «мои ханы». Главный герой сталкивает экономические практики посткоммунизма с социальными нормами Чингиз-хана: «По “Ясе” Чингиз-хана красть нехорошо» [Абузьяров 2004: 58]. Самого себя он нарекает именем татарского соратника Чингисхана, Шихи Хутуху⁴, и, кроме Чингиз-хана, взывает к широкому кругу вождей кочевников, которых называет «мои ханы»:

Я вижу крутые скулы Чингиз-хана, я вижу грозные брови Берке, я чувствую их всех: Темир-хана, Тамерлана, Тохтамыша, Сартака, Узбека... Подбородок Сартака — атака, острый, как стрела. Глаза Узбека узки, как бойницы, вздохи Тохтамыша тяжелы. Боевой клич Идегея звонок. Руки Мамаю маются без лука. Я люблю своих ханов. Я их обожаю [Абузьяров 2004: 58].

С этим историческим обзором, изложенным чрезвычайно поэтически и охватывающим множество столетий, контрастирует тот факт, что сам герой представлен человеком, который очень мало знает, особенно о том, кто он такой:

Я вообще мало чего знаю. И не только о вас. Я и о себе мало чего знаю. Я даже долгое время не подозревал, кто я и зачем я. Зачем я очутился в этом волжском городе, на этой залитой солнцем улице. Я был одет не так, как другие люди. На мне были слишком теплые штаны и сапоги, в то время как почти все мужчины были обуты в светлые кроссовки... [Абузьяров 2004: 57].

3 «Кони — это же друзья кочевников. Кони — это наши танки, самолеты и корабли» [Абузьяров 2004: 59].

4 Это вызывает в памяти рассказ Леонида Леонова «Туатамур» (1922), где повествование представляет собой внутренний монолог другого сподвижника Чингисхана.

Если сопоставить обе цитаты, то окажется, что развернутое перечисление в первой, свидетельствующее как об исторических познаниях, так и о литературном мастерстве, на перформативном уровне противоречит мнимой культурной неискушенности героя. На метауровне сам этот контраст уже означает литературную искушенность; он сообщает образу героя интригующую расщепленность: сам он считает себя варваром, однако его внутренний монолог обнаруживает качества человека цивилизованного, такие как историческая осведомленность и литературный талант. Таким образом, возможность диахронического двойного прочтения какого-либо элемента в контексте как премодерна, так и современности дополняется еще и возможностью двойного прочтения в синхронии: предполагается, что читатель будет колебаться между антиинтеллектуальной позицией протагониста, высказанной им эксплицитно, и теми интеллектуальными импликациями, которые автор — так сказать, за спиной у своего героя — вкладывает в его монолог.

В своих многочисленных «саморазоблачениях» герой заявляет, что незнаком с экономическими реалиями переходного периода (с незаконным обменом валюты, поддельванием купюр или с практикой выдачи рабочим «оклада» продукцией их заводов [Абузьяров 2004: 57–58, 64]). И лишь один косвенный намек позволяет предположить, что протагонист — этнический татарин: «Монголы — братья татар. Мы вместе покорили полмира» [Абузьяров 2004: 58]. Читателю остается лишь догадываться, не явился ли протагонист прямо из досовременной монгольской эпохи. Догадка эта подкрепляется утверждением героя, будто он принес важное секретное послание, которое сможет расшифровать только хан: «Секрет спрятан у меня глубоко-глубоко в мозгу. Его знаю только я один. Нет, даже я не могу его истолковать. Только хан расшифрует это послание» [Абузьяров 2004: 60].

Маскулинность досовременного типа

Как весь этот каскад отсылок к кочевничеству следует понимать читателю? Поэтика диахронического двойного прочтения допускает интерпретацию, согласно которой номадизм и отсылки к монгольской истории — это субъективные плоды воображения протагониста, почти галлюцинации. Их можно истолковать либо как кошмары, которые видит герой, либо как грезы наяву, в которых молодой мужчина, занимающий низкое положение в социальной иерархии и вынужденный конкурировать за территорию с враждебными группировками в условиях современного города, сублимирует неприглядную действительность.

История, которая начинается со стука, означающего то ли собственное сердцебиение протагониста, то ли топот копыт и возвещающего приближение кочевых всадников, продолжается так:

Самое страшное, если в такие минуты я краем глаза вижу крепкого и наглого парня, потому что стук и звезда призывают меня сразиться. Помериться с ним силами. Я слежу за крепким и нахальным парнем заворуженно, словно удав за кроликом. <...> Вот наглец! Этого я уже стерпеть не могу. Срываюсь с места, подлетаю к его широкой спине и что есть мочи бью кулаком по пояснице. Вот так, сзади. Дальше — будь что будет. Драка-милиция-смерть с молоком на губах [Абузьяров 2004: 57].

Как и этот пассаж, весь «Чингиз-роман» целиком состоит из длинного, полного агрессии и вульгарности внутреннего монолога татарина, боготворящего кочевых ханов. Именно через монолог — излюбленный прием создания образов Абузярова — мы и видим героя [Скрягина 2010]. Из него мы узнаем, что он стремится достичь гегемониальной маскулинности, как ее понимает Р. Коннелл [Connell 2005]. Сексуальность герой представляет себе как завоевание женщин силой, утверждая, что «женщины любят воинов» [Абузяров 2004: 68–69]. Франц Фанон считал, что подобные фантазии о сексуальном насилии возникают в результате влияния колонизации на концепции мужественности, распространенные в колонизированном обществе [Fanon 2008: 155–157]. Развивая мысль Фанона, белл хукс пишет, что в таком обществе мужчинам, попавшим в подчиненное положение, свойственно стремление восстановить утраченный статус посредством фаллоцентрической идеологии и агрессивного сексуального поведения [hooks 1992: 94–95].

Насильственная природа гетеросексуальных отношений такого типа подразумевает несколько моментов: она не допускает проявлений гомосексуальности, или «субординированной маскулинности» в терминологии Коннелл, зато поощряет гомофобию и агрессию по отношению к другим мужчинам ради утверждения собственных гетеросексуальных инстинктов. Воинственный герой мечтает оскотить своих соперников: «Но, в следующую секунду решаю для себя я, если эти мужчины еще и не евнухи, они ими скоро будут. Клянусь стягом своего хана» [Абузяров 2004: 68].

Впрочем, одной только гетеросексуальной агрессии, по-видимому, еще недостаточно для того, чтобы создать образ кочевника-варвара. В «Чингиз-романе» маскулинность досовременного типа моделируется посредством отождествления себя с животным («Я волк») и нечистоплотности: «Я не моюсь. Запах — это дух воина. <...> Мои подмышки, словно заросли камыша. Я чувствую запах болота» [Абузяров 2004: 58]. Здесь Абузяров не только обращается к досовременной гендерной схеме, но и иронически отсылает к одной из представленных в современной русской культуре моделей маскулинности, которая нашла выражение в популярной формуле «могуч, вонюч и волосат».

Поэтика варварского нарушения цивилизационных табу временами напоминает поэтику раннего Владимира Сорокина, однако герой Абузярова идет еще дальше:

...подхожу к книжному шкафу. Он давно пустой. В книжном шкафу у меня сушится конская колбаса. Не колбаса, а конские члены. Вот этот конь — мы зарезали его в сентябре. А это его сын — тоже конь. Я вгрызаюсь зубами сразу в два члена — сына и отца [Абузяров 2004: 59–60].

Если не сводить «конские члены» к вульгарной метафоре казылыка — традиционной татарской колбасы из конины, то поглощение — в буквальном смысле — засушенных конских членов (собственно гомоэротический мотив) выступает еще и вопиющим нарушением табу монгольских племен (почитание коней как друзей кочевников). Кроме того, оно иллюстрирует практику использования сомнительных афродизиаков с целью усилить мужскую потенцию. Читателю предлагается, таким образом, сделать вывод о недостаточных сексуальных способностях протагониста: чтобы преодолеть чувство собственной неполноценности, он подвергает сомнению половую силу воображаемых соперников. Выбор китайцев в качестве соперников объясняется исторической

памятью о монголо-китайских военных столкновениях, причем отягчающим фактором выступает культурное превосходство китайской цивилизации:

Я не могу ничего делать. Ни читать книги, ни смотреть телевизор. <...> Кажется, бумагу придумали китайцы. Дикий народ. Рабы. <...> Китайцы не мужчины. Им не хватает мужской раскрепощенности и убедительности. Боги не любят таких импотентов, как они [Абузьяров 2004: 59].

После этого герой направляет свою филиппику и на европейцев: «Я верю, придет момент, и люди длинной воли разорвут всю Европу. Европейцы недалеко ушли от китайцев. <...> Приступы рвоты от одной только мысли о нравах европейцев...» [Там же]. Русские от подобных нападков избавлены, по крайней мере на уровне эксплицитных высказываний. Протагонист упоминает вскользь, что по-русски говорит плохо [Абузьяров 2004: 64, 68], однако это не мешает ему прийти в литературный кружок. Там он неожиданно заявляет, что его хан послал его «покорить Москву»: «У меня только один учитель — это мой хан. И сейчас он ставит передо мной задачу поважнее. Покорить Москву» [Абузьяров 2004: 66]. Пусть даже сюжетный контекст и предполагает, что «покорять» Москву герой намерен с помощью поэзии неофутуризма, сам образ монгольских кочевников, захвативших современную Москву, исполнен потенциального насилия и не может не всколыхнуть русской культурной памяти об ордынском иге.

Опять-таки с точки зрения синхронии эту угрозу завоевания можно расшифровать и как возможное столкновение между гегемониальной (русской, «цивилизованной», относительно обеспеченной) и занимающей подчиненной положение (маргинализованной, принадлежащей к нижним слоям общества, азиатской, татарской) группами. Р. Коннелл пишет: «Насилие может превратиться в способ заявить или утвердить собственную маскулинность в ходе борьбы между разными группами. Процесс этот становится взрывоопасным, когда угнетенная группа получает возможность осуществить насилие <...>» [Connell 2005: 83].

Череду схожих между собой столкновений, начавшуюся с того безымянного парня, на которого протагонист хотел напасть со спины, продолжает чрезмерно жестокая месть героя обманувшему его подпольному меняле: «Я бросился следом за убегающим менялой. Я кинулся ему на спину. Повалил на землю. Вцепился зубами в шею. Я грыз ему шею» [Абузьяров 2004: 58]. «Поляки» и «тевтонцы», исторические враги монголов, выведены в повести Абузьярова как современные враждебные друг другу молодежные группировки. Воображаемое перемещение с современной молодежной агрессии к кочевнической идентичности у Абузьярова высказано эксплицитно: «Еще секунду назад я был простым хулиганом. Но хлопок — и я перехожу черту, превращаясь во всадника Чингиз-хана, в человека длинной воли, в дикого татарина, что презирает все блага цивилизации» [Абузьяров 2004: 60].

Сравнение исторических притязаний кочевников, обусловленных их военным превосходством, с соперничеством молодежных группировок сопровождается, как мы видели на примере афродизиаков из конских членов, деконструкцией аналогичных мужских притязаний на превосходство. Но гораздо более важная сюжетная роль, чем усилителям потенци, отведена в «Чингиз-романе» не принадлежащей к миру кочевников женщине, которая активно соблазняет героя. Как пишет Коннелл: «Доминирование *любой* группы мужчин может быть

оспорено женщинами» [Connell 2005: 77]⁵. Домодерные представления героя о маскулинности сталкиваются с представлениями его партнерши о гигиене: она заставляет его вымыться, прежде чем вступить с ней в половую связь [Абузяров 2004: 70]. Он же рассматривает это как предательство кочевнических ценностей:

...больше всего меня волнует предательство, которое я готов совершить или уже совершаю ради женщины Жени. Я знаю, что, если я оказался в полной воды ванне, моих соплеменников подстерегает опасность. <...> Смывая с себя дух воина, невольно срываю с великого хана шлем и кольчугу [Абузяров 2004: 70].

Упадок «земной» (в противовес водной) кочевнической маскулинности доходит до того, что герой даже сочиняет стихотворение, прославляющее воду [Абузяров 2004: 72], — поступок, который резко противоречит геософским ценностям степи⁶. Герой не может сдержать слез [Абузяров 2004: 71] и уступает ведущую роль Жене, которая инициирует секс и «скачет» на том, кто воображает себя независимым кочевым всадником: «А я чувствую, что я ее конь, ее преданный раб. А она моя властная госпожа с плеткой!» [Абузяров 2004: 72—73].

Однако «Чингиз-роман» — это не история воспитания или преобразования через опыт любви. После сексуальной сцены мы наблюдаем возвращение протагониста к мужской, кочевнической логике. И пока его, побывавшего в оазисе не то любви, не то предательства, избивают (возможно, до смерти) враждебно настроенные подростки, герой в этой мужской расправе над самим собой усматривает надлежащую кару за свое отступничество, за акт измены:

Неужели меня поглотила ее воздушная, как замок, лоскутная и холодная, как атласное покрывало, культура? Неужели я ей поддался? Восхитился? Начал подражать этой культуре? Отказался от Чингиз-поэзии? Стал подражать своим трусливым, беспомощным, слабавольным врагам? Стал таким же, как они?

Да, меня поглотила ее культура. Проживала и выплонула, чего и заслуживает предатель. Меня — последнего аутентичного поэта. Меня, кто привык скакать на мясе, есть мясо, быть в мясе. <...> Но сейчас я не чувствую себя в мясе. Я в раю. Я нежен. Я сдаюсь на милость врага, осознавая, как я низко пал, как я слаб. <...> Любовь — это явление чуждой культуры [Абузяров 2004: 73].

Что это может дать нам в аспекте исследования маскулинности? Колониальная маскулинность, какой Абузяров изобразил ее на примере татарской жертвы (пост)советской колонизации, оказалась в плену треугольника, напоминая тот, что Оксана Забужко описала применительно к Украине:

...в колониальном сознании «женственность» воспринимается мужчиной как нечто априори порочное, предосудительное, и в гендерном отношении он противопоставляет себя <...> не ей, а прежде всего «чужой», *победоносной* (это главное!) «мужественности» [Забужко 1999: 169—170]⁷.

Какова функция постколониального переноса домодерной маскулинности в посткоммунистический контекст? Концепция мужественности, характерная

5 Курсив оригинала.

6 Возможно, это даже можно истолковать как ироническую отсылку к неоевразийцу Александру Дугину, который выдвинул концепцию противостояния теллуократии и талассократии.

7 Курсив оригинала.

для периода премодерна, агрессивно и с избытком компенсирует сознание социальной униженности, при этом постоянно подвергаясь риску быть развенчанной как неблагоприятной современной действительностью, так и современными женщинами. Созданный Абузяровым образ дикого кочевника в посткоммунистическом окружении способствует деконструкции компенсирующих форм гегемонной маскулинности (см.: [Connell 2005: 84]).

Постколониальность в посткоммунистическую эпоху

Если постколониальность компенсирует кризис, который переживает маскулинность, то насколько в таком случае специфичен посткоммунистический антураж «Чингиз-романа»? Может показаться, что сам Абузяров придерживается традиционных гегемонных моделей маскулинности: например, когда употребляет в интервью, пусть и изредка, «мужские» метафоры («...ввяжусь в новую драку» [Прилепин, Абузяров 2014]) или когда восторгается образом жизни одного из самых маскулинных авторов в мировой литературе, Эрнеста Хемингуэя [Григорьева, Абузяров 2013]. Вот как Абузяров вспоминает свою юность: «Я до определенного времени вообще ничего не читал. Уличный подросток, футбол, бокс...» [Там же]. И в этом отношении он оказывается ближе к таким писателям-«асоциалам», как Чарльз Буковски, чем к Хемингуэю.

Как видно на примере Буковски, в том, что мужчина занимает низкое социальное положение, нет ничего специфически посткоммунистического. Тем не менее Абузяров включает в свои тексты многочисленные постсоветские реалии. В «Чингиз-романе» он подчеркивает, что дело происходит в городе: «...этот город с ненавистными заводами и семейными трущобами, что пытается закабалить его» [Абузяров 2004: 75]. Именно эту посткоммунистическую городскую жизнь и хочет разрушить протагонист «Чингиз-романа»: «Ура! Руби эту цивилизацию с ее хозяевами!» [Там же]. Зачем же ему понадобилось «рубить цивилизацию»? Затем, что она, как замечает Мартин Янковски, не нуждается в мужских добродетелях, которые потому и проецируются на мифическое прошлое:

Особенность «оркестровки» Абузярова состоит в том, что это голоса, преимущественно <...> наделенные специфически мужскими чертами, разворачивающимися в полную силу <...> несломленная мужская энергия, разбивающаяся о современность, которой больше не нужны мужчины-герои. А потому [мужские персонажи] ищут то, чего лишены в настоящем, в своих корнях, у предков, в духовной связи с древними мифами [Jankowski 2012].

В самом деле, цивилизационные декорации посткоммунистической России с ее переходной экономикой, где рабочим «платят» изделиями, которые они же и произвели, например салатницами, вновь и вновь соотносится с «историческим» фоном. Когда такая вот непрошенная салатница напоминает герою, произносящему свой внутренний монолог, о черепае русского князя XIII века, принявшего мученическую смерть в борьбе с монголами, возникает комический эффект:

Я подхожу к серванту и достаю самую большую салатницу, похожую на обсосанный червями череп. <...> Салатницу мне подарили на день рождения. Сказали,

что она из Владимирской области, из Гусь-Хрустального. Мы исходили эту область вдоль и поперек. Имели этих надменных пузатых гусаков, как хотели. Может, салатница — череп какого-нибудь великого русского князя? Принявшего мученическую смерть князя? Чем еще может быть велик русский князь? Может быть, салатница — трофей, из которого мой хан пил кумыс? [Абузяров 2004: 59].

Слияние двух миров: исторической реальности кочевых племен и современной городской действительности — создает особый хронотоп, который можно назвать колеблющимся. Свою духовную родину протагонист ищет «у нас в степи» [Абузяров 2004: 59], но внешнее действие в основном разворачивается в неназванном поволжском городе, где есть автобусная остановка «Университет-Сарай» и улица Проломная [Абузяров 2004: 57, 61—62]. Эта последняя может указывать на одноименную улицу в родном городе Абузярова, Нижнем Новгороде, или на бывшее название улицы Баумана в Казани. Нижний более вероятен, так как в интервью «Новой газете» в Нижнем Новгороде Абузяров утверждал, что часто использует родной город в качестве фона для своих произведений [Далин, Абузяров 2009].

Противоречие между двумя конкурирующими концепциями пространства становится особенно наглядным в ситуации городских транспортных пробок: «Вот уроды. Ну зачем так мучить коней? <...> Зачем их загонять на такие узкие улочки?» [Абузяров 2004: 59]. Чтобы внутренне освободиться от налагаемых жизнью в городе ограничений, протагонист подолгу прыгает на постели, достигая экстатического превращения из уличного хулигана в воина-кочевника [Абузяров 2004: 60]. При том, что он возомнил себя Шихи Хутуху, писчим Чингизхана, он хочет «сразиться» с французским писателем Мишелем Уэльбеком [Абузяров 2004: 63]. И опять, хотя герой, как древний татарский кочевник, должен быть неграмотен, он пишет стихи по-русски и поступает (заплатив взятку, а не сдав вступительные экзамены) на «факультет языка и литературы», где «шаманы» рассказывают ему о влиянии Льва Толстого на Бориса Пастернака, о которых герой думает, что, «может, это боги» [Абузяров 2004: 64—65]. Степно-городской и древне-современный хронотоп последователен в своих постоянных колебаниях.

«Скифское» наследие

Что могло послужить источником вдохновения для этого «колеблющегося» хронотопа? Обращаясь к русским читателям, Абузяров имеет в виду особый русский дискурс о кочевничестве. Можно говорить, с одной стороны, о самоотождествлении русских с кочевниками в XIX и в начале XX века (см., например: [Frank 2011; Kleespies 2012]) и о проблемном соотношении себя с ними — с другой. Самоотождествление с кочевниками достигло наибольшей интенсивности в «скифском» дискурсе, например у Сергея Мстиславского и Иванова-Разумника в тексте «Вместо предисловия» к первому выпуску альманаха «Скифы» (1917). И, конечно, в хрестоматийном блоковском самоопределении (скорее диалектического характера): «Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, / С раскосыми и жадными очами!» [Блок 1960: 360].

Проблемное же соотношение нередко осуществлялось в рамках тройной констелляции, включающей Россию, кочевую Азию и Европу. Ф. Достоевский

так описывает идентичность русских, способную изменяться в зависимости от точки зрения наблюдателя: «В Европе мы были татарами, а в Азии и мы европейцы» [Достоевский 2004: 480]. Поскольку Абузяров, как было показано выше, противопоставляет своих неокочевников китайцам, европейцам, а не явным образом и русским, то наиболее продуктивной для него гранью всего кочевнического дискурса оказывается бинарное противостояние кочевой Азии и всех прочих. Эта традиция берет начало в катастрофизме позднего Владимира Соловьева, который в стихотворении «Панмонголизм» предвещает будущее уничтожение России «желтой угрозой»: «О Русь, забудь былую славу: / Орел двуглавый сокрушен...» [Соловьев 1922: 240]. Андрей Белый в романе «Петербург» представляет, будто «топот» копыт — предвестие кочевых всадников — уже приближается к городу на Неве: «...чу — прислушайся: будто топот далекий; то — всадники Чингиз-хана» [Белый 1981: 444]. И тот же Белый в «Серебряном голубе» свел противостояние монголов всем остальным к бинарной оппозиции, чтобы затем выявить потаенное связующее звено между русскими и монголами. Звучит это так: «Русские люди вырождаются; европейцы вырождаются тоже; плодятся одни монголы», — и впоследствии деконструируется следующим образом: «Россия — монгольская страна; у нас у всех — монгольская кровь...» [Белый 1922: 101]. Коммунистический Съезд народов Востока 1920 года тоже предпринял попытку представить наследие Чингис-хана как угрозу лишь для Западной Европы:

Мы апеллируем, товарищи, к чувствам борьбы, которые когда-то воодушевляли народы Востока, когда эти народы под руководством своих великих завоевателей шли на Европу. Мы знаем, товарищи, что наши противники скажут, что мы апеллируем к памяти Чингиз-хана, к памяти завоевателей великих калифов ислама. <...> И потому, когда капиталисты Европы говорят, что угрожает новая волна варварства, новая волна гуннов, мы отвечаем им: Да здравствует красный Восток... [Съезд 1920: 72].

Если рассматривать «Чингиз-роман» в контексте всех этих сопоставлений, которые отнюдь не подразумевают тотальной русско-монгольской конфронтации, то становится очевидно, что текст Абузярова усиливает бинарность скифского дискурса, бескомпромиссно противопоставляя монголо-тюркским кочевникам «всех прочих»: китайцев, европейцев, русских (пусть и не открыто) и даже арабов и персов⁸. Впрочем, такая предельно дизъюнктивная модель тоже допускает двойное прочтение: в ней можно увидеть и продукт стремления молодого мужчины, занимающего подчиненное положение, к сверхкомпенсации. Причем продукт этот в высшей степени литературен, поскольку Абузяров мастерски цитирует различные сравнительно малоизвестные элементы скифского дискурса, от «стука» Белого и «евнухов» Иванова-Разумника [Иванов-Разумник, Мстиславский 1917: xi; Абузяров 2004: 67] до цветаевского «Взял меня — хан!» [Цветаева 2008: 452]⁹.

8 [Абузяров 2004: 61]. Отсюда явствует, что релевантным критерием отбора выступает кочевничество, а не ислам.

9 Впрочем, у Абузярова воображаемый хан не «берет» женщину; это она «взяла» протагониста.

Металитература

Чтобы обнаружить подобные литературные аллюзии, требуется внимательное прочтение, однако для менее подготовленных читателей Абузяров делает и более очевидные намеки на то, что его произведение представляет собой чисто литературную конструкцию (ср.: [Скрягина 2010]). Так, вышеупомянутое слияние кочевнического с городским и древнего с современным он обнажает как литературный прием, имитируя при этом футуризм с его риторикой разрушения. Это происходит, когда протагонист читает вслух собственные стихи:

— Что ж, почитаю, — сказал я. <...>

И как пошел крушить все на своем пути, сравнивая дома этого города с их низанными на шампур подъездов квартирами — с палкой шашлыка, а эти микрорайоны красно-белых девятиэтажек — с пловом. Рис, курага, рис, курага. Я так и сказал им: вы все — плов в этом казане. Вы все бараны, что должны пойти под нож новой поэзии.

Да, я резал и кромсал. Шестнадцать собравшихся там псевдопоэтов я уже сравнивал с шестнадцатью проститутками, что первыми прибегут на праздник отведать острого блюда новой поэзии. Я так и сказал: вы, проститутки, первые преклонитесь перед новой поэзией [Абузяров 2004: 66].

Нечто подобное происходит и на уровне постколониального подтекста, когда Абузяров, этнический татарин, пишущий на колониальном языке — русском, обыгрывает тюркскую этимологию некоторых русских выражений:

Все, стоп. Дальше некуда, приехали. Хватит унижаться — пора учить. Сейчас вам всем здесь настанет кирдык. Сейчас я вам преподам урок ведения боя в ограниченном пространстве города. Дураки, вы уже свое отъездили. «Дурак» по-тюркски означает «остановка», «кирдык» значит «приехали». Здесь мы вас, дураков, и остановим [Абузяров 2004: 59].

И последнее, хотя и не менее важное: Абузяров изображает своего героя как лидера группы провинциальных поэтов-бунтарей, которые добиваются успеха в Москве. Эти новые бунтари явно усвоили поэтический урок футуризма:

Мы взяли с боем все крупные редакции и театры. Насиловали своими текстами заведующих отделами прозы и поэзии, художественных руководителей и режиссеров. Приклеивали к стенам «храмов культуры» листы со своими бессмертными произведениями. Клеили калом и кровью. Плевали в лицо оторопевшим столпам культуры.

<...> С каким удовольствием крушили плоды столь ненавистой мировой цивилизации. <...> Убивать прозой и стихами было легко и приятно, ведь в культуре сегодня в основном беспомощные дети-инвалиды, бесплодные женщины и недееспособные старики. <...> Мы, гопники, — принцы стихотворной провинции [Абузяров 2004: 66–67].

Так литературный текст Ильдара Абузярова, коммерческого директора толстого журнала, выходит на уровень метакомментария к литературе и литературному бизнесу.

Ввиду всего сказанного не лишено смысла взглянуть на творчество Абузярова и с «маркетинговой» точки зрения. Оказывается, что позиция «рассер-

женного молодого человека) — представителя этнического меньшинства, прибывшего в столицу, пользуется вполне коммерческим успехом. Из рецензий и цитат, размещаемых на обложках книг Абузярова, явствует, что агрессивная самоидентификация Востока с кочевничеством и варварством — осознанная стратегия самоориентализации (см.: [Uffelmann 2011]), которую можно с успехом эксплуатировать в рыночных целях (ср. определение, данное Алиной Бронски творчеству Абузярова: «восточный ветер» [Weissbooks 2011]).

Заключение

Несмотря на «восточный маркетинг» автора, поэтика Абузярова многомерна, а самоориентализация отнюдь не является единственным художественным приемом писателя. Какой же вывод подобная литературная многогранность позволяет сделать о (не)экзистенциальной природе неомонголизма Абузярова? Ряд автобиографических деталей, особенно тех, что касаются опыта молодых мужчин — представителей конкурирующих нижегородских группировок, явно роднит «Чингиз-роман» с некоторыми другими произведениями писателя, такими как «Хуш». Однако в других текстах автобиографические параллели менее очевидны. «Кочевнические» произведения Абузярова соседствуют с более сдержанными и культурно далекими интертекстуальными играми, такими как пародия на «Пана Тадеуша» в «Курбан-романе».

Широта спектра литературных экспериментов Абузярова не позволяет говорить о его творчестве как об ответвлении идеологии евразийства с его ориентацией на стабильность, об идеологическом выступлении в защиту «красоты кочевников», как у Павла Зарифуллина в «Новых скифах» [Зарифуллин 2013: 7]. Неомонгольские и неономадические мотивы скорее лишь две из множества граней экспериментального письма Абузярова. Писатель исследует жизнеспособность номадологической эпистемологии [Делёз, Гваттари 2010: 604—628], соотнося «номадические» тексты с другими своими литературными опытами, то есть отказываясь от эксклюзивности темы кочевничества. Прилепин справедливо называет творчество Абузярова «игровой литературой» [Прилепин, Абузяров 2014]. Благодаря игровому подходу номадологическая поэтика Абузярова подрывает ту идеологию кочевничества, которую исповедует герой «Чингиз-романа». Этому герою — в сущности, несчастному — никогда не взять верх над писателем-экспериментатором с его самоиронией, который в рассказе «Начало» говорит: «Неужели все это придется запачкать своими идиотскими экспериментами-эксcrementами. И зачем я только решился стать писателем?» [Абузяров 2009: 281].

Дело не ограничивается одним лишь сходством с постмодернистской поэтикой детабуизации; Абузяров еще и концептуализирует, следуя в этом за Сорокиным, чужие формы письма: «Мне хотелось бы демонстрировать стереотипы. В повести “Чингиз-роман” я взял стереотипный, клишированный образ татарина и перенес этого татарского дикаря, в его татарских сапогах и с косичкой, в русский город, где ему, естественно, многое предстоит испытать» [Buchmesse 2011]. В творчестве Абузярова представлены многочисленные пласты интертекстуальной и интердискурсивной памяти, писатель же, будто аранжировщик, имеющий вкус к литературной игре, может выбирать из богатого резервуара приемов и принимать решение — заведомо случайное.

С одной стороны, это означает, что постколониальность, если определять ее только как тему, связанную с культурными последствиями бывшего (квази)-колониального владычества, — не только инструмент эвристики, но и *конститутивная* черта некоторых современных российских текстов. Абузярову постколониальность служит биржевым товаром, используемым для продвижения своего творчества на литературном рынке, пусть и под внутрироссийской, но все же экзотической «торговой маркой». Такая стратегия сопоставима с тем, как определяет постколониальность Грэм Хаггэн в связи с глобальной коммодификацией периферий: «Постколониальность <...> — это механизм регулирования стоимости в условиях глобальной позднекапиталистической системы товарообмена» [Huggan 2001: 6].

С другой стороны, скрытая авторская ирония подрывает антигегемонные и антицивилизационные формы постколониальности: последние предстают лишь как одна из языковых игр, которыми занят писатель-экспериментатор, наряду, например, с такими, как литература компьютерная («Агробление полбански» [Абузяров 2012a]) или детективная («Мутабор» [Абузяров 2012b]). И все они второстепенны по сравнению с темой любви, которая преобладает в творчестве Абузярова. Постколониальная игра — это сюжетный элемент или модальность, как у Абузярова, так и у ряда других современных этнически нерусских российских писателей¹⁰. Она не является порождающим принципом и не предопределяется биографией. Этим я не хочу сказать, что литература автоматически поднимается над своим контекстом. Скорее, литература, созданная в посткоммунистической России писателями нерусского происхождения, может обращаться или не обращаться к проблеме постколониальности. Это подводит нас к заключительному тезису: в славянских литературах посткоммунистической эпохи постколониальность выступает как необязательный, однако весьма удобный прием сюжетосложения.

Пер. с англ. Нины Ставрогиной

Библиография / References

[Абузяров 2004] — *Абузяров И.А.* Чингиз-роман // Знамя. 2004. № 1. С. 57—75.
(*Abuzyarov I.A.* Chingiz-roman // *Znamya*. 2004. № 1. P. 57—75.)

[Абузяров 2009] — *Абузяров И.А.* Курбан-роман: Рассказы. М.: Центр книги ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2009.
(*Abuzyarov I.A.* Kurban-roman: Rasskazy. Moscow, 2009.)

10 Здесь уместно сравнение с употреблением восточных кочевнических мотивов, тоже скорее спорадическим, другими современными авторами, такими, как Максим Курочкин [Курочкин 2006] или Валерий Вотрин [Вотрин 2009] (на эту параллель мое внимание обратил Марк Липовецкий). Этим наблюдением опровергается утверждение Прилепина об исключительном своеобразии Абузярова, а некоторые собственные прилепинские тропы мужской «самоварваризации» с обертонами шовинизма не так уж и отличаются в ценностном отношении от постколониального обыгрывания темы угнетенной маскулинности у Абузярова. Впрочем, сравнение тропов маскулинного самоотождествления с варварами в творчестве русских и нерусских писателей — тема для отдельной работы.

- [Абузяров 2010] — *Абузяров И.А.* Хуш: Роман одной недели. М.: Астрель, 2010.
(*Abuzyarov I.A.* Khush: Roman odnoy nedeli. Moscow, 2010.)
- [Абузяров 2011] — *Абузяров И.А.* Троллейбус, идущий на восток // Десятка: Антология современной русской прозы / Ред. Захар Прилепин. М.: Ad Marginem, 2011. С. 185—193.
(*Abuzyarov I.A.* Trolleybus, idushchiy na vostok // Desyatka: Antologiya sovremennoy russkoy prozy / Ed. by Zakhar Prilepin. Moscow, 2011. P. 185—193.)
- [Абузяров 2012a] — *Абузяров И.А.* Агробление по-олбански. М.: Астрель, 2012.
(*Abuzyarov I.A.* Agroblenie po-olbanski. Moscow, 2012.)
- [Абузяров 2012b] — *Абузяров И.А.* Мутабор. М.: Астрель, 2012.
(*Abuzyarov I.A.* Mutabor. Moscow, 2012.)
- [Без формата 2011] — Без формата: В Москве вручили Пушкинскую премию молодому татарскому писателю Ильдару Абузярову // <http://www.poushkin-premiia.ru/index.php?id=348> (дата обращения: 04.05.2013).
(*Bez formata: V Moskve vruchili Pushkinskuyu premiю molodomu tatarskomu pisatelyu Il'daru Abuzyarovu* // <http://www.poushkin-premiia.ru/index.php?id=348> (accessed: 04.05.2013).)
- [Белый 1922] — *Белый А.* Серебряный голубь. Берлин: Эпоха, 1922.
(*Belyu A.* Serebryanuy golub'. Berlin, 1922.)
- [Белый 1981] — *Белый А.* Петербург. М.: Наука, 1981.
(*Belyu A.* Peterburg. Moscow, 1981.)
- [Блок 1960] — *Блок А.А.* Скифы // Блок А.А. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 3: Стихотворения и поэмы 1907—1921. М.; Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1960. С. 360—362.
(*Blok A.A.* Skify // Blok A. A. Sbranie sochineniy: In 8 vols. Vol. 3: Stikhotvoreniya i poemu 1907—1921. Moscow; Leningrad, 1960. P. 360—362.)
- [Бойко, Абузяров 2009] — *Бойко М., Абузяров И.* Коммуналки и неприступные особняки [Интервью] // Независимая газета. 2009. 8 октября (<http://www.liveclassics.ru/projects/abuzarov/04.html> (дата обращения: 12.09.2014)).
(*Boyku M., Abuzyarov I.* Kommunaliki i nepristupnye osobnyaki [Interview] // Nezavisimaya gazeta. 2009. October 8 (<http://www.liveclassics.ru/projects/abuzarov/04.html> (accessed: 12.09.2014).))
- [Брык, Абузяров 2013] — *Брык Ю., Абузяров И.* Русские по своей природе не националисты [Интервью] // Deutsche Welle. 2013. 16 октября (<http://www.dw.de/писатель-ильдар-абузяров-русские-по-своей-природе-не-националисты/a-17161703> (дата обращения: 10.08.2014)).
(*Bryk Yu., Abuzyarov I.* Russkie po svoey prirode ne natsionalisty [Interview] // Deutsche Welle. 2013. October 16 (<http://www.dw.de/писатель-ильдар-абузяров-русские-по-своей-природе-не-националисты/a-17161703> (accessed: 10.08.2014).))
- [Вотрин 2009] — *Вотрин В.Г.* Последний магог. М.: Новое литературное обозрение, 2009.
(*Votrin V.G.* Posledniy magog. Moscow, 2009.)
- [Григорьева, Абузяров 2013] — *Григорьева А., Абузяров И.* На Болотной площади не нашлось Жанны д'Арк [Интервью] // МКРУ Казань. 2013. 9 мая (<http://kazan.mk.ru/print/article/852171/> (дата обращения: 10.08.2014)).
(*Grigor'eva A., Abuzyarov I.* Na Bolotnoy ploshchadi ne nashlos' Zhanny d'Ark [Interview] // MKRU Kazan'. 2013. May 9 (<http://kazan.mk.ru/print/article/852171/> (accessed: 10.08.2014).))
- [Гульназек 2011] — Гульназек / Пер. с татарск. Ильдара Абузярова // Татар әкиятләре / Татарские сказки. М.: Марджани, 2011. С. 84—88.
(*Gul'nazek / Per. s tatarsk. Il'dara Abuzyarova* // Tatar äkiyatläre / Tatarskie skazki. Moscow, 2011. P. 84—88.)
- [Далин, Абузяров 2009] — *Далин И., Абузяров И.* Я не призываю что-то разрушить, хотя и это не помешало бы [Интервью] // Новая газета в Нижнем Новгороде. 2009. 23 октября (<http://www.liveclassics.ru/projects/abuzarov/05.html> (дата обращения: 12.09.2014)).
(*Dalin I., Abuzyarov I.* Ya ne prizyvayu chto-to razrushit', khotya i eto ne pomeshalo by [Interview] // Novaya gazeta v Nizhnem Novgorode. 2009. October 23 (<http://www.liveclassics.ru/projects/abuzarov/05.html> (accessed: 12.09.2014).))
- [Делёз, Гваттари 2010] — *Делёз Ж., Гваттари Ф.* Тысяча плато: Капитализм и шизофрения / Пер. с франц. и послел. Я.И. Свирского. Екатеринбург; М.: У-Фактория; Астрель, 2010.
(*Deleuze G., Guattari F.* Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrénie. Moscow, 2010. — In Russ.)
- [Достоевский 2004] — *Достоевский Ф.М.* Дневник писателя // Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 9. В 2 кн. Книга 2. М.: Астрель АСТ, 2004.
(*Dostoevskiy F.M.* Dnevnik pisatelya // Dostoevskiy F.M. Sbranie sochineniy: In 9 Vols. Vol. 9. In 2 books. Book 2. Moscow, 2004.)
- [Зайнуллина, Абузяров 2010] — *Зайнуллина Г., Абузяров И.* Человек — яйцо, в котором

- бурлит энергия [Интервью] // Литературная Россия. 2010. 16 апреля (<http://www.liveclassics.ru/projects/abuzarov/07.html> (дата обращения: 12.09.2014)).
- [Zayullina G., Abuzarov I. Chelovek — yaytso, v kotorom бурлит energiya [Interview] // Literaturnaya Rossiya. 2010. April 16 (<http://www.liveclassics.ru/projects/abuzarov/07.html> (accessed: 12.09.2014)).]
- [Зарифуллин 2013] — *Зарифуллин П.В.* Новые скифы. СПб.: Лимбус-Пресс, 2013.
- [Zarifullin P.V. Novye skify. Saint Petersburg, 2013.]
- [Иванов-Разумник, Мстиславский 1917] — *Иванов-Разумник Р.В., Мстиславский С.Д.* Скифы. Вместо предисловия // Скифы. 1917. Сборник 1. С. vii—xii.
- [Ivanov-Razumnik R.V., Mstislavskiy S.D. Skify. Vmesto predisloviya // Skify. 1917. Sbornik 1. P. vii—xii.]
- [Курочкин 2006] — *Курочкин М.А.* Глаз // Курочкин М.А. Имаго и другие пьесы, а также Лунопат. М.: Коровакниги, 2006. С. 83—87.
- [Kurochkin M.A. Glaz // Kurochkin M. A. Imago i drugie p'esy, a takzhe Lunopat. Moscow, 2006. P. 83—87.]
- [Прилепин, Абузаров 2014] — *Прилепин З., Абузаров И.* Все в Зимний сад! [Интервью] 2014 // <http://www.zaharprilepin.ru/litprocess/intervju-o-literature/ildar-abuzarov-vse-v-zimnii-sad.html> (дата обращения: 10.08.2014).
- [Prilepin Z., Abuzarov I. Vse v Zimniy sad! [Interview] 2014 // <http://www.zaharprilepin.ru/litprocess/intervju-o-literature/ildar-abuzarov-vse-v-zimnii-sad.html> (accessed: 10.08.2014).]
- [Скрягина 2010] — *Скрягина М.А.* Звездная карта из рюкзака // Независимая газета. 2010. 19 августа (http://www.ng.ru/ng_exlibris/2010-08-19/5_map.html (дата обращения: 12.09.2014)).
- [Skryagina M.A. Zvezdnaya karta iz ryukzaka // Nezasvisimaya gazeta. 2010. August 19 (http://www.ng.ru/ng_exlibris/2010-08-19/5_map.html (accessed: 12.09.2014)).]
- [Соловьев 1922] — *Соловьев Вл.С.* Стихотворения и шуточные пьесы. Репринт издания: М., 1922. Мюнхен: Fink, 1968.
- [Solov'ev V.I.S. Stikhotvoreniya i shutochnye p'esy. Moscow, 1922. Repr. München, 1968.]
- [Съезд 1920] — Первый съезд народов Востока. Баку. 1—8 сентября 1920 г. Стенографические отчеты. Петроград: Издательство Коммунистического Интернационала, 1920.
- [Pervyy s'ezd narodov Vostoka. Baku. 1—8 sentyabrya 1920 g. Stenograficheskie otchety. Petrograd, 1920.]
- [Ушакин 2012] — *Ушакин С.А.* О людях пути: Номадизм сегодня. Введение к форуму приглашенного редактора // Ab Imperio. 2012. № 2. С. 53—81.
- [Ushakin S.A. O lyudyakh puti: Nomadizm segodnya. Vvedenie k forumu priglasheennogo redaktora // Ab Imperio, 2012. № 2. P. 53—81.]
- [Цветаева 2008] — *Цветаева М.И.* Скифские // Цветаева М. И. Полное собрание поэзии, прозы, драматургии в одном томе. М.: АЛЬФА-КНИГА, 2008. С. 452.
- [Tsvetaeva M.I. Skifskie // Tsvetaeva M.I. Polnoe sobranie poezii, prozy, dramaturgii v odnom tome. Moscow, 2008. P. 452.]
- [Абузаров 2012] — Илдар Абузаров белән интервью // TatarChannel. <http://www.youtube.com/watch?v=opNwtu2GqA4> (дата обращения: 14.09.2014).
- [Abuzarov I. Ildar Abuzarov belän interv'yu // TatarChannel. <http://www.youtube.com/watch?v=opNwtu2GqA4> (accessed: 14.09.2014).]
- [Забужко 1999] — *Забужко О.С.* Жінка-автор у колоніальній культурі, або знадобі до української гендерної міфології // Забужко О. С. Хроніки від Фортінбраса. Київ: Факт, 1999. С. 152—194.
- [Zabuzhko O.S. Zhinka-avtor u kolonial'niy kul'turi, abo znadoby do ukrains'koi gendernoï mifologii // Zabuzhko O. S. Khroniky vid Fortinbrasa. Kyiv, 1999. P. 152—194.]
- [Abusjarow 2011] — *Abusjarow I.* Trolleybus nach Osten. Erzählungen. Aus dem Russischen von Hannelore Umbreit. Frankfurt am Main: Weissbooks, 2011.
- [Braidotti 2011] — *Braidotti R.* Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory. New York: Columbia University Press, 2011.
- [Buchmesse 2011] — Buchmesse 2011. Von Russen, Tataren und Ägyptern. Ildar Abusjarow auf der Leipziger Buchmesse // New Russian Culture in Translation (http://www.new-russian-culture-in-translation.com/index.php?option=com_content&view=article&id=104%3Abook-fair&catid=53%3Aliteraturumschau&Itemid=58&lang=de (accessed: 16.08.2014).]
- [Connell 2005] — *Connell R.W.* Masculinities. Berkeley; Los Angeles, CA: University of California Press, 2005.
- [Fanon 2008] — *Fanon F.* Black Skin, White Masks / From the French by Richard Philcox. New York: Grove Press, 2008.
- [Fischer 2010] — *Fischer A.* Research and Nomads in the Age of Globalization // Tuareg Society within a Globalized World: Saharan Life in Transition / Ed. by A. Fischer and I. Kohl. London; New York: I.B. Tauris, 2010. P. 11—22.
- [Frank 2011] — *Frank S.* «Wandern» als nationale Praxis des «mastering space». Die Entwick-

- lung des semantischen Feldes um «brodjažničestvo» und «stranničestvo» zwischen 1836 und 1918 // *Mastering Russian Spaces. Raum und Raumbewältigung als Probleme der russischen Geschichte* / Hg. von K. Schlögel. München: Oldenbourg, 2011. S. 65—90.
- [Groys et al. 2005] — Zurück aus der Zukunft. Osteuropäische Kulturen im Zeitalter des Postkommunismus / Hg. von B. Groys, A. von der Heiden und P. Weibel. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2005.
- [hooks 1992] — *hooks b.* Black Looks: Race and Representation. Boston, MA: South End Press, 1992.
- [Huggan 2001] — *Huggan G.* The Postcolonial Exotic: Marketing the Margins. London; New York: Routledge, 2001.
- [Jankowski 2012] — *Jankowski M.* Klang des Ostens. Ildar Abusjarows ungewöhnliche Erzählungen // Die Berliner Literaturkritik. Rezensionen. 2012. April 14 (<http://www.berlinerliteraturkritik.de/detailseite/artikel/klang-des-ostens.html> (accessed: 16.08.2014)).
- [Kaplan 1996] — *Kaplan C.* Questions of Travel: Postmodern Discourses of Displacement. Durham, N.C.; London: Duke University Press, 1996.
- [Kleespies 2012] — *Kleespies I.* A Nation Astray: Nomadism and National Identity in Russian Literature. De Kalb, IL: Northern Illinois University Press, 2012.
- [Uffelman 2011] — *Uffelman D.* “Self-Orientalisation” in Narratives by Polish Migrants to Germany (by Contrast to Ireland and the UK) // Contemporary Polish Migrant Culture and Literature in Germany, Ireland, and the UK / Ed. by J. Rostek and D. Uffelman. Frankfurt am Main: Lang, 2011. P. 103—132.
- [Uffelman 2013] — *Uffelman D.* Wrong Sex and the City: Polish Work Migration and Subaltern Masculinity // Polish Literature and Transition 1989—2011 / Ed. by U. Phillips. Münster: LIT-Verlag, 2013. P. 69—91.
- [Weissbooks 2011] — «Trolleybus nach Osten». Ildar Abusjarow // <http://www.weissbooks.com/bücher/frühjahr-2011/ildar-abusjarow/> (accessed: 16.08.2014).

Станислав Львовский

Дети равнины:

ГЕРМАН САДУЛАЕВ КАК ПОСТСОВЕТСКИЙ
И (ПОСТ)КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПИСАТЕЛЬ

Stanislav Lvovsky

The Lowland's Children: German Sadulaev as a Post-Soviet and a (Post-)Colonial Writer

Станислав Львовский (Оксфордский университет, аспирант факультета средневековых и современных языков) halfofthesky@gmail.com.

Ключевые слова: Чеченская Республика, Герман Садулаев, субалтерные исследования, постколониальные исследования, постколониальная литература, постсоветская литература, русская литература

УДК: 821.161.1+82-31+82-32

В статье рассмотрены тексты Германа Садулаева, чья проза представляет собой яркий пример постколониального письма в постсоветской литературе. В фокусе статьи — в основном ранние произведения писателя: сборник повестей и рассказов «Я — чеченец!» (2006) и роман «Шалинский рейд» (2010). Хотя рассмотренные тексты носят несомненные признаки постколониальности, и протагонисты, и фигура повествователя в прозе Садулаева обнаруживают более сложную внутреннюю структуру, нежели в классических постколониальных произведениях, что связано, среди прочего, с тем, что его проза отражает тесное переплетение постсоветского и постколониального.

Stanislav Lvovsky (University of Oxford, DPhil candidate, Faculty of Medieval and Modern Languages) halfofthesky@gmail.com

Key words: Chechen Republic, German Sadulaev, postcolonial studies, subaltern studies, postcolonial literatures, post-Soviet literature, Russian literature

UDC: 821.161.1+82-31+82-32

The article draws attention to the works of German Sadulaev, whose fiction provides a vivid example of postcolonial writing in post-Soviet literature. The analysis is focused on Sadulaev's early works, namely his short fiction collection «Ia — chechenets» [*I Am a Chechen*] (2006) and the novel «Shalinskii Reid» [*The Raid on Shali*] (2010). Though the texts in question show all evidence of a postcolonial condition in accordance with the existing scholarship, both the protagonists and figure of the narrator in Sadulaev's writing are more complex than those of a former colonial subject, since the intertwinement of the post-Soviet and postcolonial conditions is the most important constitutive element of his fiction.

Первая повесть Германа Садулаева (р. 1973) «Одна ласточка еще не делает весны» была опубликована в журнале «Знамя» в 2005 году [Садулаев 2005], а на следующий год вышла книга «Я — чеченец» [Садулаев 2006]. С тех пор Садулаев превратился в фигуру, вполне заметную на российском литературном поле: его романы «Таблетка» и «Шалинский рейд» вошли в короткие листы премии «Русский Букер» в 2008 и 2010 годах [Объявлены финалисты 2008, 2010]. «Шалинский рейд» вошел также в список финалистов премии «Большая книга» — однако ни «Букера», ни «Большую книгу» Садулаев не получил, а стал лишь лауреатом премии «Знамени» [Михайлова 2011]. Садулаев, кроме того, довольно активно работает на ниве публицистики и охотно выступает в качестве публичной фигуры, чьи провокационные высказывания на политические темы вызывают порой широкий резонанс. Так, глава Чеченской

Республики Рамзан Кадыров даже высказался однажды о Садулаеве следующим образом: «[Т]акого писателя у нас нет, во-первых. А во-вторых, он если вот такие вещи пишет, он не чеченец и даже не мусульманин, даже не человек» [Для омбудсмена 2010].

Садулаев — далеко не единственный постсоветский писатель, обращающийся к проблемным отношениям России с кавказскими территориями. Эти отношения — и в первую очередь две чеченские войны — нашли отражение в современной русской прозе. Достаточно назвать Владимира Маканина («Кавказский пленный», 1995), Захара Прилепина («Патологии», 2005), Алису Ганиеву («Салам тебе, Далгат», 2010) и Марину Ахмедову («Дневники смерти: Хадижа», 2011), — хотя список можно продолжать еще долго. Садулаев, однако, остается чуть ли не единственным — и во всяком случае, наиболее известным как отечественному, так и зарубежному читателю автором, чьи произведения оказываются репрезентацией взгляда Другого. В настоящей статье я попытаюсь, с одной стороны, проанализировать этот взгляд, а с другой — ответить на вопрос, почему именно Садулаев был «принят» в качестве Другого как читателями, так и значительной частью экспертного сообщества. Речь пойдет о том, что книги Германа Садулаева, во-первых, представляют собой в известном смысле образец (пост)колониальной литературы, а во-вторых, могут послужить отличным материалом для анализа сложной диалектики постсоветской разновидности постколониальности.

Постсоветское, русское, северокавказское, постколониальное

Упомянутая разновидность постколониальности находится в центре весьма примечательной дискуссии, сфокусированной на попытках приложения постколониального дискурса к постсоветской литературе и к постсоветской ситуации в целом. Колониальность выглядит по-разному в контексте разных империй и разных колоний — и точно так же варьируются постколониальные состояния. Попытки прямого применения к России теоретических конструкций (связанных ли с ориентализмом или с (пост)оксидентализмом), уже существующих в области постколониальных исследований, являются, по всей видимости, методологически некорректными. Как замечает Александр Эткинд,

[р]азличные способы распространения империй по земному шару определяли различные способы колониального управления и практики применения военной силы, но также разные формы науки и культуры. В XIX веке Россия была, наряду с Британией и Францией, колониальной империей, а также колонизированной территорией наподобие Африки или Вест-Индии. В разных своих аспектах и в разные периоды русская культура была и субъектом, и объектом ориентализации. Таким образом, приложение постколониальных идей к России требует работы не только историков, но и теоретиков [Etkind 2010: 128, курсив в оригинале].

Александр Эткинд основывается на понимании России как страны, колонизирующей саму себя [Эткинд 2013]. Эта концепция демонстрирует возможности успешного ее применения в литературоведении [Липовецкий 2012; Кукулин 2012], в особенности на примере современной русской литературы, позволяя проявить многие черты и смыслы, до сих пор ускользавшие от вни-

мания исследователей. В то же время в случае Германа Садулаева мы имеем дело не с литературой, которая должна рассматриваться внутри сложного, многослойного представления о «внутренней колонизации», но с постколониальной литературой в прямом, классическом, если можно так сказать, смысле слова. Впрочем, литература эта оказывается также весьма сложным и специфичным объектом исследования.

Так, Мадина Тлостанова пишет о двух видах различия — колониальном и имперском: первое отсылает «к отличию между современными капиталистическими империями (сердцем Европы) и их колониями», в то время как второе, имперское различие относится к странам-неудачникам, «которые не смогли либо были лишены различными обстоятельствами и силами возможности осуществления своей имперской миссии в период Нового времени и оказались в результате на вторых ролях» [Tlostanova 2012: 134]. Такие империи второго плана (*second-rate empires*) были

интеллектуально, эпистемически или культурно колонизированы победителями <...> и выработали логику догоняющих, сопряженную с целым рядом тревожных неврозов, коллективных психозов, идеологиями «осажденного лагеря» или, напротив, идеологиями, представляющими поражение как победу [Tlostanova 2012: 134].

По мнению Тлостановой, Россия сформирована тем, что автор называет «внешним имперским различием», и представляет собой «парадигматический случай <...> двуликой империи, — богатой, но бедной; богоданной, но потерпевшей неудачу; империей с долгой историей попыток поверхностного усвоения тех или иных элементов модерности, но строящейся на иных основаниях». И далее: «...специфическая природа такой империи второго плана, вечно неуверенной в себе и оглядывающейся на Запад, порождает трансформированные постколониальные импульсы» [Tlostanova 2012: 135]. Согласно автору, ситуация проецирования Россией своего комплекса неполноценности на колонии в самой России породила

комплекс второсортного европейца. В Центральной Азии она привела к самоориентализации, а на Кавказе — к символическому самоотрицающему причислению себя к «белой» культуре (*self-whitening*) и последовавшему за этим подавлению альтернативных политических и социальных движений [Tlostanova 2012: 135].

Автор отмечает «параллели и пересечения между постколониальными комплексами и посткоммунистическими синдромами», утверждая, что «можно говорить о специфической риторике советской (или шире, социалистической) модерности, в которой все еще эксплуатируется знакомая логика колониальности» [Tlostanova 2012: 136].

При заметных различиях в риторике колониальные практики Российской империи (а позже и СССР) на Кавказе представляют собой, возможно, наиболее яркий пример родства с соответствующими практиками европейских колониальных держав в их заморских колониях. Владимир Бобровников, в частности, не только обнаруживает значительное сходство колониальной политики России на Кавказе с колониальной политикой Франции в Алжире, но говорит о том, что наряду с заимствованием колониального опыта из одного источника, а именно из практик Османской империи, имел место «сознательный обмен колониальным опытом» между двумя империями [Бобровников 2010: 202].

Тлостанова также обращает внимание на имитационную природу в практике отечественного колониализма, описывая русских офицеров на Кавказе или в Центральной Азии как актеров, «в каком-то смысле играющих роли британских офицеров в Индии или Африке» [Tlostanova 2005: 16]. Советская администрация унаследовала от прежней империи множество колониальных практик [Полян 2011], что, применительно к Чечне, о которой дальше в основном и пойдет речь, вылилось в конце концов в «Операцию чечевица» 1944 года, в ходе которой основная часть чеченского и ингушского населения была депортирована в Среднюю Азию, а административно-территориальная единица под названием «Чечено-Ингушская АССР» была упразднена. Российская колониальная политика на Северном Кавказе, разумеется, отличалась от той, что проводилась в Средней Азии или даже в Закавказье, и не воспроизводила целиком и полностью опыт Британии или Франции. В частности, «религиозный и языковой элементы выступали более важным критерием формирования инаковости, а этнический оставался своего рода условной уступкой расовым дискурсам Западной Европы» [Тлостанова 2004: 57] (см. также: [Каппелер 1997: 125–144]). Однако в целом российские колониальные практики приближались к практикам мировых империй настолько, насколько позволяли обстоятельства.

Важно коротко обсудить проблематичность самого термина «постколониальность» в контексте разговора о текстах Германа Садулаева — точнее, даже не всего термина, а префикса *пост-*. Действительно, Чечня *de jure* является частью Российской Федерации. Вместе с тем, ее статус *de facto* по меньшей мере не совсем обычен, поскольку:

патронатно-клиентские отношения центральных и северокавказских элит, предполагающие готовность «Москвы» в обмен на лояльность своих клиентов предоставить им практически безраздельную власть на «вверенных территориях», неожиданно напоминают очень архаические формы административной зависимости <...> прежде всего феодальный вассалитет и систему личной унии [Эткинд, Уффельманн, Кукулин 2012: 50].

Можно, видимо, говорить о широком консенсусе, сложившемся по этому вопросу, в соответствии с которым Северный Кавказ в значительной степени является самоуправляемой территорией. Сергей Маркедонов, в частности, отмечал в 2010 году, что «в Чечне возникла такая конфигурация сил, в рамках которой радикальная автономизация была получена в обмен на декларирование лояльности» [Goble 2010] (см. также: [Маркедонов 2013]). Аркадий Бабченко, журналист «Новой газеты», срочником прошедший Первую чеченскую войну (1996–1998), а затем, уже в 2000 году, еще шесть месяцев прослуживший в Чечне добровольно, писал в 2009 году, что «окончание контртеррористической операции» на самом деле

означает только одно: что Кремль вручил Рамзану Кадырову ключи от региона, чтобы тот правил им, и дал Кадырову полную свободу как полноправному и единоличному хозяину Чечни. Той Чечни, о которой одно мы уже знаем твердо: слово Кадырова в ней — закон [Babchenko 2009].

Наконец, Алексей Малашенко еще в 2011 году указывал на то, что эксперты и политики в том, что касается Северного Кавказа, все чаще прибегают к термину «внутреннее зарубежье». Малашенко перечисляет и ряд особенностей, которые превращают регион в «особую “зону”, радикально отличную от

остальной России»: чрезвычайно высокий уровень насилия; абсолютное недоверие, испытываемое населением по отношению к федеральным властям, и, наконец, тот факт, что «[р]оссийское законодательство на Северном Кавказе является в значительной степени не более, чем формальностью» [Malashenko 2011: 4]. Согласно Малашенко, федеральные власти также не в состоянии полностью контролировать выделяемые из бюджета средства, а в целом

отношения между Северным Кавказом и федеральной властью строятся по схеме, крайне напоминающей схему «патрон—клиент», т.е. отношения эти существуют на базе личных договоренностей и взаимных обязательств. В то же время присутствие силовых структур, подчиняющихся Москве, придает этим отношениям оттенок колониального администрирования [Malashenko 2011: 6].

Однако вместе с тем важно (и возможно, гораздо важнее), что «около 60% граждан страны поддерживают отделение региона от России» [Malashenko 2011: 2] (см. также: [Markedonov 2013]). Статус Северного Кавказа как части нынешнего российского государства имеет, таким образом, весьма сложную природу. Причин этого не имеет смысла искать исключительно в событиях постсоветской эпохи — как замечает Малашенко, «проблема “внутреннего зарубежья” возникла задолго до распада Советского Союза и даже до его создания» [Malashenko 2011: 2, курсив в оригинале]. Он полагает, что этот феномен можно проследить к XIX веку, «когда Кавказ и Центральная Азия были включены в состав Российской империи», но «в том, что касалось внутренних дел, продолжали функционировать, опираясь на собственное традиционное устройство, социокультурное и этнорелигиозное» [Malashenko 2011: 2]. Статус этот, до 1985 года обладавший относительной устойчивостью, пережил с тех пор попытки отделения и две войны, причем вторая затронула не только Чечню, но и Дагестан. В термине «внутреннее зарубежье», очень точно описывающем ситуацию, предъявлена внутренняя динамика *деколониации*. Малашенко приходит на этот счет к довольно однозначному выводу:

Федеральный контроль ослабевает, становясь в некоторых случаях номинальным; исполнение российских законов обеспечить невозможно. Российская гражданская идентичность все более явно отступает под напором идентичности исламской, более динамичной <...> Северный Кавказ становится самоуправляемым, и кажется, это подходит обеим сторонам [Malashenko 2011: 10].

Здесь и далее постколониальность понимается как политическое/культурное состояние, следующее за деколонизацией. Несмотря на то что в нашем конкретном случае деколонизация представляет собой незавершенный проект, работы по которому разворачиваются у нас на глазах (при отсутствии, впрочем, гарантий, что они непременно будут закончены в сколько-нибудь обозримом будущем), — статус «внутреннего зарубежья», в котором пребывает весь регион и Чечня в особенности, позволяет говорить о текущем состоянии как о (пост)колониальном. Разумеется, до состояния «полной постколониальности» Северному Кавказу предстоит чрезвычайно долгий путь, — однако и предшествовавшее нынешнему «полностью колониальное» состояние осталось позади, и видимо, навсегда. Принимая во внимание также и тот факт, что Северный Кавказ сегодня гораздо более независим в культурном отношении, нежели в политическом, тексты Садулаева следует обозначать как (пост)колониальные, лишний раз подчеркнув среди прочего своеобразие рассматриваемой ситуации.

«Я помню все это»: память, меланхолия и ностальгия

Я помню все это. Помню повозки и усталых людей. Помню их быков, коров, лошадей. Помню, как в предзвездный сумерек они возжигали огонь на вершине холма, поливали пламя топленным маслом и распевали заклинания. Мне до сих пор иногда это снится. И когда я закрываю глаза, я ясно вижу это. Только вижу сверху, нет, не очень высоко, не с далеких небес, я вижу это с высоты птичьего полета, с высоты полета ласточки над весенней землей [Садулаев 2006: 32–33].

Эта цитата из первой опубликованной повести Садулаева, «Одна ласточка не делает весны», лишь один из многих примеров его обращения к дискурсу памяти, воспоминания и, неизбежным образом, забвения. Не будет преувеличением сказать, что повествователи «Одной ласточки...» и «Шалинского рейда» одержимы памятью¹. Последний постоянно повторяет: «я помню все», «я помню все это», «я хорошо это помню» [Садулаев 2010: *passim*]. Он даже рисует по памяти план своей старой школы: «Я еще помнил, где находится каждый кабинет» [Садулаев 2010: 233]. Позже он становится в отряде повстанцев связным именно благодаря своим выдающимся способностям: «[Я] нес сообщения, распоряжения и планы ГКО — устно, записанные в моей памяти» [Садулаев 2010: 264].

В обоих случаях память оказывается источником тревоги и напряжения. На нее нельзя положиться: в любой момент она может внезапно прийти в столкновение с памятью других либо с реальностью. Нарратора «Одной ласточки...» преследуют своего рода апокалиптические воспоминания о будущем, в частности о депортации 1944 года и одновременно — о двух еще только предстоящих чеченских войнах:

Память моя. Я не могу связать твои нити, не могу соткать полотна. Я помню все, и я ничего не помню. Я помню то, что было тысячи лет назад, я помню то, что было с другими людьми, и то, что только могло быть, я помню то, чего никогда не было, и иногда я помню то, что еще только будет. Такая память зовется сумасшествием [Садулаев 2006: 61].

Эта пророческая, иррациональная и атемпоральная память сосуществует с личными воспоминаниями, которые, в свою очередь, пропитаны меланхолией и ностальгией. Тамерлан из «Шалинского рейда», в частности, описывает СССР как потерянный рай:

Знаете, за что я люблю советское время? В Советском Союзе была любовь. И был секс, но чистый, непорочный, первозданный. Таким сексом занимались Адам и Ева в раю до грехопадения. <...> И это был самый чудесный секс. Сорвать — нет, зачем срывать — просто наклониться вдвоем к одному цветку и вдыхать его аромат. Смотреть на звезду, утреннюю звезду, даже не прикасаясь друг к другу [Садулаев 2010: 35–36].

1 Следует отметить, что биографические детали персонажей и/или нарраторов обоих текстов отчасти совпадают: как и сам писатель, оба родились в Шали, из которого (как и автор) позднее уехали в Петербург, чтобы получить там юридическое образование.

Советское имперское прошлое оказывается здесь локусом памяти, с одной стороны, о счастливом детстве (и отрочестве), а с другой — о мирной, спокойной жизни вообще. Важно отметить, что Советский Союз как таковой для Садулаева не является чистым объектом ностальгических переживаний: его отношение к канувшей империи амбивалентно. Так, в «Одной ласточке...» советская власть навязывает применение пестицидов, приводящее к гибели коров, — корова же в повести прямо символизирует родину и в целом описана как источник самой жизни. В «Шалинском рейде» бывшие советские чиновники имеют запас цинизма, позволяющий им без сожалений переметнуться на другую сторону противостояния и за несколько лет превратиться в ревностных мусульман. При этом в тексте чрезвычайно заметна тоска по тому, что следует, вероятно, назвать советской модерностью, — тоска, особенно оттеняемая мгновенной демодернизацией, и особенно в «Шалинском рейде». Тамерлан различает равнинных чеченцев и горцев, *ламарой*. Его соседи и земляки-шалинцы, относящиеся к первой категории, не просто считают себя образованнее и современнее тех, кто жил в «диких горных аулах», но считают «себя и только себя “настоящими чеченцами”»:

Нам, выпестованным советской властью в интеллигентов, было обидно и страшно, когда толпы необразованных людей, спустившихся при Дудаеве с гор, заняли силу и авторитет, отодвинули нас на второй план [Садулаев 2010: 104].

В многочисленных работах, посвященных исследованиям культуры, отмечалось, что ностальгия является чрезвычайно распространенной и устойчивой чертой не только постколониальных литератур [Walder 2011; Su 2005], но и литературы постсоветской, не говоря уже о том, какое заметное место ностальгия занимает в постсоветских культурных практиках вообще. Источники этой ностальгии сколь многочисленны, столь и разнообразны. Ностальгия садулаевской прозы — это не «просто» постсоветская ностальгия, постимперская тоска по советскому золотому веку. Не слишком схожа она и с «реставрирующей» ностальгией, характерной для периода интенсивного формирования постколониальных наций. В «Одной ласточке...» Садулаев предпринимает попытку создания примордиалистского мифа о чеченской нации, но результаты не убеждают, кажется, даже его самого, — что, по всей видимости, является причиной, по которой соответствующие фрагменты перемежаются прямыми отсылками к теории этногенеза Л.Н. Гумилева². Наличие в тексте одновременно двух «гумилевских» терминов («Великая Степь» и «Хазарский каганат») недвусмысленно свидетельствует о происхождении теоретической подкладки садулаевских идей. Гумилев в «Одной ласточке...» даже назван прямо:

То, что происходит с чеченским народом, Лев Гумилев назвал бы пассионарным перегревом. От этого и героизм чеченцев, их активность, их воспроизводство, но и фатализм, самопожертвование [Садулаев 2006: 45].

Для теории Гумилева характерно «строго эссенциалистское и натуралистическое понимание этнического», в рамках которого этничность описыва-

2 В 2012 году в свет вышла книга Садулаева «Прыжок волка. Очерки политической истории Чечни от Хазарского каганата до наших дней», в значительной степени основанная на идеях Гумилева и представляющая собой домысленную и беллетризованную «историю чеченского народа».

ется «как биологический феномен, а этнические группы или этносы — как природные существа» [Bassin 2015: 168]. Тем не менее еще одной составляющей создаваемого здесь эклектичного мифа оказывается подход, проходящий, неожиданным образом, скорее по ведомству социального конструкционизма. Сразу вслед за процитированным выше абзацем о «пассионарном перегреве» Садулаев пишет следующее:

Если «война до последнего чеченца» не будет завершена, если чеченцы выживут и станут народом, благодарить за это они должны будут Россию, которая лучше всяких солнечных аномалий зажгла в них пассионарность, заставила встать плечом к плечу и внушила каждому: арию, хурриту, хазару — ты чеченец. Русские — наша последняя надежда [Садулаев 2006: 45–46].

Вернемся к ностальгии, имеющей и в «Одной ласточке...», и в «Шалинском рейде» (а также, например, в повести «Когда проснулись танки») не слишком сложную, но и не совсем очевидную природу. Это ностальгия привилегированной прежде части подданных империи, «выпестованных» колониальной властью, тесно переплетенная с устойчивым ресентиментом в отношении необразованных толп «спустившихся с гор». Это ностальгия по давно утраченной, но все еще вожделенной стране счастливого невинного детства, позднее разрушенной совместными усилиями колониальной власти и «обитателей диких аулов». Ностальгия, отягощенная глубокой меланхолией, никогда не отпускающим чувством потери и вины, которую всегда испытывают выжившие. Но более всего это ностальгия по цельности собственной идентичности — даже если цельность эта на деле никогда не существовала или была иллюзорной.

«Склеить осколки»: расщепленные идентичности

Теперь мне очень важно восстановить все, в подробностях. Воскресить свою память, продлить свое прошлое в настоящее, в будущее, собрать и склеить осколки. Ведь я еще хочу жить, я так хочу жить! А жизнь — это подробности [Садулаев 2006: 145].

Этой декларации Зелика (Зелимхана), одного из двух близнецов-протагонистов повести «Когда проснулись танки», эхом вторит второй близнец, Динька:

Я создаю все заново, склеиваю, собираю. И иногда мне светло и спокойно. А иногда больно, очень больно, я даже не хочу думать об этом, не хочу вспоминать. Но я должен. Иначе мне не найти себя, не выстроить, не собрать целиком [Садулаев 2006: 150–151].

Оба героя (как и автор) — сыновья отца-чеченца и русской матери. Один из них остается в Шали и позднее присоединяется к повстанцам. Второй отправляется в Россию, где становится полицейским и служит в ОМОНе. В конце братья предсказуемо встречаются в бою, и один из них убивает другого, однако Садулаев оставляет читателя гадать, кто из них жертва, а кто — братоубийца. Текст заканчивается словами: «Тот из нас, кто выстрелил первым, написал эту повесть» [Садулаев 2006: 190]. По мере того, как авторская метафора двойничества разворачивается, читателя отсылают сначала к «Мифу о близнецах»

[Садулаев 2006: 136–138], а затем даже и к мифу об андрогине: «Мы вдвоем были тем самым андрогином, мифическим существом, цельным и совершенным, которое боги разделили на две части из зависти и из ревности» [Садулаев 2006: 144].

В «Шалинском рейде» фигура нарратора гораздо сложнее. По видимости, рассказчиком является Тамерлан Магомадов, вернувшийся в свой родной Шали. Дядя пристраивает Тамерлана на должность в Министерстве государственной безопасности. По ходу повествования в Шали возникают и набирают силу параллельные структуры власти, и то, что поначалу было просто дезорганизацией, постепенно превращается в хаос. В конце концов, в феврале 1999-го, президент Аслан Масхадов вводит в Чечне шариатское правление и герой, таким образом, просыпается однажды утром уже сотрудником нового Министерства шариатской безопасности. Артур Дениев добровольцем вступает в отряд Магомадова: он приехал в Шали из Краснодарского края повидать родителей, однако принимает решение присоединиться к повстанцам после того, как последние терпят поражение в Дагестане. Дениев гибнет под бомбами во время налета российской авиации, а Тамерлан теряет паспорт, точнее не теряет, а забывает его во внутреннем кармане пальто, которым он укрыл мертвого Дениева. Паспорт погибшего с российской пропиской Магомадов забирает себе — и едет в Россию, где собирает средства на продолжение сопротивления федеральным войскам. Эти события излагаются на протяжении примерно двадцати страниц, после чего рассказчик прерывается, чтобы обратиться к «гражданину начальнику», — тут можно предположить, что речь идет об офицере полиции, который допрашивает героя, — и к «сестре», вероятно, медицинской:

Я не должен был возвращаться.

Я не вернулся?.. О чем вы говорите? При чем тут все эти бумаги, при чем паспортный стол и справки с места работы? Вы думаете, мне это все приснилось? Думаете, это бред, галлюцинации? Ложная память? Вот опять я это слышу: ложная память. Ну и что, что это освобождает меня от ответственности? Кого освобождает? Меня? Но я и есть эта память, и если она — ложная, то меня просто нет [Садулаев 2010: 37].

На протяжении всего текста рассказчик обращается далее то к «доктору», то к «господину адвокату», то к «гражданину начальнику», и читателю остается только недоумевать относительно того, где он произносит свой монолог и к кому адресует. Более того, закрыв книгу, мы так и не узнаем, *кто* говорит с ее страниц: то ли это пациент психиатрической клиники Тамерлан Магомадов разговаривает с лечащим врачом; то ли член чеченского сопротивления Тамерлан Магомадов отвечает тому, кто его допрашивает (иногда в присутствии адвоката). Да и кто этот человек вообще? Тамерлан Магомадов, живущий по паспорту убитого Дениева? Или настоящий Артур Дениев в помраченном состоянии сознания — т.е. страдающий, вероятно, посттравматическим расстройством?

Стоит отметить, что нарратор «Шалинского рейда», кто бы он ни был, полон раскаяния и ненависти к себе, вызванных совершенным предательством: он за 270 000 евро продал российским военным информацию о местонахождении Масхадова. В то же время трудно не заметить, что чувство вины и ненависть к себе преобладают и среди эмоций, испытываемых повествователями

«Одной ласточки...» и повести «Когда проснулись танки». В последней Динька, которому принадлежит один из двух мерцающих голосов, называет источник одной из этих эмоций прямо:

Из-за тебя, отец, у меня нет и не было в душе ни одного согретого уголка, только холод, только обида. Из-за тебя я стал ненавидеть свою мать. <...>

И я ненавижу тебя, я ненавижу себя, за то, что во мне течет твоя кровь и кровь твоего народа, будьте вы прокляты! [Садулаев 2006: 151—153].

В короткой главе, откуда взят вышеприведенный фрагмент, герой постоянно колеблется, будучи не в состоянии решить, на чью сторону встать. Он обвиняет отца в отсутствии у того «чести», являющейся главным качеством (стереотипического) чеченского мужчины, — и не только встает, таким образом, на сторону матери, но и перенимает экзотизирующее колониальное представление о «горце», «благородном дикаре». Но в следующий момент он обвиняет уже мать, потому что «это она во всем виновата, она шлюха, блядь, она пообалась с каким-то мерзким ублюдком, с тобой, отец, у нее было бешенство матки, а мозгов не было, ни мозгов, ни чести» [Садулаев 2006: 151]. Здесь герой демонстрирует патриархальный, стигматизирующий взгляд на женщину изнутри общества, по сей день в большой степени традиционного. На протяжении нескольких абзацев герой успевает перевернуться то на одну, то на другую сторону не один раз.

В прозе Садулаева без труда обнаруживаются многочисленные эпизоды, напоминающие описанный выше. Расщепленная идентичность и неустойчивое представление о себе; размытые внешние границы личности; постоянная смена позиций и точки зрения; наконец, очевидная и постоянно дающая о себе знать угроза распада множественного, не собирающегося в единое целое «я» — все это вместе образует узнаваемый паттерн (пост)колониального состояния. Близнецы (или двойники), населяющие садулаевскую прозу, могут тосковать по утраченной целостности, однако в реальности они не способны сосуществовать друг с другом. Нагляднее всего такую несовместимость демонстрируют отношения Диньки и Зелика из повести «Когда проснулись танки»: близнецы здесь не встречаются вообще. Они говорят, не обращая друг к другу — читатель «слышит» лишь два сменяющихся голоса, произносящих обращенные к нему, читателю, монологи. Эти голоса полностью отчуждены друг от друга, и между ними нет ни намека на возможность прямой коммуникации. Мы именно потому и остаемся в неведении относительно того, кто из братьев выжил, а кто погиб, что ни один из этих голосов не в состоянии назвать себя: самоидентификация возможна только в присутствии Другого. Отношения каждого из братьев со своим (существующим на деле только для читателя) *vis-à-vis* напоминают в каком-то смысле отношения человека со смертью по Эпикуру³. В сущности, мы не можем быть уверены даже в том, что Тамерлан Магомадов и Артур Дениев когда-либо вообще находились в одной реальности, поскольку один из них (любой), возможно, не более чем болезненный фантом, порождение делириозного состояния, в которое все глубже погружается рассказчик.

3 Ср. в письме к Менекею: «...когда мы существуем, смерть еще не присутствует; а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем» [Динник 1955: 209].

Слово *делириозный*, влекущее за собой *делириум*, возникает здесь не случайно. В случае Садулаева бинарные нарративные структуры, не будучи, разумеется, всецело обусловлены биографическими обстоятельствами (Садулаев — сын чеченца и терской казачки), далеки вместе с тем от того, чтобы представлять собой расчетливо и тщательно сконструированный литературный прием. Картина, возникающая от пристального чтения садулаевской прозы, напоминает «характерные парные сопряжения», упоминаемые Фаноном, который полагает их частью «манихейского делириума» [Fanon 2008: 141]. Самира Каваш детализирует этот термин следующим образом:

...«манихейское мироздание» колониализма — это не метафора, но скорее буквальное описание новой, идеологической — но в то же время и материальной — реальности, порожденной колониальным проектом. Манихейский мир — это мир абсолютного разделения и противостояния. Колонизатор и колонизируемый не могут быть частями одного диалектического процесса, поскольку они противопоставлены абсолютно и один исключает другого [Kawash 1999: 240].

Фанону важно, что «[з]она, где живут местные, и зона, где живут поселенцы, не находятся в отношениях взаимной дополнителности. Эти две зоны противопоставлены, но так, что они не образуют единства более высокого порядка» [Fanon 2007: 81]. Перед нами предстает, таким образом, «мир изолированных друг от друга частей, мир неподвижный, манихейский» [Fanon 2007: 83].

Разумеется, ни чрезвычайно сложная политическая и культурная реальность Северного Кавказа, ни даже паттерны — будь то психологические, исторические, социальные или культурные, — замурованные в фундамент садулаевской прозы, невозможно уложить в логику простых бинарных оппозиций. Можно, однако, уверенно говорить о том, что фаноновский «манихейский делириум» — одно из нескольких состояний, одновременно присутствующих в письме Садулаева.

«Все вокруг чужое»: безместные⁴, разъятые и несуществующие

Альберт Мемми в «Колонизаторе и колонизированном» утверждает применительно к еврейскому населению французских колоний в Африке:

...они пытаются подражать колонизатору, искренне надеясь на то, что он перестанет считать их иными, нежели он сам. <...> Однако пусть колонизатор и не всегда открыто препятствует им в достижении такого сходства, он также и не позволяет желающим обрести его. Они, таким образом, живут в состоянии постоянной болезненной неясности...

Недавно ассимилировавшиеся ставят себя в позицию куда большего превосходства, чем средний колонизатор. Они до предела доводят колониальный способ мышления, с гордостью демонстрируя открытое презрение к колонизированному <...> [Memmi 2003: 59].

4 Это слово здесь и далее использовано для перевода английского *displacement*, обозначающего важное в контексте постколониальных исследований понятие (подробнее см. ниже).

Этот фрагмент довольно точно описывает коллизию между горными чеченцами и «равнинными», жившими в Шали. По Мемми, все — будь то «черный (Negro), еврей или колонизированный — должны быть похожи на белого, нееврея, колонизатора», в связи с чем колонизированный, «мучительно ассимилируясь, скрывает собственное прошлое и собственные традиции, — т.е. все, породившее его, оказывается позорным». Заключение, к которому он приходит, звучит как приговор: «...оказалось, что в колониальной ситуации ассимиляция невозможна» [Мемми 2003: 167]. Эти слова являются ключом к объяснению постоянного присутствия в прозе Садулаева как эмоций вины и ненависти к себе, так и множащихся в его книгах амбивалентностей разного рода. Его герой часто находится не просто в состоянии «двойного сознания» (double consciousness, см.: [Du Bois 1994]), но в позиции недавнего колонизированного, до сих пор полагающего, что его ассимиляция могла бы быть чрезвычайно успешной или полной — если бы не то, как повернулись события конца 1980-х — начала 1990-х. По-видимому, здесь же следует искать объяснение садулаевской ностальгии, противоречиво сочетающейся с ясным пониманием советской системы как репрессивной. Тоскуют его герои не по колониальному прошлому как таковому, но по живому еще в те времена обетованию успешной ассимиляции, — или, иначе говоря, по надежде, раз и навсегда потерянной. Самая первая публикация «Одной ласточки...» была снабжена кратким послесловием, не вошедшим в последующие издания. Полностью этот заставляющий особого внимания текст выглядит так:

Поделюсь переживаниями: мне не нравится, когда мои тексты воспринимают как «слово с той стороны». Иногда даже с таким подтекстом: «Смотрите, как интересно! Вот ведь папуас, а умеет писать по-русски сложносочиненными предложениями!» Чувствуешь себя как диковинная зверушка на выставке. Конечно, это дает мне преимущество. Но я не хочу им пользоваться. Я хочу, чтобы ко мне относились без снисхождения, судили меня с позиций русской словесности без скидок на экзотическую национальность. Потому что нет «той стороны». У нас одна сторона, общая. Здесь есть концептуальное непонимание, смещение позиций. Вернее, конструирование несуществующей контрпозиции: «чеченцы и русские, они и мы, свои и чужие». Постарайтесь читать повесть, убрав установку, что это «они» пишут о «нас». Поймите, что это «мы» пишем о «себе» [Садулаев 2005: 48].

Локусом этого потерянного состояния — пусть не цельности, но надежды на цельность, ее возможности — оказывается довоенный Шали. Никто — ни Тамерлан, ни Артур, ни Зелик, ни Динька — не может туда вернуться. Нарратор «Одной ласточки...» говорит о своем чувстве вины так: «Но я не ушел в горы. Я сел на поезд и вернулся в северный город. И меня не было рядом с тобой. Сможешь ли ты простить меня, мама?» [Садулаев 2006: 12]. Один из близнецов в повести «Когда проснулись танки» остается, второй уезжает, чтобы позже вернуться. В «Шалинском рейде» топология передвижений героев сложнее: Артур приезжает из России и остается, Тамерлан уезжает в Россию (если в романе кто-либо вообще приезжает и уезжает куда бы то ни было). Мало того, что идентичности героев Садулаева расщеплены, различные части этих идентичностей еще и непрерывно осциллируют, почти в гейзенберговском смысле, как если бы в их мире принцип неопределенности был основным законом жизни. В мире, где безместность — единственное практически возможное состояние, возвращение домой, разумеется, невозможно. В этом от-

ношении проза Садулаева, несомненно, принадлежит к корпусу мировой постколониальной литературы, для которой безместность — одно из центральных понятий, а внимание к ней представляет собой

источник специфического постколониального кризиса идентичности, требующего для своего разрешения развития или восстановления работающих, способствующих самоидентификации отношений между «я» и местом [Ashcroft 2003: 8—9].

Помимо присутствующей в этих текстах сложной диалектики отношений между «я» того или иного героя и местом — у Садулаева это почти всегда Шали, — необходимо обратить внимание на еще один важный для него мотив, присутствующий на разных уровнях текста. Все рассматриваемые тексты в той или иной степени представляют собой «фрагментарную прозу». В наименьшей степени это верно относительно «Шалинского рейда», напоминающего конвенциональный роман. Остальные тексты короче (повести) и всегда разбиты на небольшие (иногда в несколько абзацев) фрагменты. Есть у Садулаева и несколько коротких рассказов. Мысль о том, что фрагментация художественной прозы имеет отношение к постколониальному состоянию, неоднократно высказывалась исследователями, в том числе Гаятри Спивак, которая утверждает, что постколониальный текст «работает с мелкими осколками, напоминая в этом отношении о постмодернистской привычке к цитированию без указания источника» [Spivak 1990: 231]. В случае Садулаева есть нечто, заставляющее внимательного читателя предположить связь жанра с (пост)колониальным состоянием. Герои его прозы много говорят о разорванных телах и частях тел. Этот аргумент также недостаточен, поскольку война здесь — одна из центральных тем, однако наличие корреляции между описаниями разъятых тел, с одной стороны, и постоянно присутствующими метафорами и прямыми описаниями расщепленной идентичности, с другой, представляется несомненным.

«Если бы Санкт-Петербург был на месте Шали — это был бы Париж, уверяю вас»: Европа как тихая гавань *vs.* Четвертый рейх

Тлостанова пишет о вторичном ориентализме, который обнаруживается в России и ее колониях, будь то бывших или нынешних, и оказывается сложнее своего прототипа, поскольку возникает в результате «двойного зеркального отражения», неточного копирования и часто сопровождается «неосознанным ощущением, что Россия и сама представляет собой для Запада мифический и таинственный Восток» [Tlostanova 2008: 1]. Соображение это, с одной стороны, оказывается плодотворным для осмысления смешанных состояний, являющихся и постсоветскими, и постколониальными. Вместе с тем оно вызывает и ряд вопросов: каковы природа и механизмы возникновения «неточностей копирования» и «двойного отражения»? Какие именно и как производятся фигуры умолчания «вторичности» империи?

В своих текстах Садулаев не скрывает resentment по отношению к Европе, которая у него почти равна Западу или, по крайней мере, составляет большую часть мифа о нем. Здесь показательнее всего, вероятно, «День победы», рассказ из книги «Я — чеченец!», в котором как в фокусе собираются различ-

ные составляющие обсуждаемой нами проблематики, а также некоторые важнейшие качества нынешнего российского постсоветского состояния. Двое ветеранов войны, Алексей Родин и Ваха Асланов, русский и чеченец, встречаются на День Победы в Таллинне. Действие происходит будто бы в наше время, видимо, в середине 2000-х. Ветераны из садулаевского рассказа очевидно моложе самих себя⁵ если не на поколение, то немногим меньше того — они прошли однополчанами почти всю войну, до 1944 года. Потом их пути разошлись:

Когда пришло известие о выселении чеченцев, Ваха был в госпитале, после ранения. Сразу из госпиталя его перевели в штрафбат. Без вины, по национальному признаку. Родин, тогда старший лейтенант, ходил к начальству, просил вернуть Ваху. Заступничество комроты не помогло. Ваха закончил войну в штрафбате и сразу после демобилизации был отправлен на поселение в Казахстан.

Родин демобилизовался в 1946-м, в звании капитана, и был определен на службу в Таллин, инструктором в горком партии [Садулаев 2006: 246].

После реабилитации депортированных чеченцев Родин добивается для Вахи и его семьи разрешения переехать в Таллин, однако Ваха приезжает один, поскольку его «жена и ребенок <...> заболели тифом в товарном вагоне и скоропостижно скончались», а родители умерли в Казахстане [Садулаев 2006: 247]. Русские и чеченцы — аллегория здесь прозрачна — смогли остаться друзьями, несмотря на очевидность диспозиции «хозяин — субалтерн». Это возможно, во-первых, за счет наличия у них общего (и уравнивающего) фронтового опыта, а во-вторых, благодаря тому, что Родин тоже ощущает себя субалтерном, своего рода объектом внутренней колонизации. Но однажды

он оказался в чужой стране, где запретили носить советские ордена и медали, где их, напитавших своей кровью землю от Бреста до Москвы и обратно до Берлина, назвали оккупантами.

<...> Родин не понимал этой злости благополучных эстонцев, которые и при советской власти жили лучше, чем русские люди где-нибудь на Урале.

Ведь даже Ваха. Родин был готов, что после выселения, после той чудовищной несправедливости, трагедии своего народа, Ваха станет ненавидеть Советский Союз и особенно русских. Но оказалось, что это не так. Ваха слишком много видел. В штрафбате русские офицеры, героически вырвавшиеся из плена и за это разжалованные в рядовые, переполненные зоны и тюрьмы. Однажды Родин прямо спросил — не винит ли Ваха русских в том, что произошло.

Ваха сказал, что русские от всего этого пострадали больше остальных народов [Садулаев 2006: 249].

Оба друга в новой постколониальной ситуации независимой Эстонии оказались «бывшими колониальными хозяевами», чьи прошлые различия уже неважны, в том числе и для них самих. Ближе к вечеру Дня Победы они, оба в парадной форме с боевыми орденами, направляются в бар, чтобы выпить

5 Здесь Садулаев следует общей анахроничности, характерной для празднования 9 Мая в современной России. Так, распространенный слоган «Спасибо деду за победу» большинство молодых людей не может отнести к себе, поскольку в их семьях воевали уже не деды, а прадеды.

сто грамм фронтовых, да. И там, в баре, юноши в модном милитари со стилизованными под символику «СС» нашивками назвали их русскими свиньями, старыми пьяницами и сорвали с них награды. Ваху они тоже назвали русской свиньей [Садулаев 2006: 250].

Ваха хватает лежавший на стойке нож и «точным ударом» убивает «молодого эстонца». В течение следующих пяти минут посетители бара насмерть забивают Асланова и Родина ногами «на деревянном полу». Смысл эпизода очевиден: на бывших колониальных хозяевах никакой вины нет и никогда не было. Винить следует «большого Другого», а именно «фашистскую Европу» (или Запад), представители которой всегда были *подлинными* колониальными хозяевами и для русских, и для чеченцев, — даже если (а возможно, и тем более, что) здесь и сейчас хозяева эти представлены бывшими субалтернами советской империи, переметнувшимися на сторону победителя. Такая экспликация может казаться преувеличением, однако в 2012 году были опубликованы три рассказа писателя из готовившегося тогда сборника под рабочим названием «Четвертый рейх»⁶.

Термин «Четвертый рейх» связан с относительно распространенным в России среди крайне правых пониманием Европейского союза как реинкарнации гитлеровского Третьего рейха. Сам термин, впрочем, появился, видимо, в 1949 году, когда Макс Лернер, писатель и журналист, сотрудничавший в «New York Post», опубликовал очередную колонку, где, в частности, писал:

Самый большой вопрос относительно Германии, стоящий в повестке сегодняшнего дня, заключается в том, не подготавливаем ли мы — вне зависимости от того, что происходит там с выборами и конституцией, — появления Четвертого рейха [Lerner 1949].

Позже, в 1950-е и 1960-е годы, термин использовался в контексте дискуссий о нацистском прошлом правительственных чиновников Западной Германии. Генезис его у Садулаева проследить трудно, но он вполне может оказаться недавним: правый британский журналист Саймон Хеффер опубликовал под этим названием в «Daily Mail» статью о том, как Германия якобы использует экономический кризис в целях подчинения себе Европы [Heffer 2011].

Подробный разбор причин устойчивости такой, казалось бы, внутренне противоречивой идейной конструкции в рамках этой статьи невозможен, однако хотелось бы еще раз подчеркнуть, что логика Садулаева полностью освобождает от ответственности колонизатора, принадлежавшего (или принадлежавшего) к «империи второго плана», особенно если принять во внимание, что колонизатор и сам являлся объектом внутренней колонизации — или, говоря словами Вахи, пострадал «больше остальных».

«Опрокинут, смят, унесен потоком»: трудности различения

Проза Германа Садулаева представляет собой один из случаев, когда постколониальная теория может служить концептуальной рамкой анализа написан-

6 http://thankyou.ru/lib/realism/german_sadulaev/books/chetvertiy_reyh (дата обращения: 02.12.2016).

ной по-русски постсоветской литературы без того, чтобы эту теорию пришлось подвергнуть существенной доработке или расширению. В его прозе постсоветское и постколониальное состояние демонстрируют соприродность, — недостаточную, впрочем, для того, чтобы произошло совпадение, но более чем достаточную, чтобы различие стало весьма затруднительным. В этой последней части я хотел бы привести один пример, иллюстрирующий вышесказанное.

В статье о Садулаеве 2010 года критик Алла Латынина делает важное наблюдение: протагонисту «Шалинского рейда» отчаянно не хватает силы воли. Латынина цитирует вынесенный в заголовок фрагмент: «Меня опрокинуло, смяло, понесло потоком... Снежный шар, катящийся по полю... Вот так это было — не сцепление, но налипание событий...» [Садулаев 2010: 149], и задается вопросом, почему рассказчик «так безволен? <...> Почему не сделать попытки выскочить из потока»? И добавляет: «...есть что-то сомнамбулическое в поведении героя» [Латынина 2010: 174].

Вопрос этот и в самом деле уместен. Рассказчик одного из относительно коротких текстов Садулаева, «Почему не падает небо», дает радикальный ответ: «...я — обычная тень, одна из миллиардов теней. И у меня есть дом. Сейчас он стоит, пустой и темный» [Садулаев 2006: 101]. Иными словами, говорящего нет, он не существует. Конечно, эти слова не следует понимать буквально, однако они демонстрируют ту степень ацепдии, которую трудно оставить без комментария. Разумеется, комплекс реакций героев садулаевской прозы может быть отнесен и на счет посттравматического синдрома, однако апатия и беспомощность — распространенные последствия интернализации отношения к колонизируемому со стороны колонизатора. Как пишет Рауль Росадо, «в культуре обременения (imposition) психологическая интернализация угнетения на глубоких уровнях личности неизбежна» [Rosado 2010: 85]. В качестве примера он, ссылаясь, среди прочих, и на Фанона, приводит раскручивающуюся спираль негативных аффектов, вызываемых «невидимостью» субалтерна:

...от ощущения невидимости к замешательству, от него — к сомнению, боли и стыду, от них к отчаянию, безволию и пассивности, затем к безнадежности и апатии, от них к цинизму, затем к безнадежности, эмоциональному параличу, — за которыми, наконец, следуют ненависть к себе и саморазрушение [Rosado 2010: 86–87].

Вместе с тем как собственно современное, так и постсоветское состояние российского общества довольно часто описывается при помощи похожего набора характеристик, среди которых есть и апатия, и анемия, и беспомощность, — в последнем случае иногда прибегают к уточняющему определению «выученная»⁷. Причины «выученной беспомощности» и апатии постсоветского общества, видимо, в какой-то степени структурно схожи с теми, о которых пишет Росадо. Они вызваны тем, что опыт жизни в чрезвычайных условиях сталинского террористического государства (мы не рассматриваем здесь события более давние) породил набор социальных практик, которые закрепились в структурах повседневности и

7 Феномен выученной беспомощности возникает после серии неудачных попыток человека или животного воздействовать на окружающую среду в своих интересах и характеризуется тем, что он (или оно) перестает стремиться к положительным стимулам и избегать отрицательных, иначе говоря, впадает в депрессию/апатию. Был открыт, а затем экспериментально подтвержден психологом Мартином Селигманом в 1967 году [Seligman 1975].

были интернализированы не только непосредственными свидетелями и выжившими, но также и последующими поколениями. Общій же знаменатель следует искать, вероятно, не только в рамках постколониальной теории, а скорее в поле *subaltern studies*. Если посмотреть на ту же ситуацию под другим углом, возможно и еще одно соображение: отсутствие воли, безразличие к собственной судьбе в мире связано здесь с состоянием внутренней убежденности в собственной невиновности, т.е. с категорическим отказом от ответственности. Колонизированный не может нести ответственности, поскольку он был угнетен. Колонизатор в нашем случае на следующем уровне также является субалтерном (для колонизатора более высокого уровня), — поэтому и ему ответственность вменена быть не может⁸.

Третий подход к той же проблематике мы находим у Евгения Добренко, который пишет о том, что половина населения России, согласно опросам, желает видеть страну неуязвимой мировой державой, а вторая половина — богатой и процветающей. Отметив, что только ничтожная часть опрошенных высказала желание видеть Россию образованной и культурной страной, он утверждает далее, что такую статистику можно объяснить, только признав тот факт, что «она отражает общество, одержимое, как и прежде, комплексами бессилия и неполноценности», что приводит к образованию коктейля из агрессии и беспомощности. Коктейль этот давно и подробно описан в постколониальной теории, однако Добренко находит другое объяснение — он напоминает о следующем сообщении Михаила Рыклина: уже в тридцатых годах «СССР стал отгораживаться от окружающего рационализма особым, расшифровываемым языком травмы», а коммунизм был ее «воображаемой тотальной компенсацией» [Рыклин 2002: 57]. По мысли Добренко, «социализм дал России шанс войти в Европу не просто с собственным локальным, но с глобальным, европейским проектом, которым Россия так гордилась, что эта гордость заслонила собой давнее сознание собственной неадекватности Европе» [Dobrenko 2011: 163]. Агрессия и беспомощность вызваны, в конечном итоге, неудачей этого проекта, которая нанесла российской идентичности огромный ущерб. И эта травма не может быть оставлена в прошлом до тех пор, пока страна не разберется с советским прошлым — чего она избегает, поскольку этот процесс обещает быть чрезвычайно болезненным.

Из простого соположения приведенных объяснительных моделей видно, как, перетекая друг в друга, постколониальное становится постсоветским, а постсоветское — постколониальным, пусть и в специфическом контексте «империи второго плана». Два этих состояния только с большим трудом могут быть дифференцированы в текстах, о которых шла речь, потому что они с трудом различимы и на практике. В порой бесхитростной, на грани *pulp fiction*, прозе Германа Садулаева проблематика постсоветского/(пост)колониального предстает во всей своей если не сложности, то впечатляющей запутанности, и, возможно, внимательное чтение в этом случае способно в какой-то мере облегчить процесс понимания того, что происходит и будет происходить в обозримом будущем в России — и на Северном Кавказе.

8 Еще одно возможное объяснение возвращает нас к «выученной беспомощности». Даже если колониальному объекту чудом удастся оказаться на месте колонизатора, это ничего не изменит, он все равно не будет свободен: в такой конфигурации не только локус желания, но и локус контроля находится принципиально вовне. А если контроль не может быть присвоен ни при каких обстоятельствах, попытка «высочить из потока» оказывается бессмысленной.

Библиография / References

- [Бобровников 2010] — *Бобровников В.* Русский Кавказ и Французский Алжир // *Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700—1917)* / Ред. М. Ауст, Р. Вульпиус. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
- (*Bobrovnikov V.* Russkiy Kavkaz i Frantsuzskiy Alzhir // *Imperium inter pares: Rol' transferov v istorii Rossiyskoy imperii (1700—1917)* / Ed. by M. Aust, R. Vulpius. Moscow, 2010.)
- [Для омбудсмена 2010] — Для омбудсмена Чечни писателя Садулаева больше не существует // Сайт Международного Мемориала. 2010. 3 ноября (<http://www.memo.ru/d/59862.html> (дата обращения: 19.05.2015)).
- (*Dlia ombudsmena Chechni pisatelja Sadulaeva bol'she ne sushchestvuet* // *Sait Mezhdunarodnogo Memoriala*. 2010. November 3 (<http://www.memo.ru/d/59862.html>)).
- [Дынник 1955] — *Материалисты Древней Греции: Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура* / Ред. М. Дынник М.: Государственное издательство политической литературы, 1955.
- (*Materialisty Drevney Gretsii: Sobranie tekstov Geraklita, Demokrita i Epikura* / Ed. by M. Dynnik. Moscow, 1955.)
- [Капеллер 1997] — *Капеллер А.* Мазепинцы, малороссы, хохлы: Украинцы в этнической иерархии Российской империи // *Россия — Украина: История взаимоотношений* / Ред. А. Миллер, В. Репринцев, Б. Флория. М.: Языки культуры, 1997. С. 125—144.
- (*Kappler A.* Mazepintsy, malorossy, khokhly: Ukraintsy v etnicheskoy ierarkhii Rossiyskoy imperii // *Rossiya — Ukraina: Istoriya vzaimootnosheniy* / Ed. by A. Miller, V. Reprintsev, B. Floriya. Moscow, 1997.)
- [Кукулин 2012] — *Кукулин И.* Внутренняя постколониализация: Формирование постколониального сознания в русской литературе 1970—2000-х годов // Там, внутри: Практики внутренней колонизации в культурной истории России / Ред. А. Эткинд, Д. Уффельманн, И. Кукулин. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 846—909.
- (*Kukulin I.* Vnutrennyaya postkolonizatsiya: Formirovanie postkolonial'nogo soznaniya v russkoy literature 1970—2000 godov // *Tam, vnutri: Praktiki vnutrenney kolonizatsii v kul'turnoy istorii Rossii* / Ed. by A. Etkind, D. Uffelmann, I. Kukulin. Moscow, 2012. P. 846—909.)
- [Латынина 2010] — *Латынина А.* Чеченская война Германа Садулаева // *Новый мир*. 2010. № 4. С. 169—176.
- (*Latynina A.* Chechenskaya vojna Germana Sadulaeva // *Novyy mir*. 2010. № 4. P. 169—176.)
- [Липовецкий 2012] — *Липовецкий М.* Советские и постсоветские трансформации сюжета внутренней колонизации // Там, внутри: Практики внутренней колонизации в культурной истории России / Ред. А. Эткинд, Д. Уффельманн, И. Кукулин. Москва: Новое литературное обозрение, 2012. С. 809—845.
- (*Lipovetskiy M.* Sovetskie i postsovetskie transformatsii suzheta vnutrenney kolonizatsii // *Tam, vnutri: Praktiki vnutrenney kolonizatsii v kul'turnoy istorii Rossii* / Ed. by A. Etkind, D. Uffelmann, I. Kukulin. Moscow, 2012. P. 809—845.)
- [Маркедонов 2013] — *Маркедонов С.* Приватизированная республика: Как Рамзан Кадыров заменил государство // *ForbesOnline*. 2013. 4 ноября (<http://www.forbes.ru/mneniya-column/vertikal/237166-privatizirovannaya-respublika-kak-ramzan-kadyrov-zamenil-gosudarstvo> (дата обращения: 27.01.2016)).
- (*Markedonov S.* Privatizirovannaya respublika: Kak Ramzan Kadyrov zamenil gosudarstvo // *ForbesOnline*. 2013. November 4 (<http://www.forbes.ru/mneniya-column/vertikal/237166-privatizirovannaya-respublika-kak-ramzan-kadyrov-zamenil-gosudarstvo>)).
- [Михайлова 2011] — *Михайлова М.* Знаменательный год: Журнал «Знамя» вручил литературные премии за 2010 год // *Новые Известия*. 2011. 17 января (<http://www.newizv.ru/culture/2011-01-17/139348-znamenatelnyj-god.html> (дата обращения: 27.01.2016)).
- (*Mikhailova M.* Znamenatel'nyi god: Zhurnal "Znamiya" vruchil literaturnye premii za 2010 god // *Novye izvestiya*. 2011. January 17 (<http://www.newizv.ru/culture/2011-01-17/139348-znamenatelnyj-god.html>)).
- [Объявлены финалисты 2008] — Объявлены финалисты «Русского Букера»—2008 // *Русский Букер*. 2008. 2 октября (<http://www.russianbooker.org/news/22/> (дата обращения: 27.01.2016)).
- (*Ob'yavleny finalisty "Russkogo Bukera"*—2008 // *Russkiy Buker*. 2008. October 2 (<http://www.russianbooker.org/news/22/>)).
- [Объявлены финалисты 2010] — Объявлены финалисты «Русского Букера»—2010 // *Русский Букер*. 2010 6 октября (<http://www.russianbooker.org/news/35/> (дата обращения: 27.01.2016)).

- (Ob'yavleny finalisty "Russkogo Bukera"—2010 // Russkiy Buker. 2010. October 6 (<http://www.russianbooker.org/news/35/>.)
- [Полян 2011] — Полян П. Советизация по-вайнахски (1922—1941) // Вайнахи и имперская власть: Проблема Чечни и Ингушетии во внутренней политике России и СССР (начало XIX — середина XX веков) / Ред. В. Козлов и др. М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. С. 447—461.
- [Polian P. Sovetizatsiya po-vaynakhski (1922—1941) // Vaynakhi i imperskaya vlast': Problema Chechni i Ingushetii vo vnutrenney politike Rossii i SSSR (nachalo XIX — seredina XX vekov) / Ed. by V. Kozlov et al. Moscow, 2011. P. 447—461.)
- [Рыклин 2002] — Рыклин М. Пространства ликований. Тоталитаризм и различие. М.: Логос, 2002.
- (Ryklin M. Prostranstva likovaniy. Totalitarizm i razlichie. Moscow, 2002.)
- [Садулаев 2005] — Садулаев Г. Одна ласточка не делает весны // Знамя. 2005. № 12. С. 9—48.
- (Sadulaev G. Odna lastochka ne delaet vesny // Znamya. 2005. № 12. С. 9—48.)
- [Садулаев 2006] — Садулаев Г. Я — чеченец! Екатеринбург: Ультра.Культура, 2006.
- (Sadulaev G. Ya — chechenets! Ekaterinburg, 2006.)
- [Садулаев 2010] — Садулаев Г. Шалинский рейд. М.: Ad Marginem, 2010.
- (Sadulaev G. Shalinskiy reyid. Moscow, 2010.)
- [Тлостанова 2004] — Тлостанова М. Постсоветская литература и эстетика транскulturации: Жить никогда, писать ниоткуда. М.: Editorial URSS, 2004.
- (Tlostanova M. Postsovetskaya literatura i estetika transkul'turatsii: Zhit' nikogda, pisat' niotkuda. Moscow, 2004.)
- [Эткинд 2013] — Эткинд А. Внутренняя колонизация: имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
- (Etkind A. Vnutrennyaya kolonizatsiya: Imperskiy opyt Rossii. Moscow, 2013.)
- [Эткинд, Уффельманн, Кукулин 2012] — Эткинд А., Уффельманн Д., Кукулин И. Внутренняя колонизация России: Между практикой и воображением // Там, внутри: Практики внутренней колонизации в культурной истории России / Ред. А. Эткинд, Д. Уффельманн, И. Кукулин. Москва: Новое литературное обозрение, 2012. С. 6—50.
- (Etkind A., Uffelmann, D. Kukulin I. Vnutrennyaya kolonizatsiya Rossii: Mezhdru praktikoy i voobrazheniyem // Tam, vnutri: Praktiki vnutrenney kolonizatsii v kul'turnoy istorii Rossii / Ed. by A. Etkind, D. Uffelmann, I. Kukulin. Moscow, 2012. P. 6—50.)
- [Ashcroft 2003] — Ashcroft B., Griffiths G., Tiffin H. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures. London: Routledge, 2003.
- [Babchenko 2009] — Babchenko A. Russia's Decision to Pull out of Chechnya Is Overdue and Overplayed: Kremlin's Populist Move Gives Chechen President Ramzan Kadyrov Freedom to Reign // The Guardian. 2009. January 16 (<http://www.theguardian.com/world/2009/apr/16/chechnya-russia-analysis> (accessed: 19.05.2016)).
- [Bassin 1994] — Bassin M. Narrating Kulikovo: Lev Gumilev, Russian Nationalists, and the Troubled Emergence of Neo-Eurasianism // Between Europe and Asia: The Origins, Theories, and Legacies of Russian Eurasianism / Ed. by M. Bassin, S. Glebov, M. Laruelle. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2015. P. 165—186.
- [Dobrenko 2011] — Dobrenko E. Utopias of Return // Studies in East European Thought, 2011. Vol. 63. № 2. P. 159—171.
- [Du Bois 1994] — Du Bois W.E.B. The Souls of Black Folk. New York; Avenel, N.J.: Gramercy Books, 1994.
- [Etkind 2010] — Etkind A. The Shaved Man's Burden: The Russian Novel as a Romance of Internal Colonization // Critical Theory in Russia and the West / Ed. by A. Renfrew, G. Tihanov. New York: Routledge, 2010. P. 124—151.
- [Fanon 2007] — Fanon F. Concerning Violence (The Wretched of the Earth) // On Violence: A Reader / Ed. by B.B. Lawrence, A. Karim. Durham, N.C.; London: Duke University Press, 2007. P. 78—100.
- [Fanon 2008] — Fanon F. Black Skin, White Masks. London: Pluto Press, 2008.
- [Goble 2010] — Goble P. Chechnya Less Peaceful Since Russian Ended Counter-Terrorist Operation // Eurasia Review. 2010. April 15 (<http://www.eurasiareview.com/15042010-chechnya-less-peaceful-since-russian-ended-%E2%80%9998counter-terrorist-operation%E2%80%99/> (accessed: 27.01.2016)).
- [Heffer 2011] — Heffer S. Rise of the Fourth Reich. How Germany Is Using the Financial Crisis to Conquer Europe // Daily Mail. 2011. August 17 (<http://www.dailymail.co.uk/news/article-2026840/European-debt-summit-Germany-using-financial-crisis-conquer-Europe.html> (accessed: 27.01.2016)).
- [Kawash 1999] — Kawash S. Terrorists and Vampires: Fanon's Spectral Violence of Decolonization // Frantz Fanon: Critical Perspectives / Ed. by A. Alessandrini. London: Routledge, 1999. P. 237—260.
- [Lerner 1949] — Lerner M. Will There Be a Fourth Reich? // New York Post. 1949. May 23.
- [Malashenko 2011] — Malashenko A. The North Caucasus: Russia's Internal Abroad? // Car-

- negie Moscow Briefing Papers. 2011. Vol. 13. № 3. P. 1—12 (http://carnegieendowment.org/files/MalashenkoBriefing_November2011_ENG_web.pdf (accessed: 21.01.2016)).
- [Markedonov 2013] — *Markedonov S.* The North Caucasus: The Value and Costs for Russia: From a Regional Problem to a National Dilemma // *Russia in Global Affairs*. 2013. December 27 (<http://eng.globalaffairs.ru/number/The-North-Caucasus-The-Value-and-Costs-for-Russia-16287> (accessed: 27.01.2016)).
- [Memmi 2003] — *Memmi A.* The Colonizer and the Colonized. London: Routledge, 2013.
- [Rosado 2010] — *Rosado R.* Consciousness-in-Action: Toward an Integral Psychology of Liberation & Transformation. Caguas, Puerto Rico: Ile publications, 2010.
- [Seligman 1975] — *Seligman M.* Helplessness: On Depression, Development, and Death. San Francisco, CA: W.H. Freeman, 1975.
- [Spivak 1990] — *Spivak G.C.* Poststructuralism, Marginality, Post-Coloniality and Value // *Literary Theory Today* / Ed. by P. Collier, H. Geyer-Ryan. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1990. P. 219—244.
- [Su 2005] — *Su J.J.* Ethics and Nostalgia in the Contemporary Novel. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- [Tlostanova 2005] — *Tlostanova M.* The Sublime of Globalization? Sketches on Transcultural Subjectivity and Aesthetics. Moscow: Editorial URSS, 2005.
- [Tlostanova 2008] — *Tlostanova M.* The Janus-Faced Empire Distorting Orientalist Discourses: Gender, Race and Religion in the Russian/ (Post-) Soviet Constructions of the “Orient” // *Worlds and Knowledges Otherwise*. 2005. Vol. 2. № 2. P. 1—11.
- [Tlostanova 2012] — *Tlostanova M.* Postsocialist ≠ Postcolonial? On Post-Soviet Imaginary and Global Coloniality // *Journal of Postcolonial Writing*. 2012. Vol. 48. P. 130—142.
- [Walder 2011] — *Walder D.* Postcolonial Nostalgias: Writing, Representation and Memory. London: Routledge, 2011.

Библиография

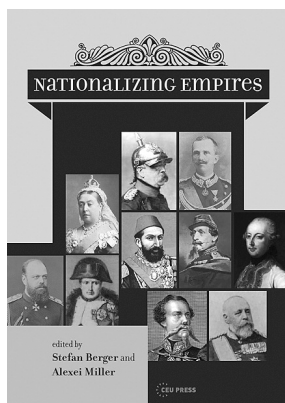
Алексей Васильев

Национализация империй:

УХОДЯ ОТ «ВЕСТФАЛЬСКОЙ ОРТОДОКСИИ»

Nationalizing Empires / Eds. A. Miller, S. Berger

Budapest; N.Y.: Central European University Press, 2015. — VIII, 691 p. —
(Historical Studies in Eastern Europe and Eurasia).



В 1648 г. Вестфальским миром завершилась Тридцатилетняя война. Одним из ее важнейших долгосрочных итогов стало доминирование в европейской политике национальных государств и признание их суверенитета нормой международных отношений. Имперский принцип организации политического пространства в лице Габсбургов потерпел поражение. Впоследствии теория модернизации придала этому событию характер исторической закономерности, в соответствии с которой на смену архаичным, отсталым, феодальным, недемократическим империям в результате непреодолимого исторического прогресса должны приходиться современные, прогрессивные, основанные на принципе гражданского равноправия и народного суверенитета национальные государства.

Империя и национальное государство стали восприниматься в качестве противоположных типов политического устройства общества, один из которых (имперский) исторически обречен и должен сойти с исторической сцены, уступив место национальному государству.

Однако новейшие исследования по теории и истории империй и наций, в области постколониализма поставили под сомнение эту концепцию, которую можно назвать «вестфальской ортодоксией». Оказалось, что не так просто указать точные критерии отличия национального государства от империи. Национальные государства тоже могут быть недемократическими и стремящимися к территориальной экспансии, отличаться этнокультурным многообразием и разделением своих

граждан на разные группы в зависимости от принадлежности/непринадлежности к «государствообразующему народу». Еще М. Блок в «Апологии истории» заметил: «Когда в 1919 г. мы увидели, что в Веймарской конституции сохраняется для германского государства его прежнее наименование Reich, многие наши публицисты возмутились: “Странная «республика»! Она упорно называет себя «империей!»»¹ С другой стороны, становится ясно, что империи играли важную роль в процессах формирования наций, а не только служили препятствием на пути их строительства, как считалось ранее. Империи могли проводить политику классификации и организации своего населения по национальному принципу. Колониальная политика также была важным фактором формирования наций не только для колоний, но и для имперских метрополий. Наконец, послевоенная история противостояния двух сверхдержав, боровшихся за сферы влияния, формирование Евросоюза, глобализация и мультикультурализм — все это заставило исследователей более критически отнестись к тезису об исторической обреченности империй и их принадлежности прошлому.

В результате осмысления всех этих явлений на протяжении последних двух десятилетий оформилось исследовательское направление «новая имперская история». Произошло своеобразное возвращение империи из «научного небытия», в котором она пребывала весь послевоенный период. Господствовавшая в это время в социальных науках теория модернизации (как в марксистском, так и в либеральном ее вариантах) видела в империи форму политической организации традиционного домодерного общества, которая должна быть преодолена в ходе исторического прогресса и перехода к современности. Основной движущей силой переосмысления соотношения нации и империи выступили исследователи империи. Интересно, что в большей части классических работ о нации и национализме фактор империи упускался из виду, а сама империя если и присутствовала, то, скорее, как фон для процессов образования наций. В России ведущим центром развития «новой имперской истории» является журнал «Ab Imperio». Основным принципом этого направления является «невозможность локализовать историческую точку перехода из мира империй в мир наций, а равно и некорректность деления исторического опыта на специфически имперский и национальный. Тем самым появляется возможность осмыслить империю и нацию не как воплощенные в реальности политические и социальные явления, а как категории анализа, которые позволяют описывать отличные векторы исторического процесса и диспозиции исторических сил. Если один вектор связан с производством, воспроизводством и инструментализацией многообразия, то другой — с гомогенизацией и инструментализацией культурной, социальной и политической однородности»².

Именно из такого идеально-типического (в веберовском смысле) понимания соотношения нации и империи в истории исходят и авторы сборника «Национализация империй». В нем предпринята попытка показать на конкретном историческом материале взаимосвязь имперской динамики и процессов нациестроительства. Прежде всего обратим внимание на предложенные авторами коллективного труда теоретико-методологические основания исследования.

Все авторы исходят из отказа от традиционной парадигмы «исторической обреченности империй перед лицом прогрессивных национальных государств». Профессор Фрайбургского университета *Йорн Леонард*, автор статьи, посвященной сравнительному анализу исторической динамики полиэтнических империй и про-

1 Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986. С. 92.

2 Герасимов И., Мозильнер М., Семенов А. В поисках ясности // Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма. М., 2010. С. 11—12.

цессов нацистроительства на рубеже XIX—XX вв., отмечает, что именно «исход войны в 1918 г. привел к формированию в историографии определенного нарратива, в котором конец традиционных автократических империй на европейском континенте считается неизбежным. Согласно этой интерпретации, Первая мировая война лишь завершила процесс, который был очевиден еще до 1914 г.: полиэтничные империи казались пережившими свой век политическими субъектами (старыми тюрьмами молодых наций³), которые могли выживать, только силой подавляя национальные движения и этнические группы. Эта парадигма интерпретации оказала сильное влияние на историографию империй в XX в.» (с. 630). Историческая траектория империи в этой парадигме хорошо описывается, по мнению автора, метафорой «взлета и падения», которую Э. Гиббон в свое время применил при анализе истории Римской империи. Однако сегодня ее все больше заменяет видение истории империй в категориях шансов и кризисов.

Общим для всех участников сборника является представление, что империя, имперское пространство, имперское воображение, соперничество империй играли важную роль в процессах формирования национальных идентичностей. Империи часто не только не препятствовали нациеобразованию, а напротив — стимулировали его. Они служили тем коммуникативным пространством, в котором (и в соотнесении с которым) формировались различные национальные идеи. Причем иногда национализм меньшинств опережал и стимулировал национализм «имперских наций». Более того, сами империи часто стремились использовать нациеобразовательные процессы в своих интересах, для укрепления своего могущества и повышения конкурентоспособности на мировой арене.

Все эти представления концептуализированы в книге при помощи понятия «имперский национализм». В статье «“Имперский национализм” как вызов изучению национализма» венский историк *Филипп Тьер* выделяет три измерения этого явления. Во-первых, это национализм «имперских наций», лояльных «своей» империи (русские в Российской империи, немцы в Германской империи). Во-вторых, это национализм «имперских наций» в более широком смысле слова — наций, заключавших альянсы с правящей династией и имперской государственностью, не имея при этом перспектив стать доминирующей силой в империи (прибалтийские немцы в Российской империи, евреи в Габсбургской монархии, армяне в Османской империи). И в-третьих, имел место антиимперский национализм по типу итальянского или польского; но даже в этом случае жесткого противостояния империи она оставалась «значимым другим», объектом идентификации для противостоящих ей национальных движений (с. 577). В целом авторы сборника сосредоточены на изучении формирования «имперских наций» в первом смысле. Во Введении руководители исследовательского проекта, результатом которого стала эта книга, профессор Рурского университета в Бохуме Стефан Бергер и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и Центрально-Европейского университета в Будапеште Алексей Миллер, пишут, что термин «имперская нация» используется ими для обозначения тех проектов нацистроительства, «которые были задуманы и реализованы в сердцевине империи» (с. 4); которые, «в отличие от сепаратистских периферийных проектов, рассматривали империю как свое достояние» (с. 5). «Более внимательный взгляд на европейскую историю XIX в. показывает, что большинство самых успешных проектов нацистроительства были с разной степенью успешности реализованы на территориях имперского ядра и все они с неизбежностью были тесно связаны с империей самыми разными способами» (там же).

3 Другой автор рецензируемой монографии, Ф. Тьер, называет это «парадигмой “тюрьмы народов”» (с. 573).

Также во Введении сформулированы и основные аспекты взаимосвязи империи и нации, вокруг которых организован материал в статьях об отдельных империях. Авторы формулируют их так: «В действительности существует целый ряд сфер, где имперское тесно сплетается с национальным в процессе построения имперских наций. Не пытаясь предложить здесь их исчерпывающий перечень, мы должны отметить, во-первых, различные аспекты администрирования пространства, включая воображаемую географию национальной территории, миграции, развитие коммуникационных систем, развитие городов, особенно столичных, которые сочетали функции национальных и имперских столиц. <...> Во-вторых, мы хотели бы осветить процессы культурной и лингвистической консолидации как на элитарном, так и на массовом уровнях, а также значение концепций “другого” и концепций цивилизационной миссии, которые работали как в имперском, так и в национальном контекстах. В-третьих, мы подчеркиваем значимость развития экономических связей между различными регионами, которые были жизненно важны как в имперском, так и в национальном контекстах. В-четвертых, мы полагаем необходимым обсудить механизмы политического участия (вовлечения) как на элитарном, так и на массовом уровнях, которые включали в себя идею гражданства, а также и постепенно возникавшие социальные права, связанные с ним (гражданством). Внешняя политика вообще и конкуренция между империями в частности были чрезвычайно важными факторами. Наконец, мы хотели бы также привлечь внимание к разным институтам, имевшим принципиальное значение как для империй, так и для имперских наций, — от армии до научных обществ» (с. 5—6). В последующих десяти статьях, посвященных анализу «имперского национализма» на материале разных империй, более или менее подробно рассмотрены указанные выше аспекты сопряжения имперской и национальной истории.

Нейл Эванс, исследователь из Кардиффского университета, автор статьи о Британской империи, государстве и нации на протяжении «долгого XIX века», особое внимание уделяет именно сердцевине империи — английскому государству и английской «имперской нации». Понимание ее сущности и исторической динамики представляется ему принципиально важным для анализа феномена «британской нации». Английская идентичность сформировалась на протяжении веков, предшествовавших созданию Великобритании в начале XVIII в., на основании столкновений с различными «другими». Впоследствии она должна была адаптироваться к ситуации полиэтничной Великобритании. Автор склонен уделять внимание именно внутренней неоднородности британской идентичности, в том числе проблемам шотландского и валлийского сепаратизмов. Переходя ко включению Ирландии в состав Соединенного Королевства, он показывает, что главным реальным вызовом для «британскости» стали в конечном итоге не шотландский или валлийский национализмы, а «ирландский вопрос». Именно по Ирландии пролегал главный внутренний разлом империи. Пойти по пути федерализации Британия не могла, так как это было несовместимо с сохранением старой английской политической системы и парламентского суверенитета. Государственная система Британии оказалась чрезвычайно устойчивой, сохранив преемственность по отношению к древним английским истокам. Формирование империи на ней почти не отразилось. Однако, в отличие от парламентской и административной систем, гражданское общество Британии испытало большое влияние со стороны империи. Британская экономика также оказалась тесно связанной с предоставляемым империей рынком. Империя обеспечивала возможность перераспределения населения и смягчения негативных социальных эффектов индустриализации. Она была привлекательна и для неанглийского населения Британских островов, давая ему такие преимущества, которые делали его в основном лояльным Великобритании. Гиб-

кость неписаной конституции оказывалась удобной для многих политиков. Таким образом, Британская империя сформировалась, сохранив при этом в основе «английское» имперское ядро.

Профессор Оксфордского университета *Майкл Броерс* в статье о наполеоновской империи отмечает важность анализа национального и имперского типов воображения для понимания значения наполеоновской эпохи для проекта французской нации. Он показывает, что французская политическая элита того времени имела в своем сознании весьма специфический образ Франции, состоявший из Парижа и городских, модернизированных восточных и северных регионов. За пределами этой «Франции» оказывались аграрные, отсталые запад и юг, находившиеся под сильным влиянием католической церкви. Хотя Наполеон имеет репутацию «отца европейского национализма», но, отмечает автор, из его политических конструкций лишь Великое герцогство Варшавское и Иллирийские провинции напоминают национальные государства. В остальном же его политические проекты в Германии и Италии едва ли могут считаться (прото)национальными. Тем не менее наполеоновские идеи сильного централизованного государства, культурного превосходства и цивилизационной миссии Франции в будущем оказались очень важны для французского «национального воображения» и формирования французской нации.

Продолжает «французскую тему» *Роберт Альдрих*, профессор европейской истории из Сиднейского университета. Его анализ охватывает период с середины XIX до середины XX в., а основной тезис заключается в том, что Франция указанного периода — имперское национальное государство и что французский национализм является имперским. Это не специфически французская черта. Во всей Европе, а также в США и Японии построение колониальной империи было принципиально важным элементом проекта нациестроительства. «Заморская империя» составляла неотъемлемую часть национального проекта в самых разных отношениях. Колониальная империя зачастую представлялась консервативным кругам как пространство более чистого проявления истинного «национального духа» и подлинных «национальных ценностей», чем сама метрополия. Обладание заморскими колониями служило своеобразным «пропуском» в клуб «великих держав» и пилато, таким образом, национальную гордость.

В центре внимания исследователя находятся механизмы, при помощи которых французским властям удавалось интегрировать колонии и метрополию, а также соотношение колониализма и французского регионализма. Идеи колониализма и имперского величия становились частью регионального самосознания, региональные элиты вовлекались в колониальные проекты, а «интерфейсом» между провинциями и колониями выступала идея нации (с. 170). Однако колонии и метрополия, будучи тесно связаны, не могли стать единым целым, этому препятствовали политическое неравенство колониального населения, политические практики, продиктованные идеями расизма и культурной отсталости колоний. Все эти обстоятельства сохраняли свое значение до времен Пятой республики.

Проблемам формирования нации в связи с процессами региональной интеграции на материале истории Испании XVIII — начала XX в. посвящена статья профессора Университета Сантьяго-де-Компостела и Мюнхенского университета Людвиг-Максимилиана *Хосе-Мануэля Нуньеса*. Он отмечает, что традиционные историографические подходы представляют испанскую модель нациестроительства в исключительно «европоцентристской» перспективе — как основанный на французском образце проект построения нации. При этом, однако, не принимается во внимание взаимодействие параллельных процессов: формирования испанской нации (начавшегося в первых десятилетиях XVIII в.) и консолидации испанской

колониальной империи, а также взаимосвязь испанского регионализма и регионального сепаратизма (басков и каталонцев) с процессами в колониях.

Роль колониальной империи в процессе формирования испанской нации исследователь оценивает как амбивалентную. «Империя выполняла интегрирующую роль в одних фазах развития и дезинтегрирующую в другие периоды» (с. 245). Империя позволяла пользоваться выгодами от колониальных владений как центру, так и периферии, колониальные успехи не воспринимались как достижения тех или иных регионов полуострова и в этом смысле не разобщали страну. С другой стороны, вооруженные конфликты в заморских владениях и потеря колоний (особенно болезненным в этом смысле было поражение в войне с США в 1898 г.), мобилизуя испанский «имперский национализм», одновременно стимулировали сепаратизм регионов, прежде всего Страны Басков и Каталонии, жители которых теперь воспринимались центром как «свои кубинцы», то есть сепаратисты, аналогичные тем, которым удалось получить независимость от Испании в заморских владениях империи.

Немецкий случай рассмотрен в статье *Стефана Бергера*, одного из руководителей лежащего в основе книги проекта. Цель автора — рассмотреть Германию как «имперскую нацию», где процессы формирования империи и нацистроительства были взаимосвязаны и взаимно поддерживали друг друга. Идея «имперского ядра», в пределах которого должно было проходить формирование немецкой имперской нации, формировалась через соотнесение с несколькими перифериями: непрусскими этнически немецкими регионами, этническими «другими» в пределах Германии (прежде всего — поляками и евреями), этническими «другими» за пределами Германии (прежде всего славянским населением Восточной Европы) и, наконец, туземцами, «другими» немецких заморских колоний. В статье, таким образом, прослеживается, «как имперское воображение определяло национальное ядро через различные периферии в рамках разных версий Германской империи» (с. 307). Идея германизации внутреннего ядра империи вместе с идеями создания заморской колониальной империи и колонизации славянских земель в Восточной Европе были принципиально важны для этого варианта «имперского национализма». При этом идея нации была на протяжении XIX в. сопряжена с расистскими представлениями и милитаризмом. Экономический рост, развитие коммуникаций и миграции также сыграли роль в консолидации национального (прусского) ядра империи.

Российской империи посвящена статья *Алексея Миллера* — ведущего российского специалиста по этой теме и автора монографии, специально ей посвященной⁴. Изложение в статье имеет хронологический характер и охватывает период от объединения земель вокруг Москвы до большевистской политики «коренизации». Такой способ повествования рассчитан на иностранного читателя, не изучавшего историю России. Основная проблема, рассматриваемая автором на каждом историческом этапе, является общей для всего проекта: взаимосвязь процессов формирования империи и становления национального самосознания. Миллер вступает в полемику с известным определением Э. Геллнера, в соответствии с которым национализм — это принцип, требующий совпадения национальной территории и пространства политического контроля. Автор полагает, что этот принцип мало применим в случае «имперских наций» типа французской, испанской или русской: для них вся территория империи выглядит как «своя», и их национализм (в отличие от сепаратистского национализма окраин) не требует разрушения империи — напротив, опирается на нее как на основу национальной идентичности. Автор стремится «рассказать историю русского нацистроительства до 1917 г. как историю, в которой

4 См.: Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. М., 2006.

имперский контекст был далек от того, чтобы стать просто помехой в этом процессе, в то время как имперские акторы были важными игроками в этой истории» (с. 311). Особое внимание он обращает на роль таких процессов, как миграция, урбанизация, развитие инфраструктуры, индустриализация и развитие националистического дискурса, различных форм «национального воображения».

Изучению соотношения империи, нации и регионализма на землях Габсбургской монархии посвятила свою статью профессор Венского университета *Андреа Комлоси*. Она выявляет два способа решения национального вопроса в дуалистической монархии и исследует их взаимосвязь — «полиэтническое династическое понимание национальности» в Австрии и проект этнической гомогенизации (мадьяризации) в Венгерском королевстве. Эти две модели, по ее мнению, усиливали друг друга. «В Австрии, — отмечает исследовательница, — немецкий никогда не переставал быть ведущим языком, открывая карьерные возможности в высшей администрации, академии и политической жизни. В то же самое время ненемецкие национальности могли утвердить свои языки на локальном и региональном уровнях, открывая возможности представлять себя и создавать нации, но одновременно и блокируя своим соотечественникам доступ к высоким государственным позициям, которые требовали знания немецкого языка. В обстановке межэтнического соперничества наднациональная австрийская идентичность могла развиваться с большим трудом, проявляясь прежде всего в идентификации с императором и династией, идентификации, которая утратила свой импульс с развитием парламентаризма и военными поражениями <...>. В Венгрии мадьяризация была общей темой, вовлекая подданных короны Святого Иштвана всех национальностей. Помимо всего прочего, мадьяризация была менее эффективной, чем полагали ее проводники и оппоненты, в результате чего венгерский лингвистический ландшафт остался столь же многообразным, что и австрийский» (с. 371—372).

Венгрия следовала западноевропейской модели формирования наций, опирающейся на идентификацию с государственной территорией, народом и языком, стремясь ассимилировать национальные меньшинства в единое пространство доминирующей культуры и языка. «Грубо говоря, Австрия следовала федералистской модели, основанной на региональных парламентах (Landtag) и правительствах (Landesregierung) в коронных землях, которые признавали региональные языки. <...> Венгрия была централизованным государством, в котором не было опосредующего провинциального уровня и которое было поделено на графства (comitatus, megye). Единственным языком, который допускался в национальном парламенте, на уровне графства, общин и муниципалитетов, был мадьярский. Все остальные языки были осуждены на второстепенную подчиненную роль, что затрудняло их включение в процессы современного социального, научного и технического развития. Но, с другой стороны, использование мадьярского всеми образованными гражданами развивало коммуникацию между разными национальностями, способствуя политическому и профессиональному участию немадьярского населения. В Австрии признание региональных языков в региональных парламентах и в образовании гарантировало разнообразие и давало языкам возможность развиваться для потребностей высшей администрации и образования. Однако это не избавляло их носителей от необходимости изучать немецкий, если они хотели сделать карьеру вне своего домашнего региона. В то время как все венгерские граждане получали мадьярское образование, начиная с начального уровня, австрийские граждане имели дуалистическую систему образования: локальные или региональные языки — для региональных потребностей <...>, немецкий — для официальной коммуникации <...>, высшего образования и публичной карьеры на трансрегиональном уровне» (с. 426).

В статье подчеркивается, что обе эти тенденции взаимодействовали и поддерживали друг друга. Австрия способствовала развитию немадьярских языков в Венгрии, а немадьярские общины стремились следовать австрийской модели языковой политики. Венгерские политики, в свою очередь, были под впечатлением от успехов Австрии в деле германизации своего ненемецкоязычного населения. Таким образом, языковая, этническая, культурная и хозяйственная разнородность империи, по мнению автора, придавала ей стабильность.

Статья профессора Университета Св. Лаврентия в Нью-Йорке *Говарда Айзеншта* посвящена процессам модернизации, формирования имперского национализма и этнизации конфессиональной идентичности в поздней Османской империи. Основную проблему империи автор видит в этнической и конфессиональной разнородности населения, а также в возрастающей отсталости Османской империи. Вся ее история XIX в. полна попыток модернизировать общество сверху. Одним из ключевых элементов политики модернизации стал проект создания имперской нации, проект «оттоманизма», призванный интегрировать разнородное население империи и связать его с государством узами лояльности. Автор подчеркивает, что этот проект носил не идеологический, а отчетливо прагматический характер. Он также показывает, что, «поскольку государство одновременно обращалось к весьма разнородному населению, а политическая реальность менялась со временем, оттоманизм не был какой-то устойчивой идеологией; скорее это был подвижный набор тем, которые выдвигались на первый план в зависимости от аудитории и обстоятельств» (с. 459). Этот проект, однако, не позволил интегрировать в имперскую нацию христианское население Балкан, поскольку в последний период существования империи в этом «наборе тем» на первый план стал все больше выдвигаться ислам в качестве маркера коллективной идентичности. Это привело к исключению из состава нации христианского населения и постепенному превращению «мусульманскости» в этническую категорию и подготовило основу для этнических чисток, которые ознаменовали коллапс империи в начале XX в.

Профессор Копенгагенской бизнес-школы *Уффе Остергард* рассматривает проблемы датского национализма в связи с историей Ольденбургской империи. В центре его внимания — формирование датской идентичности, «раздвоенной» между имперской идеей, связанной с ольденбургским наследием, и образом небольшой гомогенной европейской нации. Автор подчеркивает, что с XV в. Датское королевство складывалось как сложное имперское образование. В 1448 г. герцог Ольденбургский, чьи владения находились на территории современной северной Германии, был избран датским королем под именем Христиан I. Затем он стал королем Норвегии и Швеции (включавшей тогда в себя и финские территории), а также герцогом Шлезвига и графом Гольштейна. Датская корона владела островами в Северной Атлантике (Исландия, Гренландия, Фарерские острова), а на протяжении XVII—XVIII вв. приобрела колонии в Вест-Индии, Западной Африке и Индии. В результате ряда военных поражений на протяжении нескольких веков и территориальных потерь Ольденбургская империя превратилась в современную маленькую гомогенную Данию. Датская историография начиная с XIX в. стала привычно рисовать картину истории небольшой датской нации, корни которой восходят к концу эпохи викингов (XI в.). В результате оказалось забытым то, что в процессе формирования датской нации в XIX в. участвовали два конкурирующих и временами даже антагонистических образа «датскости» — имперский и национальный.

Десятая статья той части сборника, которая посвящена отдельным империям, написана профессором Ноттингемского университета *Дэвидом Лавеном* и независимой исследовательницей *Эльзой Дамьен* и посвящена венецианскому имперскому опыту и его роли в формировании итальянской нации со времен объединения

Италии и до периода фашизма. В итальянском случае проект создания колониальной империи должен был не просто ввести Италию в круг «мировых держав», но и усилить формирующуюся общеитальянскую идентичность, а также лояльность населения еще недавно независимых регионов Италии новому объединенному государству. Историки предложили взглянуть на этот процесс с локальной перспективы — с точки зрения Венеции, города-государства, который имел имперский исторический опыт и память о нем. Рассмотрение итальянского регионализма как препятствия на пути к национальной интеграции стало общим местом в историографии; вместе с тем, отмечают авторы, «исследования по истории Германии и Франции постоянно показывают не только то, что национальная и локальные формы лояльности не являются неизбежно сталкивающимися между собой, но также и то, что часто они усиливали друг друга <...>» (с. 513). То есть в центре внимания здесь находится венецианский ответ на вызовы объединения Италии, становления итальянской нации, создания итальянской колониальной империи — ответ, опосредованный венецианским имперским опытом. В венецианском случае, как оказалось, итальянский имперский проект пользовался поддержкой региональной элиты, а центральное правительство (как либеральное, так и фашистское) смотрело на «венецианскость» как на инструмент легитимации итальянского империализма, призванного, в свою очередь, послужить укреплению национальной идентичности.

Книга завершается разделом «Комментарии», состоящим из пяти статей, написанных известными историками. Смысл его заключается в компаративистском взгляде на те проблемы, которые были основополагающими в каждой из предшествующих десяти работ. В статье исследователя из Высшей школы социальных наук в Париже *Жана-Фредерика Шауба* рассматривается соотношение европейского «старого порядка» и империи. По мысли автора, изучение истории государств раннего Нового времени может много дать для понимания современных империй и связанных с ними национальных государств. Взаимодействие центростремительных и центробежных сил, изучаемое историками таких раннемодерных государств, как Франция или Испания, могут быть весьма релевантными для историков империй. Вопрос, которым следует задаться и который историки государств раннего модерна могут предложить своим коллегам — исследователям империй, звучит в его формулировке так: «Уверены ли мы в том, что всегда можем аналитически отличить национальные королевства от многонациональных империй?»

В уже упомянутой статье Филиппа Тьера указывается на связь нациестроительства с имперским контекстом и на роль империй как коммуникативного пространства для формирования наций. Понимание этих явлений, по мнению автора, может помочь увидеть и специфику нациеобразования в постимперскую эпоху, когда основными агентами производства наций становятся уже не империи, а современные государства с более широкими возможностями индоктринации населения. Этот опыт формирования наций в XX в. еще мало осмыслен теоретически и слабо оформлен терминологически.

Статья почетного профессора Центрально-Европейского университета и Университета Пенсильвании *Альфреда Рибера* посвящена сравнительному анализу национализации имперских армий. В ней рассматриваются различные траектории этого процесса в Габсбургской, Российской и Османской империях и делается вывод о его незавершенности к началу Первой мировой войны. Армии в этих империях были самыми модернизированными институтами и главными опорами политической системы; их распад в ходе войны вызвал и распад самих империй. Офицерский корпус в результате «национализировался» и сыграл решающую роль в формировании новых постимперских национальных государств; примерами автору служат Мустафа Кемаль Ататюрк и маршал Пилсудский. В России же, по его

мысли, только победа большевиков помешала приходу к власти военных в лице Колчака или кого-то другого из военачальников белого движения.

В еще одной упомянутой статье — Йорна Леонарда — сравниваются процессы развития полиэтничных империй и формирования национальных государств на рубеже XIX—XX вв. Основную задачу автор видит в том, чтобы «преодолеть антагонистический нарратив, продолжающий доминировать в историографии и объясняющий неизбежность упадка и падения империй и их дезинтеграции в период Первой мировой войны в терминах подъема национализма и процессов нациестроительства» (с. 645). Образование национальных государств путем сецессии (выхода из состава империй национальных регионов) не было, по его мнению, единственно возможным вариантом дальнейшей истории империй.

Заключительная статья принадлежит исследователю из Тринити-колледжа (Кембридж) и члену Британской академии *Доминику Ливену*. Она посвящена сложным взаимоотношениям империй с территориями и сообществами, которые составляют ее «ядро». Положения, высказываемые здесь известным английским ученым, несколько расходятся с одним из принципиальных тезисов руководителей проекта, высказанным во Введении, — что «нациестроительство в сердцевине империи было в действительности одним из основных инструментов этой империи в деле поддержания и усиления своей конкурентоспособности» (с. 30). Энтузиазм жителей метрополии в отношении империи, по Ливену, был весьма неустойчив и сомнителен. Национализм «имперского ядра» мог подвинуть имперские власти на действия, которые вели к отчуждению меньшинств от империи и в итоге способствовали ее разрушению. Далее, империя не является необходимым фактором формирования национализма в метрополии. Более того, «нация и империя основаны на противоположных принципах. Большинство великих империй в истории управлялись монархами, которые использовали для своей власти религиозную легитимацию и гордились тем, что управляли многими народами на основе права завоевания. Напротив, концепты национализма, как гражданского, так и этнического, исходят из того, что суверенитет укоренен в народе. Они подчеркивают принцип вовлеченности в политическую жизнь обычного гражданина» (с. 655).

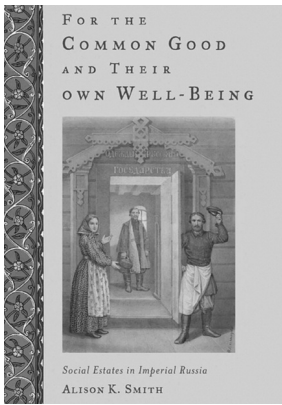
Вошедшие в книгу исследования так или иначе подтвердили изначальную гипотезу составителей: «Во-первых, <...> нации возникают внутри империй и в контексте межимперской конкуренции; во-вторых, нациестроительство не может быть понято вне его имперского контекста <...>; и в-третьих, нациестроительство и империя были очень тесно взаимосвязанными процессами <...>» (с. 30). Проект Бергера и Миллера носит новаторский характер. Впервые давно обсуждаемая (как подлежащая переосмыслению) проблема отношений наций и империй в истории представлена с такой полнотой, на материале десяти имперских государств, в широкой временной перспективе, с сочетанием диахронического анализа отдельных имперских кейсов с компаративным подходом, позволяющим выявить общие закономерности во взаимоотношениях имперской и национальной моделей политической организации — или, по крайней мере, поставить вопрос об их существовании. В этом семисотстраничном труде содержится обширная, но не исчерпывающая программа изучения такого сложного явления, как отношения между империей и нацией. Дальнейшая работа в этом направлении способна еще больше обогатить наше представление об исторической динамике. В ходе этой работы должны быть уточнены как понятие «нация» (в рецензируемой книге оно фактически сведено к этническому национализму), так и понятие «империя» (в центре внимания авторов сборника находились колониальные империи эпохи модерна).

Мария Лескинен

О сословиях в Российской империи

Smith A.K. For the Common Good and Their Own Well-Being: Social Estates in Imperial Russia

Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 2014. — XII, 278 p.



Монография профессора Университета Торонто, специалиста по социальной истории России имперского периода Элисон Смит «Для общей пользы и ради собственного блага: социальные группы имперской России» посвящена проблемам складывания, трансформации и функционирования сословной структуры российского общества XVIII—XIX вв. В книге реконструируются нормы применения понятия «сословие» и анализируется понимание сословной принадлежности/идентичности в законодательной практике. Историк сосредоточивается на трех аспектах бытования термина: в повседневной жизни индивидов, в законодательной деятельности местных органов власти и в решениях общегосударственного уровня.

На первый взгляд, автор осуществляет свое исследование в русле методологии «истории понятий» (Begriffsgeschichte), что, несомненно, является актуальной научной задачей в свете острых дискуссий трех последних десятилетий о генезисе, специфике и эволюции социального строя Российской империи. Идея (впервые реализованная еще В.О. Ключевским) сопоставления западноевропейских и российских сословий и обнаружения в них не столько формальных, сколько содержательных (исторических и политико-юридических) сходств и отличий по-прежнему остается в центре внимания научного сообщества. Дискуссия о сословиях, вызванная необходимостью определить методологические основания для сравнения западноевропейской и российской моделей социума, так или иначе затрагивает вопросы исторической семантики и истории официальных дефиниций понятия¹.

1 См., например: Фриз Г. Сословная парадигма и социальная история России // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период. Самара, 2000. С. 121—162; *Wirtschaftler E.K. Structures of Society: Imperial Russia's People of Various Ranks.* DeKalb, 1994 (рус. пер.: *Виртшафтер Э.К. Социальные структуры: Разночинцы в Российской империи.* М., 2002). Монография Б.Н. Миронова (*Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: В 2 т.* СПб., 1999; переработанное и существенно дополненное изд.: *Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: В 3 т.* СПб., 2014—2015) и статья М. Конфино (*Confino M. The Soslovie (Estate) Paradigm: Reflections on Some Open Questions // Cahiers du monde russe et sovetique.* 2008. Vol. 49. № 4. P. 681—704), каждая в свое время, актуализировали в среде историков-русистов дискуссии о социальной стратификации российского общества и об изменении его структуры. Ключевые вопросы полемики: традиционный и юридический статусы социальных

Однако концепт «сословие» не становился предметом специального исследования, несмотря на то что задача рассмотрения спектра его значений в исторической ретроспективе давно назрела. Так, в сборнике «Понятия о России»: к исторической семантике имперского периода»² в разделе «Социальная стратификация» помещены три статьи, в каждой из которых отмечается сложность однозначной трактовки языковых категорий, использовавшихся для обозначения различных социальных групп Российской империи (таких, как «чин», «чин народа», «род», «стан», «звание», «состояние», «сословие»), их взаимозаменяемость и иерархическая соподчиненность в XVIII—XIX вв.³ Сословием в разное время называли этнические группы («инородцы»), профессиональные («казаки»; ср. упоминаемый Э. Смит казус 1870-х гг., когда обсуждалось создание сословия «агрономы») и даже гендерные («сословие женщин»). Следует отметить, что исследовательница затрагивает малоизученный аспект — сословные права женщин, убедительно доказывая большую, нежели принято считать, свободу женщин в решении вопроса о смене сословной идентичности или статуса с начала XIX в., обусловленную тем, что на них не распространялись некоторые повинности, затруднявшие переход в другое сословие. И это еще в дореформенную эпоху давало больше возможностей для социальной мобильности, чем принято считать.

Изучение категории «сословие» в России имперского периода связано с целым рядом сложностей. С начала XIX в. термин «сословие» становится все более употребительным для обозначения дифференцированных социальных групп, что обусловило необходимость выработать его четкую дефиницию в имперском законодательстве, в общественно-политическом лексиконе и в научной терминологии. Однако понятие это не было номинацией с отчетливыми признаками социальной стратификации. Оно было многофункциональным и выступало как определение социального статуса, устанавливаемого происхождением и системой взаимных прав и обязательств сообщества или профессиональной/территориальной корпорации — с одной стороны, и индивидов — с другой. Несомненные трудности сопутствуют задаче выявления представлений о сословиях в широком смысле: в контексте юридической практики (в вопросе смены фиксированного социального статуса), с точки зрения опыта функционирования традиционных институтов, с их пониманием сословности, или же репрезентации сословной дифференциации в культуре. Наконец, немалую сложность представляет установление характера межсословных и внутрисословных границ, степени их прозрачности и возможностей преодоления, а также понимание того, как осознание сословной принадлежности соотносилось с другими уровнями индивидуальной и групповой идентичности.

Весь этот круг проблем Элисон Смит не исключает из сферы своего исследовательского внимания, но цели ее работы иные. Она очень тонко обходит стороной методологически ожидаемый от нее анализ семантического содержания понятия «сословие». Во-первых, намеренно не прибегает к его переводу — слово и в цитируемых источниках, и в авторском тексте транслитерируется (*soslovije*, *soslovija*). Лишь в заглавии книги для обозначения сословий использован термин «estate».

групп и их иерархия, соотношение социальных групп и сословий, а также изменения границ внутрисословных элементов и роль государства в этом процессе.

- 2 См.: «Понятия о России»: к исторической семантике имперского периода / Под ред. А.И. Миллера, Д.А. Сдвижкова, И. Ширле: В 2 т. М., 2012.
- 3 Ширле И. Третий чин или средний род: история поиска понятия и слов в XVIII веке // «Понятия о России». Т. 1. С. 225—248; Велижев М.Б. Цивилизация и средний класс // Там же. С. 249—292; Леонтьева О.Б. Понятие класс в российской мысли XIX — начала XX в. // Там же. С. 293—339.

Во-вторых, избрав в качестве источниковой базы весьма обширный и репрезентативный комплекс архивных документов за полтора столетия, в которых находила отражение процедура перехода из одного сословия в другое, историк создает из нескольких сотен отдельных прецедентов своеобразный нарратив — картину способов обретения нового социального статуса, мотиваций и целей конкретных людей, а также реакций на них представителей властей разного уровня.

В центре монографии — проблема социальной мобильности в имперском обществе и соотношение индивидуальных интересов, позиций центральных властей и местных чиновников. Это позволяет исследовательнице проанализировать значения термина «сословие» (который в монографии применяется в значении сословной идентичности и для описания членства в сообществе через сеть социальных связей) в повседневной жизни, в языке и поведенческих стратегиях индивидов и чиновников на протяжении полутора веков.

Историк сосредоточивается на описании не столько поддающихся фиксации сословных групп, сколько способов и действенных процедур перехода из одной в другую. Но большая часть документальной базы, собранной Смит в двенадцати центральных государственных и областных архивах России, связана с представителями прежде всего городских сословий — мещанства и купечества, лишь отчасти — крестьянства, что позволяет всесторонне проанализировать процесс перехода главным образом в городские сословия, охватывая довольно обширный географический ареал (от Прибалтики до Сибири).

Реконструкция совокупности представлений о сословии и сословности осуществляется Э. Смит оригинально: внешние аналитические процедуры, обобщения и заключения опираются на воссоздаваемый ею «хор голосов», собрание case studies, то есть на коллективное повествование самих носителей. Качественные методы исследования, таким образом, играют ведущую роль. Во Введении автор обозначает задачи: анализ форм социальной мобильности и определение проницаемости границ сословий; выявление сходств и различий между индивидуальным восприятием сословной принадлежности и ее государственной трактовкой. Своей целью Смит ставит реконструкцию сословной системы, которая наделяла статусом и правами и налагала запреты, например ограничивала мобильность и вообще задавала границы жизненного выбора индивидов. Автор сосредоточивается на трех основных «участниках» процесса смены сословия — центральной власти, местных властях и индивидах, а также на трудноуловимой взаимосвязи задач и мотивов государства и локальных сообществ при стимулировании такой смены.

В первой главе («Значение понятия “сословие”») рассматривается не содержание понятия или его интерпретация на разных исторических этапах, а несколько выделяемых автором аспектов сословности как таковой, неизменных на протяжении полутора веков: «сословие как обязанности», «сословие как возможности», «сословие как принадлежность» и «сословие как единица социальной иерархии». Вот почему материал организован не по хронологическому, а по типологическому принципу. Смит выделяет общую мотивацию смены сословной принадлежности подданными империи.

Автор анализирует способы получения разрешения на переход в другое сословие, когда локальное сообщество (например, крестьянская община) и чиновники на местах должны были дать согласие на «выход». Как часто бывает в подобных случаях, подкуп и взятки в этом деле отнюдь не были редкостью. Историк показывает, почему в ряде ситуаций очень высокая цена (в прямом и переносном смысле) позитивного решения рассматривалась как адекватная: исход дела определял не только профессиональную деятельность, финансовое благополучие и местожительство человека, но и судьбу его семьи. Хотя в большинстве случаев прошение

о смене сословия знаменовало уже сложившееся противоречие между реальным и формальным статусом индивида, бывали ситуации (красноречив пример крестьянина по рождению, ставшего купцом, Николая Чукмалдина), когда это было способом спасения от неминуемой рекрутской повинности. Автор подчеркивает, что, несмотря на постоянное усложнение бюрократических процедур, связанных со сменой сословия, у индивида всегда оставалась возможность оформить ее на практике, обходя законы (с. 15).

Отдельно затрагиваются такие вопросы, как понимание сословной принадлежности центральной властью и отдельными социальными группами, формы выражения сословной идентичности или ее отсутствия — даже в ситуации предпринимаемых усилий по ее смене. Эти проблемы тесно связаны с другими аспектами. Сословие определяло не только социальные позиции и роли, но и уклад жизни, нормы и ценности, этос поведения и культурные запросы, формы их реализации, что порождало конфликты в период реформ и модернизации 1860—1880-х гг. и, как следствие, стимулировало социальную мобильность населения. Второй, весьма значимый вывод исследовательницы связан с соотношением представлений о сословности и ее «географической» (в определении Смит) локализации — особенно в дореформенный период XIX в.

В главе описан круг обязательств, накладываемых сословием, — экономических (налоги и повинности), рекрутских и др. Историк подчеркивает, что сообщество всегда предоставляло своим членам поддержку и защиту, ограждая от многих жизненных неурядиц и трагедий. Автор убедительно показывает, что сословие рассматривалось как сеть взаимных обязательств его членов, как обязанности сообществ в отношении всего социума, как долг подданных империи. Система обязательств имела важное последствие: люди без сословной принадлежности не имели легального статуса. Это обуславливало стремление подтвердить документально свою сословную принадлежность. Сословие определяло спектр возможностей; как специфический элемент права, именно оно определяло род занятий и виды деятельности, обладание и распоряжение имуществом и получение образования. Так оно понималось и самими людьми — как совокупность обязательств, возможностей и привилегий. Предпринятая в XIX в. попытка связать сословие исключительно с экономическими функциями потерпела неудачу.

Сословная принадлежность диктовала необходимость соответствовать своему социальному статусу, адекватность этого соответствия определялась извне и должна была удовлетворять коллективным ожиданиям. Сословность «привязывала» индивида к сообществу, ограничивая виды его деятельности, то есть нетипичные занятия являлись важным аргументом смены сословия.

Представления об иерархии сословий, по мнению Смита, нашли очевидное отражение в практике заключения брачных союзов, системе налогообложения, стремлении получить сословные привилегии. Статусность непривилегированных сословий могла быть связана и с престижностью местожительства (город «престижнее» деревни, столица — провинции), то есть социальная иерархия накладывалась на географическую.

В следующих трех главах проанализированы изменения в интерпретации сословной структуры и сословной идентичности в России с середины XVIII до конца XIX в. Во второй главе («Законодательные нормы и административная реальность. Интересы местных и идеалы центральных властей в XVIII в.») показана неизбежность конфликта интересов местных сообществ и властей, с одной стороны, и государственно-административного аппарата — с другой. Подавляющее число примеров касается перехода в мещанство и купечество. Исследовательница отмечает основное противоречие этого периода. К концу XVIII в. значение сословий опре-

деляли два законодательных принципа: принадлежность к сообществу по рождению и набор определяемых этой принадлежностью обязанностей. Законы, регулирующие смену сословия, чаще всего фокусировались на сохранении социальной стабильности для обеспечения государственных ресурсов — то есть, в сущности, были нацелены на усложнение процедуры перехода из сословия в сословие, то есть на укрепление социальных границ. Но именно в это время расширялось пространство империи, экономические изменения порождали новые возможности, и государство не могло не замечать этих вызовов, которые требовали не ограничения, а поощрения социальной мобильности. В итоге законодательство постоянно нарушало баланс между этими потребностями.

На большом архивном материале Смит рассматривает процедуру подачи прошения о смене сословной принадлежности, а иногда и об ее первичном обретении (в случаях, когда человек по какой-то причине не попадал в списки переписей-ревизий, которые в XVIII в. проводились нечасто). Она подробно описывает стандартные формы подачи такого рода документов и сам ход разбирательства этих заявлений местными властями. Довольно значительная часть ходатайств, как показано, часто удовлетворялась вопреки общегосударственному законодательству, как по причине заинтересованности местных властей во включении тех или иных подданных в торговое сословие, так и по соображениям меркантильного порядка (вознаграждение и разного рода «благодарности» за благоприятное решение вопроса). Автор упоминает принятие Сенатом специальных указов в начале XVIII в., предписывающих сибирским властям не нарушать законодательные нормы регистрации сословной принадлежности. Такому положению способствовали и пробелы в законодательной базе, и сосуществование разновременных юридических норм, и бытование правовых «традиций», позволявших при желании легко найти лазейку.

Магистраты должны были удовлетворять как требованиям верховной власти, так и местным интересам (с. 56). Некоторые историки считают их только выразителями политики верховной власти. Но архивные документы, на которые опирается исследовательница, свидетельствуют о другом: формально предписания центральных властей исполняются, но решения зачастую носят более неопределенный характер, чем заключения высших инстанций. Автор приводит целый ряд примеров, когда постановления магистратов очевидно шли вразрез с существовавшими законодательными нормами, притом местные власти отдавали себе в этом отчет и сознательно прибегали к нарушениям. Но все же, как констатирует Смит, в это время проблемы при смене сословной принадлежности были связаны не столько с социальной ситуацией, сколько со становлением и изменением законодательной базы, которая не успевала за резкими трансформациями уклада — как экономического, так и социального. Но на низовом уровне некоторые трудности оказывались легко устранимыми благодаря относительной «свободе» на местах.

В третьей главе («Свобода выбора и право на отказ») представлены основные тенденции социальной жизни периода правления Екатерины II, когда, по утверждению автора, обострился конфликт между центральной властью, желавшей контролировать население путем регистрации, и местной администрацией, которая часто была заинтересована именно в расширении возможностей смены сословий (особенно городских), что позволяло бы ей распоряжаться «человеческими ресурсами» по своему усмотрению.

Перед Екатериной II стояла задача упорядочить сословную структуру государства и навести определенный юридический порядок в процедуре смены сословного статуса. Представители Уложенной комиссии понимали сословия не как статусы, а как форму законодательной и административной практики. Дискуссия в комиссии показала тесную связь между сословностью по рождению и сословием как

предписанными видами деятельности, подтверждая тем самым, что закон не работает в определении прав сословий, что ясную систему выстроить не получается. Вопрос о границах сословий оставался особенно нечетким применительно к разным регионам империи, с их несхожей сословной структурой.

В четвертой («Общины и индивиды: сословное сообщество и его члены») и пятой («Смерть и жизнь сословий в пореформенную эпоху») главах рассмотрено положение социальных групп и понимание сословной принадлежности в XIX в. Если внимательно ознакомиться с приводимыми историком документами, то становится очевидным, что процедура обретения разрешения на вхождение в новое общество — нечто гораздо более сложное, чем получение свободы, то есть права выхода из прежнего социального статуса. Но обеим сторонам — и отпускающей, и принимающей — нужны были гарантии, притом не только финансовые, но и моральные.

Принадлежность к сословию не гарантировала общего внутрисословного равенства, сословия становились все более дифференцированными в экономическом отношении. Иногда новые категории возникали в связи с новыми профессиями и занятиями.

Реформы 1860—1870-х гг., имевшие целью в том числе и сделать прозрачными дотоле скрытые бюрократические и государственные процедуры, должны были устранить ряд противоречий. В реальной же действительности этого, по мнению автора, не произошло, так как сословная структура была слишком глубоко укоренена в традициях и в сознании, при том что само понятие не имело четкого определения. В итоге и после реформ сословия продолжали определять социальный ландшафт империи, несмотря на то что вероятность отмены сословного деления уже не казалась прогрессивным министерским руководителям невозможной. Однако сама постановка такой задачи все же была важным пунктом реформ; ведь и освобождение крестьян принципиально меняло представление о сословиях, предоставляя личную свободу и со временем придав разным группам крестьян единый статус, что в конечном итоге имело самое непосредственное влияние на ход модернизации российского общества.

Смит детально рассматривает новаторский проект Министерства внутренних дел (1896), который планировалось реализовать в сотрудничестве с другими министерствами и с представителями городов. В связи с предложением считать членами городского сообщества всех жителей, независимо от узко понимаемой сословной принадлежности, и ввести всесословную администрацию была предпринята попытка уточнить понимание членства в городском сообществе самими горожанами. Ранее было известно, что закон позволяет определенному числу разных людей регистрироваться в городах в качестве мещан без получения официального разрешения; это создавало явную социальную напряженность, поскольку новая категория состояла в значительной степени из бедняков. Таким образом, бремя налоговых и иных повинностей перекладывалось на платежеспособные купеческое и мещанское сообщества. Министерство предложило именовать этих лиц «рабочим людом» и возложить на них обязанность платить налоги индивидуально.

Ответы из регионов на вопросы министерства показали, что в маленьких городах необходимости в сословной дифференциации попросту не было. Представители других городов выступали за то, чтобы сословие определялось состоятельностью своих членов — то есть имущественным цензом, некоторые предлагали разделить горожан на владельцев имущества и работающих по найму. Но наиболее радикальная идея исходила от Министерства финансов, предложившего, чтобы внесословная администрация городов стала первым шагом на пути к полной отмене городских сословий.

Шестая глава («Эволюция коллективной ответственности») посвящена важному аспекту социальных преобразований периода модернизации, а именно изменениям в трактовке отношений между индивидами и сословием как социальным организмом, когда сословие брало на себя ответственность за благосостояние своих членов. Важную роль играла также система внутрисословных репутаций. Последняя, на наш взгляд, — самая архаичная примета сословия, но именно она наделяла его невероятной устойчивостью даже на рубеже XIX—XX вв., несмотря на упорное стремление «передовых кругов» отказаться от устаревших и изживших себя институтов и практик традиционного уклада.

Сообщества (или общества, как они назывались) по-прежнему определяли, кого принимать в свои ряды, а кого отпускать. И хотя со временем такое разрешение становилось лишь формальностью, они не отказывались от традиционной функции, оставляя за собой право решающего голоса. И именно поэтому сословия на рубеже веков — все еще реальные институты с реальным значением (правда, это значение изменилось в сравнении с более ранним периодом). Из новых тенденций этого времени исследовательница выделяет одну: общества стали больше думать об обязанностях в отношении своих членов, рассматривая сословную принадлежность как фундаментальную.

Великие реформы подтвердили, что принадлежность к сословию означает равновесие между обязанностями и возможностями, но общества при этом продолжали контролировать своих членов. В пореформенный период борьба между центром и местной властью выражалась в том, что центр был более озабочен формулированием признаков и функций сословности как таковой, в то время как обострившиеся насущные проблемы размывания границ сословий оказались в сфере компетенции местных органов.

Последняя, седьмая глава («Сословие в контексте. Биографии») состоит из кратких биографических очерков-иллюстраций, призванных подтвердить значимость сословной принадлежности для индивидуальной идентичности российских подданных — на примере нескольких родов (Чеховых, детей и потомков поляка Венедикта Малашева и крестьянина Николая Чукмалдина, ставшего «миллионщиком»), а также судеб крестьян Константина Клепикова и Ивана Столярова, сменивших сословный статус в связи с получением образования. Отвечая на вопрос о том, какова же была роль сословия в российском обществе, Смит справедливо утверждает, что если для администрации фиксация сословной принадлежности была чрезвычайно важна, то для членов сословий ее значение было не столь однозначным. Для многих переход в другую группу мог стать в равной степени фактором как жизненного успеха, так и краха. Но, согласно запискам и мемуарам современников, иногда желаемый сословный статус не играл никакой роли: как только он был обретен, о нем забывали. Иначе говоря, сословие не значило ничего и одновременно значило все — так утверждает исследовательница.

Откликаясь на полемику об интерпретации термина «сословие», Смит подчеркивает, что, несмотря на вариации значений, правомерность использования именно этой категории для описания социально-исторической реальности Российской империи обусловлена рядом ее основополагающих функций: именно сословной принадлежностью определялись налоговая политика государства, обязательства сообществ и индивидов, виды юридически разрешенной деятельности, а также экономические и образовательные возможности людей. Сословие определяло не только формальный статус, но и способы взаимодействия с местным сообществом и с властью в городе, деревне, провинции. При этом оно могло пониматься, как подчеркивает автор, по-разному в законодательстве, традициях и в социальной ментальности.

Заключения Смит расходятся с выводами Б.Н. Миронова. Российский историк утверждает, что процесс формирования социальных институтов Российской империи XIX в. и сословий как органических элементов ее общественной структуры осуществлялся действиями «сверху», усилиями государственной и интеллектуальной элиты⁴. Согласно же Смит, сословия в России, являясь важнейшей категорией самоидентификации индивидов, были органичны, имели потенциал развития и позволяли эффективно функционировать локальным сообществам/корпорациям разного уровня — даже тогда, когда усилия правящей элиты в последней трети XIX столетия были направлены на ликвидацию сословий как изжившего себя общественного института. Автор монографии убедительно показывает, что, несмотря на несоответствие сословной структуры, идентичности и иерархии статусов и привилегий вызовам модернизации, сословное сознание продолжало играть важную роль маркера идентичности и в начале XX в., определяя способы взаимодействия всех участников социального процесса: центральной власти и местных органов, локальных сообществ и индивидов. Конфликт интересов государственных и региональных властей предоставлял индивидам и группам некоторые возможности реализации собственных целей. В свою очередь, вмешательство верховных властей в конфликт между местными властями и индивидами зачастую позволяло первым расширять возможности управления населением. Это придавало социальной системе империи устойчивость и стабильность на протяжении трех столетий.

4 См.: *Миронов Б.Н. Социальная история России. Т. 1. С. 76—157.*

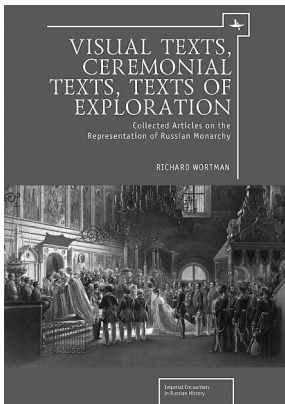
Светлана Лиманова

От истории идей к интерпретации образов:

ВИЗУАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ПРАКТИКЕ Р. УОРТМАНА

Wortman R. *Visual Texts, Ceremonial Texts, Texts of Exploration: Collected Articles on the Representation of Russian Monarchy*

Boston: Academic Studies Press, 2014. — XXIV, 442 p.



В 2014 г. вышел в свет новый сборник избранных статей американского историка Ричарда Уортмана, исследователя общественно-правового сознания и способов репрезентации власти в Российской империи¹. Если предыдущий сборник — «Российская монархия: репрезентация и правление»² — был посвящен роли символического в политической культуре, то в рецензируемом издании — «Визуальные тексты, церемониальные тексты, записки о путешествиях: Избранные статьи по репрезентации российской монархии» — главным объединяющим фактором послужила *визуальная интерпретация имперских практик*, будь то церемониальное шествие, коронационный альбом, географическое описание или памятник архитектуры.

Заявленной теме соответствует и структура книги — сразу за оглавлением следует подробный список иллюстраций, представляющих собой не просто наглядное пособие, а самостоятельный и весьма разнообразный источник для изучения. Еще одним критерием отбора материалов можно назвать их связь со славяно-балтийским отделом Нью-Йоркской публичной библиотеки, сотрудником которого адресованы теплые слова посвящения.

Сборник разделен на пять тематических блоков, каждый из которых раскрывает новую грань визуальной истории и содержит такие ключевые понятия, как «церемония», «искусство», «пространство», «идея», «метод». Некоторые из представленных материалов были напечатаны ранее в русских изданиях или на русском языке. Тем, кто внимательно следит за публикациями автора, будет интересно познакомиться со статьями последних пяти лет — результатами выступлений на различных конференциях и семинарах. В целом издание представляет собой увлека-

- 1 См.: Wortman R.S. *The Crisis of Russian Populism*. Cambridge, 1967; *Idem*. *The Development of a Russian Legal Consciousness*. Chicago, 1976 (рус. пер.: Уортман Р.С. *Власти и судии: Развитие правового сознания в императорской России*. М., 2004); *Idem*. *Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy*. 2 vols. Princeton, 1995–2000 (рус. пер.: Уортман Р.С. *Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии: В 2 т.* М., 2004).
- 2 См.: Wortman R.S. *Russian Monarchy: Representation and Rule*. Boston, 2013.

тельный рассказ о более чем пятидесятилетнем научно-исследовательском пути Уортмана и его недавних открытиях.

Основу сборника составили три блока, посвященные церемониальным практикам и имперскому мифотворчеству. Первый из них рассказывает о церемониях и церемониальных текстах, позволяя читателям ближе познакомиться с творческой лабораторией Уортмана и порассуждать о ее эффективности. Приведенные в этом блоке исследования в том или ином виде нашли дальнейшее воплощение в более поздней книге «Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии»³. В первой статье, написанной в соавторстве с Э. Казинцем, заведующим славяно-балтийским отделом Нью-Йоркской публичной библиотеки, предложена классификация хранящихся в этом отделе и в других собраниях США ценнейших источников по истории российской монархии — коронационных альбомов⁴. Практика издания подобных альбомов была введена при Петре I в ходе празднования коронации его супруги Екатерины I и сохранялась на всем протяжении XVIII—XIX вв. От правления к правлению, повторяя общий замысел запечатления самого главного торжества, альбомы претерпевали значительные изменения, как во внешнем виде, так и в содержании. Подробно проанализировав материалы коронационных альбомов и уделив особое внимание визуальным компонентам, Уортман выдвинул гипотезу о намеренном создании господствующего образа монархии, характерного для каждого правителя, на основании чего и появилась впоследствии концепция «сценариев власти».

Вторая статья⁵ продолжает идею мифологической инсценировки, основу которой, по мнению Уортмана, составлял *мотив завоевания* (the conquest motif). Его проявления рассмотрены на примере трех церемоний — имперской коронации, триумфального въезда и высочайшего путешествия. Каждое появление монарха в таких «инсценировках» сравнимо с появлением сверхъестественного, божественного существа. Установленная дистанция между правителем и подданными — залог надынституционального способа правления, когда монарх, и только монарх, является высшей инстанцией и судьей для всех своих подданных. Здесь же раскрываются понятия *пространственного мифа* (myth of extent) и *этнографического мифа* (термин В.М. Живова), сопряженные с расширением границ Российской империи и включением в ее состав новых народностей. Подробно участие «экзотических народов» в имперских торжествах на примере все той же коронации Уортман освещает в третьей статье⁶. Он выделяет существование нескольких последовательно сменяющих друг друга моделей национальной империи и пытается вскрыть глубинные противоречия, присущие каждой из них. Четвертая статья — о закономерной эволюции церемониальных практик, приведшей в начале XX в. к поискам новых путей репрезентации самодержавия⁷. Мифотворчество сохраняется, но уже не имеет столь четких задач и границ, как раньше, что превращает его в настоящую фантазмагорию, за которой теряется истинное лицо монарха.

3 См.: Уортман П.С. Сценарии власти.

4 См.: Kasinec E., Wortman R. Imperial Russian Coronation Albums // Вспомогательные исторические дисциплины. СПб., 1994. Т. 25. С. 138—151.

5 См.: Wortman R.S. Ceremony and Empire in the Evolution of Russian Monarchy // Казань, Москва, Петербург: Российская империя взглядом из разных углов: Сб. ст. М., 1997. С. 24—39.

6 См. русский вариант: Уортман П. Символы империи: экзотические народы в церемонии коронации российских императоров // Новая имперская история постсоветского пространства: Сб. статей / Под ред. И.В. Герасимова и др. Казань, 2004. С. 409—426.

7 См. также: Уортман П.С. Николай II и популяризация его образа в 1913 году // НЛО. 1999. № 38. С. 78—104.

Из краткого обзора первых четырех статей видно, что коронация постоянно привлекает внимание автора в разных контекстах, и это вполне объяснимо, ведь именно коронование являлось главной церемонией каждого правления. Коронационные альбомы, в свою очередь, рассматриваются как «программы» каждого нового царствования, способствующие пониманию *императорского мифа* (imperial myth). Обращение к коронационным альбомам как уникальным источникам по истории России было новацией Уортмана, равно как и изучение репрезентации власти российской монархии в качестве комплексной проблемы⁸. При этом введение российских коронационных альбомов в научный оборот было сопряжено для американского исследователя с некоторого рода трудностями. С середины 1970-х до конца 1980-х гг. (в тот период, когда он и обратился к теме репрезентации) Уортман не получал разрешения на въезд в Советский Союз, а потому начал исследовательскую работу с экземпляров, находящихся в зарубежных библиотеках. Результатом стал всесторонний анализ различных характеристик, включая размер альбомов, эволюцию в изображении главных действующих лиц и атрибутов власти, изменения в описании церемониалов и т.д. Однако не учтенной при этом осталась «черновая» работа по подготовке изданий, более подробное изучение которой позволило бы говорить не только о видимой, итоговой репрезентации, но и о том, что и каким образом изначально собирались репрезентировать. Позднейшие исследования отдельных экземпляров коронационных альбомов, хранящихся в российских архивах, представили более детальную картину их создания⁹. Как оказалось, технические или материальные трудности, возникавшие в процессе изготовления царского заказа, могли заметно изменить конечный результат¹⁰. Кроме того, была выявлена попытка издавать по аналогии с коронационными еще и погребальные альбомы¹¹, а у исследователей появились расхождения в классификации коронационных альбомов¹².

Это лишь один пример того, какие последствия имела работа Уортмана для российской историографии. Не имея возможности подробно рассматривать каждое из

-
- 8 В Советском Союзе эта тема не могла быть идеологически востребованной, хотя отдельные специалисты интересовались разными аспектами предыстории торжеств. См., например: *Немиро О.В.* Праздничный город. Искусство оформления праздников. История и современность. Л., 1987; *Он же.* Из истории организации и декорирования крупнейших торжеств Дома Романовых: 1896 и 1913 гг. // Исторический опыт русского народа и современность: Межвузовская научная программа. Кн. 2. СПб., 1995. С. 252—260; *Он же.* Из истории празднования 100-летия и 200-летия основания Санкт-Петербурга // Петербургские чтения — 96. СПб., 1996. С. 429—433; *Полищук Н.С.* У истоков советских праздников // Советская этнография. 1987. № 6. С. 3—15.
 - 9 См., например: *Маркова Н.К.* Об истории создания коронационного альбома императрицы Елизаветы Петровны // Третьяковская галерея. 2011. № 1 (30). С. 5—21; *Тункина И.В.* Уникальный памятник русской истории — Коронационный альбом императрицы Елизаветы Петровны // Вестник истории, литературы, искусства. М., 2005. Т. 1. С. 434—446.
 - 10 См.: *Слюнькова И.Н.* Император Имярек в русском лубке и неудача с коронационным альбомом Николая II // Слюнькова И.Н. Проекты оформления коронационных торжеств в России XIX в. М., 2013. С. 347—366.
 - 11 Подробнее см.: *Алексеева М.А.* Изображения коронационных и погребальных церемоний XVIII в. Изданные и неизданные альбомы // Вспомогательные исторические дисциплины. СПб., 1998. Т. 26. С. 232—240.
 - 12 См.: *Немишлова А.Е.* Русские коронационные альбомы: к постановке проблемы исследования // Книговедение: Новые имена. М., 1999; *Стецкевич Е.С.* Первый императорский коронационный альбом в России: к истории создания // Академия наук в контексте историко-научных исследований в XVIII — первой половине XX в. СПб., 2016. С. 56—71.

них, все же стоит взять на заметку два принципиально важных момента. Первый, несомненно положительный, — активное обращение российских ученых к архивным материалам в ответ на предложенную Уортманом концепцию «сценариев власти». Второй, более спорный, на который неоднократно указывали рецензенты, — появление готового сценария как бы ниоткуда: «По книге выходит, что на каждом из поворотов своего правления самодержец является, подобно Афине, во всеоружии уже готового сценария...»¹³ Последнее как раз напрямую связано с необходимостью более основательного изучения организационно-подготовительного этапа проводимых церемоний и предьстории появления источников репрезентации. На ту же мысль наводит многозначность слова «сценарий»¹⁴. Оно может подразумевать как конечный результат, так и первоначальный замысел. В идеале они должны совпадать, но на практике так происходит далеко не всегда. Сам Уортман определяет этот термин как «описание индивидуальных способов презентации императорского мифа»¹⁵.

Второй блок статей во многом перекликается с первым. Развивая концепцию «сценариев» и подкрепляя ее понятием *эффекта дублирования*, описанным Луи Мареном, Уортман убедительно показывает, как представления того или иного правителя о власти воплощались в произведениях искусства и архитектуры: от музыкальных новаций Екатерины II, заключающихся в прививании этикета через музыку, до «национальной оперы» Николая I; от патриотичного возвеличивания Отечественной войны 1812 г. до лубков, стремящихся придать победам Александра I и последующим государственным преобразованиям Александра II «народный» характер¹⁶. Тема «народного» применительно к российской имперской действительности неоднократно и подробно анализируется автором. И там, где сама собой напрашивается цитата из К.М. Фоханова: «Ах, экономна мудрость бытия: все новое в ней шьется из старья», — Уортман вводит понятие «изобретение традиции»¹⁷. По его мнению, подобное «изобретение» было присуще в том числе и архитектурным экспериментам времен Николая I, когда поиски «национального стиля» привели к появлению «классического сочетания» византийских образцов с чисто русскими элементами декора, получившего высочайшее одобрение и наименование «стиль Тона». Примечательно, что Александр III, внук Николая I, еще более тяготевавший ко всему «народному», не удовлетворился решением деда. И хотя официально русско-византийский стиль никто не отменял, продолжением поисков стало «изобретение» «русского стиля», образцом которому послужила ярославская и ростово-суздальская церковная архитектура XVII в. Уортман прово-

-
- 13 Долбилов М.Д. Рец. на кн.: Уортман Р.С. Сценарии власти. Принстон, Нью-Джерси, 1995. Т. 1 // Отечественная история. 1998. № 6. С. 180. См. также: Семенов А. «Заметки на полях» книги Р. Уортмана «Сценарии власти: Миф и церемония в истории российской монархии» // Ab Imperio. 2000. № 2. С. 293—298; Андреев Д.А. Размышления американского историка о «Сценариях власти» в царской России // Вопросы истории. 2003. № 10. С. 96—116; Кныжова З.З. Интерпретационные возможности и недостатки «метода Уортмана» при исследовании презентационных практик российской политической власти // Известия Саратовского университета. 2009. Т. 9. Сер. «Социология. Политология». Вып. 4. С. 122—125.
- 14 Более подробно о терминологической и других дискуссиях см.: «Как сделана история»: (Обсуждение книги Р. Уортмана «Сценарии власти. Мифы и церемонии российской монархии»). Т. 1. М., 2002) // НЛО. 2002. № 56. С. 42—66.
- 15 Уортман Р.С. Сценарии власти. Т. 1. С. 22.
- 16 См. русский вариант статьи: Уортман Р.С. «Глас народа»: визуальная репрезентация российской монархии в эпоху эмансипации // Петр Андреевич Зайончковский: Сб. статей и воспоминаний к столетию историка. М., 2008. С. 429—450.
- 17 Подробнее см.: Уортман Р. Изобретение традиции в репрезентации Российской монархии // НЛО. 2002. № 4. С. 32—42.

дит интересное сравнение с аналогичными попытками британских колониальных властей создать национальный «стиль возрождения» в Индии во второй половине XIX в., однако признает, что российский вариант был гораздо лучше понят и принят. Идею Александра III по строительству красочных, будто сказочных, но в то же время удобных и вместительных церквей охотно поддержали и дворяне, и купечество. Уортман отмечает, что появление подобных церквей было подобно актам «визуальной провокации», бросающей вызов порядку и сдержанности неоклассицизма и даже последующему эклектизму (с. 218).

В этом же разделе затронут перспективный для изучения сюжет о визуализации исторической памяти. Уортман обращается к «визуальному патриотизму» войны 1812 г. и его интерпретациям в свете последующих военных неудач. Попытки выстраивания «визуальной истории» прослеживаются и на примере проекта А.Н. Оленина, осуществленного Ф.Г. Солнцевым при непосредственной поддержке императора Николая I и заключавшегося в издании богато иллюстрированного научного труда «Древности Российского государства». Завершается раздел статьей о Петербурге в жизни П.И. Чайковского. В ней американскому исследователю удается мастерски показать взаимовлияние и взаимопроникновение личных переживаний, творческих поисков и ощущения городской среды, пространства власти. Улавливая дух имперского Петербурга, Чайковский стремится в своей музыке передать уникальное триединство: мистическую атмосферу, могущество и вездесущую печаль.

Для работ Уортмана характерно не просто изучение отдельных произведений искусства и архитектуры с точки зрения их визуального образа, искусствоведческой ценности или исторической взаимосвязанности, он рассматривает их как системы знаков и как объекты, смыслы которых можно считать, получая тем самым представления об эпохе, ее правителях и специфических чертах. Эти герменевтические приемы автор применяет и к другим источникам. В блоке статей про «колумбов русских»¹⁸ он не только описывает судьбы известных русских путешественников и их открытия (Г.И. Шелихов, Г.А. Сарычев, И.Ф. Крузенштерн, В.М. Головин, Г.И. Невельской и др.), но ставит более сложную задачу — проследить взаимовлияние их личных стремлений, исканий, представлений и интересов государства. Выделяя на основании записок путешественников несколько этапов географических исследований, Уортман подробно останавливается на *визуальном завоевании России* (термин Дж. Крейкрафта), напрямую связанном с началом формирования «территориального самосознания» (термин У. Сандерленда) у русских, в основном — у русской элиты. И в конечном счете приходит к неутешительному выводу о подмене «исследовательского духа» неприкрытым стремлением к завоеваниям (с. 255—256, 294). Стимулом к написанию этих статей послужило проведение в 2003 г. в Нью-Йоркской публичной библиотеке выставки «Россия входит в мир, 1453—1825 гг.» («Russia Engages the World, 1453—1825»).

Широкая эрудиция Уортмана позволяет ему сравнивать явления из разных стран и эпох с российскими, проводя увлекательные параллели и вводя историю Российской империи в мировой контекст. Так, поиск истоков культурного символизма он ведет в Риме и Византии, в то время как в политической символике видит нечто общее с мифологией полинезийских царей. Однако сравнения с Европой зачастую сводятся лишь к тем заимствованиям, которые Россия совершила у западных стран и по-своему адаптировала к своим условиям, где-то более, где-то менее успешно. Уортман выделяет один, преимущественно «внешний», аспект того или иного

18 См. русский вариант одной из них: Уортман Р.С. Записки о путешествиях и европейская идентичность России // Российская империя: стратегии стабилизации и опыты обновления. Воронеж, 2004. С. 33—60.

явления, меньше внимания уделяя «внутренним» импульсам или противоречиям. В своем желании разработать новый архитектурный «национальный» стиль Николай I, по Уортману, руководствовался исключительно представлениями просвещенного европейского монарха. В статье не упомянуто, что вплоть до 1830-х гг. господствовал «казенный» классицизм, который настолько приелся обывателям, что долгое время являлся предметом постоянных насмешек. Очевидно, заметив подобные тенденции, Николай I, во всем любивший порядок и не желавший проявления каких бы то ни было вольностей, решил взять разработку «нового стиля» под свой контроль. Этому способствовало и то, что строительство центральной части Петербурга было практически завершено и новые проекты не могли кардинально изменить уже сформировавшийся облик имперской столицы. К тому же большая их часть была реализована в Москве (реконструкция Теремного дворца, строительство Большого Кремлевского дворца и т.д.). Другой пример: возникший интерес к географическим открытиям Уортман объясняет стремлением России вступить в ряды просвещенных стран Западной Европы. Якобы только с принятием Петром I титула императора в 1721 г. начался выход России из небытия, приведший к развитию просвещения, наук и т.д., и, в частности, появилась возможность участвовать в европейском проекте географических открытий. Стоит ли в данном случае игнорировать иные, «внутренние» причины, которыми руководствовались те же купцы Строгановы, отправившие Ермака «завоевывать Сибирь» еще в 80-е гг. XVI в.?

В четвертом блоке («Интеллектуальная история») представлены более ранние исследования Уортмана по истории общественно-политической мысли и психоистории, предшествовавшие визуальному повороту. Однако при желании визуальное можно найти и здесь — в виде «картин мира» или личных впечатлений, переданных при помощи письменных источников: автор интерпретирует образы, созданные силой творческой мысли. В первой статье прослежена эволюция мировоззрения либеральных деятелей славянофильства (А.И. Кошелева, Ю.Ф. Самарина, В.А. Черкасского), стремившихся принять активное участие в деле «великих реформ», но запутавшихся в собственных противоречиях и не сумевших составить единую группу, которая могла бы отстаивать общие интересы. Их переписка — яркое свидетельство того, насколько стремления могут не соответствовать результатам и как тяжело разочаровываться в идеалах юности¹⁹. На стыке понимания европейских и русских ценностей находится другая примечательная статья Уортмана — об игнорировании правовых интересов личности в Российской империи. Изучив программы политических партий и движений рубежа XIX—XX вв., автор приходит к выводу, что европейское «естественное право» собственности не находит выражения в российских политических документах, даже в тех, где предлагалось повести Россию по кардинально новому пути исторического развития. На вопрос, возможно ли обеспечить гражданские права человека без опоры на предвзвешенную традицию уважения права на собственность, Уортман дает, скорее, отрицательный ответ (с. 352). В еще одной статье из этого блока — о восприятии проблемы бедности Л.Н. Толстым — рассматривается выражение личностного кризиса через лите-

19 Взгляды американского историка на философскую проблему поиска «европейской идентичности» интересно сравнить с работами российского ученого Н.И. Цимбаева, на протяжении многих десятилетий занимающегося разработкой темы славянофильства и западничества. См.: *Цимбаев Н.И. Славянофилы и западники // Страницы минувшего: Сборник. М., 1991. С. 323—373; Он же. Юрий Самарин — человек реформы // Исторические записки. М., 2012. Вып. 14 (132). С. 88—110; Он же. Славянофильство: Из истории русской общественно-политической мысли XIX века. 2-е изд. М., 2013 (1-е изд. — 1986), и др.*

ратурное произведение. В описываемых «сценах жизни» бедняков из трактата Толстого «Что же нам нужно делать?» — не только отражение печальной действительности, на которую большинство богачей попросту закрывает глаза, но и самоанализ графа, его собственный экзистенциальный и эмоциональный опыт. Толстой убеждается, что его неоднократные попытки изменить ситуацию, оказывая помощь беднякам, не дают положительных результатов, а лишь встречают непонимание и даже неприятие. Подобный отрицательный результат, в совокупности с чувством беспомощности, имеющим гендерный подтекст (Уортман считает, что именно женщины как незащищенные жертвы общества пробудили в Толстом чувства беспомощности и одновременно преклонения, так как в силе женской любви граф ищет залог спасения мира), приводит к рассуждениям о нравственной болезни общества и призывам начать менять мир с себя.

В этих последних статьях Уортман предстает тонким психологом, умеющим на основании источников разматывать нити человеческих мыслей и судеб. И это очень важно для понимания логики его исследований. Именно с размышлений о преобразовании идей в системные представления о мире началась профессиональная карьера американского историка. Затем появился интерес к способам, с помощью которых эти идеи понимались и могли оказывать воздействие. Подробности творческого пути Уортмана представлены в заключительном, пятом блоке статей: как и когда произошло обращение исследователя к проблемам русистики, кем были его первые учителя (Э. Фокс, Л. Хеймсон, П.А. Зайончковский), каким образом и в связи с чем трансформировались научные интересы, какие методологические приемы применялись на разных этапах, откуда появилась идея «сценариев власти» и многое другое.

Знакомство с биографией Уортмана необходимо для понимания его исторических концепций, их возможностей и пределов применимости. «Нет сомнения, — писал корреспондент «Северной пчелы» в канун коронации Александра II, — что иностранные редакторы опишут искусно и красноречиво видимые ими [иностранными корреспондентами. — С.Л.] торжества, но поймут ли они их значение? постигнут ли народное чувство? В этом дозволено усомниться»²⁰. На мой взгляд, как раз то, что Уортман начал свое исследование репрезентации власти в Российской империи не «с нуля», а после многолетнего и добросовестного изучения истории правового сознания и общественно-политической мысли, позволило ему во многом преуспеть на этом поприще. Он оперирует такими понятиями, как идея «русскости» («Russianness»), «восторг подданства» («rapture of submission»), «торжественность» («solemn festivity»), в их исконном значении, учитывая национальную специфику. Но в то же время ученый ставит себе определенные рамки, за которые в силу разных причин старается не выходить. Как уже было отмечено, он практически не затрагивает трудный и полный противоречий подготовительный этап имперских торжеств или появления памятников искусства и архитектуры, принимая за аксиому успешную репрезентацию (что правитель задумал — то и получил), а также осознанно ограничивает изучение влияния «театра власти» на разные слои населения, подразумевая, что «политические спектакли» устраивались силами элит и для элит, оставаясь недоступными пониманию простого народа²¹. С этим

20 Т. Письмо из Москвы // Северная пчела. 1856. № 196. С. 996.

21 «Я по-прежнему убежден, — отвечает Уортман оппонентам, — что содержание и образность сценариев, их драматичность и жанры были значимы лишь для элиты. <...> Содержание сценариев было недоступно для низших слоев населения, которые поражало любое проявление великолепия, роскоши и помпезности» («Как сделана история». С. 60).

трудно согласиться, особенно при изучении репрезентации власти во второй половине XIX — начале XX в. Да и в работах Уортмана, помимо его воли, хорошо заметна широта воздействия имперских «спектаклей» в масштабах всей страны.

Более подробно в последнем разделе Уортман останавливается на знакомстве с традициями Московско-тартуской семиотической школы, влияние которой на большинство его работ позднего периода очевидно. Отдельные статьи посвящены впечатлениям от лекций В. Набокова в Корнельском университете²²; памяти М. Раева (1923—2008), коллеги и старшего товарища Уортмана²³, и воспоминаниям о научном руководителе — Л. Хеймсоне (1927—2010). Раев и Хеймсон были выдающимися учеными, разработавшими в середине XX в. новые направления в изучении русистики, такие как история российской бюрократии, психология российского дворянства, интеллектуальная и социальная история, история культуры послереволюционной эмиграции. Как отмечает Уортман, это были трудолюбивые, ответственные, творческие ученые, и именно они заложили основы вестернизированного подхода к изучению постпетровской России.

Уортман многое взял и от своих учителей, и из идей Московско-тартуской школы, что подтверждается исследованиями разных лет, представленными в сборнике. При этом ученый пошел по собственному пути и выстроил концепцию понимания истории России сквозь призму мифотворчества, основывая такой подход на том, что репрезентация монарха в российских условиях превалировала над силой законотворчества и представляла «героизацию высшего порядка» (с. XVII). Каждая его статья — это мини-исследование, нацеленное на подтверждение общей концепции, и в то же время иллюстрация того или иного подхода, способствующего раскрытию исторических реалий через образы, тексты, церемонии и прочие нарративы в самом широком смысле этого слова. Что же касается визуальных источников, составивших основу труда Уортмана по истории репрезентации, то они уже многие годы являются неотъемлемой частью постижения имперских практик, а их обилие остается залогом появления новых исследовательских проектов и методологических разработок.

22 См. русский вариант: Уортман Р.С. Воспоминание о Владимире Набокове // Звезда. 1999. № 4. С. 156—157.

23 См. также: Зейде А., Уортман Р., Рэймер С. и др. Марк Раев. 1923—2008. К годовщине смерти // Новый журнал: Литературно-художественный журнал русского Зарубежья. Нью-Йорк, 2009. № 256. С. 437—454.

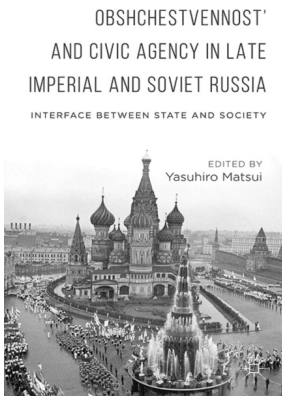
Кирилл Соловьев

От общественной самодеятельности к советской общественности

**Obshchestvennost' and Civic Agency in Late Imperial and Soviet
Russia: Interface between State and Society** / Ed. Y. Matsui

Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2015. — XII, 234 p.

В отечественных историографических обзорах зарубежная историография обычно выделяется как нечто особое, непохожее на работы российских ученых. В советские годы это было совершенно оправданно. Историки в социалистическом лагере и за его пределами были обречены на качественные отличия. Другое дело — современная ситуация. В настоящее время границы между национальными историографическими школами весьма условные, а иногда их и вовсе нет. Рецензируемая коллективная монография — тому пример. Она могла быть написана и российскими авторами, на которых преимущественно ссылаются японские коллеги — авторы этого издания.



В центре книги — понятие «общественность», за которым скрывается уникальное российское явление — наиболее активная часть общества, служившая своеобразным медиатором между властью и большинством населения. Корни этого феномена уходят, по крайней мере, в первую половину XIX в. К концу же этого столетия российская общественность столь упрочила свое положение, что можно ставить вопрос о наличии гражданского общества в России (с. 6—8). Оно старалось транслировать интересы рабочих в 1904—1905 гг. (с. 34—60), оно громко заявило о себе с началом Первой мировой войны (с. 61—81). Впрочем, общественность давала о себе знать и после 1917 г. Сам термин «советская общественность» регулярно «мелькал» в офици-

альном делопроизводстве. Некоторые формы общественной самодеятельности (жилищные кооперативы, добровольная народная дружина, товарищеские суды) создавали иллюзию прямого участия населения в управлении страной. Авторы монографии подводят читателей к мысли: Российская империя, а впоследствии Советский Союз — более сложные образования, чем это может на первый взгляд показаться. Японские слависты не боятся в чем-то даже эпатажных заявлений, пытаются придать новый смысл привычным понятиям. Так, по словам составителя сборника Я. Матсуи, «сталинизм обычно характеризуется как репрессивный режим; но он вместе с тем способствовал росту субъектности граждан, благоприятствовал их инициативе, самодеятельности». Власть, конечно же, рассчитывала направить эту энергию в нужную для себя сторону — в сторону формирования советского проекта (с. 124). Таким образом, по мнению авторов, в царской России складывались элементы гражданского общества, а в советской России общественная жизнь не сводилась исключительно к партийной.

Общий вывод авторов — «не надо упрощать» — не вызывает сомнений. Точно так же абсолютно оправданно обращение к проблематике истории понятий. Кате-

гории, бытовавшие в XIX и даже XX в., требуют разъяснений, а порой даже специальных исследований. В особенности это относится к термину «общественность», часто используемому в публицистике и мемуарной литературе.

Изучение истории этого понятия предполагает раскрытие целого комплекса проблем. Что подразумевали под «общественностью» в XIX—XX вв.? Как соотносится «общественность» с другими понятиями: например, «общество» и «интеллигенция» (пары абзацев из Введения, написанного Я. Мацуи, для этого явно недостаточно)? Стоит ли за «общественностью» определенная социальная группа? Можно ли определить ее социологические параметры (происхождение, образование, профессиональную принадлежность и т.д.)? Эволюционировала ли общественность в имперский период российской истории? Произошли ли качественные изменения в 1905—1906 гг.? Какую роль сыграла общественность в Первую русскую революцию, в событиях 1915—1917 гг.? Как определить степень развития общественности в начале XX в.? Можно ли говорить о гражданском обществе в России этого периода? Наконец, правомерно ли сравнивать общественность начала XX в. и советскую общественность? Что представляла собой последняя? Кто и как ее сконструировал?

Видимо, вокруг этих вопросов и должна была быть выстроена монография. Но вышло иначе. Вероятно, причина этого — несоответствие жанра книги ее содержанию. По форме она вполне соответствует коллективной монографии — разбита на главы, расставленные в хронологическом порядке с учетом необходимости проследить развитие «общественности» за сто лет; они предваряются Введением, в котором обозначены общие подходы исследователей; составитель подводит итоги в Заключение. И все же речь идет о сборнике статей, связанных лишь тем, что все авторы упоминают об общественности — в самых разных контекстах, далеко не всегда наиболее показательных. Не вполне ясно, почему книгу открывает «случай» критика и музыковед Владимира Стасова. Что может дать его фигура для понимания общественности конца XIX столетия? В главе, посвященной рабочему движению, общественность скорее оттеняет особенности последнего, нежели выступает самостоятельным героем повествования. Авторы оставляют без внимания общественность в 1906—1914 гг. — пожалуй, самый значимый для нее период, когда она приобрела принципиально новое качество. Без этой «пропущенной» главы состояние общественности в годы Первой мировой войны не будет ясным для читателя. В статье, посвященной общественности в 1914—1917 гг., речь идет преимущественно о партии кадетов, что довольно странно, если иметь в виду растущее влияние непартийных общественных организаций, например Всероссийского земского союза или Всероссийского союза городов.

Если бы составитель ограничился этими главами, он мог бы с легкостью заметить понятие «общественность» уже давно привычным для историографии понятием «интеллигенция». Это объяснило бы и выбор сюжетов. В первой главе описывается судьба видного представителя русской интеллигенции (В.В. Стасова). Автор (Ю. Тацуми) проводит мысль, что российская общественность сформировалась не в результате Великих реформ, а за некоторое время до их начала. В условиях фактического отсутствия публичной политики общественная дискуссия приобретала особые формы. Так, дискутировались вопросы не государственного строительства, а культуры (например, музыки или литературы), что, по мнению исследователя, и подлежит специальному изучению. Во второй главе (автор — Ё. Цучия) характеризуется роль интеллигенции в рабочем движении (которое по умолчанию полагается ключевой силой в событиях Первой русской революции). До 1904 г. рабочие не оказывали существенного влияния на общественное мнение. По мысли автора, ситуация кардинально изменилась в 1904—1905 гг. К сожалению,

Цучия лишь декларирует появление новых форм коммуникаций между рабочими и интеллигенцией, специально их не исследуя (речь идет, прежде всего, об участии некоторых рабочих организаций в Союзе союзов). Автор ограничивается перечислением общеизвестных фактов, свидетельствующих об активизации земского движения, эскалации политического кризиса после 9 января 1905 г., формировании и упрочении позиций Союза союзов. В третьей главе (автор — Ё. Икеда) говорится о кадетах, представителях ведущей партии русской интеллигенции. Примечательно, что Икеда, вопреки изначальным посылкам соавторов, полагает, что общественность — это сконструированная данность, существовавшая лишь в воображении либералов. Столь смелая точка зрения существенно расходится с последними достижениями историографии: современные исследователи предприняли ряд весьма успешных попыток определить социальные параметры такого явления, как российское общество второй половины XIX — начала XX вв., приводя, помимо всего прочего, и количественные показатели¹. О них можно до бесконечности спорить. Б.Н. Миронов пишет о 16% населения страны в начале XX в.; Л. Хефнер — о 2—3% в тот же период². В данном случае многое зависит от методики подсчета и определения социальных параметров общества. Но в любом случае они есть. Общество (или же общественность — для XIX в. эти понятия синонимичны) — это активная часть образованного меньшинства: его представители входили в добровольные ассоциации, посещали кружки, салоны, читали «толстые журналы», а некоторые и писали статьи для них, таким образом формируя общественное мнение. Это общество постепенно самоорганизовывалось, что сближало его с «эталонным» гражданским обществом³. Некоторые авторы утверждают, что в России к началу XX в. сложилось гражданское общество, но этот вывод кажется чересчур оптимистичным. Все же в России и после 1906 г. не было правового равенства, сохранялись сословные рамки, существовала дискриминация по национальному и конфессиональному признакам. Наконец, численность общества была далека от 100%. Однако, ставя под сомнение наличие гражданского общества в России того времени, безусловно, можно говорить о его элементах, ростках, очень заметных на русской почве. Они не сводятся к партийным организациям, влияние которых на Россию в межреволюционный период было сравнительно небольшим. Икеда же, будучи последовательным в своем методологическом выборе, изучает общественность в тесной связи с существовавшими тогда партийными объединениями, практически игнорируя иные формы самоорганизации населения.

Употребление слова «общественность» становится понятным после знакомства со второй частью книги. Этот термин позволил авторам связать имперский период со советским. Действительно, понятие продолжило свое существование и после при-

-
- 1 См.: *Туманова А.С.* Общественные организации и русская публика в начале XX века. М., 2008. С. 7, 26; *Она же.* Общественные организации России в годы Первой мировой войны (1914 — февраль 1917). М., 2014. С. 30, 100; *Брэдли Дж.* Общественные организации в царской России. Наука, патриотизм и гражданское общество. М., 2012. С. 11; Самоорганизация российской общественности в последней трети XVIII — начале XX века / Отв. ред. А.С. Туманова. М., 2011. С. 11, 20.
 - 2 См.: *Миронов Б.Н.* Российская империя: от традиции к модерну: В 3 т. СПб., 2015. Т. 2. С. 697; *Хефнер Л.* Civil Society, Burgetum и «местное общество»: в поисках аналитических категорий изучения общественной и социальной модернизации в позднимперской России // *Ab Imperio.* 2002. № 3. С. 199.
 - 3 Понимание гражданского общества в различных европейских традициях различно, однако везде оно имеет два ключевых свойства: 1) оно самоорганизуется; 2) его провозглашают горизонтальные, а не вертикальные связи (отношения кооперации, а не подчинения).

хода большевиков к власти. Правда, его значение сильно изменилось. Теперь речь шла об идеологическом конструкторе, который использовали новые власти в политических целях, а также об ограниченных формах общественной самостоятельности, возможной (а в некоторых случаях и преследуемой — последняя глава книги посвящена диссидентскому движению) в Советском Союзе. Стоит согласиться с одним из авторов сборника, Ц. Асаока: концепт «общественность» целенаправленно создавался новыми властями. Он подразумевал радикальный разрыв с прежней социальной организацией России. По мнению автора, дореволюционная общественность — совокупность индивидуумов; советская же должна была представлять союз ассоциаций работников (с. 85). Она не могла противопоставлять себя большевистскому государству, а, в сущности, должна была стать его необходимой частью. При этом, по мнению авторов, подходы к общественности в советском государстве на протяжении десятилетий его существования менялись. К. Мацудо констатирует радикальный поворот политики в отношении общественности в пост-сталинской России, в особенности после XXI съезда партии (1959). Очевидно, автор имеет в виду декларированное тогда намерение построить в течение ближайших двадцати лет коммунистическое общество. Причем это должно было стать результатом усилий не только «партии и правительства», а всего населения СССР. Руководство страны рассчитывало на общественность как на надежного партнера правительственных учреждений. Доказательство тому японский исследователь видит в создании добровольных народных дружин. Автор признает, что результаты их деятельности были практически ничтожны. Тем не менее, по мнению Мацудо, важен сам факт их создания в момент оживления общественности, о котором, правда, историк ничего не пишет. Такое умолчание вполне закономерно. Ведь, как демонстрирует буквально в следующей главе К. Кавомото, санкционированные властями общественные институты фактически не были общественными. Так, деятельность товарищеских судов лишь подчеркивала отсутствие границы между частным и публичным. Иными словами, в Советском Союзе частная сфера не была достаточно обособлена, а следовательно, не было необходимой среды для полноценной общественной жизни.

Возникает вопрос: насколько оправданно обращение на страницах одной книги к двум столь непохожим друг на друга явлениям — дореволюционной и советской общественности? Причем оба они недостаточно исследованы в историографии и требуют специального рассмотрения. Дореволюционная общественность — прежде всего социальное явление, советская общественность — скорее идеологическое. Конечно, общественность XIX в. складывалась под воздействием правительственной политики, но это была самостоятельная сила, претендовавшая на то, чтобы быть партнером власти (в деле управления страной), но в итоге ставшая ее оппонентом. Советская общественность была симуляцией гражданского общества, служившая, прежде всего, легитимации правящего режима.

В предисловии к книге преимущественно говорится об общественности в понимании XIX столетия, что вполне оправданно. В России XIX век — время становления общества — социально и политически активного образованного меньшинства. Если признать этот процесс основополагающим для выделения этого столетия в особый период российской истории, то «долгий XIX в.» начался не в 1801 г. (год убийства Павла I) и даже не после Великой французской революции (1789), а в 1785 г. — с изданием жалованных грамот Екатерины II. Тогда был в полной мере запущен процесс постепенного раскрепощения сословий, который продолжался более столетия. В том году были освобождены от телесных наказаний дворяне, в 1801 г. — священнослужители, а в 1835 г. — и их дети. В 1863 г. телесные наказания были отменены для всех категорий подданных Российской империи, кроме

крестьян и каторжан. С 1904 г. телесным наказаниям не подвергались и крестьяне. Наконец, Указ 5 октября 1906 г. уравнил крестьян с прочими подданными империи, предоставив им свободу передвижения, выбора рода занятий, места учебы. Ведь применение телесных наказаний в отношении той или иной категории подданных империи, — конечно, красноречивое свидетельство ее дискриминации, но отнюдь не единственное.

Правовая эмансипация в России — процесс поступательный, но не стремительный. Вместе с тем именно благодаря ему создавались предпосылки для расширения круга лиц, которых можно было причислять к обществу (в понимании XIX столетия, то есть к малочисленному образованному меньшинству). Не меньшую роль сыграла правительственная политика в области народного просвещения, прежде всего — создание системы университетского образования. При этом власти преследовали сугубо прагматическую задачу — воспроизводство кадров для государственной службы. Однако, как это часто случается, правительственные мероприятия имели неожиданные для их инициаторов последствия. В России возникли «очаги» коммуникации, а вслед за ними — кружки, научные диспуты, «толстые журналы», направления общественной мысли. Еще больший импульс для общественной жизни дали Великие реформы 1860—1870-х гг. Они способствовали возникновению в России новых социальных групп (адвокаты, земцы, земские служащие и др.), одним фактом своего существования изменивших страну.

Таким образом, правительство вольно или невольно создавало среду, более или менее благоприятную для развития общества. В то же самое время правительство устанавливало и жесткие рамки общественной самодеятельности. Это был двуединый процесс, имевший двойные последствия. Общество, поступательно упрочивавшее свои позиции, неизбежно вступало в конфликт с властью. Сталкиваясь с установленными ограничениями, оно с неизбежностью становилось более оппозиционным. Таким образом, обстоятельный разговор об обществе в России XIX в. невозможен без учета правительственной политики, которая одновременно и способствовала его развитию (через правовые реформы Екатерины, университеты, Великие реформы), и мешала ему. Этот сюжет обделен вниманием в коллективной монографии.

Не учитывается и социальное измерение такого явления, как общественность (если не считать краткие историографические справки во Введении). Этот вопрос — дискуссионный и на современном этапе не решенный в научной литературе. Можно ли к «образованному меньшинству» причислять всех образованных? Если да, то каков должен быть образовательный ценз? Если же нет, то каков должен быть критерий принадлежности к обществу? Это отнюдь не праздные вопросы. В историографии устоялась вполне оправданная точка зрения: конфликт власти и общества — основной нерв российской истории XIX — начала XX в. Исследователи как будто бы знают, что такое власть, но часто теряются при ответе на вопрос, что такое общество. А оценить масштаб явления трудно, упуская из виду его количественные параметры и особенности институциональной организации общественности.

Российское общество радикально обновилось за вторую половину XIX в. В этот период имел место стремительный рост численности общественных организаций⁴. В конце XIX в. стали возникать протопартийные организации, а на национальных окраинах — и партии. В начале XX в. заявили о себе общероссийские политические партии самой разной направленности. Они не могли появиться сразу. Их генезис занял многие годы и свидетельствовал об отладке новых форм коммуникаций в об-

4 См.: Степанский А.Д. Самодержавие и общественные организации России на рубеже XIX—XX вв. М., 1980. С. 27.

ществе, складывании отношений между теми социальными группами, которые прежде лишь догадывались о существовании друг друга. Так, в протопартийных объединениях «встретились» земцы и неземская интеллигенция (профессура, литераторы). Там они впервые завели разговор о политической программе, что в итоге позволило понять, у кого какие взгляды на будущее страны, и размежеваться в зависимости от идеологических предпочтений⁵.

Несмотря на фундаментальные исследования, проведенные в последние годы, представления исследователей об обществе довольно приблизительные. Впрочем, не менее туманно и понятие «правительство». Объединенного кабинета в западноевропейском понимании этого слова не было в Российской империи и после 1905 г., когда о его создании было официально объявлено. Тем более это было характерно для политической жизни страны в преддверии Первой русской революции. Под правительством скрывалась совокупность институтов, находившихся в конфликтных отношениях друг с другом. На практике их представляли чиновники, которые по образованию, круту общения и чтению принадлежали к общественности. Нередко они были оппозиционны по отношению к существующему политическому режиму (чего, естественно, до поры до времени не декларировали). Ю.Ф. Самарин, публицист славянофильского направления, по этому поводу отмечал, что один и тот же человек утром в присутственном месте представлял власть, а вечером — в халате и с газетой в руках — общественность. Сами представители высшей бюрократии (например, даже такой одиозный для земства министр внутренних дел, как В.К. Плеве) часто не относили себя к чиновничеству, более того, противопоставляли себя ему. Можно ли их отнести к общественности, если они сами себя к ней относили?

Наконец, российское общество, при всей своей относительной малочисленности, обладало реальными рычагами влияния на политический процесс в России даже до 1906 г. Во-первых, именно в этом ограниченном кругу интеллектуалов — авторов и читателей — формировалась русская общественная мысль, а следовательно, категории мышления XIX — начала XX в. Нередко и современные публицисты и исследователи воспроизводят штампы XIX столетия. Например, это касается славянофильских схем, которые порой используются и сейчас. Историко-софские конструкции государственной школы русской историографии остаются популярными и по сей день. Именно тогда, в XIX в., сформировались современные представления о государстве, власти, реформах, революции и т.д. Так складывалось интеллектуальное пространство, во многом определявшее и поведение людей, в том числе и государственных мужей XIX — начала XX в.

Во-вторых, общество немислимо без общественного мнения, которое существовало даже в отсутствие публичной политики. И до 1905—1906 гг. министры ориентировались на намеки газетных передовиц. Влияние издателя газеты «Московские ведомости» М.Н. Каткова на внутреннюю политику империи пугало сановников и даже дипломатов иностранных держав. Многие высокопоставленные чиновники не смели даже возразить всесильному публицисту. О могуществе издателя журнала-газеты «Гражданин» князя В.П. Мещерского ходили легенды. Во многом они строились на слухах и домыслах, но в любом случае у Мещерского была возможность донести свою точку зрения до императора, а в автократическом государстве это много значило. Хотя бы в силу этого сановники внимательно изучали «Гражданина», пытаясь понять, «куда дует ветер». «Московские ведомости» и «Гражданин» — издания, безусловно, консервативные, но не только они влияли

5 См.: Соловьев К.А. Кружок «Беседа»: В поисках новой политической реальности. М., 2009.

на «высшие сферы». Самые высокопоставленные и самые консервативные чиновники читали либеральные газеты и журналы. Один из столпов русского консерватизма, К.П. Победоносцев, с большим вниманием относился к «Русским ведомостям», ценил их выше остальных органов периодической печати. Министр финансов С.Ю. Витте поддерживал тесные контакты с журналистами разных изданий и направлений: он на страницах газет целенаправленно создавал себе образ защитника общественности, а значит — старался понравиться ее представителям. Именно этим можно объяснить его разворот в сторону земства в начале XX в. Его непримиримый враг — министр внутренних дел В.К. Плеве — тоже рассчитывал на понимание земства, прилагал для этого определенные усилия, но тщетно. Так или иначе, линия поведения, избранная министрами, имела следствием принятие конкретных административных, а иногда и законодательных решений, хотя бы отчасти удовлетворявших деятелей местного самоуправления. Немалый интерес вызывали в чиновничьей среде даже нелегальные издания, например журнал «Освобождение». Ведь некоторые государственные служащие вполне разделяли отстаиваемые на его страницах взгляды.

Ситуация в корне изменилась после Первой русской революции. Тогда появилась более или менее свободная печать, прошли первые всероссийские выборы, начали работать представительные учреждения (Государственная дума и реформированный Государственный совет), а вместе с ними складывались лоббистские группы, региональные элиты, корпоративные объединения. Общественность вышла на авансцену российской политики, обретя возможность прямого влияния на правительственную деятельность.

История российской общественности — многослойная, с неочевидными поворотами, со своими подводными камнями. Так, важнейшую роль для становления земского (а опосредованно — для либерального) движения сыграла крестьянская реформа 1861 г., а точнее — помещичье недовольство произволом правительства, лишившего дворянство значительной части земельной собственности⁶. Иными словами, возмущение «крепостников» эмансипаторской политикой властей в итоге переросло в требование законности и гарантий прав.

Все это требует специального детального исследования, которого пока нет даже в отечественной историографии. Часто историки по умолчанию подразумевают непримиримый конфликт между властью и обществом, который должен был с неизбежностью завершиться революцией. Множество книг, статей, конференций посвящены их непростым взаимоотношениям. Но действительность, как это часто случается, сложнее любой схемы. Общество и власть не только конфликтовали друг с другом, но иногда успешно взаимодействовали, например в годы работы дореволюционной Государственной думы, когда правительственные чиновники и представители общественности успешно сотрудничали в деле принятия важнейших для России законопроектов⁷. Наконец, общество и власть могли представлять одни и те же лица. Авторы сборника, принимая на веру традиционную в историографии объяснительную конструкцию, невольно оказываются в плену у публицистических клише прошлого, которое вроде бы сами изучают. Подлинное исследование должно начинаться с попытки разобраться в словах, которыми пользовались сто лет назад. И то, что ее предприняли японские историки, свидетельствует о том, что они не нашли устраивающего их ответа у российских коллег.

6 См.: *Христофоров И.А.* Великие реформы: истоки, контекст, результаты // Реформы в России. С древнейших времен до конца XX в.: В 4 т. М., 2016. Т. 3. С. 89, 97.

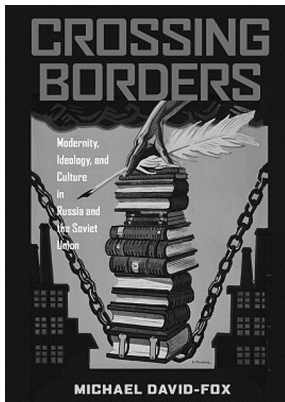
7 См.: *Соловьев К.А.* Законодательная и исполнительная власть в России: механизмы взаимодействия (1906—1914). М., 2011.

Евгений Добренко

Англо-американская историография сталинизма: ощупывая слона

**David-Fox M. Crossing Borders: Modernity, Ideology,
and Culture in Russia and the Soviet Union**

Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2015. — 286 p.



В своей новой книге об актуальных проблемах исследования советской истории Майкл Дэвид-Фокс прибегает к известной притче о слепцах, судивших о слоне по той его части, которую им удалось ощупать. Эта книга завораживает грандиозностью задачи: ни больше ни меньше, как концептуализировать постсоветскую англо-американскую историографию, посвященную советской (главным образом, сталинской) эпохе. Вопрос, нависающий над всем проектом, но не проговоренный в книге, я бы сформулировал так: зачем вообще понадобилась подобная генерализирующая работа, обращенная к ключевым теоретическим проблемам постсоветологической историографии? Не потому ли, что последняя, в целом, лишена теоретической остроты и яркости?

Скажем прямо: современная западная, да и российская историография, посвященная советской (и прежде всего, сталинской) эпохе, не радует ни глубиной обобщающих идей, ни богатством синтеза, ни теоретической широтой, ни методологическим разнообразием. При наличии ряда добротных и нескольких ярких работ в массе своей она страдает позитивизмом и неспособностью выйти за пределы узкой русско-советской специфики, и чаще всего, кроме пересказа событий и систематизации тех или иных фактов, авторам большинства этих работ не о чем поведать читателю.

Произошедшая после крушения СССР архивная революция сыграла с историографией злую шутку: открыв долгожданные архивы, она ослепила многих историков возможностью легкого воссоздания реального развития тех или иных исторических сюжетов, восстановления точной картины прошлого, реконструкции облика действующих лиц и мотивов их действий и т.д. Все это, несомненно, обогатило наши представления о советской истории, но концептуально и методологически затормозило развитие дисциплины: эпоха высокой нефтедобычи не способствует, как известно, инновациям.

Разумеется, в постсоветологической историографии имеется немало исследователей, в основном среднего поколения, интерес которых к обобщающим концепциям позволил создать работы, резко выделяющиеся на общем фоне. В большинстве своем это ведущие авторы журналов «Kritika» и «Ab Imperio». Достаточно упомянуть в этом контексте имена Амира Вайнера и самого Майкла Дэвид-Фокса, Терри Мартина и Яна Плампера, Юрия Слезкина и Игала Халфина, Йохана Хеллбека и Питера Холквиста и др. И конечно, ставшие классикой работы Шейлы Фитцпатрик и Катерины Кларк. Не следует, однако, терять перспективу: работы этих авторов, хотя и анализируются подробно на страницах книги Дэвид-Фокса, отнюдь

не составляют всего массива постсоветологической англо-американской историографии, основная толща которой состоит из работ второго и третьего ряда.

Будем честны: по гамбургскому счету даже из работ перечисленных авторов лишь немногие выходят за дисциплинарные границы русистики и истории. Факт остается фактом: в постсоветологической историографии трудно назвать хотя бы пять книг, подобных блестящим работам о нацизме последних десятилетий немца Клауса Тевеляйта, англичанина Яна Кершоу или француза Эрика Мишо. Список этот можно продолжить, дополнив его именами историков итальянского фашизма, таких как Джеффри Шнапп и др. Объясняется это исторически: эти дисциплины развивались в свободном интеллектуальном соревновании, в открытом диалоге различных методологических направлений, в реальной борьбе за студентов и читателей, тогда как советология, имея особые происхождение, статус и поддержку, существовала нередко не только в архивном, но интеллектуальном и методологическом вакууме, следуя почти исключительно актуальной политической повестке дня. Ее лозунг точно отражен в названии книги предшественника Дэвид-Фокса, на которого он неоднократно ссылается, автора первой истории американской советологии Дэвида Энгермана: «Знать своего врага»¹. Более высокий уровень работ по истории нацизма или итальянского фашизма в сравнении с работами по истории сталинизма объясняется не только их многолетней институциональной свободой, но и дисциплинарной открытостью. Благодаря этой открытости в историографии нацизма могли появиться, например, психоаналитические книги Клауса Тевеляйта, а в советологии — как пародия на психоанализ — жалкие штудии Даниеля Ранкур-Лаферриера.

Основную коллизию современной англо-американской историографии Дэвид-Фокс видит в борьбе между партикуляризмом и компаративизмом (в иных терминах, между «неотрадиционалистами» и «модернистами»). Первое направление наследует традиционной советологии, делая упор на уникальность русско-советского опыта, второе, напротив, вписывает этот опыт в контекст мировой истории и ориентирует исследователей на универсальные теоретические и методологические модели. Из самого названия книги Дэвид-Фокса — «Пересекая границы» — понятно, к какому направлению принадлежит автор. Ключевым понятием, которым он оперирует, является понятие «модерность». Именно отношением к ней различаются, по его мнению, «архаисты и новаторы». Подход самого Дэвид-Фокса к проблеме в русском и советском контексте сводится к тому, что «бинарная оппозиция между исключительностью и разделяемой модерностью (*shared modernity*) неверна», поскольку уводит дискуссию в сторону: «...если согласиться с тем, что русско-советская модерность отличается от других, мы должны будем уделить специальное внимание анализу ее особенностей, но сам шаг к признанию этого опыта модерным предполагает сравнение сходств. Понимание советского коммунизма как альтернативной модерности, обусловленной российским историческим наследием, делает возможным одновременное рассмотрение их сходств и различий в рамках целостной научной повестки дня. Понимание Советского Союза как очень отличающегося от других государств не означает, что он был чем-то совершенно исключительным; рассмотрение его как связанного с модерностью не делает его “нормальным”» (с. 9). В каком-то смысле спор об исключительности и нормальности отражает внутрисоветскую дискуссию об уникальности или универсальности путей России в XX веке. Как бы то ни было, трактовка советского опыта как современного исходит из ясно сформулированной в книге установки: «Если советский коммунизм был альтернативной модерностью, это означает, что как альтернативный проект он не состоялся» (с. 9).

1 Engerman D. Know Your Enemy: The Rise and Fall of America's Soviet Experts. N.Y.: Oxford University Press, 2009.

Первая глава книги посвящена утверждению предлагаемой автором концепции множественной модерности и борьбе модернистов с неотрадиционалистами, т.е. с теми, кто продолжал утверждать русско-советские уникальность, отсталость и инаковость. Нельзя не согласиться с автором в том, что модернизации бывают множественными, нелиберальными, незападными, насильственными и естественными, напряженными и прерываемыми кризисами и что подход к советской модерности должен строиться не столько на идее уникальности и альтернативности, сколько на попытке понять своеобразие советского опыта в контексте многообразия путей к модерности. Однако рисуемая автором картина некоей яростной борьбы вокруг понимания модерности в работах историков советской России последних двух-трех десятилетий представляется не вполне точной.

Поскольку, занимаясь этим периодом, я знаком с большинством рассматриваемых здесь книг, многие из которых даже рецензировал (в том числе на страницах «НЛО»), берусь утверждать, что картина, нарисованная Дэвид-Фоксом, излишне драматизирована. Большинство книг, на которые он ссылается как на якобы содержащие те или иные верные или неверные, с его точки зрения, теоретические положения, на самом деле ничего вообще не содержат, поскольку откровенно слабы. Обычно их авторы в предисловиях пытаются сделать некие обобщения только для того, чтобы затем забыть о всяких теориях и концепциях и перейти к пересказу найденного в архивах. Некоторые из них не то что не утверждают какие-то концепции, но и материалом-то слабо владеют. Дэвид-Фокс приписывает им какие-то несуществующие «идеи», которых в их книгах просто нет, страницами анализируя явно слабые работы.

Как представляется, нет здесь никакой «модернистской группы» и никакого «неотрадиционалистского лагеря». А есть несколько активных исследователей, придерживающихся более традиционных подходов к советской истории, и группа методологически более продвинутых историков. Все остальные (т.е. подавляющее большинство) вообще не принимают участия в этих (и вообще ни в каких!) дебатах, занятые на своих «делянках», и автору приходится предпринимать немалые усилия для того, чтобы изобразить эту довольно локальную дискуссию в качестве некоей схватки за счет привлечения армии историков второго и третьего эшелона, приписанных к различным «лагерям». Описание этой полемики настолько лишено всяких пропорций, что, когда автор начинает описывать динамику отношений между модернистами и неотрадиционалистами в англо-американской историографии «между серединой 2000-х и началом 2010-х» (с. 43), начинаешь понимать, что перед тобой просто буря в стакане воды: в течение пяти лет по большому счету «произойти» в дисциплине ничего не может, так как процесс рождения проекта и его исполнения (работа в архивах, написание, издание, рецепция) занимает куда больше времени.

Желание описать всю постсоветскую историографию в рамках единой коллизии иногда заставляет автора прибегать к таким широким генерализациям, что повествование погружается в область теоретических абстракций, формулировки становятся слишком гибкими и оттого темными. В этих формулировках не находится места для самого, кажется, простого, лежащего на поверхности объяснения сталинизма как российской версии ответа патриархального (традиционного) общества на вызовы модерности/модернизации. На эти вызовы все страны отвечали по-разному. Одни — более успешно, другие — менее. Очевидно, однако, что немецкий нацизм, итальянский фашизм, китайский маоизм, югославский титоизм, испанский франкизм или португальское *Estado Novo* — все это различные национальные ответы на те же вызовы, поскольку были обусловлены различными актуальными политическими обстоятельствами конкретных стран и особенностями их национальных историй.

К издержкам предпринятого в книге историографического анализа я бы отнес тот факт, что автор ограничивает свой анализ англо-американской советологией, которая оказывается погруженной в некий интеллектуальный вакуум, хотя именно в последние десятилетия взаимодействие англо-американских историков с европейскими и российскими коллегами стало регулярным и интенсивным. А между тем обсуждаемая в книге коллизия активно дает себя знать и в российской историографии. Назову для примера содержательную книгу Анатолия Вишневского «Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР» (М., 1998), вызвавшую большой резонанс и переведенную на несколько европейских языков. Уж раз речь идет об интеллектуальной открытости и универсализме, следовало бы распространить их и на саму историографию.

И наконец, в рассмотренной дискуссии почти полностью отсутствует интердисциплинарное измерение. Историки Франции и Германии, Англии и США спорят о методологии, там бушуют страсти вокруг постструктурализма и нового/старого историзма, спорят о Фуко и деконструкции, Бодрийяре и психоанализе. Я уже не говорю об истории Холокоста, которая давно превратилась в самостоятельную дисциплину, где апробируются самые разные методологические подходы к историческому анализу. И только в истории России все продолжает вращаться вокруг старой дилеммы (если перевести описанные в книге споры на язык родных осин): можно или нельзя «умом понять» Россию...

Следующие за историографической главой разделы посвящены различным аспектам модерности в, так сказать, позитивной плоскости. Главы эти очень удачны. Прежде всего, глава об интеллигенции. Сам сюжет этой главы дает богатый материал для демонстрации того, как соотносятся партикуляризм и универсализм в советской модерности. Прослеживая роль интеллигенции в истории советского модернизационного проекта от дореволюционной эпохи до постсоветской, Дэвид-Фокс определяет его как «интеллигентски-государственническую модерность». Он полагает, что именно культурная история открывает наилучшие возможности для анализа русско-советской модерности. В ней на первый план выдвигаются интеллигенция и государственные усилия по модернизации через культуру и просвещение. Фокус такого анализа он видит в отношениях между интеллигенцией и государством, с одной стороны, и массовой культурой, с другой. Эти отношения вытекают из давних традиций государственно спонсируемых трансформаций в России, основанных на попытках вестернизированных элит преодолеть российскую отсталость через просвещение сверху и поиск альтернатив рынку (с. 49). Дэвид-Фокс рассматривает историю «интеллигентски-государственнической модерности», начиная с эпохи реформ, и видит в советской эпохе ее апогей. Он утверждает, что «русская интеллигенция, чья коллективная идентичность, субкультура и ментальность обрели мощь в конце XIX века из-за слабости и фрагментации предпринимательской буржуазии, возникла из экзистенциальной дилеммы европеизированной элиты в “отсталой”, хотя и модернизирующейся автократии. Интеллигентский этос, столь важный для российской политики, культуры, науки, кристаллизовался прямо перед переходом России к ускоренной модернизации в конце XIX века» (с. 51). Более того, как интеллигенция, так и русская массовая культура сформировались под определяющим влиянием широких дореволюционных дискуссий о национальной идентичности и исторической траектории отношений между Россией и Западом. И эти связи только интенсифицировались с попытками совершить исторический скачок после 1917 г.

«Интеллигентски-государственническая модерность», таким образом, была полностью предопределена в своих глубинных структурных особенностях историческим развитием России — «интервенционистским, автократическим, хотя и частично вестернизированным государством; мощной традицией государственной

службы, которую интеллигенция перенаправила с государства на народ; соперничеством с Европой и “Западом”, которое стало центральной чертой русской национальной идентичности в XIX веке; социальной, культурной и имперской фрагментацией, которая интенсифицировала стремление к централизации и единству; поздней, ускоренной модернизацией, которая сопровождалась усиливавшейся оппозицией к рынку и капитализму. Эти структурные черты исторического развития в свою очередь способствовали расцвету революционных идей и практик, возникших из попытки преодолеть отсталость и либо присоединиться к Западу, либо обогнать его через внутреннюю мобилизацию и трансформацию масс» (с. 52). Вот что, согласно автору, и определило специфику российского модернизационного проекта.

Не меньший интерес представляет глава о культурной революции, тема, которой автор ранее занимался особенно интенсивно². Здесь предпринята попытка понять культурную революцию как ранний большевистский проект, как феномен, выходящий за пределы классовой борьбы, осмыслить ее взаимосвязь с нэпом и кампанией за «культурность», с такими понятиями, как «великий перелом» и «большой возврат», а также осветить историографические аспекты темы. К этой главе примыкает следующая — по сути, самостоятельный очерк институциональной истории — о Коммунистической академии и большевизации Российской академии наук в 1918—1929 гг.

Менее удачной представляется глава о роли идеологии в советском контексте. Идеология всегда играла исключительную роль в советологической интерпретации советской истории. Отказ от традиционной советологии привел и к изменению статуса идеологии. Дэвид-Фокс считает важным по-новому определить ее роль в объяснении советского опыта. Он указывает на то, что само это понятие многовально, определяя «шесть лиц идеологии»: доктрина, мировоззрение, исторический концепт, дискурс, перформанс и вера. Он справедливо полагает, что говорить об «идеологии вообще» явно недостаточно, что ее роль в функционировании советской системы была весьма разноплановой. Она выступала то в одной, то в другой своей ипостаси и в разном качестве играла различную роль. Однако, вступая в область политической теории, автор, как представляется, несколько упростил собственную задачу. О теории идеологии существует обширная и очень серьезная литература. Просто странно видеть множество ссылок на брошюру Майкла Фридена об идеологии в оксфордской серии «очень кратких введений» («для чайников») и отсутствие даже упоминания, например, книги Жижека об идеологии.

Завершают книгу два ярких биографических эссе, явно выросших из предыдущего исследования Дэвид-Фокса³ — о Ромене Роллане, его жене Марии Кудашевой и крайне правом оппоненте Гитлера Эрнсте Некриче. Все трое были в схожем положении иностранных визитеров сталинской России, все трое — чрезвычайно различны как по своему мировоззрению, так и по жизненному опыту. Роллан и Некрич с противоположных сторон вписываются в основной сюжет книги: с одной стороны, Роллан, видевший в СССР оплот антифашизма, европейского прогрессизма и просвещенческого универсализма; с другой — Некрич, видевший в сталинском режиме союзника ультранационалистического «прусского большевизма» и противника ненавистного Запада. Нюансированный, основанный на архивных источниках рассказ об этих исторических персонажах прекрасно завершает книгу, придавая оппозиции «универсализм vs партикуляризм» персональное измерение.

2 Этому сюжету была посвящена его первая книга: *Revolution of the Mind: Higher Learning among the Bolsheviks, 1921—1929*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1997.

3 *David-Fox M. Showcasing the Great Experiment: Cultural Diplomacy and Western Visitors to the Soviet Union, 1921—1941*. N.Y.: Oxford University Press, 2011.

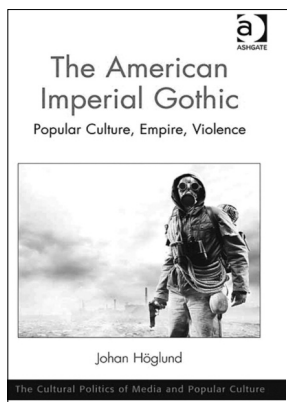
Артём Зубов

Американская имперская готика и социология фантастического

Höglund J. *The American Imperial Gothic: Popular Culture, Empire, Violence*

Farnham; Burlington, VT: Ashgate, 2014. — XI, 211 p. —
(The Cultural Politics of Media and Popular Culture).

Книга Йохана Хогланда, профессора английской филологии Университета Линнеус (Швеция), начинается с провокационной цитаты из историка Джулиана Го о том, что Америка — это империя, и притом стареющая¹. По мысли автора рецензируемой книги, расцвет американской империи уже давно миновал, и впереди лишь сумерки упадка (с. 2). Используя это утверждение как отправную точку своего исследования, он предпринимает детальный анализ культурных и литературных практик, в которых обнаруживаются приметы упадка империалистического американского государства.



В теоретическом Введении Хогланд рассматривает понятия империи, готической литературы, имперской готики и американской имперской готики (с. 4–9). Он пишет, что питательной почвой для становления британской готической литературы как особого типа письма является идеология имперского дискурса. Для имперской готики характерно обращение к апокалиптическим темам, а также использование образов, символизирующих угрозу благосостоянию империи (с. 6). Символический конфликт цивилизации и наступающих варваров разрешается по-разному: либо позитивно, то есть через экстравертный (в терминологии автора) сюжет о победе маскулинного героя над демоническими силами нецивилизованного мира (как

в романах Р. Хаггарда, А.К. Дойла и Дж. Бьюкена); либо негативно — враждебные силы вторгаются в сердце цивилизации, угрожая ее процветанию. Так, образ графа Дракулы традиционно интерпретируется (и автор с этим солидарен) как исходящая с Востока угроза цивилизованному Лондону. Подобный тип повествования в готической литературе автор предлагает именовать «интровертным» (с. 7). Первый тип характерен для империи, переживающей подъем, второй — для переживающей упадок. И хотя в британской литературе оба повествовательных вектора существовали почти параллельно, второй тип занял доминирующую позицию в начале XX в., в период распада Британской империи как великой колониальной державы. Эту же схему автор применяет и к американской готической литературе, в аллегорической форме сообщающей о том, что территориальные границы империи, а также ее идеологические, моральные и этические ценности находятся под угрозой.

1 См.: *Go J. Patterns of Empire: The British and American Empires, 1688 to the Present.* N.Y., 2011.

Представление об Америке как империи уже имеет сложившуюся в рамках социальных наук исследовательскую традицию и отсылает, в частности, к мир-системному анализу И. Валлерстайна, на которого не раз ссылается и Хогланд. Понятия «империализм» и «колониализм» стали базовыми терминами исследований культуры и литературной критики, однако их трактовка и практика использования являются предметом споров и обсуждений. Так, свою книгу «Прошлое и настоящее империализма» (2015) Э. Саккарелли и Л. Варадараджан начинают именно с того, что разграничивают термины «империализм», «империя» и «колониализм». По мысли ученых, в то время как понятие империи как государственного строя существует издавна, термин «империализм» является недавним «изобретением» ученых и призван охарактеризовать широкий спектр экономических, политических, культурных и языковых проблем, возникающих во внешне- и внутрисоциальных отношениях. В настоящее время он используется для описания внешней политики Америки, направленной на поддержание мира и стабильности в международных отношениях². Параллельно и исследователи культуры отмечают, что через популярную культуру Америкой транслируется образ мировой державы, или планетарного арбитра, стоящего на страже не только собственных политических и культурных границ, но и демократических свобод и прав всего человечества³.

Автор отмечает, что термин «литературная готика» обозначает как жанр (охватывая в этом случае лишь ограниченное количество текстов, которые исторически получили это наименование), так и метод, или модус письма, присутствующий в различных жанрах и медиа (с. 5). Заявляя, что его в первую очередь интересует готика как художественный метод, автор вынужден, однако, ограничить материал своего исследования. Он сосредоточивается, во-первых, на «классической» американской готике XVIII—XIX вв. и, во-вторых, на жанрах, которые наиболее часто ассоциируются с этим типом письма: научной фантастике, фэнтези и хорроре (с. 10). Хогланд выстраивает исследование хронологически, начиная с пристального чтения романа «Эдгар Хантли» (1799) Ч.Б. Брауна, затем переходит к романам Э.Р. Берроуза о Джоне Картере, параллельно включая в свой материал другие медиа, в частности рассматривая голливудские экранизации романа «Франкенштейн» М. Шелли, и завершает книгу анализом текстов, созданных уже в XXI в. Представленная автором историческая панорама обнаруживает скрытую логику культурного развития американской имперской готики — от «экстравертной» к «интровертной»; эта траектория служит автору явным доказательством упадка американской империи.

В книге Хоглунда немало интересных и точных разборов отдельных произведений с позиций колониальной критики, стратегии которой были разработаны применительно к научной фантастике в монографии Дж. Ридера «Колониализм и становление научной фантастики» (2008)⁴. Новаторство романа Г. Уэллса «Война миров», по мнению Ридера, заключалось в том, что в нем автор сместил «колониальный взгляд» и изобразил колонизаторов как колонизируемых. Схожую оптику Хогланд применяет к роману Р. Матесона «Я — легенда» (1954), в котором загадочный вирус постепенно превращает все население Земли в вампиров, пока на планете не остается лишь один человек — Роберт Невилл, по какой-то причине неуязвимый для вируса. В конце романа обнаруживается, что группа вампиров эволюционировала из бездумных хищников в разумных существ — новый домини-

2 См.: *Saccarelli E., Varadarajan L. Imperialism Past and Present. N.Y., 2015. P. 6—12.*

3 См., например, анализ фильма Р. Эммериха «День независимости» (1996) в кн.: *Bould M. Science Fiction. L.; N.Y., 2012. P. 160—162.*

4 См.: *Rieder J. Colonialism and the Emergence of Science Fiction. Middletown, CT, 2008.*

рующий вид на Земле. Образ вампира в романе Матесона ученые интерпретируют по-разному. Например, через призму возводимого к Фрейдю понятия «жуткое»: вампиры Матесона — уже не привычные персонажи фольклора, а жертвы глобальной экологической катастрофы, и именно поэтому они столь устрашающи⁵. А в контексте биографии писателя образ вампира прочитывается как отражение страха автора за себя и свою семью перед лицом ядерной угрозы⁶. Иными словами, в вампирах Матесона принято видеть несомненных врагов рода людского, а в образе Невилла — последнего представителя «старого» человечества⁷. Хогланд, напротив, именно в главном герое видит вампира. Меняя местами позиции «свой» и «чужой», Хогланд заключает: вирус обратил вампиров в «своих», в то время как иммунитет героя превратил его в «другого» — того самого готического вампира из замка на холме, лорда Дракулу, истребляющего всех, кто отличается от него (с. 68—69).

Наиболее противоречивыми выглядят главы, посвященные XXI в., а именно катастрофе 9 сентября 2001 г. В них исследовательская позиция автора выглядит наименее оформленной и четкой. Хогланд приводит ряд журналистских откликов на фильмы, монтаж которых был закончен еще до теракта, но которые тем не менее прочитывались как отклик на него. В фокус внимания автора попадают фильмы «Властелин колец: Братство кольца», «Гарри Поттер и философский камень» и «Мумия возвращается». Все три фильма вышли в прокат в 2001 г., однако отснятый материал был готов раньше. В цитируемых автором обзорах Волан-де-Морт, Саурон, орки и древняя египетская мумия трактуются как террористическая угроза американской империи. Эту интерпретацию подтверждают, с одной стороны, принадлежащее президенту США Дж. Бушу сравнение терроризма с фашизмом и, с другой, тот факт, что Толкин, создавая образ Саурона, имел в виду именно фашистский режим. Схожим образом критики трактовали фильм «Хеллбой» (2004) Г. дель Торо и видеоигру «Возвращение в замок Вольфенштейн» (2001) (с. 90—93). Цитируя обзоры и рецензии, Хогланд не соглашается с их авторами и не опровергает их, хотя среди этой разноголосицы мнений комментарий исследователя культуры был бы весьма интересен.

Попытку культурной реабилитации статуса Америки как империи, чьи границы неприкосновенны, Хогланд видит в фильме «Лига выдающихся джентльменов» (2003) С. Норрингтона. Викторианский антураж фильма вызывает в памяти период восхождения Америки к могуществу в XIX в., а то, как команда супергероев расправляется с врагами империи, ясно дает понять, что на насилие есть только один ответ — насилие (с. 97—99). Эта попытка, однако, обернулась неудачей: отклики на фильм были в основном отрицательными, и он не породил традиции. Успешнее оказался иной тип повествования — о символическом вторжении, захвате и насилии, который свое наиболее яркое воплощение обрел в фильме «Хостел» (2005) Э. Рота. Путешествующие по Восточной Европе американские студенты попадают в плен к организаторам пыток, участникам которых за плату разрешается мучить людей самым жестоким образом. В финале выясняется, что американцы — самая желанная и дорогая жертва (с. 133—134).

Анализируя тексты, изображающие будущее, Хогланд и в них обнаруживает приметы заката американской империи. В частности, автор останавливается на се-

5 См.: *Heinger J.* The Uncanny and Science Fiction // *Science Fiction Studies*. 1979. Vol. 6. № 2. P. 144—152.

6 См.: *Clasen M.* Vampire Apocalypse // *Philosophy and Literature*. 2010. Vol. 34. № 2. P. 313—328.

7 Эти интерпретации поддерживаются и первыми экранизациями романа: «Последний человек на Земле» (1964) и «Человек Омега» (1971).

риале «Ходячие мертвецы», начатом в 2010 г. и насчитывающем уже семь сезонов. Зомби в нем символизируют зыбкость и проницаемость социальных, национальных и политических границ современной Америки. Трансформация в зомби — процесс легкий и быстрый, достаточно лишь одного укуса, и зараженный становится одним из «других» — бездомных, нелегальных иммигрантов или беженцев⁸. Обращенный в «другого» мгновенно становится объектом преследования со стороны имперских сил, но стоит помнить, что каждый представитель имперского порядка сам в любой момент может оказаться по другую сторону баррикад и на себе испытать волю умирающей империи (с. 153—157).

Историзация текстов культуры как аналитический подход имеет применительно к научной фантастике давнюю историю; он развивался в рамках социологии научной фантастики. Последняя обладает рядом достоинств, так как позволяет точно установить взаимосвязи между текстом и актуальной историей (в этом смысле научная фантастика представляет собой удачный материал, так как в ней эксплицитно проговаривается связь между художественным вымыслом и техническим прогрессом⁹), однако не лишена недостатков и методологических ограничений¹⁰.

Стоит отметить, что социологический подход к изучению фантастического ученые нашли не сразу. Исследователи научной фантастики в англо-американской традиции (*science fiction studies*¹¹) с момента институционализации дисциплины в начале 1970-х гг. были чутки к тенденциям академической науки, которая как раз тогда переживала период слома дисциплинарных границ и поиска новых возможностей. Одной из находок стал синтез литературоведения и социальных наук, позволивший продуктивно сочетать методы качественного и количественного анализа¹². В 1973 г., когда был основан первый академический журнал по истории

-
- 8 Этот же прием трансформации человека в зомби используется во многих современных историях о зомби, таких как серия фильмов «Обитель зла» (2002—2016), «28 дней спустя» (2002) Д. Бойла, «Рассвет мертвецов» (2004) З. Снайдера. Последний фильм — ремейк одноименной картины Дж. Ромеро (1978), в которой, кстати, появление зомби имело научное объяснение.
- 9 Историзацию как исследовательский прием принято связывать с марксистской литературной критикой, в частности с работами Р. Уильямса, Ф. Джеймисона и Д. Сувина (см., например: *Burling W.J. Marxism // The Routledge Companion to Science Fiction*. L., N.Y., 2009. P. 236—245). Современные исследования научной фантастики, стремясь избавиться от родства с марксизмом, находятся в поиске других «больших» парадигм. Так, главная конференция Ассоциации исследователей научной фантастики (*Science Fiction Research Association*) в 2016 г. была посвящена применению методов системного анализа.
- 10 Один из ярких примеров — критический отзыв писателя А.Ч. Кларка на статью Т. Мойлана о его романе «Город и звезды» (1956). Отмечая, что в статье немало проницательных наблюдений, Кларк не согласен с однозначной трактовкой романа как истории о противостоянии коммунизма и капитализма и как аллегории холодной войны. См.: *Moylan T. Ideological Contradiction in Clarke's «The City and the Stars» // Science Fiction Studies*. 1977. Vol. 4. № 2. P. 150—157; *Clarke A.C. On Moylan on «The City and the Stars» // Science Fiction Studies*. 1978. Vol. 5. № 1. P. 88—90; *Notes and Correspondence // Science Fiction Studies*. Vol. 5. № 3. P. 302—307.
- 11 В отечественной традиции используется термин «фантастоведение» (или «фантастиковедение»), который в самом широком понимании означает изучение фантастического в культурных практиках, включая исследование научной фантастики, хоррора, фэнтези и произведений других жанров, где используются приемы фантастического повествования. Западные *science fiction studies* фокусируются на научной фантастике в ее разнообразных медийных проявлениях.
- 12 См., например: *English J.F. Everywhere and Nowhere: The Sociology of Literature After «the Sociology of Literature» // New Literary History*. 2010. Vol. 41. № 2. P. VII.

и теории научной фантастики, «Science Fiction Studies», ставка была сделана на структуральную поэтику, в рамках которой, в частности, было сформулировано (Д. Сувином) определение жанра как «литературы когнитивного остранения» (*literature of cognitive estrangement*). Эта формула позволила провести четкую границу между «качественной» и «некачественной» научной фантастикой.

Однако сам факт наличия такого строгого разделения внутри жанра противоречил его внутренней логике. Нередко звучит мысль о том, что сила научной фантастики в том и состоит, что жанр представляет собой диалог между разрозненными группами читателей, которые вместе и по отдельности, каждый по-своему, дополняют, уточняют и творчески переосмысливают содержание жанра¹³. Уже в конце 1970-х гг. теоретическая ориентация журнала «Science Fiction Studies» меняется, и в 1977 г. выходит специальный номер, посвященный социологии научной фантастики. Возможности применения методов социологии обнаружились в изучении, во-первых, отношений между литературным производством и потреблением и, во-вторых, отдельных социоэкономических групп, по-разному реагирующих на произведения литературы¹⁴. Первое направление долгое время доминировало в западном фантаствоведении, однако в последние годы наблюдается смещение в сторону второго — социологии реальных и виртуальных сообществ.

Используемая Хогландом аналитическая схема, с одной стороны, говорит о высоком уровне социальной рефлексии жанра, то есть позволяет увидеть связи между культурными практиками и историей, которую они репрезентируют, интерпретируют и преломляют, а с другой — свидетельствует о богатом опыте чтения и интерпретации фантастики. Как модернистская литература начала XX в. бросала вызов читателю, проверяя его культурную осведомленность цитатами и аллюзиями, так и современная фантастика требует от своего читателя или зрителя (как наивного, так и профессионального) не только увлеченности и заинтересованности, но и знания культурного канона и социотехнологического контекста.

13 См., например: *Vint Sh. Science Fiction: Guide for the Perplexed*. L.; N.Y., 2014. P. 93. Ш. Винт вслед за Дж. Ридером предлагает именовать эти группы «сообществами практики». См. также: *Rieder J. On Defining SF, or Not: Genre, SF, and History // Science Fiction Studies*. 2010. Vol. 37. № 2. P. 191–210.

14 *Suvin D. Introduction // Science Fiction Studies*. 1977. Vol. 4. № 3: The Sociology of Science Fiction. P. 224.

Хроника научной жизни

Международная конференция «Отзвуки империи. Постколонии коммунизма»

(Принстонский университет, 13–15 мая 2016 г.)

Каковы преимущества и ограничения постколониальной теории, если применять ее к восточноевропейской ситуации? Как использовать ее понятия в посткоммунистических исследованиях? Какие политические задачи должны решать эти исследования, учитывая, например, теоретические предпосылки постколониализма, а также исторический и эпистемный контекст посткоммунизма? Эти и многие другие вопросы были затронуты в рамках конференции «Отзвуки империи. Постколонии коммунизма», прошедшей в Принстонском университете 13–15 мая 2016 года. Эта конференция — очередная в ряду ежегодных междисциплинарных и международных конференций «Princeton Conjunction», которые проводятся в рамках программы российских, восточноевропейских и евразийских исследований. Основным организатором выступил Сергей Ушакин (Принстонский университет); в организационный комитет вошли Тарик Кирил Амар (Колумбийский университет), Эдита Бояновска (Раггерский университет), Михаэль Куничка (Принстонский университет) и Екатерина Правилова (Принстонский университет).

На конференции выступили антропологи, социологи, литературоведы, искусствоведы, историки, которых объединяет интерес к постколониальной теории и посткоммунистическим регионам. 15 лет назад Дэвид Чиони Мур предположил, что приставка *post-* в *постколониальном* может мыслиться сходным образом, что и приставка *post-* в *постсоветском*, и предложил включить в постколониальную географию регионы Балканского полуострова, Восточной и Центральной Европы и бывших республик СССР¹. В последующие годы многие эмпирические исследования были вдохновлены парадигмой постколониализма, однако, как отметил в своем критическом комментарии Харша Рам, исследователи посткоммунизма зачастую некритически адаптировали постколониальную теорию к своему материалу, осуществляя ее присвоение без концептуального развития.

Один из парадоксов адаптации постколониальной теории на коммунистическом пространстве состоит в трансформации левой политической программы. В то

1 Moore D.Ch. Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Post-colonial Critique // PMLA. 2011. № 116. P. 111–128.

время как постколониальные исследования предпочитали марксистский аналитический инструментарий и ориентировались на критику социально-экономического неравенства и культурного колониализма, постколониальная риторика в посткоммунистической версии часто инструментализировалась в интересах националистической повестки дня и, более того, служила «натурализации» и эссенциализации категорий национального и этнического, преодоление которых находилось в центре внимания классиков постколониализма. При этом политические позиции исследователей во многом зависели от того, какой из аспектов «двойной колонизации» акцентировался ими — западный или советско-российский опыт.

Учитывая данную критику, потенциал для теоретической разработки может быть обнаружен в дальнейшем изучении колониальной истории регионов, исследовании преемственности колониальных и постколониальных практик управления, критике ключевых категорий, таких как «транснациональность», «империя», «субалтерн». Ценность такой категориальной, дифференцирующей работы обнаружилась в диалоге между различными постколониальными пространствами и между альтернативными историями постколониального мышления с привлечением социалистического опыта.

Первая секция конференции «Провинциализируя постколониальное» была посвящена преломлению и инструментализации постколониальной теории в академическом и политическом контексте на постсоветском пространстве. Дирк Уффельманн (Университет Пассау) в докладе «*Варианты национализма в польских и русских адаптациях постколониальной теории*» проанализировал использование постколониальной теории в академическом и публицистическом дискурсах, в частности ее подчинение националистическим целям в современных России и Польше. В качестве примера для России докладчик рассмотрел различные аксиологические оценки теории внутренней колонизации Александра Эткинда, уделив особое внимание инструментализации последней у националистически настроенных обозревателей. Рассматривая польскую ситуацию, исследователь сконцентрировался на двух примерах адаптации постколониальной теории. С одной стороны, ее используют консервативные приверженцы польского нацистроительства (Ева Томпсон), признающие исключительно внешний характер колониализма по отношению к стране и выстраивающие однозначную оппозицию колонизатора как Другого и колонизируемой Польши как жертвы, в постсоветское время снова попадающей в зависимое состояние, источником которой на этот раз становится Запад. С другой стороны, докладчик показал, как сопрягается с постколониальными исследованиями так называемая *теория постзависимости* (*post-dependence studies*): будучи программно транснациональной и антинационалистической, она в своем отстаивании национальной специфики, исключительной колониальной ситуации в Польше и методологической автономии тем не менее обнаруживает черты неоромантизма. Если теория внутренней колонизации Эткинда и исследования постзависимости «грешат» разве что мононациональным перформансом, то консервативные антизападные или национально-революционные адаптации постколониальной теории приводят к развитию собственно этнокультурного национализма.

Обсуждение дискурса внутренней и внешней колонизации России продолжил Вячеслав Морозов (Тартуский университет) в докладе «*Постколониальная Россия: фигура туземца и блокирование народной субъектности*». Морозов подчеркнул, что, несмотря на доминирующую роль глобального капитализма, в многомерной гегемонической организации политического пространства национальный уровень продолжает играть центральную роль. Это хорошо видно на примере России, которая интегрирована в мир-систему в качестве полупериферийной страны, осуществляющей догоняющую модернизацию и остающейся прежде всего поставщи-

ком ресурсов. На этом основании докладчик предлагает называть Россию *империей-субалтерном*. Статус «субалтерна» поддерживается и тем обстоятельством, что как официальная власть, так и современные интеллектуалы в России озабочены не столько внутренним развитием страны, сколько ее статусом в европейском и глобальном контекстах. Национальная повестка дня практически отсутствует, что приводит к повторению традиционного порочного круга: за прозападной модернизацией следует националистическая реакция. Националистические деколонизационные нарративы ограничиваются самоориентализацией и утверждениями в стиле идеологического клише «Россия — (не) Европа». Опираясь на теорию гегемонии Антонио Грамши и используя постколониальный теоретический аппарат, исследователь продемонстрировал, что присущий широким массам «здоровый смысл» в процессе внутренней колонизации был встроен в структуры элитарной гегемонии. В результате российский народ остается субалтерном в двойном смысле — во внутривосточном и в глобальном масштабе.

Диана Т. Кудайбергенова (Кембриджский университет) в докладе «*Неопределенное рассеивание: (манипулятивные) применения постколониального дискурса в постнезависимом Казахстане*»² показала, как в отсутствие интеллектуально-критической рефлексии постколониальная риторика становится стратегией политической борьбы и легитимации власти. Опираясь на материалы интервью, собранные в Казахстане в 2011—2014 годах, исследовательница анализирует дискурс трех политических групп: режима Назарбаева, оппозиции и казахских националистов. Если оппозиция, которая особенно сближается с националистами на фоне кризисов середины 2000-х годов, и националисты используют антиколониальную риторику традиционным способом (они ориентированы на национальное возрождение языка и культуры, критику колониальной политики Советского Союза, а также современного режима Назарбаева, который продолжает зависеть от Москвы), то властная элита стремится одновременно удовлетворить ожидания как казахов, так и русских. В этом случае постколониальный нарратив используется двояко: с одной стороны, власть дистанцируется от советского колониального прошлого и на этом фоне выстраивает национальную программу, с другой стороны, подчеркивает советские модернизационные достижения, тем самым мобилизуя лояльность русского населения. При этом у всех групп национальный нарратив не свободен от советских терминов и категорий.

Вторая секция, «Когда угнетенные говорят», была посвящена обсуждению языка угнетенных и имперских практик на примере Центральной Азии и Сибири. Россен Джагалов (Нью-Йоркский университет) в докладе «*Ранние постколониальности. Афро-азиатское писательское движение от Ташкента (1958) до Луанды (1979)*» познакомил слушателей с афро-азиатским писательским движением, возникшим в конце 1950-х годов при участии советской культурной бюрократии и писателей из среднеазиатских республик. Хотя для СССР основной целью движения было общее укрепление связей со странами третьего мира, главным его результатом стало установление литературного диалога между писателями Африки и Азии. Несмотря на советские попытки осуществить политический контроль над этой инициативой, она стала предшественницей постколониальных движений, предоставив площадку таким крупным писателям, как Мулк Радж Ананд, Фаиз Ахмад Фаиз, Сембен Усман, Нгути ва Тхионго или Алекс ла Гума. Однако западоцентризм советской интеллигенции ограничил распространение этих произведений среди советских читателей.

2 См. одноименную статью: *Kudaibergenova D.T. Unidentified Diffusion: The Use and Abuse of Postcolonial Discourse in Post-Independent Kazakhstan // Europe-Asia Studies. 2016. Vol. 68. Iss. 5. P. 917—935.*

Докладчик проследил неожиданные параллели между афро-азиатским писательским движением и поздней постколониальной теорией и предложил рассматривать их как пример альтернативной генеалогии постколониальной литературы.

Разнообразие политических и исторических позиций на постсоветском пространстве продемонстрировали *Иван Саблин* и *Лилия Болячевец* (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) в докладе «*Второй или четвертый мир. Критика коммунизма и колониализма в современных североазиатских литературах*»³. Выделив мотивы постколониальной литературы, например радикальную критику советской истории у Еремея Айпина, критическое осмысление советского прошлого у Геннадия Башкуева, идентификацию с русским националистическим нарративом у Кима Балкова, включенность в глобальное экологическое движение у Алексея Гатапова, докладчики подчеркнули необходимость эмансипации от методологического национализма и более пристального рассмотрения отдельных групп и авторов региона.

Эмили Ласкин (Калифорнийский университет, Беркли) в докладе «*Четыре точки зрения на второй мир: таджикский реализм и советский социализм*» предложила различные способы прочтения эпопеи таджикского национального писателя Садриддина Айни «*Ёддоштҳо*» («Воспоминания»). С опорой на идеи Фредрика Джеймисона это произведение может быть рассмотрено как образец соположения личного и политического развития героя, типичного для соцреализма и литератур третьего мира. Эта интерпретация сближает текст и с классическим романом воспитания, который соединяет личное и гражданское становление. В той же логике возможен третий вариант прочтения эпопеи, связанный с традицией автобиографической трилогии Горького — одного из ключевых текстов соцреализма. Наконец, иное прочтение возникает в контексте персидского жанра биографии, которое вписывает автора не только в эстетику соцреализма, но и в локальную центральноазиатскую традицию.

Основной темой третьей секции, «Постимперские требования», стала критика гегемониальных постимперских дискурсов, прежде всего демократизации и модернизации, прав человека и развития «переходного периода». В докладе *Сайгуна Гекариселя* (Босфорский университет) «*Перипетии транзитного правосудия: люстрация правого толка в “постколониальной” Польше*» была проанализирована динамика правозащитной риторики с 1960-х годов до наших дней: сначала радикальный левый (социалистический) дискурс о классовом неравенстве сменился в ней дискурсом о правах человека, затем в конце 1980-х возник дискурс так называемого «международного транзитного правосудия», который хронологически совпал с развитием постколониальной рефлексии в академических кругах и критикой социалистических идей в Восточной Европе и Латинской Америке. На примере Польши докладчик показал, как «транзитное правосудие» в странах Восточной Европы принимало форму люстрации. На национальном уровне практика люстрации стала манифестацией смены режима и установления исторической справедливости и одновременно предоставила новые возможности для правой мобилизации. В результате язык прав человека сменился нарративом о национальном служении и жертвенности.

Доклад *Чой Чаттерье* (Университет штата Калифорния) «*Кто заставляет женщину говорить в постмировом порядке? Аргументы за и против в случае Анны Политковской и Арундати Рой*» был построен на сопоставлении двух выдающихся женщин-правозащитниц в России и Индии, которое открывает новую

3 См.: *Boliachevets L., Sablin I. The Second or the Fourth World: Critique of Communism and Colonialism in Contemporary North Asian Literature // Ab Imperio. 2016. № 2. P. 385–425.*

перспективу сравнительной истории этих двух регионов. Журналистка Анна Политковская заслужила международное признание в результате критики авторитарной политики России и разоблачения военных преступлений в Чечне по обе стороны фронта, а писательница Арундати Рой выступала как критик неолиберальной экономики, активистка экологического, мирного и антиглобалистского движения и защитница права Кашмира, спорной территории, на самоопределение. По мнению докладчицы, обеих героинь объединяет концептуальная независимость, намерение дать голос притесняемым группам, а также супранациональная биография (обе героини обладали двойным гражданством) и транснациональное самоопределение, преодолевающее постсоциалистическую/постколониальную имперскость. За свою деятельность обе женщины неоднократно обвинялись в предательстве национальных интересов, а Политковская лишилась жизни. Их позицию Чаттерье предлагает описать в понятиях «паррессии» Мишеля Фуко и интеллектуальной «бездомности» Эдварда Саида.

Альберт Дойя (Университет Лилля) в докладе «*Постимперские притязания на истину и постколониальное производство знания на посткоммунистических Балканах*» продемонстрировал новые колонизационные течения в политике европеизации и так называемых демократизации и либерализации, проводимых странами Евросоюза по отношению к странам западных Балкан (кандидатам в Евросоюз), которые в западноевропейском дискурсе традиционно мыслятся как недоразвитая периферия. На материале так называемых юго-восточных исследований, особенно в немецкоязычной традиции, докладчик показал, что под маской постколониальной риторики скрываются прежние паттерны колониальной идеологии.

Секция «Прогресс и его последствия» была посвящена советской модернизации и ее следам в Центральной Азии: эта модернизация несла в себе как постколониальные, так и сугубо колониальные черты и по-разному оценивается исследователями. В докладе «*Интернационализм и (пост)колониализм: Центральная Азия и парадигма советского развития*» *Малика Баховадинова* (Университет Индианы) и *Артемий Калиновский* (Амстердамский университет), опираясь на материалы архивных документов, местной прессы и полевых интервью, обратились к истории строительства Нурекской ГЭС в Таджикистане (конец 1950-х — 1970-е годы). В фокусе внимания исследователей оказался интернационализм как политика взаимодействия республик с центром, где стратегия центра успешно взаимодействовала с интересами регионов. Отчасти проект создания Нурекской ГЭС подавался республиканскими властями как модель интернационального сотрудничества советских специалистов из разных уголков страны, что позволило им получить от центра одобрение на строительство и привлечь значительные инвестиции. В результате не только был выстроен «интернациональный» город Нурек, но и развита инфраструктура в соседних таджикских селениях. Однако, как отмечают исследователи, сама идея интернационализма была амбивалентной: с одной стороны, она предполагала уважение к национальным различиям и поддерживала «этнический партикуляризм» (по формулировке Юрия Слезкина); с другой стороны, должна была способствовать возникновению однородной общности советских граждан. Расширение государства и развитие инфраструктуры под эгидой интернационализма постепенно умаляли значение локальных традиций. В качестве вывода докладчицы предложили считать СССР не столько колониальным, сколько модернизирующимся и национализирующимся государством, которое вкладывалось в инфраструктуру, расширяло свою гегемонию, стремясь развивать единую гражданскую общность и идентификацию населения с советским строем.

Юрий Боянин (Университет Ла Троба, США) в докладе «*Потерянная цивилизация: образы и звуки коммунистических руин*» представил историко-художественный анализ

жественный проект, созданный во время путешествия по Киргизии: в течение нескольких месяцев докладчик фотографировал следы «советской цивилизации» и советской «утопии» в киргизских ландшафтах, прежде всего в небольших промышленных поселениях: надписи, полуразрушенные заводы, рудники, детские сады, аттракционы, автобусные остановки, которые когда-то были знаками прогресса и модерности, а сегодня становятся частью природного ландшафта. Его интересовал вопрос, как выглядит повседневная жизнь на руинах империи, как разные поколения говорят о советском прошлом и какие эмоции при этом преобладают. Художник показал, что руины можно описать не только в терминах отсутствия и отчаяния, но также как знаки зарождения нового, обращенного как к «традиционному» прошлому, так и к неопределенному будущему. Докладчик предложил посмотреть на следы советской империи как на памятники колониального наследства и обратил внимание на то, что, в отличие от советских, колониальные памятники Индии и Южной Азии подвергаются реставрации и привлекательны для туристов.

В докладах, представленных на секции «Размывание границ», постколониальный дискурс в Восточной Европе рассматривался как соположение западноевропейских и восточноевропейских влияний; также в докладах было продемонстрировано пересечение политической и художественной сфер и то, как на их пересечении перевертываются и усложняются категории колонизатора и колонизируемого, гегемонии и субалтерности. *Жужа Жилле* (Иллинойский университет, Урбана-Шампейн) в докладе «*Постколониальность в 3D: когнитивная карта новых восточноевропейских правых*» проанализировала два основных способа обращения к постколониальной теории в исследованиях Восточной Европы: постколониализм как историческая аналогия и постколониализм как исследовательская парадигма. Первый способ возникает в начале 2000-х годов преимущественно в литературоведении. Для него характерна онтологизация постколониализма, фокусирование на положении стран Восточной Европы как жертв России-гегемона. Второй способ чаще применяется в постсоциалистических исследованиях, где постколониальная рефлексия мобилизуется для критики капитализма/Запада как нового гегемона. И те и другие уделяют большее внимание колонизируемому субъекту (жертве); в результате они не преодолевают антиколониальной модели и не позволяют осуществить переход к постсостоянию. Докладчица предложила трехмерную матрицу, благодаря которой можно рассмотреть динамические отношения между Восточной Европой, «глобальным Севером» и «глобальным Югом». При этом постсоциалистический Восток может иметь прямые связи с глобальным Югом, но они, как правило, опосредованы отношениями с глобальным Севером. Докладчица проанализировала эту дискурсивную зависимость от Запада на примере политической дискуссии о беженцах в Венгрии: венгерские правые акцентируют экономическое, политическое и культурное неравенство в отношении Евросоюза к Восточной Европе, обращаясь к Евросоюзу с протестными лозунгами: «Мы — не колония». В то же время они демонстрируют расовый дискурс по отношению к новым беженцам из Сирии, Афганистана и Ирака и представляют себя последним европейским бастионом по защите «европейских» христианских ценностей и белизны кожи.

Кевин Платт (Пенсильванский университет) в докладе «*Белая кожа, черные маски: двойное доминирование на границе советской постколонии*» рассмотрел статус латвийских «неграждан» (по иронии судьбы сокращенно они называются «негры») как форму постсоветской постколониальной субалтерности. Платт проанализировал связь исторического положения русскоязычных «неграждан» Латвии с российским статусом «соотечественников за рубежом» — категорией, которая также оказывается геополитическим инструментом. Русскоязычные «неграждане» — субъекты «двойного доминирования» (по выражению Линг-Чи Ванга): на

символическом уровне они одновременно вынуждены адаптироваться к латвийскому контексту и сохранять лояльность к русскому. Их положение можно назвать доминированием без гегемонии в Латвии и гегемонией без доминирования в России (перевернутая формула Ранаджита Гухи). Постколониальность оказывается тем самым набором отношений в настоящем, отражающим разнообразную историю подавления и доминирования. В расширительном смысле Платт предлагает считать весь мир постколониальным пространством, где доминантные и субалтерные отношения и иерархии постоянно трансформируются.

Как (пост)колониальный субъект реагирует на набирающие обороты имперские тенденции и милитаризм общества, к которому он принадлежит? Этот вопрос находился в центре внимания доклада *Натальи Чермалых* (Институт международных исследований, Женева) «*Метафора, карта и флаг: искусство как публичное пространство рефлексии о постсоветской колониальности*». Докладчица продемонстрировала, как постколониальные стратегии несогласия и антиимперского сопротивления, вытесняющиеся из публичного пространства России и инструментализирующиеся в публичном пространстве Украины, зарождаются в альтернативных маргинализированных художественных пространствах и начинают заявлять о себе в публичной сфере. На материале политического искусства художников «последнего советского поколения» (Алексей Юрчак) докладчица показала, что в современной ситуации художники позиции «внеаходимости» часто предпочитают артикуляцию субъектной и политической позиции, превращая свое тело в дискурсивное «поле битвы». Внимание этих художников сосредоточено не на прошлом (советском имперском или национальном), а на настоящем, когда действие здесь и сейчас может предотвратить «ненаступление» уже осязаемого, но страшного будущего. В ключе критической постколониальной теории докладчица рассмотрела протестные акции Петра Павленского, Виктории Ломаско и Марии Куликовской, явившиеся реакцией на политические события в Украине и России 2014 года и структурно напомнившие антиколониальные жесты Франца Фанона или Эме Сезара. Своими мужественными акциями они привлекли внимание к гегемонии имперского центра, хрупким географическим границам и неравенству отдельных групп в (нео)имперском пространстве.

На секции «Постколониальные ассамблеи» на материале музыки и архитектуры обсуждались постимперские трансформации в Узбекистане, Таджикистане, Украине и Македонии. Изобретение национально-этнических музыкальных традиций было важным способом советского нациестроительства, сочетавшего национальные традиции и политический контроль над ними. *Мехренегар Ростами* (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе) в докладе «*Замороженная музыка. Имперские формации в советской и постсоветской Центральной Азии*» обратилась к традиции таджикско-узбекского шашмакома. В советскую эпоху шашмаком пропагандировался в обеих республиках как особая этническая музыка. При этом при переложении на ноты музыкальный текст упрощался, попутно утрачивая элементы, связанные с ритуалом. Вытесненный из официального атеистического контекста, исламско-религиозный характер шашмакома сохранился только в частной сфере в контексте культурного сопротивления. Сегодня традиция шашмакома возрождается как элемент националистической программы, но, как и в советское время, снова стремится к стандартизации музыкального исполнения. Альтернативные исполнения этой музыки вновь вытесняются в частное пространство.

В то время как эта форма обращения с национальной музыкальной традицией еще явно находится в рамках колониальных дискурсов, украинский музыкальный феномен «*DakhaBrakha*» представляет собой альтернативную практику. *Мария Соневицки* (Бард-колледж) в докладе «*Этнохаос. Провинциализация России в украинской этнической музыке*» называет это музыкальное явление «звуковым марке-

ром суверенности». Популярная как в Украине, так и на международной арене этнической музыки группа «ДахаБраха» позиционирует себя вне Западной Европы и России, находясь как бы в «третьем пространстве» в терминологии Хоми Бабы. Музыканты обращаются к разным этническим традициям и включают как гуцульские мотивы, так и элементы глобальной культуры хип-хопа. Докладчица считает, что «этнохаос» как музыкальное самоопределение группы является выражением гибридной и эклектичной этнической музыки, *world music 3.0*, для которой характерен осознанно ироничный способ обращения с имперским и национальным прошлым.

Совсем по-иному имперское прошлое оказалось мобилизовано в Македонии. *Вессела Варнер* (Университет Алабамы в Бирмингеме) в докладе «*Перформанс империализма в посткоммунистической Югославии. Нация и память в проекте "Скопье 2014"*» показала, что перестройка города Скопье имела черты агрессивной национальной стратегии самолегитимации. Обращаясь к неоклассицистической стилистике в архитектуре и скульптуре, македонское правительство конструировало свою принадлежность к европейскому сообществу и одновременно демонстрировало постимперскую меланхолию и эклектичный молодой национализм. Конструируя свой внешний образ как сильный и «мужской» (например, в огромных статуях рыцарей в центре города), молодое государство тем не менее не может скрыть своей социальной и политической слабости.

Декolonизация, пожалуй, нигде не проявляется более отчетливо, нежели в архитектуре, обсуждение которой находилось в центре секции «Структуры деколонизации». *Лукач Станек* (Манчестерский университет) в докладе «*Воспоминания о встрече. Восточноевропейские архитекторы в Западной Африке в период холодной войны*» обратился к материалам воспоминаний участников совместных проектов восточноевропейских и западноафриканских архитекторов 1960-х годов. Архитекторы с обеих сторон работали с оглядкой на опыт колониального взаимодействия с западными странами. Представителям соцлагеря проекты в Западной Африке позволяли ощутить принадлежность к международной профессиональной элите, в то время как западноафриканские заказчики указывали на исторические параллели обоих регионов и понимали это сотрудничество как инструмент слома классических колониальных иерархий: в профессиональных дискуссиях ганские специалисты участвовали на равных или диктовали свои условия. Любопытно, что ретроспективно восточноевропейские архитекторы были склонны акцентировать именно экономические аспекты работы в Западной Африке и даже ассоциировать этот опыт с диссидентскими практиками, в то время как жители Ганы подчеркивали политическое значение сотрудничества: преодоление колониальных иерархий и социалистическую модернизацию.

Вытеснение имперско-колониального наследия находилось в центре внимания доклада *Нари Шелекпаева* (Монреальский университет) «*Астана как имперский проект. Казахстан и его кочующие столицы*». С опорой на исторический контекст докладчик показал, что постсоветский проект по переносу столицы в Астану не является оригинальным: он глубоко укоренен в имперских практиках прошлого и продолжает традицию перенесения столицы в связи с развитием инфраструктуры Казахстана начиная с XIX века. Хотя именно Астана некогда была центральным объектом хрущевской кампании по освоению целины и, таким образом, может служить символом колониального прошлого, в новом казахстанском национальном нарративе это прошлое замалчивается либо представляется как несуществующее.

Познакомиться с программой и текстами докладов можно на странице <https://imperialreverb.princeton.edu/>.

*Светлана Сиротинина,
Клеменс Гюнтер*

Международная конференция

«Сталинизм и война»

(Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», 24–26 мая 2016 г.)

В конце мая прошлого года Международный центр истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий (НИУ ВШЭ) и Фонд им. Фридриха Эберта провели научную конференцию «Сталинизм и война». Содействие в организации также оказывали Центр высших исследований Холокоста имени Джека, Джозефа и Мортона Мэнделов при Мемориальном музее Холокоста (США), Германский исторический институт в Москве, Фонд семьи Блаватник, Национальный центр научных исследований в Париже, Центр франко-российских исследований в Москве. В дискуссиях принимали участие ученые из России, США, Германии, Франции, Венгрии, Австрии, Великобритании, Литвы, Киргизстана, Италии, Украины, Польши, Казахстана, КНР, Швейцарии, Чехии и Финляндии. Конференция «Сталинизм и война» тематически перекликалась с научными мероприятиями прежних лет. В 2012 году на базе Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий прошла конференция «Вторая мировая война, нацистские преступления и Холокост на территории СССР», а в 2015 году конференция «Европа, 1945: Освобождение. Оккупация. Возмездие».

По замыслу организаторов, ключевой задачей дискуссий должно было стать новое осмысление сталинизма — как системы власти и как протяженного отрезка советской истории — через призму войны. Еще при анонсе конференции, объявляя о приеме заявок, организаторы сформулировали ключевые проблемы для обсуждения: во-первых, предполагалось рассмотреть, какое значение имела война для сталинизма как системы политической, идеологической, экономической и культурной власти, нацеленной на переустройство общества и мобилизацию населения; во-вторых, как советская система адаптировалась к условиям войны с нацистской Германией, представлявшей смертельную угрозу для самого существования страны, и в какой мере победа легитимировала сталинскую систему; в-третьих, как внезапное исчезновение сталинской власти на обширных территориях СССР, оказавшихся под нацистской оккупацией, повлияло на взгляды и поведение людей. Получив более 150 заявок, организаторы были вынуждены сделать непростой отбор, воплотившийся в 42 доклада на 14 тематических секциях.

С приветственными словами от имени организаторов выступили Олег Будницкий (НИУ ВШЭ) и Вера Дубина (Фонд им. Фридриха Эберта). Затем модератор секции «Сталинизм и война: внутренняя динамика и сравнительная перспектива» Майкл Дэвид-Фокс (НИУ ВШЭ, Москва) представил докладчиков и конференция начала свою работу. Дэвид Ширер (Дэлаверский университет) выступил с докладом «Война в отсутствие войны: к пониманию насилия эпохи сталинизма». По словам докладчика, Сталин мог управлять репрессивными механизмами так, как считал нужным: он мог уменьшить их мощность, когда считал, что они достигли поставленных целей, что находилось в жестоком противоречии с нацистским способом накопления и усиления насилия. Циклы насилия при Сталине были согласованы с периодами войны или страха перед неминуемой войной, но для Сталина, как и для всех большевиков, война была постоянной основой политики управления. Двадцатилетие сталинского военного социализма не привело к построению хорошо организованного общества, а, напротив, низвело его до состояния хаоса. Война, однако, принесла лидерам режима новое чувство уверенности в собствен-

ной легитимности: массовые репрессии определенных категорий населения не только продолжались после войны, но стали более интенсивными. Репрессии против социально опасных элементов были продолжены в Прибалтике, Западной Белоруссии, Молдавии, хотя они и стали менее смертоносными. На протяжении большей части десятилетия репрессивная политика властей была нацелена преимущественно на девиантные и маргинальные слои общества. С точки зрения докладчика, Сталин постоянно был на войне: либо той, что шла при нем, либо той, к которой он готовился, которая была неминуема и неизбежна. Советский лидер искренне верил, что мятежники и шпионы в согласии с зарубежными державами угрожают взорвать страну изнутри. Эта навязчивая идея опиралась на жизненный опыт ведения революционной борьбы.

Олег Хлевнюк (НИУ ВШЭ, Москва) в докладе «*Военный кабинет Сталина: практики и последствия разделения полномочий*» обратился к проблеме становления единоличной диктатуры в СССР. Он отметил, что к 1941 году сталинская власть стала максимальной, однако война прервала процесс усиления личной власти Сталина, сделав ГКО коллективным органом управления советским обществом. Его создание прервало тенденцию вытеснения из высших эшелонов власти старой партийной группы. Члены ГКО обладали высоким формальным статусом и получили реальные полномочия в разных сферах народного хозяйства при организации военных действий; они могли решать многие военно-оперативные вопросы по своему усмотрению. Докладчиком была предложена периодизация эволюции руководящей группы в 1937–1952 годы: 1937–1941 годы — разрушение руководящей группы; 1941–1945 годы — возвращение к коллективному руководству; 1945–1948 годы — переходный период и изменение военной руководящей группы; 1949–1952 годы — разрушение коллективного руководства. В качестве характерных признаков системы высшей власти в годы войны были отмечены следующие черты: сохранение приоритетных позиций Сталина; легитимация руководящей группы в виде ГКО СССР; делегирование функций и административная автономность членов высшего руководства; стабилизация политического руководства и лояльность Сталина по отношению к коллективному стилю управления. Была представлена таблица, иллюстрирующая динамику заседаний руководящих комиссий ГКО и СНК СССР без Сталина. На основании приведенных данных было продемонстрировано, что даже после перелома на фронтах с 1943 года число заседаний без участия Сталина постоянно возрастает — коллективные решения стали естественной частью системы управления советским обществом в эти годы. Автономия, относительная независимость в принятии решений и защищенность от репрессий, которую получили члены высших руководящих органов в годы войны, позволили им успешно реализовывать коллективный принцип управления военным хозяйством. Был сделан вывод, что легитимация руководящей группы, коллективный стиль принятия решений фактически ограничивали к концу войны власть Сталина. Война привела к усложнению становления единоличной диктатуры, что затем нашло выражение в послевоенной политической борьбе и конфликтах на высшем уровне власти.

Олег Будницкий (НИУ ВШЭ, Москва) посвятил доклад «*Сталинская юстиция военного времени (1941–1942)*» беспрецедентному всплеску репрессий в начале войны. Характерной их чертой стало осуждение людей судами общей юрисдикции. Особое внимание было обращено на изменения в суровости приговоров, вынесенных судами по 58-й статье. Согласно подсчетам, представленным докладчиком, в первом полугодии 1941 года, т.е. фактически до начала войны, на 7 737 приговоров от 5 до 10 лет приходится 134 приговора к высшей мере и 28 к срокам свыше 10 лет. Во втором полугодии на срок от 5 до 10 лет было осуждено 8272 человека, а

число осужденных на срок выше 10 лет уменьшилось до 9. Радикализация репрессий проявила себя через кратный рост числа осужденных по отношению к высшей мере наказания. После начала войны число смертных приговоров увеличивается более чем в 10 раз — они вынесены 1535 подсудимым. Пик репрессивных реакций на начало войны наблюдается в первом полугодии 1942 года. Число смертных приговоров возросло до 2740, на срок от 5 до 10 лет было осуждено 10 187 человек, а свыше 10 лет — 5 человек. В 1942 году нехватка людей для Красной армии побуждает суды ослабить репрессивный накал. Из лагерей в это время освобождается более 250 тыс. человек призывного возраста. В судебной системе осознание ценности «человеческого материала» ведет к снижению приговоров к высшей мере наказания в 4 раза, до 638 во втором полугодии 1942 года.

Льюис Сигельбаум (Университет штата Мичиган) представил доклад «*Перемещение населения в период Великой Отечественной войны: некоторые сравнительные аспекты*», в котором обсуждались две проблемы: какую роль в войне играли перемещения масс и как в этом контексте можно определить феномен сталинизма. По слова докладчика, последний нужно рассматривать как образ жизни (а не как цивилизацию, следуя Стивену Коткину). Докладчик рассмотрел Первую мировую войну как прелюдию ко Второй, определяющую многие ключевые черты сталинизма. В 1920—1930-е годы в СССР эвакуация населения рассматривалась как организованный процесс; уже в 1941 году НКВД предполагало, что не может быть никакой эвакуации за пределами генерального плана. Всякие неразрешенные перемещения должны быть ликвидированы. В июле 1941 года НКВД установило ограничения для въезда в Москву. В докладе были обозначены различия между эвакуацией как спасением групп населения от оккупации и депортацией, которая означает переселение опасных групп. Когда немцев в 1941 году перемещали за Урал, это называли переселением, тем самым сравнивая их со «спецпереселенцами». Эвакуация в годы войны проводилась в жестких условиях: сталинский образ жизни превращался в сталинский образ смерти.

После перерыва конференция продолжилась секцией «Международные аспекты сталинизма эпохи войны», которую модерировал Михаил Супрун (Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Архангельск). *Стивен Коткин* (Принстонский университет) представил доклад «*Сталин и Зимняя война 1939—1940 годов: победа или просчет?*». По словам докладчика, Сталин полагал, что СССР угрожают прибалтийские государства, и в то же время ему казалось, что у них нет подлинного суверенитета, так что они могут стать инструментом в чужих руках — германских или британских. При этом историку сложно реконструировать намерения Сталина: нет документов, в полной мере отражающих его стремления и оценки, — можно лишь сделать ряд предположений. В переговорах с финнами Сталин принимал личное участие, но финская сторона не доверяла ему. Взаимное недоверие подталкивало стороны к конфронтации. Для Сталина военное превосходство сил было достаточным аргументом, чтобы заставить партнеров по переговорам подчиниться. Когда же выяснилось, что это не так, Сталин принял решение о военной операции ограниченного масштаба, вылившейся в полноценную советско-финскую войну.

Альфред Рибер (Центрально-Европейский университет, Будапешт) выступил с докладом «*Тезисы Сталина о пограничных территориях и цели советского государства в войне*», в котором было отмечено, что Сталин не обладал генеральным планом войны: он руководствовался балансом сил, позициями Красной армии, отношениями с союзниками и политической ситуацией на завоеванной территории. Тезис «о пограничных странах» позволяет обобщить перечисленные факторы. Сталин опирался на собственный опыт проведения политики мультикультурализма на

Кавказе, строительства квазифедеративного СССР и доктрину социализма в одной стране. Согласно идеям социал-демократов XIX века, центр нуждался в поддержке периферии, а та, в свою очередь, в руководстве из центра. Несмотря на отсутствие генерального плана, его политику удобно рассматривать через призму политики «приграничных территорий». Внутренний периметр — это территории, связанные с операциями Красной армии; внешний — там, где реализуются англо-американские военные операции. В обеих сферах специальное командование берет на себя специальную власть. Ключевой тезис доклада заключается в том, что в конце войны сталинские цели заключались в том, чтобы поставить освобожденные приграничные территории под свой контроль и в то же время сохранить большой союз на послевоенный период. Эти цели Сталин рассматривал как дополняющие друг друга, что приводило к глубоким противоречиям. За два столетия цели императорской и советской России менялись в зависимости от баланса сил. Что осталось постоянным, так это их активное участие в борьбе за контроль над мультикультуральными приграничными территориями, которая лежала в основе российского представления о внешней безопасности и ее внутренней стабильности.

Петер Руггенталер (Университет Граца) представил доклад «*Сталин и планы раздела Германии в годы Второй мировой войны*». Уже на ранней стадии Второй мировой войны планирование будущего Германии играло важную роль для Сталина, однако, по словам докладчика, у Сталина не было продуманной стратегии на этот счет — он действовал по ситуации. Политика советского руководства после войны — это поиск мер, чтобы устранить долговременную угрозу со стороны Германии. Вместе с тем, планы разделения Германии обсуждались с союзниками еще во время войны, однако тогда Сталин воздержался от каких-либо конкретных шагов.

Модератором секции «Советские властные структуры в центре и на местах в годы Второй мировой войны» стал Николаус Катцер (Германский исторический институт, Москва). Работу секции открыл доклад *Никиты Пивоварова* (Российский государственный архив новейшей истории) «*Кадры решали все: динамика численности номенклатуры ЦК ВКП(б) в 1939—1945 годы*». Докладчик напомнил участникам конференции, что в сталинский период много внимания уделялось организационной политике, обратив внимание на то, что в исследовательской литературе все еще отсутствуют точные данные о численности номенклатуры в предвоенный и военный периоды. Рассекреченные недавно источники, находящиеся в фондах статистики руководящих кадров и сектора учета и анализа кадров, позволяют восполнить этот пробел: война повлияла на социально-профессиональный состав партийных кадров, занимавших номенклатурные должности. В 1939—1940 годы можно зафиксировать рост численности номенклатуры ЦК. При помощи таблицы «Динамика численности номенклатуры ЦК в 1939—1940 годы» докладчик проиллюстрировал существенные изменения в численности номенклатурных работников. С апреля 1939 года (4 193 человек) их число постоянно росло, и в декабре 1940 года номенклатура ЦК насчитывала уже 83 388 человек. Молодые выдвиженцы получали власть и становились маленькими диктаторами. Изменения в организационной политике решали задачу проблемы контроля над номенклатурой. В годы войны численность номенклатуры ЦК колебалась следующим образом: в конце 1942 года список номенклатурных работников насчитывал 43 976 человек, в декабре 1943 года — 53 309 человек, в декабре 1944 года — 51 484 человека, а к концу 1945 года — 54 047 человек. Помесячные колебания наблюдались в пределах 1—2 тысяч человек.

Кирилл Болдовский (Фонд исследования проблем новейшей истории, Санкт-Петербург) представил доклад «*Эволюция сталинской системы регионального управления в условиях заблокированного Ленинграда в первый год Великой Отече-*

ственной войны». Оказавшись в изоляции (блокаде), ленинградские руководители столкнулись с проблемами настройки эффективно работающей системы управления городом, которая сложилась к сентябрю 1941 года. Основную роль в ней играли партийные структуры — бюро и аппарат Ленинградского горкома партии (ЛГК): в их руках были объединены военные и хозяйственные функции. ЛГК в годы войны действовал как самостоятельный орган, обладающий значительной автономностью от центральной власти в сфере принятия решений. В Ленинграде фактически сложился «региональный» стиль управления, повторявший основные черты сталинской системы, — ключевые решения принимались бюро горкома. В 1941 году ЛГК основное внимание уделял вопросам организации производства военной продукции. С января 1942 года в фокусе его внимания находятся вопросы ведения городского хозяйства; организация помощи населению вошла в повестку дня ЛГК, когда ситуация со снабжением и городским хозяйством стала критической. Население рассматривалось как материальный ресурс в системе промышленного производства. От истощенных людей стремились добиться максимальной трудовой отдачи, несмотря на сложность блокадной ситуации. Изменившись, ленинградская власть смогла решить первичные задачи организации городского и военного хозяйства как единой системы управления городом в условиях блокады. Конституирование легитимности автономной региональной системы управления произошло в конце войны и послевоенный период, и практики «региональной самостоятельности» стали одной из причин чисток в рамках так называемого «ленинградского дела».

Йорам Горлицкий (Манчестерский университет) в докладе «*Возвышение региональных диктаторов: последствия Второй мировой войны и советская периферия*» отстаивал тезис, что следствием Второй мировой войны было возвышение региональных диктаторов. На протяжении 1945—1975 годов в советской системе было множество диктаторов — тоталитарная власть воспроизводила себя. Политический контроль всегда основывается на отношениях доверия и недоверия: патерналистская политика осложняет положение регионального правителя, который занимает промежуточное место между верховным диктатором и населением. Ресурсы власти регионального правителя — территориальная партийная организация и работа против коллег на основе компромата. Автономия регионального лидера (диктатора) поддерживалась при помощи сотрудничества с НКВД. Открытый шантажу человек оказывается в позиции, когда ему можно доверять. Рассмотрев ряд примеров, докладчик продемонстрировал, как работала система шантажа и недоверия в сталинской реальности в качестве инструмента политической борьбы и, одновременно, социальной кооперации элиты. В окружении региональных правителей было много людей, доступных политическому шантажу. Шантаж применялся к коллегам, друзьям или союзникам; компромат стал основой создания особых политических сетей в сталинском обществе. После смерти Сталина характер компромата изменился, но он не утратил значения. Используя сетевой анализ и современные концепты «доверия» и «недоверия», можно по-новому изучать закрытый мир советской политики.

Франциска Экселер (Кембриджский университет) в докладе «*Как Вторая мировая война изменила — или не изменила — неформальные властные структуры в Советском Союзе*» рассмотрела ту важную роль, которую неформальные отношения патронажа играли в советском обществе. В докладе была рассмотрена послевоенная белорусская ситуация: советская республика Белоруссия вдвое увеличила свою территорию за счет присоединения к ней в 1939 году регионов Восточной Польши. С 1941 по 1944 год республика была оккупирована немцами. Послевоенное восстановление советских партийно-государственных учреждений наталкивалось на дефицит квалифицированных кадров. Одновременно требова-

лось придать политическое содержание оценкам поведения советских граждан в период оккупации. В этих условиях статус партизана, борца с оккупантами стал важным политическим ресурсом. Его использовали в политических целях для построения цепочки патрон-клиентских отношений. Не все партийные начальники, которые представляли себя партизанами, на самом деле реально воевали в лесах. Репрессивная политика советских властей сделала статус партизана амбивалентным: после репрессий, затронувших партийных руководителей, активно использовавших «партизанский статус» как политический ресурс, обращение к сюжетам выживания на оккупированных территориях стало рискованной практикой. В итоге произошел возврат к прежним, довоенным практикам конструирования патронажных политических сетей. Таким образом, можно сделать вывод об ограниченном, локальном влиянии Второй мировой войны на неформальные политические сети.

Второй день конференции отличался от первого раздельной работой секций. Участникам следовало определиться со своими предпочтениями и выбрать между докладами о советском государстве или советской культуре, политиках этничности и Холокосте или кинематографической реальности, сталинизме на периферии или проблемах плена в СССР. Тематика обозначенных в программе секций позволяла ожидать, что дискуссия выйдет за границы политики и идеологии.

Модератором одной из утренних секций: «Сталинское государство и самоорганизация в советском тылу» была Людмила Новикова (НИУ ВШЭ, Москва). *Венди Голдман* (Университет Карнеги-Меллона, Питсбург) представила доклад «*Сталинское государство и массовая мобилизация: от эвакуации — к трудовым мобилизациям — и далее к организации заводских столовых*». Сталинистское государство достигло апогея власти во время Второй мировой войны: были реализованы широкие мобилизационные задачи, беспрецедентные в истории, включающие эвакуацию материальной базы, существовавшие государственные институты были адаптированы к новым военным задачам. Когда государство создало новые организации, Комитет по эвакуации и Комитет по учету и распределению рабочей силы, оно направляло туда руководителей промышленных комиссариатов, НКВД, профсоюзов и других правительственных учреждений. Докладчица проследила, как государство разместило и накормило миллионы людей, которые были мобилизованы для работы на фабриках, в шахтах, на стройках в сотнях километров от своего дома; какие конфликты существовали между хозяйственными организациями; насколько были связаны сталинистские практики властвования, развитые в 1930-е годы, и военные практики.

Наталья Бельская (НИУ ВШЭ, Москва) продолжила обсуждение темы организации жизни в советском тылу: в докладе «*Формы и механизмы самоорганизации в советском тылу*» она оппонировала известной идее о конфликте местных жителей с эвакуированным населением. В докладе отстаивался тезис, что во многих случаях эвакуированные и местные жители вынуждены были полагаться друг на друга, чтобы выжить. Бартерный обмен, активно используемый всеми, был порожден неэффективностью работы советского аппарата распределения — рынок играл важную роль внутри локальных сообществ: он стал местом, где люди встречались, обменивались информацией, совершали сделки.

Другую утреннюю секцию, «Война и советская культура», модерировал Майкл Скаммел (Колумбийский университет, США). Она открылась докладом *Ильи Кукулина* (НИУ ВШЭ, Москва) «*Изменение режима управления литературой со стороны ВКП(б) в 1943—1944 годах*». В докладе был представлен анализ изменений политики управления советской литературой в годы войны. В 1943—1944 годах ЦК принимает несколько постановлений, дискредитирующих новые произведения

видных советских писателей и деятелей искусства — Ильи Сельвинского, Николая Асеева, Андрея Платонова, Михаила Зощенко, Александра Довженко. Есть основания полагать, что эти постановления и статьи свидетельствуют о начале проведения последовательной политики, целью которой была смена режима управления литературой. Критиковавшие авторы испытали заметное влияние модернизма или были прямо связаны в своей биографии с дореволюционными модернистскими течениями. Мариэтта Чудакова говорила о «микрооттепели» в советской культуре, пришедшейся на весну—осень 1943 года: она стала временем надежд на реабилитацию модернизма, который был фактически запрещен в СССР в 1936 году. В литературе эта оттепель фактически начиналась во второй половине 1942 года. Попытки осмыслить новый опыт войны, страх, эмоции и переживания требовали кодификаций. Стихи из блокадного Ленинграда нарушали сложившиеся до войны конвенции советской литературы. Так, Илья Эренбург в речи в апреле 1943 года прямо говорил, что изображение катастрофических последствий войны позволит вновь легитимизировать методы «формализма» и «натурализма». В воздухе витала идея «восстановления правил игры», существовавших до разгрома модернизма. По-видимому, Сталину и секретариату ЦК нужно было запугать писателей, редакторов, в целом интеллигенцию, чтобы такой легитимизации не произошло, но это запугивание достигло своей цели лишь частично, поэтому потребовалось продолжение. Одной из целей постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» 1946 года было «додавливание» модернистских влияний в культуре. Власть стремилась вытеснить экзистенциальный опыт из литературного поля.

Мария Майофис (Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Москва) представила доклад «*“От «костров ненависти» к «торжеству жизни»?*» *Редакционная политика и социальные сети вокруг газеты “Комсомольская правда” в 1943—1946 годах*». Военная периодика сталкивалась с общим набором проблем: снижение тиражей, сокращение штатов, требования агитпропа выполнять мобилизационные задачи. «Комсомольская правда» смогла выйти из этой ситуации с максимальным прибытком, что определило ее дальнейшее развитие: ее преимуществом была сеть собственных военных корреспондентов, для которых была создана целая система подготовки и воспитания, нацеленная на то, чтобы учить привносить что-то личное, близкое и понятное читателям — именно в «Комсомольской правде» изобрели полосы «писем с фронта». Для обучения персонала региональных газет проводились специализированные курсы; в годы войны проходили совещания собкоров, которым оплачивали дорогу до Москвы, питание, проживание, — для них проводились специальные культурные программы, включающие посещение театров, музеев, выставок, конструировался общий опыт, общность переживаний. Фактически на базе газеты создавались социальные сети с читателями и широким кругом журналистов, ставшие основой для информационной сети «Комсомольской правды» по всей стране. Редакционная политика в годы войны стала базой для перехода газеты от «пропаганды ненависти» в начале войны к конструированию нарратива «исцеления военных ран».

Секция «Холокост: история и память» модерировалась Дэниэлом Ньюманом (Центр высших исследований Холокоста имени Джека, Джозефа и Мортон Мэнделов при Мемориальном музее Холокоста, США). *Ирина Романова* (Европейский гуманитарный университет, Вильнюс) посвятила доклад «*Послевоенный еврейский Бобруйск*» проблеме адаптации евреев, вернувшихся из эвакуации, к жизни в городе в условиях после Холокоста. Бобруйск — город с имиджем столицы советского еврейства, и война стала мощным катализатором формирования еврейской идентичности. После войны в Бобруйск активно переселялись евреи из локальных местечек, формировалась особая культурная среда, влиявшаяся, в частности, в борьбе

за открытие синагоги. Тайные (незаконные) миньяны, пункты выпечки мацы, шойзеты, самодеятельный театр на идиш функционировали в нелегальном правовом пространстве — из них конструировалась неформальная культурная среда, закреплявшая этнические и религиозные модели самоидентификации евреев в Бобруйске. При этом власть использовала экономические рычаги давления на евреев, привлекая их за неуплату налогов и т.п. Однако эти конфликты цементировали ощущения особой идентичности, в основе которой лежали память о семейных трагедиях во время войны, травматический опыт переживания военной катастрофы.

Секция «Война и кинематограф» модерировалась Александром Голубевым (Центр по изучению культуры Института российской истории РАН, Москва). Работу секции открыл доклад *Валери Познер* (Национальный центр научных исследований, Париж) «*Война и оккупация на экране: дилеммы кинопроизводства в Казахстане*». В годы войны киностудия Алма-Аты была объединена с эвакуированными сюда «Мосфильмом» и «Ленфильмом». Созданная из них центральная объединенная киностудия художественных фильмов должна была снимать фильмы о войне. Участники этих съемок не обладали реальным опытом боевых действий — у них не было информации о том, что происходит на фронтах войны, кроме сводок Совинформбюро. В сложных условиях им приходилось конструировать «образ» войны из самого разного историко-культурного опыта. Докладчица обратила внимание, что местные партийные органы увидели в эвакуированных творческих работников особый политический ресурс: они стремились их опекать, для известных актеров и режиссеров создавались благоприятные материальные условия жизни в эвакуации, резко контрастировавшие с нуждами местного населения. Для республиканского партийного руководства это был шанс сконструировать столичный стиль жизни, приобрести новый номенклатурный статус, которым они стремились воспользоваться. Активная работа Алма-Атинской киностудии в годы войны завершилась после ее окончания, когда киностудии и творческие работники вернулись из эвакуации на прежнее место в Москву и Ленинград.

Секция «Сталинизм в Центральной Азии и мусульманских районах» проходила под модераторством Рональда Сюни (Мичиганский университет). *Флора Робертс* (Чикагский университет) представила доклад «*Время пировать? Автаркия в Таджикской ССР во время войны, 1941—1945*». По словам докладчицы, война стала моментом истины, позволяющим увидеть степень советизации общества, как на оккупированных территориях, так и в глубоком тылу. В Таджикистане местные чиновники устроили «пир во время войны»: в условиях дефицита продуктов они создали для себя особую систему распределения и потребления. В среде местной номенклатуры широкое распространение получили практики ценных подарков друг другу, что, однако, было не бунтом против советской колонизации, но инструментом усиления человеческих взаимоотношений и укрепления патронажных сетей.

Павел Дятленко (Киргизско-российский Славянский университет, Бишкек) представил доклад «*Трансформация советского режима в Киргизской ССР в период Великой Отечественной войны*». Война присутствовала в Киргизской ССР в двух формах. По отношению к фронту — это был глубокий тыл. Но военные столкновения на границе с Китаем повышали напряженность. Сложность обстановки побуждала органы госбезопасности активно искать врагов — шпионов и диверсантов. Переселение в регион 150 тысяч человек (по численности — это 10% от довоенного населения республики), принадлежавших к депортированным народам (народы Северного Кавказа, поляки, немцы и др.), также усиливало репрессивные функции института НКВД. В условиях войны советская власть ускоренными темпами проводила социальную и экономическую трансформацию хозяйственной жизни в регионе: в 1943—1945 годы под принудительную мобилизацию впервые

попали киргизы. Военным мобилизациям подверглась практически четверть населения республики. Интенсивное строительство промышленных и горнодобывающих предприятий реализовывалось по образцам сталинской индустриализации 1930-х годов. За годы войны Киргизская ССР стала промышленно-аграрным регионом. В ответ на рост социальной напряженности власти допустили частичную либерализацию отношений в сфере исполнения религиозных культов — суннитского ислама и христианства. Политика принудительной индустриализации проходила на фоне недостатка продовольствия и других тягот военного времени.

Кирилл Феферман (Ариэльский университет, Израиль) выступил с докладом «*Политика советских властей по отношению к исламу в период войны: по милости Сталина или Гитлера?*». В годы войны власти смягчили отношение к религиозным конфессиям, но при этом ислам труднее поддавался контролю: органы безопасности плотно контролировали мусульманских проповедников, фиксируя тексты их проповедей. В то же время в Крыму и на Северном Кавказе немцы предоставили исламу беспрецедентные свободы и активно использовали религиозный фактор в пропаганде. В силу этого власть была вынуждена допустить часть религиозных свобод для мусульман.

Вера Дубина (Фонд им. Фридриха Эберта) модерировала секцию «Война и проблема плена в СССР». *Александр Кузьминых* (Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний России) выступил с докладом «*Система военного плена и интернирования в СССР: особенности формирования и функционирования*». Государственное ведомство (ГУПВИ), созданное при НКВД для организации содержания военнопленных и интернированных иностранных граждан, функционировало по образцам Гулага. Учреждения военного плена и интернирования являлись своего рода местами принудительной изоляции иностранцев, выполнявшими функции эксплуатации их труда и политической индоктринации. Многолетнее пребывание в лагерях НКВД и МВД, а также принудительное привлечение к труду стали своеобразной формой «наказания» для миллионов обезоруженных солдат и офицеров противника. Наравне с Гулагом «архипелаг ГУПВИ» выступал поставщиком «рабсилы» для выполнения поставленных партийно-государственным аппаратом экономических задач. Механизм привлечения «узников войны» к судебной ответственности во многом соответствовал практике судебного преследования «врагов народа». По сравнению с заключенными и спецпоселенцами военнопленные представляли привилегированную группу спецконтингента: правовой статус пленных, в отличие от узников Гулага, регулировался нормами международного права, что обязывало советское руководство если не к их детальному выполнению, то хотя бы к следованию в наиболее принципиальных вопросах. Жизнь военнопленных в лагерях УПВ-ГУПВИ носила более организованный и упорядоченный характер, чем жизнь интернированных (мобилизованных) немцев, которые числились на балансе гражданских наркоматов (министерств). Сравнивая доли военнопленных и интернированных с численностью заключенных и спецпереселенцев в спецконтингенте НКВД-МВД СССР в 1940—1956 годы можно говорить о компенсаторном характере использования труда военнопленных (интернированных) в годы войны, когда численность спецконтингента Гулага снижается.

Мария Тереза Джусти (Государственный университет «Габриэле д'Аннунцио», Кьети-Пескара, Италия) представила доклад «*Политработа среди итальянских и немецких военнопленных в советских лагерях во время Второй мировой войны и создание “нового человека”*». Доклад, сопровождавшийся обширным иллюстративным материалом, повествовал о сложной судьбе итальянских военнопленных в советских лагерях в годы войны, когда смертность среди них достигла 56,5% и была в 4 раза выше средней смертности среди пленных немцев. В лагерях

ГУПВИ итальянские солдаты и офицеры наравне с другими привлекались к принудительному труду. Итальянские военнопленные также стали объектом для политической пропаганды и практик перевоспитания (в них принимали участие члены Коминтерна). До 1943 года в политической работе преобладала военная пропаганда; во второй половине войны заметную роль играла пропаганда советского образа жизни и достижений социализма. Среди заключенных проводились политинформации, были организованы антифашистские школы, издавались лагерная газета «Рассвет» («L'Alba»). В заключение доклада был сделан вывод, что результаты политработы не соответствовали ожиданиям: обследуя лагеря, инспекционные комиссии вынуждены были констатировать сохранение положительных оценок фашистского режима в среде военнопленных.

Бауржан Жангуттин (Казахский национальный педагогический университет им. Абая, Алматы) представил доклад «Создание лагерей НКВД СССР для иностранных военнопленных на территории Казахстана в 1941—1945 годы: новые документы и материалы». Обратившись к собравшимся, докладчик сообщил, что основные сюжеты его доклада совпадают с сюжетами ранее прочитанных докладов и потому он попытается в свободном режиме порассуждать о проблеме источников и материалов об иностранных военнопленных, о ценностях воспитания подрастающего поколения на основе этих материалов. Следует отметить, что с материалом доклада желающие участники конференции могли ознакомиться самостоятельно. Он был представлен заранее и доступен в электронной форме. Этот текст преимущественно посвящен описанию Казахстанский лагерей, в нем приводятся данные о датах их создания, численности, смертности лагерного контингента и т.п.

Второй день конференции завершала объединенная секция «Война и сталинизм в международном контексте», модератором которой выступила Любовь Сумм (Москва). *Сет Бернстейн* (НИУ ВШЭ, Москва) представил доклад «Учиться у противника: сталинские исследования зарубежных молодежных организаций, 1934—1941 годы». Докладчик полагает, что происходившее в молодежном движении 1930-х годов репрезентировало важную часть сталинизма. Работа с молодежью отражала представления о будущем советского режима: официальная молодежная культура представляла собой агрессивную попытку мобилизации молодых людей, нацеленную на подготовку их к жизни в коммунистическом обществе. Стратегия воспитания коммунистического поколения не обладала четким планом — в ней преобладали прагматические реакции на происходящее. Милитаризация молодежной культуры происходила за счет массовой мобилизации, культ дисциплины и распространения систем полувоенной подготовки. В военное время произошло слияние с предвоенными практиками подготовки к войне. В годы Второй мировой войны представления о социализме окончательно слились с образами войны.

Оливер Вернер (Институт регионального развития и структурного планирования им. Лейбница, Эркнер, Германия) докладом «“Сталинская мобилизация” в международной сравнительной перспективе» завершал работу второго дня конференции. В последние десять лет немецкие историки обсуждают релевантность современного термина Volksgemeinschaft как аналитического концепта. Смесь социальных обещаний и будущего процветания мотивировала немцев принять участие в уничтожении врагов народа и выдержать смертельную войну против всего мира. В СССР интеграция населения давалась тем легче, что советской власти не нужно было работать с частными экономическими интересами или заключать компромиссы с людьми труда. Поэтому советское правительство имело возможность добиться подчинения жестким законам и мерам.

Третий день работы конференции был посвящен экономике, проблемам оккупации, политикам памяти и национальной идентичности. Секцию «Оккупация, со-

трудничество и противостояние» модерировал Мартин Байссвенгер (НИУ ВШЭ, Москва). *Борис Ковалев* (Санкт-Петербургский институт истории РАН / Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого) выступил с докладом «*Русская православная церковь на Северо-Западе России между Сталиным и Гитлером: сотрудничество, предательство или компромисс?*». Нацистская Германия стремилась использовать духовенство оккупированных территорий в качестве союзников: немецкое командование видело в русских священниках потенциальных агентов разведки, способных поставлять сведения о настроениях населения. В начале войны советское командование не доверяло священникам и продолжало видеть в них идеологического врага. В 1943 году Сталин заключил соглашение с руководством Русской православной церкви; в ответ германское руководство стремилось заручиться поддержкой православных архиереев Латвии, Эстонии и Литвы. С начала 1942 года партизаны и подпольщики пытались наладить связь со служителями культа на оккупированных территориях. Докладчик продемонстрировал, как отношения участников сопротивления и священнослужителей выстраивались в этих непростых условиях.

Константин Обозный (Свято-Филаретовский православно-христианский институт, Москва) представил доклад «*“Новый курс” религиозной политики Сталина и церковная ситуация на оккупированных территориях Ленинградской области (1943—1944 годы)*». Перед войной большая часть духовенства и активных мирян была репрессирована. Открытие церквей на оккупированных немцами территориях было позитивно воспринято крестьянами, а для партизан священники часто сохраняли статус врагов советской власти. Приходы, работавшие по соседству с территориями, контролируемые партизанами, должны были подчиняться довоенным советским законам. Терпимое отношение к церкви партизан отражало их зависимость от местного населения. По мнению докладчика, духовное возрождение, которое началось на оккупированных территориях, побудило Сталина пойти на компромисс с церковью. На конкретных примерах было проиллюстрировано, как при помощи органов НКВД, партизан, разведки на оккупированных территориях распространялись материалы религиозного содержания. «Новый курс» сталинской религиозной политики не означал полной свободы вероисповедания: он поставил под контроль церковные институты, мобилизовав их на борьбу с врагом, вторгшимся в СССР. Священники, действовавшие на оккупированных территориях, позже сами стали объектом репрессий. Докладчик сделал вывод, что «новый курс» подготовил мирное население к процессам реокупации уже со стороны большевиков.

Секция «Советская экономика в годы войны» модерировалась Оскаром Санчес-Сибони (Гонконгский университет). Открыл дискуссию доклад *Аарона Хейл-Доррелла* (НИУ ВШЭ, Москва) «*Колхозный рынок и снабжение продовольствием тыла во время Второй мировой войны*». Начиная выступление, докладчик сообщил, что перед ним стоит две задачи: первая — рассмотреть войну как некий континуум, включающий до и послевоенные годы (этот период закончился реформами декабря 1947 года, когда заново восстановился идеал так называемой культурной торговли); вторая — подчеркнуть, что правительственная политика активно покровительствовала колхозным рынкам, которые возникали явно не спонтанно и не страдали от избыточного официального диктата даже во время кризисов. Основными поставщиками продуктов на рынок были колхозники: они выращивали зерно и картофель. Доля колхозной продукции на рынке была минимальна, составляя менее 1%. В начале 1945 года в СССР было 5 916 рынков, в то время как в 1938 году 1 500. Докладчик стремился доказать также тезис, что частная инициатива была не ограничена только торговлей на рынке — она включала в себя про-

изводство продуктов для продажи. Во время войны сталинское государство мобилизовало людей и в целом обеспечивало их необходимым через карточную систему. На практике же было оставлено много возможностей и для продавцов-колхозников, и для продавцов «секонд-хенда», и для потребителей. Правительство выделило площади для экспериментов в самоорганизации локальных новшеств. Оно поддерживало городских потребителей в их стремлении решать проблемы снабжения при помощи рынков. Существование рынка и карточной системы в эти годы обеспечивало преемственность между довоенными, военными и послевоенными годами.

Выступление *Андрея Кабацкова* (НИУ ВШЭ, Пермь) «*Советский тыл: стратегия выживания. 1942—1944 годы (по дневникам рабочего)*» опиралось на материалы военных дневников рабочего уральского авиационного завода А.И. Дмитриева. Докладчик предложил рассмотреть военный дневник в качестве «исторической улики» в духе Карло Гинзбурга. Социальный портрет автора дневника показывает его наследственным горожанином и рабочим, представителем первого советского поколения, получившего профессиональное образование при социализме. Практика написания дневников анализируется в контексте советской культуры, побуждавшей соотносить персональные поступки с нормативными образами культуры соцреализма (Евгений Добренко). Докладчик обратил внимание на то, что материалы дневника не подтверждают выводы Йохана Хельбека о слиянии рабочей культуры с социалистической риторикой: Дмитриев умело говорит на большевистском языке, но в своих практиках выживания постоянно нарушает нормы и даже законы социалистического общества. Война сильно повлияла на жизнь рабочего Дмитриева: она вошла в его жизненный мир в виде голода, карточной системы и новых форм трудовых мобилизаций. «Стахановский обед» заменил прежние стимулы на производстве. Обмен табака на талоны, любовные романы с буфетчицами в заводской столовой, подделки талонов, вывоз «магнето» с завода с последующим обменом его на муку в колхозе через родственников и другие «хитрости» стали неотъемлемой частью индивидуализированных практик выживания. На их основе в среде рабочих конструировались коллективные стратегии выживания. На примере Дмитриева можно разглядеть, как профессиональная среда и завод дали молодому рабочему высокий статус, защитили от некоторых тягот войны. Они же позволили ему использовать личные компетенции, обретенные через образование и профессиональную деятельность, для расширения социальных сетей, сделав коммуникацию, умение договариваться поверх официальных норм основой выживания в годы войны.

Заключительные две секции конференции были посвящены политикам памяти и идентичности. Секция «Военные мемориалы в годы войны и в послевоенное время» модерировалась Ольгой Поршневой (Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Екатеринбург). *Анне Гассельманн* (Базельский университет, Швейцария) представила доклад «*Как война появилась в экспозициях сталинских музеев*». Обратившись к анализу внутренних документов музеев, таких как планы работы, протоколы, планы выставок, планы экскурсий, докладчица постаралась реконструировать основной нарратив музеев Второй мировой войны. Отмечено, что первые планы выставок о войне датированы военным временем. Активность посетителей, оставлявших отзывы, реагировавших на выставки, делала их создателями нарратива о войне, при этом критика выставок могла рассматриваться как вызов официальной версии этого нарратива. Сравнивая документы столичного и провинциального музеев, докладчица сделала вывод о влиянии персонала музеев, посетителей, участников войны на оформление нарратива, на формирование политики памяти о военном времени.

Михаил Габович (Потсдам, Германия) представил доклад «*Памятники военного времени: сталинский национальный поворот и новое открытие военных мемориалов*», в котором он подверг критике стереотип трактовки военных мемориалов в качестве элемента единого официального плана построения военных памятников. Советское государство стремилось выработать политику единых стандартов для военных мемориалов и памятников, но единых правил возведения военных мемориалов не сформировалось: мемориалы часто возводились армией или региональными властями. Они создавали их согласно собственным представлениям о военных памятниках. Представления о ценности исторического наследия стали оформляться еще до войны. К 1941 году существовали представления о связи досоветского и советского периодов истории и значении архитектурного и культурного наследия, а в годы войны пропаганда усиливает нарратив сохранения исторической памяти: она обличает разрушения исторических памятников на оккупированной территории. Война побудила переосмыслить ценность прежних, дореволюционных памятников военной доблести. Конструируется новая военная история Отечества, куда встраивается «общая история» страны, включая дореволюционный период. Связь между досоветскими и советскими военными мемориалами сохраняется и после войны. Повторное открытие позднеимперских военных мемориалов становится поводом для возведения новых памятников, на примере которых можно увидеть тесную связь сталинизма с военным патриотизмом досоветского времени и русским национализмом. Политики памяти эпохи сталинизма демонстрируют нелинейный характер преемственности, подчиняясь циклическому ритму воспроизводства. Забота о новых, только что возникших памятниках после войны встраивается в общую стратегию заботы о прошлом.

Габор Риттершторн (Национальный центр научных исследований, Париж) представил доклад «*Подземная эпопея: московский метрополитен как военный мемориал*». В глазах властей и публики, так же как по мнению дизайнеров, московское метро было не меньше чем восьмым чудом света. Книги отзывов первых станций метро были полны здравниц в честь партии и Сталина; они также содержали много записей об архитектуре и убранстве московского метро. После первого этапа строительства стиль станций становился более консервативным, что, впрочем, отражало интернациональные тенденции: мемориал Джефферсона, Национальный архив или Верховный суд, построенные между 1935 и 1943 годами в Вашингтоне, были не менее консервативны. Метафора дворцов в записях о станциях сохранилась и в военных мемориалах: архитекторы и специалисты рассматривали новые станции как монументы «грандиозного исторического эпоса», «эпические памятники», как «гимн советской армии». Метро становилось музеем славы советского народа. Анализ деталей барельефов и украшений позволяет обрисовать новые политические и национальные контексты советской культуры.

Доклад *Ирина Склокиной* (Центр городской истории Центральной и Восточной Европы, Львов) «*Памятники и послевоенное восстановление городов: пример Харькова, 1943—1954*» заострил внимание на проблеме конфликта двух концепций развития послевоенного советского города — «города для жизни» и «города-памятника». Утилитарный стиль развития города противостоит истории военного времени и воспоминаниям о победе. Городские элиты были заинтересованы в том, чтобы в центр внимания помещалась военная история и вклад города в войну, ведь это могло привести к получению дополнительных ресурсов. Амбициозные проекты и памятники, посвященные Великой победе, становились частью идеологического поля борьбы за хозяйственные ресурсы. Политика памяти объединяла войну 1941—1945 годов, дореволюционную и революционную эпохи в единую национальную историю. Харьков был показательным примером конструиро-

вания политик памяти о прошлом, которому не предшествовали какие-либо значимые военные успехи.

Секцию «Вторая мировая война и формирование национальных идентичностей» модерировала Людмила Гатагова (Институт российской истории РАН, Москва). Чарльз Шо (Центрально-Европейский университет, Будапешт) представил доклад «*Когда Мухаммед стал Мишей: Вторая мировая война и рождение советского народа*». Вторая мировая война оказала значительное влияние на уклад жизни в Средней Азии: воинская служба, процессы эвакуации и трудовых мобилизаций ускорили интеграцию узбеков в «советский народ», и война стала кульминацией этой политики. Наиболее быстрыми темпами этот процесс интеграции происходил в Красной армии. Служба в Красной армии заставляла солдат изучать русский язык и менять отношение к исламским ритуалам. Самоидентификация солдат на фронте побуждала их принимать русские культурные ориентиры, называть себя русскими именами. Письма женщин на русском и узбекском языках позволяют считать, что русский язык становился символом социального престижа и источником изменений в самоидентификациях. И хотя полной русификации не произошло, перемены в идентичности позволяют говорить о силе воздействия сталинского государства на идентичность в условиях войны.

Маркиан Добжанский (Стэнфордский университет) представил доклад «*Премстственность в советской национальной политике: от Второй мировой войны к позднему сталинизму*». Докладчик предложил на примере Харькова проследить противоречия и разногласия в советской национальной политике. Власть вынуждена отвечать как на запросы городского, преимущественно русскоговорящего населения, так и на ожидания населения сельской местности, глубинок, в основном говорящих на украинском языке. После войны партия должна была устранить последствия нацистской оккупации и националистических тенденций в культурной политике. Опираясь на документы партийных инстанций, докладчик предложил считать победившую модель национальной политики результатом игры на противоречиях внутри партии.

Даниэла Коленовска (Институт современной истории Чешской академии наук / Институт международных исследований Карлова университета в Праге) представила доклад «*Белорусская эмиграция и отклики на начало Второй мировой войны*», в котором рассмотрела реакцию белорусских эмигрантов на начало войны и их активность на территориях, оккупированных нацистами. Особый акцент был сделан на провале белорусской национальной программы 1943 года: белорусская национальная программа, разделявшаяся эмигрантами в Чехословакии, следовала идеалам национального движения начала XX века. Первое поколение белорусских эмигрантов состояло из людей, придерживавшихся левых взглядов и стремившихся к сотрудничеству с другими нациями бывшей империи. Две самые большие белорусские группы в Чехословакии — эсеры и члены Крестьянского союза — отвергали советскую модель большевистской политики конца 1920-х годов. По мере развития международных отношений лидеры движений все больше сдавали свои позиции: Ян Ярмаченко, чья роль в создании национальной программы была решающей, в годы Второй мировой войны признал нацистскую модель.

Такехиро Окабе (Хельсинкский университет) представил доклад «*Диалектика Зимней войны: финская оккупация, финно-угорские исследования и “Калевала” в Карело-Финской республике, 1940—1953*», в котором обсуждалось влияние войны между Финляндией и Советским Союзом на научную дискуссию о «Калевале» и карельском народе, карело-финском национальном эпосе и титульной национальности Карело-Финской республики. С одной стороны, этот текст анализировался советскими учеными с целью интегрировать карельский народ в советскую семью

народов или в советскую идеологию «дружбы народов». С другой стороны, он рассматривается как способ пропаганды советского приоритета и советской дружбы в отношении Финляндии. В докладе делался вывод, что сталинское решение создать Карело-Финскую республику после Зимней войны парадоксально создало пространство для производства карело-финской национальной символики в эпоху идеологических кампаний позднего сталинизма против национальной интеллигенции и национальных культов.

Подведем итоги. Три дня конференции стали содержательным научным форумом. Конференция — это прежде всего площадка для дискуссий, для общения исследователей, представляющих результаты своих работ, обсуждающих дальнейшие перспективы исследовательской деятельности, дискутирующих об актуальном состоянии научного знания. Внимательное прослушивание докладов сопровождалось вопросами, репликами, после выступлений вспыхивали оживленные дискуссии. Участники конференции не ограничивали общение стенами аудиторий, продолжали обсуждать перспективы исследований в менее формальной обстановке, в коридорах во время перерыва, на фуршете или по пути в гостиницы. Даже после официального завершения мероприятия, во время прогулки на теплоходе по Москве-реке продолжался обмен мнениями, впечатлениями и суждениями. В качестве коммуникационной площадки, на которой можно представить собственное исследование, познакомиться со свежими работками коллег, согласовать позиции, обсудить перспективы, найти соавторов или получить рецензию на исследование, конференция, безусловно, удалась. Также к сильным сторонам можно отнести отсутствие сильных парадигмальных разрывов между докладчиками и слушателями: участники мероприятия выступали, дискутировали, обсуждали проблемы на едином научном языке.

Общность научного тезауруса, подходов к изучению локальных и масштабных феноменов проявилась в согласованности позиций по изучению военных трансформаций сталинизма. Сталинизм, помещенный в контекст Второй мировой войны, в докладах был представлен в различных проекциях и модификациях, но тем не менее воспринимался как единый исторический феномен. Различия в исследовательской оптике позволяли анализировать сталинизм то как «цивилизацию», то как «образ жизни», то как «политический организм». Эти различия при всем их концептуальном значении для содержательного наполнения дискуссии можно считать частными: сталинизм обладает преемственностью, разрывы между звеньями цепи менее важны, чем смычки, которые соединяют разные этапы этого глобального исторического феномена. Почти все докладчики имели в виду не только «военный», но и послевоенный сталинизм или указывали на связь с довоенными институтами и формами существования. Способность увидеть в малом локальном историческом явлении большой масштабный феномен также относилась к сильным сторонам участников конференции (в первую очередь тех, что опирался на материалы региональных архивов). Обнаруженные тренды, обозначенные механизмы сохранения и трансформации сталинизма, без сомнения, стимулируют дальнейшую научную работу ученых. И это также позволяет утверждать: конференция удалась.

Андрей Кабацков

Конференция Северо-Восточной ассоциации по изучению России, Восточной Европы и Евразии

(Нью-Йоркский университет / Jordan Center for the Advanced Study
of Russia, 2 апреля 2016 г.)

Название секции, которая открыла конференцию NESEEEES, было провокационным: «Кому принадлежит власть?» Тема практик и акторов власти в различных ее манифестациях оказалась ключевой для большинства докладов. Приглашенный докладчик *Янни Котсонис* (Нью-Йоркский университет) в лекции «*Бабушка и швейная машинка: чему меня научили мои ошибки в изучении России*» говорил об опыте работы западного исследователя при различных режимах власти в СССР и России и о том, каким образом официальные и неофициальные практики власти могут оказать влияние на исследовательскую работу.

Первое заседание конференции было посвящено теме «конфликтов суверенитетов» в Российской империи XVIII—XIX веков. *Гульнар Кендирбай* (Колумбийский университет) рассмотрела трансформацию концепции политической элиты и становление казахского ханства в XVIII веке. Доклады *Колума Леки* (Комьюнити-колледж в Пьемонте, Виргиния) и *Эрика Мак-Берни* (Колумбийский университет) представили два случая исторического ревизионизма. В центре внимания Колума Леки была деятельность историка и географа Петра Ивановича Рычкова: докладчик оспаривал сложившееся мнение о Рычкове как о «царском чиновнике» и о роли имперских националистических амбиций в его работе. Мак-Берни же утверждал, что роль женщин-правителей и их вклад в культурный прогресс недооценивается в русской историографии.

Историческое направление конференции было продолжено секцией «Закон, беззаконие и труд: новые взгляды на историю России XIX века». *Кейт Антонова* (Квинс-колледж / Университет Нью-Йорка) в докладе о текстильной промышленности во Владимирской области представила развитие текстильной индустрии как результат взаимодействия представителей разных социальных классов — от крепостных крестьян до дворянства. Доклад *Гириша Бата* (Университет штата Нью-Йорк, Кортленд) был посвящен юридической культуре позднейимперского периода и росту тенденции в судопроизводстве следовать букве закона вне зависимости от политической мотивированности слушаний. Доклад *Люсьена Фрери* (Университет Райдер) был посвящен внешней политике Российской империи в Испании в 1805—1809 годы (период деятельности Григория Строганова в должности российского посла в Мадриде).

На заседании, посвященном обсуждению современных «траекторий власти в постсоветском обществе», *Арон Бэйтмен* (Военно-воздушные силы США / Университет Сент-Мэри) говорил о преемственности КГБ и ФСБ. *Адель дель Сорди* (Университет Амстердама) и *Франциска Барбара Келлер* (Колумбийский университет) проверили работу «теории рукопожатий» в двух городах Казахстана, Алматы и Астане, показав, что неофициальные каналы доступа к властным структурам могут напрямую определять степень поддержки государственного режима. Презентация *Линны Либерчук* (Институт мировой политики) была посвящена анализу процессов миграции в глобализованном пространстве. По ее мнению, различные практики интеграции мигрантов напрямую влияют на формирование лингвистических идентичностей.

Секция, посвященная взаимоотношениям России, Запада и Восточной Европы, была представлена тремя исследователями из Университета Сент-Джозеф. Доклад

Бэйли Макинтайр был посвящен контркультуре в Советском Союзе в 1945—1989 годы и тому, как молодые люди реализовывали недовольство режимом через интерес к западной музыке, танцу и моде. *Максвелл Бэррил* исследовал мотивацию США в расширении НАТО после 1991 года. *Меган Даффи* предложила новую теоретическую концепцию для анализа и прогнозирования внешней политики России на постсоветском пространстве, в частности в Молдове, Украине и Казахстане.

Отдельные секции конференции были посвящены Юго-Восточной Европе и Украине. В разговоре об идентичности и нациестроительстве в балканском регионе участвовал *Эон Лазаридис Пауэр* (Университет Мичигана), чей доклад анализировал роль Центрального банка Боснии и Герцеговины в развитии межэтнических отношений в Боснии после дейтонских соглашений — в частности, то, каким образом институциональные реформы, позволившие выход международных банков на боснийский рынок, способствовали дестнизации финансового сектора в Боснии. *Бранислав Раделик* (Университет Восточного Лондона) сравнил различные позиции и политическую мотивацию России в отношении сохранения территориальной целостности в случаях Косова и Украины. Доклад *Марты Дейран* (Университет Сетон-Холл) был посвящен тому, как независимость Хорватии и вхождение в состав ЕС отразились в литературе итальянской диаспоры страны.

«Украинская» секция была представлена докладами *Анастасии Власенко* (Нью-Йоркский университет) о самоуправлении украинских казаков и *Валентины Харкун* (Нежинский государственный университет им. Н.В. Гоголя) о роли музеев в формировании культурной памяти коммунизма, хронологии и типологии репрезентации коммунистического наследия страны и травматическом опыте этого периода истории.

Изучение памяти и травмы также было центральной темой заседания, посвященного памяти о войне, революции и Холокосте. *Карен Розенберг* предположила, что перемены политического курса после смерти Сталина привели к пересмотру проекта сионизма в творчестве Мойше Катца и издательской деятельности «Моргн фрайхайд». *Мириам Шульц* (Колумбийский университет) подвергла сомнению общепринятый тезис о том, что память о Холокосте подавлялась в историческом дискурсе СССР. На примере репрезентации Холокоста на страницах журнала «Советиш геймланд» докладчица показала, что эта память стала важной частью идентичности *homo soveticus iudaeus*. *Холли Элизабет Майерс* (Колумбийский университет) сравнила художественные средства жанров фикшн и нон-фикшн, использованные Артемом Боровиком и Светланой Алексиевич при создании нарративов о войне в Афганистане.

На заседании «Советская модерность и мультикультурализм: концепции принадлежности» *Катрин Дэвид* (Нью-Йоркский университет) говорила о репрезентации греко-католической церкви в советских текстах во время двух ключевых исторических событий — Пражской весны и начала деятельности польской «Солидарности». Доклад *Марека Эби* (Нью-Йоркский университет) был посвящен ориентализму в репрезентации среднеазиатского ислама на примере медицинской литературы сталинского периода. *Аманда Босуорт* (Корнельский университет) изучила истории пяти афроамериканцев, мигрировавших в Советский Союз в 1922—1939 годы, предположив, что политика «дружбы народов» в СССР во многом была актом геополитической стратегии пропаганды социализма.

Несколько секций конференции были посвящены новым методологиям в литературоведении. *Шон Блинк* (Йельский университет) предложил новый взгляд на новеллу Гоголя «Вий»: по его мнению, «Вий» был своеобразным экспериментом в работе с аудиторией и попыткой определить границы фантастического изображения имперской периферии, которые будут приемлемыми для городской пуб-

лики. Доклад *Ольги Брейнингер* (Гарвардский университет) был посвящен взаимоотношениям «экзотического» места действия и формирования образа главного героя в романе «Герой нашего времени». *Василий Львов* (Университет Нью-Йорка) нашел ряд сходств между практиками русского формализма, *distant reading* и *digital humanities*.

Отдельная секция конференции «вызвала на допрос» Владимира Набокова (*Interrogating Nabokov*). *Аня Корк* (Йельский университет) проанализировала интертекстуальные связи между «Петербургом» Андрея Белого и «Защитой Лужина». Презентация *Эрики Стоун Дреннан* (Колумбийский университет) была посвящена второстепенным женским персонажам в романах Набокова «Машенька», «Лолита» и «Ада». Доклад *Брендана Джеймса Нибуурта* (Колумбийский университет) исследовал отношение Набокова и Мандельштама к технологическому прогрессу, в частности антипатию, которую оба автора испытывали к телефону.

На секции, посвященной лингвистике и перформативности языка, *Наталья Селезнева* (Университет Лехай) говорила о роли кино в языковой педагогике. *Алан Тимберлейк* (Колумбийский университет) рассказывал о «власти торговли» и о том, как процессы развития торговли в разных частях Восточной Европы (на примере Новгорода, Гданьска и Риги) одновременно способствовали становлению лингвистических контактов и созданию социальной дифференциации. Доклад *Мари Тейс Катцтаун* (Университет Пенсильвании) был посвящен кросскультурному анализу творчества драматурга Ивана Вырыпаева.

Наконец, две секции конференции были посвящены «политическому и духовному». На одноименном заседании *Сэмюэл Каспер* (Университет Пенсильвании) говорил о роли практик реабилитации врагов народа и реституции при формировании идентичности в постсталинском СССР. *Авизер Такер* (Гарвардский университет) предложил рассматривать раскол Советского Союза как результат длительного процесса по урегулированию советской бюрократической элитой своих прав и интересов. В центре внимания доклада *Анны Соколиной* (Международной архив женщин в архитектуре / Университет Виргинии) были швейцарский центр антропософского движения Гётеанум и влияние русского спиритуализма на идеи Рудольфа Штейнера.

Секция, посвященная судьбе русского православия в эмиграции, была представлена докладами *Алексиса Либеровски*, исследовавшего архивы православной церкви в США, и отца *Джона А. Джиллионса*, рассмотревшего деятельность «Американского православного вестника» в 1917—1918 годы. Выступление *Ирины Шиловой* было посвящено ранним антирелигиозным текстам в советской России.

На конференции также состоялся показ документального фильма *Джона Трейнора* (Вустер-колледж) «Lessons from Andøya», посвященного «норвежскому инциденту» 1995 года. Фильм Трейнора затронул тему взаимоотношений США и России и обозначил ряд возможностей для кооперации двух стран — смещая, таким образом, фокус внимания с вопроса о том, кому принадлежит власть, на вопрос об ответственности, которая является ее неотъемлемой составляющей.

Ольга Брейнингер

Шестые Международные Приговские чтения «Энциклопедия Дмитрия Александровича Пригова»

(Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом),
16—18 мая 2016 г.)⁴

16—18 мая в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) в Санкт-Петербурге проходили Шестые Международные Приговские чтения. Темой конференции в этом году стала «Энциклопедия Дмитрия Александровича Пригова». Организаторами чтений выступили Фонд Пригова, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей; конференция была проведена при поддержке издательского дома «Новое литературное обозрение».

Ведущим первого научного заседания выступил Олег Аронсон. Конференция открылась докладом *Михаила Ямпольского* (Нью-Йоркский университет) «О преобразованиях». По словам докладчика, Пригов всю жизнь пытался «транспонировать визуальные идеи во все время отстававшую сферу вербальности», и одним из примеров такого транспонирования можно назвать книгу «Исчисления и установления. Стратификационные и конвертационные тексты», изданную в 2001 году. По мысли докладчика, за исчислениями и установлениями у Пригова стоят живописные интеллектуальные программы начала XX века: он привел в пример Кандинского, который обнаруживал в живописи пифагорейский числовой строй, и отметил, что все конверсии и уравнения Пригова основаны на той же глобальной субъективности, что и арифметика Кандинского. Еще одним важным для Пригова теоретиком был Малевич, сделавший вывод о совершенной относительности мер и безграничной их конвертируемости. Повторяющимся обозначением Малевича у Пригова становится неровное черное пятно, например в эскизе инсталляции «*Mis! Malevicha*» из серии «*Vagina Malevicha*». Интересно, что в тексте «Исчислений и уведомлений», наряду с другими фигурами, появляется «неровное лиловое пятно» (Ямпольский считает, что этот образ восходит к рассказу Густава Майринка «Лиловая смерть»). Пятно часто заменяет у Пригова черный квадрат, бесформенное здесь направлено против математики и «математического сюрюка» (это положение было подтверждено цитатами из Жоржа Батая и Ива-Алена Буа). Докладчик рассмотрел обложку, предпосланную «Исчислениям и установлениям»: для нее Пригов использовал программную работу Ганса Гольбейна «Послы», но внес в картину некоторые изменения: подставил свое лицо вместо лиц обоих послых, зеркально перевернул изображение, а также изъял из него анаморфозу черепа, самую эмблематическую и загадочную деталь. Отвечая на вопрос о том, почему Пригов выбрал для обложки именно эту картину, докладчик отметил, что измерительные приборы (которые мы видим в «Послах») отсылают к установлениям эквивалентности. «Послы» воспроизводят иконографическую схему гравюры Гольбейна («*Mortalium nobilitas memorare nouissima et in aeternum non peccabis*», Есс. 7), где представлены муж и жена, щит с изображением черепа и песочные часы. Череп в «Послах» занимает место черепа на геральдическом щите, песочным часам соответствует циферблат. Череп и часы — спутники жанра *vanitas*; рассматривая образ черепа, Ямпольский отсылает к еще одной картине: натюрморту Филиппа де Шампеня. Там череп находится между песочными часами и цветком, оказываясь, таким образом, местом эквивалентности форм (как в теоретических

4 Сокращенная версия. Полную см. в электронной версии журнала.

трудах Малевича). Череп у Гольбейна связан с финальным снятием различий: смерть все уравнивает и обращает в прах. Выбор обложки и обращение к Гольбейну обусловлены тем, что в «Исчислениях и установлениях» Пригов с помощью абсурдных преобразований показывает нищету означаемого и нищету логики.

Томаш Гланц (Цюрихский университет) представил доклад «*Искусство как обращение. Соображения по поводу самого радикального цикла Пригова*». Таким циклом докладчик считает «Обращения» — произведение с повышенной степенью перформативности. «Обращения» — это самодельные объявления по типу «пропала собака», размером 10—15 см в длину и 3—5 см в ширину, которые Пригов расклеивал по городу. Таких обращений, по подсчетам Гланца, было более тысячи: в академическом издании они занимают более двухсот страниц. Известно, что Пригов отрицал категорию вдохновения и гордился тем, что написал тридцать пять тысяч стихотворений. Проблема восприятия «Обращений» сегодня состоит в том, что их перформативное измерение доступно нам только как мыслеформа: мы можем только догадываться, как они выглядели и какое впечатление производили в городском пространстве, когда читаем их на бумаге. Существует предуведомление к циклу, в котором Пригов пишет, что «Обращения» были именно «реализованы», а не «опубликованы». Гланц подчеркнул перформативный характер деятельности Пригова, который часто представлял себя рабочим, занимающимся физическим трудом: днем пишет, ночью рисует, без выходных, все праздники «и даже на Новый год». В «Обращениях» перформативность направлена не на собственное тело и не на зрителя, а на публичное пространство. Согласно Гланцу, это «вторжение самиздата в городской ландшафт», «гомеопатическая атака публичного пространства». Таким образом, Пригов сам себя назначает массовым народным автором, высказывания которого распространяются в узловых точках городского ландшафта.

Пленарный доклад *Джонатана Брукса Платта* (Питебургский университет) был посвящен приговскому Пушкину и наследию пушкинских мероприятий 1937 года. Докладчик суммировал идеи своей книги «Здравствуй, Пушкин» и прибегнул к интермедийному анализу. Он рассмотрел ряд изображений, в которых Пушкин предстает то как учитель/святой, вокруг которого (как возле памятника) располагаются дети/грешники (при этом символическая власть поэта приходит извне — она находится за пределами педагогического круга), то как современник коммунистов, и тогда вокруг уже не ученики, а те, кто осуществляет работу по воскрешению поэта (Пушкин уже не «мертвый памятник»). Докладчик выделил ряд «ипостасей» Пушкина: Пушкин-идол, Пушкин-мученик, отец народа, солнце русской поэзии и т.д. Также он привел пример из романа советского писателя Юрия Трифонова, в котором персонаж, свидетель торжеств 1937 года, ловит себя на фрустрирующем воспоминании: в детстве он хотел участвовать в празднике, но ошибся в написании слова «произведение» и не получил приза. Таким образом, ошибка неминуемо влечет за собой страдания ребенка. Этот эпизод сопоставляется с другим: на войне герой Трифонова сочиняет лозунги и ошибается в них, но этого уже никто не замечает — перформативность вытесняет содержание. То же Платт находит и у Пригова: голые означающие и телесность, осознание перформативности (например, когда Пригов переписывает Онегина, заменяя все прилагательные эпитетами «безумный» и «неземной», или читает, как мантру, первую строку романа), — и предлагает рассматривать позднюю социалистическую культуру через призму чистого перформативного означающего.

После дискуссии в Большом конференц-зале состоялось открытие выставки «Дмитрий Александрович Пригов: поэт и художник», об экспонатах (книгах, фотографиях, стихограммах, эскизах инсталляций и графических композициях) рассказал куратор — Дмитрий Озерков. Олеся Туркина отметила, что приговский ква-

змир на этой небольшой выставке оказывается вписан практически в пушкинскую сказочную шкатулку (о шкатулке действительно могут напомнить деревянные пушкинодомские витрины).

Вечерние чтения (ведущие — Олег Аронсон и Илья Доронченков) открыл *Илья Кукулин* (НИУ ВШЭ, Москва), который выступил с докладом «*Мотив телесного кенозиса в позднем творчестве Д.А. Пригова*», обозначив жанр своего выступления как маргиналии на полях главы «Новая антропология как новая зоология» из посвященной Пригову книги Михаила Ямпольского и статьи поэта Александра Бараша «Пригов как деятель цивилизации» (в скобках заметим, что имеется в виду поздняя советская и ранняя постсоветская цивилизация). По мысли докладчика, Пригова волновала тема эволюционного преодоления человека новым, постчеловеческим существом. Это связано с тем, что любые модели идентичности человека в современном мире поставлены под вопрос, а самосознание художника со времен Возрождения Пригов считал моделью самосознания «человека вообще»: следовательно, необходимо было выработать новые модели художественного самосознания. Еще один тезис — это частотность мотивов растождествления человека и его тела у Пригова. Докладчик подтвердил это цитатами из романа «Ренат и дракон» и нескольких поэтических циклов 1990-х годов («Внутренние разборки», «Тело», «Зреньё, одолевающее плоть»). Интерес Пригова к новой антропологии можно связывать с перспективами превращения человека в виртуальное существо, а также с клонированием. По мнению докладчика, после окончания советского периода концептуализма — с его острой рефлексией идеологии — для Пригова на первый план выходит тема уязвимости человека как биологического существа. В своей работе он сочетал мотивы трансгуманизма и посттравматического гуманизма — не вполне оформившегося направления, существовавшего в советском неофициальном искусстве 1950—1970-х годов (в качестве иллюстрации был проанализирован цикл 1992 года «Не все так в прошлом плохо было»). Посттравматический гуманизм в целом был эстетически чужд Пригову, однако проблемы, поставленные авторами этого направления, сохраняли для него высокую значимость.

Следующей выступила немецкая исследовательница *Бригитте Обермайер* с докладом «*и много-много, много-много-много газет (желательно — Правда)*». *Несколько общих наблюдений относительно “серии на газетах” Пригова*. На работу Пригова с газетным материалом необходимо смотреть с точки зрения того, что произошло с газетой в эпоху модернизма, что можно проследить, например, в творчестве Пикассо и Родченко (ср. коллаж последнего «Уговорила», выполненный для журнала «Кино-фот»). В шестидесятые годы газета становится важным мотивом в русском неофициальном искусстве, что можно видеть на примере работы Оскара Рабина «Натюрморт с рыбой и газетой “Правда”» (1968). Говоря о газете как о феномене искусства того времени, можно вспомнить о выражении Алексея Юрчака «гегемония формы»: «Идея состоит в том, что форма приобретает перформативную силу и при этом (это важно, когда речь идет о газете) теряет связь с тем, о чем эта форма говорит». В русской версии книги «Это было навсегда, пока не кончилось» Юрчак воспроизводит передовицу «Правды» от 1 июля 1977 года, и первая работа Пригова, о которой говорится в докладе, стоит очень близко по времени к этой дате — в ней фигурирует передовица от 17 июня 1977 года. На второй странице того же выпуска «Правды» — тема дня: выбор Председателя Верховного Совета, а на другой — статья под названием «О мерах по дальнейшему улучшению охраны лесов и рациональному использованию лесных ресурсов и о проекте Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных республик». Пригов добавляет рукописный текст между столбцами — получается заумь, что-то нечитаемое. В типографии такой плотный неразборчивый текст без пробелов и интервалов трактуют

как ошибку печати, в Германии для этого есть специальный термин *Bleiwüste* («свинцовая пустыня»). Пригов удваивает буквы, стоящие в начале и в конце слов, заполняя таким образом пустое пространство. При этом изначальный текст не стирается: он не уничтожает страницу, но заполняет ее.

Первый день Приговских чтений завершился вечером поэзии на башне Пушкинского Дома. Чтения открыл московский поэт Лев Оборин; Александр Скидан прочел свой программный цикл «Стихи на смерть Дмитрия Александровича Пригова, сочиненные во время посвященной ему конференции (Берлин, Literaturhaus, июль 2008)»; Павел Арсеньев выступил с текстами, написанными в изобретенном им жанре *ready-written* (по аналогии с *ready-made*; цикл «Слова моих друзей»), Роман Осминкин выступил с перформансом и прочел текст из «приговского» цикла, посвященный Шестым Приговским чтениям и теме энциклопедии («будь проклят проклятый поэт / умри от голода голодный...»). Также читали Никита Сунгатов, Галина Рымбу, Валерий Нугатов и другие.

Ведущей утреннего заседания второго дня конференции стала Наталья Ковтун. Чтения начались с доклада *Свена Спикера* (Калифорнийский университет в Санта-Барбаре) «*Дмитрий Пригов как писатель-дидактик*». По словам докладчика, Пригов никогда не стремился быть учителем — он «не был Толстым по своей природе». Согласно Борису Гройсу, московские концептуалисты всегда боролись с идеологической, фрустрирующей, аскетической и все запрещающей стратегией советской культуры. Тем не менее черты аскетизма и дидактизма сохраняются и в их работах. Докладчик обозначил различие между обучением (*education*) и поучением (*edification*): второе понятие связано в основном не с фактами и объективной истиной, а с различными стратегиями говорения и перформативностью (более с формой, чем с содержанием). Так, Энди Уорхола можно назвать дидактиком, и это особый дидактизм конца 1960-х годов; работы Уорхола избегают экспрессивности и представляют собой скорее систему знаков и кодов. Московские концептуалисты (и Пригов в том числе) с подозрением относились к «метафизическому дидактизму» неофициального советского искусства: они пытались показать лингвистическую природу знания — то, что все может трансформироваться во все посредством языка.

Следующим выступил *Павел Арсеньев*, представивший доклад «*Писать дефицитом: цикл "Домашнее хозяйство" как объект акторно-сетевой теории литературы*». Докладчик поставил перед собой задачу прочесть Пригова через призму работ Брюно Латура, то есть перенести акторно-сетевую теорию на область литературного производства. Кроме того, он задается вопросом, были ли Юрий Тынянов и Борис Эйхенбаум первыми акторно-сетевыми теоретиками литературы. Формалисты, как известно, спрашивали, как *сделана* «Шинель» Гоголя, а не как она *делалась*, что обнаруживало дефицит интереса к генезису конструкции литературного факта. Докладчик подчеркивает, что у Латура «факты» и «черные ящики» выступают практически как синонимы: он призывает рассматривать факты (объекты, машины) именно в процессе их производства. Вместо того чтобы помещать их в броню этого черного ящика, он предлагает оказаться за минуту до того, как этот ящик захлопнется, и обнаружить всю металлическую нестабильность, предшествующую ладности литературного факта. В цикле «Домашнее хозяйство» самым акторно-сетевым является пассаж о дефиците тем для разговора у советских людей, что и делает обсуждение товарного дефицита способом заглушить более фундаментальный семиотический дефицит. По мысли докладчика, Пригов, многократно повторяя жест, указывающий на ситуацию дефицита, приходит к идее дефицита поэтических тем. Для Пригова товарный дефицит мог бы служить не только сюжетом поэтического творчества, как для многих авторов советского времени, но и сценарием соз-

дания текстов, моделью поэтики. По мысли докладчика, Пригов должен был бы провозгласить своим методом следующий: «Писать не о дефиците, а писать дефицитом». Тем не менее навязчиво повторяющийся в цикле элемент «вот» («дефицитный» по своей природе) неизбежно отсылает нас к акту высказывания.

Следующим выступил *Илья Кукуй* (Мюнхенский университет Людвиг-Максимилиана), представивший доклад «*Игра в классики: Пушкин, Крученых, Пригов*». Сопоставление Крученых и Пригова в их обращении с Пушкиным может прояснить отдельные черты перформативных поэтик этих двух авторов, а также общего статуса литературного канона в историческом авангарде и московском концептуализме. По мысли докладчика, в их отношении к Пушкину черты русского поэтического кубофутуризма в том изводе, который представлял Крученых, и концептуализма, идеи и практики которого разрабатывал Пригов, выступают особенно явно. Тезис Кукуя гласит, что деконструкция классика, представленная в игровой форме в рамках поэтического мира Крученых, остается в пределах общей критики девальвированного представления о поэтическом языке и его восприятии читателем. Посредством последующей трансформации исторического авангарда, тяготевшего к поэтике абсурда, акцент переходит с проблемы поэтического языка на перформативную волю к моделированию образа автора как персонажа и неизбежным образом приводит к деконструкции любого завершенного канонического конструкта. Так «солнце русской поэзии» становится центральным предметом деконструкции. Интересно, что Крученых (видимо, по аналогии с Пушкиным) называли «букой русской литературы»; кроме того, он был автором книги «Пятьсот новых острот и каламбуров Пушкина», а также призывал сбросить поэта «с корабля современности». Крученых и Хлебников призывают к уничтожению «живых мертвецов русской классики» и «символическому расстрелу Пушкина». В пушкинской строке «Как увижу очи томны» Крученых, по словам Кукуя, видел не «очи», а «каку». Иногда Крученых и Пушкин выступали своего рода соавторами: так, Крученых продолжает шуточные строки, писанные Пушкиным в альбом Анне Петровне Керн. Пригов, на первый взгляд, относился к Пушкину менее пристрастно. Согласно Дмитрию Александровичу (которого процитировал докладчик), сегодня мы имеем не Пушкина, а сорок фантомов Пушкина, соревнующихся не с реальным поэтом, потому что реального Пушкина вообще уже нет, а с другими фантомами. Пригов, как и Крученых, занимается «сдвигологией», но если Крученых сдвигает фонетику, то Пригов осуществляет сдвиг стилистических пластов и перенос фигуры Пушкина в сферу культурной идеологии.

Олеся Туркина (Русский музей) прочла доклад на тему «*Д.А. Пригов. "...malevicha"*», в котором уже в третий раз обратилась к теме «Пригов и Малевич»: сначала это был «Малевич Пригова», затем «Пригов Малевич» (без знаков препинания) и, наконец, — «Пригов Малевича». В начале доклада она отметила, что имя Малевича часто встречается в рисунках, инсталляциях и текстах Пригова, оно культивируется так же, как, например, имя Пушкина. Пригов демифологизирует Малевича, но делает это не так, как его современники: он поступает с Малевичем как работник культуры. Малевич появляется там, где на него указывает сама топонимика предмета (например, «Банка “Смерть”»). Серия «...malevicha» выполнена на стандартных листах белой бумаги А4 (20,9 x 30 см) в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Она представляет собой серию «фантомных» инсталляций — изображений комнат наподобие сценических (театральных) площадок, переданных в прямой перспективе. Сам Пригов говорит о четырех уровнях восприятия таких инсталляций: это уровень анекдотический (сам Пригов называл эту серию большим комиксом), художественно-визуальный (здесь имеются в виду два вида негации — прямая перспектива и беспредметность), культурных аллюзий и ссылок и уровень, связанный с большими авторскими стратегиями. Среди работ серии

можно назвать «Дыру Малевича», «Дух Малевича», «Фаллос Малевича», «Вагину Малевича», «Глаз Малевича», «Камень Малевича», «Чашу Малевича» и т.д. Пространство серии подчеркнуто условное, это квазимир, где условность трехмерности подчеркивается и одновременно нарушается.

Вечернее заседание (ведущий — Юрий Орлицкий) открыл доклад *Сабини Хэнгсен* (Германия): «*Поэзия & перформанс: Выступления Дмитрия Пригова в историческом и современном контексте*». По словам докладчицы, в послевоенное время поэты сосредоточились на освобождении языка от идеологической нагрузки и потому деконструкция голоса власти была важной задачей Пригова. Практики Дмитрия Александровича могут быть сопоставлены с работой австрийского поэта-экспериментатора Эрнста Яндля (докладчица подробно остановилась на одном его звуковом стихотворении, в котором обыгрывается слово «окоп»), Томаса Клинга (его тексты выходили на русском в переводе Ольги Денисовой-Барской с предисловием Льва Рубинштейна; по свидетельству докладчика, Клинг и Пригов однажды участвовали в одном фестивале), а также дадаиста Хуго Балля, «магического епископа», известного своими выступлениями в «Кабаре Вольтер» и громоздкими эксцентричными костюмами (подобное облачение делало поэта неподвижным, похожим на столпника или аскета, и после выступления его «выносили» со сцены).

Роман Осминкин (Российский институт истории искусств) выступил с докладом «*Поэт в фейсбуке больше, чем поэт: перформативные установки современной социально-сетевой поэзии*». По мысли Осминкина, сегодня поэт является оператором внутри новых медиа и создает не стихотворение, а высказывание в медиасреде. Под «сегодня» докладчик подразумевает эпоху *web 2.0* («вторичной устности»), когда любой текст, попадающий в социальные сети, приобретает перформативное измерение. Приговские «Обращения», начинающиеся, как известно, со слова «Граждане!», напоминают сообщения в Twitter или Instagram (короткий текст плюс одно изображение). Пригов предвосхитил мемы и массовую саморепрезентацию на канале Youtube (например, видео «Дмитрий Александрович Пригов просит прощения»). Проект Д.А.П., таким образом, может быть рассмотрен как «аналоговый прототип» facebook-машины. По словам докладчика, сегодня каждый пользователь социальной сети приобретает мерцающую идентичность и становится Дмитрием Александровичем Приговым в миниатюре: каждый блогер конструирует проект самого себя и вынужден навязчиво себя репрезентировать.

Третий день чтений (ведущая — Олеся Туркина) открыл *Леонид Яницкий*, который выступил с докладом «*Мифопоэтический универсум Д.А. Пригова как энциклопедия миропорядка*». По мнению докладчика, в творчестве Пригова место христианского миропонимания занимает своеобразный неомифологизм. В этом мире возникает образ юродивого, которому противостоит милиционер, носитель упорядочивающего начала и воплощение государственной власти. У милиционера особые отношения с Богом: Бог его благословляет, «нисходит и целует в лоб»: как и в средневековых трактатах, милиционер приобретает символическое и аллегорическое значение — он представляет собой «жизнь, явившуюся в форме долга». В завершённой мифологической системе Пригова существуют также и чудовища, антагонисты героя («тараканы», «американцы», «Рейган»). Образ Рейгана продолжает у Пригова традицию юродства: «Вот он в коросте и в кале, / В гное, в крови и в парше». В конце 1980-х — начале 1990-х годов целостная картина приговского мироздания рушится, возникает эсхатон, апокалиптическая картина мира.

Людмила Зубова представила доклад «*“Красота” в поэзии Д. Пригова*». Докладчица подчеркнула, что внесла слово «красота» в кавычки, чтобы не выводить в заглавие понятие «концепт» — тем не менее речь в докладе шла именно о кон-

цепте красоты, в том смысле, в каком его используют филологи и литературоведы, и в том, который придадут ему культурологи, а также концептуалисты и сам Пригов. Красота — очень важная категория в творчестве Пригова, что подтверждает Михаил Эпштейн: «Приговский концепт — общее место множества стереотипов, блуждающих в массовом сознании, от идиллически-благодушного “окрасивливания” родного пейзажа до пародийно сниженного пророчества Достоевского “красота спасет мир”». По мысли докладчицы, концепт красоты распространяется фактически на все, о чем пишет Пригов, у которого понятие красоты связано с абсолютным и избыточностью. В предуведомлении к тексту «Представители красоты в русской истории и культуре» (1979) появляется дважды искаженная цитата: «Как говорится, в красивом теле — красивый дух». У Пригова понятие красоты претендует на тотальность выражения превосходства, а регистр самых красивых демонстративно антинационалистичен и вместе с тем претендует на то, чтобы объявить русским все лучшее (с точки зрения приговского субъекта), то есть претендует на присвоение.

Юлия Валиева выступила с докладом «Д. Пригов и трансфуристы», посвященным Сергею Сигею и Ры Никоновой, поэтам, недавно ушедшим из жизни. Пригов познакомился с ними в 1981 году, и с 1982 года тексты Пригова публиковались на страницах самиздатского журнала «Транспонанс». В 1983 году Пригов едет в Ейск, где и произошло единственное совместное действо Дмитрия Александровича и трансфуристов — «транспонирование» книги осетинского поэта Косты Хетагурова (в котором участвовали Сигей, Никонова, Пригов и Борис Констриктор). Книга была разделена на части, и каждый занимался «транспонированием» (работой с чужим готовым текстом) согласно собственному методу. Сергей Сигей работал над найденной книгой привычным для него методом вычеркивания и надписывания; Ры Никонова, напротив, считала, что с чужим текстом нужно работать как с соавтором: она внимательно и бережно относилась к оригиналу и дописывала текст (не уничтожая его), так появлялся третий смысл — как сумма первого (оригинального) и второго (привнесенного Никоновой). Пригов, напротив, зачеркивал текст, работая по принципу деструкции. Возможно, в этом он отталкивался от Бердяева, так как именно его он цитирует в полемике с Никоновой.

Дневное заседание третьего дня (ведущая — Юлия Валиева) открыл доклад Ирины Карасик «Дмитрий Александрович Пригов: в диалоге с авангардом. Опыт выставки в Русском музее». Докладчица рассказала о выставке, проходившей осенью 2015 года, принципах показа, развеске работ и тематических линиях. Объектом исторической рефлексии для этой выставки был авангард: первая линия отсылала непосредственно к Малевичу, вторая — к другим именам русского авангарда — ничто, смертью, пустотой, порядком, хаосом. «Малевичевская» тема возникла на выставке сразу: зритель видел приговский лист 1991 года с надписью «Квадрат Малевича». В экспозиции акцент был сделан на взаимодействии Дмитрия Александровича с «Черным квадратом» (который докладчица назвала «царственным младенцем», материнским лоном). Свободная развеска была призвана побудить зрителя к всматриванию, проживанию форм. Включение тех или иных работ вызвано было не только смысловыми, но и пространственными характеристиками. Так, узкие горизонтальные рамы (в которые были заключены работы из цикла «Малевич Достоевский»), образующие тянущуюся ленту, намеренно были размещены в вытянутом зале.

Лев Оборин выступил с докладом «“По материалам прессы”: “энциклопедия русской жизни” у Д.А. Пригова и Алексея Колчева». По словам докладчика, поэзия обращалась к дискурсу СМИ еще в XIX веке, а в XX веке обращение к новостям стало особенно частым. При этом газета обычно воспринималась поэтами как «неподлинный источник и пустое чтение». Но были и другие интерпретации феномена газетного со-

общения. Например, уже упомянутый Маяковский описывает тяжелый труд газетчика в стихотворении «Газетный день», а позже цитаты из газет становятся заголовками его стихов. Еще один пример иного подхода к газете — поэзия позднего Мандельштама, который, согласно Олегу Лекманову, много работал с газетными текстами, составившими фон многих его «темных» стихов 1930-х годов. Для Пригова актуальны оба подхода: ироническое отношение к материалу и признание «потенциала его обработки». Сборники текстов, составившие цикл «По материалам прессы», создавались Приговым в 2004—2005 годы, и представленные в них редимейды можно сравнить с сетевыми коллекциями вырезок из СМИ. Создавая этот цикл, Пригов транслировал и осмыслил общественное сознание, и именно поэтому его можно назвать «энциклопедией русской жизни»: в нем появляются представители различных социальных страт — от олигархов до алкоголиков, и всех их объединяет растерянность, беспомощность перед преступлением и абсурдом смерти. Цикл «Element of Crime» рязанского поэта Алексея Колчева, как и цикл Пригова, частично состоит из электронно-газетных цитат — эпиграфом к каждому тексту становится цитата из новостной ленты. Колчев писал свой цикл примерно на десять лет позже — в эпоху господства социальных сетей (со свойственной им культурой перепостов мемов). Цикл Колчева наследует Пригову, но и отличается от него: так, тексты Колчева (в отличие от приговских) разворачивают на основе газетных сообщений новый поэтический сюжет.

Кирилл Корчагин (ИРЯ РАН / «НЛО») в докладе «*Возвращение “мерцающего” субъекта: московский концептуализм и поэзия 2000—2010-х годов*» определил свойственный концептуалистам (в том числе Пригову) тип субъективности как «мерцающий». Понятие «мерцания» упоминается несколько раз в «Словаре терминов московской концептуальной школы»: следуя стратегии мерцания, автор монтирует фрагменты чужой речи, сменяет дискурсы, последовательно ненадолго «вливая» в каждый из них. Речь отчуждается от субъекта высказывания, что дает автору возможность критики всех чередующихся дискурсов. Поэтов, которые вошли в литературу в середине 1990-х годов и отталкивались от опыта Пригова и Рубинштейна, докладчик обозначил как постконцептуалистов первого поколения, указывая, что они отчасти стремились вернуться к классическому представлению о поэте как субъекте индивидуального высказывания. Однако этот субъект был индивидуален скорее интенционально, оставаясь фактически мерцающим. В этой поэзии над «мерцающим» субъектом Пригова создавалась своеобразная «настройка», своего рода суперсубъект, который не просто «включает» «искренность» в нужный момент, но, подобно суперэго в психоанализе, требует последовательно удерживать эту искренность, не сбиваясь на другие дискурсы и модальности. Этой стратегии придерживались Дмитрий Воденников и Дмитрий Соколов. Появление второго поколения постконцептуализма можно связывать с необходимостью создания новой политической поэзии: это поколение возвращается к тактике мерцания, но теперь оно трактуется не как средство, необходимое, чтобы подвергнуть сомнению идеологию (как в классическом концептуализме), а как способ напомнить об условности любого политического дискурса. К постконцептуалистам второго поколения можно отнести Кирилла Медведева, выступившего его родоначальником, а также Романа Осминкина, Антона Очирова и Павла Арсеньева (с уже упомянутым в этом обзоре жанром «ready-written»). Подобная практика получает развитие в начале 2010-х годов, докладчик причисляет к ней Яна Выговского, Эдуарда Лукьянова и Никиту Сунгатова.

Приговские чтения завершились сообщением молодого исследователя *Марии Аргентовой* «*Серия Д.А. Пригова “Русские пейзажи с именами” из цикла “Рисунки на репродукциях” как энциклопедия русского пейзажа XIX века*» и заключительными словами организаторов.

Александра Цибуля

Наши авторы

Екатерина Болтунова

(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; доцент факультета гуманитарных наук; кандидат исторических наук) boltounovaek@gmail.com.

Илья Герасимов

(«Ab Imperio Quarterly»; ответственный редактор; PhD in History, кандидат исторических наук) ig@abimperio.net.

Сергей Глебов

(Смит-колледж; доцент; Амхерст-колледж; доцент; PhD in History) sglebov@smith.edu.

Тамара Гундорова

(Институт литературы НАН Украины; заведующая отделом теории литературы и компаративистики; доктор филологических наук, член-корреспондент НАН Украины) hundorova@gmail.com.

Гасан Гусейнов

(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; профессор Школы филологии факультета гуманитарных наук; ординарный профессор; доктор филологических наук) gguseynov@hse.ru.

Михаил Долбилов

(Университет Мэриленда, США; ассоциированный профессор департамента истории; кандидат исторических наук) dolbilov@umd.edu.

Генрих Киршбаум

(Институт славистики Университета им. Гумбольдта, Берлин; профессор, доктор филологических наук) heinrich.kirschbaum@hu-berlin.de.

Кирилл Корчагин

(Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН / «Новое литературное обозрение»; кандидат филологических наук) stivendedal@gmail.com.

Александр Котов

(СПбГУ; доцент кафедры музеологии Института истории; кандидат исторических наук) akotov@inbox.ru.

Надежда Крылова

(Музей «Мультимедийный комплекс актуальных искусств»; главный специалист Отдела учета и хранения; аспирант Института «Русская антропологическая школа» РГГУ) nadinkru@gmail.com.

Станислав Львовский

(Оксфордский университет; аспирант факультета средневековых и современных языков) halfofthesky@gmail.com.

Ольга Майорова

(Мичиганский университет; профессор кафедры славянских языков и литературы и кафедры истории; PhD) maiorova@umich.edu.

Луиза МакРейнольдс

(Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл; профессор кафедры истории; PhD) louisem@email.unc.edu.

Марина Могильнер

(Иллинойский университет в Чикаго; доцент российской и восточноевропейской интеллектуальной истории; PhD in History, кандидат исторических наук) mmogilne@uic.edu.

Риккардо Николози

(Мюнхенский университет Людвиг-Максимилиана; профессор, заведующий кафедрой славянской филологии (литературоведение) факультета языковедения и литературоведения; PhD) riccardo.niccolosi@lmu.de.

Наталья Полтавцева

(Российский государственный гуманитарный университет; ведущий научный сотрудник Института «Русская антропологическая школа»; доцент; кандидат филологических наук) natalypol@gmail.com.

Кирилл Соловьев

(ИРИ РАН; ведущий научный сотрудник; доктор исторических наук) kirillsol22@yandex.ru.

Дина Хапаева

(Технологический институт Джорджии; профессор русской кафедры Школы современных языков; PhD) dina.khapaeva@modlangs.gatech.edu.

Алек Д. Эпштейн

(Центр изучения и развития современного искусства (Иерусалим / Москва); председатель; PhD) alekdep@gmail.com.

Summary

The (Post)Imperial Imagination and Cultural Politics Special Issue

This special issue addresses the ways that the imperial imagination and its derivatives — the mythologemes and ideologemes of imperial consciousness — are reflected in cultural politics and practices. The basic aim of the issue is to move away from examining elements of imperial consciousness in the context of official political institutions or explicit political regimes, and instead to observe them at the microlevel of implicit mental orientations, the “imperceptible” practices of everyday culture and less obvious discursive / rhetorical strategies. We proceed from the observation that cultural sources and texts can sometimes tell us much more about imperial ambitions and fantasies than openly declared political projects can.

The issue is focused on Russia, although in a few cases comparative studies of other cultures (the French and British empires) were solicited toward an understanding of the specific functioning (of elements) of the imperial imagination in the logic of cultural self-determination. The articles cover the period from the mid-nineteenth century (except for one late eighteenth-century study) to the early twenty-first. Some of the articles treat the pre-revolutionary Russian imperial period, when the first models of national statehood were taking shape, Russia’s cultural and political self-awareness as an empire was forming, and the corresponding national identities were being laid out. Another section treats the Soviet and post-Soviet periods and

traces the imperial legacy evident in these periods. These articles show that the roots of contemporary phenomena of the (post-) imperial imagination should be sought in cultural and political history, which continues to latently determine our thinking today.

One of these lines of investigation focuses on the imperial expansion of Russian statehood and the development of Russia’s relationships with its nearest neighbors. The formation of an image of the empire’s borders and its providential mission in “borderland” territories is traced through a reconstruction of latent Russo-centric imperial orientations, using various cultural sources. The latter include literary texts and new literary genres, the structure of the field of publishing, and critical public polemics.

A complementary line focuses on how imperial logic structures space, understood to mean not merely real geopolitical colonization, but first and foremost the mental or imaginary colonization of space(s). Autonomous spaces (of thought, mental or logical spaces) are appropriated and end up as “outskirts” of the larger empire, which semanticizes and resemanticizes them in accordance with its own ideas about borders or their absence (the potentially “limitless” empire). Among other forms, the subjugation of borders can take the form of a subjugation of discourses, for instance in the epistolary tradition of a colonizing journey (the travelogue).

Another line of investigation unfolds in parallel to the previous two: the study of compound “hybrid” discourses (of ideological projects, popular historical narratives, journalism), which demonstrate their derivation from imperial Russia to the post-Soviet period. These studies investigate the functioning of imperial rhetoric in contemporary official discourse, in memorial practices, missionary proclamations, etc. Extremist and racist stereotypes, nationalist

ideologemes, heroic myths and sacralized symbols of imperial imagination all help to support a prominent image of empire and (post-) imperial identity and to write it into modernity. The articles demonstrate that the rehabilitation of the imperial is largely brought about through the rehabilitation of the Soviet. Testimony to this is great-power rhetoric, which blends together utopia, nostalgia for lost greatness, rejection or appropriation of the Other and *ressentiment*.

Facts and Myths in Russian Imperial Cartography

In her “The Landscape of Empire: Catherine the Great’s *Antidote* for the *Voyage en Sibérie*, or The Borders of European Civilization”, **Vera Proskurina** investigates the ideological and political context of the polemics between Catherine the Great and the *Abbé* Chappe d’Auteroche’s *Voyage to Siberia*, which was an object of debate in European intellectual circles in the late 1760s — early 1770s. The empress responded to the *Abbé*’s unflattering image of Russia with her two-volume *Antidote*, written in French: *Antidote, ou Examen d’un mauvais livre superbement imprimé, intitulé Voyage en Sibérie* (1770). The microhistory around the battle between these two books yields two concepts, two approaches (Russian and European) in defining the boundaries between civilization and barbarianism. N.I. Novikov’s journal *The Purse* was the sole Russian periodi-

cal to enter into this discussion during the “Cold War” underway between Russian and France in the early 1770s.

The section closes with **Evgeny Ponomarev**’s “The Russian Imperial Travelogue.” The Russian travelogue is a product of imperial consciousness with an orientation toward imperial expansion. Travel to the West forms the division of space into “Russian” and “non-Russian” spaces, as well as an imperial identity formed in opposition to the West. In travel within the empire, the imperial manifests as a civilizing “transformation of space”. Travel to the East is, in the Russian tradition, optional. The Soviet travelogue inherits the Russian imperial traditions, shaping to a large extent the geographical thinking of the Soviet citizen and (through inheritance) the contemporary Russian citizen.

The Imperial Imagination and Otherness

Olga Maiorova’s “Finding Russianness in Imperial Space: Paradoxes in Leskov’s Story *At the Edge of the World*” explores

Nikolai Leskov’s story *At the Edge of the World* in the context of the contemporaneous debates about the mission-

ary activities of the Russian Orthodox church and the preaching of the English evangelist Lord Radstock in the 1870s. The article interprets Leskov's story as a disguised response to the preaching of Radstock and his Russian followers. The key thematic motifs of the narrative are examined in relation to the concept of Russia as an Orthodox empire. Maiorova analyzes the story's metaphoric representations of the empire and inversion of the theme of religious conversion, revealing its connection with the poetry of Fedor Tiutchev and the Russifying agenda of Konstantin Pobedonostsev, the soon-to-be Ober-Procurator of the Synod. The article reveals Leskov's allusions to some famous images from Orthodox iconography and demonstrates their role in "imagining" Russia as an Orthodox empire.

In his "A City Hardly One's Own Yet Not Fully Alien: Vilna in the Russians' Imperial and Nationalist Imagination (from the 1860s to the Early Twentieth Century)",

Mikhail Dolbilov examines the changes in the ideas of the city of Vilna (now Vilnius) that were current during

the Russian Empire from the 1860s through the early twentieth century, and their connection with the processes of Russian national self-identification. The main focus is on how political discourses, travelogues and the commemorative events that emerged after the suppression of the January Uprising in Congress Poland and the Western Krai, were working out the symbolic appropriation and Russification of space in an ethnically and religiously diverse city. Dolbilov argues that the notably urbanist Russian images of Vilna became a particular weak point in

the already ambivalent imperial-nationalist ideology, which declared the entire Western Krai to be "Russian since time immemorial", counting on the support of the presumably homogenous and loyal mass of peasants.

The Imperial in the Structure of the Literary Field

Heinrich Kirschbaum's "Generic Imperialisms. The Argument over the Appurtenance of Thoughts" problematizes the (anti)imperial connotations of the Polish-Russian polemics over the origin and appurtenance of thoughts. The debates surrounding Ryleev's *Thoughts (Dumy)*, inspired by the *Historical Songs* of the Polish poet and public figure Yu. Nemtsevich, became a space for the revision and recoding of Polish influences. Meanwhile, the reform-minded liberalism of the (pre)Decembrist generation merges with great-power rhetoric and is seamlessly written into an apology for the expansion and appropriation of (poetic) colonies.

In his "The Export and Re-export of Socialist Realism. Eastern European Literatures in the Context of the Soviet Thick Journal (late 1940s)", **Evgeny Ponomarev** examines the mechanisms of the literary and cultural interactions between the USSR and the Eastern European countries under its control. The literatures of countries that "chose socialism" were represented in Soviet "thick journals" alongside the literatures of the Soviet republics. Over the first postwar years, texts written by Albanian, Bulgarian, Romanian and Czechoslovak writers absorbed all the typical features of Soviet literature, combining art with propaganda, and began reacting quickly and fervently to events of the burgeoning

global opposition (such as Yugoslavia's exit from the Stalinist bloc and the war in Korea). A socialist realist poetics made

Eastern European literature a part of Soviet literature.

Imperial Bureaucracy and Models of National Identity

Kirill Solovyov's "Bureaucracy vs. Bureaucracy: Paradoxes of Government Service in Late Nineteenth-century/Early Twentieth-century Russia" addresses the views of civil servants of the bureaucratic empire which, it would seem, they represented. State service in late nineteenth — early twentieth-century Russia attracted the most capable and ambitious young people. Meanwhile, these individuals could be of extremely varied views and convictions. In many cases they could even be entirely apolitical. Nevertheless, civil servants remained a part of Russian society. Their social and intellectual experience was often identical to that of members of the opposition. Under stable conditions, there was no question of the bureaucrats' devotion to the monarchy. With the appearance of the choice of the First Russian Revolution, however, their behavior often became unpredictable. Civil servants often spoke out against the Russian Empire's bureaucratic system of government. They were convinced of its ineffectiveness and demanded serious changes. This bureaucracy, which was

fully qualified and well prepared for the tasks of running the country, was the 'Achilles heel' of the ongoing existence of the regime.

Aleksandr Kotov's "1860s 'Russian Catholicism' as an Element of the Ideology of Bureaucratic Nationalism" examines the polemics around the Russification of the Catholic mass in the 1860s—1870s as one of the stages in the formation of the Katkov ideology — that of bureaucratic nationalism. Contrasting the "political nationality" of the imperial model of the state, Katkov consistently spoke out for the Russification of the borderlands. However, this Russification was meant to be limited to the unity of language and political life, without touching on the religious sphere. Katkov expressed his views on the possibility of Russian Catholicism as early as 1860, during the scandal over Evgenia Tur's article *Madame Svechina*. His later declarations on the necessity of "separating Catholicism from Polishness" generated polemics with other movements in the nationalist camp.

The Semantics of Imperial Spaces

Andrei Teslya's "Ukrainophiles in a 'General Russian' Context: The Public Writings of N. Kostomarov, 1861—1883" examines the evolution of the views of the Ukrainophiles' leader Nikolai Ivanovich Kostomarov (1817—1885) on

the problem of the relationship between the Russian and Ukrainian peoples, their closeness and difference, in the political and ideological context of the 1860s—1880s. Kostomarov tended toward moderate views of the Ukrainophile

program and sought to avoid opposing the government. He wished to overcome the homogenizing view and to promote plurality over the unity that was being claimed. Toward this, he often contrasted the two, but despite his intentions, plurality always devolved into opposition.

In her “The Space of the (Departed) Hero: The Image of the Leader, Historical Memory and the Memorial Tradition in Russia (Regarding the Yeltsin Center)”, through an analysis of the Boris Yeltsin Presidential Center, a memorial complex opened in Yekaterinburg in 2015, **Eka-**

terina Boltunova examines the formation of memory of Russia’s first president Boris Yeltsin and, more broadly, of the 1990s. The new museum’s collection is interpreted in the context of American and Russian cultural and historical traditions. Boltunova pays particular attention to the memorial strategies that emerged during Russia’s imperial period. She demonstrates how imperial-era standpoints became the foundation for the creation of the Soviet formation of memories about leaders, and addresses the question of how useful they proved for the formation of memories about Yeltsin.

Hybrid Languages of Imperial Consciousness

The articles in this section all in one way or another touch on the issue of dominant imperial discourses and the linguistic construction of empire. They demonstrate that imperial language is not merely a means for representing ideologies, but an active agent that forms a new social agenda, laying out new political coordinates and changing the entire structure of the empire. For this reason, the competition between different imperial discourses takes on the character of a high-stakes political struggle; studying these discourses contributes to a better understanding of the internal logic of the empire’s functioning.

An article from **Ilya Gerasimov, Sergey Glebov** and **Marina Mogilner**, “Hybridity: Marrism and the Imperial Situation’s Questions of Language,” examines Stalin’s sadly famous 1950 study of linguistics and suggests viewing his criticism of the notorious “Marrism” as a “linguistic turn.” The authors show that what was at stake was not merely an ideological campaign but literally a change in the language used in describing social diversity. Through an analysis of the intellectual

context of the formation of Marr’s theory in the first quarter of the twentieth century, the authors conclude that Marr’s scientific studies were only an isolated instance of the comprehension and development of a scientific language of hybridity. The new “human sciences” in Russia had formed a distinctive metalanguage for the description and analysis of the multi-tiered diversity of the imperial situation. The central category of this metalanguage was the trope of “hybridity,” or rather its analogues of the time, like “commixture” and “cross-breeding.” The authors describe the emergence of scientific models that explicitly used the trope of hybridity and which accepted hybridity itself as a norm (rather than as a marginal deviation from pure forms) as a late-imperial epistemological revolution. Just such a revolution was possible and potentially productive in the context of the imperial situation, given the ideologically pluralist regime of the late empire. Its potential was exhausted by the end of the 1920s, having received no support either from the stabilized hegemonic Soviet ideological discourse, or the subaltern Eurasian or Soviet national and anti-colonial projects.

Dina Khapaeva's "Slavish Dreams of Imperial Greatness" asks: why are ideas of the rebirth of imperial greatness and an estate-representative monarchy so popular in today's Russia? They are represented in literature and political journalism, propagandized by radical-right ideologues (post-Eurasianists) and looked on favorably by the President's administration. In these imperial dreams, Russia appears as an extremely militarized, quasi-medieval estate-representative state, whose subjects are essentially slaves. Meanwhile, slavish relations and value systems are not merely present in the fantasies of radical-right journalists — they constitute actual political reality, as confirmed by multiple examples provided in the article.

The section closes with an article by **Alek D. Epstein** "Between Religious Doubts and Unbelief: The Transformation of Intellectual Discourse and Political Rhetoric before the Downfall of the *Ancien Régime*." Historians have described the period that begins with the 1789 French Revolution as the first in modern history in which atheism became the

dominant ideology in a European country. However, it is clear that a transformation in political rhetoric is always preceded by changes in intellectual discourse. At first, in France and other countries, the word "atheism" had a strongly negative coloring. The turning point came during the Enlightenment period, when atheistic ideas acquired a certain, albeit limited, popularity in Parisian intellectual salons. Meanwhile, critical distance is required in treating local and foreign publications that relegate virtually all of the major thinkers and "Encyclopaedists" to the ranks of atheists. Epstein's article seeks to a large extent to demonstrate how ambiguous the views of the majority of these thinkers actually were, how far they were from the political rhetoric that, once victorious, sought to declare them its predecessors. A decade after the revolution, which replaced religion first with the "cult of Reason" and then the "cult of the Supreme Being," France returned to Catholicism. Changing the consciousness of millions of people proved to be immeasurably more complicated than it initially appeared to individual radical thinkers and politicians.

Being Visible: Techniques of the Authoritative Gaze in Imperial Ethnographic Photography

In his "Demons at the Zoo: Contemporary Art and the Colonization of the Far North in 1890s Russia" **Evgeniy Savitskiy** takes as his starting point the Far North Pavilion at the 1896 All-Russian Exhibition in Nizhny Novgorod, examining the significance of contemporary art (M. Vrubel, V. Serov, K. Korovin) in advertising the State's colonizing efforts directed at building railroads and claiming natural resources in Russia's most distant territories. Savitskiy reconstructs the conditions for exhibiting artworks,

while also examining the ways they can be seen both at the turn of the nineteenth century and in our own time.

In her "The Nerchinsk Katorga: An Ethnographic View of the Russian Empire in Photographs of 'Types and Species' During the Final Quarter of the Nineteenth Century", **Nadezhda Krylova** examines the popular late nineteenth-century genre of "types and species." This genre not only contains the relationship between authority and subjugation established at

that time in the empire, but also the features of a certain mode of documentation. This latter point opens up a discussion of particular characteristics of the gaze that conditioned the creation of such “typical” images. Criminal anthropology and ethnography offer a number of generic methods and devices that reveal the proximity of the two sciences and under-

score both the repressive character of anthropological studies and the research ambitions of criminal investigators. Two photographic reports made by different authors provide an opportunity to see the connection between changes in the perception of the camera’s technological capabilities and in the understanding of an image as witness.

The Inborn Criminal: Criminal Anthropology in the Russian Empire

Guest Editor: Riccardo Nicolosi

A number of theories of criminality that emerged in the late nineteenth century postulated a biological predisposition to criminal acts. Accordingly, the articles in this section take up the notion of the imperial criminal as an “inborn criminal.” In addition to Cesare Lombroso’s ambiguous theory of the existence of people with inborn criminal tendencies, the authors also have in mind all of the conceptions which, resting on the theory of degeneration, proceed from genetic factors in explaining the reasons behind criminality. In treating this “medicalization” of the criminal personality, these papers develop the polemics — which recently took a sharp turn — around the existence and function of biomedical discourses in late imperial Russia.

Marina Mogilner’s “The Empire-Born Criminal: Atavism, Survivals, Irrational Instincts, and the Fate of Russian Imperial Modernity” examines the plethora of ideas regarding norms and deviations in late imperial Russia. Adapting criminal anthropology to the imperial situation, doctors and scientists examined the “natural-born criminal” as a collective category and created a comparative scale of imperial human diversity that allowed them to stigmatize entire groups.

In the period between revolutions, the discourse on criminality underwent a semiotic shift from the signifier to the signified, conditioning a new image of the “internal savage,” one that was, however, hybrid and unstable. The following generation of psychiatrists was tasked with overcoming this duality, but this was only achieved in the early Soviet period, when the concept of the “natural-born criminal” was replaced by that of the “counterrevolutionary” and acquired an unambiguous, purely sociological sense.

Louise McReynolds’ “P.I. Kovalevskii: Criminal Anthropology and Great Russian Nationalism” focuses on the successful psychiatrist P. I. Kovalevsky, known primarily for his innovations in criminal anthropology and his devotion to the idea of Russian nationalism. McReynolds asserts that Kovalevsky’s nationalist worldview can be more fully understood in the context of his experience working in psychiatry and forensic psychopathology. Only partly sharing Lombroso’s theory of degeneration, Kovalevsky fought for a more humane relationship to criminals. Studying alcoholism and syphilis, he came to an ever-clearer awareness of the connection between the degeneration of the individual body and society as

a whole. In Russian nationalism, meanwhile, Kovalevsky saw an alternative to the ubiquitous degradation provoked by the development of civilization. The final section of the article addresses the potential importance of Kovalevsky's legacy for contemporary Russia.

Riccardo Nicolosi's "Criminality, Lombroso and Russian Literature. Narratives of Inborn Criminality and Atavism in Late Imperial Russia (1880—1900)" addresses the narrative potential of Lombroso's theory of atavism and inborn criminality in the context of the theory of degeneration and the forms of its realization in late nineteenth-century Russian literature. The

striking coincidences between science and literature in the sphere of criminal anthropology and the discourse on degeneration allow us to examine narration as an 'epistemological bridge' between scientific and literary discourses. Using one of P. Kovalevsky's forensic psychiatric analyses, Nicolosi demonstrates that the concept of degeneration is unthinkable in isolation from narrative strategy. In Russian literature, Nicolosi highlights three narrative models: the extra-criminal-anthropological, anti-criminal-anthropological (A. Svirsky, L. Tolstoy) and crypto-criminal-anthropological (V. Gilyarovsky, F. Dostoyevsky); the latter two are analyzed in separate parts of the article.

The Postcolonial and the Imperial in Literature

Guest Editor: Natalia Poltavtseva

The representation of postcolonial ideas and ideologies in literary texts is an extremely broad topic, which is why this section focuses on one specific angle. Usually postcolonial discourse is understood as an opposition to dominant imperial discourse, a revolt against it and attempts to overcome it. These articles, meanwhile, show that the real interactions between the postcolonial and the imperial can be much more complicated and intertwined. All three of them demonstrate that the traditional terminological oppositions "imperial vs. anticolonial," "colonization vs. decolonization," "nationalism vs. internationalism," "nationalist vs. imperial identity" et al. fail to fully describe the problem by not taking into account the myriad nuances and complex interconnections of tendencies that are postulated as opposed to one another.

In "Russian, Soviet and Other in Post-Stalin National Discourse: Initial Remarks," **Gasán Gusejnov** examines

an example of an early anti-globalist "nativist" [*pochvennicheskii*] reaction to the internationalization of culture, or early multiculturalism. Using the book *My Dagestan*, translated into Russian by Vladimir Soloukhin, as well as the latter's own writing, he analyzes the formation of Soviet postcolonial discourse.

In her "Transitional Culture and Post-Colonial *Ressentiment*", **Tamara Hundorova** suggests a post-colonial interpretation of *ressentiment* as one of the "weapons of culture" and a key concept in phenomenology after Nietzsche. Examining *ressentiment* as a distinguishing feature of transitional culture, Hundorova notes the topicality of this concept in the analysis of colonial protests, revolutions, wars and uprisings. She emphasizes certain features of *ressentiment* including the existential envy of the Other's existence, the corporeal splintering of the subject, the suppression of the object of envy and its replacement by figurative substitutes.

Regarding the post-colonial critique, Hundorova analyzes Andrzej Stasiuk's European *ressentiment* in the form of an "ideal cartography" and Yuri Andrukhovych's topos of "envying history."

Natalia Poltavtseva offers "A Dynamic Model of (Post-)Colonial Studies: The Sociocultural Paradigm of Conflict as a Form of Social Interaction," an attempt to use

twentieth-century prose (G.K. Chesterton, Vladimir Makanin) to reconstruct, within the postcolonial studies paradigm, different variations of the model of conflict as a form of social and cultural interaction. Poltavtseva traces the dynamics of such a conflict (in depictions of war in Makanin and Chesterton's work) in a cultural-anthropological cross-section within the broader cultural style of modernity.

The Postcoloniality of Post-Soviet Literatures: Constructing the Ethnic

This section addresses the post-Soviet literatures that are conceptualized as post-colonial, although this conceptualization itself presents an open methodological problem. The articles examine the work of writers from the so-called "internal abroad" of imperial and post-imperial Russia; their work can be seen as representing the gaze of the Other. These writers' attempts to survive the collapse of their sometime identity as colonized subject are combined with the desire to reacquire their own lost traditions or collective subjectivity. It is noted that former colonized subjects attempt to overcome trauma while simultaneously reproducing the values and rhetoric of their colonizers, sharing the "common language" of imperial consciousness.

In her "Postcolonial Literatures of the North: Autoethnography and Ethnopoetics", **Klavdia Smola** reflects upon late-Soviet and post-Soviet texts by two Siberian authors — Eremey Aypin and Anna Nerkagi — who narrate the traumatic historical experiences of their populations in the margins of the Soviet state. Aypin and Nerkagi appear as indigenous representatives, ethnographers, and cultural translators of the (small in numbers) Northern peoples. Being

both the Soviet regime's Other and its victim, the textual subject simultaneously shares communist or imperial modes of speaking. They both repudiate and reproduce the Soviet narrative "blueprint" and bear witness to the split, subversion, and dependency of the narrating voice. In a performative way, the contamination of indigenous and European elements reveals the uncertain relationship between the archaic and the modern, the mythical and the rational within the fictional worldview of the authors.

The section continues with **Kirill Korchagin's** " 'When we replace our world...': The Fergana School of Poetry in Search of a Post-Colonial Subject." The Fergana School of poetry is one of the most remarkable phenomena in post-Soviet poetry. Its representatives (Shamshad Abdullaev, Khamdam Zakirov and Khamid Ismailov, who is close to the school) proposed a project for the recreation of Uzbek literature in the early 1990s. This project was connected with inventing a new type of subjectivity, which in many of its features approaches postcolonial subjectivity. Korchagin's article examines three premises for constructing this kind of subject: rethinking Uzbek literature as part of world literature and the related

process of “self-exoticizing”; a particular mode of visuality that distinguishes the texts of the Fergana School; and a search for a new linguistic identity, one more cosmopolitan than that offered by the Uzbek language and literature. Korchagin examines these three themes as they appear in the Tashkent-based journal *Star of the East* [*Zvezda Vostoka*]; Abdullaev edited the journal’s poetry section between 1991—1996.

Dirk Uffelmann’s “Playing Nomadism, or Postcoloniality as a Literary Device (the Case of Il’dar Abuzyarov)” proposes the work of Abuzyarov as an illuminating example of postcolonial poetics in the literary works of ethnically non-Russian writers from the Russian Federation. It focuses on the short story *Chingiz-roman* [*Genghis Novel*] and reads its postcolonial attitudes toward the postcommunist condition with special attention to its depiction of subaltern masculinity in a nomadic disguise. After distinguishing the practice of nomadism from poststructuralist nomadology and looking into the double readability of *Chingiz-roman*, Uffelmann analyzes the implications of playing nomadism in contemporary conditions. Including the intertextual dimension allows him to relate Abuzyarov to the Scythian theme in Russian culture, to carve out the

literariness of the nomad motifs, and to conclude that postcoloniality is one of the devices employed by non-Russian writers in postcommunist Russia.

Stanislav Lvovsky’s “The Lowland’s Children: German Sadulaev as a Post-Soviet and a (Post-) Colonial Writer” draws attention to the works of German Sadulaev, whose fiction provides a vivid example of postcolonial writing in post-Soviet literature. The analysis is focused on Sadulaev’s early works, namely his short fiction collection *Ia — chechenets* [*I Am a Chechen*] (2006) and the novel *Shalinskii Reid* [*The Raid on Shal*] (2010). Though the texts in question show all evidence of a postcolonial condition in accordance with the existing scholarship, both the protagonists and figure of the narrator in Sadulaev’s writing are more complex than those of a former colonial subject, since the intertwinement of the post-Soviet and postcolonial conditions is the most important constitutive element of his fiction.

The “Bibliography” section contains several reviews of recently published books on the subject of empire, and the “Chronicle of Scholarly Life” presents a report from the 2016 conference “Echoes of Empire. The Post-Colonies of Communism.”

Table of contents No. **144** [2'2017]

(POST)IMPERIAL IMAGINATION AND CULTURAL POLITICS

Special Issue

7 Editorial Preface

FACTS AND MYTHS IN RUSSIAN IMPERIAL
CARTOGRAPHY

9 *Vera Proskurina*. The Landscape of Empire: Catherine the Great's
Antidote for the Voyage en Sibérie, or The Borders of European
Civilization

33 *Evgeny Ponamarev*. The Russian Imperial Travelogue

THE IMPERIAL IMAGINATION AND OTHERNESS

45 *Olga Mayorova*. Finding Russianness in Imperial Space: Paradoxes
in Leskov's Story *At the Edge of the World*

60 *Mikhail Dolbilov*. A City Hardly One's Own Yet Not Fully Alien: Vilna
in the Russians' Imperial and Nationalist Imagination (from the
1860s to the Early Twentieth Century)

THE IMPERIAL IN THE STRUCTURE
OF THE LITERARY FIELD

77 *Heinrich Kirschbaum*. Generic Imperialisms. The Argument over the
Appurtenance of Thoughts

93 *Evgeny Ponomarev*. The Export and Re-export of Socialist Realism.
Eastern European Literatures in the Context of the Soviet Thick
Journal (late 1940s)

IMPERIAL BUREAUCRACY AND MODELS
OF NATIONAL IDENTITY

113 *Kirill Solovyov*. Bureaucracy vs. Bureaucracy: Paradoxes of Govern-
ment Service in Late Nineteenth-century/Early Twentieth-century
Russia

122 *Alexander Kotov*. 1860s "Russian Catholicism" as an Element of the
Ideology of Bureaucratic Nationalism

THE SEMANTICS OF IMPERIAL SPACES

- 137** *Andrei Teslya*. Ukrainophiles in a “General Russian” Context: The Public Writings of N. Kostomarov, 1861—1883
- 154** *Ekaterina Boltunova*. The Space of the (Departed) Hero: The Image of the Leader, Historical Memory and the Memorial Tradition in Russia (Regarding the Yeltsin Center)

HYBRID LANGUAGES OF IMPERIAL CONSCIOUSNESS

- 174** *Ilya Gerasimov, Sergey Glebov, Marina Mogilner*. Hybridity: Marrism and the Imperial Situation’s Questions of Language
- 207** *Dina Khapaeva*. Slavish Dreams of Imperial Greatness
- 237** *Alek D. Epstein*. Between Religious Doubts and Unbelief: The Transformation of Intellectual Discourse and Political Rhetoric before the Downfall of the *Ancien Régime*

BEING VISIBLE: TECHNIQUES OF THE AUTHORITATIVE GAZE IN IMPERIAL ETHNOGRAPHIC PHOTOGRAPHY

- 260** *Evgeniy Savitskiy*. Demons at the Zoo: Contemporary Art and the Colonization of the Far North in 1890s Russia
- 285** *Nadezhda Krylova*. The Nerchinsk Katorga: An Ethnographic View of the Russian Empire in Photographs of “Types and Species” During the Final Quarter of the Nineteenth Century

THE INBORN CRIMINAL: CRIMINAL ANTHROPOLOGY IN THE RUSSIAN EMPIRE

- 312** *Riccardo Nicolosi*. From the Guest Editor
- 318** *Marina Mogilner*. The Empire-Born Criminal: Atavism, Survivals, Irrational Instincts, and the Fate of Russian Imperial Modernity (trans. *Nina Stavrogina*)
- 342** *Louise McReynolds*. P.I. Kovalevskii: Criminal Anthropology and Great Russian Nationalism (trans. *Nina Stavrogina*)
- 360** *Riccardo Nicolosi*. Criminality, Lombroso and Russian Literature. Narratives of Inborn Criminality and Atavism in Late Imperial Russia (1880—1900) (trans. *Nina Stavrogina*)

THE POSTCOLONIAL AND THE IMPERIAL IN LITERATURE

- 383** *Natalia Poltavtseva*. On the Other Side of the Colonial, or Colonial Wonderland: (From the Guest Editor)

- 386** *Gasan Gusejnov*. Russian, Soviet and Other in Post-Stalin National Discourse: Initial Remarks
- 397** *Tamara Hundorova*. Transitional Culture and Post-Colonial *Ressentiment*
- 407** *Natalia Poltavtseva*. A Dynamic Model of (Post-)Colonial Studies: The Sociocultural Paradigm of Conflict as a Form of Social Interaction

THE POSTCOLONIALITY OF POST-SOVIET LITERATURES: CONSTRUCTING THE ETHNIC

- 420** *Klavdia Smola, Dirk Uffelmann*. Introduction
- 429** *Klavdia Smola*. Postcolonial Literatures of the North: Autoethnography and Ethnopoetics
- 448** *Kirill Korchagin*. “When we replace our world...”: The Fergana School of Poetry in Search of a Post-Colonial Subject
- 471** *Dirk Uffelmann*. Playing Nomadism, or Postcoloniality as a Literary Device (the Case of Il'dar Abuzyarov) (*trans. Nina Stavrogina*)
- 489** *Stanislav Lvovsky*. The Lowland's Children: German Sadulaev as a Post-Soviet and a (Post-) Colonial Writer

BIBLIOGRAPHY

- 509** *Aleksei Vasiliev*. Nationalizing Empires: Leaving the ‘Westfalk Orthodoxy’ (Review of: Nationalizing Empires. Budapest; N.Y., 2015)
- 519** *Maria Leskinen*. On Russian Imperial Social Estates (Review of: Smith A.K. For the Common Good and Their Own Well-Being: Social Estates in Imperial Russia. Oxford; N.Y., 2014)
- 527** *Svetlana Limanova*. From the History of Ideas to the Interpretation of Images: The Visual Turn in R. Wortman's Scholarship (Review of: Wortman R. Visual Texts, Ceremonial Texts, Texts of Exploration: Collected Articles on the Representation of Russian Monarchy. Boston, 2014)
- 535** *Kirill Solovyov*. From Self-led Social Activity to Soviet Sociality (Review of: Obshchestvennost' and Civic Agency in Late Imperial and Soviet Russia: Interface between State and Society. Basingstoke; N.Y., 2015)
- 542** *Evgeny Dobrenko*. Anglo-American Historiography of Stalinism: Groping the Elephant (Review of: David-Fox M. Crossing Borders: Modernity, Ideology, and Culture in Russia and the Soviet Union. Pittsburgh, 2015)
- 547** *Artyom Zubov*. The American Imperial Gothic and a Sociology of the Fantastic (Review of: Höglund J. The American Imperial Gothic: Popular Culture, Empire, Violence. Farnham; Burlington, VT, 2014)

CHRONICLE OF SCHOLARLY LIFE

- 552** *Svetlana Sirotnina, Clemens Guenther.* Echoes of Empire. Postcolonies of Communism (Princeton University, 13—15 May 2016)
- * * *
- 560** *Andrei Kabatskov.* Stalinism and War (Moscow Higher School of Economics, 24—26 May 2016)
- 575** *Olga Breininger.* Conference of the Northeastern Association for the Study of Russia, Eastern Europe and Eurasia (NYU / Jordan Center for the Advanced Study of Russia, 2 April 2016)
- 578** *Alexandra Tsibulya.* Sixth Annual Prigov Readings: Dmitri Alexandrovich Prigov's Encyclopedia (RAS Institute of Russian Literature (Pushkin House), 16—18 May 2016)
- 587** Summary
- 597** Table of Contents
- 601** Our Authors

Our authors

Ekaterina Boltunova

(National Research University “Higher School of Economics”, Faculty of Humanities, Associate Professor, PhD) boltounovaek@gmail.com.

Mikhail Dolbilov

(University of Maryland; associate professor, Department of History) dolbilov@umd.edu.

Alek D. Epstein

(Center for Research in Contemporary Art (Jerusalem / Moscow); chairperson; PhD) alekdep@gmail.com.

Ilya Gerasimov

(*Ab Imperio Quarterly*; executive editor; PhD) ig@abimperio.net.

Sergey Glebov

(Smith College; associate professor; Amherst College; associate professor; PhD) sglebov@smith.edu.

Gasán Gusejnov

(National Research University “Higher School of Economics”; professor, School of Philosophy, Faculty of Humanities; tenured professor; D. habil.) ggusejnov@hse.ru.

Tamara Hundorova

(Institute of Literature of the NAS of Ukraine; chair, Department of Literary Theory and Comparative Literature; Doctor of Sciences, corresponding member of the NAS of Ukraine) hundo rova@gmail.com.

Dina Khapaeva

(Georgia Institute of Technology; professor of Russian, School of Modern Languages; PhD) dina.khapaeva@modlangs.gatech.edu.

Heinrich Kirschbaum

(Slavic Institut, Humboldt University of Berlin; assistant professor; Dr. habil.) heinrich.kirschbaum@hu-berlin.de.

Kirill Korchagin

(RAS Vinogradov Institute of Russian Language / *New Literary Observer*; PhD) stivendedal@gmail.com.

Aleksandr Kotov

(Saint Petersburg State University; associate professor; PhD) akotov@inbox.ru.

Nadezhda Krylova

(Museum Multimedia Complex of Actual Arts; curator of Storage Department; PhD Student of Russian Anthropology School RSUH) nadinkru@gmail.com.

Stanislav Lvovsky

(University of Oxford, DPhil candidate, Faculty of Medieval and Modern Languages) halfofthesky@gmail.com.

Olga Maiorova

(University of Michigan; Department of Slavic Literatures and Languages and Department of History; associate professor; PhD) maiorova@umich.edu.

Louise McReynolds

(University of North Carolina at Chapel Hill; Department of History; associate department chair; professor; PhD) louisem@email.unc.edu.

Marina Mogilner

(University of Illinois at Chicago; associate professor, Edward and Marianna Thaden chair in Russian and East European Intellectual History; PhD) mmogilne@uic.edu.

Riccardo Nicolosi

(Ludwig Maximilian University of Munich; professor, chair of the Department of Slavic Philology (Literary Science), Faculty for Languages and Literature; PhD) riccardo.nicolosi@lmu.de.

Natalia Poltavtseva

(Russian State University for the Humanities; leading researcher, Russian School of Anthropology; associate professor; PhD) natalypol@gmail.com.

Kirill Solovyov

(Institute of Russian History of Russian Academy of Sciences; senior research fellow; Dr. habil.) kirillsol22@yandex.ru.

Editorial board

Irina Prokhorova	PhD (chief editor)
Nikolay Poselyagin	PhD (theory)
Tatiana Weiser	PhD (history)
Alexander Skidan	(practice)
Abram Reitblat	PhD (bibliography)
Vladislav Tretyakov	PhD (bibliography)
Kirill Korchagin	PhD (chronicle of scholarly life)

Advisory board

Konstantin Azadovsky
PhD

Henryk Baran
PhD, State University of New York at Albany, professor

Nikolay Bogomolov
Dr. habil. Lomonosov Moscow State University, professor

Tatiana Venediktova
Dr. habil. Lomonosov Moscow State University, professor

Elena Vishlenkova
Dr. habil. National Research University “Higher School of Economics”, professor

Tomáš Glanc
PhD, University of Zurich, professor / Charles University in Prague, professor

Hans Ulrich Gumbrecht
PhD, Stanford University, professor

Alexander Zholkovsky
PhD, University of South Carolina, professor

Andrey Zorin
Dr. habil. Oxford University, professor Russian Presidential The Moscow school of social and economic sciences, professor

Boris Kolonitskii
Dr. habil. European University at St.-Petersburg, professor / St.-Petersburg Institute of History, RAS, leading researcher

Alexander Lavrov
Dr. habil. Full member of Russian Academy of Sciences Institute of Russian Literature (the Pushkin House), Russian Academy of Sciences, leading researcher

John Malmstad
PhD, Harvard University, professor

Alexander Ospovat
National Research University “Higher School of Economics”, professor

Pekka Pesonen
PhD, University of Helsinki, professor emeritus

Oleg Proskurin
PhD, Emory University, professor

Roman Timenchik
PhD, The Hebrew University of Jerusalem, professor

Pavel Uvarov
Dr. habil. Corresponding member of Russian Academy of Sciences. Institute of World History, Russian Academy of Sciences, research professor / National Research University “Higher School of Economics”, professor

Alexander Etkind
PhD, King’s College, Cambridge University, professor

Mikhail Yampolsky
Dr. habil. New York University, professor